ДМИТРИЙ КРАИНСКИЙ

ЗАПИСКИ ТЮРЕМНОГО ИНСПЕКТОРА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В настоящее издание уникальных записок известного русского юриста, общественного деятеля, публициста, музыканта, черниговского губернского тюремного инспектора Д. В. Краинского (1871-1935) вошли материалы семи томов его дневников, относящихся к 1919-1934 годам.

Это одно из самых правдивых, объективных, подробных описаний большевизма очевидцем его злодеяний, а также нелегкой жизни русских беженцев на чужбине.

Все сочинения издаются впервые по рукописям из архива, хранящегося в Бразилии, в семье внучки Д. В. Краинского - И. К. Корсаковой и ее супруга О. В. Григорьева.

- РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
- ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ,
- ЧАСТЬ 1
  - ЗАПИСКИ. Т. IX
  - ЗАПИСКИ. Т. X
  - ЗАПИСКИ. Т. XI 1920 ГОД. РУМЫНИЯ
  - ЗАПИСКИ. Т. XII
- ЧАСТЬ 2
  - ЗАПИСКИ. Т. XII
  - ЗАПИСКИ. Т. XIII 1922-1925 Г.Г. ХОРВАТИЯ
  - ЗАПИСКИ. Т. XIV
  - ЗАПИСКИ. Т. XV 1933-1934 ГОДЫ. ЮГОСЛАВИЯ
  - ПОСЛЕСЛОВИЕ (Н. В. Краинского)
  - ПРИМЕЧАНИЯ
  - КРАТКИЙ
  - СОДЕРЖАНИЕ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12

- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36

ДМИТРИЙ КРАИНСКИЙ

ЗАПИСКИ ТЮРЕМНОГО ИНСПЕКТОРА

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

ДМИТРИЙ КРАИНСКИЙ ЗАПИСКИ ТЮРЕМНОГО ИНСПЕКТОРА

Жизнеописания, воспоминания и дневники выдающихся русских людей - святых и подвижников, царей и правителей, воинов и героев, мыслителей, писателей, деятелей культуры и искусства, создавших Великую Россию.

Аксаков И. С.
Аксаков С. Т.
Александр III
Александр Невский
Алексей Михайлович

Андрей Боголюбский
Антоний(Храповицкий)
Баженов В. И.
Белов В. И.
Бердяев Н. А.
Болотов А. Т.
Боровиковский В. Л.
Булгаков С. Н.
Бунин И. А.
Васнецов В. М.
Венецианов А. Г.
Верещагин В. В.
Гиляров-Платонов Н. П.
Глазунов И. С.
Глинка М. И.
Гоголь Н. В.
Григорьев А. А.
Данилевский Н. Я.
Державин Г. Р.
Дмитрий Донской
Достоевский Ф. М.
Екатерина II
Елизавета
Жуков Г К.
Жуковский В. А.
Иван Грозный
Иларион митрополит
Ильин И. А.
Иоанн (Снычев) митрополит
Иоанн Кронштадтский
Иосиф Волоцкий
Кавелин К. Д.
Казаков М. Ф.
Катков М. Н.
Киреевский И. В.
Клыков В. М.
Королев С. П.
Кутузов М. И.
Ламанский В. И.
Левицкий Д. Г.
Леонтьев К. Н.
Лермонтов М. Ю.
Ломоносов М. В.
Менделеев Д. И.

Меньшиков М. О.
Мещерский В. П.
Мусоргский М. П.
Нестеров М. В.
Николай I
Николай II
Никон (Рождественский)
Нил Сорский
Нилус С. А.
Павел I Петр I
Победоносцев К. П.
Погодин М. П.
Проханов А. А.
Пушкин А. С.
Рахманинов С. В.
Римский-Корсаков
Н. А. Рокоссовский
К. К. Самарин
Ю. Ф. Семенов Тян-Шанский П. П.
Серафим Саровский
Скобелев М. Д.
Собинов Л. В.
Соловьев В. С.
Солоневич И. Л.
Солоухин В. А.
Сталин И. В.
Суворин А. С.
Суворов А. В.
Суриков В. И.
Татищев В. Н.
Тихомиров Л. А.
Тютчев Ф. И.
Хомяков А. С.
Чехов А. П.
Чижевский А. Л.
Шаляпин Ф. И.
Шарапов С. Ф.
Шафаревич И. Р.
Шишков А. С.
Шолохов М. А.
Шубин Ф. И.

ДМИТРИЙ КРАИНСКИЙ
ЗАПИСКИ ТЮРЕМНОГО ИНСПЕКТОРА

МОСКВА
Институт русской цивилизации 2016

УДК 82.94 + 94(47).083/84.1/.2/.3 ББК Т.3(2)6.1.2-4148.1 К 77

Краинский Д. В.

Записки тюремного инспектора / Составление, предисловие, примечания О. В. Григорьева, И. К. Корсаковой, С. В. Мущенко, С. *Г.* Шевченко / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2016. — 896 с.

В настоящее издание уникальных записок известного русского юриста, общественного деятеля, публициста, музыканта, черниговского губернского тюремного инспектора Д. В. Краинского (1871-1935) вошли материалы семи томов его дневников, относящихся к 1919-1934 годам.

Это одно из самых правдивых, объективных, подробных описаний большевизма очевидцем его злодеяний, а также нелегкой жизни русских беженцев на чужбине.

Все сочинения издаются впервые по рукописям из архива, хранящегося в Бразилии, в семье внучки Д. В. Краинского - И. К. Корсаковой и ее супруга О. В. Григорьева.

ISBN 978-5-4261-0150-0

© О. В. Григорьева, И. К. Корсаковой, С. В. Мущенко, С. Г. Шевченко, предисловие, примечания, 2016 © Институт русской цивилизации, 2016

ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ, УВИДЕТЬ СВОИХ И ПОСЛУЖИТЬ РОДИНЕ

Предисловие

В последние годы имя Дмитрия Васильевича Краинского постепенно становится известным в научных кругах историков права, его «Материалы к исследованию истории русских тюрем в связи с историей учреждения Общества Попечительного о тюрьмах»[1] используются в диссертационных исследованиях.

А вот о его жизни, полной тяжелейших испытаний, уникальных по объективности, честности дневниках о трагических событиях в жизни России и в эмиграции не знают даже специалисты. А эти многотомные записки важны не только для них, но и для широкого современного читателя, небезразличного к истории и памяти своего народа. Поэтому есть смысл прежде всего ознакомиться с биографией автора.

* * *

Дмитрий Васильевич Краинский родился 23 октября[2] 1871 года в слободе Шебекино Белгородского уезда Курской губернии[3] (ныне Белгородская область).

Он был вторым сыном в замечательной многодетной дворянской семье, где выросли шесть сыновей[4] и две дочери.

Их отец, Василий Евграфович Краинский, уроженец Черниговской губернии, после окончания Горы-Горецкого земледельческого института (Оршанского уезда Могилевской губернии) в 1863 году некоторое время находился на государственной службе, а затем (с 1867 года) занялся практикой сельского хозяйства, управляя частными имениями или принимая участие в их организации.

Сначала он практиковался в Смеле у графа А. А. Бобринского, который одним из первых устраивал в России свеклосахарные заводы, - в селе Михайловское Богородского уезда Тульской губернии, а с 1856 года - в своем имении Смела Черкасского уезда Киевской губернии. По организационному плану В. Е. Краинского перестроил свои имения в Черниговской и Полтавской губерниях с ориентацией на животноводство В. В. Тарновский.

Впоследствии Василий Евграфович купил имение недалеко от Борисполя в 1000 десятин при деревне Большая или Великая Александровка Броварской волости Остерского уезда

Черниговской губернии (недалеко от Великой Александровки находился хутор, принадлежавший семье Чубинских).

Как ученый агроном, исследователь крупных имений, сельский хозяин-практик, методист, популяризатор, В. Е. Краинский был известен и за пределами России. Результаты его хозяйственной деятельности были представлены в «Земледельческой газете», в «Журнале сельского хозяйства и лесоводства», «Жизнь и искусство», «Трудах Вольного экономического общества», «Киевлянине», «Киевской газете», «Земском сборнике Черниговской губернии», «Журнале сельского хозяйства и лесоводства», а также изложены в отдельно опубликованных сочинениях: «Технические и экономические основы Шебекинского хозяйства» (СПб., 1874); «Организация хозяйств в связи с сельскохозяйственным счетоводством» (1876); «Новая система скотоводства, соответственно условиям русского сельского хозяйства» (1877); «Сравнительная организация хозяйств Курской губернии Белгородского уезда, Тульской губернии Богородицкого уезда и т.д.» (1878), «Основы сельскохозяйственного счетоводства в связи с организацией хозяйства» (в 2 ч., 1894) и др.

В. Е. Краинский разработал единую для всей Российской империи программу обучения в низших сельскохозяйственных школах, утвержденную Министерством государственных имуществ и действовавшую с дополнениями до 1917 года.

По инициативе Василия Евграфовича была учреждена в 1880 году в имении Ребиндеров - селе Шебекино Белгородского уезда Курской губернии - Марьинская сельскохозяйственная школа для рабочих на 120 человек. В нее принимались воспитанники не моложе 14 лет, которых 3 преподавателя обучали полевым работам, столярному и слесарному делу.

Именно в Шебекино и прошли младенческие и детские годы Дмитрия. Семья Краинских отличалась необыкновенной музыкальностью (одна из бабушек Дмитрия Васильевича приходилась двоюродной сестрой великому русскому композитору М. И. Глинке).

Вот что впоследствии вспоминал знаменитый психиатр профессор П. И. Ковалевский: «Я редко бывал в гостях, но у Краинских изредка бывал, и меня всегда поражал в их доме ужасный шум и гам: в одной комнате раздавалась виолончель, в другой скрипки, в третьей фортепиано, пение и проч.». Эта любовь к музыке впоследствии и помогла Дмитрию Васильевичу, по сути, дела спастись.

Учился он во 2-й Харьковской гимназии, которую отличали высокий уровень преподавания литературы, искусств, особенно

изобразительного, в чем была заслуга учителя рисования Д. И. Бесперчего, учившегося у К. Брюллова.

Неудивительно, что эту гимназию окончили немало впоследствии известных людей, таких как художник Г. И. Семирадский, композитор Н. В. Лысенко, правовед А. Д. Градовский, биолог И. И. Мечников, филолог-славист А. А. Потебня, замечательный православный литературный, музыкальный, театральный критик Ю. Н. Говоруха-Отрок, его друг, будущий теоретик монархизма Н. И. Черняев и др.[5].

В августе 1893 года Дмитрий Васильевич поступил в Императорский Харьковский университет на юридический факультет[6], который закончил в 1898 году с дипломом первой ступени. Здесь преподавали видные ученые и педагоги, такие как заслуженный профессор М. А. Остроумов, Л. Н. Загурский и другие[7].

С 22 апреля 1903 года Д. В. Краинский начал служебную карьеру в тюремном ведомстве. Образованное в 1879 году в структуре Министерства внутренних дел Главное тюремное управление (ГТУ) было высшей контролирующей и распорядительной инстанцией, осуществляющей непосредственное руководство подчиненными ему местными органами тюремного ведомства. 13 декабря 1895 года ГТУ была передана из МВД в ведение Министерства юстиции. В сферу компетенции ГТУ были отнесены все места заключения гражданского ведомства, арестантская пересыльная часть, приюты для несовершеннолетних.

Новым институтом, не имеющим аналогов в зарубежной тюремной практике, была созданная в структуре ГТУ Тюремная инспекция, на которую возлагались обязанности осуществления ревизий местных тюремных учреждений, руководство их деятельностью, а также разработка законодательных проектов.

В 1904 году Д. В. Краинский получает назначение в Черниговскую тюремную инспекцию, где сначала занимает должность помощника губернского тюремного инспектора М. Аммосова.

Чернигов в начале XX столетия из «губернского хутора» (по меткому замечанию баснописца и общественного деятеля Л. И. Глебова) преобразовался в полноценный губернский центр. Его население увеличилось до 33 тысяч человек.

Тюремный инспектор, руководя Тюремным отделением губернского правления, подчинялся ГТУ - как центральному тюремному органу, а также непосредственно губернатору, наделяясь правами вице-губернатора, контролирующего деятельность администрации местных тюремных учреждений. То

есть он являлся фактическим руководителем тюремной системы региона.

В его обязанности входило «наблюдение за благоустройством в местах заключения гражданского ведомства, исправительных приютах и колониях и арестных домов, а равно за исполнением всех постановлений закона о порядке содержания арестантов».

К назначению на должность губернского тюремного инспектора предъявлялись высокие профессиональные и морально-нравственные требования. Инспекторы должны были знать законоположения, относящиеся к тюремной части, иметь достаточный опыт в делопроизводстве, знать внутренний тюремный порядок и тюремное хозяйство.

В штат губернской тюремной инспекции входили: губернский тюремный инспектор, его помощник, секретарь и канцелярия в составе двух делопроизводителей, двух их помощников и писцов. Ежегодно каждая губернская тюремная инспекция представляла в ГТУ отчет о проделанной работе (суммируя сведения по всем подотчетным местам заключения) по установленной форме.

Службу в губернской тюремной инспекции Д. В. Краинский успешно совмещал с общественной и попечительской работой. В частности, он возглавлял «Общество покровительства лицам, освобожденным из мест заключения», был почетным членом черниговских детских приютов.

Особенно близкими и теплыми были его отношения с Черниговским отделением Императорского русского музыкального общества, одним из учредителей которого он состоял. В музыкальных классах при отделении учили игре на фортепиано, скрипке, виолончели, духовых инструментах, были классы ансамбля и оркестра, специальной теории и вокала.

Рано овдовев и оставшись с единственной дочерью Ольгой (она родилась 30 июня 1902 года), Дмитрий Васильевич, конечно же, обучал музыке и ее.

Кроме этого с 1903 года он начал вести и дневник. Это занятие Краинский не оставлял до самый кончины, в каких бы трагических обстоятельствах ни находился.

За добросовестную службу надворный советник, помощник черниговского губернского инспектора Д. В. Краинский был награжден орденом Святой Анны 3-й степени[8]. И с 1 февраля 1910 года он назначается черниговским губернским тюремным инспектором.

Получив отличное высшее профессиональное юридическое образование, имея значительный опыт практической деятельности в области тюремного дела и доступ к нормативно-правовым документам, делопроизводству и архивным делам

черниговской губернской тюремной инспекции, Д. В. Краинский осуществил обстоятельный анализ истории тюремного строительства[9].

Много лет он готовил к печати обширный труд под названием «Бытовая сторона жизни в русских тюрьмах в связи с психологией уголовных преступников». Но ему помешали опубликовать этот труд война и затем революция.

19 апреля 1909 года в России было принято «Положение о воспитательно-исправительных заведениях для несовершеннолетних», которое предусматривало, что в эти заведения «помещаются несовершеннолетние от 10 до 17 лет, признанные виновными в совершении какого-либо преступного деяния по определениям и приговорам суда». Сюда принимались также и несовершеннолетние «нищенствующие», занимающиеся бродяжничеством, бесприютные и беспризорные по постановлениям комитетов, правлений или советов обществ, руководивших воспитательно-исправительными заведениями».

Дмитрий Васильевич много внимания уделял Черниговской колонии для несовершеннолетних, о чем свидетельствуют и его отчеты[10].

28 февраля 1914 года в С.-Петербурге открылся 2-й съезд тюремных деятелей, он был приурочен к 35-летию образования Главного тюремного управления и коснулся всех сторон российской пенитенциарной системы. Весьма активное участие в нем принял Д. В. Краинский, доклады которого в секциях по тюремно-строительной части, тюремному хозяйству вызвали большой интерес и были опубликованы в «Тюремном вестнике»[11].

1 сентября 1915 года Высочайшим приказом по гражданскому ведомству за № 62 Д. В. Краинский был назначен Полтавским губернским тюремным инспектором[12], однако 30 сентября того же года он был восстановлен в прежней должности[13].

1917 год Дмитрий Васильевич встретил в Чернигове в чине статского советника (V класс, согласно «Табели о рангах»)[14] и в статусе губернского тюремного инспектора. После Февральской революции в Черниговской губернии устанавливается двоевластие (советы рабочих и солдатских депутатов и местные органы Временного правительства). Продолжала работать и городская дума. При Временном правительстве губернские тюремные инспекции были переименованы в комиссии, которые вошли в состав губернских временных исполнительных комитетов с теми же функциями, штатами и даже руководством.

В мае 1917 года Дмитрий Васильевич был вызван в Петроград в Главное тюремное управление (переименованное к тому времени в Главное управление местами заключения), где ему

была предложена должность в области законодательной деятельности по реформированию тюремного дела. Однако он решительно отказался от нее, вернувшись к исполнению своих обязанностей в Чернигове. Свое решение он объяснял так: «Будучи глубоко убежден в непрочности установленной власти временного правительства, я решительно отказался переехать в Петроград».

Между тем власть в Чернигове неоднократно менялась. В первый раз большевики пришли в Чернигов 23 января (5 февраля) 1918 года. Это были фронтовые большевики. В городе была провозглашена советская власть. При ней тюремные инспекции на местах должны были переходить в ведение краевого (областного) комиссара юстиции, контроль которого «проявлялся почти исключительно в наблюдении за расходованием на тюремные нужды денежных сумм».

Вскоре Чернигов захватили германские войска. Их сменил режим гетмана П. Скоропадского, а затем власть перешла к петлюровской администрации.

Стоит заметить, что Дмитрий Васильевич оказался одним из немногих на всю губернию старых администраторов, которые оставались на своем посту в течение 1917-1919 годов, в то время как сменилось несколько правительств. В своем дневнике он отмечал: «Все удивлялись, как я удержался и пережил все время, будучи на таком ответственном посту».

6(19) октября 1918 года, перед приходом большевиков, умирает отец, Василий Евграфович. Родовое имение в Великой Александровке было разграблено. Пламя горящей библиотеки достигало высоты здания. В опустевшем родовом доме остался только один рояль в зале, где молодежь некогда устраивала танцы.

Во второй раз большевики пришли в Чернигов 30 декабря 1918 года (12 января 1919) - после тяжких боев в город ворвались Богунский полк под командованием Н. Щорса и Таращанский полк под командованием В. Боженко. Власть в Чернигове вновь перешла к Советам.

Инспекция, в которой Дмитрий Васильевич все еще продолжал служить, была переведена в здание окружного суда, где помещался отдел юстиции. На его попечении оставалась и колония для несовершеннолетних. Новая власть даже заинтересовалась исследованием Д. В. Краинского *о* детской преступности («Малолетние преступники»). Но обстановка, в которой приходилось работать, была крайне опасная. Дмитрий Васильевич решил во что бы то ни стало уйти с должности и категорически отказался принять в свое заведование значительно

расширяемую исправительную колонию, ссылаясь на то, что имеет службу в советском музыкальном училище, где занят почти целый день.

Музыкальное училище его и выручило (до прихода большевиков Д. В. Краинский продолжал оставаться одним из директоров Черниговского отделения Императорского Русского музыкального общества и преподавателем его музыкальных классов). На экстренном собрании художественного совета он был признан незаменимым работником, и совет единогласно постановил возбудить ходатайство об освобождении его от мобилизации. Исполком дал ему отсрочку до сентября.

Но это не гарантировало спокойного существования. Вот как он сам вспоминал об этом времени: «Я был библиотекарем в музыкальном училище, и там я был полным хозяином. В старых нотах, на нижней полке громадного шкапа, я прятал свои записки. В этом свободном от занятий классе, где постоянно играла на фортепиано моя дочь, я сидел в свободное время возле шкапа и нервно записывал впечатления дня. Малейший шорох возле дверей и в коридоре заставлял меня прерывать работу и быстро вкладывать в ноты исписанные листы. Я знал, что в случае обнаружения моих записок мне грозит верная смерть, но я их вел беспрерывно и хотел записать то, что потом будет трудно восстановить в памяти».

11 октября 1919 года части Добровольческой армии вошли в Чернигов: «После девяти месяцев гнета, ужаса и полного обезличения личности» русские православные «вновь почувствовали себя людьми». На следующий день был издан приказ начальника гарнизона об аннулировании всех распоряжений и декретов советской власти. Но новые порядки установились очень ненадолго. 23 октября (5 ноября) 1919 года - в день своего рождения - 48-летний Дмитрий Васильевич вместе с частями Добровольческой армии оставил Чернигов. На этом настояла дочь Ольга, которую он отправил к родственникам в Киев, никак не предполагая, что они уже никогда не встретятся.

Ему предстоял путь сплошных лишений и страшных испытаний на Киев, Дарницу, Лубны, Кременчуг до Одессы, куда он прибыл 19 декабря. Здесь был сделан первый подсчет: из 36 человек, вышедших вместе с Дмитрием Васильевичем из Чернигова, в Одессу смогли добраться всего двенадцать.

Д. В. Краинский был назначен заведующим местами заключения в Одессе. Однако уже 7 февраля 1920 года город был оставлен. Эвакуировать морем смогли далеко не всех желающих уехать. Вся масса оставшихся (до 16 тысяч человек), обремененных многочисленными обозами, вышла из Одессы, взяв

направление к румынской границе, которая после аннексии Бессарабии Румынией в 1917 году располагалась по берегу Днестровского лимана.

Вместе с отрядом полковника А. А. Стесселя, остатками Добровольческой армии и беженцами Д. В. Краинский 10 февраля прибыл в Овидиополь, напротив города Аккермана, который был уже на румынской стороне.

В течение последующих трех суток ими было совершено несколько попыток перейти по льду лимана на румынскую сторону. Однако румынские власти не только отказались принять русских беженцев и военнослужащих, но и встретили их пулеметным и ружейным огнем. Поход проходил в очень тяжелых условиях - без отдыха, горячей еды и достаточной одежды.

В ночь с 15 на 16 февраля 1920 года в плавнях Днестра собралось до 6000 военнослужащих и беженцев - все что осталось от той колонны, что собралась в Овидиополе. К вечеру 16 февраля отряд перешел румынскую границу в районе села Раскаец. Однако на следующее утро румынские войска, установив на возвышенностях, окружавших село, пулеметы, открыли огонь по хатам села, где ночевали русские, и обозу. По свидетельствам врача Красного Креста, только в результате этого обстрела в госпиталь поступило около 150 раненых, а всего в окрестностях Раскаец румынские крестьяне собрали впоследствии около 500 трупов...

Тайно вновь перейдя на румынскую территорию 17 февраля и попав к румынским жандармам, Дмитрий Васильевич со спутниками «скитался по этапным пунктам ровно десять дней, проходя в день по 10-15 верст»... «Лишенные образа и подобия интеллигентных людей», они прибыли 11 марта утром в город Тульчу.

В записках Дмитрия Васильевича подробно описан этот страшный исход: «Ровно месяц люди скитались в самых ужасных условиях существования. Перенесши семидневный поход с боями и со всеми тяжестями обстановки отступающей армии без пищи и без сна, отступившие из Одессы отряды генералов Васильева, Мартынова и полковника Стесселя распались в с. Раскаец и гибли в плавнях реки Днестра. Отдельные группы, которым посчастливилось вступить на румынскую территорию, после долгих мучительных этапов, заедаемые вшами, были сосредоточены в Тульче, на Дунае».

При враждебном отношении румын к русским их жизнь была очень тяжела. Только штаб-офицерам было разрешено разместиться на частных квартирах. Все остальные содержались в румынской тюрьме, на голом земляном полу. Переутомленные, в

большинстве больные, расслабленные, почти все переболевшие сыпным тифом, с приморожеными конечностями, совершенно ограбленные, а во многих случаях растерявшие свои семьи, эти люди не могли отдохнуть и восстановить свои силы.

В апреле 1920 года из Тульчи на пароходе «Адмирал Кашеринов» с группой офицеров, чиновников, солдат и беженцев в числе 145 человек Дмитрий Васильевич отправляется в болгарскую Варну, куда прибывает 4 мая 1920 года. Здесь, на полу возле своего места, он «устроил себе впоследствии нечто вроде письменного столика, положив на двух кирпичах оторвавшуюся ставню-жалюзи и в этом укромном уголке, сидя на полу по-турецки, продолжал вести свои записки».

В Варне от одного из беженцев из Киева Краинский узнал о бедственном положении своих родных и решил во что бы то ни стало возвратиться в Россию: если не в качестве простого солдата, то в любой должности, «только быть в армии и идти вперед вместе с войсками», с надеждой выйти на пути, ведущие в родные края.

21 июля 1920 года он возвращается в Севастополь и через три дня назначается заведующим хозяйством дивизионного лазарета 2-й Кубанской дивизии, в котором было пять врачей, шесть сестер милосердия, 12 фельдшеров. Предстояли новые испытания, уже на Приазовье и Кубани.

28 июля кубанский десант отбыл из Севастополя в направлении Феодосии и Керчи. Первый раз за девять месяцев Дмитрию Васильевичу пришлось спать на мягком диване и сидеть за столом. Пароход «Мария» был пассажирским, здесь находились все санитарные учреждения и штаб отряда, который именовался «отрядом войск особого назначения». Во главе его стал генерал-лейтенант С. Г. Улагай.

Войска высадились в районе Ахтари практически без противодействия. 18 августа с рассветом к «Марии» подошел катер, на котором отбыл на берег и медицинский персонал лазарета. П. Н. Врангель вспоминал: «Генерал Улагай мог один с успехом *объявить сполох,* поднять казачество и повести его за собой. За ним должны были, казалось, пойти все. Отличный кавалерийский начальник, разбирающийся в обстановке, смелый и решительный, он во главе казачьей конницы мог творить чудеса».

Однако поднять кубанское казачество С. Г. Улагаю не удалось. Советский военный историк А. В. Голубев, сам участвовавший в боях с десантом Улагая, писал в 1929 году: «Улагай крепко держал в руках управление своими частями и, несмотря на ряд частных поражений, не допустил разгрома своих

главных сил. Это и дало ему возможность планомерно произвести обратную эвакуацию в Крым, забрав с собой не только все свои части, больных и раненых, но и мобилизованных, бело-зеленых, пленных красноармейцев, в том числе и раненых».

В эвакуации последних принимал участие и Д. В. Краинский. После неудачного десанта он возвращается с лазаретом в Керчь, а оттуда поездом в санитарном вагоне - в Севастополь. Здесь он встретился с братом, выдающимся психиатром, врачом Н. В. Краинским, которому в сентябре 1920 года удалось вернуться с острова Лемнос в Крым, в Русскую армию П. Н. Врангеля.

С тех пор братья уже не разлучаются, находясь на службе в санитарном управлении. 12 ноября 1920 года из Севастополя на грузовом корабле «Ялта», в жутких условиях, неимоверной тесноте, без еды, они (вместе с больными и ранеными) эвакуируются сначала в Константинополь, а потом, как невоеннообязанные, на положении беженцев отправляются морем (еще 9 суток без горячей пищи, а последние дни и без хлеба) в Королевство сербов, хорватов и словенцев.

Здесь же оказались многие русские врачи, в том числе ученик И. А. Сикорского, известный невропатолог М. Н. Лапинский, который организовал в 1921 годах при Загребском университете медицинский факультет и открыл кафедру и клинику нервных и душевных болезней. С ним Н. В. Краинский работал еще в 1917-1918 году на кафедре психиатрии и невропатологии Киевского университета. И вот их вновь свела судьба. В Загребе на кафедре у М. Н. Лапинского в должности ассистента, а потом доцента, профессор Н. В. Краинский начал работать с 1921 года. Через год Николай Васильевич становится начальником госпиталя для русских в имении Лобор возле города Златар (Хорватия), а после закрытия его - врачом в хорватском селе Хашина (с июня 1924).

Вместе со своим братом был и Дмитрий Васильевич, который в том числе давал и уроки музыки. А с 1926 года он становится учителем музыки в Харьковском институте благородных девиц в Нови Бечей.

В конце ноября 1919 года институт, отслужив напутственный молебен и захватив только часть имущества, спешно покинул Харьков в составе 157 воспитанниц, 38 человек персонала и 46 членов семей служащих. Он был эвакуирован сначала в Новочеркасск, затем Новороссийск, оттуда - в Варну... Тихое пристанище Харьковский институт Императрицы Марии Федоровны под руководством М. А. Неклюдовой наконец нашел в Сербии.

Он начал работу с марта 1920 года в местечке Нови Бечей в

трех корпусах бывшей Мадьярской школы и оставался одним из центров русской эмигрантской жизни в Сербии до своего окончательного закрытия в 1932 году.

При институте имелась прекрасная библиотека в 10 тысяч томов, классы рисования, музыки, рукоделия и пластической гимнастики. Устраивались вечера в русском духе, вокально-музыкальные концерты, постановки спектаклей, традиционная елка с Дедом Морозом. В начале 1930-х годов для улучшения материального положения Харьковский и Донской девичьи институты были объединены, получив новое название «Русский девичий институт имени Императрицы Марии Федоровны»[15].

После закрытия Института Дмитрий Васильевич остался в Нови Бечей: давал уроки музыки, рисовал, занимался лепкой, научился плести корзины из лозы. Вместе с тем он приводил в порядок свои дневниковые записи, которые из-за болезни прервались 9 (22) октября 1934 года.

30 октября 1934 года Н. В. Краинский получил телеграмму о том, что младший брат тяжело болен. Он перевез его для лучшего ухода и лечения в Белград. Но это уже не помогло. После мучительной болезни (рак) Дмитрий Васильевич умер 13 марта 1935 года на руках своего старшего брата.

Перед этим он, по словам Николая Васильевича, с чувством глубокой веры исповедался и причастился. А после совершения таинств произнес: «Как я счастлив» - и поцеловал священнику руку.

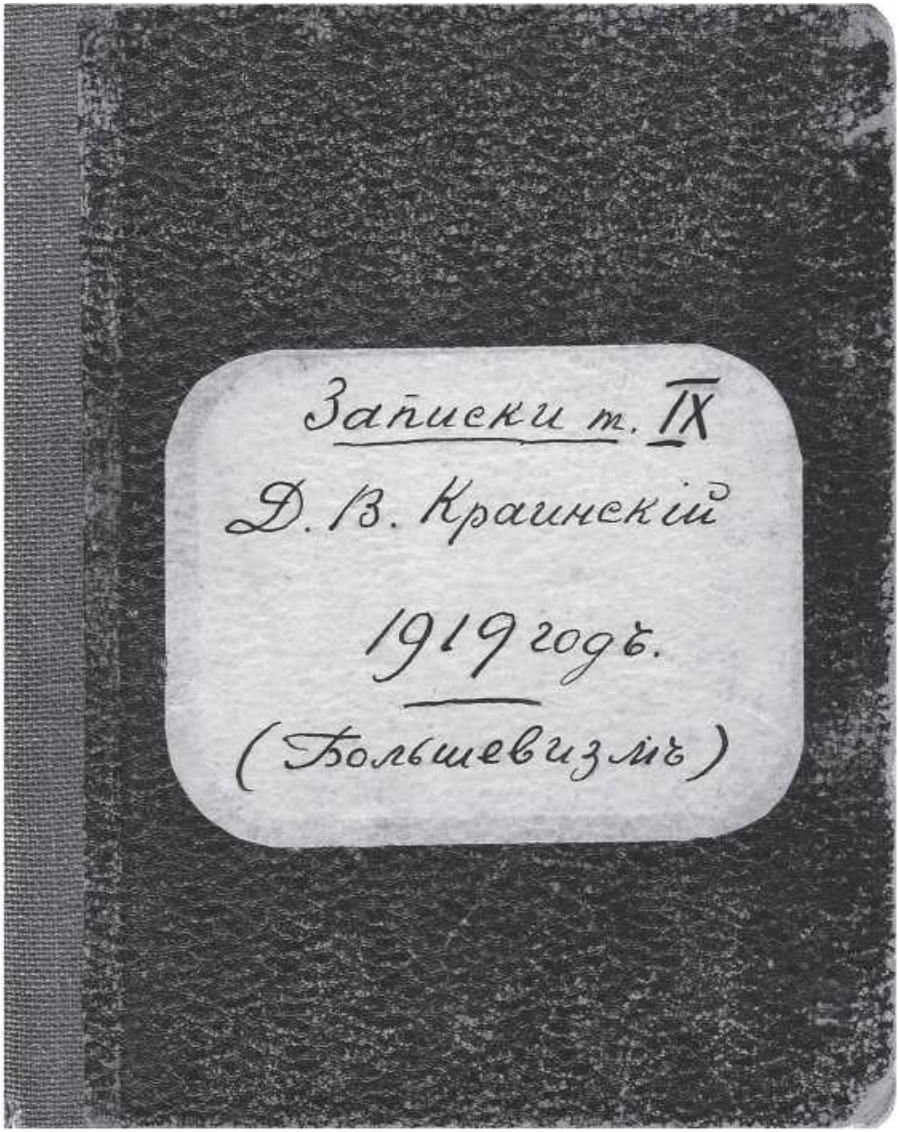
Ему «хотелось еще увидеть своих, свои родные места и умереть на Родине». Но похоронен он был в Белграде.

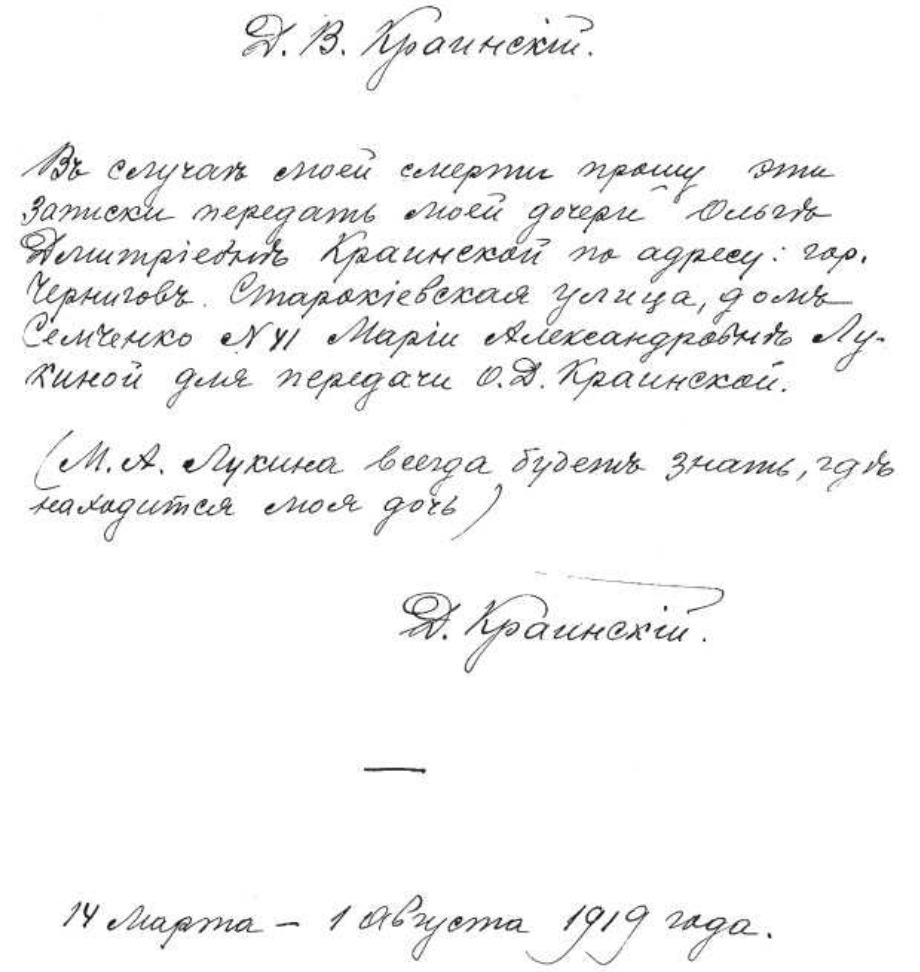
Записки его остались у брата, а после отъезда Н. В. Краинского из Белграда и Сербии следы их затерялись на многие десятилетия.

И вот наконец мы получили возможность сделать их доступными не только для родных и близких, но и для более широкого круга думающих неравнодушных читателей, не теряющих надежды на духовное процветание России и реально желающих участвовать в ее возрождении.

ЧАСТЬ 1
БОЛЬШЕВИЗМ 1919-1920

ЗАПИСКИ. Т. IX
БОЛЬШЕВИЗМ. 1919 ГОД. ЧЕРНИГОВ




Д. В. Краинскій.

Въ случаѣ моей смерти прошу эти записки передать моей дочери Ольгѣ Дмитріевнѣ Краинской по адресу: гор. Черниговъ. Старокіевская улица, домъ Семченко № 41 Маріи Александровнѣ Лукиной для передачи О. Д. Краинской.

(М. А. Лукина всегда будетъ знать, гдѣ находится моя дочь)

Д. Краинскій.

14 марта – 1 августа 1919 года.

В случае моей смерти прошу эти записки передать моей дочери Ольге Дмитриевне Краинской по адресу: гор. Чернигов, Старокиевская улица, дом Семченко № 41, Марии Александровне Лукиной для передачи О. Д. Краинской.

(М. А. Лукина всегда будет знать, где находится моя дочь)

Д. Краинский

14 марта - 1 августа 1919 года

15 августа 1920 года на Кубани при отступлении из станицы Гривенской мы были окружены большевиками. На горизонте появилась большевистская конница. Многие начали срывать с себя погоны. Сестры милосердия рвали на мелкие куски свои документы, которые подхватывались ветром и разносились по дороге. Сначала я не понял, что это значит; меня поразила масса бумажек, летавших по воздуху, но через минуту я сообразил, к чему это делается, и схватился за свои записки, которые были у меня в сумке. Не было сомнения, что минут через десять мы

будем в руках большевиков. Прежде всего мне нужно было уничтожить тетрадку с записями членов Черниговской организации беженцев, и я быстро разорвал на мелкие куски тетрадь.

Мне было жаль уничтожать свои записки. Я веду их с 1903 года беспрерывно. Первые восемь томов, доведенные мною до 1 января 1918 года, я сдал на хранение в украинский музей В. В. Тарновского. Два тома, обнимающие собой периоды Гетманщины и Петлюровщины на Украине, а также первые дни большевизма в начале 1919 года, хранятся в Чернигове у Марии Александровны Лукиной, которая, конечно, сохранит их, если только ей это удастся.

Продолжение этих записок я вел по свежей памяти в дороге, уйдя уже из Чернигова вместе с добровольцами. Первый том этих записок заключал в себе описание жизни в Черниговской губернии во время большевизма и инквизиции в тюрьмах. Эту тетрадь я уничтожил вместе с указанными документами, еще не обработанными.

Доктор Любарский остановил меня за руку в тот момент, когда я вынимал из сумки вторую тетрадь. «Обождите», - сказал он. Батарея, которая шла на рысях нам навстречу, снялась с передков и открыла беглый огонь по надвигавшейся коннице. Было видно, как конница рассеивалась и поворачивала обратно. Доктор Любарский, сидевший рядом со мною на повозке, говорил мне, что он хотел было остановить меня, но не решился советовать в таком серьезном деле. Он жалел больше тетрадку с делами Черниговской организации, где были списки убитых и умерших черниговцев. Эти сведения мы собирали везде, где только были. Впоследствии мы рассчитывали сообщить эти сведения на Родину.

Я решил по возможности восстановить хотя бы в кратких чертах те сведения, которые были подробно изложены в первом томе моих мемуаров. Свободного времени у меня много, но, конечно, многие детали, как равно даты, фамилии, изгладились в памяти. Исчезли безвозвратно, конечно, записанные мною показания и рассказы очевидцев и потерпевших, излагавших свои переживания. Этого не восстановишь, но, если бы нам пришлось вернуться домой в Чернигов, то часть этого материала, думаю, сохранилась у М. А. Лукиной и у моей дочери, которые несомненно знают ему цену и постараются спасти все, что будет возможно.

Мне хочется восстановить этот том моих записок, потому что тогда в моих записях не будет перерыва и вся картина общественной жизни не только с начала революции, но и

предшествующего ей времени будет изображением пережитого в целом его виде и в известной последовательности. Затруднение у меня только в одном. Нет тетради, нет и бумаги. Впрочем, я заведую на пароходе «Ялта», стоящем на Константинопольском рейде в Мраморном море, перевязочным материалом и имею поэтому много оберточной бумаги. Буду писать на ней. Мы стоим в море десятые сутки и Бог весть когда и куда будем направлены.

11 ноября 1920 года Мраморное море Пароход «Ялта»

* * *

14 марта 1919 года

Два с половиной месяца господства большевиков в Чернигове отодвинули далеко назад прежние уклады жизни. Жизнь обывателя стала иной, неузнаваемой. Таращанский и Богунский полки, разгромившие Чернигов, ушли дальше на юг. Киев и Одесса пали. Французские войска под натиском большевиков спешно отошли к румынской границе. Обыватель недоумевал, как смогли союзные регулярные войска бежать от таких банд, какими были эти большевистские полки. Но факт был несомненным. Г. Ястремский, прибывший в Чернигов, видал, как панически бежали французы.

В Чернигове остался воинский гарнизон и комплектовался отряд Чрезвычайной комиссии. Обыватель с проклятием в душе увидал в этих частях латышей и китайцев и узнавал австрийских военнопленных. Хлеб, стоивший еще накануне прихода большевиков 1 руб. 20 к., возрос в цене до 30 руб. за фунт. Жизнь ломалась во всех ее проявлениях и ставила обывателя в недоумение: бунт ли это черни и солдат или большевики создают новый уклад жизни.

Пока во главе исполкома стояли местные большевики, обыватель разрешал вопросы очень просто - «это продолжается революция» - и думал, что теперь будет то же самое, что было при первых большевиках, когда «Сонька Соколовская» была председателем совета солдатских депутатов. Но в Чернигов нагрянули настоящие большевики в кожаных штанах и с револьверами за поясом. Они сменили местный состав губисполкома, и обыватель понял, что это не только солдатский бунт, а что-то еще страшнее.

Бесчинствующие войска ушли, а между тем большевики проявляли свою власть решительно, смело, ни с чем не считаясь, а противодействия не встречали. Ограбленный обыватель платил громадную контрибуцию и понял, что это дело нешуточное. Хранившиеся в банке сбережения и капиталы горожан были реквизированы. Никто не имел права иметь на своем счету больше 10 000 руб. Сейфы в банках были опустошены и все

имущество клиентов забрано. А между тем нужно было платить контрибуцию десятками и сотнями тысяч. Большевики с этим не считались и говорили: «Мы знаем, вы спрятали деньги, платите откуда хотите». И обыватель платил. А тот, кто не мог или не хотел уплатить, оказывался в тюрьме.

Многие хотели уехать куда-нибудь из Чернигова, но было уже поздно. Для выезда нужно было иметь разрешение большевистских властей, которые зорко следили за тем, чтобы никто без достаточных оснований не покидал город. В поезд пускали только того, кто имел командировку или разрешение Чрезвычайки. Обыватель был прикреплен к месту и, как в мышеловке, метался во все стороны. Впрочем, если бы даже и можно было выехать, обыватель никогда не решился бы ехать.

На всех станциях были большевистские комиссары, которые вылавливали буржуев, офицеров и контрреволюционеров и тут же на станциях расстреливали. Особенно опасны были узловые станции. Мы знали, что на станции Круты ежедневно бывали такие случаи. Тут же, на перроне или в нескольких шагах от полотна железной дороги, матросы выстраивали несчастных пассажиров и расстреливали их в затылок. Нам говорил начальник станции Чернигов, что его коллега со станции Круты чуть было ни сошел с ума от этого ужаса.

Как мы излагали выше, в уездах шла вакханалия пролетариатской массы. Все, кто только мог, своевременно выехал из уездов или попросту бежал или в губернский город, или дальше. Это называлось тогда эвакуацией, но большевики, как известно, опережали эту эвакуацию и заставали целые эвакуированные учреждения в губернском городе. В Чернигов прибыл чуть ни в полном составе Стародубский окружной суд. Из Конотопа, Нежина, Борзны, Глухова бежали от большевиков на Киев. Большевики не расправлялись с этими беженцами, а гнали их обратно в те места, откуда они бежали. «Там знают вас лучше», - говорили они, и расправа шла на местах. Положение некоторых было отчаянное. Мы знаем начальников тюрем, которым пришлось ехать в свои уезды, где места их заняли уголовные арестанты, сидевшие в этих тюрьмах. Мне удалось спасти некоторых (Владимирского, Тарновского, Бойко). Я убедил комиссара Гутмана оставить их при губернской тюрьме.

В общем, в уездах делалось то же самое, что происходило в губернском городе. Имения, фабрики, заводы, как равно частные, акционерные и общественные предприятия, были национализированы. Большевики упразднили почти все казенные учреждения и вводили свои. Чиновники, оставшиеся без службы, вынуждены были перейти на службу в советские учреждения.

Были упразднены даже земские и городские учреждения, общественные и частные банки, клубы и т.д. Вместо них возникло бесконечное множество советских учреждений. Учреждения эти широко раскрыли двери местному населению. Канцелярии увеличились до невероятных размеров. Там, где штат был в 10-15 человек, число служащих утроилось. В канцелярии принимались все без разбора. Кто хотел служить, тот получал место в очередь через биржу труда.

Биржа посылала в учреждения очередного работника, вовсе не считаясь с его знаниями, способностями и пригодностью к службе. Частная торговля, мастерские и предприятия закрылись. Тысячи людей остались без заработка. Мастерицы дамских шляп, белошвейки, портнихи, приказчики, сапожники, официанты и прочие записывались в биржу труда и получали места секретарей, делопроизводителей и писцов в советских канцеляриях.

В милиции и Чрезвычайке служили почти сплошь бывшие арестанты. В особенности большую роль играли совсем юные, почти мальчики, евреи. Они умудрялись устраиваться не в канцеляриях, а на бойкие должности. Многие из них сделались комиссарами или вертелись возле них. Положение их было неопределенное, но они имели большой вес. Они, как местные люди, знали всех и прошлое каждого. От них скрыться было нельзя, и они давали характеристику и оценку каждому. Как прислуга в первые дни большевизма выдавала своих господ, так теперь эти «товарищи» предавали людей старого режима.

С первых дней большевизма в Чернигове занял особое положение лет 20 юноша-еврей Ансель Извощиков, которого знал весь город. Он был с детства билетером в театре и кино. Мы знали издавна этого мальчика и всегда давали ему за программы больше, чем следовало. Он провожал таких людей на свои места и называл нас «хорошими господами». Но была и такая публика, конечно, из гимназистов и студентов, которая вступала с ним в пререкания и называла его «жидом». Теперь эта молодежь гибла. Погиб между прочим за это и молодой студент-офицер Цилюрик. В руках Извощикова была жизнь многих людей в Чернигове.

Все же вплоть до 14 марта во многих отношениях чувствовалась какая-то неопределенность, и обыватель не вполне уяснял себе общее положение. Говорили, что частная собственность отменена и даже будто бы есть декрет о том, что никто не имеет права иметь более какого-то очень малого количества золота, так что золотых часов, например, нельзя было иметь. (Этот декрет мы потом видели, но не можем припомнить, сколько золотников разрешалось иметь.)

14 марта неожиданно для обывателя с утра во всем городе

начались обыски. Каждый квартал был оцеплен красноармейцами. Город был разбит на участки, и одновременно всюду начались обыски. Обысками руководили все комиссары и ответственные советские работники. Мы были счастливее других. Обыск у нас был рано утром, и руководил обыском знавший меня тот же агент Чрезвычайки Извощиков. Он отнесся к нам исключительно благосклонно, так как он был когда-то учеником музыкального училища, а я был в то время одним из директоров отделения И.Р.М.О. и преподавателем училища. У нас отобрали только белье и одежду, а про другие излишки только спросили. Извощиков объявил мне, что я имею право оставить себе только три смены белья, один костюм, одну пару башмаков, шляпу и пальто. Все остальное я должен был сдать. Это казалось чем-то диким, несуразным, но пришлось отдать все, и я получил в сдаче этих вещей квитанцию. Было обидно, но присутствие семи вооруженных красноармейцев лишало возможности возражать.

Мы пошли после этого обыска на службу и пришли в ужас. В городе шел повальный грабеж. Из домов и квартир выносили буквально все, что представляло какую-нибудь ценность. Почти возле каждого дома стояли извозчики, подводы, автомобили, грузовики, на которые накладывали сундуки, тюки, одежду, белье, целые штуки и обрезки материи, самовары, посуду и даже безделушки: подсвечники, канделябры, чернильницы, лампы, шкатулочки и т.д. Это делалось на законном основании по указке из Москвы. У жителей отбирали излишки. Под вечер целые обозы с отобранными у жителей вещами тянулись к вокзалу.

Куда направляли эту добычу, мы не знаем. Мы видели, возвращаясь со службы, этот обоз и заметили, что одна из повозок была нагружена каракулевыми саками. Мы были на службе. Наш комиссар Абрамов участвовал в обыске в квартале, где помещалась тюремная инспекция. Мы видели из окон, как Абрамов с солдатами выносил из квартиры полковника (скрывшегося) громадный свернутый ковер, сундуки, шубу, самовар и прочие вещи.

Занятий, конечно, не было, и уйти домой было нельзя. Мы все время стояли возле окон и с ужасом смотрели, что делается на улице. Все служащие с отчаянием брались руками за голову и шептали: «Боже, что делается у меня дома». Очень часто мимо нас проезжали пролетки и подводы, наполненные обывательскими вещами. Возле них шли вооруженные красноармейцы. Несколько пролеток проехало с арестованными. Их везли в тюрьму. Заходившие в Инспекцию по делам растерянно рассказывали, как в городе всех поголовно грабят. На каждом углу и у подъездов стояли группами вооруженные солдаты. Это был одновременно

обыск, отобрание излишков, реквизиция и грабеж. Было страшно идти по улице.

Уже на следующий день стало известно, что это был за обыск. Комиссары лично снимали с обывателя часы, цепочки, кольца, браслеты и отбирали кошельки с деньгами и бумажники. Солдаты-красноармейцы в свою очередь грабили обывателя. Особенно тяжелы были обыски, в которых участвовали матросы, латыши и военнопленные австро-венгерцы. Они были беспощадны и отбирали буквально все, снимая даже с детей и женщин нательные крестики с золотыми и серебряными цепочками.

К трем часам в инспекцию явился Абрамов. Мы разошлись по своим местам. Абрамов пришел ко мне в кабинет и весь красный, смущенный, не смотря мне в глаза, заявил, что в городе обнаружен контрреволюционный заговор, так что пришлось сделать повальный обыск и искать оружие. Я спросил его, почему же у жителей отбирали вещи. Абрамов ответил мне, что этим занимались красноармейцы, которых трудно было удержать. К тому же у некоторых оказалось много излишков. Я помню этот ответ Абрамова в точности и знал, что он говорит мне неправду.

Разговор у нас не вязался. Было как-то неловко, и Абрамов перевел разговор на курьеров. Это был для нас серьезный вопрос. Командированный в инспекцию для несения службы курьера тюремный надзиратель Н. Н. Лозовский опознан как служивший во времена гетмана в г. Новозыбкове в варте и на днях расстрелян. Абрамов назначил другого курьера из амнистированных каторжан. Я не могу припомнить его фамилии, но он мой земляк из Остерского уезда и знал давно меня и моего отца (он служил кучером у О. В. Шрамченко). Я его не боялся. Напротив, это был свой человек, который относился ко мне доброжелательно и с уважением. Он был случайным преступником военного времени.

Этот повальный обыск вызвал протест рабочих. Но они протестовали не против грабежа вообще, а против отобрания вещей у рабочих. «Губисполком» постановил возвратить рабочим отобранные у них вещи. Этот повальный грабеж имел и свои положительные стороны. Грабили всех - и бывших буржуев, и чиновников, и состоятельных, и бедных людей. Отбирали излишки у всех одинаково. Это был день перелома в настроении обывателя. Тот, кто грабил сам в начале революции, был теперь ограблен наравне с прочими. В городе стоял ропот. Но протестовать никто не решался. Обыватель увидел свои вещи уже на следующий день на базаре и во многих случаях скупал их по баснословно высоким ценам. Тут были тюлевые занавески,

гардины, ковры, скатерти, одеяла, салфетки, ножи, вилки, посуда, одежда, обувь, золотые и серебряные вещи и даже фотографические карточки обывателей в рамках в том виде, как они стояли на письменных столах.

Но еще больше освирепел обыватель, когда узнавал на улицах свои платья, шубки, шляпы на комиссаршах и советских служащих, главным образом на еврейках. Теперь только население поняло, что вопрос идет не о буржуях и «господах», а об отрицании права собственности для всех без изъятия. Многие, конечно, были жестоко наказаны. Они думали, что большевизм их не коснется, и потому злорадствовали, когда большевики расправлялись вначале с людьми, которым они завидовали и считали выше себя стоящими.

Теперь большевизм захватил решительно всех и распространялся одинаково на все классы населения. Вне реквизиций были только одни большевики. Жилось свободно и вне опасности только те, кто грабил. Только их личность была неприкосновенна, и только они пользовались всеми благами жизни.

У жителей ликвидировали положительно все и говорили, что большевики делают это для народа. Но обыватель видел, что это не для народа, а для большевиков. Комиссар Абрамов имел теперь никелированный самовар, такой же чайник, серебряные ложки и посуду. Раньше все это принадлежало другому. Комиссар Хвиля сам хвастался, что он наполнил свои сундуки буржуазным имуществом. Ковры не нужны были народу, но они украшали теперь квартиры и комнаты комиссаров.

Мы видели, для кого большевики реквизировали экипажи и лошадей. В фаэтоне на дутых резиновых шинах, реквизированном у Лагутина, ежедневно по городу каталась жена какого-то комиссара с подругами. Ежедневно утром мы видели комиссаров, ездивших на службу в экипажах, отобранных у населения. Браслеты, кольца, золотые часы не нужны были народу и не распределялись между беднейшим классом населения. Их носили большевики. Согласно декрету рабоче-крестьянского правительства, все золотые вещи должны были быть сданы в казну. Между тем комиссары, солдаты и советские служащие имели при себе золотые портсигары, массивные часы, цепочки, кольца и т.д.

И все это обыватель отлично видел и понял, что такое большевизм. Зато и большевиком становился каждый, кто этим путем желал создать себе благополучие. Большевики хвастались тем, что при них прекратились уличные грабежи и разбои, но это была только игра слов и логическое последствие их системы.

Преступников в прежнем значении этого слова не могло быть. Преступление было теперь дозволенным явлением, но совершалось под флагом большевизма. Зачем было грабить в одиночку, когда можно было взять у обывателя все что угодно под предлогом обыска и реквизиции. Грабили все - и большевики, и не большевики. Достаточно было надеть солдатскую шинель или френч, и обыватель не сопротивлялся, так как жаловаться было некому и бесполезно.

Наши местные профессиональные преступники, бывшие воспитанники исправительной колонии для несовершеннолетних (Качура, Колбаса, Хвостенко, Усенко, Макаренко, Зогий и другие) приспособились к новому режиму отлично. Они были коммунистами, членами Красной армии и советскими служащими. Они очень удачно пользовались своим положением и имели возможность производить обыски. И они это делали. Они отлично знали всех обывателей и знали, что у кого есть. Жена Качуры (Лена, бывшая моя кухарка) говорила как-то моей крестнице Кате Терлецкой, что она простить себе не может, что выпустила из рук мои сундуки с бельем моей дочери, которые ее муж по глупости согласился перевезти на квартиру к Лукиной.

Мои бывшие питомцы (по колонии для несовершеннолетних) не решились идти ко мне с обыском, но мое «богатство» не давало им покоя, как говорила Катя, и они подали в жилищную комиссию заявление с указанием, что весь амбар у Лукиных заполнен моими вещами. Случайно они дали неточный адрес, и жилищная комиссия не настаивала на розыске моей квартиры, так как таких доносов была тьма. Впрочем, и винить их нельзя. Соблазна было слишком много. Василий Качура говорил мне, что у каждого красноармейца в сумке «чего только нет». Там у каждого целый галантерейный магазин.

* * *

Центральными фигурами большевизма в Чернигове были прежде всего председатели Чрезвычайной комиссии. Мы знали трех. Левин - еврей из г. Городни. Это был первый председатель Чрезвычайки. При нем еще только начинался террор, так что в смысле расстрелов деятельность Левина была терпима. Мы знали это по собственному опыту. После первого столь благополучно для меня закончившегося ареста еще дважды группой большевиствующих тюремных надзирателей (Якуба, Зогий, Безкоровайный, Скворот) был поднят вопрос о том, что меня надлежит арестовать как контрреволюционера.

Два бывших арестанта (фамилии их мне узнать не удалось), состоящие агентами Чрезвычайки, запротестовали и заявили, что я был по отношению к заключенным всегда справедливым и

доброжелательным. Один из них даже приводил случай какого-то особо хорошего с моей стороны поступка, и ЧК постановила дело обо мне не возбуждать. Эти арестанты-чекисты дважды не дали меня арестовать. При Левине расстрелов было мало. Убийства производились помимо ЧК по почину отдельных лиц, сводивших личные счеты. Но зато Левин был специалист по реквизициям и отобранию излишков.

Помещение ЧК было завалено отобранными у жителей вещами. Тут были золотые и серебряные вещи, дорогие письменные приборы, посуда, священнические кресты, рясы, шубы, ковры, лампы, занавески и прочее. Эти вещи даже как будто регистрировались, но громадная часть их разбиралась чекистами. Обычный способ был обменять вещь, то есть положить кожаный или деревянный портсигар и взять золотой или серебряный. Это был легальный способ, доступный каждому чекисту. При председателе Левине Чрезвычайка была не так страшна, как потом. Все-таки при нем из тюрьмы и ЧК можно было вновь получить свободу.

Красный террор принял грандиозные размеры при следующих двух председателях Чрезвычайки - Раке и Гаргаеве. Кто были эти люди, мы точно не знали, но оба они были простолюдины и не имели отношения к Черниговской губернии. Рак был страшен по своей жестокости. Говорили, что он матрос. Он был беспощаден. Его боялись даже коммунисты. Еще страшнее был Гаргаев, доведший террор до стихийных размеров. О нем рассказывал нам доктор Тимошак, лечивший этого зверя. Гаргаев - бывший каторжник. Наружный вид его, по словам доктора, каторжный. К тому же он был кокаинист и истеричный субъект. Он трус, говорил нам доктор, панически боящийся восстаний и неожиданной перемены власти.

При Чрезвычайке было множество агентов. Мы знали не многих и больше в лицо, чем по фамилиям. Наиболее известные были: Ансель Извощиков, Голушко, матрос Дехтеренко, который всегда при обысках кричал, что он мать свою не пожалеет, сын сапожника-еврея Рейс, жившего в подвальном этаже дома Зароховича, сын какого-то резника с Десны, злая еврейка (кажется по фамилии Медведева), жестокий матрос на деревянной ноге, чиновник контрольной палаты из писцов Морочевский, еврейка Белла Шильман.

Впрочем, в отношении этих двух последних мы точно не знали, состояли ли они агентами ЧК или были только ярыми коммунистами. Морочевский был комиссаром Контрольной палаты и всегда ходил с револьвером у пояса. Про него говорили, что он участвовал в каких-то собраниях, где выносили смертные

приговоры. Морочевского мы знали раньше. Это был неудачник, который дальше писца ни при одном государственном строе двинуться не мог. Таковы были и его братья: один коммунист, другой меньшевик. Белла Шильман была страшна по своей злобе, и злоба ее была понятна. Она была сестрой расстрелянного отрядом Бродовича (при гетмане) еврея Шильмана - коммуниста.

Едва ли не превзошел всех своею жестокостью Ансель Извощиков, о котором мы упоминали раньше. Он начал с небольшого. В первые дни большевизма он суетился и путался всюду, выдавая большевикам всех «старорежимников» и беспощадно сводя личные счеты. Очень скоро Ансель Извощиков занял в Чрезвычайке особое положение. Одного слова Извощикова было достаточно, чтобы быть расстрелянным. В качестве помощника коменданта Чрезвычайки Ансель был исполнителем постановлений ЧК и принимал личное участие в расстрелах. Он был жесток и издевался над арестованными.

Нам рассказывал сидевший в Чрезвычайке М. А. Сахновский (учитель гимназии), что очень часто, нарочно и громко, Извощиков отдавал по телефону распоряжение, чтобы сегодня на ночь приготовили грузовики и лопаты на столько-то человек. Подлежащие расстрелу должны были сами копать себе могилы, и потому при исполнении казни бралось столько лопат, сколько человек расстреливалось. Не всегда это распоряжение совпадало с действительностью, и несомненно Ансель говорил это для того, чтобы попугать заключенных. Он достигал своей цели. Каждый го -тов был идти на казнь и переживал ужас. Там, где появлялся Извощиков, там была смерть.

Я спрашивал сверстников Анселя, учеников музыкального училища, чем объяснить жестокость и злобу его. Семья Анселя была бедная еврейская семья. Отец его был папиросником. Ансель не мог выйти в люди, потому что он был еврей. И вот теперь он мстил и за себя, и за семью, и за весь еврейский народ. Так объяснил мне Мусницкий - еврей, знавший отлично Анселя. Удивительно, что наружность Извощикова не соответствовала его жестокому нраву. Он был всегда чисто и аккуратно одет. Его миловидное лицо с красивыми глазами возбуждало к нему скорее симпатию, чем неприятные чувства. Будучи билетером, он охотно и вежливо прислуживал публике, так что посетители театра и кино баловали Анселя и давали ему щедро «на чай».

Своей жестокостью Извощиков сделал себе карьеру. Он был переведен в Киев, помощником коменданта Киевской ЧК, где проявил себя еще большим зверем. Извощиков ни перед чем не останавливался. Он грабил при обысках и переходил всякие границы даже с точки зрения большевиков. Он сделался

миллионером и говорил, что в случае перемены власти уедет с семейством в Америку. Перед уходом его в Киев в городе распространился слух, что Ансель предается суду революционного трибунала. Это имело основание и, как говорили, послужило причиною перевода его в Киев. Против Извощикова была настроена более умеренная еврейская молодежь и даже некоторые коммунисты. Ему нельзя было оставаться в Чернигове. Сверстники Анселя говорили мне, что никогда не могли думать, чтобы он мог проявить себя таким жестоким человеком.

Типичным большевиком был начальник карательного отряда при Чрезвычайке Федор Голушко. Мы слыхали о нем очень многое, так как он поселился в одной из комнат квартиры наших знакомых Щелкановцевых (на углу Хлебопекинской улицы в доме Остапенко), бросивших перед приходом большевиков свою квартиру и укрывшихся у своих знакомых Перошковых. Прислуга Щелкановцевых Маша и «подкучерок» Степан остались в квартире Щелкановцевых. Перед уходом с квартиры Щелкановцевых в их квартире поселились отступившие из г. Березного три офицера, из коих двум удалось скрыться, а третьего, Анатолия Дмитриевича Сурова, большевики застали на этой квартире и, конечно, мобилизовали, как строевого офицера. Офицер Суров был известен как ярый монархист, но судьба уготовила ему не только служить у большевиков, но и жить в одной квартире с чекистом.

Через Сурова мы получили вполне определенное представление о личности «товарища Голушко». Это был солдат-фронтовик, вероятно из унтер-офицеров разложившегося или вернее взбунтовавшегося фронта. Им очень дорожили большевики, так как он отлично знал строй. Как ни странно, Голушко полюбил офицера Сурова. Он часто заходил к нему в комнату и вел с ним беседы. Два раза Голушко содействовал к освобождению Сурова из-под ареста. Голушко держал свой отряд в строгости и бил красноармейцев «по морде».

В беседах с Суровым у Голушко иногда срывалось признание, что пора бы прекратить кровопролитие, а однажды он сказал, что хотел бы со своею частью перейти на сторону добровольцев. А. Д. Суров считал это признание провокацией и потому был осторожен, но чем дальше, тем тоскливее и глубже стали звучать признания Голушко. Старого солдата по привычке и воспитанию тянуло больше к своему офицеру, чем к товарищам-чекистам. Бунт ему надоел - потянуло к порядку, к старым традициям, к прежним формам жизни. Он уже открыто говорил, что если бы случилось, то он присоединился бы к добровольцам.

И действительно, впоследствии говорили, что возле г. Нежина Голушко сделал попытку перейти в лагерь белых, но замысел его был обнаружен и ему угрожал расстрел. Для реабилитации ему было предложено собственноручно расстрелять 14 пленных добровольцев. И он это сделал. В лице Голушко мы видим, таким образом, взбунтовавшегося фронтовика-солдата, который и рад был бы прекратить бунт, но зашедшего так далеко, что возврата уже не было.

Знакомство с жизнью Голушко в квартире Щелкановцевых дало нам возможность познакомиться до некоторой степени с бытовой стороной жизни чекистов. Е. Р. Щелкановцева решилась как-то обратиться к Голушко, как имевшему вес у большевиков, ходатайствуя за мужа сестры товарища прокурора Борисова, арестованного с другими по обвинению в контрреволюционном заговоре. Голушко принял Щелкановцеву рано утром, лежа в кровати и куря папиросу. Голушко жил со своей сестрой, простой, полуграмотной женщиной, которая тоже служила в качестве машинистки в ЧК. Эта женщина была до такой степени проста, что даже не могла поддержать разговор. Это была простая деревенская женщина, лишь одетая по-городски. Она даже не была злобная и соглашалась, что напрасно большевики так жестоко расправляются с буржуями. Сестра эта оказалась потом не сестрой Голушко, и весной он женился на ней.

Свадьба эта была большевистской свадьбой. О ней рассказывала Маша, которая готовила всевозможные блюда, закуски и заливное. Маша смеялась. Сервировка была отличная. Сервиз фарфоровый был где-то среквизирован. Ножи, вилки, ложки, никелированный самовар, чайник были тоже реквизированы. Были салфетки, скатерть. Но «товарищи» ели больше руками, все с одной тарелки, а селедку таскали с блюда пальцами и прямо клали в рот. На свадьбе была вся Чрезвычайка с Гаргаевым и его женой во главе. Впрочем, и тут сказалось местничество. Низший персонал приглашен не был, что возбудило среди служащих большое негодование.

Обиделся и Степан (подкучерок), желавший выпить и закусить. Степан, занявший положение вроде дворника этого дома, впал в милость к Голушко. Чтобы освободить его от мобилизации, Голушко зачислил фиктивно Степана шофером ЧК, и таким образом Степан остался при квартире Щелкановцевых, прислуживая и Голушко, и тем, кто жил в этой квартире. Ели и пили допьяна и до отвала. Готовила Маша, и потому сомнений быть не могло. В городе был уже страшный голод, а здесь было все как по-старому у богатых людей. Закуски, пирожные, поросенок, вина, ликеры, кофе. Этот пир хамов, конечно,

кончился скандалом. В пьяном виде матрос на деревянной ноге ударил кого-то по физиономии, и Гаргаев приказал его арестовать.

Ужасное положение было А. Д. Сурова. Он решил не выходить из своей комнаты. Но к нему явился Гаргаев и потянул в общую комнату. Нужно было идти. Суров охмелел. Гаргаев играл на гитаре. Чекисты пели. Когда запели «Волгу», Суров не выдержал и запел тоже. У него оказался прекрасный голос. Матрос на деревянной ноге начал уговаривать спеть «Интернационал». Суров наотрез отказался. Начался крупный разговор, но публика была отвлечена вышеуказанным скандалом. Гаргаев с гитарой и Голушко ушли вместе с Суровым в его комнату. Разошлись поздно все пьяные. Гаргаев забыл даже в комнате Сурова свою гитару, которая валялась там недели две.

Обыватель панически боялся ЧК и обходил ее окольными путями. Сначала при Левине Чрезвычайка помещалась в гостинице «Эрмитаж» по Шоссейной улице. Затем ее перевели в бывшее помещение Государственного банка на Александровской улице, но скоро были открыты филиальные отделения в доме Зароховича по Александровской улице и доме Посудевского по Воскресенской улице. Это последнее отделение считалось каким-то таинственным. Говорили, что там всегда председательствует какой-то гвардейский офицер, и называлось оно как-то особенно.

Чекисты жили отлично. Мы помним громовые статьи в «Известиях» по поводу реквизиции Чрезвычайной комиссией буфета Александровской гостиницы. В этом лучшем в Чернигове ресторане служащие Чрезвычайки устроили себе столовую. Фактически это был прежний ресторан с прежними поварами, взятый под покровительство чекистов. Здесь можно было иметь все что угодно. Ежедневно подавалось мороженое, утки, гуси, поросята, салат оливье, рыба, и здесь проводили все свободное время чекисты, имея в отдельной комнате спирт, водку, ликеры и даже шампанское.

К апрелю в городе уже стоял голодный стон. Кусок ржаного хлеба считался лакомством. Советский хлеб был суррогатом и больше чем на половину состоял из гречневой муки. Паек на человека был 1/8 фунта. Тем временем в Александровской гостинице в окнах заманчиво висели плакаты «сегодня блины», «сегодня мороженое», «сегодня расстегаи». Мы видели это лично, проходя мимо ресторана Александровской гостиницы. Мы знали, чем была вызвана эта статья в «Известиях». Возле продовольственного комиссариата было неблагополучно. Ежедневно толпы, по преимуществу женщин, подходили к губпродкому и требовали хлеба. Первый раз толпу разогнали, а

на следующий день комиссарам и служащим пришлось бежать через окна в сад.

Это была первая и, вероятно, последняя попытка улицы выразить протест. Отряд ЧК разогнал голодную толпу, а на следующий день в «Известиях» проявились статьи о революционной дисциплине, а комиссары разъясняли, что это еще не голод. Голод будет тогда, когда на кладбище будет очередь. И вот нашелся идейный коммунист, который решился открыто обвинить чекистов в обжорстве в то время, когда в городе стоит стон от голода. Конечно, это мог сделать свой человек - коммунист, с которым считались даже в Чрезвычайке. И нужно сказать правду. Статья эта имела воздействие. С тех пор в Александровской гостинице плакаты уже не выставлялись.

Все же главным лицом в эти кошмарные дни в Чернигове был председатель исполкома, а потом «пятерки», некий Коржиков. Говорили, что он служил почтовым рассыльным при конотопской почтово-телеграфной конторе. Это был первый агитатор и оратор на всех митингах и вдохновитель большевизма. С каждым днем он приобретал все большее значение и в конце концов сделался местным диктатором. Это был зверь, а не человек, призывавший к беспощадному террору. Я видел Коржикова в начале, когда он был комиссаром крестьянских учреждений, и говорил с ним, отстаивая интересы оставшейся первые дни на моем попечении колонии для несовершеннолетних.

Молодой, плотный, среднего роста, широкий в плечах, бритый, тип смельчака - деревенского парня, совершенно неинтеллигентный, простолюдин, он сидел в отдельной комнате за простым канцелярским столом и говорил, не смотря мне в глаза. Коржиков не верил той интеллигенции, которая служила в советских учреждениях, и говорил, что их следует вылавливать и уничтожать. Он так и поступил с А. А. Бакуринским, который служил под его началом в этом учреждении. Как раз в этот день я видел последний раз А. А. Бакуринского. Он служил здесь делопроизводителем. Мы долго ходили с ним по коридору и полушепотом беседовали на текущие темы. «Это змей, переменивший шкуру», - кричал Коржиков на митингах. У него был только один способ расправы - расстрелять. С центральной властью, то есть с Лениным и Троцким, Коржиков считался мало, как не признавал украинского комиссара Раковского.

Мы знали, что на этой почве в губисполкоме были недоразумения. «Вся власть принадлежит народу на местах», - проповедовал он на митингах, и: «Мы выражаем волю народа». Коржиков создавал свой собственный большевизм и выдумывал то, что, вероятно, не приходило в голову Ленину. Он мстил

каждому, стоявшему прежде выше него, и призывал к полному уничтожению интеллигенции. «Вся власть простому народу». В этом лозунге состояла особенность философии Коржикова. Он требовал власти не пролетарию, а, именно простому то есть неграмотному, необразованному, некультурному элементу. Коржиков появлялся всюду, где только нужно было проявить власть. Перед ним трепетали все. Он часто посещал тюрьму и присутствовал при выводе арестованных на расстрел. Впоследствии он принимал личное участие в расстрелах и добивал раненых шашкой. Это был злой гений Чернигова. Его речи на митингах были до такой степени страшны по злобе, что не раз в публике раздавались голоса солдат-красноармейцев: «Довольно».

Мы знали, конечно, и других комиссаров, но не можем вспомнить фамилий многих из них. Их можно разделить на три группы. К первой группе мы относим комиссаров наиболее деятельных, людей жестоких, проводивших в жизнь вместе с Чрезвычайкой и Коржиковым красный террор. Это: 1) председатель революционного трибунала Рубан, простолюдин, о котором речь будет впереди; 2) комиссар юстиции еврей-портной Гухман из Стародуба или м. Почепа; 3) комиссар совнархоза еврей Тверской; 4) комиссар труда еврей Стерлин; 5) к этой же категории мы причисляем тюремного комиссара Абрамова, хотя у него и были некоторые особенности, о которых мы упоминали раньше.

Во всяком случае, эта группа лиц со своими прихвостнями из более мелких людей держали власть и дружили между собою. Еврей Тверской был скоро расстрелян большевиками (кажется, в Курске или Туле). Это был аферист и мошенник, который, быстро нажившись, нагло обманывал своих же большевиков и в конце концов попался с поличным. Комиссар Гухман, черный, кудрявый еврейчик в кожаных штанах, засунутых в новые изящные сапоги, и черной косоворотке с поясом, на любой стороне которого всегда висит маленький, в кобуре, револьвер. По наружному виду это типичный еврей-портной из местечка, малоинтеллигентный, тупой и даже как будто мало нахальный.

Комиссариат юстиции был наиболее еврейским учреждением. Здесь почти все служащие были евреи. Секретарь Гухмана, по виду тоже портной, даже говорил плохо по-русски. Еще противнее была еврейка - секретарь революционного трибунала. Черная, толстая, с необычайно толстым задом, картавящая. Она вела всю переписку, так как председатель трибунала был малограмотный. Это были все люди чужие Чернигову, и откуда они взялись - этого никто не знал. Единственный местный человек, который служил

при них, был еврей, присяжный поверенный Турин. Мне приходилось несколько раз сталкиваться с этими людьми, так как инспекция, где я все еще продолжал служить, была переведена в здание окружного суда, где помещался отдел юстиции.

Мне было страшно в этой среде и вместе с тем противно. Ко мне они относились недоверчиво и отлично знали, что я им не «товарищ», а я знал, что рано или поздно буду ими расстрелян. Отличительное свойство этих господ, как и вообще всех комиссаров, было то, что они никогда не смотрели нам (то есть выше их стоящим) в глаза, а как-то мимо глаз. Конечно, я ни на минуту не допускал мысли остаться в этой среде и обдумывал способы уйти подальше от них. Совершенно так же относились к своему положению все мои сослуживцы по инспекции.

Ко второй группе мы относим более интеллигентных комиссаров, проводивших в жизнь большевистские идеи коммунизма. Мы не знаем их роли в коммунистической партии, но этих лиц публика почему-то меньше боялась и считала стоящими вдали от расстрелов. Это: 1) комиссар народного образования (наробраза) еврей-студент Идлис, окончивший Черниговскую гимназию, и его секретарь, черниговская еврейка-гимназистка Фейгина; 2) комиссар здравоохранения еврей Элкинд; 3) комиссар социального обеспечения Хвиля; 4) комиссар финансов Стерлин (местный реалист). Эти учреждения казались наиболее аполитичными, и в них старалась пристроиться оставшаяся за бортом интеллигенция.

Тут были люди свои. В отделе здравоохранения, например, помощником Элкинда считался Н. Д. Сульменев (врачебный инспектор). Вместе с ним служил Д. Р. Тризна, а делопроизводителем был расстрелянный потом Савченко-Бельский. Комиссар Элкинд (из м. Почепа) был аптекарь и кажется даже заурядный врач. Мы знали Элкинда потому, что не так давно он перешел в православие, и крестным отцом его был начальник мглинской тюрьмы Ястремский. Г Ястремский говорил нам, что Элкинд до революции был в высшей степени скромным, незаметным человеком и по тем временам считался благонадежным евреем.

Элкинд казался сначала идейным работником, но впоследствии показал себя таким же корыстным «товарищем», как и другие. Он среквизировал себе квартиру присяжного поверенного Тессена, имущество которого осталось в пользовании Элкинда. Тессен был выселен из квартиры в том, что было надето на нем. Согласно коммунистической этике, это, пожалуй, еще можно было понять, но при первой тревоге Элкинд выехал из Чернигова, погрузив с собою в отдельный вагон все вещи и

имущество Тессена, не исключая и мебели. По некоторым данным, Элкинд участвовал и в собраниях коммунистов, поддерживая распространение красного террора. В деле Бакуринского Элкинд стоял за необходимость его расстрелять.

Комиссар наробраза Идлис был интеллигентнее всех других. Он держал себя в высшей степени корректно, умно и деловито и производил на всех впечатление вполне приличного человека. Сюда бросилась укрываться от большевистского ужаса вся передовая интеллигенция. По общему мнению, Идлис был порядочный человек и, несмотря на свои юные годы, снискал к себе всеобщее уважение. Он выражал вслух свое глубокое сожаление, что погиб такой благородный человек, как Бакуринский. Это уже само по себе было много для коммуниста-большевика.

Комиссар Хвиля - полуинтеллигент, кажется ученик какого-то низшего сельскохозяйственного училища, был просто глуп и несколько чудак. Он всем рассказывал, что набил свои сундуки имуществом буржуев, и это занимало его больше, чем вверенное ему дело. Помощник его Козлов (двойная фамилия) - прапорщик запаса. Это типичный негодяй. Другой помощник Хвили, женщина-врач (фамилии ее не припомню), -это фанатичка, ярая коммунистка, искренно проводящая в жизнь идею коммунизма. Прочтя мое исследование о детской преступности («Малолетние преступники»), она сказала мне: «Мы, конечно, принимаем ответ прошлого и будем считаться с буржуазными исследованиями, поскольку они походят к нашему мировоззрению». Она заведовала созданным мною делом в черниговском исправительном приюте, и увидевши, что дело это гибнет, уговаривала меня опять стать во главе исправительной школы, но я не считал возможным принять это предложение.

Других комиссаров мы знали мало, впрочем часто видели комиссар-шу еврейку Должикову, которую знали по гимназии. Она стояла во главе квартирного отдела. О комиссарах братьях Стерлин, евреях, говорили так: Стерлин финансист - человек не опасный, брат его, заведующий отделом труда, - ярый коммунист.

Третью группу составляли второстепенные комиссары и начальники разных отделов и подотделов (топлива, снабжения). Эти люди служили у большевиков так, как служили раньше в разных учреждениях. Многие служили поневоле, а некоторые составляли категорию подделывающихся. Это были люди не опасные. Втихомолку они ругали большевиков, но в их среде делались сторонниками большевизма, выступая в различных заседаниях как истые коммунисты. Мы отлично знали, что они лгут, но этим они поддерживали большевиков и вводили публику

в заблуждение. Таким был случайно попавший в Чернигов писатель Юрий Слезкин, служивший в отделе наробраза. Он был противен, но жил хорошо, весело, как комиссар; о нем мы будем говорить еще впереди.

Особую группу для нас, коренных жителей, представляли наши местные большевики, в большинстве из молодежи, воспитавшейся в наших черниговской женской и мужской гимназиях и реальном училище. Мы уже не раз упоминали о них и об отношении к ним наших отцов города. Еще недавно (при гетмане) старики стали в защиту этих молодых политических деятелей и ходатайствовали за них у губернского старосты и перед немецкой комендатурой. Только одна Листопад была осуждена немецким судом к каторжным работам. Остальных отцы города отстояли. Председатель совета солдатских депутатов, так называемая Сонька Соколовская, и ее брат студент Алексей Соколовский были освобождены из-под ареста. Других не тронули.

И вот эта молодежь опять выступила, как только в Чернигов вступили большевики. Мы излагали выше, как им пришлось уступить место настоящим большевикам и как они бились в истериках, но этот урок им впрок не пошел. Многие из них сделались настоящими большевиками. Соня Соколовская уехала из Чернигова и перенесла свою деятельность в Одессу, где очень удачно агитировала среди французских войск и где, между прочим, выдала скрывающегося там своего директора гимназии П. Я. Дорошенко, расстрелянного большевиками. Алексей Соколовский тоже оставил Чернигов, проявив, как говорят, необыкновенную трусость перед большевиками.

Скрылись с горизонта и комиссары - тюремный еврей Гутман и юстиции еврей Латаш. Известная большевичка Женя Харченко после данного ей большевиками урока решила с мужем (Шафранский или Базаров) уйти от политической деятельности и уехала на юг. Гужовская, говорят, уехала тоже на юг пропагандировать большевизм в Добровольческой армии.

Остальные или заняли при большевиках второстепенную роль, или стали фанатиками-убийцами. Таковыми сделались наиболее деятельные коммунисты: Уринсон, сын богатого торговца-еврея. Любопытно, что семья его (старики) бежали от большевиков, а сын сделался палачом местной интеллигенции. Метрик-Данюшевский - еврей, сын богатой владелицы мануфактурного магазина. Он женился на Коцюбинской, дочери украинского писателя, только что окончившей гимназию. Ее брат Юра Коцюбинский - гимназист, скоро сделался видным большевиком. Он женился на дочери известной большевички

Бошь и свирепствовал в Чернигове. Антонов - комиссар по военной части. Туровский Уонька (еврей), адъютант Антонова. Пилипенко - комиссар почты и телеграфов. Гимназист Зубок-Макеевский, сын С. В. Зубка - местного нотариуса. Затем идут наши бывшие черниговские гимназистки: Вера Лапина, Фрейда Коганова (еврейка), Сара Шалянд (еврейка), Гордон (еврейка) - курсистка и другие.

Эта молодежь еще будучи в гимназии революционировала и не раз потом делала свои выступления, но отцам города всегда удавалось оградить их от серьезной ответственности. В городе упорно циркулировал слух, что расстрелянный большевиками А. А. Бакуринский, будучи помощником губернского старосты, спас эту молодежь, разрешив им спрятать у себя дома нелегальную литературу и компрометирующие документы. Много раз и мне приходилось давать свое заключение властям, и я не решался проронить неосторожного слова, которое могло бы послужить к гибели кого-нибудь из них.

Теперь они предавали тех, кто воспитал их и кто бережливо относился к их судьбе. Они сделались коммунистами, не знавшими ни чувства справедливости, ни сострадания, ни просто жалости. Они предали этого честнейшего человека А. А. Бакуринского, который так много сделал для них. Правда, Женя Харченко ушла от большевиков, но ей угрожала опасность. Она была дочь буржуя, землевладельца. Лапина тоже отошла на второй план и служила заурядным работником в исполкоме. Подруга ее по гимназии Е. Р. Щелкановцева спрашивала ее, неужели она не видит того ужаса, который творят большевики, и как она может с ними работать. Лапина отвечала, что «они» опытнее нас и понимают, что нужно делать. И эти имена почти мальчиков, только что окончивших гимназию, произносились с трепетом. Уринсон, Данюшевский, Коцюбинский решали судьбу всех уважаемых в Чернигове почтенных людей.

* * *

Гнет большевизма проникал всюду. В каждом доме, в каждой семье обыватель был подавлен и обезличен. Большевики писали в «Известиях», что нет такой стороны жизни обывателя, который бы они не коснулись и в которую не проникли своим контролем. И это было действительно так. Люди, которые считали себя в полной безопасности и в течение революции играли видную роль, стали рабами большевизма, и если им не угрожала личная опасность, то во всем прочем они страдали наравне с другими. Частная собственность и личные удобства жизни были упразднены. Имущество обывателя сделалось общим достоянием. Обыватель не имел права взять с собою свои вещи, если

переезжал на другую квартиру или выселялся из своего дома. Он пользовался ими до тех пор, пока они были в его фактическом владении.

Уплотнение квартир коснулось одинаково всех граждан - и бедных, и состоятельных. Я помню ответ еврейки, которая производила у нас осмотр и регистрацию комнат. Когда Маня сказала, что у нас и так тесно, она возразила: «Мы живем 17 человек в одной комнате, и то не жалуемся». Обывателю пришлось сократиться и уступить излишние комнаты жильцам. Но что значило - излишнюю комнату, - это определял не он. Обыватель не имел права иметь запасы и приобретать продукты где хотел. Ему была дана продовольственная карточка соответствующей категории и назначена «советская лавка», где только он и мог получать продукты. Но в этих лавках ничего не было, и обыватель становился в тупик, как ему быть. На помощь ему, конечно, являлись спекулянты, у которых из-под полы можно было купить что угодно, но по баснословным ценам. Но и здесь положение скоро изменилось.

Советские деньги принимались неохотно, да и притом их не хватало. Обыватель и тут нашел выход из положения - паломничество. Все шли в деревню менять свои вещи. Только таким образом можно было купить и достать что-нибудь съедобное. Но это нужно было проделывать умело, так как по дороге все это отбиралось красноармейцами. Обыватель должен был показать на учет все, что имел, и затем с трепетом ждал реквизиции.

Так отбирали у жителей белье, одежду, мебель, хозяйственные предметы, швейные машины, граммофоны, топоры, лопаты, лошадей, экипажи и т.д. Для бедного и даже среднего обывателя, который копил это годами и приобретал все в рассрочку, выплачивая из своего заработка по 2-3 рубля в месяц, конечно, это была большая обида, но обыватель молчал и выискивал способы спрятать свое имущество куда только возможно. Изобретательность в этом отношении была поразительная. Вещи закапывались в землю, замуровывались, раздавались знакомым и т.д. Буржуя уже не было. Разграбили всех. Теперь все сравнялись и несли одинаковую повинность. Была совесть, но и сюда заглянули большевики.

Церковь подверглась гонению. При обысках солдаты срывали иконы, но это, впрочем, было насилие по собственной инициативе, а вот чтобы служить Богу в церкви и похоронить со священником, нужно было добиться разрешения большевиков. Семья ломалась. Детям прививали новые начала, чуждые нашему представлению. Школу перестраивали на новый лад. Детям

внушали злобу и ненависть ко всему прошлому. Школа разваливалась. Занятий почти не было. Уроков не учили и не задавали. Книги, учебники, бумага исчезли с рынка, их не было. В отчаянии родители смотрели на своих детей и проклинали большевиков.

Бедные дети. Мы ежедневно проходили мимо нового советского приюта в дом Тризны по Гончей улице и знали в лицо почти всех приютских мальчиков. Я видел, как мальчики бегали в пустующий дом Баку-Бакуринскогособирали там разный хлам, продавая его затем на базаре. Однажды мальчики нашли там поломанные подсвечники. Не замечая меня, они группой уговаривались, сколько взять за них на толкучке. Мальчики отвинчивали в доме Бакуринского медные ручки, замки, шпингалеты и продавали их. Сидящий как-то на заборе мальчик лет двенадцати говорил встревожено: «Смотрите, буржуи идут», но на меня они не обратили внимания. Я посмотрел в сторону, куда указывал мальчик. Из-за угла показалось два, по-видимому, солдата. Никого другого на улице не было. Что разумели эти дети под словом «буржуй», трудно было себе представить. Другой раз на том же месте при мне мальчики делили выручку с базара. Это были приютские дети 12-14 лет.

Но едва ли ни самой тяжелой стороной жизни обывателя была рабочая повинность. Это было сплошное издевательство над людьми. Для выполнения грязных работ, а в последнее время и для полевых работ, назначались буржуи, то есть люди, имеющие (или, вернее сказать, имевшие) собственность, держащие прислугу, зарабатывающие средства свободной профессией, бывшие чиновники, содержатели гостиниц, купцы, парикмахеры, портные и т.д., то есть те, кто не состоял на советской службе и эксплуатировал чужой труд. Из них составлялись по наряду партии, которые содержались известный срок при милиции (а впоследствии в рабочем батальоне) для очередных работ: чистки улиц, казарм, отхожих мест, уборки трупов павших животных и т.д.

В экстренных случаях буржуев собирали по домам и гнали на работу, не стесняясь временем. Мы знали, что В. В. Нерода был срочно вызван в милицию, и ему приказано было везти в качестве кучера на дилижансе красноармейцев в Гомель. Нероду удалось отвертеться. Послали Лагутина, владельца кондитерской, и Лагутин, никогда не правивший четверкой лошадей, был за кучера. Мы знали, что в г. Конотопе, где свирепствовала эпидемия сыпного тифа, буржуи убирали умерших, хоронили их и производили затем чистку помещений, где умерли эти сыпнотифозные. Они же рыли могилы и засыпали их.

«Буржуи на работе». Это была потрясающая картина. В шляпах, пиджаках, иногда даже по привычке в воротничках и галстуках, эти солидные и когда-то уважаемые люди (городские и земские гласные, адвокаты, судебные деятели, купцы) шли по улице под конвоем солдат, как в былые времена арестанты, с лопатами, метлами, кирками на плечах. Их дети шли в это время еще в гимназию и рыдали, проходя мимо этой группы невольников. Даже их бывшая прислуга говорила, что «это уже слишком». Конечно, были и такие, которые злорадствовали, но это были уже большевики.

Это рабство было особенно тяжело тем, что буржуи оказывались в руках озверевших простолюдинов-красноармейцев; с нагайкой в руках толстолицый, откормленный красноармеец из рабочих или крестьян издевался над интеллигентным человеком, заставляя его убирать отхожие места при милиции, городской управе и на базаре. Конвойные солдаты потешались над «господами» и подгоняли их нагайками к работе. На ночь таким буржуям не давали ни коек, ни матрацев. Они валялись в милиции на грязном полу и были заперты в камеры как арестанты. Теперь власть принадлежит народу, говорили в милиции, разумея под словом «народ» только простолюдина.

Еще ужаснее были принудительные работы для женщин. На эти работы брали всех без разбора. Обыкновенно, если нужно было убрать помещение, загаженное красноармейцами, или вымыть им запущенное белье, то для этой цели брали женщин с улицы. Целый квартал оцепливался красноармейцами, и всех, кто попадался в это время на улице, брали под конвой и со смехом и шутками гнали в казарму на работу. Конечно, всех простых женщин, и в особенности жен рабочих (пролетариат), отпускали домой. И вот интеллигентная, образованная женщина из интеллигентных слоев общества попадала в эту ужасную среду и ночевала, конечно, на полу в казарме, где была во власти этих подонков общества.

Простонародье потешалось над интеллигентным классом населения. Лично мы не знали несчастных случаев с этими молодыми девушками и потому не решаемся повторять слухи, циркулирующие в обществе по поводу изнасилования интеллигентных девушек красноармейцами, но верим, что это могло иметь место в этой среде. Мы слыхали и читали в «Известиях», что в других местах бывали даже «недели любви», когда каждый мужчина имел право войти в любой дом и взять себе девушку (национализация или социализация женщины), но в Чернигове этого при нас не было. Все-таки до такого падения не дошел даже красноармеец. Несмотря на разрешение на этот

предмет, санкционированное рабоче-крестьянским правительством, даже им, то есть простонародью, казалось это слишком уродливым, и они не решались воспользоваться этим правом. Тем не менее среди молодых барышень и главным образом гимназисток младших классов была паника.

Социалистический рай, который обещал Керенский, превратился в ад. Безграничная власть простонародья, власть толпы, подонков населения, преступного элемента, месть во всех ее видах, разнузданность, грабежи, разбои, убийства, расстрелы - в этом проявлялся большевизм. Идейная сторона большевизма не воспринималась населением. Подхватывались общие лозунги, которыми пользовались большевики. Да мы, в сущности, и не понимали истинного смысла большевизма. Кое-что мы соображали сами, как, например, отмена права собственности, равенство в труде, но и только. Сначала нам казалось, что все должно бы делаться для народа. Но в действительности все как будто бы направлялось против народа.

Пока репрессии применялись только к буржуям и власть имевшим, большевизм понимался населением как революция против господствующего класса населения, но когда начали теснить бедных людей, обыватель растерялся и с раздражением называл большевизм бандитизмом. Го -родское население уже прозрело. Все взоры горожан были обращены на деревню. Там были продукты и жилось еще привольно. Крестьяне хотя и жаловались на красноармейцев, но все еще стояли в стороне от большевизма и жили в полном довольствии. К ним бросилось городское население и несло остатки своего имущества, чтобы обменять его на хлеб. Крестьяне охотно меняли сельские продукты на «панское добро». Большевизм еще не коснулся деревни. А. Т. Семченко всегда возвращалась из села сытая и довольная. Ее угощали досыта.

* * *

Советские служащие из прежних чиновников переименованных учреждений, как то: Казенной и Контрольной палаты, Казначейство государственного банка, почтового ведомства, а также служащие земских и городских учреждений, оставшиеся, за малым исключением, на своих местах, не имели ровно никакого значения и работали в пределах своей специальности, технически подчиняясь каждый своему комиссару. Казенное и общественное (если так можно выразиться) чиновничество переживало уже восьмой политический переворот и все неизменно сидело на своих местах. И это понятно. Менее приспособленных к жизни людей трудно себе представить.

Это люди, привыкшие жить двадцатым числом, в большинстве не имеющие ни собственности, ни сбережений. Они специализировались до тонкостей в своей области знаний и в этом отношении были крайне неподвижны и аполитичны, представляя вместе с тем весьма ценных людей-специалистов. Это был государственный механизм, как механизм часов, каждый винтик которых был пригоден только к данным часам.

Из прежних начальствующих лиц, занимавших губернские должности, осталось на своих местах только трое: врачебный инспектор Н. Д. Сульменев, управляющий казенной палатой С. М. Раевский и я. Наиболее трудное положение было мое. Я занимал административную должность и хотя был урезан управлением только своей канцелярией, но атмосфера, в которой приходилось работать, была невозможная и притом крайне опасная. К нам приходили бывшие арестанты-солдаты, матросы, и, зная, что здесь они могут найти или узнать о прежних начальниках тюрем, чтобы свести с ними счеты, они наводили на нас панику.

Как-то в канцелярию вошли два матроса - как оказалось, бывшие арестанты из кролевецкой тюрьмы, и добивались узнать, где можно найти начальника этой тюрьмы Н. А. Тарнавского. Они открыто заявили, что пришли, чтобы убить его. Тарнавский действительно был причислен к инспекции и, получив сведения, что его разыскивают, скрылся. Два дня эти матросы разыскивали по городу Тарнавского. Почти в то же время бывшие арестанты, ныне комиссары, прибывшие из Сосницы по делам службы, случайно узнали на улице начальника сосницкой тюрьмы Владимирского и арестовали его.

Конечно, и мне ежеминутно угрожала опасность стать жертвой какого-нибудь недовольного служащего или озлобленного арестанта. Я пытался много раз уйти, но Абрамов меня не пускал, советуя не возбуждать этого вопроса, так как иначе мне предъявят обвинение в саботаже. Смертный приговор, вынесенный революционным трибуналом П. Н. Комаровскому, произвел на меня удручающее впечатление. Не то, что уважаемый старец был приговорен к расстрелу, - это в порядке вещей, это так должно быть, а то, что я находился по службе близко к этой ужасной атмосфере. Комиссар Абрамов в этот раз что-то предпринимал и будто бы даже был заинтересован в отмене казни Комаровскому. Это было тем более удивительно, что Абрамов был обвинителем по делу Ко -маровского и в своей речи требовал для него высшей меры наказания, то есть расстрела.

Это был первый процесс военно-революционного трибунала. О помиловании Комаровского было возбуждено спешно ходатайство. Мне не было известно, в каком порядке и перед кем

возбуждалось это ходатайство, но телеграммы посылались в Харьков. Абрамов первый узнал о помиловании Пантелеймона Николаевича и в тот же день как-то возбужденно и суетливо возбудил вопросы об условном освобождении Комаровского из тюрьмы. Он предложил мне составить мотивированное постановление и оформить это дело. Это был юридический абсурд, но я торопился, чтобы в тот же день Комаровский был освобожден из тюрьмы. Чтобы составить тот акт, я должен был иметь приговор революционного трибунала. В том же здании окружного суда, у секретаря трибунала, отвратительной, типичной и как смола черной еврейки я получил на руки этот приговор, испытывая чувство гадливости и страха перед этой бумажкой. Я должен был указать в постановлении дату и существо приговора. Только для этого мне нужен был подлинный приговор.

Это был ужасный акт! Приговор был написан на листе белой бумаги третьего сорта, на котором безграмотно, рукой простолюдина, не привыкшей к перу, был составлен приговор. Редактировал и писал его собственноручно председатель трибунала Рубан. Перо, видимо, не слушалось простолюдина, так что местами слова и целые фразы был выцарапаны на бумаге почти без следа чернила. Это то характерное письмо, которым пишут малограмотные люди. Мне не удалось точно восстановить социальное положение этого комиссара, но простой случай раскрыл мне его личность.

Громадного роста мужчина, широкоплечий, мускулистый, по типу матрос, в пиджаке с короткими рукавами, в косоворотке, в сапогах, он по виду обнаруживал простолюдина и был страшен своим злобным выражением лица. Абрамов заискивал перед этим человеком и постоянно приводил его в свой кабинет. Однажды, проходя через канцелярию, где помещался тюремный музей, председатель трибунала заинтересовался музеем. Абрамов любил показывать мой музей и часто уводил в тюремную инспекцию (ныне карательный подотдел) своих знакомых и каждый раз просил меня продемонстрировать музейные вещи.

И в данном случае Абрамов попросил меня дать соответствующие пояснения. Между прочим я взял в руки соломенную коробочку и сказал, что такие изделия изготовлялись в новгород-северской тюрьме. Внизу на коробочке была обозначена фамилия арестанта, сделавшего в 1910 году эту вещь специально для моего музея. Лицо председателя трибунала преобразовалось. Взявши из моих рук коробку, он как-то умиленно и с улыбкой радости сказал Абрамову, что эту коробочку сделал его брат - крестьянин Новгород-Северского

уезда, когда отбывал наказание в новгород-северской тюрьме. Мне, конечно, было известно, что в новгород-северской тюрьме тогда политических заключенных не содержалось, и, следовательно, брат Рубана был уголовный арестант. «Он уже умер», - сказал председатель трибунала и, разговаривая с Абрамовым, долго не выпускал из рук этой коробочки.

П. Н. Комаровский был освобожден из тюрьмы в тот же день, и я был рад, что один из первых мог сообщить его дочери, что жизнь ее отца спасена. Вместе с П. Н. Комаровским по одному с ним делу (о взыскании с крестьян убытков за разгром имения) был приговорен к расстрелу частный поверенный еврей Шварц. Последний был расстрелян через несколько дней после этого, но в обществе упорно циркулировал слух, что ему дали возможность бежать. Называли даже сумму - 30 тысяч рублей, которую будто бы он заплатил за побег.

Шварц был хорошо известен черниговцам как личность, пользующаяся плохой репутацией. Не менее известна была его дочь, красивая еврейка, за которой ухаживала учащаяся молодежь. Как доказательство побега Шварца приводили веселое настроение его дочери, которая будто бы даже намекала, что отец ее не расстрелян. Мы лично сомневались в этом. И вот почему. Шварц был расстрелян в числе пяти человек. В этой группе был некий Прядко, бывший стражник. Его расстреливали последним, так что он упал в яму поверх других. Когда яму засыпали, Прядко очнулся и, выкопавшись постепенно из могилы, пополз к дороге на с. Подусовка, возле которой у железнодорожного полотна на Гомель стояла хата бывшего городового. Прядко постучал в двери и просил его, раненого, принять в хату. Хозяин всполошился и, не желая подвергаться опасности, тотчас же отвез Прядко в губернскую земскую больницу. Там тоже испугались и отправили раненого в тюрьму.

Это была их ошибка, как ровно ошибочно принял в тюрьму раненого начальник тюрьмы. Так объяснили в Чрезвычайке. Его нужно было отправить в Чрезвычайку, и там его дострелили бы. Но было уже поздно. Начальник тюрьмы поместил раненого в тюремную больницу. Прядко, конечно, рассказал об этом случае своим соседям по койке и к утру об этом знал уже весь город. Прядко никому не говорил о том, что из их партии кто-нибудь бежал. Может быть, конечно, в таком состоянии он просто не видел того, что делалось вокруг него, но, во всяком случае, прямых указаний, что Шварц избежал казни, у нас не имеется.

Я не мог уяснить себе, почему Абрамов проявил такую нервность и заинтересованность в деле Комаровского. Подкуп Абрамова несомненно должен быть исключен. Между тем нельзя

было не видеть, как он был заинтересован в помиловании Комаровского. Мне не была известна политическая личность Абрамова, но много раз он говорил мне, что он не большевик. Несколько позже я узнал, что Абрамова разыскивают, чтобы арестовать. Это распоряжение шло из Орла, где он был тюремным комиссаром. Абрамов суетился и искал защиты в исполкоме. Я помню эту суету и помню, с каким торжеством он объявил мне, что они, «сукины сыны», хотят его арестовать как социал-революционера. Я убежден, что Абрамов таковым не был, но разыгрывал из себя большевика. Абрамов высказывался всегда против террора и нервно реагировал на расстрел. Он расходился в этом вопросе с большевиками и боялся, по-видимому, навлечь на себя подозрение. Я полагаю, что, как обвинитель Комаровского, он требовал ему смертной казни, чтобы сыграть в руку большевикам и обеспечить свое положение, но он не хотел брать на свою совесть смерть совершенно невинного старика 83 лет. Все последующие поступки Абрамова убедили меня в том, что это именно так. Абрамов был истеричный и иногда проявлял себя в этом отношении самым несдержанным образом.

Один из массовых расстрелов произвел на Абрамова такое сильное впечатление, что он впал в истерику и, сидя за чайным столом в присутствии начальника тюрьмы Бойко, схватился руками за голову и, шатаясь, выкрикивал, что работать с большевиками невозможно, что они сами портят все дело. На расстрел брали из тюрьмы большую группу людей (насколько помню, 35 человек), в числе которых был бывший губернатор М. Н. Шрамченко, потерявший в последнее время рассудок. М. Н. Шрамченко уже не понимал окружающей обстановки.

В тюрьму явилось до шестидесяти полупьяных солдат с комиссарами для исполнения смертной казни. В тюрьме эти пьяные солдаты буянили и вели себя крайне нагло, издеваясь над выдаваемыми им для расстрела заключенными. Выдавал заключенных сам Абрамов. Каждый из этих несчастных пропускался «сквозь строй» в этой полупьяной толпе и спускался подзатыльником с лестницы в руки ожидавших внизу красноармейцев. Губернатор Шрамченко, не понимая происходящего, приказал пришедшим за ним красноармейцам подать ему умываться, иначе он отказывался следовать за ними. Солдаты потешались над умопомешанным. Шрамченко раздражался и угрожал солдатам, напоминая им, что он вологодский губернатор. Один из красноармейцев попробовал взять М. Н. Шрамченко за плечо, чтобы вывести его из камеры. Шрамченко, будучи сильным и рослым мужчиной, развернулся и ударил красноармейца по физиономии с такой силой, что солдат

упал и выронил из рук винтовку. Солдаты бросились на Шрамченко. Михаил Николаевич успел сбить с ног еще одного красноармейца, но зато сам был сбит с ног.

Это происходило в присутствии Абрамова и других комиссаров. Больного схватили и не вели, а волоком сбросили с лестницы в руки подхвативших его красноармейцев. Шрамченко втолкнули в контору тюрьмы и здесь долго над ним потешались. У Михаила Николаевича были длинные седые усы и такая же борода, составляющие его красоту. Теперь он был неузнаваем. Усы и борода были вырваны с мясом, и все лицо представляло окровавленную массу. Шрамченко, вероятно, не чувствовал боли. Он продолжал буянить и кричал даже уже связанным, что, возвратившись, он прикажет всех арестовать. Поведение М. Н. Шрамченко возбудило и без того пьяных солдат и отразилось самым тяжким образом на остальных жертвах. Осужденных связывали по двое и, конечно, давали при этом тумака, толкали и швыряли.

Шестьдесят полупьяных солдат расправлялись с группой связанных по рукам людей. В конторе стоял стон и вопль. Начальник тюрьмы Бойко, тюремные надзиратели Балуба и Довженко, которые рассказывали мне об этом, говорили, что они не смогут все припомнить, что они видели, так как сами тогда плохо соображали и были как бы в бессознательном состоянии. Да кроме того в конторе была такая толпа, что их прижали к станку, откуда плохо было видно. Это был ад, говорил начальник Бойко. Говорили, что Шрамченко буянил даже на автомобиль и приказывал кому-то арестовать «негодяев». Комиссар Абрамов не мог удержать этих озверелых людей и, возвратившись в свою квартиру, впал в истерику.

Этот кошмар было трудно выдержать даже здоровым нервам, говорил мне Бойко. Я не могу припомнить фамилии расстрелянных в эту ночь, но помню, что среди них были священники, офицеры и женщины. Погибла в этот раз милая барышня Милитина Мякшилова, только что окончившая черниговскую гимназию. Я знал эту гимназистку и разговаривал с ней на улице незадолго до этого рокового дня. Это была серьезная, умная, идейная барышня из простой трудовой семьи. Тетка ее служила экономкой у Глебова.

Мякшилова была расстреляна вместе с теткой за то, что у них в квартире переночевал скрывающийся от большевиков молодой офицер Панченко. Миловидная молодая девушка, не достигшая совершеннолетия, пережила перед смертью эту пьяную оргию и затем связанная по рукам вместе с другими вывезена из тюрьмы к месту казни - к Черторейскому мосту по Гомельскому шоссе. В ту

ночь, говорят, улицы оглашались безумными женскими криками «спасите». Этот крик слышали многие. На улицах было тихо, и только звук машин грузовиков отзывался на эти крики. Кричала ли это Мякшилова или другие из осужденных, никто не знает, кроме их палачей.

Этот случай был уже не при мне. Мне удалось к тому времени оставить свою прежнюю службу, которую я сохранил за собою при всех восьми переворотах. Мне стоило это больших усилий. Комиссар Абрамов относился ко мне хорошо, но каждый раз, когда я заговаривал об уходе, он начинал дуться и предупреждал, что это будет принято за саботаж. Я томился. Дела у меня не было никакого. Я приходил на службу аккуратно и сидел за своим столом, делая вид, что я занимаюсь. В таком же положении были и мои сослуживцы. В инспекции появилось много новых служащих, которых мы не знали и которых боялись. Фактически я был не у дела. Считалось, что я заведую канцелярией, но вся деятельность моя сводилась к тому, что я подписывал некоторые бумаги и изредка по просьбе Абрамова излагал какую-нибудь бумагу, которая ему была не под силу. На службе нудились все и с трудом досиживали до трех часов.

Начальник тюрьмы Базилевич еще в начале предупредил меня, что Абрамов допытывался как-то у него, почему я ничего не делаю и не хочу помочь ему хотя бы теоретически провести новые начала в тюрьмах. Он говорил, что я, как окончивший университет и умный человек, несомненно могу, но не хочу этого сделать. Я чувствовал, что мне скорее нужно было уйти с этой службы, но как это сделать? Кроме того, меня беспокоило еще одно обстоятельство. Где-то далеко на юге и в области войска Донского и затем в Сибири правительство Деникина и Колчака тревожило большевиков. В Северо-Западном крае армия Юденича нажимала на Петроград. На Мурмане вместе с англичанами действовал генерал Миллер.

Большевики делались злыми и усиливали красный террор. В связи с последними выступлениями воинских частей в Гомеле и восстанием в г. Борзне террор в Черниговской губернии, как смежной с Гомельским уездом, принял крайне суровый характер. Тюрьмы заполнились новым элементом - заложниками. Особенно усердно в этом отношении действовали уездные ЧК. Повсюду начались массовые расстрелы. Я рвался уйти подальше от этой атмосферы. Абрамов не выпускал меня. В тюрьмах сидели мои знакомые и люди, которых я хорошо знал. В инспекцию (карательный подотдел) ежедневно поступали официальные сведения, от которых мы приходили в ужас.

В моем родном городе Остре в тюрьму была заключена почти

вся местная интеллигенция, а в том числе мои знакомые и родственники. Жизнь их была в опасности. В средних числах марта месяца молодой Абрамов, брат комиссара Абрамова, был командирован своим братом в города Козелец и Остер в качестве политического комиссара (политком). К тому времени стало известно, что в остерской тюрьме Чрезвычайной комиссией с невероятной жестокостью расстреляно до двадцати человек в присутствии только что прибывшего политкома Абрамова. Старший Абрамов вызвал по этому поводу из Остера своего брата. Прибывший в Чернигов молодой Абрамов в присутствии всех служащих рассказывал подробности этого расстрела. Впоследствии мы имели эти же сведения от сидевшего тогда в остерской тюрьме бывшего начальника остерской, а затем рыбинской тюрьмы Б. М. Солонины.

Это был кошмарный расстрел. Руководил расстрелом председатель Чека местный крестьянин (фамилию его я не припомню). К расстрелу выводили по 4-5 человек сразу из смежных камер верхнего этажа. Красноармейцы издевались над своими жертвами и спускали их с лестницы так, что они катились к выходной двери прямо к подъезду. Тут же, не выжидая, пока они поднимутся, их расстреливали в упор несколькими выстрелами. Расстреливаемые вопили и кричали. За первой партией следовала другая. Как и прежних, их сталкивали с лестницы, и они падали на убитых и раненых. Вновь поднималась беспорядочная стрельба. Третья и последняя группа расстрелянных валялась у подъезда тюрьмы среди трупов и раненых, которые отчаянно кричали и корчились в предсмертных страданиях.

Б. М. Солонина, сидевший в камере вместе с М. Е. Шрамченко, рассказывал потом нам, что это был такой ужас, от которого можно было сойти с ума. Он, как и все заключенные, ждал своей участи и переживал в эти минуты такое состояние, которое нельзя передать словами. Недаром распространился слух, что М. Е. Шрамченко сошла с ума в эту ночь. Она содержалась в тюрьме против камеры, где сидел ее брат. Председатель Чрезвычайки с красноармейцами ушел из тюрьмы, не закончив своего дела. Лежавшие возле подъезда тюрьмы раненые стонали и кричали, прося их дострелить.

Политический комиссар Абрамов, молодой человек лет восемнадцать, телеграфист по профессии, хотя и присутствовал при расстреле, но участия в нем не принимал. Начальник тюрьмы, бывший писец этой тюрьмы (фамилии его не припомню), назначенный большевиками на эту должность вместо начальника тюрьмы Олейникова, очутившегося в тюрьме в качестве

арестанта, тоже стоял в стороне и растерянно смотрел на эту картину, хотя и записался (как иронически заметил Абрамов) в партию коммунистов.

Не зная, что предпринять, начальник тюрьмы обратился к Абрамову с вопросом, как поступить. Абрамов вынул свой револьвер и собственноручно начал достреливать кричавших раненых. С особой улыбкой, но с некоторым содроганием, молодой Абрамов закончил свой рассказ восклицанием: «Вот судьба, больше всех кричал и просил дострелить его бывший начальник этой тюрьмы Олейников». Абрамов был глубоко возмущен этим расстрелом и, видимо, не понимал, с каким ужасом на него смотрели невольно слушавшие его служащие.

Тюремные надзиратели, говорил Абрамов, были в ужасе (в остерской тюрьме были старые и солидные надзиратели, которые после этого случая под разными предлогами оставили службу). Им было приказано убрать трупы и закопать их на черном дворе. Они исполнили это приказание, но и здесь не обошлось без неприятностей. Один из расстрелянных (фамилию его называл Б. М. Солонина) оказался раненым и очнулся. Пользуясь темнотой, он неожиданно для окружающих вскочил на ноги и, перескочив невысокий заборчик, убежал. Через месяц он был задержан и расстрелян. Абрамов протестовал против расстрелов в пределах тюремной ограды и подал по этому поводу докладную записку в «Губисполком».

Я решил во что бы то ни стало уйти. Не только я, но и мои сослуживцы, в особенности В. М. Коржинский, рвались переменить службу, чтобы быть подальше от этой атмосферы. Мне помог случай. Из Москвы была получена телеграмма о переводе в черниговскую исправительную колонию для несовершеннолетних трехсот мальчиков. Колония была разорена. Отдел социального обеспечения торопился привести в надлежащее состояние этот приют для порочных детей и подыскивал лицо, могущее вести это дело. Выбор пал на меня, как специалиста. Комиссар Абрамов согласился на мой перевод, но с условием, чтобы я закончил ему составление доклада, который он готовил к съезду тюремных деятелей в Киеве, и составил проект тюремной инструкции. Не давая определенный ответ на принятие этого предложения, я шепнул своему секретарю Д. С. Медведеву, чтобы он сейчас же подал Абрамову к подписи приказ о моем увольнении.

Приказ был подписан в тот же день, то есть 29 марта 1919 года. Редактируя приказ, Абрамов исправил его в том отношении, что выразил мне благодарность за службу. «Ваша деятельность в течение всей Вашей жизни была столь благородная по отношению

к заключенным, что вы заслуживаете полного уважения. Этот отзыв о Вас я слыхал еще отбывая наказание в орловской каторге», - сказал мне большевистский комиссар. Абрамов просил меня в тот же день побывать у комиссара народного обеспечения «товарища Хвиля». Я понимал, что здесь мне нужно было выдержать характер. После продолжительной беседы с комиссаром Хвиля я категорически отказался принять в свое заведование исправительную колонию, ссылаясь на то, что я имею службу в советском музыкальном училище, где я занят почти целый день.

Комиссар народного обеспечения долго уговаривал меня, указывая, что черниговская колония - это мое детище, которое создано мною. Он говорил мне, что они, то есть большевики, заранее согласны на все мои условия, причем Хвиля соблазнял меня тем, что я буду жить на всем готовом и буду иметь право покупать за счет колонии все, чего бы я ни захотел: коньячок, кофе, вина, закуски и т.д. Кроме того, я буду освобожден от всяких реквизиций. После моего категорического отказа комиссар Хвиля сразу изменил тон и сказал, что в таком случае он считает меня мобилизованным и предлагает в понедельник вступить в должность.

Меня выручило из беды музыкальное училище. В экстренном собрании художественного совета я был признан незаменимым работником, и совет единогласно постановил возбудить ходатайство об освобождении меня от мобилизации. Исполком дал мне отсрочку до сентября месяца. Я исполнил свое обещание и составил для съезда тюремных деятелей доклад о состоянии тюрем за время господства большевиков. Этот доклад произвел на съезде впечатление и выдвинул комиссара Абрамова в рядах тюремных деятелей новой формации, но доклад был не понят. Он составлен для будущего. Мне удалось зафиксировать деятельность большевиков и изобразить тот ужас, который пережили тюрьмы за это время. Мне удалось также изложить взгляд большевиков на преступление и наказание и точку зрения их на тюремную реформу. Доклад этот затрагивает и общие вопросы, касающиеся состояния губернии. Черновик этого доклада хранится в Чернигове у М. А. Лукиной.

* * *

Музыкальные классы Черниговского отделения Императорского Русского музыкального общества, одним из учредителей которого я состоял, были теперь переименованы в Черниговское советское музыкальное училище. Состоя преподавателем и товарищем председателя художественного совета этого училища, я значился на советской службе, и это

гарантировало мне до известной степени спокойное существование. Я был счастлив, что оставил прежнюю службу и стал дальше от этого кошмарного дела. Я ушел вовремя. Последние события в связи с усилением красного террора делали тюрьму местом инквизиции и пыток.

Несмотря на то, что музыкальное училище поступило во владение от -дела народного образования (секция музыкальная) и содержалось за счет государства как учебное заведение, в нем все оставалось по-прежнему. Я тотчас же перетащил на службу в училище своего приятеля (скрипача) Семена Ивановича Гаевского (члена суда), служившего делопроизводителем в Совнархозе. Мы назначили его на штатную должность делопроизводителя музыкального училища. Мы втроем: директор училища С. В. Вильконский, С. И. Гаевский и я, издавна находившиеся в самых лучших отношениях, были теми лицами, которые и раньше стояли во главе училища в качестве директоров отделения.

Комиссар отдела народного образования (наробраз), молодой Идлис, знал нас давно. Он кончил Черниговскую гимназию и, будучи мальчиком, постоянно посещал наши музыкальные выступления. Он относился к нам с необыкновенным почтением. Мы очень мало чувствовали большевизм. Напротив, все то, что проводилось в жизнь наробразом, и даже сама деятельность комиссара Идлиса, не оставляло желать ничего лучшего. Содержание, положенное от государства педагогам, широкий размах и обильные средства на содержание училища дали нам возможность очень скоро поставить дело на должную высоту и осуществить то, о чем мы могли только мечтать. Мы, конечно, смотрели на дело с точки зрения будущего и торопились использовать момент. В наробразе тоже не чувствовалось большевизма.

Все, что осталось в Чернигове наиболее образованного, культурного, интеллигентного, все приютилось на службе в отделе народного образования, как наиболее аполитичном учреждении. Нужно заметить, что в этот раз от большевиков ушли немногие. Выехали главным образом лица административного управления, богатые люди и военные. Большевизм застал громадное большинство интеллигенции на местах. Большевики упразднили почти все прежние учреждения, и поневоле люди, оставшиеся без заработка, пристраивались в открытых большевиками советских учреждениях. Наробраз и его учреждения состояли из представителей местной интеллигенции. Просто приятно было зайти в это учреждение, где на каждом шагу встречались знакомые и приятели.

Председателем музыкальной секции состоял профессор Е. В.

Богословский. Членами - священник Ступницкий (хормейстер) и преподаватель нашего училища М. А. Вейнблат. По соседству с музыкальным столом помещалась художественная секция, в которой между прочим работал И. Г. Рашевский, и еще дальше драматический стол. Атмосфера работы была приятная. Правда, в области начинаний и в смысле размаха было много наивного и фантастического, но «почему не попробовать», говорили эти люди.

Противен был лишь вопрос о реквизициях у населения музыкальных инструментов и библиотек, но как свои люди, мы всегда удачно обходили этот вопрос и ни разу не допустили ни одной реквизиции в пользу музыкального училища. В противоречии с большевистской программой мы умудрились даже приобрести за счет ассигнованных нам сумм рояли, пианино и другие инструменты и составили отличную музыкальную библиотеку. В отделе народного образования большевистский элемент был главным образом в составе низших служащих. Все грязные, нечистоплотные гимназистки, в большинстве еврейки, народные учителя, мелкие дилетанты занимали канцелярские должности и были идейными большевиками.

Некоторые из них записались в партию коммунистов, но они были безвредны и не проявляли себя вовсе, ограничиваясь философией и наружным видом, приближающим их к простонародью. Они были всегда плохо одеты и никогда не причесывались. Наружный вид их был отвратительный, и даже казалось, что от них идет дурной запах. Во всяком случае, после моей предшествующей службы и соприкосновения с большевиками тюремного типа, конечно, я отдыхал здесь и имел возможность производительно работать.

В музыкальном училище не было комиссара. Мы существовали самостоятельно. Большевики нас не трогали. Конечно, гнет большевизма сказывался и в музыкальном училище. Мы боялись нашего служителя Ивана Морщакина. Этот был простолюдин из местных крестьян, молодой парень лет двадцати двух. Он служил уже два года в музыкальном училище. С появлением большевиков Иван совершенно перестал работать и изменился до неузнаваемости. По ночам он исчезал и возвращался только утром. Разбудить его не было никакой возможности. Фактически мы обходились без него. Морщакин был всегда выпивши и имел при себе большие деньги. Случайно в его отсутствие мы обнаружили под его койкой и в его вещах массу награбленных им предметов: ложки, ножи, вилки, салфетки, кофейник, подстаканники и прочее. Мы хотели от него избавиться. На первое замечание он промолчал, а во второй раз

сделал скандал и угрожал жалобой в ЧК. Мы этого не ожидали. Оказалось, что Морщакин отлично учитывал положение. Он заявил нам, что музыкальное училище укрывает бывших важных чиновников и богатых людей и этому следует положить конец. Нам стало страшно. Это был негодяй, который единственный нарушал нашу жизнь и заставлял остерегаться и запираться от своего же человека.

В составе преподавателей почти все были люди свои. Старый преподаватель скрипки И. Б. Красильщиков, О. Р. Бакуринская, Е. В. Богословский, Т. Н. Рашевская. Это были все люди известные всему городу и уважаемые. Милейшая личность директора училища С. В. Вильконского объединяла наше любимое дело. Новые преподаватели: Гофман-Наумова, Юркевич, Николаева, Маркович, Зубок-Мокиевская, Кринская, Гоголь. Это были люди культурные, которые появились в училище недавно, и, конечно, представляли собой антибольшевистские элементы. Нас не трогали. Это был уголок, где объединилась местная буржуазная публика, которая в частной жизни мозолила глаза большевикам. Почти все были состоятельными людьми, домовладельцами или землевладельцами и к тому же общественными деятелями, которые рано или поздно должны были обратить на себя внимание большевиков.

Дома почти все были уже ограблены. Наша частная жизнь не имела ничего общего со службой. Мы имели охранительные грамоты с печатью Чрезвычайки, освобождающие нас в силу декрета, как педагогов, от реквизиции, но с этими грамотами бандиты не считались и производили обыски и реквизиции самым беспощадным образом. Каждый из нас ежедневно мог ждать ареста, расстрела и просто убийства. Донос того же Морщакина мог в любой час погубить каждого из нас.

В этом было страшное противоречие и уродство всей большевистской системы. Комиссар Идлис и наробраз очень дорожили нами и оберегали музыкальное училище, а между тем улица и народ делали свое дело, вовсе не считаясь с задачами и программой большевиков. Это явление было общее для всех советских учреждений. Они существовали сами по себе, а большевики сами по себе. Потуги какого-нибудь «Совнархоза» урегулировать хозяйственную жизнь были так же смешны, как попытки комиссара Абрамова поставить на должную высоту тюремное дело. Если какой-нибудь солдат-красноармеец ехал поездом, то он ни с чем не считался. Ему не нравилось, что поезд долго стоит на станции, и он предъявлял требование к начальнику станции и машинисту немедленно ехать вперед. «Но помилуйте, путь занят, может произойти несчастье», - возражал

начальник станции. «Вперед!» - кричал красноармеец и выхватывал из кобуры револьвер.

Расстройство транспорта мало интересовало красноармейцев. Все эти советские учреждения: совнархозы, губисполкомы, губнаробразы, губпридкомы, политкомы, губкомиссары и т.д. мало интересовали улицу, и в особенности бандитов и подонков населения. Местная Чрезвычайка под председательством каторжника Гаргаева и целый кадр состоящих при ней агентов, бывших арестантов и мальчишек из местного пролетарского класса населения совершенно не считались с системой большевистского управления и признавали фактическую власть тех, кто составлял пролетарскую уличную массу. Только в этом осуществлялся в действительности большевизм, а все прочее, идейное было жалкой игрой идейных большевиков.

Простолюдин не понимал идею большевизма. Ему сказали «грабь, убивай, уничтожай помещиков и буржуев», и он это делал, потому что это было дозволено. Он понимал, что в этом состоит революция, и также понимал, что это явление временное. Вот почему во многих случаях он грабил, стараясь не обнаруживать себя. Грабители прикрывали свои лица и старались не быть узнанными. Мы жили под вечным страхом и гнетом большевистского режима, то есть власти толпы. Каждый рабочий, будь то прислуга, прачка, дворник, кучер, имел всю полноту власти над личностью своего бывшего господина и мстил ему за свое прежнее рабство. Каждый крестьянин имел власть над помещиком и мог безнаказанно убить его, как собаку.

Каждый преступник, выпущенный из тюрьмы, мстил за свое прошлое и мечтал прежде всего убить начальника той тюрьмы, в которой он содержался, или тюремного надзирателя, который стоял на посту, и т.д., и всем этим лицам не было никакого дела до губисполкома, совнархозов, губкомюстов и т.п. советских учреждений. Еще меньше их интересовали Ленин, Троцкий, Раковский и другие заправилы большевизма. Они вовсе не думали об идейных формах большевизма и социализма. Они отлично признавали право собственности и понимали значение этого института. Все они любили собственность и копили себе состояние.

Каждый коммунист-большевик обязательно имел если не золотые, то серебряные часы, цепочку, кольца, браслеты. Каждый бандит, каждый солдат-красноармеец, бывшая прислуга, рабочий, каждый комиссар копили награбленное и составляли себе капитал. Мы знали многих из этих людей, которые служили и получали раньше 20-30 рублей в месяц. Теперь это богатые люди, отлично одетые. Бывшая прислуга открывает паштетные, чайные,

столовые. Бывшие дворники, курьеры, сторожа, подмастерья, приказчики, чернорабочие сразу стали на ноги, а те, кто из деревни, строят себе хаты, покупают скот, инвентарь, не останавливаясь перед затратами сотен тысяч рублей. Мы часто видели, как эти люди, еще недавно жившие чуть ни в нищете, заказывали себе в столовых лучшие обеды и платили громадные деньги.

Я встретил как-то бывшего арестанта Пилипенко, поступившего в Красную армию. Он состоял санитаром какого-то госпиталя. Пилипенко неоднократно проходил в моих записках как типичный профессиональный преступник и вечный тюремный сиделец. Он относился ко мне дружелюбно и всегда при встрече со мною останавливал меня, чтобы поговорить. Я встречался с ним при всех режимах. Пилипенко отлично понимал, что такое революция, и смеялся над большевизмом, называя его безобразием. Тем не менее Пилипенко пользовался моментом. Мне было известно, что во время Центральной рады и гетманщины Пилипенко занимался кражами и грабежами. При встрече со мною он не отрицал этого, говоря, что смешно было бы не воспользоваться безвластием. Он давал мне честное слово, что бедных людей он не обижает. Теперь, встретившись со мною, Пилипенко показал мне в своем бумажнике 180 тысяч рублей и, с презрением хлопая по бумажнику рукой, говорил, улыбаясь, что это ничего не стоящие бумажки Любопытно, что в этот раз при большевиках Пилипенко, встретившись со мной на улице, громко назвал меня «товарищ Краинский», а через несколько минут, когда возле нас никого не было, он извинился, говоря, что при других теперь нельзя называть иначе.

Бывший арестант Василий Колбаса уже в первый период революции имел сотни тысяч рублей и советовался с Василием Качурой, не положить ли ему часть этих денег в банк. Об этом мне сказал Качура, рассорившись с Колбасой. По сведениям Качуры, Колбаса добыл эти деньги, будучи матросом в Кронштадте в то время, когда там убивали офицеров. Василий добавил шепотом, что Колбаса сам убивал офицеров. Василий Качура был сам не без греха и имел неограниченные средства. Он пил ежедневно водку, платя за бутылку от 500 до 600 рублей. Качура сохранил со мною добрые отношения и, бывало, заходил ко мне на квартиру к Лукиным.

Через него я был в курсе всех арестантских дел. Он же совратил моего любимца, воспитанника колонии малолетних Костю Товстолеса, которого я приютил у себя и условился с ним принять попечительство над ним, когда кончится его опека. Это был преданный не только мне,

но и моей дочери и ее фрейлине мальчик, искренне по-детски любивший царя и обещавший отомстить большевикам за убийство его. Костя начал голодать, как и мы все. Только в сообществе Качуры, который был уже тогда тюремным надзирателем, он ел хорошо и приучился пить водку. Все чаще и чаще Костя стал посещать Качуру и в конце концов переехал к нему на квартиру. Костя не пожелал оставаться курьером при тюремной инспекции и попросил назначить его рассыльным при тюрьме. С тех пор Костя уже не выходил от Качуры. Он был сыт и жил в полном довольствии, участвуя с Качурой в ночных «реквизициях». Однако Костя не мог по своей натуре вынести кровавой обстановки тюрьмы и в один прекрасный день, встретив меня, заявил, что записался в Красную армию, где нашлись его товарищи по колонии малолетних.

Костя уже не смотрел мне в глаза и избегал встречи со мною. Так на моих глазах погиб мой любимый воспитанник, который любил меня как отца. Почти так же погиб другой мой баловень, сверстник Товстолеса, воспитанник той же колонии Дмитрий Усенко. Я спас его при первом нашествии большевиков, и он клялся мне, что больше не пойдет служить к большевикам. Усенко состоял где-то комиссаром и, конечно, избегал встречи со мною.

Не только среди этих низов населения, но и в среде интеллигентных людей, которых захватил большевизм, не своей идеей, конечно, а атмосферой жизни, нашлись такие, которые стали на сторону большевиков. У меня в канцелярии служила только что окончившая гимназию Маня Зайцева, в судьбе которой я принял участие, так как знал ее с детства как бедную девушку. Она попала в среду комиссаров и сделалась артисткой в местном советском театре. Она ежедневно кутила до поздней ночи и рассказывала мне лично, какие разнообразные блюда, яства и вина подаются у большевиков к столу. Это было уже то время, когда в городе стоял голод.

Всеобщий грабеж затмил все и делал жалкими наивные потуги большевиков разрешить проблемы социализма. Самая страшная организация была партия коммунистов. Ядро ее состояло из подонков местного населения и в большинстве молодых еврейчиков. Здесь проводились идеи коммунизма. Это была лаборатория большевизма. Это было страшное гнездо большевизма, не уступающее Чрезвычайке. Помимо этого ядра были коммунистические ячейки, куда записывались все те, кто хотел обеспечить себе прочное положение у большевиков.

Коммунисту было все дозволено. Коммунист имел привилегированное положение, и личность его была

неприкосновенна. Это был оплот большевизма. Каждый бывший преступник, бандит, подонки населения, пролетарская молодежь, еврейчики записывались в коммунисты и под флагом коммунизма творили свои дела. В партию коммунистов или в сочувствующие им записывались и те, кто панически боялся большевиков. Звание коммуниста давало право на жизнь и гарантировало безопасность. Мы видели шатание наиболее слабовольных людей, которые не спали ночи от страха. В отчаянии, опустив голову, они говорили нам: «Ну что же, придется вступить в партию коммунистов». Мы встретили С. М. Кониского, который служил в канцелярии революционного трибунала. Понимал ли Кониский, к чему это приведет, но очень спасался от верной гибели, так как был крупным помещиком и за ним числились дела по прежней его деятельности.

Мы замкнулись в своей среде в музыкальном училище и жили совершенно обособленной жизнью. Я лично попал в исключительно благоприятные условия. Жизнь в семье Лукиных на окраине города среди опекаемых мною детей Семченко обеспечивала мне с дочерью относительный покой и возможность продолжать жизнь в культурной среде. Мы все были причастны к музыкальному училищу. Моя дочь Оля кончала гимназию и переходила на старший курс в музыкальном училище. Мы ходили в училище вместе. Оля играла в свободном классе, а я занимался своим делом. Маня с детьми состояла учениками музыкального училища.

Маленький, уютный, чистенький домик Семченко мало привлекал внимание бандитов и большевиков, и даже частые обыски в этом бедном квартале проходили более благополучно, чем в городе. Я был учителем музыки, непризывного возраста, и единственным мужчиной в доме. Мне жилось хорошо в этой семье. У Мани было пианино, которое обслуживало всех нас. У нас и у Мани было много книг, писчей бумаги и остались все безделушки, составляющие неотъемлемую принадлежность интеллигентного человека. Даже реквизиции проходили для нас удачно. У меня взяли только два письменных стола, несколько стульев, кресла, шкафы и этажерку.

Я ушел совершенно от прежней службы, но продолжал быть в курсе дела, так как Маня служила машинисткой в бывшей тюремной инспекции и собирала мне материал для моих записок. Кроме того, некоторые из моих прежних сослуживцев держали со мною связь и часто приходили ко мне советоваться и пожаловаться на свое тяжелое положение. Больше всего сведений сообщал мне тюремный надзиратель Г. А. Балу-ба, наш сосед по улице, которого я своевременно устроил на службу в тюрьму.

Балуба теперь жаловался, что в тюрьме стало страшно. Частые расстрелы и постоянные посещения тюрьмы членами Чрезвычайки и бесчинствующими солдатами производили на него удручающее впечатление. Он рассказывал мне обо всех случаях и скандалах в тюрьмах и нервно, с дрожью в голосе просил устроить его на службу в музыкальное училище. Мне удалось устроить его служителем в училище, и он был бесконечно счастлив.

В тюрьме происходила ликвидация «царизма», и там сводились счеты с прежним государственным режимом. Мы были теперь посторонними зрителями и могли более объективно оценивать ту обстановку, в которой работали раньше. Тем разительнее был контраст моего теперешнего положения с тем, в котором я был в тюремной инспекции (карательный подотдел).

Мы занимались музыкой и дома, и в музыкальном училище. Эта атмосфера переносила нас в иной мир и была так далека от действительности, что иной раз бывало трудно представить себе весь ужас происходящего. Уроки, репетиции, ансамбли, лекции, ученические вечера - все это вдали от улицы и развращенной толпы поглощало всю нашу жизнь. Мы редко показывались на улице и шли в музыкальное училище окольными путями.

Большевики покровительствовали искусству, и этим объяснялось наше исключительное положение. К реформам в области музыки они еще не приступили, хотя и теперь уже намечался путь пролетаризации искусства и обращение его в средство политической пропаганды. Истинное искусство тем не менее продолжало господствовать в нашем училище. Очень часто по окончании занятий мы репетировали и подготавливались к ансамблям, а иногда играли просто для себя. Это были особенно приятные вечера, и мы, конечно, запирались, чтобы никто не нарушил наших занятий. Трио Чайковского, Рахманинова переносили нас в иной мир и заставляли содрогаться от сознания происходящего.

Эта музыка по существу своему уже не соответствовала духу времени и должна была скоро уступить место чему-то другому, более доступному толпе, улице, рабочему, крестьянину. Мы имели уже сведения, что реквизированные у жителей рояли и пианино разосланы по волостным правлениям (комбеды) и поставлены для общего пользования в клубы красноармейцев, рабочих и крестьян. Мужики и в особенности красноармейцы быстро превращали эти ценные инструменты в разбитые бандуры, и в клубе оставался только остов когда-то звучного фортепиано. Пролетарская масса потешалась и пробовала своими грубыми руками и кулаками слоновые клавиши блютнеровского

фортепиано и с любопытством смотрела, как «чудно» вскакивали внутри молоточки. Но молоточки скоро переставали прыгать, и тогда инструмент уже никого не интересовал.

Тем не менее руководители народного образования и отдел пропаганды продолжали развивать народ этой музыкой и посылали отобранные у интеллигенции ноты для составления в этих клубах музыкальных библиотек, которые в конце концов в виде обрывок сонат Бетховена и Моцарта валялись в отхожих местах или шли как оберточная бумага. Мы знали, как плакали и рыдали дети, барышни, гимназистки, у родителей которых отбирали для народа эти инструменты и ноты. Они прощались с ними как с дорогим покойником, которого выносят из дома.

И мы понимали горе интеллигентных семейств, которых лишали этих дорогих для них вещей, лишая возможности продолжать музыкальное образование и получать высшее удовольствие - музыку. Мы шли им на помощь и, несмотря на грозившую нам опасность, выдавали многим фиктивные удостоверения в том, что они состоят учениками музыкального училища. Это был единственный способ спасти от реквизиции инструмент, но это был большой для нас риск. Мы отлично понимали, что очередь дойдет и до нас, но пока что мы жили и пользовались покровительством комиссара наробраза.

Мы составляли библиотеку в музыкальном училище и увлекались этой работой, оберегая приобретенные ноты от покушения служителя Ивана ликвидировать часть нот в свою пользу. Этот негодяй уже снимал колки и струны с деревянных инструментов и продавал их. Мы запирались от него в библиотеке и там вели свои беседы. С. В. Вильконский доставал иногда спирт, и мы втроем завтракали, закусывая разведенный спирт соленым огурцом или луком. Библиотека была нашим любимым местом. Здесь только мы говорили открыто и сообщали друг другу все новости.

Мне удалось перевести на службу в музыкальное училище тюремного надзирателя Балубу. Он был в курсе всех арестантских и большевистских дел и сообщал мне секретно в библиотеке все эти сведения. В тюрьме был настоящий ад. Он не выдерживал последнее время этой атмосферы, о которой, по его выражению, можно с ума сойти. Последний расстрел при нем - это был расстрел одиннадцати уголовных преступников старого режима во главе с известным каторжником Улановичем. И этот нравственный урод, ламброзовский тип с его арестантской этикой, не выдержал большевистского гнета.

Это был сенсационный случай тюремной хроники, удовлетворивший общественное мнение. Мы знали давно

Улановича и не раз говорили о нем в своих записках. На свободе это был страшный зверь, но он не сумел приспособиться к большевикам и при первых шагах своей свободы (он оказывался на свободе при каждой смене режима) пошел по иному пути. Он бросился грабить в одиночку и грабил не тех, кого следовало. Очень скоро Уланович попал обратно в тюрьму. Большевистский режим в тюрьме Улановичу не понравился. Он стал в оппозицию к большевикам и склонил на свою сторону тех немногих уголовных из прежней клики профессиональных преступников, которые попали в тюрьму при таких же обстоятельствах, как и Уланович. Это были преступники старого режима, которые находили, что их работа была чище. То было настоящее преступление, пояснял Уланович, а теперь грабит всякая сволочь.

Уланович был верен себе и арестантским традициям. Он шел против советской власти и сначала тайно, а потом открыто заявил, что «скоро мы будем бить жидов». Это было после Гомельского восстания, когда большевики действительно боялись еврейского погрома. Улановича с компанией было решено уничтожить. Без суда революционного трибунала, по одному докладу в исполком о поведении уголовных в тюрьме, Коржиков распорядился всех их расстрелять. Правда, толчком к этой расправе послужил добрый порыв души Улановича.

В порядке красного террора к расстрелу были предназначены в тюрьме несколько человек, в числе которых был жандармский унтер-офицер Бондаренко. Когда их вели на расстрел, к тюрьме подошли дети Бондаренко, принесшие ему обед. Дети бросились к отцу рыдая, хватались за него руками. Солдатам стоило больших усилий оторвать девочку от отца. Публика, смотревшая на эту сцену, подняла крик, когда красноармеец бил девочку прикладом ружья. Пользуясь суматохой, один из арестантов бросился бежать, но был тотчас убит. Это было так близко возле тюрьмы, что убитого поволокли во двор тюрьмы. Его труп тащили за ноги. Стоявший во дворе арестант Уланович, обратившись к политкому Абрамову, находившемуся тут же, сказал: «Так вот как обращаются с нашим братом».

На следующий день в два часа дня был назначен расстрел одиннадцати уголовных во главе с Улановичем и его любовницей Данилевской, известной в Чернигове воровкой. Я не могу припомнить фамилию прочих преступников, но они все давно фигурируют в моих записках и восстановить в памяти их я мог только в Чернигове, где остался весь этот материал. Я помню только еще двух женщин - Низкую, профессиональную воровку, миловидную девушку лет девятнадцати, и Славкину, которую вели на расстрел с грудным ребенком на руках. Славкина

известна тем, что почти все ее дети рождены в тюрьме. Славкина опять была беременна.

Уланович знал свой приговор еще с вечера и поспешил раздать свои вещи арестантам. В последний раз своей свободы, при вступлении большевиков в Чернигов, Уланович приобрел путем ограбления много вещей (две приличные пары одежды, башмаки, пальто, шляпу, белье и т.д.), которые хранил при себе и часто надевал их. Уланович принял смертный приговор с удивительным хладнокровием и принимал меры. Представ к двум часам перед солдатами-красноармейцами в одном нижнем белье с обмотанными в тряпки вместо сапог ногами, он посмеивался и говорил красноармейцам: «А то, ничего с меня не возьмете».

По обычаю, все, что было на расстреливаемых, доставалось тем, кто расстреливал. Уланович раздал все, что у него было, и пошел на расстрел в одном нижнем белье с тряпками на ногах. Случайно мимо тюрьмы проходили в это время две женщины из прежней компании Данилевской, ни раз сидевшие вместе с нею в тюрьме. Догадавшись, в чем дело, они последовали за процессией и решили посмотреть, что будут делать с Данилевской.

Арестантов вели к Духовному училищу, где во дворе, в кирпичном леднике-сарае, производились обыкновенно расстрелы. Публика на тротуарах останавливалась и с любопытством рассматривала приговоренных к казни. Женщина с ребенком на руках, очевидно, больше всего привлекала внимание прохожих, так как о ней только и была речь. Интеллигенты, конечно, быстро проходили мимо, стараясь не выдать эту картину, а простой люд громко высказывал свои соображения и пытался следовать за процессией.

Мы знаем эти подробности от нашей прачки Пелагеи, которая случайно проходила это место и прямо оттуда зашла к нам. Она видала все «собственными глазами» и божилась, что говорит правду, так как в ее представлении все это казалось невероятным. Пелагея видела, как у ворот Духовного училища у этой женщины солдаты отымали ребенка. Это больше всего поразило Пелагею, которая хваталась за голову и в азарте жестикулировала руками. Солдаты вырвали наконец ребенка из рук кричавшей матери, после чего один из красноармейцев сел с ребенком на извозчика и быстро поехал «в гору».

На улице собралась толпа. Из Духовного училища шел смрад. В этом мы сами убедились, проходя как-то мимо этого ужасного места. Тут обыкновенно производились расстрелы. Расстреливали внутри сарая на краю глубокого, пустого в этом году ледника, так что расстреливаемые падали прямо в ледник. Трупы не засыпали, а оставляли в леднике неубранными. Первое время в морозные

дни запаха от разлагающихся тел не было слышно, но первая оттепель отравила всю местность.

Подруги Данилевской в суете умудрились пройти во двор училища и, обогнув сарай-ледник, прильнули к щелке дощатой стены, через которую отлично все было видно. Тюремный комиссар Абрамов был лично заинтересован в том, чтобы Уланович и К° были уничтожены. Уланович, конечно, прежде всего свел счеты именно с ним. Ввиду этого он предложил своему брату, «политкому тюрьмы», присутствовать при казни и удостовериться в смерти Улановича.

Молодой Абрамов лично руководил расстрелом и рассказал мне потом при встрече на улице о смерти моего приятеля, как он назвал покойника Улановича. Абрамова больше интересовала выходка Улановича с одеждой. «Вот сукин сын», - сказал мне Абрамов.

Расстреливали эту компанию тремя группами. Первой расстреливали группу с Улановичем и женщинами. Низкая и Славкина стояли на коленях и молились. Данилевская стояла крайней рядом с Улановичем и, поникши головой, закрыла лицо руками. Солдаты смеялись, острили и подшучивали: «Молись, молись, все равно ничего не поможет». Уланович обратился к Абрамову, сказал: «Господин Абрамов, я давал вам каждый день лишний кусок хлеба, а Вы...» (Уланович был в тюрьме хлеборезом). На этом слове речь Улановича оборвалась, так как раздался залп, и подруги Данилевской видели, как расстреливаемые падали.

Очевидно, подсматривавшие в щелку женщины инстинктивно вскрикнули, так как тотчас из сарая выскочили красноармейцы. Одна из женщин успела скрыться за угол здания, а другая была схвачена и отведена в сарай. Удивительное присутствие духа обнаружила ее подруга. Вместо того чтобы бежать, она обождала, пока все успокоилось, и осторожно подошла к той же щелке, желая посмотреть, где ее подруга. Она увидела ее стоящей в ряду с другими на самом краю ледника и молящую о пощаде. В этот момент раздался залп, и она бросилась бежать с этого места.

Эта женщина все это лично рассказывала Балубе, которого она знала еще до поступления его надзирателем в тюрьму. К сожалению, Балуба, зная отлично по тюрьме и раньше эту женщину, не мог вспомнить ее фамилию, но обещал мне узнать ее, тем более что это нетрудно. Обе женщины были местные жительницы и женщинами последнего сорта. Они всегда работали поденно прачками.

Общественное мнение, конечно, с ужасом отнеслось к этому случаю, но, с другой стороны, население облегченно вздохнуло. В

лице Улановича и его сподвижников перестали существовать люди-звери, которые в случае политического переворота опять, конечно, были бы на свободе и, может быть, были бы страшнее большевиков.

Встрепенулся после этого и преступный мир старого режима. Первым ко мне прибежал Василий Качура и с ужасом рассказал мне эту историю. Большевики уничтожали преступников старого режима. Почти одновременно в г. Конотопе был расстрелян в компании не менее известный профессиональный вор Безмен. Качура был профессионал. Но, будучи назначен большевиками тюремным надзирателем, действовал под флагом большевизма. Это гарантировало ему неприкосновенность личности, так как он издавна был зарегистрирован как профессиональный преступник.

Ликвидация уголовных, свободной профессии, то есть действовавших независимо от большевиков, вызывали своеобразные последствия. Преступления в одиночку по старому способу не могли иметь места. Все профессиональные преступники должны были записаться или в Красную армию, или быть на службе у большевиков.

Мы переживали красный террор. Ежедневно мы были свидетелями красного ужаса и почти ежедневно узнавали, что еще один сделался жертвой большевизма. Говорили, что к этому можно привыкнуть, но мы не привыкали. Напротив, чем дальше, тем более становилось жутко. В особенности чутко и нервно воспринимали этот ужас наши дети - юная молодежь, среди которой бывали свои жертвы. Они были потрясены расстрелом всем известного в городе Цилюрика, их сверстника, студента и молодого офицера. По дороге на Бобровицу к месту расстрела Цилюрик оглашал всю местность дикими, душераздирающими криками. Бедный юноша кричал, видимо, инстинктивно хватаясь за жизнь. Его крик слыхали его товарищи и барышни, случайно проходившие в это время по улице. Упорно говорили, что Цилюрик погиб только за то, что ругался в былые времена с нынешним комиссаром Извощиковым, называя его «жидом».

Жутко становилось и дома, и в музыкальном училище. Мы присутствовали всегда на лекциях профессора Е. В. Богословского по истории музыки. Я любил эти лекции. Но профессор не выдержал. Он останавливался, задумывался, часто брался рукам за голову, пил из стакана воду. Он перестал читать лекции. Он был не в силах отвлечься и сосредоточиться на чистом искусстве. На нем, кроме того, отзывалось его положение председателя музыкальной секции наробраза. Его тяготило это положение как бы комиссара, а с другой стороны, он панически боялся ответственности за бездеятельность перед ЧК и коммунистами.

Ему претили вопросы реквизиции и пролетарская аудитория. Он выступал часто перед пролетариатом в грязном зале бывшего Дворянского собрания. Он не мог примириться, что в антракте толпа заполняла эстраду и там на концертном рояле фабрики Дидерихса усаживались красноармейцы и, сидя с девчатами на крышке фортепиано, лускали семечки.

Е. В. Богословский заболел нервно и выехал в Москву. По дороге с ним сделался нервный припадок, после которого он был помещен в лечебницу для нервнобольных. Это был первый предвестник. Музыкальное училище лишилось крупной музыкальной величины, а наше общество потеряло милейшего члена нашей тесной музыкальной семьи и первоклассного пианиста.

* * *

Мы голодали. Только благодаря искусству нашей бабушки Елизаветы Ивановны мы кое-как пробивались и ели лучше других. Незаметно время приближалось к светлому празднику Св. Пасхи. Еще в прошлом году мы имели пасхальный стол. Мы были рады, что бабушка сделала торт из отрубей и сохранила бутылку наливки. Нам было хорошо, но только дома. Другой жизни у нас не было. На улице я лично не показывался, и потребности этой у меня не было. Я сидел дома среди своих, и мне ничего другого не было нужно. Я знал, что рано или поздно революция кончится, и если мы уцелеем, то вновь начнем прежнюю жизнь. Моя дочь была со мною, но мне было ее невероятно жаль.

Молодежь была лишена решительно всего, что было ей привито образованием, культурой и воспитанием. Увеселения и развлечения были жалкие и только для простонародья. Танцевальные вечера были отвратительные, и господствующее положение на них принадлежало пролетарской массе. Мне хотелось доставить удовольствие своей дочери, и я рискнул пойти с ней на концерт, после которого был объявлен танцевальный вечер.

Прекрасный когда-то зал Дворянского собрания превратился в грязный сарай. Оголенные стены, пожелтевшие в местах, где когда-то были развешены портреты царских особ и предводителей дворянства, были увешаны высохшими от времен и почерневшими гирляндами из сосновых веток, оставшимися после какого-то митинга. На месте портрета Государя Императора, по недоразумению, вероятно, красовался в гравюре портрет Шевченко, утопающий в таких же почерневших и серых от пыли и местами оборвавшихся гирляндах. Паркетный пол, когда-то блестевший от чистоты при ярком электрическом освещении, теперь был покрыт слоем прилипшей от грязных

сапог пыли, как то бывает всегда в волостных правлениях. При танцах эта грязь превращалась в пыль, заволакивая и без того тусклый свет электричества густой пеленой.

В зале был полумрак. Вследствие перегрузки станции электричество горело наполовину и едва освещало громадный, в два света, зал. Концерт носил специфический колорит. Первые ряды были наполовину заняты босыми детьми. Среди них кое-где сидели в платочках какие-то простые женщины. За ними расположились солдаты-красноармейцы и какие-то люди в пиджаках, надетых на косоворотку и в сапогах; по-видимому, это были рабочие и подмастерья. Интеллигенции почти не было видно. Всюду возле окон и дверей стояла и сидела пролетарская толпа.

Танцы открылись вальсом, который поднял тотчас же невероятную пыль. Сначала как будто выступила более интеллигентная публика, среди которой мы узнали некоторых черниговских гимназисток. Впрочем, их было трудно распознавать, так как они были в домашних потрепанных платьях, а не в форменном одеянии. Тотчас же за ними пустилась в пляс вся пролетарская молодежь, в громадном большинстве евреи и еврейки, которые теперь всюду занимали господствующее положение. Танцевали с папиросками в зубах. Об искусстве танцевать мы не будем говорить, ибо это была пародия на танцы.

Критический момент наступил, когда в зал вошли вооруженные красноармейцы (патруль). Они держали себя крайне развязно и чуть не хлопали по плечу. Не снимая шапок, с папиросками в зубах, отплевываясь в сторону, они ходили среди танцующих, отпуская острые замечания. Многие из них - это, вероятно, были их офицеры, танцевали и учились танцевать с начала вечера. Зал Дворянского собрания был неузнаваем. Интеллигентной публики почти не было, если не считать гимназисток, которым было все безразлично, лишь бы потанцевать.

Мы ушли скоро, вспоминая прежние чистенькие вечера для учащихся. В первый раз, кажется, в своей жизни я не был у заутрени в Светлый праздник, и был этому рад. Оля, моя дочь, рассказывала мне, что не только в соборе, но и других церквах была масса молящихся, но это было не то, что раньше. Неприветливо, грязно и не торжественно, а скорее грустно, тоскливо был в этот Светлый праздник. В особенности было неприятно то, что еврейская молодежь положительно издевалась над нами и ходила группами по церквям, чтобы посмеяться над православными предрассудками. Они мешали молиться, но тем не менее люди молились. Молились с отчаянием. Как никогда

многие стояли на коленях и плакали. О чем они плакали, конечно, всем было понятно. Они молились, не обращая внимания на посторонних. Они забыли, что это был радостный, светлый праздник - Светлое Христово Воскресение. Они залили слезами этот праздник и видели только одного Бога и свое безысходное горе.

Большевизм преследовал совесть, и если не запрещал молиться, то, во всяком случае, издевался над молящимися, но люди молились и не замечали еврейскую молодежь, которая с усмешкой указывала пальцем на склонившихся всем свои телом перед иконами исстрадавшихся в своем горе людей. Они издевались только над православной верой, говорили женщины, вернувшиеся из церкви.

Синагога была неприкосновенным и святым местом. Им никто не мешал молиться. Мы приводим здесь образец случайно сохранившегося произведения нашей юной молодежи, которое очень удачно передавало настроение в их среде. Таких стихотворений ходило по рукам очень много, и моя дочь собирала их. Перед приходом большевиков она закопала их в саду под деревом, чтобы не попасться с ними большевикам.

Молитва матери

Под сводами храма склонилась толпа;
И к небу несется молитва за тех,
Кто предстал перед Всевышним Судьею;
Кто пал среди пламени битвы.
И вижу я горе на лицах у всех Глухие я слышу рыданья...
О, сколько разбитых, несчастных сердец,
О, сколько тоски и страданья.
Вот мать - ее первенец юный убит,
Под сению стяга родного,
Вчера проводила она на войну Любимого сына - другого.
И вот пред иконой склонилась она,
Распятого молит о сыне.
Спаситель, его сохрани для меня,
Защитою будь на чужбине.
Тебе я вручаю все счастье мое,
О, если захочешь Ты взять и его,
Сверши Свою, Господи, волю.
Мы, скорбные матери Русской земли,
О детях Тебя умоляем,
Но тайны своей мы не выдадим им,
Когда их на смерть посылаем.
Нет, верить их учим,

Что долг их святой -Идти за великое дело.
И дай же им силы,
И пусть их идут За Родину гордо и смело.
О Боже, прости жестоким врагам -Их злобу, которой пылают.
Им незнакомы заветы Твои Они Тебя, Боже, не знают.
И вижу я, мать поднялась с колен, Покоем черты озарились,
И понял тогда я,
Откуда у нас герои и доблесть явились.

* * *

Наступила весна. Было грустно, тоскливо. Душа болела за молодежь. Бесцветная, скучная, бессодержательная жизнь, полная тревоги за себя и других. Отсутствие почты, журналов, газет. Постоянная угроза реквизиции, обысков, бесчинства солдат, мальчишек, которым разрешалось все, отодвинули интересы интеллигентной молодежи на второй план, и им пришлось жить и приспосабливаться к новым формам жизни. Занятий в сущности, не было. В гимназию ходили по инерции. Развлечений не было никаких. По улицам было страшно ходить.

В городе почти постоянно было военное положение, и потому по вечерам нужно было сидеть дома, почти в темноте или при самодельных коптилках. При таких условиях и дома заняться было нечем. Читать было почти невозможно. Если ходили иногда в гости друг к другу, то окольными путями и крадучись. Эти собрания происходили как в катакомбах, со всевозможными предосторожностями. Глубокое возмущение было среди учащейся молодежи, когда большевики объявили регистрацию и учет принадлежностей спорта. Учащаяся молодежь должна была показать то, что им дарили родители: коньки, фотографические аппараты и т.д. Для кого это было нужно? Молодежь не хотела отдавать этих вещей и прятала их, не учитывая строгой ответственности.

Еще обиднее была национализация книг и библиотек. Согласно декрету, каждый, кто имел более 500 томов книг, включая журналы и брошюры, должен был отдать эту библиотеку в народное пользование. Я имел свыше тысячи томов систематически подобранных мною со студенческих времен книг, составляющих весьма ценную юридическую библиотеку. Моя дочь собирала классиков и имела свыше 400 книг. Небольшая, но ценная по содержанию библиотека в числе до 300 книг была у Мани. Мы были в отчаянии. Нам было до боли жаль расставаться с нашими книгами, и мы решили утаить наше богатство. Распределить между собой книги так, чтобы у каждого было не более 450 томов, мы решили не показывать своих книг.

В моей библиотеке были собраны все научные работы моего отца и всех братьев. Отец имел более 30 трудов по агрономии и сельскому хозяйству. Мой брат психиатр Н. В. имел свыше 60 работ по своей специальности. Мои братья Владимир Васильевич и покойный приват-доцент Киевского университета Андрей Васильевич имели несколько работ, что с моими печатными трудами и работами брата Сергея Васильевича (ныне профессора Таврического университета) составляло свыше 120 книг и брошюр.

Моя дочь Оля недавно составила каталог всех печатных трудов своего дедушки и своих дядей и очень гордилась, что происходит из «такой ученой» семьи, как она выразилась. Ей во что бы то ни стало хотелось сохранить как воспоминание хотя бы эти семейные книги, так как мы имели сведения, что в Александровке - имении моего отца большевики уничтожили отцовскую библиотеку. Наша сельская учительница Ольга Ивановна Чикилевская привезла моей дочери письмо от нашей прислуги Гали Волохонской, которая писала, что при разгроме имения большевики вынесли всю отцовскую библиотеку к

подъезду и зажгли эту кучу книг так, что пламя было выше крыши дома.

Мы вспоминали часто и говорили друг другу, как хорошо, что отец мой Василий Евграфович умер как раз перед приходом большевиков (6 октября 1918 года). Что было бы с ним - стариком 76 лет, в эти ужасные дни! Так оценил народ заслуги своих соотечественников перед Родиной. Мой отец был известный в России агроном, имевший массу работ по своей специальности. Его труд «Основы сельскохозяйственной экономики» был весьма распространенным руководством сельскохозяйственных учебных заведениях, и в частности в Московском сельскохозяйственном институте. Этот труд выдержал несколько изданий и последним лежал еще в тысячах экземплярах в кабинете отца. Эти связки книг представляли собой богатый материал для пожарища. Пламя горящей библиотеки, писала нам Галя, достигало высоты здания, где когда-то работала научная мысль русского человека. С хохотом выносили солдаты из дома целые охапки книг и, потешаясь, бросали их в пламя.

Потом мы узнали, что мой племянник Кирилл Алчевский, студент Харьковского университета, точно предчувствуя гибель отцовской библиотеки, в бытность в последний раз в имении отца отобрал по одному экземпляру печатных трудов Краинского и сдал их в публичную библиотеку в Харькове. В том же письме Галя писала нам, а О. И. Чикилевская рассказывала, что в нашем пустующем доме остался только один рояль, на котором какой-то хлопец играет плясовую, а девчата танцуют. Крестьяне не принимали участия в разгроме усадьбы, но все-таки вечера, которые они устраивают в зале, производят нехорошее впечатление.

Дети не понимали, что происходит, и принимали факты как они есть. Они не понимали, почему им не дают есть, как давали раньше, и садились за обед молча, без ропота. У детей от голода развилась жадность. Они ели, как едят голодные, быстро глотая большие куски. Я спрашивал детей, хочется ли им есть, и всегда получал краткий ответ «да», но они не спрашивали, почему теперь голодно. Конечно, они слышали разговоры старших и понимали, что вся причина в большевиках, и ненавидели их.

Их мать А. Т. Семченко была по профессии портниха. Теперь она служила кассиршей в потребительской лавке, но имела швейную машину, которая давала ей дополнительный заработок и при посредстве которой она обшивала семью. Машина эта, конечно, была на учете, и в один прекрасный день три красноармейца пришли с ордером реквизировать эту машину. Александра Трофимовна пришла в ярость. Имея в доме трех

малолетних детей, мать и сестру, она, конечно, не могла обойтись без машины, но вдова признавалась буржуйкой и кроме того, как портниха, когда-то эксплуатировала чужой труд. А. Т. не выдержала и со свойственной ей вспыльчивостью накинулась с бранью на красноармейца и кричала: «Убейте меня, но машину я не дам». Это было отчаяние. Красноармеец кричал еще громче и выхватил шашку, замахивался ею на исступленную женщину. Дети с плачем хватались за юбку матери и, рыдая, кричали «мама, мама».

Я выскочил из своей комнаты и начал успокаивать обе стороны. Швейная машина была увезена красноармейцами, отпускавшими отборную брань по адресу буржуев. Даже Волчок (цепная собака) притихла и не смела выступить против большевиков, после того как в нее негодяи сделали несколько выстрелов. Все в доме плакали. Для бедной семьи лишиться швейной машины, которая была куплена на заработанные деньги, в рассрочку, с выплатой по три рубля в месяц, конечно, было ужасно, но перед силой нужно было уступить.

И это был идейный коммунизм! Мы силились понять идею большевизма, но бессмысленность и нелепость подобных случаев сбивала с толку все наши толкования. Тем более это было нелепо, что отобранные у жителей швейные машины стояли в клубе уже давно без употребления и никому сейчас нужны не были. У жителей отбирали все имущество, не разбирая, кто был состоятельным и кто беден. Портной, сапожник, столяр, колбасник и вообще тот, кто эксплуатировал чужой труд, то есть имел подмастерьев и работников, был враг народа и приравнивался к буржую. Признавался только личный, чернорабочий труд, без посторонней помощи. Тот, кто имел слугу, рабочего, прислугу, подвергался репрессиям, вносил контрибуцию и брался на принудительные работы.

Эксплуатация чужого труда во всех ее видах считалась чуть ни государственным преступлением. В анкетах и различных сведениях, которые обыватель давал чуть не ежедневно, всегда на первом месте стояли вопросы: имеется ли прислуга и какой при квартире клозет, теплый или надворный. Последний вопрос имел тоже большое значение, и обыватель старался отметить, что у него клозет холодный. По этому признаку определялось между прочим социальное положение обывателя. Теплый клозет при квартире указывал на буржуазный строй жизни, и такой обыватель получал продовольственную карточку низшего разряда и подвергался опасности быть взятым на принудительные работы.

Не менее страшен был вопрос об излишках. Каждый обыватель давал сведения, какие продукты и в каком количестве

он имеет. Излишки сдавались в определенные пункты, а в случае обнаружения их при обыске отбирались. Излишки в вещах - это было понятие относительное, которое определялось руководителем обыска или красноармейцами. Обыватель заранее прятал то, что считал излишком. У кого был лишний кусок мыла, кусок холста, нитки, иголки, ножницы и т.п., тот прятал эти вещи, чтобы они не попали на глаза при обысках.

Излишки обычно обнаруживались во всем и в каждой вещи, случайно попадающейся в глаза комиссару. У меня было несколько пар ботинок, шляпы и много одежды. Конечно, все это было отобрано, но все-таки остались две пиджачные пары. Я ожидал обыска и торопился переодеться, заменив висевшую в шкафу новую одежду, бывшей на мне. Александра Трофимовна не знала этого и настаивала перед «товарищами», чтобы они разрешили мне одеть ту пару, которая висела в шкафу. Ей было жаль отдавать мою новую пиджачную пару. Г. Семченко чуть было не подвела меня, но, к моему благополучию, красноармейцы не разрешили мне переодеться. Мне оставили по три смены белья, причем комиссар предоставил мне право выбрать более новые рубахи, но солдаты запротестовали и оставили мне самое худшее белье.

Этот обыск был для нас обиден не тем, что у нас отобрали вещи - отбирали вещи у всех, - а тем, что на столе стояла тарелка с хлебом, который мы получили на два дня по 1/8 фунта в день на человека. Красноармейцы жадно поели этот хлеб, и мы сидели два дня на «дерунах»[16].

Еще обиднее были последующие обыски, оскорблявшие наше самолюбие и самосознание интеллигентного человека. Ворвавшись ночью с обыском, мальчишка-комиссар лет семнадцати с шестью солдатами-красноармейцами тщательно рылся в ящиках моего письменного стола и обнаружил у нас несколько дестей писчей бумаги большого формата. «Зачем она вам?» - заметил комиссар. Мне стоило больших усилий доказать, что мне, как интеллигентному человеку бумага нужна для занятий. «Какие там занятия, отобрать», - говорили солдаты. Эти люди, конечно, не могли понять, зачем интеллигентному человеку бумага, и они отобрали бы эти «излишки», если бы я не сослался на детей, которые ходят в школу.

Комиссар прочитывал наши письма, просматривал записные книжки, рылся в альбомах, пересматривал фотографические карточки и вообще касался своими хамскими руками к «святая святых» нашей личной жизни, возбуждая гадливость и презрение к этому наглому простолюдину. Правда, он держал в субординации бывших с ним красноармейцев и рылся в наших

вещах сам, но кто был этот мальчик? Мы знали его. Он служил приказчиком - мальчиком в бакалейной лавке и разносил покупки, получая «на чай» копеек 15-20 за эту услугу. Он, как ребенок, интересовался тем, что было на письменном столе, и перебирал с особым любопытством все эти вещи, шкатулочки, бювары, пакетики и прочие незнакомые ему вещи - спутники культурного человека. Он, видимо, и не ждал открыть клада, но, конечно, украл бы, если бы мы предусмотрительно не спрятали все наши ценные вещи. И это был представитель государственной власти - мальчишка из торговой лавки на базаре, от усмотрения которого зависело благополучие обывателя!

Красноармейцы жадно впивались в каждый пакет, который развязывал этот агент Чрезвычайной комиссии, но каждый раз скучно отворачивались от стола. Все бумага и бумага, исписанная мелким почерком, книги, фотографии, рисунки, ноты... Здесь было скучно... Какой-то старый учитель музыки и портниха с детьми. То ли дело следующий обыск у соседки, вдовы подполковника. Одних запрятанных простынь обнаружили 17 штук и ватное одеяло. А ложки, вилки, ножи и целый кусок настоящего холста! Не то было обидно, говорили потом собравшись кучками соседи на улице, что у подполковницы взяли эти вещи, а то, что ей не дали квитанции или расписки в отобрании этих вещей...

Солдаты-красноармейцы - то были не те солдаты, которые представ -ляются нашему воображению как солдат прежнего времени. К солдату всегда было чувство доверия и уважения. Солдата никто не боялся. В нем видели служившего и защитника. Солдат-красноармеец - это что-то новое, страшное, враждебное, гадкое и вместе с тем непонятное. Обязательно в шинели с расстегнутым хлястиком с чужого плеча, в большинстве случаев с приподнятым сзади воротником, в башмаках английского образца, в обмотках, с винтовкой не соответствующей обыкновенно малому росту, в помятой фуражке или серой шапке, сидящей на голове до самых ушей, или наоборот, громадного роста мужчина, коренастый, плотный, одетый даже щегольски, в сапогах, но эти всегда со зверским выражением лица и сдвинутыми бровями, грубые, решительные, говорящие не иначе как окриками и со вставками трехэтажных ругательств.

Эти люди, страшно, злобно и враждебно относящиеся ко всем одинаково - и к более состоятельному обывателю, и к бедному классу населения, были действительно страшны. Они не отвечали, если с ними заговаривал обыватель, или огрызались с лошадиною бранью на самое приветливое обращение к ним. Было совершенно непонятно, почему эти люди были так злы именно

здесь, в этой убогой обстановке среднего городского обывателя, ничего не напоминающего ни буржуазности, ни богатства.

Мы никак не могли понять, как решился красноармеец убить брата Г. А. Балубы, крестьянина, душевнобольного (юродивого), известного в городе тем, что он днем спал, а ночью работал. Его специальность была уборка улиц. Как только стемнеет, Андрея всегда можно было видеть с метлой, подметающего улицу, какая бы погода ни была. Домовладельцы знали Андрея и платили ему за уборку улицы возле своих домов, но Андрей убирал улицы и бесплатно. Он был тихо помешанный и делал свою работу молча. При всех переменах власти Андрей неизменно делал свое дело, но при большевиках патруль спросил Андрея, кто идет. Андрей, конечно, не ответил, не понимая ответа, и красноармеец проколол Андрея штыком.

Я знал Андрея. Мы звали его иногда поколоть дрова, и он молча делал эту работу, не сознавая окружающей обстановки. Я видел на следующий день лужу крови на тротуаре по Гончей улице возле дома Тупатилова, и мне было ужасно жаль этого смиренного человека. Его брат установил личность убийцы и требовал его наказания, но «товарищи» не выдали красноармейца. Но кто же был этот бессмысленный убийца! Мальчишка, крестьянин - такой же, каким был Андрей. Он убил ради убийства, ибо надобности, как объяснил патруль, не было, но товарищи его не выдавали, и он осмелел, кричал: «Пусть только попробуют меня арестовать». Григорий Андреевич был вынужден прекратить преследование, иначе он был бы растерзан теми же красноармейцами.

Эти люди были злы беспричинно. Врываясь в дом с обыском и, не встречая никакого сопротивления, они все-таки были злы. Они настраивали себя на этот лад и сами себя возбуждали. Стуча в ставни, в ворота, в двери, стреляя в цепную собаку и в воздух, они не допускали никакого промедления. «Отворяй!» - кричали они с бранью. «Оружие!» - выкрикивали злобно красноармейцы. «Нет, товарищи, нет, родимые», - плаксивым голосом, скрестя на груди руки, в паническом ужасе умоляла хозяйка дома. И вот начинался обыск-разгром. Отворялись комоды, шкафы, сундуки, развязывались разные свертки, ощупывались матрацы, подушки. До очевидности было ясно, что искали не оружие, а чего-то другое. И вот карманы солдат туго набивались награбленным.

Кто были эти люди - эти страшные солдаты-красноармейцы, злые, бесчеловечные, ненавидящие и жестокие! Мы знаем хорошо психологию преступления. Преступник, совершая свое преступление, должен быть злым. Он ищет сопротивление и если не находит его, то настраивает себя на этот лад. Простой ночной

воришка вооружается ножом, а убийство совершается в возбужденном состоянии. Мы никогда не забудем замечания одного крестьянина, который говорил нам, что хуже нет, когда свинья не кричит, когда ее колют. Нужно рассердиться, настроить себя. Чем сильнее сопротивляется животное, когда его колят, тем легче его заколоть.

Психология солдата-красноармейца - это психология преступника. Нужно рассердиться или напиться, нанюхаться кокаина или просто взвинтить себя. Вот почему среди большевиков так много кокаинистов. Но кто были эти люди? Обыватель знал многих из них по фамилиям и в лицо. Многие были известны по своему прошлому. Здесь были прежде всего остатки разложившейся армии, бездомные солдаты, которые бесчинствовали в первые дни революции. Но главная масса большевиков - это были рабочие или, вернее, чернорабочие - молодежь с разных фабрик и заводов. Мы знали в составе Тарощанского и Богунского полков... рабочих из гомельских железнодорожных мастерских и примкнувших затем к ним рабочих конотопских железнодорожных мастерских. Их можно было распознавать по наружному виду. Это были те, на ком мешком сидела солдатская шинель и голова до половины входила в помятую фуражку или шапку.

В красноармейские части затем вступали почти все арестанты, освобождающиеся из тюрем при вступлении большевиков в данный город. Мы могли бы составить предлинный список всем арестантам черниговских тюрем, состоящим ныне в Красной армии. Нам приходилось часто встречаться с ними и беседовать. С чувством особой горечи мы встречали в красноармейских частях не только своих воспитанников исправительной колонии для несовершеннолетних, но и мальчиков из детских приютов других губерний. Еще при Керенском к ним была применена общая уголовная амнистия, и теперь эти дети служили в Красной армии.

Особый кадр красноармейцев составляли иностранцы. Китайцы, латыши и военнопленные австрийцы и мадьяры. После матросов эти наемники были самыми страшными красноармейцами. Матросы занимали привилегированное положение и в качестве простых солдат в нарядах не участвовали, но австрийцев и мадьяр обыватель боялся панически. Счастлив был тот, у кого обыски производились без участия этих наемников. Для них русские люди были чужими людьми, и потому они, конечно, с нами не церемонились. Мы знали в лицо трех австрийцев, военнопленных, служивших в особом отряде при Чрезвычайке. Про них говорили, что они вовсе не были злыми,

как наши красноармейцы, но при обысках они были беспощадны и насильно снимали с рук обывателей кольца и срывали цепочки с часами. Они накопляли себе состояние, чтобы вернуться на родину при деньгах.

Еще страшнее были мадьяры, которые относились враждебно к русским и при малейшем сопротивлении подставляли ко лбу револьвер. Китайцы были спокойные, но жадные и тащили при обысках все, как простые воры. Китайцы и мадьяры были страшны своим внешним видом. Их боялись дети.

Солдат-красноармеец был страшен. В нем видели разбойника. При встрече на улице с красноармейцем обывателя неудержимо тянуло перейти на другой тротуар. К тому же в лице красноармейца обыватель видел тех, кто расстреливал русских людей. Обыватель говорил, что расстреливает ЧК, но кто был непосредственным исполнителем казни - палачом? Кто расстреливал? Публика не знала этого точно. Мы знали, что расстреливали собственноручно комиссары. Председатель «пятерки» и комиссар Извощиков в этом отношении имели уже определенную репутацию. Расстреливал и какой-то студент в черной тужурке, черномазый круглолицый еврей. Он служил в отделе юстиции и всегда ходил с комиссаром Гухманом. Но это были отдельные случаи.

Расстреливали солдаты-красноармейцы по наряду. Тюремные надзиратели, конечно, знали в лицо тех, кому выдавали арестованных для расстрела. Мне показывали одного из них. Рыжий, в веснушках (конопатый), среднего роста, плотный, типичный великоросс, лет девятнадцати с наглым лицом, стоявший на посту и свистевший, когда мы проходили возле него, с пулеметными лентами через плечо, с винтовкой, не соответствующей его росту, с тупым выражением лица, несомненно неграмотный, одним словом - типичный красноармеец. Он, говорили мне надзиратели, был грубее других и грубо толкал выдаваемых для расстрела буржуев и ругался отборною бранью.

Сначала думали, что расстреливают только солдаты, составляющие особый отряд при Чека, но потом узнавали в лицо и тех солдат, которые помещались в доме Комаровской по Гончей улице, а потом была часть гарнизона. Тот, кто расстреливал, получал особую плату (говорили, 800 рублей) и всю одежду убитого им. Рабочий конотопских железнодорожных мастерских, молодой человек лет двадцати, ныне солдат-красноармеец, которого знали тюремные надзиратели, продавал на базаре пиджачную пару расстрелянного накануне какого-то господина. Эту одежду узнал на базаре тюремный надзиратель, видевший

еще вчера этот костюм и этого красноармейца в тюрьме. Мы даже знаем, что этот костюм был продан красноармейцем за 1500 рублей. Этот красноармеец не состоял в отряде Чека, но, к какой части он принадлежал, тюремные надзиратели не знали.

Обыватель был убежден, что расстреливают китайцы местного гарнизона, но это не так. В тюрьме по крайней мере ни разу не видели китайцев в числе солдат, которым выдавали для расстрела заключенных. Нам лично говорил комиссионер музыкального училища Н. И. Козуб, который был знаком с фокусником-китайцем, служившим пулеметчиком в Красной армии, что на его вопросы, участвуют ли китайцы в расстрелах, фокусник категорически отвергал этот слух и утверждал, что в Чернигове такого случая не было.

Я как-то решился спросить молодого Абрамова, неужели находятся любители расстреливать. Этим вопросом я рассчитывал вызвать со стороны Абрамова разъяснение интересующего нас вопроса, но он ответил цинично и кратко: «Ого, сколько угодно». Я спросил его про мадьяра и австрийцев. «Эти господа проделывают это лучше всех», - ответил мне Абрамов. Таким образом, вряд ли нужно особенно задумываться над этим вопросом, искать какой-то особой группы людей-палачей, которые расстреливали русских людей. Это были красноармейцы. А составляют ли красноармейцы русский народ - это вопрос, который не в нашей компетенции.

* * *

Советский режим проводился в жизнь в полной мере. Декрет за декретом, приказ за приказом устанавливали и нормировали жизнь. Обыватель туго воспринимал идею коммунизма, но все-таки шел по общему течению и приспособлялся. В следующем году продуктов в продаже вовсе не будет, говорили большевики, и каждый должен работать в огороде, чтобы обеспечить себя на зиму продуктами. Приготовления шли к весне. Распределялась пахотная земля и огороды. Производилась группировка граждан для обработки огородов, сенокосов и разработки леса. Частные огороды были отобраны у владельцев и передавались социалистическим ячейкам (коммунам). Собственником оставлялась лишь столько земли, сколько они могли обработать собственными руками, без наемного труда.

Мы попали в две группы. Одна была коммуна тюремных служащих, которым был отведен участок земли за городом на Бобровице возле усадьбы Савича. Там работала Маня, и там было лучше и легче, так как тюремный комиссар Абрамов давал подмогу людьми-арестантами. Маня посмеивалась и первое время с удовольствием ходила на работы. Для дома это было очень

важно, так как на зиму мы получили картошку, капусту, баклажаны и другую зелень. Другая коммуна в 10 человек, в которой участвовал я с дочерью и вся семья Семченко, была, в сущности, фикцией. Мы откупились деньгами. За нас работала Пелагея, а фактически дело вел наш сосед и знакомый, служащий городского банка...

Впрочем, впоследствии и нам пришлось нелегко. Александра Трофимовна почти ежедневно ходила на огород за зеленью, которая составляла чуть не единственную нашу пищу. Она тащила на себе несколько верст мешок с огородиной. С ней ходила бедная Лида, которая всегда изнемогала от усталости. Я обыкновенно выходил им навстречу и уже один тащил этот мешок до самого дома. Это была наша пища. Ничего другого уже достать было нельзя. Хлеб вздорожал до 60 рублей за фунт, и достать его было очень трудно.

В таком положении были все. Целыми группами, с корзинами, мешками, лопатами, сапками, граблями, тянулись после службы за город горожане, в большинстве интеллигентная публика, на отведенные им участки земли, чтобы обеспечить себе на зиму пропитание. Специалисты-огородники, которые десятками лет арендовали эти городские участки и видели теперь своих потребителей, обрабатывающих землю, смеялись и доказывали, что обыватель не получает и десятой доли того, что дает земля. Картошка засажена неумело. Буряк пропал больше чем наполовину. Морковь и петрушка не взошли вовсе. Земля не удобрена. Да и откуда обыватель возьмет навозу? Для этого нужно иметь лошадь, повозку. Это просто забава, говорили они. Нельзя браться за дело, которое не знаешь! Это не шутка. Не дело это барынь и барышень-белоручек, которые никогда не держали лопаты в руках и не умеют отличить семян буряка от моркови. Каждое семя имеет свою культуру.

Конечно, огородники были правы, но ведь Русская земля все терпит. Достаточно бросить семя, и оно само всходит. «Россия велика и обильна». Теперь большевики объявили равенство в труде и не считались с опытом, знаниями и специальностью. Комиссары из простонародья, разные портные, подмастерья, сапожники, бывшие арестанты руководили всеми сторонами государственной жизни, почему же чиновнику, никогда не сидевшему на земле, или барышне-гимназистке не обрабатывать землю. Но это еще не все.

Горожане были привлечены к обязательным принудительным работам. Частично производился набор дружин для городских работ. Это была повинность, так называемая милитаризация труда, для чего был создан рабочий батальон. Мы знали эту

организацию, потому что врачом рабочего батальона состоял доктор Н. В. Любарский (дивизионный врач, действительный статский советник). Он служил, конечно, по принуждению и сам сидел в тюрьме по обвинению в контрреволюции. Он был вместе с тем врачом при комендатуре. Н. В. Любарский не может спокойно вспоминать это глумление над обывателем. На работу брали так называемых буржуев, то есть лиц, имеющих, или, вернее, имевших, собственность (домовладельцев, землевладельцев) и предприятия, парикмахеров, фотографов, торговцев, бывших чиновников, не состоящих на советской службе, и лиц свободных профессий.

Укрыться от этой мобилизации было трудно. По словам Любарского, начальником рабочего батальона был кадровый офицер, не имевший ни голоса, ни власти. Он будто бы скоро скрылся от большевиков, но я лично знаю другое. Как-то вечером, уже было темно, на улице ко мне подошел, как потом оказалось, бывший полицейский пристав, которого я не знал, но который знал меня, и участливо спросил меня, как я умудрился уцелеть. Мы разговорились. Он сказал мне, что служит в рабочем батальоне и, занимая командную должность, рискует всегда быть опознанным. Это его до такой степени тяготит, что он решил уйти. Он говорил, что служба так ужасна, что можно с ума сойти от всего, что там происходит.

Я знал это уже от своего тестя, дедушки моей дочери К. В. Красовского, который только что отбыл для работы в рабочем батальоне. Бедный старик 63 лет, возвратившись через две недели с работы, плакал от обиды. Конвойные солдаты-красноармейцы с нагайками и хлыстами в руках гоняли буржуев на работы. Упитанный, краснощекий, громадного роста фельдфебель из прежних солдат разложившегося фронта, тоже с нагайкой в руках, был начальником взвода. Обращаясь ко всем на «ты», он замахивался нагайкой при малейшей неповоротливости кого-нибудь из буржуев. Он выстраивал свой отряд на вечерней и утренней поверке и, ругаясь матерщинными словами, толкал и хватал за шиворот плохо ориентировавшегося обывателя. «Довольно насосали крови!» - выкрикивал этот солдат, издеваясь над личностью обывателя.

Но еще грубее был сам «политком» (политический комиссар), рабочий Путиловского завода. Н. В. Любарский осматривал больных и давал свое заключение. И вот «политком» вызвал его и кричал на генерала, что он его расстреляет и предаст суду военного трибунала, если он еще раз освободит кого-нибудь из буржуев от работ. В отчаянии интеллигентная публика говорила друг другу: неужели этот режим будет вечным?..

Все служили в большевистских учреждениях и скучно коротали жизнь. Никто ничего не делал, да и дела никакого не было. С нетерпением каждый ждал трех часов, чтобы идти домой. По гудку все одинаково, и интеллигент, и рабочий, шли к 9 часам на работу. Фактически это было $5^{1/2}$ часов труда. Большевики передвинули стрелку часов на $3^{1/2}$ часа и зорко следили за тем, чтобы никто не опаздывал на службу. Мы выходили из дома вместе с восходом солнца, а вставали в четыре часа, чтобы успеть одеться и выпить стакан чая.

Жутко гудел этот фабричный гудок, созывая рабочий люд на работу. Чем-то зловещим звучал этот протяжный, густой и низкий гудок. Мы слышали раз этот гудок в Гомеле в первую Российскую революцию в 1905 году, когда рабочие гомельских мастерских подавали сигнал к началу бунта. Каждое утро напоминало мне этот гудок - этот страшный момент мой жизни. Я проезжал тогда через Гомель и остановился у свое -го приятеля А. П. Черная, начальника дистанции Полесских ж.д., и ночевал у него в квартире при этих железнодорожных мастерских. Это был революционный гудок. Может быть, необычайная обстановка, и слишком раннее утро, и необходимость подчиниться этому насильственному режиму создавали такое настроение, но гудок этот необычайно действовал и на других.

Для интеллигентного труда был установлен шестичасовой рабочий день, а для физического - восьмичасовой. Плата для всех была по ставкам и по категориям труда. Интеллигентный труд, или, вернее, работа, требующая теоретической подготовки, образования и специальных знаний, расценивался несколько выше физического. Начальник учреждения - комиссар получал по ставкам 900 рублей, делопроизводитель - 750 рублей, сторож-курьер - 600 рублей. Но скоро эта градация сгладилась: так, вследствие вздорожания жизни всем было назначено на дороговизну по 500 рублей в месяц, независимо от получаемого оклада содержания.

Пока в ходу были еще «царские деньги», существовать было возможно, но когда были выпущены «красные деньги», цены начали расти с невероятной быстротой. Получился абсурд. Мы получали в месяц 1400 рублей, а стоимость одного фунта хлеба в месяц был 1800 рублей. Таким образом, мы не получали даже на фунт хлеба в день. Между тем люди жили и как-то приспосабливались. Правда, было очень голодно. Хлеб был такой роскошью, как раньше самые изысканные блюда, но терпели, так как все понимали, что это явление временное.

* * *

1 мая намечались громадные торжества. Лихорадочно,

нервно большевики готовились к народному празднику. Ожидали амнистии. Красный террор будто бы даже приостановился. Мы слышали только об отдельных арестантах. В отделе народного образования разрабатывался план празднества 1 мая. Художественная секция должна была выступить днем *с* оркестром, а вечером в концерте-митинге. Город украшался гирляндами, плакатами, красными флагами и картинками. В агитационном отделе (агитпросвет) вырабатывалась программа манифестации. В музыкальном училище ежедневно происходила спевка сборного хора, разучивавшего «Интернационал» под управлением преподавателя М. А. Вейнблат.

Все граждане, все учреждения, школы, профессиональные союзы должны были принять участие в торжественном шествии. Погода была ясная, теплая, но ветреная. К 10 часам утра со всех концов города планомерно, по заранее установленному церемониалу, с соответствующими знаменами, флагами и плакатами стекались к центру всякого рода учреждения, организации, учащиеся, профсоюзы, рабочие и отдельные лица. На площади возле губернской земской управы был сборной пункт. Здесь были все. Не пойти на манифестацию означало погибнуть. Это понимал каждый. Было как-то стыдно и неловко. Почтенные люди, старики, люди серьезные, заслуженные, уважаемые, должны были выйти на улицу. Шли по обязанности, проклиная в душе эту затею.

На манифестацию вышло все городское население. Никто не решался остаться дома, тем более что говорили, будто агенты ЧК будут ходить по домам и записывать контрреволюционеров, не вышедших на манифестацию. Это было грандиозное шествие в несколько десятков тысяч человек. Шествие растянулось на несколько верст. Шли по группам, учреждениям и организациям. Впереди шли красные войска в новых коричневых костюмах (реквизированное сукно клинцовских суконных фабрик). За ними следовали на автомобилях исполком и ЧК со своим черным зловещим флагом с надписями «Смерть буржуям!».

После них следовали коммунисты и вооруженные коммунистические отряды. Это был отряд, не превышающий роты и состоящий сплошь из одних молодых и низкорослых евреев в цивильных костюмах. По сравнению с этими малышами их солдатские винтовки казались невероятной величины и производили какое-то странное впечатление. Затем шли профессиональные союзы по группам: прачки, парикмахеры, прислуга, слесари и штукатуры, пекари, книгопечатники и т.д. За этими шли учебные заведения, школы, советские учреждения и частные лица.

Шествие заключалось грузовым автомобилем, на котором в малороссийских костюмах стоя помещался хор под управлением священника Ступницкого (в статском одеянии). В промежутках между группами шли два, три оркестра военных музыкантов. Каждая группа имела свой флаг из красной материи с соответствующими надписями: «Да здравствует Интернационал», «Да здравствует социалистическая советская республика», «Вся власть советам», «Да здравствует всемирный пролетариат», «Смерть буржуям» и т.д. Музыкальное училище вместо флага имело декорированный портрет Чайковского.

Каждый должен был иметь в петлице красную ленточку, иначе он был бы растерзан коммунистами. Было стыдно участвовать в этой процессии, но люди шли, хотя и красными от стыда. Процессия была величественная, грандиозная, но гадкая, страшная, чудовищно-безобразная. На каждом шагу, на проволоках через всю улицу, на фонарных и телеграфных столбах, на балконах, на заборах, на специально устроенных помостах были пристроены громадные плакаты и целые картины возмутительного содержания. «Бей буржуя!» Мужик убивает дубиной толстого господина. Эта картина в ярких красках была гвоздем торжества. Дальше рабочий кузнец в фартухе убивал молотом господина в цилиндре на голове. Потом солдат, прокалывающий штыком грудь своего офицера, и т.д.

Одна картина была страшнее другой и становилась кошмаром перед глазами. Красные флаги, ковры с балконов (главным образом из еврейских домов), гирлянды - все это пахло сырой кровью, и весь колорит празднества носил зловещий характер. Изображение рабочего, хватающего за горло толстого господина, вызывало хохот простонародья и солдат-красноармейцев, показывавших пальцами на смешную фигуру падающего на спину господина с выступившими от страха из орбиты глазами.

Но эти картины совершенно иначе воспринимались детьми и подростками из учащихся, в особенности девочками гимназистками. Они, конечно, тоже впивались глазами в эти картины, но впечатления их были другие. На их личиках был ужас. Они еще не видали картину убийства. Кровь для них была отвратительна и действовала на них отталкивающе.

Они не отвернулись от этих плакатов, потому что они стояли перед глаза -ми. Лица детей были серьезны; они не смеялись и не улыбались, но ужас приковал их взгляд к этим картинам. Глаза детей точно остановились и сделались большими. Выражение лица их было недоумевающее, точно они спрашивали, что все это значит. Они понимали, что нельзя спрашивать и нельзя плакать,

и дети застыли со своим вопросом на безмолвных устах. Их вели поклассно. Родители не решились оставить своих детей дома. Детям было приказано прийти к 9 часам в гимназию. Шли дети, отцы которых сидели в тюрьме, и дети, родители которых уже были расстреляны. Они должны были участвовать в этой тризне и участвовали в этом народном кровавом празднестве.

Манифестация закончилась грандиозным митингом, но этот аккорд праздника был необязательным, и все, кто только мог, ушли домой. На балконе дома Шлепянова по Шоссейной улице процессию встретил оркестр под управлением преподавателя нашего музыкального училища В. А. Юркевич. Оркестр исполнял «Интернационал». Конец этой вакханалии пролетариата был на концерте-митинге на «Валу». После каждого оркестрового номера, исполнявшегося под управлением С. В. Вильконского, выступал с речью оратор-большевик. Это были страшные речи, от которых кровь застывала в жилах, говорил нам С. В. Вильконский. Речь комиссара Коржикова вызвала даже протест простонародья. Раздавались крики «довольно!», когда Коржиков призывал к убийству и доказывал, что Бога нет - его выдумали попы и буржуи.

Этот кровавый праздник народа был страшен. Страшен своей силой и моральным гнетом. Какая-то сила заставила пойти всех. Пойти со стыдом и краснея. Это была сила террора. Гнали всех и все шли. Было страшно не только нам. Приехавшие из окрестных сел на базар крестьяне сначала с любопытством смотрели на эту манифестацию, но смотрели из-за угла, а затем им сделалось страшно, и они поторопились уехать. Это говорили сами крестьяне, да оно и должно было так быть. Ни одного крестьянина не было на этой манифестации. Большевики показали свою силу и доказали, что умеют заставить подчиниться своей воле. Становилось жутко и страшно за всю Россию. Неужели нельзя вырваться из рук этой кучки людей-террористов, схвативших власть и действующих при посредстве отбросов русского народа?..

Повсюду, во всех городах было то же. В Киеве, как потом мы узнали, манифестация была еще грандиознее, и плакаты и картины еще в большем количестве, но для обывателя там было лучше. Там можно было не пойти на манифестацию. Там люди не были так на виду.

Мы имеем громадный материал о праздновании 1 мая в тюрьмах Черниговской губернии. Этот материал с рисунками, фотографиями, программами, афишами, чертежами хранится в Чернигове у М. Я. Лукиной. Это было сплошное издевательство над людьми. По приказу из Наркомстата из Киева было

предложено во всех тюрьмах отметить 1 мая устройством чтений, лекций, концертов и возможно торжественнее обставить это празднество. Мы читали потом донесения начальников тюрем. Тюремные здания были украшены зеленью, гирляндами, красными флагами. Всюду фигурировали портреты Ленина и убитого Урицкого. Эти портреты в гравюрах были убраны и утопали в зелени.

И кто же их убирал этой зеленью! Конечно, те, кто сидел в тюрьме за контрреволюцию и через несколько дней после этого были расстреляны. Молодой Панченко (офицер) предвидел это и говорил со слезами на глазах, что убирает цветами своего убийцу. Отказаться от участия в торжестве означало ускорить свою смерть. Хор буржуев из арестантов, пение «Интернационала», хор балалаечников, гитаристов, отдельные номера солистов составляли везде программу концерт-митинга. В иных тюрьмах были приглашены артисты и любители музыки. Инструменты, конечно, были реквизированы у обывателей. После каждого отделения или номера выступали ораторы из Чрезвычайки или исполкома и, конечно, призывали к уничтожению буржуазии и контрреволюционеров. Заключенные сквозь слезы и с ужасом участвовали в этом празднестве, предчувствуя свою гибель.

Любопытно, что впоследствии я спросил тюремного надзирателя Довженко, был ли он на этом празднестве, и он ответил, что все старослужащие не были на этом концерте, потому что было как-то страшно. Мы имеем фотографию группы балалаечников из буржуазной молодежи, студентов и

офицеров, участвовавших в этом хоре, и отметили тех, кто скоро после этого был расстрелян. Это было в Черниговской губернской тюрьме.

К участию в тюремном концерте были приглашены лучшие музыкальные силы Чернигова. Это были преподаватели нашего музыкального училища. Они пели и играли сквозь слезы. Они исполняли музыкальные номера людям, замурованным в склепах тюрем и приговоренным к расстрелу. Они это знали и не смели смотреть им в глаза, чтобы заключенные не прочитали в их взгляде своего приговора. Было неловко, натянуто, грустно и тяжело на душе. Хотелось плакать. Присутствие ко -миссара и чекистов делало это свидание исполнителей с заключенными донельзя тяжелым.

* * *

Наступило лето - эти кошмарные дни, залитые кровью. Где-то далеко наступали добровольцы. Большевикам угрожала опасность, и они отвечали на это массовыми расстрелами. Гибли не только виновные по мнению большевиков, но и просто

граждане, которых именовали заложниками. Заложников выбирали из буржуазного элемента или из бывших чиновников и общественных деятелей. Над советскими учреждениями был установлен контроль. Шла проверка служащих. Выискивали ответственных чиновников при царском режиме, которые, по мнению большевиков, переменив шкуру, укрывались в советских учреждениях.

Согласно декрету из Москвы, на учет брались все, занимавшие раньше должности губернаторов, вице-губернаторов, членов судебных палат, прокуроров и т.д. Вместе с тем усиливались репрессии по отношению к обывателю. На улицах устраивали облавы и одновременно производились обыски в целых кварталах. Становилось жутко жить. Чрезвычайка открыла филиальные отделения. Тюрьмы переполнились людьми, ждавшими своей участи. Газету было страшно брать в руки. Списки расстрелянных и призывы к убийствам заставляли содрогаться перед этой черной печатью.

В музыкальном училище проверка и перевыборы преподавателей прошли благополучно. В особой комиссии с участием коммунистов мы были вновь избраны преподавателями музыкального училища. Казалось, что после этого мы могли бы быть спокойными. Мы получили к тому же охранные грамоты с печатью ЧК и думали, что это гарантирует нам в некоторой степени неприкосновенность личности, но это было не так. Скоро начался разгром музыкального училища.

После моего отказа принять должность председателя музыкальной секции наробраза вместо профессора Е. В. Богословского наробразом была выставлена кандидатура нашего преподавателя пианиста Гоголя. Последний тоже не хотел занимать этой должности, но не успел дать ответа, как неожиданно для всех был арестован. При обыске у него нашли переписку с высокопоставленным лицом и его фотографическую карточку в камер-юнкерском мундире.

Преподаватель Гоголь, отличный пианист и высокообразованная личность, был в Чернигове недавно, и мы знали, что он принадлежит к высшим слоям петербургского общества. Гоголь, конечно, был расстрелян. Он этого не ждал. Сидя в тюрьме, он много играл на пианино, и, говорят, играл замечательно. Бедный Гоголь подвергся глумлению перед смертью. Его выводили на расстрел в числе прочих. Всех осужденных поставили в ряд и делали перекличку. Вызывал по фамилиям сам Коржиков. Когда последний назвал фамилию Гоголя, он, обладая слабым голосом, тихо ответил «здесь». Коржиков не услышал ответа и набросился с бранью на Гоголя,

спрашивая, почему он не отвечает. Гоголь сказал, что он отозвался, но было уже поздно. Коржиков бил Гоголя по щекам и потом передал его солдатам. В музыкальном училище была паника. Комиссар Идлис выставил кандидатуру Гоголя, а ЧК выхватила его и расстреляла. Значит, защита комиссара не имеет силы.

Еще неожиданнее для нас был арест преподавателя скрипки И. Б. Красильщикова. Я принял первый это известие. Конный красноармеец подъехал к училищу и передал через меня, чтобы Красильщиков тотчас же явился в милицию. Мы забили тревогу и успели предупредить дочь Красильщикова. Исаак Борисович был выкрест из евреев и женился на православной вдове с несметным количеством почти взрослых детей, которые, между прочим, его очень любили. У Красильщикова был хутор в Городнянском уезде, куда он собирался ехать на лето с семьей. Известный конокрад, сосед Красильщикова по меже, захвативший, между прочим, часть имущества Красильщикова, был этим недоволен и заявил в городнянской Чрезвычайке, что Красильщиков контрреволюционер и в доказательство привел факт, что при царском режиме Красильщиков принимал в своем хуторе генералов-контрреволюционеров (к Красильщикову летом часто приезжал на охоту врачебный инспектор действительный статский советник Н. Д. Сульменев, который и ныне состоял на службе в отделе здравоохранения).

Красильщиков томился в тюрьме очень долго. Его ученики-евреи имели знакомства в ЧК и употребляли все усилия, чтобы выручить из беды своего преподавателя. Красильщиков был в конце концов освобожден, но постарел за это время до неузнаваемости. Он чувствовал себя уже приговоренным к расстрелу и не ждал возвратиться к жизни. Каждый раз, когда из тюрьмы брали к расстрелу заключенных, он переживал ужас. И. Б. Красильщиков много рассказывал мне про тюрьму в связи со своими переживаниями, и я все своевременно записал. Это был удивительный психологический анализ, но теперь по памяти я не могу восстановить этот рассказ.

Мы оставались долгое время без преподавателя скрипки. Маркович, испугавшись ареста Красильщикова, сейчас же уехал под видом командировки из Чернигова. Ежедневно была какая-нибудь новая неприятность. Преподаватель В. А. Юркевич, на глазах которой утром красноармеец убил какого-то человека, разнервничалась и не могла в этот день заниматься. Гофман-Наумова ежедневно жаловалась, что ее преследуют живущие в ее квартире красноармейцы-матросы, и это лишало ее того равновесия, которое было необходимо для занятий с учениками.

Ученица Сафонова прибежала в училище и страшно взволнованная рассказывала, что ее чуть не убили за то, что нашли при обыске погоны и ордена ее покойного отца.

Преподаватели нервничали. Голод и недоедание еще больше нервировали их. Настроение делалось скверным. Окончательно нарушил нашу жизнь арест А. А. Бакуринского, этого популярного в Чернигове человека. Его жена Ольга Романовна была издавна преподавателем музыкального училища и пользовалась не меньшей популярностью, как известная благотворительница и отличная певица, всегда выступавшая на благотворительных вечерах. Алексей Александрович был арестован вместе со своим сыном, студентом Алешей. Они были взяты заложниками. Добровольцы приближались к Харькову и Полтаве, и это был ответ на их успех.

В городе забили тревогу. Бакуринский, как бывший предводитель дворянства и председатель губернской земской управы, а потом помощник губернского старосты при гетмане, был слишком хорошо всем известен, чтобы его арест прошел не отмеченным. Свыше 5000 подписей рабочих, крестьян, ремесленников и обывателей покрыли протест и ходатайство об освобождении Бакуринского из тюрьмы, но Коржиков заявил, что именно такие популярные люди и страшны большевикам. А. А. Бакуринский с сыном были расстреляны. В городе было смятение.

Вместе с Бакуринским была расстреляна большая группа интеллигенции (насколько припомню, до 35 человек, часть которых была перечислена в газете «Известия» от 2 августа), но центральной фигурой в этом кошмарном деле все-таки был Алексей Александрович с сыном. Алеша был баловень местных барышень, а за Бакуринского стоял весь город. Судьба Бакуринского была предрешена. Об этом знали мы и его жена. За день-два до этого расстрела в тюрьме состоялся концерт с участием О. Р. Бакуринской. Она пела в этот раз исключительно хорошо. Это было последнее ее свидание с мужем. Алексей Александрович сидел в первом ряду. Большая ткацкая мастерская тюрьмы была теперь приспособлена к концертному залу. Пианино было реквизировано. Это была громадная, светлая и чистая комната, но решетчатые окна во дворе тюрьмы и тип тюремной постройки ни на минуту не позволяли перенестись в иной мир.

Участники этого концерта делились с нами потом своими впечатлениями. На душе было страшно тяжело, говорили они. Аудитория была не тюремная. В большей своей части публика была интеллигентная. Лица были знакомые. В любом концерте всегда можно было видеть именно такую публику, но здесь на них был другой отпечаток. Это были все люди перестрадавшие,

изможденные, со страдальческим выражением лица, ожидающие казни. Они пришли не для того, чтобы развлечься, а чтобы повидать своих людей, пришедших утешить их музыкой. Присутствие комиссара и стражи, конечно, создавали официально-натянутую атмосферу, но и это дало некоторое удовлетворение обеим сторонам. Было грустно. Участие в этом концерте никогда не изгладится в памяти, говорили наши преподаватели.

Уже на следующий день О. Р Бакуринская бросалась во все стороны и хлопотала поднять на ноги всех о помиловании мужа и сына. Были подняты на ноги все, кто только мог заступиться за этих людей.

Ночью А. А. Бакуринский будил своего сына, которого не могли разбудить красноармейцы. «Алеша, вставай!» - тряс за плечи отец своего сына[17]. Алеша проснулся и в ужасе отшатнулся от палачей. Как ребенок, зарыдал бедный юноша, а дальше мы не знаем, как было. Но было нечто ужасное. В конторе тюрьмы их вязали руками сзади по двое. С кем был связан А. А. Бакуринский, мы не знаем, но знаем, что солдаты при этом били, толкали и швыряли свои жертвы. В эту ночь убивали большую группу интеллигенции. Это было в ночь на 1 августа.

Их трупы были разбросаны по всему полю за Черторейским мостом по Гомельскому шоссе и только на следующий день были убраны по наряду крестьянами д. Коты. Мы имеем в Чернигове список расстрелянных в эту ночь, а теперь припоминаем только офицеров Барановского, Любарского, Панченко с матерью, И. В. Ляшенко, Савченко-Бельского, А. И. Борсукова, кажется братьев Тетеркиных. Их вязали по двое и на грузовиках вывозили за город. Здесь были и статские, и военные, и священники и женщины. Крики и стоны оглашали в эту ночь город - обыватель переживал ужас. Добровольцы несли освобождение и смерть.

В этих массовых расстрелах принимали участие многие комиссары. Полупьяные и кокаинированные, они вместе с такими же солдатами беспощадно исполняли свою роль палачей. Обыватель знал, как расстреливают. Каким-то путем до него доходили все подробности этой ужасной казни. М. А. Сахновский, сидя в ЧК, слыхал, как охранявшие их красноармейцы-мальчишки хвастались друг перед другом, как и в какое место они расстреливали, и как падали и корчились в предсмертных судорогах их жертвы. Обыватель брался руками за голову и говорил: «Хотя бы застрелили сразу». Расстрелы были страшны тем, что убивали не сразу. В большинстве случаев расстреливаемых приходилось добивать, так как пули пронизывали такие места тела, от повреждения которых смерть

не наступала.

Публика знала, что в громадном числе случаев раненых не добивали, а просто закапывали живыми. Впоследствии большевики и сами обратили на это внимание. Они стали расстреливать в затылок. Это был верный способ убить человека. Нас лично вопрос этот тоже всегда мучил. Мы были готовы к смерти, но рыть самому могилу и быть в ней закопанным живым страшило нас.

В городе только и говорили, что о расстрелах. Источником всех сведений были местные бабы, которые не могли воздержаться от любопытства пойти посмотреть на расстрелянных. Они приводил в ужас своими рассказами. Через Пелагею мы знали, что за Черторейским мостом по шоссе, возле деревни Коты, валяются обглоданные собаками человеческие ноги, руки и черепа. На поляне и в оврагах бабы видели золотые зубы и целые челюсти, но никто не хотел даже брать в руки этого золота.

Вся местность была покрыта разными мелкими вещами и обрывками одежды. Тут были гребешки, застежки, пуговицы, шнурки, пряди волос, обрывки материи, какие-то тряпки, воротнички и т.д. Мужики деревни Коты закапывают расстрелянных неглубоко, так что и теперь можно видеть торчащие из-под земли части ног и рук. Мы слыхали об этом и из других источников. Н. В. Любарский рассказывал нам, что его жена ходила потом к этому месту расстрелов, чтобы найти признаки тела своего сына, и видела следы расстрелов с виднеющимися из-под земли конечностями. Собаки целыми стаями рыскали в этом месте, так что одной было страшно ходить к этому кладбищу.

Я просил только одного - не рассказывать это при детях, но дети уже знали откуда-то все эти подробности и рассказывали нам то, о чем мы не знали. Кто-то из детей говорил мне, что О. Р. Бакуринская ходила на могилу мужа и сына, но это не они закопаны в этой яме. Она молилась над чужой могилой. Мы узнали также от них, что при этом расстреле большевики сильно беспокоились, ожидая внезапного нападения. И это оказалось правдой. Осужденных везли в месту расстрела с опаской. Грузовики с осужденными часто останавливались, поджидали друг друга. Конвойные суетились, перекликались между собой, ругались и ждали кого-то. По улицам никого не пропускали. И к этому было основание.

Мы сами улавливали смутные слухи о том, что молодежь - сверстники Бакуринского, Любарского, Барановского и других, подлежавших расстрелу в эту ночь, что-то предпринимали.

Называли даже фамилию студента Атаманенко, который будто бы издали следил за всем происходящим и видел всю картину расстрела. Говорили затем, что А. А. Бакуринского (или его сына) не довезли до места расстрела, а застрелили на автомобиле и выбросили его труп возле Черторейского моста. Было жутко. Казалось бы, что весь этот ужас должен был отрезвить людей. Но нет, страдали лишь интеллигентные люди. Толпа, улица, народ мало интересовались расстрелами и повторяли равнодушно: «А Бакуринского-то расстреляли».

В этот вечер в городе было назначено много вечеров, концертов и ми -тингов. Толпа заполняла все улицы, бульвары и скверы. Разодетое простонародье - бывшая прислуга, дворники, курьеры, мастеровые, рабочие и еврейская молодежь празднично гуляла. Погода была чудная. Кое-где по-провинциальному раздавалось деревенское пение простонародья, группами стоявшего у ворот обывательских домов. Интеллигенции на улицах не было видно. Низшие слои населения играли теперь первенствующую роль. На красный террор толпа почти вовсе не реагировала. Бакуринских улица знала отлично как людей весьма популярных среди именно низших слоев населения. Их уважали и любили, но теперь чувства толпы притупились и выражались иначе: «А Бакуринского-то расстреляли», - говорили они как о сенсационной новости.

* * *

Чернигов представлял собой печальное зрелище. Лучшие усадьбы и дома были заняты красноармейцами, советскими учреждениями, комиссарами и бесконечным множеством приехавших служащих[18].

Дома были загрязнены и обращены в казармы. Обывательские квартиры были уплотнены сверх нормы. Квартирохозяева были загнаны в одну комнату, а все прочие помещения были реквизированы или просто заняты советскими служащими, военными и главным образом евреями. Кухни, уборные, ванны, кладовые сделались общими. Впрочем, ванны скоро испортились и ни в одном доме не действовали. Общими сделалось и достояние квартирохозяев.

Поселившиеся требовали себе самовар, посуду, ложки, вилки, ножи, постельное белье, одеяла, подушки. Они бесцеремонно лазили в шкапы, комоды, сундуки и, недовольные тем, что им давали, требовали лучших одеял, подушек, вовсе не считаясь с удобствами своих хозяев. Конечно, обывателя эксплуатировали вовсю. Бывали и такие случаи, когда такому квартиранту понравится одеяло, которым накрываются хозяева, и он получал ордер на реквизицию этого одеяла. Мы знали несколько таких

случаев и видели обиду и слезы тех, у кого отбирали эти отличные шелковые и ватные одеяла, чудом сохранившиеся при обысках. Этим, конечно, занимались еврейчики, состоявшие на советской службе.

Заборы, ворота, калитки во многих местах свалились и постепенно растаскивались на топливо. Деревья и кустарники в палисадниках были поломаны, потоптаны. Клозеты повсюду были забиты и не действовали. Городские и частные ассенизационные обозы прекратили свое существо -вание. Все сады, скверы, дворы, улицы, площади были загажены. Электричество едва функционировало и давало такое тусклое освещение, при котором читать и заниматься было нельзя. Керосина и свечей не было. Обыватель приспособлялся и завел самоделки-коптилки, которые, едва мерцая, тускло освещали комнату.

На улицах было совершенно темно. По распоряжению городского комиссариата в частных домах свет должен быть потушен к 10 часам вечера. Поневоле приходилось ложиться спать, но это было скучно, и мы все-таки сидели дольше и, прячась в дальних комнатах, плотно завешивали все щели в окнах, чтобы с улицы не было видно света. И это нервировало нас, так как приходилось прислушиваться, не идет ли по улице патруль. На улицах жизнь замирала с наступлением темноты. С одной стороны, вечное военное положение, при котором позже 7-10 часов вечера всегда обывателю было запрещено выходить на улицу, а с другой - абсолютная темень и страх ограбления замуровывали жителей по домам.

Концерты, спектакли и кино приноравливались к военному положению и заканчивались рано. И в этих случаях объявлялось, что хождение по улицам разрешается до окончания спектакля, но никогда не обходилось без скандалов. Очень часто расходящаяся публика попадала в облаву и ночевала в милиции. Впрочем, обыватель предпочитал в театры и концерты не ходить. Там бывала своя публика: красноармейцы, советские служащие и коммунисты, уличная толпа - одним словом, свои люди, которые не боялись ни милиции, ни Чрезвычайки.

Вообще интеллигентной публики на улицах не было видно, а если они и встречались, то их трудно было отличить от уличной толпы. Каждый старался одеть что попроще, чтобы не обращать на себя внимания. Интеллигенция приспосабливалась к толпе. Крахмальные воротники исчезли. Котелки и шляпы было опасно надевать, так как они обнаруживали буржуя. Почти все носили фуражки образца «Керенского». Вообще в одежде считалось необходимым показать небрежность и неряшливость. Встречались люди в лаптях и холщовых башмаках, а некоторые ходили в

деревянных сандалиях.

В особой моде были обмотки и военные грубые английские башмаки. Конечно, это вызывалось необходимостью вследствие отсутствия на рынках обуви и недостаточности средств. Но многие подделывались под толпу и утрировали. Исчезли и дамские моды. Дамы и барышни были одеты бедно, грязно, небрежно. Изящество и аккуратность исчезли вовсе. Наиболее интеллигентные барышни, конечно, старались придерживаться прежнего, но, как нарочно, они-то и не могли себе позволить этого, потому что износились или были ограблены. Они ходили без чулок, надевая башмаки и туфли на босые ноги. Напротив, те, кто мог одеться, большевиствовали, то есть нарочно одевались небрежно.

Обидно было смотреть на эту грязную молодежь, из-за моды уродовавшую себя. Только что кончившая гимназию миловидная барышня Экземплярская приходила, например, в наробраз в лаптях и холщовой рубахе. Она бравировала этим, хотя и не была большевичкой. По-прежнему наряжались только еврейки и комиссарши. Но к ним изящество не подходило, и всегда в них можно было узнать хамок в каракулевых саках.

Исчезли совершенно извозчики и частные выезды. Реквизированные комиссарами экипажи и лошади приобрели сразу какой-то иной вид -обшарпанный, грязный, революционный. Как это ни странно, но весь облик прежнего, казалось бы элегантного выезда превращался в руках большевиков в какой-то хамский выезд. Та же лошадь, тот же экипаж, но сидящая в нем комиссарша в реквизированном каракулевом саке или комиссар во френче придавали этому выезду именно что-то революционное, хамское. Это было то же самое, что с автомобилями, на которых так любили разъезжать большевики. И раньше военные ездили на автомобилях, но почему-то впечатление получалось другое.

Отличительное свойство большевиков заключалось в том, что они всегда суетились. Движение автомобилей, грузовиков, заполненных вооруженными солдатами, матросами, комиссаршами, патрули, группы солдат и отдельных лиц, снующих по улицам, - все это как будто не имело никакого смысла. Ведь пришибленный обыватель уже давно спрятался у себя дома и боялся выйти на улицу. Фронта тоже не было никакого, а между тем почему-то все суетились, волновались, торопились и будто чего-то искали, кого-то преследовали, чего-то боялись.

Конечно, выискивали и ловили контрреволюционеров, но в действительности это были люди, совершенно безопасные для

большевиков. Они не только не проявляли себя в каком бы то ни было отношении, но были просто парализованы от ужаса. Мы утверждаем, что это была не борьба большевиков с контрреволюцией или протестом против их режима, а просто уничтожение людей, неугодных большевикам. Мы знали многих из расстрелянных и удостоверяем, что только незначительная часть их (полковник Пикус, офицеры Панченко, Тетеркин, Любарский) выступали активно, организуясь против большевиков.

Громадное же большинство погибло только вследствие мести за прошлое. Губернатор Шрамченко расстрелян не за то, что он контрреволюционер. Он не мог быть таковым, так как уже давно лишился рассудка. Его убили за то, что он был губернатор. Бакуринский с сыном не выступали против большевиков. Это были богатые люди, буржуи в полном смысле этого слова. М-me Демидович была расстреляна не за то, что выступала против большевиков, а за то, что заведовала когда-то чайной Союза русского народа. И так почти все.

Большевики прежде всего мстили за прошлое, и в этом был ужас. Никто не был гарантирован от доноса, а донос у большевиков - это был достаточный повод к гибели человека. Большевики выпускали воззвания и писали в «Известиях»: «Доносите о каждом, что знаете о нем, не беспокойтесь, Ваше имя останется не обнаруженным». И люди доносили. Доносили, конечно, прежде всего на тех, кто стоял когда-то у власти.

Выдавали бывших жандармов, полицейских, чиновников. Доносила бывшая прислуга на своих господ, рабочие на хозяев. Доносили уволенные когда-то служащие на своих бывших начальников. Доносили ученики на своих учителей, евреи на тех, кто когда-то называл их жидом. Выдавали политических деятелей, и в особенности «черносотенцев».

Одним словом, это было то же самое, что в первые дни революции при Керенском, но в более широком масштабе. Доносили не только на выше себя стоящих, но и друг на друга. Это был какой-то общественный психоз. Месть во всех ее видах - в этом прежде всего выявляется большевизм. Эту психологию было чрезвычайно трудно понять. Доносили не только большевики и большевиствующие элементы, но и люди, которым, казалось бы, не следовало напоминать о себе. Доносили даже дети на своих родителей и соседи друг на друга. Мы знали, что Н. И. Квитковский в Киеве погиб только потому, что не давал швейцару «на чай». Швейцар рассердился и донес, что в этом доме проживает товарищ прокурора.

Мы знали и другой случай. П. Л. Петров, желая поселиться в

своем доме, выхлопотал в ЧК ордер и предложил полковнику в отставке (или даже, кажется, генералу), который жил в его доме, освободить квартиру. Полковник рассердился и написал в Чрезвычайку донос с указанием, что П. Л. Петров, будучи директором колонии малолетних, воровал мыло и истязал детей.

Система доносов проникла и в интеллигентные слои общества. Доносили все друг на друга. У одного стимулом была злоба, желание уязвить, отплатить, посчитаться, наказать. Другие просто сводили личные счеты. Третьи доносили, чтобы подслужиться большевикам. А в массе это был просто отклик на призыв большевиков. Доносы приняли такие размеры, что люди стали бояться друг друга. Доносили непосредственно и через третьих лиц. Прислуга нашептывала красноармейцу, что ее барыня злая и принимала у себя губернаторшу. И это был повод к разгрому квартиры и появлению в квартире чекистов. Доносов боялись панически, не зная, откуда и от кого может последовать. Один скажет другому, тот -третьему и далее, и так вспоминалось старое, давно забытое, но кому-то нужное. И так гибли люди.

Но это было еще не все. За доносами распространялся сыск. И тут становилось уже трудно разобраться, где начинается деятельность и влияние большевиков и где обывательщина. «Ну как твой барин?» - спрашивала бывшая прислуга соседку-кухарку. - «Еще не арестовали». И отсюда возникали суды-пересуды, сплетни, слежка, и в результате следовали обыск и агент ЧК. «Ну как?» - и с этого начинался сыск. Всем было интересно знать, как чувствует себя бывший буржуй, бывший чиновник высокого ранга, что делает он, где скрывается, чем занимается, и вот вспоминали, рассуждали, толковали и... следили.

Жизнь протекала на виду улицы, и укрыться от людей было невозможно. Следили официально и неофициально. Следили и на почте, где был отдел перлюстрации писем. Письма вскрывались и читались. Обыватель знал, что погубить может не только содержание письма, но и просто напоминание о себе или той фамилии, которая что-нибудь значит. Так погиб в Киеве товарищ прокурора Калиновский, в кармане одежды которого при обыске нашли письмо. Калиновского расстреляли.

Частная переписка сделалась невозможной, и люди были оторваны друг от друга, точно они жили в различных государствах. Мы, по крайней мере, даже не пытались узнавать о своих родственниках и были отрезаны от них совершенно. Едва ли не хуже еще были угрозы доносом. Преподаватель нашего музыкального училища Вейнблат (меньшевик) настаивал, чтобы я зачислил его брата - ученика музыкального училища, писцом в канцелярию училища. Я доказывал, что это будет фикция. «Ну,

тогда нас рассудит ЧК», - заявил он. Конечно, мы тотчас же исполнили требование г. Вейнблата, и его брат получал жалованье в качестве служащего в канцелярии музыкального училища.

Но было еще хуже. Мы слышали это от вполне интеллигентных людей, с которыми расходились во взглядах. «Ну что же, тогда пусть нас рассудит исполком», - сказала мне преподавательница пения г. Кринская, когда я отказался выписать ей жалованье, как она этого хотела.

Хотя это говорилось сгоряча и мы знали, что дальше угрозы дело не пойдет, но было противно и досадно.

Люди опускались морально. Полуголодная жизнь в условиях борьбы за кусок хлеба, за свой угол, за права существования подтачивала нравственные силы и равняла всех с улицей. Чувство досады, злобы, обиды и вечного страха глубокой чертой отразились в облике каждого человека. Люди ссорились между собой, забывая совершенно окружающую атмосферу и личное благополучие. Глаза впалые, болезненно блестящие, лицо желтое, бледное, морщинистое, припухшее, с отеками под глазами, со стянутой у воротника на шее кожей - таковы были внешние признаки душевных страданий. Мы не узнавали людей когда-то упитанных, здоровых, крепких. Я встретил как-то под вечер на улице И. Н. Владимирова. Он шел ночевать к знакомым на окраину города. Так скрывалась большая часть интеллигенции. Он сидел уже в Чрезвычайке, а потом в тюрьме, и теперь избегал ночевать дома. Скорее случайно, чем с настроением, я спросил, у кого он скрывается. Илиодор Николаевич, улыбнувшись, ответил мне неопределенно. «Боже мой! Мы скоро начнем бояться самих себя», - подумал я.

И мне стало досадно, что я предложил ему этот вопрос. Ведь и я сам удачно скрылся от улицы в доме А. Т. Семченко на «Ивановском хуторе» (окраина города). Я сам не терпел излишнего любопытства, когда меня спрашивали, где я живу. Я скрылся удачно. Очень часто по старой памяти на мою прежнюю квартиру приходили какие-то солдаты и спрашивали меня. Я убежден, что если бы я остался на своей квартире, то мне не удалось бы избежать катастрофы.

Много зависело, конечно, от случая, и главным образом от уличных встреч. Арестовать мог каждый, если он еврей, чекист, коммунист, красноармеец, матрос. Это делалось просто. Ордера не требовалось. «Товарищ, вы арестованы, следуйте за мной», - сказал почти мальчишка, курчавый еврей, агент ЧК, сын резника с Десны, встретив на улице Любарского, шедшего со своим отцом (военным врачом в чине действительного статского советника). И

нужно было идти. Еврейчик узнал в Любарском кадрового офицера. М. Н. Любарский был расстрелян. Таким же точно образом попал в тюрьму начальник сосницкой тюрьмы Владимирский. Его узнал на улице бывший арестант, ныне комиссар, приехавший по делам в Чернигов, и предложил следовать за ним в Чрезвычайку. Скрыться было трудно, тем более что ответственность падала и на тех, кто укрывал. Милитина Мякшилова с теткой были расстреляны только за то, что у них скрывался молодой офицер Панченко.

Тем не менее люди скрывались и покрывали друг друга. Мы узнавали об этом случайно и переживали беспокойство и за тех и других. Молодежь была в этом отношении особенно изобретательна. Я встретил однажды свою дочь с Милей Свионтецкой. Смущенный вид выдал их сразу. Они заботились об укрывающихся в доме Свионтецкого трех офицерах. Офицеры скрывались в погребе квартиры санитарного врача В. А. Базилевича. Скоро при обыске молодежь была обнаружена и препровождена в Чрезвычайку. Один из них Левченко (гимназист Варшавской гимназии) симулировал потом сумасшествие и попал в психиатрическое отделение губернской земской больницы. Судьба других двух нам неизвестна. Арестованы были и Базилевич с женой, но они были скоро освобождены.

Особенно тяжелое положение было тех, кто знал, что их разыскивают. В этих случаях нужно было бежать. Мы знали несколько таких случаев. Это был своего рода героизм. Нужно было рисковать перейти Десну и лесами по болотам в лозняке пробираться на Киев. Здесь были глухие места, где скрывались повстанцы и анархические банды, не менее опасные, чем большевики. Так ушел из Чернигова товарищ прокурора Го - ринский. Так ушла А. И. Листовская, которую должны были неминуемо расстрелять. Листовская бежала, и ее видели потом в Одессе. Скрылась удачно из Чернигова и А. К. Шрамченко после расстрела своего мужа. Даже ближайшие ее родственники, жившие в одной с ней квартире, не знали, где она скрывалась и когда ушла из дома, и, конечно, ее расстреляли бы, если бы она своевременно не ушла.

В отместку большевики систематически громили не только квартиру К. В. Красовского, где жили Шрамченко, но и квартиру ее сестры Н. К. Редин. Из квартиры последней вынесли положительно все, что представляло какую-нибудь ценность. Но и этого мало. В результате арестовали дочь М. Н. Шрамченко, Екатерину Михайловну, предъявив ей какое-то несуразное обвинение. Екатерина Михайловна погибла.

Ужасный гнет ожидания ареста и естественного последствия

его расстрела делали личную жизнь невыносимой. Никто не мог быть уверенным в завтрашнем дне. Уловить систему террора или даже приблизительно учесть категорию лиц, которую преследовали большевики, было очень трудно. Расстреливали и арестовывали лиц разного состояния и совершенно, казалось бы, противоположных полюсов. С одной стороны, гибли генералы, полицейские, жандармы, чиновники, общественные деятели, но тут же, тут же массами расстреливали обыкновенных обывателей, крестьян, священников, дам, барышень, купцов и даже евреев. Одних расстреливали «в порядке красного террора», вместе с ними гибли заложники и рядом те, кого разыскивали и кому мстили отдельные лица из клики большевиков. Это была какая-то лотерея - судьба. Какой-нибудь случай, напоминание о себе, донос, случайная встреча - и гибли те, кто менее всего этого ожидал.

Впрочем, чувства невероятно обострились. В людях развилось то, что называется предчувствием и распознаванием признаков. По этим признакам люди предчувствовали свою гибель и метались из стороны в сторону, ища выхода из положения. Мы встретили делопроизводителя губернского правления Савченко-Бельского. Одетый как простолюдин, в кожухе, грязный, он не производил впечатления интеллигентного человека, и его трудно было узнать. Он чувствовал свою гибель и хотел покинуть Чернигов, но опоздал. «Почему же вы не уйдете?» - спросил я его, и он, не отвечая, тупо смотрел в землю.

Мы сами испытали этот ужас предстоящего и знаем, что переживали эти заживо погребенные люди. В городе распространился слух, что я арестован. Василий Качура прибежал ко мне на квартиру и, взволнованный, спрашивал, правда ли это. Не удовлетворившись ответом, он пошел справиться в музыкальное училище, где я был в это время. Этот слух был зловещим предзнаменованием. Значит, где-то решали, обсуждали, говорили. Ученики музыкального училища всполошились и утверждали, что меня ни в коем случае не арестуют. Дня три я ходил как опьяненный. Глаза, говорят, горели. Под глазами образовались отеки-синяки. На душе была тяжесть, гнет. Мысль работала только в одном направлении, и все окружающее было как бы в тумане. Я верил в это и был готов.

Я помнил, с каким достоинством погиб расстрелянный преподаватель реального училища Кузнецов. Он открыто бросил обвинение большевикам в мерзости, гадости и подлости и высказал им перед смертью все, что должен был сказать каждый из нас. Я принял решение не терять своего достоинства. Сон был тяжелый, крепкий, а с вечера апатичное состояние. Даже голод

давал себя мало чувствовать, и елось как-то безразлично, по привычке. Я помню, как было больно смотреть на свет, точно болели глаза. Я знал, что испытывают другие.

ЧК во многих случаях заранее предрешала судьбу некоторых и накануне давала справку в газету «Известия». Мы знали несколько таких случаев. Мы читали в «Известиях» список расстрелянных и знали, что они еще живы. Так было с теми, кто был расстрелян вместе с жандармским унтер-офицером Бондаренко. Список расстрелянных был опубликован за день до их казни. Обыватель учитывал все признаки и знал систему большевиков. Никакие справки, просьбы и хлопоты результатов не давали. Напротив, это только портило дело. Везде получался один ответ и при этом всегда в преувеличенно любезном тоне: «Не беспокойтесь», «Он будет, вероятно, освобожден», «Ему ничего не грозит» и т.д. И это было издевательством, насмешкой. На следующий или в тот же день ночью тот, за кого просили, попадал в очередной расстрел. Так было с Любарским, Пикус, Шрамченко.

Мы знали это от родных, которые с надеждой возвращались домой, не подозревая, что они нагло обмануты. В газетах чуть ни ежедневно, а то и два раза в неделю появлялся список расстрелянных, но далеко не полный. Мы знали через Балубу, когда была расстреляна Мякшилова с теткой и Чайковская с дочерью, но в газетах о них не упоминалось. Мы знали день, когда было расстреляно 36 человек, а в «Известиях» было названо только около 12 казненных.

Большевики заведомо преуменьшали число жертв и вовсе не сообщали о тех, кто расстреливался помимо тюрем в Чрезвычайке. Чего хотели большевики, это было для обывателя не ясно. Когда расстреливали генералов, общественных деятелей, богатых людей или за контрреволюцию, как указывалось это в «Известиях», толпа-улица относилась равнодушно к расстрелам, но в большинстве расстреливали людей простых, неимущих, бедных, из простонародья, и это воспринималось толпой иначе. Толпа не сразу ориентировалась в том, что означает «красный террор», а тем более расстрел в порядке красного террора. В глазах улицы расстреливаемый простолюдин был все-таки свой человек, и если ему не предъявлялось конкретное обвинение, то такой расстрел не одобрялся толпой. Даже жандармский унтер-офицер Бондаренко, по мнению Пелагеи (прачки), был человек бедный, из простых солдат, и служил хорошо.

Среди мелкобуржуазного мещанского класса населения стоял ропот. Протест против такого террора раздавался и в некоторых воинских частях. Особенно энергично выступил по этому поводу

расположенный в Чернигове отряд червонного казачества. Солдаты угрожали разгромить Чрезвычайку. Расстрелы пришлось приостановить, но вместе с тем большевики приняли решительные меры к удалению казаков из Чернигова. Этот конный отряд ни сразу согласился подчиниться распоряжению большевиков, но зато, как только он выступил из Чернигова, массовые расстрелы приняли стихийный характер.

Коммунисты уже не доверяли простым солдатам и расстреливали в большинстве случаев сами. Этот период террора во второй половине лета охватил ужасом население. Никто не мог быть спокойным за свою жизнь. В Чрезвычайку брали заложников без особого выбора, скорее случайно. Достаточно было иметь некоторую известность или быть домовладельцем, торговцем, чтобы попасть в список заложников. Заложники редко выпускались на волю. Они гибли при малейшей неудаче на фронте, о котором к нам доходили смутные слухи.

В порядке красного террора участь людей решалась случайно. Если в тюрьме или ЧК содержалось достаточно «очередных», то обывателю угрожало меньше опасности, но если в наличности таковых не было, то их нужно было найти. В этом случае большую роль играли доносы, репутация и даже старый губернский календарь. Так, по крайней мере, ловили в городе судебных деятелей.

В Чернигов доходили сведения из Киева, где расстрелы приняли едва ли не в значительной степени большие размахи. Расстрел профессоров Армашевского, Флоринского, товарища прокурора Квитковского, Калиновского и других видных общественных деятелей произвел на обывателя потрясающее впечатление. Чувствовалась какая-то неизбежность, необходимость и стихийный характер этого явления. Просвета, помощи и защиты ждать было неоткуда. Люди ждали своей участи покорно, без сопротивления, с ужасом, всегда готовые идти на Голгофу. Интеллигентные люди, конечно, понимали, что над ними повис жестокий кровавый террор. Частная инициатива и даже личная месть отступили на второй план. Инициатива переходила к Чрезвычайке и коммунистам.

Из Москвы получали директивы и общие лозунги. В порядке красного террора на местах уничтожали сотнями и тысячами совершенно невинных людей. Со всех концов России шли вести о массовых расстрелах. Из уст в уста передавали слухи о существовании при Чрезвычайках подвалов и погребов, где происходят кошмарные расстрелы. С трепетом произносились имена палачей, чекистки Доры в Одессе, Соньки-палача в Киеве, Извощикова в Чернигове (все трое евреи). С ужасом передавали

прибывающие из Киева, что анатомический театр при университете переполнен трупами и оттуда идет зловоние.

Но и мы хорошо помним, как воняло возле духовного училища. Мы жили в атмосфере смерти и кровавого ужаса. Талочка Тризна (гимназистка) уверяла нас, что она постоянно слышит запах крови и сырой земли и не может отделаться от этого навязчивого ощущения. Каждое утро приносило что-нибудь новое. Расстрел, обыск, грабеж, убийство, облава... с этого начинался день. Проснувшись, мы прежде всего смотрели в окна, а затем делали разведку, высматривая в щелку калитки на улицу. Если на мосту стояли солдаты, значит, будут проверять документы всех проходящих, и тогда лучше на улицу не выходить. Чекисты, да и красноармейцы отлично умели распознавать по внешнему виду интеллигентного человека - буржуя, так что замаскировать привитые воспитанием манеры, лоск, привычки было почти невозможно.

Особый ужас вызывал расстрел женщин и священников. Этому первоначально даже не верили[19].

Расстрел жены генерала Чайковского и ее дочери не сходил с уст обывателя. Это было так ново для восприятия сознанием. Старуха страдала раком, и дни ее были сочтены, но дочь ее была молодая, полная сил и здоровая девушка. Еще больше впечатление произвел расстрел гимназистки Милитины Мякшиловой. Ее подруги горько плакали и утешали себя вздорными слухами, будто бы ей с теткой дали возможность бежать. Сознание не хотело воспринимать этого ужаса, и люди склонны были к самообману.

Еще с большим трепетом передавали друг другу фамилию барышни, которая не погибла только потому, что откупилась. Она понравилась комиссару, руководившему расстрелом, и он предложил ей свободу, если она добровольно отдастся ему. Уже связанная по рукам и ступая на подножку рокового автомобиля, она согласилась и стала жертвой гнусного насилия над ней коммуниста. Она не скрывала потом этого ужаса и громко об этом рассказывала. Ее фамилию знают в городе, но я сейчас вспомнить ее не могу.

Пахло сырой кровью, и мы верим Талочке Тризна, которая уверяла, что она в действительности слышит этот запах. К тому же Талочка была в ужасе. К ней приставал матрос, живший в их квартире. Его преследования могли быть роковыми, и Талочка пряталась иногда от него в погребе дома Бакуринских. Взбунтовавшийся раб не ограничивался своим положением диктатора. Ему хотелось испробовать сладострастие с интеллигентной девушкой из буржуазного класса населения.

Простые грязные девки ему надоели.

Мы боялись за свою молодежь, и не напрасно. Таких случаев было много. Вот почему мы относимся с особым омерзением к писателю Юрию Слезкину, который в этом кровавом чаду не отставал от комиссаров и матросов. Устраиваемые им оргии были известны в городе. На правах комиссара отдела наробраза он был в привилегированном положении и заливал вином тыняющихся вокруг него наших бывших черниговских гимназисток. Он совращал их вместо того, чтобы поддержать нравственно и удержать от соблазна большевистской разнузданности.

Юрий Слезкин и его ближайшая сотрудница Зина Жданович вызывали к себе чувство гадливости в обществе. Мы знали и Жданович и Маню Зайцеву, как равно и других черниговских гимназисток этой компании и с сожалением констатируем, что большевизм погубил этих девушек. Правда, они шли по доброй воле к Юрию Слезкину, но при других условиях из них, может быть, вышли бы иные русские девушки. Юрий Слезкин попал в Чернигов, очевидно, случайно и, конечно, не учитывал, что каждый его шаг будет известен коренным черниговцам. Он не сделал попытку сблизиться с просвещенными людьми и предпочел разыгрывать роль комиссара-большевика. Мы видели часто Юрия Слезкина. Он что-то писал в «Известиях» и постоянно председательствовал в музыкальном училище на собраниях «профсоюза» работников искусства, членами которого мы состояли. «Товарищи», - начинал свою речь этот писатель, и он чуждался нашего общества, подделываясь под толпу. Мы осуждаем Слезкина за это.

Среди работников искусства не было большевиков. Здесь можно было держать себя иначе. Я много раз председательствовал в этих собраниях союза и вращался в среде музыкантов и актеров. И потому знал их настроение. Они осуждали красный террор и ругали большевиков. И Слезкин вел себя так в то время, когда в том же училище профессор Богословский не в состоянии был читать лекции и заболел нервно. Всюду пахло кровью, а от Слезкина пахло вином и женщинами. Н. Н. Ясновская просила меня повлиять на Зайцеву, которую я знал с детства и называл ее еще на «ты», но это было напрасно. Зато мы лично услышали от нее, какие яства, вина, торты подают за комиссарским столом в то время, когда в городе стоял голодный стон и толпы баб напирали на продовольственный отдел, требуя хлеба и угрожая разгромить продовольственный магазин. Мы боялись Юрия Слезкина. Такие люди, как он, сбивали с толку других.

Наши преподавательницы Юркевич и Николаева, приходя в

отчаяние, уже поговаривали о том, не записаться ли им в партию коммунистов, чтобы облегчить свою жизнь. Так казалось им невероятным возвращение к прежнему строю жизни. Нужно смириться, говорили они, и подчиниться диктатуре пролетариата.

Мы получали анкетные листы, где нужно было ответить на серию вопросов, как то: где служил раньше, в каком чине, какие имел награды, в какой состоишь партии, каких политических убеждений и т.д. Для многих это был смертный приговор, и мы рисковали умалчивать то, что могло погубить нас. Едва ли не самым серьезным был последний вопрос. Большинство писало «внепартийный», так как написать «беспартийный» это, говорили, было хуже, чем назвать себя эсером. Почему это так, *я* не знаю. Многие писали «внепартийный, но сочувствую партии народной свободы или коммунистов».

Я в эти тонкости не вникал, так как для меня существенными были другие вопросы. Я имел ордена, которые лежали закопанными на дорожке в саду. Остальное интересовало меня мало. Иногда к музыкальному училищу подъезжал конный милиционер или чекист с пакетом, и я вечно мучился. «Это меня, я соврал, обнаружили». Но так думалось каждому.

Не менее мучительный вопрос для обывателя был вопрос паспортный. Большевики опубликовали в «Известиях» приказ, предлагающий всем гражданам обменять прежние царские паспорта на большевистские. Обыватель всполошился. До нас доходили слухи о продвижении добровольцев. Публика говорила, что большевики хотят себя обеспечить надежными паспортами. Никому не хотелось расставаться со своим прежним паспортом и каждый прятал его где только можно. Оправдаться было легко.

Большевистский переворот - это был уже восьмой политический переворот на Украине и вполне естественно, что помимо прежнего паспорта у каждого на руках было бесконечное множество удостоверений личности от разных правительств и разных властей. Нужно было только уметь хорошо спрятать свой паспорт. Я спрятал свой паспорт в старых нотах библиотеки музыкального училища, но все-таки беспокоился, так как последними моими документами были удостоверения на украинском языке, что могло вызвать большие неприятности.

К особому благополучию обывателя, большевики разбирались в документах плохо. Они просматривались обыкновенно полуграмотными людьми, которые знали только одно - печать. Если на документе имеется печать, значит, все обстоит благополучно. Не было, кажется, человека, который не скрывал бы чего-нибудь или не укрывал самого себя. И в этом состоял гнет большевизма. Большевики не оставляли обывателя в покое,

заставляя его все время быть начеку и трепетать перед этой властью. Это не был животный страх и даже не ужас.

Е. Р Щелкановцева весьма характерно описывала нам это состояние. Мы испытывали, говорила она, страх, когда жили в своем имении, в деревне, во времена петлюровщины. Мы не спали по ночам и ежеминутно ожидали разбойников. Это был ужас, когда в дом ворвались бандиты и начали грабить. Мать ее мужа совершенно потеряла голову и говорила какой-то вздор - совершенно не то, что нужно было сказать. Нас не убили, и это было уже счастье.

Теперь при большевиках люди испытывали совершенно другое, но это не было состоянием страха. Нельзя постоянно изо дня в день быть в состоянии страха. Это чувство должно притупиться, и оно притупилось. Оно приняло хроническую форму, длительную, постоянную. Г. Щелкановцева не боялась за себя и мало даже боялась за мужа. Только иногда, когда большевики проявляли особую нервность и хватали в городе зря кого попало и ежедневно то арестовывали, то выпускали, как это было после взятия добровольцами г. Полтавы, то временами вновь появлялся страх. Ее мужу, как и многим другим, советовали дома не ночевать. Он все-таки был помещик и буржуй. Люди скрывались друг у друга и перед вечером уходили из дома. Г. Щелкановцева оставалась одна, и тогда начинался страх. «А вдруг арестуют меня», - думалось ей. Окружающие говорили ей, что лучше бы и ей уйти, так как бывали случаи, что, не заставая мужей, арестовывали их жен. И эти дни были ужасные. Каждый звук, каждый шорох, шаги на улице, проезжающий автомобиль приводили в трепет и ужас.

Но это состояние страха обострялось лишь временами, в те дни, когда каждому грозила опасность. И вновь человеком овладевала какая-то постоянная, тупая, ноющая жуть. «Вот сейчас придут, а вдруг арестуют, расстреляют, не меня, не мужа, даже не родственника, а кого-то другого; а вдруг обыск или грабители, а завтра анкета; а вдруг донос, роковая встреча на улице, принудительные работы и т.д.». И так изо дня в день. Не хотелось ни есть, ни пить, ни прибрать, ни убрать, ни одеться, ни причесаться.

Все делалось машинально, тупо, и голова работала лишь в одном направлении. Ни на минуту это чувство подавленности, гнета, жути не покидало обывателя. Даже когда пойдешь в гости к своим людям, говорила нам Е. Р, не было минуты забвения. Говоришь, пьешь чай, слушаешь, даже смеешься, а чувство подавленности, душевного гнета, не оторвать от этого внутреннего состояния. Это было какое-то раздвоение личности.

То, что происходило в душе, внутри самого себя, не гармонировало с внешними проявлениями жизни. Это что-то такое, с чем нельзя жить, что нельзя забыть, от чего нельзя отрешиться, что ноет, не отпуская ни на минуту.

Так говорила нам Екатерина Романовна Щелкановцева. И это то, что испытывал каждый из нас и с чем нельзя было примириться. Это то состояние, при котором отошли все высшие интересы и даже ослабли физиологические функции. Мы не могли отвлечься ни чтением, ни работой, ни мелочами повседневной жизни. Мы боялись даже громкого звука рояля и играли вполголоса. Мы вечно ждали чего-то ужасного, неотвратимого, неизбежного, что должно произойти независимо от человеческой воли.

Массовые расстрелы, о которых сообщалось в «Известиях» и о которых становилось известно окольными путями, вызывали спазматическое состояние горла. Мы всегда это испытывали, когда читали газету. После этого нельзя было уравновесить своего душевного состояния и найти удовлетворение в повседневных мелочах жизни. Хотелось уйти, запереться, но вся квартира была наполнена чужими людьми, на глазах которых проходила жизнь обывателя.

Люди жили коммуной. Нельзя было обнаруживать свое моральное состояние этим чужим людям. Нужно было держать себя, точно ничего не случилось, точно ничего не знаешь. Как диссонанс в этой атмосфере ужаса и насильственной смерти, иногда на улице появлялась похоронная процессия со священником в облачении, с хоругвями, с катафалком и шествующими за гробом родными. Тихо, спокойно, но скромно, без хора, двигалось шествие по улицам красного города, и люди завидовали тому, кто умер своей смертью и кого провожали родные на вечный покой. Покойник имел ордер - разрешение на христианские похороны. Он был счастливее других.

Ни с чем не сравнимое состояние было тех, кто скрывался и кого искали. Мой брат Н. В. (в Киеве) был на заседании в тот момент, когда к нему на квартиру явился с деревенскими хлопцами Николай Волохонский (солдат-большевик из д. В. Александровки), чтобы арестовать и убить его. Н. В. предупредили, и он долго скрывался по чужим квартирам. Потом нам стало известно, что Волохонский раскаивался и говорил, что он был введен в заблуждение в отношении личности моего брата.

Многие изменяли свою внешность, запуская или, наоборот, уничтожая усы, бороду. Мы знали, что М. Н. Малахов сбрил усы и бороду. Я встретил как-то глуховского исправника Коношевича в крестьянском кожухе с длинной, густой бородой. Своей полной,

дородной комплекцией он напоминал скорее извозчика, чем буржуя. Мы обменялись приветствием и, пользуясь минутой, когда на улице никого не было, выразили взаимно удовлетворение и удивление, что мы еще живы. Я знал, что Н. В. Котляревский скрывался под чужой фамилией в больнице общины Красного Креста и выдержал испытание, когда в этой больнице чекисты разыскивали, но не узнали его.

Такова была атмосфера жизни. Никто не мог уйти, запереться, не видеть других и остаться с самим собой. Каждого вытаскивали на улицу и заставляли жить в гурте, коммуной, на глазах всех. Они убивали окончательно личность и проводили свою систему с таким упорством, что уйти от них было совершенно немыслимо. Большевики учредили домовые комитеты. Каждые 3-5 смежных домов, а в центре города жители каждого большого дома, должны были объединиться в комитет. Председатель комитета был ответственен за каждого обывателя и должен был доносить большевикам о каждом скрывающемся, о дезертирах, о контрреволюционерах.

Это была круговая порука. Через председателя домового комитета шли анкеты, опросы, объявления, приказы. Но это не мешало большевикам действовать и помимо домовых комитетов, которым они, конечно, не доверяли. Не знаю, как в других местах, но у нас на улице домовые комитеты состояли из людей своих, и опасаться нам было некого. У нас не было ни швейцаров, ни дворников, которые теперь считались самыми опасными людьми. Я был секретарем комитета, а председателем мы избрали домовладельца противоположного домика, чиновника казенной палаты... В наш комитет входило пять домов или, вернее, домиков (Матвиевские, Семченко, Пикус и еще два других) с численностью населения в 22 человека, из которых более половины были дети. В соседнем комитете председателем был извозчик Лука. Мы жили дружно и поскольку можно помогали друг другу. Коммунистов среди нас не было.

Иногда домовые комитеты исполняли функции полицейских, и когда при передвижении войсковых частей усиливались грабежи, обывательские комитеты должны были выставлять караул. Это была тяжелая повинность. Согласно приказу большевиков, день и ночь возле ворот каждого дома должен был стоять обыватель. Это было необходимо, так как обывателя проверял патруль, и если обнаруживал неисполнение приказа, то в лучшем случае виновный отправлялся в милицию. Мы установили очередь. Я был единственным мужчиной в доме и потому принял на себя дежурство ночью. Меня сменяли к утру Маня и Оля, а днем возле ворот стояли дети.

В соседнем доме Матвиевских было еще тяжелее. Там жили только две старушки, бывшие учительницы, которые на старости лет купили себе этот домик и жили на пенсии. Они боялись стоять у ворот и потому поставили себе стул в подъезде и сидели по очереди там ночи. Ночи были холодные и темные. Мы часто сходились и беседовали. Но что мы могли сделать, если бы действительно на улице появились бандиты! Пожалуй, один Лука мог бы проявить свою силу, но вряд ли он решился бы выступить против товарищей.

Большевики не считались с тем, что обывателю рано утром нужно было торопиться на службу, где комиссары зорко следили, чтобы советские служащие не опаздывали к месту служения, а после службы люди шли обрабатывать огороды. На нашей мелкобуржуазной улице пригорода было спокойно, но там, в центре города, было страшно. С вечера были слышны выстрелы. Шедшие из кино попали в облаву. Гудели автомобили и грузовики. Шли аресты. Было жутко, и старушка Матвиевская часто высказывала мне свою жуть, отодвигая свой стул в глубь передней с настежь открытой на улице дверью.

Председатель домового комитета дежурил по ночам лично, так как кроме него в доме не было мужчин. Но это не помогло. В одну из таких ночей он обнаружил у себя кражу свиньи. И это было понятно. Он стоял у ворот, и вор учел это, хозяйничая у него во дворе. Председатель домового комитета ходил с докладом в какие-то учреждения и приносил оттуда анкетные листы, разные объявления и постановления. Десятый, а может быть уже двадцатый раз мы писали, кто мы такие, чем занимаемся, какие имеем запасы, в каких участвуем союзах, к какой партии принадлежим и опять мучивший нас вопрос о клозете.

Эти два последних вопроса всегда пугали нас. Если клозет теплый, значит, я буду записан в рабочий батальон как буржуй. Если я напишу «беспартийный», значит я контрреволюционер и попаду в заложники. «Смотри не ошибись», - говорила мне каждый раз Оля. Мы боялись всего. «Не ходи по Гончей улице», - говорила мне дочь. И там действительно было страшно.

В доме Комаровской и напротив, в доме Яроцкого, помещались воинские части, и на улице возле ворот, луская семечки, толпились красноармейцы. Между ними были китайцы и латыши, которых безумно боялись прохожие. Тут же, на углу, на старом длинном деревянном заборе усадьбы Яроцкого, густо были наклеены друг на друга в несметном количестве печатные объявления, приказы, плакаты, декреты и сообщения советской власти. Еще дальше, в здании епархиального училища, опять

размещались красноармейцы, один вид которых наводил страх. Босые, грязные, в одном белье, они напоминали босяков, а не солдат. Крик, шум, ругня, свист пугали прохожих, и обыватель стремился обходить это место.

Мы выработали маршрут хождения в городе через Свиной переулок и второстепенными улицами, но, в сущности, везде было страшно. Здесь на пустынной улице мы с дочерью встретили как-то немецкого солдата в каске и форме дореволюционного времени. Мне так и казалось, что он распознает в нас буржуев и, пожалуй, еще арестует. Ведь это был несомненно спартаковец, работавший с большевиками. Еще страшнее были встречи с мадьярами в красных шапочках.

Мы видели также проходящую через Чернигов конницу Буденного (вероятно) и поняли тогда, какая это крупная сила. Более двух часов мы стояли на Богоявленской улице, пока можно было перебежать через улицу в промежутке между отдельными сотнями. Это было бесконечное множество (говорили, 10 тысяч) конницы, часами тянувшейся через

Чернигов. Впереди шла конная артиллерия. Лошади были отличные, но на них сидел всякий сброд, и особенно страшно было видеть матросов в своей форме, сидящих на лошадях. Это была грозная, но не похожая на прежнюю кавалерию часть. Это был именно сброд в кожухах, в мундирах, в мужицких костюмах, в солдатских шинелях, в матросках и в статских чиновничьих куртках с эмблемами и кокардами на фуражках. Сразу было видно, что это революционная часть.

Везде и всюду было страшно. Везде могли схватить, выдать, опознать, ограбить и убить. Нигде нельзя было чувствовать себя в безопасности, укрыться, уйти от людей, не видеть, не слышать всего этого ужаса, от которого во всем существе чувствовалась жуть. Все-таки лучше, чем где-либо, мы чувствовали себя в музыкальном училище. На подъезде была скромная надпись «Музыкальное училище» вместо прежней надписи «Музыкальные классы Черниговского отделения Императорского Русского музыкального общества».

Но и сюда проникали иногда большевики. Я был как-то один во всем здании училища и занимался в дальнем классе с одним гимназистом. Электричество не горело, и мы занимались при свечке. Раза два дверь в класс приотворилась, и мне казалось, что к нам заглядывает страшная солдатская физиономия. Это показалось и моему ученику. Было жутко. Я знал, что в училище кроме служителя никого нет. Я не ошибся. Скоро пришел Яков и сказал, что меня хочет видеть какой-то солдат. Я вышел. В коридоре стоял, не снимая фуражки, громадного роста

красноармеец, который спросил меня, не я ли директор училища. Я отрекомендовался его помощником. Он начал расспрашивать, кто и много ли тут занимается, чем занимаются и много ли есть учеников из красноармейцев. Мой ответ не удовлетворил его. В Москве, по его словам, постановка иная. Там все доступно для народа. Там открыты классы для красноармейцев, и с ними занимаются преподаватели. Здесь, по мнению красноармейца, только одни буржуи, и это неправильно.

К счастью, к нашему разговору подошел директор училища С. В. Вильконский, и я успел шепнуть ему на ухо. Оказалось, что красноармеец служил в канцелярии военкома и как любитель музыки и участник Московской организации дела обучения красноармейцев на рояле, заинтересовался Черниговским музыкальным училищем и пришел полюбопытствовать, как здесь поставлено дело. Это был простолюдин, рабочий каких-то мастерских в Москве. Несмотря на наши доводы, красноармеец продолжал настаивать, что постановка дела у нас буржуазная и что дело следовало бы поставить иначе. Чтобы оправдаться и доказать, что это не так, директор пригласил красноармейца завтра посетить предстоящий ученический вечер, и «вы увидите, что наши ученики и ученицы - это в большинстве городской пролетариат и еврейские дети», - уговаривал солдата Вильконский.

Солдат-красноармеец сидел на следующий день в первом ряду на месте председателя Черниговского общества и, по-видимому, остался доволен. У Вильконского выступили на глазах слезы, и с чувством пожимая мне руку, он сказал: «Ну, кажется пронесло», - и я видел, как у него неестественно подергивалась нижняя челюсть.

Мне всегда было страшно идти домой из музыкального училища, где занятия кончались к 8 часам вечера. Я знал, что если я попаду в облаву, то вероятнее всего, что погибну. В милиции и ЧК служили все люди с уголовным прошлым, которые меня отлично знали. Правда, в уголовном мире я даже пользовался некоторой популярностью и имел защитников, но я боялся не своих, а чужих арестантов. Я был библиотекарем в музыкальном училище, и там я был полным хозяином. В старых нотах, на нижней полке громадного шкапа, я прятал свои записки. В этом свободном от занятий классе, где постоянно играла на фортепиано моя дочь, я сидел в свободное время возле шкапа и нервно записывал впечатления дня. Малейший шорох возле дверей и в коридоре заставлял меня прерывать работу и быстро вкладывать в ноты исписанные листы. Я знал, что в случае обнаружения моих записок мне грозит верная смерть, но я их вел

беспрерывно и хотел записать то, что потом будет трудно восстановить в памяти.

Довольно популярный в Чернигове врач, еврей Утевский, состоявший врачом музыкального училища и одновременно бывшим врачом Чрезвычайки и других в этом роде большевистских учреждений, знал, что я веду записки, и всегда спрашивал меня, продолжаю ли я эту работу. Я отвечал ему, что уже давно бросил эту забаву, и он убеждал меня возобновить записи, так как переживаемое нами время исключительно интересное и дает громадный материал для изучения преступного мира. Доктор был издавна членом нашего музыкального общества и, конечно, не был большевиком.

Мы смотрели на него как на своего человека и всегда рады были, когда он приходил в училище. Доктор Утевский был несколько экспансивен, и каждый раз, входя к нам в учительскую, начинал с «ужаса». «Помилуйте, - говорил он, - Ведь это звери, бандиты. Какая там идея -это воры, грабители. Они делают обыск, чтобы грабить. Они отбирают у населения все в свою пользу. Меня совершенно ограбили. Они поют, кутят; все они сумасшедшие, кокаинисты, садисты». И доктор начинал рассказывать отдельные случаи, которые были уже нам известны. Мы были с ним осторожны не потому, что не доверяли ему, а потому, что мы к этому привыкли. К тому же он был еврей.

Еврейство в громадной своей массе принимало участие в большевизме. Чуть ни половина комиссаров были евреи. Целые роты коммунистов были набраны из еврейской молодежи. Известные палачи были тоже из евреев. Евреи, несомненно, мстили за свое угнетенное положение и торжествовали, но разобраться, кто руководил свыше этим кровавым ужасом, было трудно. И у нас шел разговор даже среди мелкой буржуазии и простонародья о масонах, которые хотят перевернуть весь мир и поставить еврейского царя, и в действительности казалось, будто бы всем руководят евреи, но с толку сбивали такие жестокие люди, как Коржиков и прочие русские комиссары, которые действовали как будто независимо от евреев.

Евреи играли главную роль в революции. Это было несомненно, но наряду с этим были и противоречия. Жестокий расстрел евреев - трех братьев Зарохович, домовладельца Блюма, частного поверенного Шварца и какого-то кривого на один глаз извозчика - это были случаи, на которые опирались евреи, доказывая, что террор распространяется одинаково на евреев. Мы знали, что ограблены некоторые богатые евреи (Моносзон, Гольдфайн, Царфин, Гинсбург и другие), и некоторые из них бежали от большевиков. Нам говорил наш подрядчик еврей

Крамский, что широкое участие евреев в большевизме несомненно отразится на евреях в будущем, и старики-евреи осуждают деятельность еврейской молодежи.

Меня поразил богатый еврей, старик Шафранский, сын которого был комиссаром и ярым коммунистом. Он стоял как-то у подъезда своего дома, когда я проходил мимо, и таинственно поманил меня рукой. Он спросил меня полушепотом: «Барин, что же это будет, как вы думаете?» Мы разговорились. Он не одобрял поведение еврейской молодежи и уверял, что старики-евреи против большевиков. Мой портной, еврей, бегом догнал меня как-то на улице и, возмущаясь, стал жаловаться, как его ограбили. Он открыл паштетную, а теперь большевики реквизировали у него всю посуду, так что он вынужден закрыть свое дело. «Помилуйте, -кричал он. - Портным нельзя быть. Нет работы, нет материала, иголок, ниток, а паштетную тоже нельзя иметь. Что же делать! Надо жить - не дают!» Я скорее ушел от него, чтобы не привлекать внимания улицы этим скандалом. Мы знали также, что весьма известный юродивый газетчик «Гершка» не был на стороне большевиков и даже привозил тайно из Киева черниговцам письма.

Правда, евреи были в привилегированном положении, и им не угрожало, в общем, никакой опасности. Бывало, конечно, что отдельные группы и шайки красноармейцев вымогали у богатых евреев деньги, но это были отдельные случаи, при которых евреи подымали такой гвалт, что виновных находили и преследовали. После расстрела евреев Зароховичей еврейство всполошилось. В музыкальном училище ученики-евреи говорили нам, что еврей по существу своему не может быть контрреволюционером.

Еврейство в своей массе преобладало всюду. Оно главным образом составляло пролетарскую уличную толпу, в большинстве заполняя кино, театры, концерты, митинги, гулянья и т.п. Конечно, они растворялись в толпе возбужденного простонародья из несметного количества красноармейцев, низших служащих советских учреждений, рабочих, мальчишек и каких-то простых женщин, которых раньше не было видно.

Толпа эта была страшна. Мы это всегда сами чувствовали и слыхали отзывы о ней наших артистов-любителей, подвизающихся на сценах советских театров. Муся Перошкова говорила, что ей положительно становилось жутко на сцене, когда она появлялась перед этой толпой. Она знала, что ей, как артистке, ничего не грозит, но дрожь пробирала по коже, говорила она, когда посмотришь на эту серую, волнующуюся, необузданную толпу. Было душно, сильно пахло потом, и при тусклом освещении все казалось покрыто пеленой. Г. Перошкова

просила как-то Е. Р. Щелкановцеву прийти в театр помочь ей одеться, и Е. Р. пришла в ужас от этой толпы. Было жутко, говорила она.

И раньше театры бывали полны публикой, но то было другое. Здесь чувствовалось что-то животное, дерзкое, стадное, страшное. Народ разгулялся. Это не были трудящиеся массы, ибо при большевиках трудиться было не над чем. Это была праздная толпа, жаждущая зрелищ и готовая ежеминутно выделить из своей среды митингового оратора, или человека-зверя, готового на все. И толпа пойдет за ним. Мы были свидетелями этого стадного чувства толпы, когда патруль красноармейцев заколол из озорства штыками прекрасного сенбернара - собаку, спокойно лежащую на тротуаре в ожидании своих хозяев, зашедших в магазин. Праздная толпа, запрудившая под вечер своей массой главную улицу, встретила этот поступок красноармейцев хохотом, свистом, гигиканьем и, толпясь возле окровавленного и воющего в агонии пса, отпускала свои острые замечания. Не нужно быть психологом, чтобы не уловить жажду этой толпы к зрелищам, сильным ощущениям и проявлению стадного чувства. Вокруг собаки собралась такая масса народа, что трудно было даже протиснуться по улице, чтобы идти дальше. Получив разряд, толпа удовлетворилась пролитой кровью.

Так убивали в первые дни революции офицеров, генералов и чиновников старого режима. Толпа была беспощадна, и лучше было ее избегать. Это отлично понималось интеллигенцией, и она обходила толпу. Обыватель утешал себя тем, что все это пройдет, кто-то явится, прекратит безобразие, все уляжется, и опять будет порядок. Даже отдельные красноармейцы, заходя в потребительскую лавку, где, кстати сказать, для частной продажи ничего, кроме спичек и папиросной бумаги, не было, глубоко возмущаясь, говорили Александре Трофимовне, что так продолжаться не может. Это все виноваты жиды и комиссары, говорили они, и вспоминали, как раньше была дешева жизнь и все можно было бы достать.

Потребительская лавка еще существовала, но скоро должна закрыться за неимением товара. Ею пользовались большевики как советской лавкой. Через нее изредка (раз в месяц) поступали некоторые товары для распределения между населением, и тогда объявлялось, что граждане могут получить по карточкам по две (например) коробки спичек или по 1/2 фунта крупы. Для этого содержался целый штат служащих и существовала лавка.

В музыкальном училище были каникулы, но занятия шли. Мы тем не менее торопились использовать время, чтобы произвести некоторый ремонт. Самое слабое место, как и во многих домах

города, была изрешеченная пулями крыша, через которую местами появлялась течь. Железа на рынке не было, и пришлось ограничиться замазыванием замазкой этих дырочек. Побелку классов мы сдали за 1500 рублей известному мне штукатуру из бывших арестантов Ивану Хвостенко (брату известного преступника Артема Хвостенко). Это был профессиональный вор, но хороший работник.

Я сделал ошибку. Уже на следующий день в музыкальное училище ворвался преподаватель профсоюза строительных работников и сделал скандал. Оказывается, что мы не имеем права сдать работу Хвостенко, а должны были обратиться к профсоюзу, который распределяет работу между своими членами и через который вносится плата за ремонт. От Хвостенко отобрали более половины работы. Ему оставили только часть побелки, и то только после того, как он записался членом между десятками других рабочих. Хвостенко освирепел и отпускал по адресу большевиков отборную ругань. Скрежеща зубами и сжимая кулаки, он говорил: «Мы будем жидов бить. Это они во всем виноваты». Но это он говорил с глазу на глаз. Я видел, как панически боялся Хвостенко большевиков. Он не проронил ни одного слова, когда разорялся председатель профсоюза, и беспрекословно подчинился его распоряжениям.

Какая-то страшная сила заставляла всех подчиняться и без протеста принимать программу большевиков. Я, как и многие другие, придерживался еще прежней орфографии, но это было возможно только в отделе наробраза, где к этому относились снисходительно. В анкетных листах и в отношениях с большевистскими учреждениями приходилось выпускать буквы «Ъ» и «ъ». Чрезвычайка зорко следила за учреждениями и требовала безусловного подчинения советским декретам. Мы окончательно перешли на большевистский лад, когда получили в музыкальном училище предписание представить в ЧК старые печати и штампы музыкального училища и бывшего Черниговского отделения ИРМО.

Все и повсюду пропитывалось большевизмом. Это происходило само собой, независимо от нашей воли. Мы держались долго и, конечно, как свои люди, сохранили прежние отношения. Но вдруг в одном из заседаний педагогического совета, на котором не было ни одного постороннего человека, преподавательница Николаева, обращаясь к С. В. Вильконскому, назвала его «товарищ». Это было так дико, что, казалось бы, в своей среде, при закрытых дверях это обращение должно было вызвать протест, а если это обмолвка, то улыбку, но никто не сказал ни одного слова и даже как будто не обратил внимания.

Николаева произнесла это слово не случайно и повторила его. Сомнений быть не могло. В нашем музыкальном училище с этой минуты как бы порвалась нить, связующая нас. Мы перешли границу большевизма. Мы стали бояться друг друга, и не напрасно.

Скоро в училище начался разлад. Мы втроем - Вильконский, Гаевский и я вели свои беседы, запершись в библиотеке, отстранившись от дамского элемента. Богословский заболел душевно и содержался в лечебнице для нервнобольных. Гоголь был расстрелян. Красильщиков сидел в тюрьме. Скрипач Маркович скрылся. О. Р. Бакуринская после расстрела мужа и сына была невменяема и даже, говорят, покушалась на свою жизнь. Музыкальное училище разваливалось. Большевизм просачивался в интеллигентную среду и втягивал в свою консистенцию наименее устойчивый элемент. «Товарищ» - в этом слове было что-то низменное, некультурное, оскорбительное, дикое и гадкое, с чем примириться было нельзя. И мы не примирились.

* * *

Слухи ходили о добровольцах. Впрочем, мы знали о них очень мало. Говорили, что армия генерала Деникина распространяется на север и подходит к Полтаве. Еще при гетмане и раньше, при Центральной раде, отдельные офицеры ходили у нас в русских погонах с национальным треугольником на левом рукаве, привлекая к себе внимание и сочувствие интеллигентной публики. Это были офицеры старой армии и молодежь, которые, как герои, пробирались с риском для жизни куда-то далеко в армию, которая боролась против большевиков. Говорили, что пробраться к добровольцам трудно, и в этот путь пускались отдельные лица, которые не могли примириться с создавшимся положением. Эти лица были окружены ореолом славы, и на них смотрели с завистью те, кто мечтал, но не мог осуществить свою мечту уйти к добровольцам. Тогда об этих добровольческих организациях говорили мало, и мало кто знал, как и куда нужно было направляться, чтобы попасть в Добровольческую армию.

Это было где-то далеко, на Дону, а у нас была Украина, отделившаяся от России. О добровольцах заговорили только тогда, когда Украину заняли большевики, то есть с января 1919 года. Мы больше знали об адмирале Колчаке в России, который организовал борьбу с большевиками в Сибири. О нем печать давала больше сведений, чем о Деникине. Кроме того, добровольцев смешивали с офицерскими дружинами и отрядами, набиравшимися на местах для борьбы с местными и

наступившими большевиками. В каждом городе эти отряды существовали сами по себе и, кажется, входили в состав гетмановских войск. В последнюю минуту эти дружины и остатки гетмановских войск отступали вместе с частями петлюровских войск, и уже трудно становилось разобраться, где добровольцы, где петлюровцы и где гетманские части. Все это распылилось, разбежалось, и только часть этих бойцов потом попала в армию генерала Деникина.

Украина распалась в какой-нибудь месяц и перестала существовать. Теперь добровольцы сделались ближе к бывшей Украине, разделившей участь России. Большевистская пресса «Известия» замалчивала о добровольцах. Изредка только появлялись громовые статьи, называвшие добровольцев «белогвардейской сволочью», а несколько позже «бандитами генерала Деникина» и Колчака. Тем не менее «белогвардейская сволочь» их беспокоила. «Известия» стали указывать, что контрреволюционеры Деникина грабят, насилуют женщин и уничтожают целые села. Большевики подготовляли общественное мнение. Они агитировали главным образом среди крестьян, чтобы заставить их с опаской относиться к приходу «деникинцев».

Тем не менее население ждало добровольцев. Слухи были в противоречии с «Известиями». Добровольцы шли освобождать Русскую землю от большевиков. Большевики ждали своей гибели, и не без основания. Городской обыватель уже изнемогал от большевистского гнета и лелеял в душе мечту об освобождении. Изменился взгляд и крестьянина-собственника. Реквизиции и всякого рода наряды не нравились деревне, а тем более ей не нравились участившиеся в селе случаи расстрелов и налеты карательных отрядов. Большевики начали грабить и крестьянина. Мужик начал понимать, что не только он мог безнаказанно грабить, но что и его могут тоже грабить.

Добровольцев ждали все. В народе чувствовалось переутомление; всем хотелось покоя и какого бы то ни было порядка. Приближение какой-то силы, которая должна обуздать взбунтовавшуюся чернь, воспринималось населением с чувством удовлетворения. Появилась надежда, но об этом нельзя было говорить громко. Большевики усилили террор и агитацию и громко кричали, что белогвардейцы грабят народ. Городское население не верило этому, но деревня местами усваивала эту агитацию и кое-где уже решила встретить «деникинцев» сопротивлением.

Тем не менее в настроении обывателя чувствовалось значительное поправение. Низшие слои населения, которые в начале ждали для себя больших благ от большевизма и

использовали это время в свою пользу, теперь сами страдали от большевиков. Мы знали очень многих, которые в первые дни революции и в начале при большевиках участвовали во всех бесчинствах толпы. Теперь они опомнились. Я встретил как-то бывшего тюремного надзирателя Товчко, который был вожаком в первые дни революции и взбунтовал всю команду тюремных надзирателей. Теперь Товчко спрашивал знакомых мне лиц, не сержусь ли я на него. При встрече со мной Товчко извинялся за прошлое и говорил, что его сбили с толку, и теперь он видит, насколько он был не прав.

Еще больше удивил меня арестант (фамилию его я забыл), который в начале революции требовал моего ареста, угрожая в противном случае расправу тут же на месте в толпе возбужденных арестантов. Он был амнистирован и служил после того в Красной армии. Я встретил теперь его на улице. Меня кто-то догонял и называл сзади: «Ваше превосходительство, обождите.. .здравия желаю». Мы остановились возле моста и долго разговаривали. Это было полное раскаяние. Он рассказывал мне, как его заставляли грабить и убивать и как его самого чуть не расстреляли. Теперь он хотел прежнего начальства и прежнего царского строя.

Опомнилась в большинстве и бывшая прислуга. Краденое впрок не пошло. Они уже жалели своих господ. «Господ» теперь гоняли на работы, как раньше водили на работы арестантов. Качура всегда говорил мне: «Неужели я такой дурак, что не понимаю, что этот режим вечно продолжаться не может». Первая злоба против господ прошла. Новая власть притесняла хуже «господ» и ухудшила условия жизни. Все понимали, что это есть состояние революции, и в том, что творится, есть какая-то неестественность. Я нес как-то на плечах мешок с капустой и шел по второстепенным улицам. По дороге я встретил двух своих прежних служащих, которые когда-то вытягивались передо мною во фронт. Они почтительно расступились передо мною и, взявши под козырек, громко сказали: «Здравия желаем». Они несомненно видели что-то неестественное и ненормальное, и я видел в их взгляде смущение.

Народ видел неестественность создавшегося положения и смотрел на него как на временное состояние. Положение интеллигенции, доведенной до нищеты, не могло, конечно, остаться незамеченным простым народом. Прежняя злоба на привилегированное положение интеллигенции и зависть прошли, и в народе несомненно чувствовалось отрезвление. С большевиками оставался отброс населения и те, кто к ним подделывался.

Особенно трагическое положение было той части интеллигенции, которая делала революцию и разрушала государственные устои, призывая толпу к разгрому правящего класса. Они арестовывали прежнюю власть; они ловили бывших исправников, городовых и жандармов и сажали в тюрьму ни в чем не повинных чиновников. Они направляли толпу на убийство и расправу с теми, которых они заменили, и думали, что власть будет принадлежать им. Теперь они сами попали в такое же положение. Они упали со своего пьедестала и валялись теперь у ног этой грязной толпы-черни. Они скрылись в советских учреждениях на различных канцелярских должностях.

Мы встречали этих жалких эсеров, эсдеков, кадетов и т.д., которые гибли под расстрелами так же, как гибли те, на которых они направляли чернь. Они понесли справедливое возмездие, но героизма у них было меньше, чем у тех, кого они свергли. Они струсили и бежали или прятались, подделываясь самым гнусным образом под большевистский режим. Они заискивали перед комиссарами из простонародья и бывших уголовных преступников и служили большевикам, но их вылавливали и сажали по тюрьмам. Мы встречали на улице своего первого тюремного комиссара при Временном правительстве Александра Ивановича Бирина. Он служил теперь в кооперативе. Это учреждение считалось наиболее безопасным местом, где скрывались многие. Кооператив был еще нужен большевикам. Александр Иванович был жалок. При встрече со мной он конфузился и краснел, чувствуя свое глупое положение. Он служил большевикам и трусил. Он замаскировался и не пошел открыто против большевиков. И таких ничтожных людей было много.

Украинские деятели поступили лучше и благороднее. Они все ушли. Их не было. Они не захотели войти в сделку с совестью и служить большевикам. Все одинаково переутомились и хотели порядка. Все одинаково ждали освобождения от большевистского ига. Большевизм надоел и ложился гнетом на душевное состояние. Это был непрекращающийся бунт черни. Идейному большевизму не верили или, может быть, не видели его за бесчинствами толпы.

Особенно мучил всех голод. Больше других голодала интеллигенция. Низшие классы населения, рабочие и в особенности евреи умудрялись как-то устраиваться и питались. Евреи поражали своей изворотливостью. В то время, когда обыватель не имел возможности купить себе хлеба, евреи несли по улицам от своих резников гусей, уток, кур, индюшек. Это было не единичное явление. Об этом шел разговор, и все удивлялись,

откуда евреи берут деньги. Мы не можем припомнить, сколько тогда стоила гуска, но, во всяком случае, не менее месячного оклада нашего содержания. Изнеможденные, исхудалые, с желтым цветом лица, с мешками и синяками под глазами, люди жаловались на голод.

Когда-то упитанные, здоровые люди были неузнаваемы. Почти только одна зелень без жиров и хлеб в малой дозе (1/8 фунта) составляли питание городского населения. Мы ели ежедневно суп без жиров и «деруны» из картошки. Тот был счастлив, кто доставал изредка небольшое количество сахара и немножко муки. У людей развилось малокровие и появилось головокружение. Даже рабочие, которые находились в лучших условиях и получали паек, роптали. Ели хорошо только большевики. Они имели свои склады и право реквизиции. Там не было голода. Комиссары жили отлично, устраивая вечеринки, попойки, кутежи и увеселения. Они заливались вином. Об этом знали все, но молчали.

ЗАПИСКИ. Т. X
1919 ГОД. ЧЕРНИГОВ - ОДЕССА

В случае моей смерти прошу эти записки передать моей дочери Ольге Дмитриевне Краинской по адресу: гор. Чернигов, Старокиевская улица, д. Семченко № 41, Марии Александровне Лукиной для передачи О. Д. Краинской.

(М. А. Лукина всегда будет знать, где находится моя дочь)

Д. Краинский

23 октября 1919 г. - 1 апреля 1921 г.

<…> Слухи о падении Киева подтверждались. (Киев был взят добровольцами 30 августа, по ст. ст. 17 августа). В ночь на 1 сентября и весь следующий день уже не было сомнения, что советская армия из Киева бежит. По шоссе в город беспрерывно вступали войска. Все улицы и площадь сплошь заполнились обозами, артиллерией и пехотой. По слухам, большевиков били с двух сторон. Петлюровцы брали Киев со стороны Боярки, а добровольцы - со стороны Дарницы. Слухи эти подтверждались, так как обозы и эшелоны войск прибывали в Чернигов на рысях и в растрепанном виде.

Среди большевиков была паника. Солдаты-красноармейцы этого не скрывали и открыто говорили, что большевикам наступил конец. Под Броварами и на Киевских мостах большевики побросали все свое имущество и бегут, преследуемые добровольцами. Под вечер 1 сентября, в то время когда город буквально был переполнен войсками, неожиданно послышались издали орудийные выстрелы, и явственно было слышно, как в город мчались повозки. В 8 верстах от Чернигова по шоссе добровольцы обстреливали бегущих большевиков.

Началось повальное бегство. Прежде всех из города выехала Чрезвычайка. Население с волнением и слезами радости чутко прислушивалось к орудийной стрельбе. Сомнений быть не могло... До поздней ночи мы стояли на скамейке в своем садике, чтобы лучше слышать через забор отдаленные выстрелы, и прислушивались к тому, что делается в городе. В город въезжали все новые части и обозы, производя невероятный грохот и шум. Большевики считали свое дело проигранным.

Как и всюду, комиссары торопились закончить свое кровавое дело. В тюрьме содержались заложники и приговоренные к расстрелу. Большевики не хотели упустить их. Под грохот отдаленной стрельбы в тюрьму явился председатель

исполнительного комитета (ныне председатель «пятерки») Коржиков с солдатами. Коржиков торопился и нервничал, набрасываясь на дежурного помощника Самойленко с бранью и угрозами за то, что тот не скоро выводил из камер вызываемых им по списку арестантов. Неоднократно представляя к его голове револьвер, Коржиков торопил Самойленко и выходил из себя.

По группам Коржиков с солдатами выводил во двор тюрьмы арестованных и тут же, возле бани, у стены расстреливал, сначала залпами, а затем в одиночку, причем последних расстреливал сам Коржиков. Убитые падали друг на друга, так что на земле возле ограды тюрьмы образовалась целая куча трупов. В тюрьме была мертвая тишина. Заключенные притаились, и каждый, ожидая своей очереди, сидел в немом оцепенении.

Всего таким образом было расстреляно 22 человека, в числе которых был товарищ прокурора Старосветский, m-me Демидович, два священника, домовладелец Блюм и др. Все они выводились на расстрел в одном белье. Одежду снимали с них солдаты и брали с собою. M-me Демидович гнали из женского отделения почти голой, в одной изодранной рубашке. Ее били прикладами и кулаками, причем с особой яростью ей наносил удары сам Коржиков. Видимо, страшно торопясь, Коржиков, закончив свое дело, ушел из тюрьмы, не отдав распоряжений об уборке трупов, поставив этим в недоумение помощника начальника тюрьмы Самойленко.

Начальник тюрьмы Бойко, предчувствуя, что в тюрьме в этот вечер будут расстреливать, ушел из тюрьмы, за что чуть было не подвергся со стороны Коржикова особым репрессиям. Самойленко и тюремные надзиратели не знали, как поступить с трупами. Спустя полчаса Коржиков из Чрезвычайки протелефонировал, чтобы Самойленко распорядился сейчас же убрать трупы, приказывая, чтобы этим занялись тюремные надзиратели. Он приказал закопать расстрелянных на черном тюремном дворе.

Помощник Самойленко начал собирать тюремных надзирателей и, передавая приказание, предупреждал их, что Коржиков угрожает расстрелять всех надзирателей, если через полчаса трупы не будут убраны. По объяснению Самойленко, распоряжение об уборке трупов было отдано после того, как прекратилась артиллерийская стрельба и в Чрезвычайке шел разговор о том, что натиск добровольцев отбит. Согласно распоряжению Коржикова, Самойленко назначил восемь надзирателей копать яму (Миненко, Мадрак, Добрянский, Якуб, Кононов и другие).

Восемь надзирателей, в числе которых был старший надзиратель Довженко и младший Севастьянов, были назначены

возить трупы. Яма копалась возле навозной кучи на черном дворе против конюшни. Довженко запряг в повозку тюремную лошадь и вместе с другими надзирателями направился в тюрьму возить трупы. Когда они подъехали к месту расстрела, убитые лежали кучей возле постовой будки около бани. Надзиратели начали накладывать на повозку трупы, но в это время один из расстрелянных тихо сказал: «Спасите». Тюремные надзиратели растерялись и приостановили нагрузку трупов.

Надзиратель Довженко пошел в контору доложить дежурному помощнику, что среди расстрелянных есть живой. Самойленко сейчас же передал об этом по телефону в Чрезвычайку. Ему было приказано дострелить раненого, но Самойленко отговорился тем, что в тюрьме нет оружия. Из Чека последовало распоряжение, чтобы дострелил живого один из караульных солдат-красноармейцев, но последние наотрез отказались исполнить распоряжение Ч. К. Об этом было доложено Коржикову, который сказал, что он сейчас сам приедет в тюрьму.

Явившись в тюрьму с тремя какими-то личностями в статской одежде, Коржиков собственноручно дострелил раненого и поднял целый скандал из-за того, что до сих пор не убраны трупы. Ему доложили, что задержка произошла потому, что копается яма. В присутствии Коржикова на повозку стали наваливать трупы. Коржиков пересчитал расстрелянных. Оказалось 22 трупа. «А где же еще четыре?!» - крикнул он и, схватив револьвер, как зверь бросился на Самойленко. «Я вас всех перестреляю», - бесился он, но оказалось, что ошибся сам Коржиков, вызывая по списку предназначенных к расстрелу. Коржиков потребовал вывести из тюрьмы этих четырех, и, пока вывозили со двора расстрелянных, их готовили к казни.

Четыре раза подвода обернулась, чтобы забрать 22 трупа, и вместе с последней повозкой повели на черный двор этих четырех. Яма была еще не готова. В ней копошились тюремные надзиратели. Трупы были сложены возле ямы. Еще в привратницкой все четыре смертника были связаны по рукам одной веревкой, за которую их волокли за повозкой с трупами. Было темно, в особенности на черной земле возле навозной кучи. Их поставили возле ямы с таким расчетом, чтобы после залпа они упали в яму, но в яме были надзиратели. Видя это, тюремный надзиратель Кононов крикнул: «Кто в яме, выходи». В яме в это время был и старший надзиратель Довженко, привезший последнюю повозку с трупами. Он опустился в яму, чтобы помочь надзирателям закончить работу. Не успели надзиратели выскочить из ямы, как в абсолютной темноте раздались беспорядочные выстрелы.

Тюремный надзиратель Добрянский тут же упал в обморок. Надзиратель Мадрак пустился без оглядки бежать. После этих выстрелов расстрелянные в яму не упали, а свалились на кучу навоза на самом краю ямы. «Отзывайся, кто живой», - крикнул Коржиков. Один из лежавших сказал тихим голосом: «Я живой». Раздалось еще несколько выстрелов, после которых Коржиков вынул шашку и начал рубить убитых, но попадал больше по навозной куче, так как в этом месте было очень темно.

Когда стоны раненых совсем прекратились, Коржиков стал уходить. Как только он завернул за угол, еще один из расстрелянных тихо сказал: «Товарищи, я живой, спасите». Надзиратель Довженко наклонился к нему и спросил, может ли он владеть руками и ногами, но он был тяжело ранен. Довженко сказал ему шепотом, что он ничего сделать не может, так как недалеко стоит часовой-красноармеец. Несмотря на мольбу раненого, Довженко заявил часовому, что есть живой, и спрашивал, как поступить. Часовой-красноармеец, не отвечая Довженко, подошел к яме и, сняв с плеча винтовку, выстрелил в упор, после чего раненый сейчас же скончался.

Тюремные надзиратели продолжали свое дело. Укладывая убитых в яму, они по собственному почину решили положить сверху m-me Демидович и товарища прокурора Старосветского, зная, что в случае перемены власти их прежде других будут откапывать. Яму копали неглубокую, так что сверху пришлось наваливать много навоза. Раскапывать ее будет легко, и смраду не будет, как выразился надзиратель Довженко. Сверх ямы теперь будет навозная куча. Этот расстрел мною записан со слов тюремного надзирателя Довженко, к которому я подошел с большим искусством, чтобы заставить его заговорить о тюрьме.

Довженко был старослужащий надзиратель, служивший в тюрьме с 1904 года. Очень хитрый и умный, он играл в течение всего времени революции двойственную роль. С одной стороны, он был в оппозиции к начальству, с другой, как заведующий хозяйством, он боялся лишиться этого места. Довженко умел угодить каждому и потому сделался полным хозяином дела и безответственно расхищал тюремные цейхгаузы. Меня он стеснялся и избегал, отлично сознавая, что я понимаю его роль в тюрьме. Он дорожил службой из корыстных видов и был поэтому против меня.

В последние дни перед приходом добровольцев счастье ему изменило. Тюремный комиссар Абрамов, роясь в делах, раскопал дело об избиении в 1910 году тюремными надзирателями арестантов, и Довженко несомненно был бы расстрелян, если бы большевики задержались в Чернигове. Довженко бежал с

начальником тюрьмы Скураттом и таким образом как бы передался на нашу сторону. Как живой очевидец и участник всех событий в тюрьме Довженко мог, конечно, осветить во всех деталях тюремную инквизицию во время господства большевиков. Он отлично понимал, что участвовал в гнусном деле, и потому нужен был большой такт, чтобы выудить у него те сведения, которые нам удалось получить от него. Правда, мы имели те же сведения от других наших бывших служащих, но они не были так близки к делу, как Довженко.

Страшно стесняясь и недоговаривая, Довженко, например, по-видимому неожиданно сам для себя, проговорился, что после уборки 26 трупов он был не только весь выпачкан кровью, но к нему в штаны попал сгусток крови, который проник в сапог и расквасился в портянке, так что портянку пришлось выбросить. Мне казалось, что после этого случая тюремные надзиратели должны были с ужасом относиться к своей службе в тюрьме, и потому я спросил Довженко, как ему служилось при большевиках. Он просто ответил: «Отчего же, хорошо». Довженко, как и многие из старых надзирателей, относились отрицательно к расстрелам, но это их мало касалось, так как вообще расстрелов в тюрьме не производилось. Это был исключительный случай.

Обыкновенно тюремные надзиратели лишь выдавали арестованных для расстрела и были свидетелями лишь издевательств над ними. Довженко осуждал тех надзирателей, которые одобряли расправу большевиков с буржуями и пользовались случаем, чтобы обобрать тех, кто выводился для расстрела. Один надзиратель, Кириенко[20], по заявлению Довженко, страшно обогатился, присваивая себе вещи и одежду выдаваемых для расстрела. Вообще нужно отметить, что простой народ относился к расстрелам равнодушно. Их это мало интересовало. В то время, когда интеллигенция приходила в ужас от красного террора, мне приходилось встречаться на улице со своими прежними тюремными надзирателями, и я спрашивал их, как им живется и служится при большевиках. От всех получался один и тот же ответ утвердительного свойства, так что можно было думать, будто они вовсе не знают того, что происходит в тюрьмах. Правда, все лучшие служащие ушли от службы, и в тюрьме остался худший элемент.

Город представлял собою военный лагерь. На главных и второстепенных улицах стояли не только обозы, но и артиллерия, возле которых в походных кухнях варился обед. Во всех направлениях двигались группы оборванных, босых и полуголых - в одном нижнем белье, но вооруженных, красноармейцев. Это были не солдаты, а скорее оборванцы. Эти люди голодные. Они

ходили по дворам и обирали все огороды и снимали с деревьев в саду фрукты.

С утра начались реквизиции квартир. Бесцеремонно выселяя жильцов, красноармейцы и их штабы располагались в частных квартирах, и без того уплотненных разными советскими служащими. Выгоняли даже тех, кто жил в одной комнате. С трудом мне удалось отстоять музыкальное училище, в котором я заперся изнутри и не открывал парадный ход, несмотря на стуки в дверь. После прохождения такой массы обозов и людей улицы были буквально покрыты слоем измятой соломы с навозом. Через Чернигов прошло 63 тысячи войск. Среди большевиков чувствовалась полная растерянность. Никаких репрессий в этот день не было.

Часов около пяти вечера к нам зашел какой-то красноармеец, спросивший меня. В передней стоял вооруженный с головы до ног солдат, от одного вида которого все в доме пришли в ужас. Я не тотчас опознал бывшего воспитанника Черниговской исправительной колонии для несовершеннолетних Федота Макаренко, в свое время отличавшегося крайне дурным поведением и служившего у меня некоторое время кучером. Макаренко только что прибыл со своею частью из Киева и пришел навестить меня. Нам было известно, что Федот «служит в большевиках» и занимается бандитизмом. Он занимал теперь пост помощника начальника какой-то воинской части и получал 1800 рублей в месяц.

Макаренко пришел к нам в гости и рассказывал подробности сдачи Киева и о паническом бегстве большевиков. От него мы узнали, что между добровольцами и Петлюрой произошли в Киеве недоразумения, разразившиеся боем между ними. Федот много и без стеснения рассказывал нам о своих похождениях и цинично хвастался, рассказывая, как он воевал с белогвардейцами и «был в бандах» против немцев во время гетманщины. За каждым словом он употреблял выражение «сукин сын и сволочь», показывая себя во всех отношениях истым большевиком. Мы слушали его с ужасом и не знали, как реагировать на его посещение. Было жутко. Федот относился к нам доброжелательно и пришел в гости как старый знакомый и бывший мой воспитанник. Тем не менее нам казалось, что в посещении его есть какая то цель.

Рассказывая о полном разгроме большевиков, Макаренко заявил, что дело большевиков проиграно и что он с ними отступать в Россию не хочет, а остается на Украине, даже если бы ему пришлось скрываться в лесах, как бандиту. Когда я сказал, почему бы ему не вернуться к нормальной жизни и заняться

мирным трудом, Макаренко сразу изменился и заискивающе спросил, не согласился бы я устроить его кучером при исправительной колонии для несовершеннолетних. За минуту перед этим Федот заявил, что решил сделаться бандитом и продолжать свое дело. Мне стала ясна цель посещения нас Федотом. Он рассчитывал, что при моем содействии ему удастся избежать последствий его службы в Красной армии. Мы пили так называемый чай. Федот видел, что сахару у нас не было, а вместо хлеба мы ели «деруны». Со снисходительной улыбкой он спросил меня, неужели мы живем впроголодь. Он обещал завтра привезти сахару и сколько угодно хлеба.

На следующий день Федот явился к нам вместе с моим бывшим служащим Яковом Чеченей, бывшим воспитанником Черниговской исправительной колонии, содержавшимся в колонии вместе с Федотом. Оба они были мои воспитанники и служили в Красной армии. Чеченя был мобилизован и попал в ту часть, где Федот был помощником командира. Это посещение не было для нас приятным, тем более что через несколько дней мы узнали, что Макаренко и Чеченя, разыскав в Чернигове служившего в тюрьме надзирателем своего товарища Василия Кочуру, занялись все втроем грабежами и реквизировали у населения для жены Кочуры Лены (нашей бывшей кухарки) белье, одежду и другое имущество. Федот и Яков были у нас после этого еще несколько раз.

Исполнив свое обещание, Макаренко привез мне полпуда сахару, табаку, крупу и катушку ниток специально для моей дочери. Их посещения были страшны, и каждый раз все соседи думали, что у нас случилось несчастье. Макаренко всегда приезжал верхом и привязывал свою лошадь на улице к воротам. На лошади была пометка «Ч. К.». Это больше всего тревожило соседей. Мы, конечно, знали, что наши гости не тронут меня и даже могут выручить из беды, но все-таки было неприятно.

Последующие дни были какие-то неопределенные. Стрельбы не было слышно. Появились приказы военного комиссара, обвиняющие армию в позорном бегстве и трусости. С пароходов сошли украинские комиссары с Раковским и Коллонтай во главе. Столица Украинской социалистической республики была официально перенесена в Чернигов. Грустно, тоскливо и досадно шли дни. Добровольцы, очевидно, приостановились дальнейшим наступлением. Большевики занимались переформированием армии. Бежавшие комиссары и Чрезвычайка были возвращены.

Большевистский уклад жизни стал вновь устанавливаться, но только была заметна спешная деятельность по укреплению Чернигова и его окрестностей. Опять стали производить учет и

реквизиции лопат, кирок, топоров, мешков и проч. С каждым днем усиливались репрессии по обороне города. В Чернигове было установлено военное положение и производилась мобилизация. Иногда из Киева доходили слухи, что добровольцы готовятся наступать на Чернигов. В средних числах сентября в настроении большевиков произошла перемена. Они готовились встретить добровольцев решительным боем. Была объявлена мобилизация по окопным работам всего гражданского населения в возрасте от 17 до 45 лет. Большевики принимали решительные меры к защите Чернигова. Мобилизация производилась спешно и суетливо. Всех, кто только являлся для учета, уже домой не отпускали, а с места посылали за 7-8 верст по Киевскому шоссе, не позволяя даже пойти домой переодеться.

Уже на второй день мобилизации в городе начались облавы и обыски с целью найти укрывающихся. За городом на перекрестках были расставлены патрули, не выпускавшие никого из города. С особой энергией опять начала работать Чрезвычайка. Вспомнился последний декрет об учете всех бывших чиновников, занимавших при царском режиме ответственные посты, особому гонению подверглись этот раз чины судебного ведомства. Начались аресты. На улицах задерживали и проверяли документы. В тюрьму и Чрезвычайку брали заложников и выискивали контрреволюционеров. На базаре был арестован товарищ прокурора Шалимов и члены суда Станиславский, Перошков, Яковлев.

В качестве заложника был арестован Н. Д. Рудин, бывший управляющий Крестьянским банком.

Чувствовалось, что добровольцы уже близко и что это последнее издыхание большевиков. Было бы слишком обидно погибнуть в эти последние минуты господства большевиков. Многие чувствовали это и торопились скрыться, укрываясь в лесах и камышах за Десной (Д. Д. Афанасьев, А. В. Верзилов - городской голова, И. Г. Дзвонкевич - член управы, В. С. Зубок - мировой судья и другие).

Население переживало ужасные минуты. Никто не был гарантирован от того, чтобы не быть арестованным. Было ясно, что большевики выходят из себя. Эвакуация шла полным ходом. Из города вывозили все, что было возможно. В тюрьме спешно укладывали и отправляли на пароходы и баржи тюки с материалом и одеждой. Из земской больницы вывозили даже медикаменты и перевязочный материал. Подводы с грузом целыми днями тянулись на пароходную пристань.

Большая суета наблюдалась среди комиссаров. Одни уезжали, другие приезжали. Учреждения частью упразднялись, частью

вновь восстанавливались. Большинство служащих были уволены. Штаты сокращались больше чем наполовину. Несколько раз появлялись слухи, будто бы Чрезвычайка выехала из города, но потом оказывалось, что вместо нее прибыла другая, еще свирепее. Во всяком случае, планомерной деятельности уже не было даже в Чрезвычайке.

Теперь независимо от случая нужно было избегать появляться на улицах. Даже и обыски получили другой характер. Новый состав ЧК не знал местных жителей и производил обыски и налеты главным образом с целью наживы и грабежа. Они торопились, пока было не поздно. Большевики грабили обывателя беспощадным образом и увозили все, что возможно. Они торопились. На глазах жителей днем из города уезжала масса людей с награбленными сундуками, тюками, узлами, но вместо них приезжали другие, и так шли дни за днями, а добровольцы все не наступали.

Ежедневно ложась спать, мы думали, что завтра большевиков уже не будет, но завтра было то же, что и вчера. Мы только знали, что станция

Круты и Британы уже находятся в руках добровольцев и, по слухам, ими заняты ближайшие села, но это были слухи. Ничего определенного мы не знали. В этой суете опять начал проявлять себя преступный элемент. Учитывая общее положение, каждый, кто хотел, шел грабить, одевая для острастки солдатскую шинель. Уже трудно было разобрать, где агенты Чрезвычайки, а где простые грабители. Одинаково солдат-красноармеец и какие-то люди открыто входили в любой дом и под видом обыска реквизировали все, что представляло собою ценность.

Вместе с этим грабежом особому нападению подвергались обывательские сады и огороды. Как саранча, проходившие из Киева большевики уничтожали фрукты и огородину, разбирая заборы, плетни у каждого сада. Остатки уничтожались своими же местными хулиганами, которые нагло врывались в усадьбы и снимали на глазах хозяев фрукты, угрожая расправой, если хозяин решался протестовать. Было страшно жить. Нам было все-таки лучше, чем другим.

Наш домик с улицы был незаметным и потому не привлекал внимания солдат. Мои хозяева считались людьми бедными, а меня знали как учителя музыки, живущего у них на квартире. О том, что я служил при царе и был когда-то тюремным инспектором и инженером, уже стало забываться. Мы жили в этой близкой для меня семье опекаемых мною детей Лиды, Шуры и Жени Семченко, которая сгладила наш период большевизма и делала жизнь хотя и замкнутой, но приятной в этой семье. Мы с

гимназистом Шуркою 10 лет были единственными мужчинами в доме, по своим крайним возрастам не привлекавшими внимания большевиков. Здесь, в этой патриархальной семье во главе с милой бабушкой Анастасией Ивановной Лукиной, прошли девять месяцев затворнической и полной тревоги жизни, и радовались теперь, что скоро, может быть, мы будем опять жить полною жизнью.

* * *

Последние дни перед приходом добровольцев в Чернигов были едва ли не самыми тяжелыми днями. Базары были пустые. Мы голодали и уже давно не ели хлеба, сидя на «дерунах». По улицам было страшно ходить. Дома ежеминутно ждали грабежа и обысков. Мы шли с Гаевским из музыкального училища и встретили С. М. Кониского, который служил в канцелярии военно-революционного трибунала. Он быстро шел нам навстречу и таинственно сказал: «Ну, господа, скрывайтесь как можно скорее. Вы кандидаты в заложники». Откуда он имел эти сведения, он нам не сказал. Гаевский скрылся в тот же вечер. Он нашел приют в деревне у крестьянина, отца своей прислуги.

Я решил было идти в «лозу» за Десну, но было уже поздно. Город был окружен патрулями. Было жутко. В течение последней недели два раза я подвергался опасности и только случайно спасся от гибели. 25 сентября, идя утром в музыкальное училище, я был остановлен каким-то солдатом, который спросил меня, где я теперь служу. Я назвал себя преподавателем музыкального училища, но солдат с саркастической улыбкой уверял меня, что он отлично меня знает и потому вряд ли мне удастся его обмануть.

После некоторых пререканий он заявил мне, что я бывший судебный следователь Щербань и что он мне отомстит за ту кровь, которую я проливал при царском режиме. Я шел с дочерью, и мы оба имели в руках ноты. Солдат выхватил у меня ноты, предполагая, видимо, что это дела, и увидевши ноты, спросил мой документ. Я предъявил ему удостоверение музыкального училища, но так как я узнал в этом солдате бывшего арестанта, который, по-видимому, знал меня, но не мог припомнить, где он видал меня, смешал меня с судебным следователем Щербанем, то я, предъявляя ему документ, нарочно закрыл пальцем мою фамилию, чтобы не напомнить, кто я такой. Бланк советского музыкального училища и печать убедили его, что он ошибся, и он оставил нас, извинившись за ошибку.

Это было как раз вовремя, так как к нам приближалась группа красноармейцев, которые, конечно, приняли бы участие в задержании бывшего тюремного инспектора. Весьма грозным

моментом для каждого был обыск. Обыски производились по квартирам для поисков скрывающихся от мобилизации. Попутно вылавливались в порядке красного террора царские чиновники и буржуи. Под вечер становилось жутко. Я знал, что очередь дойдет и до меня, но скрыться было уже поздно. Спалось плохо, и не напрасно.

В ночь на понедельник мы проснулись от стука, сопровождавшегося криком «отворяй». Стучали в ворота, ставни, в забор. Наша цепная собака Волчок точно взбесилась, бросаясь с лаем из стороны в сторону, дополняя общий шум ломящихся во двор солдат-красноармейцев. Солдаты дали несколько выстрелов, чтобы унять освирепевшего пса. Бабушка Анастасия Ивановна совсем растерялась и бегала по дому вместо того, чтобы идти отворить калитку. Никто не сомневался, что это пришли за мною. Прощаясь с дочерью, я сидел еще раздетый на своем диване, как вдруг в комнату почти вместе с солдатами быстро вошла Маня и, наклонившись ко мне, шептала: «Не выдавайте себя - это только обыск». Я предъявил свой документ преподавателя музыкального училища, а по -чтенная моя наружность оградила меня от излишнего допроса, так как искали главным образом скрывающихся от мобилизации на окопные работы. Поутру мы решили, что я на улицу показываться не буду.

Облавы производились на каждом квартале. Людей хватали без всякого разбора, и только в Чрезвычайке сортировали на заложников, царских чиновников, мобилизованных и подлежащих освобождению. Оттуда выйти благополучно было трудно. С каждым днем эта ужасная атмосфера сгущалась. В тюрьме в эти дни расстрелов почти не было. До тюрьмы не доводили. Ввиду спешности дела расстреливали в Чрезвычайной комиссии. Ежедневно до нас доходили сведения о новых арестах. Между прочим, в эти дни была арестована Е. М. Шрамченко, дочь расстрелянного губернатора Шрамченко. Ее мать А. К. Шрамченко скрылась. Не было никаких сомнений, что большевики ждали событий и волновались.

26 сентября утром в городе явственно слышался гул орудий. К вечеру этот гул усилился, так что можно было различать отдельные орудийные выстрелы. Приближение добровольцев к Чернигову не подлежало сомнению. В этот раз бегства большевистских комиссаров не наблюдалось. Напротив, чувствовалась некоторая уверенность в устойчивости положения. Говорили, что большевики Чернигова не сдадут. Войск в городе было много. На улицах было спокойно, и, несмотря на сильную к вечеру канонаду, которой еще ни разу не было так близко слышно, народу на улицах было много и не было суеты. Была

масса гуляющих. Никто не допускал мысли, чтобы завтра добровольцы взяли Чернигов.

Но были для нас и хорошие признаки. Всем учреждениям было приказано спешно к вечеру составить требовательные ведомости на жалованье, иначе может случиться, что служащие жалованья не получат. Так передавали всюду телефонограмму. Мне пришлось после обеда идти в музыкальное училище составлять ведомости. В этот раз мне было особенно жутко, тем более что приходилось идти мимо милиции (по Вознесенской улице), возле которой у меня уже не раз бывали неприятные встречи. Я всегда боялся, чтобы кто-нибудь из окна этого помещения не узнал во мне старого царского служащего.

Обдумывая это положение, я услышал сзади себя окрик «товарищ», и я почувствовал, что меня кто-то нагоняет. Оглянувшись, я увидел солдата, который, догнав меня, приглашал в милицию. Мне было предложено обождать. Я сел возле стола и был один на всю комнату. Сердце мое сильно билось. Я чувствовал, что погиб. Минуту спустя ко мне подошел молодой солдат и спросил документ. Долго всматриваясь в мое удостоверение, комиссар предлагал мне вопросы, где я служил раньше и чем занимался и почему мой документ помечен 10 сентября. У меня был другой документ, Союза школьных работников, и к тому же я служил в музыкальном училище с 1904 года. Это дало мне возможность настаивать на своей долголетней службе в училище и умалчивать о других своих занятиях.

Допрос велся инквизиционным путем и продолжительный, но я не дрогнул. Два раза ко мне подходили какие-то солдаты для опознания моей личности. Жутко было, когда эти солдаты осматривали меня с ног до головы и вглядывались в мое лицо, силясь увидеть во мне знакомую для них личность. Папироса, которую я крутил в это время, придавала мне вид человека, занятого своим делом, и скрывала мое внутреннее волнение. Через час приблизительно меня отпустили и даже извинились.

Идя уже в темноте в музыкальное училище, я отчетливо слышал близкие орудийные выстрелы, но был далек от мысли, что завтра в Чернигов могут вступить добровольцы. Только в музыкальном училище я узнал, что сейчас провезли раненых и что бой идет возле самого вокзала. Было радостно и страшно. Нужно было только продержаться всего несколько дней. Все смотрели многозначительно друг другу в глаза, не смея сказать вслух свою надежду. Каждый раз, когда от орудийного выстрела звенели стекла в окнах, мы переглядывались и чувствовали взаимные переживания, но нужно было делать вид, что это мало касается нас. Домой было идти страшно. За мной пришла Маня,

которой я рассказал о моем аресте, и мы торопились пройти домой незамеченными, тем более что было уже около 9 часов вечера.

Вновь после скудного ужина мы стояли на скамейке в саду и с волнением прислушивались к выстрелам и к городскому шуму, но стрельба скоро утихла, и в городе было как будто спокойно. Мы шли спать и вновь боялись, чтобы ночью не явились меня арестовывать. Сон был беспокоен и тяжелый. Мы ждали к утру возобновления боя и были страшно подавлены морально, когда, вставши, узнали от пришедшей прачки Пелагеи, что в городе все спокойно. Настроение было скверное. Анастасия Ивановна принялась за обычную субботнюю работу и выносила во двор матрацы, одеяла, подушки.

Утренний чай без хлеба и сахара, с одними надоевшими «дерунами», делал всех злыми и раздражительными. Мы рассуждали - идти нам на службу или нет. Ведомости были готовы, и директор музыкального училища Вильконский должен был получить по ним в казначействе жалованье. Мы сидели в столовой, когда в комнату вбежали дети и сообщили, что опять стреляют пушки. Во дворе действительно слышался гул орудий, но гораздо дальше, чем вчера. Где-то очень далеко, но будто с трех сторон гремели пушки, но это было слишком вдали, чтобы начать радоваться.

Каждый занялся своим делом. Маня прибирала комнаты. Оля читала. Я сел в саду за столик и резал табак. Дети были возле меня, копаясь в земле. Каждый раз, когда раздавался более сильный выстрел, Лида приговаривала: «Ого». Меня раздражало, что Анастасия Ивановна колотила палкой матрацы и этим заглушала доносившийся гул орудий. Все чаще *и* чаще Лида повторяла: «Ого». Стрельба становилась слышна уже в комнатах. Оля вышла в садик сияющая, с улыбкой во весь рот. С таким же сиянием улыбалась и Маня. Одна Анастасия Ивановна как будто уже ни во что не верила и яростно выколачивала матрацы.

Через какой-нибудь час орудийные выстрелы раздавались так близко, что отдавались в стеклах. Начали грохотать большевистские орудия, стоявшие в городе. Имея опыт, мы уже разбирались в стрельбе и делали свои выводы. Мы радовались как дети. В это время к нам пришел безрукий солдат - сосед Г А. Балуба, который сообщил нам, что добровольцы уже на вокзале и, по его мнению, сегодня возьмут город. Мы сидели в саду и рассуждали. Вдруг где-то недалеко разорвался снаряд, так что все вздрогнули. Балуба советовал идти в комнаты. Нам показалось, что в соседнем саду затрещали ветки. Балуба ушел, а мы вошли в комнаты, но это был последний выстрел. Из комнат мы услышали

какой-то странный шум, который для нас был непонятным. Мы вышли опять во двор.

Это была массовая ружейная и пулеметная стрельба, смешавшаяся в один общий шум. Мы поняли, что это стреляют не десятки и не сотни людей, а тысячи. Несомненно, это был бой, и нам казалось, что под таким дождем пуль добровольцы никогда не подойдут к Чернигову. Мы поняли, что это отбивается атака. Стрельба приближалась. Стали выделяться отдельные выстрелы и залпы. Казалось, что стреляют уже в городе. Нам казалось, что пули сыплются возле нашего дома. Мы вошли в дом и, наивно приотворив парадные двери, стояли за дверьми и прислушивались. Мы волновались и минутами впадали в отчаяние.

Около двух часов стрельба как-то сразу прекратилась. Изредка раздавались отдельные выстрелы, и то как будто с другой стороны. У всех одинаково появилась мысль, что атака отбита и добровольцы отступили. Мы вышли в садик и были в дурном настроении. Завтра опять начнутся репрессии и аресты. Все молчали, и я взялся опять резать табак. Правда, мы явственно слышали какой-то шум и движение по шоссе, и хотелось спросить, но как-то не верилось и страшно было спросить. К тому же это предположение опровергалось улицей, куда мы изредка выглядывали.

Прошло больше часа. Мы обедали, когда к нам вновь пришла Пелагея и заявила, что город взят добровольцами. Мы ей не поверили, так как всегда Пелагея сообщала нам самые вздорные слухи. Тем не менее настроение у всех изменилось. Наши барышни решили идти в город. От волнения все суетились и торопились. Я еще не верил и просил барышень быть осторожными. Тем временем Анастасия Ивановна, выглядывая в калитку, получила от прохожих несомненные сведения, что город в руках добровольцев. Просто не верилось, чтобы в какой-нибудь час из города успело выехать и уйти все то, что еще вчера заполняло город. Мы жили на окраине, в глухом месте, в доме опекаемых мною детей Семченко.

Между тем в центре города и ближе к вокзалу знали и видели все. Сто двадцать пять добровольцев ворвались в город, и тысячи вооруженных большевиков бежали опрометью вместе с комиссарами и советскими служащими. Особое положение занимала тюрьма. Из окон тюрьмы отлично видна местность и все шоссе, по которому наступали добровольцы. Заключенные видели все детали сражения лучше других и были поэтому в курсе дела, но зато они и пережили больше других.

Еще накануне в тюрьме началась суета. Несмотря на видимое

спокойствие, комиссары были готовы ежеминутно к отъезду. Вечером комиссар Абрамов приказал приготовить себе верховую лошадь и бил тревогу. Он был зол и кричал. Начальник тюрьмы Бойко скрылся. Его искали, но не находили. Абрамов угрожал расстрелять его. В это время звонили по телефону. Чрезвычайка требовала привода десяти заложников для расстрела, но Абрамов огрызался и отвечал, что теперь не время этим заниматься и что у него нет свободных людей. После ругни и брани по телефону было решено отложить расстрел до утра и расстрелять их перед воротами тюрьмы, если придется сдать Чернигов, чтобы этой картиной полюбовались добровольцы.

Всю ночь Абрамов ездил верхом и суетился. К утру он возвратился и приказал Качуре запрягать лошадей. При первых выстрелах тюремные лошади были поданы. В экипаж села жена Абрамова и инспектор тюрьмы. Абрамов был возле экипажа верхом на лошади. Это было около 10 часов утра. Заключенные уже знали, что Абрамов уехал, и видели, как шла атака города по шоссе. Тюрьма страшно волновалась, боясь, что ежеминутно придут их расстреливать. Арестованные настаивали, чтобы надзиратели их выпустили из тюрьмы. Красноармейцев уже не было. Тю -ремные надзиратели были единственными свидетелями происходящего.

Все чины тюремной администрации с начальником тюрьмы Бойко скрылись. Старший надзиратель Довженко и писец Скворок, недавно назначенный помощником начальника тюрьмы, были единственными представителями власти. Заключенные вызвали в тюрьму Довженко и доказывали ему, что наступил момент, когда тюрьму можно выпустить. Довженко и Скворок на это не соглашались. В это время на улице возле ворот тюрьмы уже собрались родственники заключенных и со своей стороны просили тюремных надзирателей выпустить заключенных. Все боялись, что ежеминутно в тюрьму могут явиться задержавшиеся в городе большевики и расстреляют если не всех заключенных, то, во всяком случае, заложников.

Но оказалось, что в город уже вступили добровольцы. Они точно знали, что прежде всего нужно торопиться к тюрьме. Почти тотчас к тюрьме подошли какие-то вооруженные военные в погонах и заявили, что сейчас будут освобождать заключенных. Довженко и Скворок спросили их: «Кто вы такие?» Они сказали, что они добровольцы. «Мы не знаем, добровольцы вы или нет», - возразил им Скворок. Тогда один из военных сказал, что они сейчас принесут документы, которые заготовлены еще в Муравейке (железнодорожная станция, ближайшая к Чернигову). Вскоре после этого в тюрьму пришли два офицера, четыре

солдата и пять унтер-офицеров, предъявившие соответствующие документы.

Прежде всего были освобождены заложники. Многие плакали. Это было чудесное избавление. Плакали не только освобожденные, но и их родственники, которые ждали их на улице. После заложников освободили более 200 заключенных, так что к вечеру в тюрьме оставалось всего 17 арестантов, из которых на следующий день вновь освободили 12 человек, так что в тюрьме осталось всего 5 уголовных.

Мы встречались потом с теми, которые были до последней минуты в тюрьме. Они считали себя погибшими и уже не надеялись на избавление. Многие совсем пали духом и осунулись за эти минуты до неузнаваемости. Почти все писали письма домой и прощались. Со страшным волнением они, конечно, следили из окон за каждым движением добровольцем и были убеждены, что добровольцы будут в Чернигове, но у них был другой вопрос, более важный: успеют ли добровольцы занять город раньше, чем большевики придут их расстреливать. Каждая минута казалась вечностью. Недаром Н. Д. Рудин, заслуженный и всеми уважаемый общественный деятель, освободившись из тюрьмы, рыдал как ребенок и долго не мог успокоиться.

Большевики увели с собою 17 заложников, содержавшихся в Чрезвычайке. В числе этих несчастных была Е. М. Шрамченко. Впрочем, этот факт не установлен. По одной версии, эти 17 человек были расстреляны, но это опровергается тем, что трупы их не найдены. По другой версии, кто-то видел труп Шрамченко, лежавший на шоссе верстах в двадцати от Чернигова, но эта местность осталась в руках большевиков, и потому установить это не представилось возможным. Факт несомненный только тот, что 17 заложников, бывших в ЧК, исчезли.

* * *

После девяти месяцев гнета, ужаса и полного обезличения личности мы почувствовали себя людьми. Мы радовались искреннею радостью и чувствовали неприкосновенность личности. Это дало нам тот покой, который впервые после пережитых ужасов дал нам крепкий, безмятежный и освежающий сон. Мы знали, что ночью никто не постучит нам в окно и что никто не нарушит нашего сна. Мы были счастливы и до поздней ночи говорили о возрождающейся культурной жизни. Мы были голодны, но крепкий и покойный сон в эту ночь подкрепил наши силы. Мы надеялись. Все встали утром с улыбкой на усталом лице. Мы переживали счастливые минуты и как будто отряхивали с себя грязь большевизма. Мы почувствовали себя интеллигентными людьми.

Жизнь при добровольцах начинала входить в колею. На рынках сразу появились продукты, которых не было вовсе при большевиках. Цены значительно упали. Появился белый хлеб, которого мы не ели очень давно. Черный хлеб понизился в цене до 17 рублей фунт, а булка стоила 30 рублей. Мука с 3000 рублей понизилась до 900 рублей. Появились крупа, копченая рыба и вообще масса съедобного. Начали открываться частные лавки и магазины. Обыватель радовался, но беда была в том, что большевистские красные деньги были аннулированы, а добровольческие денежных знаков у нас не было. Фактически мы продолжали голодать, но мы жили надеждой.

Единственное, что удручало нас, - это отсутствие власти и распорядительности. Все как-то застало в том положении, как было при большевиках, и ни от кого никаких распоряжений не исходило. Говорили, что скоро прибудет губернатор. Называли двух лиц, графа Толстого и Лопухина. Население ждало и подтянулось. «И без власти чувствуется власть, - говорил друг другу обыватель, - вот скорее бы только начали распоряжаться». В городе было спокойно. Чувство личной безопасности составляло радость жизни. Спалось спокойно и безмятежно, но только голод продолжал мучить людей.

Почти тотчас после занятия добровольцами Чернигова, а именно 29 сентября ст. ст, Добровольческой армией был издан приказ начальника гарнизона об аннулировании всех распоряжений и декретов советской власти, а также о том, чтобы все ранее состоявшие на службе в правительственных учреждениях немедленно вступили бы в исправление обязанностей по прежним должностям. Кроме суда и канцелярских служащих прежних ответственных должностных лиц налицо было не много: городской голова А. В. Верзилов, появившийся в городе вместе с добровольцами, управляющий Казенной палатой С. М. Раевский, служивший при большевиках в отделе финансов, врачебный инспектор Н. Д. Сульменев, состоявший при большевиках заведующим отделом здравоохранения и я, бывший губернский тюремный инспектор. Мы были восстановлены в своих прежних должностях.

Перед началом занятий в Окружном суде были отслужены молебен и панихида по убиенным большевиками судебным деятелям. Присутствовали члены суда, освобожденные добровольцами из тюрьмы. Все имели измученный вид и были плохо одеты. Священник, окропляя помещение суда, где помещались большевистские учреждения - исполком, трибунал, карательный подотдел и другие, - приговаривал: «Господи, избави нас от этой мерзости». И он был прав. Было жутко в этих

холодных стенах неотапливаемого здания суда, имевшего вид, как после разгрома. Когда-то светлое, уютное и приветливое помещение отдавало теперь каким-то затхлым запахом, исходящим точно из подземелья, напоминая скорее Чрезвычайку, чем светлое место, где творилось законное правосудие. Было невесело, точно людям не верилось, что это начало того возрождения, которого так долго мы все ожидали.

Мы приступили к исполнению своего долга. Я успел даже перевести свое учреждение - тюремную инспекцию - в прежнее помещение. К моему благополучию, в Чернигов приехал к тому времени прежний начальник тюрьмы В. К. Скуратт, и мы начали с ним работать. Дома у нас было много разговоров: вступать ли мне в должность. Большевики, уходя, уверяли, что через месяц-два они опять будут в Чернигове, и к тому же в организации добровольческой власти чувствовалось что-то неладное. Не было уверенности, но я все-таки не считал себя вправе отстраниться и отказаться исполнить призыв Добровольческого правительства.

Мы с нетерпением ждали гражданской власти, и в частности губернатора, которым, по слухам, был назначен Дьяченко, уже третий за это короткое время. Говорили, что он должен скоро приехать. В Чернигов уже прибыла часть государственной стражи и начальник уезда полковник Пусторослев со своим аппаратом. Образовалось контрразведывательное отделение и уголовный розыск, но что-то было не так, как этому надлежало быть.

Говорили открыто, что в этих учреждениях, в особенности в контрразведке, служат люди, которые скомпрометировали себя при большевиках и вообще были известны населению как негодные люди. Несомненно, сводились какие-то личные счеты и производились совершенно бессмысленные расстрелы. Упорно говорили о взяточничестве и освобождении большевиков из-под ареста за деньги. Всему этому, конечно, не хотелось верить, но было что-то такое, что страшно нервировало и заставляло еще с большим нетерпением ожидать губернатора. Говорили, что губернатора заменяет полковник Пусторослев. Я был у него и докладывал о положении дела, но вышел от него совершенно неудовлетворенным.

Это было не то. Это была не та власть, к которой мы привыкли и которую понимали. Все делалось не так, как этого ждали. Стали проясняться и первые дни прихода добровольцев, и мы начали испытывать тревогу. То, что мы оправдывали первые дни, теперь нас удручало и пугало. Кавказская конница грабила население - это было понятно. Чеченцы и добровольцы производили обыски и грабили евреев. И в этом как-то хотелось видеть что-то необходимое и неизбежное во время войны.

В первый же день был повешен на фонарном столбе на городской площади коммунист Вдовенко, бывший арестант, собственноручно расстрелявший, по его же показанию, более 300 человек. И это как-то казалось понятным, но дальше... Мы ждали губернатора и отлично понимали, что все это нужно прекратить как можно скорее, но губернатора не было. То настроение, та моральная дисциплина, которая заставила в пер -вые дни всем подтянуться и присматриваться к возрождению порядка, тишины и спокойствия, заменилась тревогою, а те, кто боялся и скрывался, осмелели и начали выступать. Цены начали возрастать. Спекулянты, сократившие свои аппетиты, возобновили свою деятельность. Крестьяне, снимавшие шапку при встрече, перестали кланяться.

Всюду слышалось возмущение чеченцами, как называли вступившую в Чернигов конницу. Они беспощадно грабили население и реквизировали или просто отбирали у населения все, что им хотелось. Один из первых нам принес эти известия студент Вова Нерода, у которого днем на улице чеченец отнял золотые часы. Первое время называли только чеченцев, но постепенно и как-то с недоумением стали расширять это по -нятие и с какою-то осторожностью, почти шепотом, говорили, что грабят и добровольцы.

Это слово старались обходить и называли их «деникинцами». Еще с большим недоумением и с какою-то особой неловкостью все чаще и чаще стали передавать друг другу о том, что грабят и офицеры. На этой почве происходило много скандалов. Тот, кто решался громко сказать об этом, возбуждал против себя окружающих и чуть не обвинялся в провокации. Но это был факт. Говорили такие люди, которым нельзя было не верить. Все это в связи с непрекращающимися еврейскими погромами создавало какое-то настроение, при котором терялась вера в светлое будущее. Было несомненно, что офицеры грабили евреев и без стеснения орудовали в офицерской форме.

Мы были склонны к самообману. Мы утешали себя тем, что это были солдаты, переодетые в офицерскую форму, но это был лишь самообман. Создалась какая-то неловкость. Во взаимных отношениях исстрадавшегося обывателя и добровольцев было не то, что ожидалось.

Казалось бы, что после всего пережитого мы должны были броситься друг другу в объятия, но этого не случилось. Правда, многие офицеры упрекали общество в том, что их встретили не так, как следовало бы, но и публика ожидала другого. Что-то, одним словом, было не то, но все это объяснялось отсутствием организованности и гражданской власти. С нетерпением ждали

губернатора. Все-таки по сравнению с тем, что мы пережили при большевиках, было хорошо, если бы только не голод, вызываемый отсутствием денежных знаков. Продуктов было много, но не за что было их купить.

Странное впечатление производила новая власть в лице государственной стражи и управления начальника уезда. Чувствовалось, что это что-то чужое, самостоятельное - не наше. Не было того радушия, которое объединяло бы нас - изголодавшихся, исстрадавшихся - и вновь пришедших устанавливать покой и правопорядок. Не было также видно и проявлений забот и тех мер, которые указывали бы, что есть желание начать вместе новую жизнь. Администрация держала себя как победители над враждебным народом. Каждый раз я выходил от новых должностных лиц с полным разочарованием. Я хотел посоветоваться, узнать общее направление в деле, но соответствующих указаний я не получал. Меня принимали сухо и официально. Я уже раскаивался, что вступил в исправление своей должности.

Тюрьма была пустая. В ней содержалось всего 5 человек. Уголовный элемент и масса солдат-большевиков свободно ходили по городу и что было в особенности страшно, - это то, что многие их них оставались на своих прежних постах милиционеров, переименованных лишь в служащих государственной стражи. На улицах видали свободно расхаживающих секретаря трибунала, служащих исполкома и других большевистских учреждений. Становилось страшно за будущее. Все это в связи с близостью фронта создавало неуверенность, и обыватель стал призадумываться, что делать, если вновь придут большевики. Уже среди простого народа и главным образом евреев стали раздаваться угрожающие возгласы: «Вот подождите, скоро придут большевики».

Озлобление против добровольцев стало расти с каждым днем. Евреи придумали замечательный прием самообороны. Если где-нибудь начинался не только грабеж, но приходили с обыском, евреи начинали кричать. Крик этот передавался из дома в дом и в конце концов охватывал не только данный квартал, но и весь город. Кричали десятки тысяч людей. Евреи достигли этим приемом больших результатов. Грабежи прекратились. Но тот, кто слышал этот гвалт, тот никогда его не забудет. Это происходило ночью и действовало потрясающе. Так не могло долго продолжаться. Это было ясно.

Мы с дочерью решили, в случае наступления большевиков на Чернигов выехать в Киев. Было жутко и обидно. Временами издали слышалась канонада. По слухам, большевики

сосредотачивали недалеко большие силы. Тем не менее мы все-таки надеялись и жили спокойно. 6 октября неожиданно возле Чернигова начался бой. Большевики где-то прорвали фронт, и, видимо, положение становилось серьезным. Мы готовы были бежать и вышли на всякий случай в город. По дороге мы встретили бывшего моего служащего Ячного, который, заплакав, объяснил нам, что большевики уже заняли окрестности города. Мы с дочерью сейчас же собрались и выехали в Киев.

Я оставил там у родных теток свою дочь и возвратился в Чернигов. По дороге в Киев мы получили подтверждение слухов, что 2 октября Киев был взять большевиками, но 4 октября город был отбит добровольцами. Движение поездов было прекращено в это время, и мы поехали в Киев первым поездом. Мне пришлось первый раз после большевизма

ехать поездом. Картина полной разрухи была потрясающая. Классных вагонов не было вовсе. Вся публика размещалась на полу в товарных вагонах. Вагоны были переполнены «мешочниками» и спекулянтами. В вагоне мы только и слышали разговоры о том, сколько нужно дать взятки кондукторам, чтобы провезти груз. Платили открыто от пуда громадные деньги, но еще больше наживали спекулянты. Они, например, покупали в Полтавской губернии по 300 рублей пуд муки, а в Чернигове продавали ее по 900 рублей.

В вагонах была колоссальная грязь. Еще хуже было на вокзалах. Станция Круты была разрушена. Станция Киев была неузнаваема. Простой народ был грязен и распущен. Все-таки в Киеве и по дороге в Киев продукты были дешевле, и мы с Олей объедались булкой и салом. В Киеве мы узнали подробности взятия Киева большевиками. Из города бежало более 60 тысяч жителей, и впереди всех начальствующие лица, штабы и военные власти. Бежали в ближайшие села и станции Бровары, Дарницу и Борисполь. Некоторые по инерции проследовали еще дальше. Потом все вернулись обратно, но после этой паники кто только мог покидал Киев и стремился попасть в далекий тыл.

Киев был под впечатлением Киевской Чрезвычайки, которая после ухода большевиков предстала перед публикой во всей своей наготе. Неубранные трупы в подвалах ЧК, еще свежая кровь, оскальпированные и ошпаренные черепа привлекали в эти погреба целые толпы киевлян, стремившихся посмотреть, какова была деятельность большевиков. Еще ужаснее было зрелище в анатомическом театре, заваленном трупами, от которых шел смрад по Фундуклеевской улице.

Одновременно стали появляться заметки и статьи, раскрывавшие все кровавые тайны, которыми была окутана

Чрезвычайка. Люди не могли опомниться от этого ужаса и были готовы бежать, как только вновь начиналась перестрелка. Чувствовалось, что вера в прочность существующего положения утрачена. Я спешил к месту своей службы. Я был покойнее, что оставил свою дочь в Киеве, где все-таки ей было безопаснее и не так голодно. С чувством глубокой скорби каждый понимал, что где-то и что-то творится неладное. Из Чернигова уезжали наиболее состоятельные люди. Кто возвратился, полагая, что начинается новая эра жизни, тот спешил уехать.

Добровольцы сражались геройски, в этом не было сомнения, но их была горсточка в сравнении с большевиками, и к тому же к добровольцам начали присасываться подонки населения и заведомые большевики, разлагающие армию. Мы знали много таких случаев. Достаточно упомянуть, что известный арестант Артем Хвостенко ходил по Чернигову в офицерских погонах и дошел до такой наглости, что явился в таком виде к директору исправительной колонии Петрову и объяснил ему, что он принят в добровольческую армию офицером.

Все понимали весь ужас этого положения, но некому было заявить об этом. В администрации были все новые люди, которые стояли далеко от населения. После Киевского инцидента где-то еще был такой же случай, после которого стали поступать сведения о неудаче добровольцев по всему фронту. У Орла они потерпели поражение и быстро откатывались обратно. Слухи шли быстрее всяких сведений и опережали газетные сообщения. Настроение общества становилось безнадежным.

Не унывала только молодежь, которая с энтузиазмом шла в ряды добровольцев. Гимназисты, студенты, кадеты уже сражались. Они пошли в своих легоньких пальто, в ботинках, без денег, с одним только благословением своих родных, не видевших другого исхода. Это были юные герои, почти дети, шедшие на неравный бой с озверевшими людьми. В Киеве все были начеку и собирались бежать. Бегство из Киева в Ростов начальствующих лиц, замаскированное поездками по делам службы, создавало панику.

В обществе слышались нарекания и открыто сетовали на то, что всюду первыми бегут начальствующие лица. Это был симптом, который раскрывал обществу истинное положение. В организации гражданской власти была допущена какая-то оплошность. У власти оказались наиболее слабые люди и те, кто уже раз показал свое бессилие и бездарность. Всюду проходили люди ничтожные. Это была ошибка правительства. Бывших чиновников избегали назначать на ответственные посты. Деловой элемент, люди знаний и опыта остались в стороне.

Эта новая власть вместо того, чтобы привлечь к организационной работе трудовой элемент, занялась реабилитацией тех, кто оставался при большевиках на местах. Реабилитация шла даже среди военных, в которых так нуждалось правительство. Вера в начальствующих лиц совершенно исчезла. Все ждали губернатора и с усмешкой говорили, что он боится ехать в Чернигов, выжидая со своим штатом в городе Нежине, где было безопаснее.

Опять шли слухи, что вместо Лопухина черниговским губернатором назначается Дьяченко. Слух этот подтверждался, но через несколько дней стало известно, что Дьяченко скоропостижно скончался. Скоро заместителем покойного стали называть А. М. Тулова, служившего когда-то в Чернигове товарищем прокурора. Таким образом, А. М. Тулов был четвертым губернатором за столь короткий промежуток времени, но в действительности в Чернигове губернатора не было вовсе. Никто из них не дал знать о себе. Никто даже не оповестил нас - должностных лиц, что он вступил в исправление должности и где находится.

Фактически мы оставались без гражданской власти. Мы, должностные лица, и все гражданские учреждения были предоставлены сами себе, не будучи даже осведомлены об общем направлении политики и программы нового для нас правительства Деникина. Я лично дал телеграмму в Ростов начальнику Главного тюремного управления о том, что я вступил в исправление прежней своей должности, и просил указаний, но никаких указаний не только я, но и другие учреждения не получили. Говорили, что в Чернигов приезжал из Нежина вице-губернатор С. Н. Обухов, чтобы осмотреть губернаторский дом и найти себе повара, но так как в тот день возле Чернигова гремели пушки, то он в тот же день выехал обратно. Мы узнали о приезде вице-губернатора в Чернигов только через два дня и удивлялись, что он уехал, не повидавшись с нами. Впоследствии оказалось, что он был осведомлен лучше нас.

Мы все-таки надеялись и привыкли к стрельбе, а там, в Нежине, администрация уже готовилась бежать. Из Нежина было лучше бежать, чем из Чернигова. По всему фронту большевики сильно нажимали, г. Орел был оставлен. Теперь отступали от Курска. Фронт дрогнул, а тыл впал в панику. В городе упорно говорили, что возле Чернигова сосредотачиваются крупные силы противника. На базарах узнавали бывших в Чернигове красноармейцев, которые свободно скупали продукты для своего фронта. Они говорили, что скоро начнется общее наступление. Временами вдали слышалась канонада. 22 октября орудийные

выстрелы были слышны гораздо ближе. Было грустно.

В этот раз нужно было уходить. Моя дочь была в Киеве. Это облегчало мне путь отступления. Вечером среди дорогих мне друзей - старушки Елизаветы Ивановны Лукиной и ее дочери Мани - мы много беседовали и решили, что мне нужно уходить от большевиков, но мы смотрели на это как на временное отсутствие. Никто не допускал мысли, чтобы добровольцы потерпели крах. 23 октября с утра неожиданно бой разразился почти на окраинах города. С одной стороны пулеметная стрельба, с другой орудийная пальба встревожили весь город. От канонады дребезжали в окнах стекла.

Публика с чемоданами потянулась к вокзалу. Я был на службе в музыкальном училище, когда ко мне прибежала Маня и сказала: «Что Вы делаете, все бегут, идите скорее!» За минуту перед тем из училища ушел Вильконский, который сказал, что он не может выдержать этой обстановки и сегодня уезжает поездом в Нежин, прося меня заменить его. Я был ошеломлен Маней. Неужели, думалось мне, нужно уходить, и надолго ли? Мы решили, что через несколько дней Чернигов будет взят обратно, если добровольцы не удержат его в этот раз.

Мы с Маней зашли на минутку домой. Я взял на всякий случай немного денег и положил в карман одну смену белья. Мы решили идти в город разузнать о положении фронта. Я даже не простился со своими. В городе была паника. Масса народа шла на вокзал. В тюремной инспекции никого не было. Мы зашли к Ясновским, которые тоже собирались на вокзал. В тюрьму мне не хотелось заходить. Маня взялась вызвать начальника тюрьмы Скуратта. Последний, придя к Ясновским, сказал мне, что он с Петровым был у начальника гарнизона, который объявил, что положение, нужно признать, очень серьезное. Особого распоряжения об эвакуации не будет. «Смотрите сами и ориентируйтесь сами», - сказал он.

Губернская и городская стража вышла из города еще в 10 часов утра, а начальник уезда Пусторослев со своим штатом вышел в 11 часов. Казначейство и Государственный банк уже на вокзале. Он - начальник тюрьмы -приготовил уже лошадей и ждет меня, чтобы покинуть город. Все были уверены, что через несколько дней мы возвратимся обратно. Мне ужасно не хотелось уходить, но Маня настаивала и взяла с начальника тюрьмы слово, что он не пустит меня в город. Мы простились с Маней, и я ни на минуту не допускал мысли, что мы расстаемся, может быть, навсегда. Все мои вещи и обстановка остались у Лукиных.

Я вышел из Чернигова, имея при себе только одну смену белья. Уже вечерело, когда мы покинули город и отходили вместе

с обозами и отходящими войсками. Рассчитывать попасть на поезд было немыслимо, и мы решили идти на Козелец пешком, тем более что мы имели своих лошадей, на которых были нагружены вещи. К нам присоединились чины Казенной палаты. Всего в нашей группе было 17 человек, в числе которых тюремных служащих кроме меня было трое. Начальник тюрьмы Скуратт с женой, директор исправительной колонии с женой и ребенком и делопроизводитель В. М. Коржинский.

Все шоссе на много верст было покрыто людьми. Шли в двух направлениях, на Яновку и на Козелец. Впереди и сзади нас шла масса народа, в большинстве, конечно, интеллигенция, но были и люди совсем простые. В особенности было жалко детей. Мороз достигал 8 градусов при ветре. В Яновке мы переночевали в хате на полу в числе 18 человек. Всю ночь слышались орудийные выстрелы. В час ночи большевики ворвались в город, и добровольцы вынуждены были отступить к вокзалу.

Мы прошли 21 версту и к вечеру добрались до с. Топчивки, где решили ждать известий из Чернигова. Нас принял к себе богатый крестьянин Гурай, у которого мы пробыли весь следующий день. Сюда зашла молодая вдова Панченко, муж которой был расстрелян в Чернигове. Я познакомился с нею. Она шла из Чернигова и сама не знала, куда идти. Она была из этих мест и зашла к старику Гураю как знакомая. Это была молодая, совсем юная женщина, симпатичная. Она не знала, на что решиться, и, кажется, решила оставаться здесь, в деревне, где ее знали.

Наутро 26 октября проходивший по шоссе броневик «Россия» посоветовал нам идти скорее дальше, так как на шоссе появились большевистские разъезды. Войска отошли на Нежин, и шоссе никем не охраняется.

В тот же день к вечеру мы были в Козельце, сделав в этот день 25 верст под дождем и снегом. В Козельце уже знали, что Чернигов сдан большевикам. При вступлении в Козелец около 9 часов вечера мы встретили офицеров-добровольцев, которые расспрашивали нас, и, видимо, были удручены нашими сведениями. Они обнадеживали нас и уверяли, что Чернигов на днях будет опять взят добровольцами. Здесь впервые мы встретили офицеров, в лице которых действительно мы увидали своих, близких нам людей. Мы понимали друг друга и взаимно страдали за Родину.

Мы остановились в помещении ветеринарной амбулатории у знакомого ветеринарного фельдшера. Мы спали здесь на полу не раздеваясь, но зато после холода здесь было тепло. По дороге в Козелец мы прошли много сел и должны признаться: ели, как не

ели уже давно. Нас поразило, в каком довольствии жила деревня. Нас кормили как на убой и принимали радушно. Население было против большевиков, но вместе с тем не желало выступать активно. Деревня хотела покоя и чтобы никто ее не трогал.

Утром я решил побывать у начальника уезда. Моя встреча с этим представителем новой власти была оригинальна. Его фамилия была Богуславский, но кто он был, я не знал. Когда я назвал себя, Богуславский резко оборвал меня, заявив, что тюремных инспекторов теперь нет. После возникших по этому поводу пререканий я дал ему прочитать статью нового положения губернского управления. Г Богуславский извинился и переменил тон. Я высказал ему мое удивление и спросил, неужели он не интересуется тем, что творится в пределах его уезда. Масса беженцев движется из Чернигова по шоссе, и мы не встретили ни одного стражника и вообще не видели признаков какой бы то ни было власти. Мы слыхали, сказал я ему, что на шоссе появились большевистские разъезды, а начальник уезда этого не знает и не держит связи с расположенными на шоссе селами.

Из дальнейших разговоров выяснилось, что Богуславский совершенно неопытный человек и даже не понимает своих обязанностей. Он так мало учитывал данный момент, что просил моих указаний в отношении козелецкой тюрьмы и говорил об открытии кредитов. Козелецкая тюрьма испытала очень многое за это время. Месяц тому назад возле тюрьмы был фронт, и тюрьма представляла собою мишень, которую обстреливали большевики, предполагая, что там засели добровольцы. Ограда тюрьмы имеет пять больших пробоин. В самом здании тюрьмы разорваны стены четырех камер. В нескольких местах пробита и разорвана крыша. Всех пробоин насчитывается двадцать. Стены тюрьмы и ограда сплошь обсыпана пулями. В верхнем этаже нет вовсе стекол. Вокруг тюрьмы всюду видны следы боя.

Против тюрьмы дом директора тюремного комитета Нещерета, расстрелянного большевиками, сожжен. Телеграфные и телефонные столбы и деревья вдоль шоссе расщеплены снарядами. Мост возле тюрьмы через речку Остер сожжен, и вместо него теперь сделаны кладки. В тюрьме тогда никого не было. Большевики перед наступлением добровольцев часть арестантов расстреляли, а остальных выпустили. Оставшиеся несколько тюремных надзирателей и делопроизводитель Рембелович с семьею жили почти целый месяц в подвальном этаже, выходя только ночью за провизией и водой. Начальник тюрьмы Маяровский своевременно бежал в Киев. При посещении мною 27 октября тюрьмы в ней содержалось 20 человек большевиков, в большинстве евреи. Тюрьма была невероятно

грязная и полуразрушенная. Из прежних надзирателей не было ни одного. В общем, тюрьма интересовала меня мало. Нужно было думать о том, что делать дальше.

В Козельце мы узнали, что губернская администрация в главе с губернатором находится в г. Нежине. Здесь только я получил точные сведения, что губернатором состоит А. М. Тулов. В Козельце была паника. Никто ничего определенного не знал. Наш знакомый по Чернигову воинский начальник Г. А. Соколовский был занят мобилизацией, но смотрел на положение пессимистически. Мобилизация проходила хорошо, но он был уверен, что в случае наступления большевиков мобилизованные разбегутся. Так оно и вышло.

Я решил ехать в Киев. Г. А. Соколовский предложил мне ехать на казенной подводе вместе с его сыном (Мишей) студентом, которого он посылал в Киев. Рассчитывая получить в Киеве более точные сведения и побывать у начальствующих лиц, я уговорил своих компаньонов обождать в Козельце моей телеграммы из Киева. Было холодно. Дорога по шоссе до самого Киева производила удручающее впечатление. Телеграфные столбы были попорчены. Проволока повсюду была порвана и путалась по дороге. Местами телеграфные столбы десятками лежали опрокинутыми. Возле шоссе на каждом шагу валялись разбитые повозки, двуколки, орудийные ящики, походные кухни, автомобили, грузовики и прочее военное имущество. Особенно обращали на себя внимание павшие лошади. Мы насчитали по дороге до Киева более 50 дохлых лошадей. Картина была ужасающая. Там, где мы останавливались, по селам говорили, что по дороге идут грабежи и разбои. Под Киевом уже слышалась канонада.

В Киеве я остановился у своего брата доктора Николая Васильевича, который сказал мне, что в Киеве положение считается катастрофическим. Тетки моей дочери, у которых жила Оля, вращались в военной среде и были поэтому в курсе дел. Сдача Киева была предрешена, если армия Шиллинга, идущая из Одессы, не подойдет своевременно к Киеву. Настроение было скверное. Военному командованию не верили. В городе была слышна стрельба со стороны Ирпеня. Газеты сообщали об общем отступлении добровольцев. Курск и Белгород были оставлены.

Крах чувствовался во всем. В правительственных учреждениях был настоящий развал. Начальствующие лица выезжали в Ростов. Всюду была растерянность. Жизнь обывателя была ужасна. Квартиры не отапливались. В комнатах было 2-3 градуса тепла. Спали в шубах, не раздеваясь. Цены на продукты повышались. Добровольческих денег на базаре не брали. Обед

стоил 40-50 рублей, булка - 20 рублей, черный хлеб -15 рублей, чашка кофе - 15 рублей. Я зашел в Киеве к тюремному инспектору Сухорукову. И здесь была паника.

Мои спутники не выдержали в Козельце паники и выехали вслед за мною в Бровары. Т. Л. Петров приехал ко мне в Киев и сообщил, что губернское управление из Нежина выехало в Бровары. И действительно, 5 ноября Нежин эвакуировался. Губернатор с членами управления и государственной стражей прибыл в Бровары. Узнав, что в Бровары прибыли чины тюремного ведомства из Чернигова, губернатор пожелал видеть меня. Об этом мне было дано знать в Киеве. Я счел своим долгом сейчас же явиться к губернатору.

6 ноября я вышел из Киева, рассчитывая попасть на трамвай, но за отсутствием дров трамвай в Бровары не шел. Это меня не остановило, и я пошел в Бровары пешком ($22^{1/2}$ версты). Моя встреча с А. М. Туловым носила дружественный характер. Мы служили вместе лет 10 тому назад. Губернатор еще надеялся. Он говорил мне, что надеется видеть во мне ближайшего сотрудника, и просил, не стесняясь, говорить свое мнение по всем вопросам, так как я великолепно знаю губернию и имею большой административный опыт. Мы обсуждали создавшееся положение. С беспощадной критикой, не скрывая ничего, я высказал губернатору свое мнение и между прочим осуждал губернаторов, которые своевременно не прибыли в Чернигов. Я сделал и ему этот упрек и видел, что ему это не понравилось. Мы все-таки надеялись.

Настроение испортил только что вернувшийся из Козельца вице губернатор Обухов. Последний обрисовал положение катастрофическим и советовал скорее эвакуироваться дальше. Город Козелец бежит. На город Остер вчера большевики сделали нападение. Государственная стража бежала. Бежал и начальник уезда, несмотря на то, что нападение было отбито. Губернатор решил ехать в Киев, получить указания от главноначальствующего генерала Драгомирова и его помощника барона Гревеница (бывшего черниговского губернатора). А. М. Тулов предложил мне ехать с ним. После беседы с Обуховым губернатор был настроен панически. Я оставался все время при особом мнении и злил этим вице-губернатора Обухова. Мне не нравилась эта спешка и излишняя горячность. Обухов настоял, что, не выжидая распоряжения из Киева, отправляется в Дарницу и садится в поезд на Полтаву.

Мы выехали в Киев. Губернатор просил меня зайти к нему на квартиру к 9 часам, чтобы узнать результаты доклада по начальству. Приехав на квартиру к своему брату Николаю

Васильевичу, я застал его спешно укладывающимся. Ему, как военному врачу, было приказано быть готовым к отступлению и ночевать при своей части. Киев спешно эвакуировался. По улицам шныряли автолюбители, грузовики и нагруженные подводы. В городе была паника, и положение считалось безнадежным. К 9 часам вечера я был у губернатора. Оказалось, что помощник главноначальствующего барон Гревениц был настолько пьян, что Тулову не удалось добиться от него указаний. Губернатор переговорил с его адъютантом Друцким-Соколинским, который вполне одобрил проект Тулова о дальнейшей эвакуации. Приняв это одобрение Соколинского как исходящее от Гревеница, мы составили телеграмму вице-губернатору в Дарницу.

На следующий день мы были у барона Гревеница. Сам Гревениц покидал сегодня Киев, но это держалось в секрете. Из Киева шло повальное бегство. С утра в городе была слышна канонада. Люди ходили растерянными, обезумевшими от страха и метались, не зная, что предпринять. Для меня лично этот день был едва ли ни самым тяжелым днем моей жизни. Нам предстояло решить, ехать ли мне с дочерью или оставить ее на попечении теток, которые оставались в Киеве. Брать ее на скитание в товарных вагонах, в холоде и голоде при полной неизвестности, куда и как мы попадем, было слишком рискованно. А что, думалось мне, если я где-нибудь умру и моя девочка останется одна среди чужих людей без всяких средств к существованию. Мы решили, что Оля останется с ее тетками. Мы простились и выехал в Дарницу.

Для эвакуации черниговского губернского управления с государственной стражей в Дарнице было отведено пять вагонов, причем высшим чинам администрации был приготовлен вагон 4-го класса. Остальные были товарные вагоны-теплушки. Губернатор отстал от нас и должен был нагнать нас с поездом барона Гревеница. Барон пригласил его ехать вместе с ним. В 11 часов вечера в Дарницу прибыл поезд с киевской администрацией. А. М. Тулов перешел в наш поезд. Провожая губернатора, барон Гревениц вошел в наш вагон и просидел с нами с полчаса. Я знал хорошо барона, так как служил с ним в Чернигове в бытность его губернатором. Он страшно осунулся и был в удрученном состоянии. Мы должны были следовать дальше, а киевская администрация оставалась в Дарнице.

Тулов торопился. Говорили, что на узловой станции Гребенка большевики могут отрезать путь на Полтаву. Ежеминутно раскрывалась карта и изучалась местность. В поезде была паника. Чиновники и чины государственной стражи роптали и говорили, что паровозов на станции нет и мы будем стоять в Дарнице

бесконечно долго. Восемь стражников побросали винтовки и исчезли. Возле станции в лесу беспрерывно раздавались выстрелы. Губернатор хлопотал о паровозе. К нашим вагонам прицепили еще массу вагонов для какого-то военного эшелона, так что образовался громадный поезд в количестве ста вагонов. Наши тюремные лошади с санями были помещены в вагон с лошадьми стражников. Целый вагон был нагружен совершенно ненужными вещами, принадлежавшими государственной страже. Тут были и поломанные сани, и старые повозки, и всякий хлам.

Благодаря хлопотам губернатора ночью наш поезд тронулся в путь. Дорога была тяжела. Паровоз еле двигался, так как дрова были сырые. Паровоз не держал пара. На станциях мы стояли часами и целыми ночами. Пассажирского движения вообще не было. Шли только отдельные эшелоны с так называемыми беженцами и военные. Публика беспокоилась и ожидала нападения на поезд. Сведений по дороге не получалось, и это действовало панически. Станцию Гребенку мы проехали благополучно. Здесь были получены сведения, что поезд барона Гревеница возвратился в Киев и положение под Киевом настолько улучшилось, что губернатор получил от барона телеграмму с предложением приостановиться с дальнейшей эвакуацией и высадиться по возможности в ближайших к полтавской дороге уездных городах. Губернатор решил высадиться в г. Лубнах и ждать здесь разверстки событий.

Мы прибыли в Лубны 13 ноября. Мы ехали от Дарницы четыре дня. Это то расстояние, которое раньше поезд проходил четыре часа. В течение этой эвакуации я впервые попал в среду новой для меня добровольческой организации власти. Для меня все было ново. Это не была та власть *и* то отношение, к которым мы привыкли. Здесь было много большевистского и много напоминающего времена Керенского (Временного правительства). Всюду чувствовалась разруха, но это было понятно. Поражало отсутствие даже не служебной, а скорее моральной дисциплины. Присутствие губернатора не сдерживало публику. Чины государственной стражи и даже простые стражники держали себя свободно и несколько нагло. Взаимное уважение и почтение к старшим отсутствовало вовсе. В особенности это сказалось в отношении к окружающим семьи вице-губернатора Обухова, который ехал со своей замужней дочерью г. Ивановой и ее мужем, начальником конной сотни - еще не существующей, но предназначавшейся для Чернигова.

Вместе с ними ехала подруга Обуховой г. Иванова. Любопытно, что все они числились на службе при губернском управлении и получали жалованье. Вся эта семья, чуждая

черниговцам и не бывшая еще в Чернигове, прекрасно устроилась и служила за счет Черниговской губернии. Сам Обухов держал себя очень развязно и мало считался даже с губернатором. Семья Обухова везла с собою двух собачонок и заняла в вагоне после губернатора лучшие места. В вагоне было всего 8 скамеек. Молодежь эта расположилась на этих скамьях, предоставив пожилым и заслуженным людям места на полу. Было противно смотреть на эту молодежь новой формации. Молодой чиновник особых поручений Глуздовский - юноша лет двадцати двух последовал их примеру и занял скамью в то время, когда возле него на полу спал с дочерью старик - управляющий акцизными сборами действительный статский советник Забелло. Семья вице-губернатора возилась с собачонками, которые гадили на полу, где валялись высшие чины губернского управления.

Губернатор запротестовал наконец и предложил убрать этих собак. На этой почве отношения его с вице-губернатором обострились. Семья Обухова все время ела, пила, имея самовар, посуду и всевозможные запасы. И в этом было что-то неприятное и гадкое, потому что большинство выехали в том, что было на них, и буквально голодали эти дни, не имея даже посуды, чтобы выпить чаю. Губернатор А. М. Тулов держал себя как-то отдельно и в сношения со своими служащими не вступал. Это было что-то совершенно новое и, естественно, возбуждало негодование.

Чины государственной стражи держали себя господами положения и, как люди при больших деньгах, ни в чем себе не отказывали. К нам, высшим служащим губернского управления, они относились небрежно или, лучше сказать, игнорировали нас. Начальник черниговской городской стражи капитан Федотов, не бывший, кстати сказать, еще в Чернигове, поставил себе в вагон кровать и спал среди расположившихся возле него на полу высших чинов управления. Капитан Федотов вез с собою повара (стражника), и тут же в вагоне в печурке ему готовились обед и ужин, которыми он потчевал одного губернатора. Повар отгонял всех, кто пытался вскипятить себе в чайнике воду. На полу было грязно. Мы уже чувствовали присутствие вшей и зуд тела. Вагон мы убирали сами. Присутствовавшие в вагоне стражники (8 человек) считали, что это не их дело. Когда я высказал губернатору свое негодование по этому поводу, то он ответил мне, что теперь не такое время, чтобы «они» нам прислуживали.

По мере приближения к Лубнам продукты становились дешевле. Хотя на станциях нигде буфетов не было, но у торговок возле вокзалов продавались булки, пирожки, жареное мясо и рыба по сходной цене. В Лубнах мы остановились при тюрьме в казенной квартире начальника тюрьмы С. Г. Кубаш. Здесь к нам -

тюремным служащим - присоединились: начальник кролевецкой тюрьмы Н. А. Тарновский, бывший начальник черниговской губернской тюрьмы Б. М. Солонина, эвакуировавшийся из г. Остра, где он состоял чиновником особых поручений при начальнике Остерского уезда, и товарищ прокурора Нежинского окружного суда С. Я. Спановский.

В лубенской тюрьме содержались 200 арестантов, в большинстве бандиты и люди, причастные к большевизму. Начальник тюрьмы Кубаш служил раньше помощником начальника Полтавского исправительного отделения. Он был назначен в Лубны при добровольцах и застал тюрьму совершенно разгромленной. Здесь при большевиках было то же, что и в других местах. Расстрелы, издевательства над заключенными, принудительные работы для буржуев и т.п. Начальником тюрьмы при большевиках был старший надзиратель этой тюрьмы, избранный на эту должность тюремными надзирателями. Он занял квартиру начальника тюрьмы и, конечно, с неохотой уступил две комнаты Кубашу. Тюремные надзиратели были настроены на большевистский лад и ждали восстановления советского режима, при котором они чувствовали себя свободнее. Начальник тюрьмы жаловался мне, что служить теперь трудно и еще труднее ввести дисциплину и установить порядок.

В городе было спокойно, но чувствовалось нервное настроение. В соседних уездах оперировали банды, и никто не мог сказать, большевистские ли это отряды или же это бандиты. Тем не менее мы жили здесь эти дни и надеялись. После голодной жизни мы много ели и поражались дешевизной. Черный хлеб мы имели по 3 рубля 50 копеек фунт. Обед на 5-6 человек обходился нам в 15-20 рублей. На третий день нашего пребывания в Лубнах неожиданно с утра началась паника. Прибывающие из Ромен, Ромадана и Лохвицы беженцы сообщили о взятии этих городов бандами.

Большевики наступали на Полтаву и заняли г. Сумы. В паническом ужасе губернатор решил эвакуироваться дальше на г. Кременчуг. Вагоны были еще в нашем распоряжении. Было объявлено, чтобы к 7 часам вечера мы были на вокзале. Местные власти забили тревогу. На вечернем заседании у начальника гарнизона было решено эвакуироваться. Связи с Полтавой не было. Никто не знал об истинном положении. Началось повальное бегство. Все двигались на Кременчуг. Мы встретили здесь своих черниговцев - городского голову А. В. Верзилова, членов городской управы Г. Г Дзвонкевича, Харченко, Сахновского и других, которые только что прибыли из Ични. Большинство частной публики присоединилось к чинам

государственной стражи и воинским чинам, вышедшим из Лубен на Кременчуг походным порядком. С ними направились в Кременчуг начальник тюрьмы Скуратт и Б. М. Солонина, так как вагона для лошадей у нас уже не было.

От Лубен до Кременчуга мы ехали трое суток, с 18 по 20 ноября. Мы ехали в том же вагоне и в тех же условиях, но только с тою разницей, что губернатор потребовал от вице-губернатора, чтобы в вагоне собак не было. Подруга дочери вице-губернатора с собаками была переведена в товарный вагон, где помещались чиновники губернского управления. Отношения губернатора с вице-губернатором обострились до такой степени, что они между собою не разговаривали. Неужели, думалось мне, все гибнет и мы катимся по наклонной плоскости - но в газетах мы читали из Ростова сведения, что дело поправимо и скоро положение будет восстановлено.

В Кременчуге была паника. С Харьковом, Полтавой и Киевом связь была прервана. Не было также сообщения с Ростовом. По слухам, Харьков был занят большевиками, а Полтава эвакуировалась. Волна беженцев катилась дальше на юг и сообщала самые безотрадные сведения. Несомненно, добровольцы терпели крах, и вся надежда была на южную армию генерала Шиллинга, направляющуюся из Одессы в Киев. Мы, тюремные служащие, и здесь остановились в квартире начальника кременчугской тюрьмы М. А. Борткевича. Последний был старый и опытный начальник тюрьмы. Он оставался на месте и при большевиках. Может быть, это обстоятельство, а может быть, и простая случайность оставили здесь тюрьму в исключительно хороших условиях. Тюремные надзиратели производили хорошее впечатление и сохранили прежнюю дисциплину. Ничего напоминающего большевизм здесь не было. Напротив, нужно было удивляться, как Г. Борткевич удержал в руках свое учреждение. Я лично отдохнул здесь. Г. Борткевич предоставил мне свою комнату и принял меня как старого тюремного служащего исключительно приветливо. Здесь впервые после почти месяца эвакуации мы привели себя в порядок.

С 23 октября по день приезда в Кременчуг (20 ноября) нам ни разу не пришлось даже как следует умыться. Начальник тюрьмы устроил нам баню и мойку белья, после чего мы почувствовали себя обновленными. Мне думалось, с какой брезгливостью раньше публика отнеслась бы к моему предложению помыться в тюремной бане. И это в той тюрьме, где была эпидемия сыпного тифа! Губернатор, вице-губернатор и все чины губернского управления были буквально счастливы, что имели возможность помыться, совершенно забывая, что тюрьма заражена тифом.

Имея опыт борьбы с насекомыми, я пропустил паром всю свою одежду и чувствовал, как я избавился от вшей.

Прибывший к этому времени из Лубен эшелоном с государственной стражей начальник тюрьмы Скуратт докладывал мне, что по дороге они получили самые безотрадные сведения. По всем дорогам на юг двигаются отступающие воинские части, походные эшелоны государственной стражи с беженцами и эвакуируемыми учреждениями. Эшелоны эти бесчинствуют и грабят. В частности, наша черниговская и нежинская государственная стража вела себя отвратительно, пьянствуя и отбирая у крестьян насильно продукты, одежду и скот. В селах они гонялись за гусями, утками, поросятами и жарили их потом себе на обед. В особенности отличались в этом отношении приставы Богаевский и Радзевич. Последний с двумя стражниками покушался даже ограбить его - Скуратта, не узнав его в темноте какой-то хаты. Когда Скуратт вырвался от них и распахнул дверь, опознал при свете Радзевича, то последний растерялся и не знал, что сказать, но стоявшие возле него стражники сказали: «Это мы пошутили».

Крестьяне, по заявлению Скуратта, совершенно правильно возмущаются «добровольцами» и прячутся от таких эшелонов. Впечатление, по словам Скуратта, было очень тяжелое. Я знал Радзевича по Чернигову и удивлялся, как такого негодяя могли принять на службу в Добровольческую армию. Я доложил об этом губернатору, который приказал произвести дознание о Радзевиче, будто в нем одном заключается весь этот ужас. В Кременчуге государственная стража продолжала вести себя возмутительно. Правда, несколько человек было арестовано и предано суду, но это не остановило других. Приставы и даже нижние чины ездили по улицам пьяные, развалившись на извозчиках и тратя громадные деньги на глазах начальства и всего населения.

Начальник государственной стражи генерал Гусаковский был панически настроен и думал только о том, как бы ему скорее добраться до Ростова. Он видел все эти безобразия, но мер никаких не принимал. Он считал все погибшим и думал о своем спасении. Генерал Гусаковский настаивал на дальнейшей эвакуации и действовал в этом отношении на губернатора. Только первые дни мы жили в Кременчуге более или менее спокойно.

После взятия Полтавы бандитами паника достигла высшего напряжения. По слухам, банды окружили Кременчуг, а Екатеринослав взял Махно. Выехать из Кременчуга можно было только на Знаменку. Губернатор страшно волновался и обдумывал, как ему вырваться из Кременчуга. Совещаясь со

своими приближенными, он решил отделаться от стеснявших его служащих губернского управления и потому объявил, что все служащие могут располагать собою, как им угодно, и ехать куда угодно, а он, губернатор, с некоторыми избранными им лицами будут действовать в зависимости от обстоятельств. Это создало панику среди служащих. На вопрос о том, куда им деваться и на какие средства жить, губернатор ответил, что будет высылать жалованье по почте. Конечно, для каждого было ясно, что почта не функционирует и тем более не будет действовать при большевиках. Я был рад этому.

Мне казалось, что армия Шиллинга своевременно подойдет к Киеву. А если, думалось мне, большевики займут Киев, значит, так предопределено мне судьбою. Мне не нравилась вся эта атмосфера новой организации власти и всеобщее моральное разложение, которого я не ожидал видеть в Добровольческой армии. Я предложил своим черниговцам ехать со мною в Киев, а там что Бог даст. Мы достали вагон, который нам обещали прицепить завтра к санитарному поезду, отправляющемуся в Киев. Когда я пришел проститься к губернатору, он точно встрепенулся и изменил свое решение. Он просил меня выхлопотать прицепку его вагона к тому же санитарному поезду, чтобы только как-нибудь выехать из Кременчуга.

Было решено опять всем ехать вместе, но куда, мы не знали. Одни тянули на Одессу, другие решали ехать в Киев. Единственный путь был на Знаменку, то есть на Киев и на Одессу. Большинство склонялось ехать в Одессу. Когда все было готово к нашему отъезду, оказалось, что поезд, вышедший вчера на Знаменку, вернулся обратно, так как под Знаменкой банды обстреляли поезд. Это была минута отчаяния. Слово «отрезаны» создало невероятную панику. Губернатор и генерал Гусаковский теряли самообладание.

К утру 29 ноября настроение стало спокойнее. Было приказано грузиться в вагоны, которые будут прицеплены к бронепоезду. На вокзале делалось нечто невообразимое. Вокзальная площадь представляла собою картину поголовного бегства. Вся площадь была заполнена подводами с вещами и людьми. Все стремились попасть в поезд, лишь бы выехать из Кременчуга. Частные лица платили по 5000 рублей за билет. К нашему вагону прицепили вагон с отделением Государственного банка.

30 ноября наш поезд, предшествуемый бронепоездом, вышел на Знаменку. Мы знали, что эвакуация Кременчуга произошла без указания свыше. Связь с правительственными органами была порвана. Телеграмм не принимали. Почта не функционировала.

Полтавские власти уже давно эвакуировались, и запрашивать было некого. Военные власти тоже не имели связи с высшим командованием и так же, как и обыватель, не знали истинного положения дела.

Наш отъезд из Кременчуга в сторону Знаменки носил характер бегства, и потому никто не мог сказать определенно, куда мы едем. По-видимому, мы ехали в Одессу, но может быть, и в Киев. Все зависело от тех сведений, которые будут получены по дороге. Мы надеялись, что Киев не сдадут и армия Шиллинга начнет теснить большевиков. Командование нашим эшелоном принял на себя генерал Гусаковский, больше всех боявшийся нападения на поезд. Генерал стремился в Ростов и потому приходил в ужас, когда поднимался вопрос о возможности попасть в Киев. На станции Бобринская были получены сведения, что в Киеве неблагополучно, и потому было решено ехать в Одессу.

Определенных сведений ниоткуда не поступало. Была полная неизвестность. Мы только знали и видали, что отовсюду бегут целыми толпами. Наступали не только большевики, но всюду оперировали банды. Нападение этих банд на поезда было обычным явлением. По дороге в Лубны возле ст. Гребенки поезд, шедший вслед за нами, был обстрелян такой бандой. В поезде были убитые и раненые. Ехавший в том поезде то -варищ председателя Киевского окружного суда П. М. Скаржинский был убит пулей, сидя на своей скамейке. Этого теперь боялись больше всего, несмотря на то, что вместе с нами ехала эшелоном государственная стража черниговская и нежинская, имея при себе полное вооружение и пулеметы. Мы уже имели случай убедиться, как отнесется стража в случае действительной опасности.

На станции Глобино, не доезжая Кременчуга, я встретил своего знакомого Леву Кулаковского, который был комендантом этой станции. Он предупредил меня, что верстах в сорока от станции вчера было нападение на поезд, и боялся, чтобы то же самое не случилось с нашим поездом. Я сказал об этом губернатору и генералу Гусаковскому, предполагая, что они примут соответствующие меры.

Действительно, часа через три, когда уже стемнело, в нашем поезде начались тревожные свистки, которые мы приняли сначала за сигналы к действию тормозов. После нескольких таких свистков послышался выстрел, после которого началась довольно частая стрельба. Молодой Глуздовский с криком «тушите лампу» побежал к столу и потушил лампу. Кто-то крикнул «ложитесь», и слышно было, как весь вагон шарахнулся на пол. В вагоне водворилась абсолютная тишина, и только слышалось тяжелое

дыхание. Я сидел на полу и держал в руках чашку горячего чаю, который с трудом достался мне в этот день. Прижавшись ко мне и обхватив меня крепко руками за талию, лежал начальник отдела В. П. Тризна.

Поезд замедлял ход и остановился. Капитан Федотов опомнился первый. «Господа офицеры, стыдно, беритесь за винтовки», - сказал он. Стрельба в это время прекратилась. В вагон вошел стражник, который докладывал губернатору, что нападения на поезд не было. В одном из вагонов загорелась ось, и, чтобы остановить поезд, стражники начали стрелять, чтобы дать знать машинисту. Зажгли лампу. Лежали на полу все: и генерал Гусаковский, и чины государственной стражи, и стражники, и муж дочери вице-губернатора - молодой офицер с «Георгием» на груди. Переполох был и в других вагонах. Все лежали на полу, и всем потом было стыдно. Все смеялись.

В тот же вечер в разговоре с губернатором я высказал свое мнение по поводу всей этой эвакуации и возмущался организацией стражи, но А. М. Тулов отклонил этот разговор, так как и сам лежал на своей скамье. Мне была противна эта атмосфера и как-то стыдно. Несомненно, положение было серьезное, но все-таки лицам, стоящим у власти, нужно было держать себя с большим достоинством. Минутами я жалел, что ушел из Чернигова.

Еще по дороге в Лубны нас нагнал поезд, в котором «эвакуировался» из Киева мой брат Сергей Васильевич с женой. Мы встретились случайно, и мне пришла тогда в голову мысль - не присоединиться ли мне к ним в качестве частного лица, но я был без денег, между тем как здесь я получал содержание по своей должности, как эвакуированный чиновник. Брат с женой ехал в Крым. В одном вагоне с ним ехали П. Л. Петров с семьей и В. М. Коржинский, направлявшиеся в Херсон - к родителям жены Петрова. Они отделились от нас еще в Броварах и действовали самостоятельно.

Мы прибыли в Одессу 6 декабря. В Одесском районе было сравнительно спокойно, но и здесь были грозные признаки. После 7 часов вечера на улицах грабили, и всю ночь кто-то стрелял. Мы знали по опыту, что ночная стрельба всегда предшествовала приходу большевиков. Мы - тюремные служащие - разместились в казенных квартирах одесской тюрьмы. Старший помощник начальника тюрьмы был служивший при мне лет десять назад в Черниговской губернии Я. С. Сребрянец. В Одессе была паника. Все состоятельные люди уже из Одессы бежали.

Впервые после длинного путешествия мы имели газеты. Харьков был сдан без боя еще 28 ноября. Киев пал 3 декабря.

Полтава занята повстанцами. Большевики стремительно двигались на юг, и все перед ними бежит. Все объято паникой и напоминает катастрофу. Связи с правительством нет. Нет связи на местах. Железнодорожное сообщение приостановлено. Почта и телеграф имеют лишь местное значение. Определенного фронта нет. Войска разбегаются. Большевистские части расползаются во все стороны, заходя в глубокий тыл, а в тылу действуют банды. Каждый город, село и местечко предоставлены самим себе. Губернской власти фактически нет. Губернаторы и начальники уездов эвакуировались, или вернее бежали.

Власти не верили, зная, что первой будет бежать власть. Боязнь остаться брошенным заставляла людей быть начеку и не отставать от бегущих. За властью зорко следили, и в случае малейшего подозрения все бросались на вокзал. Все «сидели на чемоданах» и выжидали. Достаточно было небольшого повода, чтобы паника с быстротою молнии охватывала всю местность. Обыкновенно паника создавалась самими властями. Напуганные, но все же не решаясь бежать, они созывали собрания должностных лиц и общественных деятелей, на которых выносились постановления об эвакуации. Этого им только и было нужно. «Спасайся кто может!» - говорило это постановление, и эвакуация обращалась в сплошное паническое бегство. Целые города бежали таким образом без всякой реальной причины.

Но бывало и хуже. От какой-нибудь небольшой банды грабителей в 10-15 человек бежали сотни стражников. Так было в Лубнах, Кременчуге, Хороле и прочих городах Полтавской губернии. Мы точно знаем, что когда в Кобеляках, в восьми станциях от Хорола, были бандиты, хорольская государственная стража уже бежала. Отступали от таких банд и войсковые части. Из Кременчуга, например, где было сосредоточено много войск, они отступили перед натиском каких-нибудь 500 красноармейцев. Несколько позже то же самое случилось в Николаеве и Херсоне. Без всякой видимой причины в этих городах возникла паника. Николаевский градоначальник бросился на пароход. За ним побежал буквально весь город, и удержать эту бегущую массу не представлялось возможным.

Приехавшие в Одессу начальники кременчугской - Борткевич и хорольской - Пастернацкий тюрем докладывали мне, что потом было отдано распоряжение возвратиться в Николаев, но большинство уже бежало в Одессу. В Херсоне была такая же паника, во время которой какие-то вооруженные люди подошли к тюрьме и потребовали освобождения арестантов. Свыше 1000 человек было выпущено из тюрьмы, и никто не оказал этой группе лиц сопротивления. Тюремный инспектор Меранди бежал.

В Елизаветграде местная власть решила эвакуироваться только потому, что эвакуация проводилась повсюду. Начальник тюрьмы Н. Н. Богданович, прибывший в Одессу, говорил мне, что он сдал тюрьму трем молодым евреям, которые входили в состав городской самообороны, которой передавался город.

Все эти местности эвакуировались по собственному почину, в большинстве случаев походным порядком и в панике. Никто не знал определенно, куда он идет и куда нужно спасаться. Со всех сторон на юг тянулись эшелоны бегущих из разных мест начальников уездов, стражников, чиновников и частных лиц. Все эти эшелоны проходили по местностям, где только вчера прошли такие же беженцы. Волна за волною проходили эти группы бегущих и вооруженных людей, нагоняя и обгоняя друг друга, чтобы добраться, по их мнению, до более безопасного места. Лишенные руководства, голодные и усталые, эти люди обращались постепенно в дезорганизованную толпу.

Власти не было. Сдерживающего начала не могло быть. Отсутствие дисциплины и распущенность делали свое дело. Проходя по селам и деревням, эти вооруженные эшелоны государственной стражи требовали есть и применяли насилие. Не разбираясь в окружающей обстановке, они требовали от населения и не допускали возражений. «Давай, и больше ничего», - говорили они, и в случае упорства пускали в действие шомпола, нагайки и приклады. Аппетиты у многих разгорались. Требования не ограничивались хлебом. У крестьян не только отбирались куры, гуси и утки, но и убивались свиньи, овцы и коровы.

Конечно, при таком положении выявился преступный элемент. Стражники отбирали у крестьян полушубки, сапоги и кошельки с деньгами. Так действовала конотопская государственная стража, с которою шли тюремные надзиратели во главе с начальником конотопской тюрьмы Ястремским и его помощником Житченко. Слухи о бесчинствах этого конотопского эшелона дошли даже до Одессы из Николаева, куда в конце концов прибыл этот эшелон.

Прибывший в Одессу начальник конотопской тюрьмы Ястремский вынужден был признаться, что эшелон этот производил впечатление банды. В эшелоне следовали из г. Конотопа конная сотня, пешая сотня, городская стража, хлеборобы, чины гражданского управления и частные лица. Государственная стража грабила не только ночью, но и днем. По словам Ястремского, в г. Миргороде днем на улице стражники ограбили своего же конотопского мирового судью, следовавшего тем же эшелоном. По имевшимся у меня сведениям, Ястремский с тюремными надзирателями, которых было восемь человек,

участвовали в этих грабежах.

Про него говорили, что он под видом реквизиции отбирал у местного населения лошадей и тут же в конце деревни продавал их. Ястремский отрицал это, но сознался, что конотопский эшелон действительно мародерствовал и вел себя возмутительно. Ястремский не отрицал своей вины, но оправдывался тем, что люди были без всяких средств и были голодные. Начальник стражи Веселовский и его помощник Вигуров денег стражникам не давали и учили стражников, как доставать продукты. Особой жестокостью отличался Вигуров, собственноручно избивавший крестьян за отказ дать продукты.

Еще несколько позже мы случайно узнали, что при отступлении государственной стражи из Конотопа Веселовский и Вигуров расстреляли по своему почину свыше 200 человек, содержавшихся в конотопской тюрьме. Эти официальные данные сообщил мне служащий в Управлении государственной стражи В. И. Боярский-Кассианович, лично видавший рапорт Веселовского, поданный им по начальству в Одессе. Г. Веселовский сообщал об этом начальству, ставя себе как бы в особую заслугу этот поступок. Начальство не одобрило действий Вигурова и Веселовского и предало их суду, но оба своевременно скрылись.

Ястремский, узнав, что я занимаю в Одессе официальное служебное положение, прибыл из Николаева в Одессу и хотел пристроиться возле меня. Я отказался от него и посоветовал ему взять в руки винтовку и идти на фронт, чтобы снять с себя позор и загладить вину перед Родиной.

Почти такую же картину движения эшелона изобразил мне бывший у меня начальник елизаветинской тюрьмы Богданович. Это был сплошной ужас, говорил он. Остановить грабеж не было возможности. Что думают крестьяне, говорил он, и как они могут теперь хорошо относиться к добровольцам?.. Жутко было слушать эти рассказы: где было начальство и кто были эти новые люди, как приставы Богаевский, Радзевич и начальники уездов Веселовский, Вигуров и проч.? Как могли эти люди попасть на службу в Добровольческую армию и получить власть? Это был отброс чиновничества царского времени. Это были люди, которые всплыли на поверхность контрреволюции и губили начатое генералом Деникиным дело возрождения единой великой России.

С самого начала эвакуации я был поражен, когда встретил в составе служащих, и в особенности в личном составе государственной стражи, людей, которых я знал давно. Я докладывал губернатору, кто такие эти люди. Это был отброс чиновничества и совершенно негодный к службе элемент. Их уже несколько раз принимали на службу при царском режиме, но с

ними приходилось тотчас расставаться. Радзевич был издавна известен в Чернигове как негодяй. Богаевский был чиновником губернского правления, и только. Теперь он разъезжал по городу, развалившись на извозчике, и тратил в ресторанах громадные деньги. Но кто такие Веселовский и Вигуров? Мы их не знали, но достаточно иметь небольшой административный опыт, чтобы с первого взгляда определить качества этих людей.

Еще обиднее было видеть, как люди, стоящие у власти, забывали свой долг перед Родиной, преследуя свои личные интересы. Вице-губернатор Обухов, из земских деятелей, пристроил на службу всю свою семью и бессовестно выплачивал всем содержание, не доехавши даже до Чернигова. Своего зятя, молодого офицера Иванова, лет двадцати двух, которому надлежало быть на фронте, он назначил командиром еще не существующей конной сотни в Чернигове. Дочь получала содержание как делопроизводитель губернского управления, а подруга дочери - как переписчица. Становилось стыдно и обидно за этих людей.

И это в то время, когда другая часть русских людей шла в ряды добровольцев, жертвуя решительно всем. Офицеры, кадеты, студенты, гимназисты, реалисты, молодые и при этом лучшие чиновники - эта юная молодежь, герои, вышедшие на неравный бой в своих полузимних костюмчиках и разорванных башмаках, - вот истые герои, которых предавали эти господа, отлично устроившись в тылу Добровольческой армии. Десятки тысяч вооруженных людей, крепких, здоровых, бежали в паническом ужасе, и это позорное бегство прикрывали десятки героев, выдерживавших неравный бой с полчищами большевиков и борющиеся с местными бандами.

Мы проезжали самое опасное место возле станции Знаменка, где орудовали банды. тридцать пять молодых офицеров-добровольцев, составляя отряд для борьбы с бандами и охраны пути, пропускали наш эшелон. Мне стало обидно до боли. Кого они пропускали? Кого они прикрывали? Добрая половина нашего эшелона - это были герои тыла, и их бегство прикрывала горсточка настоящих героев, не думающих еще об отступлении.

Слухи превращались в действительность. Киев пал. В Одессу стали прибывать первые эшелоны беженцев. Гроза приближалась к Одессе. Наши вагоны еще не были разгружены. Кроме нас - тюремных служащих и губернатора, никто не мог себе найти квартиру. Жили первые дни в вагонах. Для чего мы приехали в Одессу и что будет дальше, это волновало всех одинаково. Все хотели ехать дальше и действовали в этом направлении на губернатора. А. М. Тулов смотрел на положение без надежды и хлопотал об квартирах в Ростове. Вопрос как бы налаживался, так как была начата разгрузка Одессы.

Одесса эвакуировалась, и это было началом паники. В казенных квартирах тюрьмы было тепло, и мы имели кровати. Тюремная администрация была рада нашему приезду. Первые дни нас стеснялись и осторожно предупреждали, что при тюрьме опасно. В прошлом году при переворотах освободившиеся из

тюрьмы арестанты прежде всего бросились по квартирам администрации и расправлялись с тюремными служащими, убив двух помощников, а начальника тюрьмы Перелешина загнали в сарай, который подожгли с четырех сторон. Перелешина спасли петлюровцы.

Теперь ожидали того же. Начальник тюрьмы Бирин и Я. С. Сребрянец, в квартире которого мне была отведена комната, искали своим семьям квартиры в городе, и нам советовали быть подальше от тюрьмы. Ежедневно в Одессу прибывали поезда с беженцами. В Одессу прибыли киевские власти с генералом Драгомировым и бароном Гревениц во главе. Фронта уже не было. Добровольцы отступали, а солдаты, как это бывает при катастрофах, просто разбегались, бросая оружие и военное имущество.

Прибывающие из Киева рассказывали, что из Киева идет поголовное бегство, причем идут и пешком, и едут на подводах, и отступают вместе *с* войсками. По дороге к беженцам присоединяются самочинно эвакуирующиеся власти из разных мест Киевской области, и все это бежит в Одессу. В поездах масса сыпнотифозных. Большевики быстро продвигаются на юг. Паника усиливалась. Говорили, что главноначальствующий Новороссийской областью барон Шиллинг покидает Одессу. И действительно, как потом говорил мне генерал Брянский, было решено Одессу сдать без боя и эвакуироваться в Новороссийск.

В тюрьме было серьезное положение. Свыше тысячи заключенных ждали событий. Кроме десятка уголовных, почти все заключенные были большевики. Рассчитывая на скорую перемену власти, они воспряли духом и заняли боевую позицию. Чины администрации были терроризированы. Еще в худшем положении были тюремные надзиратели. Они отлично понимали, что в случае перемены власти у власти будут те, кто сидит теперь в тюрьме. Как это было в Чернигове при вступлении в город большевиков, многие из тюремных надзирателей спаслись только благодаря заступничеству бывших заключенных, которые выдавали надзирателям удостоверение в том, что они мягко и гуманно обращались в тюрьме с заключенными.

Надзиратели старались обеспечить свое будущее и заискивающе относились к заключенным. Камеры не запирались. Заключенные свободно расхаживали по тюрьме и, собираясь группами, обсуждали политические новости. Попытки администрации развести арестантов по камерам и запереть их оказались тщетными. Тюремные надзиратели уже не подчинялись начальству, предпочитая быть в добрых отношениях с заключенными. Начальство в последнюю минуту сбежит, а им

придется отвечать перед арестантами. Надзирателям, конечно, было известно, что начальство уже готовится к эвакуации. Тюремные надзиратели были в руках у заключенных и исполняли их волю. Они открыто передавали заключенным и также открыто доставляли письма на волю. На этот предмет в тюрьме была установлена даже такса. Газеты приносились в тюрьму свободно, и платили за это большие деньги. В дни свиданий, когда возле ворот тюрьмы собирались иногда более тысячи лиц, приносивших заключенным «передачу», тюремные надзиратели щедро получали «на чай». В более серьезных случаях, когда в корзинке с припасами имелось письмо или что-нибудь недозволенное, плата устанавливалась «по условию».

Вообще заключенные имели почти беспрепятственное общение с внешним миром и своими подпольными организациями. Они поэтому отлично знали общее положение и заявляли, что большевики будут в Одессе через 21 день. Этим сведениям тюремная администрация верила безусловно, и, когда я пробовал возражать, Сребрянец авторитетно заявлял мне, что заключенные, конечно, знают все лучше нас. Вообще разговоры тюремной администрации и надзора с заключенными носили интимный характер. Надзиратели начали здороваться с заключенными за руку, предлагали им папиросы, читали вместе с ними газеты и вместе обсуждали политическое положение. В порывах откровенности надзиратели просили заключенных защитить их в случае прихода большевиков. Большое распространение в тюрьме имела подпольная газета «Коммунист». С каждым днем заключенные становились смелее и увереннее.

В тюрьме начались митинги, на которых был учрежден трибунал, выносивший уже для будущего приговоры. Митинги происходили в присутствии надзора и стоящих на посту надзирателей. На одном из таких митингов присутствовал из любопытства помощник начальника Калинин. Действие в тюрьме трибунала имело громадное значение. Каждый хотел знать свою судьбу и подсылал к арестантам узнавать, как относится к нему трибунал и нет ли уже о нем приговора. Начальник тюрьмы Бирин, естественно, больше всех был заинтересован своей судьбою и через некоторых заключенных выяснял в тюрьме вопрос, может ли он оставаться при большевиках начальником тюрьмы.

Одним словом, все подготовлялось к перевороту. Говорили о готовящемся на тюрьму нападении с целью освобождения заключенных. Уголовные бегали к политическим и просили не забыть их. К Рождеству тюрьма рассчитывала быть на свободе.

Ежедневно вечером и ночью возле тюрьмы шла стрельба. Кто стрелял, было неизвестно. Выйти на улицу никто не решался. В связи с общим положением и ожидаемым нападением на тюрьму начальник тюрьмы и его помощник Сребрянец подали в отставку и настойчиво добивались немедленного увольнения. Оба, Бирин *и* Сребрянец, очень волновались и, упаковывая свои вещи, метались как угорелые. Горячка усилилась, когда они узнали, что мы - черниговцы -эвакуируемся в Новороссийск.

Отставка Бирина и Сребрянца не была принята. Бирин решил поговорить с наиболее влиятельными заключенными с целью узнать, как к нему относятся большевики. Еще больше волновался Сребрянец. Помощники Калинин и Фурман окончательно решили бежать. И только помощники Жамейтис и Дзичковский, как бывшие тюремные надзиратели, служившие уже при большевиках, решили оставаться. Видя катастрофическое состояние тюрьмы, я посоветовал Бирину представить доклад непосредственно главноначальствующему и раскрыть истинное положение дела. Для меня было ясно, что тюрьма была брошена и никого не интересовала. Градоначальник барон Штемпель не принимал доклада по тюрьме и возложил эту обязанность на своего помощника Резникова, но последний ничего в делах не понимал и, как бывший судебный следователь, был по недоразумению назначен на административную должность.

Перед отъездом в Новороссийск я хотел помочь тюремной администрации и редактировал этот доклад. Доклад этот, видимо, произвел должное впечатление. На тюрьму было обращено должное внимание в Управлении главноначальствующего. Главноначальствующему было доложено, что при тюрьме живут эвакуированные из Чернигова тюремные служащие, которых можно было бы привлечь к установлению порядка в тюрьме. По приказанию барона Шиллинга помощник его генерал Брянский говорил по этому поводу с черниговским губернатором Туловым. Тулов рекомендовал нас как опытных и старослужащих тюремных деятелей, но совершенно правильно заметил, что мы исполнили уже свой долг по Черниговской губернии, и вряд ли было бы справедливым теперь, накануне прихода большевиков, возлагать на нас столь ответственное дело.

В результате переговоров губернатор поставил непременным условием, чтобы в случае занятия Одессы большевиками мы были эвакуированы в первую очередь. При этом Тулов доложил генералу, что в порядке разгрузки Одессы мы уже готовы к отъезду в Новороссийск, и потому он сомневается, чтобы мы согласились остаться на службе в Одессе. Генерал

Брянский сказал губернатору, что едва ли Одесса будет эвакуироваться и вряд ли мы будем эвакуированы в Новороссийск.

И действительно, скоро после этого эвакуация Одессы была отменена. Во всяком случае, генерал просил губернатора передать мне, что он желает меня видеть. 22 декабря я явился к генералу Брянскому. Генерал принял меня чрезвычайно любезно и, изложив обстоятельства дела, предложил мне принять на себя руководство делом и привлечь к службе моих черниговских служащих. С полной откровенностью и не стесняясь критики, я докладывал помощнику главноначальствующего все, что я знал о разложении устоев государственной жизни, и даже не умолчал о безобразиях, чинимых государственной стражей.

Я высказал сомнение в возможности что-либо сделать среди этой общей разрухи и привести в порядок тюрьму накануне наступления большевиков на Одессу. Одесса бежит. Учреждения эвакуируются. Я лично должен выехать с губернатором на днях из Одессы, но, конечно, мог бы остаться, если этого требуют интересы Родины. Что касается моих служащих, то вряд ли я могу заставить их принять на себя дело в такую тяжелую минуту. Они свято исполнили свой долг и ушли из Чернигова за несколько часов до вступления в город большевиков. Почему же теперь, когда служившие много лет в Одессе тюремные служащие бросают в последнюю минуту свои посты, мы должны заменить бегущих, рискуя попасть в руки большевиков?

Генерал Брянский с особым вниманием слушал мой доклад. Генерал успокаивал меня, говоря, что на фронте наступил перелом. Одессу решено не сдавать, и, напротив, теперь есть надежда, что отсюда начнется общее наступление. Теперь как никогда всем русским людям нужно сплотиться и не отказывать в помощи, когда в ней нуждается правительство. Я возразил генералу, что «один в поле не воин». Тюрьма, как барометр, отражает общественную жизнь, и нельзя поэтому поставить в исключительное положение в ней порядка, когда его нет нигде. «Начнем с нее», - сказал мне генерал Брянский. Но, во всяком случае, продолжал генерал, тюрьму нужно сдержать до последнего момента, чтобы она своими выступлениями не ускорила краха, если бы таковой наступил.

Тюрьма всюду и всегда служила началом переворотов, и потому главноначальствующий придавал тюрьме особое значение. В тюрьме сидят готовые комиссары и большевистские деятели. Они не должны быть на свободе раньше ухода из города власти. Генерал Брянский дал мне честное слово, что мы - тюремные деятели - будем в случае надобности эвакуированы в

первую очередь, и в этом отношении мы должны быть вполне спокойны. Отказаться было невозможно. Вопрос был поставлен так, что мы, как русские люди, призывались в критический момент помочь правительству и должны были исполнить свой долг, как русские люди.

Генерал Брянский производил на меня хорошее впечатление. Он отлично учитывал общее положение и всей душой страдал за Родину. Мне нравилось, что генерал давал возможность говорить правду. Я был в этом отношении беспощаден и рассказывал ему даже о нашей эвакуации и как стража с генералом Гусаковским легла, бросив оружие, при первой опасности. Я спрашивал Брянского о помощи союзников, и генерал ни словом меня не обнадежил. Мы много беседовали на общие темы, и меня поражало, что человек, стоящий у власти, знал все и ничего не мог сделать.

Прибывавшие из Киева беженцы, среди которых было много черниговцев, узнавши, что я занимаю официальное служебное положение и живу при тюрьме, приходили прямо с вокзала ко мне и просили приюта (А. И. Самойлович, С. Е. Шрамченко, Червинский, Андреев, Подвысоцкий и другие). Вскоре из Киева приехал мой брат Николай Васильевич и тетка моей дочери М. К. Воздвиженская. По общему мнению, из Одессы нужно было бежать, тем более что в городе развивалась эпидемия сыпного тифа, принявшая небывалые размеры. К кладбищу непрерывно тянулись похоронные процессии. Все больницы были переполнены. Больные лежали по двое на койке и размещались в коридорах, на лестницах и в холодных передних.

В Одессу прибывали поезда с сотнями трупов. По дороге больные в бреду выбрасывались из вагонов. В порту лежали тысячи трупов, умерших от тифа. На кладбищах, по сведениям тюремного врача Зервуди, ежедневно хоронили более 100 покойников, что составит до 600 умерших в день на миллион жителей г. Одессы. Гробы брались напрокат. Хоронили в мешках и в общих могилах. Эпидемия ежедневно усиливалась. Зараза имела своим очагом вокзалы и вагоны, сплошь усеянные зараженными вшами. Прибывающие с поездами были покрыты вшами. Умершие валялись в вагонах неубранными.

Между Казатиным и Одессой образовалось мертвое пространство, никем не занятое и сплошь зараженное сыпным тифом. Борьба с тифом была немыслима. Водопровод в Одессе едва действовал, давая слабый напор воды два-три раза в неделю. Бани действовали изредка и были дороги (140 рублей билет). В квартирах ванны не действовали. Люди не могли ни умыться, ни вычиститься. Стирка белья доходила до 30 рублей за штуку.

Подонки населения и хулиганы не считались с эпидемией. Они грабили не только живых, но и покойников, снимая с них по ночам на вокзалах и в порту одежду, обувь и отбирая все, что было при них. Цинизм этих людей доходил до того, что на кладбищах они взламывали склепы, разрывали могилы и обирали покойников догола, а гробы брали на топливо. Люди ни с чем не считались. Голод и холод доводил людей до исступления, и люди сами не знали, что творят. Мы видели чиновников и людей, прилично одетых, которые собирали по улицам щепки, и исподтишка выламывали доски из заборов, и крали доски.

Среди этого общего ужаса, паники и разложения тем не менее действовали и функционировали правительственные учреждения, возглавляемые представителем Добровольческого правительства бароном Шиллингом. Сношений с центральным правительством не было. Ростов эвакуировался. Приходящие изредка из Новороссийска пароходы привозили неутешительные сведения. Большевики напирали на Ростов. Впечатление было таково, что из Новороссийска бегут.

24 декабря 1919 года приказом главноначальствующего Новороссийской области начальник одесской тюрьмы Бирин и его помощник Сребрянец были смещены на низшие должности. Остальные помощники уволены. Начальник черниговской тюрьмы Скуратт был назначен начальником одесской тюрьмы, а находившиеся при мне начальник кролевецкой тюрьмы Тарановский и бывший начальник рыбинской тюрьмы Солонина вступили в должность помощников начальника.

Положение в тюрьме было крайне серьезное. Повсюду, во всех областях тюремной жизни, были агенты от арестантов. В первый же день нами было установлено, что в конторе тюрьмы главную роль играл некий Пантелеймонов, арестант, допущенный администрацией к занятиям в канцелярии. Пользуясь громадным влиянием среди заключенных, он вел в канцелярии дела по арестантской переписке. Пантелеймонов был коммунист, осужденный к 20 годам каторги. Будучи при большевиках комиссаром какой-то армии, он при добровольцах учредил контрразведку, но был уличен в провокации. Пантелеймонов вовлек в эту авантюру видного генерала, ради спасения которого дело Пантелеймонова пришлось затушить, и каторга была заменена ему годом тюремного заключения.

По мнению начальника контрразведки Кирпичникова, Пантелеймонов был очень опасен для тюрьмы и в случае перемены власти сыграет в тюрьме видную роль. Тюремная администрация это знала, но никто не решался отстранить Пантелеймонова от занятий в канцелярии. Напротив, перед ним

все заискивали, так как это был человек, который будет у власти. В канцелярии тюрьмы служила еще некая Войткевич, муж которой содержался в тюрьме как большевик-коммунист. Она беспрепятственно виделась с мужем и тоже вела переписку по арестантским делам. Она, конечно, была в курсе всех дел и, свободно расхаживая по тюрьме, могла посвящать заключенных в общее политическое положение. Своей миловидной наружностью она часто привлекала внимание караульных начальников (офицеров Добровольческой армии), и ее постоянно заставали в комнате начальника караула.

Это было обнаружено случайно. Начальник тюрьмы Скуратт, обходя поздно вечером тюрьму, натолкнулся в коридоре на офицера, бывшего эти сутки начальником караула. Смущенный вид офицера обратил на себя внимание Скуратта. Увидев скользнувшую по стене тень за спиной офицера, начальник тюрьмы решил зайти в комнату начальника караула. Из двери в этот момент быстро шмыгнула женская фигура, закрывая рукавом лицо. Начальник узнал г. Войткевич.

Далее было установлено, что в привратницкой (в подворотне) живет коммунист. В привратницкой имеются две комнаты, одну из которых занял поступивший при большевиках слесарь-инструктор Петровский. Он был зачислен при тюрьме тюремным надзирателем и состоял до сих пор в этой должности. Слесарная мастерская не функционировала, и Петровский жил при тюрьме, ничего не делая. Он жил со своим братом, совершенно посторонним лицом, которого никто не знал. Администрация панически боялась этих двух лиц и всегда беспокоилась, что в руках этих людей находится вход в тюрьму.

В канторе тюрьмы служил вообще неблагонадежный элемент - все те, кто был набран при большевиках. Регистратор - Любовь Щицына, дочь местного тюремного надзирателя, была некоторое время невестой политического комиссара тюрьмы, бывшего каторжника Горбачева. Горбачев был простой рабочий-котельщик и отличался при большевиках своей жестокостью. С уходом большевиков из Одессы все эти лица оставались на службе, и администрация не решалась удалить их, боясь мести большевиков. Связь коммунистов, сидящих в тюрьме, с большевиками в городе была очевидна. Администрация отлично понимала, что каждый их шаг будет учтен большевиками и рано или поздно им придется держать ответ перед ними.

Бирин и Сребрянец сознавали, что зашли слишком далеко, но уже выхода из положения не было. Их попытка доложить градоначальнику о создавшемся положении разбивалась о полное равнодушие и недоступность барона Штемпеля и его помощника

Резникова. Вполне спокойно чувствовали себя помощники начальника Фурман, Дзичковский и Жамейтис. Это были люди простые, бывшие тюремные надзиратели, из которых Жамейтис был назначен при большевиках. Они не имели в тюрьме значения, и на них заключенные не обращали внимания. Они, в сущности, ничего не делали и занимались только в канцелярии отпиской. Этим трем нечего было бояться большевиков. Они служили при них и, конечно, будут служить.

Один помощник Калинин оставался неразгаданной личностью, но для меня было ясно, что он терроризирован и потому боялся проявить себя. В тюрьме содержалось 1050 человек, из коих только 12% было уголовных. Остальные именовались политическими и были поголовно большевиками, за исключением десятка офицеров, грабителей и налетчиков. Они называли себя добровольцами, потому что служили в Добровольческой армии. Дела заключенных разбирались туго. Контрразведывательное отделение медлило и что-то комбинировало. В числе политических особо обращал на себя внимание некий Вениамин - секретарь Одесской Чрезвычайки, которым интересовался весь город. При большевиках Вениамин спас жизнь начальнику контрразведки Кирпичникову, который теперь в свою очередь даровал жизнь Вениамину. Это глубоко возмущало всех и возбуждало общество против Кирпичникова.

В тюрьме содержался Плантус, политический комиссар, игравший в свое время видную роль на всей Украине. Очень серьезные большевистские деятели содержались в женском отделении. Заславская, Петровская, княжна Ильинская - это были те женщины-садистки, которые собственноручно расстреливали в подвалах Чрезвычайки. Тюрьма, одним словом, была большевистская и чрезвычайно серьезная. В обществе и среди служащих ходили слухи, что начальник контрразведки Кирпичников играет в руку большевикам. Его открыто обвиняли в укрывательстве и освобождении людей всем известных как большевистских деятелей. Нам удалось установить по письмам заключенных, что в контрразведке брали взятки и освобождали за деньги. Несколько таких писем было направлено по принадлежности.

Несомненно, в тюрьме творилось нечто такое, что производило странное впечатление. Я был несколько раз у Кирпичникова и один, и вместе с начальником тюрьмы Скураттом. Сначала я говорил с ним сдержанно, но потом решительно просил его разъяснить мне то, что было для меня неясно. Кирпичников, очень умный и хитрый человек, говорил со мною уклончиво, но взгляд его ясно давал мне чувствовать, что

он хотел бы мне сказать: «А ну попробуй-ка сунуться не в свое дело». Я докладывал генералу Брянскому о своем впечатлении, но и генерал больше глубокомысленно молчал.

Это было не наше дело. Мы должны были установить в тюрьме тот порядок, который обеспечивал бы безопасность ее для государственного строя, и это нам все-таки удавалось. С трудом, но мы развели арестантов по камерам и заперли их на замок. Очень трудна была борьба с тюремными надзирателями. Они не верили нам и оставались при убеждении, что в Одессе скоро будут большевики. Может быть, нам не удалось бы повернуть дело на новый лад, но в Одессу стали прибывать из Киева и других мест эвакуированные тюремные надзиратели и чины тюремной администрации, которые тотчас же прикомандировывались мною к одесской тюрьме.

Мы влили сразу до 80 посторонних тюремных надзирателей в общую массу местных служащих, и это помогло нам установить общий надзор за тюрьмой. Правда, и с ними нам пришлось много возиться и уговаривать, так как люди были терроризированы и боялись служить. Все они боялись прихода большевиков и спрашивали, что с ними будет, если произойдет крах. Настроение это подавить было трудно, но все же это были свои люди и не большевики. Особенная возня была с помощниками киевского начальника губернской тюрьмы Булахом, Холодкевичем, Хобозняком и Гаркавенко. Ознакомившись с положением тюрьмы, они просто боялись вступить в исправление обязанностей по тюрьме. Готовящееся нападение на тюрьму еще больше терроризировало их, и мне пришлось употребить крайние меры, чтобы заставить их работать.

Праздники Рождества прошли крайне тревожно. Мы приняли тюрьму 24 декабря и в тот же день получили сообщение контрразведывательного пункта (№ 6513), что во время праздников предполагается вооруженное нападение на тюрьму с целью освобождения арестантов, причем указывалось, что ворота тюрьмы должны открыть живущие в привратницкой коммунисты Петровские. Благодаря энергичным мерам, принятым генералом Брянским, уличные выступления были предупреждены, но все-таки были тяжелые минуты.

С вечера в ночь на Рождество в районе, прилегающем к вокзалу и тюрьме, несколько раз начиналась сильная стрельба. Каждый раз мы полагали, что в городе началось восстание. Военный караул при тюрьме был готов встретить толпу и выставлял свой патруль. Мы, черниговцы, имея при себе винтовки, тоже установили в дверях своей квартиры пост и решили защищаться. В городе было очень тревожно. Не только

ночью, но и весь день в городе беспрерывно стреляли во всех направлениях. Это стреляли местные большевики, которыми была полна Молдаванка.

Все праздники мы были начеку и ждали восстаний. Под новый год стрельба была еще сильнее. Временами было впечатление настоящего боя. Тем не менее мы - черниговцы устроили у себя встречу Нового года и из посторонних пригласили только начальника военного караула. Много раз наш скромный ужин прерывался тревогою. Мы пили и ели под трескотню ружейных выстрелов. Было невесело, и мы с болью в душе вспоминали наших родных и близких людей, отрезанных от нас большевиками. Мы не спали всю ночь.

Несмотря на такое тревожное состояние, нам все-таки удавалось налаживать в тюрьме нормальную жизнь. Бороться приходилось во всех направлениях. В тюрьме денег не было. Сметы тоже не было. Сношения с учреждениями затруднялись, потому что всюду была разруха и к делу относились пассивно. В градоначальстве был ужасный хаос. Тюремный комитет, который вел хозяйство тюрьмы, состоял из двух лиц - секретаря и бухгалтера, людей недостойных. Тюрьма была в руках подрядчика Лернера, который высасывал все соки из тюрьмы. Тюремное хозяйство было накануне краха. Генерал Брянский всемерно поддерживал меня и после каждого моего доклада искренне благодарил меня.

Тем временем ко мне, как официальному лицу, являлись эвакуированные или, вернее, бегущие со всех сторон служащие тюремного ведомства и спрашивали, что делать им дальше. Связи с Главным тюремным управлением уже не было. На отъезд из Одессы было мало надежды. Все метались в панике и просили моего совета. Мне приходилось всех размещать в казенных квартирах и принять на себя заботу о тюремных беженцах. Очень многие были прикомандированы к одесской тюрьме.

В Одессу прибыл киевский тюремный инспектор Г. И. Сухоруков со своими служащими в числе которых был мой приятель, помощник киевского инспектора С. А. Ковалев. Они спрашивали меня, что я рассчитываю предпринять, если в Одессу придут большевики. Сухоруков был озабочен достать себе подложный паспорт. Мне они удивлялись: как я согласился в такой момент принять на себя столь ответственный пост. Почти одновременно с ними приехал подольский тюремный инспектор Карпов, бежавший от поляков из Каменец-Подольска. Он предъявил мне документ на украинском языке от петлюровской власти. Он хотел перейти на русскую службу и был по дороге в Ростов.

Последовательно ко мне явились начальники тюрем: винницкой, подольской губернской тюрьмы Б. А. Петкевич со своим бухгалтером Романом, уманской - А. И. Бернацкий, черкасской - Синайский, елисаветградской - Н. Н. Богданович, таращанской - Я. И. Давиденко, брацлавской - И. В. Прокопович, переяславской - П. Д. Выгулярный, помощник начальника елисаветградской тюрьмы Я. К. Лях. Все они разместились в квартирах при тюрьме. На мой вопрос, что случилось и почему они бежали, никто из них не мог дать определенного ответа. Наступления большевиков в этих местах еще не было, а были лишь банды, от которых повсюду было поголовное бегство. Бернацкий, Синайский и Петкевич тотчас по приезде заболели сыпным тифом и были помещены мною в отдельную изолированную комнату, которую я отвел в казенном здании специально для больных тюремных служащих.

В это время происходило совершенно непонятное явление. Когда Одесса готовилась к эвакуации и уже нагружались в порту пароходы, в Одессу нахлынула волна беженцев с противоположной стороны - из Николаева, Херсона, Севастополя, Ростова и Новороссийска. Две волны беженцев одна против другой столкнулись в Черном море, и никто не понимал, что происходит и кто куда бежит. Узнав, что я состою представителем тюремного правления в Одессе, ко мне явились прибывшие из Николаева пароходом начальники хорольской тюрьмы Н. З. Пастернацкий, кременчугской - М. А. Борткевич, начальник Полтавского исправительного отделения Ф. И. Кравченко, помощник полтавской губернской тюрьмы Шмарига с 14 тюремными надзирателями.

Вместе с ними приехал начальник козелецкой тюрьмы Н. В. Маяровский с черниговской жительницей Лидией Фаустовной Панченко, столь известной черниговцам по тем злоключениям, которые пришлось претерпеть этой семье от большевиков. Мне пришлось встретить, когда я шел из Чернигова, другую Панченко (Надежду). Это две молодые женщины, оставшиеся в живых после расстрела почти всей семьи Панченко за то, что один из них (офицер) убил под Черниговом военного большевистского комиссара Ницберга. Лидия Фаустовна была, конечно, принята мною как свой человек, и я сейчас же устроил ее сестрой милосердия при тюрьме и прикомандировал к уходу за больными служащими, положение которых было крайне тяжелое.

Тюремный врач Зервуди, как равно и весь прочий медицинский персонал тюрьмы, не решался лечить и проявить какую-либо заботу к тюремным служащим, учитывая возможность скорой перемены власти. Г-жа Панченко самоотверженно приняла

на себя уход за сыпными больными и довела дело до конца. От Маяровского я узнал, что в Николаев прибыл бывший при большевиках в Чернигове начальником тюрьмы Бойко, и там же в сыпном тифе лежит начальник новгород-северской тюрьмы Е. Г. Лотошенко-Глоба.

Бежавшие из Николаева ничего определенного сказать не могли. В паническом ужасе все население Николаева бросилось бежать, и остановить это бегство удалось лишь частично. Такая же паника была в Херсоне. На моем докладе у генерала Брянского он пояснил мне, что паника эта ни на чем не основана и виновные в этом власти будут преданы суду. В Херсоне, например, сказал генерал, освободили всю тюрьму, в которой содержалось свыше тысячи арестантов, и начальство, в числе которого был тюремный инспектор Меранди, бежало.

Гораздо серьезнее положение было в Ростове. Среди беженцев в Одессу приехали помощник начальника харьковской каторжной тюрьмы И. А. Павличенко, помощник начальника харьковской губернской тюрьмы Н. П. Тарасюк и помощник начальника екатеринославской тюрьмы

Р. М. Рыбальченко. Несколько позже ко мне явился из Ростова помощник начальника Полтавского исправительного отделения П. И. Рудницкий. Он прежде всего просил разрешения остановиться при тюрьме, чтобы отдохнуть от дороги. Квартиры были переполнены до невозможности, и к тому же стали проявляться заболевания сыпным тифом. Заболел начальник кременчугской тюрьмы Борткевич и жена харьковского помощника Павличенко.

Знавший меня по Чернигову Рудницкий подробно рассказал мне все, что видел и что знал по эвакуации Ростова. В первых числах декабря в Ростов стали прибывать с севера беженцами тюремные служащие. Главное тюремное управление скоро перестало функционировать, так как большевики стремительно продвигались на юг. Все бегущие тюремные служащие, конечно, являлись в Главное тюремное управление, и нужно отдать справедливость начальнику Управления действительному статскому советнику М. И. Рябинину, он всех приютил у себя и никого не забыл. Ночью помещение Тюремного управления обращалось в ночлежный дом. Спали и на полу, и на столах, и под столами. Занятий, конечно, никаких не было. Главное управление готовилось к эвакуации в Новороссийск. Это была не эвакуация, а сплошное бегство. Чтобы достать место в вагоне, нужно было идти на соседнюю станцию. За билет платили по 7000 рублей. Чины Главного управления во главе с начальником управления вышли из Ростова пешком. Надежды у людей не было.

Из Новороссийска кто только мог бежал за границу, а другие стремились в Одессу и Крым. Везде было общее смятение. Где было лучше, никто не знал, и в этом паническом настроении многие прорвались в Одессу, полагая, что здесь безопаснее. Оказалось, что отсюда бегут тоже. Люди очутились как в мышеловке. Каждый из приезжающих рассказывал свою историю, раскрывающую общее положение разлагающейся добровольческой организации.

Безотрадную картину бегства из Харькова рассказывал мне помощник начальника харьковской каторжной тюрьмы Павличенко. 23 ноября в 5 часов вечера началась эвакуация тюрем. Более 1500 арестантов было отправлено на г. Изюм походным порядком. Это было тяжелое путешествие. В особенности было трудно при ночевках. Арестантов размещали по хатам, в училищах и в общественных зданиях. Измучились арестанты, но трудно было и конвоирам. В результате начальники тюрем бросили этот эшелон и оставили все на своих помощников. В конце концов отказались конвоировать арестантов и воинские части. Арестанты были отведены в Андреевское исправительное отделение, откуда поездом они были отправлены в Николаев и Херсон. По дороге арестантский поезд потерпел крушение. Часть арестантов погибла, а остальные разбежались. Павличенко поехал в Ростов, а оттуда бежал в Новороссийск, заручившись командировкой в Одессу, предполагая, что здесь будет безопаснее.

Я докладывал генералу Брянскому все сведения, которые я получал от начальников тюрем. Мне нравилось, что генерал не унывал и надеялся, что с Одессы начнется восстановление фронта. Большевики были в 200 верстах от Одессы. Главноначальствующий барон Шиллинг принимал решительные меры, но Брянский не скрывал, что Шиллинг был несколько слаб. Этот момент совпал с учреждением в Одессе обороны Одесского округа. Эвакуация была отменена, и Одессу решено было защищать. Начальником обороны был назначен граф Игнатьев, а городского укрепленного района - полковник Стессель - сын порт-артурского героя. Начальником штаба его состоял полковник Мамонтов. Что-то начали делать. Решительные приказы и всеобщая мобилизация дали обществу надежду.

Одесса была переполнена военными, прибывшими с разложившегося фронта. Свыше 40 тысяч офицеров оказалось в Одессе без всякого дела. Казалось, что при таких условиях в связи с мобилизацией можно создать надежную армию. Началась регистрация офицеров. Власти зашевелились. Заговорила и общественность. Митрополит Платон, вернувшийся из Америки,

выступил со своими энергичными речами, призывая сплотиться для спасения Родины. Начали подтягивать государственную стражу. Город разбили на 8 районов, во главе которых стояли районные коменданты, имеющие каждый в своем введении боевую силу в числе 200 офицеров и солдат. Даже штаб, который был настроен пессимистически, несколько оживился и начал работать, сказал мне генерал Брянский.

В городе были приняты энергичные меры к борьбе с подонками населения и против ночной стрельбы. Газеты говорили, что неудача добровольцев - явление временное, и приводили авторитетные заверения, что через два месяца положение будет восстановлено и вновь начнется наступление. Паника несколько улеглась. Стрельба в городе утихла. Сознание, что бежать некуда, вносило некоторую устойчивость в общественное настроение, и жизнь как будто стала входить в норму. Внимание общества было сосредоточено на развивающейся эпидемии сыпного тифа и страшно тяжелом положении беженцев. Вышло распоряжение о расформировании прибывших в Одессу государственных учреждений. В резерве оставлялись лишь должностные лица не ниже V класса. Остальные оставлялись за штатом, причем чиновники призывного возраста призывались по мобилизации на военную службу. В сознании каждого явилась необходимость примириться с пребыванием в Одессе.

Так или иначе, нужно было искать дела, чтобы иметь кусок хлеба. Черниговские беженцы целыми группами приходили ко мне и просили места. Имея много вакантных должностей, я пристроил на службу человек тридцать и был этому очень рад, так как окружил себя своими людьми. Киевский губернский тюремный инспектор Сухоруков просил меня устроить его хотя бы моим помощником. Подольский тюремный инспектор Карпов просил какую-нибудь должность по канцелярии, лишь бы иметь средства к существованию. Не обошлось, конечно, и без интриг. Сухоруков признал неудобным для себя быть моим помощником и, действуя через генерала Драгомирова, добивался получить мое место, а меня сделать своим помощником, доказывая, что инспектор черниговский всегда был ниже по положению, чем киевский.

Люди успокаивались и начали проявлять свои обывательские инстинкты. Поскольку в первые дни мне шли навстречу и исполняли все мои требования, постольку теперь начали развиваться мелочные счеты и уколы обиженного самолюбия. В канцелярии градоначальника и Тюремном комитете меня старались «поставить на место». Мои решительные меры

встречали отпор. Мои экстренные просьбы нарочно задерживались. Я докладывал об этом генералу Брянскому, для которого это была не новость. Он сам был в таком же положении. Уголовный розыск был «в контрах» с контрразведкой, а последняя сорилась с государственной стражей. В военном ведомстве пререкания шли между штабами. В градоначальстве с озлоблением говорили об управлении главноначальствующего, а помощник градоначальника Резников не иначе выражался о генерале Брянском, как «какой-то Брянский».

Было обидно, что люди не понимали своего положения и забыли то, что пережили еще так недавно. Мы отлично понимали, что в случае опасности эти люди опять будут бежать, забывая свой долг перед Родиной. Я имел в своем распоряжении массу служащих, прикомандированных и просто состоящих при мне, и был поэтому окружен своими людьми, на которых можно было положиться. Это очень облегчало мое положение и ставило меня в исключительно благоприятные условия. Шутя мое управление называли «вторым Главным управлением», так как Ростова уже не существовало.

Страшно бедственное положение не только тюремных служащих, но и вообще беженцев, массовые заболевания тифом, угнетенное нравственное состояние большинства заставили меня предпринять некоторые шаги к объединению черниговцев и создать нечто вроде взаимопомощи. Ко мне, как к старому служащему в Чернигове, обращались многие. Вокруг меня объединились эвакуированные и бежавшие из Чернигова, хорошо знавшие меня по службе. Мы, естественно, не могли оставить заболевших и умерших. Нужно было помочь и в случае надобности похоронить.

Мой призыв дал блестящие результаты. Выработанная мною организация была сразу покрыта 250 подписями, и мы начали действовать согласно нижеследующей программе:

«Мы, жители Черниговской губернии, эвакуированные и вынужденные покинуть пределы Черниговской губернии вследствие обстоятельств военного времени, решили избрать из своей среды особых уполномоченных, которые являлись бы представителями интересов на чужбине всех так называемых беженцев из Черниговской губернии и приняли бы на себя всестороннюю заботу о них, куда бы судьба их ни забросила и в каком бы городе они ни проживали. Каждый покинувший свои родные места, свою семью, своих близких и родных, а равно имущество, должен быть спокоен в том отношении, что он не останется одиноким вдали от своей Родины, и если что-нибудь с ним случится, он не останется забытым и без вести пропавшим.

Близкие и родственники должны в конце концов узнать об участи и мытарствах каждого из нас и получить точные сведения о каждом, покинувшем свои родные места. Если кто-нибудь из нас умрет по дороге или если его постигнет какое-нибудь несчастье, то наши уполномоченные должны знать об этом и своевременно по возвращении на Родину сообщить о нашей судьбе родным. Если кто-нибудь из нас пожелал бы передать родным письмо, какой-нибудь документ или сделать распоряжение по имуществу на случай смерти, то наши уполномоченные не откажут нам в этом и свято исполнят свой нравственный долг. Одним словом, нравственная поддержка, как взаимная, так и персональная, всех беженцев является целью настоящей организации. Каждый из нас должен проявлять заботу о другом и иметь общение с уполномоченными, сообщая им о каждом случае смерти, болезни, ограблении, о безвыходном материальном положении, а в случае смерти передавать имущество и документы для вручения их потом родственникам. Уполномоченные принимают на себя обязательство вести записи и делать заметки во всех таких случаях, чтобы передать затем надлежащие сведения на Родину. Кроме этого нравственного долга уполномоченные принимают на себя функции как бы правления нашей организации со всеми обязанностями членов правления, представляющего черниговскую организацию беженцев по всем вопросам как взаимного вспомоществования, так и по всем вопросам, связанным с представительством интересов черниговских беженцев. Не связывая себя особым уставом, мы вполне доверяем нашим уполномоченным как людям, всем известным в Черниговской губернии, и предоставляем им свободу действий и инициативу, лишь бы были обеспечены интересы беженцев. Единогласно мы избираем нашими уполномоченными Михаила Васильевича Кочубея как председательствующего и членами нашей организации Федора Федоровича Дворецкого, Павла Аполлинарьевича Мацко и Сергея Евгеньевича Шрамченко. Вместе с тем мы предоставляем им по своему выбору кооптировать в состав правления тех лиц, которые могли бы оказать нашей организации пользу и содействие, а также заменять по своему выбору убывающих членов Правления другими лицами, чтобы дело не приостанавливалось за выбытием избранных нами лиц».

В Одессе шла интенсивная работа по воссоздании фронта и укреплению тыла. Нужно отдать справедливость новым людям, что они за короткий срок сделали многое. Решимость защищать Одессу была твердая. Правда, публика изверилась и смотрела на общее положение пессимистически. В городе наступило

некоторое успокоение. Постепенно вошла в норму и тюремная жизнь. Видя твердую власть, заключенные подчинились тюремному режиму и начали верить в возможность защиты Одессы.

Всех смущало лишь одно обстоятельство. Мобилизация проходила плохо. Гражданское население просто не явилось на мобилизацию, а офицеры, которые в городе было несметное количество, хотя и зарегистрировались, но продолжали жить в городе без всякого дела. С разложившегося фронта продолжали прибывать, но на фронт шли неохотно. На обывателя это производило удручающее впечатление, и он справедливо обвинял начальство. Очень быстро это положение отразилось на общественном настроении. Это учли и местные большевики и подонки населения. Цены начали возрастать. На улицах вновь началась стрельба. Видно было, что новая власть не справлялась с этими внутренними эксцессами и не умела сорганизовать борьбу с этими выступлениями.

Государственная стража, усиленная эвакуированными из разных мест стражниками, продолжала оставаться в деморализованном состоянии. Ночью стража буквально пряталась, и никакие силы не могли заставить ее выполнять свои функции. Новые учреждения районных комендантов находились в период формирования, причем и здесь наблюдалась некоторая апатия и нежелание подставить себя ночью шальной пуле. Генерал Брянский заболел.

Мне было предложено обращаться по делам в штаб обороны. Я познакомился с начальником штаба полковником Мамонтовым и представился начальнику обороны полковнику Стесселю. Оба они произвели на меня хорошее впечатление, и с этими людьми безусловно можно было работать. Стессель определенно сказал мне, что гражданская власть в Одессе никуда не годится и находится в состоянии распада. Придавая исключительное значение благополучию в тюрьме, начальник обороны просил меня забыть о гражданской власти и по всем вопросам обращаться только к нему. С этого времени мы перешли в ведение штаба обороны. Мне было предложено в случае надобности в силе обращаться за помощью в Сергиевское юнкерское училище и о каждом тревожном случае сообщать в штаб. Мне все-таки не хотелось терять связи с генералом Брянским, выздоровления которого я ждал с нетерпением.

15 января под вечер в тюрьму привели арестованных. На обратном пути конвой, состоявший из козелецкой, черниговской губернской стражи, подвергся нападению. Два стражника было убито, остальные разбежались. Возвратившийся к тому времени

из города тюремный врач Зервуди сообщил мне, что в городе очень тревожно. По слухам, барон Шиллинг арестован и начальник контрразведки Кирпичников убит. Сообщение доктора вызвало среди служащих панику. Все полагали, что в городе началось восстание, так как в это время отчетливо была слышна пулеметная и ружейная стрельба. Моя попытка соединиться по телефону с генералом Брянским и со штабом успеха не имела. Телефон не действовал. Наше положение было тяжелое. Мы послали надежных людей в юнкерское училище, но там тоже не были в курсе дела, но все юнкера стояли под ружьем.

Всю ночь в городе происходила стрельба. На следующий день я был у генерала Брянского, который начал прием после болезни. Убийство Кирпичникова подтвердилось. Что касается барона Шиллинга, то слух об его аресте распространился в обществе не без оснований. На каком-то собрании офицеров барону Шиллингу высказали недоверие, и отдельные лица выкрикивали о необходимости арестовать его. Генерал Брянский после инфлюэнцы осунулся и был в удрученном состоянии. Я понял, что генерал говорил со мною неискренно и как-то не смотрел в глаза.

Я докладывал ему, что по распоряжению штаба обороны в тюрьму перевели из гауптвахты 200 офицеров, и это по моему мнению недопустимо. Я даже не знал, что эта мера была вызвана тем обстоятельством, что вчера с гауптвахты бежало 20 офицеров. Контингент содержащихся на гауптвахте был ненадежный. Здесь были налетчики, грабители, скандалисты и т.д. Состав офицеров был полуинтеллигентный. На свидание к ним приходили женщины, главным образом сестры милосердия, и устраивали танцы под игру на гребешках, играя с ними в карты. Побеги с гауптвахты были обычным явлением. Я докладывал генералу Брянскому, высказывая свое убеждение, что разложение повсюду идет быстрыми шагами и крах, по моему мнению, неизбежен. Генерал как бы задумался, а затем, нервно встав с кресла и прося меня сидеть, начал ходить по кабинету и, остановившись на минуту, спросил меня, какое впечатление произвел на меня штаб обороны и в частности полковник Мамонтов. Я тоже ответил уклончиво, сказав только, что, по моему мнению, вряд ли и штаб обороны в состоянии будет восстановить положение.

В этот раз моя беседа с генералом Брянским носила отпечаток какой-то недомолвки. Брянский ходил по кабинету и, видимо, о чем-то сильно размышлял. Мне казалось, что он должен меня посвятить в истинное положение дела. Прощаясь с ним, я между прочим напомнил генералу, что он признал необходимым, чтобы я представился главноначальствующему Б. Шиллингу. Брянский как-то замялся и сказал, что барон теперь

страшно занят и мое представление ему придется отложить. В приемной я узнал, что вчера, когда генерал Брянский ехал на автомобиле, в него было сделано несколько выстрелов и он только случайно спасся.

Выходя из Управления главноначальствующего, я отлично понял, что мы накануне полнейшего краха, но утешал себя тем, что генерал дал мне честное слово, что мы будем эвакуированы в первую очередь. Я был убежден, что Брянский исполнит свое слово. Садясь в экипаж, я слыхал раздающиеся со всех стороны выстрелы. Уже темнело, и я торопился доехать до полной темноты в тюрьму.

По шоссе возле тюрьмы стрельба усилилась. Стреляли тут же на улице, но кто это делал, не было видно. Наши черниговцы уже беспокоились, что меня долго нет. По общему мнению, положение было безнадежное. За общим чаем мы долго разбирали наше положение, но я твердо верил, что данное генералом слово будет исполнено, и утешал своих сослуживцев, говоря, что несомненно мы будем эвакуированы, если положение будет безнадежным. Начальник тюрьмы Скуратт безнадежно махнул рукой, а Н. А. Тарновский горячо возразил мне, уверенно заявил при всех: «Вот увидите, что начальствующие лица скроются так, что мы и знать не будем».

На следующий день я случайно узнал, что генерал Брянский уехал из Одессы на английском миноносце. В этот же день я встретил черниговского губернатора Тулова, от которого узнал, что дела на фронте безнадежны. Вознесенск взят большевиками. Херсон и Николаев нами оставлены, причем воинские части бросают фронт и бегут. А. М. Тулов суетился и хлопотал о выезде из Одессы. Когда я сказал ему об отъезде генерала Брянского, Тулов засмеялся и сказал, что генерал уже больше не вернется. В тот же день я узнал от своих черниговцев, что когда они, получив сведения о гибели фронта, бросились к губернатору спросить - как им быть, А. М. Тулов секретно от них уехал на пароходе, за минуту до этого уверяя служащих, что ничего опасного нет.

Загадочное убийство Кирпичникова послужило как бы переломом в настроении общества и совпало с катастрофой на фронте. Упорно говорили, что Кирпичников убит своими же добровольцами за ту двусмысленную политику, которую он вел. Это впоследствии подтвердилось. Кирпичников был социал-революционер и умышленно губил добровольческое дело. Катастрофа на фронте подтвердилась. Войска в беспорядке бегут, опережая беженцев. Прибывающие в Одессу рисовали безотрадную картину и рассказывали, что местное население стреляет по добровольцам и преследует их по пятам.

Главноначальствующий барон Шиллинг передавал свои полномочия полковнику Стесселю. Начальник обороны граф Игнатьев как-то незаметно исчез.

Участь Одессы была решена. Началась эвакуация и бегство. В эти последние дни в Одессе столкнулись интересы трех отдельных групп: галицийское командование, с которым штаб решил вступить в контакт, небезызвестный атаман Струк, набиравший в Одессе отряд для партизанского нашествия на Киев, и местные большевики, подготовлявшие восстание. 20 января в штабе обороны под председательством Стесселя было назначено совещание всех районных комендантов, на которое Стессель пригласил и меня. В связи с выступлением галичан в Одессе назревало украинское движение, главари которого вместе с галицийским командованием предлагали передать им власть. Никто не сомневался, что галицийские войска не удержат наступления большевиков и что вся украинская авантюра лишь откроет дверь большевикам.

Восстание большевиков было решено подавить во что бы то ни стало, и в этом отношении полковник Стессель давал указания районным комендантам. Стессель не скрывал угрожающего положения и говорил об эвакуации, предупреждая, что он взялся продержать Одессу 12 дней, чтобы дать возможность произвести планомерную эвакуацию и отойти войскам. Стессель объявил телеграмму главноначальствующего, в которой барон Шиллинг просил пояснить всем офицерам, что никто не останется забытым и все до последнего будут эвакуированы.

В отношении эвакуации тюрьмы и тюремных служащих я имел в штабе продолжительную беседу. Полковник Мамонтов сказал, что мы должны отойти в последнюю очередь с войсками и штабом. Стессель просил меня передать служащим, чтобы они не беспокоились и не бросали своих постов до конца. В последнюю минуту Стессель сам прибудет в тюрьму и примет ее от тюремных служащих.

Эвакуация производилась на глазах публики. Грузовые автомобили нагружались возле иностранных консульств. Это служило неоспоримым доказательством оставления властями города. По городу ездил автомобиль под украинским флагом и разбрасывал воззвания. Атаман Струк в свою очередь призывал поступать к нему в партизанский отряд.

«ВОЗЗВАНИЕ

Братья офицеры, солдаты, рабочие и крестьяне, к вам обращаюсь в этот исторический для нас и для Родины час. Родина гибнет от нашествия красных, расстреливаются наши семьи, грабят наше добро, из-насилываются жены и сестры латышами,

китайцами и мадьярами, закрываются церкви и надругаются над святынею и всем, что дорого для нас. Край наш стонет и ждет освобождения. Освободить должны мы, нас здесь много, и я думаю, что тот, у кого остались семьи и родные, у того кровь кипит, тот должен пойти и грудью отстоять то, что ему дорого и свято. Тот Киев, где гудят колокола церквей, куда собирались тысячами на поклон, теперь туда приводят в десять раз больше на расстрел, и кровь течет рекою, кровь наших семей и всех православных. Голос наших отцов донесся и до Одессы, к нам, призывающий встать в ряды нашего отряда и скорее освободить их от чрезвычаек и коммуны, и дать свободно вздохнуть к наступающему Великому дню Воскресения Христова; нас ждут дети, жены, отцы и матери с трепетной радостью, видя в нас освободителей и охранителей родного края от поругания.

Встаньте же скорее, и кто что имеет, с тем спешите к нам, и вместе с громкими криками “Слава” понесемся как орлы освобождать своих.

Атаман крестьянского отряда полковник Струк

Комендант отряда капитан Москвин

Ст. адъютант отряда поручик Верпаховский

Запись производится в гост. “Палермо ”, по Ришельевской ул. № 62, комн. 4, на Канатной ул., в казармах 14-й пехотной дивизии; и в гостинице “Пассаж ”, комн. № 143 по Преображенской ул.».

Галичане тоже суетились и разъезжали по городу. Публика с жадностью подхватывала каждый слух. Говорили больше всего о мирном перевороте в украинском направлении.

Запись в партизанский отряд имела громадный успех. К Струку шли главным образом эвакуированные из Киевской области чины государственной стражи, чиновники и солдаты, желавшие прорваться к себе домой или быть, во всяком случае, ближе к Киеву. Наши тюремные надзиратели и прикомандированные к тюрьме стражники в большом числе пошли к Струку. В отряд к последнему шли и интеллигентные люди. Поредели даже ряды отрядов комендантских управлений.

В тюрьме настроение изменилось еще 16 января. Заключенные устроили демонстрацию по случаю запоздания ужина. Это был пущен пробный камень. Арестанты стучали в двери, кричали, свистели, пока военный караул не произвел в воздух несколько выстрелов. Штаб обороны выслал усиленный караул, но уже на следующий день выяснилось, что воинских частей в Одессе не хватает даже для несения караульной службы. По три дня караул в тюрьме оставался без смены. Я докладывал об этом ежедневно Стесселю и видел полное бессилие штаба урегулировать этот вопрос. Вообще в штабе уже чувствовалась

некоторая растерянность и усталость.

Ежедневно в городе ждали восстания. На Молдаванке по вечерам бывали настоящие сражения. Местные большевики и подонки населения были, конечно, в курсе дела и пользовались моментом. 22 января Молдаванка должна была рассеяться по городу и затем, быстро собравшись возле кладбища, напасть на тюрьму и освободить заключенных. Для охраны тюрьмы и подавления восстания было мобилизовано все, что было в Одессе.

Тюрьму охраняли юнкера Сергиевского училища. В эту ночь на Молдаванке было много убитых и с той и с другой стороны. Мы провели тревожную ночь и больше всего возмущались, что не действовали телефоны. Юнкера успокаивали нас и говорили, что справятся с какой угодно толпой. Утром 23 января нам сообщили, что военным вовсе нельзя ходить по городу, так как их убивают из-за угла. Доктор Зервуди говорил нам, что по имеющимся у него сведениям утром таким образом убито 30 офицеров.

Вообще было очень трудно разобраться в окружающей обстановке, несомненно было только одно: в Одессе шла открытая гражданская война. С той и другой стороны друг друга убивали и расстреливали. После убийства Кирпичникова было расстреляно 17 большевиков-коммунистов во главе с известными в Одессе Лазаревым, Петровским и Плантусом. В ответ на эти расстрелы местные большевики расстреливали из-за угла офицеров-добровольцев. Молдаванка и прилегающие к ней Привокзальный и тюремный участки кипели как в котле. Днем и ночью в этих местах беспрерывно кто-то стрелял. Мимо тюрьмы часто проносили раненых и убитых, но кто они были, мы не знали.

24 декабря утром я видал в центре города на Пушкинской улице неубранными два трупа в военной одежде. Уже несколько дней почти все магазины были закрыты. Угрозы начальника гарнизона полковника Стесселя не действовали. Цены невероятно росли. Донских денег на базаре не брали. Такое положение создалось с момента передачи бароном Шиллингом своих полномочий полковнику Стесселю. Как молния, весть о бегстве главноначальствующего облетела весь город. Стессель лично говорил нам, что он признает положение безнадежным, но Шиллинг поручил ему продержаться 12 дней. Англичане обещали в течение этих дней содействовать планомерной эвакуации, заверяя, что все желающие бежать из Одессы будут приняты на иностранные суда.

Территория гавани была объявлена нейтральной, и для охраны ее англичане вытребовали Сергиевское юнкерское училище в полном составе. Барон Шиллинг ночевал на пароходе.

Незадолго перед тем из Одессы выехали власти Киевской области: Драгомиров, барон Гревениц, губернаторы и все, кто только мог. Между прочим, 21 декабря с Драгомировым на пароходе «Саратов» уехал в Новороссийск мой брат Николай Васильевич. Нам не хотелось расставаться, и он решил было эвакуироваться с нами, но решение его было уже запоздалым. Пароход отчалил, и он не успел выгрузиться. В Новороссийске свирепствовал сыпной тиф. Мы имели сведения, что с парохода, шедшего в Новороссийск, сбросили в море до 200 трупов, умерших от тифа. Перспектива такой поездки была не из приятных.

Черниговский губернатор Тулов с начальником юридического отдела Балкановым уехал в Варну. В последние дни на пароходы грузились иностранные консульства и управления главноначальствующего и градоначальства. Было жутко оставаться в последнюю очередь и отступать с воинскими частями. Мы отлично понимали, что 12 дней Стессель Одессы не продержит. Фронт распался. Большевики были уже в 30 верстах от Одессы. Стессель употреблял все усилия, чтобы задержать бегущих, и высылал заставы, но власть постепенно ускользала из его рук. Стесселю уже не повиновались.

В тюрьме положение было катастрофическое. Заключенные рвались на свободу. Тюремные надзиратели уходили к Струку. Многие надзиратели вовсе не являлись на службу. Надзор уменьшился до минимума.

Прикомандированные к тюрьме чины государственной стражи наполовину были больны сыпным тифом и частью ушли в отряд Струка. Из 50 человек осталось 15 с поручиком Лебедевым во главе. Мои черниговские сослуживцы били тревогу. На них только и держалась тюрьма. Единственно, в чем состояла еще охрана тюрьмы, это был военный караул с пулеметами, но и он снимал с себя ответственность. Караул этот не менялся вторые сутки и предупреждал нас, что бросит тюрьму.

Уголовное отделение уже не повиновалось. Камеры оказались открытыми, и арестанты неоднократно пытались прорваться во двор. Только наведенные на выход из тюрьмы пулеметы сдерживали арестантов. Восемь человек все же умудрились проникнуть во двор и бежали через ограду тюрьмы.

Начальник тюрьмы Скуратт совершенно пал духом и имел растерянный вид. Все служащие следили за мною и приходили в ужас, когда я уезжал по делам в город. Тюрьма в Одессе расположена на окраине города в беспокойном районе, где даже днем считалось опасным ходить. Все боялись, что в случае восстания в городе тюрьма будет отрезана и мы будем

предоставлены сами себе. Штаб обороны уже подготовлял ликвидацию тюрьмы.

В тюрьме под председательством генерала Васильева работала комиссия по разгрузке тюрьмы. Освобождались военные и маловажные уголовные. За два дня было освобождено из тюрьмы более 200 человек. Я докладывал полковнику Стесселю о положении в тюрьме. Стессель быстро схватывал мою мысль и, признав положение в тюрьме крайне серьезным, назначил в тюрьму коменданта полковника Фишера, которому лично приказал держать тюрьму до последнего момента. К вечеру 23 января Фишер со своим караулом был в тюрьме. Служащие успокоились. Эту ночь мы спали спокойно, несмотря на сильную стрельбу возле самой тюрьмы.

Полковник Фишер был, очевидно, смущен. Его беспокоило то обстоятельство, что общение тюрьмы с городом было затруднено. Телефон действовал плохо. Поехать в город было небезопасно, а в случае выступлений в городе тюрьма должна быть вовсе отрезана от города. Фишер долго говорил со мною по этому вопросу. Вечером он обошел тюрьму и еще больше задумался. Он признал, что в случае каких-либо выступлений со стороны арестантов мы не обладаем достаточными силами, чтобы сдержать их. Полковника Фишера смущало еще то обстоятельство, что местные тюремные надзиратели производили впечатление ненадежных людей.

Я видел колебания полковника, но все-таки не думал, что утром он исчезнет вместе со своим караулом. Тюрьма вновь осталась под охраной всего лишь 32 человек военного караула с двумя пулеметами. Начальник караула требовал от меня, чтобы я сейчас же доложил Стесселю об этом невозможном положении. Вдвоем с начальником тюрьмы, которому нужно было получить в казначействе деньги, я отправился в город. Ехать было жутко. Нас предупредили, что военных на улицах расстреливают. Скуратт надел поверх шинели клеенчатый плащ. Во всех направлениях шла стрельба. Казалось, что стреляют возле самого экипажа.

Несмотря на раннее утро, в городе шла полная эвакуация. Нагруженные грузовики мчались один за другим в гавань. Целые обозы имущества и военного снаряжения тянулись по направлению пристани. На углах улиц повсюду кучками стояла публика, в большинстве евреи. В центре Пушкинской возле тротуара лежало два окровавленных трупа. Возле помещения штаба обороны (Английский клуб) стояли бронированные автомобили и грузовики. Впечатление было таково, что штаб готовится к отъезду.

Я шел к начальнику штаба полковнику Мамонтову. В дверях

его кабинета была уже очередь. Я был принят вне очереди. Мамонтов пояснил мне, что порядок эвакуации изменен. Англичане предоставляют нам пароходы, так что мы идем не в Румынию, а будем грузиться на пароходы. В случае отступления все должны стягиваться в гавань. Я доложил Мамонтову, что для нас этот способ отступления немыслим. В последнюю минуту тюрьма несомненно будет отрезана от города, и вряд ли нам удастся прорваться в гавань. Уже теперь можно считать тюрьму почти отрезанной от города, так как проезжающих мимо кладбища обстреливают. При этом я сказал Мамонтову, что вряд ли мы будем в состоянии удержаться в тюрьме до эвакуации арестантов. Комендант Фишер бросил тюрьму и ежеминутно можно ждать, что арестанты вырвутся из тюрьмы. Мамонтов взволнованно сказал, что это ни в коем случае допустить нельзя, и советовал мне сейчас же идти с докладом к Стесселю. Мамонтов черкнул пару слов начальнику обороны, и с этой запиской я отправился к Стесселю.

Мой доклад встревожил Стесселя. Он приказал немедленно разыскать полковника Фишера и тем временем сделал распоряжение, чтобы в тюрьму был послан караул в 100 человек с пулеметами. Мы обсуждали положение в тюрьме, и я настойчиво просил Стесселя обратить внимание на крайне тяжелое положение служащих, которые при данных условиях, вне всякого сомнения, попадут в руки большевиков. Я напомнил Стесселю слово, данное мне генералом Брянским. Стессель отнесся к моим словам с большим вниманием и придумывал выход из положения.

Оторванность наша от города была очевидна, и мы не могли рассчитывать в последнюю минуту на отступление к гавани. Присутствовавший при разговоре полковник Генерального штаба Васильев предложил проект о немедленном переводе тюрьмы в гавань на одну из барж или в трюм парохода. Остановка была за согласием английского командования. Полковник Васильев взялся переговорить с англичанами, а тем временем было написано предложение коменданту порта приготовить в гавани место для тюрьмы.

Стессель пригласил меня присутствовать на военном совещании, которое было назначено в штабе обороны в час дня. Я передал по телефону, чтобы в тюрьме готовились к переводу арестантов в гавань и чтобы все были готовы к эвакуации. Я подал Стесселю список служащих, подлежащих эвакуации, и отправился в штаб обороны. В штабе была масса народу. Все суетились и таинственно между собою переговаривались. Все добивались получить разрешение на выезд. Дамы истерически плакали и приставали к военным. В кабинет Мамонтова рвались

силою. Дежурные адъютанты выбивались из сил, чтобы сдерживать публику. Мне приходилось улавливать отрывки разговоров, из которых я понял, что штаб обороны переезжает на пароход. Все торопились и суетились.

Около 12 часов дня помощник начальника тюрьмы Солонина докладывал мне по телефону, что положение в тюрьме отчаянное. Арестанты вырвались из своих камер и митингуют. Их сдерживают только пулеметы, выставленные у входа в тюрьму. Военный караул просит помощи. Тюремные надзиратели разбегаются. Я доложил об этом Мамонтову и сказал ему, что при мне утром Стессель приказал послать в тюрьму отряд из 100 человек, но его до сих пор в тюрьме нет. Мамонтов принимал решительные меры, говоря лично по телефону с районными комендантами. Я успокаивал Солонину и передавал ему по телефону все, что мне говорил Мамонтов.

Вместо часу дня военное совещание началось в 5 часов вечера. Налицо были все районные коменданты. Стессель излагал план планомерного отступления к гавани. Говорили о взаимной поддержке при отступлении. Стессель давал указания, какой части куда направляться и как поступать с имуществом. Между прочим Стессель изобразил картину на фронте и говорил, что фронт неудержимо бежит. Ни одного слова о том, что именно завтра будет эвакуация, на совете не было сказано. Никто, по-видимому, этого не ждал, или, вернее, не смел об этом спросить. Стессель просил действовать решительно и при взаимной поддержке подавить восстание в самом начале без всякой пощады. Заседание кончилось в 7 часов вечера. Тюремный вопрос был снят с очереди, так как предполагалось, что завтра утром тюрьма будет переведена в порт.

Когда мы выходили из комнаты заседания, Стесселю доложили, что его просят к телефону. Помощник начальника тюрьмы Солонина решился сам доложить Стесселю о положении в тюрьме и лично просил помощи. Обещанный караул в тюрьму не прибывал. Стессель сказал мне об этом и тут же распорядился найти полковника Фишера. Стессель предложил Мамонтову принять решительные меры к тому, чтобы в тюрьму сейчас же была выслана помощь. Мамонтов пригласил меня к себе в кабинет. Было около 8 часов вечера. Ехать в тюрьму было невозможно. Ни один извозчик не согласился бы везти в этот беспокойный район. Я просил Мамонтова разрешить мне переночевать в штабе, но оказалось, что в эту ночь в штабе ночуют все штабные.

Мамонтов предложил мне переночевать в гостинице в его номере (против штаба). В это время меня звали к телефону.

Солонина телефонировал, что они - черниговцы - выбились окончательно из сил и стоят уже вторые сутки под ружьем, а помощи нет. Неужели, спрашивал меня Солонина, ничего сделать нельзя. Я сказал ему, как обстоит дело, и Солонина с отчаянием в голосе говорил мне, что вокруг тюрьмы идет такая стрельба, которая несомненно указывает на ежеминутную возможность нападения на тюрьму. Я передал Мамонтову свое беспокойство и в свою очередь спрашивал его, неужели нельзя предпринять мер, чтобы предупредить катастрофу. Мамонтов страшно беспокоился и телефонировал. Я понял, что нигде воинских частей нет. Солдаты в большинстве или ушли к Струку, или просто разбежались.

Положение становилось критическим. Районные коменданты остались без воинской силы. Государственная стража и целые группы военных самовольно уходили из Одессы на Овидиополь. Мамонтов предложил мне съездить на броневике «Россия» в тюрьму, чтобы лично урегулировать положение и кстати распорядиться о переводе завтра утром тюрьмы в гавань. Мамонтов советовал мне пострелять возле тюрьмы, чтобы «пугнуть» арестантов и показать им, что возле тюрьмы есть боевая сила.

Шофер не знал дороги к тюрьме и предложил мне указывать путь. Я сидел сзади шофера. Не доезжая тюрьмы, шофер быстро закрыл люки и сказал мне, что в нас стреляют. Машина стала приостанавливаться. Раздались выстрелы. Броневик остановился и открыл пулеметный огонь, чередуя его с выстрелами из орудия. Я сидел в броневике, оглушенный этой пальбою над самой моей головой, и мне казалось, что я слышу, как броневик обсыпается пулями. Скоро послышались какие-то крики.

Оказалось, что военный караул при тюрьме с тюремными служащими, услышав лад броневика, выслал патруль, чтобы узнать, кто едет. За шумом броневика голоса их не были услышаны, и военный караул открыл пулеметный и ружейный огонь, предполагая, что это большевистский грузовик. Возле тюрьмы были все наши черниговцы, и только они. Солонина объяснил мне, что тюремная администрация и стража совершенно пала духом, потому что предполагала, что я с начальником тюрьмы бежали. Возмущение дошло до того, что помощник начальника тюрьмы Тарновский, свой же черниговец, кричал, что меня нужно расстрелять при первой же встрече. Ему казалось, что мы с начальником уже перебрались на пароход и только маскируем свое бегство телефонными разговорами.

Я пояснил своим, что завтра с утра, а может быть даже с рассветом, арестантов будут переводить в гавань, и предложил

всем быть готовыми следовать вместе с тюрьмою. Я сказал Солонине, что сейчас прибудет помощь с привокзального участка, а мы с начальником должны быть в штабе, чтобы подготовить к рассвету перевод тюрьмы в порт. Пользуясь присутствием броневика, я предложил Скуратту обойти тюрьму и предупредить арестантов, что в случае попытки их выйти из тюрьмы по ним будет открыт артиллерийский огонь. По телефону из штаба нам передавали, что военный караул в тюрьму уже вышел.

Простояв более часу возле тюрьмы, мы возвратились на броневике в штаб. По дороге в эту темную ночь тянулись громадные обозы в сторону Овидиополя. В штабе обороны происходило какое-то важное совещание, и потому мы с начальником пошли в ресторан закусить, так как в этот день мы еще ничего не ели. Весьма показательно, что в этом первоклассном ресторане «Международной» гостиницы почти ничего не было. Нам подали селедку и по куску судака. Ни хлеба, ни булки в ресторане не было. Мы заплатили за этот ужин 800 рублей. Я зашел в номер Мамонтова, а Скуратт пошел узнать, кончилось ли в штабе совещание.

Скоро Скуратт возвратился и торжествующе докладывал мне, что только что к нему подошел Мамонтов и, поздравив, сказал, что все мы -черниговцы будем завтра свободны. Сейчас последовало соглашение с галицийским командованием, которому сегодня уже передаются привокзальный и тюремный районы. Тюрьму займет караул от галицийских войск, которому и надлежит передать тюрьму. Мы передали об этом по телефону в тюрьму Солонине. Сообщение несколько успокоило тюремных служащих.

С минуты на минуту в тюрьму должен был явиться караул от галичан. Нужно было выждать утра, и я решил тотчас же хлопотать об эвакуации нас в Крым. Мы легли в неотопленном номере Мамонтова на холодные кровати, не раздеваясь, рассчитывая уснуть, но в это время началась стрельба из морских орудий. Что это означало, мы не знали, но потом выяснилось, что по просьбе Стесселя английские суда обстреливали подступы к Одессе (Пересыпь), которые были уже заняты большевиками.

Всю ночь продолжалась эта бомбардировка. С рассветом мы были уже в штабе и говорили по телефону с тюрьмой. Солонина передавал, что галицийского караула еще нет. В штабе было уже много народу. Меня поразило, что тут были некоторые районные коменданты, которые, как я понял на вчерашнем совещании, должны были быть на своих местах и принимать решительные меры к подавлению каких бы то ни было выступлений в городе. Здесь же был полковник Ульянов, командир государственной

стражи.

Прислушиваясь к их разговорам, я понял, что почти все воинские части разбежались, и у некоторых комендантов осталось всего по несколько человек команды. Мамонтов принял меня первым. Он рассчитывал, что галичане сейчас должны занять тюрьму, а мы - тюремные служащие будем эвакуированы с чинами штаба. Мамонтов сказал мне, что эвакуация будет сегодня. Я просил выдать нам пропуск на пароход. Мамонтов приказал адъютанту заготовить мне пропуск на 36 человек и дать ему к подписи.

К этому времени в штаб прибыл представитель галицийского командования, молодой человек лет двадцати, почти мальчик. Он пригласил меня в кабинет и расспрашивал про тюрьму. Я сказал ему между прочим, что тюрьму сдержать трудно, и советовал ускорить присылку караула, причем предупредил его, что следовало бы выслать усиленный караул. С улыбкой галичанин возразил мне, что при галицийском карауле в тюрьме ничего произойти не может. Он сказал мне, что караул уже выслан и находится по дороге к тюрьме.

Выходя из кабинета Мамонтова, я встретил полковника Фишера, который, взяв меня таинственно под руку, сказал шепотом, что положение наше безнадежное. В 12 часов дня штаб выезжает на пароход. «Торопитесь, - сказал он мне, - иначе вы останетесь на растерзание большевикам». Но что было делать со служащими? Фишер посоветовал мне сказать им по телефону, чтобы они сейчас же с вещами приехали в штаб, а отсюда все вместе мы отправимся в гавань. Остановка была за пропуском в порт. Я торопился и обратился к коменданту штаба г. Перекрестову, которого, ссылаясь на распоряжение Мамонтова, просил ускорить выдачу нам пропуска.

Перекрестов заявил мне, что до тех пор, пока я не представлю от галицийского командования официальный документ о передаче тюрьмы, пропуск нам выдан не будет. Мамонтов к тому времени уехал из штаба. Положение было отчаянное. Я говорил Перекрестову, что нельзя требовать в такой момент, когда все бегут, соблюдения невыполнимых формальностей, но он стоял на своем. Тем не менее я сказал по телефону Солонине, чтобы он немедленно передал тюрьму бывшему начальнику Бирину или кому-нибудь из прежних служащих и чтобы все наши, не теряя минуты, ехали как можно скорее в штаб обороны, откуда все вместе мы отправимся в гавань.

Меня выручил из беды опять полковник Фишер, который слышал мои пререкания с Перекрестовым. Подошедши ко мне, он сказал, что сейчас он напишет мне пропуск на баржу № 36, на

которую грузится штаб, и мы, тюремные служащие, будем помещены в угольный трюм. Я получил пропуск и успокоился. Все было закончено. Я ждал своих и пошел в буфет выпить стакан чаю. Было уже около 11 часов дня. Возле штаба спешно грузились автомобили и грузовики. Через час весь штаб должен был выехать в гавань. Я был спокоен за своих. Времени было еще много.

Когда я начал пить чай, мне послышалось, что где-то близко стреляют. В буфете кроме меня никого не было. Я еще не допил сего стакана, как в столовую буквально вбежал начальник тюрьмы Скуратт и нервно сказал: «Бросьте пить чай, идем скорее, стреляют». Я заплатил за стакан чаю без хлеба и почти без сахара 50 руб. Из штаба выносили последние тюки. Между прочим, при мне вынесли мешок с деньгами и за ним громадную тушу кабана.

Все суетились и торопились. Видимо, случилось что-то совершенно неожиданное, так как из помещений штаба многие направлялись к выходу бегом. Мы вышли на подъезд последними, и возле нас решительно никого не было. Где-то очень близко стреляли из пулеметов. Казалось, что стрельба идет здесь, возле штаба, где-нибудь за углом здания. Впечатление было таково, что сейчас из-за угла выскочат красноармейцы. Частая артиллерийская пальба смешивалась с ружейной перестрелкой, так что нельзя было сомневаться, что где то очень близко идет бой.

Меня смущало, что нет наших. Скуратт совершенно растерялся и рвался вперед, между тем как мы должны были высматривать в толпе своих тюремных служащих. Я страшно волновался и хотел где-нибудь укрыться и ждать их, но в это время к нам навстречу бежал помощник начальника Сребрянец, который сказал мне, что наши едут и должны быть недалеко. Мы шли им навстречу, чтобы через несколько кварталов впереди всем вместе завернуть в гавань.

Стрельба ежеминутно усиливалась. Канонада гремела тут же, будто над нами, и казалось, что вот-вот нас обсыпет шрапнель. Народ бежал по улице как обезумевший во всех направлениях. Наших не было на протяжении всей Пушкинской улицы, по которой они должны были следовать. Сребрянец вышел, по его словам, вместе с ними, и, по его расчетам, они должны были прийти только на несколько минут позже него. На Пушкинской улице была паника. Тем не менее Сребрянец решил поджидать их, а нас уговаривал идти в гавань.

По направлению гавани мчались автомобили, грузовики, ехали обозы и отдельные подводы, нагруженные вещами, и шли в одиночку и группами военные и статские. Тысячи народа, обгоняя друг друга, торопились к гавани. Мы шли в Карантинную гавань,

где, по указанию штаба, была баржа № 36. Сюда направлялась главная волна бегущих, но еще издали мы видали, что сюда не пускают. Юнкера Сергиевского училища с ружьями наперевес в несколько рядов боролись с публикой, стремившейся прорвать этот фронт. Люди кричали, махали руками, показывая издали свои документы, а юнкера оттесняли публику. Здесь был ужасный хаос.

Мы пошли за публикой в другую часть гавани и вышли на мол. На дороге валялся обезображенный труп человека. Толпа хлынула сюда, сбивая с ног друг друга и проталкиваясь вперед. Вся эта масса людей направлялась к стоявшему невдалеке пароходу «Владимир», палуба которого сплошь была покрыта людьми. Навстречу толпе бежала полурота английских матросов. Вдруг для всех неожиданно с парохода «Владимир» по этой движущейся массе людей был открыт огонь из винтовок пачками и в одиночку.

Публика сразу остановилась и стала ложиться. В первый момент нельзя было разобраться, падают ли это раненые и убитые или ложатся, чтобы укрыться от пуль. «Владимир» был перегружен, и кто-то распорядился открыть стрельбу, чтобы толпа не лезла на пароход. Те, кто был уже спасен, гнали спасающихся. Стрельба прекратилась. Упавшие на землю вставали. Толпа остановилась и начала группироваться. Мы попали удачно.

В этом месте на молу скоро появились Стессель и Мамонтов. Я, между прочим обратился к Мамонтову и спросил, можно ли нам быть в этой группе. Я вынужден был обратиться с этим вопросом, потому что некоторые солдаты гнали нас отовсюду, как статских. Мамонтов был взволнован и как-то нервно ответил: «Идите за мною». Было холодно. Мороз достигал 8-10 градусов. С моря дул ветер. Гавань была покрыта разбитым и толстым льдом. По соседству и против нас грузились иностранные пароходы. В Карантинной гавани было видно, как публика входила на английский контрминоносец. Там, очевидно, была избранная публика, так как туда никого не пускали. Для нас, говорили, готовится пароход «Николай», который сейчас грузит уголь.

Через час приблизительно в гавань пришел Я. С. Сребрянец, который сообщил, что наших нигде нет. Очевидно, с ними случилось несчастье. Сребрянец заходил в аптеку и соединился по телефону с тюрьмой. Барышня, служившая в канцелярии тюрьмы, ответила, что в тюрьме нет ни одного арестанта. Ушли все, даже женское отделение. Очевидно, в конторе были посторонние лица, так как барышня отвечала уклончиво, а затем и вовсе прекратила разговор.

Таким образом, тюрьма освободилась в последнюю минуту то

есть после 11 часов, когда уже власти в городе не было. Что сталось с нашими служащими? Мы предполагали, что их нагнали вырвавшиеся на свободу арестанты и, вероятно, ограбили, а может быть, убили или арестовали. Я был крайне удручен, так как для меня это были не простые служащие, а черниговцы, среди которых была тетка моей дочери и родственники С. Е. Шрамченко и А. И. Самойлович, которых я зачислил тюремными надзирателями, чтобы дать им возможность эвакуироваться с нами.

Мы ждали погрузки на пароход. Мамонтов поехал на катере к англичанам для переговоров. Мы стояли на молу и дрожали от холода. Вдруг неожиданно где-то вблизи затрещал пулемет. Вся стоявшая на молу публика заволновалась. Все поняли, что стреляют с набережной. Началась паника. Пулеметная стрельба усиливалась. Невдалеке упала подбитая лошадь. Оказалось несколько раненых. В паническом ужасе публика бросилась в сторону пакгаузов и к стоявшим за ними товарным вагонам. Пригнувшись и мы втроем - Скуратт, Сребрянец и я стали про - бираться к кирпичным зданиям пакгаузов. В это время у самого носа «Владимира» разорвался снаряд. Было видно, как на палубе все ложились. «Владимир» стал отвечать, обстреливая набережную из пулемета. Стоявшие в гавани суда начали сниматься и выходить из гавани. Снялся и пароход «Владимир».

В каких-нибудь двадцать минут гавань опустела. Оставшаяся на молу двадцатитысячная толпа очутилась в безвыходном положении, прижатая к морю, откуда выхода уже не было. В отчаянии публика металась, не зная, что предпринять. Английская эскадра, стоявшая вдали на расстоянии двух верст от мола, не оказала поддержки, если не считать нескольких выстрелов из броненосца, сделанных, вероятно, в воздух для острастки большевикам.

Еще недавно главноначальствующий барон Шиллинг и английский консул в Одессе успокаивали публику своими публикациями и заверениями, что ни один русский гражданин не останется забытым, и все, кто пожелает, будут своевременно вывезены из Одессы. Эти заверения делались всегда в такой категорической форме, что не верить им, казалось, невозможно. Теперь барон Шиллинг сидел со своим штабом на пароходе «Молчанов», стоявшем в море в безопасности рядом с судами английской эскадры. При первых выстрелах на глазах всей публики первым снялся с якоря и оставил гавань английский контрминоносец.

Большевики и местные повстанцы наступали на гавань. В отчаянии публика бросилась на отходящие пароходы, на баржи и

шлюпки, спасаясь, куда кто только мог. В гавани началась безумная паника. Нажим большевиков был столь неожиданным, что застал публику и портовую администрацию врасплох. Пароходы еще только грузились и не все имели уголь. Целые обозы вещей, автомобилей и ручных вещей, чемоданов, сундуков находились еще на молу. Часть публики заняла места и сидела уже на пароходах, а часть была на молу возле вещей.

Когда раздались первые выстрелы и стало ясно, что большевики наступают на гавань, владельцы пароходов и лица, находящиеся на пароходах, погрузившие уже свои вещи, стали торопится и требовали, чтобы команды отчаливали, не выжидая оставшихся на молу. Оказавшиеся на пароходах родители, оставившие своих детей возле вещей на молу, протестовали, вопили и молили, но обезумевшие счастливцы, попавшие на пароходы, были неумолимы. Они вмешивались в действия команды и собственноручно рубили канаты, державшие пароходы у мола.

Под пулеметным огнем публика боролась возле сходней. Мужчины, статские и военные одинаково, отталкивали женщин и детей, протискиваясь, чтобы попасть на пароход. На сходнях, представляющих собою узкие доски, ведущие с мола на пароход, шла борьба. Люди толкали друг друга и стягивали силою со сходен и выталкивали на мол. Каждый панически торопился, понимая, что если рубят канаты, то сходни через минуту уже не будут служить спасением. Впрочем, находились люди, которые, видя с палубы эту безумную картину борьбы, кричали сверху: «Мужчины и господа офицеры, пощадите женщин», но в это время сходни падали, и между пароходом и молом уже была пропасть.

В немом оцепенении родители смотрели на своих детей, оставшихся на молу. Л. Н. Ингистова рассказывала нам, что ее дочь Тамара опустилась на колена с поднятыми кверху руками и застыла в этом положении, когда их пароход «Сулин» уходил в море. Что сталось с ее дочерью, m-me Ингистова не знает, но она утешает себя тем, что ее дочь почти взрослая барышня и с ней на молу остался ее брат 21 года. Еще в худшем положении были дети, два гимназиста, сыновья доктора С. И. Квитковского. Они остались на молу без копейки денег, вовсе не зная Одессы.

Пароход «Вампоа», который по настоянию богачей, вывозивших на нем свое имущество, снялся, обрубив канаты, оставил на берегу многих своих пассажиров, так как эти господа торопились спасти себя и свое имущество. Пароход был ими зафрахтован, и владелец кричал, возражая на протест публики, что он заплатил за пароход 75 тысяч рублей.

Гимназисты Квитковские остались на берегу, но не

растерялись. Пустившись бежать под обстрелом по молу вдогонку медленно идущему вдоль мола пароходу «Вампоа», они сообразили, что пароход будет проходить мимо французского судна, возле которого были пришвартованы две баржи. Они забежали вперед и, вскочивши на французский пароход, куда их не хотели пускать, перепрыгнули с одной баржи на другую и начали кричать, чтобы их забрал «Вампоа». Настойчивые требования отца и пассажиров сделали свое дело. «Вампоа» подал корму барже, и дети Квитковского были спасены.

Везде и на всех судах было то же самое. Баржа «Константин Зворона», на которой спаслись чины контрразведки, также рубила канаты. Оставшиеся на молу были в отчаянии. Когда баржа уже отдалилась от мола, группа молодых людей бросилась в шлюпку, чтобы с ней попасть на «Зворону», но шлюпка опрокинулась, и все сидящие в ней потонули.

В этом ужасе и паническом хаосе в гавани начался колоссальный грабеж. На глазах отчаливающей публики целая толпа босяков и портовых рабочих бросилась растаскивать вещи, оставленные на молу пассажирами. Грабеж принял громадные размеры и перешел с мола на пакгаузы и склады. С русского парохода «Дон» по ним был открыт пулеметный огонь. Грабители падали, теряя много убитыми и ранеными, но жажда наживы в этот раз были сильнее инстинкта самосохранения.

Мы были все-таки в лучшем положении, потому что были при организованной воинской части. Мы зашли за пакгаузы, где уже стояла масса народу. Многие прятались под и за вагоны, но и здесь было небезопасно. Мы решили идти в закрытый пакгауз, куда приглашали зайти дам и детей. Нужно было быстро пробежать открытое место. Возле пакгауза

стоял Стессель и распоряжался, приглашая г. офицеров объединиться и дать отпор большевикам. Полковник Стессель организовал отряды для наступления на набережную. Это был единственный выход из положения, иначе, говорил Стессель, большевики всех перестреляют и не дадут погрузиться на пароход.

К семи часам должен был подойти «Николай». Мамонтов опять собирался ехать к англичанам на рейд, чтобы выяснить положение. Спешно формировались офицерские отряды и готовили броневик «Россию» с грузовиками, чтобы выбить с горы обстреливающих гавань большевиков. Наши знакомые по штабу полковник Товастшерна, безрукий В. Вишневский (брат расстрелянного остерского уездного старосты), поручик Иванич корнет Стецкий, Чесноков и другие на броневике двинулись в город. С ними пошли цепью к горе сформированные боевые части.

Мы, статские, были поставлены нанизывать патроны. Было холодно. Я часто заходил в пакгауз отогревать руки. Несколько раз в пакгауз заходили военные и требовали от офицеров, чтобы они шли в цепь. Многие отговаривались болезнью, а многие прятались по углам. Наступление все-таки сделало свое дело. Добровольцы прорвались в центр города и гнали большевиков. На углу Греческой и Екатерининской при помощи броневика добровольцы отбили у большевиков орудие и сняли с него замок. Выяснилось, что в город вступили отряды 1-й Советской дивизии.

К вечеру полгорода вновь было занято добровольцами. Стрельба еще не прекратилась. Между тем сидящие в пакгаузе публика обнаружила целые склады ящиков. Сначала солдаты, а затем и интеллигентная публика (в большинстве офицеры) бросились к этим ящикам и, разбивая их, вытаскивали оттуда разные вещи. Тут были солдатские шинели, войлок, белье, консервы и прочие военные вещи, но были и частные грузы: бакалейные товары, парфюмерия, игрушки и т.д. Возле меня сидела пожилая дама с мужем в статском, которая часто бегала к ящикам и таскала оттуда разные вещи. Между прочим она принесла несколько игрушек: деревянную лошадь, куклу и лото. Это были лубочные произведения, и меня поражало, как может интеллигентная женщина в такую минуту польститься на такие вещи.

Уже темнело. Разбирая вещи, публика зажигала спички. Кто-то кричал, что в пакгаузе сложен бензин, и требовал, чтобы не зажигали спичек, но на это никто не обращал внимания. Я вышел из пакгауза. Мимо несли раненого в голову шофера броневика «Россия». Публика столпилась в воротах пакгауза, чтобы посмотреть раненого. В большинстве это были дамы. Дама с игрушкой в руках тоже выглядывала из пакгауза. Темнело быстро. Понемногу из города стали возвращаться отряды и сообщали, что большевики выбиты из большей части города.

Броневик «Россия» рассказывал, что из многих еврейских домов в наступающих добровольцев стреляли из револьверов и пулеметов. Броневик беспощадно расстреливал эти дома и рассеивал по улицам кучки евреев, из которых стреляли по добровольцам. Любопытно, что галицийских войск в городе не было. Только на Сабаньковской улице с броневика видели группу галичан, которые держали себя нейтрально по отношению и к добровольцам, и к большевикам.

К этому времени от англичан вернулся полковник Мамонтов и заявил, что парохода для нас не будет. С быстротой молнии это известие распространилось среди ждавшей на молу публики. У Стесселя было назначено совещание. Скоро нам было объявлено,

что решено пробиваться через город и отступать на Румынию через Овидиополь. Всем, кто желал следовать с воинскими частями, было предложено взять в руки винтовки и идти в строй. Обозы должны были следовать под особой охраной. Мы взяли винтовки и были снабжены патронами. С винтовкой за плечом я грелся в той комнате портового здания, где был Стессель с супругою.

Мне страшно хотелось есть. С утра, кроме злосчастного стакана чая, я не ел ничего. Послышалась суета. Стесселя разыскивал представитель английского командования. В комнату вошли три англичанина, среди которых выделялся, по-видимому, генерал в морской форме. Ему предшествовал коренастый английский матрос. Стессель говорил через французского переводчика. Я стоял возле него и слышал весь разговор. Англичанин предлагал принять на пароход раненых, больных, женщин и детей, говоря, что на пароходе есть до 200 мест.

Стессель благодарил и делал соответствующие распоряжения. Стессель был нездоров, о чем был осведомлен англичанин. После нескольких фраз на общие темы генерал, ссылаясь на болезнь Стесселя, предложил ему место на пароходе, но Стессель, взяв под козырек, благодарил англичанина, говоря, что он не может бросить своих офицеров. Вторично, как бы уговаривая, генерал предлагал Стесселю ехать с ним, но Стессель опять ответил, что он не оставит своих офицеров.

К 10 часам вечера вперед были высланы цепи и заслоны из офицерских рот, и все, кто был на пристани в числе более 6000 человек с обозами и в строю, двинулись в город. В городе было тихо и даже не было слышно обычной стрельбы. Эшелон шел во главе с полковником Мамонтовым с предосторожностями и держась береговой полосы, так как англичане обещали поддерживать нас своей артиллерией. По-видимому, большевики были введены в заблуждение, так как город мы прошли без одного выстрела.

Мы шли по Большому фонтану и проходили возле тюрьмы. В тюрьме было абсолютно темно. Свет был только в тифозном отделении больницы, где, очевидно, оставались больные сыпным тифом. Никаких признаков жизни в тюрьме не было. Любопытно, что здесь, недалеко от тюрьмы, где был сделан минутный привал, солдаты начали ломать съестную лавку, но подоспевший вовремя полковник тотчас же прекратил безобразие. Мы шли всю ночь и к утру подошли к Люсдорфу, где была уже масса беженцев и воинские части с обозами.

Хотелось есть, и безумно клонило ко сну. От непривычки болело плечо от винтовки. В Люсдорфе была объявлена

остановка. Мы с трудом упросили немца-колониста сварить нам суп и дать хлеба. Он отговаривался тем, что уже третий день беспрерывно через Люсдорф движутся беженцы и эшелоны войск и все, что было в Люсдорфе, поели. Как убитый я спал несколько часов на перинах кровати немца. К двум часам мы выступили дальше и к вечеру были в Малой Акарже, откуда выступили на ночевку в Большую Акаржу. Здесь мы ночевали и, можно сказать, первый раз за эти дни отдохнули. Случайно я встретил здесь своего приятеля из Чернигова Л. Н. Ясновского, который присоединился к нам и тоже шел из Одессы.

27 января мы пришли в Овидиополь. Отношение к нам местных жителей было враждебное. Никто не хотел пускать в хату и не давал есть. Кое-как мы достали яиц и сала и расположились на ночлег. Спали на полу, подмостив свои шинели. Утром 28 января возле городской управы был назначен сбор для переправы на румынский берег через лиман в Аккерман. Полковник Мамонтов был назначен комендантом Овидиополя и вел переговоры с румынами.

Совершенно случайно мы узнали, что еще вчера в Овидиополь прибыли все наши тюремные служащие. Мы нашли их в одной из хат на окраине города и взаимно радовались этой встрече. Здесь были мои родственники Шрамченко и Самойлович, и моя невестка М. К. Воздвиженская, и наши черниговцы Скуратт (жена), Солонина, Тарнавский, Маяровский, сестра Панченко, Тимофеев, Пастернацкий с семьей, начальник кременчугской тюрьмы Борткевич и несколько тюремных надзирателей.

К моему благополучию, на тюремной подводе оказались мои вещи, так что я мог тут же переодеться и освежиться. Помощник начальника тюрьмы Солонина подробно рассказал мне последние минуты пребывания их в одесской тюрьме. Галицийский караул в тюрьму не прибыл. Еще с вечера все вещи служащих были уложены, и никто не ложился спать. Положение было ужасное. Арестанты несомненно вырвались бы из тюрьмы в эту ночь, но положение спас броневик.

Утром, когда я предложил немедленно ехать в штаб обороны, все были готовы и в одну минуту нагрузили вещами тюремную подводу, которая стояла запряженной с раннего утра. Солонина передал тюрьму делопроизводителю Дзичковскому, так как бывшего начальника тюрьмы Бирина не было дома. Все было сделано с такой быстротой, что ни арестанты, ни местные надзиратели не успели распространить эту весть по тюрьме. Впрочем, в вестибюле тюрьмы уже собралось несколько надзирателей, которые о чем-то между собою разговаривали. В воротах тюрьмы Солонина встретился с тюремным врачом

Зервуди, которому сказал, что тюрьма передана Дзичковскому, а черниговцы и киевляне эвакуируются сейчас на пароход. Зервуди улыбнулся и сказал: «Мы сделали все, что нужно». Доктор был уже с повязкой Красного Креста на рукаве.

Выйдя из тюрьмы, Солонина присоединился к стоявшим уже во дворе нашим служащим. По шоссе мимо тюрьмы тянулись обозы. Расспросив проезжающих, наши узнали, что в город проехать нельзя. Во всех направлениях идет стрельба и гремят орудия. Проезжающие не советовали ехать в город. По общему мнению, нужно было поворачивать на Овидиополь. Рассуждать было некогда. Подвода с вещами завернула обратно, только один Сребрянец, ушедший вперед и не слышавший этого решения, пошел в город. Воинский караул в свою очередь расспрашивал проезжающих и, видя, что тюремные служащие уезжают, присоединился к ним и повернул на Овидиополь.

Много раз перед этим начальник караула добивался узнать по телефону о положении в городе, но ничего не добился, так как штаб ему не отвечал. Караул в тюрьме в последнюю минуту был забыт. В таком же положении очутились стражники, прикомандированные к тюрьме. Большая часть их была больна сыпным тифом, часть ушла к Струку, а остальные 15 человек с поручиком Лебедевым решили идти туда, куда идут все. Они были тоже забыты, а начальство их уже давно вышло из Одессы. Интересно, что выходя из тюрьмы, и тюремные надзиратели, и стражники винтовок с собою не взяли, а бросали их тут же возле подъезда. Глазевшая группа мальчишек, человек 10-15, подбирали эти винтовки и уносили с собою.

Вообще полный развал среди служащих начался еще накануне. Несколько киевских надзирателей ушли в город еще с вечера. Рано утром из тюрьмы, переодевшись в статские платья, ушли киевские помощники Гаркавенко и Булах. Киевский помощник Хобозняк с частью киевских надзирателей вышли вместе с нашими, но в Люсдорфе откололись от них и ушли не то обратно в Одессу, не то присоединились к отряду Струка. Наши черниговские надзиратели Довженко, Марченко и другие определенно решили идти к Струку и, попрощавшись в Люсдорфе с нашими, просили передать мне поклон.

В тюрьме остались лишь прежние одесские тюремные надзиратели и прежний начальник тюрьмы Бирин, смещенный на низшую должность, а также уволенные прежние помощники Дзичковский, Жамейтис и Фурман, которым я предоставил в тюрьме канцелярские должности. Они служили уже при большевиках и, конечно, будут служить при них.

Наша миссия была кончена. Задача, поставленная мне

Шиллингом, была доведена до конца. Тюрьма до последней минуты не была выпущена, несмотря на то, что последние два-три дня были кошмарными днями. С одной стороны, нужно было сдерживать рвущихся на свободу арестантов, а с другой - нам угрожала опасность остаться отрезанными от города и попасть в последнюю минуту в руки арестантов. Оно, в сущности, так и вышло. Прорваться в город служащим не удалось, и только случайно вышло удачно, что они направились в Овидиополь. Правда, в тюрьме прошли слухи, что арестанты решили не трогать черниговцев, так как признали, что ими сделано очень много в смысле улучшения содержания, но это говорили уголовные, а точку зрения политических, то есть большевиков, мы знали и без них.

ЗАПИСКИ. Т. XI 1920 ГОД. РУМЫНИЯ

Теперь только мы начали отдавать себе отчет в том, что случилось в Одессе. Это была грандиозная катастрофа. Фронт разложился, воинские части разбежались. Осталось на месте, принимая на себя последний удар, только добровольческое ядро. В самой Одессе уходили уже за несколько дней до катастрофы и группами самовольно покидали Одессу. Но самое ужасное было то, что вся масса стоящих не удел офицеров, которых насчитывалось в Одессе до сорока тысяч, оставались до самой последней минуты праздными. Многие из них, конечно, скрылись в последние дни, но, несомненно, большая часть осталась в Одессе и будут мобилизованы большевиками.

То, что бросилось в гавань, - это были остатки разных воинских частей, штабы, контрразведки, чины государственной стражи, служащие воинской канцелярии и гражданские служащие с семьями. Эта группа людей едва достигала 80 тысяч человек.

Одесса одновременно была охвачена восстанием местных большевиков и вступлением 25 января в город красноармейцев. Все окрестности Одессы и дальше Херсонская губерния пылали восстаниями. Отступающие войска обстреливались бандитами, а в тылу войскам не давали хлеба. Удачный прорыв Стесселя через Одессу ночью дал возможность многим вырваться из обреченного города, и люди уже считали себя в безопасности. Двинулись к румынской границе.

В Ольвиополе, возле городской управы были сосредоточены обозы и отдельные группы беженцев, которые постепенно должны были переходить Днестровский лиман. Кадетский корпус, состоявший почти весь из детей, отправившийся еще утром в Аккерман (который теперь уже был захвачен Румынией), возвращался обратно. Кадеты были обстреляны с румынского берега, и снаряд попал в фуру врача. Один кадет был ранен. Начальник штаба Стесселя полковник М. был в Аккермане и вел переговоры с румынами. Говорили, что произошло какое-то недоразумение. Нас распустили по домам и приказали завтра с утра по группам в известной постепенности переходить лиман. Мы ночевали все вместе на соломе в холодной комнате почтового отделения.

К девяти часам утра 29 января через лиман началась переправа. Стройными рядами, колоннами первыми на лед пошли кадеты. Потом приказано было идти гражданским людям, затем госпиталям, лазаретам и слабосильным командам и в

последнюю очередь воинским частям. Сначала как будто был образцовый порядок, но уже на полпути этот порядок стал нарушаться. Отдельные группы с обозами начали перегонять друг друга. Все чаще и чаще нас стали останавливать. Образовалась пробка. Задние напирали и требовали, чтобы впереди стоящие двигались дальше. Задержка объяснялась тем, что на румынском берегу переправляющихся принимала комиссия, проверявшая документы и списки. Кадеты, по слухам, были уже приняты и вошли в Аккерман.

Время приближалось к полудню. Между Овидиополем и Аккерманом по льду считалось 9 1/2 верст. Мороз достигал 7-8 градусов, и дул ветер. Мы стояли на льду. К четырем часам как будто опять все двинулись дальше. Люди не выдерживали. Истощив терпение, озябши, отдельные части начали обгонять друг друга. Военные группы, которым надлежало следовать сзади, обходили передних. Система в движении была нарушена. Случилось что-то невероятное. Госпитали со своими обозами обгоняли на рысях гражданские группы. Воинские части и государственная стража обгоняли госпитали. Дорог уже не придерживались.

Все эти толпы растягивались на льду в ширину, скопившись в одну компактную массу, представляя опасность в том отношении, что лед мог не выдержать. Люди ругались, кричали, замахивались нагайками, брали лошадей под уздцы и отводили в сторону. Лошади падали. Дамы истерически взвизгивали. Лед местами трещал, вызывая панику, и казалось, что все сейчас рухнет под лед. В одной скважине лежала провалившаяся и уже сдохшая лошадь. В других трещинах стояли загрузшие и оставленные повозки с вещами. На льду было не менее 8-9 тысяч людей, не считая обозов. Взад и вперед шныряли автомобили. Было жутко, но все стремились вперед и не обращали внимания на опасность.

Мы провели целый день на лимане и только под вечер приблизились к румынскому берегу. Люди теряли терпение. Скоро передние стали воз -вращаться обратно, сообщая на лету, что румыны никого не пропускают. Мы простояли еще некоторое время на льду, но вдруг толпа дрогнула и стала заворачивать. Уже темнело. Передавали, что если сейчас не повернуть обратно, то румыны откроют орудийный огонь. Лед трещал и был сильно попорчен прошедшей массой и обозами. Сквозь скважины и трещины просачивалась вода и, несмотря на сильный мороз, покрывала пространство водой. Идти было страшно. Вновь обгоняя друг друга и толпясь, вся эта масса людей с больными, ранеными, женщинами и детьми, пробывши целый день на морозе, не евши и не пивши, возвращалась в Овидиополь.

К 9 часам вечера мы вернулись в нетопленое помещение почтового отделения. Ноги у всех были мокрые. Обогреться было негде. Начальник тюрьмы со своей повозкой попал по дороге в трещину и едва выскочил из нее. Он страшно сердился, что все оставили его на льду одного с женой. Тем не менее он сварил чай, и мы кое-как согрелись возле печурки, где кипятили чай. 30 января утром кадеты вернулись из Аккермана. Их приняли и даже разместили в здании училища, но к утру приказали вернуться на русский берег. Что случилось, никто не знал. Главноначальствующий Новороссийской области барон Шиллинг положительно утверждал, что в отношении перехода границы с Румынией достигнуто полное соглашение, и никто в этом не сомневался. Нужен только порядок и система, так говорил Стессель.

В пятом часу дня из Аккермана вернулся Мамонтов. Я застал его в хате в одном нижнем белье, вытирающим тщательно полушубок «анти-вошью». Полковник сказал мне, что переговоры с румынами кончены и больше с ними разговаривать нечего. Решено сегодня ночью выступить из Овидиополя, но так как несомненно придется идти с боем, то пойдет только тот, кто запишется в строй. «Если вам угодно, то берите винтовку и идите с нами», - сказал Мамонтов. Я спросил полковника, как поступить с нашими дамами. Я записал их сестрами милосердия. Мамонтов изъявил на это согласие и дал мне записку на имя командира 3-й роты отряда полковника Стесселя полковника Ярощенко.

Мы были зачислены в 3-ю роту, а лошади наши - в обоз этой роты. Я между прочим спросил Мамонтова, куда мы идем. Полковник, не поднимая головы, ответил: «В Одессу». Я ничего не понимал, но все-таки мне казалось, что в этом ответе кроется загадка. Ничего не понимали также мои компаньоны, когда я излагал им мои соображения о невозможности для нас отставать от воинских частей. Мое недоумение скоро рассеялось. Полковник Товастшерна сказал мне по секрету, что мы идем не на Одессу, а пойдем на соединение с отрядом генерала Бредова к Тирасполю, а в случае неудачи будем пробиваться к Петлюре или к полякам в Каменец-Подольск. Другого входа из положения не было. Кадеты младших классов, как равно и гражданские беженцы, остаются на милость победителей. Товастшерна советовал мне бросить мое гражданское положение и идти вместе с ними. «Иначе вы все равно погибли», - сказал он мне. Я ответил, что уже зачислен в 3-ю роту полковника Стесселя и пойду в строй как простой солдат. Полковник с чувством пожал мне руку.

В тот же вечер я видел полковника Стесселя и сказал ему, что иду в его роте. «Отлично», - пожимая мне руку, сказал полковник

Стессель. Я не смел открыть этот секрет своим сослуживцам, так как Товастшерна просил меня не распространяться, чтобы об этом не узнали преждевременно большевики. Между тем ко мне приставали и доказывали всю абсурдность идти на Одессу. Вообще публика растерялась и бегала по городу, пытаясь узнать друг у друга что-нибудь новое и посоветоваться, как быть. В отчаянном положении были гражданские лица, которым стало известно, что они остаются в Овидиополе. Они не хотели идти в строй и говорили, что все равно будут следовать за воинскими частями, куда бы они ни шли.

Мы спать не ложились. К двум часам ночи мы были уже в строю 3-й роты. Полковник Ярощенко, у которого я был перед этим, дал мне записку на получение в штабе винтовок, но таковых там не оказалось.

Всех, не имевших винтовок, кроме В. К. Скуратта, который оставался с дамами при лошадях, поставили в задних рядах роты. Мне это не нравилось, и я обратился к полковнику с просьбой дать мне винтовку. Полковник спросил меня, где наши лошади, и узнав, что они уже тут, распорядился нагрузить на нашу подводу ящики с патронами и предложил мне быть при обозе. Наша повозка шла впереди, первой за ротой, и я шел возле нее с тремя сестрами милосердия (Воздвиженский, Скуратт и Панченко). В последнем ряду роты шли А. И. Самойлович, С. Е. Шрамченко, Н. А. Тарновский, Б. М. Солонина, Сребрянец, Андреев, Маяровский и Тимофеев.

Таким образом мы опять были все вместе. Сначала при оставлении нами Овидиополя вся эта масса людей шла стройными колоннами с обозами при каждой части. На мосту за Овидиополем был даже установлен контроль, но уже в нескольких верстах дальше выяснилось, что сзади двигается громадный обоз с беженцами и главным образом с семьями офицеров и домашним их скарбом. Обоз растянулся более чем на 6-7 верст. По определению военных из Овидиополя, в этом эшелоне двинулось более 12 тысяч человек. Многие остались в Овидиополе, но зато к нам присоединились те части, которые прибыли в Овидиополь раньше нас и тоже не были пропущены на румынскую территорию.

Я спрашивал полковника Товастшерна, сколько в этом эшелоне боевой силы, и он посчитал, что всех штыков имеется до 3000, но масса офицеров едет со своими семьями на собственных подводах как беженцы, так что в строю находится не более 2500 лиц. Если принять во внимание отряд генерала Мартынова, который идет в арьергарде, и отряд генерала Васильева, которому принадлежит общее командование и который идет авангардом, то

боевая сила определится в числе до 4000 бойцов.

Когда по выходе из Овидиополя воинские части взяли налево, публика была поражена и, недоумевая, указывала, что дорога на Одессу идет прямо. Настолько все были уверены, что мы идем на Одессу. У первой деревни впереди были высланы цепи и перерезаны телеграфные проволоки. Шли быстро. Дорога была по замерзшей колоти. Идти было трудно. Говорили, что генерал Васильев торопит, имея сведения, что большевики идут параллельно и могут выйти наперерез. И действительно, около полудня вдали послышались орудийные выстрелы, а еще через некоторое время где-то затрещали пулеметы. Эшелон остановился. Наша 3-я рота была вызвана вперед. Не имевшие винтовок остались при обозе. Скоро выяснилось, что генерал Васильев ведет бой с большевиками у г. Маяки. Бой шел впереди, где ясно на горизонте были видны белые дымки от разрывов шрапнелей.

Более часа мы стояли на этом месте. Наконец бой утих. Передовые отряды генерала Васильева оттеснили красных. Только одна большевистская артиллерия продолжала обстреливать впереди лежащую местность. Было приказано идти дальше. Наша рота вернулась обратно и стала на свое прежнее место. Мы приближались к тому месту, где по дороге рвались снаряды. Было страшно. Оглушительные разрывы и свист летающих снарядов делали каждого сосредоточенно-серьезным и напряженным.

Шли молча. Я сменил В. К. Скуратта, который предложил мне заменить его в качестве кучера. С повозки вся местность была отлично видна. Каждый рвавшийся снаряд был у меня перед глазами, и я мог наблюдать его разрыв. Спереди передавали команду идти скорее и держаться левее дороги. Шедшие впереди роты свернули в неубранное кукурузное поле и шли кукурузой. Только обоз двигался длинной лентой по дороге. Направо и влево, впереди и сзади систематически рвались снаряды. Большевики крыли снарядами это место. И хотя во все стороны горизонт открывался широкой далью, но откуда стреляют, этого не было видно.

Обоз местами двигался рысцой. Дорога далеко вправо обходила кукурузное поле и отдаляла нас от тех, кто шел кукурузой. Уже была убита одна лошадь и ранен солдат. Между прочим, на моих глазах чудом спаслась одна дама с детьми. Снаряд упал недалеко от ее подводы и, не разорвавшись, зарылся в землю. Скоро дорога загибала опять налево к тому месту, откуда выходили шедшие по кукурузному полю части. В этом месте, в лощине, стоял с группой штабных полковник Мамонтов. Увидав меня, сидящим на повозке с папироской в зубах, он

улыбнулся и кивнул мне головой. Это было тотчас после того, как недалеко возле него снаряд ударил в сарай одиночно стоящей крестьянской усадьбы и, разорвавшись, выскочил оттуда целым фонтаном грязной земли и мусора. Я подумал, что, наверное, там была корова, лошадь или какая-нибудь живность.

Уже недалеко виднелась немецкая колония Петершталь. Обстрел продолжался до тех пор, пока последняя повозка обоза не въехала в селение. Колонна была расположена в лощине, которой предшествовала довольно крутая гора. Здесь многие не выдержали и спускались с горы полной рысью и даже вскачь. Это был момент, когда чуть было не создалась паника, но присутствие полковника Мамонтова сдержало публику. Уже будучи в колонии, мы слышали еще разрывы снарядов, но потом сразу стрельба прекратилась. Очевидно, большевики решили колонию не обстреливать. На душе стало легче, и удивительно, что люди сразу как-то забыли, что только что были под обстрелом. Правда, всем очень хотелось есть, и люди набросились на пищу.

В колонии Петершталь нас приняли хорошо. Мы говорили по-немецки, и это дало нам преимущество. Мы пили молоко, ели яйца, колбасу, сыр. Хата, в которой мы расположились, была хорошо натоплена. Я согрелся и почувствовал себя сытым. Мы держались своей компанией, хотя с нами расположились многие из 3-й роты - наши новые знакомые. Отдохнуть пришлось мало. Через два часа мы двинулись дальше. Было уже совершенно темно. Чувствовалось, что того порядка, который был раньше, уже не было. Многие выходили из строя и присоединялись к обозу, садясь поочередно на повозки, чтобы отдохнуть. Мы решили тоже не расходиться и собрались возле нашей повозки, которая шла в числе шести подвод 3-й роты. Мы обошли самое опасное место Маяки (большевистское гнездо) и направлялись к с. Беляевка, где предполагалась ночевка.

До Беляевки оставалось всего 8 верст. Шли вяло. Где-то впереди работал прожектор. Приказано идти молча и не курить. Эта обстановка еще больше клонила ко сну. Было холодно, и временами трясло как в лихорадке. Дул неприятный северный ветер. Хотелось скорее тепла. Руки и ноги невероятно мерзли. Пройдя верст шесть, мы остановились. Говорили, что в с. Беляевку послана разведка и квартирьеры. Мы стояли долго и сидя на земле, дремали. Солонина, Тарновский, Сребрянец ушли с ротой вперед. Где-то впереди послышались выстрелы. Вскоре после этого мы услышали церковный звон. В с. Беляевка били в набат.

Как потом оказалось, беляевские большевики встретили наших квартирьеров ружейными выстрелами и обстреляли также

разведчиков. Большевики ударили в набат, собирая народ, чтобы дать отпор добровольцам. Было жутко слышать этот колокольный звон в ночную пору. Чем-то зловещим отдавал этот набат. Только в детстве я слышал, бывало, в деревне в ночное время набат, и этот звон навсегда оставил в памяти впечатление ужаса. И теперь по спине пробежала дрожь.

Мы подкармливали своих лошадей. Мой большой друг А. И. Самойлович подошел ко мне и присел рядом возле дороги, где я сидел на промерзшей земле, присыпанной снегом, спустив ноги в канаву. Мы слушали эти зловещие звуки набата и всматривались в непроницаемую темень. Иногда слышались отдельные выстрелы. Темными силуэтами вырисовывались близ стоящие повозки, а дальше обоз терялся во мгле, точно его не было вовсе.

На нашей повозке высоко на вещах сидели укутанные с головой три женщины: М. К. Воздвиженская, Скуратт и Панченко. Холодная, зимняя ночь, от которой мы зябли, вызывала досаду, что мы стоим, и хотелось идти вперед. Странно свела нас судьба здесь, в этом отступлении на Румынию - трех свойственников, женатых на трех сестрах. А. И. Самойлович, А. А. Рахель (киевский судебный следователь) и я - мы были женаты на трех родных сестрах Красовских. Я не знал даже, что А. А. Рахель с семьей тоже ушел из Киева и пребывал до последних минут в Одессе. Я встретил его случайно в толпе на льду. Он был в статском пальто, с винтовкой за плечом. Он вышел из Одессы с отрядом Струка, желая про -браться в Киев, но отряд этот был разбит большевиками, и Анатолий Антонович очутился в одиночестве в плавнях реки Днестра. На Днестровском лимане они присоединились к нам, отступающим на Румынию. В тот же день я потерял его из виду, но говорят, его видели идущим с какой-то воинской частью.

Вместе с нами была наша свояченица - четвертая сестра Красовских -М. К. Воздвиженская. Ее муж, студент-юрист, ушел добровольцем еще при гетмане и без вести пропал, очевидно погибши в бою с большевиками под Белгородом, где его видели последний раз. Маша была теперь вдовой и уходила с нами от большевиков, как жена добровольца, которых особенно преследовали большевики. Она сидит теперь на повозке и дремлет. А. И. Самойлович совсем пал духом. Я иначе смотрел на дела и верил нашим руководителям Стесселю и Мамонтову.

А. И. Самойлович был земским деятелем Черниговской губернии и тоже ради моды либеральничавший в свое время. Мы вспоминали с ним это время и теперь воочию убедились, к чему привела эта глубочайшая оппозиция общественных деятелей правительства. Мы вспоминали эту патриархальную, помещичью

семью Красовских, с которой мы были связаны узами родства, оставшуюся теперь без мужского элемента. Ушли все. И Бог знает, вернется ли кто-нибудь из нас к ним.

Мы томились и были рады, когда к нам пришли бывшие в строю Тарновский, Сребрянец и Солонина, говоря, что жители с. Беляевки не пустили разведчиков в село, и после небольшой перестрелки решено обойти Беляевку лугами и идти дальше. Почти тотчас стали передавать команду: «Обозы 3-й роты, вперед!» Это было так неожиданно, что мы еще не успели зануздать лошадей, как стоящие впереди повозки тронулись с места. Виновным оказался А. И. Самойлович, который снял с лошадей уздечки. Все накинулись на него с упреком и сообща, волнуясь, начали запрягать лошадей. В темноте и суете мы несколько отстали от своей части. Говорили, что все свернули куда-то направо. А мы взяли налево.

Скоро мы догнали несколько повозок, которые спрашивали нас, куда ехать. Они были в таком же положении, как и мы. Мы двигались по каким-то замерзшим кочкам, напоминавшим болото. Было очень темно. Мы понимали, что где-то недалеко гудел броневик. Несколько раз к нам подъезжали конные и спрашивали, какой мы части и не знаем ли, куда нужно ехать. Верховые тоже путались и блудили. Одни говорили, что наша рота впереди, другие, что сзади, и никто не знал определенно: где мы и куда ехать. Мы видели, как где-то далеко сигнализировали ракеты. Это со стороны г. Маяки пускали ракеты большевики. Очевидно, за нами следили и будут завтра преследовать.

Нас нагоняли другие обозы, так что наша группа все возрастала. Мы увидели наконец крытый экипаж, который обгонял нас. Это был фаэтон ротного командира полковника Ярощенко, в котором сидела его жена. Она тоже блудила. Обоз тронулся за ней. Мы свернули налево и скоро выехали на открытое место, куда со всех сторон подтягивались обозы и собирались части. Тут же стоял броневик «Россия», грузовики и автомобили. Оказалось, что, обходя Беляевку без всякой дороги, блудили все.

В конце концов все сгруппировались в этом месте. Уже немного светало. В центре стоял автомобиль, в котором сидел полковник Стессель с женой. Тут же стоял Мамонтов со штабными офицерами. Приводили в порядок разрозненные за ночь части и растрепанные обозы. Колоннами выстраивались отдельные роты. Сбоку возле броневика «Россия» и грузовиков стали два орудия генерала Мартынова. Несколько раз мимо нас проехал верхом на лошади генерал Васильев. В этот раз сгруппированные и выстроенные воинские части внушали

доверие. Присыпанное снегом кукурузное поле, на котором развернулись эти части, напоминало место смотра войскам. Откуда-то появилась конница, которую раньше не было видно.

Обоз занял место каждый возле своей части. Заметно все подтянулись и приободрились. Передавали приказ быть начеку, так как теперь ожидалась встреча с красными. В этот раз я сидел с дамами на возке за кучера. Мы решили отдыхать на подводе по очереди. Я шел всю ночь и потому первый занял место на повозке. Мы тронулись. Первой двинулась конница. Вторую ночь мы шли совершенно без сна, не отогреваясь от холода, пройдя верст сорок от Овидиополя. Всех клонило ко сну, но тем не менее нужно было идти, и мы шли целый день, делая иногда лишь десятиминутные привалы. Все, кто был на ногах, ложились в эти минуты на снег и дремали.

Только к вечеру мы добрались до намеченного пункта - немецкой колонии Когарлык. Это было небольшое селение. Мы подходили к нему в то время, когда наступали сумерки. Спуск с горы был покрыт гололедицей, а селение было в снегу. Спустившись в овраг, мы вновь поднимались на горку и здесь влипли в глубокий снег. Места для размещения всех частей не было. Кто был впереди, тот попал в хаты, а большинство осталось на улице и во дворах с обозами. Погода была суровая, зимняя. Дул резкий ветер, и временами подымало пургу. Обоз нашей 3-й роты въехал в какой-то громадный двор или, скорее, пустырь, где были сложены скирды соломы. К нам присоединились две доверху нагруженные фуры, на которых высоко на вещах сидели дамы и две девочки лет 13-14. Они тоже остались на дворе.

Долго мы ходили по хатам искать, где бы приютиться, но все помещения были до такой степени переполнены, что в иные нельзя было даже втиснуться. Все улицы, дворы и площадь были сплошь заставлены обозами. Повсюду зажигали костры. Сильно пахло гарью, и отовсюду стелился дым, точно все селение было объято пожаром. Кое-где воинские группы варили в ведрах и котелках пищу, но это были отдельные группы, предусмотрительно запасшиеся продуктами. Мы варили себе в ведре только чай и ели остатки черствого хлеба, случайно оказавшегося в мешке В. К. Скуратта. Впрочем, сестра Панченко выпросила где-то у солдат миску супа и уговаривала меня разделить с ней эту порцию.

Расположившись на соломе возле костра, мы немного согрелись. Я хотел задремать, но сна почему-то не было. Может быть, мой сон нарушил есаул Афанасьев, который вел в это время мимо нас с двумя солдатами какого-то пожилого человека в кожухе. Мы тотчас догадались, что его будут расстреливать. И

действительно, почти сейчас же за углом ближайшей хаты раздалось два выстрела. Есаул с солдатами возвращался обратно. Это был расстрелян большевик. Мы видели этот труп, распростертый навзничь возле глухой стены хаты. С наступлением сумерек было приказано потушить огни и не зажигать костров.

Мороз достигал 8-10 градусов, хотелось спать, но было страшно хо -лодно на открытом месте. Я уже дремал, зарывшись ногами в солому, когда кто-то пришел и сказал, что в ближайшем дворе есть место для всего нашего обоза. Мы тотчас перебрались в этот двор. Мне удалось втиснуться даже в эту хату, но в нее входили только погреться. Толпа стояла как в тисках друг у друга, и совершенно негде было присесть. Здесь я опять встретился с полковником Ясновским, который очень обрадовался, увидев меня.

В 12 часов ночи мы должны были выступать дальше. Времени было мало. Нужно было уснуть, чтобы запастись силами. Рассуждать было некогда. Подмостив соломы, мы улеглись под своей повозкой, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Впрочем, соломы было немного, и мы лежали почти на снегу. Третью ночь мы проводили на морозе при 8-10 градусах без сна. Но ведь это не только мы, но и дамы, и дети, хотя и укутанные в шубы и одеяла. Я закутался с головой и, весь съежившись, прижался к сестре Панченко. Сон был беспокойный. Согреться было нельзя. Временами трясло как в лихорадке, и тогда приходилось усиленно дышать под одежду, чтобы согреть воздух. Но все-таки я уснул.

Меня разбудили. Во дворе была суета. Возле повозки стояли все наши и о чем-то горячо спорили. Повторяли какие-то слухи. Отряд генерала Бредова был недалеко - верстах в тридцати, и говорили, что генералу известно, что мы идем на соединение с ним. Но тут же говорили, что где-то недалеко появились отряды большевиков. Общее мнение было таково, что обозу угрожает опасность. Лучше идти в строю. Кто-то воздержался, говоря, что быть не может, чтобы обоз оставили без прикрытия. Тем не менее Тарновский, Солонина, Сребрянец и еще кто-то пошли в строй. Мы остались с обозом. Опять медлительность Скуратта!

На улице передавали команду: «Обоз 3-й роты, вперед!» Все подводы тронулись со двора, а у нас лошади были не готовы. Я бросился помогать Скуратту и страшно волновался, боясь отстать в темноте от своей роты. Настроение было скверное. Непривычная обстановка походной жизни была тяжела. Самое неприятное было то, что приходилось идти пешком. Ноги болели. В. К. Скуратт считал себя хозяином лошадей, упорно сидел с

женой на повозке и не освобождал места, чтобы дать другим отдохнуть. Состояние у людей было уже такое, что они не считались больше с другими. Каждый заботился только о себе. Переутомление было ужасным.

Мы стали подходить к немецкой колонии Кандель, что возле лимана. Шедшие впереди уже вступали в Кандель, а обозы еще шли, растянувшись на много верст сзади. Весь этот отряд вовсе не походил на воинскую, а тем более боевую часть, способную в случае внезапного нападения дать отпор большевикам. Едва двигаясь, офицеры роптали и говорили, что даже в германскую войну они не делали таких тяжелых переходов. Масса военных бросила строй и примостилась на повозке возле своих семейств. Ружья лежали на повозке. Семейства военных с домашним скарбом и беженцы составляли большую часть обоза.

Военного снаряжения в обозе почти не было. Не было также продуктов и кухонь. На остановках солдаты питались по хатам у местных жителей. Это была толпа беженцев. Люди вывозили с собой из Одессы свое имущество в сундуках, корзинах и тюках. Следовавшие с обозом за малым исключением автомобили были частной собственностью, с которой люди даже при таких обстоятельствах не хотели расстаться. Удручающее впечатление производил испорченный автомобиль какого-то военного, запряженный четырьмя лошадьми, едва тащившими по колоти, а в иных местах по глубокому снегу эту тяжесть.

Мы беспокоились, что пришедшие первыми в Кандель закупят весь хлеб и мы останемся голодными. Естественно, все думали только о еде. Уже воинские части вошли в Кандель. Наша третья рота, с которой ушли Тарновский, Постернацкий, Солонина и Сребрянец, рассыпалась цепью и шла далеко справа параллельно нам, имея назначение прикрывать движение обоза. Мы слышали выстрелы и тотчас узнали, что наши цепи задержали каких-то людей, ехавших им навстречу. Сидевшая на этой повозке женщина кинулась к добровольцам и сообщила, что ее арестованную везет с пакетом агент Чрезвычайки. Документы были налицо, и агент, конечно, был на месте расстрелян. Женщина, оказавшаяся (кажется) учительницей, присоединилась к нам.

Мы почти входили уже в Кандель. Наши повозки поравнялись с полковником Москалевым, стоявшим на канаве у плетня огорода и указывавшим направление обоза. Обозу 3-й роты надлежало повернуть направо и въехать во двор третьей хаты возле штаба полковника Стесселя. Но тут случилось нечто неожиданное, невероятное. Нас оглушил разорвавшийся где-то вблизи снаряд, и тотчас после него начался обстрел Канделя. При

первом же разрыве произошло замешательство, но полковник Москалев кричал, чтобы не торопились и шли спокойно. Под звуки оглушительно рвущихся снарядов мы входили с обозом в обширный двор усадьбы немца-колониста, где в глубине двора стояли две громадные скирды соломы и сена. Я видел ясно, как снаряд разорвался в этих скирдах.

Это было такой грохот, что все прибывшие с обозом побросали свои повозки и укрылись в хату, конюшни и сараи. Усадьба эта была на пригорке, и даже из дверей хаты можно было видеть, где и в каких дверях рвутся снаряды. Обозы, не спеша проходили мимо нас, но как только подводы заворачивали во дворы, публика поспешно вставала с повозок и, бросая без присмотра лошадей, укрывалась по хатам.

Обстрел Канделя был неожиданным. Это был промах командного состава. Усталые, голодные разрозненные воинские части накинулись на еду и упустили сделать разведку. Между тем было известно, что накануне в Канделе были большевики в числе до 500 человек. Мы знали, что наша 3-я рота залегла уже цепью у самого входа в колонию, где мы только что проходили. По распоряжению полковника Стессель по хатам стали быстро собирать офицеров, солдат и вообще всех тех, кто был при оружии, чтобы наступать к окраине колонии.

Это происходило на наших глазах, и мы видели эту безотрадную картину малодушия и беспечности многих. Не стесняясь публики, эти господа прятались на глазах посторонних людей. Вместе с нами в хату вошли 6-7 офицеров. Они заняли большую комнату и никого в нее не пускали. Мы остались в сенях. Здесь же в сенях с нами стоял какой-то полковник. Когда в эту хату въехал офицер, передавая приказание идти в строй, офицеры вышли, но неохотно. В суете и мы вышли во двор, но в это время где-то вблизи опять с оглушительным ревом разорвался снаряд. Инстинктивно все бросились в конюшню. И полковник оказался с нами. Тот же офицер заглянул в конюшню и настойчиво предлагал полковнику «пожаловать в строй». Полковник отговаривался тем, что у него нет винтовки, но, будучи поставлен в безвыходное положение, он решился идти. В этот момент к нему на шею бросилась его жена и, обняв его, кричала: «Нет, нет!»

Немка-колонистка (хозяйка усадьбы) начала стыдить полковника, но полковник все-таки не вышел из конюшни. Не вышел он потому, что как раз в это время, по-видимому, во дворе грянул такой взрыв, что с потолка посыпалась штукатурка и все онемели от ужаса. Офицер, приглашавший полковника, исчез. Из дверей конюшни было видно, как наши лошади, испугавшись

этого взрыва, начали биться и запутались в упряжке. Кому-нибудь нужно было выйти распутать лошадей. Никто не двигался с места. Мне стало стыдно, и я вышел к лошадям. Здравый смысл подсказывал мне, что во дворе и в конюшне одинаково опасно. Я заставил себя быть спокойным и под грохот рвущихся снарядов не торопясь распряг лошадей и привязал их к дереву. Я даже принес им сена из соседней скирды, где, по-видимому, только что разорвался снаряд.

На дворе было как-то веселее, чем в конюшне. Со всех сторон, откуда-то из-за построек, скирд, заборов во двор стягивались конные, ведя лошадей за повод, и становились в ряд под защитою строений. По улице шли воинские части, и было много народу. Тут же стоял броневик «Россия» и грузовые автомобили. «Россия» беспрерывно выпускала снаряды из своего небольшого орудия. Из противоположного двора грохотало орудие генерала Мартынова. Я почувствовал какой-то подъем духа. Будь у меня винтовка, я тотчас же пошел бы в строй. Мне уже не хотелось возвращаться в конюшню, и я вышел на улицу.

Погода была мягкая. Снег сильно таял. На улице было грязно. Вдоль и поперек шли и ехали военные. Возле штаба, где палил броневик, стояла большая группа военных. Я встретил здесь много знакомых и принял участие в разговоре. Между прочим, выглядывая из верхнего люка, поручик Иванич весело кивал мне приветствие. Положение было критическое. Большевики наступали цепью и заняли уже крайние хаты Канделя со стороны д. Зельц. Все это было так неожиданно, что, по мнению военных, стоило большевикам пустить в Кандель свою конницу и поступить немного решительнее - и Кандель был бы взят без боя.

Положение спас Стессель, под руководством которого большевики были выбиты из окраины Канделя. Большевики наступали одновременно с двух флангов. Со стороны д. Зельц, находящейся в полутора верстах от Канделя наступала группа комиссара Левинсона, а во фланге со стороны дороги из Кагарлыка действовал конный отряд Котовского. На этом фланге, который был у нас перед глазами, действовал генерал Мартынов с двумя орудиями. Любопытно, что генерал Васильев куда-то исчез, и его не могли разыскать в течение всего боя. Потом оказалось, что он сидел в какой-то хате и отстранил от себя руководство боем, не предупредив об этом ни генерала Мартынова, ни полковника Стесселя.

Бой был так близко возле нас, что мы видели неприятельскую конницу и цепи красных. Наша цепь стояла тут же, за хатами и скирдами соломы, в расстоянии десятков шагов от главной улицы. Со всех сторон трещали пулеметы и шла ружейная

перестрелка. Мы были свидетелями этого боя и видели теперь, что главную боевую силу представляла собой совсем юная молодежь. Любо было смотреть, как шли кадеты, на ходу заряжая винтовки. Глядя на них, становилось не страшно. Обвыкши к этой обстановке, я решил пройти по хатам, чтобы достать чего-нибудь съесть.

Мне повезло. В одной из хат немка согласилась сварить нам минут через 15 «мамалыгу», но с тем условием, чтобы я сейчас принес в кухню со скирды охапку соломы, так как она не решалась выйти во двор. Принесши солому, я чуть не бегом возвратился к своим и повел их к этой немке. И в этом было наше счастье, так как следующие два дня мы оставались совершенно без пищи.

Наступление, предпринятое Стесселем, сделало свое дело. Большевики отступили. Стессель занял соседнюю колонию Зельц, что в 1 V верст от Канделя. Обстрел Канделя прекратился. Торжествующие, к нам пришли бывшие в цепи Тарновский, Сребрянец и Постернацкий и рассказывали, кто сколько выпустил пуль. Они с радостью накинулись на еду. Мамалыги было достаточно - целый казан, и мы, голодные, пожирали эту кашу из кукурузы. Не успели мы насытиться, как в хату вошли три офицера и торопливо говорили: «Господа, выступаем, скорее». Увидав, что мы едим, они умоляли нас принять их в котел. Конечно, мы их пригласили за стол, и я видел, как жадно и торопясь они запихивали за обе щеки эту пресную мамалыгу.

Было приказано немедленно до темноты выступать и расположиться на ночлег в только что занятой колонии Зельц. Предполагалось таким образом двигаться вперед и по мере освобождения местности от большевиков продвигаться дальше. Уже передовые отряды (кадеты с полковником С. М. Гегелло) вступили в расположенную за к. Зельц колонию Баден в трех верстах севернее к. Зельц. Быстро заканчивая еду, мы опрометью бросились к лошадям и, запрягая, видели, как уже вся улица была загружена подводами, торопившимися оставить Кандель. Мы выехали, но тут опять случилось нечто ужасное.

Наш фронт начал быстро таять. Солдаты и офицеры уходили в Кандель, кто за вещами, а кто - чтобы поесть. Это сейчас же учли большевики. Обходным движением отряд Котовского ударил во фланг, и вновь уже с двух сторон начался обстрел Канделя. Обозы растянулись по главной улице. Улица сплошь была занята повозками в несколько рядов, которые, обгоняя друг друга, спешили выехать, боясь остаться последними. Произошло замешательство. Мы попали под перекрестный огонь. Два орудия стреляли со стороны Зельц и два с фланга. Снаряды ложились на

главной улице, попадая в дома, сараи и сады. Началась паника. Люди поворачивали лошадей и рысью гнали их обратно. Произошла давка.

При первых же выстрелах В. К. Скуратт снял с повозки свою жену и, бросив лошадей, укрылся в ближайшей хате. Мы шли по тротуару и невольно прижались к хате. Наши лошади, встретив обратное течение обоза, начали крутиться по улице и вызывали крики и негодование проезжающих. Нужно было взять лошадей. Я пристыдил Скуратта, после чего мы втроем - Самойлович, Шрамченко и я завернули повозку и подвели ее к тротуару. Мы уговорили Скуратта ехать к той хате, где мы остановились. Скуратт не выдержал и погнал лошадей рысью и моментально скрылся с наших глаз.

Мы остались на том же месте. Разорвавшийся на улице снаряд свалил почти возле нас лошадь. Повозка с солдатами умчалась дальше с одной лошадью, а раненая лошадь, стараясь приподняться, шлепалась в луже крови. В боку ее была громадная рана, из которой фонтаном била кровь.

М. К. Воздвиженская вопила: «Бедная лошадь, посмотрите», - с отчаянием выкрикивала она. В это время на противоположной стороне улице снаряд ударил в угол толпы и, разрываясь, оглушил нас до такой степени, что все присели на землю. Шедший по тому тротуару офицер упал и кричал нам: «Господа, подберите меня, я ранен». Никто не двигался с места. Офицер ползком перебирался через грязную улицу на нашу сторону.

Разрыв за разрывом не давал нам идти дальше. Снаряд разорвался у стоявшего недалеко от нас броневика «Россия», и мне казалось, что снаряд попал в него. Мы видели затем, как в крышу здания, где был штаб попал снаряд и, пробив крышу, разорвался внутри здания. Здесь был убит какой-то чиновник. Тут же недалеко в хате, из которой только что вышел Б. М. Солонина, снаряд разорвался через минуту после того, как вышел из нее Солонина. Затрещали пулеметы. На тротуаре столпилось вместе с нами много народу. Проходивший мимо офицер сказал нам, что большевики уже заняли окраину Канделя и стреляют из пулеметов вдоль улицы. Он советовал скорее уходить отсюда.

Пригнувшись и перебегая от хаты до хаты, мы таким образом дошли до той хаты, где остановились первоначально. Тут возле забора стоял в совершенном одиночестве полковник Стессель. Где был Скуратт с нашими лошадьми, мы не знали, но потом оказалось, что он, въехав в какой-то двор и оставивши лошадей у конюшни, укрылся с женой в хату. В это время понадобилась подвода, чтобы подвозить к цепи патроны. Видя повозку без хозяина, солдаты взяли наших лошадей, скинув вещи на

балкончик той хаты, где укрылся Скуратт.

Мы стояли на балкончике. Я наблюдал за полковником Стесселем. Он стоял, опершись локтями на низенький забор. Тут же во дворе, под стенами построек, стояли, сомкнувшись, группы людей, среди которых было много дам. Полковник Товастшерна верхом на лошади подъезжал несколько раз к полковнику Стессель и принимал, по-видимому, от него распоряжения. Мимо нас проехал рысью небольшой отряд конницы. Тут же возле нашей хаты за скирдой залегла наша цепь. Полковник Стессель что-то говорил Товастшерне, а потом, обратившись к нам, громко сказал: «Господа, подберите же раненых».

Мы сошли с балкончика. Два солдата у скирды мастерили носилки. Самойлович и Андреев взяли носилки и пошли к скирде. Возле скирды лежал раненный в ногу офицер, которого они подобрали и внесли в нашу хату. Я с солдатами пошел дальше. Недалеко за скирдой, ближе к нашей цепи, лежало два раненых и один убитый. Здесь местами стояли, местами лежали наши и беспорядочно стреляли, но в кого, я не видел. Я отлично заметил кадета, лежащего на животе и сосредоточенно хлопавшего часто затворами винтовки. Кадет широко раздвинул ноги и из-под высоко закатившихся брюк были видны голые ноги. Башмаки были одеты на босые ноги и, видимо, на нем не было кальсон. Мы подобрали семь раненых, а пять пришли сами.

Самойлович и Андреев натащили в хату соломы, и мы укладывали на нее раненых, устроив таким образом перевязочный пункт. М. К. Воздвиженская уже хлопотала возле раненых и обмывала водой раны. Еще две дамы приняли участие в перевязке, но перевязочного материала у нас не было, и они рвали какие-то тряпки, бывшие у них в вещах. К счастью, к этому времени в хату вошел военный врач Гречин, которому я изложил обстоятельства, при которых и открыли перевязочный пункт. Доктор был очень доволен и просил продолжать наше дело, так как у них на пункте 1-го Запасного госпиталя много раненых, которым нужно оказать помощь. Доктор обещал зайти позже и обещал тотчас прислать сестру милосердия и перевязочный материал. Наскоро осмотрев раненых, Гречин указал нам, что с каждым из них нужно было делать, и ушел из хаты.

Раненые страшно беспокоились и, называя меня доктором, спрашивали, вывезут ли их, если сегодня ночью оставят Кандель. Этот вопрос беспокоил и нас. По-видимому, дела наши были плохи. С нашей стороны было более ста раненых и убитых. Между прочим был убит полковник Суходубовский. На нашем перевязочном пункте было 12 раненых, и тринадцатый был тяжело раненный красноармеец. В разгар перестрелки к нашему

пункту привезли еще одного красноармейца, который держался рукой за горло, откуда обильно шла кровь и текла по рубашке, но его не ввели в нашу хату, а повели в штаб.

Когда стемнело, бой прекратился. У генерала Васильева происходило совещание. Прорыв на Тирасполь не удался. Положение признавалось безнадежным. Сначала было решено прорываться вперед, бросивши в Канделе обозы, офицерских жен и беженцев, но ввиду протеста офицеров решили, пользуясь темнотой, сейчас же переправляться через Лиман и идти «на авось» в Румынию. Широкая публика и многие военные не знали об этом решении и только случайно выскочили из Канделя, потому что сами следили за ходом событий.

Многие вовсе не подозревали, что из Канделя выезжают. Полковник Востросаблин, например, рассказывал нам, что он ничего не знал об оставлении Канделя, а так как с ним были вещи командира 3-й роты полковника Ярощенко, то он был спокоен и уверен, что будет в курсе решений. Оказалось, что полковник Ярощенко с женой выехали из Канделя прямо из хаты, где происходило совещание, и не заехал даже за своими вещами. Востросаблин чуть было не остался в Канделе и выехал один из последних. Это было настоящее бегство, а не отступление. Каждый думал только о себе и боялся отстать от других.

Положение наше несколько изменилось. Лошадей нам не возвратили. Мы остались без повозки. Вячеслав Константинович Скуратт заявил мне, что жена его пешком идти не может. Он решил оставить ее в Канделе, о чем уже сговорился с одной немкой-колонисткой. С ней решил оставаться А. И. Самойлович, который был до такой степени переутомлен, что едва держался на ногах. Маяровский, Сребрянец и Тимофеев тоже решили остаться. Скуратт не знал, на что ему решиться, и спрашивал меня, что я буду делать. Я заявил, что здесь ни за что не останусь.

Нам помог врач Гречин. Зная моего брата-врача, он зачислил меня фельдшером в 1-й запасной госпиталь, а М. К. Воздвиженскую - сестрой милосердия. Мы стали официальными лицами и были уверены, что в случае оставления Канделя мы будем следовать с больными. Скуратт терялся и колебался, спрашивая моего совета. Он тоже просил врача Гречина устроить его хотя бы санитаром при госпитале. Гречин обещал ему дать ответ завтра рано утром. Скуратт ушел, несмотря на то, что я предлагал ему оставаться с нами, чтобы быть в курсе дела. С Самойловичем мы распрощались, так как его решение было окончательным. Врач Гречин беспокоился и решил сбегать в штаб Стесселя узнать о положении. Мы возились с ранеными до позднего вечера.

Часов около восьми к нашему перевязочному пункту стали подъезжать на подводах офицеры и забирали своих раненых однополчан. Они сказали нам, что Кандель решено оставить. В это время возвратился Гречин, который растерянно сказал мне, что Стессель уже выехал и что все из Канделя бегут. Мы оказались в худшем положении, чем другие. На наших руках оставалось пять раненых. Врач терялся и говорил, что он ни за что в Канделе не останется. Мы вышли на улицу. Было абсолютно темно. Обозы спеша проходили мимо нашего перевязочного пункта. Доктор обратился к проходившим офицерам, объясняя, что нельзя оставлять большевикам раненых офицеров.

Случайно проезжавший мимо полковник Коротков распорядился приостановить обоз и реквизировать места на подводах для нашего перевязочного пункта. Полковник лично руководил размещением раненых. Пять офицеров вошли к нам, чтобы вынести раненых. Среди раненых был молодой офицер, голова которого была совершенно разбита. По заключению врача, он умирал, и потому его бесцельно было брать с собой. На вопрос, кто он, я ответил, что личность его не установлена. Кто-то из заходивших к нам офицеров предполагал, что это Решетников, но это было только предположение. Было решено оставить его как умирающего. Офицеры срезали с него погоны. Еще один остался без вести пропавшим!

Мне с невесткой офицеры указали место на подводе, на которой высоко на вещах сидели две дамы и пожилой офицер. Сесть было негде, и мы приткнули на самом краю повозки свои вещи. У меня была только небольшая котомка и моя сумка через плечо. Остальные вещи пришлось бросить. Моя невестка не хотела расставаться со своими вещами и решила взять их с собой. Возле лимана, давя друг друга, столпились обозы. Лед был непрочен. Из предосторожности пропускали с интервалами на расстоянии 20 шагов. Каждый нервно ожидал своей очереди. Было запрещено курить и громко разговаривать. Погода была мягкая, но к вечеру стало морозить. Дневная слякоть начала покрываться гололедицей.

В воздухе стояла морозная мгла, так что на расстоянии 20 шагов вперед ничего не было видно. Мы шли по льду, покрытому снегом возле десятка подвод, составлявших нашу очередь.

Снег был рыхлый, сверху покрытый тонким слоем ледяной корки. Местами стояли лужи воды, а местами открывалась на большом пространстве стеклянная поверхность льда. Меня пугали трещины, которые часто встречались по пути и которые приподнимали гребнем в этих местах лед. На снегу глубокими колеями видна была дорога, а там, где стоял голый лед, дорога

терялась, и нам казалось, что мы потеряем направление. Мы шли по льду, вероятно, не менее часа, а может быть и больше. Мы совершенно потеряли представление о времени, и я заметил, как неправильно мы судили о нем. Иногда какие-нибудь полчаса казались нам часами, и наоборот: например, бой под Канделем, продолжавшийся, как потом оказалось, целый день, в моем представлении про -должался не более трех часов.

Противоположный берег лимана был почти отвесный, представлявший хотя и невысокую, но крутую кручу, которую лошади ни коем случае взять не могли. Приходилось каждую повозку подымать на руках, но задержки не было. Откуда-то здесь появилась такая масса людей, что повозки одна за другой взлетали на кручу как перышко. Пока происходила переправа через Лиман, в обозе был порядок, чья-то невидимая рука руководила движением, но, когда мы вступили на противоположный берег, обоз заторопился и гнал лошадей. Мы едва поспевали за нашей подводой. Дорога была в колоти, покрытой гололедицей.

Это были луга. Ноги расползались и затрудняли движения. Наши вещи не могли держаться на краю повозки без поддержки и прыгали, ежеминутно угрожая упасть. Я чувствовал, что при такой спешке я не буду в состоянии поддерживать вещи и что они скоро должны упасть. Мар. К. Воздвиженская тоже выбивалась из сил. При такой тряской дороге наш узел развязался. Из него начали падать вещи. Моя невестка умоляла владельцев повозки остановиться, но дамы даже не отвечали. Сначала распался узел. Я устал подбирать падающие вещи и махнул на них рукой. Маша вопила. Там были ее платья и белье. Вслед за узлом с повозки свалилась ее деревянная картонка. Вещи попадали на землю, и подбирать мы их уже не могли, так как подвода пошла рысью, и мы уже не могли поспевать за ней. Мы отстали.

Издали мы видели, как с повозки еще падали какие-то вещи. И это был не единичный случай. По дороге мы наталкивались много раз на брошенные чемоданы, шинели и разные мелкие вещи. Обозы нас перегоняли. Вступая иногда в разговоры с обгоняющими нас пешими, мы слышали от них, что большевики идут по пятам, и если мы к утру не успеем перейти Днестр, то будем в руках у большевиков. Это была четвертая бессонная ночь без отдыха. Мы чувствовали, что будем не в состоянии поспевать за обозом. Я просил проезжающих взять хотя бы мою невестку, ссылаясь на то, что она сестра милосердия, но в большинстве случаев нам даже не отвечали. На мою просьбу откликнулась наконец баронесса Майдель, ехавшая с мужем и каким-то поручиком.

Я шел не спеша. Много раз я просил проезжающих взять меня, но мне отвечали, что нет места. Пользуясь темнотой, я пробовал незаметно прицепиться сзади к какой-нибудь повозке, но это мне не удавалось, так как обоз шел рысью и было слишком скользко. Мне казалось, что я уже устроился на одной фуре, но удержаться на ней мне не удалось. Я прицепился к другой повозке, где сзади сидела дама. Повозка ехала рысью, и я делал усилия, чтобы вскочить на ходу. Дама была так мила, что подала мне руку, но в тот момент, когда я уже достигал цели, я зацепился за что-то брюками и, падая, разорвал их во всю длину. Я отстал, но был не один.

Впереди и сзади шло вдоль дороги много народу. Я очутился рядом с шедшей одиноко прилично одетой дамой, которая участливо спросила меня, не ушибся ли я. Мы заговорили и пошли вместе. Она жаловалась на усталость и тоже панически боялась отстать. Все шли так скоро, что мы за ними не поспевали. Вдруг совершенно случайно я узнал в проезжавшей повозке наших лошадей. В пустой повозке сидели два военных -не то офицеры, не то солдаты. Я бегом догнал их и заявил, что это мои лошади, которых взяли для подвозки снарядов, и настаивал, чтобы они взяли меня с собой. Они без протеста остановились и взяли меня с дамой.

Мы ехали молча, во-первых, потому, что на повозке так трясло, что не было возможности говорить, а во-вторых, я видел, что дама устала еще больше меня. Мы доехали таким образом до села Коротное, где предстояла переправа на румынский берег.

Здесь я случайно натолкнулся на повозку начальника Хорольской тюрьмы Пастернацкого и полубольного начальника Кременчугской тюрьмы Борткевича с тремя тюремными надзирателями. От них я узнал, что Сребрянец, Тимофеев, Маяровский и Скуратт остались в Канделе. Солонина, Тарновский и Шрамченко идут с воинскими частями. Вообще в Канделе остались многие. Одни от усталости, другие просто потому, что не видели дальше исхода, а третьи потому, что не знали, что все убегают.

Больные и раненые в большинстве тоже остались. По крайней мере, когда я по дороге в с. Коротное встретил госпитального фельдшера и просил подвезти меня на подводах с ранеными, то он сказал мне, что никаких подвод с ранеными в обозе нет. Впереди в экипаже ехал старший врач Докучаев - это был весь госпиталь. Те раненые, которые были вывезены из Канделя, были обязаны частной инициативе и своим однополчанам. В с. Коротное мы опять соединились все вместе.

Этот переход был для меня невероятно тяжелым. Это был не

отход или отступление, а бегство, в котором люди теряли самообладание. Все знали, что большевики идут вслед за нами и ежеминутно могут настигнуть, и это создавало паническое состояние. Все стремились скорее вперед. Тем не менее в с. Коротное Пастернацкий заварил чай, и мы с удовольствием грелись в тепло натопленной хате. Я даже задремал, сидя на лавке, но спать пришлось недолго. Через час мы уже выступали и спускались в «плавни» реки Днестра.

Крестьяне с. Коротное относились к нам враждебно и не дали никому хлеба. Когда потом на румынской границе произошла катастрофа, они как шакалы бросились грабить обезоруженных румынами добровольцев и оставленных в камышах раненых. Мы узнали потом, что начальник штаба полковник Мамонтов проехал из с. Коротное вперед на румынский берег для переговоров с румынскими властями. Мамонтов поехал с тремя офицерами и попал в руки большевиков. Крестьянин с. Коротного привез офицеров в д. Глинное, где был отряд Котовского, и, подъехав к его штабу, сказал Мамонтову: «Вот тебе и румыны».

От с. Коротное до Днестра было не более 8 верст, но мы проходили это место страшно медленно. Сначала мы шли по льду, по-видимому, по замерзшим озерам. Затем обоз двигался по бесконечно длинной «гати». Затем мы опять вступили на лед и оттуда вошли в заросли густо поросшего камыша выше человеческого роста. Я шел рядом с повозкой, на которой сидела группа закутанных в одеяла дам. Тропа была выше дороги по бугру, так что иногда я шел почти в уровень с сидящими на повозке. Все дамы были очень молодые, по-видимому, жены и сестры офицеров. Я шел бодро и курил папиросу. Я видел, как дамы возились в торбе и начали есть. Я почувствовал запах съедобного. Мне ужасно хотелось есть. «Полковник, хотите кусочек сала?» - вдруг обратилась ко мне сидящая спиной к лошадям дама. Я этого не ожидал, но, конечно, принял с большой благодарностью протянутый мне большой ломоть хлеба с куском сала. Мы разговорились.

Дамы спрашивали меня, как я думаю, пропустят нас румыны или нет. Этот вопрос их очень беспокоил. Я не мог себе представить, что будет, если бы румыны нас не пропустили, и я счел долгом успокоить дам. После холодного утра как-то сразу наступила холодная оттепель. Временами шел дождь. Снег быстро таял, и стало скользко и мокро. Дороги как будто не было. Шли камышами в несколько рядов по расходящимся в разные стороны колеям. Местами были не замерзшие лужи, и приходилось ступать по щиколотку в воду. Очень часто по пути встречались глубокие водомоины и рытвины, покрытые льдом, и

тут повозки и лошади проваливались в воду. Несколько фур с вещами пришлось бросить. Одна лошадь окунулась в такую промоину, и ее вытаскивали на веревках.

Дорога была тяжелая. Крутые водомоины задерживали движение обоза. Каждую подводу приходилось вытаскивать из этих водомоин на руках. К двум часам мы подходили к Днестру. Густо поросший камыш был сплошь покрыт водой. Пришлось идти по воде местами глубиной в 2-3 вершка, а некоторые попадали в воду и по колено. Эти низменные места сменялись лозняком и растущими группами деревьями в обхвате толщиною. Затем опять камыш. Перед Днестром последовало распоряжение бросить повозки и тяжелые вещи и брать с собой как ручной багаж. Лед был слишком слаб, чтобы выдержать такую тяжесть.

Теперь только стало видно, что люди везли с собой. Здесь были целые склады одежды, обуви, сахара, муки, спирта и т.д. У многих были с собой койки, сундуки, детские ванны. Все это было брошено тут, в плавнях реки Днестр. Все, что нельзя было навьючить на лошадей и тащить на себе, все было оставлено и нарочно разбито, рассыпано и растоптано. Многие жадно разбирали это имущество и нагружали его на себя. Переходили Днестр осторожно - группами и частями. Было страшно. Артиллерия г. Мартынова была брошена. Броневик «Россия» и грузовики были взорваны еще в Канделе.

После переправы через Днестр по приказанию Стесселя начали группироваться. Мы присоединились к группе больных. Было очень холодно и мокро. По всему лугу начали разводить костры. Нам был видна вся площадь, на которой с котомками и вещами, детьми и женщинами, расположились прибывшие. Эта масса людей в числе более 12 тысяч человек менее всего была похожа на воинскую часть. Мы стояли долго. Против нас за дорогой стояло человек шесть румынских солдат. Скоро прошли слухи, что и здесь румыны не пропускают добровольцев. Публика волновалась и приходила в отчаяние.

Уже темнело. Люди от холода и голода тряслись как в лихорадке. Все понимали, что возврата назад уже не могло быть. Сзади были большевики, а все окрестные села были настроены большевистски. Пробираться дальше эти воинские части, конечно, не могли. Достаточно было взглянуть на эту изнуренную, деморализованную, голодную и озябшую массу людей, чтобы определенно сказать, что не только к бою, но даже к сопротивлению она не способна. Вновь всех облетела весть, что румыны положительно отказались пропустить добровольцев на румынскую территорию. Эти вести шли от самого Стесселя, и потому сомневаться было уже нечего.

Многие тотчас же отделились и начали самостоятельно пробираться в Румынию выше и ниже с. Раскаец. Генерал Васильев со Стесселем все же продолжали вести переговоры с румынским комендантом. Присутствовавший при этих переговорах полковник Товастшерна рассказывал нам, что генерал Васильев упрашивал коменданта хотя бы дать возможность переночевать в с. Раскаец, чтобы обдумать, что предпринять и дать людям отдохнуть. В конце концов румынский комендант дал слово, что до утра со стороны румын не будут проявлены активные действия и, во всяком случае, не будет открыта стрельба. Уже было совершенно темно, когда было приказано идти на ночлег в с. Раскаец.

Впереди шли больные и раненые. Наша группа сразу возросла до небывалых размеров. Образовалась тысячная толпа. За больными должны были идти разные воинские части. До села было версты две. Сначала шли в порядке, но скоро отдельные части стали перегонять друг друга, и в результате образовалась невероятная давка, суета и беспорядок. Больные и раненые остались позади. Я вновь встретился здесь со своим приятелем полковником Ясновским, который едва двигался в числе больных воинов. Эта толпа больных представляла собой ужасное зрелище.

Тут были полковники, офицеры, солдаты, чиновники, стражники, просто беженцы с семьями. Здесь были переутомившиеся и приморожденные. Все стремились попасть в теплое помещение, отдохнуть, но были и тифозные больные, которые тащились за толпой, зная, что если они отстанут, то погибнут. Многие падали по дороге, но никто не обращал внимания на них. Один упал с насыпи и скатился в канаву. Кто-то крикнул, что его нужно поднять, но толпа шла все дальше. Люди стонали и некоторые просто кричали: «Ой, ой, ой». В абсолютной темноте, ежеминутно спотыкаясь о колоть, эта масса людей еле двигалась и производила жуткое впечатление людских страданий.

Между тем обгоняющие больных воинские части совершенно не считались с этими несчастными людьми. Они рвались вперед, наталкиваясь и сваливая с ног в темноте раненых и больных, и протискивались вперед, сталкивая их с дороги. Чуть ли не после всех больные и раненые были пропущены в Раскаец. Нам было указано два помещения, одно для больных, другое для раненых. Конечно, в этих хатах не могла разместиться и малая часть всех желающих обогреться. Большинство разместилось в сараях, в конюшнях и просто во дворе под заборами.

Мы заняли пустые повозки, которые стояли во дворе и на которых была солома. О том, чтобы поесть, не могло быть и речи. Русское население (бессарабцы) точно спрятались, и не в одной

хате их не было видно, и притом было уже поздно. Мы легли по три, четыре человека на повозке и зарывались в солому.

Было холодно, но я заснул сейчас же. Спать пришлось недолго. Я был разбужен и сразу не мог прийти в себя. Где-то на горе трещали пулеметы, и во дворе ясно слышалось визжание пуль. Что это означало, мы не могли понять, но визжание пуль в этом дворе не подлежало сомнению. Мы встали и продвинули повозки к сараю, чтобы укрыться от пуль. Я не мог больше спать. Было слишком холодно, и я трясся как в лихорадке. К тому же у меня сильно болели приморожденные руки. Пулеметы стреляли периодически всю ночь. Заходившие к нам во двор говорили, что повсюду визжат пули и есть будто бы раненые. Под утро я втиснулся в переднюю хаты (сени) и здесь, стоя посреди лежащих вповалку больных, выстоял до рассвета.

К утру прошел слух, что всем приказано немедленно оставить Раскаец и возвратиться на русский берег. Румынские власти категорически требовали оставления добровольцами румынской территории. Тот, кто не подчинится этому распоряжению, будет расстреливаться. Это было 3 февраля ст.ст. Я вышел на улицу, чтобы проверить этот слух. С горы продолжали стрелять пулеметы. На улице была масса народа. С котомками на плечах и с ручными вещами военные, статские с женщинами и детьми торопились на сборный пункт к штабу. Конный чеченец ездил по улицам и передавал приказание генерала Васильева о немедленном оставлении всеми с. Раскаец.

Возвратившись в хату, я взял свою котомку, и вместе с невесткой мы направились к штабу. Здесь я распрощался с полковником Ясновским. Он сказал мне, что ни в коем случае не пойдет дальше, хотя бы это ему угрожало расстрелом. У него был заграничный паспорт, на который он сильно рассчитывал. Мы шли, как и другие, пригнувшись возле заборов, чтобы не быть раненными шальной пулей, и совершенно не понимали, что происходит вокруг нас. По общему мнению, румыны стреляли в воздух, чтобы этой угрозой заставить добровольцев покинуть Раскаец, но по мере приближения к штабу выяснилась совершенно иная обстановка.

На улицах все чаще и чаще встречались раненые. Толпа становилась гуще. Все шли к сборному пункту. Около штаба уже выстраивались колонны войсковых частей, возле которых группировались беженцы. Мы подошли к этому месту в тот момент, когда масса дрогнула. Румыны направили пулеметы в это место. Несколько человек было убито и ранено, часть публики начала разбегаться, а воинские части быстрым шагом двинулись к Днестру. Генерал Васильев уже выехал. Стессель собирал возле

себя отряд, чтобы прорваться на Тирасполь на соединение с армией генерала Бредова. Мы хотели присоединиться к этому отряду, но Стессель принимал только способных к бою, предупреждая, что ни обозов, ни женщин он с собой не берет и не будет даже подбирать раненых.

Что было делать и как поступить, никто не знал. Каждый был предо -ставлен самому себе. Общего руководства уже не было. Мы встретили здесь наших сослуживцев Солонину и Тарновского, которые тоже не знали, как поступить и на что решиться. Стоя на углу площади, мы пропускали проходившие мимо нас группы воинских частей. Медлить было нельзя. Румыны направляли огонь на эти группы. Люди и лошади падали на наших глазах. Стоявший возле нас солдат упал и крикнул, что он ранен. Мы залегли. Пули визжали над нами. Легли все, кто стоял на этом месте. Несколько раз мы подымались, но каждый раз визжание пуль заставляло нас вновь ложиться.

Это проклятое место было роковым для многих. Ряды отступающих добровольцев редели. Более ста человек было убито и ранено на этом пути отступления. Здесь были и женщины, и дети, и гражданские люди, которые, растерявшись, шли туда, куда идут все. Другого выхода из положения не было. Всем стало ясно, что румыны расстреливают уходящих добровольцев. Мы решили идти, чтобы не отставать от других. На ближайшем перекрестке улиц мы свернули налево, чтобы зайти в хату, где помещались Пастернацкий с женой и Борткевич с тюремными надзирателями. Мы не нашли здесь только одного Шрамченко, который неизвестно куда подевался. Они вьючили своих лошадей и собирались уходить. В хате скопилось много людей, в большинстве интеллигентной публики, выжидавшей момент, когда утихнет стрельба. Пуля попала в окно и, пробив стекло, засела в печке. Совершенно так же попала пуля в помещение, где был полковник Стессель. Пуля пролетела над его головой. Мы решили идти, не ожидая других.

Пулеметная стрельба не прекращалась. На улицах лежали убитые и раненые. На площади лежала убитой сестра милосердия, личность которой нам удалось установить несколько позже. Это была Зинаида Михайловна Мальчевская из Чернигова. Возле нее лежала убитая лошадь, а несколько дальше ничком лежал убитый кавалерист со шпорами. На этом месте была убита жена командира винницкой уездной стражи А. М. Крыжановского, ехавшая с сыном четырех лет на повозке. Сзади ехал верхом сам Крыжановский, под которым была убита лошадь. Пока Крыжановский возился с женой, перенося ее в хату, ребенок с повозкой затерялся, и отец больше уже своего сына не видел. Мы

видели потом г. Крыжановского и много с ним беседовали. После тяжкой формы сыпного тифа он был почти невменяемым. Это был живой труп.

Мы шли по этому открытому месту. Пули беспрестанно визжали над нами, и мы не рассчитывали благополучно дойти до Днестра. Мы встретили здесь трех раненых офицеров, сидевших на земле в беспомощном состоянии и стонавших. Молча мы прошли мимо них. Было как-то стыдно и отвратительно на душе. Чувствовалось, что нужно было что-то сказать, но что именно... При выходе из деревни дорога к Днестру была окаймлена канавами. Пригнувшись, мы шли по канавам. Здесь шли отставшие и больные, которые, как и мы, шли нагнувшись за насыпью.

Временами пулеметная стрельба усиливалась, и мы ложились, прислушиваясь к визжанию пуль. Мы встретили по дороге полковника Г. А. Товастшерна, который сидел в канаве под деревом, поджидая своих компаньонов. Мы вспоминали с ним потом, что он заставил нас выйти из канавы и таким образом он косвенно был причиной тому, что мы подверглись обстрелу на открытом месте. Несколько дальше в канаве, согнувшись, сидел пожилой офицер, видимо, тяжело раненный. Проползая мимо него в тот момент, когда пулеметы трещали особенно яростно, *я* спросил офицера, куда он ранен. Рана была в животе, и офицер как-то безразлично смотрел перед собой. Мимо него ползком пробирались десятки и сотни людей, и офицер сидел молча. Мы встретили еще несколько раненых, сидевших в канаве, и все они молча переносили свои страдания. С ними никто не заговаривал.

Румыны обстреливали и переправу через лед на Днестре, где скопились вышедшие из с. Раскаец. В числе прочих мы поэтому свернули налево и решили идти без дороги. Скоро мы вышли из сферы обстрела и подошли к Днестру. Нас было пять человек: сестра милосердия М. К. Воздвиженская, Солонина, Тарнавский, Андреев и я. Мы перешли Днестр и сели на русском берегу, чтобы отдохнуть и обдумать свое положение. Мы решили ни в коем случае в Одессу не возвращаться. Мы знали, что генерал Васильев группирует публику, чтобы идти обратно в Одессу и сдаться на милость победителя. Потом мы узнали, что из этого ничего не вышло. По слухам, генерал Васильев застрелился на льду.

Масса народу очутилась в плавнях реки Днестра в безвыходном положении. Но едва ли не в худшем положении были те, кто остался в с. Раскаец. Когда все воинские части ушли из деревни, стрельба прекратилась. Патрули румынских солдат вошли в Раскаец и стали выгонять оставшихся. Врываясь в хаты, где оставались еще русские, они грубо выгоняли их, выкрикивая

по-своему «napoi> (назад). При этом румыны требовали выдачи оружия и производили обыск. При обыске они отбирали у русских все, что было при них, снимая даже верхнюю одежду и отбирая силой кошельки с деньгами, часы, кольца и прочее.

Одурманенные этим грабежом, румыны уходили дальше. Изгнанные из хат больные возвращались обратно. Но через некоторое время в хату врывался другой такой же румынский патруль, и вновь начинался грабеж и выселение. Я имел беседу со старшим врачом 1-го Запасного госпиталя Николаем Николаевичем Докучаевым, который расположился со своим госпиталем в двух хатах с. Раскаец, выкинув флаг Красного Креста. Мы с вечера искали этот пункт, но не нашли его вследствие позднего времени. Доктор был уверен, что распоряжение румынских властей об оставлении русскими румынской территории не касалось больных и раненых, так как среди них была масса тяжелораненых и сыпнотифозных и потому еще, что Красный Крест пользуется международным покровительством.

Выслав санитаров со старшими сестрами милосердия для подбирания раненых во время обстрела румынами уходящих добровольцев, доктор Докучаев открыл перевязочный пункт, ошеломленный действиями румын по отношению к русским людям. В течение двух-трех часов на перевязочный пункт было доставлено более 150 раненых. Убитые не подбирались. В разгар работы, когда уже прекратилась стрельба, на перевязочный пункт явился румынский патруль и предложил врачу немедленно покинуть с. Раскаец. При этом румынские солдаты потребовали выдачи оружия и бесцеремонно брали лежащие в хате котомки и чемоданы с вещами. В других хатах патруль держал себя еще более дерзко и просто снимал с больных одежду и отбирал у них кошельки с деньгами, кольца, часы, портсигары и прочие ценные вещи.

Врач Докучаев и сестра милосердия Вера Абалкина (из Бессарабии), говорившая по-румынски, объясняли патрулю, что здесь помещается госпиталь Красного Креста, который пользуется международным признанием, но румыны настойчиво требовали оставления с. Раскаец. Патруль за патрулем приходили в эти хаты и, обирая больных, требовали, чтобы больные немедленно уходили из хат. Доктор указывал, что среди раненых и больных есть такие, которые не могут стоять на ногах и находятся в бессознательном положении, но румыны упорно повторяли одно и то же («naid» и «napoi»). Доктор колебался. Больные в нерешительности то выходили из хат, то вновь возвращались.

Наконец, около четырех часов дня к госпитальным хатам

подошла толпа местных крестьян человек в тридцать во главе с местным старостой. Староста был пьян и требовал немедленного оставления деревни, угрожая в противном случае применить оружие. Многие крестьяне были вооружены тесаками, которыми был вооружен и староста. Румынский патруль стоял в стороне и как бы не принимал в этом участия. Староста предъявлял это требование в категорической форме и при малейшей заминке хватал больных за шиворот и выталкивал во двор. Входя постепенно в азарт, староста сорвал флаг Красного Креста и начал применять физическое воздействие. Офицер Иван Андреевич Гиренко рассказывал нам, что его, совершенно больного, лежавшего на печи, схватили под руки и вытолкали из хаты. Кто возражал, того били.

Священник отец Сергий Калита (из. г. Конотопа) говорил нам, что душа содрогалась при виде такого обращения с больными русскими воинами. В присутствии врача Докучаева и сестер милосердия староста нещадно избил по лицу тяжело раненного в то же утро солдата Баушанова (Авксентия Ивановича из г. Херсона). Пуля прошла ему в затылок и через небо вышла возле правого глаза. Из горла и носа у Баушанова шла кровь. Тем не менее его били по этому окровавленному лицу. Мы видели потом в городе Варне Баушанова, и он рассказывал нам этот эпизод. Староста ни с чем не считался, и в присутствии врача Докучаева сорвал в споре косынки с сестер милосердия Абалкиной и Пассовой.

Нам рассказывал затем командир винницкой уездной стражи полковник Крыжановский, что румыны били его так жестоко, что выбили зуб. Пришлось уходить. Больные и раненые построились в ряды и, предшествуемые медицинским персоналом, оставляли Раскаец. К ним присоединились оставшиеся в Раскойцах и вынужденные теперь уходить полковники: Л. Н. Николаенко, барон Нольде, А. П. Кочуков, А. Я. Ольховиков и Янковский, поручик Антонович, корнет Демченко, поручик Котлубай и много других. К этой процессии присоединялись и те, кто в одиночку уходили из с. Раскаец.

Число отступающих возросло до 400 человек. Тяжелораненые и умирающие, конечно, остались, и что с ними стало - неизвестно. По объяснению врача Докучаева, в этой группе было много таких, которым нужно было лежать на койке. Тут были и с высокой температурой, и сыпнотифозные. Они еще двигались и могли идти только при поддержке других. Несколько человек отстали и, вероятно, были подобраны румынами. На берегу Днестра возле румынского кордона эта партия больных встретила другую партию военных, которые также были изгнаны румынами

из с. Раскаец. Они встретили врача Докучаева заявлением, что нашли двух румын-пограничников, которые берутся за деньги провести их в с. Пуркары на румынской территории, где есть больница.

Докучаев с сестрами милосердия вступил в переговоры с этими сержантами. Сестра Варя Абалкина собирала «царские деньги» и золотые вещи, чтобы заплатить румынам. Получивши большой куш, румыны приняли под свое покровительство всех прибывших и указали для ночлега две хаты на русском берегу, медицинскому персоналу разрешили переночевать у себя на румынском посту. Не обошлось без недоразумений. Один из румын оказался обойденным и требовал золотые часы и кольцо. Сестра Абалкина просила присутствующих пожертвовать на общее дело эти вещи, но никто на это приглашение не отозвался. Тогда врач Докучаев отдал свои часы, а кольцо дала сестра милосердия. Румыны просили никому не говорить об этом. В сопровождении пограничника сестры Докучаева и Абалкина отправились сейчас же в с. Пуркары для переговоров о принятии больных и раненых в местную больницу.

Между тем наступила ночь. Разместившись частью в двух полуразрушенных хатах бывшего русского поста, частью во дворе, больные про -вели ночь в холоде и голоде, не евши ничего существенного уже несколько дней. С рассветом возле хаты появились группы бедных крестьян, в большинстве мальчишек, которые, вступая в разговор с добровольцами, уговаривали их переходить на сторону большевиков, разъясняя, что большевики никого не расстреливают, а больных отправляют в Одессу. Вслед за мальчишками стали появляться взрослые и весьма пожилые крестьяне, которые уже требовали, чтобы добровольцы сдались и шли к большевикам.

Они держали себя дерзко и под видом обыска начали грабить и снимать с присутствующих верхнюю одежду, угрожая в случае сопротивления применить оружие. Мужики были вооружены в большинстве топорами, но были и с винтовками. Остальные держали в руках колья. Было ясно, что крестьяне пришли грабить. Полковник А. Я. Ольховиков заявил нам, что крестьяне сняли с него шинель и отобрали сумку с вещами и часы. Полковника Янковского ограбили дочиста. И. А. Гиренко рассказывал нам, что с него сняли шубу и силой заставили выйти из хаты, чтобы следовать к большевикам. Мужики говорили, что сейчас придут крестьяне села Завертаевки всем селом, и все равно всем присутствующим придется сдаться большевикам.

Еще в самом начале полковник Сергей Михайлович Гегелло, вспомнив вчерашнее обещание румын помочь, если бы их пришли

бы грабить, быстро направился с двумя офицерами на румынский пост и сообщил румынам, что крестьяне грабят и заставляют идти к большевикам. Румынские пограничники в числе пяти человек схватили винтовки и, перебежавши Днестр, неожиданно появились среди грабителей. Большинство крестьян бросилось бежать. Остальных румыны застали на месте преступления. Крича что-то по-румынски, один из румынских солдат замахнулся прикладом винтовки на пожилого крестьянина с окладистой бородой и ударил его в бок. Мужик поднял обе руки вверх, желая, по-видимому, защититься и упустил награбленные им вещи (желтый чемодан и солдатскую шинель). Другой крестьянин, к которому подбежал румын и целился ему прямо в грудь, бросил вещи, ограбленные им у полковника Ольховикова, и, как бы защищаясь руками, молил о пощаде, выкрикивая, что у него пять душ детей. Румын выстрелил, и мужик упал навзничь, умирая на глазах всех окружавших его. В это время штабс-капитан Котлубай (сын расстрелянного в г. Николаеве генерала Котлубая) гнался за убегавшими грабителями и стрелял по ним из оставшегося при нем револьвера. Котлубай догнал пожилого мужика и почти в упор убил его двумя выстрелами.

После этого румыны пригласили всех бывших на русском берегу перейти на румынскую сторону к румынскому кордону. Почти до вечера больные и раненые сидели на румынском посту озябшие и голодные, пока наконец сестры Докучаева и Абалкина не вернулись из Пуркар. Румынский комендант и врач в Пуркарах согласились принять больных, но в числе не более 50 человек. Врач Докучаев начал выбирать наиболее серьезных больных. На этой почве произошло много недоразумений и ссор. Доктор обещал остающимся лично попросить коменданта и высказывал уверенность, что завтра все будут пропущены в Пуркары, но публика на это не соглашалась, и когда партия в 50 человек двинулась в путь, все остальные последовали за ними.

Никакие угрозы на них не действовали. Каждый понимал, что остаться - это значило погибнуть. Сестра Абалкина возмущалась этим и кричала, что скажет по-румынски сержанту, и их отправят на «тот берег». Выхода из положения не было. Вся эта группа людей шла вперед, но не успели они отойти и сотни шагов от румынского пикета, как с горы по ним начали крыть пулеметы. Вся партия легла на землю. Румынский сержант, сопровождавший партию, махал шапкой и руками, показывая пулеметчикам, чтобы они прекратили стрельбу, но это было безрезультатно. Румын побежал на пост и верхом на лошади поехал на гору, чтобы переговорить с пулеметчиками. Более четырех часов вся эта группа людей, больных, голодных, иззябших и страдающих

лежала на снегу при морозе до 12 градусов, и никто не мог приподняться, так как румыны тотчас открывали огонь. Доктор говорил нам, что именно здесь, на этом месте многие поотмораживали себе конечности и застудили болезни.

Румынский офицер, прибывший с горы, уладил этот инцидент и разрешил всем, как больным, следовать в Пуркары. Местные жители в Пуркарах (бывшие русские) знали уже о трагедии добровольцев и выслали навстречу больным подводы. В Пуркары к тому времени привезли раненых и больных, оставшихся в с. Раскаец. Многие из них по дороге умерли и замерзли. Их везли в десятиградусный мороз почти голыми. Некоторые были в бессознательном состоянии, и среди них были сыпнотифозные. Больница в Пуркарах была переполнена, поэтому прибывших разместили в школе. Школа была неотапливаемая, и здесь, в этом холоде, нашли себе наконец покой эти исстрадавшиеся люди.

Местное население, конечно, отнеслось очень сочувственно к прибывшим и тотчас снесли в школу массу съестных припасов и вина, которыми накормили изголодавшуюся публику. Румыны ничего не сделали для русских. Впрочем, явившийся в школу комендант был любезен и распорядился выделить особо тяжело раненных и отправить их в больницу. Возле школы был сначала поставлен румынский караул, но через два дня он был снят. Румынский комендант Пуркар говорил потом врачу Докучаеву, что в плавнях реки Днестра лежит свыше 500 трупов русских, погибших при переходе румынской границы.

Это подтверждали также привезшие из с. Раскаец в Пуркары раненых и больных. Они рассказывали, что их по наряду заставляли подбирать на льду раненых, которых они возили целый день в Раскаец. Они видели на льду и в плавнях массу замерзших и убитых. Они же - эти прежде русские-бессарабцы, а теперь румынские подданные - говорили нашим офицерам, что они приняли бы добровольцев в село Раскаец, но румыны не позволяли дружелюбно относиться к добровольцам. Из медицинского персонала кроме Мальчевской погибла сестра милосердия Васта Никифоровна Толмачева. Судьба ее точно неизвестна, но по слухам, сказал мне Докучаев, она была ранена в с. Раскаец, а потом кто-то видел будто бы ее мертвой. Обе сестры погибли при исполнении своего святого долга. Кроме того, пропал без вести чиновник П. А. Берзин - помощник заведующего хозяйственной частью при госпитале.

Таково было отношение к русским людям, спасавшимся от смерти на том берегу, где бандиты, как шакалы, хватали выбрасываемых румынами им в пасть обессиленных страданиями русских людей. Впрочем, было бы несправедливо не отметить, что и среди румын попадались порядочные люди. Сестра милосердия Тамара Моисеевна Кирпотенко рассказывала нам, что, оставшись в хате с пятью почти умирающими, она не знала, как нужно было ей поступить, когда румыны гнали этих больных из хаты. Больные вовсе не реагировали на выкрики свирепых румын и вряд ли даже слышали их крики. Тем тяжелее было ее положение. Она должна была решить вопрос, как поступить и что отвечать румынам. Она плакала, а больные относились уже безразлично к присутствию посторонних людей.

По-видимому, и на румын действовало это гробовое молчание и без -различие людей, сводящих последние счеты с жизнью. Патруль уходил, не добившись ответа. Тотчас после него к этим несчастным врывался другой и третий патрули, и все они должны были уходить как из склепа, сознавая, что их крики «naid» и «napoi» не смогут воскресить человека. Сестра заливалась слезами и ломала себе руки. У больного рана была выше груди, почти у самого горла. При кашле из раны были брызги и сгустки крови. Больной хрипел и силился говорить. Сестра затыкала ему эту рану тампоном, и только тогда больной успокаивался. Тампон вырывался со свистом каждый раз, когда приходили румыны. Сестра начинала плакать.

Последний патруль наткнулся на этот момент, и старший из них как бы окаменел от этого ужаса. Сестра плакала и приговаривала: «Боже мой». Унтер-офицер подошел к сестре, но сестра Кирпотенко была занята. Больной хрипел, и сестра затыкала ему тампон. Румын схватил себя за голову и взял сестру за руку, спросил, не нужно ли ей чего-нибудь. Он говорил по-русски. Сестра разрыдалась и не могла ничего ответить. Румыны исчезли. Минуту спустя унтер-офицер явился с большим хлебом и сказал сестре, что он приказал хозяйке сейчас же приготовить для нее и больным суп. Он спросил сестру Кирпотенко, хочет ли она есть и как долго она ничего не ела. Сестра ответила, что последний раз ела в Канделе, а больных она посетила вчера утром и потому не знает, когда последний раз они ели.

Фельдфебель (или унтер-офицер) приказал солдатам не трогать больных и лично проявлял заботу о них. К вечеру к хате подъехали две подводы, запряженные волами, и больные были отправлены вместе с ней в Пуркары. Сестра рассказывала нам, что этот румын был, видимо, очень добрый. Каждый раз, когда больной начинал кашлять, он как бы хватался за голову и на

глазах его наворачивались слезы. Своими заботами он старался, по-видимому, нейтрализовать тот кошмарный ужас, который предстал перед ним. Человеческие нервы не выдержали, и свидетель международного преступления схватился за голову.

Излагая эти события, мы совершенно забыли тех несчастных, которые не попали с вечера в Раскаец. Они были забыты. Дело в том, что когда было отдано распоряжение идти на ночевку в с. Раскаец, кто-то объявил, что за тяжелоранеными и теми, кто не может идти, будут высланы подводы. Между тем никаких подвод за ними выслано не было, и они пролежали на снегу всю ночь. Утром, рассказывал нам полковник Павел Емельянович Булгаков, появились одиночками и группами крестьяне из с. Коротное и грабили раненых. Одни за другими группы грабителей отбирали у раненых все, что было при них. Что не взяли одни, отбирали другие. Некоторых грабили по 7-8 раз. Лично полковник Булгаков видел двух-одного офицера и солдата, идущими в одном нижнем белье при 10-12 градусах мороза. При нем были ограблены командир конотопской стражи Шкуратов и его помощник Степаненко, которому впоследствии ампутировали обе отмороженные ноги.

Свидетелями этого грабежа были полковник Ульянов и капитан Куприянов. Еще в самом начале, когда появились первые грабители, раненые начали расползаться и прятаться в камышах. В группе полковника Булгакова было 15 человек, но они тоже расползлись, а полковник, раненый в ногу в бою при Канделе, решил пробираться в направлении к с. Раскаец. Было холодно, рассказывал полковник. Оставаться в плавнях было невозможно. Нужно было на что-нибудь решиться, но стать на ногу он не мог. Он полз. На своем пути Булгакову встречались группы военных и статских, которые говорили еще, что из с. Раскаец румыны всех выгнали и расстреливают тех, кто переходит границу. Полковник в свою очередь предупреждал, что здесь грабят.

Одиночным порядком полковник Булгаков полз с больной ногой более двух верст и дополз к вечеру до ближайшей хаты. Там было уже 6-7 офицеров совершенно ограбленных. Здесь полковник узнал, что из Бухареста получено распоряжение, чтобы раненых и больных обратно не возвращали на русский берег. Приходившие патрули искали только здоровых, а больным объявляли, что они будут отправлены в пуркарскую больницу. Любопытно, что хозяин этой хаты по фамилии Лазарт оказался очень гостеприимным и в изобилии снабжал офицеров пищей, объясняя, что вчера крестьяне не могли проявить своих симпатий русским, так как румыны предупредили их, что все село будет ими сожжено, если они примут русских с того берега.

* * *

Мы сидели на русском берегу реки Днестра и обсуждали свое положе -ние. Несмотря на сильный мороз, было жарко - вероятно, от того подъема настроения, которое было вызвано нашим отступлением из с. Раскаец.

Во всяком случае, мы решили отделиться и действовать самостоятельно. Публика шла в разных направлениях. Многие в одиночку и группами подходили к нам и спрашивали, что мы решили предпринимать. Мы отвечали, что сами еще не знаем, но в группу генерала Васильева мы не пойдем. Они шли дальше, по-видимому, сами не зная, куда и зачем они идут. Мы решили идти на север по берегу вдоль Днестра и пробираться на Каменец-Подольск. Мы карты не знали и не знали того расстояния, которое нам предстоит сделать. Вероятно, это было верст шестьсот. Нам казалось, что возле самого берега большевиков не будет, и нам удастся благополучно миновать опасные места. В крайнем случае мы перейдем где-нибудь выше Днестра и будем пробираться по ночам по румынской территории. Мы не сомневались, что нам придется претерпеть большие лишения и, может быть, нас по дороге ограбят, но выбора не было. Идти сдаваться большевикам было безумием.

К нам присоединился некто А. А. Мельников, помещик Гомельского уезда, правовед, который умолял нас принять его в компанию. У нас у всех была только одна тревожная мысль. Мы боялись замерзнуть и умереть с голоду, если крестьяне отнесутся к нам враждебно. Но в таком положении, как мы, были многие. Из с. Раскаец вышли тысячи людей с женщинами и детьми, которые так же, как и мы, находились в плавнях реки Днестра. Большинство, конечно, попадет в руки большевиков, но мы хотели избежать этого. Еще в с. Раскаец мы видели эту ужасную трагедию. Отдельные группы военных, целые воинские части, статские с женщинами и детьми в диком ужасе под пулями в мороз шли голодные и усталые обратно на русский берег на полную неизвестность. Многие не выдержали и лишили себя жизни. Между прочими на глазах жены и некоторых офицеров застрелился полковник Майдель, тот, который подвез мою невестку до с. Коротное.

Очутившись на льду в камышах, люди не знали, на что решиться. Потом мы узнали, что многим удалось все-таки остаться на румынской территории, а некоторые перешли тотчас границу выше и ниже с. Раскаец и удачно скрылись от румын. Румыны выискивали укрывающихся и отправляли на русский берег тех, кого задерживали. Конечно, громадное большинство осталось в камышах. Часть их замерзла, часть попала в руки

большевиков, а что сталось с остальными, мы не знаем. Несомненно было только одно: все были ограблены румынами, крестьянами и большевиками отряда Котовского, который специально занимался ловлей остатков добровольческой армии и грабил всех тех, кто очутился в плавнях реки Днестра.

Потом уже, проходя Бессарабию, мы узнали, что повсюду в деревнях и селах Бессарабии (ныне Румынии) лежит масса больных русских, причем в одном только селе Пуркарах в 18 верстах от с. Раскаец находится свыше 80 человек с отмороженными конечностями. Большевикам и местным крестьянам досталась громадная добыча. Все то, что было оставлено в плавнях при переходе Днестра, вместе с громадным количеством повозок, упряжью, сундуками и прочим имуществом досталось прежде всего крестьянам, затем румынам и потом большевикам. За это имущество боролись между собой румыны, большевики и крестьяне.

Мы торопились и взяли налево, чтобы не терять из виду правый гористый берег Днестра. Мы шли без дороги камышами и местами, заросшими лозой. Становилось холодно. Мороз покрыл инеем лица и выступал на воротниках. Нас обгоняли статские и военные одиночками и группами и спрашивали, куда мы идем. Теперь мы уже твердо отвечали: «В Каменец-Подольск». На нас, вероятно, смотрели как на сумасшедших, но и у них вид был не лучше. Глаза их горели, лица были бледные, худые, грязные. Каждый тащил с собой котомку, чемодан или сумку. Они все почему-то брали вправо и шли быстро. Мы боялись потерять берег и держали левее.

Скоро мы вышли в лес или вернее в болотистое полесье. Деревья здесь были тонкие, высокие и густо поросшие. В этой лесной глуши мы скоро увидели весьма пожилых лет крестьянина с девочкой лет четырнадцати, который рубил и наваливал на дровни дрова. Почтенная его наружность не вызывала сомнения в том, что с этим человеком можно было бы поговорить, посоветоваться, и мы подошли к нему. Старик оказался неприветливым и, видимо, не желал с нами говорить. По моему мнению, он крал дрова и сам скрывался от людей. Я отлично сознавал, что наш план граничит с безумием и что пройти так 600 верст нам не удастся, тем более что уже несколько дней мы были почти без пищи и без сна. Но что было делать? Единственная надежда была на крестьян, если они не выдадут нас большевикам, но уверенности в них не было. Мы решили действовать осторожно.

Решено было переждать здесь и переночевать в этом лесу. Мы уже выбрали раскидистое дерево, под которым было много сухого

листа и выступал толстый корень, делая как бы углубление возле объемистого ствола. Место было глухое, покрытое снегом, на котором нигде не было видно следов. Очевидно, сюда никто не ходил. С Бессарабского берега периодически и со всех сторон трещали пулеметы, обстреливая подступы к румынской территории. О переходе Днестра не могло быть и речи. Да к тому же мы знали, что румыны все равно переправят нас обратно, если бы мы вступили на их территорию. Выбора не было. На этом берегу постоянно слышались одиночные выстрелы, но не так уже близко. Мы начали было устраиваться. Это было, вероятно, около 12 часов дня.

Вдали за деревьями показался солдат с винтовкой за плечом. Мы переглянулись, но он был один и казался нам нашим. Он приближался к нам. Б. М. Солонина и Н. А. Тарнавский вышли к нему и вступили с ним в разговор. Это был местный житель из д. Глинное. Почему он был с винтовкой и в солдатской шинели, это было непонятно. Погон и кокарды на нем не было. От него мы узнали, что все окрестные села уже заняты большевиками. Здесь, в д. Глинное, находится штаб отряда Котовского, и вряд ли нам удастся пройти незамеченными. Он советовал нам перейти на румынскую сторону и взялся указать крестьянина, который все устроит и проведет нас через Днестр. Он специально этим занимается, сказал нам солдат. Мы согласились и последовали за ним.

Он вывел нас на большую дорогу и потом свернул по проселку к огородам, возле которых еще издали были видны стоящие с дубинами в руках деревенские парни. Солдат объяснил нам, что это местная оборона. До очевидности было ясно, что это просто грабители, грабившие всех, кто только выходил на эту дорогу. Когда мы поравнялись с ними, они подошли к нам и преградив дорогу потребовали выдачи оружия.

Наш провожатый сделал им знак и, отведши одного из них в сторону, заговорил с ним шепотом. Нас пропустили. Солдат завел нас в сторону от дороги на огороды с низкими плетнями и здесь предложил нам обождать. Мы сели в канаве под деревом. Издали в тумане были видны высокие горы бессарабского берега и недалеко от нас большая дорога, которую мы только что пересекли.

Местность была низменная, луговая. Очевидно, это был сенокос. По канавам рос лозняк и громадные вербы. Как будто предчувствие подсказывало мне, и я все время старался запомнить дорогу. Обстановка была слишком странная, чтобы не чувствовать, что благополучно не кончится. Через минуту из-за плетня показался представительной наружности с большими

седыми усами господин с дамой и девочкой лет четырнадцати. На нем была фуражка почтового ведомства. Проходя мимо нас, он приостановился и сказал: «А нас ограбили - отняли все». Он был как бы в исступлении и не понимал, по-видимому, что делал. Такой же растерянный вид был у дамы. Он шел, по-видимому, с женой и дочерью в д. Глинное, которая была занята большевиками. Мы сказали ему об этом. Он спросил нас, куда мы идем, и прошел дальше.

Мы были, очевидно, у самой деревни Глинное, так как очень скоро наш солдат вернулся в сопровождении мужика, который мог устроить нам переправу на румынскую сторону. Крестьянин пожилых лет с окладистой бородой, весьма благообразной наружности, после знакомства с нами обещал сегодня же переговорить с румынами и условиться с ними о цене. Мужичок этот был с нами очень любезен и, по-видимому, искренно входил в наше положение. Он сказал, что сегодня нам придется переночевать здесь, и указал нам на ближайшем огороде камышовый курень, где мы можем устроиться на ночь. Он производил симпатичное впечатление, и мы ему всецело доверились. Он предупредил нас, чтобы мы остерегались грабителей, и обещал со своей стороны оберегать нас. Мы обратились к нему с просьбой достать нам хлеба, но он безнадежно махнул рукой и ответил, что хлеба в деревне нет вовсе.

В разговоре мы не заметили, что недалеко от нас по большой дороге ехала в конном строю какая-то воинская часть. Мужичок встрепенулся и, быстро пригнувшись к земле, показал нам рукой, чтобы мы легли в канаву. Это был отряд большевистской конницы Котовского. Осторожно выглядывая из канавы, мы смотрели на ехавший шагом отряд, состоящий более чем из ста всадников. Многие из них были в солдатском одеянии, но большинство были в кожухах и ободранном одеянии. Было совершенно непонятно, как они не обратили на нас внимание. Очевидно, кустарники и несколько больших деревьев спасли нас. Мужичок сказал, что Котовский находится в ихней деревне Глинное и ловит добровольцев. Он предложил нам скорее спрятаться в курень и не выходить. Мужичок удалился и сказал, что скоро вернется. Уходя, он советовал громко не разговаривать.

Поведение мужичка не внушало нам подозрения, но те молодые люди, которых мы встретили по пути, пугали нас. Они все время крутились возле и, по-видимому, не выпускали нас из виду. К тому же мы знали, что они ограбили того господина в фуражке почтового ведомства, который проходил мимо нас. Они видели, как мы входили в курень, и по -тому мы решили

незаметно перейти в соседний такой же курень. Мы видели через камыш, как некоторое время спустя они заглянули в прежний курень, и не найдя нас, проявили нервность и после совещания быстро направились к нашему куреню. Они нашли нас, и появившись у входа в курень, молча смотрели на нас. После нескольких глупых и неловких минут такого молчания они вновь спросили, есть ли у нас оружие.

Только теперь мы поняли, что мы, вероятно, попались в руки грабителей или большевиков. Пользуясь моментом, когда эта молодежь отошла от куреня, мы начали спешно прятать деньги и ценные вещи в разные места одежды, в сапоги, под фуражку, в рукава и т.д. Едва мы закончили эту операцию, как услышали голоса. К нам вошел наш мужичок и сказал, что он все устроил и спросил, сколько же мы можем ему заплатить. Мы говорили по-французски и решили дать по 500 рублей с человека.

При самом выходе из куреня стояли те самые парни, которые засматривали в курень, но среди них появилась новая личность - пожилой мужик с окладистой бородой. Вдали стоял толстый, преклонных лет *с* длинной бородой мужик в кожухе. Он невольно привлекал к себе внимание. Наш мужичок шепотом говорил нам: «Это тот самый, который грабит людей». Он смотрел на нас и стоял как вкопанный с толстой палкой в руках. Мы переглянулись.

Обстановка была столь необычайная, что не предвещала ничего хорошего. Это была театральная обстановка. Последняя фраза, сказанная нашим мужичком, была совершенно непонятна. Он или издевался над нами или неумело хитрил. Мы поняли все, когда тронулись в путь в сопровождении тех самых молодых людей, которые не отставали от нас. Среди них был солдат с ружьем. У двух других были возле пояса топоры. Остальные не были вооружены, но имели в руках толстые дубины. Мы шли как под конвоем этих людей. Их было семь человек.

Впереди шел наш благообразный мужичок. Мы направлялись к Днестру и уже перешли большую дорогу. Кто-то сзади сказал, что нужно поискать у нас оружия. Было жутко. Мы ответили, что оружия у нас нет, но в этот момент нас окружили и приказали остановиться. Мы не успели опомниться, как вся шайка набросилась на нас и начала обыскивать. Первые их движения были довольно спокойные, но через секунду грабители обнаружили необыкновенную порывистость. Быстро расстегивая пальто и одежду, мужики ощупывали все тело и, наталкиваясь на твердые предметы, просто рвали пуговицы и одежду, жадно выхватывая из карманов кошельки, бумажники и свертки. У меня в подкладке жилета и пиджака были вшиты пакетики с деньгами.

Мужик вырвал всю подкладку и выхватил эти пакеты.

Лица грабителей озверели. С любопытной поспешностью и жадностью раскрывая кошельки, бумажники и записные книжки, они нервно рассматривали свою добычу и, подбегая один к другому, проверяли награбленное. Когда грабеж был закончен, мужики с жадностью и со спорами выхватили друг у друга деньги и ежеминутно готовы были с остервенением кинуться друг на друга. У нас было много денег, потому что недавно мы получили ликвидационные и жалованье. Вместе со сбережениями это составляло более 30 тысяч рублей у каждого. У меня грабители взяли более 35 тысяч рублей. Очевидно, эти большие суммы опьянили грабителей, так как вещей они у нас не отбирали, если не считать серебряного портсигара, который они нашли у Мельникова.

Стоявший в стороне наш мужичок не принимал участия в грабеже и вначале даже уговаривал не грабить, но потом он не выдержал своей роли и бросился делить со своими товарищами добычу. Подсчитывая и рассматривая награбленное, мужики удалились, вовсе не обращая на нас внимания. Мы остались одни, недоумевая, как мы могли так наивно довериться грабителям. Мы стояли на открытом месте возле большой дороги и застегивали разодранную одежду. Вырванная кусками подкладка моего пиджака путалась под руками, и я никак не мог своими приморожеными пальцами застегнуть пальто.

Я опомнился первым и предложил скорее идти в камыши. Мы шли, почти бежали, чтобы уйти от проезжей дороги, где ежеминутно нас могли увидеть разъезды большевиков. Мы вошли в камыши, но едва мы прошли несколько шагов, как где-то вблизи началась стрельба, очевидно в нашу сторону, так как было слышно, как по камышам жужжали пули. Мы легли и слышали громкие голоса. Положение казалось нам безнадежным. По-видимому, нас заметили и открыли по нас огонь. Сердце отвратительно билось. Мы считали себя погибшими, но голоса постепенно удалялись, и стрельба прекратилась. Мы лежали на снегу не шевелясь, но, как нарочно, Б. М. Солонина, ворочаясь, попал своим грузным телом в пустую промоину, и треск провалившегося льда, казалось, откроет наше присутствие. Мы пролежали, очевидно, дольше, чем следовало, так как уже стало смеркаться, между тем как нужно было торопиться до темноты добраться до берегов Днестра.

Оказалось, что мы были еще в лучшем положении, чем другие, шедшие впереди нас. Там была настоящая облава, причем грабили и крестьяне, и большевики отряда Котовского, но с той только разницей, что большевики, ограбивши, вели задержанных

к Котовскому. Непосредственно впереди нас шла группа наших знакомых офицеров (Чесноков-Стецкий, Берклин, Горбачевский, Грановский и два солдата). На них набросилось до 25 человек крестьян, в части вооруженных, а в части имевших в руках топоры, колья и палки, к которым были привязаны штыки. Дав предварительно несколько выстрелов, крестьяне остановили эту группу офицеров.

Корнет Чесноков вначале хотел было отстреливаться и дал два выстрела, но, видя безнадежность положения, бросил незаметно свой револьвер в камыши. Крестьяне накинулись на офицеров и не только отобрали у них деньги и вещи, но поснимали с них одежду. Корнет Чесноков (студент Киевского политехнического института) остался только в своем френче, даже без шапки. Эта группа офицеров имела много вещей, и каждый нес в руках по два-три чемоданчика. Все это у них было отобрано. По-видимому, каждый грабитель действовал сам для себя, так как ограбившие тотчас убегали, унося с собой вещи. Их догоняли другие и отнимали у них добычу, вступая в спор и драку.

По окончании грабежа большинство крестьян разбежалось. Один из оставшихся назвал себя помощником Котовского, атаманом Яровым, и предложил офицерам идти с ним в Чобричи к Котовскому. Офицеры вступили в пререкания и не хотели исполнить требование атамана Ярового, но в конце концов под угрозой расстрела они пошли за Яровым. Сделавши несколько шагов, корнет Стецкий-Чесноков заявил, что ему холодно, и отказался идти дальше, пока ему не будет возвращена шинель. Яровой распорядился возвратить Стецкому шинель, но тот, кто снял с него шинель, ушел, и потому Стецкому была дана старая шинель и такая же шапка.

Конвой постепенно уменьшался, так как грабители расходились с награбленными вещами. Около офицеров оставалось всего пять человек во главе с Яровым. В это время в непосредственной близости в камышах началась стрельба, так что пули били по камышам. Это были те самые выстрелы, которые заставили нас спрятаться в камыши. Оказалось, что большевики ловили наших знакомых корнета Деревицкого и поручика Иванича, которые тоже шли впереди нас и убегали от преследовавших их большевиков. Им удалось ускользнуть от грабителей только потому, что они бросились на лед и перебежали Днестр, будучи незамеченными румынами. Эта суматоха спасла офицеров. Пользуясь замешательством, они бросились бежать и удачно скрылись от Ярового.

В этом же месте был совершенно ограблен шедший в

одиночку помощник начальника Конотопского уезда Черепов. Его оставили в одном белье, но Черепов просил, и один из крестьян снял с себя разодранные башмаки, штаны и пиджак и дал их Черепову, надевши на себя одежду Черепова. Мы видели потом г. Черепова в Аккермане в этом мужицком одеянии. Он был жалок и смешон. Весь покрытый вшами, в разодранной одежде, в пенсне с одним стеклом, по наружному виду нищий, Черепов производил ужасное впечатление.

Интересно рассказывал нам свои приключения полковник Товастшерна. Сформировав отряд человек до двухсот, Товастшерна шел плавнями в том же приблизительно месте, где шли и мы. Он шел на соединение с отрядом полковника Стесселя, который успел пройти вперед прежде всех. Возле деревни Глинное отряд Товастшерна натолкнулся на большевистский разъезд. Еще издали разъезд махал руками и что-то кричал. Полковник остановился для переговоров. Подъехавший к нему товарищ предлагал отряду сдаться, обещая неприкосновенность личности. При этом большевик заявил, что полковник Мамонтов и генерал Мартынов уже перешли на сторону Котовского и сидят сейчас в волостном правлении и пьют чай.

Потом оказалось, что это не так. Полковник Мамонтов действительно был в волостном правлении (исполнительный комитет), но только не предался большевикам, а попал к ним предательским образом. Большая часть отряда полковника Товастшерна склонялась на предложение большевиков и, ссылаясь на крайнее переутомление и бесцельность дальнейшего сопротивления, начала уговаривать полковника принять предложение парламента. Товастшерна предложил разъезду на время удалиться, чтобы посоветоваться со своими. Пользуясь отсутствием большевиков, Товастшерна сдал командование отрядом штабс-ротмистру Сосновцеву и, отделившись от своего отряда, скрылся в камышах. За ним последовали штабс-ротмистр Домбровский и поручик Проскуро-Сущенко.

Товастшерна подвергся общей участи. Имея два чемодана и мелкие вещи, навьюченные на лошадь, он скрылся в камыши и приютился со своими спутниками, к которым присоединился начальник хорольской тюрьмы Пастернацкий, в камышовом шалаше. С наступлением темноты на шалаш было сделано нападение. В перестрелке лошадь Товастшерны была убита. Отстреливаясь и спасаясь, Товастшерна лишился всех своих вещей, кроме ручного чемодана, с которым он прорвался через цепь окруживших шалаш крестьян. У самого выхода из шалаша офицеры убили в упор одного из нападавших и через его труп бросились к Днестру. Под обстрелом офицеры благополучно

достигли румынского берега, но тут на них накинулись румынские солдаты и отобрали у них все, что оставалось. Так ликвидировались остатки Южной добровольческой армии, и так расправлялись с героями Европейской войны и защитниками Родины.

Помимо задержанных в одиночку и группами многие сдались большевикам, видя свое безвыходное положение. Конница отряда Котовского отдельными группами разъезжала по берегу Днестра и задерживала возвращающихся на русский берег. Мы случайно попали в руки крестьян-грабителей, которые, по-видимому, действовали самостоятельно и сами скрывались от большевиков, чтобы не делить с ними добычу. Большевики действовали нагло и смело. На их сторону перешли или, вернее сказать, вынуждены были перейти многие из командного состава и штаб-офицеры. Нам лично рассказывал полковник Стессель, что пробиваясь к северу, он наткнулся на делегацию от Котовского, во главе которой был есаул Афанасьев. Он передал Стесселю письмо от полковника Мамонтова из д. Глинное с предложением перейти на сторону большевиков. Письмо начиналось так: «Довольно бесцельно проливать кровь...» Афанасьев докладывал Стесселю, что всем им дарована жизнь и что если Стессель с отрядом не перейдет на сторону Котовского, то будет расстреляно десять заложников.

Есаул Афанасьев чуть не плача уговаривал Стесселя перейти на сторону большевиков. Котовский был известный на юге России бандит, уголовный преступник, прошедший много тюрем. Начальник хорольской тюрьмы Пастернацкий знал его лично и говорил нам, что Котовский был «гроза тюрьмы». Любопытно, что есаул Афанасьев отличался в Добровольческой армии своей жестокостью по отношению к большевикам и сам хвастался, что собственноручно расстрелял до 600 большевиков.

Потом уже полковник Новицкий, бывший со Стесселем, получил, уже будучи в Румынии, сведения, что большевики устроили в д. Глинное оргию и в пьянстве расстреляли в волостном правлении 35 штаб-офицеров. При этом говорили, что большевики заставляли их танцевать перед расстрелом. Кто именно погиб таким образом, конечно, неизвестно, но по сведениям, сообщенным вольноопределяющимся Губиным, бежавшим из д. Глинное, расстреляны полковник Самсонов и фон Энден. Весенний разлив унесет далеко в плавни эту массу погибших русских людей и покроет глубокой тайной разгром остатков отступившей из Одессы на Румынию Добровольческой армии.

Мы решили скорее уйти от этого ужасного места. Идти было

трудно. С одной стороны, глубокий местами снег, а с другой - промоины, покрытые под снегом тонким слоем льда <.. .>

Я решительно отказался идти на ночевку в эту деревню и предпочитал рискнуть перейти Днестр и скрываться на румынской территории, чем здесь в большевистской деревне. На том берегу как раз против этого места периодически через каждые десять минут трещал пулемет, выбрасывая по 5-6 зарядов. Говоря шепотом и осторожно продвигаясь вперед, мы неожиданно наткнулись на силуэт человека, который с таким же недоверием отнесся к нам, как и мы к нему. Но страх скоро рассеялся. Мы познакомились.

Это был наш земляк, доктор Мельников из Чернигова. Он уже пытался днем перейти Днестр, но был задержан румынским пограничником. Солдат возвратил его на русский берег, но обещал пропустить ночью, если он хорошо ему заплатит. Теперь доктор выжидал в зарослях ночи и был рад, что мы будем его спутниками. Впрочем, румын предупреждал его, что в переходе границы есть риск. Румынские солдаты безусловно откроют стрельбу, если заметят движущуюся по льду фигуру, и бывали случаи, что люди гибли на льду. Выбора не было.

Нужно было рискнуть. Мы приготовили 1300 рублей, чтобы заплатить пограничнику. М. К. Воздвиженская вынула припрятанное в юбке кольцо, чтобы ублажить румына, если он заупрямится. Мы уселись в лозе, выжидая глубокой ночи. К счастью, у нас сохранились еще деньги. У Воздвиженской в подоле юбки были зашиты 5000 рублей, и я успел спрятать под фуражку около 1000 рублей царских денег. Мы уже знали, что пулеметы на противоположном берегу работали примерно через каждые 10-15 минут и даже реже. Следовательно, нужно было воспользоваться этим промежутком времени. Но был еще один серьезный вопрос. На Днестре были громадные трещины, промоины, и у берегов глыбы нагроможденного льда. Доктор Мельников видел эти места, но боялся ночью не разобраться в направлении. Мы говорили шепотом. Ужасно тянуло покурить, но зажигать спичку было рискованно. Я подложил под голову свою котомку и скоро уснул, утопая в сугробе снега.

Около 11 часов вечера меня разбудили. Пулемет не работал уже более часа. Это была счастливая случайность. Вероятно, на румынском посту успокоились. Нужно было пользоваться моментом. Берег представлял собой отвесную кручу. Внизу были видны глыбы нагроможденного льда, а дальше за темнотой нельзя было разобрать, что было впереди. Веревки у нас не было, и приходилось кому-нибудь первому спуститься «на авось».

Первым сполз доктор Мельников. Вышло благополучно. Стоя

на льду, он подхватил сидя сползающую сестру Воздвиженскую. Я съезжал с кручи третьим и мягко спустился на Днестр. Было темно, но снег делал темноту видимой, так что на льду возле себя все можно было различить - где снег и где трещины. С особым шумом и неловко, конечно, сполз Б. М. Солонина, приведший этим всех нас в отчаяние. Мы постояли еще некоторое время возле самой кручи под защитой берега. Доктор спросил шепотом: «Готовы?» Я снял фуражку и перекрестился.

Лед на Днестре напоминал уже весеннюю картину. Громадные трещины и местами приподнявшиеся участки льда вызывали жуткое чувство. Там, где был снег, было спокойнее. Мельников шел впереди и, крадучись, осторожно передвигал ногами, чтобы не хрустел снег. Мы переходили Днестр очень медленно. Сзади беспрестанно передавали шепотом «скорее», но доктор ежеминутно останавливался и прислушивался. Возле противоположного берега была открытая скважина в поларшина и нагромоздившийся лед. Мельников медлил переступить это место и приводил этим в отчаяние всех. Большие затруднения представляли громадные глыбы льда, нагромоздившиеся в беспорядке друг на друга возле самой кручи правого берега. Большие трещины, куда можно было легко провалиться при неосторожном движении, пугали нас, и мы не сразу решились взять эти баррикады. Доктор Мельников, стоя на такой льдине, подавал каждому руку, а стоявшие внизу подсаживали карабкающихся. Отчаянное положение придавало силу. Переходя таким образом с одной льдины на другую, мы благополучно вскарабкались на крутой бессарабский берег. Мы перешли Днестр незамеченными и вступили на румынский берег.

На берегу не было никого. Мельников стоял за то, чтобы идти на румынский пост и заявиться. Но мы боялись, что нам будет предложено возвратиться обратно. Мы решили идти дальше и торопились. Нужно было подняться на высокую гору, покрытую глубоким снегом. Мы подымались наверх огородами, садами, канавами и, наконец, вышли на улицу какой-то деревни, расположенной посредине горы. Мы пересекли улицу, перелезли затем чрез плетни и подымались выше в гору. Мы миновали это селение и карабкались чуть ни по отвесной наклонности, над которой висела вершина горы. Мы были почти у цели. Под нами была пропасть, в которую было страшно смотреть. Я изнемогал от усталости. Более часа мы взбирались на гору и вышли наконец на большую дорогу, которая, очевидно, вела вправо в Бендеры, а влево - на Раскаец.

Естественно, нам нужно было идти в глубь страны. После некоторого разногласия мы сошли с дороги и пошли по

проселочной дороге, едва заметной под снегом. Скоро эти следы сгладились, и мы шли без дороги, «на авось», придерживаясь лишь прямого направления. Была небольшая метель. Перчатки я потерял еще в с. Раскаец, и мои руки коченели от холода. Мы рассчитывали случайно выйти к какому-нибудь селению. Это были последние мои усилия. Я шел чуть не шатаясь и чувствовал, что расходую последние свои силы. Мы не спали шестые сутки и в течение последних дней почти ничего не ели. Силы мои слабели. В ногах чувствовалась боль.

Между тем мои спутники ускоряли шаг и не обращали внимания на мою просьбу дать отдохнуть. Я сознавал, что если отстану, то рассчитывать на них я не могу. Кругом была мгла. Ветер с холодным снегом задувал за воротник и в рукава. В спину морозило. Местами снег был по колено, так что идти было невероятно тяжело. Ветер дул в правую руку и даже несколько сзади. Это было наше спасение. Попутный ветер как бы подгонял нас. Мы ориентировались по ветру и часто проверяли друг друга, спрашивая, куда каждому дует ветер. Метель была низовая, хотя и сверху шел снег. Мело снизу, и как всегда при метели, казалось, что впереди близко виднеется точно лес или селение. Но это мы знали, как деревенские жители, и знали наверное, что впереди ничего нет и что это нам только кажется. Временами мы выходили на дорогу, следы которой слегка виднелись из-под наметенного снега, но скоро мы опять теряли ее и шли по ветру.

Мы шли всю ночь и уже приходили в отчаяние, боясь до рассвета не добраться до такого места, где можно было бы на день укрыться. Много раз обман зрения обнадеживал нас, и мы были уверены, что видим вблизи перед собой лес, но это была мгла. Становилось светлее. Уже можно было различать сухие веники травы, торчащие из-под снега, и видеть даль. Мы вышли на обледенелую гору, на которой ясно обозначились замерзшие колеи. Это был, очевидно, большой шлях, спускающийся в лощину. Место было открытое. Ветер с особой силой гнал по ледяной коре снег и сдувал его с горы. Мы спускались с горы и вошли по колено в сугробы. Здесь отчетливо была видна дорога.

Нам повезло. Гораздо скорее, чем мы думали, мы наткнулись на хату, которая как бы выросла из-под земли. Это была, как потом мы узнали, деревня Чобричи. Вся надежда была на эту хату. Это была крайняя хата деревни. Еще момент, и начнет светать. С волнением и в сомнении мы постучались. Пожилая женщина отворила нам дверь и узнав, что мы с «того берега», как бы даже обрадовалась и шепотом говорила нам, чтобы мы скорее входили и, «Боже сохрани», не показывались во дворе. Проклятые румыны ловят русских и гонят их обратно на русский берег. Мы

были приняты отлично, приветливо, ласково.

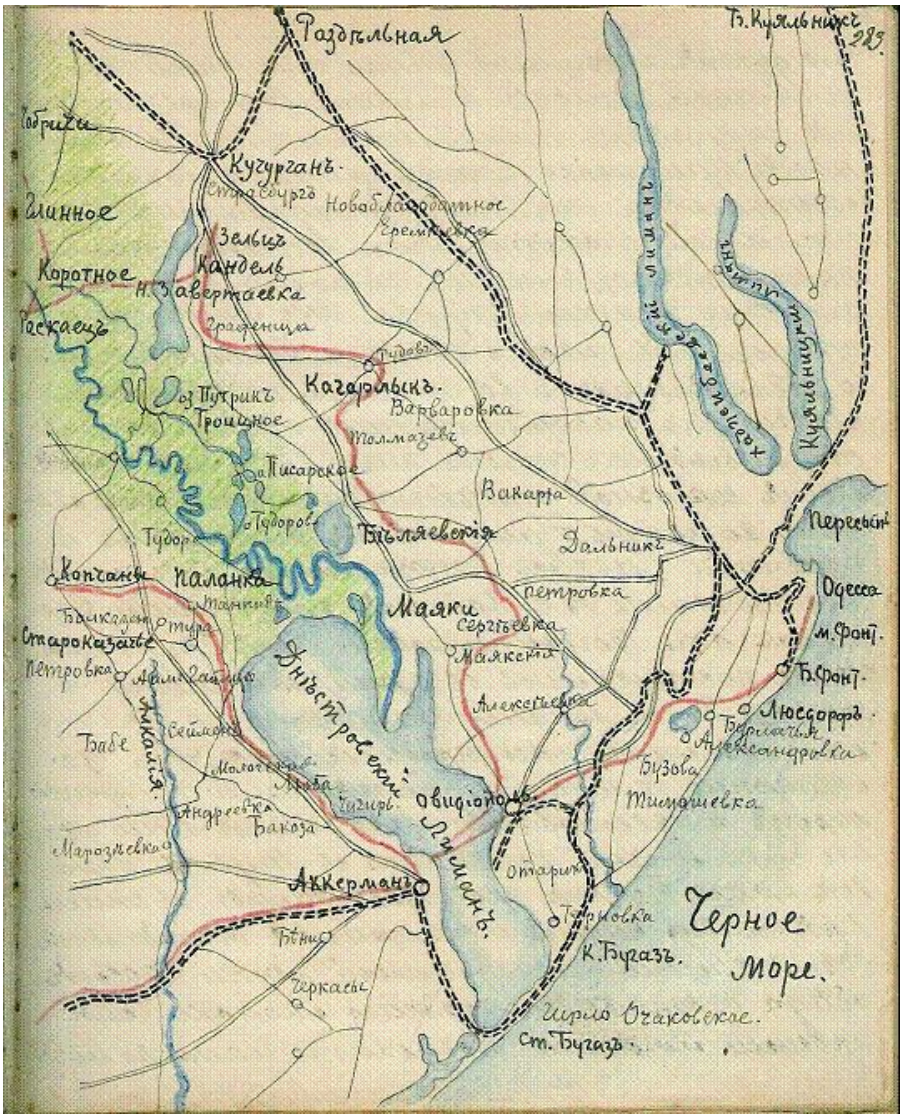
В хате было тепло и уютно. В углу стоял киот с образами, и возле него на стенах развешаны фотографии в рамках и большие портреты в олеографии семьи покойного государя Александра III и портрет императора Николая II. Хозяйка-молдаванка, ее муж и сын расспрашивали нас о России, о том, что творится на «том берегу», и сами рассказывали, что уже многих таких, как мы, поймали и отправили на русский берег. Хозяева успокаивали нас и обещали укрыть, но только предупреждали, чтобы никто не выходил из хаты. Хозяйка приготовила нам «мамалыжку», дала супу и яичницу с колбасой. Мы насытились и улеглись уже с рассветом на лежанке возле печки, уснув крепчайшим сном, каким только может спать совершенно обессиленный человек.

Это было в ночь на 4 февраля ст. ст. Первый раз после семи бессонных ночей мы были почти совершенно раздетыми и спали в тепле. Первый раз за все это время мы чувствовали себя сытыми. Я спал целый день. В Чобричах был румынский пост, и ежеминутно нас могли обнаружить. Мы ждали ночи, чтобы идти дальше. Но тут нам на помощь пришла хозяйка. Она предложила, что ее сын свезет нас до с. Волонтировка, отстоящее от Чобричи в 20 верстах. Около 11 часов вечера, сердечно распрощавшись с хозяевами, мы выехали из д. Чобричи, причем мальчишка потребовал, чтобы мы полегли в сани так, будто он везет груз.

Я чувствовал ломоту во всем теле, а ноги просто не повиновались и страшно болели в суставах. Несмотря на крепкий сон в течение целого дня, все время клонило ко сну, и был какой-то противный озноб, который чувствовался даже в хате возле жарко натопленной печи. Доктор Мельников в Чобричах от нас отделился, желая действовать самостоятельно. Любопытно, что наши хозяева в Чобричах крайне удивлялись, как мы прошли незаметными в Чобричи. Как раз при входе в село, почти на дороге, по той горе, по которой мы шли, стоит мельница, на которой установлен пулемет, а внизу находится пост. Нам помогла метель.

Нам говорили, что следует спешить уйти от этой пограничной полосы и идти внутрь страны, где нет такой строгости со стороны румынской жандармерии. В с. Волонтировка мы вновь постучались в крайнюю хату и опять были гостеприимно приняты хозяином, который оказался членом земской управы. Он много расспрашивал нас о России, о большевиках, о добровольцах и все покачивал грустно головой. Он накормил нас и предложил отправляться дальше, так как под страхом серьезной ответственности он обязан заявить румынским властям о прибытии русских. На том же извозчике мы выехали в

с. Копчак, что в семи верстах от Волонтировки.



Под утро мы вновь постучались в крайнюю хату и опять были хорошо приняты, но хозяин-молдаванин предупредил нас, что ежеминутно в хату может прийти жандарм и арестовать нас. Мне было уже все безразлично, так как я видел, что все наши планы неосуществимы. Я спал крепким сном и старался обогреться возле сильно натопленной печки. После обеда и стакана горячего молока мы просили хозяина подыскать нам к ночи извозчика. Видно, что молдаванин говорил с нами неискренно. И действительно, уйдя будто бы искать извозчика, он привел

жандарма. Мы были арестованы, и после краткого протокола нам было предложено следовать к шефу.

С этого дня начались наши мытарства по этапам. Это было не меньшее испытание, чем весь пройденный путь. Мы привели выше скопированную нами в штабе карту той местности, по которой отступали добровольцы из Одессы на Румынию, и наметили красной линией путь нашего следования от Одессы до Аккермана.

* * *

Мы попали в положение пересыльных арестантов, столь знакомых мне по прежней моей деятельности губернского тюремного инспектора. Нас гнали на г. Паланку, чтобы переправить обратно на русский берег. Жандарм шел быстро, и мы должны были поспевать за ним. Дорога была покрыта глубоким снегом и часто шла в гору. Идти было тяжело. Румын кричал «гайд» и не позволял останавливаться. Через два часа мы были уже обратно в Волонтировке и сидели в канцелярии пристава.

Здесь нас допрашивали более обстоятельно и оставили ночевать, предупреждая, что завтра утром мы будем отправлены на Паланку. Я спросил пристава на немецком языке, для чего нас отправляют на Паланку, и он ответил, что всех перешедших границу отправляют через г. Па-ланку на русский берег. Мы ночевали в холодной, нетопленой комнате канцелярии, лежа на грязном полу. Чтобы выйти на двор, нужно было постучать в дверь, и тогда выходил жандарм, который ни на минуту не спускал с нас своих глаз. Мы, конечно, хотели есть, но нам не было разрешено выйти из этого полицейского помещения, чтобы купить хлеба, потому что было уже темно.

Утром под конвоем двух жандармов мы вышли из Волонтировки. Мы шли как арестанты посреди улицы. Местные жители смотрели на нас с любопытством и, покачивая головой, говорили: «Это деникинцы». Видимо, они мало знали о том, что происходит в России. Впрочем, на окраине села с нами заговорила группа почтенных крестьян, принадлежащих, как мы узнали от них, к составу сельских властей. Конвойные им не препятствовали. Они обступили нас и обстоятельно опрашивали нас. Не стесняясь жандармов, они со злобой отзывались о румынах и проклинали их. Видимо, здесь боялись прихода большевиков, но и эти люди не вполне понимали, кто мы такие и что значит «деникинец».

Уже потом, когда мы объяснили, что вся интеллигенция бежит из России от ужасов большевизма, эти почтенные люди покачивали головой и с беспокойством спрашивали: как мы

думаем, не придут ли сюда большевики. Эта встреча была для нас очень удачна. Кто-то спросил, как с нами обращаются румыны, и услышав от нас, что мы не могли добиться разрешения купить на дорогу хлеба, один из крестьян вступил в разговор с румынским солдатом и через минуту мы уже сидели в ближайшей хате, где очень приветливо нам грели молоко, варили яйца и дали сколько угодно хлеба. Румыны торопили и все время кричали «гайд».

Утро было солнечное, морозное, глубокий снег сильно хрустел под ногами. Мои ноги еще не отошли и болели в суставах. Идти было трудно, в особенности сначала, пока не разойдешься. Мы шли гуськом по наезженной колее, где было меньше снега. Румыны с винтовками за плечом шли - один впереди, другой сзади, ежеминутно подгоняя нас выкриками «гайд». Беспредельно широкая, но холмистая степь Бессарабии была сплошь покрыта снегом. Нигде не было видно ни одного дерева. Ничто еще не напоминало весны. Неприятно дул северный ветер. Румыны в синих кепках и коротких черных шинелях, видно, мерзли и гнали нас, чтобы согреться. Я пробовал замедлять шаг и просил об этом других, но румын тотчас же свирепо кричал «гайд», делая движение рукой к винтовке.

Мы скитались по этапным пунктам ровно десять дней, проходя в день по 10-15 верст. Этот путь был тяжелый. В большинстве случаев мы ночевали в арестантских. Иногда нас размещали по хатам к благонадежным жителям. Только здесь мы отдыхали, питались и грелись, пользуясь гостеприимством бессарабских жителей. Это было русское население. В каждой хате, где только мы ни были, на видном месте были развешаны портреты Александра III с семьей и государя Николая II. В арестантских и в лучшем случае в канцеляриях было холодно и грязно. Мы спали на земляном полу без подстилки и, конечно, не раздеваясь, имея под головой наши котомки. Спалось плохо. Все тело коченело от холода, и мы жались друг к другу, чтобы согреться. Противен был земляной, промерзший пол, заплеванный и загаженный всяким мусором. В иных арестантских были нары, даже с небольшим слоем улежавшейся соломы. Это была ужасная грязь, но все же лучше, чем на полу.

Русское население Бессарабии относилось к нам хорошо, как к своим. В Старокозачьем, когда нас прямо с дороги заперли в арестантскую, было так холодно, что мы запротестовали и потребовали коменданта. К нашему благополучию, комендант говорил немного по-французски, и мы изложили ему наши претензии. Будучи вполне корректным человеком, он тотчас перевел нас в канцелярию, а Марию Константиновну пригласил в свою квартиру, где она и ночевала с какой-то женщиной.

Нам хотелось есть. Мы просили разрешения купить чего-нибудь съестного, но жандармы медлили с ответом. Мы возмущались, но, по-видимому, румыны знали, что нам принесут есть. Под вечер жандармы ввели в канцелярию двух женщин. Это были местные жительницы: телефонистка Дралуш и псаломщица Григорьева. Они принесли нам полную корзину съестного. Они не рассчитывали, что их пропустят, и потому заготовили записку, которую я сохранил. Мы не могли свободно говорить с ними при румынах, но все же они успели сказать нам, что мы отправляемся на тот ужасный берег, от которого веет ужасом. Здесь, в Старокозачьем, лежит масса русских с того берега с отмерзшими конечностями.

Эти женщины говорили с нами, и у них все время на глазах стояли слезы. «Вы не можете себе представить что творится на том берегу», -

говорили они. Сотни трупов замерзших, убитых лежат в камышах. И теперь еще оттуда прорываются отдельные лица, изнуренные, полузамерзшие, похожие скорее на тень, чем на людей. И этих людей опять гонят на тот берег. Остаются здесь только те, кто свалился и не может идти дальше. Эти две добрые женщины, принявшие теперь поневоле румынское подданство, были настоящими русскими женщинами, всей душой переживавшими несчастье, постигшее русских людей. Называя нас «родные наши», они с чувством пожимали нам руки и, прощаясь, видимо, оплакивали нас, идущих умирать на тот берег. Не было слов, конечно, чтобы отблагодарить этих женщин, и мы в свою очередь сердечно прощались с ними, причем М. К. Воздвиженская целовалась с ними, как с родными людьми.

Мы буквально набросились на пищу, и, несмотря на твердое решение оставить часть провизии на завтра, съели почти все, так что утром перед отходом этапа мы имели только по одному крутому яйцу и по куску хлеба. После сытного ужина, конечно, мы спали отлично, но на полу и не раздеваясь, так как температура в канцелярии хотя и была выше, чем в арестантской, но не настолько теплой, чтобы ее можно было назвать комнатной. Я никак не мог примириться с тем, что у меня в Волонтировке при аресте отобрали перочинный ножик, без которого теперь трудно было обходиться. Ни у кого больше не было ножа, и нам приходилось просить нож у конвойных, чтобы порезать хлеб. Конечно, румынскому офицеру понравился завьяловский клинок моего ножа, потому что нам предложили сдать оружие, а перочинный нож не мог считаться хотя бы и холодным оружием. Тем не менее офицер отобрал его у меня. И когда я просил оставить мне этот нож, ссылаясь на то, что мне приходится

питаться почти исключительно черствым хлебом, который без ножа есть трудно, румын сказал мне, что ножик будет следовать с конвойным при пакете. Конечно, я больше своего ножа не видел.

Мы шли, как приговоренные к смерти, и временами на душе становилось жутко. Мы часто спрашивали местных жителей и как один все утверждали, что нас «гонят» на Паланку (г. Палангенген), чтобы переправить на русский берег. От русского берега, по словам бессарабцев, веяло ужасом. Там убивали, грабили и раздевали донага. Местные жители, бывшие на русском берегу, видели замерзших людей. Повсюду рассказывали о замерзшем генерале с двумя детьми-кадетами, застывшими у него на руках. Весьма почтенные люди говорили нам, что, когда из Палангена была отправлена на большевистский берег партия русских в 200 человек, то большевики встретили их возле г. Маяки пулеметным огнем и всех уничтожили. Мы с ужасом приближались к г. Палангену.

Впрочем, по мере приближения к русскому берегу местные жители стали поговаривать, что, кажется, на ту сторону уже больше не отправляют, а отсылают в Аккерман. В с. Красном, где впервые мы получили эти успокоительные сведения, нам пришлось особенно тяжело. Путь был тяжелый, по колено в снегу, все время в гору. Шел мокрый снег. Ветер дул в лицо, мешая идти. Погода была холодная и сырая, как в ноябре месяце. Конвойные были грубые и не позволяли останавливаться, чтобы передохнуть. До Палангена оставалось всего четыре версты, и потому на душе было мрачно. Арестантская здесь была грязная, темная, маленькая, как кладовка, с земляным полом с невероятным количеством блох. Нары были вдоль сырых стен, узкие, покрытые тонким слоем грязной утоптанной соломы. Мы пришли в с. Красное под вечер и были введены прямо в арестантскую.

Правда, принявший нас румынский солдат оказался в высшей степени вежливым, любезным и отнесся к нам как к интеллигентным людям. Он сразу разрешил нам заказать в том же дворе «мамалыжку» у хозяина этапного помещения и позволил даже М. К. Воздвиженской пойти в хату к хозяину договориться. Хозяин - русский крестьянин оказался тоже радушно настроенным к нам и, угостив Марию Константиновну, разрешил взять камышу, чтобы протопить печурку в арестантской. Молодой солдат оказался румынским евреем, служившим до войны в Вене приказчиком в магазине, и потому сразу разобрался, кто мы такие. Он говорил отлично по-немецки и охотно беседовал с нами.

С особым почтением и исключительным вниманием он

относился ко мне. Взяв с меня слово, что молодежь никуда не отлучится, он пообещал не запирать арестантской и сказал, что смотреть за нами он не будет. Очень долго потом я разговаривал с этим евреем, и меня поражало, с какой искренностью и возмущением он относился ко всем происходящим событиям.

Спалось плохо от невероятного количества блох. Утром нас повели в комендатуру, где мы просидели в общей комнате с писарями несколько часов, и никто не сказал с нами ни одного слова. Около 12 часов дня в канцелярию вошел румынский офицер и спросил нас, кто говорит по-французски. Мы встали. Офицер был любезен и сказал, что мы на русский берег отправлены не будем, а сейчас нас повезут в Аккерман. М. К. даже разговорилась с ним, спрашивая о дальнейшей судьбе нашей, но офицер спешил и отговаривался полным незнанием. Мы просили разрешения заказать что-нибудь поесть. Офицер разрешил, но с условием, чтобы мы не отлучались с этого двора. Мы вышли во двор и не знали, как нам это устроить.

В это время по улице мимо нас проходила пожилая женщина. М. К. Воздвиженская вступила с ней в разговор и просила продать нам хлеба и наскоро приготовить какой-нибудь суп. Наш конвойный торопил, говоря, что минут через десять подойдут подводы, на которых мы должны выехать в Аккерман. Эта простая женщина вошла в наше положение и почти бегом направилась в близрасположенную хату, и минут через 15 принесла нам целый горшок картофельного супа с салом и большой кукурузный хлеб.

Настроение у нас было иное. Опасность миновала. Мы спасены. Есть хотелось ужасно. И вот мы сели на улице, возле тротуара у ворот комендатуры, и жадно ели горячий превкусный суп. Из глиняного горшка на морозе валил пар, и так вкусно пахло жареным салом. На душе было спокойно, и это увеличивало аппетит. Большой горшок был доверху полный, так что всем было вдоволь. У ворот стоял конвойный, а возле нас стояла женщина, принесшая нам обед, приговаривая: «Ох, Боже мой! Ешьте, родные, на здоровье». М. К. Воздвиженская была в своем каракулевом саке и в такой же шапочке. Мы тоже имели вид интеллигентных людей. И эта картина, по-видимому, привлекала внимание прохожих и жителей соседних хат. И это было действительно необычайное зрелище. Русская интеллигенция в положении арестантов на бывшей территории Русского государства! И нам вовсе не было стыдно. Мы презирали румын и их ничтожную государственность. Только одна румынская королева оказалась культурным человеком. Это она, говорят, запротестовала против отправки русских на «тот» берег и прекратила глумление над русскими, катастрофически

попавшими на румынскую территорию.

До Аккермана оставалось 34 версты. Нас разместили на шести повозках, которые отправлялись в Аккерман за каким-то грузом. Я устал. С чувством глубокого удовлетворения я сел в повозку и протянул ноги на мягкой соломе. Сзади меня сел конвоир - все тот же молодой еврей-румын. Мы ехали молча. Погода стояла мягкая, но морозная. Вся окрестность была покрыта снегом, но дорога была колесная, хорошо наезженная. Ехать было удобно - приятно. Румын, очевидно, что-то размышлял. Во время небольшой остановки, когда возчик-молдаванин ушел к впереди стоящим повозкам, он неожиданно спросил меня: «Вы военный?» Я ответил: «Нет, я юрист». Это было все, что мы сказали друг другу в течение всего нашего путешествия в этот день.

Под вечер мы въехали в богатую немецкую колонию (Альт-Лебенталь), где должны были переночевать. Нас поместили опять в арестантскую, но здесь, по крайней мере, было чисто. При нас в эту комнату внесли массу соломы. В окно арестантской громадным снопом проходили лучи заходящего солнца, освещая новые, чистые доски пола. Я не имел ничего против поспать до утра на соломе в этой чистенькой комнате. Только решетки в окне говорили, что это не комната, а арестантская. Мы хотели было уже располагаться, как к нам пришли немцы и спрашивали, не с той ли мы стороны.

Узнавши в кратких чертах обстоятельства нашего путешествия, немцы вывели нас из арестантской и сказали, что ни в коем случае не допустят, чтобы мы ночевали как арестанты. Больше всех суетился и возмущался местный учитель, отправившийся к властям хлопотать, чтобы мы были размещены на ночевки к благонадежным жителям. Он скоро вернулся и объяснил нам, что сейчас нам будет предоставлено помещение в частных домах. Мы были приняты радушно и с исключительным гостеприимством. Немцы интересовались тем, что делается в России, и всей душой сочувствовали русской интеллигенции, бегущей от ужасов большевизма. Не менее они возмущались румынами. Не так, по их мнению, должны были поступить румыны к своему союзнику - России. Между прочим, школьный учитель этой колонии говорил мне, что человеческий ум должен содрогаться перед тем, что делается на «том берегу».

Правда, разлив Днестра унесет все следы преступления в плавнях реки Днестра, но сотни лет пройдут, и история не забудет этого кощунственного поступка румын. Сотни и тысячи замерзших людей с женщинами и детьми - разве это не преступление человечества XX века! Старик немец, у которого я

ночевал, беседовал со мной до позднего вечера и много рассказывал мне про тот ужасный берег, куда румыны гнали на верную смерть тысячи интеллигентных людей. Он видел в этом гнев Божий и в нем же, в молитве, видел наше спасение. Вот с каким трепетом относилось местное население к тому, что происходило на их глазах в плавнях реки Днестра. Это был ужас и позор современному человечеству. От местных людей не могли скрыться все ужасы, происходившие на «том берегу», который был у них на глазах.

Несмотря на бдительность румынских пограничников, в плавнях реки Днестра происходил своеобразный товарообмен. Здесь, в этих камышах, шла тайная торговля и переход через границу. Бессарабские контрабандисты хорошо изучили противоположный берег и знали тропинки, которых не знали румынские пограничники. Эти люди знали все, что происходило на русском берегу, и делились своими впечатлениями с местными людьми. Старик немец приводил пример, как один из контрабандистов в ужасе отшатнулся от того берега и вернулся обратно, не закончив своего дела, - настолько сильное впечатление произвели на него трупы замерзших и убитых людей, валявшиеся в камышах.

Самым ужасным местом переправы беженцев через Днестр был район возле города Маяки на русском берегу и город Паланген на румынской стороне. Здесь беженцы были между двух огней. В районе Палангена румыны обирали русских и возвращали их на «тот берег», а возле города Маяки с ними расправлялись большевики и местные крестьяне.

Когда мы разговаривали с немцами, то нам невольно бросился в глаза лежащий тут же топор того типа, который общепринят в этой местности и которым были вооружены грабившие нас крестьяне. Этот своеобразный тип топора, распространенный в Румынии, невольно вызывал у нас чувство содрогания. Мы сказали это немцам-колонистам и вспоминали пугачевщину на Руси.

Местные жители видели, как румыны отправляли на «тот берег» русских офицеров. Сознавая верную гибель, они протестовали, и многие просили пристрелить их, предпочитая смерть предстоящим истязаниям Чрезвычайки на русском берегу. По несколько раз обезоруженные русские офицеры возвращались обратно на румынский берег и вновь отправлялись к большевикам. Некоторым удалось пройти границу с первого раза, но это стоило им больших денег. Многие отдавали румынским солдатам последнее, что у них было, чтобы только их не возвращали на русский берег.

Могилевский уездный воинский начальник барон Нольде, которому удалось перейти в этом месте границу вместе с полковником Черкесом и с семьей капитана Гуринова, рассказывал нам, что при них, когда они, как больные, содержались в Палангене, было отправлено на русский берег три партии офицеров по 30-40 человек в каждой. Румыны предлагали и барону Нольде со спутниками покинуть Паланген, но так как они были действительно больные, то им удалось избежать этой участи. Переживания, рассказывает барон Нольде, были ужасные.

Сами румынские солдаты с трепетом рассказывали, как грабят и убивают на «том берегу» большевики и крестьяне. Переход через границу был невероятно тяжелый. Подвергаясь обстрелу, люди разбегались в разные стороны, прятались в камышах и теряли друг друга. Еще до г. Маяки под обстрелом полковник Черкес потерял своего отца генерал-майора - одесского воинского начальника с дочерью и женой. Где они и живы ли, полковник не знает.

Нам лично рассказывал румынский пристав в одном из мест нашей ночевки, недалеко от г. Палангена, что на днях был отправлен на русский берег генерал, у которого было отобрано 500 тысяч рублей, а дочь его - девушка лет семнадцати - осталась в Румынии и отдана на попечение румынскому школьному учителю, который настаивает, чтобы она вышла за него замуж. Мы видели затем в том же селении мальчика лет двенадцати в военной шинели английского образца, гулявшего на улице с другими детьми. Сторож арестного помещения (русский крестьянин), где мы содержались, объяснил нам, что отец этого мальчика - офицер, отправлен на «тот берег», а мальчика приняла к себе живущая здесь семья какого-то бессарабца.

Мы могли бы привести бесконечное множество фактов и отдельных рассказов очевидцев и людей, испытавших все ужасы разыгравшейся в «плавнях» трагедии, но их так много, что нет физической возможности записать весь этот материал. Мы задались целью изобразить лишь общую картину всей этой драмы и не можем сосредоточиться на переживаниях отдельных лиц, а тем более в изложении с субъективной окраской. Тем не менее было бы большим упущением, если бы мы не привели примеры этих ужасных переживаний, перед которыми бледнеют, может быть, все ужасы современной войны.

Мы встретились с женой адъютанта коменданта г. Николаева капитана Лежнева, который эвакуировался с женой и грудным ребенком к румынской границе, рассчитывая пробраться в Пуркары (Бессарабия) через г. Маяки. Г-жа Лежнева рассказывала нам, что румыны не пустили их на свою территорию. Двое суток

они пребывали на льду и в камышах в страшном холоде, почти без пищи. На третий день пограничник сжалился над ребенком и принял их к себе, чтобы обогреться. Вскоре на пост пришли румыны и предложили капитану немедленно возвратиться на русский берег, заявляя, что жена его останется здесь и будет отправлена в Аккерман. Капитан протестовал, ссылаясь на то, что у жены нет никаких средств к существованию. Румыны указывали капитану, что его жена может продать лошадей и бричку и жить на эти средства. Капитан был отправлен на «тот берег», а жена его в полном отчаянии осталась с ребенком на румынском посту.

Румыны не сдержали своего слова. Лошади и бричка были у нее отобраны, и денег ей за это не заплатили. Положение г-жи Лежневой было отчаянное. На подводе, с ребенком на руках под конвоем румынского жандарма она была отправлена в Аккерман. Совершенно случайно по дороге г-жа Лежнева увидела своего мужа и еще двух офицеров, которых сопровождал румынский караул. Эта встреча была неожиданной. Г-жа Лежнева истерически плакала и молила румын, чтобы ее отпустили к мужу. Оказалось, что капитана опять вели на «тот берег». Четыре раза капитан Лежнев переходил границу и каждый раз его задерживали и возвращали обратно.

Лежнев со своей стороны просил отпустить жену с ним, но румыны на это не соглашались. В полном отчаянии г-жа Лежнева, закрыв лицо руками и рыдая, рассталась со своим мужем, которого, по ее мнению, повели на смертную казнь. Г-жа Лежнева по дороге заболела воспалением легких и по прибытии в Аккерман была помещена в больницу. Румынский врач вошел в ее положение и выхлопотал у местного коменданта, чтобы ей заплатили за отобранных лошадей. Несмотря на высокие цены (5000 лев за лошадь) ей заплатили за пару лошадей и бричку 2500 лев.

Мы приводим затем историю Липинских - двух барышень лет 18— 20 из военной семьи, которые следовали из Одессы с обозом при отряде полковника Стесселя, как беженки. Это были Лидия и Евгения Липинские — одесситки. Старшая, Евгения, заболела в Овидиополе тифом. Обе девушки находились под покровительством знакомых офицеров, и потому в дороге они были в лучшем положении, чем другие. Из Канделя во время боя они были своевременно вывезены и благополучно доехали до румынской границы. Положение девушек в походе было, конечно, тяжелое, и вполне естественно, что при одном воспоминании об этом они начинали плакать. Ввиду болезни Евгения мало помнит этот поход, а Лидия была занята только одной мыслью — скорее добраться до конечного пункта.

Испытания Липинских начались на румынской границе. Прежде всего, когда возле с. Раскаец было приказано оставить повозки и следовать пешком, Евгения Липинская должна была встать и идти. С трудом, шатаясь, при поддержке сестры больная протащилась до ближайшей хаты в с. Раскаец и первый раз переночевала в тепле. Когда на следующий день румыны выгоняли русских, Липинские вышли на улицу в надежде присоединиться к группе больных. В конце села больная ослабела и беспомощно упала на снег.

Девушки остались совершенно одни. Их знакомые офицеры, как равно и медицинский персонал, давно уже вышли из с. Раскаец. На улице было пустынно. Периодически румыны открывали пулеметный огонь. Лидия уговаривала сестру напрячь все усилия, чтобы хотя бы выйти из сферы обстрела, но больная, обессиленная, не могла сделать движения. Проходивший недалеко румынский солдат, видя беспомощное положение барышень, приостановился. Лидия быстро подошла к нему и умоляла помочь или в крайнем случае проводить ее к коменданту. Солдат не соглашался. Тогда она сняла с руки два золотых кольца и отдала их румыну. Приняв этот дар, солдат согласился проводить к хате, где были еще больные русские.

Здесь оказался румынский фельдшер. Липинская умоляла его подобрать больную и оказать ей помощь, объясняя, что сестра ее замерзает. Фельдшер отказался что-либо сделать и предлагал ей довести сестру до какой-нибудь хаты, обещая на следующий день отправить ее в пуркарскую больницу. Лидия объяснила фельдшеру, что сестра ее больна тифом и настолько слаба, что идти не может. Фельдшер стоял на своем. В полном отчаянии Лидия Липинская возвращалась к сестре, но ввиду наступившей темноты сбилась с дороги и потеряла направление.

Бросаясь из стороны в сторону и быстро проходя улицы, площади и проулки, она готова была впасть в отчаяние или, как она выразилась, ей казалось, что она сходит с ума. Сверху в это время румыны стреляли из пулеметов, что еще больше нервировало ее. На улицах не было никого. Гололедица и дорожная колоть мешали быстрым движениям. Ноги подкашивались. Туфли на высоких каблуках попадали в глубокие, замерзшие колеи и причиняли боль. Было уже совершенно темно. Мороз достигал 12 градусов. Сознание, что сестра может замерзнуть, придавало ей силы.

Преодолевая все затруднения, Лидия Липинская буквально бежала по всем направлениям, пока наконец не вышла на большую дорогу, где лежала ее сестра. Девушка лежала на снегу в апатичном состоянии и спокойно примирилась со смертью, но

только ее страшно мучили озябшие и закоченевшие ноги. Хорошо еще, говорила Евгения, что сестра, уходя, обвязала ей полотенцем ноги. Встать она уже не могла. Плача и досадуя, сестра умоляла ее сделать над собой усилие и встать, чтобы при ее поддержке дойти до ближайшей хаты. Евгения долго не соглашалась попробовать встать, пока наконец при помощи обвязанного вокруг талии полотенца сестра не подняла ее с земли. Шатаясь и едва передвигая ногами, больная, опираясь на сестру и ежеминутно останавливаясь, чтобы передохнуть, шла к ближайшей хате. Для чего и в кого в это время стреляли румыны, было непонятно, но барышням казалось, что возле них свистели пули. Это заставляло их несколько раз останавливаться и ждать, пока прекратится стрельба.

С трудом сестры Липинские дотащились до ближайшей хаты. В хате было тепло. Обе девушки, обессиленные, легли на лежанку возле печи, где уже занимали места два офицера. Один тяжелораненый, а другой, как потом оказалось, был полковник Александр Петрович Кочуков (помощник коменданта Киевского железнодорожного участка). Его рассказ совершенно случайно совпал с рассказом Липинских, которых он не знал даже по фамилии. Полковник Кочуков еще в Одессе в порту потерял свою семью, которая в общей панике была затерта толпой. Судьбу семьи он не знает. Лично он заболел после этого сыпным тифом и отступал на Румынию. В с. Раскаец полковник, будучи совсем слабым, вынужден был с другими покинуть румынскую территорию и идти на русский берег.

Что с ним случилось, он не знает, но очнулся он лежащим на снегу в огороде в одном френче. Шинель, шапка, сапоги, сумка были с него сняты, как равно у него были похищены все деньги и документы. Кочуков добрался до хаты, где офицеры приняли его первоначально за сумасшедшего, а затем накормили и одели. Когда вторично Кочукову пришлось уходить из с. Раскаец, он отстал от больных, так как не был в состоянии идти дальше. Он шел, шатаясь. Навстречу ему шли два румынских офицера, которые, видя болезненное его состояние, предложили ему зайти в хату, говоря, что распоряжение об оставлении с. Раскаец больных не касается. Полковник Кочуков случайно зашел в хату, куда потом пришли сестры Липинские.

На следующий день он вместе с ними и раненым офицером были отправлены на подводе в пуркарскую больницу. Офицер по дороге умер. С покойником на повозке Кочуков с Липинскими прибыли в с. Пуркары. Липинская ехала на повозке бок о бок с покойником, которого подбрасывало при каждом толчке и наваливало на больную, которой приходилось высвобождаться от

покойника.

Казалось бы, что подобные случаи вполне исчерпывают примеры того положения, которое в общепринятых теперь выражениях можно назвать кошмарным, но, в сущности говоря, все зависит от индивидуальности каждого, пережившего такие моменты. Мы удивлялись, с каким спокойствием и как просто рассказывала нам свою историю жена поручика Ольга Сергеевна Богуш (бывшая Трояпо из м. Ярославля Глуховского уезда Черниговской губернии). Присоединившись в Одессе к отряду Струка, чтобы добраться до Киева, поручик Богуш ехал с женой и двумя земляками в повозке на своих лошадях вместе с отрядом Струка.

Возле г. Маяки для всех неожиданно появились большевики, которые начали обстреливать из орудий и пулемета обоз Струка. Все бросились врассыпную, а обозы свернули на лед. Лошади падали. Упали и лошади Богуша. Когда поручик с кучером подымали лошадей, большевики открыли по льду пулеметный огонь. Ольга Сергеевна с испугу соскочила с повозки и бросилась назад в камыши. Там она присоединилась к двум офицерам и даме, с которыми она простояла, пока не прекратилась стрельба. Они предложил ей сесть на свою повозку, чтобы нагнать мужа. В этом месте скопилось более 1000 подвод. Подъехав к тому месту, где она оставила мужа, Богуш узнала свою повозку, возле которой лежали убитыми лошади. Около повозки никого не было. Где девался ее муж, она не знала. Потом ей говорили, что поручика Богуша видели убитым.

Отряд Струка был разбит и рассеялся. Большинство струковцев передалась большевикам, часть разбежалась, а часть бросилась на румынскую территорию. Три дня О. С. Богуш со своими спутниками путалась в плавнях реки Днестра. Ее спутникам наконец удалось сговориться с румынскими пограничниками и остаться на их территории, а О. С. Богуш очутилась одна в камышах. Она была больна и чувствовала, что к вечеру ее охватил жар. Совершенно растерявшись, Богуш села в камышах, не зная, на что решиться. Наступила темнота. Она закуталась в свою шубу и умостилась на камышах, решив здесь ожидать рассвета. Ольга Сергеевна рассказывала нам, что больше всего она боялась, чтобы ее не съели волки. Было очень страшно, повторяла Богуш, но мысль о том, что она может замерзнуть, в голову ей не приходила.

Молодая женщина лет двадцати двух боялась того, чего боятся дети. Реальная опасность играла в ее представлении второстепенную роль. Она боялась, как боятся дети в темной комнате. Молодая женщина ночевала в плавнях реки Днестра

одна при морозе в 12 градусов, лежа без подстилки на снегу в своем пальто. Вещей у нее не было. При скитаниях в камышах они встретили группу крестьян, которые отобрали у них все, что было при них. Ночь была длинная. Ольга Сергеевна спала плохо. Ей было то жарко, то холодно, причем к утру у нее сильно разболелась голова. Утром Богуш решила идти через Днестр. Случайно она никого не встретила и вышла на дорогу уже в Бессарабии. Здесь ее встретила какая-то женщина и взяла ее к себе. Ольга Сергеевна оказалась больной воспалением легких и очнулась только в пуркарской больнице.

В пуркарской больнице к тому времени было уже до 200 больных. Это были те, кто перешел румынскую границу, и те, кто был подобран румынами в с. Раскаец и в плавнях реки Днестра. Многие из них нашли себе здесь вечный покой и были похоронены без гробов, как «без вести пропавшие». Другие остались калеками. Мы видели молодого добровольца, почти мальчика, только что окончившего 2-ю Киевскую гимназию Анатолия Павловича Самоходского (вольноопределенного 1-й батареи 4-го отдельного тяжелого гаубичного дивизиона) с ампутированной ниже колена правой ногой. Он был болен сыпным тифом и один из немногих был довезен из Одессы до с. Раскаец, но в село он не попал. Оставаясь в плавнях более двух суток и лежа при сильном морозе на льду, он отморозил себе руки и ноги.

Весьма характерное показание дал нам солдат Николай Георгиевич Веренинов, фейерверкер Волчанской конной батарей, житель г. Пятигорска. При расстреле румынами уходящих добровольцев Веренинов покинул с. Раскаец и вместе с больными и ранеными возвратился на русский берег. Как сильному и здоровому человеку Веренинову не удалось затеряться среди больных, и он решил самостоятельно перейти где-нибудь Днестр, чтобы попасть на румынскую территорию. Два дня ему это не удавалось, так как встречавшиеся ему на пути румыны гнали его назад. Два дня он бродил в камышах, встречая офицеров и солдат, которые так же, как и он, не могли перейти границу.

Румынские солдаты вдоль и поперек шныряли в камышах, подбирая оставленное добровольцами оружие и другое имущество. Во главе с офицером человек 10-15 румын гнали обратно всех, кто встречался им по пути, говоря, что только больные и раненые могут идти в Раскаец, но тут же они почти не обращали внимания на лежащих больных и заговаривали с ними только в том случае, когда больные сами обращались к ним. Румыны отвечали им «naid» и махали рукой по направлению к с. Раскаец, то есть иди, мол, сам. Веренинов несколько раз

подходил к румынам и просил пропустить его, но его гнали обратно. Веренинов, боясь большевиков, придерживался берегов Днестра и далеко в камыши не заходил. Тем не менее он натолкнулся на трех раненых офицеров и заявил румынам об этом. Веренинов видел затем трех убитых или замерзших, по-видимому, военных, но он их не рассматривал.

Уже под вечер на второй день, удалившись к тому месту, где стояли позавчера добровольцы, Веренинов решил переночевать в камышах, чтобы завтра с утра попытаться перейти границу окружным путем. Уже темнело, когда Веренинов начал укладываться, подмостив камышу и укутав голову фуфайкой. Не так мороз, как голод мучил Веренинова. В это время в глаза ему бросилась лежащее недалеко что-то черное, и ему показалось, что это было брошенное одеяло. Веренинов обрадовался и подошел к одеялу. Одеяло как-то странно лежало. Веренинов приподнял край одеяла и обнаружил женские ноги. В этот момент он слышал слабый женский голос.

На снегу в камышах лежала молодая женщина, закутанная с головой в тряпки и одеяло. Слабым голосом, в котором слышались слезы, она обратилась к нагнувшемуся к ней Веренинову со словами «Domnule» (господин по-румынски), полагая, что он румын, и продолжала по-русски: «Спасите меня». Веренинов ответил ей, что он русский. «Вы солдат?» - спросила она. «Точно так», - ответил ей Веренинов. Она страшно обрадовалась и начала слезно просить, чтобы он взял ее на руки и отнес в ближайшую деревню. Веренинов объяснил ей, что, вероятно, румыны не пропустят его как здорового, но, во всяком случае, он попытается понести ее.

Эта женщина была еле жива и вовсе не могла двигаться. Веренинов понес ее на руках. Румыны его уже не возвращали обратно, а один из них даже спросил, кого он несет. Больная забеспокоилась и начала просить румына, говоря: «Ради Бога пропустите, я не могу идти». Румыны пропустили их. Веренинов нес свою ношу в с. Раскаец, до которого оставалось две версты. Несмотря на то, что женщина она маленькая, нести ее было тяжело. Веренинов ослабел, будучи столь продолжительное время совершенно без пищи, и потому часто отдыхал. Она, бедная, рассказывал Веренинов, все спрашивала, всхлипывая, скоро ли он донесет ее до теплого места.

Измучившись, Веренинов принес ее в ту хату на румынском берегу, где были еще больные и раненые. Было уже около 9 часов вечера. Больные отправлялись в Пуркары. Несчастной женщине пришлось пробыть в хате не более 15 минут. Скоро подали подводы, на которых были отправлены больные. Веренинов сам

уложил спасенную им женщину на повозку и пошел рядом с ней. Потом только Веренинову пришло в голову, что, исполняя свой нравственный долг, он спас сам себя. Не встреть он эту женщину, он, может быть, погиб бы на русском берегу. Веренинов был джентльменом до конца. По прибытии в Пуркары он взял свою ношу с повозки и, внеся ее в больницу, положил в палате на койку.

Веренинов был оставлен в пуркарской больнице в качестве санитара, и ему пришлось ухаживать за своей больной. Он видел ее отмороженные ноги. Они были совсем синие. Она, бедная, всегда кричала от боли, когда ей смазывали ноги и руки. Веренинов рассказывал далее исключительно интересное совпадение. Утром к нему подошел больной офицер из другой палаты и спросил, не он ли нес вчера на руках женщину и кто она. Веренинов ответил утвердительно, но только не мог сказать, кто была эта женщина. Офицер просил показать ему ее. Веренинов проводил офицера в свое отделение и остолбенел. Офицер узнал в спасенной Верениновым женщине свою сестру. Веренинов, как здоровый, скоро был отправлен через Аккерман в глубь Румынии в г. Тульчу и был помещен как военнопленный в тюрьму.

Некоторое время спустя в г. Тульчу прибыла партия беженцев, среди которых оказалась спасенная им женщина с братом. Они оба уже выздоровели и встретились с Верениновым в тюрьме в г. Тульче. Поручик был бесконечно признателен Веренинову и вместе с сестрой относились к нему исключительно хорошо. Молодые люди уехали затем в Сербию, а Веренинов рассказывал нам эту историю в г. Варне, силясь, но не смогши припомнить фамилию офицера.

Для полноты картины мы приводим здесь любопытный документ, который был выдан румынским врачом и с которого мы сняли копию:

«Свидетельство о ранении. Имя, отчество, фамилия, чин. Пантелеймон Васильевич Куприянов. Капитан Доброармии. Где ранен и кем, год и число. Бессарабия, деревня Раскаец, румынскими войсками при обстреле уходящих добровольцев на румынской территории. 4 февраля ст. ст. 1920 г. Ранение. Слепое ранение пулей левого плеча с раздроблением кости. Оказанное пособие. Неподвижная повязка, операция. Подпись врача. Врач Аккерманского гарнизонного госпиталя Хахам. Место печати. 16 апреля 1920 г. Аккерман».

Капитан Куприянов дал нам снять копию с этого документа, удостоверяя, что в аккерманском госпитале было много военных, раненых румынами в с. Раскаец.

Мы привели здесь эти факты, забегая вперед и отдаляясь от хода нашего изложения, но это поможет нам не возвращаться к событиям, которые мы сгруппировали вместе. Впоследствии по поводу Днестровской трагедии в заграничной печати русской эмиграции появилось много статей и заметок, посвященных румынской границе, но нам удалось достать только номер русской газеты «Славянская заря», издающейся в Праге, вырезку из которой мы приводим ниже.

* * *

Газета «Славянская заря». Прага, 8 июня 1920 года

Днестровская трагедия.

Из Бессарабского альбома

В наивности своей, в мечте смешной и дикой,
Румыния - страной ты хочешь стать великой, забрав чужие города
И все захватив рукой своею жадной.
Ты можешь быть большой, ты можешь стать громадной,
Великой - никогда.
Народ великий с царственным полетом
Не бьет по женщинам и детям
Пулеметом...

Настоящее стихотворение написано
поэтом - участником многострадального
перехода русских через Румынию
Владимир Чихачев

У румын

Варненская «Русская газета» сообщает:

Генерал А. А. Авринский, прибывший на днях в Варну после долгих странствований по Румынии, в беседе сообщил немало любопытных данных о гостеприимстве и благородных чувствах этой музыкальной нации в отношении к нам, русским, их недавним союзникам.

Больные, дети?.. Встречать огнем!

Прежде всего обстрел не только русских войск, но и обозов с ранеными, женщинами и детьми - это вовсе не случайность и не результат неисполнительности или непонятливости каких-либо «стрелочников», низших агентов власти.

- Мне сообщали из безусловно достоверного источника, - заявил нашему сотруднику генерал Авринский, - что румынский совет министров еще до эвакуации Одессы в специальном трехдневном заседании имел суждение по вопросу о том, следует ли пропускать русских, которые пытались бы спастись от большевиков, через румынскую границу. Несмотря на ходатайство союзных представителей, румынские министры постановили: «Через границу - хотя бы то были женщины, дети, раненые - не пропускать. Попытки с их стороны перейти границу встречать огнем».

И встречали.

Генерал Авринский, подтверждая бесчисленные рассказы других очевидцев, определенно указывает и время и место таких «великодушных встреч». Так, в деревне Роскеницы, не говоря уже о военных и беженцах, - были обстреляны из пулеметов и винтовок даже повозки Красного Креста!

43 дня в стогу сена

Когда я находился уже в Тульче, туда прибыли двое русских - подпор. Зубов и чиновник Дишкант, в течение 43 дней скрывавшиеся от румын в стоге сена. Хлеб им доставляли за деньги и в обмен на имевшиеся у них вещи и кресты из окрестных сел, за водой ходили тайком по ночам. В Тульчу они прибыли полураздетые, еле живые от цинги, с ранами и язвами на ногах.

Письмо румынскому королю

Не всем удавалось добиться у румынских властей, рассказывает генерал Авринский, разрешения остаться на румынской территории. Я лично написал письмо румынскому королю, который еще во время войны бывал у меня на фронте на наблюдательном пункте и даже наградил меня румынским орденом. В письме я просил приюта для себя и для 25 человек своих спутников. Письмо это сразу оказало свое действие: с нами стали сразу вежливее обращаться, а по получении ответа от короля - даже заискивать. Так, для следования в Тульчу нам был предоставлен отдельный вагон.

Румынская власть и население русской Бессарабии

Так гибли остатки русской армии, доверившиеся великодушию недавних союзников. Последние не только не протянули руку помощи погибающим русским, но с видимым удовольствием отталкивали и передавали красным каннибалам.

Население, особенно население Бессарабии, наполовину из русских, наполовину из молдаван, - отнюдь не разделяет антипатии официальных представителей румынской власти ко всему русскому.

- Нас встречали, - говорит генерал Авринский, - тепло и радушно; нередко даже кормили. Только в Бендерах, где мы помещались в школе, местное население предупредительно приносило нам горячую пищу. Наоборот, к румынам население относится повсюду враждебно. Недовольны тяжелыми налогами, повинностями, свирепым полицейским надзором. Румыны стараются стереть все следы русского влияния: русские школы закрываются, русских учителей увольняют, не желающих принять присягу - высылают за пределы Бессарабии.

Самоубийство генерала Васильева

Начальник нашего отряда, бывший командующий... закончил жизнь самоубийством, потрясенный трагической судьбой вверенного ему отряда. Особенно сильно подействовал на генерала Васильева обстрел нашего отряда румынами, в которых он привык видеть бывших союзников.

Последний раз, сообщил нашему сотруднику генерал Авринский, он видел генерала Васильева у Пурхар, где он нагнал нас верхом на лошади, совершенно один, и просил дать ему поесть. Мы поделились с ним сахаром - единственным, что у нас было.

Уже тогда генерал Васильев проявлял некоторые признаки психического расстройства.

* * *

14 февраля рано утром мы подъезжали к Аккерману. Я ехал в последней из шести подвод в одиночестве. Возница был, по-видимому, молдаванин, но я с ним не сказал ни одного слова. Мы ехали вдоль Днестровского лимана, через который в тумане был виден Овидиополь. Еще десять дней тому назад мы были на том берегу, который у меня перед глазами. Лед на лимане уже почернел, и сообщение с Овидиополем было в руках большевиков. Погода была ясная, солнечная, теплая, хотя и морозная. Я мечтал только об отдыхе. Я был уверен, что мы будем размещены в теплых помещениях и будем иметь койки. Ужасно хотелось раздеться, умыться и уснуть. Я был также уверен, что в Аккермане можно будет побывать в бане. Мы были покрыты вшами. Я мечтал отделаться от этой мерзости.

Но... к нашему удивлению, нас везли прямо к тюрьме. Сначала это казалось невероятным. Но это было так. Подводы остановились возле ворот бывшей русской тюрьмы. В калитке показался старик - начальник тюрьмы, бывший раньше на русской службе смотрителем арестного помещения. Я не вставал с повозки, но слыхал, как старик говорил моим спутникам, что вся тюрьма заполнена такими же, как и мы, - русскими с того берега, в большинстве военными. Он утешал нас и говорил, что режим в тюрьме довольно свободный, кормят прилично и есть баня. Но нехорошо лишь в том отношении, что в тюрьме начинают проявляться случаи заболевания сыпным тифом.

Старик производил приятное впечатление. Еще лучшее впечатление производили солидные старослужащие - русские тюремные надзиратели. Одним словом, тюрьма была русская во всех отношениях, и я не имел ничего против, чтобы отдохнуть

здесь. Но почему-то нас в тюрьму не принимали. Более часа мы стояли у ворот возле подводы. По-видимому, последовало какое-то распоряжение, так как наш конвойный, быстро выходя из тюрьмы, предложил нам садиться на повозки. Мы ехали в штаб местных войск. И здесь возле штаба мы простояли на дворе более трех часов, после чего нас отправили уже пешком под конвоем двух солдат-румын в управление начальника гарнизона.

Было уже около 12 часов дня. При пакете мы были введены в гарнизонную канцелярию. У дверей канцелярии стояла длинная скамья, на которой мы и разместились, ожидая распоряжения. До позднего вече*ра* мы сидели на этой скамье, теряя терпение и от голода и от усталости. Румыны не обращали на нас внимания. Уже под вечер, когда мы неудержно хотели есть, мы обратились к вошедшим в канцелярию двум офицерам, которые исходатайствовали нам разрешение послать купить хлеба и яиц. Мы разговорились с одним из офицеров (по-французски), который сказал нам, что он румынский адвокат. Беседа была недолгая, но адвокат был очень любезен и сказал нам, утешая, что ничего скверного с нами не сделается.

Только после 7 часов вечера нам было объявлено, что сегодня допроса не будет. Писарь предложил следовать за ним. Тут же в коридоре была дверь, возле которой стоял с винтовкой румын. Писарь впустил нас в эту дверь. Это была арестантская при местном гарнизоне. Там было уже 35 человек офицеров и несколько гражданских лиц. К большому своему удовольствию, я встретил здесь знакомых, с которыми встречался в штабе обороны г. Одессы и был вместе в походе. Они обступили нас и начали спрашивать, откуда мы и как попали сюда. Они были очень рады нам. Эти люди были то же с «той стороны» и испытали почти те же злоключения, что и мы.

Каждый рассказывал свою историю, и тут постепенно выяснилось, что мы были не так далеко друг от друга и знали одно и тоже. Как ни ужасна была окружающая обстановка, мне было приятно очутиться в компании людей интеллигентных и одинаково мыслящих. От них мы узнали кое-какие подробности оставления с. Раскаец и судьбу многих знакомых нам лиц. Здесь, в этой арестантской, мы встретились и объединились в отдельный кружок лиц, более подходящих друг к другу. Мы разделили все невзгоды вместе. Никаких удобств нам предоставлено не было. Все лежали вповалку на грязном полу без матрацев и без подстилки. Нас заедали вши. Умываться нас выпускали во двор, но так как мороз достигал 5 градусов, то приходилось умывать только лицо и руки, не раздевая шинели. Да кроме того, посуды для умывания у нас не было. Умывались из своих кружек, сливая

друг другу на руки.

Было противно. Интеллигентные люди сидели на полу и выискивали у себя вшей. Смены белья почти ни у кого не было. Все были ограблены.

С самой Одессы никто белья не менял. Если у кого-нибудь и осталось что-нибудь при переходе границы, то оно было продано, чтобы иметь деньги на хлеб. У меня осталась одна смена белья, которую я и переодел в этой арестантской. Первые два дня мы питались скудно, почти голодали, на третий день мы были зачислены на военное довольствие, и к тому же в арестантскую ежедневно приносили горячую пищу от местного русского благотворительного комитета, который организовал бывший городской голова Аккермана г. Спилиоти.

Мы были в положении арестантов, и потому нас от другой публики не отделили. В арестантскую препроводили вообще всех арестованных. С нами содержались пьяные, задержанные румынские солдаты и матросы, евреи, рабочие, босяки и т.д. В иные дни число заключенных достигало 59 человек. Наша камера была размером 12 х 8 аршин. Вполне естественно, что в комнате было так душно, что спать ночью было почти невозможно. Теснота иногда доходила до такой степени, что мы лежали как в тисках друг у друга. Заснуть можно было только от усталости, тело ужасно чесалось. Спать было твердо. Простонародье плевало и сморкалось прямо на пол и в лучшем случае растирало свои выделения ногой.

Обстановка, одним словом, была грязного русского ночлежного дома. Я бывал в этих ночлежках и всегда ужасался, как люди могут жить в этой обстановке. Теперь я испытывал сам все эти ужасы и едва ли не очутился еще в худшем положении, чем те нищие, которым я давал в былые времена 3 копейки на ночлег. Они имели в ночлежном доме нары с подъемом для головы, а мы валялись на полу. Было тяжело испытывать эти лишения. Тем не менее молодежь не унывала.

Отделившись своей компанией от остальной публики и разместившись в наиболее чистом углу, мы проводили время в разговорах. Сидеть было не на чем. Время проводилось на полу. Наши дамы М. К. Воздвиженская и шедшая с нами из Одессы местная жительница Александра Никифировна Швецова, попавшая в число беженцев и сидевшая в арестантской до выяснения личности, составляли уют нашего общества. Компанию объединял главным образом полковник Товастшерна. Георгий Александрович Товастшерна - гвардейский офицер, отлично воспитанный, имеющий все русские ордена и французский орден Почетного легиона, был несколько раз ранен в Европейской

войне. Изуродованный пулей, пробившей нижнюю челюсть и язык, Товастшерна сильно картавил. Он показывал нам свой язык, на котором осталась сквозная дырка. В Одессе полковник Товастшерна был штаб-офицером для поручений при начальнике обороны г. Одессы.

Г. А. Товастшерна не унывал. Оставшись без копейки денег, в легоньком летнем пальто, даже без котомки, которую он мог бы положить под голову, он своим остроумием и веселостью поддерживал общее настроение. Один только раз полковник сильно призадумался, и мы заговорили с ним по душам. «Вот как расправляется наша Родина с ее защитниками», - вырвалось у полковника с болью в душе. «Обидно», - сказал он.

С нами были корнеты Деревицкий и Стецкий - оба студенты-киевляне. Вечно грустный Андрей Петрович Деревицкий был добровольцем и уже боевым офицером. Ему было только 20 лет. Весьма серьезный, с хорошим направлением, патриот, он глубоко страдал за свою мать, оставшуюся в бедственном положении в Чернигове. Деревицкий - сын боевого генерала и племянник попечителя Киевского учебного округа Деревицкого.

Корнет Стецкий, присвоивший себе на всякий случай эту фамилию, был студент Киевского политехнического института Чесноков. Он оставил в Киеве свою жену и восьмимесячного ребенка, о которых говорил с утра до вечера. С ним в компании еще по Одессе были: Федор Иванич (серб) - поручик бронепоезда и Василий Георгиевич Поппа - грек, вольноопределяющийся Крымского конного полка - вахмистр.

С удивительным терпением публика переносила все тяжести содержания в этой арестантской и даже имела силы подсмеиваться над своим положением. Действительно, были смешные минуты. Помощник начальника уезда Черепов - молодой человек с университетским образованием, которого грабили крестьяне и одели в дырявый пиджак, был буквально покрыт вшами. От него все сторонились. Он бедный, ложился спать посередине комнаты, но от зуда тела так ворочался, что к утру всегда оказывался в другом конце комнаты. Черепов сам смеялся над своим положением и, прося не подходить к нему, сам удивлялся, как вши носят его по комнате.

Большое разнообразие внесли в нашу арестантскую жизнь арестованные сапожники, которые до поздней ночи играли на скрипках. Безумный смех вызвала нежная парочка, вынужденная переночевать в арестантской за позднее гулянье на улицах. На вопрос Г. А. Товастшерна барышня ответила вопросом, неужели и он, Товастшерна, с дамами сидит за позднее гулянье. Барышня предложила затем очень удачно вопрос, за что сидят в

арестантской все эти офицеры. На этот вопрос, конечно, никто ответить ей не смог.

Несмотря на то, что все были в оборванном виде, все-таки военная форма большинства придавала арестантской особый колорит. Все это было уродливо и производило удручающее впечатление. За что все эти офицеры сидят в арестантской? Вот вопрос. Временами эта дикая для культурного человека обстановка ложилась тяжелым гнетом на душевную жизнь и вызывала такое подавленное душевное состояние, которое было сильнее физической боли. За что? На этот вопрос могла бы ответить только современная культура. Но это было не все.

Каждый оставил дома родных, близких и любимых людей. Это было глубокое страдание, с которым не сравнится содержание в арестантской. Невероятной тяжестью ложилось на душу сознание этого бессмысленного истязания и пытки ни в чем не повинных людей. На прогулке румынский солдат-кучер начальника гарнизона ударил дважды офицера по щеке за то, что последний сел в экипаж, который кучер только что вымыл. Конечно, офицеру не следовало садиться в экипаж, но факт был налицо.

Мы были счастливее других. Прибывши последними, мы предназначались к отправке вместе с теми, кто сидел в арестантской с самого начала. Нам объявили, что мы отправляемся в г. Тульчу. Нами распоряжался капитан румынской службы, некий Акишер, бывший штаб-ротмистр русской службы Петроградского уланского полка, служивший в Добровольческой армии и прибывший в Румынию в прошлом году вместе с отступившими из Одессы войсками. Его узнали. Он был сын священника из Аккерманского уезда. Теперь он состоял на румынской службе и был враждебно настроен против русских. Суетясь и распоряжаясь в нашей арестантской, он был с нами груб и нелюбезен. Его, конечно, обступали и забрасывали вопросами. Естественно, каждый хотел знать свою судьбу. «Ох уж эти русские», - говорил г-н Акишер, когда вокруг него публика подымала шум.

21 февраля утром Акишер объявил нам, что сегодня мы будем отправлены. Каждому на дорогу было выдано по два хлеба. Часов в десять к гарнизону подошел наряд солдат, которые должны были сопровождать русских к вокзалу. К отправке было предназначено 89 человек, в числе которых были дамы и дети. Выкликая каждого поочередно, г. Акишер - этот бывший офицер русской армии, выстраивал партию русских на улице лицом к зданию гарнизона, а старший капрал строил в затылок, бесцеремонно толкая замешкавшихся на свое место.

На тротуаре образовалась толпа местных жителей и румын, среди которых выделялись изящно одетые дамы в прозрачных чулках и румыны в своих ярко-синих кепках. Сигуранты (полицейские) разгоняли публику и мальчишек, не позволяя им близко подходить к русским. Когда партия была выстроена, г. Акишер приказал сделать поворот направо и построиться по четыре в ряд.

Имея при себе котомки и держа в руках разные свертки, эта арестантская партия русской интеллигенции была, конечно, оригинальна и представляла совершенно ту же картину, которую мы привыкли видеть в большевистской России, когда по улицам водили под конвоем красноармейцев арестованных интеллигентов и буржуев, отправляемых на принудительные работы или в тюрьму в качестве заложников. Разница была только та, что там преобладали котелки и штатское платье, а здесь большинство в изношенных и старых пальто военного образца. Эта партия русских привлекала внимание публики. Целая толпа любопытных шла за нами по тротуару, а сзади бежали мальчишки. И это были бессарабцы, те же русские люди, но принявшие румынское подданство.

На окраине города публики уже не было. Этапная партия сошла с мостовой на грунтовую дорогу. Погода была чудная. Это был первый весенний день с яркими и теплыми лучами весеннего солнца. Небо было безоблачное. Кое-где зеленела трава. На прилегающих к дороге виноградниках кипела работа. После зимней спячки виноград откапывался от накрытой земли. Высоко под самым солнцем треугольником летели в Россию дикие гуси. Взоры русских был обращены к небу, и каждый мысленно посылал прощальный привет в родные края.

Окруженный румынами этап русских шел молча, сосредоточенно и равномерным шагом, как заставляют идти арестантов. Что думалось нам, если бы наши дети, отцы, матери повидали картину этапа близких людей, отдаляющихся от Родины, чтобы, может быть, погибнуть где-нибудь вдали от всего родного, среди чужих и враждебно настроенных иностранцев, и вечно считаться у себя дома «без вести пропавшими»? Что, в сущности, сделали эти люди? В чем их вина? Что дало повод румынам так издеваться над русской интеллигенцией? Нас вели мимо вокзала и остановили на запасном пути железной дороги, куда должны были подать вагон. Как этапную партию, нас окружили конвойные и не разрешали отлучаться с этого места.

Публика полегла на траве. Лучи теплого солнца приятно грели лицо и руки и клонили ко сну. После душной атмосферы в арестантской этот свежий и теплый воздух был особенно

приятным. Земля была еще от зимы сырая. Но в этом месте уже показалась трава, на которой было мягко и удобно лежать. Многие дремали. Кое-кто ходил взад-вперед, погруженный глубоко в свои думы до такой степени, что бессознательно заходил далеко за черту дозволенной границы. Окрик часового в таком случае возвращал к действительности и заворачивал обратно к месту бивуака. Румынская стража была в этом отношении беспощадна и в случае перехода границы дозволенного не останавливалась в приемах воздействия.

Случайно и мне пришлось машинально переступить эту границу. Я не сразу опомнился и даже не понял, в чем дело, так далеко были мои мысли, что я смотрел с удивлением на двух румын, бежавших с криком ко мне и с поднятыми ружьями, угрожая ударить меня. Я прошел в раздумье шагов десять лишних и вызвал нежелательный инцидент. Публика начала возмущаться и подняла крик, когда им казалось, что румын должен был ударить меня. Мне было глубоко безразлично, и я наотрез отказался принести жалобу, как на этом настаивали окружающие.

Благотворительность г-на Спилиоти и здесь не оставила нас. Перед отходом поезда нам привезли горячий обед, после которого поезд отошел в глубину Румынии. Мы ехали до станции Рени, откуда пароходом должны были следовать по реке Дунаю до г. Тульчи. Жизнь в вагоне в течение четырех дней была, конечно, значительно легче, чем в арестантской при аккерманском гарнизоне, но все-таки было тяжело и неприятно от грязи, которую мы несли на себе. Бани в Аккермане нам не дали. Нас заедали вши. Особенно тяжела была ночь. Вследствие тесноты приходилось спать на сомкнутых скамейках по четыре в ряд, как бы в тисках друг у друга.

На станции Рени мы стояли в вагонах три дня, ожидая парохода, и проводили целые дни на воздухе. Поезд был отведен за станцию, в поле возле спуска к пристани. Погода была теплая и солнечная, так что днем можно было ходить без шинели. Мы пользовались этим случаем и мылись, поскольку это было возможно, и, раздеваясь догола, на солнце уничтожали вшей. Публика была разнокалиберная. Наш эшелон нагнал вышедший на следующий день из Аккермана поезд с группой военных во главе с полковником Ерощенко, так что нас было уже около 170 человек.

Возле полотна железной дороги был кабачок, который привлекал внимание публики. Уже на следующий день началось пьянство. Чины контрразведки и государственной стражи сдружились с конвойными и подкупили их. На этой почве произошли неприятности, так что стоявший во главе нашего

эшелона полковник Евгений Александрович Востросаблин вынужден был принять решительные меры против этих «господ офицеров», подрывающих престиж русского офицерства.

Наша компания, выделившаяся еще в Аккермане в отдельную группу, заняла в вагоне целое отделение и проводила все время вместе, живя на коммунистических началах. Я имел до 800 рублей царских денег и потому в пище себе не отказывал. Местные жители приносили к поезду для продажи молоко, яйца, сало, хлеб, так что мы были сыты. По сравнению с одесскими ценами все здесь казалось значительно дешевле. Стакан молока стоил 1 рубль романовскими знаками, десяток яиц - 6 рублей, фунт сала - 6 рублей, фунт хлеба - 1 рубль 50 копеек. Денежными знаками здесь были румынские леи и русские царские (романовские) деньги, шедшие в одинаковой цене с румынскими леями, то есть рубль за рубль. Донские деньги шли плохо. За 1000 рублей давали 30-40 рублей. Керенки шли лучше - по 100 рублей за тысячу. По такому же расчету расценивались украинские пятидесятирублевки.

25 февраля еще до рассвета мы были разбужены, чтобы грузиться на пароход. Вагоны были поданы к самой пристани. После грубого осмотра вещей и обыска мы были посажены на баржу № 93 при пароходе «Domnul Tudor». Пароход был русский, захваченный румынами в 1917 году. Баржа была прикреплена сбоку парохода и соединялась с ним сходнями. Сначала нас загоняли в трюм баржи, но так как всем места там не хватило, то большая часть расположилась на палубе баржи. Погода была летняя, солнечная. Дунай здесь был величественный и красивый. На горизонте виднелись отроги Балканских гор.

В 8 часов утра пароход с баржей отошел вниз по течению в направлении к городу Измаил. Пароход был отлично оборудован, чистый. Кают-компания с первоклассным рестораном производила шикарное впечатление. Сначала мы не решались перейти с баржи на пароход и заказали себе в ресторане борщ с тем, чтобы его принесли на баржу, но буфетчик (бывший русский - теперь румынский подданный) пригласил нас в ресторан. Конвой нам не препятствовал, и таким образом постепенно все перебрались на пароход. Мы дважды потом пили чай в ресторане и были среди пассажиров, ехавших на этом пароходе.

Кто были эти люди и какой национальности, трудно было определить, но на глаз было видно, что здесь много евреев. С нами никто не заговаривал, и видно было, что в публике соблюдается какая-то политика. На барже в этом отношении было другое. Там в трюме ехали простые женщины, нагруженные котомками и корзинами с разной живностью -куры, утки, гуси. В

темном углу трюма было отгорожено стойло, где помещались несколько поросят. На полу была разбросана солома, как в конюшне, и сильно пахло навозом.

Оставшись на некоторое время в одиночестве в этом трюме, чтобы отдохнуть, я прилег в более чистом углу на соломе возле этих женщин. Одна из них любезно предложила мне свой мягкий узел под голову, и я хотел заснуть, но мне помешали блохи. Женщины - их было пять - говорили по-русски. Они были местные жительницы и ехали в город Измаил. Постепенно мы разговорились. Они много расспрашивали меня о России и были лучше осведомлены о нашем положении, чем бессарабские жители. Со своей стороны эти женщины жаловались на свою судьбу и, ругая румын, не хотели быть их подданными. Впрочем, по их словам, румыны мало их притесняли, и они приглашали меня поселиться в их краях, говоря, что там есть русские и живется им хорошо. Я все-таки вздремнул и проснулся возле Измаила, откуда был виден город Тульча.

Здесь Дунай действительно показался во всей своей красоте. Широкий, мощный, он разветвлялся в этом месте на несколько рукавов и представлял необъятное пространство воды. Тульча расположен на правом гористом берегу Дуная и издали казался необыкновенно красивым городом. Здесь мы должны были встать, и Бог знает, что ожидало нас. Но, не доезжая Тульчи, на пароходе распространился слух, что в Тульче нас не будут высаживать, а повезут в Сулин, где поместят в концентрационный лагерь. Это признавалось хорошим признаком, так как порт Сулин расположен на берегу Черного моря, и в прошлом году отсюда дивизия Тимоновского была отправлена в Новороссийск.

Действительно, пароход «Domnul Tudor» миновал Тульчу, шел вниз по течению и скоро вошел в Сулинский канал. Небольшой ширины канал прорезывал прямой линией бесконечное пространство, густо поросшее светло-желтым камышом. Всюду, насколько видит глаз, был сплошной камыш, и только изредка на берегу стояли в одиночестве хаты, по-видимому, сторожевое охранение этого пути. И эта картина не изменялась до самого моря. К сожалению, к Сулину мы подходили в темноте. Погода изменилась, к вечеру стал накрапывать мелкий осенний дождь.

Стало сыро и неприятно, хотелось спать, и я опять приткнулся на соломе в трюме баржи, но женщин уже не было. Они сошли с парохода в Измаиле, и я положил под голову свою сумку. Я так разоспался, что плохо помню, как нам пришлось сходить с парохода на пристани в Сулинах. Я видел только в темноте бесконечное пространство воды, и мне казалось, что это уже море. Мы сошли с парохода и расположились на пристани,

пользуясь тем, что все вещи наши были сложены в одном месте, тут же возле парохода. Я удобно улегся на чьих-то мягких вещах и возобновил прерванный сон. Несмотря на мелкий моросящий дождик, я спал богатырским сном. Меня растолкали, когда нужно было опять садиться на пароход.

Оказывается, что я проспал более трех часов, и в это время произошли события, которые взволновали всю партию. В Сулине нас не принимали. Очевидно, произошло какое-то недоразумение, вынудившее снестись с властями в Тульче. Нас отправляли обратно в г. Тульчу. По-видимому, эта суета обозлила румынский конвой, с которым мы прибыли в Сулин, так как солдаты начали проявлять необыкновенное раздражение и обращались с нами дерзко. Протест некоторых офицеров ни к чему не привел, а только обозлил их еще больше.

Баржи уже не было. Пароход почти пустым отходил обратно. По случаю дождя нас поместили в закрытых помещениях, но места для всех не хватало. Был возбужден вопрос об открытии для нас кают-компании 1-го класса, но румыны ответили дерзко, что «вы завшивите весь пароход». На этой почве произошла перебранка, дошедшая до угроз румынских конвойных пустить в дело приклады и шомпола. Пришлось замолчать. Мы поместились в каюте 2-го класса, но это было действительно что-то невероятное. Мы сидели и стояли как в тисках друг у друга. Румыны стояли в дверях и отпускали по нашему адресу всякие ругательства. Путешествие было мучительное. Было душно, жарко, томительно, и не хватало воздуха, чтобы дышать. В таком обезличенном состоянии, лишенные образа и подобия интеллигентных людей мы прибыли 26 февраля утром в г. Тульчу.

* * *

Ровно месяц мы скитались в самых ужасных условиях существования, столь чуждых представлению культурного человека. Мы выдержали семидневный поход почти без сна и пищи с боями и со всеми тяжестями обстановки отступающей и разбитой армии. Мы попали затем в положение чуть не Робинзона в плавнях реки Днестра с приключениями в духе Майн Рида и, наконец, в течение 14 дней были в положении арестантов. Каждый из этих этапов наших скитаний был сам по себе ужасен и мог бы служить сюжетом для любой сказки. Но те переживания, которые испытывал каждый из нас, могут быть только предметом истории цивилизации человечества, столь гордого своими культурными завоеваниями.

История вряд ли коснется этих вопросов. Она восстанавливает только факты, и если воспроизводит

обстоятельства, при которых гибли во время борьбы и революции отдельные группы людей, то она не коснется переживаний отдельных личностей и группы людей. Как весенний разлив в плавнях Днестра покроет глубокой водой следы преступлений современного человечества, так и история опустит завесу перед грядущими поколениями, предав забвению те проявления человечества, которые обнаружили в нем зверя. Для истории это незначительный эпизод. Тем менее интересно знать, что румыны гнали этапом 14 дней интеллигентных культурных людей, не давая им на ночлег подстилки, которая полагается даже домашним животным в самых убогих хозяйствах.

Кто были эти люди, с которыми так поступили румыны? В ответ на это мы приведем здесь статью В. Бурцева в газете «Общее дело» от 8 апреля 1920 года под заглавием «Татары идут». Бурцев пишет: «Недавно мне удалось снова побывать на Родине, конечно, только там, где действует генерал Деникин и где нет еще большевистской власти. Там, где Ленин и Троцкий, нас, борющихся за то же, за что мы боролись при царизме, может ждать только тюрьма и расстрел. Я побывал в Крыму, в Новороссийске, на фронте. Я приехал туда в очень трудное время. Армия Деникина уже отступала от Ростова. Везде, где я проезжал, я видел толпы, тысячи, десятки тысяч населения всех возрастов, всех национальностей, представителей разнообразных течений, в том числе виднейших социалистических деятелей с огромным революционным прошлым, ученых и литераторов, рабочих, крестьян. Все они в ужасе бежали при приближении большевиков, как бы за ними гнался по пятам пожар. Все *об* одном только и думали, как бы не остаться у большевиков. Не было железной дороги - шли пешком. Шли больные, шли на костылях, тяжелораненые, шли старики и дети.

В Варну, в Константинополь, в Салоники прибывали пароходы с десятками тысяч таких беженцев из России и тысячами, потом я их встретил в самых ужасных условиях в Константинополе, в Болгарии, Сербии. Кто из них может, тот продвигался вперед во Францию, Англию, Америку. Разговаривая с этими беженцами, я видел на их страдающих лицах ужас того, что переживали они в Совдепии, продолжают и теперь переживать все те, кому не посчастливилось, подобно им, бежать с большевистской России. Я видел этих беженцев в вагонах железной дороги, на пароходных пристанях, на улицах в Новороссийске и в Крыму. Все они ко мне обращались с одной неизменной просьбой помочь им бежать от приближающихся большевиков.

В России когда-то раздавался страшный крик: “Татары идут!”

Теперь там раздается другой крик: “Большевики идут!” Я расспросил десятки, сотни лиц, бежавших из России. Имел возможность подробно познакомиться с работой специальной комиссии, занятой расследованием злодеяний большевиков. Я говорил лично с теми, которые случайно только что вырвались из Чрезвычаек и сами там подвергались утонченным пыткам, стояли под расстрелом и только случайно спаслись от смерти. Я привез их показания и скоро их опубликую. Все то, что по этому вопросу я печатал до сих пор в “Общем деле”, бледнеет перед тем, что я только что сам услышал от потерпевших. Один слышанный рассказ ужаснее другого. С болью приходилось нам выслушивать, как общее утверждение, что то, что происходило в тюрьмах и судах при царском режиме, не имеет отдаленного даже сходства с тем, что происходит в настоящее время у большевиков и что связано с именем социализма и что - увы! - находит горячих защитников у представителей европейских социалистических партий.

Когда последний раз в 1918 году я покидал Россию, я понимал и тогда, что большевики ее разоряют, предают, губят. Но только теперь, побывавши в России, я увидел, до чего они ее довели. Тяжелыми были и для России и для союзников все четыре года войны, но они ничто в сравнении *с* тем, во что обошлись России последние два года проклятой гражданской войны. Вся страна теперь в анархии. Ее состояние можно охарактеризовать двумя фразами: “Россию грабят!” В России всюду убивают. Нет дома, нет учреждения, нет местности, где бы систематически не грабили всех. Все полито кровью. Страну разорвали на целый ряд отдельных государств. Уничтожили ее международное значение. Убили в ней всякую общественную жизнь.

Но среди всех этих ужасов и неописуемых страданий, которые я наблюдал во время моей поездки в Россию, я даже среди беженцев не встретил намеков на желание какого-либо примирения с большевиками. Когда с месяц тому назад при мне в Новороссийск дошло первое смутное телеграфное известие о попытках союзников завязать переговоры с большевиками, то к этому почти все отнеслись как к чему-то совершенно невозможному. А те, кто хоть отчасти допускал возможность этих переговоров, говорил с негодованием как об измене союзников и в то же самое время как об огромнейшей смертельной опасности для них самих. О недопустимости переговоров с большевиками говорили даже и те самые мрачные пессимисты, кто в ближайшем будущем не видел никакого сколько-нибудь сносного выхода для России из ее настоящего страшного положения. В России для всех большевики по прежнему - предатели, убийцы, грабители. С их

именем навсегда связаны воспоминания о величайших народных бедствиях, гнуснейших убийствах и преступлениях!»

* * *

Построенные опять по четыре в ряд, под конвоем румынских солдат мы шли от пристани целой колонной в город. В каком-то дворе этап был приостановлен. Ждали распоряжений властей. Мы стояли во дворе более двух часов и мокли. От бессонной ночи и усталости клонило ко сну. Скоро к нам присоединилась партия русских, прибывшая накануне из Галаца и ночевавшая на барже. В этой партии был начальник хорольской тюрьмы Пастернацкий. От него мы узнали, что во время обстрела с. Раскаец он потерял свою семью и теперь не знает, какая судьба постигла ее.

Этап был поделен на две части. Обер-офицеры, солдаты и гражданские чины были отведены в местную тюрьму, а штаб-офицеры и высшие гражданские чины последовали в помещение русского этапного пункта. Здесь нам объявили, что те, кто имеют средства, могут жить на частных квартирах, а неимущим и вообще желающим была представлена комната на этапном пункте. В городе по плану была очерчена зона, за пределы которой русским было воспрещено показываться. В пределах этой черты каждый мог искать себе квартиру и зарегистрировать ее в этапном пункте.

Нас очень приветливо встретила военная администрация этапной комендатуры. Начальником этапа был полковник Долгов и заведующим комендантской частью - штабс-ротмистр 12-го Стародубского драгунского полка Карпов. Этапное помещение сразу обнаруживало добровольческую организацию. Всюду на стенах были лубочные портреты Деникина. Колчака, Алексеева, Корнилова, Май-Маевского и других генералов. На кнопках были пришпилены декабрьские номера газет, которые потеряли всякое значение. Никаких сведений о настоящем положении на фронте на этапе не было. О положении Новороссийска никто ничего не знал. Этап находился в ведении живущего в Бухаресте представителя Главного командования Вооруженными силами Юга России в Румынии генерал-лейтенанта Герца.

Первое, что мы узнали здесь, - это что генерал Герц еще за два месяца до катастрофы в Одессе вполне определенно сообщал главнокомандующему барону Шиллингу, что румынское правительство ни в коем случае не соглашается пропустить через Румынию добровольческие части, и потому на этапе были очень удивлены, когда узнали, что отступление на Румынию было осуществлено по указанию барона Шиллинга. Мы были переутомлены до изнеможения. Тем не менее мы отправились искать комнату. Мы нашли две комнаты за 1000 лей (100 рублей)

в месяц и сейчас же перебрались на свою квартиру, придерживаясь той компании, которой мы содержались в арестантской в Аккермане.

Мы поселились вчетвером. Воздвиженская, полковник Товастшерна, Чесноков (Стецкий), и несколько позже к нам присоединился грек В. Г. Поппа, умудрившийся освободиться из тюрьмы. Корнет Деревицкий заболел по дороге в вагоне сыпным тифом и был снят в Сулинах с парохода. При этапе существовала столовая для беженцев. Нас кормили бесплатно. На следующий день по прибытии нам была сделана баня. Это было высшим наслаждением в нашем положении. Казалось, что здесь можно было бы отдохнуть и оправиться после всего пережитого, но наши комнаты оказались неотапливаемые. Но мы приспособились и мерзли только ночью.

Наш хозяин грек Ян Петала (Tulcea - Strada Bunaveltire № 15, Yan Petala) и жена и девочка (Янула) были очень милые люди, у которых в хате мы проводили целые дни. Это были полуинтеллигентные люди, оказавшие нам радушный прием. В их комнате почти беспрерывно топилась плита, и было жарко. Полураздетый, целыми днями я лежал на лежанке возле печки и дремал. Не только на меня, но и на всех беженцев напала спячка. Я дремал не только лежа, но и сидя. Это была реакция после всего пережитого. Дремало не только тело, но и душа. Чувства были притуплены. Весь ужас нашего положения - людей, покинувших Родину, не воспринималось сознанием. Хотелось спать. Тело постепенно освободилось от зуда и вшей и требовало покоя. Как собака, свернувшись клубком, лежит целыми днями после охоты, уткнувшись носом в свой теплый хвост, так и мы лежали в дремоте целыми днями, ни о чем не думая и ничего не соображая.

Мы ослабели. Скудная пища этапа, почти без жиров, и притом очень невкусная, не могла восстановить убыль сил, и мы пробавлялись целыми днями горячим чаем, после которого притуплялось чувства голода и спалось еще лучше. Чай с хлебом, которого мы получали в достаточном количестве (1 1/4 ф.), составляли нашу главную пищу. На этапе кормили только постольку, чтобы не умереть от голода. Нам давали обед и ужин, но и то и другое было противное и грязное до тошноты. Этап не имел средств, чтобы улучшить питание, но надзор был очень слабый, и это можно безусловно поставить в упрек этапной комендатуре. Кашевары были распущены и пьянствовали. Из тех же продуктов можно было сварить значительно лучший обед.

Всего в г. Тульче было русских около 300 человек, но 6 марта в Тульчу прибыла баржа, на которой приехал полковник

Александр Анатольевич Стессель с женой Раисой Васильевной. Вместе с ними прибыло 160 беженцев, перешедших границу возле Тирасполя. Стесселю удалось прорваться почти до Тирасполя, но к переходу границы возле него из всего отряда едва оставалось до пятидесяти человек. Весь отряд распылился, и большинство перешло на сторону большевиков. Таким образом, из трех руководителей отступления из Одессы - генерала Васильева, Мартынова и Стесселя только последний вышел из тяжелого положения и оказался интернированным наравне с прочими в г. Тульче, как незаконно перешедший границу Румынии[21].

Полковник Стессель с женой пережил ту же драму на льду, как и все прочие. Четыре раза он пытался перейти Днестр, и только на четвертый раз ему удалось вступить на румынскую территорию, и то только потому, что m-me Стессель провалилась на льду и была извлечена из воды только случайно. Румыны, видя это, разрешили Стесселю перейти Днестр. С отмороженными ногами, вся забинтованная, Раиса Васильевна рассказывала мне свои приключения в плавнях реки Днестра. Это было то же самое, что пережил каждый из нас. Честь и слава этому русскому человеку, который отказался от предложения английского адмирала и счел свои долгом разделить участь людей, работавших с ним в Одессе.

Я бывал в Тульче в этой милой семье полковника Стесселя и вынес

0 нем и его жене самое отрадное впечатление. Это настоящие русские люди, патриоты, любящие свою Родину. Сын порт-артурского героя, сам георгиевский кавалер, Стессель готов жертвовать всем ради спасения Родины. Сознательно приняв власть от барона Шиллинга в Одессе, Стессель знал, что он принимает на себя последующий удар, но не счел себя вправе отклонить его. До конца он был с остатками Добровольческой армии, не считая возможным в последнюю минуту оставить своих офицеров. Стессель говорил это просто, зная, что теперь можно считаться только со своей совестью. И действительно Стессель разделил судьбу своих офицеров и был с ними до конца.

В Тульче мне пришлось много беседовать с полковником Стесселем как о днестровской драме, так и о причинах разложения Добровольческой армии. Стессель знал, что были такие лица, которые в нервном возбуждении обвинили его и свалили всю вину катастрофы отхода на Румынию на Стесселя. Александр Анатольевич не оправдывался, но говорил: что может сделать воля одного человека при катастрофе, во время стихии?.. Если врачи побросали в Канделе больных и раненых, то винить можно только их, так как они были обязаны исполнить свой долг.

Перекладывать вину на командование в этом случае нелепо.

Интересную подробность рассказывал нам Стессель о пленении начальника своего штаба полковника Мамонтова. Мы упоминали уже, что при прорыве в плавнях Днестра на Тирасполь отряд Стесселя встретил парламентеров от большевика Котовского, который предлагал Стесселю сдаться. Есаул Афанасьев, стоявший во главе этой миссии, передал Стесселю письмо от Мамонтова, который был в руках большевиков. Полковник Мамонтов склонял Стесселя перейти на сторону большевиков... Для Стесселя было ясно, что Мамонтов писал это письмо по принуждению. Прежде всего обращало внимание то обстоятельство, что Мамонтов писал Стесселю «на ты» в то время, когда они никогда не были в таких интимных отношениях. Заканчивая свою записку, Мамонтов добавил, что он пишет в здравом уме и твердой памяти. Все это доказывает, сказал Стессель, что Мамонтов хотел заставить понять свое положение. По слухам, Мамонтова увезли на паровозе, по одной версии, в Москву, по другой - в Одессу. Затем распространился слух, что Мамонтов расстрелян.

Что касается Добровольческой армии, то помимо всех прочих причин разложение ее произошло по вине русских же людей. В начале это была несомненно героическая эпопея. И в дальнейшем это был сплошной героизм, но только истинных добровольцев, а не тех, кто, зараженный керенщиной и большевизмом, присосался к этой армии. С самого начала Добровольческая армия не имела того, что ей было необходимо. Голая и необутая, не обеспеченная продовольствием армия по мере своего роста должна была жить реквизициями, и это развратило ее. Стессель доказывал, что в то время, когда интендантские склады были переполнены обмундированием, солдаты и офицеры замерзали на позициях почти голые и с тряпками на ногах вместо обуви. Воевать в зимнее время при таких условиях было невозможно. Не лучше дело обстояло с продовольствием.

Отсюда начало всех неурядиц, развившихся впоследствии, когда в армию влился распущенный элемент. Виновато высшее командование, которое не учло этого и допустило деморализацию армии. С другой стороны, виновны и сами русские люди, которые не поддержали Добровольческую армию, а, забывая прямой долг, занялись спекуляцией и наживой в то время, когда нужно было спасать Родину. К глубокому сожалению, нужно сказать, что виновато и офицерство. В громадной своей массе офицерство держало себя инертно. Достаточно вспомнить, что в Одессе было до 40 тысяч офицеров, которые только зарегистрировались, но активного участия в

обороне Одесского района не приняли. Это явление наблюдалось повсюду. На призыв Добровольческой армии офицеры шли неохотно, а когда данная местность занималась большевиками, офицеры беспрекословно подчинялись приказу большевиков и шли регистрироваться и служить в большевистскую армию.

В армии не было твердой политики, и это ее губило. Это была та же керенщина, при которой не было возможности удержать войска на позициях и которые при первой неудаче разбежались. Осталось ядро Добровольческой армии, истые герои, которые десятками бились в неравном бою с целыми полками красных. Добровольческая армия проявила необыкновенный героизм, доблесть и самоотверженность, которых не видела даже, может быть, Европейская война. Масса русских людей положили свою жизнь за Родину, и не они виноваты в разложении армии. Чем дальше, тем было хуже. Люди заражались и следовали примеру заведомо негодных людей, присосавшихся к Добровольческой армии. К сожалению, и многие военачальники оказались не на высоте своего положения и вместо того, чтобы заниматься делом, спекулировали военной добычей.

Так грустно было слушать это мнение компетентного лица, несомненно бывшего в курсе дела. Как честный русский человек, Стессель перенес вместе с остатками своей части те же лишения, какие пережили все бывшие с ним, и разделил их судьбу военнопленных интернированных в Румынии. За тем же столом из глиняной миски с деревянной ложкой он хлебал в этапной столовке грязную похлебку и получал свой паек, который сравнял его с последним его солдатом. По имеющимся на этапе сведениям, в разных местах Румынии находится около 1800 русских, перешедших границу. Таким образом, все остальные из двенадцатитысячной массы людей, вышедших из г. Одессы, более 10 тысяч, осталось на «том берегу». Судьба их нам неизвестна.

Русское общество в Тульче не объединилось. Все жили отдельными кружками и компаниями и были далеки от какой бы то ни было организации. Каждый жил сам по себе и мало вникал в интересы другого. Замкнутость и эгоизм последнего времени не оставляли беженцев и на чужбине. Никаких сведений на фронте и в России мы не получали. Газеты из Бухареста на французском языке были скучны и ничего не говорили о России. Мы были отрезаны от всего мира. Чувство апатии и полной безнадежности постепенно охватили все русское общество и еще больше заставляли каждого прятаться в свою скорлупу. На этапе всем беженцам было выдано белье и обувь, а женщины получили пальто. Несколько позже американский Красный Крест выслал из Бухареста всем беженцам еще по одной смене белья и выдал

мыло, фуфайки, носки и прочие мелочи. Это выручило из безвыходного положения очень многих, в том числе и меня.

Почти все беженцы в Тульче страшно бедствовали. Только немногие проскочили границу с деньгами и ценными вещами, что дало им возможность устроиться по-человечески. Мы меняли оставшиеся у нас «колокольчики» (тысячерублевки). Беженцы продавали свои вещи, золотые кольца, часы, цепочки и прочее, а несколько позже «загоняли» те вещи, которые получили от американцев и на этапе. Каждому хотелось выпить стакан чая и купить папироску. Мы не говорим, конечно, о тех, кто пьянствовал и вел разгульную жизнь на те деньги, которые ему удалось сохранить при переходе границы. Это было исключение. В общей массе все нуждались и испытывали большие лишения.

На скудной пище этапа существовать было трудно. Жизнь шла монотонно и однообразно. Молодежь пробовала знакомиться с румынками, но родители запрещали им знаться с русскими. Об этом сказала румынская барышня Чеснокову, которому она симпатизировала. Девушка, которая гуляла с русским, подвергалась гонению и портила себе репутацию в румынской среде. «Romania mare» (Великая Румыния), как теперь величало себя румынское государство, считало неподходящим знакомство румынской девушки с русским офицером. Греки не любят румын и ядовито напоминали нам, что Румыния была во времена Римской империи местом ссылки.

Румыны - это потомки преступного элемента и осевших потом бродячих цыган. В России мы знали румын только как музыкантов. Во всех первоклассных ресторанах наших обеих столиц и больших городов обязательно играл румынский оркестр. Своим чисто цыганским пошибом румынский оркестр вызывал сильное ощущение и привлекал публику в рестораны. Цыганский хор и румынский оркестр - это всегда было лучшим развлечением русской публики. Только по этим данным мы были знакомы с румынами и не могли поэтому вообразить себе этого музыканта в роли военного человека, а его государство - великой державой. Эта «великая держава» имеет только один университет, где предметы проходят на каком угодно языке, но только не на румынском.

Город Тульча, расположенный на правом берегу Дуная, представляет собой необыкновенно красивый городок. Город был, говорят еще красивее, когда он не был полуразрушен в 1917 году болгарами. Десятки и сотни домов по многим улицам стоят совершенно заброшенными и представляют собой руины. Тульча - старый греческий город. Местные греки рассказывают даже предание, согласно которому основание города Тульчи относится

к тому времени, когда во времена мифологии грек Гераклеас гнался за оленем и настиг его в непроходимых лесах Румелии у самого Дуная, который тогда назывался Истра. Олень запутался рогами в непроходимых лесах и был пойман Гераклеасом. Здесь впоследствии был основан город Тульча. С падением Константинополя, когда Румелия перешла к туркам, г. Тульча перешел во власть турок.

Теперь Тульча принадлежит Румынии и представляет собой интересное место по разнообразию населения. В числе до 20 тысяч населения здесь имеются представители многих народностей. Румыны, греки, болгары, русские, евреи, турки, цыгане, немцы, даже итальянцы, составляют население Тульчи. Любопытно, что в г. Тульче много русских. Их предки эмигрировали из России еще при турецком владычестве, во времена императора Николая Павловича, при преследовании в России различных сект. Турки относились безразлично к религиозным сектам, и потому русские поселились в г. Тульче как ближайшем пограничном пункте. И ныне живущие здесь русские поражают разнообразием сект. Здесь имеются старообрядцы (липоване), поповцы, беспоповцы, молокане, баптисты, скопцы, единоверцы. Если присоединить сюда коренных жителей - православных, лютеран, протестантов и магометан, то станет понятным, какое впечатление должна производить Тульча.

Мы были интернированы в г. Тульче. Только штаб-офицеры жили на частных квартирах за свой собственный счет. Все остальные были размещены в местной тюрьме (Пушкария), которая местными людьми называется Бабадак (название окраины города). Старая турецкая тюрьма в Тульче не сохранилась. Румыны выстроили тюрьму по своему образцу, совершенно своеобразного типа. Одноэтажная, широко разбросанная со многими изолированными отделениями с прилегающими к ним отдельными двориками. Постройка напоминает лабиринт, в котором сразу нельзя разобраться. В принципе заложен глубокий смысл -полной разобщенности отдельных категорий заключенных. Только общий центральный двор доступен заключенным. Второстепенные дворы представляют полную изоляцию. Вход в большую часть камер устроен прямо со двора, или, вернее, с балконов, которые устроены вдоль каждого отделения с лицевой стороны.

Конечно, такое расположение допустимо только на юге. Колонны балконов производят красивое впечатление. На схематическом плане они обозначены кружками. Ограда тюрьмы низкая, не более четырех аршин. Ограда имеет со всех четырех сторон и на углах «ложные башни» по образцу крепости. Полы в

тюрьме земляные. Вместо коек устроены нары-лежанки. Внутренних клозетов нет вовсе. Отхожие места устроены во дворе, возле ограды под выступами. Что особенно интересно, это то, что административный корпус и караульная вынесены за пределы тюремной ограды, как это было в старину в наших русских «острогах».

Здесь приведен схематический план Тульчинской тюрьмы, который набросан мной по памяти и согласно примерному измерению шагами,

которое делали по моей просьбе офицеры, содержавшиеся в этой тюрьме. В тюрьме было размещено до двухсот офицеров, солдат и беженцев. Содержание их было приравнено скорее к содержанию в концентрационном лагере, чем к тюремному режиму. При тюрьме был военный караул. В го -роде разрешалось ходить только в сопровождении стражи. Внутренний порядок походил на тюремный.

Очень скоро публика в тюрьме расчленилась на две группы. После приезда в г. Тульчу представителя украинской миссии из Бухареста пана Шаповал часть беженцев записалась в украинцы, которые, по заявлению Шаповала, будут отправлены в Краев, где они будут комплектоваться в украинскую армию. Вообще с приездом Шаповала в Тульче усиленно стал муссироваться украинский вопрос. Всем уроженцам юга России, малороссам, естественно хотелось попасть на родину. Заверения Шаповала, что союзники (Антанта) вместе с поляками и румынами поддерживают Украину, взбудоражили публику. Соблазн попасть на Родину раньше других заставлял многих записываться в список украинцев. Сразу записалось 80 человек.

Это явление было встречено в местном этапном пункте крайне враждебно. Тотчас же по распоряжению полковника Долгова украинцы были сняты с этапного котла. Они были объявлены чуть не врагами добровольцев, так как считалось, что добровольцы находятся в состоянии войны с Петлюрой. Румыны, напротив, сразу изменили отношение к украинцам. Согласно предписанию румынского коменданта Бэка, в тюрьме было улучшено содержание украинцев. Для них в камерах были устроены нары. Когда в тюрьму привели русских, то нар еще не было. Румыны тогда только обещали оборудовать камеры. Первое время в тюрьме все помещались на земляном полу.

Румынская комендатура приняла украинцев на свой котел и кормила их значительно лучше, чем кормил беженцев русский этап. Украинцам были предоставлены всевозможные льготы. Первая партия украинцев была отправлена в Краево перед

Пасхой. Сейчас же после отправки начал заполняться второй список. К этому времени в Тульчу был препровожден перешедший границу известный в свое время атаман Ангел, который был весьма нам памятен по деяниям его при наступлении Петлюры от Конотопа на Киев в 1918 году. Атаман Ангел был хорошо известен добровольцам и гетмановским офицерам. Он расстреливал одинаково и тех и других. Даже в Тульче называли фамилии тех жертв, которые попадали в руки «куреня смерти», атаманом которого состоял Ангел.

Это было перед самым праздником Светлого Христова Воскресения. Офицерство было встревожено и требовало суда над бандитом. По распоряжению начальника этапа о деяниях Ангела началось следствие, но Ангел занял в тюрьме привилегированное положение. Румынские власти приняли Ангела под свое покровительство и сделали его старшим в украинской группе. В первые дни прибытия Ангела в Тульчу этапная комендатура хотела его арестовать и опрашивала его. Ангел при допросе отрицал, что он тот Ангел, который стоял во главе куреня смерти, но уже потом, когда его приняла под защиту румынская администрация, он цинично заявлял в тюрьме офицерам, что он «настоящий Ангел» и не признает «золотопогонников». Уезжая из Тульчи со своей группой украинцев, атаман Ангел вел себя в тюрьме дерзко по отношению к офицерам и в споре с одним из них сказал, что он расстреливал и будет расстреливать «золотопогонную сволочь».

Начальник тюрьмы Б. М. Солонина, который содержался в тюрьме с Н. А. Тарновским, записался в список украинцев и уехал вместе с партией Ангела. Из Краево предполагалось попасть в Каменец-Подольск, откуда все рассчитывали выехать в Киев. Это была та же история, что в Одессе со Струком. Струковский отряд численностью до 3000 человек состоял в большинстве из лиц, записавшихся к Струку, чтобы пробраться поближе к Киеву. Это то, что погубило Струка. Под г. Маяки отряд был разбит большевиками. При первом выстреле струковцы разбежались, и часть их перешла через Днестр в Румынию. Разгром струковского отряда предшествовал разгрому добровольцев под с. Раскаец и представлял совершенно одинаковую картину. Часть струковцев попала в Тульчу и была интернирована в Румынии вместе с нами.

Люди стремились вырваться из Румынии и попасть на Родину. Судьба Украины еще не определилась. Румыния и Польша стояли за отделение Украины и покровительствовали украинцам. Люди колебались. Казалось, что путь через Каменец-Подольск на Киев был самым кратким и вероятным. Между тем, как по общему мнению, Добровольческая армия уже прекращала

свое существование. Сведений об общем положении на фронте в Тульче не было.

Мы были на кладбище в г. Тульче, чтобы навестить русские могилы и зарегистрировать умерших в Тульче черниговцев. В прошлом году почти в то же время через Тульчу прошли отступающие из Одессы через Румынию воинские части в количестве более 7000 человек. Это были те же добровольцы, которые скоро были отправлены в Новороссийск, откуда началось прошлогоднее наступление добровольцев, закончившееся взятием г. Орла. Конечно, в прошлом году добровольцы, отступавшие вместе с французами, были в Тульче в ином положении, и само отступление носило совершенно другой характер. Тем не менее и тогда люди гибли и испытывали большие лишения.

На городском кладбище в Тульче отведено место для погибших добровольцев. При входе на кладбище, направо, в самом конце в три ряда, одна возле другой, расположена 51 могила с простыми маленькими дере -вянными крестами; на некоторых из них сделана надпись с обозначением имени, фамилии и даты смерти. В стороне от них, отдельно, расположены три могилы. Это сначала предполагали умерших штаб-офицеров выделить в отдельную группу и потому здесь похоронили трех полковников. Еще раньше хоронили ближе ко входу на кладбище, так что 15 могил расположено в стороне от добровольческих могил. Одна могила находится среди румынских военных могил.

Таким образом, всего русских добровольческих могил на кладбище семьдесят, но, кроме того, есть одна братская могила, где, по сведениям кладбищенского сторожа, похоронено 20 добровольцев. Кроме пяти свежих могил умерших от сыпного тифа в Тульче из нашей партии, остальные 85 человек похоронены в прошлом году. Администрация русского этапа в Тульче рассчитывает поставить один общий памятник, но пока этого не сделано. Наверное, многие из этих могил останутся забытыми навсегда и прах умерших будет причислен к людям, без вести пропавшим. Как в плавнях реки Днестра, так и здесь смерть человека не привлекала к себе внимания людей. Регистрация их не велась. Люди гибли, и никому до них не было дела. Многие будут оплакивать своих отцов, мужей и сыновей и никогда не узнают, где и при каких обстоятельствах погибли эти русские люди. Да и погибли ли они?

Мы шли с полковником Л. Н. Николаенко на кладбище за похоронной процессией. Хоронили умершего от тифа офицера Евгения Семенюка. В процессии участвовали только прислужники церкви и мы вдвоем, случайные участники похорон. Кто такой

был Семенюк, мы не знали. Доктор сказал нам, что он киевлянин, сидевший в Одесской Чрезвычайке. Этого было достаточно, чтобы вообразить себе драму этого человека. Никого близких, никого из товарищей при нем не было. Карандашом на могильном кресте фельдшер написал дату смерти и обозначил фамилию умершего. Так бесславно, одиноко и заброшенным погиб Евгений Семенюк. И вряд ли когда-нибудь его родные узнают, что где-то на чужбине закончились его глубокие страдания. Его, может быть, с любовью ждут дома и молятся еще о скорейшем возвращении домой. А ведь это был герой-защитник Родины. И таких, как Семенюк, много. Люди очерствели и замкнулись в своем несчастии.

В Тульче образовалась целая колония русских, и никого не интересовали погибающие и умирающие. И так мог погибнуть каждый, не обращая внимания других. Мы заинтересовались этим положением и имели по этому поводу беседу с полковником Долговым. Мы получили разъяснение, что русский этап в Тульче возбуждал вопрос о постановке памятника и о приведении в порядок русского добровольческого кладбища и испрашивал на эту надобность 5000 лей, но на свое представление полковник Долгов получил телеграмму из Бухареста от генерала, содержащую в себе одно французское слово «non». Мы добивались затем хотя бы установить фамилии умерших, чтобы впоследствии их можно было опубликовать в русских газетах, но оказалось, что на этапе этих сведений не имеется.

Таково было отношение к людям, шедшим защищать свою Родину. Правда, большинство умерших принадлежало к бригаде генерала Тимоновского, бывшей в прошлом году в Тульче, и, по-видимому, в штабе этой бригады имеются сведения о погибших, но ведь могло случиться, что и в штабе эти сведения не сохранились, а родные ждут их, не будучи в состоянии даже оплакивать свои дорогие могилы. Так очерствело человеческое сердце и стали безразличны интересы ближних. Нам приходилось много беседовать с беженцами. Почти у каждого дома в России остались родные и близкие люди. Каждый с тоской и грустью думал о них и стремился домой, но события шли помимо человеческой воли, и оставалось лишь «плыть по течению».

Все были уставшими, обессиленными и нравственно подавлены, а в таком состоянии развивалось чувство полного безразличия, апатии и эгоизма ко всему окружающему. Чувство недоедания в связи с весьма тяжкими лишениями еще сильнее обезличивало человека, и он обращался в манекен, которым руководит все что угодно, но только не собственная воля. Больно было смотреть, как эти когда-то культурные, интеллигентные и образованные люди, теперь полуободранные, голодные,

накидывались на ту отвратительную похлебку, которой в России кормили только собак. Люди общества, офицеры, генералы подходили со своими мисками и деревянными ложками к общему котлу и буквально грызлись за пищу. «Вновь прибывшим пищи сегодня не полагается» - и из рук прибывшего берут миску.

Мы сами испытали в арестантской при аккерманском гарнизоне положение вновь прибывших. Нам хотелось есть, но, пока мы не попали в общий список, мы голодали и только смотрели. Никто с нами не поделился своей порцией, и никто даже не поинтересовался, хотим ли мы есть. Больно было за этих людей, и вспоминалось, как раньше, бывало, мы встречались в гостиных и в культурном обществе. Мы уже испытали это и видели при большевиках в России. Интеллигенцию большевики жестоко преследовали и заставили стать в положение простолюдина. Белье, одежда, обувь были отобраны. Квартиры были уплотнены до степени жизни коммуной. Культурные привычки пришлось бросить. Непривычный голод делал человека жадным и черствым по отношению к другим людям. Мы вспоминаем это ужасное состояние голода, когда каждый готов вырвать у другого ту 1/8 фунта хлеба, которую он получал, а большевистские комиссары говорили, что это еще не голод. Голод будет тогда, когда на кладбищах будет стоять очередь.

Ужасы большевизма и ужасы контрбольшевизма уравнивались. Стыдно вспоминать, как люди грызлись за коробку консервов и, потерявши совесть, рвали друг у друга лишний кусок хлеба. Попытки организовать это общество и создать взаимную помощь не удавались. Каждый хватал свою долю и бежал, как собака, грызть свою кость. Чувство сострадания исчезло. В лучшем случае только скажут, что такой-то заболел, но о дальнейшей судьбе такого человека уже не вспоминают. И люди к этому привыкли. Больной перед смертью уже не просит, так как понимает, что просить некого.

Я стоял среди этих общих, но одиноких могил и переносился мысленно к их родным, которые ждут не дождутся своих отцов, мужей и сыновей, не представляя себе, что они лежат уже в месте вечного покоя «без вести пропавшими». Пройдет много лет. Карандашная надпись на могильном кресте смоется временем. Жизнь начнет входить в колею. Люди опомнятся и вынуждены будут оглянуться назад. Конечно, все прошлое покажется им кошмаром и отвратительным сном, но от этого будет не легче тем, кто будет вечно ждать своих без вести пропавших близких и родных, дорогих им людей.

Город Тульча в Румынии будет для русских людей историческим городом. Дважды русские отступали от

большевиков на Румынию. В марте 1919 года добровольцы отходили из Одессы вместе с французами, греками и поляками. Они были сосредоточены в Тульче и скоро направились в Новороссийск. Румыны тогда пропустили русских, погибли отдельные лица, но это был тот долг, которого требовали обстоятельства военного времени. В бригаде генерала Тимоновского свирепствовал сыпной тиф.

Совершенно иное положение создалось в этом году. Добровольческая армия была разгромлена. В Румынию отступали, в сущности, не воинские части, а бежала толпа беженцев, спасающихся от расправы большевиков. Это были обезоруженные люди, которые не могли оказывать сопротивления даже грабившим их крестьянам. Это были люди обессилевшие, но уже исполнившие свой долг. Это была толпа людей, которые требовали защиты международного права и просто гуманного к себе отношения.

* * *

Дни шли невероятно долго и скучно. Единственным для нас развлечением была чайная грека Антония - известного в Тульче и даже окрестностях города как прорицателя и вдохновенного толкователя Апокалипсиса. Здесь собиралась русская публика и делилась своими мыслями. Антоний предсказывал большевизм в Европе и уверял нас, что к июлю большевизм в России закончится, и мы поедем домой. Наивно принимая внушения грека Антония, публика оживлялась и искренно радовалась. Впрочем, настроение часто менялось. Какой-нибудь слух через рыбаков из Одессы вызывал подавленное состояние, но затем беседа с Антонием опять приводила публику в блаженное состояние. Грек стоял на своем и уверял, что в начале июля мы будем в России. Люди проявляли патриотизм и делались настоящими русскими людьми.

В особенности это сказалось на Страстной неделе и в дни Св. Пасхи. Русские проводили целые дни в церкви. Бабадак (тюрьма) выводилась в церковь в сопровождении стражи. Это было для наших пленных истинным удовольствием. Заключенные составили свой хор и прислуживали в церкви. Местный священник уступил службу в русской церкви нашему батюшке отцу Сергию Калите - беженцу из Черниговской губернии. С особым грустным оттенком и глубиной служил отец Калита, вызывая глубокие чувства в настроении русских беженцев. Одним словом, русская церковь на валу была в руках русских беженцев. Здесь более, чем где-либо, чувствовалось сближение русских на чужой территории. У всех на душе было грустно и тяжело. Как-то особенно сильно чувствовалось общее горе и тоска по родным и

близким людям на Страстной не -деле. Румыны в этот раз особенно русских не притесняли, а в ночь перед Пасхой разрешили даже ходить по городу целую ночь.

Оставаясь верными своим традициям, русские шумно отпраздновали Пасху. «Загнав» (продав) последние свои вещи, беженцы проявили свою русскую натуру и, вероятно, не было уголка в Тульче, где бы не было водки и пасхи. Отчасти от горя, отчасти от души русские выпили много. Греки посмеивались и говорили, что никто так много не пьет, как русские. Одним словом, первые дни праздника Пасхи прошли в хмелю, и вряд ли кто-нибудь оставался абсолютно трезвым. Даже в тюрьме люди разговелись как следует. В этом хмелю вылилось наболевшее горе за себя и за Родину и забылось положение пленного за границей. Румыны посчитались с этим настроением и дали волю разгуляться русской натуре. Уже к заутрене румыны стушевались. Пьяных не трогали. Ночью на улицах можно было встретить только русских. Впрочем, скандалов не было. Публика вела себя скромно.

С особой торжественностью священник отец Сергий отслужил заутреню. Церковь была переполнена русскими во главе с начальником этапа и его штатом служащих. Церковь была заполнена старыми шинелями русских добровольцев. Все были одеты одинаково - все в русских солдатских шинелях. Пел хор офицеров из Бабадака (тюрьмы), возле которых на клиросе стояла стража в лице двух пожилых румын-солдат. Многие плакали и подолгу стояли на коленях перед иконами, освещенными тысячами восковых свечей. Было грустно, тяжело на душе, и к горлу подступали слезы. В таком состоянии в темную глубокую ночь добровольцы шли разговляться и первую рюмку, конечно, пили за своих родных, близких и дорогих людей.

Ранняя Пасха (29 марта) совпала с первыми чудными весенними днями. Начала распускаться зелень, и появилась трава. Мы спали уже с открытыми окнами. Было грустно. Весна тянула домой. Что делалось в родных краях, мы не знали. Уже давно шли слухи, что нас отправят в Болгарию. Румыны старались отделаться от русских, а болгары принимали нас.

* * *

Ежедневно мы ждали парохода, чтобы ехать в Болгарию. По слухам, в г. Варне был голод. Газеты сообщали о происходящей в Болгарии забастовке и большевистских выступлениях. Часть публики ехала в Сербию, но и там, по слухам, было неблагополучно. Настроение было скверное. Многие завидовали тем, кто записался в украинцы и уехал в Краев. Хотя на Украине не было ни территории, ни армии, но чувствовалось, что они

раньше всех попадут на Родину.

14 апреля ст. ст. утром послышался гудок морского парохода. С быстротой молнии в Тульче распространилась весть о прибытии русского парохода «Адмирал Кашерининов». Согласно объявлению этапной комендатуры, все едущие в Варну должны были погрузиться на пароход в течение двух часов. В 9 часов утра с вещами и котомками русские потянулись к пристани. Мы распрощались с нашим хозяином греком Яни Петала, который уже раз напомнил нам предсказание своего брата Антония о том, что в июле мы будем уже дома. Девочка Янула страшно плакала, прощаясь с нами.

На пристани возле прибывшего «Кашерининова» было уже много народу. Ждали таможенного чиновника. На пароходе было уже 88 беженцев, в большинстве военных, прибывших из Рени. Нам было объявлено, что погрузка начнется в час дня. Румыны предложили нам отойти от парохода, указав место на площади, шагах в пятидесяти от «Кашерининова». С парохода на пристань никого не пускали. С 12 часов дня на пристани началась суета. Постепенно начали прибывать румынские русские власти. С портфелем в руках начальник этапа полковник Долгов суетился возле парохода и что-то говорил с румынами. Нас потом выстраивали, пересчитывали, выкликали, а затем таможенный чиновник осматривал вещи. Он обратил внимание, что мы вывозим много мыла, которое мы получили от американцев.

Не обошлось и без недоразумений. Румыны не пропускали хлеб, который был привезен к пароходу нам на дорогу. Усилиями полковника Долгова румыны разрешили погрузить на пароход по одному хлебу на человека. В общем и здесь отношение румын было враждебное. Каждый раз, когда публика собиралась группами возле парохода, румынские солдаты грубо разгоняли русских. В гавани собралась масса народу. Остающиеся в Тульче пришли проводить отъезжающих. Пароход привлек на пристань и местных жителей, главным образом русских-сектантов.

Во втором часу началась погрузка. Всех интересовал вопрос, будем ли мы отправлены под конвоем румын или поедем самостоятельно. Капитан «Кашерининова» шутя отвечал, что мы вступаем на русскую территорию, и каждый румын, вступивший на пароход, будет спущен им в воду. «Адмирал Кашерининов» был русским пароходом и шел под русским флагом в Константинополь на буксире у катера «Успех» для ремонта. Все служащие на нем были русские. Первый раз за все это время мы почувствовали себя на русской территории. Первый раз за это время мы скинули с себя тяжесть румынского гнета и очутились среди русских.

На «Кашерининове» почувствовался у всех подъем настроения. Нас дружески встретила находившаяся на пароходе группа русских людей, испытавшая те же невзгоды, что и мы, при переходе румынской границы. Русский флаг на «Кашерининове» как-то особенно приятно ласкал взор. На этой небольшой территории мы чувствовали себя хозяевами положения. Около 6 часов вечера пароход начал отчаливать. На берегу стояли чины местной комендатуры в полном составе. Мы собрались на палубе. По инициативе священника Калиты тут же сорганизовался хор, который запел «Коль славен». Мощно прозвучал этот гимн, напомнив прежнее величие всего русского. Все сняли шапки. Стоявшие на берегу обнажили головы.

Пароход медленно отчаливал, оставляя на берегу русских, испытывавших те же чувства при пении гимна. Мы видели, как румыны будто бы несколько растерялись. Посматривая искоса друг на друга и на толпу, стоявшую, как при молитве, без шапок, они точно не знали, как поступить. Только они - румыны выделялись своими голубыми кепками, внося диссонанс в эту торжественную и проникнутую глубоким чувством патриотизма минуту.

Мы погрузились в числе 107 человек, что с прибывшими из Рени составило 145 человек. Обе группы были спаяны одной общей трагедией отхода к румынской границе. Нас отправляли в Болгарию. Мы радовались, что едем не во враждебное государство, но вместе с тем приходили в уныние от сознания, что мы отделяемся от своей Родины. Бог знает, когда и при каких обстоятельствах можно будет вернуться домой. Мы были ограблены. Все наше имущество заключалось в тех вещах, которые нам были даны американцами и местным этапом. Кое у кого сохранилось небольшое количество «колокольчиков» (донские 1000 рублей), «лопаток» (50 рублей) и украинских денежных знаков, а также некоторые ценные вещи (часы, кольца и пр.). В общем, мы были нищими и, конечно, не могли существовать самостоятельно, без поддержки. На дорогу нам выдали хлеб и консервы. По инициативе штаб-капитана Горбачевского на пароходе был устроен общий котел. Мы получали горячую пищу.

Мы ехали на полную неизвестность и не рассчитывали на что-нибудь хорошее. Тем не менее с самого начала поездка на пароходе «Адмирал Кашеринов» была для нас истинным отдыхом и удовольствием. Мы были сыты и пользовались относительными удобствами. Погода нам благоприятствовала. Полнолуние и безоблачное небо в течение нашего путешествия раскрывали перед нами очаровательную картину моря. В

международном порту Сулина мы стояли на якоре почти целые сутки.

Вечером накануне выхода в море священник отец Калита отслужил всенощную. Пел хор офицеров и солдат. Многие выходили в море первый раз в своей жизни и испытывали некоторое волнение. Страшили приготовления. На пароходе привязывали столы, стулья, сундуки, тюки, чтобы они не сорвались во время качки. Всенощная закончилась поздним вечером, когда уже луна была высоко на небе.

Окружающая обстановка представляла дивную картину. Мы стояли у выхода в море почти между двумя маяками. Порт Сулин был залит лунным светом, на фоне которого в бесконечном количестве ярко светили электрические фонари порта и стоявших в нем кораблей. Перемещающиеся и сверкающие разными цветами огни двух стоящих друг против друга маяков разбрасывали яркий свет в том месте, где луна отражала в море широчайший сноп лунной морской ряби, расширяющийся к горизонту. Мы не могли спать и долго сидели на палубе, любуясь этой картиной сочетания природы и сил человеческой мысли, достигшей такой высокой культуры и техники. Еще величественнее была картина открытого моря.

Двое суток пароход Кашерининов шел в Варну. Полпути мы шли открытым морем вдали от берега и видели абсолютный географический круг моря, в центре которого находились мы на пароходе «Адмирал Кашерининов». Это напомнило нам картину из учебника географии и глобус, которые дали нам в детстве представление о морском горизонте. Море было спокойно, и только временами небольшие волны увеличивались и несколько покачивали «Кашерининова». Почти все время мы сидели на палубе и с наслаждением вдыхали морской воздух. Нас развлекали морские чайки, сопровождавшие временами пароход, и дельфины, которые шныряли возле корабля, выскакивая из воды и делая поверх моря дугообразные движения.

Спокойная атмосфера моря, абсолютно чистый воздух и великолепные теплые дни дали нам тот отдых, которого мы уже давно не ждали. Новые и притом сильные впечатления вдали от враждующего человечества, вдали от атмосферы взаимной ненависти и злобы, отвлекли нас и перенесли на время в иной мир, более близкий к природе. Многим казалось, что в Болгарии будет лучше и что там можно будет хорошо устроиться и отдохнуть. Но это могло только казаться. Более глубокие люди отлично понимали, что они едут не на курорт, которым считается г. Варна, а покидают свою Родину как эмигранты. Можно любоваться природой и физически отдыхать после всего

пережитого, но примириться и жить спокойной жизнью вдали от родных и близких людей, которые переживают, может быть, ужасы, превосходящие своим безобразием пережитое нами, едва ли возможно.

Нам чудится бой под Канделем и «тот берег», где гибли сотни и тысячи русских людей, оставленных в плавнях реки Днестра на растерзание изуверов-большевиков. Кровавый след этих преступлений растянулся далеко за пределы румынской границы и прилип даже к английскому контрминоносцу, бежавшему из Одесского порта. Из 12 тысяч человек, остатков Добровольческой армии, едва 1800 человек благополучно миновали «плавни» и перешли румынскую границу. Но где же остальные? Мы видели убитых и раненых. Мы оставили в Канделе своих друзей и знакомых. Мы, наконец, были на кладбище в г. Тульче и слушали рассказы бессарабцев и немцев-колонистов. И это ответ на наш вопрос. Если бы каждый из уцелевших вспомнил погибших при нем и посчитал «без вести пропавших», то это был бы еще более точный ответ на этот вопрос.

21 апреля (4 мая нов. ст.) к вечеру мы стали приближаться к г. Варне и шли вдоль берегов Балканского полуострова. Вдали, как в тумане, виднелась Варненская бухта. Пароход лавировал, чтобы обойти минное поле, не очищенное от мин, оставшихся еще со времени Европейской войны. Здесь недалеко виднелись мачты затонувшего недавно от разрыва мины парохода «Петр Великий», того самого, который привез в декабре месяце в г. Варну эвакуированных из Севастополя больных и раненых добровольцев. Это был первый транспорт беженцев из России в числе 1000 человек, из которых 100 человек было сыпнотифозных. К 9 часам вечера мы были уже в гавани. «Кашерининов» остановился в порту, не подходя к молу. Капитан громко и отчетливо сообщил в рупор на берег: «Прибыл из Сулина русский пароход “Адмирал Кашерининов”».

* * *

Сообщение в варненской газете

Прибывший в г. Варну председатель организации беженцев Черниговской губернии Д. В. Краинский покорнейше просит находящихся в Варне черниговцев сообщить для регистрации имеющиеся у каждого сведения об умерших и без вести пропавших уроженцах и постоянных жителях Черниговской губернии.

Адрес: ул. Гургулята, № 13, квартира доктора Н. В. Любарского, в 9 часов утра и 7 часов вечера.

Уроженцам и постоянным жителям Черниговской губернии, находящимся в г. Варне и желающим записаться в организацию, предлагается явиться для регистрации по адресу: ул. Гургулята, №

13, квартира доктора Н. В. Любарского (ежедневно в 9 часов утра и 7 часов вечера).

Во всем этом кошмарном деле об «отходе на Румынию» есть еще другая сторона. Где те лица, которые, севши заблаговременно на корабли, уверили своих подчиненных, что им открыт путь на Румынию?

Мы знаем, что в Крыму производится следствие по делу об эвакуации Одессы.

В Варне можно было бы собрать материалы, весьма ценные для следственной комиссии. Через наш город проходят счастливцы, пережившие румынский поход.

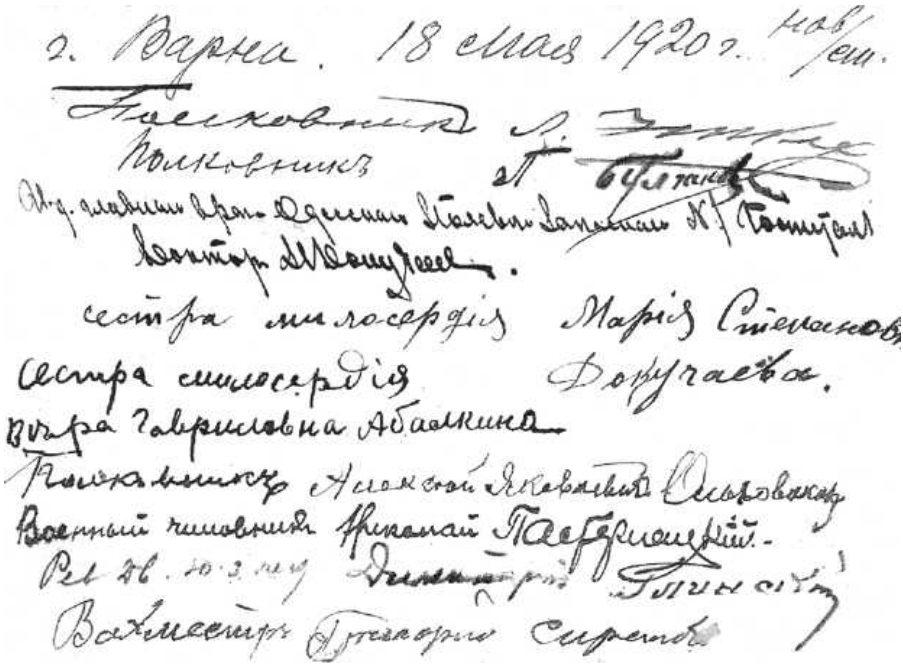
Д. Краинский. 1920

*к к **

Мы, нижеподписавшиеся участники отступления из Одессы на Румынию через Кандель и Раскаец, ознакомившись с мемуарами г. Краинского, изложенными в настоящей тетради, удостоверяем, что все факты и события изложены им правильно, беспристрастно и без всякой субъективной окраски. Г. Краинский заносил в свои записки рассказы очевидцев и потерпевших с их слов и затем прочитывал им записанное и охотно делал соответствующие исправления, если следовали какие-нибудь замечания.

Мы находим, что г. Краинский слишком мягко изложил все ужасы отступления на Румынию и отношения румын к русским, причем им совершенно упущено описание зверского отношения румын к русским в арестантской при аккерманском гарнизоне и по дороге из Аккермана в Рени и Тульчу. Г. Краинский объяснил это тем, что он не решался во время своего пребывания в Румынии писать о румынах. Мы уполномачиваем г. Краинского дополнить свои записи изложением этих фактов и поручаем полковнику Л. Н. Николаенко заверить правдивость этого изложения.

г. Варна, 18 мая 1920 г. н. ст.



Подписи [десятки подписей. - *Сост.*].

У румын

Варненская «Русская газета» сообщает:

Генерал А. А. Авринский, прибывший на днях в Варну после долгих странствований по Румынии, в беседе сообщил немало любопытных данных о гостеприимстве и благородных чувствах этой музыкальной нации в отношении к нам, русским, их недавним союзникам.

Больные, дети?.. Встречать огнем!

Прежде всего обстрел не только русских войск, но и обозов с ранеными, женщинами и детьми - это вовсе не случайность и не результат неисполнительности или непонятливости каких-либо «стрелочников», низших агентов власти.

- Мне сообщали из безусловно достоверного источника, - заявил нашему сотруднику генерал Авринский, - что румынский совет министров еще до эвакуации Одессы в специальном трехдневном заседании имел суждение по вопросу о том, следует ли пропускать русских, которые пытались бы спастись от большевиков, через румынскую границу. Несмотря на ходатайство союзных представителей, румынские министры постановили: «Через границу - хотя бы то были женщины, дети, раненые - не пропускать. Попытки с их стороны перейти границу встречать огнем».

И встречали.

Генерал Авринский, подтверждая бесчисленные рассказы других очевидцев, определенно указывает и время и место таких «великодушных встреч». Так, в деревне Роскеницы, не говоря уже о военных и беженцах, - были обстреляны из пулеметов и винтовок даже повозки Красного Креста!

43 дня в стогу сена

Когда я находился уже в Тульче, туда прибыли двое русских - подпор. Зубов и чиновник Дишкант, в течение 43 дней скрывавшиеся от румын в стоге сена. Хлеб им доставляли за деньги и в обмен на имевшиеся у них вещи и кресты из окрестных сел, за водой ходили тайком по ночам. В Тульчу они прибыли полураздетые, еле живые от цинги, с ранами и язвами на ногах.

Письмо румынскому королю

Не всем удавалось добиться у румынских властей, рассказывает генерал Авринский, разрешения остаться на румынской территории. Я лично написал письмо румынскому королю, который еще во время войны бывал у меня на фронте на наблюдательном пункте и даже наградил меня румынским орденом. В письме я просил приюта для себя и для 25 человек своих спутников. Письмо это сразу оказало свое действие: с нами стали сразу вежливее обращаться, а по получении ответа от короля - даже заискивать. Так, для следования в Тульчу нам был предоставлен отдельный вагон.

Румынская власть и население русской Бессарабии

Так гибли остатки русской армии, доверившиеся великодушию недавних союзников. Последние не только не протянули руку помощи погибающим русским, но с видимым удовольствием отталкивали и передавали красным каннибалам.

Население, особенно население Бессарабии, наполовину из русских, наполовину из молдаван, - отнюдь не разделяет антипатии официальных представителей румынской власти ко всему русскому.

- Нас встречали, - говорит генерал Авринский, - тепло и радушно; нередко даже кормили. Только в Бендерах, где мы помещались в школе, местное население предупредительно приносило нам горячую пищу. Наоборот, к румынам население относится повсюду враждебно. Недовольны тяжелыми налогами, повинностями, свирепым полицейским надзором. Румыны стараются стереть все следы русского влияния: русские школы закрываются, русских учителей увольняют, не желающих принять присягу - высылают за пределы Бессарабии.

Самоубийство генерала Васильева

Начальник нашего отряда, бывший командующий... закончил жизнь самоубийством, потрясенный трагической судьбой вверенного ему отряда. Особенно сильно подействовал на генерала Васильева обстрел нашего отряда румынами, в которых он привык видеть бывших союзников.

Последний раз, сообщил нашему сотруднику генерал Авринский, он видел генерала Васильева у Пурхар, где он нагнал нас верхом на лошади, совершенно один, и просил дать ему поесть. Мы поделились с ним сахаром - единственным, что у нас было.

Уже тогда генерал Васильев проявлял некоторые признаки психического расстройства.

* * *

14 февраля рано утром мы подъезжали к Аккерману. Я ехал в последней из шести подвод в одиночестве. Возница был, по-видимому, молдаванин, но я с ним не сказал ни одного слова. Мы ехали вдоль Днестровского лимана, через который в тумане был виден Овидиополь. Еще десять дней тому назад мы были на том берегу, который у меня перед глазами. Лед на лимане уже почернел, и сообщение с Овидиополем было в руках большевиков. Погода была ясная, солнечная, теплая, хотя и морозная. Я мечтал только об отдыхе. Я был уверен, что мы будем размещены в теплых помещениях и будем иметь койки. Ужасно хотелось раздеться, умыться и уснуть. Я был также уверен, что в Аккермане можно будет побывать в бане. Мы были покрыты вшами. Я мечтал отделаться от этой мерзости.

Но... к нашему удивлению, нас везли прямо к тюрьме. Сначала это казалось невероятным. Но это было так. Подводы остановились возле ворот бывшей русской тюрьмы. В калитке показался старик - начальник тюрьмы, бывший раньше на русской службе смотрителем арестного помещения. Я не вставал с повозки, но слыхал, как старик говорил моим спутникам, что вся тюрьма заполнена такими же, как и мы, - русскими с того берега, в большинстве военными. Он утешал нас и говорил, что режим в тюрьме довольно свободный, кормят прилично и есть баня. Но нехорошо лишь в том отношении, что в тюрьме начинают проявляться случаи заболевания сыпным тифом.

Старик производил приятное впечатление. Еще лучшее впечатление производили солидные старослужащие - русские тюремные надзиратели. Одним словом, тюрьма была русская во всех отношениях, и я не имел ничего против, чтобы отдохнуть

здесь. Но почему-то нас в тюрьму не принимали. Более часа мы стояли у ворот возле подводы. По-видимому, последовало какое-то распоряжение, так как наш конвойный, быстро выходя из тюрьмы, предложил нам садиться на повозки. Мы ехали в штаб местных войск. И здесь возле штаба мы простояли на дворе более трех часов, после чего нас отправили уже пешком под конвоем двух солдат-румын в управление начальника гарнизона.

Было уже около 12 часов дня. При пакете мы были введены в гарнизонную канцелярию. У дверей канцелярии стояла длинная скамья, на которой мы и разместились, ожидая распоряжения. До позднего вече*ра* мы сидели на этой скамье, теряя терпение и от голода и от усталости. Румыны не обращали на нас внимания. Уже под вечер, когда мы неудержно хотели есть, мы обратились к вошедшим в канцелярию двум офицерам, которые исходатайствовали нам разрешение послать купить хлеба и яиц. Мы разговорились с одним из офицеров (по-французски), который сказал нам, что он румынский адвокат. Беседа была недолгая, но адвокат был очень любезен и сказал нам, утешая, что ничего скверного с нами не сделается.

Только после 7 часов вечера нам было объявлено, что сегодня допроса не будет. Писарь предложил следовать за ним. Тут же в коридоре была дверь, возле которой стоял с винтовкой румын. Писарь впустил нас в эту дверь. Это была арестантская при местном гарнизоне. Там было уже 35 человек офицеров и несколько гражданских лиц. К большому своему удовольствию, я встретил здесь знакомых, с которыми встречался в штабе обороны г. Одессы и был вместе в походе. Они обступили нас и начали спрашивать, откуда мы и как попали сюда. Они были очень рады нам. Эти люди были то же с «той стороны» и испытали почти те же злоключения, что и мы.

Каждый рассказывал свою историю, и тут постепенно выяснилось, что мы были не так далеко друг от друга и знали одно и тоже. Как ни ужасна была окружающая обстановка, мне было приятно очутиться в компании людей интеллигентных и одинаково мыслящих. От них мы узнали кое-какие подробности оставления с. Раскаец и судьбу многих знакомых нам лиц. Здесь, в этой арестантской, мы встретились и объединились в отдельный кружок лиц, более подходящих друг к другу. Мы разделили все невзгоды вместе. Никаких удобств нам предоставлено не было. Все лежали вповалку на грязном полу без матрацев и без подстилки. Нас заедали вши. Умываться нас выпускали во двор, но так как мороз достигал 5 градусов, то приходилось умывать только лицо и руки, не раздевая шинели. Да кроме того, посуды для умывания у нас не было. Умывались из своих кружек, сливая

друг другу на руки.

Было противно. Интеллигентные люди сидели на полу и выискивали у себя вшей. Смены белья почти ни у кого не было. Все были ограблены.

С самой Одессы никто белья не менял. Если у кого-нибудь и осталось что-нибудь при переходе границы, то оно было продано, чтобы иметь деньги на хлеб. У меня осталась одна смена белья, которую я и переодел в этой арестантской. Первые два дня мы питались скудно, почти голодали, на третий день мы были зачислены на военное довольствие, и к тому же в арестантскую ежедневно приносили горячую пищу от местного русского благотворительного комитета, который организовал бывший городской голова Аккермана г. Спилиоти.

Мы были в положении арестантов, и потому нас от другой публики не отделили. В арестантскую препроводили вообще всех арестованных. С нами содержались пьяные, задержанные румынские солдаты и матросы, евреи, рабочие, босяки и т.д. В иные дни число заключенных достигало 59 человек. Наша камера была размером 12 х 8 аршин. Вполне естественно, что в комнате было так душно, что спать ночью было почти невозможно. Теснота иногда доходила до такой степени, что мы лежали как в тисках друг у друга. Заснуть можно было только от усталости, тело ужасно чесалось. Спать было твердо. Простонародье плевало и сморкалось прямо на пол и в лучшем случае растирало свои выделения ногой.

Обстановка, одним словом, была грязного русского ночлежного дома. Я бывал в этих ночлежках и всегда ужасался, как люди могут жить в этой обстановке. Теперь я испытывал сам все эти ужасы и едва ли не очутился еще в худшем положении, чем те нищие, которым я давал в былые времена 3 копейки на ночлег. Они имели в ночлежном доме нары с подъемом для головы, а мы валялись на полу. Было тяжело испытывать эти лишения. Тем не менее молодежь не унывала.

Отделившись своей компанией от остальной публики и разместившись в наиболее чистом углу, мы проводили время в разговорах. Сидеть было не на чем. Время проводилось на полу. Наши дамы М. К. Воздвиженская и шедшая с нами из Одессы местная жительница Александра Никифировна Швецова, попавшая в число беженцев и сидевшая в арестантской до выяснения личности, составляли уют нашего общества. Компанию объединял главным образом полковник Товастшерна. Георгий Александрович Товастшерна - гвардейский офицер, отлично воспитанный, имеющий все русские ордена и французский орден Почетного легиона, был несколько раз ранен в Европейской

войне. Изуродованный пулей, пробившей нижнюю челюсть и язык, Товастшерна сильно картавил. Он показывал нам свой язык, на котором осталась сквозная дырка. В Одессе полковник Товастшерна был штаб-офицером для поручений при начальнике обороны г. Одессы.

Г. А. Товастшерна не унывал. Оставшись без копейки денег, в легоньком летнем пальто, даже без котомки, которую он мог бы положить под голову, он своим остроумием и веселостью поддерживал общее настроение. Один только раз полковник сильно призадумался, и мы заговорили с ним по душам. «Вот как расправляется наша Родина с ее защитниками», - вырвалось у полковника с болью в душе. «Обидно», - сказал он.

С нами были корнеты Деревицкий и Стецкий - оба студенты-киевляне. Вечно грустный Андрей Петрович Деревицкий был добровольцем и уже боевым офицером. Ему было только 20 лет. Весьма серьезный, с хорошим направлением, патриот, он глубоко страдал за свою мать, оставшуюся в бедственном положении в Чернигове. Деревицкий - сын боевого генерала и племянник попечителя Киевского учебного округа Деревицкого.

Корнет Стецкий, присвоивший себе на всякий случай эту фамилию, был студент Киевского политехнического института Чесноков. Он оставил в Киеве свою жену и восьмимесячного ребенка, о которых говорил с утра до вечера. С ним в компании еще по Одессе были: Федор Иванич (серб) - поручик бронепоезда и Василий Георгиевич Поппа - грек, вольноопределяющийся Крымского конного полка - вахмистр.

С удивительным терпением публика переносила все тяжести содержания в этой арестантской и даже имела силы подсмеиваться над своим положением. Действительно, были смешные минуты. Помощник начальника уезда Черепов - молодой человек с университетским образованием, которого грабили крестьяне и одели в дырявый пиджак, был буквально покрыт вшами. От него все сторонились. Он бедный, ложился спать посередине комнаты, но от зуда тела так ворочался, что к утру всегда оказывался в другом конце комнаты. Черепов сам смеялся над своим положением и, прося не подходить к нему, сам удивлялся, как вши носят его по комнате.

Большое разнообразие внесли в нашу арестантскую жизнь арестованные сапожники, которые до поздней ночи играли на скрипках. Безумный смех вызвала нежная парочка, вынужденная переночевать в арестантской за позднее гулянье на улицах. На вопрос Г. А. Товастшерна барышня ответила вопросом, неужели и он, Товастшерна, с дамами сидит за позднее гулянье. Барышня предложила затем очень удачно вопрос, за что сидят в

арестантской все эти офицеры. На этот вопрос, конечно, никто ответить ей не смог.

Несмотря на то, что все были в оборванном виде, все-таки военная форма большинства придавала арестантской особый колорит. Все это было уродливо и производило удручающее впечатление. За что все эти офицеры сидят в арестантской? Вот вопрос. Временами эта дикая для культурного человека обстановка ложилась тяжелым гнетом на душевную жизнь и вызывала такое подавленное душевное состояние, которое было сильнее физической боли. За что? На этот вопрос могла бы ответить только современная культура. Но это было не все.

Каждый оставил дома родных, близких и любимых людей. Это было глубокое страдание, с которым не сравнится содержание в арестантской. Невероятной тяжестью ложилось на душу сознание этого бессмысленного истязания и пытки ни в чем не повинных людей. На прогулке румынский солдат-кучер начальника гарнизона ударил дважды офицера по щеке за то, что последний сел в экипаж, который кучер только что вымыл. Конечно, офицеру не следовало садиться в экипаж, но факт был налицо.

Мы были счастливее других. Прибывши последними, мы предназначались к отправке вместе с теми, кто сидел в арестантской с самого начала. Нам объявили, что мы отправляемся в г. Тульчу. Нами распоряжался капитан румынской службы, некий Акишер, бывший штаб-ротмистр русской службы Петроградского уланского полка, служивший в Добровольческой армии и прибывший в Румынию в прошлом году вместе с отступившими из Одессы войсками. Его узнали. Он был сын священника из Аккерманского уезда. Теперь он состоял на румынской службе и был враждебно настроен против русских. Суетясь и распоряжаясь в нашей арестантской, он был с нами груб и нелюбезен. Его, конечно, обступали и забрасывали вопросами. Естественно, каждый хотел знать свою судьбу. «Ох уж эти русские», - говорил г-н Акишер, когда вокруг него публика подымала шум.

21 февраля утром Акишер объявил нам, что сегодня мы будем отправлены. Каждому на дорогу было выдано по два хлеба. Часов в десять к гарнизону подошел наряд солдат, которые должны были сопровождать русских к вокзалу. К отправке было предназначено 89 человек, в числе которых были дамы и дети. Выкликая каждого поочередно, г. Акишер - этот бывший офицер русской армии, выстраивал партию русских на улице лицом к зданию гарнизона, а старший капрал строил в затылок, бесцеремонно толкая замешкавшихся на свое место.

На тротуаре образовалась толпа местных жителей и румын, среди которых выделялись изящно одетые дамы в прозрачных чулках и румыны в своих ярко-синих кепках. Сигуранты (полицейские) разгоняли публику и мальчишек, не позволяя им близко подходить к русским. Когда партия была выстроена, г. Акишер приказал сделать поворот направо и построиться по четыре в ряд.

Имея при себе котомки и держа в руках разные свертки, эта арестантская партия русской интеллигенции была, конечно, оригинальна и представляла совершенно ту же картину, которую мы привыкли видеть в большевистской России, когда по улицам водили под конвоем красноармейцев арестованных интеллигентов и буржуев, отправляемых на принудительные работы или в тюрьму в качестве заложников. Разница была только та, что там преобладали котелки и штатское платье, а здесь большинство в изношенных и старых пальто военного образца. Эта партия русских привлекала внимание публики. Целая толпа любопытных шла за нами по тротуару, а сзади бежали мальчишки. И это были бессарабцы, те же русские люди, но принявшие румынское подданство.

На окраине города публики уже не было. Этапная партия сошла с мостовой на грунтовую дорогу. Погода была чудная. Это был первый весенний день с яркими и теплыми лучами весеннего солнца. Небо было безоблачное. Кое-где зеленела трава. На прилегающих к дороге виноградниках кипела работа. После зимней спячки виноград откапывался от накрытой земли. Высоко под самым солнцем треугольником летели в Россию дикие гуси. Взоры русских был обращены к небу, и каждый мысленно посылал прощальный привет в родные края.

Окруженный румынами этап русских шел молча, сосредоточенно и равномерным шагом, как заставляют идти арестантов. Что думалось нам, если бы наши дети, отцы, матери повидали картину этапа близких людей, отдаляющихся от Родины, чтобы, может быть, погибнуть где-нибудь вдали от всего родного, среди чужих и враждебно настроенных иностранцев, и вечно считаться у себя дома «без вести пропавшими»? Что, в сущности, сделали эти люди? В чем их вина? Что дало повод румынам так издеваться над русской интеллигенцией? Нас вели мимо вокзала и остановили на запасном пути железной дороги, куда должны были подать вагон. Как этапную партию, нас окружили конвойные и не разрешали отлучаться с этого места.

Публика полегла на траве. Лучи теплого солнца приятно грели лицо и руки и клонили ко сну. После душной атмосферы в арестантской этот свежий и теплый воздух был особенно

приятным. Земля была еще от зимы сырая. Но в этом месте уже показалась трава, на которой было мягко и удобно лежать. Многие дремали. Кое-кто ходил взад-вперед, погруженный глубоко в свои думы до такой степени, что бессознательно заходил далеко за черту дозволенной границы. Окрик часового в таком случае возвращал к действительности и заворачивал обратно к месту бивуака. Румынская стража была в этом отношении беспощадна и в случае перехода границы дозволенного не останавливалась в приемах воздействия.

Случайно и мне пришлось машинально переступить эту границу. Я не сразу опомнился и даже не понял, в чем дело, так далеко были мои мысли, что я смотрел с удивлением на двух румын, бежавших с криком ко мне и с поднятыми ружьями, угрожая ударить меня. Я прошел в раздумье шагов десять лишних и вызвал нежелательный инцидент. Публика начала возмущаться и подняла крик, когда им казалось, что румын должен был ударить меня. Мне было глубоко безразлично, и я наотрез отказался принести жалобу, как на этом настаивали окружающие.

Благотворительность г-на Спилиоти и здесь не оставила нас. Перед отходом поезда нам привезли горячий обед, после которого поезд отошел в глубину Румынии. Мы ехали до станции Рени, откуда пароходом должны были следовать по реке Дунаю до г. Тульчи. Жизнь в вагоне в течение четырех дней была, конечно, значительно легче, чем в арестантской при аккерманском гарнизоне, но все-таки было тяжело и неприятно от грязи, которую мы несли на себе. Бани в Аккермане нам не дали. Нас заедали вши. Особенно тяжела была ночь. Вследствие тесноты приходилось спать на сомкнутых скамейках по четыре в ряд, как бы в тисках друг у друга.

На станции Рени мы стояли в вагонах три дня, ожидая парохода, и проводили целые дни на воздухе. Поезд был отведен за станцию, в поле возле спуска к пристани. Погода была теплая и солнечная, так что днем можно было ходить без шинели. Мы пользовались этим случаем и мылись, поскольку это было возможно, и, раздеваясь догола, на солнце уничтожали вшей. Публика была разнокалиберная. Наш эшелон нагнал вышедший на следующий день из Аккермана поезд с группой военных во главе с полковником Ерощенко, так что нас было уже около 170 человек.

Возле полотна железной дороги был кабачок, который привлекал внимание публики. Уже на следующий день началось пьянство. Чины контрразведки и государственной стражи сдружились с конвойными и подкупили их. На этой почве произошли неприятности, так что стоявший во главе нашего

эшелона полковник Евгений Александрович Востросаблин вынужден был принять решительные меры против этих «господ офицеров», подрывающих престиж русского офицерства.

Наша компания, выделившаяся еще в Аккермане в отдельную группу, заняла в вагоне целое отделение и проводила все время вместе, живя на коммунистических началах. Я имел до 800 рублей царских денег и потому в пище себе не отказывал. Местные жители приносили к поезду для продажи молоко, яйца, сало, хлеб, так что мы были сыты. По сравнению с одесскими ценами все здесь казалось значительно дешевле. Стакан молока стоил 1 рубль романовскими знаками, десяток яиц - 6 рублей, фунт сала - 6 рублей, фунт хлеба - 1 рубль 50 копеек. Денежными знаками здесь были румынские леи и русские царские (романовские) деньги, шедшие в одинаковой цене с румынскими леями, то есть рубль за рубль. Донские деньги шли плохо. За 1000 рублей давали 30-40 рублей. Керенки шли лучше - по 100 рублей за тысячу. По такому же расчету расценивались украинские пятидесятирублевки.

25 февраля еще до рассвета мы были разбужены, чтобы грузиться на пароход. Вагоны были поданы к самой пристани. После грубого осмотра вещей и обыска мы были посажены на баржу № 93 при пароходе «Domnul Tudor». Пароход был русский, захваченный румынами в 1917 году. Баржа была прикреплена сбоку парохода и соединялась с ним сходнями. Сначала нас загоняли в трюм баржи, но так как всем места там не хватило, то большая часть расположилась на палубе баржи. Погода была летняя, солнечная. Дунай здесь был величественный и красивый. На горизонте виднелись отроги Балканских гор.

В 8 часов утра пароход с баржей отошел вниз по течению в направлении к городу Измаил. Пароход был отлично оборудован, чистый. Кают-компания с первоклассным рестораном производила шикарное впечатление. Сначала мы не решались перейти с баржи на пароход и заказали себе в ресторане борщ с тем, чтобы его принесли на баржу, но буфетчик (бывший русский - теперь румынский подданный) пригласил нас в ресторан. Конвой нам не препятствовал, и таким образом постепенно все перебрались на пароход. Мы дважды потом пили чай в ресторане и были среди пассажиров, ехавших на этом пароходе.

Кто были эти люди и какой национальности, трудно было определить, но на глаз было видно, что здесь много евреев. С нами никто не заговаривал, и видно было, что в публике соблюдается какая-то политика. На барже в этом отношении было другое. Там в трюме ехали простые женщины, нагруженные котомками и корзинами с разной живностью -куры, утки, гуси. В

темном углу трюма было отгорожено стойло, где помещались несколько поросят. На полу была разбросана солома, как в конюшне, и сильно пахло навозом.

Оставшись на некоторое время в одиночестве в этом трюме, чтобы отдохнуть, я прилег в более чистом углу на соломе возле этих женщин. Одна из них любезно предложила мне свой мягкий узел под голову, и я хотел заснуть, но мне помешали блохи. Женщины - их было пять - говорили по-русски. Они были местные жительницы и ехали в город Измаил. Постепенно мы разговорились. Они много расспрашивали меня о России и были лучше осведомлены о нашем положении, чем бессарабские жители. Со своей стороны эти женщины жаловались на свою судьбу и, ругая румын, не хотели быть их подданными. Впрочем, по их словам, румыны мало их притесняли, и они приглашали меня поселиться в их краях, говоря, что там есть русские и живется им хорошо. Я все-таки вздремнул и проснулся возле Измаила, откуда был виден город Тульча.

Здесь Дунай действительно показался во всей своей красоте. Широкий, мощный, он разветвлялся в этом месте на несколько рукавов и представлял необъятное пространство воды. Тульча расположен на правом гористом берегу Дуная и издали казался необыкновенно красивым городом. Здесь мы должны были встать, и Бог знает, что ожидало нас. Но, не доезжая Тульчи, на пароходе распространился слух, что в Тульче нас не будут высаживать, а повезут в Сулин, где поместят в концентрационный лагерь. Это признавалось хорошим признаком, так как порт Сулин расположен на берегу Черного моря, и в прошлом году отсюда дивизия Тимоновского была отправлена в Новороссийск.

Действительно, пароход «Domnul Tudor» миновал Тульчу, шел вниз по течению и скоро вошел в Сулинский канал. Небольшой ширины канал прорезывал прямой линией бесконечное пространство, густо поросшее светло-желтым камышом. Всюду, насколько видит глаз, был сплошной камыш, и только изредка на берегу стояли в одиночестве хаты, по-видимому, сторожевое охранение этого пути. И эта картина не изменялась до самого моря. К сожалению, к Сулину мы подходили в темноте. Погода изменилась, к вечеру стал накрапывать мелкий осенний дождь.

Стало сыро и неприятно, хотелось спать, и я опять приткнулся на соломе в трюме баржи, но женщин уже не было. Они сошли с парохода в Измаиле, и я положил под голову свою сумку. Я так разоспался, что плохо помню, как нам пришлось сходить с парохода на пристани в Сулинах. Я видел только в темноте бесконечное пространство воды, и мне казалось, что это уже море. Мы сошли с парохода и расположились на пристани,

пользуясь тем, что все вещи наши были сложены в одном месте, тут же возле парохода. Я удобно улегся на чьих-то мягких вещах и возобновил прерванный сон. Несмотря на мелкий моросящий дождик, я спал богатырским сном. Меня растолкали, когда нужно было опять садиться на пароход.

Оказывается, что я проспал более трех часов, и в это время произошли события, которые взволновали всю партию. В Сулине нас не принимали. Очевидно, произошло какое-то недоразумение, вынудившее снестись с властями в Тульче. Нас отправляли обратно в г. Тульчу. По-видимому, эта суета обозлила румынский конвой, с которым мы прибыли в Сулин, так как солдаты начали проявлять необыкновенное раздражение и обращались с нами дерзко. Протест некоторых офицеров ни к чему не привел, а только обозлил их еще больше.

Баржи уже не было. Пароход почти пустым отходил обратно. По случаю дождя нас поместили в закрытых помещениях, но места для всех не хватало. Был возбужден вопрос об открытии для нас кают-компании 1-го класса, но румыны ответили дерзко, что «вы завшивите весь пароход». На этой почве произошла перебранка, дошедшая до угроз румынских конвойных пустить в дело приклады и шомпола. Пришлось замолчать. Мы поместились в каюте 2-го класса, но это было действительно что-то невероятное. Мы сидели и стояли как в тисках друг у друга. Румыны стояли в дверях и отпускали по нашему адресу всякие ругательства. Путешествие было мучительное. Было душно, жарко, томительно, и не хватало воздуха, чтобы дышать. В таком обезличенном состоянии, лишенные образа и подобия интеллигентных людей мы прибыли 26 февраля утром в г. Тульчу.

* * *

Ровно месяц мы скитались в самых ужасных условиях существования, столь чуждых представлению культурного человека. Мы выдержали семидневный поход почти без сна и пищи с боями и со всеми тяжестями обстановки отступающей и разбитой армии. Мы попали затем в положение чуть не Робинзона в плавнях реки Днестра с приключениями в духе Майн Рида и, наконец, в течение 14 дней были в положении арестантов. Каждый из этих этапов наших скитаний был сам по себе ужасен и мог бы служить сюжетом для любой сказки. Но те переживания, которые испытывал каждый из нас, могут быть только предметом истории цивилизации человечества, столь гордого своими культурными завоеваниями.

История вряд ли коснется этих вопросов. Она восстанавливает только факты, и если воспроизводит

обстоятельства, при которых гибли во время борьбы и революции отдельные группы людей, то она не коснется переживаний отдельных личностей и группы людей. Как весенний разлив в плавнях Днестра покроет глубокой водой следы преступлений современного человечества, так и история опустит завесу перед грядущими поколениями, предав забвению те проявления человечества, которые обнаружили в нем зверя. Для истории это незначительный эпизод. Тем менее интересно знать, что румыны гнали этапом 14 дней интеллигентных культурных людей, не давая им на ночлег подстилки, которая полагается даже домашним животным в самых убогих хозяйствах.

Кто были эти люди, с которыми так поступили румыны? В ответ на это мы приведем здесь статью В. Бурцева в газете «Общее дело» от 8 апреля 1920 года под заглавием «Татары идут». Бурцев пишет: «Недавно мне удалось снова побывать на Родине, конечно, только там, где действует генерал Деникин и где нет еще большевистской власти. Там, где Ленин и Троцкий, нас, борющихся за то же, за что мы боролись при царизме, может ждать только тюрьма и расстрел. Я побывал в Крыму, в Новороссийске, на фронте. Я приехал туда в очень трудное время. Армия Деникина уже отступала от Ростова. Везде, где я проезжал, я видел толпы, тысячи, десятки тысяч населения всех возрастов, всех национальностей, представителей разнообразных течений, в том числе виднейших социалистических деятелей с огромным революционным прошлым, ученых и литераторов, рабочих, крестьян. Все они в ужасе бежали при приближении большевиков, как бы за ними гнался по пятам пожар. Все *об* одном только и думали, как бы не остаться у большевиков. Не было железной дороги - шли пешком. Шли больные, шли на костылях, тяжелораненые, шли старики и дети.

В Варну, в Константинополь, в Салоники прибывали пароходы с десятками тысяч таких беженцев из России и тысячами, потом я их встретил в самых ужасных условиях в Константинополе, в Болгарии, Сербии. Кто из них может, тот продвигался вперед во Францию, Англию, Америку. Разговаривая с этими беженцами, я видел на их страдающих лицах ужас того, что переживали они в Совдепии, продолжают и теперь переживать все те, кому не посчастливилось, подобно им, бежать с большевистской России. Я видел этих беженцев в вагонах железной дороги, на пароходных пристанях, на улицах в Новороссийске и в Крыму. Все они ко мне обращались с одной неизменной просьбой помочь им бежать от приближающихся большевиков.

В России когда-то раздавался страшный крик: “Татары идут!”

Теперь там раздается другой крик: “Большевики идут!” Я расспросил десятки, сотни лиц, бежавших из России. Имел возможность подробно познакомиться с работой специальной комиссии, занятой расследованием злодеяний большевиков. Я говорил лично с теми, которые случайно только что вырвались из Чрезвычаек и сами там подвергались утонченным пыткам, стояли под расстрелом и только случайно спаслись от смерти. Я привез их показания и скоро их опубликую. Все то, что по этому вопросу я печатал до сих пор в “Общем деле”, бледнеет перед тем, что я только что сам услышал от потерпевших. Один слышанный рассказ ужаснее другого. С болью приходилось нам выслушивать, как общее утверждение, что то, что происходило в тюрьмах и судах при царском режиме, не имеет отдаленного даже сходства с тем, что происходит в настоящее время у большевиков и что связано с именем социализма и что - увы! - находит горячих защитников у представителей европейских социалистических партий.

Когда последний раз в 1918 году я покидал Россию, я понимал и тогда, что большевики ее разоряют, предают, губят. Но только теперь, побывавши в России, я увидел, до чего они ее довели. Тяжелыми были и для России и для союзников все четыре года войны, но они ничто в сравнении *с* тем, во что обошлись России последние два года проклятой гражданской войны. Вся страна теперь в анархии. Ее состояние можно охарактеризовать двумя фразами: “Россию грабят!” В России всюду убивают. Нет дома, нет учреждения, нет местности, где бы систематически не грабили всех. Все полито кровью. Страну разорвали на целый ряд отдельных государств. Уничтожили ее международное значение. Убили в ней всякую общественную жизнь.

Но среди всех этих ужасов и неописуемых страданий, которые я наблюдал во время моей поездки в Россию, я даже среди беженцев не встретил намеков на желание какого-либо примирения с большевиками. Когда с месяц тому назад при мне в Новороссийск дошло первое смутное телеграфное известие о попытках союзников завязать переговоры с большевиками, то к этому почти все отнеслись как к чему-то совершенно невозможному. А те, кто хоть отчасти допускал возможность этих переговоров, говорил с негодованием как об измене союзников и в то же самое время как об огромнейшей смертельной опасности для них самих. О недопустимости переговоров с большевиками говорили даже и те самые мрачные пессимисты, кто в ближайшем будущем не видел никакого сколько-нибудь сносного выхода для России из ее настоящего страшного положения. В России для всех большевики по прежнему - предатели, убийцы, грабители. С их

именем навсегда связаны воспоминания о величайших народных бедствиях, гнуснейших убийствах и преступлениях!»

* * *

Построенные опять по четыре в ряд, под конвоем румынских солдат мы шли от пристани целой колонной в город. В каком-то дворе этап был приостановлен. Ждали распоряжений властей. Мы стояли во дворе более двух часов и мокли. От бессонной ночи и усталости клонило ко сну. Скоро к нам присоединилась партия русских, прибывшая накануне из Галаца и ночевавшая на барже. В этой партии был начальник хорольской тюрьмы Пастернацкий. От него мы узнали, что во время обстрела с. Раскаец он потерял свою семью и теперь не знает, какая судьба постигла ее.

Этап был поделен на две части. Обер-офицеры, солдаты и гражданские чины были отведены в местную тюрьму, а штаб-офицеры и высшие гражданские чины последовали в помещение русского этапного пункта. Здесь нам объявили, что те, кто имеют средства, могут жить на частных квартирах, а неимущим и вообще желающим была представлена комната на этапном пункте. В городе по плану была очерчена зона, за пределы которой русским было воспрещено показываться. В пределах этой черты каждый мог искать себе квартиру и зарегистрировать ее в этапном пункте.

Нас очень приветливо встретила военная администрация этапной комендатуры. Начальником этапа был полковник Долгов и заведующим комендантской частью - штабс-ротмистр 12-го Стародубского драгунского полка Карпов. Этапное помещение сразу обнаруживало добровольческую организацию. Всюду на стенах были лубочные портреты Деникина. Колчака, Алексеева, Корнилова, Май-Маевского и других генералов. На кнопках были пришпилены декабрьские номера газет, которые потеряли всякое значение. Никаких сведений о настоящем положении на фронте на этапе не было. О положении Новороссийска никто ничего не знал. Этап находился в ведении живущего в Бухаресте представителя Главного командования Вооруженными силами Юга России в Румынии генерал-лейтенанта Герца.

Первое, что мы узнали здесь, - это что генерал Герц еще за два месяца до катастрофы в Одессе вполне определенно сообщал главнокомандующему барону Шиллингу, что румынское правительство ни в коем случае не соглашается пропустить через Румынию добровольческие части, и потому на этапе были очень удивлены, когда узнали, что отступление на Румынию было осуществлено по указанию барона Шиллинга. Мы были переутомлены до изнеможения. Тем не менее мы отправились искать комнату. Мы нашли две комнаты за 1000 лей (100 рублей)

в месяц и сейчас же перебрались на свою квартиру, придерживаясь той компании, которой мы содержались в арестантской в Аккермане.

Мы поселились вчетвером. Воздвиженская, полковник Товастшерна, Чесноков (Стецкий), и несколько позже к нам присоединился грек В. Г. Поппа, умудрившийся освободиться из тюрьмы. Корнет Деревицкий заболел по дороге в вагоне сыпным тифом и был снят в Сулинах с парохода. При этапе существовала столовая для беженцев. Нас кормили бесплатно. На следующий день по прибытии нам была сделана баня. Это было высшим наслаждением в нашем положении. Казалось, что здесь можно было бы отдохнуть и оправиться после всего пережитого, но наши комнаты оказались неотапливаемые. Но мы приспособились и мерзли только ночью.

Наш хозяин грек Ян Петала (Tulcea - Strada Bunaveltire № 15, Yan Petala) и жена и девочка (Янула) были очень милые люди, у которых в хате мы проводили целые дни. Это были полуинтеллигентные люди, оказавшие нам радушный прием. В их комнате почти беспрерывно топилась плита, и было жарко. Полураздетый, целыми днями я лежал на лежанке возле печки и дремал. Не только на меня, но и на всех беженцев напала спячка. Я дремал не только лежа, но и сидя. Это была реакция после всего пережитого. Дремало не только тело, но и душа. Чувства были притуплены. Весь ужас нашего положения - людей, покинувших Родину, не воспринималось сознанием. Хотелось спать. Тело постепенно освободилось от зуда и вшей и требовало покоя. Как собака, свернувшись клубком, лежит целыми днями после охоты, уткнувшись носом в свой теплый хвост, так и мы лежали в дремоте целыми днями, ни о чем не думая и ничего не соображая.

Мы ослабели. Скудная пища этапа, почти без жиров, и притом очень невкусная, не могла восстановить убыль сил, и мы пробавлялись целыми днями горячим чаем, после которого притуплялось чувства голода и спалось еще лучше. Чай с хлебом, которого мы получали в достаточном количестве (1 1/4 ф.), составляли нашу главную пищу. На этапе кормили только постольку, чтобы не умереть от голода. Нам давали обед и ужин, но и то и другое было противное и грязное до тошноты. Этап не имел средств, чтобы улучшить питание, но надзор был очень слабый, и это можно безусловно поставить в упрек этапной комендатуре. Кашевары были распущены и пьянствовали. Из тех же продуктов можно было сварить значительно лучший обед.

Всего в г. Тульче было русских около 300 человек, но 6 марта в Тульчу прибыла баржа, на которой приехал полковник

Александр Анатольевич Стессель с женой Раисой Васильевной. Вместе с ними прибыло 160 беженцев, перешедших границу возле Тирасполя. Стесселю удалось прорваться почти до Тирасполя, но к переходу границы возле него из всего отряда едва оставалось до пятидесяти человек. Весь отряд распылился, и большинство перешло на сторону большевиков. Таким образом, из трех руководителей отступления из Одессы - генерала Васильева, Мартынова и Стесселя только последний вышел из тяжелого положения и оказался интернированным наравне с прочими в г. Тульче, как незаконно перешедший границу Румынии[21].

Полковник Стессель с женой пережил ту же драму на льду, как и все прочие. Четыре раза он пытался перейти Днестр, и только на четвертый раз ему удалось вступить на румынскую территорию, и то только потому, что m-me Стессель провалилась на льду и была извлечена из воды только случайно. Румыны, видя это, разрешили Стесселю перейти Днестр. С отмороженными ногами, вся забинтованная, Раиса Васильевна рассказывала мне свои приключения в плавнях реки Днестра. Это было то же самое, что пережил каждый из нас. Честь и слава этому русскому человеку, который отказался от предложения английского адмирала и счел свои долгом разделить участь людей, работавших с ним в Одессе.

Я бывал в Тульче в этой милой семье полковника Стесселя и вынес

0 нем и его жене самое отрадное впечатление. Это настоящие русские люди, патриоты, любящие свою Родину. Сын порт-артурского героя, сам георгиевский кавалер, Стессель готов жертвовать всем ради спасения Родины. Сознательно приняв власть от барона Шиллинга в Одессе, Стессель знал, что он принимает на себя последующий удар, но не счел себя вправе отклонить его. До конца он был с остатками Добровольческой армии, не считая возможным в последнюю минуту оставить своих офицеров. Стессель говорил это просто, зная, что теперь можно считаться только со своей совестью. И действительно Стессель разделил судьбу своих офицеров и был с ними до конца.

В Тульче мне пришлось много беседовать с полковником Стесселем как о днестровской драме, так и о причинах разложения Добровольческой армии. Стессель знал, что были такие лица, которые в нервном возбуждении обвинили его и свалили всю вину катастрофы отхода на Румынию на Стесселя. Александр Анатольевич не оправдывался, но говорил: что может сделать воля одного человека при катастрофе, во время стихии?.. Если врачи побросали в Канделе больных и раненых, то винить можно только их, так как они были обязаны исполнить свой долг.

Перекладывать вину на командование в этом случае нелепо.

Интересную подробность рассказывал нам Стессель о пленении начальника своего штаба полковника Мамонтова. Мы упоминали уже, что при прорыве в плавнях Днестра на Тирасполь отряд Стесселя встретил парламентеров от большевика Котовского, который предлагал Стесселю сдаться. Есаул Афанасьев, стоявший во главе этой миссии, передал Стесселю письмо от Мамонтова, который был в руках большевиков. Полковник Мамонтов склонял Стесселя перейти на сторону большевиков... Для Стесселя было ясно, что Мамонтов писал это письмо по принуждению. Прежде всего обращало внимание то обстоятельство, что Мамонтов писал Стесселю «на ты» в то время, когда они никогда не были в таких интимных отношениях. Заканчивая свою записку, Мамонтов добавил, что он пишет в здравом уме и твердой памяти. Все это доказывает, сказал Стессель, что Мамонтов хотел заставить понять свое положение. По слухам, Мамонтова увезли на паровозе, по одной версии, в Москву, по другой - в Одессу. Затем распространился слух, что Мамонтов расстрелян.

Что касается Добровольческой армии, то помимо всех прочих причин разложение ее произошло по вине русских же людей. В начале это была несомненно героическая эпопея. И в дальнейшем это был сплошной героизм, но только истинных добровольцев, а не тех, кто, зараженный керенщиной и большевизмом, присосался к этой армии. С самого начала Добровольческая армия не имела того, что ей было необходимо. Голая и необутая, не обеспеченная продовольствием армия по мере своего роста должна была жить реквизициями, и это развратило ее. Стессель доказывал, что в то время, когда интендантские склады были переполнены обмундированием, солдаты и офицеры замерзали на позициях почти голые и с тряпками на ногах вместо обуви. Воевать в зимнее время при таких условиях было невозможно. Не лучше дело обстояло с продовольствием.

Отсюда начало всех неурядиц, развившихся впоследствии, когда в армию влился распущенный элемент. Виновато высшее командование, которое не учло этого и допустило деморализацию армии. С другой стороны, виновны и сами русские люди, которые не поддержали Добровольческую армию, а, забывая прямой долг, занялись спекуляцией и наживой в то время, когда нужно было спасать Родину. К глубокому сожалению, нужно сказать, что виновато и офицерство. В громадной своей массе офицерство держало себя инертно. Достаточно вспомнить, что в Одессе было до 40 тысяч офицеров, которые только зарегистрировались, но активного участия в

обороне Одесского района не приняли. Это явление наблюдалось повсюду. На призыв Добровольческой армии офицеры шли неохотно, а когда данная местность занималась большевиками, офицеры беспрекословно подчинялись приказу большевиков и шли регистрироваться и служить в большевистскую армию.

В армии не было твердой политики, и это ее губило. Это была та же керенщина, при которой не было возможности удержать войска на позициях и которые при первой неудаче разбежались. Осталось ядро Добровольческой армии, истые герои, которые десятками бились в неравном бою с целыми полками красных. Добровольческая армия проявила необыкновенный героизм, доблесть и самоотверженность, которых не видела даже, может быть, Европейская война. Масса русских людей положили свою жизнь за Родину, и не они виноваты в разложении армии. Чем дальше, тем было хуже. Люди заражались и следовали примеру заведомо негодных людей, присосавшихся к Добровольческой армии. К сожалению, и многие военачальники оказались не на высоте своего положения и вместо того, чтобы заниматься делом, спекулировали военной добычей.

Так грустно было слушать это мнение компетентного лица, несомненно бывшего в курсе дела. Как честный русский человек, Стессель перенес вместе с остатками своей части те же лишения, какие пережили все бывшие с ним, и разделил их судьбу военнопленных интернированных в Румынии. За тем же столом из глиняной миски с деревянной ложкой он хлебал в этапной столовке грязную похлебку и получал свой паек, который сравнял его с последним его солдатом. По имеющимся на этапе сведениям, в разных местах Румынии находится около 1800 русских, перешедших границу. Таким образом, все остальные из двенадцатитысячной массы людей, вышедших из г. Одессы, более 10 тысяч, осталось на «том берегу». Судьба их нам неизвестна.

Русское общество в Тульче не объединилось. Все жили отдельными кружками и компаниями и были далеки от какой бы то ни было организации. Каждый жил сам по себе и мало вникал в интересы другого. Замкнутость и эгоизм последнего времени не оставляли беженцев и на чужбине. Никаких сведений на фронте и в России мы не получали. Газеты из Бухареста на французском языке были скучны и ничего не говорили о России. Мы были отрезаны от всего мира. Чувство апатии и полной безнадежности постепенно охватили все русское общество и еще больше заставляли каждого прятаться в свою скорлупу. На этапе всем беженцам было выдано белье и обувь, а женщины получили пальто. Несколько позже американский Красный Крест выслал из Бухареста всем беженцам еще по одной смене белья и выдал

мыло, фуфайки, носки и прочие мелочи. Это выручило из безвыходного положения очень многих, в том числе и меня.

Почти все беженцы в Тульче страшно бедствовали. Только немногие проскочили границу с деньгами и ценными вещами, что дало им возможность устроиться по-человечески. Мы меняли оставшиеся у нас «колокольчики» (тысячерублевки). Беженцы продавали свои вещи, золотые кольца, часы, цепочки и прочее, а несколько позже «загоняли» те вещи, которые получили от американцев и на этапе. Каждому хотелось выпить стакан чая и купить папироску. Мы не говорим, конечно, о тех, кто пьянствовал и вел разгульную жизнь на те деньги, которые ему удалось сохранить при переходе границы. Это было исключение. В общей массе все нуждались и испытывали большие лишения.

На скудной пище этапа существовать было трудно. Жизнь шла монотонно и однообразно. Молодежь пробовала знакомиться с румынками, но родители запрещали им знаться с русскими. Об этом сказала румынская барышня Чеснокову, которому она симпатизировала. Девушка, которая гуляла с русским, подвергалась гонению и портила себе репутацию в румынской среде. «Romania mare» (Великая Румыния), как теперь величало себя румынское государство, считало неподходящим знакомство румынской девушки с русским офицером. Греки не любят румын и ядовито напоминали нам, что Румыния была во времена Римской империи местом ссылки.

Румыны - это потомки преступного элемента и осевших потом бродячих цыган. В России мы знали румын только как музыкантов. Во всех первоклассных ресторанах наших обеих столиц и больших городов обязательно играл румынский оркестр. Своим чисто цыганским пошибом румынский оркестр вызывал сильное ощущение и привлекал публику в рестораны. Цыганский хор и румынский оркестр - это всегда было лучшим развлечением русской публики. Только по этим данным мы были знакомы с румынами и не могли поэтому вообразить себе этого музыканта в роли военного человека, а его государство - великой державой. Эта «великая держава» имеет только один университет, где предметы проходят на каком угодно языке, но только не на румынском.

Город Тульча, расположенный на правом берегу Дуная, представляет собой необыкновенно красивый городок. Город был, говорят еще красивее, когда он не был полуразрушен в 1917 году болгарами. Десятки и сотни домов по многим улицам стоят совершенно заброшенными и представляют собой руины. Тульча - старый греческий город. Местные греки рассказывают даже предание, согласно которому основание города Тульчи относится

к тому времени, когда во времена мифологии грек Гераклеас гнался за оленем и настиг его в непроходимых лесах Румелии у самого Дуная, который тогда назывался Истра. Олень запутался рогами в непроходимых лесах и был пойман Гераклеасом. Здесь впоследствии был основан город Тульча. С падением Константинополя, когда Румелия перешла к туркам, г. Тульча перешел во власть турок.

Теперь Тульча принадлежит Румынии и представляет собой интересное место по разнообразию населения. В числе до 20 тысяч населения здесь имеются представители многих народностей. Румыны, греки, болгары, русские, евреи, турки, цыгане, немцы, даже итальянцы, составляют население Тульчи. Любопытно, что в г. Тульче много русских. Их предки эмигрировали из России еще при турецком владычестве, во времена императора Николая Павловича, при преследовании в России различных сект. Турки относились безразлично к религиозным сектам, и потому русские поселились в г. Тульче как ближайшем пограничном пункте. И ныне живущие здесь русские поражают разнообразием сект. Здесь имеются старообрядцы (липоване), поповцы, беспоповцы, молокане, баптисты, скопцы, единоверцы. Если присоединить сюда коренных жителей - православных, лютеран, протестантов и магометан, то станет понятным, какое впечатление должна производить Тульча.

Мы были интернированы в г. Тульче. Только штаб-офицеры жили на частных квартирах за свой собственный счет. Все остальные были размещены в местной тюрьме (Пушкария), которая местными людьми называется Бабадак (название окраины города). Старая турецкая тюрьма в Тульче не сохранилась. Румыны выстроили тюрьму по своему образцу, совершенно своеобразного типа. Одноэтажная, широко разбросанная со многими изолированными отделениями с прилегающими к ним отдельными двориками. Постройка напоминает лабиринт, в котором сразу нельзя разобраться. В принципе заложен глубокий смысл -полной разобщенности отдельных категорий заключенных. Только общий центральный двор доступен заключенным. Второстепенные дворы представляют полную изоляцию. Вход в большую часть камер устроен прямо со двора, или, вернее, с балконов, которые устроены вдоль каждого отделения с лицевой стороны.

Конечно, такое расположение допустимо только на юге. Колонны балконов производят красивое впечатление. На схематическом плане они обозначены кружками. Ограда тюрьмы низкая, не более четырех аршин. Ограда имеет со всех четырех сторон и на углах «ложные башни» по образцу крепости. Полы в

тюрьме земляные. Вместо коек устроены нары-лежанки. Внутренних клозетов нет вовсе. Отхожие места устроены во дворе, возле ограды под выступами. Что особенно интересно, это то, что административный корпус и караульная вынесены за пределы тюремной ограды, как это было в старину в наших русских «острогах».

Здесь приведен схематический план Тульчинской тюрьмы, который набросан мной по памяти и согласно примерному измерению шагами,

которое делали по моей просьбе офицеры, содержавшиеся в этой тюрьме. В тюрьме было размещено до двухсот офицеров, солдат и беженцев. Содержание их было приравнено скорее к содержанию в концентрационном лагере, чем к тюремному режиму. При тюрьме был военный караул. В го -роде разрешалось ходить только в сопровождении стражи. Внутренний порядок походил на тюремный.

Очень скоро публика в тюрьме расчленилась на две группы. После приезда в г. Тульчу представителя украинской миссии из Бухареста пана Шаповал часть беженцев записалась в украинцы, которые, по заявлению Шаповала, будут отправлены в Краев, где они будут комплектоваться в украинскую армию. Вообще с приездом Шаповала в Тульче усиленно стал муссироваться украинский вопрос. Всем уроженцам юга России, малороссам, естественно хотелось попасть на родину. Заверения Шаповала, что союзники (Антанта) вместе с поляками и румынами поддерживают Украину, взбудоражили публику. Соблазн попасть на Родину раньше других заставлял многих записываться в список украинцев. Сразу записалось 80 человек.

Это явление было встречено в местном этапном пункте крайне враждебно. Тотчас же по распоряжению полковника Долгова украинцы были сняты с этапного котла. Они были объявлены чуть не врагами добровольцев, так как считалось, что добровольцы находятся в состоянии войны с Петлюрой. Румыны, напротив, сразу изменили отношение к украинцам. Согласно предписанию румынского коменданта Бэка, в тюрьме было улучшено содержание украинцев. Для них в камерах были устроены нары. Когда в тюрьму привели русских, то нар еще не было. Румыны тогда только обещали оборудовать камеры. Первое время в тюрьме все помещались на земляном полу.

Румынская комендатура приняла украинцев на свой котел и кормила их значительно лучше, чем кормил беженцев русский этап. Украинцам были предоставлены всевозможные льготы. Первая партия украинцев была отправлена в Краево перед

Пасхой. Сейчас же после отправки начал заполняться второй список. К этому времени в Тульчу был препровожден перешедший границу известный в свое время атаман Ангел, который был весьма нам памятен по деяниям его при наступлении Петлюры от Конотопа на Киев в 1918 году. Атаман Ангел был хорошо известен добровольцам и гетмановским офицерам. Он расстреливал одинаково и тех и других. Даже в Тульче называли фамилии тех жертв, которые попадали в руки «куреня смерти», атаманом которого состоял Ангел.

Это было перед самым праздником Светлого Христова Воскресения. Офицерство было встревожено и требовало суда над бандитом. По распоряжению начальника этапа о деяниях Ангела началось следствие, но Ангел занял в тюрьме привилегированное положение. Румынские власти приняли Ангела под свое покровительство и сделали его старшим в украинской группе. В первые дни прибытия Ангела в Тульчу этапная комендатура хотела его арестовать и опрашивала его. Ангел при допросе отрицал, что он тот Ангел, который стоял во главе куреня смерти, но уже потом, когда его приняла под защиту румынская администрация, он цинично заявлял в тюрьме офицерам, что он «настоящий Ангел» и не признает «золотопогонников». Уезжая из Тульчи со своей группой украинцев, атаман Ангел вел себя в тюрьме дерзко по отношению к офицерам и в споре с одним из них сказал, что он расстреливал и будет расстреливать «золотопогонную сволочь».

Начальник тюрьмы Б. М. Солонина, который содержался в тюрьме с Н. А. Тарновским, записался в список украинцев и уехал вместе с партией Ангела. Из Краево предполагалось попасть в Каменец-Подольск, откуда все рассчитывали выехать в Киев. Это была та же история, что в Одессе со Струком. Струковский отряд численностью до 3000 человек состоял в большинстве из лиц, записавшихся к Струку, чтобы пробраться поближе к Киеву. Это то, что погубило Струка. Под г. Маяки отряд был разбит большевиками. При первом выстреле струковцы разбежались, и часть их перешла через Днестр в Румынию. Разгром струковского отряда предшествовал разгрому добровольцев под с. Раскаец и представлял совершенно одинаковую картину. Часть струковцев попала в Тульчу и была интернирована в Румынии вместе с нами.

Люди стремились вырваться из Румынии и попасть на Родину. Судьба Украины еще не определилась. Румыния и Польша стояли за отделение Украины и покровительствовали украинцам. Люди колебались. Казалось, что путь через Каменец-Подольск на Киев был самым кратким и вероятным. Между тем, как по общему мнению, Добровольческая армия уже прекращала

свое существование. Сведений об общем положении на фронте в Тульче не было.

Мы были на кладбище в г. Тульче, чтобы навестить русские могилы и зарегистрировать умерших в Тульче черниговцев. В прошлом году почти в то же время через Тульчу прошли отступающие из Одессы через Румынию воинские части в количестве более 7000 человек. Это были те же добровольцы, которые скоро были отправлены в Новороссийск, откуда началось прошлогоднее наступление добровольцев, закончившееся взятием г. Орла. Конечно, в прошлом году добровольцы, отступавшие вместе с французами, были в Тульче в ином положении, и само отступление носило совершенно другой характер. Тем не менее и тогда люди гибли и испытывали большие лишения.

На городском кладбище в Тульче отведено место для погибших добровольцев. При входе на кладбище, направо, в самом конце в три ряда, одна возле другой, расположена 51 могила с простыми маленькими дере -вянными крестами; на некоторых из них сделана надпись с обозначением имени, фамилии и даты смерти. В стороне от них, отдельно, расположены три могилы. Это сначала предполагали умерших штаб-офицеров выделить в отдельную группу и потому здесь похоронили трех полковников. Еще раньше хоронили ближе ко входу на кладбище, так что 15 могил расположено в стороне от добровольческих могил. Одна могила находится среди румынских военных могил.

Таким образом, всего русских добровольческих могил на кладбище семьдесят, но, кроме того, есть одна братская могила, где, по сведениям кладбищенского сторожа, похоронено 20 добровольцев. Кроме пяти свежих могил умерших от сыпного тифа в Тульче из нашей партии, остальные 85 человек похоронены в прошлом году. Администрация русского этапа в Тульче рассчитывает поставить один общий памятник, но пока этого не сделано. Наверное, многие из этих могил останутся забытыми навсегда и прах умерших будет причислен к людям, без вести пропавшим. Как в плавнях реки Днестра, так и здесь смерть человека не привлекала к себе внимания людей. Регистрация их не велась. Люди гибли, и никому до них не было дела. Многие будут оплакивать своих отцов, мужей и сыновей и никогда не узнают, где и при каких обстоятельствах погибли эти русские люди. Да и погибли ли они?

Мы шли с полковником Л. Н. Николаенко на кладбище за похоронной процессией. Хоронили умершего от тифа офицера Евгения Семенюка. В процессии участвовали только прислужники церкви и мы вдвоем, случайные участники похорон. Кто такой

был Семенюк, мы не знали. Доктор сказал нам, что он киевлянин, сидевший в Одесской Чрезвычайке. Этого было достаточно, чтобы вообразить себе драму этого человека. Никого близких, никого из товарищей при нем не было. Карандашом на могильном кресте фельдшер написал дату смерти и обозначил фамилию умершего. Так бесславно, одиноко и заброшенным погиб Евгений Семенюк. И вряд ли когда-нибудь его родные узнают, что где-то на чужбине закончились его глубокие страдания. Его, может быть, с любовью ждут дома и молятся еще о скорейшем возвращении домой. А ведь это был герой-защитник Родины. И таких, как Семенюк, много. Люди очерствели и замкнулись в своем несчастии.

В Тульче образовалась целая колония русских, и никого не интересовали погибающие и умирающие. И так мог погибнуть каждый, не обращая внимания других. Мы заинтересовались этим положением и имели по этому поводу беседу с полковником Долговым. Мы получили разъяснение, что русский этап в Тульче возбуждал вопрос о постановке памятника и о приведении в порядок русского добровольческого кладбища и испрашивал на эту надобность 5000 лей, но на свое представление полковник Долгов получил телеграмму из Бухареста от генерала, содержащую в себе одно французское слово «non». Мы добивались затем хотя бы установить фамилии умерших, чтобы впоследствии их можно было опубликовать в русских газетах, но оказалось, что на этапе этих сведений не имеется.

Таково было отношение к людям, шедшим защищать свою Родину. Правда, большинство умерших принадлежало к бригаде генерала Тимоновского, бывшей в прошлом году в Тульче, и, по-видимому, в штабе этой бригады имеются сведения о погибших, но ведь могло случиться, что и в штабе эти сведения не сохранились, а родные ждут их, не будучи в состоянии даже оплакивать свои дорогие могилы. Так очерствело человеческое сердце и стали безразличны интересы ближних. Нам приходилось много беседовать с беженцами. Почти у каждого дома в России остались родные и близкие люди. Каждый с тоской и грустью думал о них и стремился домой, но события шли помимо человеческой воли, и оставалось лишь «плыть по течению».

Все были уставшими, обессиленными и нравственно подавлены, а в таком состоянии развивалось чувство полного безразличия, апатии и эгоизма ко всему окружающему. Чувство недоедания в связи с весьма тяжкими лишениями еще сильнее обезличивало человека, и он обращался в манекен, которым руководит все что угодно, но только не собственная воля. Больно было смотреть, как эти когда-то культурные, интеллигентные и образованные люди, теперь полуободранные, голодные,

накидывались на ту отвратительную похлебку, которой в России кормили только собак. Люди общества, офицеры, генералы подходили со своими мисками и деревянными ложками к общему котлу и буквально грызлись за пищу. «Вновь прибывшим пищи сегодня не полагается» - и из рук прибывшего берут миску.

Мы сами испытали в арестантской при аккерманском гарнизоне положение вновь прибывших. Нам хотелось есть, но, пока мы не попали в общий список, мы голодали и только смотрели. Никто с нами не поделился своей порцией, и никто даже не поинтересовался, хотим ли мы есть. Больно было за этих людей, и вспоминалось, как раньше, бывало, мы встречались в гостиных и в культурном обществе. Мы уже испытали это и видели при большевиках в России. Интеллигенцию большевики жестоко преследовали и заставили стать в положение простолюдина. Белье, одежда, обувь были отобраны. Квартиры были уплотнены до степени жизни коммуной. Культурные привычки пришлось бросить. Непривычный голод делал человека жадным и черствым по отношению к другим людям. Мы вспоминаем это ужасное состояние голода, когда каждый готов вырвать у другого ту 1/8 фунта хлеба, которую он получал, а большевистские комиссары говорили, что это еще не голод. Голод будет тогда, когда на кладбищах будет стоять очередь.

Ужасы большевизма и ужасы контрбольшевизма уравнивались. Стыдно вспоминать, как люди грызлись за коробку консервов и, потерявши совесть, рвали друг у друга лишний кусок хлеба. Попытки организовать это общество и создать взаимную помощь не удавались. Каждый хватал свою долю и бежал, как собака, грызть свою кость. Чувство сострадания исчезло. В лучшем случае только скажут, что такой-то заболел, но о дальнейшей судьбе такого человека уже не вспоминают. И люди к этому привыкли. Больной перед смертью уже не просит, так как понимает, что просить некого.

Я стоял среди этих общих, но одиноких могил и переносился мысленно к их родным, которые ждут не дождутся своих отцов, мужей и сыновей, не представляя себе, что они лежат уже в месте вечного покоя «без вести пропавшими». Пройдет много лет. Карандашная надпись на могильном кресте смоется временем. Жизнь начнет входить в колею. Люди опомнятся и вынуждены будут оглянуться назад. Конечно, все прошлое покажется им кошмаром и отвратительным сном, но от этого будет не легче тем, кто будет вечно ждать своих без вести пропавших близких и родных, дорогих им людей.

Город Тульча в Румынии будет для русских людей историческим городом. Дважды русские отступали от

большевиков на Румынию. В марте 1919 года добровольцы отходили из Одессы вместе с французами, греками и поляками. Они были сосредоточены в Тульче и скоро направились в Новороссийск. Румыны тогда пропустили русских, погибли отдельные лица, но это был тот долг, которого требовали обстоятельства военного времени. В бригаде генерала Тимоновского свирепствовал сыпной тиф.

Совершенно иное положение создалось в этом году. Добровольческая армия была разгромлена. В Румынию отступали, в сущности, не воинские части, а бежала толпа беженцев, спасающихся от расправы большевиков. Это были обезоруженные люди, которые не могли оказывать сопротивления даже грабившим их крестьянам. Это были люди обессилевшие, но уже исполнившие свой долг. Это была толпа людей, которые требовали защиты международного права и просто гуманного к себе отношения.

* * *

Дни шли невероятно долго и скучно. Единственным для нас развлечением была чайная грека Антония - известного в Тульче и даже окрестностях города как прорицателя и вдохновенного толкователя Апокалипсиса. Здесь собиралась русская публика и делилась своими мыслями. Антоний предсказывал большевизм в Европе и уверял нас, что к июлю большевизм в России закончится, и мы поедем домой. Наивно принимая внушения грека Антония, публика оживлялась и искренно радовалась. Впрочем, настроение часто менялось. Какой-нибудь слух через рыбаков из Одессы вызывал подавленное состояние, но затем беседа с Антонием опять приводила публику в блаженное состояние. Грек стоял на своем и уверял, что в начале июля мы будем в России. Люди проявляли патриотизм и делались настоящими русскими людьми.

В особенности это сказалось на Страстной неделе и в дни Св. Пасхи. Русские проводили целые дни в церкви. Бабадак (тюрьма) выводилась в церковь в сопровождении стражи. Это было для наших пленных истинным удовольствием. Заключенные составили свой хор и прислуживали в церкви. Местный священник уступил службу в русской церкви нашему батюшке отцу Сергию Калите - беженцу из Черниговской губернии. С особым грустным оттенком и глубиной служил отец Калита, вызывая глубокие чувства в настроении русских беженцев. Одним словом, русская церковь на валу была в руках русских беженцев. Здесь более, чем где-либо, чувствовалось сближение русских на чужой территории. У всех на душе было грустно и тяжело. Как-то особенно сильно чувствовалось общее горе и тоска по родным и

близким людям на Страстной не -деле. Румыны в этот раз особенно русских не притесняли, а в ночь перед Пасхой разрешили даже ходить по городу целую ночь.

Оставаясь верными своим традициям, русские шумно отпраздновали Пасху. «Загнав» (продав) последние свои вещи, беженцы проявили свою русскую натуру и, вероятно, не было уголка в Тульче, где бы не было водки и пасхи. Отчасти от горя, отчасти от души русские выпили много. Греки посмеивались и говорили, что никто так много не пьет, как русские. Одним словом, первые дни праздника Пасхи прошли в хмелю, и вряд ли кто-нибудь оставался абсолютно трезвым. Даже в тюрьме люди разговелись как следует. В этом хмелю вылилось наболевшее горе за себя и за Родину и забылось положение пленного за границей. Румыны посчитались с этим настроением и дали волю разгуляться русской натуре. Уже к заутрене румыны стушевались. Пьяных не трогали. Ночью на улицах можно было встретить только русских. Впрочем, скандалов не было. Публика вела себя скромно.

С особой торжественностью священник отец Сергий отслужил заутреню. Церковь была переполнена русскими во главе с начальником этапа и его штатом служащих. Церковь была заполнена старыми шинелями русских добровольцев. Все были одеты одинаково - все в русских солдатских шинелях. Пел хор офицеров из Бабадака (тюрьмы), возле которых на клиросе стояла стража в лице двух пожилых румын-солдат. Многие плакали и подолгу стояли на коленях перед иконами, освещенными тысячами восковых свечей. Было грустно, тяжело на душе, и к горлу подступали слезы. В таком состоянии в темную глубокую ночь добровольцы шли разговляться и первую рюмку, конечно, пили за своих родных, близких и дорогих людей.

Ранняя Пасха (29 марта) совпала с первыми чудными весенними днями. Начала распускаться зелень, и появилась трава. Мы спали уже с открытыми окнами. Было грустно. Весна тянула домой. Что делалось в родных краях, мы не знали. Уже давно шли слухи, что нас отправят в Болгарию. Румыны старались отделаться от русских, а болгары принимали нас.

* * *

Ежедневно мы ждали парохода, чтобы ехать в Болгарию. По слухам, в г. Варне был голод. Газеты сообщали о происходящей в Болгарии забастовке и большевистских выступлениях. Часть публики ехала в Сербию, но и там, по слухам, было неблагополучно. Настроение было скверное. Многие завидовали тем, кто записался в украинцы и уехал в Краев. Хотя на Украине не было ни территории, ни армии, но чувствовалось, что они

раньше всех попадут на Родину.

14 апреля ст. ст. утром послышался гудок морского парохода. С быстротой молнии в Тульче распространилась весть о прибытии русского парохода «Адмирал Кашерининов». Согласно объявлению этапной комендатуры, все едущие в Варну должны были погрузиться на пароход в течение двух часов. В 9 часов утра с вещами и котомками русские потянулись к пристани. Мы распрощались с нашим хозяином греком Яни Петала, который уже раз напомнил нам предсказание своего брата Антония о том, что в июле мы будем уже дома. Девочка Янула страшно плакала, прощаясь с нами.

На пристани возле прибывшего «Кашерининова» было уже много народу. Ждали таможенного чиновника. На пароходе было уже 88 беженцев, в большинстве военных, прибывших из Рени. Нам было объявлено, что погрузка начнется в час дня. Румыны предложили нам отойти от парохода, указав место на площади, шагах в пятидесяти от «Кашерининова». С парохода на пристань никого не пускали. С 12 часов дня на пристани началась суета. Постепенно начали прибывать румынские русские власти. С портфелем в руках начальник этапа полковник Долгов суетился возле парохода и что-то говорил с румынами. Нас потом выстраивали, пересчитывали, выкликали, а затем таможенный чиновник осматривал вещи. Он обратил внимание, что мы вывозим много мыла, которое мы получили от американцев.

Не обошлось и без недоразумений. Румыны не пропускали хлеб, который был привезен к пароходу нам на дорогу. Усилиями полковника Долгова румыны разрешили погрузить на пароход по одному хлебу на человека. В общем и здесь отношение румын было враждебное. Каждый раз, когда публика собиралась группами возле парохода, румынские солдаты грубо разгоняли русских. В гавани собралась масса народу. Остающиеся в Тульче пришли проводить отъезжающих. Пароход привлек на пристань и местных жителей, главным образом русских-сектантов.

Во втором часу началась погрузка. Всех интересовал вопрос, будем ли мы отправлены под конвоем румын или поедем самостоятельно. Капитан «Кашерининова» шутя отвечал, что мы вступаем на русскую территорию, и каждый румын, вступивший на пароход, будет спущен им в воду. «Адмирал Кашерининов» был русским пароходом и шел под русским флагом в Константинополь на буксире у катера «Успех» для ремонта. Все служащие на нем были русские. Первый раз за все это время мы почувствовали себя на русской территории. Первый раз за это время мы скинули с себя тяжесть румынского гнета и очутились среди русских.

На «Кашерининове» почувствовался у всех подъем настроения. Нас дружески встретила находившаяся на пароходе группа русских людей, испытавшая те же невзгоды, что и мы, при переходе румынской границы. Русский флаг на «Кашерининове» как-то особенно приятно ласкал взор. На этой небольшой территории мы чувствовали себя хозяевами положения. Около 6 часов вечера пароход начал отчаливать. На берегу стояли чины местной комендатуры в полном составе. Мы собрались на палубе. По инициативе священника Калиты тут же сорганизовался хор, который запел «Коль славен». Мощно прозвучал этот гимн, напомнив прежнее величие всего русского. Все сняли шапки. Стоявшие на берегу обнажили головы.

Пароход медленно отчаливал, оставляя на берегу русских, испытывавших те же чувства при пении гимна. Мы видели, как румыны будто бы несколько растерялись. Посматривая искоса друг на друга и на толпу, стоявшую, как при молитве, без шапок, они точно не знали, как поступить. Только они - румыны выделялись своими голубыми кепками, внося диссонанс в эту торжественную и проникнутую глубоким чувством патриотизма минуту.

Мы погрузились в числе 107 человек, что с прибывшими из Рени составило 145 человек. Обе группы были спаяны одной общей трагедией отхода к румынской границе. Нас отправляли в Болгарию. Мы радовались, что едем не во враждебное государство, но вместе с тем приходили в уныние от сознания, что мы отделяемся от своей Родины. Бог знает, когда и при каких обстоятельствах можно будет вернуться домой. Мы были ограблены. Все наше имущество заключалось в тех вещах, которые нам были даны американцами и местным этапом. Кое у кого сохранилось небольшое количество «колокольчиков» (донские 1000 рублей), «лопаток» (50 рублей) и украинских денежных знаков, а также некоторые ценные вещи (часы, кольца и пр.). В общем, мы были нищими и, конечно, не могли существовать самостоятельно, без поддержки. На дорогу нам выдали хлеб и консервы. По инициативе штаб-капитана Горбачевского на пароходе был устроен общий котел. Мы получали горячую пищу.

Мы ехали на полную неизвестность и не рассчитывали на что-нибудь хорошее. Тем не менее с самого начала поездка на пароходе «Адмирал Кашеринов» была для нас истинным отдыхом и удовольствием. Мы были сыты и пользовались относительными удобствами. Погода нам благоприятствовала. Полнолуние и безоблачное небо в течение нашего путешествия раскрывали перед нами очаровательную картину моря. В

международном порту Сулина мы стояли на якоре почти целые сутки.

Вечером накануне выхода в море священник отец Калита отслужил всенощную. Пел хор офицеров и солдат. Многие выходили в море первый раз в своей жизни и испытывали некоторое волнение. Страшили приготовления. На пароходе привязывали столы, стулья, сундуки, тюки, чтобы они не сорвались во время качки. Всенощная закончилась поздним вечером, когда уже луна была высоко на небе.

Окружающая обстановка представляла дивную картину. Мы стояли у выхода в море почти между двумя маяками. Порт Сулин был залит лунным светом, на фоне которого в бесконечном количестве ярко светили электрические фонари порта и стоявших в нем кораблей. Перемещающиеся и сверкающие разными цветами огни двух стоящих друг против друга маяков разбрасывали яркий свет в том месте, где луна отражала в море широчайший сноп лунной морской ряби, расширяющийся к горизонту. Мы не могли спать и долго сидели на палубе, любуясь этой картиной сочетания природы и сил человеческой мысли, достигшей такой высокой культуры и техники. Еще величественнее была картина открытого моря.

Двое суток пароход Кашерининов шел в Варну. Полпути мы шли открытым морем вдали от берега и видели абсолютный географический круг моря, в центре которого находились мы на пароходе «Адмирал Кашерининов». Это напомнило нам картину из учебника географии и глобус, которые дали нам в детстве представление о морском горизонте. Море было спокойно, и только временами небольшие волны увеличивались и несколько покачивали «Кашерининова». Почти все время мы сидели на палубе и с наслаждением вдыхали морской воздух. Нас развлекали морские чайки, сопровождавшие временами пароход, и дельфины, которые шныряли возле корабля, выскакивая из воды и делая поверх моря дугообразные движения.

Спокойная атмосфера моря, абсолютно чистый воздух и великолепные теплые дни дали нам тот отдых, которого мы уже давно не ждали. Новые и притом сильные впечатления вдали от враждующего человечества, вдали от атмосферы взаимной ненависти и злобы, отвлекли нас и перенесли на время в иной мир, более близкий к природе. Многим казалось, что в Болгарии будет лучше и что там можно будет хорошо устроиться и отдохнуть. Но это могло только казаться. Более глубокие люди отлично понимали, что они едут не на курорт, которым считается г. Варна, а покидают свою Родину как эмигранты. Можно любоваться природой и физически отдыхать после всего

пережитого, но примириться и жить спокойной жизнью вдали от родных и близких людей, которые переживают, может быть, ужасы, превосходящие своим безобразием пережитое нами, едва ли возможно.

Нам чудится бой под Канделем и «тот берег», где гибли сотни и тысячи русских людей, оставленных в плавнях реки Днестра на растерзание изуверов-большевиков. Кровавый след этих преступлений растянулся далеко за пределы румынской границы и прилип даже к английскому контрминоносцу, бежавшему из Одесского порта. Из 12 тысяч человек, остатков Добровольческой армии, едва 1800 человек благополучно миновали «плавни» и перешли румынскую границу. Но где же остальные? Мы видели убитых и раненых. Мы оставили в Канделе своих друзей и знакомых. Мы, наконец, были на кладбище в г. Тульче и слушали рассказы бессарабцев и немцев-колонистов. И это ответ на наш вопрос. Если бы каждый из уцелевших вспомнил погибших при нем и посчитал «без вести пропавших», то это был бы еще более точный ответ на этот вопрос.

21 апреля (4 мая нов. ст.) к вечеру мы стали приближаться к г. Варне и шли вдоль берегов Балканского полуострова. Вдали, как в тумане, виднелась Варненская бухта. Пароход лавировал, чтобы обойти минное поле, не очищенное от мин, оставшихся еще со времени Европейской войны. Здесь недалеко виднелись мачты затонувшего недавно от разрыва мины парохода «Петр Великий», того самого, который привез в декабре месяце в г. Варну эвакуированных из Севастополя больных и раненых добровольцев. Это был первый транспорт беженцев из России в числе 1000 человек, из которых 100 человек было сыпнотифозных. К 9 часам вечера мы были уже в гавани. «Кашерининов» остановился в порту, не подходя к молу. Капитан громко и отчетливо сообщил в рупор на берег: «Прибыл из Сулина русский пароход “Адмирал Кашерининов”».

* * *

Сообщение в варненской газете

Прибывший в г. Варну председатель организации беженцев Черниговской губернии Д. В. Краинский покорнейше просит находящихся в Варне черниговцев сообщить для регистрации имеющиеся у каждого сведения об умерших и без вести пропавших уроженцах и постоянных жителях Черниговской губернии.

Адрес: ул. Гургулята, № 13, квартира доктора Н. В. Любарского, в 9 часов утра и 7 часов вечера.

Уроженцам и постоянным жителям Черниговской губернии, находящимся в г. Варне и желающим записаться в организацию, предлагается явиться для регистрации по адресу: ул. Гургулята, №

13, квартира доктора Н. В. Любарского (ежедневно в 9 часов утра и 7 часов вечера).

Во всем этом кошмарном деле об «отходе на Румынию» есть еще другая сторона. Где те лица, которые, севши заблаговременно на корабли, уверили своих подчиненных, что им открыт путь на Румынию?

Мы знаем, что в Крыму производится следствие по делу об эвакуации Одессы.

В Варне можно было бы собрать материалы, весьма ценные для следственной комиссии. Через наш город проходят счастливцы, пережившие румынский поход.

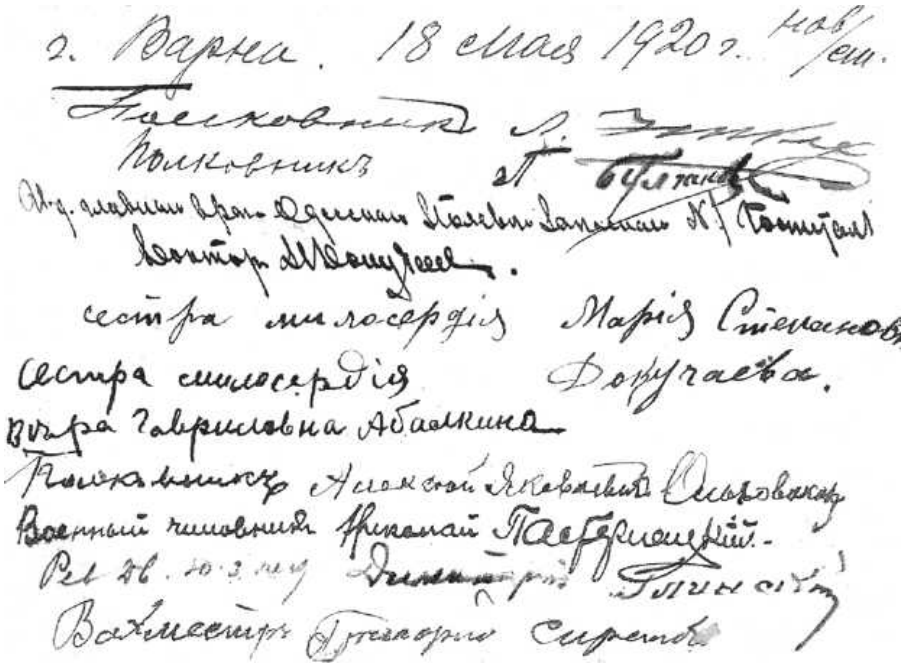
Д. Краинский. 1920

*к к **

Мы, нижеподписавшиеся участники отступления из Одессы на Румынию через Кандель и Раскаец, ознакомившись с мемуарами г. Краинского, изложенными в настоящей тетради, удостоверяем, что все факты и события изложены им правильно, беспристрастно и без всякой субъективной окраски. Г. Краинский заносил в свои записки рассказы очевидцев и потерпевших с их слов и затем прочитывал им записанное и охотно делал соответствующие исправления, если следовали какие-нибудь замечания.

Мы находим, что г. Краинский слишком мягко изложил все ужасы отступления на Румынию и отношения румын к русским, причем им совершенно упущено описание зверского отношения румын к русским в арестантской при аккерманском гарнизоне и по дороге из Аккермана в Рени и Тульчу. Г. Краинский объяснил это тем, что он не решался во время своего пребывания в Румынии писать о румынах. Мы уполномачиваем г. Краинского дополнить свои записи изложением этих фактов и поручаем полковнику Л. Н. Николаенко заверить правдивость этого изложения.

г. Варна, 18 мая 1920 г. н. ст.



Подписи [десятки подписей. - *Сост.*].

ЗАПИСКИ. Т. XII
1920 ГОД. БОЛГАРИЯ - СЕВАСТОПОЛЬ - КУБАНСКИЙ ПОХОД

В случае моей смерти прошу эти Записки передать моей дочери Ольге Дмитриевне Краинской по адресу: гор. Чернигов. Старокиевская ул., дом Семченко № 41, Марии Александровне Лукиной для передачи О. Д. Краинской. (М. Лукина всегда будет знать, где находится моя дочь.)

В случае моей смерти прошу сообщить о моей кончине Зине Александровне Чоповской по адресу:

Polska - Polonia. Krakow. Hornicza Akademia. Padgorze. Z. Czopowska.

Д. Краинский

21 апреля ст. ст. 1920 года в 7 часов вечера пароход «Адмирал Кашеринов» вошел в Варненскую бухту и стал на якорь в порту саженях в восьмидесяти от мола, и здесь мы должны были ждать утра. Катер «Успех» снялся и стал несколько правее рядом с двумя такими же небольшими судами. В порту было мало судов, и он казался почти пустым. Обращал на себя внимание лишь один громадный корабль, на котором простым глазом были видны черные люди. По-видимому, это был французский корабль. Но зато в левой части порта стояло много удивительно красивых малых парусных судов, и здесь открывался великолепный вид на г. Варну.

Мы долго сидели на палубе и любовались этим чарующим видом. Я лично могу сказать, что за четыре дня плавания я отдохнул и стал как-то спокойнее. Мне удалось занять место на мягком диване в кают-компании, и ночью я мог даже полураздеваться. И в отношении пищи я был более или менее удовлетворен, так как компания присоединилась к небольшой группе офицеров, которая во главе с штабс-капитаном Горбачевским варила себе отдельно отличный суп. Мы были у цели.

Очевидно, все слухи о торжестве большевизма в Болгарии сказались вздорными, так как все было спокойно и никакого красного флага, как об этом упорно говорили на пароходе, нигде не было видно. Я спал эту ночь отлично и проснулся в тот момент, когда штабс-капитан Горбачевский принес кипяток и приглашал нас к общему столу выпить чаю. День был необыкновенно жаркий. В каюте было душно, а на палубе жгло

солнце. Но тем не менее мы были все время на палубе, так как там было гораздо интереснее. Часов в девять «Кашерининов» стал сниматься с якоря и мед -ленно подходить к молу. Он стал невдалеке от французского парохода, по сравнению с которым «Адмирал Кашерининов» казался необыкновенно маленьким и ничтожным.

На молу стояли полицейские, одеяние которых почти ничем не отличались от формы русского городового. Здесь же стояли на посту два чернокожих (французские колониальные войска), очевидно, специально высланные к прибытию нашего парохода. Невдалеке от мола было портовое здание, где помещались эти зуавы. В воротах этого здания стоял на часах чернокожий, а в подворотне толпилась масса черных людей в военной форме, привлекавших наше внимание. Что это значило, мы не могли знать, но, по-видимому, Болгария была оккупирована французскими войсками.

Мы стояли очень долго не разгружаясь, и все, конечно, толпились на палубе. На берег никому не разрешалось сходить впредь до соответствующих распоряжений. Хотелось есть. На «Кашерининове» обед не готовился, так как где-то в городе нас ожидали с обедом. К пароходу подходили торговцы с хлебом и колбасами, и даже пришли дети с бутылками молока, но публика была без денег и очень немногие имели возможность купить хлеба и молока.

Постепенно к пароходу стали подходить русские, большинство которых прибыли в г. Варну еще в прошлом году. С любопытством расспрашивая нас, откуда мы и какими путями мы прибыли в Варну, они были крайне удивлены одесской катастрофой и ничего не знали об отходе частей войск на Румынию. В свою очередь мы спрашивали, каково положение в Крыму, но никто не мог ответить на этот вопрос. Некоторые безнадежно махали рукою и говорили, что, вероятно, Крым будут скоро эвакуироваться. На пароходе в кают-компании составляли какие-то списки и распределяли на группы. Я знал, что записан военным и попал в группу полковника Николаенко, с которым и должен следовать в какие-то казармы. Часов около двенадцати на пароход прибыл член русского комитета Массаковский и вел переговоры с Николаенко, проверяя списки и число прибывших.

Правда, спешить было некуда, но хотелось есть, и к тому же донимала невыносимая жара. На берегу тотчас за пакгаузами открывалась большая площадь, прорезанная во всех направлениях рельсами железной дороги, и даже были видны таможенные ворота, за которыми уже начинался город. По-видимому, прибытие русских привлекло внимание болгар, так как с каждой

минутой в гавань стекалось все больше и больше народу, и многие из болгар подходили к нам и спрашивали, откуда мы. Многие из них, как равно и полицейские, говорили по-русски, но мы понимали и то, что говорилось на болгарском языке.

К моменту разгрузки парохода к «Кашерининову» подошел целый взвод чернокожих солдат, точно это было действительно нужно, и мы стали сходить с парохода группами. Очевидно, кто-то распоряжался, так как для каждой группы были присланы повозки для вещей. Наша группа имела три подводы, на которых были нагружены наши вещи. Мы шли в город вслед за первой группой, растянувшись длинной вереницей по тротуарам. Первое, что бросилось мне в глаза, - это всюду на вывесках надписи как будто на русском языке, например «Аптека», - и это так приятно было видеть после Румынии, где все было чужое.

По своему внешнему виду г. Варна ничем не отличается от русского города. Это та же Россия - провинциальный город вроде нашего г. Нежина, но несколько наряднее и чище. Особенно порадовал нас собор, напоминающий по своему стилю Владимирский собор в Киеве. Далее другой храм, тоже такая же церковь, как русская. Мы прошли весь город и пришли в другой конец Варны, где почти на окраине нам было отведено два верхних этажа Торговской школы.

Первая группа еще в начале нашего пути взяла налево, направляясь в «Юнакский салон» (здание театра). Третья группа тоже давно отстала от нас, направляясь в «Варну палас» (торговое здание). Мы удивлялись дорогою, что на улицах так пустынно и вовсе не видно интеллигенции. Публика серенькая и крайне неинтересная. Извозчиков почти нет, да, вероятно, тут и некому ездить на них. Магазины довольно жалкие, но самый город все же очень красивый. Отовсюду видно море, и ни на минуту не отрываемся от мысли, что это приморский город. Что в особенности красиво - это то, что на стенах почти каждого дома тянутся вьющиеся розы, достигающие высоты крыш двухэтажных домов, и потом морские чайки, гнездящиеся на крышах в домовых трубах высоких домов. Их симпатичный крик как-то особенно приятно ласкает слух и дает настроение покоя и чувство морской дали.

В Болгарии находилось уже до 8000 русских, которые размещались в различных пунктах Болгарии. Город Варна, второй по величине и значению после столицы Болгарии гор. Софии, считается кроме того курортным местом, и здесь разрешалось жить только тем беженцам, которые имели определенное занятие или жили на свои средства. В Варне функционировал уже Русско-Болгарский комитет помощи беженцам[22]. Воинские чины были в

ведении русского этапного пункта и начальника русского гарнизона генерала Бендерева (болгарин), подчиненного русскому представителю в Софии полковнику Палицыну[23].

Первое впечатление, которое произвела на нас местная комендатура, было нехорошее. Мы были уверены, что нас встретят и отнесутся внимательно, но отношение было сухое и официальное. Совершенно иное впечатление произвела на нас Болгария. Уже с парохода мы слышали слово «братушка». Никакой стражи и конвоя при нас не было, если не считать французских зуавов, наряд которых был прислан к пароходу. Одно было только плохо, что опять пришлось жить в казарменной обстановке. Опять вповалку на грязном некрашеном полу мы расположились в числе 65 человек в зале Торговской школы. В тот же день мы были зачислены на общий котел и получили пищу в «Варне палас», где были размещены прибывшие ранее из Новороссийска и Крыма эвакуированные воинские чины.

После Румынии мы почувствовали здесь полную свободу. Для русских никаких ограничений не было. Доступ для русских был всюду. У кого были средства, тот мог устраиваться, как ему было угодно. Многие уже нашли себе службу и открывали свои предприятия. Казалось, что при таких обстоятельствах в Варне можно отдохнуть и привести себя в порядок, но в действительности это было не так. Чтобы не излагать эти причины, мы приводим ниже рапорт полковника Николаенко от 29 мая 1920 года за № 23 на имя начальника русского гарнизона г. Варны.

Рапорт этот во многом является повторением того, что нами уже описано ранее, но так как он является официальным и притом историческим документом, то мы решили привести его целиком со скрепой полковника Николаенко в тождественности этой копии. В военной среде знали, что я веду записки, и потому полковник Николаенко просил меня дать в его распоряжение этот материал, по которому и был составлен этот рапорт:

«Доношу, 4 мая я прибыл в Варну на пароходе “Адмирал Кашерининов” с группой офицеров, чиновников, солдат и беженцев в числе 107 человек, которые были вверены моему попечению в г. Тульче (Румыния) распоряжением начальника русского этапа полковника Долгова. На пароходе была уже такая же группа во главе с полковником Жеваловым, ехавшая в числе 88 человек со станции Рени из Бессарабии. Обе группы, составляя 195 человек, принадлежали к числу тех отступивших из Одессы частей войск и следовавших за ними гражданских чиновников и беженцев, которые были эвакуированы и ушли из Одессы 25 января 1920 года и следовали сначала с отрядом начальника

укрепленного района и гарнизона г. Одессы полковника Стессель, а затем слились с отрядами генералов Мартынова и Васильева, из которых последний, как старший, принял командование всей этой группой.

Отходя первоначально на г. Овидиополь с тем, чтобы вступить через Днестровский лиман на румынскую территорию, эти группы добровольческих войск вынуждены были повернуть на север, так как румынские власти в Аккермане не только не пропустили их через Лиман, но встретили подходившие части орудийным и пулеметным огнем. На совете старших войсковых начальников в Овидиополе было решено после этого пробираться вдоль реки Днестра к Тирасполю на соединение с отрядом генерала Бредова.

Еще в Овидиополе численность группы войск под командованием генерала Васильева вместе с обозами и беженцами достигла 12 000 чело -век. Походным порядком с обозами, растянувшимися на 6-7 верст, при морозе до 12 градусов эта группа шла трое суток без отдыха, без пищи и ночевки, пока достигла немецкой колонии Кандель, откуда до Тирасполя оставалось не более 30 верст.

Генерал Васильев торопился, имея сведения, что большевистские от -ряды идут параллельно и готовятся впереди нанести решительный удар отступающим добровольцам. Дважды по пути уже были столкновения с красными. Возле немецкой колонии Петершталь артиллерия красных более часу обстреливала дорогу и площадь, по которой шли добровольцы, но благодаря перелетам из всей группы оказался раненым в ногу один солдат и убита одна лошадь. Затем возле с. Беляевка большевики открыли пулеметный огонь при вступлении передовых отрядов в село.

Не желая принять боя, генерал Васильев распорядился обойти ночью лугами с. Беляевку. Вступив в Кандель, воинские части, переутомившиеся трехдневным походом, рассчитывали расположиться на ночевку и получить горячую пищу. Торопясь отдохнуть, они разбрелись по хатам, оставив без прикрытия вступавшие в Кандель обозы. В это время совершенно для всех неожиданно с севера-востока начался артиллерийский обстрел Канделя.

Пока собирались разрозненные воинские части и происходила группировка для наступления, крайние хаты Канделя со стороны д. Зельц были уже заняты большевиками группы комиссара Левензона, а с фланга почти у самого Канделя показались неприятельские цепи и большевистская конница Котовского. Дружным натиском отряда полковника Стессель,

действовавшего в сторону д. Зельц, и контратакой с фланга частей генерала Мартынова с артиллерией красные были отбиты и отступили за д. Зельц, отстоящую в полутора верстах к северо-востоку от Канделя. Скоро д. Зельц была занята нами. Ввиду этого было приказано сниматься и обозу выезжать в д. Зельц.

Тем временем, исполнив свою задачу, усталые, голодные и иззябшие воинские части начали расходиться и, возвращаясь с позиций в Кандель, накинулись на еду, ослабив таким образом фронт. Учтя это положение, красные вновь нажали на Кандель и в этот раз взяли деревню под перекрестный артиллерийский огонь. С большими усилиями атака была вновь отбита, но уже стало ясно, что переутомленные части не были способны к дальнейшему продвижению с боем на Тирасполь. В бою при Канделе насчитывалось до ста человек убитыми и ранеными. Бой прекратился с наступлением темноты.

На совещании старших войсковых начальников под председательством генерала Васильева было признано, что прорыв на Тирасполь не удался, и потому было решено отступать на румынскую территорию по направлению к селению Раскаец в Бессарабии. Отступление было крайне спешным. Больные и раненые в большинстве остались в Канделе. Многие гражданские чины и беженцы выехать из Канделя не успели. Немало осталось в Канделе и солдат, не пожелавших идти дальше. К утру следующего дня отряд генерала Васильева через д. Коротное достиг румынского берега и подошел почти вплотную к селению Раскаец.

Пока генерал Васильев вел переговоры с румынским комендантом с. Раскаец, воинские части вместе с беженцами стояли изнуренные и озябшие в плавнях реки Днестра, не спавши пятые сутки. Румыны не пропускали на свою территорию и требовали удаления на русский берег. С большими усилиями генералу удалось уговорить румынского коменданта, чтобы людям была дана возможность отогреться и переночевать в с. Раскаец, так как они едва держались на ногах от усталости и между ними была масса больных. В присутствии полковника Стесселя и его помощника полковника Товастшерна комендант дал генералу честное слово, что до утра со стороны румын не будут приняты репрессивные меры и во всяком случае не будет открыта стрельба.

С наступлением темноты в с. Раскаец на ночлег были введены воинские части, и в первую очередь больные и раненые. Тем не менее в тот же вечер румыны несколько раз начинали обстреливать селение, причем ранили нескольких человек. В течение ночи периодически несколько раз начинался пулеметный

огонь. Пули попадали в хаты и в окна, где мертвым сном спали переутомившиеся люди.

К утру на 3 февраля стрельба значительно усилилась. Становилось ясно, что румыны сознательно обстреливали расположившихся на ночлег русских. Пуля пробила окно и попала в печь в помещении, где отдыхал полковник Стессель. Далее сомневаться было нельзя. Генерал Васильев приказал объявить, чтобы все воинские части и беженцы немедленно покинули Раскаец. Конные ординарцы ездили по улицам и передавали приказание генерала собираться возле штаба. Под обстрелом все шли к штабу, полагая, что румыны стреляют в воздух, чтобы этой угрозой заставить добровольцев покинуть Раскаец, но по мере приближения к штабу выяснилась совершенно иная картина.

Все чаще и чаще на улицах встречались раненые. Толпа становилась гуще. Все шли к сборному пункту. Возле штаба, где уже выстраивались воинские части и группировались беженцы, было уже несколько тысяч человек. В это время румыны направили пулеметный огонь в это место. Люди начали падать. Толпа дрогнула. Часть публики начала разбегаться, часть залегла, и только воинские части двинулись в строю к Днестру. Генерал Васильева уже выехал. Полковник Стессель группировал отряд для прорыва на север.

Общего руководства уже не было. Каждый был предоставлен самому себе. Генерал Васильев группировал вокруг себя публику, чтобы идти обратно в Одессу, но пулеметным огнем румын эта группа была

рассеяна. Генерал Васильев тут же на льду застрелился. Разрозненными группами и в одиночку люди шли туда, куда идут все. Другого выхода не было. Ряды отступающих заметно редели. Люди и лошади падали на глазах всех, так что пришлось идти перебежками и часто ложиться. На улицах лежали убитые и раненые. На глазах всех была убита сестра милосердия Мальчевская и ехавшая среди беженцев жена командира винницкой уездной стражи Крыжановского, под которым тогда же была убита лошадь. Пока Крыжановский оказывал помощь смертельно раненной жене, повозка с его сыном четырех лет исчезла, и Крыжановский своего ребенка уже не нашел.

И таких случаев было много. По официальным сведениям врача 1-го Запасного госпиталя Докучаева, к нему на перевязочный пункт с этого места поступило более 150 раненых. При выходе из с. Раскаец дорога к Днестру была окаймлена канавами, и здесь, в этих канавах, спасались многие, идя пригнувшись за насыпью. Румыны обстреливали пулеметным огнем всю линию отступления. Больше всего обстреливалась

переправа через Днестр, где на льду беженцы группировались возле генерала Васильева. Тут, по словам румынского коменданта с. Пуркар, сказанным им врачу Докучаеву, было найдено свыше 500 трупов.

Это подтверждали крестьяне, возившие целый день по наряду из с. Раскаец и плавней раненых. Они видали на льду и в камышах массу замерзших и убитых. Таким образом, тысячи русских людей с женами и детьми возвратились на русский берег и находились в плавнях, не зная, что делать и на что решиться. Голодные и усталые, при морозе в 12 градусов, они были в безвыходном положении. Многие не выдержали и лишили себя жизни. Между прочим, на глазах жены застрелился полковник Майдель.

Многие, главным образом воинские чины, перешли потом в разных местах группами и в одиночку Днестр и попали в Румынию. Многие из них были вновь возвращены румынами на русский берег, а часть осталась в Румынии и была отправлена впоследствии в г. Тульчу. По сведениям, имевшимся в г. Тульче, румынскую границу перешло не более 1800 человек, так что из 12 000 отступивших к румынской границе достигли своей цели 15%. Многие отстали по дороге и остались в Канделе, но все-таки большинство было переправлено румынами в плавни реки Днестра. Часть их по показанию местных жителей, замерзла, часть попала в руки большевиков, часть передалась на сторону отряда Котовского, а судьба прочих неизвестна. Несомненно только одно, что почти все были ограблены местными крестьянами, румынами и большевиками отряда Котовского.

Но едва ли не в худшем положении были те, кто остался в д. Раскаец. Когда стрельба прекратилась, в село вошли румынские солдаты и начали выгонять оставшихся, отбирая у них не только деньги и ценные вещи, но и снимая верхнюю одежду. Врач Докучаев протестовал и разъяснял румынам, что Красный Крест пользуется международным покровительством, но это воздействия не возымело. Румыны предъявили к врачу требования, чтобы госпиталь с больными и ранеными немедленно покинул с. Раскаец. Патруль за патрулем приходил и предъявлял это требование, вовсе не считаясь с тем, что среди больных были сыпнотифозные и тяжелораненые.

Врач Докучаев медлил. Тогда румыны привели человек 30 крестьян во главе со старостой. Староста был пьян и объявил, что румыны сказали ему, что будут обстреливать село артиллерийским огнем, если сейчас русские не оставят с. Раскаец. Староста настаивал на удалении госпиталя и, постепенно входя в азарт, сорвал флаг Красного Креста и начал

силою выгонять из хат больных. Кто возражал, того били, а с сестры милосердия, которая пробовала протестовать, староста сорвал косынку. В присутствии врача Докучаева староста нещадно избил по лицу тяжело раненного в то же утро солдата Боушанова. Пуля прошла ему в затылок через небо в левый глаз. Из носа и рта Боушанова шла кровь, и тем не менее его били по этому окровавленному лицу.

Пришлось уходить. Больные и раненые едва двигались и шли при поддержке других. Тут были тяжелораненые, и с высокой температурой, и сыпнотифозные. Несколько человек отстали и, вероятно, были подобраны уже потом румынами. На берегу Днестра возле пограничного румынского поста больные встретили группу воинских чинов, которые также были изгнаны румынами из с. Раскаец. Они заявили врачу Докучаеву, что румынские пограничники берутся за деньги провести их в Пуркары (Бессарабия), где имеется больница. Врач вступил с ними в переговоры, а сестра милосердия Абалкина собирала “романовские” деньги и золотые вещи, чтобы ублажить пограничников.

Получивши большой куш, румыны приняли под свое покровительство обе группы в числе до 300 человек и обещали доставить их в Пуркары. Румыны указали им для ночлега две полуразрушенные хаты на русском берегу и обещали помочь, если их будут грабить местные жители или большевики. В холоде и голодные, больные и раненые расположились в этих хатах и провели ночь. Утром, с рассветом, возле хат появились крестьяне, которые сначала нерешительно, а потом открыто бросились грабить всех находящихся в этих хатах.

Полковник Гегелло с двумя офицерами своевременно успел предупредить румынских солдат, которые, перебежав Днестр и застав врасплох грабителей, открыли по ним ружейный огонь и, убивши на местах трех из грабителей, пригласили всю группу перейти вместе с ними на румынский берег. Но это было еще не все. К вечеру того же дня румынский сержант, взявшийся сопровождать больных в пуркарскую больницу, предложил всем идти вместе с ним. Как только эта партия тронулась в путь, румыны открыли с горы пулеметный огонь. Все залегли, а сержант побежал в гору, чтобы предупредить пулеметчиков. Более четырех часов больные и раненые лежали на снегу при сильном морозе, пока инцидент был улажен и им было разрешено следовать далее. По заявлению врача Докучаева, именно здесь, в этом месте, многие поотмораживали себе конечности и застудили болезни.

Ночью больные были доставлены в Пуркары и размещены в

неотапливаемом помещении школы. Здесь, в этом холоде, нашли себе наконец отдых эти исстрадавшиеся люди. К тому времени в Пуркары привезли больных, оставшихся в с. Раскаец. Многие из них по дороге умерли и замерзли. Их везли в десятиградусный мороз почти голыми. Таково было отношение румын к русским людям, спасавшимся от верной смерти на том кошмарном берегу, где бандиты хватали людей, переправляемых румынами в плавни р. Днестра.

Впрочем, были случаи и другого отношения к русским со стороны румынских солдат. Сестра милосердия Кирпотенко удостоверяет, что, оставшись в хате с пятью почти умирающими, она не знала, как ей отвечать на требование румынских солдат оставить с. Раскаец. Больные вовсе не реагировали, и тем тяжелее было ее положение. Она плакала, а больные относились равнодушно к присутствию посторонних людей. По-видимому, и на румын действовало это гробовое молчание и безразличие людей, сводящие последние счеты с жизнью. Патруль уходил, не дождавшись ответа, но тотчас после него врывался другой и третий такой же патруль, и все они уходили как из склепа, сознавая, что они не воскресят своим криком умирающих. Сестра заливалась слезами и ломала себе руки.

У одного больного была рана выше груди, почти у самого горла. При кашле из раны были брызги и сгустки крови. Больной хрипел и силился говорить. Сестра затыкала ему рану тампоном, и только тогда больной успокаивался. Тампон вырывался каждый раз, когда приходили румыны. Сестра начинала плакать. Последний патруль наткнулся на этот момент, и старший, вероятно фельдфебель, как бы окаменел от этого ужаса. Он схватился руками за голову и, взяв потом сестру за руку, спросил, не нужно ли чего-нибудь больным. Сестра ничего не ответила и затыкала больному тампон. Румыны как бы опомнились и моментально исчезли. Спустя некоторое время тот же патруль принес хлеба и приказал хозяйке хаты приготовить больным горячую пищу. К вечеру к хате подъехали по -возки, и больные были отправлены в Пуркары. Испытав эти страдания, больные и раненые тем не менее нашли себе покой в пуркарской больнице скорее тех, которым удалось перейти румынскую границу.

Еще долго скитаясь, сначала в плавнях реки Днестра, а затем на румынской стороне в Бессарабии, отдельные группы военных и гражданских лиц, в иных случаях с семьями, подверглись большим испытаниям. Сначала их грабили бандиты из местных крестьян и большевики отряда Котовского. У них было отобрано все, а некоторых выпускали в одном нижнем белье. Самый переход через границу был риском для жизни. В лучшем случае

обстрел с противоположного берега, а в худшем насильственное возвращение на русский берег, на явное растерзание бандитам, испытали почти все перешедшие румынскую границу.

Начальник укрепленного района г. Одессы полковник Стессель три раза пытался перейти Днестр, и только на четвертый раз, когда жена его провалилась на льду и с трудом была извлечена, вся обмерзшая, румыны приняли ее полуобмерзшую вместе с мужем на румынский берег. Кто перешел границу и удачно проник в Бессарабию, тот в конце концов был арестован, причем румыны отбирали у них последнее, что было при них. Их вели потом как арестантов по этапу с ночевками в холодных арестантских помещениях без подстилки, без воды и горячей пищи. Многие шли этапом до Аккермана более 14 суток, измученные, изголодавшиеся и сплошь покрытые вшами. Это было тяжелое испытание, но оно не закончилось и в Аккермане.

Как заключенных румыны держали под стражею этих измученных людей в арестантской при местном гарнизоне, поместивши в одной небольшой комнате 65 человек. Интеллигентные люди, штаб- и обер-офицеры, заслуженные гражданские чины валялись в грязи на полу без матрацев, подстилки и подушек, сплошь покрытые вшами. При грубом и дерзком обращении румынского караула жизнь в арестантской при аккерманском гарнизоне вместе с пьяными и босяками была невероятно тяжела. Бывали случаи, когда освирепевшие румыны толкали прикладами ружей не только мужчин, но и женщин, но было и так, что в присутствии всех румынский солдат ударил со всею силою офицера по физиономии.

С февраля месяца румыны начали сосредотачивать всех русских, перешедших границу, в г. Тульче. Первая партия прибыла в Тульчу 25 февраля. Ровно месяц люди скитались в самых ужасных условиях существования. Перенесши семидневный поход с боями и со всеми тяжестями обстановки отступающей армии без пищи и без сна, отступившие из Одессы отряды генералов Васильева, Мартынова и полковника Стессель распались в с. Раскаец и гибли в плавнях реки Днестра. Отдельные группы, которым посчастливилось вступить на румынскую территорию, были сосредоточены в Тульче.

При враждебном отношении румын к русским жизнь в Тульче была тяжела. Только штаб-офицерам было разрешено жить на частных квартирах. Все остальные содержались в румынской тюрьме, продолжая валяться на голом земляном полу. При таких условиях настоящего отдыха в Тульче не могло быть. Теперь эти исстрадавшиеся люди, вверенные моему попечению в дороге, прибыли в Болгарию. Как участник отхода на Румынию из

Одессы, испытавший на себе все тяжести этого перехода, я могу удостоверить, что прибывшие в г. Варну на пароходе “Адмирал Кашеринов” - это люди, пережившие исключительно тяжелые обстоятельства и, можно сказать, случайно оставшиеся в живых.

Переутомленные, в большинстве больные, расслабленные, почти все переболевшие сыпным тифом, с приморожеными конечностями, совершенно ограбленные, а во многих случаях растерявшие свои семьи, эти люди не могли отдохнуть в Тульче и восстановить свои силы. Напротив, оставшись в большинстве без всяких средств и не имея даже денег, чтобы удовлетворить самые насущные потребности, они продолжали испытывать лишения, которые тяжело отражались на их нравственном состоянии. Заслуженные люди в преклонных летах оставались без кружки горячего чая и вынуждены были бросить курить за неимением средств, чтобы купить табаку.

Казалось бы, что теперь, когда миновала острота положения и люди прибыли в обстановку нормальной жизни, им нужно прийти на помощь и дать вполне заслуженный отдых. Исполнив свой долг до конца и перенесши безропотно все испытания, которые выпали на их долю, участники отхода на Румынию в большинстве нуждаются в систематическом лечении. В числе их есть люди солидные, весьма заслуженные и в преклонных летах, среди которых есть такие же лица гражданской службы, участвовавшие в боях и наравне с военными, испытавшие все тяжести походной жизни.

Донося о вышеизложенном, докладываю Вашему Превосходительству, что прибывшая со мною в Варну группа помещается в “Торговской школе” и частью в “Юнакском салоне”, где они опять на голом полу, без матрацев и подушек, и даже без какой бы то ни было подстилки, и не имея средств, испытывают большие лишения. Люди преклонных лет, штаб- и обер-офицеры и солдаты вместе с заслуженными лицами гражданской службы лежат вповалку на грязном полу и не могут отделаться от вшей, с которыми при таких условиях борьба невозможна. Большинство не имеет ни белья, ни приличной одежды и ходят в дырявых сапогах. Некоторые не имеют даже денег, чтобы пойти в баню. До настоящего времени прибывшие получили лишь льготный размен в 250 рублей и по одному одеялу.

Верность настоящей копии с подлинным моим рапортом удостоверяю.

Подпись: полковник Николаенко».

Почти одновременно в печати начали появляться заметки о судьбе отряда генерала Бредова, на соединение с которым шел Стессель. Аналогичные условия отступления этой армии к

Румынии выше Тирасполя дали обществу превратное представление о судьбе этих двух отрядов. Оба отряда очень долго принимались один за другой и смешивались один с другим. Отряд генерала Бредова вместе с беженцами был значительно больше и, говорят, достигал 40 тысяч. Между тем соединенные отряды генерала Мартынова и Стесселя не превышали 12 тысяч. Отряд Бредова оказался интернированным в Польше, откуда постепенно в Болгарию прорывались отдельные лица, от которых общество и узнало о судьбе отряда генерала Бредова. Своеобразное наименование получила каждая группа этих. «Кашерининцы», то есть перешедшие румынскую границу, «бредовцы» и просто «эвакуированные» были те, кто прибыл в Варну пароходами.

* * *

Несмотря на тяжелую жизненную обстановку, мы почувствовали себя в Болгарии людьми. Мы пользовались в Варне полной свободой и зависели от русской этапной комендатуры. Болгарские власти не вмешивались в нашу внутреннюю жизнь, и в этом отношении между нами и болгарами не было никакой грани. Прежде всего мы накинулись на газеты. Помимо болгарских газет в Варне издавалась «Русская газета», а по четвергам и воскресеньям мы имели «Русскую софийскую газету» - независимый беспартийный орган русских эмигрантов в Болгарии. Мы имели затем крымские газеты, которые изредка привозили из Севастополя прибывающие в г. Варну пароходы. Мы были поражены безумной ценой этих газет. В то время, когда в Румынии и Болгарии стоимость номера не превышала одной левы, отдельный номер газеты «Великая Россия» стоил 75 рублей, «Военного голоса» - 50 рублей и «Вечернего слова» - 150 рублей. Но это было только первое впечатление.

Когда мы познакомились в одном из последующих номеров Крымских газет с ценами на продукты и курсом валюты в Крыму, мы больше уже не удивлялись ценам газет. Очень часто нам попадалась заграничная печать, а также украинские газеты «Украинско-болгарский преглец» и украинская газета «Вперед», издающаяся во Львове. После румынской убогой прессы, которую мы имели в г. Тульче в виде французской газеты, издающейся в Бухаресте, и лубочных листков местных хроникеров, конечно, здесь мы были хорошо информированы. Постоянно прибывающие в Варну иностранные пароходы сообщали, кроме того, те сведения, которые они имели в виде слухов и молвы, циркулирующих в других приморских городах.

Мы были счастливы, что попали наконец в культурный уголок, напоминающий нам Россию. Родственный нам болгарский

народ имел много общего с нами. Русский шрифт и болгарская речь, в некоторой степени доступная нашему пониманию, этнографический тип болгарина, близкий русскому человеку, вполне оправдывали установившиеся в кампанию 1877 года взаимоотношения между русскими и болгарами, выразившиеся в наименовании друг друга «братушка». Сложившись исторически, это слово вновь вошло в употребление и звучало повсюду, где только русские соприкасались с болгарами.

Наша личная жизнь, конечно, не удовлетворяла нас и была тяжела своими лишениями. Мы были на положении солдат. Утром мы вставали в 6 часов и шли во двор под кран умываться. От 7 до 6 часов нам давали кипяток. К 12 часам мы шли обедать в другой конец города в помещение «Варна Палас», причем обедали во дворе. Обед готовился в походных кухнях. В 3 часа нам вновь раздавали кипяток, а к 5 часам мы шли на ужин. Это была настоящая казарменная жизнь, но без тех удобств, которыми была обставлена когда-то русская солдатская казарма. Ночью было так тесно, что приходилось спать, почти прикасаясь друг к другу. Спалось плохо. Без матраца и подушки было слишком жестко спать. Семейные люди расположились в других комнатах по несколько семейств в каждой и тоже спали вповалку на голом полу, мужчины и женщины вместе.

Мы - военные состояли на котле в «Варне Палас», а гражданские беженцы столовались при Торговской школе от Русско-Болгарского комитета помощи беженцам. Пища была чрезвычайно скудная. Жидкий суп, в большинстве случаев постный, с малым количеством жиров, безвкусный и малопитательный, и такой же ужин составляли нашу пищу. Кроме того, мы получали ежедневно по 1 1/4 фунта хлеба и 60 граммов сахару.

Мы - кашеринцы, как нас прозвали, то есть лица, перешедшие румынскую границу и прибывшие в Варну на пароходе «Адмирал Кашеринов», были в особо тяжелых условиях. Мы отличались от других своим внешним видом. Все мы были одеты одинаково, по-солдатски. Этот вид простолюдина нас сильно стеснял. Мы были ограблены и претерпели в этом отношении больше тех, кто был эвакуирован из Одессы, Крыма и Новороссийска на пароходах. Правда, многие и там потеряли свое имущество, но они были при деньгах и все-таки взяли с собою кое-что и были одеты иначе, чем мы.

Среди беженцев были и счастливцы, которые успели своевременно выехать из России со своими семьями и не только спасли свои вещи, но и перевели свои капиталы на иностранную валюту и привезли с собою много золота, драгоценных вещей и

бриллиантов. Это была местная буржуазная публика, спекулянты и люди, сделавшие свои темные делишки и устроившиеся теперь отлично за границей. Из этой среды в особенности выделялись богато и элегантно одетые дамы, которые привлекали к себе внимание и вызывали едкие замечания публики и местной русской газеты. Эта часть беженцев жила в Варне великолепно и не скрывала, что обладает миллионами. Некоторые из них открыли рестораны, меняльные *и* комиссионные конторы, аукционные залы и обирали своих же русских беженцев, продававших им свои последние вещи.

Но в общем положение беженцев было повсюду крайне тяжелым. Под заглавием «Беженцы» «Русская софийская газета» дает вполне определенную картину этой жизни русских эмигрантов, которая одинакова характерна и для Болгарии.

Газета пишет:

«По данным официальных учреждений, в данный момент в Константинополе находится до 45 тысяч русских беженцев, из которых свыше 60% эвакуированы союзным и русским командованием. В это число не входит свыше 4500 беженцев, расселенных на Принцевых островах Халки, Проти и Антигон, которым выдается паек и предоставляются квартиры. Эта группа беженцев находится в сравнительно благоприятных условиях.

Живущие в Константинополе, за исключением богатых коммерсантов, банкиров и т.д., влачат жалкое существование. Только незначительной части, владеющей иностранными языками, удалось получить грошовый заработок. Большинство промышляет продажей газет, торговлей вразнос галантереи, переноской тяжестей с пароходов на пристань и др. В здании русской почты вот уже второй месяц красуется объявление, в котором русский врач, получивший диплом доктора медицины, просит добрых людей прийти ему на помощь в деле устройства собственного кабинета для приема больных, так как тяжелые материальные условия вынудили его поступить лакеем в один из ресторанов. Много русских офицеров в чине полковника служат дворниками, портье и рассыльными.

К сожалению, существующий Русский комитет помощи беженцам не проявляет никакой инициативы в деле помощи, а наоборот, временами мешает развернуть работу некоторым объединениям беженцев, ставя им формальные рогатинки при легализации. В особо тяжелых условиях находятся женщины, преимущественно жены офицеров, в свое время эвакуированные из России. Преимущественно они служат в ресторанах и кафе, и в этой тяжелой материальной и моральной обстановке многие из них проституируют, заполняя больницы и лечебницы для

венериков.

В последнее время широко развил свою деятельность Христианский союз американской молодежи, открывший в Константинополе столовую, русскую библиотеку читальню, организующий мастерские дамских нарядов, привлекая к работе женщин. Препятствия выезду в Сербию, Болгарию, Францию, Англию - не дают возможности русским беженцам рас -сосаться, обрекая их на медленную голодную смерть. Заболевания среди русских беженцев ввиду отсутствия медицинской помощи дают, по сведениям официальных организаций, большой процент смертности».

Более сносное существование для русских было в Сербии, но туда было трудно пробраться.

Та же газета сообщает:

«Жизнь в провинции Сербии (например, в Враньи) весьма дешева. Хлеб для русских выдается по особым карточкам бесплатно, консервированное молоко стоит 3 динара, обед 3 1/2- 4 динара (без хлеба), а одна комната 90 динаров. Сербское правительство отпускает каждый месяц по 7 миллионов динаров на нужды русским, причем разменивают так: 1000 донских или “колокольчиков” за 400 динар. 1000 думск. за 500 динар. Вполне понятно, что все меняют только “донские” или “колокольчики”. Одному человеку разменивают по 1000 динар., а семье из трех и более человек - 1500 динар. в месяц. На эти деньги можно вполне хорошо прожить в провинции. Из Белграда, говорят, ввиду переполнения города всех русских, не имеющих определенных занятий, выселяют в глубь страны».

Настроение русских было подавленное. Почти у всех в России остались семьи, родные и близкие, за благополучие которых нельзя было быть спокойным. Если не опасность для жизни от большевиков и подонков местного населения, то голод и полное разорение несомненно угрожает им. Это тяготило и создавало гнетущее настроение. Тоска была ужасная. Общее положение казалось безнадежным. Все с ужасом думали о предстоящей зимовке за границей, а может быть, и невозможности вернуться на Родину в течение нескольких лет. Эта мысль отзывалась в душе каждого страшной болью и приводила минутами в отчаяние.

Лишенная всякого смысла казарменная, животная жизнь в грязи с людьми, по своему воспитанию совершенно чуждыми нам, тяжело отражалось на нравственном состоянии. Наши соседи - нечистоплотные солдаты доводили нас иногда до тошноты. Мы обращались и письменно, и устно к генералу Бендереву с просьбой выделить нас - интеллигентных людей в отдельную

группу и дать нам помещение и койки, но из этого ничего не вышло. Генерал сказал при нас коменданту этапа полковнику Поповичу (серб), что этот вопрос следовало бы уладить, но уже на следующий день, когда мы обратились к Поповичу, последний в грубой форме повел, огрызаясь, с нами разговор и ничего не предпринял в этом направлении.

Еще оригинальнее отнеслись к этому вопросу в Русско-Болгарском комитете. Когда я лично обратился к члену комитета Малаковскому, предполагая, что он, как киевлянин, мой земляк, войдет в наше положение, то он ответил мне, что они, то есть солдаты, такие же беженцы, как и мы. На полу возле своего места я устроил себе впоследствии нечто вроде письменного столика, положив на двух кирпичах оторвавшуюся ставню-жалюзи, и в этом укромном уголке, сидя на полу по-турецки, продолжал вести свои записки.

Нужно удивляться, с какою покорностью и терпением переносит русская интеллигенция все лишения, которые, казалось бы, для культурного человека были невыносимы. Ввиду скученности и антисанитарных условий жизни мы не могли отделаться от вшей. Соседство нечистоплотных солдат и разных низших служащих из простонародья делало эту борьбу невозможной. Мы ходили почти без белья, надевая обувь на босую ногу, и сами стирали себе то, что у нас было. Мы помещались на четвертом этаже. Внутри здания клозетов не было. Ночные хождения на двор сверху вниз после вечернего чая по крутой лестнице ощупью, в абсолютной темноте (спичек ни у кого не было), создавали массу недоразумений и столкновений.

Впрочем, в такой обстановке женский вопрос отошел на второй план. Еще при эвакуации в России, когда происходило массовое бегство на Юг, мы видели, в какое ужасное положение были поставлены женщины. Помещаясь в товарных вагонах вместе с мужчинами, дамы чувствовали себя очень стесненными. Это была ужасная пытка для них. Нужно было вылезать из вагонов в присутствии мужчин и укрываться от них в укромное место. Мужчины были приспособлены в этом отношении лучше, но женщины ждали остановки поезда. Поезд останавливался где-нибудь на третьем и четвертом пути, и дамам приходилось пользоваться этим моментом, чтобы остановиться тут же, возле вагона, на рельсах, где стояли и ходили по полотну мужчины.

Путешествие продолжалось не днями и даже не неделями, и нужно было приспособляться к этим непривычным условиям жизни. Если мужчинам была тяжела эта обстановка путешествия, то для женщины она была ужасна. Мы сравнялись по условиям жизни с простолюдинами и вели образ жизни совершенно

некультурного человека. Мы ели все вместе из миски или ведра деревянными ложками и уже забыли, что значит присесть к столу, накрытому скатертью, и иметь отдельный прибор и хотя бы тарелку с металлической ложкою. По условиям эвакуации в дороге, а затем в обстановке бегства, конечно, дамам и барышням приходилось ютиться по хатам, в общежитиях и в разных арестантских помещениях вместе с мужчинами, стоя с ними в очередь к клозетам.

О каких-нибудь удобствах не могло быть и речи. Все условности должны были быть забыты. Стыдливость, свойственная женщинам, была попрана жестокой необходимостью. Мы вспоминали наш этапный путь в Румынии, когда в Староказачьем румынский жандарм запер нас на замок в арестантской и ушел, несмотря на то, что мы были прямо с дороги и должны были оправиться. Мы стучали и просили нас выпустить на минуту, но это оказалось не так просто. Нам вызвали коменданта, с которым мы объяснялись по-французски. В присутствии дамы нам пришлось представить доказательства необходимости выйти на двор.

Нас гнали этапным порядком. Мы шли пешком без остановки перегонами в 10-14 верст. Если кому-нибудь нужно было приостановиться, то начинались объяснения с не понимающим русский язык румынским солдатом, который угрожал остановившемуся прикладом винтовки. Приходилось уподобляться животному и останавливаться при всех. Впрочем, нервы были притуплены. Личность человека была забита. Уважение к человеческой личности заменилось грубым животным чувством международной ненависти. Homo hominis lupus est![24]

Мне думалось еще тогда в Румынии: а что если Россия возродится и станет опять в ряду культурных стран - как тогда должна будет себя чувствовать румынская интеллигенция и какие взаимоотношения в культурной жизни этих двух государств будут возможны? Румыны расстреливали в упор русскую интеллигенцию, бегущую к ним спасаться от шайки каторжника Котовского. Это была уже не война. Женщины, дети, старики - гражданское население бежало теперь от большевиков. Их отсылали с румынского берега обратно и отдавали в руки грабителей. И тут, в плавнях реки Днестра, в 12-градусный мороз, гибли кто... не солдаты, не войска, а русские люди, представители русской интеллигенции, заслуженные чиновники, общественные деятели, которые уходили от ужасов большевизма. Не большевиков расстреливали румыны, а русскую интеллигенцию.

История, конечно, не отметит на своих страницах эти сотни и

тысячи русских людей, погибших на румынской границе. Это не столь крупное событие, чтобы уделять ему особое внимание с точки зрения исторической, но для культуры, цивилизации и вопросов этики и морали эта днестровская трагедия не может пройти бесследно. В культурных взаимоотношениях рано или поздно принципы морали должны возродиться независимо от возрождения государственной жизни.

* * *

Общая политическая ситуация считалась для нас безнадежной. Периодическая печать воспроизводила все ужасы гибели Добровольческой армии и сообщала об укреплении советского правительства в России. Все взоры были обращены на Крым, где небольшая кучка людей грудью прикрывала небольшую территорию, оставшуюся в руках русских людей. Надежда была слабая. Россия разгромлена. Ее уничтожили, и никогда она не возродится. Когда-то могущественная и великая Россия гибнет. С ней перестали считаться даже мелкие государственные образования, и тем более перестали считаться с русскими людьми. Это нам давали и дают чувствовать на каждом шагу. «Забудьте о вашей великой когда-то России, ее нет больше», - говорили нам румыны, болгары, поляки, французы... даже здесь, в Болгарии, нас принимали с некоторою сдержанностью.

Полковник Николаенко рассказывал нам, что, будучи в 1916 году на Румынском фронте, он лично испытывал и видел, как трепетали и пресмыкались румыны перед русским командованием. Румынские офицеры и генералы выстаивали навытяжку в передних штабов, сознавая свое ничтожество перед русской военной мощью.

Теперь, спустя полтора года, в той же Румынии наши русские генералы и офицеры очутились в положении военнопленных и эмигрантов, которых наши прежние союзники - румыны вели под конвоем и грубо подталкивали прикладами ружей при малейшем нарушении требования румынского солдата. Мы лично видели, как румынский солдат отталкивал винтовкой полковника Стесселя, когда последний, будучи на отходящем из г. Тульчи в Галац пароходе, хотел сойти на берег, чтобы проститься со своими знакомыми. Солдат был груб с ним в присутствии румынских властей, смотревших безучастно на выходку румынского солдата. Romania mare оскорбляла теперь русского заслуженного офицера. Россия гибла. С русским человеком можно было уже не считаться.

В интеллигентных кругах Болгарии к русским относились сдержанно. Конечно, после той роли, которую сыграла Россия в деле освобождения Болгарии от турецкого ига и затем в

последующей культуре, следовало ожидать другого отношения к русским, тем более что это были не новые люди, а те, кто представлял еще прежнюю русскую государственность. Болгарская интеллигенция просто как будто не замечала русских и знакомства с ними не вела. Мы не знаем болгарской жизни. Ни один русский, вероятно, за все время не переступил порога болгарского дома. Мы даже не видали обстановки жизни интеллигентной болгарской семьи.

Болгары считали распавшуюся русскую государственность окончательной ликвидацией мощи великой России и перестали считаться с ней. Из покровительствуемых болгары обратились в покровительствующих, и это хорошо понималось русскими. Мы пользовались гостеприимством болгарского правительства, но это было сдержанное и несколько оскорбительное гостеприимство, которое тяготило и нас и болгар. Они отлично понимали, что всем обязаны России, но Россия теперь разлагается, и считаться с ней было им неприятно. Правда, отдельные лица вспоминали историю Болгарии и отдавали должное русским, но отношения эти были официально-сдержанными. Это было очень неестественно, так как на каждом шагу болгарам приходилось наталкиваться на воспоминание о том, что сделала для них Россия.

Мы часто заходили в собор. Вся служба в соборе проходила на церковнославянском языке и ничем не отличалась от службы в любой церкви в России. Тот же хор и те же напевы, та же внешняя обстановка переносили нас на Родину, точно мы стояли и молились в русской церкви. Самый храм ничем не отличался от русского храма, и даже больше - иконостас в соборе был русского происхождения. На иконостасе правого престола вверху была надпись золочеными буквами: «Иждивением благочестивейшего Царя Русского Николая Александровича». Мы были затем на городском кладбище в Варне и схематически изобразили памятник на братской могиле русских воинов, похороненных здесь в кампанию 18771878 годов. Эти памятники прошлого, казалось, должны были всегда напоминать свободной теперь болгарской интеллигенции, чем обязаны они русским людям, но это было забыто.

Удивительно, что совершенно иное отношение к русским было в Болгарии в среде людей простых - крестьян, ремесленников, мелких торговцев и прочих, конечно, за исключением большевиков-коммунистов. Они великолепно помнили свою историю и до сих пор ценили участие русских в освобождении Болгарии. Очень часто эти простые люди, в особенности из старых солдат, останавливали русских на улице и

высказывали им свои симпатии. Эти люди кланялись нам на улице и отдавали честь, высказывая всячески свое расположение. Болгарская интеллигенция в это время гордо проходила мимо, смотря вперед или в обратную сторону.

* * *

С уходом генерала Деникина и вступлением в командование Вооруженными силами Юга России генерала Врангеля наступила новая эра в деле борьбы добровольцев с большевиками, но в добровольцев уже не верили. Никто не хотел допустить мысли, чтобы генералу Врангелю удалось удержать Крым. Англичане изменили и требовали от Врангеля прекратить борьбу с большевиками. По слухам, англичане переменили фронт и вступили в переговоры с большевиками. Такая политическая ситуация казалась совершенно невероятной, но тем не менее это было так.

Генералу Врангелю приходилось вести борьбу одному с горсточкой добровольцев, уцелевших на Крымском полуострове. Говорили, что Врангелю помогают французы, но в прочность этого союза не верили. Французы были уже однажды в Одессе. Все фронты добровольческих организаций в Сибири, на Мурмане, Северо-Западный развалились. Генерал Врангель остался один, замурованный Крымским перешейком.

Впрочем, еще в Румынии мы слыхали о готовящемся наступлении поляков и о соглашении их с украинцами для совместного наступления на большевиков. Слухи эти скоро подтвердились. На арену выступает опять Симеон Петлюра. В болгарских газетах официально опубликован украинско-польский договор и сообщено о начавшемся наступлении поляков на Киев. Вскоре после этого в журнале «Украинско-болгарский преглец» был опубликован манифест Петлюры [...].

Местная «Русская газета» и в комендатуре относились враждебно и к полякам, и к украинцам (то есть Петлюре). Как раз к этому времени получили широкую огласку те ужасные условия содержания интернированного отряда генерала Бредова в Польше, которые сильно возмущали общество. Поляки издевались над русскими и обращались с офицерами как с пленниками. Голод, болезни и всякие лишения заставляли многих бежать из этого плена. Бежавшие из польских концентрационных лагерей сообщали эти безотрадные сведения.

* * *

Было грустно и безнадежно. Тем не менее мы пользовались в Варне всем, что мог дать нам этот прелестный уголок. Необыкновенной красоты, с мягким климатом, вся утопая в розах, Варна сама по себе давала нам тот отдых, который создавала

окружающая обстановка. Морской воздух, насыщенный ароматом цветущих растений, вдыхался особенно легко и с наслаждением. После тропической жары днем к вечеру наступала бодрящая прохлада, которая манила выйти на улицу подышать свежим воздухом. Ежедневно по вечерам в «морской градине», в обстановке европейского приморского города и двух прилегающих к градине, открытых со стороны улицы первоклассных ресторанов можно было слушать прекрасную музыку в исполнении симфонических оркестров, а в градине играл болгарский военный оркестр.

Здесь, на берегу моря, на аллею возле ресторана с бесконечным количеством стоящих между деревьями столиков собиралось болгарское общество. По этому виду гуляющей публики можно было смело судить о скромной жизни в Болгарии. Здесь не было ни роскоши, ни богатства, ни того шика, которым всегда отличается курортная публика. Это была скромная толпа людей, пришедших развлечься и получить удовольствие для себя, а не напоказ. Местный житель, болгарин, адвокат Стефан Атонасов Коларов, с которым мне пришлось много беседовать, пояснил мне, что болгарский народ начал свою самобытную жизнь только после кампании 1877-1878 годов. Еще лет тридцать тому назад не только г. Варна, но и София представляли собою не что иное, как большие деревни. Болгарской культуре нет еще полувека. Болгарская интеллигенция вся вышла из народа. Здесь не было ни помещиков, ни дворян, ни классовых привилегий. Это тот же народ, не привыкший ни к роскоши, ни к традициям современной буржуазии.

Мы посещали градину почти ежедневно и отдыхали в этой обстановке. Сначала мы стеснялись показываться в обществе в своих солдатских костюмах, но болгары, видимо, не обращали внимания на наше одеяние. Было грустно смотреть и сознавать, что здесь, в чужом обществе, в чужой стране, мы видим мир, спокойствие и порядок, которым пользуются люди. Мы слушали прекрасное исполнение тех увертюр и попурри из русских опер, которые привыкли слушать с детства у себя на Родине и которые в России последние годы уже услышать было нельзя.

Попурри из опер «Жизнь за Царя», «Евгений Онегин» и малороссийских песен были любимыми номерами болгарской публики и сопровождались всегда громом рукоплесканий. Каждый раз, когда оркестр исполнял попурри из оперы «Жизнь за Царя», русская публика оживлялась и собиралась толпой возле оркестра, проявляя особые чувства патриотизма. Невольно мысль переносилась в Россию, на Родину, где царство черни и хамов разрушало эту иллюзию красоты жизни и заливало кровью

родную землю. Мы отдыхали здесь и постепенно свыкались с этой новой обстановкой жизни.

Каждую субботу и воскресенье мы ходили в русскую церковь. Это была старая, очень интересная греческая церковь, уступленная теперь русским беженцам. Наполовину вкопанная в землю, как погреб, постройка этого храма относится к тем временам, когда турки не разрешали выводить постройку православной церкви наружу. За кирпичной оградой с улицы храм этот вовсе не виден. Снаружи сама церковь напоминает сарай-погреб, и если бы не выделяющаяся колокольня, то ни в коем случае нельзя было бы думать, что это храм. Полутемная внутри, с маленькими окнами в железных решетках, в уровень с землею и с лестницей, спускающейся в полуподвальный этаж, церковь эта уютная, но напоминает катакомбы.

Эта таинственная обстановка времен гонения на христианство как нельзя больше соответствовала нашему положению людей, изгнанных обстоятельствами из своей Родины. Священник Иоанн Сиюнин, тоже беженец, объединял здесь русское общество и отлично говорил проповеди, заставляя иной раз поплакать в эти минуты. Каждый праздник мы посещали этот храм, где можно было видеть всех русских и встретить знакомых и земляков. Здесь мы узнавали о судьбе многих наших знакомых и лиц, известных в России своей деятельностью.

В одно из первых наших посещений церкви я обратил внимание на сестру милосердия, стоявшую в глубине храма, в темном углу перед иконой Божьей Матери. На дворе после дождя было пасмурно. Темное подземелье церкви едва освещалось дневным светом, слабо пробивающимся сквозь низкие, небольшие решетчатые окна. В церкви был мрак, освещенный тускло горящими перед иконами восковыми свечами. Белое одеяние сестры милосердия как-то особенно ярко выделялось в этом полумраке и невольно обращало на себя внимание. Мне показалось, что сестра несколько раз пристально взглянула на меня. Как будто что-то знакомое мелькнуло в ее взгляде, но мне стало неловко приглядываться к ней, и я поторопился подойти к кресту. Я стоял в стороне, когда молящиеся, приложившись к кресту, отходили от алтаря.

Я следил за сестрой, когда она подходила к священнику. Наклонив голову и осенив себя крестным знамением, сестра, отходя от священника, вновь взглянула на меня и быстро, направляясь ко мне, протянула мне руку. Я тотчас узнал Марию Леонидовну Маклакову, жену бывшего черниговского губернатора, а затем министра внутренних дел, Николая Алексеевича Маклакова, расстрелянного большевиками в Москве

20 октября 1917 года. Когда я целовал руку Марии Леонидовне, я уже чувствовал, что она рыдала. Мы виделись последний раз в С.-Петербурге в конце 1916 года. Николай Алексеевич был тогда уже не у дела. Мы много беседовали в тот вечер о надвигающейся революции, и бывший министр с удивительною определенностью предсказал все то, что случилось в 1917 году.

Мария Леонидовна не могла говорить. Она спросила меня только о моей дочери, а я в свою очередь спросил, где ее сыновья. Они были в Добровольческой армии и, по-видимому, находились теперь в плену у поляков с отрядом генерала Бредова. Мария Леонидовна просила меня зайти к ней в Никольскую общину при Державной болгарской больнице, где она состояла сестрой милосердия. С терпением, свойственным только женщине, Маклакова геройски переносила выпавшие на ее долю страдания. Она лишилась после расстрела мужа всего. О сыновьях она уже давно не имела никаких сведений и не знает, живы ли они.

Мария Леонидовна долго рассказывала мне о своих испытаниях в течение последних лет, и нужно было удивляться, как может человек переносить такие страдания. Мария Леонидовна рассказывала спокойно и уверенно, со свойственной ей сдержанностью и силою характера. Только невольно катящиеся по ее лицу слезы, которые она ежеминутно вытирала, выражали ее душевное состояние. Слушая ее твердую речь, в которой звучало бесконечное горе, мне хотелось сказать «довольно», но я слушал потому, что сознавал, что ей нужно было высказаться до конца. Мария Леонидовна прервала свой рассказ, так как ее позвали в больницу. Возвратившись, она начала расспрашивать меня о моей дочери.

Мы высказались оба и вспомнили наши добрые отношения по Чернигову и лучшие годы, которыми для ее мужа были в службе его черниговским губернатором. Маклакова сказала мне, что ей хотелось бы теперь избрать местом постоянного жительства г. Чернигов, с которым связаны ее лучшие воспоминания. В свое московское имение она решила не возвращаться. Там были слишком тяжелые воспоминания. Я вышел от М. Л. Маклаковой в подавленном настроении, переживая сознание всего ужаса нашего положения.

Я шел к своим черниговцам - доктору Н. В. Любарскому и полковнику Л. Н. Николаенко. Генерал Любарский, будучи дивизионным врачом, оставил вместе с нами Чернигов в день занятия его большевиками. Заболев в Одессе сыпным тифом, он был эвакуирован в г. Варну. Николай Васильевич оставил в Чернигове свою 13-летнюю дочь и страшно страдал. У полковника Николаенко осталась в Черниговской губернии мать-

старуха, о судьбе которой он ничего не знал. Мы были связаны общим несчастьем и как земляки объединились вместе. Нам удалось выхлопотать у местного вице-консула Тухолко перевода нас в здание французского пансиона, где нам была предоставлена на чердачном помещении громадная комната.

Доктор имел небольшую практику и кое-что зарабатывал. Мы с полковником Николаенко получили размен в 250 лев и пособие в 300 лев, так что положение наше улучшилось. Мы ходили иногда по вечерам в кабаки, чтобы посидеть в беседах за бутылкой вина. Рестораны были для нас недоступны. Мы выбирали харчевни и питейные заведения (питиэта) второго разряда, которые были нам по средствам. Полковник Николаенко, крупный и полный господин, обладавший всегда хорошим аппетитом, постоянно злился и возмущался, что в Болгарии нечего есть. Болгары только пили и ничего не ели. Водку они закусывали салатом и сидели по несколько человек за маленьким графинчиком водки в 100 грамм (3 рюмки), запивая ее водой и жуя листья салата.

Болгары в этом отношении действительно производили оригинальное впечатление. Микроскопические порции, которые подавались обыкновенно в ресторанах, составляли буквально глоток. Любимые их блюда шишки-баб (шашлык) и кишки-баб (колбаса) составляли столь малые порции, что для полковника необходимо было съесть 5-6 таких порций, чтобы насытиться. Единственное, на чем воспитывали себя болгары, -это была зелень во всех видах и необыкновенно вкусное кислое молоко. Недаром профессор Мечников, указывая на продолжительность жизни болгар, приписывал это широко распространенному у них потреблению кислого молока. «Кисело млеко», «топли кифли» и «градинара» (кислое молоко, свежие булки и огородина) - это то, что с раннего утра начинают выкрикивать болгары, развозя по дворам на навьюченных ослах эти продукты первой необходимости.

В своем выборе харчевни мы остановились в конце концов на греке Фотии, который приготовлял необыкновенно вкусно турецкое кушанье «дробь сармэ» (бараний сальник, начиненный ливером). Настоящей водки в Болгарии не было. Мы пили местные спиртные напитки ракию, джибру и сливовицу. Этот кабак Фотия и чайная «Добруджа», куда мы ходили ежедневно пить чай, были местом, где мы просиживали часами и целыми днями. Нашими постоянными компаньонами были всегда мои прежние приятели, с которыми мы не расставались с самого Аккермана, - два корнета, А. П. Деревицкий и Ю. М. Чесноков-Стецкий.

В кабаке Фотия мы изощрялись в гастрономии, чтобы удовлетворить свое недоедание на казенном пайке. Кабак этот был малоизвестен, так как кроме нас здесь русские не бывали. Мы были среди болгар, по преимуществу людей среднего достатка. Отношение к нам как хозяина Фотия, так и посетителей было самое лучшее. Очень часто наши соседи по столику помогали нам объясняться с хозяином и называли нас «бра-тушка». Был случай особого к нам отношения двух приехавших из провинции болгар, которые заговорили с нами на политические темы и в результате приказали хозяину поставить на наш стол за их счет бутылку вина. Когда мы выпили ту бутылку, на столе появилась другая, которую, несмотря на наш протест, пришлось выпить, чтобы не обидеть болгар.

Совершенно другой характер носили наши посещения чайной «До -бруджа». Это была единственная чайная в Варне, где чай подавался по-московски, в чайниках русской фабрики Кузнецова. Чайная пряталась в грязном турецком квартале на Руссенской улице, в районе жительства местного рабочего пролетариата и так называемых коммунистов. Это были те же большевики, что и в России, но выступления их не удавались, так как правящим классом в Болгарии все же являлось сельское население - собственников, так называемая земледельческая партия. Они строго блюли свои классовые интересы и шли независимо от коммунистов.

Впрочем, отголоски большевизма проникли и в эту среду. Антагонизм между городом и деревней обострился до такой степени, что городу угрожала опасность остаться без продуктов. Селянин заявляет, что город ему не нужен и не нужна ему интеллигенция. Против интеллигенции настроен не только крестьянин, но и вообще весь пролетариат. Крестьяне отстаивали только свои интересы и нагоняли цены на продукты первой необходимости, за которые граждане платили то, что требовал земледелец.

Большое разложение в Болгарии вносили русские военнопленные, пришедшие сюда из Германии и пропитанные большевизмом. Мы видали этих большевиков ежедневно в чайной «Добруджа». Это был главный контингент посещающих чайную. Распущенные донельзя, с ругательствами за каждым словом, они напоминали нам тот философствующий элемент разнузданной солдатской массы, которая бесчинствовала и рассуждала в первые дни революции в России. Это люди, в большинстве полуграмотные, нагло заявляли, что они получили в плену такое образование, которое выше университетского. Они угрожали показать русской интеллигенции по возвращении в Россию, какой

в России должен быть установленный государственный строй. Эти пленные и болгарские коммунисты относились к нам крайне враждебно и называли нас контрреволюционерами. Эту русскую чайную боялись и обходили ее, но мы к ней привыкли и просто не обращали внимания на эту публику, которая ни раз отпускала по нашему адресу соответствующие замечания.

В Болгарии был тот же большевизм, что и в России, но только проявлялся он иначе. Злоба против интеллигенции, сочувствие русским большевикам и враждебное отношение к русским контрреволюционерам создавали неприятную атмосферу и вызывали инциденты, которые обостряли отношения между болгарами и русскими. Дороговизна как результат большевизма в Болгарии была необычайная по сравнению с дореволюционным временем. Обед стоил 12 лев (раньше 80 сатинок), сало - 48 лев кило, стакан молока - 4 лева, коробка спичек - 4 лева, кружка пива - 5 лев, курица - 25 лев (прежде - 60 сат), квартира - одна комната - 500 лев в месяц (прежде - 20 лев).

* * *

В Болгарии оказалось много черниговцев. Мы узнали, что в Софии пребывает черниговский губернатор Тулов, заведующий юридическим отделом Балканов. Там же были Ф. Ф. Дворецкий, Борзенский, М. В. Кочубей, бывший черниговский губернатор И. И. Стерлигов, П. В. Скаржанский с семьей и др. В г. Варне кроме сестры Маклаковой мы встретили доктора С. И. Квитковского из Остра, который похоронил здесь свою жену, А. А. Столицу с семьей, С. Н. Ингистова с семьею, много офицеров, солдат и учащуюся молодежь. Среди беженцев оказалась сестра расстрелянного большевиками в Москве министра юстиции И. Г. Щегловитова Александра Григорьевна с мужем - моряком-генералом Давидович-Нащинским.

Несколько позже мы познакомились с начальницей Алексеевского детского приюта сестрой милосердия Ольгой Константиновной Абалешевой (б. графиней Нирод) и ее помощницей генеральшей М. А. Мосоловой. Брат Абалешева - Павел Александрович Абалешев - был предводителем дворянства Новозыбковского уезда, с которым я работал вместе лет 15 в Черниговской губернии. Алексеевский приют был эвакуирован из Новороссийска в декабре 1919 года. Контингент детей в приюте состоял из детей, потерявших своих родителей. Приют помещался во французском пансионе вместе с нами. Несчастные дети в возрасте от 6 до 13 лет не знали о судьбе своих родителей и в большинстве были подобраны брошенными на произвол судьбы при отступлении и так называемой эвакуации. Мы были свидетелями этой эвакуации и видели теперь этих детей, которых

в панике теряли на вокзалах, на пристанях и в дороге их родители.

Это были те дети, о которых мы упоминали раньше. Вспомним хотя бы полковника Крыжановского, который потерял жену и ребенка в с. Раскаец при обстреле румынами уходящих добровольцев. Жена Крыжановского была убита. Мальчик четырех лет, если только он жив, вероятно, не смог объяснить своей драмы и, может быть, подобран где-нибудь так же, как и эти дети.

Сестра милосердия Абалешева, муж которой расстрелян большевиками, с честью выполняла свою святую обязанность и всецело отдалась уходу за этими детьми. Абалешева с матерью и вместе с сестрой Мосоловой, когда-то богатые люди, жили теперь той простою жизнью со всеми лишениями, какие только выпали на долю русских людей. Эти женщины, представительницы русской аристократии, геройски переносили свои страдания и невольно вызывали чувство преклонения. Молча, безропотно и с сознанием исторической необходимости они доказали, что могут переносить наравне с прочими условия жизни, которые не соответствовали ни их воспитанию, ни общественному их положению. Они переносили все, чем выстрадали русские люди. Они тоже своевременно были покрыты вшами, спали на голом полу и были одеты в рубище.

Мы видели в Варне сестру министра юстиции Щегловитова генеральшу А. Г. Давидович-Нащинскую. Вместе с нами она ежедневно стояла в очереди на этапе при раздаче обеда и ужина. Старушка имела вид странницы или нищей. Она всегда садилась на дрова, сложенные под сараем, и здесь обедала вместе с солдатами. Мы познакомились со старушкой и ее мужем. Урожденная Щегловитова много рассказывала нам про своего брата-министра и про свою жизнь. Она плела веревочные туфли и этим зарабатывала себе деньги. Генеральша, узнавши, что мы из Чернигова, выразила желание с нами познакомиться и была очень рада, что встретила земляков. Мы оказывали всемерное содействие Щегловитовой и часто занимали ей очередь за обедом.

Вообще этапное кормление производило удручающее впечатление. На этапе столовалось около 1000 человек. Все одинаково - генералы, офицеры, солдаты становились в очередь возле походных кухонь со своими мисками и деревянными ложками и ждали раздачи пищи. Обедали здесь же, во дворе, где попало, под сараем, под дровами, сидя на ограде и в дождь, и в ненастную погоду. Отголосок большевизма проявлялся и здесь. Различия между солдатами, офицерами и генералами не было. Раздачей пищи заведовал обыкновенно какой-нибудь солдат по

выбору своих же товарищей, который был полным хозяином и, осаживая толпу, грубо указывал генералу его место.

По сравнению с солдатами и низшими служащими интеллигенции было мало. Главенствующее положение занимали солдаты, служащие государственной стражи, контрразведки, писцы и вообще элемент менее культурный. Между ними и высшими чинами различия не делалось. Все одинаково стояли в очередях и размещались на равных условиях в одном помещении. Все получали одинаковую пищу и пользовались одинаковыми правами.

Равенство в положении проводилось повсюду. Если кому-нибудь из высших чинов удавалось выхлопотать смену белья или пособие, по этому поводу в низших слоях публики подымалась целая буча. Если одному, то и всем, говорили они, возмущаясь попытками возвратиться к старым порядкам. Мы ходатайствовали о выдаче нам коек. В казарме к этому относились неодобрительно. Или всем, или никому, говорили они нам, но потом было решено, что мы - люди, вполне заслуживающие уважения, и к тому же разделившие с ними все тяжести походной жизни, и потому протест был снят с очереди.

Имея свою организацию, мы, черниговцы, объединились больше других, и в этом отношении мы чувствовали себя лучше других. Иногда мы устраивали свои собрания у А. А. Столицы в ресторане «Модерн». У всех была одна мысль - вернуться на Родину. На этом базировался разговор, и дальше этого мы не шли. В особенности страдала молодежь. Бедная Люба, дочь Столицы, только что окончившая киевскую гимназию, страшно тосковала и готова была на всякий риск, лишь бы вернуться в Россию. Каждый раз, когда мы высказывали решимость при первой возможности поступить в армию и ехать на фронт в Россию, у девочек появлялись на глазах слезы, и они готовы были идти с нами в качестве сестер милосердия.

Нравственное состояние у русских было очень тяжелое, но выхода из положения не было. В России дела большевиков обстояли блестяще, и рассчитывать на скорое ее освобождение было невозможно. Особенно больно было слышать, когда наши прежние союзники вступили в сношения с большевиками. Может быть, казарменная жизнь и постоянное пребывание среди людей имели свои положительные стороны. При одиночестве со своими мыслями можно было бы, мне кажется, сойти с ума. Так было грустно и тоскливо.

Мы были в положении эмигрантов. Конечно, это было лучше, чем положение военнопленных в Румынии или еще худшее положение русских на островах за проволочными заграждениями

англичан, но примириться с этим положением мы не могли. Что ждало нас впереди, это был вопрос, который со страшной болью отзывался в душе. Россия гибла. Большевизм в России укреплялся и распространялся в Европе. Переговоры англичан с советским правительством указывали, что большевики заняли прочное положение. Никто не говорил, чтобы Добровольческая армия могла возродиться. Не только в русских кругах, но и среди болгар царило глубокое убеждение, что Крым не сможет выдержать натиска большевиков и должен будет скоро эвакуироваться.

Как в Румынии, так и здесь русские военные власти ни на что не надеялись и говорили, что с падением Крыма должны будут упразднить представительства за границей русского командования. Этапный комендант разъяснял, что военные должны рассматриваться как беженцы. Сношений с Крымом почти не было. Мы долго не знали даже, существует ли в Крыму правительство. Проблеск надежды появился у многих только тогда, когда определились польско-украинские отношения.

Наступление поляков на Киев давало надежду вернуться через посредство поляков на Родину. Мы нервно следили по газетам за движением поляков и их отношением к Украине. Нас смущало лишь то обстоятельство, что поляки жестоко относились к интернированному отряду генерала Бредова и проявляли ненависть к русским. Публика утешала себя тем, что к украинцам поляки будут относиться иначе. Среди украинцев, находящихся в г. Варне, стало назревать украинское настроение. Если Россия погибнет, то, может быть, останется Украина, и тогда можно будет вернуться на Родину. Впрочем, это был вопрос будущего.

Теперь у всех было какое-то безнадежное, гнетущее и тоскливое настроение. Многие мечтали как-нибудь устроиться, а некоторые уже приспособились, найдя себе службу или открыв предприятия. Большинство офицеров ходили на поденные работы и на табачную фабрику. Барышни и жены офицеров служили в ресторанах. Полковники занимались сапожным делом и продажей на улицах сладкого и галантереи. Никто не мог сказать, на что он рассчитывает и что предпримет в будущем.

* * *

Мы следили за периодической печатью и научились даже читать газеты на болгарском языке. В Варну очень часто заходили иностранные суда, и мы тогда ходили в порт посмотреть на иностранцев и, может быть, узнать какие-нибудь новости. Иногда нам удавалось поговорить с кем-нибудь из команды такого парохода, и всегда в этих случаях мы встречали вежливое и доброжелательное отношение. Все эти обугленные люди - кочегары, машинисты, с которыми мы преимущественно вступали

в разговоры (на французском и немецком языках), отлично знали о большевизме в России и отрицательно относились к нему. Мы заговорили однажды с неграми и были удивлены, когда один из них сказал нам, что если бы Антанта захотела, то в один день освободила бы Россию от большевиков. Эти служащие на пароходах были гораздо симпатичнее военных иностранцев, которые по прибытии военного судна сейчас же появлялись в городе, заполняя все улицы, кабаки, пивные и рестораны.

Несмотря на то, что французы и англичане были нашими союзниками, не было случая, чтобы кто-нибудь из них при встрече с русскими вступил с ними в разговор. Они нас не замечали, и мы их. Мы как-то сидели в пивной, когда туда вошло человек двадцать французских матросов. Нас было семь человек - все в русской военной форме. Было тесно, и пять французов сели за наш стол. Они тоже пили пиво, и было странно, что за эти 20 минут, что мы просидели вплотную, мы не сказали друг другу ни одного слова и даже не обменялись приветствием, несмотря на то что трое из нас были полковниками.

В этот же вечер, когда мы шли в том же составе в «градину» послушать музыку, мы встретили на главной улице пьяную компанию французских матросов, шедших, шатаясь, посреди улицы, все обнявшись и кричавших во все горло. Их было девять человек, и публика старательно обходила их, чтобы не нарваться на скандал. Со страшным негодованием и злобой относились русские к этим победителям - нашим изменникам, и в особенности к англичанам, появлявшимся в Варне. Их ненавидели, потому что как раз это совпадало с тем временем, когда англичане вступили в переговоры с большевиками. Англичан, кроме того, боялись, так как они были скандалисты и не останавливались перед тем, чтобы в ресторане пустить в кого-нибудь бутылкой, если что-нибудь было не по нем. Такой случай был на днях в Константинополе, и очевидец-офицер предупреждал нас, чтобы мы были с ними осторожнее. Да мы это и без того знали, вспоминая, как держали себя англичане в Одессе. Чаще других в Варне бывали американцы. Мы видали их всюду. Вот это были настоящие джентльмены, пользовавшиеся всеобщим уважением.

С особым нетерпением мы спешили всегда в порт, когда узнавали, что в Варну прибывал пароход из Севастополя. Обычно все пароходы, идущие из Крыма в Константинополь, заходили в Варну. Однажды из Севастополя прибыл в Варну громадный пароход, переполненный пассажирами. Мы торопились в порт и пришли к пароходу, когда возле него собралась уже целая толпа русских. И я в числе прочих заговорил с пожилым господином,

стоявшим у борта, облокотившимся обоими локтями на перила палубы. Я спросил этого господина, как обстоят дела в Крыму и что делается на Перекопе. Он неохотно ответил мне ничего не значащей фразой и отошел от борта. Я был поражен этой выходкой.

Но еще больше я пришел в недоумение, когда, прислушиваясь к разговорам, я убедился, что пассажиры парохода неохотно вступают в разговоры со своими же русскими и никто не может ответить на вопрос, как обстоят дела на Крымском фронте. До очевидности было ясно, что эти люди не интересуются этим вопросом и просто не хотят говорить на эту тему. Это впечатление было общее и, отходя от парохода, отдельные группы военных, возмущаясь, громко высказывали свое убеждение, что это едут разные спекулянты и люди, которым генерал Врангель предложил оставить Крым. Это специалисты, недовольные режимом генерала Врангеля, раздавались голоса в публике. А некоторые шли еще дальше и говорили, что это едут дезертиры, бегущие за границу. Впечатление было странное. Зачем и куда ехали эти русские люди, так враждебно относившиеся к нам, для нас было совершенно непонятно.

Другой раз мы пошли в порт, потому что узнали, что к молу пришвартовался небольшой русский пароход из Севастополя, нагруженный солью. Не успели мы еще подойти к этому месту, как группа офицеров, которая стояла у этого парохода, начала отходить от него и заворачивала нас обратно, говоря, что не стоит разговаривать с этими господами -это большевики. Оказалось, что капитан и команда так грубо и дерзко отвечали на вопросы о положении в Крыму, что эта группа офицеров, выругавшись, отошли прочь. Мы повернули назад и вместе с этой группой офицеров пошли на обед в «Варну Палас». И я помню, как бывший в этой группе полковник с досадой сказал: «Нет, при таком отношении русских людей друг к другу генералу Врангелю Крыма не удержать».

* * *

Самым большим удовольствием для нас было морское купанье. Только здесь, когда люди разделись и обнажили свое тело, стало видно, как исстрадалось человеческое тело. Почти у всех купающихся русских было больное тело. От плохого питания и постоянного пребывания в сапогах и в одежде на теле, и главным образом на ногах, проявились цинготные явления. Тело и ноги были покрыты язвами, которые растирались сапогами на босую ногу. По всему телу были громадные расчесы от вшей и разные ссадины. Было много раненых и оперированных. В особенности много было приморожденных. Бурые и красные пятна

на приморожeнных местах ярко выступали на теле и багровели от жаркого солнца.

Эти сотни людей, которым необходимо было морское купанье, представляли печальное и грустное зрелище. По внешнему виду, казалось, вполне здоровые люди, они оказывались совершенно больными. Весь пляж, налево от купальни, был покрыт целый день нашими добровольцами, лежавшими целый день на песке и принимавшими соленые и солнечные ванны. Обидно было то, что эти люди, имевшие моральное право открыто показать свое измученное тело, как доказательство перенесенных ими страданий, напротив, стеснялись обнажать свое изуродованное тело и со стыдливостью прикрывали цинготные раны и расчесы от вшей, точно это были не такие же раны, как от пуль.

Морское купанье производило магическое действие и быстро излечивало все эти болезни. Я лично испытал это действие морской воды. Приморожeнные пальцы на ногах и руках совершенно очистились от пятен. Купанье доставляло беженцам громадное удовольствие. Забывая о своих немощах и изуродованном теле, молодежь веселилась и, зарываясь в горячий песок, шутя излечивала свои раны. Мы ходили на пляж утром и вечером и там проводили большую часть дня. Мне было невероятно жаль эту несчастную, хотя и веселящуюся молодежь. Я встретил здесь многих гимназистов, реалистов, кадет, студентов, которых я знал по Киеву и Чернигову. Кроме этой знакомой мне молодежи мне пришлось познакомиться со многими учащимися, которых я раньше не знал.

Вся эта молодежь была одета по-солдатски, хотя многие из них были офицерами. Вид их сразу не обнаруживал интеллигентного человека. С некоторыми из них я шел в поход, а затем встречался на пароходе и даже жил в казарме, но до последней минуты не знал, что это интеллигентные люди. В моем представлении это были простые огрубелые солдаты, которых ни в коем случае нельзя было принять за учащихся. Только после знакомства и близкого общения с этими молодыми людьми я вдумывался, до чего люди могут опуститься.

В другой атмосфере это были совершенно иные люди. Со школьной скамьи, из интеллигентной среды, из родной семьи, из уютной жизненной обстановки эта молодежь была взята на войну частью во время еще Европейской войны, а частью во время нашествия большевиков, и влачила жалкое существование в походной и боевой обстановке, опустившись и огрубев до такой степени, что трудно становилось распознать в них интеллигентных людей. Одетые в рубище, в одежде, надетой на

голое тело или, в лучшем случае, в грязном, поношенном и разорванном белье, они производили бы в нормальное время впечатление нищих.

После знакомства с ними они производили совершенно иное впечатление. Молодежь стыдилась своего положения и, раздеваясь вместе с нами на пляже, стеснялась и оправдывалась, что им пришлось опуститься до такой степени. Это было тем более странно, что мы с полковником Николаенко были в таком же положении и в свою очередь объясняли им, что мы вынуждены ходить без носков и нижней рубашки, так как у нас тоже нет белья. Молодежь охотно подходила к нам и очень ценила наше дружеское отношение к ним.

Корнет Деревицкий в порыве особой искренности заявил нам, что для него будет необычайно тяжело расстаться с нами. Мне было жаль корнета - студента Чеснокова (Стецкого). Он загорел и сделался чернокожим. У него, здорового, крепкого человека, было какое-то особенно страдальческое выражение лица, когда он, сидя голым на песке, осматривал на своем теле заживающие язвы. Он водил по ним пальцами, гладил эти больные места и, обращаясь ко мне десятый или, может быть, двадцатый раз, начинал объяснять происхождение этих ран. Точно оправдываясь, корнет рассказывал мне, что раны на ногах у него появились от того, что он месяцами не снимал сапог, а расчесы от вшей остались у него еще от окопной жизни. Я знал все подробности раздробления у него пальца на руке, половину которого пришлось ампутировать. Жена его еще не видала его пальца. Его это беспокоило, и он часами сидел и смотрел на свой огрызок пальца.

Наши черниговские гимназисты Цукровский, Севрюгин, Левченко -это были люди закаленные в боях, раненные и перенесшие сыпной тиф. Я знал этих гимназистов по Чернигову и теперь видел их солдатами. Они глубоко страдали за себя, за своих родных и за Родину. Это горе их сначала было замуровано их солдатской шинелью; когда мы разговорились, они точно преобразились. Чувство безнадежности в отношении устройства личной жизни и дальнейшего образования горько звучало в их речи. Молодежь была оторвана от занятий и брошена в этот омут международной борьбы и глупейшего большевизма и была обречена на печальное существование. Малейший намек, небольшое участие преображали эту огрубелую юность и вызывали благородные порывы и любовь к Родине.

Мы с доктором Любарским зашли как-то вечером в болгарский кабачок и долго сидели в бесконечной беседе за столиком. Уже поздно вечером в кабачок с шумом вошла группа молодых солдат и, садясь за столик, потребовала вина и водки.

Предполагая, что они будут пьянствовать, и чтобы избежать неприятности, мы с доктором решили уйти. Мы звали хозяина, чтобы расплатиться. Мы видели, что молодежь шепталась и, видимо, говорила по нашему адресу. Мы собирались уже уходить, когда двое из этих солдат подошли к нам и, взяв под козырек, обратились к нам с просьбой присоединиться к их столику, прося не отказать в удовольствии видеть на чужбине в своем обществе старых и заслуженных русских людей.

Оказалось, что все эти шесть солдат были добровольцы из гимназистов и реалистов. Один был кадет VI класса. Самому старшему из них был двадцать первый год. Каждый из них имел уже свою драму и участвовал в боях. У двух были расстреляны отцы-офицеры. Эта молодежь была настроена в высшей степени патриотически и видела в нас «отцов своей Родины», как выразился кадет. Мы провели с ними очень мило это вечер и были рады, что могли хоть минутку нравственно поддержать эту выбившуюся из колеи молодежь. Мы рассказали им, что наши дети остались в Советской России и, может быть, переживают теперь ужасы, которых не видали мы. Молодежь клялась отдать свою жизнь за спасение Родины.

* * *

<…> В братании англичан с большевиками видели явную гибель для оставшихся на Крымском полуострове русских людей. Возврата, по их мнению, уже не было. Они сравнивали свое положением с положением французских граждан, бежавших во время революции из Парижа в Россию. Большая часть их не возвратилась обратно и приняла русское подданство, но в России их принимали тогда приветливо и хорошо, тогда как теперь повсюду за границей к русским относятся враждебно. Настроение публики окончательно упало, когда официально стало известно, что поляки оставили Киев и в панике бегут от большевистских полчищ. Успехи генерала Врангеля не вызвали подъема настроения. Напротив, к его «авантюре» относились отрицательно, тем более что заграничная пресса и иностранцы, а в том числе и болгары, относились к этой «затее Врангеля» сдержанно. Болгары иронически и снисходительно желали нам успеха.

Настроение было скверное. Русская газета в Варне периодически сообщала о разгроме большевиками польской армии. Для нас это было особо сильным ударом. В Киеве были наши семьи и дети. Мы долго не могли прийти в себя после сообщения о положении Киева после оставления его поляками. «Русская газета» писала: «Город так пострадал, как пострадали только города Северной Франции. Можно сказать, что от Киева остался только скелет. Целый ряд шести-, восьмиэтажных домов Крещатика выгорели внутри, остались одни стены. Все общественные здания, банки, земские учреждения, клубы разрушены и сожжены. Множество домов во всех частях города разрушены и разграблены. Водопровод не действовал».

Общения с Крымом не было. Генерал Бендеров не имел никаких указаний. Все сведения черпались местной комендатурой из скудных заграничных сообщений или шли через Константинополь от представителя Главного командования Юга России генерала Лукомского. О близкой возможности ехать в Крым не могло быть и речи. Тем не менее в русских кругах шли упорные слухи, о предполагаемой всеобщей мобилизации русских, находящихся за границей, и отправке их в Крым. И действительно, скоро в газетах появились официальные сообщения о реорганизации Добровольческой армии в Крыму.

Появившийся в печати приказ генерала Врангеля от 23 июня 1920 года не оставлял сомнения в том, что дело борьбы с большевиками еще не кончено. Приказ гласил: «Русская армия идет освобождать от красной нечисти родную землю. Я призываю на помощь мне русский народ. Мною подписан закон о волостном

земстве и восстанавливаются земские учреждения в занимаемых армией областях. Земля казенная и частновладельческая сельскохозяйственного пользования распоряжением самих волостных земств будут передаваться обрабатывающим ее хозяевам. Призываю к защите Родины и к мирному труду русских людей и обещаю прощение заблудшим, которые вернутся к нам. Народу - земля и воля в устроении государства. Земле - волею народа поставленный хозяин. Да благословит вас Господь.

Генерал Врангель».

Одновременно с этим приказом был опубликован приказ о преобразовании армии:

«Армия перестраивается на новых началах. Основания комплектования армии изменены - части войск комплектуются не добровольцами, а лицами, призванными на военную службу по мобилизации. Новая организационная схема ничего общего со старой, построенной на добровольческих началах, не имеет... Соответственно с этим приказываю теперь же изменить все старые печати и служебные бланки как в штабах, так и в строевых частях до рот включительно.

Генерал Врангель».

Создание Русской армии взамен Добровольческой указывало, что в борьбе с большевизмом наступает новый этап. Мы отлично понимали, что борьба будет трудная и продолжительная, и если генералу Врангелю удастся сперва удержать занятую им территорию, то и это уже будет много. Я твердо решил при первой возможности ехать в Крым, считая, что лучше умереть на Русской земле, чем скитаться эмигрантом в чужих краях.

Скоро после этого из Константинополя от генерала Лукомского было получено извещение, что в Варну прибудет пароход «Царь Борис», который возьмет в Крым офицеров и солдат, но не в качестве добровольцев, а как военнообязанных. В приказе этом была какая то неясность и, во всяком случае, отсутствовала определенность. В комендатуре была объявлена запись на поездку в Крым, причем в объявлении указывалось, что не желающие ехать будут исключены с довольствия и переданы как беженцы в ведение Комитета о беженцах. Каждый желающий продолжать службу в армии должен был подать письменное заявление.

Я подал рапорт генералу Бендереву с просьбой отправить меня в действующую армию. Генерал объяснил мне, что в армии генерала Врангеля установлен предельный возраст и что согласно новой организации Русской армии добровольцы не принимаются в армию. Тем не менее после продолжительной беседы со мною генерал отдал приказ об освидетельствовании меня и обещал

дать ход моему рапорту. Комиссия признала необходимым дать мне месячный срок <.. .>

Ожидали второй пароход «Дон», на котором может поместиться до 4000 человек. Запись шла вяло, и только в последние дни, когда из Польши через Сербию начали прибывать в Варну офицеры интернированного отряда Бредова, число записавшихся превысило 1500 человек.

Со времени моего освидетельствования прошел почти месяц. При вторичном освидетельствовании я был признан годным к военной службе. Я торопился, так как случайно прибыл пароход «Моряк», на котором предполагалось отправить в Крым часть записавшихся на пароход «Дон».

Так как «Моряк» имел специальное назначение взять в Бургазе снаряды, то на нем предполагалось поместить не более 250 человек. Мы хлопотали, чтобы нас зачислили в эту группу, но я сделал для себя только хуже. В канцелярии комендатуры признали, что моя миссия как добровольца закончена и я должен быть перечислен в разряд беженцев.

Мое прошение о зачислении меня в действующую армию подверглось критике. Я вынужден был обратиться к русскому военному уполномоченному в Софии полковнику Палицыну, который отнесся ко мне очень внимательно и доброжелательно. Генерал Бендеров приказал отправить меня как добровольца в исключительном порядке. Я был зачислен на пароход «Дон». Мы не хотели расставаться. Доктор Любарский, полковник Николаенко, корнет Чесноков и Тарнавский были записаны к отправке вместе со мною. Пароход «Моряк» стоял уже неделю и собирался в Бургаз грузить снаряды, которыми французы снабжали Крым. Пароход «Дон» ожидался со дня на день. Сведения из Севастополя поступали самые лучшие. В публике замечался некоторый подъем настроения. Болгары поздравляли нас.

Я был счастлив, что мне удалось попасть в список отъезжающих. Скоро мы будем на Родине, хотя и далеко от своих, но все же не на чужбине. Пессимисты пугали нас, уверяя, что армия Врангеля несомненно будет разбита и нам опять придется откатиться к Черному морю. Сестра милосердия О. К. Абалешева, которая пригласила нас - черниговцев на чашку чаю перед нашим отъездом, говорила, что мы едем на верную гибель. Настроение было неуверенное.

Люди, следующие примеру других, а не самостоятельно, чуть не ежедневно меняли свое решение. Сегодня они едут, а завтра под влиянием какого-нибудь слуха бегут вычеркиваться из списков. Сегодня они решают никогда больше не воевать, а

завтра, напротив, настроены воинственно. Люди бегали друг к другу советоваться, ехать ли им или выжидать.

Четвертого июля разошелся слух, что пароход «Дон» не прибудет, а завтра все будут грузиться на «Моряка». И действительно, рано утром 5 июля было приказано всем записавшимся на отъезд в Крым грузиться на пароход «Моряк». К четырем часам погрузка должна быть закончена.

Вместе с тем выяснилось, что «Моряк» не будет брать снаряды. Конечно, сейчас же это обстоятельство было истолковано в том смысле, что ввиду заключения мира союзников с большевиками французы воспретили погрузку снарядов. Теперь генерал Врангель остается без всякой поддержки.

Панически этот слух повторялся во всех кругах русских беженцев и отозвался в настроении отъезжающих. К тому же пароход «Моряк» не внушал доверия. По общему мнению, он мог взять не более 450 человек, тогда как к отправке предназначено более 1900 человек. Это обстоятельство действовало на публику угнетающе. В своей панике многие бессмысленно повторяли пущенную кем-то абсурдную фразу, что при таких обстоятельствах пароход может опрокинуться.

Распоряжение о погрузке было столь неожиданным, что застало всех врасплох. Я разбудил полковника Николаенко и доктора Любарского и первый сообщил им об этом распоряжении. Еще накануне ходили слухи о какой-то неудаче на фронте. В связи с ожидаемым миром англичан с большевиками опять создавалось паническое настроение. Многие решили не ехать.

Я был в отличном настроении и радовался нашему отъезду. Мне было совершенно безразлично, что говорили. Недавно я получил через генерала Кирея из Бухареста письмо от сестры Мани Лукиной З. А. Чоповской, которая вложила в него Манины письма из Чернигова в Киев, писанные в январе и феврале месяцах этого года на имя сестры Чоповского. Муж Зины И. А. Чоповский (преподаватель Киевского политехникума и бывший министр торговли и промышленности в Киеве) был в Киеве после занятия его поляками, но пробыл там только шесть часов, так как вынужден был бежать вместе с поляками от наступающих большевиков. Он привез эти письма в Бухарест. Моя дочь была тогда в Киеве - это все, что я узнал из этих писем. Жизнь Лукиных в Чернигове была ужасна. Александра Трофимовна, как странница, ходила по селам и собирала детям куски хлеба.

Я решил ехать в Россию если не в качестве простого солдата, то кем угодно, но только быть в армии и идти вперед вместе с войсками. Мы не торопились и не суетились. Забот у нас не было никаких, как равно и не было вещей. Я зашел проститься к А.А.

Столице. Люба чуть не плакала.

Она дала мне письмо в Киев и просила передать его по принадлежности. Бедные барышни завидовали нам. Люба обещала мне в случае моей смерти разыскать по возвращении на Родину мою дочь и сообщить ей все, что знала обо мне. Мы расстались. Мне было жаль этих девочек, оторванных от своей Родины и бессмысленно влачащих жалкое существование. Люба Столица любила свою Родину и глубоко страдала. Это была серьезная, идейная барышня, чистая русская душа. Она вручила мне письмо. Я знал, что увожу с собою в письме часть души Любы.

Мы пообедали, выпили пива и шли в порт. В городе было оживление. Это была первая большая партия военных, отправляющаяся в Россию. По городу к гавани шли с песнями эшелоны и отдельные группы солдат и офицеров. Болгары на этот раз относились приветливо к отъезжающим и, останавливаясь на улицах, желали русским счастливого пути. Нам лично (мы шли втроем) приходилось несколько раз выслушивать это приветствие.

В порту возле парохода «Моряк» толпилась масса народу. К 5 часам должны были прибыть власти, и был назначен молебен. На пароходе действительно было жутко. Мы взошли на пароход уже тогда, когда «Моряк» был переполнен, и тем не менее погрузка все продолжалась. На пароходе беспокоились. О том, чтобы расположиться спать или даже присесть, не могло быть и речи. Люди располагались на вышках, на верфях, на сундуках и где только было возможно. Настроение на пароходе было неважное.

Как нарочно, ежеминутно происходили все неожиданности. Французы разыскивали каких-то немецких офицеров, едущих к Врангелю. Действительно, за несколько дней до нашего отъезда в Варну вместе с «бредовцами» прибыли три немца-офицера в статском. Их поместили в нашей комнате. Мы познакомились с ними и разговаривали, но, конечно, цели их приезда не знали. Оказалось, что искали именно их, так как они везли будто бы генералу Врангелю секретные бумаги. Из-за этих немцев, которые были замаскированы русскими офицерами, французы задержали отправку парохода ровно на два часа.

Среди толпы на молу были русские военнопленные и болгарские коммунисты, которых боялись и недоумевали, зачем они здесь. От них пошел слух, что с пароходом обязательно что-нибудь случится. Они говорили, что на «Моряке» заложена адская машина. Об этом, конечно, сейчас же узнали все пассажиры. Никто не верил этому, но тем не менее этот слух отразился на настроении публики. Многие начали выгружаться, а были и

такие, которые сошли с парохода в последнюю минуту, оставив свои вещи на произвол судьбы. Между прочими в последний момент сошел с парохода, подвергшись паническому настроению, единственный оставшийся при мне из служащих начальник кролевецкой тюрьмы Н. А. Тарнавский, которого я уговорил ехать со мною в Крым. Мы пристыдили его, но было уже поздно - трап был уже поднят.

* * *

Пароход «Моряк» начал отваливать. Тысячи русских людей стояли на молу и приветствовали нас, махая шляпами, платками и руками. Могучие крики «ура» не смолкали, пока «Моряк» не вышел на рейд. Возле маяка навстречу нам полным ходом шел катер, на котором ехало до двадцати человек болгар, по-видимому, портовых служащих. Сняв шляпы, болгары посылали нам прощальное приветствие. Мощное «ура» с парохода был ответом на приветствие болгар. Болгарам, видимо, это очень понравилось, так как они оживленно жестикулировали руками и долго не надевали шляп.

Взаимное приветствие было от чистого сердца, но кончилось неожиданностью. Когда крики «ура» прекратились, полковник Смирнов своим звучным голосом крикнул болгарам «кисело млеко». Эта шутка вызвала на пароходе неудержимый хохот. Болгары тоже смеялись и продолжали приветствовать. Вечер был неприятный. В воздухе чувствовалась духота. Солнце заходило во мгле и предвещало непогоду. Море было неприветливое. Пароход неприятно покачивало. Контрастом на небе ярко выделялся серп новолуния. Во избежание случайностей, могущих быть со стороны красной Одессы, пароход шел на Бургаз, откуда курсом на северо-восток должен был следовать в Севастополь. Скоро пароход завернул за гору, и Варна исчезла из глаз.

Пароход держал курс в виду берега. Спать никто не ложился, так как едва можно было присесть на том месте, где стояли. Спали сидя и стоя. Море было грозное и неприветливое, но красивое. Я сидел рядом с полковником Николаенко на полу на верхней палубе, и мы долго говорили, мечтая, как и при каких условиях мы попадем домой. Доктор Любарский уже спал возле нас на куче дров, приготовленных для варки пищи. Мы смотрели на бедного старика, потерявшего все и идущего теперь в армию, чтобы пробиваться домой. Мы давно не спали на кроватях и привыкли валяться на полу, но теперь мы ехали к себе в Россию, и потому нам было легче переносить это лишение. Мы радовались и надеялись.

Мы с полковником строили планы будущего. Если мне не удастся устроиться, Николаенко обещал взять меня к себе в

батарею на какую-нибудь хозяйственную должность. Мы оба решили идти в те части, войск, которые будут продвигаться вперед, и ни в коем случае не соглашаться на тыловые учреждения. Мы стремились вперед, надеясь зиму провести где-нибудь подальше от Крыма там, где будут зимовать войска.

Всю ночь почти до рассвета мы провели в этих разговорах, пока наконец не задремали в том положении, в котором сидели. Первым встал доктор, предлагая нам чаю. Море волновалось и было покрыто туманом. Чувствовалось, что солнце давно уже встало, но через туман было трудно определить время. Оказалось, что в семь часов утра мы отдалились от берега и вышли в открытое море. Мы расположились так удачно, что, несмотря на страшную тесноту, мы были все время у борта на дровах, где можно удобно сидеть и даже сидя отлично дремать.

Целый день, почти не вставая, мы сидели на этом месте и всматривались в бесконечное пространство моря. Целыми часами мы следили за дельфинами, сопровождавшими пароход, и любовались красотою и мощью моря. Мы с полковником продолжали громко мечтать. Нам казалось, что на этот раз добровольцы исправят ошибки и одолеют большевиков. Мы говорили друг другу свое завещание, если бы кому-нибудь из нас пришлось быть убитым. Мы мечтали, как было бы хорошо к зиме подойти к Полтаве или поближе к Киеву и быть недалеко от своих. Мы знали, что теперь такой быстроты в наступлении, как в прошлом году, не будет.

Полковник утешал себя и меня, доказывая, что даже без ноги или руки можно будет служить и приносить пользу. Он обязательно хотел закончить свою жизнь в родном городе Глухове, а я - в Чернигове. Мы приглашали друг друга в гости и, одним словом, строили планы. Ночь была душная. Мы спали на том же месте, где сидели днем, полусидя, полулежа на дровах, возле самого борта. На душе было легче, чем тогда, когда мы ехали в Болгарию. Но тогда почему-то было красивее. Теперь сильно пекло солнце. Погода тем не менее благоприятствовала нам. Волнение было небольшое. Только по утрам море колыхалось большими неровностями, усиливающими покачивание парохода.

Ровно три дня мы были в открытом море. Может быть, если бы мы ехали с большим комфортом, такое путешествие было бы более приятным, но теперь скорее хотелось увидеть землю. На третий день к вечеру на горизонте появилось точно облако. Это были берега Крыма, от которых мы находились в расстоянии верст шестьдесят. Скоро стали вырисовываться очертания гор. Мы шли по направлении к Балаклаве. Настроение публики стало

уверенное. Пассажиры повеселели. На палубе образовался хор, который пел до поздней ночи малороссийские песни. Мы решили не спать, чтобы увидеть Севастополь.

Поздно вечером на горизонте появился огонек севастопольского маяка. Было радостно, но вместе с тем в душе возникал вопрос: что ждало нас в Крыму? Всю ночь мы подходили к Севастополю. Я не выдержал и продремал момент, когда мы входили в бухту. Я проснулся с рассветом, когда «Моряк» бросил якорь. Это было 8 июля. Севастополь встретил нас неприветливо. Было пасмурно, и моросил холодный дождь. С моря дул сильный ветер. Громадные волны проникали в бухту и качали пароход больше, чем вчера в море. <.. .>

Я доложил министру, что я состою в армии и не рассчитываю поступать на гражданскую службу пока армия вновь не дойдет до моих родных мест. Министр, прощаясь со мною, сказал, что я несомненно буду нужен в будущем, как специалист, и что он просил бы все-таки меня перед отъездом на фронт побывать у генерала Рябинина.

Матвей Иванович Рябинин эвакуировался из Ростова в Крым и был вновь назначен генералом Врангелем заведующим местами заключения. Мы встретились как старые знакомые и давнишние сослуживцы. Матвей Иванович был настроен пессимистически и мало надеялся, чтобы Крым удержался. Он даже хотел уходить, так как признавал, что при создавшихся условиях ничего сделать нельзя. Рябинин подробно рассказал мне процесс разложения добровольческого правительства, и это было то, что мы уже знали. Начальник управления предлагал устроить меня, чтобы я имел угол и средства к существованию, но я сказал ему, что преследую совершенно другие цели и не хочу терять связи с армией.

В распоряжении правительства было только одна Таврическая губерния. Должностей пока еще не было. Министры (начальники управлений) работали еще без министерств. Генерал Врангель совершенно справедливо требовал, чтобы повсюду возможно более сокращать штаты. Естественно, все русские люди должны были идти на фронт, а не искать службы в тылу. Из этих двух посещений правительственных учреждений я вполне уяснил себе, что это не то, что я думал увидеть в Крыму. Это не было то твердое положение, о котором так много говорили в Варне. Рябинин совершенно разочаровал меня, а Министерство юстиции произвело на меня удручающее впечатление. Я вспомнил приемы у министров царской России и их деловой, толковый и тактичный прием каждого посетителя. Таганцев был со мною очень любезен, но это было не то, к чему мы привыкли.

Скоро выяснилось, что в составе правительства было мало имен, которые могли бы вселить уверенность в прочности положения. Это был лишь новый элемент в духе времен Керенского. Серьезного, творческого и делового направления нельзя было ожидать от этих людей. М. И. Рябинин верно определял курс и мало надеялся. Впрочем, все зависело от армии, и Матвей Иванович положительно утверждал, что армия генерала Врангеля безусловно внушает доверие.

Портил опять тыл. Местная жизнь не налаживалась. Рыночные цены были лучшим показателем катастрофического положения. Характерное явление констатировал начальник управления в социальной жизни Крыма. Преступников в тюрьмах Крыма не имеется. Тюрьмы переполнены совершенно новым элементом: спекулянтами, торгашами, нарушителями разных порядков и т.п. Преступников в прежнем смысле этого слова на весь Крым только два. Начальник тюрьмы пояснил мне, что тюремная служба не имеет ничего общего с прежней. Беспокойных арестантов и сколько-нибудь опасных преступников, а также и профессиональных, теперь вовсе нет. Они все ушли к большевикам, а местные большевики не попадаются. Мне нужно было явиться к дежурному генералу. Я медлил и хорошо сделал.

Едва доктор Любарский появился в Военно-полевом санаторном управлении, как ему предложили место главного врача в спешно формируемом лазарете при 2-й Кубанской казачьей дивизии. Любарский выставил мою кандидатуру на свободное место помощника заведующего хозяйством этого лазарета. Дивизия эта на днях должна была выступить на фронт. Любарскому было предложено закончить формирование лазарета в три дня.

В управлении предполагали, что дивизия готовится к десанту, но куда именно, не говорили. Я подал дежурному генералу рапорт о том, что я получил уже назначение, и явился в Военно-полевое управление. Мы решили с парохода не сниматься, но так как «Моряк» отходил от мола, то мы перешли под навес тут же на пристани. Тут же мы устроились со своей канцелярией. Я был в своей сфере, канцелярская работа была мне хорошо знакома, и я расположился на бочках с карбидом. Все делалось спешно. Теперь уже открыто говорили, что мы готовились к десанту или в Одессу, или на Кубань.

11 июля я был назначен помощником заведующего хозяйством дивизионного лазарета 2-й Кубанской дивизии. Когда мы представлялись начальству и я докладывал начальнику Военно-полевого санитарного управления Лукашевичу о своей прежней службе, он обратился к членам комиссии и сказал: «Вот

какие люди идут к нам». Точно что-то пророческое было в моем назначении. Сегодня день именин моей дочери Ольги, и я получил назначение в армию, которая двинется вперед туда, где ждет меня моя дочь. Это совпадение служило мне предзнаменованием.

Моя дочь была большой патриоткой и доказывала в свое время, что каждый без исключения должен бросить все и идти в армию. Она идеализировала добровольцев и презирала тех, кто сидел дома и не шел к добровольцам. Я возражал ей тогда, говоря, что не все могут идти, и как на пример указывал на себя. «Ну, ты другое дело...» - отводила она разговор, но я знал, что она одобрила бы, если и я был бы в числе добровольцев. Теперь я осуществлял ее заветы. Если я погибну, она с гордостью скажет, что ее отец погиб добровольцем.

Доктор Любарский тоже был очень доволен. Наше дело было святым делом, и мы решили наилучшим образом обставить наш лазарет. Мы перевезли на пристань имущество лазарета, которым снабдил нас американский Красный Крест, и готовили его к погрузке. Мы жили и работали тут же, на пристани. Работать было тяжело. По сравнению с Болгарией в Крыму было жарко и душно. Я спасался от жары купаньем два раза в день. Особенно было тяжело ходить обедать в белостокские казармы за 3-4 версты от пристани.

Конечно, можно было бы устроиться иначе и обедать в городе, но столоваться за свой счет было немыслимо. Мы приводим здесь некоторые цены, так как в будущем это будет казаться невероятным[25].

С нами жили на пристани под навесом полковник Николаенко и корнет Чесноков. Нам предстояло скоро расстаться. Они получили уже назначение в Керчь, а нам готовили пароход «Марию», который завтра будет грузиться и через день отойдет по назначению.

Последний вечер мы провели вместе и после купанья отправились на Приморский бульвар. Здесь было бесконечное количество военных и роскошно одетых дам. Все рестораны и столики в саду были заполнены нарядной толпой. Ничего не напоминало войны. Только прожекторы освещали своими широкими снопами всю бухту, указывая на военное положение. Кто были эти богато и элегантно одетые мужчины и дамы, имеющие возможность платить за одну порцию ужина по 5-6 тысяч рублей и пить вино стоимостью еще вдвое?.. Становилось обидно, что в такое время люди жили для себя, а не для гибнущей Родины. В то время, когда люди шли на смерть голодными, плохо одетые и исстрадавшиеся, эта нарядная, богатая толпа таких же

русских людей жила в свое удовольствие. Становилось страшно за Россию.

Мы возвратились на пристань рано и еще долго беседовали, лежа в темноте на пропитанных маслом досках портового навеса. Пароход «Мария» был уже подан, но публику еще на него не пускали. Полковник Николаенко доказывал, что десант готовится на Кубань и что если Екатеринодар будет взят, то осенью мы будем в Чернигове. В военных кругах упорно говорят, что вся Кубань объята восстаниями. Доктор Любарский хитро посмеивался и говорил: «Вот увидите, мы повернем на Одессу».

14 июля рано утром мы простились полные надежд и в хорошем настроении, давши взаимно слово разыскать друг друга в Киеве. Я успел утром искупаться, а затем целый день был занят погрузкой имущества лазарета на пароход. Г-н Португалов (известный в литературе специалист по морскому делу), назначенный заведующим хозяйством лазарета, узнав, что наша дивизия готовится к десанту, отказался от этой должности, и я вступил в исправление его обязанностей. Доктор Любарский сделал представление о назначении меня на место Португалова, но назначение не успело состояться, так как на следующий день мы уже оставили Севастополь.

Первый раз за все это время я попал в обстановку культурной жизни. Первый раз за девять месяцев мне пришлось спать на мягком диване и сидеть за столом. Пароход «Мария» был хорошо оборудованным пассажирским пароходом и был в полной исправности. На пароход грузился штаб дивизии, все санитарные учреждения во главе с начальником санитарной части профессором Кожином и штаб всего отряда, который именовался «отрядом войск особого назначения». Во главе отряда стоял генерал Улагай, для которого была отведена отдельная каюта. Как-то странно было мне попасть в эти культурные условия жизни, в интеллигентную среду людей культурных и образованных. В нашем лазарете было пять врачей, шесть сестер милосердия, 12 фельдшеров и я, как заведующий хозяйством. Атмосфера была чисто военная, но не та, в которой я вращался все это время.

Это было то, что напоминало прежнее время. На «Марии» был весь генералитет. К сожалению, мы с Любарским были одеты хуже других, но, видимо, публика отлично учитывала наше положение. Мы обедали за общим столом и, как погрузившиеся одними из первых, заняли в кают-компании лучшие места на диване, которые остались за нами. Для меня этот комфорт был истинным наслаждением. Я имел чистое белье и ежедневно купался в море. На ночь я раздевался и лежал на чистом диване. Если принять во

внимание и другие удобства, то станет понятным, как мы были довольны.

Не так давно на пароходе «Моряк» нам приходилось стоять в очереди вместе с женщинами возле сколоченных из досок уборных «на четыре очка» и оправляться в ужасной грязи, вынося из клозета на сапогах грязь по всему пароходу. Мне как-то пришлось стоять шестнадцатым, выжидая своей очереди, а затем сидеть рядом с солдатом, который чуть не обрызгал меня, страдая расстройством желудка. Мне противно вспоминать все эти очереди за хлебом, за обедом, за кипятком, в уборную, в умывальник и т.д.

Жизнь вечно в толпе и в очереди была невыносима, и потому обстановка на пароходе «Мария» мне казалась земным раем. Мы умывались в мраморном умывальнике и чистили зубы теплой водой. Как мы ни опустились за эти девять месяцев наших скитаний, все наши культурные привычки сказались тотчас, как только мы попали в соответствующую обстановку. Мы достали даже здесь русские книги, и это доставляло после долгого перерыва в чтении громадное удовольствие.

Вечером накануне отъезда я вновь был у начальника Главного тюремного управления М. И. Рябинина. Матвей Иванович обязательно хотел иметь меня своим сотрудником и хотел возложить на меня заведование симферопольской колонией для несовершеннолетних преступников, но он не отговаривал меня и только высказывался в этом смысле, что десантные операции всегда связаны с риском.

* * *

15 июля вечером пароход «Мария» отчалил. Было уже темно. Севастополь весь утопал в электрическом свете. Я выходил раза два на палубу, чтобы взглянуть на эту величественную картину, но каждый раз доктор Любарский звал меня по делам. На длинном столе кают-компании шли занятия. Здесь была канцелярия лазарета и занимались отделы снабжения и путей сообщения. За занавеской в той же кают-компании расположился штаб генерала Улагая. Работа шла полным ходом. Занимались до поздней ночи с перерывом на ужин. Ужинали группами по учреждениям за соседним таким же длинным столом. Пароход был освещен электричеством, что создавало особенно приятную обстановку. На ужин были мясные котлеты с картофельным пюре. Белая скатерть, салфетки, приборы, ножи, вилки, стаканы - все это доставляло мне истинное удовольствие.

Пароход «Мария» имел два назначения. Прежде всего он обслуживал штаб отряда войск особого назначения со всеми его учреждениями, а затем это было госпитальное судно, которое

будет принимать раненых с берега, пока не развернется наш лазарет. Так это было в прошлый десант на Крымском побережье. «Мария» взяла тогда более 200 раненых. На пароходе для этой цели было отделение Севастопольского морского госпиталя. Это была молодая компания врачей и сестер милосердия. Все сестры были как на подбор хорошенькие и, как можно было судить из их разговора, принадлежали к петербургскому бомонду. Это была молодежь новой формации - продукт войны и революции.

Несомненно, все они были воспитанны, и даже некоторые из них говорили между собой по-французски, но это был сплошной флирт и свобода нового направления. Еще в Севастополе они купались прямо с парохода. Они раздевались за занавеской из простыни и спускались полуголыми с трапа в море в присутствии всей публики. Все сестры необыкновенно хорошо плавали и этим привлекали внимание публики. Наши сестры были значительно проще и держали себя солидно, под шумок возмущаясь поведением петербургских сестер.

Вообще личный состав нашего лазарета производил хорошее впечатление. В особенности мне был симпатичен врач Макарский. Состав этот был таков: старший врач Н. В. Любарский, старший ординатор Гноринский, младшие врачи Макарский, Марк (еврей) и Егоров (не прибывший к месту служения). Заведующий хозяйством Д. В. Краинский, помощник его Н. А. Тарновский, сестры милосердия М. Я. Иванова-Аверинова (старшая), В. И. Лавренова (казачка), Сакина (казачка), Савинова и Корнилова (урожденная Савич - черниговская), муж которой - офицер, участвовал в десанте и был в артиллерии. Фельдшера, старшие: Мужецкий (студент), Цукровский (студент), Тулинов, младшие: Доброжанский, Пусеплин, Бондаренко, Казаков, Лысенко, Павлов. Аптекарь Голуб (еврей). Священник - казак, фамилии его не помню.

Фельдшера все, кроме студента Мужецкого, были малороссы из южных губерний. У меня с ними установились хорошие отношения, и они не раз впоследствии помогали мне в затруднительных случаях. Дивизионный врач Дейнеховский хотя и не входил в состав лазарета, но всегда был с нами, и вещи его были на моих руках даже тогда, когда он был ранен и эвакуировался в Керчь.

Сначала испортили настроение сестры милосердия, которые потребовали, чтобы я кормил их в дороге за счет лазарета, тогда как они получали кормовые деньги и на «Марии» был громадный буфет, где за деньги можно было иметь что угодно. Инцидент был исчерпан моим категорическим отказом, после которого сестры дулись на меня дня два, а потом у нас установились отличные

отношения.

Сначала мы не знали, куда идем, но скоро «Мария» взяла налево, по направлению к Феодосии. Погода была отличная. Мы шли все время в виду берегов Крыма. Море было спокойное. В каюте было душно, и мы старались все время быть на палубе. Отношения между пассажирами были отличные. Все были между собою как знакомые. Общество было все интеллигентное, состоявшее, конечно, из военных, служивших при царском режиме и в Добровольческой армии. Я был новым человеком в этой среде, но, как доброволец, я был принят как свой человек. Члены судебной комиссии, когда узнали, что я юрист, очень сожалели, что я попал в лазарет, и хотели даже перетянуть меня в свою комиссию. Я чувствовал себя отлично в этом обществе и получал большое удовлетворение в беседах, которые оживленно велись эти дни повсеместно на палубе.

По пути выяснилось, что транспорты с войсками ждут нас в Феодосии. 16 июля к вечеру мы прибыли в Феодосию и стали в порту возле мола. Порт был почти пуст, и никаких транспортов тут не было. Это окончательно сбивало нас с толку. Мы жили на пароходе. Дни шли за днями и за работой. Утро я проводил в интендантстве, составляя сметы, расчеты и получая все нужное для лазарета. После обеда почти каждый день приходилось заниматься погрузкой на «Марию» полученных в интендантстве вещей, и только к вечеру я был совершенно свободен. Штаб нашей дивизии во главе с начальником дивизии генералом Шифнер-Маркевичем оказался в Феодосии и на пароход еще не грузился. Мы ходили в город обедать и ужинать.

В Феодосии функционировал Корниловский союз, где нам давали обед из двух блюд за 450 рублей и ужин за 250 рублей. Ежедневно мы купались, а по вечерам ходили гулять. Я отоспался на мягком диване и чувствовал себя хорошо. С 26 июля город начал преображаться. Один за другим в порт прибывали пароходы. Вместе с тем по железной дороге ежеминутно прибывали эшелоны, которые сразу заполнили город. На улицах были целые толпы народу. Случайно я встретил здесь наших черниговцев: Юру Сенюка, семья которого жила в Феодосии, Колю Цукровского, Н. Н. Сульменева и Синельникова (моего бывшего черниговского помощника). Цукровского, который только что приехал из Болгарии, я сейчас же пристроил как студента-медика фельдшером в наш лазарет.

Скоро стало известно, что десант готовится на Кубань. 28 и 29 в порт вошло много судов («Екатеринодар», «Херсон», «Ялта», «Маргарита», «Моряк» и другие). Случайно 29-го прибыла из Варны партия военных и бредовцы. Я встретил Н. А. Тарновского,

прибывшего в этот день из Варны, и предложил ему ехать на Кубань вместе со мною. Мы зачислили его санитаром, и в тот же день он перешел на пароход «Марию». В один день Феодосия обратилась в военный лагерь. Ждали генерала Врангеля.

Приезд главнокомандующего был целым событием. После парада и смотра 29 утром было приказано грузиться и закончить погрузку к 8 часам утра 30 июля. Погрузка велась спешно. Громадные обозы и колонны войск со всех сторон стекались в порт, подымая в городе невероятную пыль. Без пропуска никого в порт не пускали. Суда стали у мола, и каждое грузило свою часть. Порядок и последовательность были удивительные. Казалось, что все в порту должно было смешаться и спутаться.

Между тем все шло своим порядком. Воинские части ставили в козлы винтовки и грузили вещи. По соседству с нами грузили лошадей. Одна за другой быстро подымались на кран в воздух лошади и с такой же быстротой опускались в трюм. Почти при каждой части были овцы, коровы, свиньи. Их блеяние и запах навоза, сена, соломы напоминали ярмарку, но стоявшие тут же в козлах винтовки, орудия делали мол военным лагерем. Возле «Марии» грузилось интендантство, имея громадные запасы в бочках, мешках и ящиках.

Особо отрадное впечатление производили юнкера, стройно проходившие в этом хаосе людей, животных и груза. Говорили, будто генерал Врангель не хотел брать юнкеров в десант, но они просились, и в результате главнокомандующий разрешил составить из них особую часть.

К 8 часам 30 июля погрузка была закончена. На пароход «Мария» прибыл начальник отряда особого назначения генерал Улагай со своим штабом. Последовательно один за другим стали сниматься и выходить на рейд пароходы. Последним снялся с якоря пароход «Мария». В порту стояла большая толпа провожающих. На возвышенных частях города и на набережной стояли большие группы людей, смотревших на отход пароходов. На молу играл военный оркестр.

Я стоял на палубе. Погода была ясная, летняя, теплая. Порт опустел. Налево в бухте стоял в одиночестве английский миноносец, выкинувший приветствие отходящей флотилии. С «Марии» все суда были отлично видны. Я насчитал 16 вымпелов. На «Марии» был поднят флаг командующего отрядом генерала Улагая. Постепенно «Мария» вошла в середину флотилии. Возле нее шел вооруженный орудиями военный катер «Гайдамак».

Суда шли в виду красивых берегов Крыма. Казалось бы, ничего не указывало на военную обстановку. Все было спокойно, приветливо. Море колебалось небольшими волнами, едва отражая

свое волнение на устойчивости большого парохода «Мария». Мы обедали за большим столом кают-компании все вместе. Начальник санитарной части генерал Кожин давал нам свои указания и в частности разъяснял план наших действий. После обеда за чайным столом у нас были свои совещания, и разговоры продолжались до самого утра.

Мы познакомились здесь с сестрами милосердия морского госпиталя и сестрами Белого Креста, примкнувшими к нашему обществу. Одна из них, В. В. Энгельгардт, была киевлянка, и мы нашли общих знакомых. Оказалось, что мы ехали вместе из Болгарии на пароходе «Моряк». Сестра Энгельгардт рассказывала нам об отступлении отряда генерала Бредова на Польшу и о том, как она бежала с офицерами из «польского плена». Она видела, что я веду запись в своей книжке, и обещала в свободное время дать мне богатый и интересный материал для моих записок.

Флотилия приближалась к Керченскому проливу. Вечерело. Налево на крымском берегу издали виднелся мерцающий маяк. Мы сидели на палубе и любовались красотой природы. Поравнявшись с маяком, «Мария» сигнализировала. Суда остановились и начали перестраиваться. Мы делали свои предположения. Многие убежденно говорили, что здесь мы повернем на Новороссийск. Однако после последовавшего распоряжения о том, чтобы не зажигать огни и не курить на палубе, стало ясно, что мы входим в Керченский пролив.

Было известно, что Керчь часто подвергается нападению большевистских аэропланов, а окрестности Керчи обстреливаются с большевистского берега. Местами пролив суживался настолько, что приходилось проходить в виду неприятеля. По этому поводу было много разговоров и делались различные предположения. Возле Керчи пролив был углублен особым каналом, идущим еще ближе к большевистскому берегу. Это были те обстоятельства, вследствие которых в Керченский пролив суда могли проходить только ночью. В штабе знали, что большевики ждут десанта и зорко следят за проливом. Самая опасная часть пролива была за Керчью. Здесь большевики могли атаковать флотилию и обстрелять ее с берега. Темнело очень быстро. Мы решили сидеть на палубе, пока не пройдем пролив.

Суда шли в абсолютной темноте. Движения на пароходе не было никакого, так как в темноте нужно было ходить чуть ли не ощупью. Обстановка была таинственная. Темными силуэтами выступали шедшие в виду «Марии» пароходы. Вокруг была абсолютная тишина. Даже на «Марии» почему-то говорили вполголоса. Внизу в коридоре толпились курящие, и было страшно накурено. Главным же образом все толпились на палубе,

точно ожидая что-нибудь увидеть или услышать.

Около 10 часов вечера по морю скользнул сноп света далекого прожектора. На «Марии» прошел шепот: «Прожектор». Сразу стало как-то жутко. Будут обстреливать или нет? Этот вопрос волновал всех. Одни говорили, что большевистский берег слишком далеко, чтобы орудия могли достигнуть флотилии, другие утверждали, что тяжелые орудия несомненно могут попасть на таком расстоянии.

В непроглядной темноте вечера снопы расходящегося света прожектора с большевистского берега периодически скользили по поверхности моря, останавливаясь на определенной точке, и затем точно нарочно перебрасываясь через суда, задевали своими лучами лишь верхушки мачт. Прожектор искал, но ни разу не остановился на одном из пароходов. Сноп света проходил или выше или ниже судов, освещая иногда целую площадь морской поверхности буквально на расстоянии нескольких сажень от остающихся в мраке судов. Чем дальше мы углублялись в пролив, тем ярче освещал прожектор всю площадь. Источник света - прожектор был отлично виден, хотя в действительности расстояние это определялось в 14 верст. Вскоре на большевистском берегу, далеко впереди, показался еще прожектор. Большевики искали, но не обнаруживали судов.

К часу ночи флотилия подошла к г. Керчь. Я проспал этот момент и проснулся от суеты и громких разговоров. Оказалось, что баржа с какой-то воинской частью, шедшая в проливе на буксире «Марии», задела стоящий на мели на внешнем рейде броненосец «Ростислав» и оборвала канат. Более часа сновавший вокруг «Марии» катер прикреплял баржу, причем и «Мария» давала ход то вперед, то назад. По-видимому, глубокая темень задерживала эту работу. Публика волновалась, боясь, что к рассвету «Мария» не успеет выбраться из пролива и будет обнаружена большевиками. К тому же хотелось скорее выйти из-под прожектора, который особенно ярко и как будто очень близко разбрасывал свои пучки света. Мы удивлялись, как прожектор ни разу не остановился на «Марии», и, как нарочно, в эту минуту «Мария» всем своим корпусом попала в сноп света и с минуту стояла под этим огнем.

Источник света - прожектор ослепительно бил в глаза. Ну! Теперь большевики обнаружили нас! Так думали мы, тем более что лучи света перешли с «Марии» на другие суда и поочередно освещали их все. Наконец-то прожектор напал на флотилию! Нам, не бывшим в курсе дела, казалось, что сейчас начнется обстрел судов с большевистского берега. Однако все обошлось благополучно, и раньше рассвета последним вышла в Азовское

море «Мария».

Берегов уже не было видно. Мы шли по открытому морю. Здесь море не было похоже на Черное море. Картина была совершенно другая. Вода Азовского моря казалась зеленоватою, и волны были значительно мельче. На палубе стало скучно. Весь пароход точно погрузился в сон. Утомленные бессонною ночью, все легли спать. По крайней мере, когда я вошел в кают-компанию, то с трудом добрался до своего места. Даже весь пол был занят спавшими. Очевидно, в Керчи к флотилии присоединились еще транспорты, так как, вставши, мы насчитывали уже 33 судна. «Мария» шла в центре. < ..>

Кто-то утверждал, что казаки поддержат нас только в том случае, если увидят в десанте серьезную силу. Только теперь мы узнали, что возле Темрюка было столкновение с большевистскими катерами. Военный транспорт «Буг» вступил в бой с большевиками и получил повреждение. Мы слыхали канонаду, но не придали этому значения. Несколько раз в течение ночи я выходил на палубу. Ночь была воробьиная, темная. Ежеминутно сверкала молния, но дождя не было. Я сидел на верхней палубе на скамейке, облокотившись руками о борт. Мне были видны суда, выступавшие черными силуэтами на темном фоне моря. Местами тучи расходились, и в этих местах проглядывали яркие звезды. Нигде не было слышно человеческого голоса. Нигде не было видно ни одного огонька.

Суда ползли по морю, как черные тени гигантов, и только слабый ход машины «Марии» нарушал эту мертвую тишину. На душе было грустно, но спокойно. Я не мог себе вообразить, как все это будет, но был уверен, что скоро мы будем в Екатеринодаре. Я испытывал чувство внутренней радости и воображал себе вероятную картину продвижения армии на Ростов, Екатеринослав и т.д. Мне полагалась верховая лошадь, которую я получу тотчас после высадки, и я мечтал выбрать себе хорошего иноходца. Дивизионный лазарет должен следовать все время за своей дивизией не дальше 15 верст, и, следовательно, наше продвижение вперед не подлежало сомнению.

Моя мысль часто переходила к тому, что делается теперь в Киеве и Чернигове. По одним версиям, Киев был разрушен, по другим - эти слухи были лишены оснований. Живы ли они? Ждут ли они нас? Если Кубань и Дон будут очищены от большевиков, то, конечно, мы скоро продвинемся дальше, а если неудача... тогда, если не убьют... Но эта мысль отпадала сама собою.

Быть не может, чтобы не все было предусмотрено. Мрачных мыслей у меня не было. Щемило в душе лишь беспокойство за своих, за свою дочь. Спазматическое состояние горла в эти

минуты было отражением того, что делалось на душе. Мы были разорены, ограблены. Восстановить хотя бы в части то, что было, конечно, невозможно. Для этого потребовалось бы очень много лет. Начинать жизнь снова уже поздно. Хотелось домой, чтобы быть только среди своих и помочь им...

К утру погода стихла. Небо прояснилось. Море сделалось спокойным. Так же было спокойно на пароходах. Все встали рано и пили чай. Я торопился, так как мне хотелось видеть картину десанта. Только около 8 часов утра вдали показался кубанский берег, а еще через минуту нам показывали виднеющуюся колокольню церкви в станице Приморско-Ахтарской.

Суда бросили якорь. Мне удалось стать на верхней палубе в таком месте, откуда все отлично было видно. «Мария» стала в центре. Вокруг нее все суда стали в кильватерном порядке. Впереди стояли миноносцы «Жаркий», «Звонкий» и военный катер «Ермак». По левую сторону из флотилии выделялись один за другим суда, которые быстро шли к берегу. Они держали курс левее миноносцев. Солнце уже грело своими жаркими утренними лучами и скользило по гладкой поверхности моря, ярко освещая стоящие впереди миноносцы. Станица Ахтарская была в тумане, но купол церкви блестел на солнце. Мне показалось, что на миноносце сверкнул яркий огонь, но почти тотчас последовал гул орудийного выстрела. Миноносцы начали бомбардировать берег, прикрывая этим направляющиеся к Ясненской косе десант.

С берега не отвечали, значит у красных нет артиллерии. Теперь уже открыто говорили о всех деталях разработанного плана десанта, и потому нам легко было достать в штабе географическую карту. Справа и слева место десанта было испещрено лиманами и болотами, обеспечивающими положение наступающих войск с флангов. Узкая полоса в 15 верст углублялась внутрь страны, а из станицы шла железная дорога на Екатеринодар. Мы сняли план этой местности и начертили схему расположения судов. Мы видели в бинокль всю картину десанта.

Около двух часов к «Марии» подошел катер. Генерал Улагай отбыл на нем со своим штабом на берег. С катера передавали, что десант высадился благополучно. С нашей стороны было всего 8 человек раненых. В станице Ахтарской был небольшой гарнизон красных, который после перестрелки оставил станицу. Десант был трудный. Пароходы к мелкому берегу подойти не могли, так что войска высаживались по пояс в воде. Конные части выгружали лошадей прямо в воду, и солдаты бросались к ним в воду и опрометью, полуголые, в одних рубахах бросались в атаку и в погоню за красными. <.. .>

Дела на фронте были хороши. Наши передовые части

находились уже в 60 верстах от Ахтарской. Выгружались интендантство, отдел снабжения и учреждение Белого Креста. Лазарет должен был выгрузиться последним. Возле «Марии» стояло уже много выгрузившихся пароходов и барж. На душе было хорошо. День был жаркий, приятный. Палуба опустела. Мы чувствовали себя хозяевами положения и уютно устроились под натянутым брезентом за общим столом. Сестры морского госпиталя опять купались, заплывая далеко в море. После них купались мы, но, конечно, иначе, плавая только возле трапа. Я достал старые приложения к «Ниве» и с особым удовольствием читал рассказы Потапенко.

День прошел быстро. Спокойное море, тишина и покой давали тот отдых, который бодрил и придавал силы. Просто не верилось, что там, на берегу, идет бой и льется кровь. Вечер был прохладный и приятный. На «Марии» было уже 22 раненых, из которых один умер и лежал на носилках возле трапа, ожидая отправки на берег. Перевязка кончилась. Мы пили чай. Было уже темно. Огни 33 судов давали такую массу света, что флотилия казалась целым городом. Отражения этой массы света на рябистой поверхности моря придавали общей картине особую жизнь, которая вызывала чувство какого-то подъема. Мы сидели за чайным столом и обсуждали, конечно, подробности десанта.

Вдали виднелся катер, шедший полный ходом к «Марии». Еще издали капитан Булашевич кричал в рупор: «На “Марии”! Потушите огни!» В каких-нибудь пять минут вся флотилия погрузилась в мрак. Сколько мы ни старались узнать причину этого распоряжения, мы ее не узнали. Публика волновалась и предполагала, что ждут какой-нибудь неожиданности. Настроение изменилось. Спать было рано, но в темноте делать было нечего, и мы, раздевшись, улеглись на диванах спардека. Доктор Любарский шутил, говоря, что утром нас разбудят патриотические неприятельские аэропланы.

Ночь была темная. На небе ярко горели звезды. Слабый и ровный шум моря действовал убаюкивающе, но почему-то не спалось. Мы долго еще разговаривали. Вдали где-то на берегу виднелось зарево большого пожара. Спустя час-полтора кто-то заметил, что вдали показался ярко движущийся со стороны моря свет. При такой обстановке все казалось подозрительным, и публика не замедлила предположить, что это идет большевистское судно. Все встали и подошли к борту. Полным ходом прямо на «Марию» несомненно шло какое-то судно. Скоро выяснилось, что это был сторожевой миноносец «Звонкий», который просил у «Марии» воды. Весь черный, обугленный, узкий и длинный миноносец напоминал чертика, и матросы на нем, в

большинстве полуголые - в одних штанах, были черные, грязные, точно вымазаны сажей. На кормовой части его стояло дулом кверху небольшое, красивое, как астрономический прибор, орудие, специально предназначенное для обстрела аэропланов.

Это действовало на нас особо успокоительно, так как утром была наша очередь разгружаться. В особенности выражали свою радость по этому поводу наши сестры. Мы продолжали беседовать. Слушая рассказ врача Алисова об острове Лемнос, где размещены русские беженцы, я спросил его, скорее случайно, чем сознательно, не встречал ли он там моего брата врача Николая Васильевича. Оказалось, что доктор отлично знал моего брата и был вместе с ним на Лемносе. Доктору Алисову удалось вырваться из этого английского плена, а Н. В. до сих пор пребывает на острове.

Я узнал от Алисова, что мой брат Н. В. перед эвакуацией Новороссийска заболел сыпным тифом и вместе с другими больными был эвакуирован из Новороссийска на пароход «Владимир». Доктор рассказал, какие мытарства пришлось испытать тогда пароходу «Владимир», на котором была масса тифозных. Сначала они были направлены в Салоники, но там греки их не приняли. Тогда англичане распорядились отправить их на остров Лемнос. Больше месяца «Владимир» стоял в море не разгруженным, выдерживая карантин, и люди гибли на «Владимире» как мухи. Отношение англичан к русским было отвратительное. Русские помещались на острове в летних палатках за проволочными заграждениями как военнопленные, под стражею английских солдат. Русские голодали. Доктор с ненавистью отзывался об англичанах и радовался, что он в России и не зависит от наших бывших союзников, играющих какую-то подлую роль в судьбах России.

* * *

5 августа с рассветом к «Марии» подошел катер, на котором отбыл на берег медицинский персонал нашего лазарета. Мне надлежало выгрузить имущество лазарета на плоскодонную баржу, которая выгружала с соседнего парохода снаряды. Я успел выпить чаю и плотно позавтракать. Подошедшая баржа была низкая, и мне пришлось спуститься на нее по веревочной лестнице. Груз передавали на баржу краном по имеющемуся у меня списку. Баржу сильно качало, так что ходить по ней, не держась за что-нибудь, было трудно. Я сидел на тюках и каждый раз после подъема крана выкрикивал номера груза. Солнце приятно грело мне в спину. Море сильно плескалось и часто выбрасывало на баржу брызги разбивающихся волн. Мне было хорошо видно, как ежеминутно подымалась и опускалась

передняя часть баржи. Плавно и мягко, точно живая, баржа ворочалась возле неподвижно стоящей «Марии» и казалась ничтожеством по сравнению с громадным корпусом красивого корабля.

В течение более двух часов производилась разгрузка. Перегрузка кончилась. Доктор кричал сверху, чтобы очистить место для покойника. Это место было возле меня, или, вернее, подо мною, на палубе, возле нагроможденных тюков. Высоко надо мною, сопровождаемый криком «вира помалу» и грохотом работающей машины, взвился кран с прикрепленными к нему носилками. Покойника осторожно спускали на баржу и поставили у моих ног. Казак был покрыт с головой старой солдатской шинелью, и в ногах его был узел с его вещами. Баржа отчалила и, лавируя среди стоящих уже разгруженными кораблей, плавно раскачиваясь, направлялась к берегу.

С низкой баржи берег был едва виден. Нам предстояло идти не менее двух часов. Мне было удобно сидеть. Я вынул из сумки тетрадь и начал записывать свои впечатления. На барже люди куда-то исчезли. Их не было видно. Санитар и фельдшер, бывшие при мне, тоже скрылись. На барже точно никого не было. Я сидел высоко на тюках, и подо мною стояли носилки с покойником. Мне думается: прочтет ли когда-нибудь эти строки моя дочь Оля? Узнает ли когда-нибудь Маня, последней проводившая меня из Чернигова, о многих мытарствах и скитаниях? А Лида и Шура! Им было бы тоже интересно прочитать о том, что пришлось повидать и испытать Дмитрию Васильевичу. Они, наверное, прозвали бы меня Робинзоном или дали бы кличку одного из героев Майн Рида.

Да и мне самому все это кажется сном-сказкой. Один в море, на барже, с военным грузом, в военной форме. Покойник в ногах. Мог ли я думать, что именно это предстоит мне к концу моей жизни? Я собирался уже выходить в отставку и мирно жить среди дорогих мне людей. Уютный кабинет - работа, журналы, газеты, музыка, общественная деятельность... И вместо этого на войне с тем народом, который я так любил.

Мне скоро исполнится 50 лет - казалось бы, что после моей трудовой жизни, которая прошла на глазах русских людей, я заслуживал бы иной оценки от своей Родины и имел бы право воспользоваться в мои года заслуженным покоем и отдыхом. Но судьба уготовила мне другое. Правду говорят, что никто не ожидает, какая ему предназначена смерть. И, может быть, все это и есть моя смерть - длительная, мучительная и вдали от своих. Этот покойник-казак был уже почти дома, и вот на берегу своей Родины он убит большевистским снарядом. Ежеминутно и мне

грозит такая же участь.

Я смотрю на горизонт. Как раз в это время каждое утро над станицей появляется большевистский аэроплан. Меня тошнит, и делается как-то безразлично. Я рад, что на палубе никого нет. Я чувствую, что меня будет рвать, и я боюсь запачкать тюки или попасть на покойника.

Станица Ахтарская напоминала нам Малороссию. Это была уже не чуждая нам картина, а свое собственное, знакомое. Мы заняли под лазарет помещение библиотеки и так называемого народного университета. Здесь еще были всякого рода большевистские объявления, плакаты и гравюры, что дало нашему представлению знакомую картину большевистского учреждения. Местный учитель Смирнов - комиссар народного образования - был типичный большевистский комиссар. Он был вежлив, но относился к нам враждебно. Вообще первое впечатление в Ахтарской было неприятное. Местные жители относились к нам сдержанно.

Последующие дни вполне убедили нас в этом и дали наглядные доказательства недоброжелательного к нам отношения местных жителей. Нам отказывали во всем. Если бы не интендантство, которое давало нам сахар и по фунту хлеба в день, мы были бы совсем без пищи. Три дня мы питались этим хлебом с кусочком сала, которое оставалось у нас с дороги, и пили чай. Только на третий день нам удалось достать молоко. Богатейшая станица, по которой в несметном количестве бродили по улицам куры, утки, гуси, телята, поросята, свиньи, коровы, овцы, наотрез отказывала нам во всем, а малейшее принуждение вызывало протест. Был случай, что после отказа казачки продать курицу полковник приказал зарезать одну курицу и высыпал хозяйке на стол целую кучу денег. Баба пошла жаловаться.

Враждебное отношение сказывалось не только в отказе давать продукты питания. Все время мы не могли найти женщину, которая согласилась бы постирать нам белье. Местные жители держали себя в стороне от нас и в разговоры вступали неохотно. Во многих случаях, конечно, это объяснялось боязнью, что в случае возвращения большевиков они ответят за гостеприимство белогвардейцев. Нельзя было не подметить и полного недоверия к силам десанта. Жители считали большевиков непобедимыми и открыто говорили об этом, покачивая головой, когда их уверяли, что на этот раз несомненно большевики будут изгнаны из Кубани. Так было с нашим хозяином, богатым казаком Некрасовым. Он дал нам молока, но просил об этом никому не говорить. Жители боялись друг друга, сознавая отлично, что выдадут свои же и свои же будут опять комиссарами.

Впечатление было тяжелое и невольно отражалось на общем настроении. Еще не было никаких оснований опасаться за будущее, но в настроении публики произошел перелом. Опять портил тыл. Опять за армией оставалось недружелюбное население. К нам подходили оставшиеся в Ахтарской молодые казаки и очень хитро с нами разговаривали, и это были большевики. Все чаще и чаще начинался разговор о том, как и куда отступать в случае неудачи. С фронта шли вести о крупных успехах. Передовые отряды были уже недалеко от Екатеринодара. Были получены сведения, что одновременно с нами высадились десанты на Тамани, в Анапе и возле Новочеркасска. Занятие столицы Кубани - Екатеринодара считалось обеспеченным. Станция Тимошевка уже давно была в наших руках. Казалось бы, все обстояло благополучно, но к вечеру в ночь на 8 августа как бы беспричинно у всех создалось зловещее настроение.

Откуда-то шли слухи, что генерал Улагай зарвался и что мы отрезаны от своей дивизии. В связи с громадным плакатом, оповещающим о крупных победах, слух этот казался абсурдным. Тем не менее настроение у всех было подавленное. Возражения не принимались, и публика критически отмахивалась рукою. Нелепость всяких слухов опровергалась еще полученным распоряжением о передвижении всех тыловых учреждений в Тимошевку. Нашему лазарету было приказано следовать к своей дивизии за Тимошевку, и мы одни из первых должны были войти в Екатеринодар. Было ясно, что мы идем вперед и оставляем базу. К тому же пароходы, высадившие десант, уже покинули бухту, и, следовательно, об отступлении не могло быть и речи.

Утром 8 августа мы проснулись под звуки оглушительной канонады. Что это означало, никто не знал, и допытаться чего-либо не представлялось возможным. В это время Любарский получил от начальника санитарной части распоряжение скорее грузиться в вагоны. Я собирался идти к коменданту просить содействия к реквизиции подвод, но в это время к нам в комнату один за другим приходили врачи и передавали слухи о появлении возле Ахтарской большевиков. Любарский торопил меня. Я взял двух фельдшеров и быстро направился с ними к коменданту, который помещался в конце той же улицы к морю. Нам встречались шедшие группами и в одиночку с котомками, чемоданами и винтовками за плечом военные, которые на наши вопросы коротко отвечали, что приказано выступать к вокзалу. Никто из них не мог объяснить нам, откуда стреляют и что происходит.

На улице было пустынно. Только издали было видно, как кое-где на перекрестках через дорогу перебегали люди. Меньше чем

на полпути перед нами, возле комендантского управления, разорвался снаряд, подняв целый столб черной пыли. Мы повернули обратно. Любарский с чемоданом в руках стоял уже у подъезда и сказал мне: «Идем к вокзалу». Мы шли молча. Снаряды рвались именно у вокзала. Обгоняющие нас военные на наши вопросы отвечали, что сами не знают, в чем дело. Любарский шел медленно и спокойно. На площади возле вокзала уже стояли в строю сформированные части. Всех, кто подходил с винтовкой, останавливали и ставили в строй.

Здесь мы узнали, что обстрел станицы идет с моря и что большевики высаживают десант в том самом месте, где происходил наш десант. Здесь уже были врачи Гноринский, Марк, Макарский, фельдшера и некоторые сестры. Возле вагонов толпилось много народу. При каждом новом разрыве снаряда все панически лезли в вагоны. Вагоны были уже переполнены. Весь генералитет, штабы, интендантство были уже здесь. Мы с Любарским не знали, как поступить, так как никаких распоряжений мы не получали.

В это время еще издали мы увидали идущего с чемоданом в руке начальника санитарной части генерала Кожина. Любарский подошел к нему и спросил, что все это значит и что ему делать. Генерал ответил очень коротко: «Пока не поздно, садитесь в вагоны». Услышав эти слова, стоявший возле нас доктор Макарский решил сбегать за своими вещами. Я просил его захватить мои записки, которые лежали на окне, и предупредить Тарнавского, которого не было с нами. Мы влезли в вагон вместе с начальником санитарной части.

Огонь был направлен, очевидно, на участок вокзала, так как снаряды рвались в непосредственной близости возле полотна железной дороги. Было жутко, но спокойно. В голове не укладывалась мысль, что ежеминутно снаряд мог попасть в поезд. Стоявшие возле вагонов военные лезли в поезд. Какой-то полковник бегал по полотну и кричал, чтобы все вооруженные шли в строй. Никто не двигался с места, и только когда он пригрозил расстрелять на месте не повинующихся, многие нехотя вылезли из вагонов. Было стыдно, тем более что многие из них имели Георгиевские кресты и ленты.

Снаряды оглушительно рвались у самого поезда. Я был рад, когда увидел бегущими к поезду доктора Макарского с Тарнавским. Конечно, моих записок они не захватили. Поезд тронулся. Уже на ходу масса военных вскакивала в поезд. Только несколько позже, когда поезд вышел из сферы обстрела, люди как бы опомнились и стали спокойно рассуждать. Оставшийся без прикрытия тыл направлялся к фронту, отступая от ежеминутно

ожидаемого десанта красных. Солдаты видели лодку с людьми, причалившую перед бомбардировкой к пристани. Это были большевики, которых узнали только тогда, когда они начали уговаривать солдат перейти на их сторону. Их было человек двадцать. Вместо того чтобы открыть по ним огонь, солдаты побежали доложить по начальству.

Разговор не вязался. Все сидели молча, и после нервной встряски многие дремали. Часа через 2-3 поезд подходил к станции Ольгинской. Публика оживилась. На станции и возле нее было большое движение. Возле Ольгинской, в непосредственной близости шли серьезные бои.

Здесь мы узнали, что крупные силы большевиков ударили со стороны Ейска в тыл наступающим на Екатеринодар войскам и обстреливают станцию Тимошевку. База оказалась отрезанной. Войскам пришлось повернуть назад на Тимошевку и Ольгинскую, где оставленные для прикрытия юнкера сдерживали натиск большевиков. С часу на час ожидали генерала Бабиева, который шел уже со своей дивизией на выручку юнкерам.

Как только поезд остановился, сейчас же весь способный к бою элемент был снят с поезда и направлен в помощь юнкерам. Положение признавалось крайне тяжелым. Где-то впереди железнодорожный путь был перерезан красными, что задерживало прибытие дивизии Бабиева. От ст. Тимошевка наши части отступили к Ольгинской. Одним словом, дальше ехать было некуда. Ежеминутно ждали атаки красных, цепи которых были в трех верстах от ст. Ольгинской.

Аэроплан сбросил при нас донесение, что большевики наступают колоннами. Юнкера стояли в цепи возле самого полотна железной дороги. Издали по дороге из Ольгинской шли какие-то воинские части с обозами. Впереди вели группу пленных красноармейцев, человек пятьдесят. Во всех направлениях на рысях и шагом шныряли верховые. Стрельбы не было, но, видимо, происходило что-то серьезное. Вся надежда была на помощь Бабиева.

Из Ахтарской по телеграфу передавали, что бомбардировка кончена и что десанту красных помешал высадиться миноносец. Наш поезд торопили возвратить обратно. По общему мнению, дела были плохи, и если генералу Бабиеву не удастся отстоять Ольгинскую, то мы останемся отрезанными в Ахтарской. Назад никому ехать не хотелось. Тем не менее наш поезд медленно стал отходить от станции. Вечерело.

По дороге вдоль полотна железной дороги двигался обоз, на последних подводах которого сидели две сестры милосердия. Справа от них впереди двигались цепью воинские части. Поезд

шел медленно и скучно. Мы обгоняли отдельные подводы, направляющиеся к Ахтырям. Нас встретили сестры Иванова-Аверианова и Лавренова, которые не успели выехать с нами. Укрываясь от снарядов, они зашли в какой-то дом и таким образом отделились от нас. Мы условились теперь, что без моего ведома никто не будет отлучаться из лазаретного помещения. Я был рад, что нашел свои записки на том же месте, где я их оставил, и теперь решил уже больше со своей сумкой не расставаться ни на минуту. Я спал отлично и встал раньше всех.

Рано утром меня вызвал к себе начальник санитарной части и лично приказал сейчас же грузить имущество лазарета в вагоны и не отпускать от себя служащих. Все надеялись, что дивизия генерала Бабиева разгромит под Ольгинской красных и мы тотчас двинемся к Екатеринодару. Всем хотелось скорее уехать из Ахтарской, тем более что ежедневно утром и вечером над станцией появлялись большевистские аэропланы, сбрасывавшие бомбы и стрелявшие из пулеметов. До сих пор они вреда не причинили, но морально действовали невероятно. Мы торопились, и, как нарочно, в момент погрузки над самым поездом появился аэроплан, бросавший бомбы и стрелявший из пулемета. Мы попрятались в вагон и оттуда наблюдали, как далеко за вокзалом разрывались эти бомбы.

Эта боевая обстановка тем не менее не нарушила дня, и жизнь шла своим порядком. Мы ждали распоряжений и жили в вагонах, ничего не делая. Впрочем, я был всегда занят и вставал раньше всех, так как с утра нужно было позаботиться о приготовлении обеда и ужина. Часть продуктов и мяса я получал от интендантства тут же, возле вагонов, а часть приходилось покупать в станице на базаре, и потому ежедневно рано утром я ходил со своими двумя санитарами (их было у меня только двое) в Ахтарскую на базар. Обед варился на костре тут же, возле железнодорожной насыпи. Вдоль всего поезда в это время обыкновенно горело десяток, если не больше, таких костров, так как каждая часть варила себе обед отдельно.

Рядом с нашими вагонами были вагоны интенданта, а с другой стороны - вагон Белого Креста. Целый день мы проводили вместе, расположившись бивуаком на траве возле котла, а на ночь выносили из вагона складные лазаретные койки и спали на них на воздухе, так как в вагоне было душно. Мы уже знали, что рано утром обязательно над поездом появится красный аэроплан и будет бросать бомбы. Я всегда с вечера боялся проспать этот момент, так как все обыкновенно вскакивали при приближении аэроплана и прятались в одном нижнем белье в вагоны. Но я всегда вставал раньше, так что один раз я был уже на базаре,

когда появился неприятельский аэроплан.

Ночи были уже прохладные, но спалось хорошо. Я жалел только, что у меня не было подушки. Долго иногда по вечерам я лежал под открытым небом и, всматриваясь в яркие августовские звезды, передумывал свои думы. Бывало и так, что на душе становилось жутко и страшно, но твердая решимость встретить свою судьбу, какая бы она ни была, разгоняла эти тяжелые думы. Все-таки это было лучше, чем невыносимое в мораль -ном отношении существование в Болгарии и Румынии. Я был удовлетворен тем, что причастен к активной борьбе против той мерзости, которую я сам видел и испытал при большевиках, А там что Бог даст. Я видел еще в Феодосии, с какой решимостью шли офицеры и казаки в Кубанский десант. Я не участвовал на грандиозном обеде, который устроили офицеры в Феодосии накануне отправки десанта, но слышал от участников этого обеда, и сам даже видел это настроение, проходя по тротуару вдоль решетчатой ограды сада, где происходил этот прощальный обед. «Бороться до конца - это все, что осталось свободным от большевизма русским людям» - так говорилось на этом обеде.

Под вечер я с фельдшерами ходил к морю купаться. Невзирая на ежеминутную возможность появления аэроплана, мы шли к морю, которое было не более как в полуверсте от вокзала. Купанье было плохое. В море возле берега было так мелко, что нужно было идти по колено в воде по крайней мере с полверсты, чтобы окунуться. Мы купались как в ванне, ложась на песчаное дно этого мелкого моря. Вода была грязная и мутная. Удовольствие было небольшое, но мы купались не для удовольствия, а ради чистоты тела. Мы были сыты, так как сестра Корнилова варила отличный жирный и густой борщ. На ужин был тот же борщ, оставшийся от обеда. Я был в хороших отношениях с интендантом, и это шло нам в пользу. Он был мне очень благодарен. Я дал ему лазаретную складную койку, и он спал вместе с нами.

Однажды после обеда, когда я в одиночестве сидел возле котла, ко мне подошли три офицера, все в пыли, грязные, с винтовками за плечами, и спросили, нельзя ли им поесть. Борща оставалось много, и я, конечно, накормил их. Они были голодные и пришли из-под Ольгинской по делам в отдел снабжения. Один из них, видя мой радушный прием, спросил меня, нельзя ли в интендантстве достать табачку. Через минуту я принес им три пачки табаку и папиросной бумаги. Они очень благодарили меня и спрашивали полушутя, нельзя ли и завтра прийти обедать. Они были где-то недалеко от Ахтарской.

На следующий день в это самое время к нашему котлу

прибыло более 30 человек офицеров, солдат, которые, услыхав там, на позиции, что можно хорошо пообедать в дивизионном лазарете, прибежали в Ахтарскую специально, чтобы пообедать. Конечно, они все были удовлетворены и, поблагодарив меня, направились обратно. От них мы узнали, что дела идут хорошо, и даже возле Ольгинской взято 4000 пленных.

В тот же день я получил большой сюрприз. Видя мои заплатанные штаны и вообще мою скудость в одежде, полковник-интендант подозвал меня к вагону и приказал своим казакам выдать мне полный комплект обмундирования с сапогами и английской шинелью и две смены белья. Я сказал ему, что имею отличную шинель русского образца, и мне не нужно, но полковник, трепля меня по плечу, говорил: «Берите все», а потом, наклонившись, сказал мне на ухо: «Наденьте на себя сейчас же все новое, а то, знаете, все может случиться, поверьте моему опыту». И я тотчас же переоделся, засунув в свою сумку другую смену белья, полотенце и два куска мыла. Мой мешок с другими вещами сделался невероятно объемистый, и я думал, что мне с ним делать, если придется идти пешком. И я тотчас выбрал из этого мешка все самое необходимое и сделал из этих вещей небольшую ручную котомочку, которую легко можно было нести в руках. И в этом впоследствии было мне спасение, иначе я остался бы совсем без вещей.

Интересно, что каждый день возле нашего поезда толпились детишки из станицы Ахтарской. Конечно, их прежде всего соблазняли остатки пищи в котлах, которые отдавались им. Это было наше развлечение. Были бойкие мальчики, которые охотно говорили и весьма характерно изображали большевистский режим. Они, эти дети, были явно настроены против большевиков, которых к тому же боялись, и говорили, что мы совершенно другие люди. Перебивая друг друга, они рассказывали нам, как их родители прятали все свое добро от большевиков и закапывали в земле все более ценное. Большевики отбирали все и отымали у жителей хлеб и другие продукты.

На мой вопрос, как они учатся в школе, мальчики дали нам полную картину разложения школы. Учебников нет. Бумаги, чернила, карандашей тоже нет. Учитель все только рассказывает, а дети слушают. «Больше все учитель нас водит гулять и все по дороге объясняет», - говорил один бойкий мальчик с явным оттенком критики такого учения. Родители недовольны большевиками и хотят их прогнать, но они сильные, и никто их не может победить. Когда мы говорили, что мы их прогоним, дети недоверчиво шатали головой, говоря «ни».

Лазарет был погружен в вагоны и выжидал отправки по

назначению. Возле Ольгинской шли большие бои. Уже было известно, что дивизия Бабиева обошла красных и жмет их к северу. В Ахтарскую пригнали более 3000 пленных. Одновременно с тысячами начали прибывать раненые. Начальник санитарной части распорядился, чтобы раненых принял наш лазарет в оставленном нами помещении, но вместе с тем приказал не разгружаться, а вынуть из ящика только самое необходимое для оказания раненым первоначальной помощи. Мне лично профессор Кожин приказал отобрать из числа красноармейцев 50 санитаров и приучить их делу, чтобы при дальнейшем следовании у меня были опытные люди.

Красноармейцы были ободранные, босые и в одном нижнем белье. На мой вопрос, кто желает идти в санитары, толпа дрогнула, и ко мне бросились сотни людей. Я выбрал тех, кто мне казался по наружному виду более симпатичным. Они шли с охотой, и, видимо, никто из них не хотел воевать. Они были голодные. Я тотчас выдал своим санитарам провизию и приказал сварить себе пищу. Я отобрал себе юную молодежь в возрасте лет 18-20. Все это были простые деревенские парни, в большинстве из северных губерний. Они не были похожи на солдат и походили скорее на мародеров. Эта голодная толпа с оружием в руках, конечно, была грабительская толпа, и можно сказать с уверенностью, что каждый из них не раз принимал участие в грабежах. Я выбрал себе вестового Егора Соболева, который безотлучно должен был находиться при мне.

Постепенно мы разговорились. Соболев сказал мне, что их полк сдался без боя, когда конница зашла им в тыл. Комиссары и коммунисты в числе около 50 человек бились до последней минуты и были, конечно, все перебиты. В первый момент комиссары стреляли в красноармейцев, положивших оружие, и убили человек двадцать. Полковой командир и главные комиссары-евреи своевременно убежали.

В течение дня лазарет принял 107 раненых, разместив их на соломе в помещении лазарета (народный университет). Раненые говорили, что громадные силы красных теснят Бабиева, и если ему не удастся отстоять Ольгинскую, то мы будем отрезаны и прижаты к морю. Ольгинская переходила из рук в руки. Вместе с ранеными привезли трупы начальника станции Ольгинской и его помощника, зверски убитых большевиками при занятии ими станции. Они были расстреляны за то, что не ушли вместе с большевиками, когда добровольцы заняли станцию. Вообще большевики жестоко расправлялись с местными жителями, ко - торые хотя чем-нибудь проявили себя в отношении к белогвардейцам. Несколько позже мы узнали, что при

приближении наших отрядов к Екатеринодару большевики расстреляли в екатеринодарской тюрьме 14 заложников.

Мы были заняты. Медицинский персонал делал перевязки, а я торопился приготовить ужин. Перед вечером распространился слух, что наши дела плохи и будто бы всем приказано быть в полной боевой готовности. Со стороны Ольгинской прорвался бронепоезд большевиков, который идет в Ахтыри. Опасность прежде всего угрожала вокзалу. Мы тотчас же перенесли свои вещи в лазарет и ждали серьезных событий. В этот раз мы не растерялись и после небольшого совещания решили исполнить свой долг до конца и оставаться с ранеными, какая бы участь их ни постигла.

Перед вечером во двор лазарета въехала подвода с двумя ранеными офицерами. Беспокойное настроение их указывало, что дела в Ольгинской были очень плохи, и они утверждали, что дивизия отступает. Они просили не снимать их с повозки в расчете, что они будут эвакуированы. Когда им было разъяснено, что по этому поводу нет никаких распоряжений, они в раздражении требовали вызова начальника санитарной части. Мы раздавали ужин и собирались заняться регистрацией раненых. В это время где-то вблизи раздался оглушительный взрыв. Тотчас после него последовал другой и третий такие же взрывы, и началась бомбардировка станицы Ахтарской.

Мы полагали, что бомбардирует станицу прорвавшийся бронепоезд, но оказалось, что большевики обстреливают станицу с моря. Снаряды рвались с невероятной силой, производя каждый раз страшный грохот. В этот раз паники не было вовсе. Все были на своих местах. Раненые сильно беспокоились и спрашивали, что это значит. Опять предполагали, что бомбардировка связана с десантом, и потому боялись, что через какой-нибудь час-два мы будем в руках большевиков. Снаряды рвались в большинстве возле вокзала и на базарной площади, но попадали и в центр станицы. Одним снарядом разворотило подъезд здания штаба, а другим вырыло яму возле комендантского управления.

Это был такой треск, что нам казалось, будто снаряд попал в лазарет. Мы стояли во дворе возле повозки с ранеными офицерами. Еще когда только снаряд этот, со страшным свистом рассекая воздух, пролетел над лазаретом, врачи Марк и Макарский быстро присели к земле и пригнулись головой под повозку. Невольно присели и все стоявшие во дворе. Это было инстинктивное движение и, конечно, каждый сознавал, что этим он не спасет себя. После этого разрыва снаряды пролетали над лазаретом. Все бывшие во дворе устремились в здание лазарета. В числе прочих и я вошел в сени, где уже столпились служащие,

санитары и некоторые раненые.

Люди уходили не от снарядов, так как отлично понималось, что деревянные стены не могут служить защитой, а уходили от сильного ощущения. Публика волновалась. При каждом разрыве все съеживались и прижимались ближе к стене. Студент медик Харьковского университета, мой приятель Виталий, состоящий старшим фельдшером лазарета, пресимпатичный малый, даже присел за моей спиной в самый угол сеней и приговаривал при каждом разрыве: «Боже мой». Потом мы с ним смеялись над этим моментом и удивлялись, какую страшную силу имеет инстинкт самосохранения.

Я вышел в палату к больным. Дежурная сестра Лавренова громко успокаивала раненых, говоря, как говорят детям, что бомбардировка сейчас прекратится. Раненые смотрели на меня вопрошающе и как бы требовали от меня успокоительного слова. Я говорил тоже какой-то вздор. Называя меня доктором, офицеры говорили мне, что «ей-богу, на позициях и в бою лучше все это переносить, чем здесь». Ужасно страдая, лежащий возле моих ног с расстегнутой на груди рубахой усатый, плотный казак с нашивками (унтер-офицер) шептал что-то губами. Я нагнулся к нему в тот момент, когда, казалось, здание затряслось от взрыва снаряда. Казак почти шепотом спросил, вывезут ли, если придут большевики. Я успокаивал его.

Сестра Лавренова подошла ко мне и сказала мне шепотом, чтобы я снял погоны и одел на рукав повязку Красного Креста, которую надели уже все. У меня такой повязки не было, а между тем, по мнению Лавре-новой, это было необходимо на случай, если в Ахтарскую ворвутся большевики. Сестра Лавренова побежала посмотреть, нет ли у нее лишней повязки. В разгар бомбардировки в лазарет явился комендант станицы полковник Новицкий и предложил сейчас же приступить к составлению списков раненых, служащих и санитаров на случай эвакуации Ахтарской. Он просил сейчас же прислать ему эти списки, чтобы сообразить план эвакуации. Пришлось сесть за работу.

Странно было писать и работать под бомбардировку, когда при каждом разрыве снаряда дрожало чуть ли не все здание. После двухчасовой бомбардировки обстрел станицы сразу прекратился, но еще некоторое время была слышна канонада, но вдали, точно бой происходил далеко в море. Потом мы узнали, что миноносец «Жаркий» вступил в бой с большевистской флотилией и этим отвлек большевиков от Ахтарской. С наступлением темноты в лазарет прибыл начальник санитарной части и объявил раненым, что завтра они будут эвакуироваться в Крым. Получены сведения, что суда для эвакуации уже вышли и

должны быть утром здесь. Бомбардировка не причинила много вреда. Несколько человек было ранено осколками от снарядов и несколько женщин лежали в обмороке. По крайне мере, в лазарет несколько раз прибегали жители, приглашая врачей к таким женщинам.

Чтобы сгладить тяжелое впечатление бомбардировки, комендант Новицкий (тот самый, который переходил с нами румынскую границу) распорядился, чтобы в саду народного университета возле лазарета играл оркестр. Вышло нечто вроде гулянья. Публики, конечно, было мало, и исключительно военные. Мы легли спать очень поздно и ночевали уже не в вагонах, а при лазарете все вместе во флигеле.

С нами была часть санитаров, которые расположились в передней и на веранде. Настроение их было в нашу пользу. Они рассказывали, что в Ростове было сосредоточено более 100 тысяч красноармейцев, которых готовили к форсированию Перекопа, но по случаю десанта их направили против нас. По их словам, наступает сейчас на Кубань более 60 тысяч красных. Если это правда, то, конечно, генералу Улагаю не удастся удержать фронт. Мы спали не раздеваясь в ожидании всякой случайности. Мы с Любарским легли позже всех. Ему страшно хотелось есть. Я собрал в котелок со дна котла остатки ужина и разогревал их на щепках тут же возле флигеля. Доктор Любарский был морфинист и был в отчаянии, что у него почти не осталось морфия. Он боялся ослабеть в дороге и просил меня его не оставить, если он заболеет. Мы разговаривали еще долго. Я был настроен пессимистически. Доктор Любарский возражал мне и рассказывал эпизоды из германской войны, доказывая, что еще не все пропало.

С рассветом я был разбужен дежурной сестрой милосердия В. И. Лавреновой, которая взволнованно говорила, что Ахтарская эвакуируется: и все учреждения уже грузятся на подводы. В один момент я был у коменданта. Полковник Новицкий набросился на меня с упреком, говоря: «Что же вы спите, когда все уезжают?» Эвакуация производилась в спешном порядке. Генерал Бабиев передал, что держаться он дольше не может и через час отступает перед превосходными силами противника. Через час мы должны были покинуть Ахтарскую, вывезя с собою 111 раненых. Задача была нелегкая. В суете труднее всего было достать подводы, и если бы не содействие коменданта, то вряд ли мы могли выполнить нашу задачу.

В подводах был недостаток. Было решено укладывать на повозки только тяжелораненых, а легкораненых разместить на свободные места уже в дороге. При таких обстоятельствах, конечно, весь медицинский персонал и служащие лазарета вышли

из Ахтарской пешком, бросив свои вещи и взяв в руки только ручной багаж. Санитары из красноармейцев пожелали следовать с нами, причем мой вестовой Соболев предложил мне нести мою котомку с вещами. Санитары заявили мне, что они ни за что не останутся у большевиков, и когда я им сказал, что они безусловно могут идти с нами, то они все без исключения присоединились к нашему обозу.

Мы проходили возле вокзала, где уже следовали обозы других учреждений. Все, что было погружено в вагоны, все имущество лазарета, интендантства, снабжения - все это богатство было брошено. Только интендантство спешно раздавало военнопленным и всем, кто был налицо, обмундирование, торопя их следовать за обозом. Это была, в сущности, не раздача одежды, а просто красноармейцам было предоставлено разбирать все, что было в вагонах. Мы приостановились на минутку, и я послал своих красноармейцев взять себе полный комплект одежды. Местное население уже знало об этом и тоже бросилось к вокзалу. Целые толпы, главным образом баб, бросились к вокзалу, и мы видели с какой жадностью они несли целые десятки шинелей, френчей и других вещей. Мы стыдили их, а они нам уже нагло и со злобой отвечали, что это не наше, а народное.

Обоз торопили. Была определенная задача, которую нужно было выполнить в кратчайший срок, иначе большевики могли отрезать обоз. Впереди и сзади шли бои. Мы шли на Степовую и Керпели, которые были заняты большевиками. Войска выбивали их из этих мест, чтобы пройти туда, куда мы отступали. Куда мы шли и с какой целью, никто не знал. Сзади была несомненная опасность со стороны могущей прорваться конницы. Это сознавалось всеми, и потому обоз шел быстро, предпочитая идти к месту боя, чем остаться в руках большевиков.

Первые 15-20 верст шли спокойно и быстро, но постепенно издали впереди усиливалась канонада, и на горизонте виднелись разрывы снарядов. Никуда не сворачивая, обоз шел прямо к этому месту. Настроение раненых становилось тревожным. Целые фонтаны черной земли с дымом при разрыве гранат и белые дымки от шрапнелей были отлично видны каждый раз, когда большевистская артиллерия обстреливала впереди местность, куда шел обоз. Скоро обозу приказано было остановиться. Мы пропускали артиллерию и конные части. Хоть впереди был бой, но каждый стремился вперед, сознавая, что сзади теперь нет никаких войск. Обоз тронулся.

Впереди был ад. Мы подходили к тому месту, где рвались снаряды. Слева под горкой на дороге стояла только что обогнавшая нас батарея. Возле нее под скирдой соломы стоял спешенный отряд конницы. На скирде и на горке стояли военные и смотрели в бинокль. Направо возле дороги, несколько впереди, с интервалами рвались одновременно по четыре снаряда, подымая фонтаны черной болотистой земли. Мы проезжали мимо наших орудий, которые одно за другим выпускали снаряды несколько влево от горки, на которой стояли наблюдатели. Генерал, стоявший недалеко от орудий верхом на лошади, приказал нам держаться от орудий несколько вправо. Обоз двигался по болотистому месту между двумя дорогами, на одной из которых стояла наша батарея, а на дальнейшей правее беспрерывно рвались большевистские снаряды. Обозу было приказано ехать рысью, чтобы скорее пройти это место.

Мы подъезжали ко второй батарее, которая беспрерывно посылала из своих орудий снаряды большевикам. Здесь положение, очевидно, было серьезнее, так как где-то очень близко трещали пулеметы и явственно слышались ружейные выстрелы. Над нами жужжали пули. Многие начали пригибать голову и шли пригнувшись. Сидящие на повозках прилегли или нагнулись к самой повозке. Четыре снаряда одновременно разорвались совсем близко от обоза, а вверху прямо над нами разорвалась шрапнель, тяжело ранив мальчика - возницу соседней поводы.

Доктор Любарский обратился ко мне с просьбой в случае, если он будет убит, взять его вещи и передать дочери, обещая сделать в отношении меня то же. Минута была серьезная. Пули визжали над нами, вызывая жуткое ощущение. Было трудно держаться, чтобы не наклонять головы. Вправо и рядом с нами шли ротами военнопленные красноармейцы, и командир их кричал, чтобы они не пригибались и не расстраивали ряды.

Тем не менее вся колона брала вправо и, расстроившись, отходила к реке, поросшей камышом. Большое пространство луга возле растянувшегося гуськом обоза опустело. Кто только мог, отдалился от этого места. Одна только сестра милосердия Белого Креста В. В. Энгельгардт шла по этому месту недалеко от нашей повозки. Сосредоточенно, серьезно, не ускоряя шага, Энгельгардт шла под пулями, выделяясь в своем наряде сестры милосердия на зеленом фоне луга. Мы встретились глазами. Улыбаясь, я посылал ей рукой приветствие. Отвечая улыбкой, сестра Энгельгардт продолжала идти твердою поступью. Как раз в это время Любарского звали к раненому мальчику. Наша повозка остановилась, но сейчас же поднялся крик, чтобы мы не останавливались.

Впереди справа, недалеко возле сестры Энгельгардт, шел солдат, который вдруг, как будто испугавшись, остановился и пошатнулся. Изо рта его обильно шла кровь. Зажав рот рукой, солдат побежал к обозу и успел вскочить на одну из повозок. Сестра Энгельгардт, видя это, остановилась и раскрыла свою сумку, желая, видимо, оказать помощь раненому, но солдат был уже на повозке. Сестра продолжала идти уверенным шагом вперед. В этом ужасном месте некоторые раненые, лежа на своих повозках, были вторично ранены. Между прочим, такая судьба постигла тех двух офицеров, которые лежали на повозке во дворе лазарета при бомбардировке Ахтарской. На той же повозке они последовали с обозом и оба были вторично ранены на этом месте. Наш доктор Макарский подавал им первую помощь. Пуля попала одному из них в левую руку и, пройдя далее, засела в левой руке соседа.

Мы проехали еще одну батарею, которая беспрерывно стреляла по большевикам. Здесь еще раз было приказано двигаться быстрее, чтобы хвосты обоза могли скорее проехать опасное место и не задерживать предстоящую переправу возле хутора Керпели. Все эти 5-6 верст мы шли под сильнейшим обстрелом и видели бой. Недалеко возле дороги наша конница лавою пошла в атаку на приближающуюся цепь неприятеля. Издали на пригорке они ужасно напоминали оловянных солдатиков, которыми мы играли в детстве. Обоз шел за нашими

цепями, которые ждали атаки красных и вели с ними перестрелку.

Чем кончился бой, мы не знаем, так как быстро продвигались вперед, но потом стало известно, что во время атаки большевики успели отбить хвост обоза, принадлежавшего Алексеевскому полку. Я насчитал с нашей стороны 12 орудий, действовавших против большевиков. По мере приближения к гати и мостику через речку возле самого хутора Керпели визжание пуль становилось реже, и реже разрывались снаряды. По дороге лежали убитые люди и павшие лошади. Хотелось выехать из этой атмосферы смерти. Хутор Керпели, в который мы вступали в 8 часов вечера, еще вчера был в руках большевиков. Чтобы проехать к станице Гривенской, куда мы отступали, нашим войскам пришлось выбить из хутора красных и вести с ними бой. Хутор Керпели был за переправой по реке Протока, и здесь мы вышли из сферы обстрела.

В Керпелях была масса войск. Дивизия Бабиева соединилась здесь с нашей дивизией Шифнер-Маркевича, и вместе они отстаивали хутор от нажима большевиков со стороны Степовой. Обозу с ранеными было приказано следовать далее без остановки. Переутомленные, голодные, пройдя без передышки более 50 верст, обоз сделал привал в версте за хутором. Есть было нечего, кроме дынь и арбузов, которые мы набрали по дороге на баштанах. Отступление из Ахтарской было столь спешным, что никто не успел взять с собою куска хлеба. Целый день без остановки все шли, ничего не евши. В особенности мучила жажда. Фляги были пусты. По дороге встречались лиманы и болота, но в них была соленая вода. За каплю воды люди, и в особенности раненые, готовы были отдать все, но воды не было.

Впервые вода встретилась нам в реке Протока возле Керпелей. Несмотря на обстрел и близкие разрывы снарядов люди опрометью бросались к реке и, не обращая внимания на опасность, пили и набирали в фляги пресную воду. Наша стоянка за Керпелями продолжалась недолго. Раненые усиленно пили воду, болезненно утоляя продолжительную жажду. Несколько раненых умерли по дороге и были сняты с повозок и уложены тут же на траве возле подвод. Тут же, возле этих покойников, расположилась группами публика и, сидя на траве, ела арбузы и дыни.

Я ел дыню, стоя возле своей повозки, рядом с которой лежал на спине с открытыми глазами покойник. Кто был этот покойник? Офицер, или солдат, или такой же, как я, скиталец, примкнувший к армии, чтобы пробиваться на Родину, к своим, в свой родной дом? Он лежал без шинели и френча. Погон на нем не было, но

чистая рубашка с вышитой грудью указывала, что была женская рука, которая, может быть, с особой заботливостью и любовью вышивала любимому человеку эту рубашку. Его ждут дома, а тут до него нет никому никакого дела. Его приберут завтра, а может быть, и не успеют.

Он был один из многих, таких же, как и мы, и, может быть, теперь где-нибудь дома его вспоминают и молятся о спасении его жизни. Я знал и видел, как молились в России за тех, кто был сейчас здесь. Он был один из многих, незаметных, может быть серепьких людей, но имевших свою будничную жизнь, свою семью, свой дом и свое счастье. У него отняли все это и отняли жизнь. Я не чувствовал отвращения к этому трупу. Напротив, он мне был близок и жалок. Мне жаль было его жизни. Мне жаль было тех, кто ждет его и молится о сохранении его жизни... Покойник лежал почти рядом с солдатом, сидевшим на корточках и сосредоточенно евшим арбуз, выплевывая далеко вперед себя целый фонтан черных косточек. Я стоял, прислонившись спиной к повозке, и всматривался то в этого солдата, жадно евшего арбуз, то в покойника, неподвижно устремившего свои стеклянные глаза в пространство.

Грохот орудий и разрывы снарядов были сзади и не беспокоили меня. Я знал, что здесь снаряд не разорвется. Мои мысли были далеко отсюда. Мы отступали, и, значит, опять все потеряно и безнадежно. Не лучше ли умереть здесь, как закончил свои страдания этот без вести пропавший покойник! А разве дома знают, где я, и знают ли, что я шел к ним с полной надеждой и мечтой? Может быть, мне суждено погибнуть без вести пропавшим, и мои родные никогда не узнают, что сталось со мною, как не узнают и родные этого покойника, как он закончил свою жизнь.

Меня заставил очнуться лежавший на повозке раненый. «Господин доктор, - назвал меня раненый, - дайте напиться». Я подал ему флягу с водой, которой я запасся в Керпелях. Он стонал и жадно глотал воду... Уже смеркалось. Небо было покрыто черными тучами. С востока надвигалась гроза. Все чаще и чаще сверкала молния и повторялись раскаты грома. Становилось трудно распознать, где лежат мертвые и где прилегли живые люди. Жизнь и смерть сплелись так близко, что понятие о живом и мертвом потеряло свою остроту. Усталые и измученные люди не обращали внимания на трупы, возле которых они сидели и лежали.

Ко мне подошел доктор Любарский и плачевным голосом жаловался, что не мог нигде достать поесть. Я утешал его, говоря, что завтра утром наверное что-нибудь съедим. Доктор был

мрачен. Он медлительно копошился в своем чемодане и вытащил шприц. Нащупывая в полумраке иглу и вливая ощупью жидкость в свой шприц, он сопел и готовился к отраве. Не стесняясь присутствующих, он расстегнул брюки и вливал жидкость в область живота, несколько ниже пояса. Он жил.

Бой продолжался. Снаряды рвались позади нас, и им с ожесточением отвечали наши батареи, расположенные на этом берегу реки Протока. Уже почти совсем стемнело, когда последовательно один за другим два снаряда с оглушительным ревом разорвались где-то вблизи, ударив в место расположения обоза. Стало жутко. Любарский смотрел на небо, точно хотел определить полет снаряда, и говорил, что артиллерия красных переменила позицию и будет теперь стрелять по нам. Обоз как бы встрепенулся. Все вставали и торопились к своим повозкам. Спешно проходя мимо нас и на ходу застегивая куртку, доктор Макарский с деланой улыбкой говорил: «Вот так история». В это время точно тут, возле нас, опять разворотило два снаряда, и тотчас после этого все как-то спешно, порывисто и нервно стали передавать команду: «Обоз 2-й дивизии, вперед». Обоз тронулся.

Сильные удары грома, чередуясь с грохотом орудий и разрывами снарядов, потрясали всю атмосферу, точно состязание происходило между небом и землей. Начали накрапывать крупные, пыльные, теплые капли дождя. Яркие молнии ослепительно освещали всю местность, напоминающую ярмарку. Свинцово-серые тучи, точно дымящие впереди гигантскими клубами дыма, нависли над самым обозом и неслись с ударами грома, точно грозили смести все на своем пути. Мы двигались навстречу этой грозной стихии и шли вперед в непроглядную темень, в эту черную даль. А там у большевиков небо было еще чистое, приветливое, озаренное вечерней зарей. Кое-где там виднелись уже звезды.

Мы выбрались на дорогу. Генерал верхом на лошади и вестовым позади опрашивал каждую повозку: «Какой части?» Пропускали только лазарет 2-й дивизии с ранеными. Начался проливной дождь. Бой кончился. Гремели только раскаты грома и часто сверкала молния. Дорога делалась топкою, задерживая движение обоза. Лошади останавливались. Колеса грузли в глинистой почве. Шедшие возле повозок брались за воз и вытаскивали его из грязи. Дождь беспощадно шел прямо в лицо и затекал за воротник, в карманы и за рукава. Предстояло идти еще более 25 верст.

Еле двигаясь, люди и лошади тащились по грязи, часто приостанавливаясь и сбиваясь с дороги. Шли молча. Курить и говорить громко было запрещено. К полуночи дождь прекратился.

Это был теплый южный проливной дождь. Скоро промчались и тучи. Небо совершенно очистилось. Яркие звезды горели особенно чистым мерцанием, но все-таки было очень темно. На горизонте почти с трех сторон и даже несколько впереди очень часто взвивались ракеты и мерцали огни. Это сигнализировали большевики. Я шел возле повозки с ранеными, на дробинах которой сидел, клюя носом, Любарский. Я шел с Цукровским, которого я называл Колей.

Мне было приятно, что возле меня были свои люди - земляки Любарский и Цукровский. Мой вестовой красноармеец Соболев неизменно находился при мне. Он предложил мне нести мою сумку. В ней были документы и мои записки. Но тяжелая сумка так оттянула мне плечо, что я рад был передать ее Соболеву. Хотелось курить. И вот когда обоз приостановился, Цукровский лез под повозку и, накрывшись шинелью, чтобы не была видна вспышка огня, закуривал папиросу. Мы курили в рукав.

Идти было трудно. Топкая грязь приставала к сапогам и делала их невероятно тяжелыми. Движение обоза в эту глубокую ночь было бесшумное, беззвучное. Только иногда слабый скрип колес или ржание лошади нарушали эту таинственную обстановку томительно и с напряжением движущегося обоза. И тем сильнее били по нервам глухие стоны лежащего на соседней повозке раненого. Вероятно, это были ужасные страдания, так как стоны его - это были нечеловеческие стоны. Красноармеец Соболев заботился обо мне. В середине ночи, пройдя верст 10-15, он сказал мне: «Вы присели бы, г. заведующий». И действительно, возле Любарского можно было присесть. Я сел на ходу. Мне помог Соболев. От раненых исходил дурной запах, от которого тошнило. Промокшая шинель сделалась невероятно тяжелою, и я был счастлив, что мне удалось прицепиться к повозке. Временами дремалось до такой степени, что не было сил держаться на дробинах, и я боялся свалиться. Это было очень мучительно. Ночь была длинная, томительная, молчаливая и усталая.

Мы шли целую ночь и к рассвету 12 августа стали приближаться к станице Гривенской. Еще издали возле станции был слышен петушиный крик. Утро было холодное. Промокшая одежда и совершенно мокрые ноги вызывали озноб. Хотелось скорее обогреться, раздеться и высушить платье. Громадная станица тянулась на несколько верст и отличалась своим богатством. В каждом дворе было невероятное количество птицы, свиней, поросят, коров. Мы въехали в станицу с рассветом и надеялись здесь утолить голод, но и здесь отношение к нам было сдержанное. Повсюду нам отвечали отказом. С трудом мне удалось в одном дворе купить хлеб за 1000 рублей и десяток яиц

за 300 рублей. Я нес этот хлеб к повозке, где сидел доктор Любарский, чтобы дать ему кусок хлеба. Обоз в этот время несколько удалился, и мне пришлось догонять свою повозку.

Обгоняя десяток повозок, на которых лежали раненые и сидели на дробинах, клюя носом, сестры милосердия, я обратил внимание на раненого, лежавшего на повозке в очень неудобной позе. Рука его спустилась с повозки и болталась на весу. Мне казалось, что больной должен упасть. Я хотел разбудить его, но, встретив его стеклянный взгляд, я понял, что офицер был мертв. Сидевшая на соседней подводе сестра милосердия, опустив низко голову, дремала. Я хотел было разбудить ее и сказать, что больной умер, но потом решил не будить сестру. Я спросил только возницу, пожилого с проседью казака, указав на покойника: «Умер?» Казак, не оборачиваясь, ответил: «Скончался».

Обоз расположился на площади, где сейчас же был открыт перевязочный пункт. Нам посчастливилось. Мы с Любарским остановились у местного священника, который, однако, в пище нам отказал, так как у него уже были столовники. Мне безудержно хотелось спать, но по приказанию генерала Савицкого нужно было немедленно накормить раненых. Еле двигаясь от усталости, я вынужден был бегать по станице и раздобывать продукты питания. Раненые отправлялись в Ачуев для эвакуации на пароходах в Керчь. Нужно было торопиться. Целый день после двух бессонных ночей мне пришлось хлопотать, и к вечеру, изнемогая от усталости, я свалился на пол возле Любарского и заснул крепчайшим сном.

Спать пришлось недолго. Около 12 часов мы были разбужены. Был получен приказ немедленно отправить всех раненых на Ачуев и для сопровождения их назначить двух врачей, фельдшеров, сестер милосердия и санитаров. Сестры были измучены и не успели высушить одежды. Они чуть не плакали, когда я будил их и торопил, так как подводы были уже готовы. Около трех часов ночи мы закончили отправку раненых и вновь легли спать. Вся одежда была мокрая еще с дороги. Пришлось спать, не накрывшись шинелью, но спалось хорошо.

Утром у всех было скверное настроение. Недалеко слышалась сильная канонада, которая постепенно приближалась. Большевики где-то прорвали фронт и напирают на Гривенскую. Я торопился вымыть белье и просушить одежду. Погода была хорошая, но с утра был сильный туман. Священник порекомендовал нам женщину, которая сварила нам обед. Такого борща и жареной утки мы не ели уже много лет. После обеда мы пили чай с медом и ели арбуз. В хате было чисто и уютно.

Старуха была одинока. Ее единственный сын бежал от большевиков и скрывался в камышах. Теперь он присоединился к нашим войскам и воюет против большевиков. Старушка была очень симпатичная, и мы решили обосноваться у нее, но к вечеру настроение сделалось крайне тревожным.

Целые обозы с ранеными прибывали в Гривенскую, и говорили, что большевики нажимают со всех сторон. Мы торопились накормить раненых. Опять тут же, возле тротуара, были расставлены котлы, и наши санитары спешно готовили ужин. Между прочим, отвратительное впечатление произвел на нас офицер, пожилой человек, только что прибывший с ранеными. Еще издали мы слышали грубые крики и затем увидели быстро направляющегося к нам офицера с наганом в руках. «Где старший врач?» - кричал он. Когда Любарский, крутя папироску, назвал себя, офицер накинулся на него с бранью и, направляя на него револьвер, кричал: «Давай сейчас есть!» Бог знает, чем бы кончился этот скандал, если бы я не нашелся своим вмешательством. «Пожалуйте», - сказал я, приглашая офицера к кипящим котлам. Когда санитар налил ему миску супу, я сказал: «Вы подождали бы, картошка еще сыроватая». Офицер успокоился и, присев на тротуар, закурил папиросу. Он был легко ранен в левое плечо и был зол до остервенения.

Всем было приказано быть в боевой готовности и не отлучаться от своих частей. Мы опять перебрались на площадь к священнику. В чем было дело, мы не знали, но, видимо, положение было крайне серьезным. Все было готово к отступлению. Лошади в обозах были запряжены, а раненых отправляли далее в Ачуев. Вся площадь была уставлена подводами. Возле штаба для связи дежурили от каждой части. От санитарной части при штабе находился доктор Н. Н. Егоров. Я должен был держать связь с Егоровым. Любарский поручил мне быть в курсе дела и докладывать ему в течение ночи по мере выяснения обстоятельств. Все спали и дремали, не раздеваясь, расположившись на балконе дома священника, выходящем в большой, поросший травой двор. Ворота были закрыты. Несколько раз в течение ночи я выглядывал в калитку на улицу.

Ночь была темная и свежая. На небе ярко горели звезды, и особенно светло выделялся широкою полосою млечный путь. Нигде не было ни одного облачка. В воздухе стояла необычайная тишина, напоминающая мне нашу тихую осеннюю украинскую ночь. После дождя было еще грязно, и в воздухе чувствовалась сырость. К утру опять нужно ждать тумана. На площади было все тихо и спокойно, и только слышно было, как запряженные в повозки лошади громко жевали сено. За полночь стало

холодновато, и я мерз. Временами клонило ко сну, и тогда я садился на ступеньки балкона возле скорчившегося Любарского и закуривал папиросу. Во дворе стояла запряженная парою лошадей повозка генерала снабжения, с которой раздавался могучий храп кучера-казака. Храпели и те, кто спал на балконе.

Несколько раз в течение ночи я ходил в штаб, стоявший недалеко за углом площади в здании местной школы. В штабе было сонное царство. Мебели в этом помещении не было. Все комнаты были покрыты тесно лежащими на полу людьми в серых шинелях. Каждый раз я заставал доктора Егорова спящим сидя на скамье возле комнаты, где за столиком сидели офицеры. Сведений никаких не поступало, и доктор просил меня зайти по дороге к начальнику санитарной части и доложить ему об этом.

На улице местами, но редко, горели фонари, но было так темно, что легко можно было оступиться с тротуара в канаву. Нужно было идти осторожно. Почти возле каждого двора, у калитки, стоял кто-нибудь на дежурстве, и видно было, что им ужасно хочется спать. Некоторые спрашивали меня, не слышно ли чего, и я отвечал, что в штабе никаких сведений не поступало. Дважды я заходил к начальнику санитарной части. Генерал Кожин сидел одетым с сумкой через плечо в глубоком кресле, протянув ноги на стул. Возле него в таком же положении спала сестра милосердия. В углу на полу полусидя спал его секретарь. Когда я входил в комнату, генерал открывал глаза и спрашивал: «Ну что?» Видимо, он спал неспокойно. Под утро я разбудил Любарского и тотчас заснул, сидя на ступеньках балкона. Я спал крепко и не сразу проснулся, когда доктор Любарский будил меня, чтобы вместе позавтракать.

Санитар принес с базара молоко, свежий хлеб и отличный сыр. На балконе уже шла жизнь. Каждая группа готовилась завтракать. Возле балкона на земле стоял с трубой дымящийся самовар. Все как будто было спокойно. Доктор Любарский послал даже на базар купить ведро раков, которые были сварены тут же во дворе на костре. Я просил тем не менее всех не расходиться и держаться в походном порядке. Каждому я назначил мешочек с продуктами, которые они должны были в случае тревоги взять с собою. Меня возмущала легкомысленность русских людей. Священник и Цукровский все-таки ушли. Ушли за ворота и три фельдшера, оставшиеся при нас. Я пил, сидя на балконе, молоко, а Любарский ел раков. Тут же на балконе сидели чины снабжения и пили чай. Утро было прохладное и туманное. Мы были в шинелях и при сумках, как оделись еще с вечера. Доктор любил раков и ел их с аппетитом, сидя на ступеньках лестницы балкона.

В это время где-то очень близко, точно на улице, затрещал

пулемет. Все нервно насторожились. Кто-то сказал, что это учебная стрельба. Проходивший денщик генерала снабжения пробурчал себе под нос: «Хорошо, учебная стрельба, на войне-то». Я вышел на улицу. На площади была суета. Люди бежали к повозкам обоза, а некоторые подводы уже трогались с места. Быстро проходивший мимо меня офицер сказал, чтобы мы торопились, так как в Гривенскую ворвались большевики. Из-за угла от церкви на рысях ехало несколько подвод, а за ними ехали конные. Оказалось, что отряд большевиков в 600 человек, пользуясь туманом, подъехали ночью к Гривенской на лодках в том месте, где их меньше всего ожидали, и ворвались на площадь возле церкви. После минутного затишья вновь поднялась пулеметная стрельба, но уже беспрерывная, с ружейными залпами.

Доктор Любарский продолжал есть раков и не понимал всей опасности. Только после моего окрика мы едва успели схватить кое-какие вещи и бегом бросились к обозу, который уже двинулся с места. Мы вскочили на ходу в первую попавшуюся повозку и рысью мчались с обозом. Я видел, как за нами бежали Цукровский, священник и фельдшера. Котомки с провизией, конечно, остались не взятыми. Со всех прилегающих к площади переулков и улиц на рысях выезжали за нами повозки и бежали люди, на ходу вскакивая на подводы. Пулеметы трещали как бы над самым ухом. До поворота оставалось несколько домов. Мы инстинктивно чувствовали, что нам нужно скорее свернуть с этой улицы, вдоль которой палили пулеметы. Четыре офицера здесь были убиты.

Рысью мы выехали из Гривенской и съехали на луга. Нагоняющие нас подводы и конные передавали, что большевики заняли Гривенскую и сейчас могут окружить нас. В это время на горизонте появилась конница, шедшая нам во фланг. Началась паника. Все устремились вперед, напирая и давя друг друга и стегая кнутом лошадей. Повозки столпились и ехали по 4-5 в ряд. Я видел, как многие вынимали из карманов какие то бумаги и рвали их на мелкие клочки. Я вспомнил свои записки.

Следуя примеру других, я выхватил из сумки две тетради и рвал их. Прежде всего я уничтожил список членов черниговской организации беженцев и устав этой организации. Затем я порвал первый том моих записок. Доктор Любарский удержал меня за руку и сказал: «Обождите».

Батарея, которая шла на рысях нам навстречу, снялась с передков и открыла беглый огонь по надвигающейся коннице. Было видно, как большевистская конница рассеивалась и поворачивала обратно. Однако откуда-то летели пули,

пронизывая несколько выше нас воздух, издавая зловещее, протяжное, но острое визжание. Стрельба из орудий, пулеметов и ружей целыми залпами создавали настоящий ад, и откуда все это исходило, не было видно.

Но это было ничто в сравнении с минутой, когда мы увидали большевиков. Я испытал тот страх, о котором только слыхал, что люди испытывают его на войне. Я чувствовал, как у меня билось сердце и замирало дыхание. Я воображал себе уже картину, как большевик будет рубить меня шашкой. Мы с доктором делились впечатлениями и в разговоре даже забыли, что над нами летают пули. Доктор ругнулся и сказал: «Вот попали в переделку». Сравнительно с тем ужасом, который мы пережили, пули для нас были не страшны. Мы даже не наклонялись от их визжания.

Скоро мы выехали из сферы обстрела, но все-таки ждали, что нас могут нагнать большевики. Обоз растянулся на несколько верст. Временами обоз начинал путаться, но скоро два генерала верхом на лошадях установили в движении обоза полный порядок и посылали в строй всех тех, кто был при оружии и был способен к бою. В паническом ужасе все оглядывались назад. Быть или не быть! Жить или умереть! Сильный бой сзади указывал, что большевики встретили возле Гривенской сопротивление. Было ясно, что из станицы выехали далеко не все. И действительно, несколько позже до нас стали доходить слухи, что ворвавшись в станицу, большевики беспощадно расправлялись с теми, кто там остался.

Станица Гривенская в части была взята обратно отступавшими войсками, которые видели следы этих зверств. Мы знали сестру милосердия В. В. Энгельгардт, ту самую, которая шла с нами из Ахтарской. По официальному донесению, полученному начальником санитарной части профессором Кожиным, сестра Энгельгардт не успела своевременно покинуть станицу и задержалась с братом своим офицером в Гривенской. Уже потом, когда они бежали из Гривенской, брат ее был ранен в ногу и упал. Сестра Энгельгардт, спасая брата, тащила его в камыши, но в это время на них налетела конница красных и, зарубив брата, изнасиловали сестру Энгельгардт, а затем зверски убили ее.

Мы вспоминаем, с каким достоинством шла сестра Энгельгардт под обстрелом одна в поле, и невольно преклоняемся перед этой геройской девушкой, мученически закончившей свою жизнь во имя идеи освобождения Родины от большевистского ига. Она с самого начала была с добровольцами. Мы познакомились с сестрой Энгельгардт, этой серьезной, идейной и милой барышней, на пароходе «Мария». Она говорила нам, что была в

плену у поляков вместе с интернированным отрядом генерала Бредова и ушла оттуда вместе с офицерами. Она была еще недавно в Болгарии, куда бежала из Польши. Мы ехали вместе в Россию на пароходе «Моряк». Вера Вадимовна опять пошла на фронт. Насколько мы припоминаем, Энгельгардт говорила мне, что она киевлянка.

Опять мы не успели захватить с собою съестные припасы и были обречены на голодное путешествие. Доктор оставил целое ведро раков. Мы оставили купленное сало, яйца, хлеб и прочие продукты. Обоз двигался по берегу реки Протока и входил в камыши, которые до самого моря считались непроходимым местом для войск. Эти камыши напоминали нам

плавни реки Днестра, но здесь мы считали себя в безопасности, тогда как днестровские плавни были местом гибели массы русской интеллигенции. Здесь, в этих камышах, тянувшихся десятки и сотни верст, скрывались казаки от большевиков. Густо поросший камыш, значительно выше человеческого роста, покрывал все пространство до моря. В этих зарослях инженерная рота пробила дорогу, или, вернее, тропу, на Ачуев (рыбные промыслы на берегу Азовского моря).

Для продвижения войск это место считалось недоступным. Мы шли целый день. Там, где дорога шла, извиваясь по берегу реки Протока, там было сравнительно сухо, но где приходилось углубляться в камыши, дорога была топкая и грязная. Идти было трудно. Дорога была узкая. Чувствовалась сырость, и в нос, рот и глаза лезли комары. Сильно парило. Лошади с трудом вытягивали колеса из топкой почвы и грузли сами. Ежеминутно приходилось останавливаться, чтобы дать лошадям отдохнуть, а потом все гуртом брались за повозку, чтобы дать возможность лошадям двинуться с места.

Узкая дорога не позволяла свернуть в сторону, и только люди, нагибая перед собою камыш, находили себе более твердую почву под ногами. Камыши чередовались с болотами, покрытыми зацветшею водою. Это были те плавни, которые считались непроходимыми. Впереди шла инженерная рота, прокладывавшая путь в этих дебрях. Кое-где посыпали землю, а местами строили гати и укладывали на дорогу камыши. Движение обоза было

мучительное и медленное. Все боялись, что при таких условиях нас нагонят большевики.

На полпути к Ачуеву в Долгих Хуторах обоз сделал привал. Здесь местные жители показывали нам то бесконечное пространство камышей, где скрывались от большевиков казаки. Нужно было хорошо знать эту местность, чтобы не потеряться в этих плавнях. Долгие Хутора были пределом, за которым можно было уже не бояться, что большевики нагонят обоз. Сюда, говорили нам бабы, большевики боялись заходить и раньше, не придут и теперь. Интересно, что в одной из хат мы встретили свою хозяйку, старушку, которая приготовляла нам обед в станице Гривенской. Она знала отлично, что большевики будут в Гривенской, и раньше нас, еще с вечера, ушла от большевиков. В этих хуторах был сделан привал на 10 минут. Хлеба здесь было так мало, что прошедшие впереди скупили все, что было у казаков, и мы остались без хлеба.

Мы шли дальше, не подкрепившись. С нами были раненые, которых подвезли в станицу Гривенскую в последний день, и шел медицинский персонал 1-й Кубанской дивизии. Раненые мучились от комаров, и их закрывали от этих насекомых с головой. Мы шли камышами, иногда вступая в лужи воды, и еле вытягивали ноги из топкой грязи. Мне казалось, что я не дойду до Ачуева, но когда и видел, что другие мучаются больше меня, я становился бодрее. Я не так устал, как трудно было идти в сапогах, напитанных водою. Перед вечером на открытом сухом лугу был сделан привал. Здесь было сухо, и меньше кусали комары. Мы воспользовались остановкой, чтобы выкачать из сапог воду и хоть немного просушить их. Я снял оба сапога и вынужден был сбросить носки, напитанные водою. В это время где-то близко послышались глухие разрывы снарядов. Это был аэроплан.

Все устремили свои взоры по направлению к Ачуеву. И действительно, скоро мы увидали со стороны Ачуева большевистский аэроплан, который, как потом оказалось, сбрасывал бомбы в месте расположения раненых. Бомбы рвались очень близко от раненых, но никого не убило. Укрыться было некуда. Аэроплан летел вдоль реки Протока и направлялся в нашу сторону. Было жутко. Мы следили за полетом и ежеминутно ожидали, что он сбросит на нас бомбу. Когда аэроплан поравнялся с нами, где-то вблизи раздался сильный взрыв. Бомба разорвалась в камышах далеко от нас. Потом после этого вверху над нами затрещал пулемет. Было страшно. Аэроплан был отлично виден, и мы не спускали с него глаз. Аэроплан сбросил четыре бомбы и ушел дальше. От сердца отлегло. Я сидел без

сапог и пропустил момент, когда было приказано двигаться дальше. С трудом я надел мокрые сапоги и бегом догонял наших.

Поздно вечером мы подходили к Ачуеву, где предстояла переправа на левый берег. На лугу, или, вернее, в болоте, в камышах возле переправы скопилось много подвод. К 12 часам ночи почти весь обоз подтянулся к этому месту. В первую очередь начали переправлять раненых. Переправа производилась медленно на челноках. Наша очередь могла наступить только к утру. Нужно было устраиваться на ночлег здесь в камышах. Всюду было топко и грязно. Подмостив камышу, мы легли в этом болоте усталые и переутомленные, опять ничего не евши с утра.

Мы кутались с головой от несметного количества комаров. Впервые мне пришлось видеть это комариное царство. Я вспомнил, что в Севастополе говорили о том, что для Кубанского похода заготовлены были маски от комаров, но почему-то они не были розданы. Как мы ни укутывались, комары проникали в каждую щель одежды и беспощадно впивались в тело даже через ткань одежды. К утру все тело у нас было покрыто волдырями. У меня вся голова была искусана и представляла сплошной волдырь. Было сыро. Одежда покрылась сыростью и была местами промокшая. Сквозь одежду чувствовался озноб.

Утром стоял сильный туман и моросило. Хотелось скорее переправиться на тот берег, где были видны строения. Часов в семь утра - это было 16 августа - мы были переправлены в Ачуев. Длинный челнок на 6 человек был наполнен на вершок водою. Рассуждать было нечего. Я смело вступил по щиколотку в воду и присел на корточки, положив на колени свою котомку. Другие поступили наоборот - положили свои вещи в воду и сами сели на них. Теперь это было все равно. На том берегу нас с радостью встретили наши сестры. Из Ачуева верстах в восьми были видны пароходы, прибывшие из Керчи для нашей эвакуации.

Ачуев был местом рыбных промыслов. Селение здесь было небольшое. Были лишь постройки для администрации и рабочих. Затем была небольшая церковь. Ужасное зрелище представляли собою раненые. В грязи, в сырости, на топкой земле, едва прикрытой разбросанным камышом, под дождем тесно лежали сотни раненых, которых спешно и беспрерывно грузили на небольшие катера и баржи и отправляли на пароходы. Потом мы узнали, что только через г. Керчь с Кубанского десанта прошло около 3000 раненых, что составляло четвертую часть всего десанта. Среди раненых было много юнкеров. Только часть раненых размещалась под навесами и зданиях управления промыслами.

Скользя и шлепая по грязи, мы подымались в гору, проходя

между этими беспомощно лежащими людьми. Некоторые узнавали нас и, здороваясь, спрашивали, как мы добрались и далеко ли большевики. Другие ужасно стонали и морщились от боли. Некоторые были прикрыты камышом, из-под которого виднелись только их головы. Сестры милосердия хлопотливо шныряли среди раненых и что-то делали. Где-то в сарае делали перевязки, и туда на носилках носили раненых. Вчера вечером в этом месте расположения раненых рвались сбрасываемые с аэропланов бомбы, но, к счастью, ни одна из них не причинила вреда.

Все врачи и фельдшера были привлечены к работе. Мы с Любарским явились к начальнику санитарной части, который поместился в одной из комнат конторы промыслов. Только что из соседней комнаты вывезли последних раненых. На полу на соломе лежали окровавленные тряпки, обрывки бинтов и марли. Мне делать было нечего, и я с удовольствием приткнулся в углу этой комнаты и, подмостив побольше соломы, заснул. Любарский расположился возле меня. Он страдал без морфия. Я видел это и советовал ему заснуть, но он упорно рылся в своем желтом чемодане и искал хотя бы крупинку случайно завалившегося морфия, зная заведомо, что у него такового нет.

Спать пришлось мне недолго. Разыскавшие меня сестры милосердия умоляли меня достать им чего-нибудь поесть. В Ачуеве решительно ничего нельзя было достать. Все голодали. Я узнал, что здесь где-то помещается интендант, которому я предоставил в Ахтарской, когда мы стояли в поезде, больничную койку. Это знакомство я хотел теперь использовать. После долгих поисков я нашел его, готового к отправке на пароход, и это была последняя минута. Он дал мне ордер, и я торжествующе вернулся к своим. Кроме рыбы никаких продуктов в Ачуеве не было. Через интендантство нам была выдана рыба (5 сомов и 4 коропа). Конечно, этого было недостаточно, но приходилось мириться. В Ачуеве мы вновь соединились с нашими служащими, выехавшими из Гривенской с ранеными. Сварив рыбу в ведре воды, мы ели этот обед без хлеба и без удовольствия.

Мы ждали посадки на пароход. Издали отчетливо слышалась канонада. Слухи ходили о неудачах и приближении большевиков. Публикой овладело паническое настроение. Этому настроению в особенности способствовал начавшийся после обеда наплыв строевых частей. Большое количество конницы, спешно переправляющейся вплавь через речку Протока, а затем появление отступающей артиллерии как бы указывало, что отступление носит катастрофический характер. Вся эта масса войск проходила мимо нас и направлялась к пароходам. Вместе с

войсками грузились штабы. Не в очередь пускали только раненых.

Доктор Любарский несколько раз обращался к начальнику санитарной части, но последний с раздражением отвечал, что мы своевременно получим от него предписание. Кто прикрывал отступление, мы не знали, но видели, что посадкой на суда торопятся. Воинские части грузились с поспешностью. Говорили, что штаб торопится погрузить конницу как самую ценную часть войск. Возбуждение было страшное. Все рвались на пароход. Мы были у цели. Более 15 пароходов и барж стояли в виду берега, а между тем мы должны были ждать очереди.

Всем был известен случай в Новороссийске, когда лазареты, оставленные к погрузке в последнюю очередь, не успели погрузиться и остались в плену у большевиков. Звуки артиллерийской стрельбы усиливались. По слухам, большевики напирали на Ачуев. Некоторые части задерживались и возвращались в разведку. Паническое настроение возрастало. Люди начинали терять самообладание. Под разными предлогами многие старались не в очередь попасть на баржу, притворяясь заболевшими, или вымогали документ для сопровождения раненых. Многие пытались хитростью или просто «напролом» прорваться на пристань. Кто-то заметил беспокойство начальника санитарной части, вещи которого будто бы незаметно выносили из комнаты. Генерал был заподозрен в попытке скрыться. За ним была установлена слежка. «Начальство всегда бежит первым», - раздавался ропот. Ему, как генералу, конечно, легче попасть на пароход.

Паника достигла своего апогея. Все служащие лазарета потребовали выдачи им удостоверения, что они командируются на пароход для сопровождения раненых. Любарский окончательно растерялся, и к тому же у него не было морфия. Он лежал на соломе и молил меня не бросать его. Мы остались вдвоем. Любарский мучился без морфия и плохо соображал. Он искал у себя в чемодане хотя бы кусочек морфия, которого, он знал, у него не было. Я вошел к нему в комнату. Любарский лежал на со -ломе посреди комнаты и вокруг него на соломе были разбросаны пачки с деньгами (7 миллионов рублей). Я ужаснулся и начал прятать в чемодан пачки. Профессор Кожин уже знал, что Любарский без морфия невменяем, и предложил мне принять от него деньги. Я отправил Любарского к больным, которых грузили на баржу.

Возвратившись, я застал весь медицинский персонал в сборе. Я уговаривал их не идти «на авось» к пристани, указывая, что это будет в противоречии с приказом начальника санитарной части, который уже несколько раз разъяснял, что мы должны ждать его

приказа. Публика сомневалась, как поступить. К вечеру паника улеглась, так как прибыли генерал Бабиев со штабом, генерал Наумов, и ждали генерала Улагая. Это указывало, что командный состав и штабы еще не погрузились, и тревога была напрасная.

Ночь была тяжелая. Пришлось спать на дворе в непросохшей одежде, так как нашу комнату заняли для генерала Бабиева. Страшно хотелось есть. Кое-где отдельные части варили себе ужин. Мне удалось выпросить в одном из котлов не только себе, но и Любарскому миску супу. Какой-то симпатичный солдат предложил мне громадный кусок хлеба, и я был очень доволен, решил часть хлеба оставить на завтра, но это была только мечта. Голодная публика выпросила у меня большую половину, и я даже не считал себя совершенно сытым. Во дворе возле штаба Бабиева расположились на ночлег конница и другие воинские части. Мы легли тут же, возле крыльца штаба, подмостив под себя солому, которой во дворе было очень много. Ночь была прохладная. Было шумно, и горе -ло много костров.

Я не был сыт, и, когда все улеглись, я пошел по котлам искать пищи. Опять в одном из котлов меня приняли очень приветливо и даже, называя превосходительством, налили полный котелок супа с бараниной. Опять я не наелся, так как от запаха пищи проснулись мои соседи, и то, что я получил на одного, ели шесть человек. В этот раз хлеба я не достал, но суп был с картофелем и довольно густой, так что мы ели его с наслаждением. Генерал Бабиев проходил мимо нас, когда мы ели этот ужин. Мы встали. Генерал махнул рукой, чтобы мы продолжали свое дело. Это был коренастый, с большими усами, резкий в манерах, видимо, страшно энергичный, пожилых или, вернее, средних лет мужчина. Он был просто одет и не был похож на генерала. Его присутствие вселяло уверенность, и от общей паники не осталось и следа.

Всю ночь мимо нас проходили воинские части и конница, так что иной раз приходилось подбирать ноги, чтобы не наступила на них лошадь. Утром с рассветом секретарь начальника санитарной части вручил нам предписание, согласно которому дивизионный лазарет в полном составе должен был грузиться и следовать в Севастополь в распоряжение главного военно-санитарного инспектора. Нам было предложено идти к пристани вместе с последними ранеными, которые были доставлены с фронта.

До косы или мыса Ачуева было верст восемь. Доктор Любарский был совершенно болен и следовал на повозке с ранеными. Скоро перед нами раскрылась вся панорама Азовского моря, где верстах в двух от берега стояли наши суда. К берегу подходили мелко сидящие баржи и перевозили войска к

пароходам. Теперь было уже очевидно, что мы не останемся, и на душе было покойнее. Мы были почти у цели, в версте от временной пристани. В стороне возле дороги в одиночку стояла пушка, направленная дулом в нашу сторону. Это было истолковано нами как прикрытие нашего отступления.

Едва мы прошли это место, как за нашей спиной раздался орудийный выстрел. Недоумевая, мы смотрели назад, но сейчас же увидали аэроплан, движущийся нам навстречу. Мы видели высоко впереди разрывы, но не достигающие высоты аэроплана. Казалось, что все пройдет благополучно, но по мере приближения аэроплана мы стали слышать разрывы бомб. Аэроплан сбрасывал бомбы у пристани, попав одной в самую гущу людей, убив двух лошадей и ранив несколько людей. Аэроплан продолжал бросать бомбы по пути нашего следования и, пролетая над нами, стрелял из пулемета. Укрыться было негде. Как раз в это время больной, возле повозки которого я шел, попросил напиться. Повозка остановилась, и я отстал от свих. Пришлось идти, сознавая, что если шальная пуля закончит мою жизнь, то я останусь неподобранным. Аэроплан направлялся на Ачуев, откуда потом слышались взрывы.

Мы подошли к пристани. На баржу грузился штаб и конвой генерала Бабиева. Нам пришлось ждать. Возле пристани скопилось много войск и громадный обоз. На предписания не обращали внимания. Каждая часть торопилась. По-видимому, шла какая то глухая борьба. Кто был расторопнее и имел вес, тот грузился, осаживая стремившихся попасть на пароход. Благодаря протекции генерала Кожина нам удалось к 5 часам вечера попасть в очередь. Погода была отвратительная. Несколько раз в течение дня моросил дождь и дул ветер. Баржу возле пристани сильно качало. Стоять на ней и идти, не державшись за что-нибудь, было немыслимо.

Море было неспокойное. В обычное время, наверное, многие не выдержали бы этой качки, но в данный момент, когда баржа являлась местом спасения, все готовы были вынести все что угодно, лишь бы не остаться на берегу. И действительно, на барже как-то сразу исчезла та неуверенность, которая была на берегу. Чувство безопасности установило душевное равновесие и как бы сделало людей нормальными. Я сидел опять рядом со студентом Мужецким, которого несколько мутило от качки, но он был счастлив, что здесь было покойно, и удивлялся, что его не тошнит.

Посадка производилась спешно. Баржа отошла на буксире колесного катера «Дон», который бросало сильнее баржи. Мы должны были пристать к пароходу «Моряк», тому самому, на

котором мы ехали из Болгарии. Казалось, мы были у цели, но в то время, когда мы подходили к «Моряку», издали вновь показался аэроплан. Со всех сторон и с берега начался обстрел аэроплана. Аэроплан в свою очередь обстреливал суда из пулемета. Где-то издали отозвался миноносец и тоже открыл орудийный огонь. И в этот раз аэроплан не причинил вреда, создав лишь суматоху и подобие боя.

Уже с наступлением темноты мы переходили с баржи на пароход «Моряк». Если бы это было при других обстоятельствах, то люди пришли бы в ужас от этой пересадки. Баржу качало во все стороны, приподымая и опуская ее в то время, когда приходилось карабкаться на борт «Моряка». Чтобы попасть на трап «Моряка», пришлось сначала идти не только по самому борту баржи, но и по перилам ее, и затем перешагнуть значительное расстояние над разбивающимися о корабль волнами. Солдаты просто лезли по веревке на борт «Моряка», перебрасывая свои котомки на палубу «Моряка». Если бы кто-нибудь сорвался, то несомненно погиб бы в волнах моря. На наших глазах в море упал ящик с консервами и сундук с канцелярией какой-то воинской части.

Между баржей и «Моряком» море клокотало и производило тот шум, которым обыкновенно наслаждаются на берегу моря, любуясь его красотой. Теперь это был страшный шум, и, правду сказать, я с замиранием сердца переступал эту пучину. Мне казалось, что у меня обязательно закружится голова и я упаду в море. Трап был разбит и связан местами веревками. Эта была скорее веревочная лестница, отвесная и притом качающаяся, по которой нужно было лезть довольно высоко на борт «Моряка». Сравнительно большой пароход, весь железный, представлял, несомненно, убежище даже в случае обстрела его с аэроплана.

Пароход был переполнен ранеными и военнопленными красноармейцами. От раненых сильно воняло. Почти у всех была окровавленная одежда и белье, на котором целыми потоками застыла и почернела кровь. Переодеться им было не во что, и только некоторым из них были сделаны перевязки. С покорностью перенося страдания, эти окровавленные люди были рады, что попали наконец в спокойную атмосферу и были вдали от опасности. Они безропотно лежали вповалку на железной палубе без подстилки, одеяла и подушки. Большинство было даже без шинели, в одном нижнем белье.

Это был ад страданий, от которого можно прийти в ужас. Было так тесно, что положительно негде было сесть. Тем не менее в трюм парохода грузили лошадей. Это задерживало пароход, который должен был сняться с якоря вечером и следовать в Керчь

ночью во избежание нападения большевистских катеров. Доктор Любарский был обессилен и уже спал, сидя в самой неудобной позе. Все были голодные и истощенные. Бледные, с впалыми глазами, покрытые пылью, грязные, в крови, люди были похожи на тени. Хотелось есть. Прошли слухи, что раненым будут выдавать консервы и по куску хлеба. Старший ординатор Гноринский, имея знакомства, выхлопотал служащим лазарета по куску хлеба и большую банку консервов. Я разбудил Любарского, и мы жадно съели нашу порцию.

Уже было темно. Мы сидели на железном полу палубы «Моряка» и были как в тисках друг у друга. Мы были среди военнопленных красноармейцев. От усталости всех клонило ко сну. Постепенно все начали засыпать как сидели и валиться друг на друга. Я не мог дольше держаться и тоже склонился на чью то спину. Я проснулся с рассветом, лежа на спине красноармейца, но зато на мне лежало несколько человек. Ноги мои обомлели. С трудом мне удалось вытащить их и сесть.

Утро было холодное. Пароход шел полным ходом, равномерно покачиваясь на волнах Азовского моря. Я вновь задремал, но на этот раз мне мешал забыться зуд всего тела. Очевидно, вши разъедали мое тело. Пять дней мы не раздевались, но и перед этим тревожные дни мешали хорошо выспаться. Мы устали. Доктор Любарский спал беспрерывно. Он плохо понимал окружающую обстановку и даже не всех узнавал. Он был без морфия.

18 августа днем мы прибыли в Керчь. В порту стояло много судов, и было большое оживление. На молу еще издали было видно большое движение и масса народа. Возле самого мола стояли грузовики, присланные для перевозки раненых. В стороне стояли лошади, повозки и орудия. При выгрузке мы узнали, что здесь же на молу раздают обед. Все сразу повеселели. Возле дымящихся походных кухонь стояла уже громадная толпа. Счастлив был тот, кто имел при себе походный бачок и ложку. Тот подходил к кухне и сейчас же получал свою порцию. Я знал это уже раньше и поэтому никогда не расставался с этими вещами. Любарский бросил свой бачок, и поэтому мы ели с ним из одной посуды и тотчас получили вторую.

Порт кишел военными. Здесь мы узнали, что одновременно с нами были высажены десанты в Анапе и Тамани, которые также потерпели неудачу. Из Анапы разбитые отряды уже вернулись, а Тамань очищается. Прибывающие с Кубани воинские части перебрасывались на Крымский фронт, где, по слухам, тоже напирали красные. Мы получили пристанище в реквизированной для нашего лазарета кофейной на одной из главных улиц в

центре города. Конечно, пришлось расположиться на полу.

Сравнительно было еще рано, и мы воспользовались временем, чтобы пойти выкупаться. В купальне было бесконечное множество военных, и это были те, кто хотел избавиться от насекомых. Спрос на мыльную глину «киль» был огромный. И я с наслаждением мылился этим приятным мылом, успокаивавшим зуд тела. Это было наслаждение, но мы знали по опыту, что не в этом состоит средство избавиться от вшей. Гниды (яички) ютятся в одежде, белье и размножаются при благоприятных условиях с невероятной быстротой. Мы сами видали на своей одежде места, как бы посыпанные мелким порошком, цепко укрепившемся в ткани, и уничтожить их можно только механически, стиркою белья в горячей воде или глажением горячим утюгом.

В штабе я узнал случайно, что полковник Николаенко и корнет Чесноков находятся недалеко от Керчи, на побережье Азовского моря в артиллерийском дивизионе. Я хотел было проехать к ним, но согласно приказу начальника санитарной части мы должны были ехать в Севастополь в распоряжение главного военно-санитарного инспектора. Получив вагоны для следования прямым сообщением, наш лазарет в полном составе направился 20 августа днем к вокзалу. Здесь была настоящая военная обстановка. Вдоль дороги по обе стороны стояли бивуаком конные казачьи части и артиллерия. С вокзала беспрерывно отправляли воинские поезда, переполненные воинскими частями.

К одному из таких поездов были прицеплены санитарные вагоны и с вернувшимися с Кубани отделом снабжения и другими учреждениями. Теснота была невероятная, но хорошо было в том отношении, что почти на всех станциях можно было купить хлеб, яйца, молоко, а местами даже горячий борщ, который выносили для продажи местные крестьянки. Мы ели эти дни отлично, но зато ехали трое суток. Нас обгоняли поезда с конными частями. Бесконечно долго пришлось ждать в Джанкое, где скопилась такая масса поездов, что все они стояли вплотную.

Погода была хорошая, и мы проводили все время, расположившись возле своего вагона на полотне железной дороги. У стоявших параллельно нам вагонов с возвращающими в Севастополь участниками десанта у Анапы мы часто доставали себе кипяток и пили здесь чай. Я сидел близко возле вагона, на ступеньках которого сидели две совершенно юные на вид - почти девочки - в серых платьях сестер милосердия и громко делились своими впечатлениями о боях под Анапою. Жутко было мне слушать рассказы этих молодых девушек, и казалось мне, что они сами не понимают того, что они пережили: «А помнишь, как они

отрезали нас от базы, и мы выжидали ночи, чтобы прорваться к своим», «А помнишь, как они обстреливали нас, когда мы грузились на пароходы», «А помнишь, как близко, совсем близко от нас разорвался снаряд»...

Я предложил им по кружке чая. Они благодарили, но у них не было сахара. Я имел целый мешочек рыжего сахара, который мы получили с Любарским в интендантстве в г. Керчи, и насыпал им вдоволь этой патоки. Моя кружка вмещает в себе 2 1/2 стакана, то есть 1/2 литра, и меня удивило, что обе сестры выпили по две таких кружки, то есть по одному литру. «А Вы, полковник, откуда едете?» - спросила меня младшая. Вообще я везде шел за полковника, несмотря на то что носил погоны статского советника. «Мы тоже возвращаемся с десанта, но на Ахтарскую», - ответил я. Но разговор продолжали наши студенты-фельдшера, и я жалею, что не записал тогда рассказы этих сестер. Не то меня интересовало, как был разбит этот отряд, а с каким увлечением рассказывали эти почти девочки-подростки о своих приключениях и той опасности, которой они подвергались. «У нас большевики беспощадно расправлялись с теми, кто попадал к ним в руки, - говорили они, - и мы чуть-чуть не попали к ним».

Странное наблюдение я произвел как над собою лично, так и над окружающими. У нас не было томления от этих бесконечно долгих стоянок на станциях и полустанках, как это бывало раньше, когда торопился приехать домой. Спешить было некуда, и никто даже не интересовался временем отправки поезда. Не все ли равно, куда и когда! Правда, в вагоне было так тесно, что спали сидя и вповалку, не раздеваясь, но ведь и в дальнейшем трудно было рассчитывать на комфорт.

Вопрос шел о том, что будет дальше. В душу закрадывалось сомнение в том, что у нас все благополучно, а если это так, то как это будет и куда опять занесет нас судьба. Меня успокаивала мысль, что я теперь на учете, состою на службе и, следовательно, не останусь за бортом и пойду туда, куда пошлют наш лазарет. Доктор Любарский был того же мнения и с убеждением уверял нас, что несомненно на днях мы будем отправлены на фронт, где ощущается недостаточность медицинской помощи благодаря усилившимся боям.

* * *

< . .> Ужасное зрелище представляла собою наша казарма утром. Полуголые, сидя на полу, на своей одежде, интеллигентные люди вылавливали у себя вшей и давили их на чем-нибудь твердом (на металлической коробке от консервов). Этот треск раздавливаемых вшей был до такой степени омерзительным, что вызывает содрогание при одном

воспоминании о нем. И это были представители санитарного ведомства, интеллигентные люди, представители гигиены и санитарии. Пока тепло на дворе, конечно, такая обстановка жизни могла быть еще терпима, но мы отлично понимали, что с наступлением холодов нам угрожает повальное заболевание сыпным тифом. Положение осложнялось еще недоеданием.

Крым экономически задыхался. Жизнь дорожала с каждым днем. По сравнению с первым нашим пребыванием в Крыму в июле месяце цены значительно поднялись. Жить было трудно. Мы получали жалованья 14-16 тысяч рублей в месяц и кормовые в сутки 1 200 рублей, в то время когда рабочие имели десятки тысяч рублей в день, а подростки -сельскохозяйственные рабочие зарабатывали поденно от 2000 рублей. Пришлось перебиваться и почти голодать. Утром мы выпивали стакан молока - 400 рублей, днем ели в харчевне борщ без жиров - 500 рублей, и вечером вновь покупали стакан молока. Кроме того, ежедневно мы покупали 2 фунта хлеба - 600 рублей. Наш ежедневный расход в 2000 рублей превышал наш бюджет, и мы вынуждены были хлопотать о зачислении нас на довольствие при этапе № 49. Мы получили обед и ужин за 1000 рублей в день. Рестораны были для нас недоступны. Повсюду обед стоял не меньше 1800 рублей.

Мы перебрали все харчевни и кабаки, но везде цены были одинаковые. Мы обедали только жидким борщом. Между тем нас поражало, что в тех же харчевнях посещающие их рабочие и низшие классы населения позволяли себе то, что казалось по нынешним временам совершенно недоступным. Они платили за обед по 2000 и 3000 рублей, ели арбузы (2000 рублей штука), дыни, фрукты и посылали за водкой. Мы заинтересовались ценой водки и были поражены, когда чуть не ежедневно эти люди платили за бутылку водки сначала по 14 тысяч рублей, а несколько позже - 30 тысяч рублей.

На улицах, в особенности в праздничные дни, часто попадались пьяные из тех же мастеровых и рабочих. Они ни в чем себе не отказывали и разъезжали по городу на извозчиках, которые для интеллигенции были недоступны. Господство рабочего класса и вообще низших слоев населения сказывалось во всем. Заработок рабочего и мастеровых достигал десятков тысяч рублей в день. Мы хотели поставить маленькую латку на сапог, и с нас запросили 6000 рублей. Стрижка головы и бороды стоила 1500 рублей. Мы пробовали обратиться к портному, чтобы наложить на брюках латку, и он запросил с нас 5000 рублей. Мальчики за чистку башмаков брали 500 рублей. Не меньше зарабатывали торговцы.

По мере вздорожания жизни торговцы увеличивают процент

своего заработка, перекладывая всю тяготу дороговизны на покупателя. Задыхалась в Крыму, в сущности, одна интеллигенция. Простой народ жил лучше, чем раньше, и накоплял громадные средства из денежных знаков. Кто был разумнее, тот обеспечивал свое будущее. Прислуга покупала себе дома, открывала рестораны, кафе, магазины и проч. Кто был поглупее, тот проживал и прокучивал эти деньги. Дороговизна достигла небывалых размеров[26].

Правда, и среди интеллигенции наблюдались уродливые явления. Известная часть интеллигенции вела себя безобразно. Один вид накрашенных женщин, щеголяющих своими нарядами, и молодые люди, выкидывающие в ресторанах десятки тысяч рублей и фланирующие по главным улицам без дела с хлыстиками в руках, производили удручающее впечатление. Откуда у них были такие деньги, это было совершенно непонятно. Еще меньше было понятно, как могла такая публика покупать такие предметы, которые, казалось бы, были совершенно недоступны по своей цене. Достаточно указать, что арбузы, стоящие от 2000 до 5000 рублей, буквально расхватывались публикой. Небольшой кусочек шоколада в $_{1/8}$ фунта стоил 6000 рублей, и тем не менее барышни с тросточками постоянно жевали его, разгуливая с молодыми людьми на улицах.

Сколько же нужно было иметь денег, чтобы приобрести эти вещи! Мы, по крайней мере до сих пор, не имели возможность попробовать в Крыму винограда. Фунт винограда стоил обеда, и потому мы предпочитали пообедать, чем съесть фунт винограда. Все это производило удручающее впечатление. В то время, когда где-то в камышах и на поле брани гибнут в ужасных страданиях люди, в то время, когда за пределами фронта стоит стон и скрежет зубов, здесь в тылу люди забыли все и живут всей полнотой жизни. Вечера, концерты, рестораны и ночная гульба напоминали пир во время чумы.

Тяжелое впечатление производил Севастополь. Правильно сказал один офицер, что на фронте нечем перевязать рану, а в Севастополе все женщины одеты в роскошные белые платья, могущие служить великолепным перевязочным материалом. Дамские туфли, стоящие свыше ста тысяч рублей, надеты чуть ли ни на каждой женщине в то время, когда возвращающиеся с фронта офицеры ходят обутые в дырявые сапоги, одетые на босые ноги.

Мы вспоминаем и сравниваем нашу жизнь при большевиках в советской России и настроение интеллигенции, оставшейся на местах. Жить при большевиках было жутко. Ежедневные обыски, аресты, расстрелы, грабежи и разбои в связи с голодом,

разорением и общей разрухой, приостановившими культурную жизнь, создавали крайне угнетенное настроение и страх перед озверевшей толпой. Тем не менее интеллигенция не потеряла своего облика и жила обособленной от темных народных масс своей культурною жизнью. Как в катакомбах, скрываясь в своих квартирах с закрытыми ставнями, интеллигентные люди, и в особенности учащаяся молодежь, не заразившаяся большевизмом, собирались в этих квартирах, стараясь не обратить внимания на улицы, и осмысленно проводила время, чуть ли не шепотом беседуя на разные темы. Мы беседовали и занимались музыкой, плотно притворяя ставни и ежеминутно выходя во двор и прислушиваясь, не нарушит ли случайно проходящий патруль или просто бандиты такой вечеринки.

Голодные и истощенные, нравственно пришибленные люди тем не менее имели потребность в умственной пище и в общении, в культурной обстановке жизни. Эти собрания происходили с некоторым риском и проводились по возможности незаметно. Расходились домой поодиночке или малыми группами и старались пройти по второстепенным улицам. Эти собрания интеллигенции напоминали нам времена гонения на христианство, которое, нужно полагать, было не более жестокое, чем большевистское гонение на интеллигенцию. Мы вспоминаем наши собрания в музыкальном училище и те предосторожности, которые мы принимали, чтобы большевики не обнаружили наше собрание. Это были часы, когда сквозь слезы мы слушали трио Чайковского и Рахманинова или голодные сидели часами и беседовали на разные темы. Эти собрания, это общение интеллигенции между собою переносили нас далеко назад, в атмосферу культурной жизни, и действительно напоминали нам жизнь в катакомбах.

Это было то же гонение на религию интеллигентного человека, каким было гонение на христианство. Мне помнится, как зорко я оберегал собрания молодежи у меня дома, у моей дочери. При каждом увлечении спором или чисто детского смеха я выходил во двор и смотрел в щелку забора на улицу, не идет ли патруль красноармейцев или бандиты. Я слышал в это время стрельбу. Недалеко от нас было место, где производились расстрелы. Может быть, в это время расстреливали заложников или контрреволюционеров из представителей интеллигенции, судьба ко -торых ежедневно могла постигнуть и нас. Возвращаясь, я не высказывал своих мыслей, чтобы не нарушить вечеринки, и на вопрос, что это была за стрельба, я старался отвлечь их внимание и вновь завести разговор.

Я помню тот вечер, когда расстреливали группу наиболее

уважаемых местных людей - А. А. Бакуринского с сыном и других. Я знал, что их будут расстреливать в тот вечер, и шел поздно вечером домой из музыкального училища. В этот вечер в городе было назначено много вечеров, концертов и митингов. Толпа заполняла все улицы. Разодетое простонародье - бывшая прислуга, дворники, мастеровые, рабочие и еврейская молодежь, празднично гуляла по тротуарам и ликовала. Погода была чудная. Кое-где по-провинциальному раздавалось деревенское пение простонародья, группами стоявшего у ворот обывательских домов. Интеллигенции на улицах не было видно вовсе. Низшие слои населения играли теперь первенствующую роль. Первые ряды бывшего Дворянского собрания были теперь заполнены простым народом - пролетарскою массою. И в это время А. А. Бакуринский будил в тюрьме своего сына-студента, которого никак не могли разбудить палачи. Алеша проснулся и, в ужасе отшатнувшись от палачей, зарыдал как ребенок. Я знал, что в этот вечер будут расстреливать Бакуринского, и был потому крайне расстроен. Меня раздражала гулящая и торжествующая толпа. Мы слыхали отдаленные залпы и беспорядочную стрельбу. Это убивали целую группу местных уважаемых интеллигентных людей. Все отлично понимали, что означает эта стрельба, и все говорили друг другу, насторожившись, «слышите».

Настроение оставшейся в России интеллигенции было совершенно иное, чем в Крыму. Она была несравненно серьезнее, глубже и самоотверженнее. Может быть, это зависело от окружающей обстановки, но, во всяком случае, интеллигенция в России как бы объединилась и проявляла сочувствие и дружелюбное отношение друг к другу. Люди незнакомые, но только знавшие друг друга, подходили и протягивали руку. Молодежь помогала друг другу даже с риском для жизни и прятала у себя преследуемых офицеров и студентов. Мы упоминали уже, что гимназистка Мякшилова была за это расстреляна.

Несомненно, что оставшаяся в большевистской России интеллигенция стоит во всех отношениях выше той части интеллигенции, которая своевременно спаслась от большевиков и устроилась за спиной тех, кто держит фронт и грудью отстаивает границу большевизма. Совершенно напрасно им предъявлено обвинение, будто бы эти люди остались с большевиками, потому что сочувствуют им или относились безразлично к той или иной власти. Правда, они служат у большевиков, но в советской России нельзя не служить. Все служат, но только не большевикам, а у большевиков. Мы оставались при большевиках и знали это настроение интеллигенции. Она вынесла на себе все ужасы

большевизма и перенесла такое гонение, которое едва ли не тяжелее бывшего когда-то гонения на христианство.

Разоренные, обезличенные, голодные, сидящие по тюрьмам как заложники или контрреволюционеры, отбывающие принудительные работы интеллигентные люди героически выносили все эти издевательства простого народа и гордо шли на расстрелы, выдерживая предварительно утонченные пытки в застенках различных Чрезвычаек. Те, которые избежали этой участи и успели своевременно выехать за границу или укрыться на Крымском полуострове, глубоко ошибаются, если считают себя выше тех, кто остался на месте.

Герои не те, которым удалось убежать и спрятаться, а те, которые остались у большевиков и несут мученический крест большевизма, страдая не только за себя, но и за тех, кому удалось убежать. Этого не понять той части интеллигенции, которая нагло попирает своим поведением достоинство русского человека и безразлично относится к тому, что делается там, за фронтом, в рабоче-крестьянском раю. «Пир во время чумы». Танцы, гулянья, вечера, концерты, обеды, ужины в то время, когда стоны русской интеллигенции доносятся через фронт и заставляют содрогаться человеческий ум, невольно вызывают чувство брезгливости к этой нарядности и гулящей толпе севастопольских бульваров и ресторанов. Мы осуждали русских людей за границей, которые устроили свое благополучие и мирно ждут развязки событий, и тем более осуждаем русских в России, где ближе звучит голос страданий русских людей в советской России.

* * *

В сырой комнате нашего общежития, в котором вечернего света не полагалось, я часто лежал в темноте с открытыми глазами и до глубокой ночи вдумывался в то положение, которое заставило человека так низко пасть во всех отношениях. Суровое белье и жестокая солдатская шинель, служившая нам подстилкою на голом полу, раздражали непривычное тело. Накуренный дурным табаком казарменный сырой воздух делал дыхание тяжелым и давил в груди. После вечерней «гармошки», на которой, между прочим, великолепно играл в соседней комнате служащий санитарного управления, хотелось покоя и отдыха, но тяжелый храп и сопение спавших мешали сосредоточиться и остаться самому с собою.

Еще несноснее были назойливые комары, методически жужжавшие в темноте возле самого уха и отвлекавшие мысль от ее течения. Невольным движением головы или рукой приходилось отмахиваться от них, чтобы предупредить неприятный укус на лице. По комнате ползали так называемые

черные тараканы, которые, по народным поверьям, приносят хозяевам в дом богатство. Кто просыпался и зажигал спичку, тот находил всегда возле себя или под шинелью такого таракана и раздавливал его обыкновенно ударом сапога, от которого просыпались все в комнате. Сознание, что, может быть, в данный момент и у меня где-нибудь под шинелью ползает это неприятное насекомое, вызывало чувство гадливости и инстинктивно заставляло укутываться в шинель и закрываться ее полами. Старый и грязный пиджак, служивший мне подушкой, несомненно привлекал насекомых, и это было мне особенно противно. Пауки были всегда возле этого места и свивали к утру паутину в углу возле самой моей головы... Эти ночные обитатели нашей казармы вместе с блохами и вшами, от которых мы никак не могли избавиться, изводили нас. Может быть ночью вся эта обстановка казалась более ужасной, чем должна была быть, но все это производило жуткое впечатление.

Тем не менее мысль работала. Как наяву, воображение перерабатывало и воспроизводило в памяти пережитое, точно это было вчера. Бой в Канделе и ползущий к нам с перебитой ногой офицер; раненая лошадь, бьющаяся в луже крови, бегущая спасаться к румынской границе толпа голодных людей, гибнущая тысячами в плавнях речки Днестра; бои на Кубани, десант, ночевка в камышах; убийство сестры милосердия Энгельгардт; стоны и дурной запах раненых... все это уже пережито. Не пережито еще только одно - большевизм в России. Ни комары, ни тараканы, ни пауки, ни вши не могли нарушить течения этой тяжелой мысли. Мы вспоминали теперь те кошмарные ночи, когда мы ждали ареста и были готовы идти в Чрезвычайку, как шли на смерть десятки тысяч русских людей только за то, что они составляли особый класс интеллигентных людей. Все ужасы утонченных пыток, в которых изощрялись русские Чрезвычайки, становились кошмаром перед глазами и вызывали холодный пот на горячем лбу.

Как в лихорадке, билась мысль, останавливаясь, как нарочно, на самых ужасных картинах большевизма. Там, где все это происходит, где люди потеряли человеческий облик и превратились во что-то ужасное, чудовищно страшное и гадкое, от чего бежали обезумевшие от страха десятки, сотни и десятки тысяч людей, там остались наши родные, близкие и дорогие нам люди, составляющие смысл всей нашей жизни. Они, быть может, погибают от холода и голода и подвергаются опасностям ужасов большевизма. Все это давило в душе страшной тяжестью и вызывало холодный пот. Мы были не в состоянии отогнать эти назойливые мысли, которые давили, как кошмар, от которого

обыкновенно люди просыпаются в ужасе и им становится страшно в темной комнате.

Но это был не кошмар, а действительность. Это был кошмар, от которого не просыпаются. Все спят. Только доктор Любарский иногда зажигает свечку и, садясь, начинает крутить папироску. Мы закуриваем. Доктору не спится. Он оставил в Чернигове свою 13-летнюю дочь и не может забыть своего расстрелянного большевиками сына. С опущенной головой часами сидит старик на полу и не спит. Ночь тянется бесконечно долго. Комары, как назойливые мысли, жужжат возле самого уха и неотвязчиво проникают во все щели неприкрытого тела, впиваясь в него своим ядовитым жалом, как впивались в душу эти ужасные мысли, от которых не было сил избавиться. Личная жизнь отошла на второй план, поскольку, конечно, она не давала себя чувствовать невыносимыми неудобствами жизни. Гораздо сильнее чувствовалось все то, что осталось где-то вдали, как невозвратное прошлое, погубленное бессмысленно-глупо, бесцельно, дико и гадко. Мы устали. Устали не физически, а от сознания своего бессилия и всей окружающей обстановки.

* * *

Группа войск особого назначения расформировывалась. Части войск, бывшие на Кубани, были спешно переброшены на Крымский фронт, где у Каховки сильно нажимали красные. Дивизионный лазарет 2-й Кубанской дивизии ликвидировался. Мы ждали назначения в 7-ю дивизию, занимающую позицию на Днепре. Наступала осень. Ночи становились холоднее. Теплой одежды у нас не было. Сапоги были дырявые. Предстояла зимняя компания в обстановке походной жизни.

Ночевки на открытом воздухе пугали нас. Если мы выдержали зимнее отступление на Румынию и Кубанский поход, то естественно могли бы продолжать испытывать свои силы, но морально мы были подавлены. Мы шли на Кубань с надеждой выйти на пути, ведущие нас в родные края. Мы рассчитывали продвигаться вместе с войсками и раньше других быть у себя дома. Это решение созрело у нас еще в Болгарии, и мы твердо шли к своей цели. Теперь нужно начинать сызнова. Хуже нет, если человеку по пути его решений приходится возвращаться назад.

Окружающая нас атмосфера общественной жизни в значительной степени способствовала перемене нашего настроения. Надежда на скорую развязку событий и начало строительства государственной и общественной жизни с каждым днем слабела. Поскольку на фронте дела шли хорошо, настолько тыловая жизнь вызывала опасение за будущее. Возрастающая в колоссальных размерах дороговизна раскрывала ужасную

картину аморальности и алчности всех, кто только мог так или иначе зарабатывать[27].

В этом взаимном грабеже люди забыли все: и Родину, и свое положение, и тех, кто отдает все свои силы и безропотно умирает на фронте, и тех, чей стон доносится через фронт из рабоче-крестьянской России. Всеобщая спекуляция в сообществе с представителями наших иностранных союзников, как микроб общественной болезни, заменила прошлогоднюю эпидемию тифа. Эта зараза охватила весь тыл. Сотни тысяч и миллионы бумажных денег переходили из рук в руки, развивая жадность и грубо-эгоистическое отношение ко всему окружающему. Сорвать большой куш, не считаясь ни с чем, было вполне нормальным явлением. Оправданием служил несомненный факт падения курса рубля и курс иностранной валюты.

Вообще оправданий было много. Простой матрос имел за каждое заграничное плавание миллионы рублей. Бывший официант или прислуга покупали дом в Севастополе за полтора миллиона. Каждый торговец, комиссионер, фабрикант зарабатывал сотни миллионов рублей и в оправдание ссылался на падение курса рубля. Счет велся только на сотни тысяч и миллионы рублей и служил оправданием спекулянту так же, как оправдывался крестьянин, бравший за фунт яблок 1500 рублей и за один арбуз от трех до пяти тысяч рублей. Мы высчитывали, что если в среднем с дерева крестьянин имеет 5 пудов яблок, то за сад в двадцать деревьев он получит шесть миллионов рублей. Спекуляция дает спекулянтам колоссальные капиталы, и с ними конкурирует труд. Дневной заработок рабочего достигает 30-40 тысяч рублей. За рабочим тянется ремесленник, а за этим последним - все, кто только может что-нибудь заработать. В особо жалком положении находятся служащие, но и они стремятся в некоторой степени использовать спекулятивный метод. Купить за 10 тысяч рублей, чтобы продать за 50 тысяч рублей, считалось естественным и нормальным.

На этой почве развились в необыкновенном размере всевозможные кражи. Каждая вещь имеет громадную ценность. Украсть, например, старую простыню, которая расценивалась на базаре в 50 тысяч рублей, или кальсоны, стоящие 30 тысяч рублей, или даже пару носков, стоимость которых была до 10 тысяч рублей, представляло большой интерес. Кража развилась не только среди уличной толпы, но и среди интеллигентного класса населения. Во всех общежитиях процветала кража.

Воровали друг у друга везде и все, и главным образом одежду и белье. Мы оставляем совершенно в стороне спекуляцию высшего порядка - спекуляцию на иностранную валюту,

доступную далеко не всем спекулянтам даже высшего полета. Это особый отдел спекуляции, покрытый тайной и составляющий монополию особой группы людей. Мы не будем повторять эти громкие имена, которые произносятся вслух на каждом перекрестке. Это теперь даже не позор, и в общественном мнении такой человек не подвергается остракизму. Он скорее герой, ловкач.

Вполне понятно, что эти люди жили роскошно, как комиссары в рабоче-крестьянской России, и ни в чем себе не отказывали. Обыкновенный пиджачный костюм стоил 800 тысяч рублей. Нам лично говорил портной, что от заказчиков нет отбою. Главными заказчиками у него являются простые матросы и вообще служащие в пароходстве. Спрос на шоколад, малая плитка которого в 1/8 фунта стоит 6000 рублей, был громадный, как равно раскупался и виноград, фунт которого повысился до 3000 рублей. Помимо спекулянтов главными потребителями этих ценностей были совершенно простые люди (простонародье). Вчера дворник нашего общежития, простой малограмотный человек, купил два живых гуся за 50 тысяч рублей и заплатил за доставку их с базара 7000 рублей. Этот случай был предметом нашего разговора вечером, и факт был проверен свидетельскими показаниями.

Но вместе с тем был установлен другой факт. Наши служащие не могли вывешивать на дворе свое мокрое белье, так как тот же дворник крал это белье. Это потрясающая картина экономической жизни тыла, на фоне которого вырисовывается серая масса людей, покинувших большевистскую Россию, в большинстве из бывшего трудового интеллигентного класса населения, которые составляют ныне русскую армию. Она занята своим делом и стоит на фронте железной стеной, за которую спрятались эти тунеядцы. Конечно, на той и другой стороне есть исключения в виде отдельных личностей и групп лиц, но это не поменяет наших суждений. Эта серая масса бывшей интеллигенции с группою солдат, живя впроголодь и получая в среднем от 10 до 14 тысяч рублей жалованья в месяц и суточных по 1200 рублей, не может заказать себе костюма стоимостью в 800 тысяч рублей и покупать виноград за 3000 рублей. В таком же положении находится наш средний интеллигент, частный обыватель.

Культурная жизнь приостановилась. Единственною целью существования интеллигентного человека, казалось бы, может быть теперь только задача освободиться от невозможного положения и идти освобождать Родину от большевистского ига и той заразы, которая распространилась в тылу. Иного выхода нет.

Нормальная жизнь и развитие личности немыслимы. Достаточно указать, что карандаш стоит 1000 рублей и лист бумаги - 750 рублей. Еще показательнее цены на учебники: «География» Иванова - 20 тысяч рублей. «Хрестоматия» Белецкого (немецкая) - 20 тысяч руб. «Фармакология» - 65 тысяч рублей и т.д. Я лично накануне того, чтобы лишить себя единственного занятия - вести свои записки. Бумаги у меня нет. Общая тетрадь стоит 60 тысяч рублей. У меня нет пера и карандаша. Все, что я получаю от казны в виде содержания, едва хватает, чтобы жить впроголодь.

Существование жалкое. Окружающая обстановка жизни мрачная и убогая. Интеллигенция опустилась. Умственных запросов ни у кого нет. Все стали болезненно раздражительными, грубыми и невоспитанными. Во всех правительственных и военных учреждениях с публикой обращаются грубо и дерзко, не считаясь ни с положением, ни с чинами. Это явление в связи с неопрятностью в одежде и грязными, неубранными помещениями производит удручающее впечатление. Очереди решительно на все, даже в клозеты, уравнивали всех в положении и возбуждали друг против друга озлобление и ненависть. Как результат переутомления и приниженности человеческой личности, эти стороны общественной жизни делали интеллигентного человека жалким.

Три года войны, четыре года междоусобицы сделали свое дело. Интеллигентного общества, в сущности, не существует. Были две группы людей. Одни глубоко страдали и несли на себе всю тяготу переживаемого момента - это были герои, борющаяся сторона. Другие приспособлялись к условиям жизни и тунеядствовали, погрязши в свои эгоистические стремления пережить за счет других лихолетье, и выжимали поэтому для себя все, что можно от жизни, которую они вели только для себя.

* * *

Врачи и фельдшера расформировываемого лазарета уже получили назначения. Сестры еще жили в общежитии и числились в резерве. Ликвидация лазарета затягивалась соблюдением формальностей. Мне почти нечего было делать, и это меня тяготило. Я просил заведующего инспекторским отделом санитарного управления Вишневского дать мне назначение, не выжидая лазарета, так как фактически я уже сдал всю отчетность. Сначала Вишневский посчитал это неудобным, а через два дня он предложил мне место делопроизводителя у него в отделении с тем, что, если я пожелаю, он потом даст мне назначение в один из дивизионных лазаретов <. . >

Брат Н. В. поселился с нами. Мы с братом решили одно из двух: или обоим получить назначение в один из госпиталей

Симферополя, чтобы быть вместе с братом Сергеем, или идти обоим вместе в один из дивизионных лазаретов на фронт. Во всяком случае, мы условились отныне не расставаться. Эта встреча была еще до заключения польско-большевистского договора, в то время, когда надежда еще теплилась в русских сердцах. Развал в Красной армии после войны с поляками, казалось, должен был сделать свое дело, и мы готовились на зимовку в Крыму. Мы жили за вокзалом у базара, в квартире бухгалтера электрической станции Мироненко и потому пользовались громадным преимуществом - мы имели освещение до 12 часов ночи.

Это делало нашу жизнь до некоторой степени культурной. Н. В. был обложен книгами. По вечерам мы беседовали, занимались, читали, писали свои мемуары. Коек мы не имели и лежали на полу. Посередине комнаты стоял письменный стол и два стула. Это была вся обстановка комнаты. Питались мы очень скудно, так что всегда хотелось есть. Нашей мечтой был всегда чай. Иногда мы позволяли себе эту роскошь и покупали по два кусочка сахару за 300 рублей и выпивали вприкуску невероятное количество чашек. По приезде брата наша жизнь несколько улучшилась. Н. В. был при деньгах и привез с собою бутылочку коньяку и две бутылки спирта. Мы покупали к вечеру камсу, бирбульку и сельди и уютно проводили вечера за этим ужином. Мы старались держать комнату в чистоте и наконец отделались от насекомых. Но как можно было сделать жизнь более комфортабельной, когда вся жизнь протекала на полу! Мы часто говорили об этом и вспоминали прошлое. Нам с братом казалось, что мы еще не совсем опустились, но, конечно, о себе судить трудно.

Естественно, после года такой походной жизни, а раньше еще жизни в большевистской грязи, можно было опуститься. Мог ли я думать, что мне придется когда-нибудь спать на голом полу, без подстилки, без подушки, на земле, на снегу... и я спал. Отсутствие иногда белья, а в лучшем случае грубое белье из казарменных складов, снятое может быть, с покойников и больных, смазные сапоги, грубая шинель доставляли временами большую муку. В эти длинные вечера мы вспоминали прошлое, но боялись говорить о будущем. Доктор Любарский всегда раздражался и просил прекратить разговор, когда мы изображали будущее в мрачном цвете.

Брат Н. В. внес в нашу жизнь некоторое разнообразие. Он много занимался своей наукой. Почти тотчас по приезду он купил себе курс механики Эйхенвальда («Эйхенвальд») за 106 тысяч рублей и готовальню за 45 тысяч рублей. На следующий день он купил общую тетрадь за 60 тысяч рублей. Н. В. читал на о.

Лемнос лекции и получил за это от англичан порядочное количество фунтов. Все мы работали вместе при санитарном управлении, и это объединяло нас. Мы были удовлетворены, что живем среди своих людей. Служба была, конечно, не та, к которой мы привыкли. Суета, беспорядок, грязь, грубое обращение - это были спутники переживаемого времени, и с этим, конечно, нужно было считаться. Но тяжелее всего было видеть, что это не тот порядок и не та жизнь, при которой может войти в норму государственная жизнь. Власть толпы, простонародья чувствовалась во всем. И даже в нашем управлении в руках низшего персонала были все склады, имущество, и здесь они делали что хотели. Высший персонал, начальство - это были люди новой формации поневоле. Таково было общее направление.

* * *

После мира, заключенного поляками с большевиками, Крыму угрожала несомненная опасность. Большевики перебрасывали с польского фронта громадные силы. Большевистские газеты открыто призывали коммунистов кинуть на фронт все лучшие силы, чтобы сбросить генерала Врангеля в море. Командование учитывало это положение и готовилось принять смертельный и, очевидно, последний бой. Ежедневно в управление с фронта прибывали врачи, фельдшера, сестры милосердия, и от них мы знали о положении фронта. Армия была в отличном состоянии. Дисциплинированная и героическая, она железной броней стояла на своих позициях, сознательно и твердо выжидая противника вдесятеро сильнее. О бегстве и даже об отступлении не могло быть и речи. Это были последние стойкие борцы за свою Родину.

Тыл спекулянтов, грабителей и новоиспеченной буржуазии выступал в эти серьезные дни еще ярче и вызывал особое чувство гадливости. Цены росли неимоверно. Еще накануне коробка спичек стоила 500 рублей, теперь она стоит 1200 рублей. Цены на хлеб повысились до 1200 рублей за фунт. Рыночные цены были своего рода барометром. Как ни твердо стоял фронт, этот барометр предвещал катастрофу. В сознании полной безответственности торговцы задыхались от цен и рвали с обывателя сколько им было угодно. В одну неделю цены на сало поднялись с 8000 до 18 тысяч рублей.

С фронта поступали самые лучшие сведения. Уверенность и готовность твердо встретить противника не вызывали сомнений. Между тем цены зловеще росли, и этому признаку верили больше, чем официальным бюллетеням о положении фронта. Мы по опыту знали, что явление это всегда предшествует катастрофе и находится вне человеческой воли. В голове совершенно не укладывалась мысль - как это будет? и что предпримет генерал

Врангель? <...>

Профессора, ученые, общественные деятели, старые опытные государственные деятели и вообще представители прежней русской государственности и трудовая интеллигенция, успевшие съехаться в Крым, почти все пережили ужас большевизма. Были теми людьми, против которых направлялся удар большевиков. Тем не менее эти русские люди съезжались в Крым, чтобы всем вместе так или иначе бороться против большевиков.

Громадным событием в жизни Крыма были новые дипломатические отношения с французами. Ежедневно ждали прибытия представителя французского правительства. Эти новые отношения, конечно, истолковывались широкой публикой как оказание реальной помощи армии генерала Врангеля. Говорили даже, что в Константинополе стоит 17 судов с чернокожими войсками, которые высадятся в Крыму, Одессе и Новороссийске. Французы сыграли видную роль на польском фронте и теперь должны вывести из тяжелого положения армию генерала Врангеля. В Севастополе ждали прибытия графа Де Мортеля - верховного комиссара Франции. Мы случайно присутствовали при прибытии графа на броненосце «Valdeck-Rousseau» в Севастопольскую бухту.

Это был торжественный въезд представителя дружественной державы со всеми традициями международного этикета. Миссия графа скоро сделалась достоянием общества. Франция решила помочь материально и морально генералу Врангелю, как представителю прежней русской государственности, но реальной помощи не окажет. Во всяком случае присутствие французов и могучего дредноута в Севастопольской бухте действовало на публику успокоительно. Интеллигенция несколько приободрилась. Но это было только в первые дни. Скоро в обществе стали поговаривать, что в составе французской миссии среди служащих узнали некоторых лиц, близко стоящих к большевистским деятелям. Называли даже фамилию некоего Пешкова. Этот слух панически облетел город и истолковывался как предательство французов. Французам не верили и, вспоминая их предательство в Одессе, считали их изменниками.

* * *

Сегодня исполнился ровно год моим испытаниям, и мне хотелось бы отметить этот день в своем дневнике. 23 октября 1919 года, в день моего рождения, 48 лет, я оставил вместе с добровольцами свой родной город и с тех пор скитаюсь по свету, перенося бессмысленно-глупо, бесцельно и напрасно такие невзгоды, которые только можно себе вообразить по Майн-Риду. Меня заставила уйти моя дочь Оля, чтобы спасти мне жизнь. Мы

ушли от ужасов большевизма и верной смерти, которая ожидала нас, если бы мы решились вторично остаться при советском режиме. Все стадии большевистской программы дознаний и расследований моей прежней деятельности включительно до ареста были пройдены. Мое прежнее служебное положение, может быть, было уже забыто, но как общественный деятель и бывший царский чиновник я был бы на учете и мог быть всегда расстрелян как заложник или при малейшей неудаче на фронте. За нами была очередь.

Уходили от большевиков все, кто только мог. Уходили лучшие работники и интеллигентные люди. Из Чернигова ушел почти весь окружной суд, губернская администрация, городской голова, члены городской управы, директора и учителя гимназий, гимназисты и реалисты, инженеры, врачи, сестры милосердия и т.д. Это была та же история, что в Киеве, Харькове, Курске, Орле и других городах, занятых добровольцами. Бежали не только интеллигенты и представители буржуазии, но и рабочий класс населения, беднота и крестьяне. Нам рассказывал участник бегства из г. Орла, железнодорожный служащий, что по дороге из Орла на Курск вместе с интеллигенцией шли целые толпы железнодорожников, рабочих и крестьян. Шли под дождем и в мороз в легком одеянии, без вещей и без денег, сами не зная куда.

Что скажет история, как осветит она это явление и как будет трактовать о борьбе рабоче-крестьянского правительства с буржуазией! Уже теперь мы видим противоречия и совершенно противоположные взгляды. Мы верим в искренность публициста, бывшего революционного деятеля В. Л. Бурцева, который как очевидец пишет в № 67 своей газеты «Общее дело» от 8 апреля 1920 года: «Видел толпы, тысячи, десятки тысяч населения всех возрастов, всех национальностей, представителей разнообразных политических течений, в том числе виднейших социалистических деятелей с огромным революционным прошлым, ученых и литераторов, рабочих, крестьян. Все они в ужасе бежали при приближении большевиков, как бы за ними гнался по пятам пожар».

Совсем иное, и притом почти одновременно, пишет не как очевидец Борис Савинков (тоже революционер-убийца) в своем открытом письме к Врангелю (газета «Общее дело» от 10 сентября 1920 года, № 87): «Честный и доблестный генерал Деникин не понял, однако, что такое свобода. Он восстановил против себя крестьян, то есть самую Россию. Коленопреклоненные, с пением “Христос воскресе” встречали крестьяне его добровольцев, и он доходил до Орла - почти до ворот Москвы. Как провожали его? За

ним шли помещики, становые, исправники, губернаторы, генерал-губернаторы, контрразведки, бесчисленные толпы - за ним шло старое, истлевшее, неспособное возродить Россию».

Савинков, живя за границей, конечно, знал, что все европейские университеты и ученые общества имеют в своей среде русских профессоров и ученых, бежавших из России. Длинные списки русских ученых, педагогов, литераторов, артистов, технических сил за границей очень часто появлялись на страницах русской печати, и в частности в той же газете «Общее дело», которую, очевидно, читает Савинков. Газеты называли наших профессоров, занимающих кафедры в университетах Болгарии, Сербии, Хорватии, Словении. Это все были русские силы, бежавшие от большевиков. Савинков не мог также не видеть за границей наших общественных деятелей, бывших членов Государственной думы, публицистов и литераторов, которые перенесли свою деятельность за границу. Г. Савинков писал эти строки, а между тем сам первый бежал от большевиков, как бежали от красного ужаса исправники и становые, но только разница в том, что эти исправники и становые уже давно вернулись обратно и защищают на фронте свою Родину, а Савинков как дезертир до сих пор скрывается за границей.

Мы ушли от большевиков и рады, что так или иначе мы причастны к борьбе с этой мерзостью. В этом отношении мы все вчетвером сходились в своих взглядах, и колебаний у нас не было никаких. По случаю моего рождения брат обещал вечером раскупорить последнюю бутылку коньяку, а я купил комсу, которую отлично поджаривает в печке доктор Любарский. Полковник Николаенко тоже раскошелился и купил 8 кусков сахару за 1800 рублей, решивши устроить чай. Вечер предстоял блестящий, с ужином и чаем, но только без сервировки, и на полу возле печки.

Все как будто шло хорошо, но, возвратившись уже в сумерки домой, полковник сообщил нам, что в разных концах города идет стрельба, совершенно такая, как всегда бывает перед приходом большевиков, и вообще, сказал Николаенко, на базаре какое-то противное настроение. Вечер был невеселый, тем более что в комнате было так холодно, что мы совсем замерзли даже в своих шинелях. Мы расположились на полу возле печки, в которой на щепках доктор Любарский жарил комсу. С нами был мой вестовой - красноармеец Соболев, который помещался в кухне у Мироненко, но я решил пригласить его на этот ужин. Мы все-таки были осторожны в словах при нем, и потому разговор не клеился. Мы рано легли спать на тех же местах, где сидели, так как возле печки все же было теплее.

* * *

Очень быстро события приняли иной оборот. Мир поляков с большевиками сделался фактом. В начале октября возле Мелитополя обнаружились громадные силы красных и широкий охват конницы Буденного. По сведениям военных кругов, количество красных насчитывает восемь армий, или не менее 300 тысяч войск. Отход наших войск к неприступным позициям на Перекоп носил отчасти катастрофический характер. Ближайший тыл понес колоссальные потери имуществом, запасами и снаряжением. Интендантство, некоторые госпитали, лазареты и перевязочные отряды остались в руках большевиков. Войска успели отступить, но был момент, когда произошла «переслойка», и некоторые части потеряли связь с командованием.

Замкнувшись в укрепленном районе перекопских позиций, армия ощетинилась и твердо стояла на своих позициях. Перекоп считался неприступным, но Крым сделался осажденной крепостью. Настроение в правительственных сферах и в обществе было спокойное. Положение признавалось очень тяжелым, но надеялись, что перекопские позиции помогут удержать Крым. Изменилась лишь несколько улица. Гулящая и беззаботная публика точно опомнилась и притихла. Того разгула, который наблюдался при прежнем положении, не было вовсе. В ресторанах и кафе стало значительно спокойнее. Полным ходом работал только цирк. Толпа осаждала цирк и брала билеты с бою, несмотря на то, что последнее место на галерке стоило 750 рублей. Но это была другая публика. Это был народ - разбогатевший простолюдин - новоиспеченный буржуа.

События шли с невероятной быстротой. Перекоп не выдерживал. Армия не успела еще оправиться, как одна за другой атаки противника обессиливали защитников Крыма. На одном из участков красные произвели последовательно 26 атак, вводя каждый раз свежие силы. Все эти атаки были отбиты, причем наши наложили целые горы трупов красноармейцев, но, естественно, стали ослабевать сами. К 23 октября Перекоп был обойден большевиками, и в этом состояла новая катастрофа. Общество приняло этот удар безропотно, но и спокойно. Борьба в силах была неравная. Это отлично понималось всеми, и роптать было не на кого.

Войска держали себя выше всяких похвал и не только не дрогнули, но продолжали стоять против восьми армий большевиков. Это была иная картина, чем в прошлом году. Армия генерала Врангеля с достоинством выходила из отчаянного положения и готова была драться до последнего человека. В этих боях погибло 6000 офицеров и 14 тысяч солдат. Потери

большевиков исчисляются не менее чем 100 тысячами человек. Семидесятитысячная армия генерала Врангеля не могла продолжать борьбу.

Между тем за стеной армии стояла такая же армия русских людей, которая должна была разделить судьбу действующей армии. Это были те русские люди, которые органически были связаны со своей Родиной и оставили дома своих родных и близких людей. Эта катастрофа была тяжелее и серьезнее всех предыдущих и казалось подобной смерти. Большевики, естественно, не пощадят этих людей, и если не уничтожат их сразу, то постепенно их выловит Чрезвычайка.

Но если бы даже кому-нибудь удалось уцелеть и затем пробраться домой, то их появление дома причинило бы родственникам только новое горе. Теперь, может быть, они считают нас погибшими, если сами они не погибли, но жизнь их вошла в колею, и страдания их обратились в привычку. Наше появление дома не может пройти незамеченным. Опять Чрезвычайка, пытки, расстрелы. Выхода из положения не было. Эвакуация... Но куда и зачем? Мы все это уже испытали. Впрочем, об эвакуации никто и не думал. В представлении общества это было немыслимо. Все ждали последнего слова генерала Врангеля и больше всего боялись капитуляции.

Несмотря на зловещие слухи, занятия шли всюду обычным порядком. В санитарном управлении спешно формировали три лазарета, которые на днях должны выступить на фронт. Это было совершенно непонятно. 27 октября мне было предложено в тот же день закончить формирование этих лазаретов. В публике шел разговор о готовящемся будто бы десанте и перемене фронта. Чувствовалось, что на днях должно произойти что-то чрезвычайно серьезное. На следующее утро я торопился на службу. Мой брат и доктор Любарский настаивали, что нужно быть в курсе дела и узнать об общем положении. В управлении была уже масса людей. Еще в коридоре я узнал об эвакуации.

Отчасти радостно, с другой стороны с тревогой публика отнеслась к этому выходу из положения. Что это означало, и куда могла быть эвакуация, никто не знал. Повсюду спешно составляли списки служащих, подлежавших эвакуации. На лицах русских людей были тревога и недоумение. Тем не менее, не отдавая себе отчета, все торопились записаться и боялись остаться не записанными. Слухи ходили самые разнообразные. Говорили, что армию Врангеля принимают в Константинополе, другие передавали, что армию перебрасывают на Польский фронт и в Бессарабию, третьи утверждали, что эвакуация произойдет с прорывом в Одессу.

Смущало лишь то обстоятельство, что эвакуация уже шла полным ходом. Пароходы грузились еще с вечера. Одиночками и группами, в большинстве военные шли и ехали к гавани. Санитарное управление должно было грузиться вместе с ранеными на пароход «Ялта». Любопытно, что на днях я получил предложение принять место уполномоченного государственного призрения и ждал назначения в г. Симферополь. Я изъявил свое согласие и должен был на днях оставить военную службу и выехать в Симферополь к брату. Главноуполномоченный тайный советник Пильц уверенно говорил, что Крым будет удержан и никакой опасности Симферополю не угрожает.

Это была несомненная катастрофа. Еще накануне мы спорили по этому поводу, и мой брат Н. В. доказывал, что эвакуации быть не может. Мы не знали, что в это время уже печатался приказ генерала Врангеля, который разъяснял общее положение и рассеивал все сомнения. Мы получили этот приказ лишь на следующий день:

«Русские люди!

Оставшаяся одна в борьбе с насильниками русская армия ведет непрерывный бой, защищая последний клочок русской земли, где существует право и правда. В сознании лежащей на мне ответственности я обязан заблаговременно предвидеть все случайности. По моему приказанию уже приступлено к эвакуации и посадке на суда в портах Крыма всех тех, кто разделял с армией ее крестный путь. Семей военнослужащих, чинов гражданского ведомства с их семьями и тех отдельных лиц, которым могла бы грозить гибель в случае прихода врага. Армия прикроет посадку, памятуя, что необходимые для ее эвакуации суда также стоят в полной готовности в портах согласно установленному расписанию. Для выполнения долга перед армией и населением сделано все, что в пределах сил человеческих. Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и государственной казны. Открыто, как всегда, предупреждаю

всех о том, что их ожидает. Да ниспошлет Господь всем силы и разума пережить и одолеть русское лихолетие.

Генерал Врангель

г. Севастополь, 29 октября/11 ноября 1920 г. № 3754»

Горсть русских людей, которая первоначально пошла за генералом Корниловым и разрослась постепенно в Добровольческую армию, погибла. Генералу Врангелю удалось собрать возле себя остатки этих героев, удержать Крым и перестроить на новых началах все то, что осталось разбросанным в различных частях света от добровольческих организаций. К Врангелю стекались прежние добровольцы отовсюду: через Германию, Сербию, Болгарию, Турцию, через Францию, Англию и даже Сибирь, ехали русские люди, уцелевшие от разгромленных армий Колчака, Юденича, Миллера и даже Петлюры, чтобы продолжать великое дело спасения Родины. Мы встречали по пути этих людей. Здесь были совсем юные, и пожилые, и старые люди. Каждый из них пережил глубокую драму. Все они были ограблены. У каждого остались на Родине родные и близкие люди. Почти у каждого в семье был кто-нибудь расстрелян и замучен большевиками.

Теперь все эти люди были одиноки и, естественно, стремились туда, где собираются такие же, как они. Когда-то состоятельные и во многих случаях богатые люди, теперь оборванные, голодные, лишенные всего своего имущества, оторванные от семьи, бросившие свои занятия, службу, не имеющие никаких сведений о своих родных, - это были несчастные люди. Если еще первое время они имели окольными путями сведения о своих родственниках, то после неоднократных эвакуаций и повального бегства из рабоче-крестьянской России интеллигенции всякие сношения с ними прекратились, и люди потеряли всякую связь между собой. Члены семейств расползлись и были отрезаны событиями друг от друга. Родители теряли своих детей, дети оставляли своих родных. Многие пропали без вести. Очень часто отец был в рядах добровольцев, а сыновья сражались в красных войсках. Еще чаще родные братья дрались друг против друга. Мобилизация большевистская и мобилизация добровольцев заставала разъединенных родственников в разных местностях и давала такие уродливые результаты. Многие не были дома с начала революции и не знали о судьбе своих родных. Оборванные, как нищие, беглецами из разных концентрационных лагерей, одиночками и группами, во враждебной к русским обстановке иностранных государств, эти добровольцы, испытывая тяжкие лишения, пробирались по ночам окольными путями, чтобы умереть между своих, среди добровольцев - людей таких

же, как и они.

Мне пришлось говорить с раненым бомбой с аэроплана при высадке десанта на Кубани. Три года казак не был дома и все время служил добровольцем. Сколько горя, обиды и страданий вылилось в его последних словах! Умирающий понимал, что ему не видать больше Родины, и просил похоронить его на берегу Кубани, а не спускать в море. Больной умирал на пароходе «Мария» в Азовском море, возле кубанского берега, в 40 верстах от своей станицы. Под вечер носилки с покойником, накрытым солдатской шинелью, стояли на палубе возле трапа под лестницей. Фельдшер сидел перед ним на корточках и переписывал принадлежащие покойнику вещи. Так закончились скитания казака-добровольца, не подчинившегося власти толпы и не пожелавшего перейти от привычной дисциплины к советскому режиму. Он верил своему вождю генералу Корнилову и вместе с ним ушел с разлагающегося фронта от озверевших солдат-большевиков.

Сначала это была горсточка офицеров и солдат-фронтовиков, но постепенно эта ячейка разрослась и породила целый ряд русских героев. Генералы: Алексеев, Дроздовский, Колчак, Деникин, Врангель, Слащев, Бабиев - эти бессмертные имена борцов за свою Родину вместе с безыменными офицерами, солдатами, добровольцами были, однако, так далеко, что не все могли присоединиться к ним.

Громадное большинство интеллигенции и русских людей остались в большевистской России, откуда уже выбраться было нельзя. Мы были при первом и втором пришествии большевиков в Советской России и знали настроение русских людей. Обыватель ждал освобождения от большевистского ига и встречал добровольцев восторженно-радостно. Если

Добровольческая армия впоследствии оказалась не на высоте своего положения, то идея ее осталась незыблемой.

Несмотря на то что армия добровольцев разложилась и, дойдя до г. Орла, начала беспорядочно отступать, за ней кинулась чуть ни половина России. Не ушел только тот, кто не мог уйти. Перестроенная ныне генералом Врангелем на новых началах русская армия преемственно восприняла идеалы Добровольческой армии и представляла вместе с такими же армиями адмирала Колчака, Миллера и Юденича всю ту Россию, которая жила надеждой освобождения ее от большевиков.

Армии Колчака, Юденича и Миллера были разбиты и перестали существовать. Осталась армия Врангеля, которая одна еще стояла на своих позициях и составляла надежду русских людей. Теперь эта армия вместе с правительством, гражданскими

учреждениями, казенным имуществом, всем флотом и военными кораблями готовилась покинуть последний клочок Русской земли. Это не отдельная политическая партия или военная часть, это часть России - остатки прежней великой, могущественной России. Это прежняя русская государственность. Разбитая, разложившаяся и завоеванная большевиками, прежняя Великая Россия перестала существовать. Последний клочок Русской земли оставляли русские люди, у которых в советской России остались семьи, близкие и родные люди. Они остались с большевиками не потому, что не хотели уйти, а потому, что это так случилось.

Никто не мог предполагать, что все это закончится такой катастрофой. Никто не думал тогда, когда уходил, что уходит навсегда. Мы думали, что оставляем свои места лишь на некоторое время, пока добровольцы перегруппируются и начнут опять теснить большевиков. Девятым валом этой исторической катастрофы волна беженцев докатилась вместе с добровольцами до самого Юга и разбросала беженцев по всему свету. Часть по дороге отстала и была настигнута большевиками, часть погибла от болезней, от холода и голода; часть этих людей очутилась помимо своей воли за границей, на островах за проволочными заграждениями англичан, и только небольшая часть замуровалась в Крыму с остатками Добровольческой армии. Сюда потом стекались русские люди в надежде возвратиться в свои родные места, к своим семьям. Теперь они вновь ухо -дили, но уже без надежды, без упований, без будущего.

Все шли к гавани не спеша, серьезно, без суеты и паники. Люди шли, пытливо заглядывая друг другу в глаза. Наш или не наш? Остается или идет с нами? Этот спокойный ужас и сознание серьезности положения глубокой чертой отражались на лице каждого. Это не было бегство, подобно прошлой эвакуации. Люди шли к гавани сознательно. Шел только тот, кто хотел. Шел как бы на смерть, на верную гибель. Каждый понимал, что спрашивать другого не о чем. И люди молчали. Молча грузились на пароходы. Молча располагались на палубе или шли в трюм и молча покорялись судьбе. Разговоров не было вовсе. Каждый вновь приходящий на корабль встречался другими приветливо, как свой, и каждый считал своим долгом помочь, указать место, потесниться и уступить.

Было хорошо и приветливо. Это были русские люди. Это была часть погибающей России. Грузились на все стоявшие в гавани пароходы, и всюду был порядок, спокойствие и молчаливое, унылое, грустное настроение. Это было не то горе, не то чувство, когда люди, спасаясь, проявляют свое настроение порывисто, страстно, панически, забывая других, себя и окружающую

обстановку. Нет! Здесь было одно общее для всех горе - безнадежное, глубокое, молчаливое, безысходное. Без ропота люди покидали свою Родину. Над каждым витал образ предстоящих страданий и смерти. Каждый понимал, что нескоро и немногие вернутся обратно.

Но могло быть и хуже. Может случиться, что ни одно государство не примет русских, и после скитаний придется или погибнуть в открытом море, или вернуться обратно к большевикам. Дальнейшие пути наши неизвестны, предупреждал генерал Врангель. Румыния в прошлую эвакуацию расстреливала спасающихся на ее территории. Греки в Салониках не приняли пароход «Владимир» с русскими беженцами, и это осталось глубоко в памяти русских людей. Что ждало нас в этот раз и где, и на какой земле найдет приют или смерть каждый из покидающих теперь свою Родину? Нужно было встретить судьбу без ропота. Осуждать было некого. Да и не все ли равно? Не лучше ли умереть, чем страдать? Генерал Врангель сделал все, что было в его силах, а во всем прочем каждому было предоставлено действовать по силе своего разумения.

Уходили добровольно, без нажима со стороны власти. Десятки тысяч русских людей спускались с горы к морю и шли сосредоточенно, серьезно, молча, с печатью решимости на лице. Уходили остатки борцов с насилием. Среди этих людей были такие, которым можно было остаться без риска для жизни, но большевистская программа была для них неприемлема. Уходили не буржуи, спекулянты со своим багажом, а люди скорее обиженные, далеко не то, что называлось когда-то интеллигенцией. Уходила масса в серых шинелях; уходили русские люди, не пожелавшие подчиниться бандитам, растлителям Родины.

Мы покидаем Родину. Мы разделяем судьбу той части русских людей, которая боролась с насилием. Мы идем за нашим вождем генералом Врангелем и правительством, которое преемственно представляет прежнюю могущественную единую Россию. Мы знаем, что там, в бывшей России, сотни тысяч и миллионы русских людей, наших родных, близких, дорогих нам людей и единомышленников лихорадочно следят за каждым нашим движением и страдают вместе с нами, провожая нас с безнадежным чувством безысходного горя. Мы ни в чем не раскаиваемся. Мы жалеем лишь о том, что были недальновидны.

Если бы мы могли допустить мысль, что нам придется уйти навсегда, то, конечно, мы приняли бы иное решение. Мы оставили наших детей в надежде, что скоро с ними увидимся, но такой катастрофы никто не ждал. Теперь будущее нас мало

интересует. Не страшат нас и предстоящие испытания. Мы думаем о прошлом, о том, что остается позади нас. Последняя ночь на 30 октября в Севастополе была тяжелым кошмаром, но решение было уже принято. Мы идем в море, а там что Бог даст.

* * *

В связи с катастрофой в воздухе чувствовалось грозное настроение. Как всегда перед приходом большевиков, ждали восстания. Мы жили в рабочем квартале и знали это настроение. Как только стало известно об эвакуации, тотчас же началась забастовка портовых рабочих. Как перед грозой, на улицах и на пристани было затишье. Еще с вечера какие-то люди, ужасно плохо одетые, все больше из пленных красноармейцев, как шакалы, чуя добычу, бродили по городу. Учреждения охранялись юнкерами. Характерно, что уже за несколько дней раньше по вечерам в городе слышались одиночные выстрелы. Мы тогда уже говорили, что это зловещее предзнаменование. Теперь жизнь Севастополя вступала в новую фазу власти черни, толпы и местных бандитов.

30 октября, задолго до рассвета, мы втроем - брат, доктор Любарский и я вышли из своей квартиры с ручным багажом к пристани, где у южной бухты стоял пароход «Ялта». Город еще спал. По дороге мы не встретили ни одного человека, но было жутко. Погрузка раненых была закончена еще с вечера. К 6 часам утра пароход должен был сняться и пристать к морскому госпиталю, чтобы погрузить еще 200 раненых. «Ялта» была перегружена. На ней было уже более 2000 одних раненых. Палуба была забита людьми и вещами до такой степени, что в проход едва можно было протиснуться одному человеку.

Н. В. был назначен врачом второго трюма, и тотчас по прибытии на пароход ему было предложено приступить к сортировке и регистрации раненых. Брат предложил мне работать вместе с ним. Я хотел было вернуться на квартиру, чтобы забрать остальные вещи, но потом мы решили, что их принесет Соболев - единственный санитар из красноармейцев, оставшийся при мне с Кубанского похода. Егор Соболев (из Ставрополя) решил ехать с нами и слезно просил не оставить его. Естественно, мы послали его за вещами, но Соболев уже не вернулся. Полковник Николаенко, который пришел позже на «Ялту», говорил нам, что он заходил после нас на квартиру, но Соболева там уже не было, как равно не было и наших вещей. Приручeнный красноармеец не выдержал и в последнюю минуту обокрал нас. Опять я лишился того небольшого багажа, который составлял мое имущество. Это было казенное белье и одеяло - столь важные вещи в дороге.

Погода была хмурая и мокрая. С рассветом пароход отчалил

и направился к Северной бухте к морскому госпиталю. Несмотря на раннее утро, весь спуск к морю и все уступы и лестницы были сплошь покрыты людьми и горами сундуков, тюков и вещей, выжидающих погрузки. Погрузка шла полным ходом. По всей бухте взад и вперед беспрерывно шныряли катера и ялики, пустые и нагруженные людьми и вещами. Мы проходили мимо громадного транспорта «Кронштадт», мимо пароходов: «Рион», «Инкерман», «Арарат», «Дон», которые грузились и с трапа, и краном, и просто подымали вещи веревками с лодок. Уже все пароходы казались переполненными, а между тем масса людей стояла еще на берегу и ждала очереди. Несколько дальше стояли на якоре наши броненосцы «Корнилов» и «Алексеев» с миноносцами, а возле них красиво выделялся французский броненосец «Valdeck-Ruosseau» <…>

На разводном мосту стояла толпа народу, пропускавшая «Ялту». Готовые к отбытию пароходы были сплошь покрыты людьми и стояли освещенные, как днем, красным отсветом пожарища. С «Кронштадта» передавали в рупор какие-то распоряжения, и голос передающего звучал в этой обстановке как-то особенно звучно и монотонно.

30 октября 1920 года был для нас роковым днем. Среди сотни тысяч людей, покидающих Родину, мы с ранеными первыми покидали рус -скую территорию и выходили на рейд. Нас освещало зарево этого перво -го акта той драмы, которая должна разыграться на последнем клочке Русской земли. После отбытия последнего русского корабля несчастные жертвы, которые почему бы то ни было остались в Крыму, готовы были принять свою участь. Грабежи, насилия, пожары, убийства, расстрелы -это знакомая нам картина первых дней господства большевиков и подонков местного населения, а затем безграничная власть обезумевших солдат-красноармейцев, которым в таких случаях отдается город на разграбление, а затем жуткая расправа комиссаров и Чрезвычаек - в порядке красного террора - этот кошмар революционного экстаза был для нас таким же заревом пожара позади нас, где сжигалось все, что было дорого русскому человеку.

Русские люди оставляли теперь свою Родину, как когда-то еврейский народ покинул Египет. Веками и тысячелетиями история не забывала этого исхода еврейского народа, как не забудет отметить на своих

страницах и нынешнюю катастрофу русского народа, часть которого уходила вместе со своим правительством, армией и флотом, веря своему вождю, который не остановился перед тем, чтобы открыто, как всегда, сказать правду русским людям. Армия

уходила с честью, не разбитая и не бегущая, а выдержавшая с достоинством тяжкие испытания. Пароход «Ялта» покидал бухту, проходя освещенный зловещим светом пожарища; суда горели всеми цветами огней и были как будто иллюминованы пожаром, в красном оттенке. У выхода в море «Ялта» взяла на буксир миноносец «Капитан Сакен».

Мы стояли на палубе до тех пор, пока берега Крыма и зарево пожара не скрылись в тумане. Я не спал. В трюме было 950 больных и раненых. Места для нас не было. Мы расположились в проходе на своих вещах. Трюм был открыт, и страшно дул ветер. Раненые лежали спокойно и тихо. Тяжелораненых было мало. Они остались в Севастополе, в Одесском хирургическом госпитале вместе с медицинским персоналом во главе со старшим врачом Антиповым в составе трех младших врачей и 26 сестер милосердия. В Севастополе остались многие, кто не решался ехать на полную неизвестность, и те, кто считал, что им не угрожает опасность. Конечно, решиться ехать или остаться было не так легко. Вопрос решался обыкновенно сообща, и отстать от других было трудно.

На палубе было абсолютно темно. Все дремали сидя, полусидя и полулежа. Освещенные снизу заревом пожара облака постепенно расползались и совершенно исчезли с горизонта, точно там, за этими облаками, ничего не случилось. Ноябрьская, сырая, туманная ночь, неприветливое море, покачивающее своими ровными волнами громадный корабль, наводили тоску. Тысячи людей, спавших крепчайшим сном на палубе, в трюмах, на люках, под палубой и всюду, где только мог примоститься человек, делали все окружающее однообразным, мрачным, томительным и скучным. Ровный ход машины в обстановке тишины и покоя, изредка лишь прерываемых короткими свистками капитана корабля, делали мысль спокойной и ровной, дающей возможность сосредоточиться и войти в самого себя.

Куда шел пароход, мы не знали. Во всяком случае, ничего хорошего мы не ждали. В лучшем случае жизнь в концентрационном лагере или интернирование на каком-нибудь острове или на берегу Африки. Эти условия жизни были хорошо известны русским людям по прежней эвакуации. Больше всего, конечно, страшило неопределенное скитание по морю или еще того хуже - эмиграция, как людей, покинувших навсегда свою Родину. Во всяком случае, вернуться в скором времени домой, хотя бы и при ином государственном строе или под власть другого народа, рассчитывать было трудно.

Вне всякого сомнения, большевистское состояние России рано или поздно закончится, но что будет потом? В этом состоял

вопрос нашей личной жизни. Для людей молодых вопрос этот был в иной плоскости, но нам - людям в возрасте приходилось переживать тяжелое нравственное состояние. Естественно, громадная часть этих русских людей погибнет, не увидавши своей Родины и своих близких людей. Так погибла уже масса людей, кто отступал в прошлом году с добровольцами. Мы оставили в Советской России наши семьи. Может быть, им будет там лучше, чем если бы они последовали с нами. Может быть там, на своем родном пепелище, на разоренном гнезде, среди кое-кого из оставшихся в живых родственников и близких людей им будет лучше. А может быть скоро Россия опомнится и люди перестанут убивать и мучить друг друга.

Возле трубы было тепло. Тяжелораненый силился подняться на лесенку, чтобы пройти в трюм. Я помог ему, и он, запыхавшись, сел возле меня. Молодой человек - офицер и студент, раненный в обе ноги четырьмя пулями с раздроблением голени, говорил мне, что он оставил дома своих родных и жену с ребенком. Когда в прошлом году он уходил из Саратова вместе с добровольцами, он узнал, что отец его, начальник саратовской тюрьмы, заключен большевиками в тюрьму. С тех пор он не имеет никаких сведений о своих родных. Он умолк. Что можно было еще больше сказать... Мы долго сидели молча и иногда курили. Пароход шел, очевидно, тихим ходом, так как вдали несколько раз были видны пароходы, которые нас обгоняли. По-видимому, эти пароходы шли вместе с нами из Севастополя. Уже поздно ночью навстречу нам шел корабль, весь как будто залитый огнями. Это был пароход «Константин», шедший из Константинополя в Севастополь. Мы слыхали, как «Константин» в рупор спрашивал, сдан ли Перекоп и можно ли идти в Севастополь. Капитан «Ялты» ответил, что Перекоп сдан и Севастополь эвакуируется.

Два дня, 31 октября и 1 ноября, мы были в открытом море. Пароход «Ялта» был грузовым кораблем и потому не был приспособлен для такого громадного количества пассажиров. Временная уборная, хозяйственные помещения не могли обслуживать парохода и ежеминутно создавали всевозможные затруднения. Наиболее тяжела была очередь в уборную. Это был кошмар. Пять очков на борту парохода, наскоро сколоченные из досок и отгороженные от публики соломенными матами, были на виду всей публики, и что самое ужасное, это было то, что при бортовой качке на этих досках совершенно нельзя было сидеть, чтобы за что-нибудь не держаться, а держаться было не за что. Грязь и мокрота дополняли этот ужас и иной раз заставляли становиться в тупик, как исполнить свой долг перед природой.

Вообще, писал мой брат Н. В. в своих мемуарах, всюду гвоздем нашей жизни были клозеты. Падение культуры в России особенно отразились на этих кабинетах, которые были запакощены до сверхчеловеческих пределов. Кто это делал? Интеллигент или хам? Трудно было разобраться, но не парадокс ли, что по состоянию отхожих мест можно судить о социальном уровне, культуре и психике человека. И это действительно так. Русская революция дала в этом отношении удивительную картину распущенности одинаково хама и интеллигента.

Первый день на пароходе пищи не было вовсе. Об этом даже не говорили и не вспоминали. У кого было кое-что с собой, тот ел. У кого не было, тому было не до того. Мы ничего не ели и не заботились об этом. Было слишком много впечатлений. День был короткий, а вечером все были заняты отходом. В открытом море захотелось есть. С утра говорили, что к вечеру будет горячая пища, а тем временем каждому дадут по $^{1}/_{2}$ фунта хлеба и четвертую часть банки консервов, то есть около $^{1}/_{8}$ фунта консервированного мяса. Конечно, это было слишком недостаточно, и все с нетерпением ждали вечера. Но вечер и следующий день были неудачными. Котлов не хватало. Обед получили только некоторые больные.

Первый день люди промолчали, но уже на второй день к вечеру начался ропот. Всем ужасно хотелось есть.

Положение осложнялось еще острым недостатком воды. Чтобы получить кипятку, нужно было получить требование и ждать очереди чуть не полдня. Но кипяток составлял роскошь. Мы страдали от жажды без пресной воды. На третий день на «Ялте» стоял голодный стон. Все были заняты одной мыслью. Хотелось есть и проглотить каплю воды. Это внесло новое настроение и отвлекло многих от действительности. Больные начали капризничать, требуя ежеминутно профессора (моего брата). Многим было дурно от качки. Нашу соседку женщину-врача Лаврову и всех сестер милосердия закачало еще с вечера, и они, как выражались больные, выбыли из строя.

В этих мелочах жизни на пароходе бесцветно, однообразно и скучно прошли два дня нашего путешествия в открытом море. Днем нас обогнали еще суда, по-видимому из Севастополя, что не оставляло сомнения в том, что вся флотилия направляется в Константинополь. На душе стало легче. Очевидно, есть какая-то система и план в эвакуации.

С рассветом 3 ноября на горизонте появилась земля. Мы подходили к Босфору. У входа в пролив справа и слева были видны в бесконечном количестве рыбачьи лодки. Рыбаки занимались мирно своим делом. Крутые берега Босфора

смыкались ущельем в Босфор. При солнечном освещении и теплой по сравнению с Севастополем погодой эти берега представляли собой дивную картину. У самого входа в Босфор «Ялта» стала на якорь, ожидая, по-видимому, распоряжений. На «Ялте» кроме флага Красного Креста развивался французский флаг. Мы шли под французским флагом. Это сказало нам очень многое. Очевидно, французы принимали участие в нашей судьбе и руководили общим движением. Босфор - одно из красивейших мест в мире, действительно производил чарующее впечатление. Конечно, тяжелое душевное состояние отравляло это впечатление и, вероятно, не оставляло тех чувствований, которые вызвали бы эти картины при другой жизненной обстановке.

Мы подходили к Константинополю в тот момент, когда первый раз за эти дни удалось по знакомству достать миску супу. Оторваться от пищи не было сил. Между тем пароход проходил самое интересное место. Мы входили в Мраморное море, откуда отлично были видны знаменитые мечети Айя-София и Ахмед-султан. Против них открывался вид малоазиатского берега (скутари). Это было все то, что мы уже видели на гравюрах разных учебников и в прекрасно изданных книгах о Востоке, но это, конечно, далеко превосходило наше воображение.

Как на кинематографической ленте, прошли перед нами берега Босфора и напоминали нам историю прошлого. Царьград, княгиня Ольга, князь Игорь, Софья Палеолог - эти исторические имена с быстротой молнии воскресили в памяти образы исторического прошлого и перенесли нас в ту необыкновенную уютную обстановку культурной жизни нашего детства и юности, когда мы учились в гимназии и изучали исторические памятники. Чувство глубокой скорби и обиды вызывали в душе эти воспоминания. Невольно к горлу подступала какая-то тяжесть, как это всегда бывало в детстве, когда хотелось плакать. Не гибель, конечно, византийской культуры, не сожаление об этом историческом прошлом готовы были вызвать на глазах слезы, а безвозвратное прошлое - лучший период жизни учения и культурной жизни, разрушенной и низведенной до такого жалкого существования.

Константинополь расположен при выходе из Босфора в Мраморное море. Издали справа торчат из моря столь известные нам по картинкам две скалы, а слева были видны острова: Собачьи, Пирим, Принкито и Халка. На азиатском побережье отчетливо виднелся вокзал Багдадской железной дороги, расположенный в предместье Мода. Против Константинополя лицом к нам стояло уже на якоре 11 кораблей, как потом оказалось, обогнавших нас из Севастополя. Французский катер

подошел к пароходу «Ялта». Француз отчетливо сказал по-русски: «Следуйте за нами». «Ялта» повернула носом к Константинополю и стала на якорь в Мраморном море позади стоявших впереди русских судов. Теперь острова были от нас по правую руку, а скалы несколько позади слева.

Участие французов в нашей судьбе становилось фактом. Русские корабли были под французским флагом. Константинополь теперь был международным портом. Здесь стояли французские, американские, норвежские и другие суда, причем несколько пароходов было под флагом Лиги наций. Руководительство французов не подлежало сомнению. Это сознание, естественно, внесло большое успокоение и вселяло надежду на что-то лучшее, чем мы ожидали. Во всем чувствовалась координация в действиях. Первое, что сделали французы, когда «Ялта» стала на якорь, это была забота о хлебе и воде. После голодных дней каждый получил по целому хлебу. Это указывало, что мы не оставлены и чья-то рука руководит нами. Я съел на этом основании сразу весь хлеб и наелся досыта.

Перевязка раненых шла ежедневно, независимо от событий. Доктор Любарский был назначен врачом 2-го отделения трюма. На мне лежала хозяйственная часть и заведование перевязочным материалом. Мы работали вместе и помещались с больными во втором ярусе трюма под открытым небом. Целый день с утра был занят мелочами и проходил в суете. Со свойственной нам с братом способностью приспосабливаться мы в свободное время писали на тюках и консервных ящиках. Я - свои мемуары, а брат - свои. Только под вечер мне удавалось выходить из трюма, чтобы подышать свежим воздухом и посидеть на палубе на моем излюбленном месте возле трубы, от которой было тепло.

Небо было безоблачное. С правой стороны над страной полумесяца стоял серп новолуния. Было свежо и даже несколько холодно. Константинополь утопал в огнях, отражая всю массу света по морю до самого корпуса «Ялты». На азиатском берегу, казавшемся издали продолжением Константинополя, было такое же море огней. Было красиво, величественно, но чуждо и тоскливо. В трюме мы не имели места и спали полусидя-полулежа, не раздеваясь. Трюм был приспособлен для перевозки войск и потому был разбит на клетушки, наскоро сбитые из досок, отдельно для каждого человека. Впоследствии и мы получили по клетушке и могли лежа спать на этих досках. Эти клетки в темноте трюма создавали такой лабиринт, что навести чистоту или даже произвести уборку было немыслимо. Мне досталось место казака, заболевшего сыпным тифом и снятого с парохода. Я лично продезинфицировал эту клетку и, по-

видимому, радикально. Все-таки было противно и гадко.

Только под вечер или рано утром, когда все еще спали, я всегда выходил на палубу к трубе, чтобы отдохнуть от толпы. В особенности было хорошо рано утром. Солнце всходило за горами острова Принкипо и, освещая горы лиловым светом, отражало красным заревом низшие слои облаков, касающихся верхушки горы. Солнце еще не показывалось. Огни горели еще в Константинополе и на берегу Малой Азии, и это сочетание моря огней с малиново-красным заревом востока делали серевшее раннее утро волшебным. Ежеминутно к берегам Азии летели дикие утки. Перелет птиц происходил именно в этом месте, почти возле кормы парохода «Ялта» летели целыми стаями, рассекая воздух, треугольником дикие утки. В течение какого-нибудь часа их пролетело по крайней мере до десяти стай, из которых одна достигала, вероятно, нескольких десятков тысяч птиц. Я любил утром, когда все еще спят, сидеть на палубе и любоваться этой картиной.

В первый же день от французских властей последовало распоряжение выгрузить тяжелораненых и отправить в Константинополь. Это была сенсационная новость. Больные и раненые всполошились. Каждый рассчитывал попасть в Константинополь и доказывал, что он тяжелораненый. Не только раненые, у которых давно зажили пустячные раны, но и просто больные, с экземой, например, на руке или с приморожеными ко -нечностями требовали отправки на берег и дерзили врачам. Добивались выгрузки даже те, кто числился в команде выздоравливающих и, следовательно, был совершенно здоров. В течение двух дней пароход «Ялта» жил этой жизнью, и только на этом было сосредоточено внимание всех. В высадке на берег видели спасение.

Будущее всех пугало. Русским хорошо были известны места прошлогодней ссылки. Остров Лемнос, Кипр, берега Африки, где англичане держали русских за проволочными заграждениями в холоде и голоде, были на языке каждого и приводили всех в ужас при одной мысли опять попасть в руки англичан. Гостеприимство англичан было тяжелой ссылкой, от которой пришла бы в ужас наша русская ссылка в Сибирь. От этой ссылки люди всеми силами старались бежать и в панике рвались в Константинополь. <...>

Три дня пути до Константинополя люди терпели голод, но уже в пер -вые дни стоянки в Мраморном море на всех кораблях стоял голодный стон. Вокруг кораблей шныряли на лодочках греки и турки, предлагая съестные продукты и даже лакомства (финики, винные ягоды, шоколад и т.д.). Но только немногие

имели возможность купить кое-что, так как деньги у всех были русские, не имеющие ценности. Тем не менее соблазн был большой, и многие отдавали за кусок хлеба или коробку консервов серебряные и золотые вещи и даже части одежды. Мы видели, как одна дама отдала греку отличный плед. Правда, она получила за него много -несколько хлебов, консервы и, кажется, даже шоколад. Одним словом, обеспечила себя на несколько дней. Но мы знали и такие случаи, когда за кольцо или браслет греки давали так мало, что это походило на грабеж. Как пиявки, эти торгаши жадно высасывали из беженцев последние остатки их имущества, и нам противно было смотреть на эту эксплуатацию людей, попавших в безвыходное положение.

Постепенно продовольственный вопрос урегулировали французы, но доставляемые ими на пароход продукты были в таком малом количестве, что это не могло внести нормальное настроение на корабли. Прибытия катера с продуктами или водой ждали всегда с нетерпением. Это было целое событие, и к тому же большое развлечение при бесконечном томлении на пароходах. Несомненно, вся окружающая нас обстановка была необычайно красива, и я лично готов был целый день сидеть на палубе и любоваться этой величественной картиной, но я отлично понимаю, да и сам это чувствую, что теперь не до этого.

Более ста кораблей - ведь это целый плывущий город на воде с населением в 120 тысяч людей. Может быть, когда-нибудь это будет исторической картиной, но участникам этого русского горя она безразлична теперь. С корабля на корабль передавали, что прибывающие из Севастополя рассказывают, будто еще до прихода большевиков власть в Севастополе перешла к местным бандитам. Как факт передавали, что в хирургическом госпитале санитары из пленных красноармейцев изнасиловали сестру милосердия Цветкову и затем убили ее. Говорили и о другом случае. Из оставшихся сестер милосердия 1-го Запасного госпиталя таким же путем убито шесть сестер милосердия. Но это как будто уже мало интересовало публику.

Где-то в трюме умер ребенок, и мать потеряла рассудок. В тот же день на соседнем пароходе застрелился офицер. И это мало интересовало трюм. Все это, как и сам Севастополь, было уже далеко. Для каждого надоевшие консервы занимали полдня. По вечерам - хор, ссоры, крики, шум, брань. Постепенно в трюме установился режим обыкновенной солдатской казармы с ее грубыми интересами и мелкими эпизодами. Не обходилось, конечно, и без скандалов и даже драки.

Прошло девять дней. Постепенно стали выясняться подробности оставления приморских городов Крыма - Ялты,

Феодосии, Керчи. Оказалось, что мы были счастливее других. Севастополь эвакуировался планомерно, без суеты, без паники. Хуже всего прошла эвакуация Феодосии, напоминавшая прошлогоднее оставление Новороссийска. Феодосию оставляли под натиском зеленых и местных большевиков. Посадка на суда происходила ночью под обстрелом большевиков. Опять, как в Новороссийске на молу, фигурировали брошенные, голодные, истощенные лошади. Очевидцы рассказывали, как во многих случаях эти бедные животные бросались в море, плывя за отходящими баржами и лодками, в которых доставлялись к пароходам их соратники - офицеры и солдаты.

Солдат-гусар Василий Подгорный (из Мелитополя) говорил нам, что не было сил смотреть, как между нагруженными пароходами плавали и утопали лошади. Они стонали как люди и, чтобы избавить их от этих мучений, некоторые расстреливали своих лошадей. Вся 2-я Кубанская дивизия, грузившаяся в Феодосии, оставила на молу своих лошадей. Свыше 3000 лошадей бродили на берегу. Тут же на молу валялось бесконечное множество оставленных вещей - сундуков, тюков, корзин, мешков. Люди спасались на пароходы, не думая о своих вещах. Феодосия была уже в руках зеленых - подонков населения и грабителей.

На пароход было трудно попасть. Грузились прежде всего воинские части, которые не пускали никого посторонних. Громадная часть желающих выехать не попала на пароходы. Корабли были переполнены сверх всякой нормы. На одном пароходе «Дон» было свыше 12 тысяч человек.

Грузились спешно, бросая свои вещи и не думая о завтрашнем дне. Пищевые продукты были только у некоторых воинских частей. Все остальные вошли в море, не имея куска хлеба. <.. .>

Теперь начиналась новая страничка жизни. Куда, зачем, и что будет дальше? Впрочем, и об этом думалось мало. Есть французы, есть Врангель. Вот нет хлеба и воды. Это было самое главное, насущное, томительное и мучительное. Сегодня на ночь выдавали по пол-кружки воды на человека. После консервов это была пытка. Мысль работала только в одном направлении. Голод и холод - этот бич беженской жизни доводил людей до изнеможения. Хотелось раздеться и хотя бы переменить белье. Зуд всего тела указывал, что вши уже развелись и в необыкновенном количестве разъедают все тело. Более крепкие и здоровые люди раздевались на этом холоде и, сидя голыми, выискивали у себя вшей. Люди пере -стали интересоваться окружающей их обстановкой. В этом выражалась реакция и

переутомление. Это было отчаянное и безнадежное состояние, при котором отдельные личности стремились всякими правдами и неправдами выгрузиться на берег, лишь бы выбраться из этой среды. <.>

А на берегу решался вопрос о дальнейшей судьбе этих русских людей.

Третий день льет осенний дождик. В трюме холодно. Мы спим на сквозняке. Косой дождь попадает на нас и мочит наше логовище. Освещения в трюме, в сущности, нет, если не считать самодельных коптилок, сделанных из консервных баночек. На душе делалось так же пасмурно, как на дворе. Я неизменно ходил греться к трубе и там иногда засыпал под дождиком не хуже, чем в трюме. В трюме жизнь была тяжела. Люди с каждым днем все опускались и становились неузнаваемыми. То настроение, которое было у всех при оставлении Севастополя, исчезло. Люди делались злыми и жестокими. Все чаще происходили ссоры, пререкания и скандалы. Жизнь входила в новую фазу. Человек начал опускаться и физически и морально. Он голодал.

Вновь нам пришлось наблюдать то явление, которое всегда сопутствует катастрофе. Массы остаются без непосредственного руководительства. Лишенный общей идеи, общей цели и стремлений, коллектив распадется. Каждый готов объявить себя независимым от других, с которыми он был все время связан органически. Малодушный, подавленный, грустный, обиженный, оскорбленный, он отрекся от всего прежнего и готов выкинуть лозунг «Спасайся кто может». Недостаточность пищи, которая требует особой щепетильности, чтобы не обидеть другого в еде в общей миске, обыкновенно служит толчком к этой психологии малодушия. Один ест быстрее, другой медленнее. У одного хо - рошие зубы, у другого плохие. Сначала люди стесняются и приглашают друг друга, но голод делает свое дело, и постепенно люди перестают считаться друг с другом. Тот, кто проворнее, получает больше, а другой является обиженным.

Курильщики - эти несчастные наркотики, испытывают большие страдания и, забывая совесть, выпрашивают друг у друга «на папироску». Но если такому человеку удается запастись табаком, то он, конечно, уже никому не дает, отговариваясь, что у него нет табаку. Эти мелочи жизни, конечно, были пустячными, но люди старались оправдаться без всякой надобности, подымая вопрос, что при жизни коммуной пропадешь, если будешь заботиться о других.

С цинизмом и отвратительной наготой полуголодный человек ищет себе оправданий и отрицает необходимость альтруизма. И эта философия вносит деморализацию и мерзость

во взаимные отношения когда-то культурных и привыкших к общественному этикету людей. Люди опускаются все ниже и ниже и вовсе перестают реагировать на страдания ближних. Врачи, фельдшера, сестры милосердия уже не работают, как работали раньше. Каждый поглощен сам собой и мечется по пароходу, силясь разрешить неразрешимый вопрос. С необыкновенной черствостью и сухой логикой люди доказывают, что в этой обстановке нельзя щадить других, иначе сам пропадешь. И не щадили.

Раздача пищи голодным людям напоминала кормление диких зверей. Было стыдно и отвратительно. Я с отвращением смотрел на этих когда-то культурных людей, гостеприимных, добрых, хлебосолов, которые теряли человеческий образ и жадно бросались на пищу. Впрочем, человек был не виноват. Мы сами ловили себя на том, что не могли оторвать свои мысли от пищи. Мы думали о вкусном сытном борще, о котлетах, пирогах и вспоминали, как, бывало, мы ели дома и в ресторанах солянку из осетрины, паштеты и прочее. Эти вкусные блюда стояли перед глазами, и мы понимали весь ужас этого положения. Мы не могли отделаться от этих навязчивых вкусовых ощущений. Организм требовал пищи и направлял психику человека независимо от его воли. Казалось бы, что стыдно в такую минуту, когда потеряно все, думать о пище, но как ни стыдно, а нужно признаться, что мы часами мечтали о стакане молока и пирожных и не были в состоянии перевести свою мысль на наше безысходное горе.

Как червь, голод подтачивал мысль и делал ее непроизвольной. Это то, что называется голодом. Это страдание, при котором тупеют чувства, тупеет мысль, и человек превращается в животное. Это инстинкт, делающий человека неузнаваемым. Мой сосед-генерал собирает куски хлеба и заворачивает их в ужасно грязное, вонючее белье вместе со своей чайной ложкой и металлической кружкой. Он всегда зорко следил, чтобы при дележке ему не пришлось меньше и вместе с подонками трюма стоял за распределение между всеми обнаруживаемых на пароходе казенных вещей. Я смотрел на него с жалостью, но и с гадливостью. Он был жалок до отвращения. Он глубоко страдал и часто, очень часто повторял, понурив голову, что хочет есть.

Человеческие отношения перешли в ту фазу, когда общество находится в стадии разложения. Общества как такового не существует. Никому нет дела до другого, и каждый сознает, что ему больше не на кого рассчитывать. Мы видели, как публика отнеслась к умершему в трюме. «Вира помалу», - кричали с хохотом в трюме, когда покойника зацепили ногой за балку.

Покойника спустили в море. С любопытством смотрела толпа на эту невиданную картину похорон в море, но людей интересовал не покойник, не законченные страдания неизвестного человека, а новинка, как зрелище: «похороны на дно морское». Мне вспоминалось, как во время отступления на Румынию из Одессы в январе месяце, в минуту наибольшей опасности, мои компаньоны решили оставить меня, на минуту выбившегося из сил, в глубоком снегу. Это были люди свои, с которыми я был связан многими годами службы и землячеством. Теперь было еще хуже. Я был рад, что встретился с братом. Мы решили по возможности не расставаться.

* * *

3 ноября утром все были взбудоражены канонадой и криками «ура», доносившимися с отдаленных судов эскадры. Это прибыл генерал Врангель на крейсере «Корнилов». Французский броненосец «Valdeck-Rousseau» салютовал главнокомандующему и произвел 21 выстрел. Генерал Врангель покинул Севастополь последним с юнкерами, которые до последней минуты составляли охрану Севастополя. Наш хороший знакомый инженер Ю. В. Максимов, выехавший из Севастополя 1 ноября в 3 часа дня на броненосце «Valdeck-Rousseau», видел этот отъезд Врангеля из Севастополя. Барон Врангель проходил на рейд на крейсер «Корнилов» мимо французского броненосца, на котором была выстроена для салюта команда этого броненосца. Генерал Врангель в своей черкеске стоял на мостике и был хорошо виден. Вслед за «Корниловым» вышел из Севастополя броненосец «Valdeck-Rousseau».

Прибытие генерала Врангеля в Мраморное море приковало на первое время внимание всей флотилии. С быстротой молнии с корабля на корабль передавали сенсационные новости. Правительство Врангеля признается союзными державами. Резиденция Врангеля временно остается на крейсере «Корнилов». Все учреждения считаются расформированными, а войсковые части будут размещены в военных лагерях на о. Лемнос, в Галлиполи и других местах. Каждое слово Врангеля подхватывалось и передавалось, может быть, в искаженном виде, на все суда. Откуда-то стало известно, что генерал Врангель сказал, что войска могли продержаться еще две недели, но это было излишней тратой сил и большим материальным ущербом для армии.

Отход из Крыма был завершен блестяще и в полном порядке, если не считать гибели одного миноносца и трех барж с людьми, затонувших в море во время шквала. Генерал Врангель вышел из положения с достоинством и с таким же достоинством

поддерживал престиж вождя русской армии и русского человека. Прибытие генерала Врангеля было отмечено салютом с французского броненосца в международном порту. Беглецов так не встречают. Говорили, будто англичане потребовали разоружения крейсера «Корнилов», но Врангель заявил, что он располагает достаточным количеством снарядов, чтобы суметь умереть, как подобает вождю русской армии. Англичане настаивали также, чтобы караул возле сданного русскими войсками оружия состоял из союзнических команд, но и в этом случае г. Врангель отстоял свои права главнокомандующего.

Политический горизонт прояснялся. По-видимому, еще не все погибло. Достаточно было взглянуть на эскадру. Это величественная картина и небывалое в мировой истории событие. Свыше ста судов, обращенные лицом к Константинополю, ждут решения Европы - той Европы, которая использовала в Европейской войне Россию и на ее плечах создала свое благополучие. Остатки этой прежней великой державы ждали решения своей участи. Очевидно, положение было не так безнадежно, как это казалось вначале. В Константинополе что-то делалось, и решались вопросы чрезвычайной важности.

Нам удалось достать номер издающейся Бурцевым в Константинополе русско-французской газеты «Presse du Soir» от 24 ноября, № 140, передовая статья которой также проливала некоторый свет на общее положение. Передовица эта под названием «Наши задачи» принадлежит перу В. Бурцева. Статья эта не говорит ничего определенного, но все-таки мы еще существуем, и это нас успокаивало. В другом номере (№ 147) этой же газеты был помещен приказ генерала Врангеля от 8/21 ноября № 4187, представляющий особенный интерес в историческом отношении и изображающий картину крымской эвакуации, или «исхода», как ее называют.

Мы приводим здесь этот приказ полностью:

«Тяжелая обстановка, сложившаяся к концу октября для русской армии, вынудила меня решить вопрос об эвакуации Крыма, дабы не довести до гибели истекавшие кровью войска в неравной борьбе с наседавшим врагом.

Вся тяжесть и ответственность ложилась на доблестный наш флот, бок о бок с армией разделивший труды и лишения крымского периода борьбы с угнетателями и насильниками нашей Родины.

Трудность задачи, возлагавшейся на флот, усугублялась возможностью осенней непогоды и тем обстоятельством, что, несмотря на мои предупреждения о предстоящих лишениях и

тяжелом будущем 120 тысяч русских людей - воинов, рядовых граждан, женщин и детей - не пожелали подчиниться насилию и неправде, предпочитая исход в неизвестность.

Самоотверженная работа флота обеспечила каждому возможность выполнить принятое им решение. Было мобилизовано все, что не только могло двигаться по морю, но даже лишь держаться на нем. Стройно и в порядке, прикрываемые боевой частью флота, отрывались один за другим от Русской земли погруженные пароходы и суда, кто самостоятельно, кто на буксире, направляясь к далеким берегам Цареграда.

И вот перед нами невиданное в истории человечества зрелище: на рейде Босфора сосредоточилось свыше ста российских вымпелов, вывезших огромные тысячи российских патриотов, коих готовилась уже залить красная лавина своим смертоносным огнем. Спасены тысячи людей, кои вновь объединились горячим стремлением выйти на новый смертный бой с насильниками земли Русской.

Великое дело это выполнено российским флотом под доблестным водительством его вице-адмиралом Кедровым.

Прошу принять его превосходительство и всех чинов военного флота, от старшего до самого младшего, мою сердечную благодарность за самоотверженную работу, коей еще раз поддержана доблесть и слава российского Андреевского флага.

От души благодарю также всех служащих коммерческого флота, способствовавших своими трудами и энергией благополучному завершению всей операции по эвакуации армии и населения из Крыма.

Генерал Врангель».

Нам удалось собрать кое-какой материал, выясняющий положение тех, кто ждал на пароходах своей участи. Мой брат Н. В. был приглашен французами состоять врачом для связи и ежедневно объезжал на катере всю эскадру, руководя выгрузкой раненых и больных. Это была чрезвычайно тяжелая обязанность. Все рвались на берег. Это было неудержимое стремление, и на этой почве возникала масса недоразумений. Это стихийное движение было трудно остановить. С ним боролись и с берега. 11 ноября ст. ст. на пароходах было получено воззвание Комитета правительственных и общественных организаций по оказанию помощи беженцам нижеследующего содержания:

«К русским эвакуированным беженцам. Представители французского командования сообщают, что в г. Константинополь эвакуация беженцев, не имеющих значительных личных средств для существования, воспрещена, и что все беженцы будут

размещены в балканских государствах и на островах. Необходимость поселения беженцев в Африке исключена. Представители правительственных и общественных организаций, обсудив создавшееся положение, со своей стороны считают своей обязанностью заявить, что за отсутствием средств (о чем все были предупреждены еще в Крыму) лица, высаживающиеся за свой риск, не могут рассчитывать на какую-либо помощь со стороны общественных организаций, как русских, так и иностранных. Уже оказалось, что некоторое число беженцев, покинувших пароходы, очутились в тяжелом положении и просят об обратной посадке на пароходы, а это вызывает большие затруднения. Комитет считает своим долгом указать, что беженцам, не имеющим средств, необходимо оставаться на корабле и что в ближайшее время они будут размещены и затем воспользуются поддержкой со стороны Франции».

Газета в свою очередь возбуждала этот вопрос и старалась успокоить терявших терпение людей, томящихся и голодающих на кораблях. Тем не менее неопределенное положение продолжалось до получения на пароходах приказа главнокомандующего Русской армией от 21 ноября № 4185: «Ввиду сосредоточения в войсковых лагерях исключительно войсковых частей и штабов и семей их чинов и вследствие выделения прочих лиц в особые районы, предназначенные для беженцев, считать на беженском положении нижеследующих лиц: 1) всех генералов и адмиралов, не пожелавших остаться на службе или пожелавших, но не получивших назначение 2) всех штаб-офицеров, не получивших штатных назначений 3) всех штаб-обер-офицеров старше 43 лет, не пожелавших добровольно остаться в составе русской армии 4) всех штаб и обер-офицеров и солдат, имеющих свидетельство о непригодности к службе (4-я категория), 5) всех офицеров независимо от чинов, имеющих специальное высшее военное морское образование (ген. штаба, интенд., артил., юристы, инженеры, электротехники), не получивших по специальности штатных должностей и не пожелавших остаться на должностях рядовых 6) всех, имеющих третью категорию за болезнью и ранениями».

Одновременно с этим приказом в газете «Presse du Soir» от 24 ноября № 141 были опубликованы рационы для русских беженцев. Ввиду особого интереса этого пайка мы сняли с него копию[28].

Несмотря на крайне тяжелые условия жизни на судах, мы с братом решили продолжать службу в армии и подали об этом соответствующее заявление, но просили не разлучать нас. Брат продолжал состоять врачом трюма. После последнего циркуляра

генерала Врангеля эскадра стала быстро разгружаться. Воинские части отправлялись по назначению на о. Лемнос, в Галлиполи и т.д., а гражданские лица и категории перечислялись на положение беженцев. Наиболее неопределенное положение было все-таки беженцев. Они сгружались с судов и направлялись в сборные пункты возле Константинополя, где пребывали до назначения их в определенные районы жительства беженцев.

Очень быстро стало известно, что в этих лагерях происходит нечто совершенно невообразимое и что оттуда люди готовы бежать куда угодно, лишь бы уйти от этого ужаса. Полковник Н. А. Продьмо, имевший разрешение ехать в Сербию на положении беженца, говорил нам, что он в числе других был отправлен в лагерь Кучук-Коломафии вблизи Константинополя. Их привезли по железной дороге к станции и повели под конвоем за проволочные заграждения в палатки под охрану чернокожих зуавов. В палатках ни света, ни нар, ни подстилки не было. Приходилось сидеть и лежать на глинистой, размокшей от дождя почве, где местами выступали лужи воды. Полковнику удалось выхлопотать право принести свои вещи с вокзала, и потому он устроился лучше других, переночевав на чемоданах, которые стояли в грязи. Другие же, кто не имел вещей, вынуждены были лечь просто в грязь. Ко всему этому, говорил полковник Продьмо, нужно прибавить ужасный голод, который царил в этом лагере.

Еще с большим ужасом рассказывал нам начальник Главного тюремного управления д. с. с. М. И. Рябинин, как он попал вместе со своими четырьмя служащими и чинами судебного ведомства в лагерь Сан-Стефано в 18 верстах от Константинополя. В этом лагере было уже размещено более 2000 русских, снятых с разных пароходов. В большинстве это были интеллигентные люди, в числе которых было много людей с высшим образованием, общественным стажем, служебным прошлым. В лагере было более сорока брезентовых палаток и деревянные полуразрушенные бараки. При выгрузке шел дождь. Измокшие, голодные, озябшие, они были введены за проволочные заграждения. В палатках и бараках было не только грязно, но и стояли лужи. Было холодно. Моросил дождь. Лагерь этот охранялся чернокожими зуавами. Ни фамилий, ни документов не требовали. Люди шли под номерами. Номер М. И. Рябинина был 1746. Чувство голода доходило до страданий. Как в насмешку, французы дали этим голодным людям по чашке кофе без хлеба.

Обитатели лагеря Сан-Стефано доходили до отчаяния и рыскали по палаткам, собирая разный хлам, чтобы подмостить что-нибудь на размокшей земле и развести костер, чтобы погреться и просушить одежду. Более смелые и энергичные

попробовали для этой цели перелезть за проволочные заграждения, но были за это жестоко наказаны. Зуавы беспощадно убивали их за это. Режим в лагере Сан-Стефано был тюремный. С большими усилиями судейским удалось вырваться из этого лагеря и выхлопотать отправку их в Югославию, куда на днях отходил пароход «Владимир». М. И. Рябинин при встрече с нами демонстрировал нам свое пальто, выпачканное донельзя в глине. В таком же виде были его спутники. Что это значило и почему французы приняли так грубо представителей русской интеллигенции, является совершенно непонятным.

Многие уже знали эту жизнь «под покровительством» наших союзников и вспоминали прошлогоднее издевательство иностранцев над русскими. Остров Лемнос не сходил с уст тех, кто был «в плену» у англичан. «Загоны для русских» и сколопендры (обитатели этих загонов) были памятны всем. Доктор В. Е. Плешаков сделал нам набросок такого лагеря на о. Лемнос. Это были сооружения, оставшиеся со времени Европейской войны <.. >

Дисциплина рухнула. В трюмах установилась выборная система. Каждый следил зорко, чтобы другому, в особенности начальствующим лицам, не досталось больше, чем другим. Становилось страшно в этой компании. Под влиянием недостаточности пищи каждая раздача хлеба обеда, кипятка, сахара сопровождалась скандалом, причем в дележке и распределении принимали участие все. Убедить и успокоить не было сил. Люди обезумели и ни на что не обращали внимания. Более интеллигентные люди возмущались поведением «низов», но и только.

Выделившись в отдельную группу, молодежь постепенно приспособилась и начала проводить время иначе. «Зачем унывать, - говорили они, -русская армия еще существует. Может быть, еще что-нибудь выйдет». В нашем углу образовался небольшой хор из офицеров. Местами под нарами составились пульки в винт и преферанс. Когда разгул внизу прекращался, наша молодежь начинала мило шутить. Поручик Петрович почти каждый день переодевался в женское платье и веселил трюм.

Н. В. ежедневно объезжал все пароходы. Я просил его присматриваться, не найдет ли он брата Сергея Васильевича с женой. Несколько позже нам удалось узнать, что он остался в Симферополе вместе с другими профессорами. Таково было решение общего собрания профессоров. Из тех же источников передавали, что в Крыму большевики вытворяют невероятные зверства. Крым, и в частности г. Севастополь, отданы на разграбление коннице Буденного сроком на 12 дней, причем

конница эта главным образом состоит из кубанских и донских казаков. Б. Морская и Нахимовский проспект сплошь будто бы увешаны трупами оставшихся в Севастополе военных. Число повешенных и расстрелянных достигает 1800 человек. Среди них попадались и рабочие. Прорвавшийся из Севастополя в Константинополь на катере офицер сообщил все эти данные и говорил, что рабочие жалеют об уходе армии Врангеля.

14 ноября разгрузка раненых была закончена. Пароход «Ялта» снялся с якоря и подошел к Константинополю, став возле крейсера «Корнилов». «Ялта» получила назначение госпитального судна. Мы с братом ждали назначения. Скоро главным врачом «Ялты» был назначен доктор Пылев, который предложил моему брату остаться заведующим тем же трюмом, а в отношении меня заявил, что должность заведующего хозяйством занята и что по штату на пароходе есть только одно свободное место писца в канцелярии.

Оставаться в этих условиях было немыслимо. Жить дальше под открытым небом осенью, не раздеваясь, не умываясь, в холоде и голоде мы не решались. Улучшить наше положение доктор Пылев не обещал. Хотелось выйти из этого положения. Рассчитывать на другое предложение было трудно, а состоять в резерве не было смысла. Нам обоим было более 43 лет, и мы могли быть свободными.

К 2 часам с парохода «Ялта» снимались последние пассажиры, переведенные на положение беженцев, для следования в Каторро на пароходе «Владимир». В один момент мы решили перечислиться в беженцы и ехать в Сербию. Мой брат предполагал заняться научной работой и устроиться где-нибудь при университете, а я... Мне было безразлично, но, по слухам, в Сербии по крайней мере не издевались над русскими. Мой компаньон доктор Любарский, совершенно потерявшийся, опустившийся физически и морально, решил следовать за нами.

За несколько дней перед этим с парохода сгрузились полковник Л. Н. Николаенко и Н. А. Тарновский, неизменно следовавшие со мной с самой Одессы. Их положение было несколько иное, чем наше. Они были военнообязанные, но продолжать службу не хотели. Оба они стремились попасть в Сербию в качестве беженцев. Мне было жаль оставаться с полковником, но пути наши расходились. По-видимому, Л. Н. Николаенко и Тарновский попали в один из лагерей и испытали немало лишений в этих «загонах для русских».

* * *

14 ноября ст. ст. в 2 часа дня небольшой турецкий катер

стоял возле трапа «Ялты», принимая пассажиров, пересаживающихся на пароход «Владимир», отправляющийся завтра в «Каторро». Турки торопились, так как исполняли известную программу выгрузки пассажиров с разных судов. Моего брата знали, и потому нас пропустили беспрепятственно. Пароход «Владимир» стоял в хвосте флотилии в расстоянии минут пятнадцати хода от «Ялты». Это был тот самый «Владимир», на котором мой брат Н. В. был эвакуирован вместе с сыпнотифозными на остров Лемнос в прошлую эвакуацию, и тот самый «Владимир», с которого нас обстреливали солдаты во время катастрофы в Одессе 25 января. Красивый и громадный корабль внушал доверие в предстоящем длинном путешествии от Константинополя, до которого считалось 914 миль, которые при хорошей погоде можно было пройти в 5 $_{1/2}$ суток. Мы с братом сделали оплошность и едва не остались за бортом. На «Владимире» принимали только по особым спискам, заверенным французским командованием. Впрочем, наша наружность не оставляла сомнения, что мы перешли предельный возраст, и это помогло нам войти в состав беженцев.

Оказалось, что в Сербию было вовсе не так просто попасть, и мы считали, что нам посчастливилось обойтись без формальностей. Более 4000 пассажиров было уже на пароходе «Владимир». Первое, что обратило наше внимание, это было то, что на «Владимире» преобладала интеллигентная публика. Здесь прежде всего были сосредоточены служащие морского ведомства с их семьями. Затем была масса генералов и вообще высших чинов разных ведомств, среди которых были губернаторы, лица судебного ведомства, инженеры, железнодорожные служащие, врачи, чиновники, дамы, барышни и вообще интеллигентные люди. В полном составе на пароходе находился сводный кадетский корпус с директором, преподавателями и их семьями.

В течение всего времени моих скитаний я всегда задумывался, куда девалась та масса интеллигенции, которая бежала из России. Теперь я видел ее. Я встретил здесь много знакомых и многим был очень рад. От них я узнал, что многие из бежавших с добровольцами застряли в местностях, занятых большевиками. Начиная с Кременчуга и Полтавы беженцы отставали постепенно от общей волны, катившейся к югу, и что с ними сталось - неизвестно. Многие остались на Дону, на Кубани, на Кавказе и в приморских городах.

Я был рад, что очутился в этом обществе. Я устал от солдатской среды. Если в смысле комфорта мы были не в лучших условиях, то морально мы чувствовали себя совершенно иначе. Все трюмы, палуба и все закоулки парохода были переполнены

людьми. Ноябрьские дни и в особенности ночи были холодные и ветреные. Тем не менее тысячи людей разместились на палубе. Люди приспособились. Кое-где были натянуты брезенты, одеяла, простыни. В уголках и закоулках делались заграждения из сундуков и тюков. Расставлялись кровати, на полу клали матрацы, перины и таким образом создавали уют и укрывались от ветра и холода. Располагались группами вповалку с женщинами и детьми и даже с собаками. <…>

В воздухе было сыро. Утопающий в огнях Константинополь быстро исчез. Было скучно. Туман застилал вид, и кроме темноты, окружающего моря ничего ровно не было видно. Все уже спали. Укутавшись с головой в одеяла, мы с братом уснули крепчайшим сном. Наше преимущество было в том, что от стенки трубы шло тепло. Утром мы проснулись рано. Было очень красиво. Мраморное море казалось приветливым. Бирюзового цвета, с переливами, оно отливало при солнечном освещении ярко-голубым цветом. Название как нельзя лучше соответствовало Мраморному морю. Сравнительно было тепло. Публика была в хорошем настроении и радовалась, что мы не стоим. В особенности радовало южное солнце. Чувство голода было забито консервами и неимоверным количеством выпитого чая.

Мы шли все время в виду скалистых берегов. Это были скалы и всевозможной величины острова. Не успевал скрыться с глаз один остров, как на горизонте появлялся другой берег. Это были причудливые, красивые, высокие, обрывистые и, по-видимому, нежилые места. Сначала все интересовались этими видами, но постепенно каждый занялся своим делом. Очевидно, всех беспокоили вши. С самого Севастополя никто не раздевался. Пользуясь теплой погодой, многие без стеснения вылавливали у себя вшей. Этот бич не оставлял никого. Все чесались и залезали руками под шубы и одежду, ежась и выгибаясь от зуда всего тела.

Тем не менее атмосфера была здесь иная, чем на «Ялте». Появились книги, журналы и даже учебники. Ю. В. Максимов пришел к нам с Апухтиным в руках. Н. В. разложил свои учебники высшей математики и с карандашом в руках углубился в вычисления. У дам появились в руках французские книги. Отдельные группы рассматривали географические карты и изучали маршрут. Начальник главного тюремного управления М. И. Рябинин, приютившийся в нашем углу, читал сосредоточенно мои мемуары, с которыми он давно хотел познакомиться. Публика была занята. Оригинальное впечатление производила эта картина палубной жизни. Все сидели, полулежали и лежали в самых неудобных позах на досках палубы.

Те, кто приходил к нам в гости, присаживался тут же на

корточках или по-турецки. Недалеко от нас стоял ехавший с нами бывший священник Григорий Петров, известный лектор, ради моды и тщеславия содействовавший растлению Родины. Он был теперь жалок. Совсем седой - старик в кожухе, этот предатель привлекал к себе внимание. Он бежал теперь от большевиков, которым когда-то широко расчищал путь. С ним рядом стоял необыкновенно чистый душой отец Александр Ефимов и завел с ним беседу о масонстве. Григорий Петров неохотно разговаривал со священником, и отец Александр скоро отошел от него и присоединился к нам. Здесь было приветливее.

Разговор принимал общий характер. Профессора Краинский и Малахов были доступнее, не стеснялись вступать с публикой в научные разговоры. К полковнику Мышлаевскому приходили кадеты - его родственники, почти юноши. И они тоже были втянуты в разговор. Бедные дети. Они до сих пор не были знакомы с нашими классиками и только понаслышке знали, что существуют Тургенев, Гоголь, Лермонтов... Они не читали даже Майн Рида, Купера, Эмара. Их речь резала ухо. Впрочем, не только они, но и господа офицеры не умели говорить по-русски. С удивлением мы улавливали в их разговорах речь полуинтеллигентных людей: «ранетый», «крант», «охвицер». Такие и подобные слова слышались часто в офицерской среде и вызывали сожаление к ним.

Ровно шесть лет люди бились на войне. Все было заброшено. Все внимание было приковано к войне. Вся жизнь была приспособлена к походной обстановке. Что же иное могло дать эти условия жизни! Было грустно. Я был все же доволен, что нам придется разделить судьбу этой большой группы интеллигенции.

Мы приближались к Дарданеллам, но уловить вход в этот пролив нам не удалось. Мы вошли в пролив, вероятно, около 10 часов утра. Оголенные, гористые, крутые берега, отрогами спускающиеся в пролив, были однообразны. Это было что-то мертвое, безжизненное. Ни одного дерева, ни одного селения, точно тут не было никогда жизни. Причудливыми силуэтами серые и песочного цвета горы красиво гармонировали с бирюзовым оттенком моря, но давили своей тяжестью и казались мертвыми. Кое-где были видны, очевидно, упраздненные и заброшенные форты и что-то вроде жилых построек, но нигде не было признаков жизни.

Картина оживилась лишь в конце пролива. Здесь налево у берега виднелся опрокинутым корпус потопленного в Европейскую войну броненосца «Бреслау». Как-то не верилось, что этот мертвый остов, торчащий своим дном из воды, принадлежал когда-то могущественному броненосцу. Дарданеллы носили еще

следы недавней Европейской войны. На правом берегу пролива против корпуса «Бреслау» виднелись два выбросившихся судна, наполовину затопленных в море. Еще дальше, у самого выхода в Эгейское море, направо, отлично был виден полуразрушенный форт и в некотором расстоянии от него - четыре затопленных корабля. Этот форт был нам знаком. Мы видели его на схематической карте Дарданелл, которая была издана в России во время Европейской войны.

Мы проехали Галлиполи, где был лагерь для русских войск. Воинские части были уже здесь, и мы с парохода видели казармы и развивающийся французский флаг. Галлиполи был расположен на скалистом берегу и на пустынном месте. Ни одного дерева, ни одной травинки не было на этом месте. Это был склеп среди мертвой природы. Мы от души жалели тех русских, которые попали в этот суровый край. Мне очень хотелось видеть остров Лемнос, о котором пришлось так много слышать, но, к сожалению, мы проходили его ночью.

В Эгейском море было тепло. Почти все время в лицо грело солнце. Мы прошли мимо острова Скирос и Евбея и подходили к Афинам. Сначала предполагалась, что мы зайдем в Пирей, чтобы набрать воды, но «Владимир» проследовал дальше и вошел к вечеру в Архипелаг. Мы идем все время вдоль островов. Ни на минуту из глаз не выходят берега. Кончается один берег, сейчас же начинается другая земля. Это лабиринт островов. Всюду мертвая картина оголенных берегов, каменистых, серо-желтого цвета, без одного деревца, без травинки, без строений и признаков жизни. Это совсем не соответствовало нашему представлению о той Греции, которая пережила Греческую империю. Нам казалось, что мы увидим хотя бы признаки исторического прошлого и той кипучей жизни, о которой мы знали по учебникам. Мы думали увидеть хотя бы руины и остатки далекого прошлого, но и этого здесь не было вовсе. Эгейское море и Архипелаг как центры торговых путей, казалось, должны были кишеть кораблями, парусниками, шхунами, а между тем и здесь была мертвая картина. Ни одного судна, ни одной лодки мы не встретили на этих морях. Нам казалось, что вблизи Афин и Пирея должна была проявиться жизнь, но и тут были только голые скалы.

Мы вспоминали греческую философию и расцвет греческой культуры. Мы искали признаков этой высокой культуры и не находили. С раскрытой книгой учебника высшей математики, лежавшей на коленях моего брата, мы вспоминали древнюю историю Греции и вызывали образ Аристотеля. Но это была мертвая страна серого, дикого камня, и наше милое общество

перевело разговор на более современные темы.

Незаметно мы подошли к мысу Мотопан и стали огибать греческий полуостров. Мысу Мотопан предшествовал мыс Мария. Уже вечером, в темноту, у самого борта «Владимира» справа неожиданно вырисовалась громадная гора, повисшая над пароходом «Владимир». Все общество, сидевшее и лежавшее на палубе, вскочило посмотреть эту величественную картину. Это был мыс Мария - громадная, высокая гора, отрогом спускающаяся к Средиземному морю, у подошвы которой шел «Владимир». Мы шли вдоль отрога и спускались в Средиземное море. Налево виднелось два маяка, расположенные на островах против мыса «Мария».

23 ноября утром мы были уже в Средиземном море, огибая Греческий полуостров. Море здесь было более мощное. При сравнительно спокойной погоде и попутном ветре волны достигали полутора сажен. Это было уже не то, что в Эгейском море и Архипелаге. Еще с вечера матросы говорили, что можно ожидать перемены погоды. Барометр падал. К 10 часам утра ветер начал усиливаться и дул благоприятно с кормы. Ждали дождя. Небо заволакивалось и с быстротой гнало облака. Погода свежела. С капитанского мостика передавали, что мы меняем курс <. . .>

Консервы и хлеб были розданы только к вечеру. Кое-как, в мокроте, под дождем, мы устроились под брезентом Мышлаевских и с жадностью ели свою порцию. Все ютились друг возле друга и группировались на тех местах, где менее шли потоки и ручейками с брезента стекала вода. Мышлаевские сидели и полулежали на своих матрацах, из-под которых местами просачивалась и струилась вода. Полковник ругался, а дамы охали и визжали, когда порывами ветра с брезента прямо на них сливалась целым потоком вода.

Вечер и ночь были томительные. Всю ночь периодически налетали шквалы и заставляли дремавшую сидя и стоя публику вскакивать и прятаться от дождя. На палубе все огни были потушены. С капитанского мостика не позволяли зажигать света. Мы провели ночь в темноте. Было жутко. Мы знали, что в трюмах укачало почти всех дам. Наше благополучие заключалось в том, что мы были в центре парохода, и волны были попутные, разбиваясь о корму парохода.

Мне хотелось поближе взглянуть в эту пучину клокочущего моря, и я спустился вниз и стал возле борта. Было страшно. Как гиганты морские, волны одна за другой и в общем хаосе движений подступали к корпусу «Владимира» и, со страшной силой ударяясь о пароход, откатывались с шумом и пеной назад,

образуя возле борта впадину, которая тотчас же вновь накрывалась такой же волной. Вдаль ничего не было видно. Напротив, яркий свет электричества, исходящий из некоторых вентиляторов трюма, скользил снизу по поверхности моря и, освещая верхушки волн и белую пену, делал мрак окружающей обстановки еще более непроницаемым.

Море шумело, как шумит вода под колесами водяной мельницы. Каждый раз, когда волна разбивалась о борт парохода и с ревом отливала назад, невольно хотелось отойти от борта. Но я стоял. Мне хотелось видеть вблизи то, о чем мне всегда было страшно подумать, и то, о чем я только слышал, но не видел. В темноте море казалось клокочущей пучиной. Я всматривался вдаль, но было видно только то, что клокотало возле корпуса парохода. Море мне было всегда чуждо, и я боялся его. Оно казалось мне страшным, и я всегда боялся попасть в открытое море во время волнения. Теперь пришлось испытать и это. «Владимир» был один из самых больших пароходов, и потому разбивающиеся о его борт волны не достигали палубы, и я мог свободно наблюдать эту морскую пучину, облокотясь на самый борт парохода. Я стоял долго и удивлялся, что в этом окружающем меня движении, и воды и самого парохода меня не укачивало. Держась за перила, я возвратился на «спардек» к своему месту.

Все ютились под брезентом и, к общему благополучию, отошли от борта. Я сел на своем мешке с вещами возле борта. Возле нас только что сел генерал Кушакевич (из г. Нежина), отойдя от борта, где он устроился между вещами. В этот момент громадная волна с ревом подкатила к борту и, дважды разбившись в этом месте, хлынула на палубу целым потоком воды, обдав всех, кто расположился в этом месте. Публика нервно вскочила и начала отряхиваться, снимая с себя мокрую одежду. Полковник Мышлаевский в это время дремал и вскочил как ужаленный.

К утру ветер усилился, и шквалы периодически налетали еще с большей силой. Бывшие с нами моряки определяли силу ветра в 8-9 баллов. Ветер пронзительно свистал, и повсюду были слышны стуки железных частей парохода. Цепи, которыми была прикреплена труба, издавали неприятные зловещие железные звуки, указывающие, что ветер рвет даже прикрепленные железные части. К обеду нужно было идти вниз за хлебом и консервами. Держась за перила, я спустился на среднюю палубу, где мостик открывал вид на кормовую часть парохода, и было видно все необъятное пространство моря. Мы стояли здесь с генералом Энгельстром (уполномоченным Красного Креста) и

были прикованы этой страшной, но величественной картиной бушующего моря. Отсюда было отлично видно, как подымалась и опускалась кормовая часть парохода и как верхушки мачт методически склонялись то вправо, то влево.

Это была одновременно бортовая и носовая качка. «Владимир» шел, сильно накренившись на левый борт, и я удивлялся, как может пароход идти в таком состоянии. Мне казалось, что он должен опрокинуться. Каждый раз, когда порыв ветра ударял в пароход, мне казалось, что «Владимир» наклонялся еще больше. Громадные волны шли за «Владимиром», и это было то, что составляло исключительно благоприятную обстановку. Попутный ветер не только не мешал, но нагонял ход парохода на $1^{1/2}$ мили в час. Мы должны были скоро войти в Адриатическое море и переменить курс. Никто не мог сказать, будет ли это лучше или хуже. Во всяком случае ветер с налетавшими шквалами не утихал. Моряки-пассажиры спорили и определяли силу ветра. Не исключалась возможность шторма. Мне было жутко, и я, держа рукой свою фуражку, чтобы ее не сорвало ветром, думал: неужели здесь будет катастрофа. Неужели еще одно испытание, еще один ужас!

Пока на капитанском мостике все было спокойно и стоял на дежурстве один помощник капитана, наводивший бинокль то в одну, то в другую сторону, я был спокоен, отлично понимая, что жуть является у меня от непривычки и незнакомства с морской стихией. Но постепенно на капитанском мостике стали появляться капитан и все его помощники, с которыми явился и француз - комиссар парохода. Капитан усиленно смотрел в бинокль назад и отдавал какие-то распоряжения. Капитан приказал снять все брезенты. При помощи пассажиров матросы быстро исполняли распоряжение. Капитан часто давал короткие свистки и вызывал вахтенного. Это неспокойное состояние команды указывало на что-то серьезное. Публика беспокоилась. Как потом оказалось, ветром сносило пароход с курса, и это беспокоило командный состав.

Любопытно, что, несмотря на серьезное положение, слухи и здесь не оставляли публику. Откуда-то стало известно, что по «радио» получено распоряжение, чтобы пароход «Владимир» шел не в Каторро, а дальше, по направлению к Фиуме, к местечку Пукари (Бакар). Слухи эти оправдались. Капитан парохода подтвердил это и пояснил, что «Владимир» в Каторро заходить не будет, а пройдет прямым рейсом в Пукари. Путь наш удлинялся на 14 часов, так как до Бакар оставалось 130 миль. Капитан рассчитывал прийти в Бакар не раньше 2 часов дня 25 ноября. Из тех же источников передали, будто Троцкий объявил всех нас вне

закона и в изгнании на 10 лет. <…>

Мы остались без хлеба, который так берегли на случай, если бы в дороге было неблагополучно. Предыдущие ночи мы почти не спали и только изредка дремали в те промежутки времени, когда не было дождя. Всех клонило ко сну, но все было мокрое, отсыревшее, и на палубе стояли лужи воды. Временами моросило. Капитан вновь разрешил натянуть брезенты. Мы решили лечь хотя бы даже на мокром, так как трудно было удержаться от сна. Кое-как согнав воду, мы разложили на мокрой палубе одеяла и легли с братом, укутавшись с головой всем, что только было у нас под руками. Доктор Любарский и рядом с ним М. И. Рябинин уже лежали по соседству с нами, и видно было, как из-под них струйками сочилась вода. Мы были в изнеможении и заснули в этой мокроте крепчайшим сном. Ночью я несколько раз просыпался. Моросил дождик, но ветра почти не было. Одеяла и пальто были совсем мокрые, но сон делал свое дело, и в этот серенький дождик спалось не хуже, чем раньше.

Утром 24 ноября мы миновали Катарро, не заходя в этот порт, и прошли дальше. Мы были почти на параллели Рима. Было холодно.

С утра дул холодный, но сухой ветер, которым мы воспользовались, чтобы высушить вещи. Мы были голодные. Хлеба не было вовсе, и мы ели консервы из жестяной банки и морщились от отвращения. Но это было только утро. Еще сутки приходилось терпеть голод. Итальянские берега, конечно, не были видны. Мы шли в виду Далмации, встречая на своем пути итальянские острова (Лисса, Андреа, Буби). Тем не менее мы чувствовали, что находимся вблизи Апеннинского полуострова и бывшей Римской империи.

Мы невольно повторяли историю и географию и вспоминали пройденное в юношеские годы на школьной скамье. Мы должны увидеть остатки Римской империи и быть недалеко возле итальянской границы. Карта уже перекроена. Италия граничит с Сербией. Крайна, Кроация, Босния, Монтенегро вошли в состав Югославии. Истрия и ближайший к нашему конечному пункту город Фиуме являются спорным участком и ареной действий Д'Аннунцио. Мы входили в лабиринт островов, принадлежащих, по новой карте, Италии. Мы имели перед собой эту новую карту, но мыслили еще по-старому. Мы ехали в прежнюю Австро-Венгрию, в Хорватию, где культура была германская, с пережитком основ Римской империи.

Здесь чувствовалось уже больше жизни. Очень часто на скалистых берегах, видимых с парохода, встречались селения. Склоны гор местами представляли разработанные участки под

культуру маслины и винограда. Местами встречались небольшие леса и селения. Утром мы должны были войти в пролив Кварнеро и недалеко от Фиуме войти в бухту Бакар, примерно на параллели Венеции. В нашем представлении здесь следовало бы ожидать теплого климата, и если не летней погоды, то, во всяком случае, тепла. Но было холодно, и ежедневно моросил дождь. Так, по объяснению местных жителей, проявляется зима в этой местности с ноября по март месяц. Опять тяжелая ночь. Мы с братом лежали возле теплой стенки трубы на одном одеяле. Я лежал крайним к проходу, ночь была темная, сырая. Несколько раз моросил дождь. Проходящие ощупью наталкивались на меня и, толкая меня сапогами, беспощадно топтали мокрыми ногами края одеяла, превращая его в грязную мокрую тряпку. Я почти не спал и с нетерпением ждал утра. Несколько раз я вставал ночью и, подходя к борту, старался увидеть окружающую обстановку, но было темно.

Страдали не только мы. В трюмах было тоже нехорошо. Духота, бесконечное количество вшей, неприятная качка, местами течь от дождя с палубы, теснота заставляли людей выходить отдохнуть на палубу и подышать свежим воздухом. Перед рассветом в изнеможении я уснул, полусидя, прижавшись спиной к теплой спинке трубы, и спал, видимо, очень крепко, так как проснулся от усердной встряски за плечи...

Мой брат будил меня, чтобы я увидел необыкновенно красивые берега Истрии и чарующую картину пролива Кварнеро. На палубе было уже сухо. Сильный ветер быстро высушил ее. Крутые берега еще зеленели. Очертания гор были необыкновенно красивы и спускались террасами в море. Мы проходили итальянскую территорию. Это была Италия. Мы приближались в Бакару, проходя возле Фиуме, который оставался влево. Перед нами раскрывалась средневековая картина, которую мы привыкли видеть на гравюрах. Высокие горы, вершины которых были покрыты снегом, представляли ущелье, в которое входил пароход «Владимир». На склонах гор все чаще и чаще встречались селения и отдельные строения в средневековом стиле. Напротив стоял мрачный полуразрушенный замок с башнями и какие-то руины - остатки, по-видимому, феодального строя. Селения издали казались как бы высеченными из камня и вросшими в сыро-желтые оголенные горы.

Мы подходили к Бакару. Этот городок заканчивал бухту, представляя тупик, смыкающий высокие горы бухты. Пароход «Владимир» как бы врезался в этот город. «Владимир» еще издали дал гудок. Прибрежные жители приветствовали нас. Где-то возле замка, который мы миновали, был спущен флаг. «Владимир» со

своей стороны припустил флаг. Это было взаимное приветствие. Впечатление было хорошее. «Владимир» выкинул сигнальные флаги со своим наименованием и замедлил ход. На борту был русский флаг, а на мачте - французский. «Владимир» остановился и ждал с берега катера с местными властями. Публика вышла на палубу и с любопытством осматривала совершенно чуждую нашему представлению картину. Это была именно средневековая картина с селением в древненемецком стиле и даже с кирхою на горе.

Расположенный в ущелье высоких гор, покрытых виноградниками, с винтовыми дорогами, высеченными на склонах гор, городок Бакар казался вросшим в подошву горы и был такого же серовато-желтого цвета, каким были оголенные горы. Кое-где были деревья, кустарники и стояли красивые кипарисы. Склоны гор были сплошь культивированы под виноградники и представляли собой спускающиеся к бухте террасы. Налево стоял цементный завод, разрушенный в Европейскую войну и приспособленный теперь под лесопильный завод. Картина красивая, западноевропейского стиля, величественная, интересная, но чуждая и грустная.

Изгнанные обстоятельствами жизни из России, русские люди, голодные, оборванные, грязные, промокшие, озябшие, приехали искать приюта у дружественного и родственного славянского народа, уклонившись от гостеприимства и покровительства бывших своих союзников-французов и англичан. Столь памятные русским еще с прошлой эвакуации «загоны для русских» (так назывались палатки-бараки за проволочными заграждениями) были страшным воспоминанием для русских. Союзники не признавали русскую интеллигенцию. Всех одинаково гнали в эти «загоны», и над всем одинаково господствовали черный зуав и английский полисмен. Горе было русским, если они поступали не так, как представлял себе это представитель господствующей нации. Мы стремились в Сербию, где знали, что принципы морали и этики не были забиты гордостью зазнавшихся победителей.

Корабль с русскими беженцами встал на якорь. Голод жестоко мучил людей, безнадежно относившихся к сегодняшнему дню. Еще с вечера была выдана последняя дача консервов. Теперь на пароходе не было ничего. С самого Константинополя ровно девять дней без горячей пищи, а последние дни и без хлеба, доставляли людям жестокие страдания. Бедный мальчик 11-12 лет, племянник С. Л. Чихачева, когда ему предложили «посмотреть», ответил сердито: «Лучше умереть, чем так мучиться». Его тетка - сестра милосердия Морозова не хотела

встать со своего места и, устремив взор в пространство, отвечала: «Мне все равно».

В таком состоянии безразличия, отупения изнуренные, измученные русские люди приехали в Югославию без надежд, без упований, без будущего, на полную неизвестность. Очень скоро на «Владимир» прибыли сербские власти с врачами, причудливо одетыми в брезентовые штаны и куртки с капюшонами и похожими скорее на водолазов, чем на врачей. Прежде всего им было доложено о катастрофическом положении продовольственного вопроса. На пароход был наложен пятидневный карантин, но сербы обещали сейчас же накормить изголодавшихся людей.

Встреча с сербами носила сердечный характер. Мы ожидали худшего. Прибывшая вместе с врачами русская сестра милосердия, живущая здесь с прошлого года, уверяла нас, что отношение в Югославии к русским самое дружественное. В тот же день к вечеру на пароход была прислана провизия и громадные туши мяса. Хлеб был роздан тотчас же, а обед обещали сварить, не теряя времени. Многие прослезились и благодарили Бога, что заканчивается эта тяжелая драма. Тем не менее еще пять дней приходилось пребывать на пароходе. Хотелось тепла или, по крайней мере, хотя бы высушить одежду и мокрые ноги. Хотелось есть.

Обед готовили по группам в 1500 человек. Наша очередь была только завтра к вечеру, но обед не поспел, и мы получили его только в шесть часов утра послезавтра. Первый раз за все это время, хотя и не в урочное время, но жирный суп с небольшими кусочками мяса доставил нам громадное удовольствие. Мы утолили голод, но не насытились; все же хотелось есть. Тяжелы были ночи. Опять дождь. Каждый вечер мы ложились на мокрый пол, подстилая одеяло, из которого наутро выжималась вода. Днем холодный ветер. Ночь сырая, в озноб пронизывающая все тепло. День был скучный и проходил в ожидании пищи.

Накормить 4500 человек было нелегко. Котлы работали день и ночь. Возле кухни и палубы, где распределяли громадные туши прекрасного мяса и рубили топорами кости, всегда стояла толпа. Это была голодная толпа, упивающаяся видом жирного мяса. Иногда тут подымался спор и проявлялись попытки устроить контроль и распределение поровну. Зараза большевизмом проникала повсюду и проявлялась независимо от воли человека. Мясо охраняли по очереди группы офицеров. Стыдно было смотреть на эту картину, в особенности когда в споре участвовали офицеры и даже полковники, но это был голод...

Регистрация, распределение на группы, проверка документов

занимали весь день. Было томительно-скучно, но все-таки мы были у цели. Мелкие пароходные дрязги, семейные неприятности раздраженных донельзя супругов и даже ревность одного из мужей нашей милой соседки были единственными проявлениями жизни на пароходе. 29 ноября, под вечер, на пароходе почувствовалось какое-то движение. «Владимир» направлялся к пристани и пришвартовался к испанскому пароходу «San Yose Sevilla». Черномазые испанцы с любопытством разглядывали русских, которые тоже в первый раз видели испанцев. В первую очередь началась разгрузка кадетского корпуса. Вид кадет был ужасный. Грязные, в широких, с чужого плеча, английских шинелях, в сапогах взрослого человека, они производили ужасное впечатление.

Профессор А. Г. Бораковский, главный врач парохода, рассказывал, что один из кадет побил рекорд на пароходе. Дети занимались тем, что вели счет пойманным и раздавленным вшам. Этот кадет «нащелкал» на себе 1200 вшей. Детей было жаль, но было и стыдно за них, тем более что представители сербской администрации, присутствующие при выгрузке, были одеты с иголочки.

Завтра выгружались мы - группа, направляющаяся в глубь Югославии, в Carlovac (Карловац). Карловацкая группа после кадет выгружалась первая. Мне вспомнилось, что по Карловацкому миру в XVII веке та местность, куда мы едем, отошла от турок к Австрии. С тех пор Хорватия входила в состав Австро-Венгрии.

ЧАСТЬ 2
БЕЖЕНЦЫ. НА ЧУЖБИНЕ 1920-1934

ЗАПИСКИ. Т. XII
1920-1921 годы. Хорватия. загреб

30 ноября ст. ст. утром мы с братом сошли с парохода и вступили на землю. Ровно тридцать дней и ночей мы провели в море. Мне вспомнились переживания отроческих лет при чтении Майн Рида, Эмара и в особенности Купера. Как тогда все это казалось фантастическим, сказочным и невероятным! И помнится, как на глазах выступали слезы, когда мы вместе с героями прочитанного разделяли их радостные, торжествующие крики «земля»! Впрочем, не только в детстве, но и потом мне казалось совершенно невероятным пробыть в море тридцать суток, в особенности в наше время, когда морской путь до Америки не превышает восьми дней.

Может быть, благодаря этим воспоминаниям, а может быть, это и в действительности было так, но мне было особенно приятно ступить ногой на землю. Мы не знали, что и как будет дальше, но хорошего мы ничего не ждали. Мы поднимались на гору к полуразрушенному во время войны зданию цементного завода, где для прибывших был отведен громадный навес. Более 400 человек было уже размещено под этим навесом на цементном полу среди разного хлама, оставшегося от цементного производства. Было холодно. Дул ветер, прорывавшийся сквозняком через развалившуюся местами крышу. Тем не менее нам завидовали те, кто еще оставался на пароходе. Там люди продолжали мучиться и мечтать только об одном - сойти на берег.

Под другим таким же навесом была кухня, где русские сестры раздавали сошедшим с парохода горячий суп с хлебом. Порции эти были так малы, что утолить голод было невозможно. Я сказал брату, что попрошу у сестры еще миску супу. Брату было неловко, но я решительно подошел к сестре и попросил еще. Сестра пристально посмотрела не меня, и я чувствовал, что краснею. Взяв из моих рук миску и черпая мне из котла суп, она говорила точно сама себе, что второй порции не полагается. Я поблагодарил. Уже вдогонку она крикнула мне, что после обеда будет чай с куском хлеба. Брату очень хотелось есть, и я предлагал ему разделить со мной порцию, но он отказался. Я уговаривал его попросить сестру налить ему супу, но он не хотел этого. Скоро мы действительно получили по чашке чаю с маленьким куском хлеба.

Много говорили о предстоящей дезинфекции и бане, которая

будто бы обязательна для всех, но это было не так. В холодном сарае стояли вагонетки, в которых по очереди принимали ванну, опускаясь сразу по 78 человек в одну воду. Мой брат был в этой бане, но я не решился выкупаться почти на открытом воздухе. Ночь была тяжелая. На сыром, цементном полу, на том же отсыревшем одеяле мы лежали с братом под зияющим отверстием крыши, откуда дуло и было холодно. Мы промерзли еще с вечера, простояв до позднего времени в очереди 146-147-м номерами возле конторы лесопилки, чтобы получить документы и пособие в 200 динар, которое выдавалось всем прибывшим.

С рассветом все были уже на ногах и торопились достать в Бакаре подводы для вещей, чтобы к четырем часам поспеть на вокзал. Подразделялись на группы. Мы записались в группу генерала Петра Владимировича Верховского, получившую назначение ехать в г. Костайницу, расположенный на реке Уна, на границе Боснии. Эта группа состояла из путейских инженеров, железнодорожных служащих и нескольких морских офицеров (Кирилин, Фролов, Чихачев). Несмотря на раннее утро (еще не было семи часов), сестры милосердия приготовили отъезжающим обед. О нас заботились - здесь был питательный пункт Красного Креста. Суп с мясом, кусок хлеба и кружка чая доставили нам истинное удовольствие, хотя теперь мы были независимы, имея в кармане по 200 динар.

Фуры с вещами направлялись дальней дорогой, а мы шли пешком прямо в гору, что сокращало путь верст на пятнадцать. Мы шли через город Бакар. Первый раз мне пришлось видеть в натуре немецкий городок с его остроконечными крышами, окнами на чердаках и сводчатыми входами в подвалы. Это то, что мы видели в детстве на картинках в немецких книжках. Население относилось к нам приветливо и любезно раскланиваясь, вступало с нами в разговор частью на немецком, частью на хорватском языках. Путь был очень тяжелый для такого ослабевшего организма, какой представляли мы собой.

Из Бакара мы вышли по винтовой шоссированной дороге в гору. Скоро мы поднялись так высоко, что пароход «Владимир», стоявший в бухте, казался нам точкой. Мы шли все выше и выше вверх по крутой дороге, местами обсаженной виноградниками, а местами просекающей каменистые, заросшие дикими кустарниками склоны и скалы гор. На полпути нам указали подымающуюся почти отвесно тропу, которая вела к перевалу и выводила нас к селению, расположенному возле вокзала «Бакар».

Все шедшие к вокзалу растянулись по дороге и шли малыми группами. Несмотря на усталость, нельзя было не видеть красоты окружающей обстановки. Мы были в горах и окружены горами,

вершины которых были покрыты снегом. И на нашем пути вверху, впереди, на перевале лежал снег. Сзади внизу город Бакар и бухта казались уже картинкой. Такие дивные виды я представлял себе только в Швейцарии.

Запыхавшись и устав, мы добрались до перевала и сели отдохнуть на выступавшие из земли камни. Вся местность здесь была присыпана снегом. Кое-где зеленела трава, на которой виднелись ярко-желтые цветочки. Здесь было тепло. Хотелось расстегнуться. Спешить было некуда, и мы сидели, покуривая и любуясь красотой местности. Мы были на вершине горы, но окружающие нас горы были еще выше, и весь горизонт представлялся нам горной цепью. Темные облака прорезывали эти горы, и лежащий на них снег был особенно ярким. Красивая, но чужая картина!

Здесь недалеко, верстах в трех, проходила итальянская граница, где, по последним сведениям, шли бои с Д'Аннунцио, не пожелавшим подчиниться своему правительству. Издали были слышны орудийные выстрелы. Очевидно, стрельба была недалеко, так как один выстрел был так отчетливо слышен, что мы уловили полет и разрыв снаряда. И тут то же самое! Больно сжалось сердце, и вспомнилось все. Куда и зачем мы идем! Что ждет нас впереди? Мы зашли, кажется, слишком далеко. И мысль восстанавливает в памяти географическую карту. Где Россия и где мы!

В селении за перевалом мы встретили по дороге массу детишек, которые просили у нас русские деньги. Мы, конечно, охотно раздавали детям наши ничего не стоящие бумажки. Это, говорят, итальянский прием попрошайничества. В Хорватии этого уже нет, объяснил встретившийся нам господин. Да и селение это, как пограничное, было итальянского типа. Дома с плоскими крышами и римскими колодцами-цистернами, ничего общего не имеющие с тем типом строений, которые мы видели в Бакаре.

Я отстал и шел один. Меня нагнала местная сестра милосердия. Мы разговорились. Сестра живет уже больше года здесь и служит в русской санатории. Она из Петербурга и страшно тоскует по родным. «Когда же конец этим мучениям?» - сказала она. «Вы были голодные. Я видела этот ужас. Я была в день Вашего приезда с сербскими врачами на пароходе. Я не могла видеть эти страдания. Я потом расплакалась», - говорила она. Ей было известно все. Она знала, что в самый критический момент, в бурю, в разбушевавшемся море, в страшных страданиях, изнемогающая, голодная молодая мать родила ребенка. Он жив, и мать вчера отправлена в санаторий. «Вы устали? - участливо спрашивала она меня, - вот, скоро вокзал».

Она расспрашивала меня об эвакуации Крыма, о нашем путешествии и о том, кто я такой и кто у меня остался дома. Возле поворота к станции стоял конный полицейский, который вежливо направил нас направо. Он говорил по-сербски, и мы его понимали.

Мы пришли на вокзал одни из первых, хотя в «гостионе» (корчме) возле вокзала уже сидели русские. Возле гостиона был малый базар, где на прилавках колбаса и хлеб. Мы с братом с жадностью накинулись на колбасу и, сидя тут же на скамье, наслаждались невиданным лакомством.

Подводы с вещами еще не прибыли. Становилось холодно. Мы решили зайти в гостиону выпить по стакану вина. Там уже шли громкие разговоры о большевизме. Два хорвата - местные коммунисты доказывали русским преимущества коммунистического строя.

В тот же день мы погрузились в поезд, специально предназначенный для русских. Вечером мы выехали в Карловац. В товарном вагоне было холодно и тесно, но милое общество, в котором мы очутились, скрасило все неудобства этого путешествия. Группа генерала Верховского поместилась в товарном вагоне, шедшим прямым сообщением в Костайницу. Дочь П. В. Верховского (Кира Петровна) Крестовоздвиженская приняла большое участие в нас и как бывшая сестра милосердия военного времени, искусною рукой женщины устроила нас на чемоданах и тюках. Жена инженера Мария Густавовна Кологривова поила нас чаем.

Это было уже другое общество, напоминавшее что-то далекое прошлое, уютное, хорошее. Г. В. Кологривов вез с собой виолончель, которая стояла в углу возле нас. Инженеры везли с собой самовар. Эти люди не были так разорены, как мы. Они эвакуировались планомерно и были в совершенно иных условиях. Давно уже мы не были в таком милом обществе, и это было теперь особенно приятно. До поздней ночи, даже уютно, при свете свечи, общество беседовало на злободневные темы. Мне было не по себе, и, как только потушили свечку, я почувствовал, что я нездоров. Я не мог заснуть. У меня болели ноги. Мария Густавовна тоже не спала и часто зажигала свечку. У нее болел живот.

Утром 2 декабря мы подъезжали к Карловацу. Нас поразил зимний ландшафт, напоминающий русский декабрьский день. Ничего иноземного, казалось, в этом ландшафте не было, если не считать виднеющиеся издали горы. Мы с братом ходили в Карловац менять деньги. У брата были романовские деньги, турецкие меры и английские фунты. В конторе приняли только

романовские пятисотрублевки по 85 динар за каждую. Отношение к русским было здесь приветливое.

В тот же день вечером мы прибыли в Загреб (Аграм). Опять зимний ландшафт. На станции стоял поезд экспресс «Париж - Константинополь». Здесь чувствовалась уже Европа. Почти тотчас мы имели немецкую газету [нрзб. - *Сост.]* от 16 декабря н. ст. Конечно, прежде всего мы искали увидеть сведения о России, и мы их нашли. Слухи о красном терроре в Севастополе подтверждались. Большевики расстреляли 2836 человек, и в том числе 366 женщин. Опять тяжелая ночь в холодном вагоне. И опять я не мог заснуть. Мне было то жарко, то холодно, и опять ныли ноги. Мы подвигались медленно. В Загребе наш вагон передали на другую станцию, а оттуда мы выехали в Сиссак, где провели в вагоне целый день.

Только к вечеру 4 декабря мы прибыли в Костайницу. Для выгрузки было уже поздно. Только дамам было предложено переночевать в гостинице, а мы должны были ждать в вагоне утра. С нетерпением хотелось тепла. Загреб меня уже мало интересовал. Мне сильно нездоровилось. Медленность, с которой мы двигались раздражала меня и вызывала досаду. Мои ноги коченели от холода, и я узнал, что это происходит не от холода. Вернувшиеся из Костайницы, которая была в трех верстах от станции, рассказали, что их приняли в городе сердечно, радушно и обещали завтра всех устроить. Для дам были реквизированы номера в гостинице, но для прочих свободных номеров не оказалось. Мэр города был чрезвычайно любезен и был рад, когда узнал, что группа русских состоит не из солдат, а представляет собой русскую интеллигенцию. Все это было приятно слушать и вселяло надежду, что завтра можно будет раздеться и лечь в кровать.

Последняя ночь была уже невмоготу мне. Мои ноги болели острой болью, и я не заснул ни на минуту. Я знал, что я заболел. Хотелось добраться до места, какое бы оно ни было, лишь бы было тепло. Тридцать пятые сутки мы не раздевались и не были в теплом помещении. Мой брат уговаривал меня потерпеть до утра, и я сознавал, что это последний этап, но терпение мое истощилось. Всю ночь я провел в темном вагоне, полулежа, полусидя, мечтая только о теплой койке.

* * *

На дворе была слякоть. Глубокий снег таял, делая дорогу непроходимой. Мы шли в город, шлепая по грязи за двумя фурами, нагруженными вещами. Мои сапоги были дырявые, и в них плескалась вода. В городской ратуше нам была предоставлена большая комната библиотеки (она же комната

заседаний). Посредине комнаты стоял большой длинный стол и возле него длинные деревянные скамьи. У стен стояло два шкапа. Это была вся обстановка комнаты. Полы были некрашеные. В углу стояла железная печь, которую топила хорватка. От печки шел жар. Я тотчас сел возле печки и, раздевшись, расположился на полу, наслаждаясь исходящим от печки теплом.

За 35 дней мы были первый раз в теплой комнате. Все ютились ближе к печке. Почти тотчас в комнату вошел мэр города. Я извинился и продолжал сидеть, не принимая участия в разговоре. Меня не интересовала эта беседа. Я видел, что надежда наша не сбылась. Опять жизнь на полу, без подстилки, на шинели, в грязи, в пыли, без умывальника и без всяких удобств. Тем не менее я лег в одном белье на грязной шинели и укрылся одеялом, которое было противно взять в руки. Это была сплошная грязь, и тем не менее я спал богатырским сном.

Я проснулся вспотевшим не то от жары, не то от простуды. Мы шли обедать в ресторан при центральной гостинице. За 25 крон (6 динар и 1 кр.) мы пообедали так, как уже давно не обедали. Обед состоял из трех блюд: суп, индейка и пирожное. Мы выпили затем еще кофе. После такого обеда, естественно, захотелось спать, и мы спали. К нам приходили сербы, но меня это мало интересовало, и я вовсе не вникал в разговоры, которые велись на немецком языке.

Вечером мы пили чай из самовара, который привезли инженеры. Было тепло, и мы сидели полураздетыми. Несмотря на сытный обед, мы ели без конца свежие, чудные булки. Я чувствовал себя сытым, но все-таки хотелось есть, и, кажется, мог бы есть без конца. Ночью возле раскаленной печки было жарко, но хорошо. Я не мог спать. У меня страшно болели ноги в коленях. Для меня было ясно, что я заболел.

Утром я хотел заняться чисткой своих вещей и самого себя, но это было уже мне не под силу. Я не мог встать. У меня был ревматизм с осложнениями в суставах обеих ног. Мне не удалось отдохнуть после дороги и хотя бы уснуть день-два как бы следовало. Я сильно страдал и дремал только днем, так как к ночи боли в ногах обострялись до такой степени, что не давали спать. Грязный деревянный некрашеный пол; гряз -ное, не вычищенное после дороги одеяло, шинель и еще грязная одежда, служившая мне подушкой, были до такой степени отвратительны, что отравляли существование. От слабости я не мог умыться и был грязен в грязном белье. Я был противен себе, но не менее противно, грязно и гадко было все окружающее.

Мои сожители - инженеры и железнодорожные служащие были для меня людьми посторонними, и, конечно, им не было до

меня никакого дела. Между нами не было ничего общего. Впрочем, они были любезны и всегда предлагали мне чашку чая. Ночью их храп раздражал меня, но я был доволен, что наступал покой и я оставался один. Возле тлеющей углями печки, тускло освещающей комнату, я просиживал всю ночь и, всматриваясь в ярко раскаленные угли, изредка подкладывал дрова, чтобы не затухло пламя. Ни о чем не хотелось думать. Все было так безнадежно или далеко впереди, что моя жизнь для этого была слишком коротка.

Наша жизнь заканчивалась. Мы умирали живыми, закончив свою миссию современников. Нас заменит следующее поколение, и только оно скажет свое слово о тех, кто погиб таким некультурным образом в атмосфере современного культурного человечества. Нам не жаль своей личной жизни. Ее все равно не вернешь. Не вернешь своих прежних взглядов на вещи, на людей, на то, что составляло «святая святых» нашего мировоззрения. Не вернешь и прежнего уважения к человеку, к человечеству и веру в культуру, прогресс и цивилизацию. Было бы наивно верить в возможность хотя бы частично восстановить то, что было создано, над чем работала мысль и что составляло нравственное удовлетворение.

Нас лишили всего. Сначала нас унизили, затем разрушили все созданное нами, потом глумились над нами, ограбили, отняли дом, семью, близких людей и оставили только жизнь как таковую, как ничто не стоящий биологический процесс. Нам жаль только надежды, если таковая может быть, нам жаль того, если мы сможем увидеть еще свою Родину и могли бы помочь своим детям устроиться и поставить их на ноги. Но надежда у нас слабая.

Говорят, что современники не могут объективно излагать и оценивать факты. Только историк явится беспристрастным исследователем и критиком людских отношений. Но мы с этим не согласны. Историк может восстановить факты и беспристрастно разобраться в политической борьбе и людских страстях, но личные переживания ему недоступны. Их может понять лишь тот, кто пережил их. Впрочем, мы ведем свои записки не для историка, а посвящаем их своей дочери. Это единственная цель нашей работы...

Я думал только о койке, чтобы не валяться на полу, на котором помимо всего прочего резким сквозняком охватывал холод каждый раз, когда отворяли двери. Это было мое единственное желание. Впрочем, оказалось, что местная администрация с местным комитетом помощи русским уже озабочена подысканием нам квартиры. Я терял терпение и готов

был на все, лишь бы только иметь кровать. Меня успокаивали и говорили, что после католического праздника Рождества мы будем уже устроены.

Сербы проявляли необыкновенную заботливость. Это было что-то новое, непривычное для нас. Уже несколько раз все русские группами были приглашены в разные дома и были в восторге от приема. Местный житель, ветеринарный врач Жарко Павлов Драгойлович (хорват), и мэр города бывали ежедневно у нас в общежитии и были необыкновенно любезны. Я был бесконечно рад, когда наконец нам сказали, что квартира готова. Наше помещение состояло из трех комнат и кухни. Мы помещались вчетвером: мой брат, инженер Максимов (Юрий Вас.), начальник станции Клепетовский и я. Другую комнату заняли четыре железнодорожных служащих с инженером Шиманским во главе. Третья комната была холодная.

Мою койку поставили возле печки. Жена инженера М. Г. Кологривова дала мне подушку и две простыни. Я блаженствовал. Мы были сыты. Брат готовил обед и уверял, что он отлично готовит. Мне больше ничего не было нужно. Я дремал целыми днями и мучился только ночью. Сначала смутно, а потом уже более сознательно я стал замечать, что каждый раз, когда я открою глаза, у меня на кровати сидела с работой в руках милая Кира Петровна Верховская (дочь нашего председателя колонии), проводившая целые дни у нас в общежитии. Кира Петровна прозвала меня дедушкой и проявляла необыкновенную заботливость обо мне.

Мне было хорошо благодаря Кире Петровне. Она пользовалась большими симпатиями членов нашего общежития и всегда была окружена молодежью. Всегда поэтому в нашей комнате было милое общество, которое доставляло мне большое удовольствие. Наступал праздник Рождества. Местный комитет готовился устроить для русских в нашем общежитии праздник. Ежедневно посещающий нас Жарко Драгойлович явно выражал нам свое расположение. Он достал мне молока, приносил яблоко, виноград, кусочки торта. Мы от души полюбили его. Он называл меня тоже дедушкой и относился в высшей степени сердечно к моему по -ложению. Однажды он спросил, желал бы я выписать свою дочь. Жарко имел в Праге знакомства.

Скоро в Киев отправлялся из Праги поезд Красного Креста с увечными воинами-югославянами. Приятель Драгойловича обещал разыскать в Киеве мою дочь и под видом сестры милосердия привезти ее в Прагу, откуда ее легко будет уже доставить в Костайницу. Я не знал, верить или нет, но это был первый проблеск в моей нынешней жизни. Доктор Жарко ответил

мне положительно, что месяца через три моя дочь будет здесь. Я написал дочери письмо, которое будет вручено ей в Киеве...

Не менее симпатичным был второй наш посетитель доктор Тадич (Taditch), местный адвокат, пользующийся большой популярностью в Костайнице. Он был председателем местного комитета помощи русским беженцам. Он прежде других познакомился с моим братом и чутко понимал наше положение. В одно утро доктор Тадич принес сверток и таинственно вручил его нам. Там оказалось две смены белья и полотенце. Все это делалась как бы вскользь и незаметно. Иногда они приносили нам русские газеты «Общее дело», «Руль», «Вперед».

За несколько дней до праздников в смежной с нашей комнатой кухне появились женщины, которые подняли невероятную возню. На следующий день в кухню пришли комитетские дамы, которые вместе с прислугой начали стряпать и готовить к предстоящему празднику. Одна из первых узнала о моей болезни вдова Милица Даворинovна Штуцин, дочь известного и популярного хорватского писателя [нрзб. - *Сост.],* который через месяц после этого умер в Загребе. Госпожа Штуцин прислала свою прислугу, красивую хорватку Софью, справиться о моем здоровье. Я спал в это время, но мне был уже приготовлен стакан горячего вина, который мне принесла Софья, как только я открыл глаза. Я соображал плохо, но приветливая улыбка Софьи и серебряный поднос, на котором она держала стакан дымящегося вина, заставили меня очнуться.

Кто была Штуцин и Софья, я не знал, но понял, что кто-то печется обо мне. Я благодарил и после выпитого вина заснул еще лучше. Я проснулся только под вечер, когда начинались адские боли в ногах. Софья опять принесла мне глинтвейну. Мы не могли с ней беседовать, так как она говорила по-хорватски, а меня она не понимала. Тем не менее она принесла мне кусок ветчины и два куска торта. Это было начало. Штуцин приняла меня под свое покровительство, и с этого дня я был окружен заботами.

В течение трех дней Рождества местное общество буквально откармливало нас. В холодной комнате нашего общежития были накрыты столы, и здесь к завтраку, обеду и ужину собирались все русские с местным сербско-хорватским обществом. Обед состоял из шести блюд: суп, рыба, голубцы, салат, торт, затем опять мясное блюдо (индейка или поросенок), пирожное, кофе, чай, фрукты. Водки (сливовица) и вина было без меры. Ужин и завтрак были не менее сытны. Здесь в эти дни мы познакомились с сербско-хорватским обществом.

Это было премилое общество. Не было, вероятно, ни одного

человека в Костайнице, который не навестил нашу русскую колонию в эти дни. Вся местная интеллигенция и бюргеры пришли посмотреть, все ли у нас есть. На этот праздник они собрали между собой более 4000 крон. Трудно описать то настроение, которое было вызвано у нас, русских, таким отношением. После того, что мы видели и испытали, такое отношение воспринималось особенно чутко. Сначала этот благородный порыв сербско-хорватского общества казался нам непонятным, но постепенно из речей, которые произносились за столом, наши взаимоотношения вполне определились.

В лице нас, беженцев, чествовалась прежняя русская государственность. Россия - большая, могучая, сильная. Сербское общество понимало ужасную драму русской интеллигенции и не забыло той роли, которую Россия сыграла в деле устроений Сербии. Сербы открыто говорили, что война выиграна Антантой благодаря русским. Они отлично знали, что происходит в России, и не закрывали глаза на весь ужас происходящего. Во имя человеколюбия и культуры они протестовали против унижения, которому подверглась русская интеллигенция, сыгравшая видную роль в развитии общей культуры. Здесь знали русскую литературу, искусство и музыку. В витринах любого книжного магазина в Хорватии можно было видеть в переводе на хорватский и сербский языки Достоевского, Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Гончарова, Чехова, Горького и других русских писателей.

Сербско-хорватское общество оплакивало в лице русской интеллигенции русскую культуру и со слезами на глазах говорило об этом в своих речах. «Мы любим русских как своих братьев славян и великий народ и за то, - говорил адвокат Тадич, - что у них широкая натура и благородная душа». Священник Раич требовал возрождения России и объединения славянских народов. Много речей было сказано в эти дни, выяснивших точку зрения сербско-хорватского общества в отношении к русским людям. Оно протестовало против глумления над русской интеллигенцией и истребления лучшей части русских людей.

Культурный мир, говорили они, не может смотреть без содрогания на страдания, которые выпали на долю просвещенных русских людей. «Мы уважаем русских и любим их», - повторяли во всех слоях общества местные жители. Прислуга, отворяя дверь русским, встречала нас словами: «Мы любим русских».

Нам казалось все это сном, сказкой. После расчетливого англичанина и надменных французов, наблюдающих с высоты гордого победителя русскую бойню, такое глубокое понимание страданий русского народа было особенно трогательно. После

консервов и куска черствого хлеба, которыми кормили русских наши союзники, нас впервые накормили югославяне. Сербы не могли допустить, чтобы просвещенные из русской интеллигенции голодали. Они торопились накормить нас, и делали это скромно, благородно, культурным приемом, а не так, как давали свои по - дачки французы и англичане.

Я страшно сожалел, что не мог быть на праздниках в церкви. Нам, русским, был почет и уважение. Начальник уезда настойчиво приглашал русских занять почетное место возле алтаря, и русские вернулись из церкви заплаканными. Коленопреклоненно в первый день праздника Рождества священник читал в церкви молитву о спасении русского народа. Мы приводим ее полностью:

> «Господи, великий в судьбах и в милости, припадаем Ти грешнии и смирении рабы Твои, со слезами, и приносим Ти молитвы наши за братию нашу русскую, яже страдает в великом бедствии и в братоубийственной брани. Врази бо Святаго Евангелия и святыя Православныя Церкви восташа заблудити верное стадо Твое, попрати благочестие братии нашей и весь род погубити страшным мучением и смертью, и уже кровь многих мучеников пролияша яко воду. Множество старых и расслабленных благочестивых человеков, архиереев же и иереев и прочих служителей дому Твоему, младенцы и родители их убиша, дома и церкви разориша и святыни Твоя осквернена, и ее ныне слышим вопль велий братии нашея страждущия. Мы же, немощнии суще, поспешити в помощь им, Тебе единому Господу, щедре в даянии и скорый в помощи, кланяемся и припадаем с теплыми молитвами и просим Твоего заступления и милосердия за спасение братии нашея. Ты, Господи, по словеси Твоему, взыщеши не смерти человеков, но покаяние и спасение их, сего ради молитися и о заблудших, образуми ум их и возгрей сердце их благодатью Твоею, яко да увидят беззаконие свое, да постыдятся о ожесточении сердца своего и да в покаянии поклонятся святому имени Твоему. Умилосердися, Господи, о всех и всем прости согрешения, стопы их направи по пути заповедей Твоих и благоутробно даруй русскому народу новую спасительную силу за духовное возрождение и преуспеяние в жизни по словесем Божественного Твоего Евангелия. Даждь им мир и в сердцах их всели страх Свой и любовь друг к другу. Утоли раздоры их и

возвесели сердца погибающих богатыми щедротами и скорым спасением Твоим. Пошли им, Господи, ангела Своего хранителя да избавить и утешить их, яко да видят и познают милосердие Твое и да всегда благодарящее Тя, величают имя Твое, в Троице славимое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Наша русская колония сочла своим долгом выразить свои чувства Королю Сербскому и послала в Белград Палеологу телеграмму < . . >

Нельзя было оставить без ответа и благородные чувства местного общества. Госпожа Милица Штуцин, как представительница дамского комитета, безотлучно присутствовала в нашем общежитии все праздники и собственноручно готовила на кухне с другими дамами. На общем собрании было решено преподнести ей адрес следующего содержания:

«Глубокоуважаемая госпожа Штуцин! Русская колония в Костайнице, оценивая дружеское и сердечное отношение местных жителей к тем русским людям, которые вынуждены были покинуть свою Родину и искать приюта среди родственных и дружественных славянских народов в Хорватии, глубоко признательна за те заботы, которые местное население проявило к нуждам и интересам русской колонии. После долгих скитаний, после целого ряда лет борьбы и тяжких испытаний мы, русские люди, не примирившиеся с положением в России и ушедшие от большевиков, нашли покой и ласку здесь, в этом культурном уголке Югославии, среди людей с высокими понятиями о братской любви и морали. Мы отдыхаем здесь в этом милом обществе. В упорной борьбе за благо Родины мы давно отвыкли от уютной обстановки жизни, потеряли все и ушли от культурного мира, испытав все ужасы войны. Вы дали нам покой. Вы поняли наши страдания за Родину. Давно уже мы не видели великого праздника Рождества Христова, встречая его на поле брани, в пути, в море и во всяком случае не дома. Здесь впервые за много лет мы встретили эти дни в семье костайницкого общества среди людей высокой морали, чутко понявших душевное состояние усталых и измученных людей. Вы, М. Т., явились душой этого благородного порыва и дали нам, русским, возможность встретить и провести этот праздник по обычаям нашей Родины. Вы были все время неотлучно с нами, работая без устали, чтобы украсить нам этот великий праздник. Нас посетили в эти дни все, кто только мог, и отметили своим вниманием свое

расположение к русским людям. Примите, глубокоуважаемая, М. Д., нашу искреннюю благодарность. В лице Вашем мы видим отражение благороднейших чувств Ваших собратьев и, верьте, никогда не забудем этого братского отношения к нам сербского народа».

Я был болен. В смежной кухне была суета. Дамы не могли примириться, что я болен, и всячески старались мне угодить. Я пробовал встать, чтобы посидеть за общим столом, но мне это было не под силу. Софья тащила мне в комнату все, что было возможно. Дамы стеснялись заходить ко мне в комнату, но я слышал, как они спрашивали Софью, как я лежу и что я делаю. По-видимому, Софья находила, что я обставлен не по положению, и Штуцин говорила мне потом, что она никак не могла примириться, что такой просвещенный человек, как я, лежал на такой кровати и в такой убогой обстановке.

Жена священника систематически готовила мне горячее вино. И это было то, что помогало мне. После ужина мне приносили пунш, глинтвейн, а утром Софья давала мне удивительно вкусный напиток вроде сабайона. Эти горячие напитки бросали меня в пот и вызывали испарину, которая была мне необходима. На третий день праздника мой брат был приглашен в гости, а между тем это был последний вечер. Нужно было сказать заключительное слово и поблагодарить дам. Эта честь выпала на мою долю, так как никто не решался сказать речь на немецком языке.

Я появился за ужином, едва передвигая ногами. Дамы поснимали с себя накидки и боа и укрыли мне ноги. Вечер был оживленный и приятный. Я говорил речь, и фрау Штуцин плакала. Конечно, я не мог сидеть долго и лег в постель. Софья принесла мне пунш. Вместе с ней ко мне пришли хорватки, которые работали на кухне. Одна из них предлагала мне растереть ноги. Это были симпатичные, простые женщины, которые знали очень мало о России, но, видя радушное отношение к нам своих господ, расспрашивали меня о России. Россия большая, громадная, и там все аристократы, говорила мне хорватка по-немецки. Это все, что они знали.

Уже через две недели я сидел в гостях у фрау Штуцин, где было громадное общество, и были приглашены русские (Верховские, Кологривовы, *я с* братом, Кирилины, Вербицкий). Я сидел в мягком кресле, укутанный в меховую накидку фрау Штуцин, и слушал пение Тадич и игру на рояле двух барышень, Альмы Кривощиц и Миры Бифлин. В конце вечера был подан отлично сервированный ужин. Доктор Тадич опять говорил речь, и опять о России и о русских. Фрау Штуцин, эта добрейшая

женщина, опять прослезилась и громогласно заявила, что она не в состоянии примириться с положением и горем русских людей. Казалось, что в каждом из нас она видела Пушкина, Лермонтова, Тургенева, с которыми она была отлично знакома и относилась к ним с обожанием.

Вопрос мудро разрешила стоящая во главе дамского общества в Костайнице Йованка Тадич - жена адвоката Тадич. Она с грудным ребенком бежала из Землина в 1914 году при наступлении австрийцев и шла пешком в двенадцатитысячной толпе беженцев на Албанию. Три месяца длилось это ужасное бегство сербов, пока они достигли через Албанию побережья Адриатического моря. Ребенок ее по дороге умер. Сербские беженцы испытали не меньше, чем русские беженцы. У русских - большевики, у сербов - австрийцы преследовали интеллигенцию и расстреливали и грабили ее тысячами.

Нет, кажется, в Сербии интеллигентного человека, который не сидел бы в тюрьме и не подвергся репрессиям в занятых австрийцами местностях. Вешали женщин, детей, стариков и ни в чем не повинных граждан. В ужасе бежали сербы от этого кошмарного прошлого, оставляя свое имущество на разграбление озверевших австрийцев. Три месяца шла Йованка Тадич с матерью и тремя племянниками, испытывая голод, холод и ночуя под открытом небом, иногда и на снегу. Сначала у них была подвода, но скоро лошадей пришлось оставить. Шли пешком дни и ночи. Двенадцатилетний племянник заболел и не мог дальше идти. Это было отчаяние, но люди были добры и по очереди несли мальчика на руках. М-me Тадич решила ехать в Италию, но итальянцы требовали за перевозку через Адриатическое море безумные деньги и, как выразилась Тадич, положительно издевались над сербскими беженцами.

Йованка Тадич из Италии переехала потом во Францию и жила в Париже четыре года. Она ни на что не надеялась. Ей казалось все погибшим.

Муж ее был в сербской армии, и она не имела о нем никаких сведений. Это было безысходное горе, говорила Йованка, и она вечно плакала. М-me Тадич говорила с нами по-французски. И вот, сказала она, прошло четыре года. Война кончилась, и она вернулась домой и встретила мужа. Йованка Тадич приехала из Парижа как нищая, ободранная, и теперь начала с мужем новую жизнь. Она ожидает второго ребенка.

Постепенно они обзаводятся новым имуществом и находят кое-что из разграбленных вещей. Фортепиано найдено в доме какого-то еврея. Шкапы, зеркала, ковры, занавески обнаруживаются у местных крестьян. При этом, понизив голос,

Йованка шептала мне на ухо: «Наши крестьяне грабили нас хуже австрийцев». Они обогатились за это время так, что у них можно теперь видеть все, что составляло имущество ушедшей сербской интеллигенции. Фрау Штуцин подтверждала это, кивая мне головой. Очевидно, об этом не принято было говорить вслух. «У нас “они” тоже играют главную роль», - говорили нам в интеллигентном обществе.

Большевизм распространился по всей Европе. Йованка Тадич говорила нам: «И Вы вернетесь домой, и Вы начнете новую жизнь». Вечер закончился «селянчицей», национальным танцем, состоящим в том, что все берут друг друга за руку и топчутся на месте вроде нашего grand ron. Йованка Тадич не успокоила нас. Она с мужем были молодые люди и могли начать новую жизнь, а нам... Мы были уже в возрасте. Да, к тому же она не отрицала, что масса беженцев погибла, не увидев своей родины.

Из России шли печальные вести. Вчера один из наших русских получил окольными путями письмо из России. Ужасом веет это письмо. Господин Политанский (из Херсонской губернии) дал нам это письмо, и мы приводим из него выдержку:

«Дорогой Костя! Как я обрадовалась, получивши от тебя весточку. Действительно мы все тебя считаем без вести пропавшим. Я получила эту весть от Тани моей, она сейчас служит учительницей на ст. Раздельной, ездит изредка в Одессу, так как она вместе с тем и на каких-то курсах числится. Она мне сообщила обо всех моих родных. Написала, что ты без вести пропал. Мария Васильевна зарабатывает на пропитание себе и трех детей иголкой. Подыкин Сережа, бедняга, бросился под поезд. Петруша умер от тифа. Женя без вести пропал. Сева пошел в большевистскую армию. Надя, вероятно, уже замуж вышла, две девочки, Оля и Таня, служат на железной дороге. Никифора Радова с женой разорвали большевики. Анатолия убила шальная пуля во время отхода. Сережа, мой брат, неизвестно где, и Петя тоже. Об остальных кузенах тоже ничего не знаю. Костя Погонкин тоже умер от сыпного тифа и от голода. Печальные все вести тебе пишу, но в данную минуту ничего приятного нигде ничего нет...»

Первые впечатления сгладились. Жизнь начала входить в норму, и наши общения с местным сербско-хорватским обществом приняли более ровное и спокойное направление. Русские отдохнули, отъелись и приспособлялись. Семейные люди были размещены по квартирам. Мы жили в общежитии. Дни шли за днями скучно, тоскливо, однообразно, грустно и в безделье. Все было сосредоточено на еде. Мы получали пособие в 400 динар ежемесячно, что давало возможность питаться вдоволь и даже пить кофе. Пособие мы получали будто бы от французов, которые

взялись содержать крымскую эвакуацию в виде компенсации за те корабли, которые они взяли в свое пользование после Крымской эвакуации.

По утрам каждый себе и группами варили в кухне обед. Все по очереди пилили дрова и убирали комнату. После обеда лежали на койках, а вечером опять ели. Я был еще долго слаб после болезни и едва подымался на лестницу (мы жили во втором этаже). Мой брат заставлял меня гулять, и мы ходили ежедневно осматривать местность. Погода была в большинстве случаев солнечная, ясная, как в наши ясные октябрьские дни. Мой брат предложил русской колонии прослушать курс психологии и начал читать три раза в неделю лекции, которые охотно посещались нашими беженцами. Первое время эти лекции посещались сербами и хорватами, но, по-видимому, они мало разбирались в русской речи и постепенно перестали ходить к нам. Они нас все же не забывали. Очень часто, в особенности я с братом, получали сюрпризы в виде кусков торта, фруктов, а иногда и целых блюд съестного.

Такое отношение к русским проявлялось не только со стороны местной интеллигенции. К нам относились хорошо все. Сапожники в большинстве случаев не брали с нас за починку обуви. Слесарь починил нам кастрюлю и ни за что не хотел взять с нас денег. Они несли нам свои пожертвования мукой, овощами, крупой и прочим. Крестьяне на улице кланялись нам. Солдаты отдавали честь. Среди простого народа была масса людей, которые знали русских. Они были военнопленными в России, некоторые еще до революции, а некоторые только недавно вернулись из России. Все они отзывались наилучшим образом о России и выражали нам свои симпатии. Костайница не была исключением. Отовсюду шли вести о наилучшем отношении к русским во всей Югославии и Чехословакии. Везде прием русских носил сердечный и несколько экспансивный характер.

Конечно, были отдельные случаи грубых выходок коммунистов, которые называли нас контрреволюционерами и отпускали по нашему адресу неприятные замечания, но это был и здесь отброс населения, фабричные рабочие и неудачники в жизни.

Мы вращались в наиболее интеллигентном обществе, во главе которого стоял адвокат Тадич. Инженер Кологривов и мой брат играли на виолончели. М-me Тадич пела и играла на фортепиано. Барышни-хорватки отлично играли на фортепиано. Сначала я стеснялся, и просто мне не хотелось принимать участие в этих вечерах, но обстановка была столь простая и симпатичная, что мы с Мирой начали играть в четыре руки. Постепенно эти

музыкальные вечера приняли систематический характер и поочередно устраивались у Тадич, Штуцин, Кривошиц и Драгойлович. Эти вечера носили такой дружеский и задушевный характер, что минутами мы забывали свое положение. Это были собрания не только музыкальные. Здесь шел обмен мыслей и велись разговоры, соответствующие высокообразованному обществу. Беседа велась на немецком языке, а у Тадич - на французском. Это было премилое общество, и здесь впервые после долгих скитаний мы увидели европейски образованных людей с высокими понятиями о морали. Это была немецкая культура.

* * *

В то время, когда для нас Крымская катастрофа уже закончилась, к берегам Адриатики продолжали прибывать пароходы с Константинопольского рейда, перегруженные крымскими беженцами, и мы улавливали слухи о происходящих в бухте Которской, Дубровнике и Бакаре ужасах. Мы знали также, что на юг проследовали сербские власти для урегулирования каких-то вопросов, связанных с выгрузкой беженцев. Несколько раз через Костайницу проходили эшелоны с русскими, и некоторым из нашей колонии удавалось побывать на вокзале и говорить с беженцами.

Постепенно начала выясняться действительная картина катастрофы, а несколько позже мы уже знали все подробности которских событий. На разгруженных кораблях были наши знакомые, от которых потом мы получали письма, а еще позже слушали рассказы переживших эти ужасы, как выражалась публика. Для тех, кто не выдержал тяжелых условий эвакуации и погиб во время этой катастрофы или заполняет теперь санатории для туберкулезных и разные госпитали, а также для детей, оставшихся круглыми сиротами, конечно, это был кошмарный ужас.

Все одинаково возмущались французами и с негодованием описывали в своих письмах грубое и жестокое обращение их с больными, измученными и голодающими пассажирами. Со свойственной русскому человеку характерной наклонностью всепрощения Н. А. Тарновский писал мне: «Ну да Бог с ними, не стоит вспоминать этих мерзавцев». Еще позже сестра милосердия А. П. Брайловская говорила нам, что французы на пароходе «Брезгавия» вели себя отвратительно и били даже по физиономии офицеров. Обращаясь дерзко с мужчинами, французы цинично относились к русским женщинам и под видом угощения заманивали в свои каюты голодных женщин и делали дамам гнусные предложения. К сожалению, многие попадались в эту

ловушку, и случаи продажности не подлежали сомнению. Исключение составлял французский повар, пожилой человек, действительно оказывавший внимание русским женщинам.

Хронологически события происходили в следующем порядке. Первым, то есть 26 ноября, из Константинополя в бухту Которскую прибыл американский миноносец № 206, на котором было всего 38 русских. Отношение командира миноносца и всей команды к пассажирам было исключительно хорошее, предупредительное и сердечное. Кормили отлично. Публике были предоставлены все удобства, какие только можно было дать в плавании. Мы знали это от семьи генерала Стремоухова, следовавшей на этом миноносце. Вера Николаевна Стремоухова, супруга генерала, отлично говорит по-английски и много беседовала с командиром миноносца. Она восторженно вспоминает этого культурного и благородного человека и говорила нам, что это не первая ее встреча во время катастрофы с американцами. В Константинополе, разыскивая мужа, она очутилась на борту военного американского судна, и там тоже американцы были в высшей степени предупредительны. Она помнит, как, несколько растерявшись, она хотела обратиться к командиру крейсера, но последний предупредил ее и, идя ей навстречу, сказал: «Я рад видеть вас на борту своего корабля, чем могу служить?»

Миноносец прибыл в Которо раньше, чем из Белграда было дано знать о Крымской катастрофе и направлении беженцев в Сербию. Тотчас же, не выжидая распоряжений из Белграда, сербские власти совместно с местным сербским обществом и русскими беженцами прошлогодней эвакуации по собственной инициативе начали устраивать питательный пункт и подготавливать помещение для лазарета. Во главе этих организаций стали m-m-me Киклич с мужем - начальником местной бригады (полковник Киклич, серб, женат на дочери какого-то русского профессора), m-me Туманович, урожденная Апухтина, вышедшая замуж за сербского офицера, m-me Санников,m-me Камненович и др.

Работа шла дружно, говорила нам Вера Николаевна, которая с первого же дня начала работать на питательном пункте. Дамы не гнушались грязной работы и даже сами мыли полы. Мужчины приготовляли кухни и исполняли тяжелую работу. Г. Киклич и сербский военный врач Хорлай, как истые друзья России, говорят, отдались всей душой делу помощи русским, так что впоследствии г. Кикличу был преподнесен адрес от беженцев.

Почти тотчас в Которо прибыл французский пароход «Сюже», переполненный сверху всякой нормы крымскими беженцами. На

нем свирепствовал тиф, и потому пароход, не разгружаясь, был поставлен в карантин. С берега было видно, что «Сюже» как мухами облеплен людьми, и, конечно, чувствовалось, что там настоящий ад, но помочь им было невозможно. Продовольствие на пароход подавалось с берега, и это все, что возможно было сделать.

Спустя несколько дней в бухту вошел американский пароход «Истрим-Виктор» («Эспир»), снявший в константинопольском рейде с парохода Рион свыше 1400 беженцев. Этот пароход принадлежал американскому миллиардеру, везшему в Севастополь рельсы и паровозные части для армии г. Врангеля. Вся команда на пароходе была американская. По общему отзыву, отношение владельца корабля и команды было исключительно хорошее. На пароходе находилось более 10 беременных женщин. Им и детям тотчас же было отведено лучшее помещение на кормовой части и предоставлены все возможные удобства, до ванны включительно. Кормили американцы за свой счет сытно и отлично. На пароходе не было ни одного голодающего. Всем была дана возможность умыться, почиститься, переодеться. Неимущим американцы выдавали белье, мыло и вообще помогали чем можно. У них был свой врач, американец, который вникал во все мелочи корабельной жизни и приходил на помощь там, где это было нужно.

В результате пароход прибыл в Которо благополучно, и на нем почти не было больных. Одна из женщин родила в пути, окруженная всеми заботами, а другая (жена полковника Чернова, с которой мы познакомились потом в Загребе) родила тотчас по вступлении на берег. После «Истрим-Виктора» в Которо прибыл переполненный беженцами французский пароход «Сиам», и с этого дня начались тяжелые испытания для русских беженцев. На «Сиаме» был тиф во всех его видах, оспа и другие болезни. В сущности говоря, на нем почти все были больные. Тиф продолжался более месяца, и потому пароход не разгружался, а стоял в море, выдерживая карантин. Немытые, грязные, покрытые вшами, валяясь вповалку в трюмах, на палубе под открытым небом, больные и здоровые вместе, не сменяя белья больше месяца, полуголодные, эти несчастные люди переживали невероятные муки.

К 10 декабря почти одновременно в бухту вошло еще два парохода с беженцами - «Австрия» и «Брезгавия», оба французские. Здесь было более благополучно, но все же на том и другом много тифозных и вообще больных. Корабли были переполнены сверх нормы и должны были выдерживать карантин. Как нарочно, в это время наступил период дождей, а временами

дул так называемый бора, лишавший иной раз возможности подвозить к пароходам пищу. Условия существования на этих пароходах были ужасные. Сестра милосердия Брайловская говорила нам, что вшей на «Брезгавии» развелось столько, что они хрустели под ногами. Впрочем, ходить было почти невозможно, так как палуба, трюмы и все закоулки парохода были до тесноты переполнены людьми, и для прохода оставалось пространство, в которое едва можно было поставить ногу.

А. П. Брайловская с мужем (товарищем прокурора Киевского окружного суда) помещались на палубе в крытом помещении возле коменданта парохода. Поэтому она знала то, что докладывали коменданту. Ей было известно, что еще в пути на пароходе умирали, и покойников выбрасывали в море. Она помнит умерших пять детей, несколько калмыков, несколько казаков и четырех беременных женщин, страдавших от качки и не выдержавших этого путешествия. Уже по прибытии в Которо в море было выброшено четыре трупа. «Брезгавия» и «Австрия» были в одинаковых условиях и стояли в бухте рядом. Впрочем, на «Австрии», говорят, было еще хуже.

Карантин продолжался две недели. Разгрузка шла постепенная. Одна и та же баржа подходила поочередно то к «Брезгавии», то к «Австрии» и выгружала сначала больных, а потом здоровых. Такая разгрузка продолжалась бы бесконечно долго, если бы не помогли французы. Перед католическим праздником Рождества они потребовали немедленной разгрузки, угрожая в противном случае оставить пароходы. Их требование было исполнено, но это создало невероятную суету и беспорядок. Выгружали спеша день и ночь без системы, без плана. Брали на баржи и катера и больных и здоровых, детей без родителей, родителей без детей - одним словом, тех, кто был ближе к трапу. Дети плакали, жены вопили, разыскивая мужей, мужья теряли вещи, и все это ночью, в темень, выбрасывалось на берег, чтобы скорее разгрузить пароходы.

На берегу творилось нечто невероятное. Более десяти тысяч людей с детьми, женщинами, стариками, с тюками и вещами скопилось на молу и проводили дни и ночи под дождем и ветром на дворе. Мужья разыскивали жен, родители детей, дети родителей, люди искали свои вещи. «Немудрено, - говорила нам сестра милосердия Л. А. Янковская, - что распорядители и администрация потеряли голову». С пароходов снимали людей истощенных, оборванных, измокших, сплошь покрытых вшами. Л. А. Янковская, работая в госпитале N° 1 возле Мелине, в непосредственной близости мола, говорила нам, что эта толпа людей была до такой степени жалкая, что она не могла

равнодушно смотреть на нее.

Питательный пункт не справлялся. Выбиваясь из сил, чтобы помочь чем только можно, она целыми днями варила чай и давала его всем, кто только просил. Котел грелся день и ночь. Насколько люди изголодались, было видно из того, что когда в госпитале оставались корки хлеба и она, Янковская, выносила их к молу, то ее окружала толпа, и все одинаково, и женщины и мужчины, расхватывали эти корки, и ей до сих пор мерещатся крики: «Дайте и мне!» Беженцев тотчас начали водить группами в баню, но разместить их после бани было негде, они оставались на дворе под дождем.

Госпитали были переполнены. Размещать больных было негде, и они подолгу лежали на дворе. Бараки тоже не успели еще оборудовать, и тифозных клали прямо на землю, на тонкий слой соломы. Еще хуже было в палатках. Дул сильный ветер. Палатки часто срывало, и все эти сооружения рушились прямо на больных. Постепенно эту толпу начали разрежать, переводя беженцев в наскоро приспособленные лагеря (в Мелине, Зелениках, Джановичи, Лепетано и Баушице), где они продолжали выдерживать карантин. Конечно, о койках или нарах не могло быть и речи. Размещались на полу, на земле, но и то хорошо, что люди были под крышей.

Наихудшее положение было в Джановичах, где лагерь был устроен в ангарах. Сестра милосердия Брайловская заведовала в Лепетанах амбулаторным приемом. Здесь, говорила она, все были больны. Люди были настолько истощены, что у весьма многих появились карбункулы и цинготные явления. Госпитали не могли, конечно, вместить больных, и потому умирали одинаково и в бараках и в лагерях. Бывали дни, когда не успевали хоронить умерших и вследствие этого устраивали братские могилы. Несомненно, говорила нам сестра Янковская, многих хоронили как без вести пропавших, так как поступали они в госпиталь в бессознательном состоянии и установить их личность было невозможно. Потом уже, когда все улеглось, начали хоронить в одиночку, и над могилами ставили деревянный крест с надписью на нем чернильным карандашом имени, отчества и фамилии умершего.

Таким образом, в бухте Которской погибли не сотни, а тысячи русских людей. Установить точно, сколько на кладбище в Мелине похоронено русских, говорят, трудно, так как в братские могилы клали людей без счета, в суете, едва успевая справляться с похоронами. Нам известно, говорила нам сестра Брайловская, что умершим велись списки. Такой список, между прочим, имеется у председателя Зеленикской колонии Н. Н. Бородина (б. товар.

прокурора Черниговского окружного суда). Но это было уже тогда, когда жизнь в лагерях получила некоторую организацию. Цифры называют разные. Доктор В. А. Свиридов говорил нам, что он слыхал, будто в Которской похоронено около 3000 человек, а другие говорят, что умерших было не более 2000, но факт тот, что которские события дали плачевные результаты и дорого обошлись русским беженцам. <. . >

А между тем в виду берега стояли еще зараженные пароходы «Сюже» и «Сиам», где творилось нечто ужасное. Беженцы вопили и молили свезти их на берег. Помогли французы, которым невмоготу было выдерживать карантин. И вот после этого тяжелого испытания часть беженцев с «Сиама» начали выгружать в Дженовичах, а остальных на остров Кобыло и в Оштро при входе в бухту, в изолированный и пустующий замок Франца Иосифа. Здесь возле замка скоро выросло другое русское кладбище. В. С. Подрешетников был на этом кладбище и говорил нам, что по сравнению с кладбищем возле с. Ерцегнова, конечно, это небольшое кладбище, но, во всяком случае, на нем не менее ста русских могил.

Пароход «Сюже» с 3000 беженцев так и не выгрузился в бухте Которской и был направлен для разгрузки в Дубровник. Скоро в Которо из Константинополя прибыл еще пароход «Херсон», но он вошел в бухту, когда все пароходы были уже разгружены, и потому справиться с его разгрузкой было легче.

Еще долго пришлось крымским беженцам жить в лагерной обстановке Которской бухты. Отправка в глубь Сербии происходила чрезвычайно медленно, группами не более 50 человек. Последняя партия была отправлена только в конце февраля. Переполненными оставались лишь госпитали. Уже почти летом из Константинополя были доставлены последние беженцы на небольшом пароходе «Тула», и этим закончилась здесь крымская эвакуация.

Таким образом, которские события тянулись более трех месяцев, и если принять во внимание, что сюда попали люди, которые сели на пароходы в Крыму в последних числах октября 1920 года, то можно себе вообразить, что испытали те, кто не сходил с пароходов почти два месяца и затем почти столько же пробыл в лагерях и в пути, пока не обосновались в одной из русских колоний Югославии. Тысячи русских людей, покинувших навсегда свою Родину, нашли уже себе приют на кладбищах дружественной нам Сербии. А сколько их выброшено в море в пути и сколько без вести пропавших и лежащих в братских могилах!

Сколько круглых сирот, ютящихся теперь по приютам, и

матерей, заполняющих санатории для туберкулезных. И все это происходило на глазах всего мира, на глазах наших бывших союзников, которым мы спасали Париж. Приняв руководство эвакуацией, французы сбросили привезенных ими русских на берег и ушли. Их никто не видал на берегу. Впрочем, они вряд ли решились бы показаться среди русских. Здесь они не были бы хозяевами положения и были бы избиты, как заклятые враги русских людей.

Но зато русские никогда не забудут дружеского отношения сербского общества и вообще сердечного отношения населения к беженцам, на долю которых выпало пережить такую небывалую катастрофу. Как после большого сражения идет подсчет убитых и раненых, так и здесь подводится итог людским отношениям, доведшим человечество до такой катастрофы.

Американцы были свидетелями этой катастрофы и, конечно, не оставались только зрителями происходящего. Все в один голос утверждают, что всюду они приходили на помощь и вели себя джентльменами. В. Н. Стремоухова рассказывала нам, что когда в разгар разгрузки русские, устроив в Мелине возле кладбища алтарь, служили молебен, американцы сняли фуражки и чинно стояли в толпе молящихся. После молебна командир миноносца выразил свое удивление по поводу религиозного настроения беженцев. Измученные, голодные, больные, они прежде всего молятся Богу. Американец неоднократно выражал m-me Стремоуховой свою глубокую печаль, видя, что приходится переживать русским людям. Не менее благородно держали себя матросы с миноносца № 206. Собрав между собою довольно значительную сумму, они раздавали деньги тем, кто нуждался. Между прочим, сестра Янковская получила от них около 400 динаров.

Мы знали, что одновременно с которскими событиями происходит драма и в Бакарской бухте, куда тоже направлялись пароходы с крымскими беженцами. «Владимир», как оказалось, прибыл в Бакар благополучнее других. После него пришли два парохода «Вал» и «Херсон». «Вал» был небольшой корабль, на котором находилось всего 613 человек. Конечно, и на нем были больные, но особых затруднений при выгрузке его не было. В ужасном положении прибыл «Херсон», имея 3000 беженцев, в числе которых одних только сыпнотифозных было 150 человек.

Пароходу не разрешили даже стоять в бухте, а отправили на рейд. Дождливые декабрьские дни с холодным ветром и разыгравшейся бурей делали существование на этом пароходе крайне тяжелым. Пища доставлялась на пароход из Бакара, но два дня было таких, что подвезти ни супа, ни хлеба было совершенно

невозможно, и все пассажиры были двое суток совершенно без пищи. «Херсон» стоял на рейде три недели, выдерживая карантин, но и потом, при разгрузке его, к беженцам с парохода «Херсон» относились с предосторожностями и выдерживали их в госпиталях и в вагонах ж.д.

Мы не знаем, как дело обстояло в море, но знаем, что после разгрузки «Херсона» в вагонах в Бакаре умерли 14 человек. Борьба с тифом продолжалась в Бакаре долго, и мы знаем, что командированный в Бакар русский священник заразился там сыпным тифом и умер. Впрочем, на кладбищах на побережье Бакар русских могил не так много. По справке, добытой нами в Загребе у уполномоченного Красного Креста П. М. Боярского, в Бакар высадилось всего около 7000 беженцев, в то время когда в бухте Которской выгружено более 14 тысяч человек и в Дубровник - 3000.

Население Бакар относилось совершенно иначе к русским, чем в Которо. Хотя, говорил нам секретарь Боярского Г О. Бондарук-Везимов, бывали отдельные случаи внимания к русским, но в общем отношение было плохое, причем было много возмутительных случаев. Так, например, нанимая подводы для больных, Бондарук договорил хорватов, которые назначили за подводу по 270 динар. Когда П. М. Боярский согласился на эту сумму, они потребовали 500 динар и сказали, что через 10 минут цена будет еще дороже. Когда Боярский согласился и на эту цену, они потребовали 600 дин. Сидя за стаканом вина в гостиане, хорваты издевались над Бондаруком, когда он бегал от Боярского к мужикам и обратно.

Нам говорили в Костайнице, что в Хорватии вряд ли русские встретят хороший прием. Хорваты тяготеют к Австрии и ненавидят сербов. Между сербами и хорватами существует непримиримая вражда, и естественно, что, видя в русских союзников сербов, хорваты будут относиться к русским враждебно. Тем не менее мы уже знали, что местами и в Хорватии русских встретили очень приветливо, а некоторые хорваты оказали беженцам исключительно радушный прием.

Сбивал с толку большевизм. В лице русских беженцев рабочие массы видели контрреволюционеров, и на этой почве возникали всякого рода осложнения. В Загребе, например, где все рабочие и низшие служащие заражены большевизмом, отношение к русским определялось не национальными взаимоотношениями, а проявлением большевизма. Достаточно было появиться в городе в форме, чтобы вызвать злобное отношение местных большевиков.

* * *

Мой брат Николай Васильевич получил через профессора Лапинского из Загреба предложение занять место ассистента при Институте экспериментальной медицины в Загребе. Мы решили не расставаться. Мне очень не хотелось ехать в Загреб, где, по слухам, к русским относились плохо, и к тому же я чувствовал себя еще очень слабым, но обстоятельства складывались так, что нужно было ехать. Нам было жаль уезжать из Костайницы. Проводы носили сердечный характер. Дамы нанесли на вокзал массу цветов, а m-me Шпицин преподнесла мне громадный торт. Наш отъезд совпал с радостным известием. Газеты сообщали о восстании в Кронштадте и повсеместных выступлениях против советской власти. Мы выехали из Костайницы 8 марта (24 ст. ст.), но решили связи с Костайницей не терять. В вагоне я подобрал брошенную хорватскую газету, в которой сообщалось, что Петроград и Москва в руках повстанцев. Советская власть бежала в г. Новгород.

Загреб (по-немецки Аграм) - столица Хорватии, большой европейский центр с немецкой культурой. Почти 60% населения говорит по-немецки. Медицинский факультет помещается на окраине города, на горе, именуемой Шалата (Salata). Профессор Микуличич, патрон брата, хорват, встретил нас любезно и говорил с нами по-немецки. Первые дни мы помещались в общем корпусе, в комнате возле анатомического института, откуда шел отвратительный запах. Через несколько дней нам была предоставлена меблированная комната в небольшом флигеле, где уже жили две русские студентки К. А. Кутепова и Г. О. Липская.

В Загребском университете было уже более 40 студентов и наши русские профессора: Лапинский и [нрзб. - *Сост.]*. В политехникуме были русские профессора Тимошенко и Плотников. Во время войны здание медиц. факультета было занято под лазареты, имущество которых осталось в распоряжении университета для будущих клиник. Вот почему нам посчастливилось. Профессор Микуличич предоставил нам две отличные кровати, одеяла, подушки, простыни, полотенца и выдал в пользование посуду: тарелки, ножи, вилки, ложки, стаканы и проч.

Наш флигель назывался «русский домик», так как в прошлом году в нем тоже жили русские. Первые дни было непривычно в этой новой культурной обстановке. Чистое постельное белье, одеяла, ночные столики, клозеты, ванная - все это доставляло физическое наслаждение, которое нежило изломанное долгими лишениями непривычное тело. Мой брат был занят целыми днями и приходил лишь обедать. Студенки Кутепова и Липская отсутствовали с утра до позднего вечера. Я оставался один. Во

флигеле больше никого не было. Не было и прислуги.

Мы решили обедать дома, тем более что в квартире имелась газовая плита. Утром я ходил на базар и после уборки комнаты готовил обед. К вечеру нужно было приготовить что-нибудь закусить и вытопить печь. Я сам мыл белье, починял одежду, одним словом, занимался хозяйством. Денег пока у нас было мало, и мы жили первое время очень скромно. Как мы ни скупились, но события в России заставляли нас покупать иногда газеты. Кронштадтское восстание ликвидировано.

Большевики одержали вновь победу, и, видно, надолго. После того подъема, который пережили русские при первых известиях о восстании, у всех поголовно появилось угнетенное состояние. Многие уже собирались ехать в Россию и радовались как дети. Почему-то почти тотчас после Кронштадтского восстания во всей Европе начались большевистские выступления. В Германии идут уличные бои с большевиками. В Англии забастовали рабочие. В Австрии готовится погром интеллигенции. В Италии ежедневно ждут установления советского строя.

В Загребе чувствуется напряженное состояние. Рабочие бастуют. Ежедневно разбрасываются прокламации, взывающие к свержению существующей власти. Рабочие и низшие слои населения держат себя вызывающе и настроены большевистски. Все питейные заведения переполнены простонародьем, отравляющим существование.

Я ходил всегда в ближайшую лавку за хлебом. Там постоянно за прилавком пили какие-то люди. «Что вам здесь нужно, поезжайте к себе в Россию», - сказал мне как-то по виду рабочий. Я перестал ходить в эту лавку. Такие выпады приходилось выслушивать часто. В особенности неприятна была как-то моя встреча с группою рабочих на «Илице». Рассматривая в витрине газеты, я услыхал сзади себя ломаную русскую речь. Обернувшись, я встретил свирепый взгляд рабочего, который на мой вопросительный взгляд отвечал мне: «Да, да ...» (следовала отборная русская брань). Поравнявшись со мною, этот хулиган с искривленным от злобы лицом показал мне сжатый кулак и отвалил по моему адресу отборную ругань.

Бывали и другие случаи. Я встретил однажды прилично одетого человека, по виду рабочего, шедшего с прилично одетой женщиной в платке на голове. Еще издали я заметил, что они говорят про меня, а поравнявшись, он отпустил по моему адресу: «Старый буржуй».

На Шалате рабочие и служащие относятся к нам несколько сдержаннее, но и здесь не обходится без неприятностей. «Русская рожа», - сказал однажды рабочий, проходя возле доктора Я. И.

Кильмана (ассистента при анатомич. институте). Мой брат Н. В. избегал ходить в город и поторопился приобрести статское платье, чтобы не выделяться в толпе. Интеллигенция на Шалате, и в частности профессорская среда, отлично знала это, но тактично молчала.

Нельзя сказать, чтобы мы чувствовали себя хорошо и в обществе хорватской интеллигенции на Шалате. Это было не то, что в Костайнице. Впрочем, вернее, у нас с ними не было никаких отношений. Это были официальные, сухие отношения, или, вернее, шапочное знакомство. О русских делах было не принято говорить, и этот вопрос обходили молчанием. Технический персонал в университете относился к нам явно враждебно. Точно такое же отношение доминировало и в городе.

Русские были навязаны Хорватии, и это чувствовалось во всех мелочах повседневной жизни. В лучшем случае совершенно безразличное отношение с оттенком некоторой небрежности к умирающей нации, а в большинстве явно недоброжелательные отношения - так можно безошибочно определить отношение хорватской интеллигенции к русскому беженству. Конечно, бывали исключения, но это были единичные случаи.

Впрочем, этот вопрос нас мало интересовал. Мы встревожены новым выступлением союзников. Французы требуют ликвидации армии генерала Врангеля, как англичане требовали в свое время роспуска армии генерала Деникина. Французы насильно отправляют солдат в советскую Россию. Мы не сомневаемся, что очередь дойдет и до нас. Англичане ведут переговоры с большевиками о возвращении русских беженцев в Россию. Мы этого ждали, да к тому же нас уже ничем удивить нельзя. Больше того, что мы пережили, пережить нельзя. Страшна только смерть.

* * *

11 июля 1921 г.

Перед глазами стоит кошмар пережитого и переживаемого. Мы решили, что я уйду один. Моя дочь останется с тетками в Киеве, пока добровольческие части, отступив, перегруппируются и затем вновь начнут наступление. Тогда еще была надежда. Даже позже, когда добровольцы откатились почти до Новороссийска, компетентные лица уверяли, что месяца через три добровольцы вновь погонят большевиков, и мы будем дома. Моя дочь точно чувствовала гибель всего. Приняв решение остаться с тетками, она вдруг изменила свое решение и перед самой эвакуацией Киева, узнав, что я нахожусь в Кременчуге, засуетилась и рвалась ехать ко мне.

Я со своей стороны впал в отчаяние и уже в дороге ужаснулся нашему решению. Я видел уже тогда, что мы расстались, может

быть, навсегда, но было уже поздно. Свершилось то, что вдесятеро хуже смерти. Может быть, конечно, моя дочь не выдержала бы всей обстановки, в которой совершалось бегство русской интеллигенции. Может быть, она погибла от тифа, как погибли многие. Может быть, она была бы убита на румынской границе или замерзла на снегу. Может быть, если бы мы были вместе, нам не удалось бы эвакуироваться из Одессы, но... может быть, если бы все эти испытания были пройдены, мы были бы теперь вместе.

* * *

22 июля 1921 г.

Страшные вести идут из России. Небывалая засуха и надвигающийся голод грозят ужасными последствиями. Советская печать не может скрыть положения и бьет тревогу. Московская «Правда» сообщает: голод охватил уже около 25 миллионов населения; голодает все Поволжье, часть центральных губерний и Сев. Кавказ. «Вся Самарская губ. на колесах - бежит население на восток». Московский Патриарх обратился с воззванием к епископам Кентерберийскому и Йоркскому с просьбой *о* немедленной присылке хлеба и медикаментов в Россию, где большая часть людей приговорена к смерти. Началась агония нашей Родины, нашего народа, пишет «Новое время». В политических кругах Парижа, как русских, так и иностранных, доминирует атмосфера напряженного ожидания крупнейших изменений в России.

«Общее дело» пишет: «Фактически большевистской власти в России уже не существует. Большевики чувствуют себя господами еще в Москве и Петербурге, может быть, еще в очень немногих городах, но за чертой этих городов власть у них исчезла. В настоящий момент всю Россию охватил пожар анархии. Скорее, чем многие думают, вся власть большевиков может и формально быть ликвидирована в России. Эту приближающуюся свою катастрофу в настоящее время чуют и большие и малые большевистские деятели, и под разными предлогами они заблаговременно бегут за границу с наворованным золотом и бриллиантами. Но не всем этим вожакам преступной большевистской банды удастся ускользнуть из России. Те, на кого они опирались, не хотят их выпустить из России и требуют, чтобы они вместе с ними расплачивались за все, ими совершенное. В России все начинают подводить итоги четырехлетнему хозяйничанью большевиков. Что это за страшные итоги! Голод! Холера! Вымирание миллионов людей! И нет такой силы, которая могла бы предотвратить теперь в России грядущую смерть миллионов людей».

* * *

Сегодня 23 октября 1921 года. Исполнилось ровно два года с тех пор, как я ушел с добровольцами из Чернигова. Писать нет охоты, но все же хочется отметить этот день и по случаю исполнившегося двухлетнего скитания по белому свету сделать запись в своем дневнике. Наступили осенние октябрьские дни. Вечера длинные, томительно скучные. На душе тоскливо, безнадежно, страшно. Иногда кажется, что лучше было бы умереть, чем влачить такую бессмысленную жизнь. Еще в прошлом году в эти дни мы были в Севастополе и не теряли надежды - мы были в России.

Кто мог тогда думать, что после всех испытаний судьба забросит нас к берегам Адриатики, к границам Италии, и обратит нашу жизнь в подобие ссылки. Мы жили все лето с недоеданием и ходили обутыми на босую ногу. Белья у меня почти не было. Летом гимнастерка на голое тело и штаны без подштанников доставляли даже удовольствие - продувает, но чувствуется какая-то неловкость. Я сознаю, что вместо газет я мог бы купить себе по крайней мере носки, но эти мелкие интересы теперь на втором плане. Хочется знать, что делается там - в голодной России, и угадать, что ждет нас впереди.

Мы разыскали в Константинополе нашего племянника Кирилла Алчевского, студента Харьковского университета. Он был офицером Добровольческой армии и эвакуировался в Константинополе со своею частью. Он живет теперь вместе с нами и тоже испытывает большие лишения. Мой брат устроил его студентом Загребского университета. Он будет получать пособие, но, пока он его получит, нам приходится тяжело. Я рад, что вокруг нас группируется студенческая молодежь, которой Ник. Вас. оказывает всевозможное содействие как к поступлению в университет, так и во всех прочих отношениях.

В первой половине месяца, пока еще не иссякли средства, мы едим борщ с кашей. Затем следует вермишель, макароны и картошка - самые дешевые кушанья. Но не мы одни живем впроголодь. Наши соседки -студентки Кутепова и в особенности Липская тоже никогда не бывают сыты. Я под шумок подкармливаю Липскую от нашего скудного стола, а иногда отдавал ей половину своего хлеба. Мне ее жаль, и я был рад, когда во время ее болезни брат сказал мне, что следовало бы нам готовить и на ее долю, так как она пролежит с неделю.

Близость к университету меня очень радует. Если не я лично, то через посредство брата мы имеем общение с людьми и потому находимся в курсе современных событий и настроений. К тому же мы имеем возможность широко пользоваться университетскою библиотекой, но, к сожалению, приходится читать по-немецки,

так как русских книг в библиотеке нет. Иногда к нам приходили интересные люди, профессора, и некоторые из них даже останавливались у нас проездом через Загреб. Так, профессор Бубнов (историк), который прожил у нас несколько дней, доставил мне громадное удовольствие своими беседами на современные темы и поражал своим трезвым взглядом на жизнь. Он просматривал мои записки и подбодрил меня, говоря, что это очень ценный материал, который надо во что бы то ни стало сохранить.

Большую симпатию вызвал во мне профессор Абрамов (из Харькова), ночевавший у нас во флигеле проездом из Берлина в Болгарию. Германия разлагается. Государственные учреждения в Берлине похожи на наши волостные правления, сказал он мне. Всюду грязь, запущение, стоптанные и покрытые слоем грязи полы, неряшливость в одежде - вот что поражает теперь в германском народе.

Зло издевался над современным вавилонским столпотворением в Европе профессор физиологии Эстонского университета Лифшиц. Теперь наука расчленена по народностям, говорил он нам. Есть анатомия эстонская, латвийская, азербайджанская, хорватская и т.д. И каждая из этих анатомий не считается с другими, несмотря на то, что в их лексиконе не хватает слов для научной терминологии.

Заходили к нам и местные профессора Лапинский, Плотников, а также уполномоченный Красного Креста Боярский. Между прочим, я встретил случайно на базаре моего бывшего начальника М. И. Рябинина. Я часто заходил потом к нему, и он бывал у меня, но очень скоро он получил назначением в Державную комиссию по делам беженцев и уехал в Белград. Часто у брата бывал по делам председатель студенческого союза - студент Мельников и представители разных студенческих групп - студенты и курсистки.

Скоро население нашего флигеля («русский домик») увеличилось, обратившись в подобие общежития для русских. Ник. Вас. устроил лаборантом при университете своего знакомого по Лемносу генерала Н. И. Власьева, который поселился в соседней комнате и столовался вместе с нами. Сначала я был рад этому обществу, тем более что генерал оказался весьма образованным и в этом отношении интересным человеком; но мы потом разошлись с ним. Генерал Власьев опорочивал при нас своего Государя и беспощадно критиковал ненавистный ему царский режим, который сделал его тыловым генералом. «Землю у помещиков надо отобрать и отдать ее крестьянам», - говорил он возбужденно. Интересно, что этот человек глубоко страдал по

своей Родине.

Такого же типа, но еще похуже был ассистент того же университета доктор Страдомский, бывший председатель Киевского исполнительного комитета при Временном правительстве. Он пришел к нам первым. Мы отлично знали его смехотворную роль в Киеве во время керенщины, но этого вопроса в первые дни мы не касались. Но тоже очень скоро случайно разговор перешел на политические темы, и, конечно, после этого Страдомский у нас не бывал.

Вообще в Загребе нам пришлось встретиться с людьми этого типа, и это отравляло наше существование. В особенности противно было видеть это направление среди студентов, участвовавших в борьбе с большевиками. От этих людей мы просто отворачивались. К сожалению, в Загребе этого левого элемента достаточно, и потому общий колорит загребской колонии беженцев носит неприятный характер. Даже среди профессоров есть типы, носящие на себе клеймо керенщины. Меня лично это страшно разочаровало. Не с этими людьми я ушел из России, а, напротив, от них уходили настоящие русские люди еще при Керенском. Но, к счастью, их не так много, и центром их скопления служит Прага и Загреб. Я не любил поэтому бывать в правлении загребской колонии, хотя во главе ее стояли люди другого направления с председателем правления инженером Мержановым во главе. Одно время выставляли мою кандидатуру в члены правления, но, побывавши раза два на общем собрании и познакомившись с характером этих собраний, я наотрез отказался выставить свою кандидатуру.

Я бывал зато каждый день в Красном Кресте, атмосфера которого была иная. Уполномоченный Красного Креста Петр Михайлович Боярский, бывший губернатор, с которым я был знаком лет пятнадцать тому назад, в бытность его товарищем прокурора черниговского окружного суда, и секретарь его Бондарук-Везимов относились ко мне чрезвычайно сердечно, и для меня было большим удовольствием видеть этих людей. Я ходил в Красный Крест ежедневно за газетой «Новое время», которую мы получали чрез посредство Бондарчука. Между прочим, Боярский помог мне во многом. Через него от Красного Креста я получил белье, в котором так нуждался, и костюм.

В Красном Кресте я встречался с людьми, которые группировались возле Боярского, который несомненно делал очень много для беженцев. Там я участвовал в заседаниях монархического объединения, а несколько позже - Общества попечения о духовных нуждах, где однажды даже председательствовал в общем собрании. Сюда, конечно, не шли те

беженцы, которые брали налево, и в этом отношении атмосфера была приятная и чувствовалось свое, русское. Но не удовлетворяло это меня, и не мог я этим заинтересоваться. Конечно, я не отрицаю пользу для беженцев в этом единении, но не об этом думалось мне.

Не об устройстве беженства хотелось думать, а о возвращении на Родину. Не могла душа примириться с тем, что все кончено и приходится приниматься за организацию и устройство на чужбине русских людей. Я чувствую, что слишком подавлена моя психика, чтобы я мог в этом отношении быть полезным. И сознаю я, что это нужно, а тем не менее тоска гложет и нет сил отрешиться от надежды, что «авось» как-нибудь все устроится и мы скоро вернемся домой.

Мне симпатичны беженцы, с которыми приходится встречаться, несмотря на то, что все злы, раздражительны, легко ссорятся и подчас грызутся между собою и злословят друг на друга. Это понятно и простительно. Лишенные элементарных удобств жизни, живя в условиях, когда не всегда можно умыться, полуголодные, в дырявых башмаках, после сна на неудобных ящиках и сундуках вместо койки с матрацем поневоле будешь злой и в дурном настроении. У всех чувствуется преувеличенный и злой пессимизм. Точно нарочно все утверждают, что все кончено, и теперь надолго, а может быть, навсегда, придется остаться в изгнании. Конечно, не хочется этому верить, хотя логика ясно говорит за это.

Катастрофа эта не только русская. Везде и всюду разлагается прежняя жизнь и строится что-то новое. Мы часто встречаемся с людьми, которые хорошо знали Европу до войны. Они утверждают, что Европа неузнаваема. От прежней культуры не осталось и следа. Европа разлагается морально.

Прежние идеалы культурного мира отошли в область предания. Господствующая всюду демократия бессознательно разрушает прежние устои государственной жизни, не создавая ничего нового. Борьба за власть, борьба партий, борьба за господство в экономической жизни, социализм и спекуляция затмили нормальную общественную жизнь. Понятия о чести, долге, справедливости, красоте и высших принципах сосуществования попираются даже в интеллигентных слоях общества.

Теперь господствует право сильного, говорят нам. Кто похитрее да посильнее, тот окажется победителем. Цинизм и увлечение идеей отождествления человека с животным в целях оправдания этому реализму действует отталкивающе. «Международное право - это вздор», - говорят нам. «В политике

морали нет», - громко говорят в пресыщенном обществе. «Человеколюбие, человечность, гуманность... но ведь все мы знаем, что homo homini lupus est. Это вы, русские, сентиментальничали и витали в идеях, а в Европе этого уже давно нет. Вы возмущаетесь реальной политикой Ллойд-Джорджа и осуждаете иностранцев за то, что они принимают от большевиков снятые с вас золотые кольца и нательные крестики, но это в порядке вещей. Ваша страна - страна поэтов. Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Достоевский. их вся Европа знает».

«Это вы, русские, - сказал мне как-то простой человек, хорват, убор -щик улиц, побывавший между прочим и в Америке, - это вы, русские, со времени татарского нашествия жили себе спокойно и счастливы на одном и том же месте и только теперь испытали то, что было вам незнакомо. А мы были вечные беженцы. Здесь нет ни одного дома без драмы. Десятки, сотни и тысячи людей бегали всегда из одного места в другие. Со времени крестовых походов Европа не знала покоя. Прочтите нашу историю. Бежали от турок, от австрийцев, а потом к австрийцам. Бежали от венгров, французов, и от своих бежали. Теперь бегут от итальянцев. Кого мы только не видали. А теперь мы сербы, а вы все-таки остаетесь русскими. »

Падение европейской культуры, сказал нам профессор Бубнов носит катастрофический характер, и очень сомнительно, чтобы Европа могла скоро оправиться. Что касается России, то профессор высказал свое глубокое убеждение, что 150-миллионный народ не может бесследно исчезнуть и Россия воскреснет. Во всяком случае, процесс этот весьма длительный, и нам вряд ли придется увидеть лучшие времена.

Наше положение кажется нам безнадежным. Европа кипит как в котле. Большевизм распространяется повсюду и пустил корни так глубоко, что положение становится угрожающим на всех фронтах. Недавно печник-хорват, работая у меня в комнате, доказывал, что управление государством должно принадлежать тому классу населения, который работает, то есть рабочему. «Я не коммунист, - повторял он, - но признаю, что власть должна быть передана народу, то есть советам, как у вас в России. Буржуазные министры ничего не понимают, и от этого происходит все зло». Я спросил его, а разве профессор, адвокат, чиновник не тот же рабочий, но печник, саркастически улыбаясь, только рукой махнул.

Таким образом, с одной стороны большевизм, а с другой - модный демократизм, который видит в беженстве представителей царского режима, создают крайне тяжелую в моральном отношении жизнь для русских. «Я сказал, чтобы русских ко мне в

магазин не пускать», - кричал по-немецки хорватский торговец, еврей, когда доктор Кильман, примеряя костюм, остался недоволен его примеркой. Еще обиднее становится, когда подобное отношение исходит от интеллигентных людей.

В Константинополе, рассказывал нам К. Алчевский, французы останавливают на улице русских окриком, посвистывая и маня пальцем: иди, мол, сюда. Проверив документ, француз отпускал русского офицера, не только не извинившись, но даже без акта простой вежливости, хотя бы приложением руки к козырьку. Вот почему в настроении русских нет уверенности в завтрашнем дне. Мы всегда готовы воспринять новую катастрофу и, как в походной жизни, держим наготове наши походные сумки. Нужно быть ко всему готовым. Семь миллионов английских рабочих требуют признания большевистской власти в России.

Это может коренным образом изменить наше положение. К тому же не исключается возможность падения в любой момент существующей власти и торжество большевизма в Европе. Мы уверены, что большевизм в Европе проявится в еще более уродливой форме, чем в России, и затмит своею жестокостью русские чрезвычайки. Это показал опыт Венгрии, где большевики додумались вколачивать своим противникам в голову доски в виде ящиков с торчащими внутри гвоздями.

Русский большевик - это прежде всего грабитель. Он только разбойник. В Европе мы увидим другое. Здесь уже чувствуется возврат к глубокому средневековью и началу времен инквизиции. Мы не верим в духовную культуру Европы и находим, что русские люди даже в таком растрепанном виде стоят в моральном отношении значительно выше. Мы переживаем катастрофу, разбой, пугачевщину, но и в этом состоянии у русских людей проглядывает что-то человеческое, честное, прямое. Закованная цепями средневековая мещанская жизнь Запада, лишенная духовного облика, чужда нам и вызывает в нас подчас отвращение.

Теперь мы поняли, что наше мировоззрение не укладывается в узкие рамки жизни расчетливого, педантичного и бездушного европейца. Сухой расчет, на котором строится западноевропейская жизнь, нам противен и часто вызывает в нас глубокое возмущение. Мы приведем

пример: профессор сельскохозяйственного института ..... предпринял

со студентами научную экскурсию. Пройдя верст восемь от Загреба, он заболел и через полчаса умер. Когда факт смерти был установлен, хорватские студенты начали расходиться. В числе студентов были русские, которые, удивленно смотря на

уходящих, возбудили вопрос, как поступить с покойным профессором. Хорваты ответили, что теперь это дело полиции, и разошлись. Русские не сочли возможным бросить своего учителя и понесли покойника в город. Студент В. С. Подрешетников, участник этой экскурсии, рассказывал нам этот случай с глубоким возмущением, и мы задавали себе вопрос, возможно ли что-нибудь [подобное. - *Сост.]* в России.

Мы жили на Шалате (медицинский факультет) замкнуто, можно сказать, своим кружком. Наше общежитие становилось все теснее и теснее. В университет было назначено еще три ассистента. Доктора Плешаков (из Харькова) и Кильман (из Киева) временно поселились в соседней комнате вместе с генералом Васильевым. Скоро после них приехал так называемый профессор С. Чахатин. Последний оказался сменовеховцем-агитатором и скоро просто бежал обратно в Париж после того, как группа студентов предупредила его, что он будет избит.

Я подружился с доктором Я. И. Кильманом. Мне только не нравилось, что он постоянно возится с трупами и так привык к ним, что потерял всякую брезгливость. Однажды, идя в анатомический театр, он просил меня принять молоко, которое приносит ему женщина. Я ответил, что у меня нет посуды. Тогда доктор вынул из стеклянной лабораторной банки человеческий мозг, всполоснул ее холодной водой и дает мне эту посуду. «Это что?» - спросил я. «Это для молока», - сказал мне доктор Кильман. Впрочем, и я, кажется, начал привыкать. Часто засиживаясь по вечерам у доктора Кильмана в анатомке, где он работал над трупом ребенка, мы пили чай. Я, конечно, был осторожен, а доктор ломал хлеб и совал в рот папиросу теми же пальцами, которыми копошился в трупе. Иногда к нам присоединялся доктор Любарский, получивший наконец место врача в Сесветах и часто приезжавший к нам.

Знакомство на Шалате с хорватами у нас не привилось. Я был с визитом у профессоров Микуличича и Перовича, встречался с проф. Губановичем и познакомился с университетскими техниками Штайеркаффером и Ранцем (оба австрийца). Вот и все наше знакомство. Впрочем, мы брали молоко у Микуличичевых, которые имели двух коров, и потому я каждый день заходил к ним за молоком. Жена проф. Микуличича - итальянка. Она и дети ее, в особенности старшая Эмица, гимназистка 6-го класса, относилась ко мне очень хорошо, но профессор держал себя с нами сдержанно. Madame предложила мне даже играть у них на рояле, но стеснял профессор, присутствие которого вносило гнет в дом, и я отказался от этого любезного предложения, несмотря на то, что с тоскою меня тянуло к роялю.

По вечерам я ходил всегда гулять, а иногда мы с братом и доктором Кильманом заходили в гостиану выпить по кружке пива. Очень часто на Рыбнике (нарядная улица в Загребе), проходя мимо трехэтажного дома, откуда из второго этажа при открытых окнах доносилась отчетливо на улицу игра на рояле знакомых мне вещей, я останавливался на противоположном тротуаре или ходил медленно вдоль железной ограды семинарского сада и *с* упоением слушал эту музыку. Я жалел, что на этом месте не было скамеечки, тогда бы я, наверное, просиживал часами на этом месте.

Каждый день я ходил на базар и покупал продукты не только себе, но и Кильману и Плешакову, которые эксплуатировали меня в этом отношении. Я любил бывать на Елачичевом торгу. Там меня уже знали и там я встречался с русскими, которые подходили ко мне как к знакомому и вступали в разговор. Иногда ко мне подходили какие-то простые люди и с радостью протягивали руку, приглашая во что бы то ни стало зайти с ними в гостиану выпить вина. Это были русские из военнопленных, ассимилировавшиеся за границей и поженившиеся на хорватках. Таких я встретил несколько человек. Двух из Костромской губернии, одного из Ярославля и одного южанина. Один из них уже не говорил по-русски. Мы говорили на немецком языке. Много тоски было в их разговоре, они относились ко мне как к родному, но эти люди уже никогда не вернутся на Родину, хотя и утешают себя тем, что при первой возможности поедут домой.

Однажды я встретил на базаре старого адмирала, приехавшего из провинции. Он искал гречневой крупы, говоря, что много дал бы, чтобы поесть гречневой каши. Я знал, что гречневая крупа продается на базаре по четвергам, а пшенную крупу можно достать только у одного торговца, который не упускает случая, видя русского, кричать на весь базар: «Рус оди сим, имам кашу». В общем, на базаре ко мне относились хорошо, хотя и здесь бывали выходки со стороны простонародья. «Здравствуй, товарищ», - сказал мне хорват, вызывая меня на неприятность. «Зачем приехал сюда», - кричали мне какие-то люди. «Врангелец», - говорили другие.

Но бывало и так, что селяки оказывали мне особое внимание, и не раз я получал от них подачки. Я купил у селяка как-то 5 яиц. Он спросил меня: «Рус?» «Да, рус», - ответил я. Он протянул мне два яйца. Я с недоумением посмотрел на него. Это был подарок-подаяние, от которого не так легко было отказаться «сиромашному русу». Бабы часто давали мне виноград, груши, а мясник, у которого я брал одно время мясо, затащил меня как-то в гостиану и угостил вином.

Особую симпатию выражала мне колбасница - претолстая хорватка, у которой я всегда брал сало. Увидав меня как-то в очереди, она поманила меня к себе и не в очередь отрезала кило отличного сала. «[Нрзб. на хорватском. - Сост.]», - спросила она меня. Я очевидно смутился, так как она поторопилась оправдаться: «[Нрзб на хорватском. - Сост.]. На базаре мне почти не приходилось говорить по-хорватски, так как все, даже некоторые селяки, говорили со мною по-немецки.

С радостью как-то увидел я на базаре в ряду торговок птицею О. А. Дашкевич-Горбатскую, которая на пароходе «Владимир» во время эвакуации везла кур. Теперь она продавала этих кур, так как их не было где держать. О. А. была потом у нас и была в восторге от борща, который я приготовил к обеду. Там же, на базаре, я встретил Л. Н. Ингистову, с которой мы были связаны воспоминанием не только по Чернигову, но и по Болгарии, где она была с семьею, когда мы отступали из Одессы. Посетив нас вместе с мужем и детьми, Лидия Николаевна своим практическим опытом научила меня многому по части кулинарной и, кстати, взялась переделать мне на денные рубашки, которые я получил от Красного Креста. Ингистовы жили в Самоборе, недалеко от Загреба, и часто навещали нас, приезжая по делам в Загреб. Они еще жили на те средства, которые вывезли с собою из России, но этому барству скоро предвидится конец, и это приводит их в отчаяние.

Доктор Плешаков завидовал мне. Он ел только мясо, которое я покупал ему, но когда он поджаривал его на сковородке, то мясо это начинало изгибаться и в конце концов скручивалось в трубочку. Я пробовал это мясо, и, по моему мнению, его есть было невозможно. Оно походило на подошву, которую разжевать было нельзя. Плешаков и доктор Кильман варили себе обед на нашей плите. Кильману я помогал, но Плешаков в этом отношении был самостоятельным и в моем содействии не нуждался. Впрочем, тогда я еще не умел жарить мясо. Его нужно, оказывается, бить, а потом жарить. Всего противнее мне было мыть белье, а еще противнее смотреть, как мыли себе белье Ник. Вас. и доктор Кильман. Впрочем, это было только вначале, скоро дела наши поправились, и мы стали отдавать белье в стирку.

Так протекала наша жизнь в Загребе, и мы были счастливее других. Мы пользовались комфортом, который был недоступен рядовому беженству. Мы имели пружинные кровати, простыни, подушки, тогда как знали, что общепринятая мебель у беженцев - это деревянные ящики, сундуки, корзины, которые служили и койками, и столами, и буфетами. Доктор Кильман с первых же дней начал обслуживать беженцев в качестве врача при Красном

Кресте в Загребе. Мы часто беседовали с ним о положении беженцев, и от него я знал, в какой нищете живут русские люди. Не все, впрочем, в одинаковом положении. Мы делим всю беженскую массу русских людей на три группы.

Первую группу составляют те, кто первыми оставили пределы России и эмигрировали в самом начале революции и большевизма. Это в большинстве богатые люди, видные чиновники, политические деятели и, конечно, члены Временного правительства с Керенским во главе. Они живут главным образом в Париже, Берлине и Лондоне и выехали из России со своими семьями, с деньгами, капиталами и имуществом. Эти люди обеспечены и в большинстве отлично устроились. Они не только не испытали никаких лишений, но и не видали большевиков. Их можно, говорят, всегда видеть в лучших ресторанах, в театрах, концертах и других публичных местах. Большую роль опять играют политические деятели, сделавшие революцию. Теперь они кричат о возрождении России и уже борются за власть.

Эти господа не стали тогда в ряды защитников своей Родины, а просто бежали, сдав без боя свои позиции руководителей революции. Они уклонились от вступления в добровольческие армии и предпочли переждать опасный момент за границей. Вполне обеспеченные, живя в полном довольствии, они критикуют всех и грызутся между собою. Каждая группа этих людей, или вернее партий, открыли свои газеты и состязаются в писании, продолжая углублять революции, или закреплять завоевания революции, как это говорят теперь.

Вторую группу составляет первая волна беженцев, не выдержавшая советского режима и хлынувшая за границу, чтобы спасти жизнь. Это в большинстве просвещенная и в части буржуазная интеллигенция - ученые, профессора, писатели, земские и общественные деятели, артисты, чиновники, землевладельцы, инженеры, военные и их семьи и просто обыватель (так называемая английская эвакуация). Почти все они лишились своего имущества и прибыли в Европу совершенно разоренными. В большинстве это люди аполитичные. Большая часть их успела устроиться на разные должности, остальные кое-как влачат свое существование.

Третью группу составляют воинские части, катастрофически вступившие на территории иностранных государств и эвакуированные, при содействии англичан - чины армии генерала Деникина и при содействии французов армии - генерала Врангеля и входящих в ее состав чинов гражданского и военного управлений. Воинские части томятся и голодают до сего времени в Галлиполи и разных концентрационных лагерях на положении

интернированных частей, а гражданские лица и выбывшие из армии военные, переведенные на положение беженское, расселены на Балканском полуострове.

Эта часть русских людей, испытавшая все ужасы большевизма и принимавшая то или иное участие в борьбе с большевиками, представляет ту массу людей, которая приняла на себя весь удар разразившегося над Россией несчастья. Редко у кого дома не был расстрелян или умучен кто-нибудь из родных. Редко кто не испытал на себе гонения большевиков и не был ограблен дочиста. Эти «средние люди» в громадной своей части из среды интеллигентного класса населения вместе с теми, кто остался в большевистской России и гибнет от голода и под расстрелами большевиков, несут на себе тяжелый крест испытаний за тех, кто довел Родину до такого состояния.

Их называют белогвардейцами, контрреволюционерами. Мы видали этих людей. Видали их дома, в походе, в наступлениях и отступлениях, в боях и в роли потом беженцев. Офицеры, юнкера, кадеты, студенты, гимназисты, реалисты, семинаристы, чиновники, доктора, инженеры, бывшие кадровые солдаты, вахмистры, фельдфебели, дети зажиточных крестьян, пожилые крестьяне, железнодорожные служащие, казаки и даже простые солдаты, служившие у большевиков, - это был состав добровольческих армий. Здесь были все те, кто не мог примириться с большевистскими разбоями, грабежами, расстрелами и уничтожением культуры и при первой возможности ушли от большевиков, присоединяясь к добровольческим организациям.

Это были «средние люди» - не буржуи. Мы видали, как шли в добровольцы целыми массами гимназисты провинциальных гимназий. Почти целыми классами эти подростки становились под ружье (Новгород-Северск) и вступали в бой с целыми полками кронштадтских матросов-большевиков. Судьба не пощадила учащуюся молодежь. Они вышли зимой в своих гимназических пальто, не подбитых даже ватою. Коля, Женя, Петя ... - мы еще называли их уменьшительными именами - вышли на смертный бой с темными массами и гибли.

Всем известно, как сражались кадеты и гимназисты - эти герои добровольческой эпохи. Какой-то гимназист один с пулеметом отстаивал при оставлении Чернигова 25 октября 1919 года Киевский мост в течение многих часов. Он один отбивал атаки матросов, китайцев и латышей и каждый раз прогонял их с моста, набив перед собою целую кучу красноармейцев. Кто был этот гимназист, нам не удалось установить, и что сталось с ним - мы не знаем. Это один из многих, безвестный герой, защитник

своей Родины, своей семьи, своей культуры.

Бескорыстно, самоотверженно, без принуждения они шли на защиту своей Родины и гибли целыми массами молча, бесславно, безвестно, заливая своею кровью родные места. Весь путь отступления от Орла до Европы покрыт, хотелось сказать, могилами этих безвестных героев, но нет! Могил для них не было. Они умирали страшною смертью одиночества на голой промерзшей земле, на снегу, в поле, болотах, в окопах, оставляя свое измученное тело на поругание темных масс, против которых они боролись.

Да! Это были герои-страдальцы!

Теперь борьба кончена. Просвещенный мир побежден. После долгих испытаний оставшиеся в живых, во множестве случаев искалеченные, эвакуированы за границу и рассеяны на положении беженцев среди чужих народов. Холодно, сухо, бессердечно, сдержанно, гадко, жестоко приняла Европа этих защитников своей Родины. Борьба за восстановление России непопулярна. Непопулярны и защитники прежней России. Весь мир упорно молчит об ужасах, творимых большевиками в России. Ни одного слова протеста, ни одного слова против террора, как будто европейское просвещенное общество не знает, кого и за что расстреливают большевики. Только отдельные лица из интеллигентного класса населения как бы полушепотом, с опаскою, таинственно говорят нам [нрзб. — *Сост.]* - ужасно - ведь это угрожает культуре Европы. Но культурная Европа молчит.

Я часто думаю о том, кому лучше - оставшимся в большевистской России или нам в эмиграции за границей, где принято говорить, что все обстоит благополучно. Я разумею, конечно, наших детей и близких нам людей. Мы знаем, что они голодают. Они живут в холоде, в нищете, в условиях чернорабочей жизни. Они находятся в руках взбунтовавшегося простонародья и большевистской власти. Такое положение не может продолжаться вечно. Несомненно, наступит момент, когда даже в эволюционном порядке эта вакханалия толпы и наемных громил кончится. И в тот же день с мучеников спадут тяжелые оковы рабства, и люди запоют «Воскресе», как это было уже раз при приходе добровольцев. На своем родном пепелище, среди своих же русских людей, выстрадавших тяжелыми испытаниями, они, как вышедшие из катакомб, увидят свет, почувствуют радость и войдут в свой собственный дом. Много - бесконечное множество русских людей, освободившись от «мертвой хватки» большевиков, увидят свободу.

Может быть, России как государству не предопределено опять возродиться и стать великой державой, как это пророчат

европейцы. Может быть, русским людям в совокупности, как государству, придется сменить иго большевизма экономической эксплуатацией других держав. Может быть, как территория Россия будет поделена и как таковая попадет в рабство к другим народам. Может быть, даже Россия получит иное наименование и в частях отойдет к другим державам. Но тот, кто остался в России и выдержит все испытания, тот будет тогда у себя на Родине, среди своих русских людей, в родной жизненной обстановке, со своими обычаями, со своею религией, моралью и в условиях русской культуры.

Допустим даже, что Россия будет поделена и русским людям пришлось бы жить под гнетом ненавистных поработителей, но все же они будут у себя дома, на Родине, в массе своего, а не чужого народа. Исторический процесс поглощения государством государства и насильственной ассимиляции целого народа - это вопрос исторический. Он не так страшен. И если им придется испытать иноземное иго, то все же они будут у себя дома.

Большевизм как стадия разрушения и разбоя несомненно когда-нибудь закончится. Нельзя допустить, чтобы этот режим обратился в форму нормального государственного строя. Может быть, эта стадия ре -волюции приведет к новым формам сосуществования, но то будет другой процесс, при котором будет возможна свободная жизнь и развитие личности. И тот, кто теперь переживает ужасы большевизма, несомненно увидит еще светлые дни.

Много раз я раскаивался и мучился тем, что не увез с собою из России свою дочь. Так мне было страшно за нее. Я вспоминаю те девять месяцев, которые я провел в Чернигове при большевиках. Было противно, гадко, жутко смотреть на взбунтовавшихся солдат и чернь. Но это был только бунт. Иначе мы не смотрели тогда на большевизм. Подонки местного населения и солдаты схватили власть и злобно расправлялись со своими прежними господами.

Только потом, уже за границей, мы узнали, что в большевизме есть идея и что с Лениным и Троцким считается весь мир. Еще тогда мы думали, что в Европе хохочут над большевизмом и не иначе смотрят на русскую революцию, как на солдатский бунт. Я уверен, что и теперь в России думают, что в Европе все осталось по-прежнему и что наши союзники только не хотят жертвовать людьми, чтобы спасти уничтожаемую интеллигенцию. Мы уверены, что нам не поверили бы, если бы узнали, что Германия сделалась социалистической республикой, а полубольшевистская Австрия стала в ряду самых маленьких государств. Не поверили бы и дороговизне в Европе, равняющей

ее с большевистской Россией.

Мне нельзя было оставаться дома. Я должен был уйти, потому что таких, как я, служивших Царю, убивали. Моей дочери опасность не угрожала, и мы решили, что она останется с тетками в Киеве. Ведь мы рассчитывали скоро вернуться! С чувством глубокого преклонения перед западноевропейской культурой я перешел с остатками Добровольческой армии границу России. Все невзгоды, которые пришлось перетерпеть, объяснялись первоначально военной обстановкой.

Теперь мы познакомились с современной культурой Запада. Просвещенные люди - носители прежней культуры и двигатели прогресса оттеснены толпой, демократией. Они раздавлены улицей, и их голоса не слышно: «Было бы чему-нибудь учиться», - сказал в Вене портной профессору Загребского университета, когда последний, заказывая костюм, заявил, что при такой дороговизне нет возможности жить на то жалованье, которое получает профессор. Это рассказывал нам проф. Микуличич, возмущаясь принципиально тем, что труды ремесленника теперь оплачивается вдесятеро выше, чем труд ученого.

Европа разлагается морально. До русских людей, томящихся в тисках большевизма, эти сведения, конечно, не доходят. Они продолжают преклоняться перед европейской культурой, недоумевая, почему просвещенный мир не реагирует на русскую бойню. И нам, русским людям за границей, морально тяжело. Это состояние Европы нам противно. Этот процесс опрощения, упадка культуры и перехода власти к наименее и малосведущей в государственных и общественных делах части населения, ничем не оправдываемый. В России это положение держится террором, и малейший протест здравого смысла, разума и просвещенной мысли подавляется самым жестоким расстрелом. В Европе и воспринявших ее культуру соседних России мелких государствах этого нет и, казалось бы, просвещенный мир мог бы громко апеллировать к разуму и протестовать против разрушения основ культурной жизни.

Между тем все молчат и возмущаются втихомолку. Я спросил однажды проф. Микуличича, почему же молчат, если видят гибельные результаты власти демократов. И я увидел, что профессор хитрит. За минуту перед тем он возмущался всем происходящим, а в ответ мне начал говорить, что, в сущности, он не видит этого падения культуры. И в этом ответе я понял, как низко пал европейский интеллигент, подделывающийся под улицу.

Россия стоит в этом отношении и теперь выше. В России настоящего правительства и нормального государственного строя

нет. Есть анархия и люди, захватившие террором власть, но это далеко не то, что законные правительства европейских держав, хотя и опростившихся, но все же преемственно сохранившие государственную власть и весь технический государственный аппарат. Они ответственны за свою деятельность, и к ним могут быть предъявлены более серьезные требования, чем к русскому народу.

Русский народ не имеет в лице большевистской власти ответственных представителей, и к тому же государственный аппарат у него уничтожен. Фактически государственной власти у нас нет. Есть диктатура, террор, а жизнь неорганизованна и анархична. Крестьянин грабил. Его направляли - ему разрешили, его, наконец, призывали грабить. Крестьянину нужно простить. Это была революция. Его натравили, он виноват, но когда-нибудь он опомнится, а может быть, уже и опомнился. А к тому же он свой, русский человек. Жизнь наладится. Руководители революции вымрут или разбегутся, и все вместе русские люди ответят за грехи прошлого. Это дело домашнее, разберутся... И тот, кто теперь дома, кто пережил вместе с народом лихолетье, тот простит темной массе революционный экстаз, и старые счеты забудутся. Мужик грабил, разрушал, убивал, расстреливал, но на это он и мужик.

В Европе в этом отношении хуже. Здесь разрушает культуру не мужик, не солдат, не темные массы, а организованная, наследственная власть - правительства и их парламенты. И нам противно видеть это. Мы привыкли думать, что живем в период расцвета культуры и цивилизации, и как-то иначе представляли себе просвещенный мир. Мы уверены и имеем сведения, что оставшаяся в России интеллигенция, пришибленная, голодная, разоренная, в громадном большинстве не знает этого и осталась верна своим традициям просвещенной жизни. И в этом отношении они счастливее нас. Пусть они переживут большевизм, но морального падения они не испытают. Заветы русской культуры, как равно и высшие запросы ума и совести, никогда и ни при каких условиях не уступят места опростившимся идеалам современной Европы. Пусть вновь окрепнет измученная Россия, и русское просвещенное общество с презрением отвернется от своих бывших союзников.

Теперь мне хотелось бы отдать себе ясный отчет в том, что лучше. То, что дочь моя Оля осталась в советской России, или, может быть, было бы лучше, если бы она была здесь, со мною. Прежде всего здесь она не была бы, потому что встреча моя с братом была случайная. Следовательно, мы были бы еще в худшем положении. В лучшем случае служба кельнершей в

ресторане со всеми последствиями унижения и оскорблений, подобно тому, как это было в г. Варне с освидетельствованием в полиции русских девушек или в Константинополе, в царстве просвещенного европейского разврата. Еще хуже была бы служба гувернанткой и беготня по урокам за гроши, на которые нельзя существовать.

Но вернее всего, что нам пришлось бы жить где-нибудь в колонии и вести беженскую жизнь впроголодь, без белья и одежды, в дырявых башмаках, без развлечений, без удовольствий, без книг, газет и журналов. Мы видали это ужасное положение русских барышень и жен офицеров за границей в роли беженок. Но ведь это только одна сторона жизни. Есть еще другое - духовная жизнь, этика, мораль, привитые воспитанием традиции, гордость и достоинство русской женщины. Все это должно быть забыто. Все то, что привито воспитанием, воспринято культурой и составляет красу и гордость русской девушки, это в положении беженском попрано.

Англичане и французы, оказавшие содействие к эвакуации, загоняли русских барышень в один общий сарай с солдатами и не признавали различия между мужчинами и женщинами. Рыцарские времена прошли. Джентльменства поверженная в демократизм Европа не знает. Аристократизм ума, творчества, знаний, морали, благородства и воспитания заменился демократическим опрощением и циничной проповедью уравнения высшего существа - человека с животным. Изысканно воспитанная русская девушка должна забыть обстановку прежней своей жизни. Теперь это не модно. Но и это не все. Есть еще одно положение, и самое главное -это положение русской женщины-патриотки, любящей свою Родину, свою культуру, свою гордость среди враждебно настроенных иностранцев.

Европа признала большевиков, санкционировав таким образом морально все ужасы большевизма. Став открыто на сторону международных авантюристов, наши бывшие союзники стали нашими врагами. Конечно, может быть, каждый отдельный англичанин, француз, немец не сочувствует этому сближению своего правительства с отбросами русского народа. Может быть, конечно, в основе этого политического акта лежит какой-нибудь иной смысл, но тот, кто в союзе с большевиками, тот для русского народа такой же враг, как и большевики.

Отсюда вопрос! Что же должен испытывать живущий в качестве эмигранта в Европе при всех этих условиях русский человек, привыкший гордо любить свою Родину! Нет! Лучше там, среди разбойников, среди захватчиков власти и наемных убийц. Там совершаются ужасы, которых не знала история, там страшно,

ужасно, но моя дочь переживает катастрофу со своим народом, со своими людьми. Она не лишилась своей Родины, как мы, и не унижалась перед теми, кого нужно презирать.

Сначала я бичевал себя за то, что расстался со своей дочерью в Киеве. Я много раз пытался вырвать ее из большевистского ада, но теперь я рад, что она осталась на Родине. Рано или поздно пугачевщина на Руси кончится, и личность русского человека станет свободною. Тогда она с гордостью русской женщины даст надлежащую оценку цивилизованной Европе. Она ничем не будет обязана европейскому джентльмену и гордо отвернется от общения с врагами своей Родины, воспитывая потомство на любви только своей Родины, только своего народа, своей культуры и своей морали. Если мне не суждено увидеть свою дочь, своих родных и близких мне людей, то мне остается утешение, что они и моя дочь остались русскими людьми и не пресмыкались перед иностранцами. Пусть русская женщина теперь знает себе цену.

* * *

Панихида. В храме преобладают военные. Направо впереди генералитет. Особенно выделяется своим кубанским одеянием генерал от инфантерии Иванов. С ним рядом консул Ферямин и представитель

Красного Креста, бывший губернатор, П. М. Боярский. Несколько дальше - председатель русской колонии беженцев в Загребе инженер Мержанов. Затем офицеры и гражданские лица. Здесь же стоит группа по виду солдат в сербской военной форме с трехцветными поперечными ленточками национального русского флага на солдатских погонах. Это офицеры русской армии, состоящие на сербской службе. Много дам, студенческой молодежи. Есть и дети.

Храм несколько мрачный и соответствует настроению. Я в своей серой солдатской шинели старого образца. Генерал Данилов подходит ко мне и крепко жмет мне руку, не зная даже, кто я такой. Он называет себя. В глазах его видна скорбь и любовь к русскому человеку. Рядом со мною офицер Русской армии в сербской форме солдата с одной звездочкой на погонах. Генералы подают руку офицерам-солдатам сербской службы. Все между собою как знакомые. В церкви тишина как всегда перед богослужением. Разговор идет полушепотом.

Настроение сосредоточенное, грустное. На хорах русский хор беженцев. Через царские врата к аналою с крестом, паникадилом и Святым Евангелием, держа в руках горящие свечи, выходят: маленький толстый старый священник-серб в светлой ризе и молодой высокий священник, тоже серб, с диаконом, оба в

лиловых ризах. Панихида по Государе Императоре Николае Александровиче в день тезоименитства его 6 декабря по старому стилю.

Стройно, молитвенно-грустно начал хор тоскующие, знакомые напевы печальной панихиды. Богослужение началось. И тотчас же воскресли в памяти образы и далекого и недавнего прошлого. Давно уже я похоронил свою мать и жену, потом двух братьев и недавно отца. Я похоронил затем двух лучших своих друзей детства и много дорогих мне людей. Эти близкие люди никогда не выходили из моей памяти, но мысль уже примирилась с этой утратой и спокойно воспроизводит дорогие образы. Их жизнь закончена. Они нашли себе вечный покой. Страдания их забыты. Они оставили по себе лишь «вечную память».

Спокойно, с любовью, с отрадою в прошлом, с тихой грустью вспоминается последняя молитва об усопших, и перед глазами рисуются тяжелые гранитные памятники на дорогих могилах, теперь далеких, оставленных нами на Родине. Мы расстались и с ними, этими дорогими для нас символами любви, покоя и вечной памяти. Они лежат на Родине упокоенными, оплаканными, прощенными и простившими. Им отдают последний долг, столь необходимый, чтобы примириться и найти самому себе утешение и душевный покой. И мы нашли этот покой. Мы примирились и спокойно вспоминаем эту утрату.

Теперь молитва возносится Богу не о них, не о тех, кто умер, а об убиенном, умученном русском царе и бесконечном множестве борцов за свою Родину и невинно погибших страшною смертью русских людях. Для нас царь - это не только светлая личность человека, погибшего с достоинством, как подобает вождю русского народа, но это символ, олицетворяющий собою русскую государственность, Великую Россию и нашу Родину. Мы молимся за царя, за Россию, за русский народ, за тех, кто погиб мученическою смертью, кто защищал свою Родину, кто еще борется и будет бороться. Мы молимся за тех кто страдает и переживает небывалые в истории жизни человечества муки. За тех, кто далеко там - в несчастной, истерзанной и мучимой России.

Русский царь погиб тою же смертью, какою погибли и еще гибнут сотни тысяч лучших русских людей - в чрезвычайке, в подвалах, ужасною смертью убийства. Русскому Императору не был отдан последний долг. Он остался не погребенным. У него нет ни могилы, ни креста, ни памятника. У него нет места вечного упокоения. Не была совершена и молитва над его прахом. Он разделил участь многомиллионных страдальцев Русской земли, оставшихся, как и он, подобно без вести пропавшим, без

могил, без креста, без покоя.

Под грустные напевы церковного хора и молитвы служителей церкви встают в памяти картины неописуемых людских страданий и страшной смерти, которые прошли тысячами перед глазами. Эвакуация, отход на Румынию, Кубанский поход, Крымский поход и все разнообразные формы катастроф, ужаса, смерти, страданий! Трупы! Так называли тех погибших, мимо которых мы проходили. Так называли и тех, кто умирал в пути в лазаретах, на перевязочных пунктах и просто там, где настигала его пуля. Мы снимали этих покойников с повозок и клали их возле дороги на землю. Это были трупы, которым не было места среди тесно лежавших вповалку раненых. Подберут, но кто!..

Быстро чередуясь, как сны, проходят запечатлевшиеся перед глазами мрачные картины смерти, ужаса и страданий. С болью на сердце мелькнула перед глазами фигура грузно опустившейся на промерзлую землю пораженной пулей сестры милосердия З. М. Мальчевской. Через минуту она была уже трупом и числилась бы тоже без вести пропавшей, если бы это не случилось на наших глазах. Потом сестра милосердия В. В. Энгельгардт. Мы видали, с каким самообладанием она шла под жестоким обстрелом противника, и через три дня после этого ее зарубили настигшие ее в камышах красные. Потом снятый с повозки с повозки покойник, не то офицер, не то солдат, которого мне было страшно жаль оставлять на поругание большевикам. Затем казак, умолявший похоронить его на берегу, а не спускать в море. Потом ползущий к нам через дорогу офицер с перебитой ногой. Затем раненый, просивший дострелить его. Затем опять брошенный нами в Канделе офицер с размозженной головой, без имени и фамилии...

Все это не погребенные, не оплаканные, не имеющие ни могил, ни крестов, ни места покоя. Все это трупы! Весь крестный путь добровольцев на громадном пространстве России покрыт этими бескрестными могилами русских людей, погибших ужасною смертью. Гибли одинаково мужчины, женщины, старики, молодые, юноши, отроки, дети.

Еще мрачнее рисуются воображению картины кровавого ужаса там -на Родине, в царстве террора, где буйствует чернь. И там ужасная смерть от расстрелов в тюрьмах, в подвалах, в лощинах за городом, на месте городских свалок или в лесу и за городским кладбищем. Там еще хуже. Там нет свободы, нет права самозащиты. Мы испытали это и пережили вечный страх за собственную жизнь. Там не добивают расстрелянных, а бросают в яму полуживыми. И там бескрестные могилы и неубранные трупы, зачастую обглоданные и растаскиваемые одичалыми

голодными собаками.

В церкви жарко, душно. Холодный пот ужаса выступает на лбу. Ведь там остались наши дети, родные, знакомые и близкие люди. Хор начинает «Вечную память». Все присутствующие опускаются на колени. Воздух пропитан ладаном, сильно дымящимся из паникадила. Толпа неподвижна и как бы застыла в оцепенении. У каждого своя дума. В душе каждого, вероятно, горе, отчаяние.

Мой сосед-офицер плачет. Для него Император - это символ. Так гибли русские люди. Так погибла Россия. Так гибнет Родина. Погибло все, что составляло жизнь, благополучие и счастье. Попрано все, что составляло «святая святых» каждого человека. Поругана честь и уничтожено все, что представляло собою красоту и ценность жизни. Над Родиной глумятся. Всюду могилы - огромное, беспредельное, бескрестное русское кладбище! Счастливый - он может еще плакать! Еще ниже склонилась толпа при первых звуках последней надгробной молитвы о вечном покое. Грустно, уныло, надрывающе душу поет церковный хор «со святыми упокой» - этот плач, рыдание о людях, ушедших в иной мир, и кажется, что нет сил подняться и идти опять в жизнь, в ее будничную обстановку с мелкими интересами беженской жизни. Как будто нет веры в будущее; нет надежды; нет сил дальше жить!

1926 год начался для меня беспокойно. Решимость изменить условия жизни переменили мое настроение. В начале марта, когда потеплеет, я решил на риск ехать в Сербию (Нови Сад или Белую Церкву) и устроиться там в качестве учителя музыки. В Хорватии мне ни за что не хотелось оставаться. Мрачная жизнь средневековья в связи с враждебным отношением католического населения к русским людям тянут меня к перемене места жительства. Мне жаль только расставаться с братом, с которым мы вместе пережили катастрофу, но он теперь женат, и наши пути расходятся.

На днях я получил еще два урока музыки. Это прибавило в моем бюджете 300 динар в месяц, но зато лучшая и, можно сказать, единственная серьезная моя ученица Злата Мушич перестала брать у меня уроки. Отец объявил ей, что она уже достаточно хорошо играет, и этого довольно с нее. Злата плачет и говорит, что мечтала поступить в музыкальную школу. Мой класс стал для меня неинтересным. Это придает мне решимости, и я энергично ищу путей к новой жизни. Заручившись письмами, я жду теплого времени, чтобы двинуться в путь искать по белому свету счастья. К осени надо устроиться, чтобы холод не застал меня врасплох. Я не люблю февраль месяц. В этом году он особенно холодный и скучный. К счастью, я имею возможность

ежедневно играть на рояле и усердно подновляю свой репертуар, чтобы не ударить лицом в грязь на новом месте.

Как всегда перед отъездом, грустно. Невольно вспоминаешь пройденный путь и отдаешь себе отчет в прошлом. Меня тянет к русским. Мне хотелось бы давать уроки русским детям. В занятиях с иностранцами не вижу смысла. Нет идеи. Не для себя работаю я с ними. Не для своих готовлю их. Мне надоело говорить по-немецки и на хорватском языке. Хочется заговорить по-русски. Сараевский кадетский корпус и Донской институт мне уже отказали. Из Земунской музыкальной школы ответа еще нет. Как член Императорского Русского музыкального общества и бывший преподаватель Черниговского музыкального училища я, конечно, имею много шансов устроиться по своей специальности, но об этом придется думать на месте. Мой брат прав, говоря: «Попробуй. Провалишь - вернешься обратно. Твои ученицы от тебя не уйдут». Но я думал иначе. Мне хотелось найти смысл в работе и видеть ее результаты, а вовсе не работать ради только денег.

Мне и в голову не могло прийти, что в это самое время идут разговоры обо мне у начальницы Донского института Н. В. Духониной с начальницей Харьковского института М. А. Неклюдовой. Оказалось, что М. А. Неклюдова уже давно ищет преподавателя музыки для института. Узнав от m-me Духониной, что я хотел бы занять место преподавателя в Донском институте, где вакантного места нет, m-me Неклюдова тотчас послала мне письмо с предложением приехать в Нови Бечей. Это соответствовало моим планам, и я, конечно, тотчас же послал прошение. Условия были таковы: за 24 ученицы я получаю 1000 динар в месяц и за счет института комнату и стол. Мне это было особенно приятно, так как семью Неклюдовых мы знали хорошо по Харькову, и наши родители были хорошо знакомы.

5 марта, рано утром, я выехал через Загреб в Нови Бечей, или, как еще недавно назывался этот городок (или, вернее, село), Турски Бечей. Мне было тяжело расставаться с братом, с которым мы жили в беженстве более пяти лет. Вместе мы служили в армии генерала Врангеля. Вместе пережили крымскую катастрофу и вместе коротали жизнь в беженстве. Мне жаль было и нашей музыки. Я не сомневался, что Н. В. забросит теперь свою виолончель.

Меня проводили на вокзал, и что было особенно приятно, это то, что брат взял лошадей у крестьянина Галенича, и без кучера мы поехали на вокзал. Мой брат, жена его, Валя и я «се возили» (то есть ехали) на станцию без посторонних свидетелей. Таня осталась дома - это были все русские, живущие в Кашино. Утро

было уже не холодное. Мартовская погода была отличная. В Сесветах я встал с повозки и забежал на кладбище, чтобы проститься с могилой Н. В. Любарского. Это была единственная русская могила на кладбище. Жаль мне было Николая Васильевича, так печально закончившего свою жизнь на чужбине.

И вспомнилось мне, как мы в жестоком бою на Кубани обещали друг другу в случае смерти сообщить домой и отослать родным документы и письма, которые были при нас. Я исполнил свой обет, но только не на поле брани закончил свою жизнь Н. В., а буквально сгнил физически и морально на чужбине. Не боялся Н. В. пули. Точно предчувствуя бесславную смерть среди чужого народа, он хотел быть убитым, и в этом отношении он служил нам примером. «Не наклоняйтесь, - говорил он мне, когда я инстинктивно нагибался под жужжащими пулями. - Это смысла не имеет». С чувством глубокой грусти я преклонил колена у могилы близкого человека. «Это последний тебе русский человек, которого видит теперь твоя могила на чужбине. Прощай».

На вокзале я простился с братом. Бог знает, когда и при каких условиях мы встретимся вновь. Ему тяжелее, чем мне. Я еду в свою среду, к русским. Он остается один среди чужих, враждебных России народов. Впрочем, мы привыкли прощаться и идти в темное будущее без надежды, без страха и сожаления. Всего на одиннадцать километров мы отъехали от Кашино, но я уже забыл о нем, как чужом ненужном мне в жизни. Начинается что-то новое, неизвестное, будущее. Возврата к прошлому, только что забытому, уже нет. Там остался только мой брат, которого я оставил, как оставляют соратника на поле битвы.

Постепенно исчезли с горизонта темно-синие горы. Впереди открывалась степь, освободившая, точно от оков, мое самочувствие. После полудня в вагоне III класса публика начала часто меняться, и я понял, что это уже нечто другое, чем было в Хорватии. Здесь были другие люди -сербы, швабы, цыгане, турки в национальных костюмах и какие-то люди в звериных шкурах (овчина на вывороте). Это были люди чужие мне, но в них я не чувствовал себе врагов, как в Хорватии, потому что и сами они были чужие в этом вновь скроенном государстве. Я почувствовал облегчение, и мне даже приятно стало среди этих простых людей. По-видимому, и большевизма здесь было меньше. По крайней мере, в течение всего пути в вагоне не было слышно разговоров о политике и призыва к уничтожению господ.

Это были все хорошие признаки. Я вырвался наконец из атмосферы злобного философствования простонародья, зараженного идеями уничтожения культуры. Господа воруют. Господа ничего не делают. Их нужно уничтожить, а имущество их

передать бедным. И это повторяет каждый рабочий, каждый мальчишка, каждый селяк, угрожая не только интеллигентному человеку, но и состоятельному купцу, лавочнику и чиновнику. И эти несчастные не находят ничего другого, как подлизываться и подделываться к простонародью. Эта убогая культура современного большевиствующего уклада жизни невыносима, и я почувствовал необыкновенный душевный покой, когда понял, что эта смесь народов в вагоне настроена иначе.

Сидящий против меня мадьяр, разговорившись со мною, без всякого вызова с моей стороны начал восторгаться величием русской культуры, с которой он познакомился, будучи военнопленным в России, и сравнивая с ней убогость современной жизни, с презрением констатировал торжество во всей Европе темных, некультурных сил улицы. От него я узнал, что местность, куда я еду, принадлежала до войны Венгрии и называется Банатом, считается теперь житницей всей Югославии. Там, сказал он, мне будет хорошо, потому что народ там богатый и больше занимается хозяйством, чем политикой, хотя и там есть села, зараженные большевизмом.

Другой мадьяр, тоже интеллигентный, познакомившись со мною, пригласил меня пойти по вокзалу выпить пива. Он подтвердил, что в Новом Бечее мне будет хорошо. Одно только смущало меня. Подойду ли я по своим убеждениям и взглядам к подрастающему поколению - к той учащейся молодежи, которая представляется мне вовсе не тою, которую я знал.

Новая жизнь дает и новые формы. Несомненно, что дети, отданные в иностранные учебные заведения, получают воспитание совершенно иное, чем это было в России. Это будут люди чужие, не знающие нашей русской жизни. Загребский гимназист VII класса Всеволод Волков цинично заявил мне: «Вы человек устарелых взглядов. Теперь на смену Вам идет новое поколение с целым миром новых понятий, изменить которые не в состоянии никакая сила. Вы витали в сфере неосуществимых идеалов. Вы работали для других и не сумели постоять за себя, когда пришлось столкнуться с реальною опасностью. Мы пощады не знаем и живем для себя. Сентиментальность только губит людей. Надо думать о себе и только о себе. Ваш царь - Николашка - был глуп, - это знают все, а министры воровали, и мы расплачиваемся за их грехи. Мы будем устраивать жизнь иначе».

И это говорил русский гимназист хорватской гимназии, выехавший из России 12 лет. Мы, конечно, не принимали у себя больше этого негодяя и поняли все, когда отец его, почтенный человек, рассказывал нам, что он с ним не только грызется, но и дерется чуть не каждый день. В своем эгоизме он дошел до

уродства, говорил его отец. Будучи гимназистом, он служил вместе с тем в страховом обществе и зарабатывал иногда до 2000 динар в месяц. И что же! Семье он не помогал, несмотря на бедственное положение ее (отец, бывший предводитель дворянства, играет в военном оркестре на виолончели). Будучи отлично одет, В. Волков равнодушно смотрел на дырявые башмаки своей девятилетней сестры и, бесчувственный к полуголодной жизни своей семьи, чуть не ежедневно покупал себе всевозможные яства (сыр, колбасу, шоколад) и держал это в своем чемодане под ключом. Вечером, когда все улягутся спать, он сядет на корточки возле своего дивана и поедает эти запасы, не обращая внимания на жадные взгляды из-под одеяла своей маленькой сестры. Это был молодой человек нового поколения. Это был представитель нарождающихся, не знающих пощады существ, которые пришли в мир как завоеватели нового режима.

Ничего святого у этакого рода людей нет. Авторитетов они не признают. Уважения и почтения к взрослым у них нет, а политически и социально они воспитываются так, что уже с детства критикуют все, принимая на веру все разговоры и болтовню, источником которых является современная убогая социалистическая пресса. Никаких идеалов, никакого содержания в жизни. Никаких духовных и умственных запросов у этих подрастающих людей нет. Одно они хорошо знают, что нужны деньги, а какими путями идти к этой цели, для них безразлично. Вот это то, что я видел и понял. И думается мне, что если не вполне, то в некотором отношении я прав. Шофер, комиссионер, служба в кафане, в кино и вообще легкий труд сделались идеалом молодых людей.

Подрастающих девочек я знаю в этом отношении меньше, но кажется мне, что не надо быть особенно дальновидным, чтобы не быть на страже и в этом отношении. Падение нравов не может бесследно пройти в деле воспитания подрастающего поколения. Шимми, чарльстон, бебикопф, короткие юбки, накрашенное лицо, автомобиль, купальные костюмы... вот идеалы современной молодежи.

И вот я боюсь, что с этим я не примирюсь и работа моя в женском учебном заведении не удовлетворит меня.

С такими мыслями я подъезжал к Новому Бечею. Как устроится моя жизнь? В этом сомнения у меня не было. Не об устройстве личной жизни в наемной комнате, не об удобствах и комфорте жизни думал я. Я хочу поставить дело преподавания музыки на солидных началах и повести дело так, чтобы действительно дать учащимся серьезное музыкальное образование. Удастся ли мне это? Удастся ли мне самому

систематически заняться музыкой и найти в этом отдохновение и удовлетворение?

Я был в отделении вагона один. Ничто не мешало мне думать. Никто, кроме кондуктора, который проходил иногда через вагон, не отвлекал мою мысль от напряженной работы. Прошлое, то есть жизнь в Кашино, как бы не существовала, а будущее еще не наступило. Я чувствовал себя в пространстве. А может быть, все устроится проще, чем я думаю. Интересно, что со времени оставления своего дома у меня выработалась поразительная и своеобразная психология. Я никогда не тороплюсь в дороге. Не все ли равно, сидеть ли на вокзале или в поезде, или у себя в наемной комнате. Конечно, в комнате удобнее, но ведь это не уйдет от меня - торопиться нечего. И сейчас я медлителен в движениях. Еще почти целая ночь впереди.

Около 3 часов ночи поезд медленно подходил к станции Нового Бе-чея. Усталости я не чувствовал, хотя не спал ни минуты. Вероятно, прилив энергии придавал мне бодрости. На дворе было холодно. Сильный ветер свистел и задувал в окна вагона. Вся местность была присыпана снегом. Бе-чей встречал меня неприветливо. Еще вчера в Хорватии была хорошая погода. Тем не менее я чувствовал себя отлично. Я люблю провинцию. Железнодорожный вокзал был маленький - провинциальный, но извозчики и даже чей-то автомобиль указывали на некоторую культурность Бечея. Я с удовольствием сел на извозчика и по шоссе покатил к своему новому местожительству в Сербии.

* * *

Я остановился у институтского врача П. И. Пономарева, который пригласил меня приехать прямо с вокзала к нему. Я был рад видеть Павла Ивановича, с которым был хорошо знаком по Лобору. От него я узнал, что начальница института М. А. Неклюдова была в отъезде. Мне пришлось представиться заменяющей ее классной даме В. М. Сербиновой. Я знал, что мой товарищ по гимназии и по университету Дмитрий Николаевич Сербинов, муж Веры Михайловны, живет в Турском Бечее, но не знал, что жена его служит в институте.

В. М. Сербинова приняла меня исключительно приветливо и познакомила с классными дамами, дежурившими в этот день. От нее я получил приглашение к обеду в общую столовую. Затем я отправился к инспектору института генералу Макшееву. Захарий Андреевич произвел на меня самое лучшее впечатление. В нем я не нашел ничего беженского. Это был деловой человек с петербургской выправкой, корректный, воспитанный. Он точно перенесся из столицы в Нови Бечей, минуя десятилетний период беженства, в течение которого люди так опустились и потеряли свой прежний облик. Я сразу понял, что под началом такого человека здесь будет особенно приятно работать.

После бессонной ночи я чувствовал усталость и, как всегда на новом месте, не знал, как убить время. День был морозный. На дворе было холодно. Поэтому я пришел в столовую несколько раньше времени. В столовой были только две девочки в институтской форме. Поздоровавшись с ними, я спросил, где обедает персонал. Они указали мне на эстраду и очень бойко вступили со мною в разговор: «Вы князь Трубецкой?» -спросила меня одна. «Нет, я Д. В. Краинский, учитель музыки», - ответил я,

но девочка стояла на своем, утверждая, что здесь ждут князя Трубецкого как учителя музыки. Мне удалось убедить девочку, что не князь, а я назначен учителем музыки в институт. Эти две девочки оказались Раей Шевченко и Натой Михайличенко II класса - две малороссии. Это было мое первое знакомство с институтками.

Не успел я зайти на эстраду, как в столовую буквально вбежали дежурные воспитанницы, по две от каждого класса, которые быстро стали накрывать столы. По второму звонку в столовую стали входить попарно и по классам воспитанницы со своими классными дамами. Вместе с ними в столовую вошли служащие и кое-кто из педагогического персонала. Только холостые преподаватели обедали вместе с институтом. По знаку, данному В. М. Сербиновой, институтский хор начал петь предобеденную молитву. Сознаюсь, давно я не слыхал этой молитвы. И здесь, на чужбине, она тронула меня до глубины души. Я почувствовал себя уже близким к этой атмосфере человеком. Это было уже не чужое, а свое, близкое, дорогое.

Воспитанницы института были в форменных платьях с белыми передниками и пелеринками, совсем так, как это было в институтах в России. Младшие классы были одеты в зеленые платья. VII класса в красные -цвета бордо - и VIII класса в серые с черными передниками. Глаз уже отвык видеть длинные платья и длинные волосы. И это производило самое отрадное впечатление. Какой-то отпечаток благородства, скромности и, я бы сказал, величия был виден в этом простом одеянии, по сравнению с модными, до колен, юбками и стрижеными волосами, которыми бравирует теперь чуть не весь мир. Высокие башмаки у всех одинаковые. Две косы у младших классов. Одна коса у шестиклассниц и прическа на голове у старших воспитанниц дополняли общий колорит учебного заведения и делали общую картину весьма отличною от уличной толпы, в которой длинные волосы теперь можно увидеть как редкость.

Конечно, такой стиль и однообразие в одеянии можно довести до такого совершенства только в интернате, где всем выдается казенная одежда. И черное пальто почти до пят, и белые вязаные шапочки на голове одинакового образца как нельзя лучше гармонировали с длинными институтскими платьями. Одним словом, внешнее впечатление от института за обедом в столовой было отличное.

Одно только бросалось в глаза. Некоторые классные дамы, сидящие за столами, каждая своего класса, были одеты по-модному, выше колен, и были стриженые. «Мы и они», - как будто хотели они сказать. Старое и новое. Модное и старомодное... И

как красивы казались длинные, до пояса, волосы, заплетенные в одну или две косы, по сравнению со стриженными дамами. А закрытые ноги! Просто дико было смотреть здесь, где скромность была возведена в культ, на эти длинные, обнаруживаемые выше колен ноги. И невольно напрашивалось сравнение: что лучше и где больше благородства..

За персональским столом сидели некоторые преподаватели, свободные от дежурства классные дамы и служащие канцелярии. Таким образом, здесь можно было видеть институт в полном составе. Все были отлично одеты. Общий колорит был, если можно так выразиться, буржуазный, вовсе не напоминающий убогие условия беженской жизни. Хотя скатертью был накрыт только персональский стол, общий вид столовой был парадный. Все сидели чинно, как воспитанные дети, и только дежурные бегали взад и вперед, разнося блюда и наливая чай. За персональским столом дежурили три воспитанницы VII класса, разнося пищу отдельно каждому сидящему за столом.

В институте было всего 267 воспитанниц, которые размещались общежитием в здании основной школы в двух шагах от столовой. Столовая - это громадный гимнастический зал при школе, оставшийся после присоединения Нового Бечея к Сербии праздным. Харьковский институт считается самым многолюдным из числа русских женских учебных заведений в Югославии. Эти три института - Харьковский, Донской (в Белой Церкви) и Русско-Сербская женская гимназия в Великой-Кикинде - воспитывают около 700 русских девушек, приняв программу сербских средних учебных заведений, что дает полные права русским в Сербии.

Три женских учебных заведения и три кадетских корпуса (около 600 кадет), вывезенные из России в 1920 году, - это то, что составляет великое дело, которое сделали сербы для русских беженцев, а может быть, и для будущей России.

* * *

Начальница института задержалась в Белграде и приехала в средних числах марта. Я был этому рад, так как мог на свободе заняться устройством своих дел и сделать визиты, которые с точки зрения общественности считались здесь обязательными.

С первых шагов я понял, что новобечейское общество считает себя великосветским обществом с претензиями на аристократизм. И действительно, по своему составу бечейская колония представляет исключительный интерес. Здесь случайно собрался буржуазный элемент, перебравшийся сюда в части из пограничного пункта Жомболь после передачи его в 1924 году

румынам.

Дело в том, что для того чтобы избавиться от реквизиции своего имения, один венгерский помещик предоставил свою усадьбу в распоряжение сербских властей для размещения там русских беженцев. И вот уполномоченный по русским делам в Белграде С. Н. Палеолог направлял в это поместье Жомболь для бесплатного пребывания там русскую аристократию, бежавшую из России. По словам барона С. П. Корфа, туда было очень трудно попасть, и лично он много раз хлопотал о предоставлении ему жить в Жомболе, пока наконец устроился там.

С присоединением этого пункта к Румынии колония Жомболь (60 человек) была ликвидирована, и некоторые из ее членов переехали в Нови Бечей. Таким образом, в Новом Бечее оказались: вдова расстрелянного председателя Совета министров г-жа Штюрмер, вся семья председателя Государственной думы М. В. Родзянко, камергер князь Волконский (живущий в Беодре), жена и дочь министра земледелия и государственных имуществ Ермолова, шталмейстер граф П. М. Граббе, мать которого была дочерью известного славянофила Хомякова, современника Каткова, барон С. П. Корф, бывший начальник почт и телеграфов С. К. Хитрово, женатый на правнучке Суворова, Ладыженский, бывший таврический губернатор (при генерале Врангеле), сенатор Неверов с семьею, Половцев, бывший член Государственной думы, граф Толстой, внук Льва Толстого, вдова убитого члена Государственной думы П. А. Неклюдова (с семьею) и так далее.

К ним примыкали генералитет и другие члены колонии и служащие института, которые также считали себя причастными к вершителям судеб погибшей России и так или иначе принадлежащими когда-то к бюрократическому и аристократическому миру. Не так мужчины, как их жены не хотели расстаться со своим прежним положением и играли здесь в прежнюю Россию. Конечно, очень многие из них не имели никаких оснований считать себя принадлежащими к великосветскому миру, но все же у них когда-то было недвижимое имущество (имение) и все-таки они имели когда-то связи.

Я уже не застал многих из этих лиц в Новом Бечее. М. В. Родзянко умер в 1924 году и похоронен в Беодре около Нового Бечея. Г-жа Штюрмер уехала в Францию, где она доживает свои дни в доме бедных. Ладыженские, которые в особенности задавали тон, тоже покинули Бечей. Уехал в Америку Половцев, оставив семью здесь.

Визиты, приемы и, откровенно скажу, чванство поражали тем,

что люди не понимали своего положения. Все были отлично одеты. У каждого, по их рассказам, было в России отличное имение. У каждого в России были связи и знакомства. Граф, князь, барон и звания бывших великопоставленных особ в России сыпались, особенно в дамских речах, постоянно. «Вы знали такого-то или такую-то?» - и по этому определялось ваше общественное положение в Новом Бечее. На одном из первых визитов я был поражен, когда одна генеральша рассказывала мне, что на свои именины она приняла в Бечее 75 визитеров.

Меня приняли хорошо, но этим я не был удовлетворен, потому что во всех гостиных, если можно так назвать в большинстве убогие комнатки, в которых жили эти люди, шла взаимная критика, осуждения и во многих случаях даже брань. До очевидности было ясно, что многие были друг с другом в ссоре и торопились новому человеку, каким был я, охарактеризовать (конечно, с дурной стороны) своих противников. Кое-где ругнули также начальницу института М. А. Неклюдову и почтенного З. А. Макшеева.

Озлобленность на всех и на все ясно сквозила в речах бечейских обывателей, и что в особенности было неприятно слушать - это слово «хам», которое было в большой моде в Бечее. Называли хамами друг друга не потому, что имелись какие-нибудь данные для этого, а просто по злобе, причем очень трудно было разобраться, кто же в действительности хам. Обвинение в хамстве было взаимное. Друг другу, конечно, не доверяли и брали под сомнение чуть не все прошлое каждого. И к этому были основания.

В беженстве мы сплошь и рядом знаем случаи, когда люди приписывали себе то, чего в действительности не было. Фельдшера стали доктор -ами. Находились полковники, которые никогда не были таковыми. Маленький подгородний хуторок или просто дача возрастали до понятия об отличном имении в России и т.д. В Загребе при мне был даже судебный процесс по делу о присвоении себе одним беженцем звания врача. Бывали также случаи и «охотничьих рассказов», которые потом раскрывали действительное положение.

Все это, конечно, заставляло с осторожностью относиться к окружающей среде, но, с другой стороны, это давало и почву для сведения личных счетов и интриг. Общество разбилось на небольшие кружки, враждовавшие друг с другом, и в этой атмосфере рождались сплетни, взаимные обвинения, оскорбления и клевета. Так, например, при одном из первых моих визитов меня уверяли, что заведующий хозяйством института вор, обкрадывающий детей. Несмотря на мои возражения,

возмущению не было конца. Дня через три я был приглашен в этот дом. Было много гостей и в том числе этот самый сенатор. С удивлением я спросил хозяев, что это значит, и еще больше был поражен, когда мне ответили, что это светские отношения, ни к чему не обязывающие.

Все это для меня не было ново и в моих глазах находило оправдание. Нужно было видеть, и я своевременно описывал это, как вся эта русская интеллигенция уходила из России. Я видел ее на шоссейных дорогах, на пристанях, в трюмах кораблей и просто в поле. И все это продолжалось не месяц-два, а годами. Потеряв все, что она имела, ограбленная, в дырявых платьях, покрытая вшами, без гроша денег, вот она теперь, пристроившаяся к учебному заведению, которое содержали сербы. И это уже счастье. Человек обеспечен. Конечно, прежнего не вернешь.

Соломенный тюфяк, земляные полы, низкий потолок, железные печурки, вместо мебели деревянные ящики, покрытые дареными англичанами суконными одеялами. Это тот комфорт, которым располагает теперь наше беженство. Естественно, что при таком положении хорошего настроения не будет. Лишенные Родины, оторванные в большинстве случаев от родных, русские люди влачат свое существование хотя и в братской стране, но все же на чужбине. Вот источник злобы, зависти, неудовлетворенности и неуравновешенности в отношениях.

Бывший сенатор теперь заведует хозяйством института. Барон Корф состоит швейцаром в институте. Заслуженный генерал Ф. В. Высоцкий служит просто сторожем в институтской бельевой и т.д. А классные дамы! Многие из них действительно принадлежали когда-то к светскому обществу и были, может быть, богаты. Теперь они получают небольшое содержание и несут труд, требующий большого напряжения сил. Это не гостиная или усадьба с балконом, где раньше так вкусно пился чай со сливками.

И вот они раздражительны и, можно сказать, злые и, естественно, не могут примириться со своим положением. Они требуют к себе не того отношения, какое вызывается службою классной дамы, а по прежнему социальному положению. На этой почве вечно происходят недоразумения, и общество дифференцируется не по настоящей обстановке, а искусственно, по прежнему масштабу.

Барон С. П. Корф, бывший владелец многих имений в России, конечно, обедает не с прислугою, а приглашен к персональскому столу, несмотря на то что он только швейцар. Конечно, в Петербурге швейцара не пригласили бы за общий стол.

Я не застал г-жи Штюрмер в Новом Бечее, но обстановка ее

жизни в Бечее до сих пор вызовет толки среди бечейских обывателей. Мне рассказывал доктор П. И. Пономарев, который был однажды приглашен к ней как врач, что г-жа Штюрмер жила в Бечее хуже бедной селячки, буквально как нищая.

Убогая хата с низкой одностворчатою дверью из сеней в ее комнату с земляным полом была ее обителью. Маленькое окошко во двор, печь для топки ее соломою. Низкий потолок. Деревянный стол, заваленный грязной посудой, огрызками хлеба и всяким хламом. Неубранная деревянная кровать с соломенным матрацем, на которой в беспорядке валялись всякие тряпки, два деревянных стула составляли всю обстановку ее комнаты. Сама г-жа Штюрмер перед приходом доктора топила соломою печь. После царских приемов в Петербурге эта жизненная обстановка, конечно, оправдывает эту женщину, оставившую по себе в Бечее нехорошую память.

Но как параллель невольно напрашивается вопрос, почему же известный в России опереточный артист Мурский, 80-летний старик, попавший в Новый Бечей по инерции, не был принят в бечеевском обществе. Я лично знал этого уважаемого и высокоинтеллигентного человека. Очень часто он приходил ко мне в столовую и слезно просил сыграть ему какую-нибудь сонату Бетховена. Он жил в обстановке еще худшей, чем жила г-жа Штюрмер, и буквально сгнил перед смертью. Старика Мурского чуждались, потому что он не принадлежал к светскому обществу.

Это настроение русского общества в Новом Бечее производило неприятное впечатление, и с ним мне пришлось ознакомиться впервые. Все, что я видел до сих пор в беженстве, указывало как раз на обратное, то есть на тенденцию к опрощению и демократизацию. И это вполне понятно. Когда бывший губернатор открывает лавочку, когда сын высокопоставленной особы делается коммивояжером, когда прокурор служит в ресторане или гвардейский офицер делается шофером, то, естественно, им не хочется напоминать о своем прошлом. Были, конечно, и хорошо устроившиеся и разбогатевшие, но такие беженцы обыкновенно отпадали от общей беженской массы и замыкались в своей личной жизни.

Здесь, в Бечее, беженство продолжает свою игру в аристократию и кичится своим прошлым, не понимая того, что оно отмирает и никогда больше не займет прежнего положения. И тем не менее они продолжают говорить о прошлом как о настоящем: «У меня в имении балкон выходит в парк» или «Мой кучер отлично правил четверкой» и т.д. И мне кажется, что это объясняется тем, что здесь, в Новом Бечее, беженство как бы приняло оседлость и превратилось в эмиграцию.

Все служащие в институте обеспечены и имеют постоянную службу. В этом отношении они живут нормальною жизнью, не думая о завтрашнем дне. Многие служат здесь уже 8-10 лет и обзавелись имуществом. Некоторые даже ведут свое хозяйство и держат свиней. Вот почему и психология их не та, что у рядового беженца. Это скорее эмиграция, чем беженство. Так, в сущности, и называют себя беженцы в Новом Бечее.

Общество в Новом Бечее, можно сказать, приобрело устойчивость и потому выработало уже свои традиции, с которыми все считаются. Есть, например, здесь кружок служащих в институте, который обосновался с первого дня приезда в Бечей института. Им, конечно, принадлежит первенство в Бечее, и каждый вновь вступающий в бечейское общество невольно подчиняется уже установившимся традициям.

Каждому вновь прибывающему преподносится характеристика всех обывателей Нового Бечея и институтских служащих, и на основании этих данных новому лицу предоставляется устраивать свое общественное положение в Бечее, то есть сообразить, кому надо нанести визит, кому не надо, с кем надо считаться, с кем не надо, с кем надо вести знакомство, с кем не надо. Визиту придается большое значение, так как при этом происходит сортировка общества и вы часто слышите в обществе фразу: «Это не нашего круга человек».

Я слышу постоянно пререкания между двумя генеральшами, враждующими между собою. Одна из них - вдова дивизионного генерала, а другая - дочь генерала, вышедшая замуж за капитана и, следовательно, потерявшая генеральство. Еще бывает смешнее, когда к светскому обществу примыкают люди совершенно иного социального положения и тянутся за ним. К сожалению, этой выработавшейся традицией пропитана и институтская жизнь.

Мне говорил преподаватель латинского языка, что одна хорошо известная ему воспитанница долго скрывала перед подругами, что она дочь священника. Потом и мне пришлось убедиться, что социальному положению родителей воспитанниц придается в институте большое значение не только подругами, но и воспитательным персоналом, причем и здесь наблюдается градация (разграничение).

Есть дети родителей, приобревших значение в беженской жизни, и дети бывших русских сановников и аристократов. С первыми считаются, пожалуй, еще больше, так как они теперь у власти, но все-таки происхождению придается больше цены. Мне лично приходилось потом часто слышать от воспитанниц такую фразу: «Я дворянка, а не какая-нибудь. У моего отца было в России имение» и т.д. Слово «хам» распространено и среди

учащихся. И в этих вопросах они чуть не с 12 лет разбираются отлично, критикуя не только своих подруг, но и взрослых.

Буржуазное направление, безусловно, составляет уже традицию института, и надо сказать, что, по-видимому, это настроение выработало и соответствующее политическое credo.

Институт монархичен. Воспитанницы разбираются и в этом отношении. Они любят свою Россию такою, как она была, и готовы защищать ее. Те, кто разрушал ее, ненавистны детям. И если в институте нет политики, то в отдельных случаях воспитанницы в высшей степени последовательны. Воспитывавшихся в институте дочерей М. М. Родзянко (сына М. В. Родзянко) подруги чуждались и пренебрегали их знакомством. На этой почве происходили вечно недоразумения, и ответ был всегда один: «Мы не хотим иметь в своей среде внучек известного изменника Царю и Отечеству Родзянко».

Самого М. В. Родзянко воспитанницы института преследовали и часто кричали ему, проходящему мимо окон института, дерзости. Был даже случай большого скандала, когда после концерта в институте М. В. Родзянко подал мысль спеть «Боже Царя храни» и принял участие в этом пении, но выступление это кончилось неудачно. Одна из воспитанниц, Яржемская, VII класса, подошла к нему и крикнула ему в лицо: «Как смеете вы, изменник Царю, петь наш русский гимн?!»

И в этом отношении настроение учащейся молодежи было одинаково с настроением громадного большинства членов русских колоний. Всюду, где появлялся М. В. Родзянко, ему делали скандалы. В Панчеве, где сначала жил он, его преследовали и гнали вон. Говорят, что М. В. Родзянко даже испросил у сербских властей разрешение на ношение при себе револьвера на всякий случай. В конце концов М. В. Родзянко выехал на жительство в Нови Бечей, недалеко от которого (в Беодре) служил подкомиссаром его младший сын Михаил Михайлович. Но и здесь М. В. Родзянко не удержался. После нескольких скандалов, устроенных членами русской колонии, Родзянко ушел на покой в Беодру к сыну, где и умер бесславно в 1923 году.

Я был еще мало знаком с бечейским обществом, но уже знал все интересы, а также интриги и сплетни, которыми жил Бечей. Оказалось, что я попал сюда уже в период затишья. Не так давно в Новом Бечее была колоссальная борьба, которая имеет свою историю. Еще будучи в Загребе, я слыхал об этом от племянницы М. А. Неклюдовой Т. Куколь-Яснопольской, окончившей институт в 1921 году. Она, между прочим, пошла против своей тетки и принимала участие в борьбе.

Институт был тогда еще в периоде организации и был в некоторой зависимости от бечейской колонии. Ведь Харьковский институт был вывезен в Сербию в 1919 году[33], во время русской катастрофы при Деникине, и первый год своего пребывания в Новом Бечее испытывал большие лишения. Не было одежды, белья и обуви. Летом девочки ходили босиком. Не было также пальто. Зимою дети кутались в одеяла, так как здание школы почти не отапливалось. Город переживал еще послевоенное время, и дров в нем не было. В дортуарах температура доходила до мороза, так что были случаи приморaживания рук и ног.

Зимой институтки ходили даже по улице, закутавшись в одеяла. Не было также посуды, и дети ели по очереди по три из одной миски. Кормили, говорят, отлично, в особенности первое время, когда местные сербы посылали на помощь институту целые окорока мяса и в неограниченном количестве хлеб. Не было, конечно, учебников и учителей. Учительский персонал был случайно набран из лиц, так или иначе соприкасавшихся с институтом во время эвакуации. Хотя в Белграде была уже сформирована Державная комиссия по делам русских беженцев с учебным советом при ней, который должен был ведать русскими учебными заведениями, эвакуированными из России, но работа ее не наладилась.

Начальница института сама приглашала на службу преподавателей и служебный персонал. Державная комиссия успевала лишь справляться сначала с ассигнованиями. При таких обстоятельствах образовалась учебная часть института с доморощенным педагогическим персоналом. Из настоящих педагогов был здесь только один Я. П. Кобец, директор Елисавет-градского реального училища.

Исполняющим обязанности инспектора был приглашен встретившийся по пути эвакуации института помещик Херсонской губернии Б. Н. Эрдели, между прочим, отличный пианист, который устроил свою жену преподавательницею русского языка. Наталия Корнельевна Эрде-ли (бывшая смолянка), вторая жена Бориса Николаевича Эрдели, будучи властной и умной женщиной, с места в карьер повела отчаянную борьбу с начальницей института М. А. Неклюдовой, желая удалить ее и занять ее место. В ход были пущены все средства и, конечно, в первую очередь агитация в бечейском обществе.

Общество разделилось на две партии, не только враждовавшие между собою, но и ведущие настоящий бой. В Белград летели жалобы, доносы и частные письма. В Белград командировались члены колонии и служащие института. На месте, в Новом Бечее, устраивались собрания и заседания, на

которых страсти разгорались до такой степени, что из заседаний выводили участников их чуть не в обморочном состоянии. В Белграде растерялись и не умели разобраться в этой интриге. Стоящий во главе учебного совета Державной комиссии профессор Кишенский пробовал лично разобраться в этом деле и приезжал с этой целью в Новый Бечей, но все, что он сделал, - это открыто стал на сторону Н. К. Эрдели и перевел все на личную почву.

Борьба продолжалась. В интригу постепенно втянулись воспитанницы старших классов, которые тоже собирали свои сходки и горячо обсуждали положение. Г-ж Эрдели умела влиять на учащихся, и потому большинство воспитанниц были на ее стороне. Из Белграда вторично прибыл для расследования какой-то генерал, но и он уехал ни с чем. Скандал кончился «мордобитием». Помощник заведующего хозяйством В. Т. Данилевич дважды ударил по физиономии инспектора Эрдели в его служебном кабинете. Г-н Данилевич был по образованию юрист и вместе с женой принадлежал в России к светскому обществу, и, говорят, был очень воспитанный и деловой человек.

Возбуждение, вызванное этим инцидентом в Новом Бечее, было настолько сильное, что правление местной колонии в лице исп. об. председателя С. К. Хитрово и членов господ Летючева и Дубицкого буквально ворвалось в помещение, где происходило заседание педагогического совета, и стало требовать немедленного удаления со службы Данилевича. Вмешались и встревоженные родители, живущие в Новом Бечее и его окрестностях. Они, в сущности, и положили конец этой сумятице в Новом Бечее. Послав своих представителей в Белград, они добились настоящей ревизии в лице генерал-лейтенанта З. А. Макшеева (директора Педагогического музея военно-учебных заведений С. Петербурга).

Приезд Захария Андреевича Макшеева положил предел разыгравшимся страстям в Новом Бечее. Этот человек отлично разобрался во всем и внес успокоение в институтскую жизнь. Правда, З. А. Макшеев прожил в Бечее довольно долго и вошел, так сказать, в атмосферу жизни Бечея. Эти три начала - общественность, колония беженцев и институт были разобщены. Генерал Макшеев занялся делами института. Работой Макшеева были довольны, но зато противной партии пришлось уйти.

Все это вышло не так, как хотелось Белграду. И вот, чтобы не оставить побежденной г-жу Эрдели, господин Кишенский умудрился убедить кого следует открыть в В.-Кикинде русско-сербскую гимназию, начальницей которой была назначена г-жа Эрдели. Ее муж получил там же место инспектора. Эту гимназию

называют почему-то институтом и говорят, что г-жа Эрдели хотела скопировать в нем Смольный институт. За г-жой Эрдели потянулись в Кикинду ее сторонники и сторонницы, и таким образом Харьковский институт освободился от враждебного элемента.

К тому времени окончили курсы воспитанницы старшего класса, чуть не поголовно ставшие на сторону г. Эрдели, а З. А. Макшеев по настоянию родителей занял место инспектора в Харьковском институте (август 1921 года). Благодаря своей выдержке и долголетнему педагогическому опыту Захар Андреевич быстро справился со своей задачей и направил жизнь института по правильному руслу. И он получил вполне заслуженную оценку. На одной из первых аудиенций М. А. Неклюдова сказала мне: «Это мой большой друг, который так много сделал и для меня и для Харьковского института». Воспитанницы старших классов просто обожали Захария Андреевича и первое время часто украшали перед его уроком кафедру цветами, как рассказывала мне бывшая воспитанница института Е. Я. Кобец.

Ушли из Харьковского института человек 13-15 служащих. Но все же ушли не все противники М. А. Неклюдовой. Оставшимся пришлось примириться и доказать свою лояльность. Поскольку это было искренне трудно сказать, потому друг другу не верили и относились с подозрением. Кое-где, конечно, эта скрытая партийность прорывалась, но из рамок приличия публика все же не выходила.

Этому настроению, конечно, много способствовала так называемая керенщина, которою пропитана беженская масса, вывезшая эту мерзость из России. Взаимная критика, осуждения, протесты, недовольство распоряжениями начальства - это то, что вносит в нашу беженскую жизнь разлад и, я бы сказал, развал. Все никуда не годятся. Доктор ничего не понимает. Учитель ничего не знает. Авторитеты и знания не признаются. Все нехорошо. Все не так. Даже концерт известного пианиста И. И. Слатина вызвал в Бечее беспощадную критику: «Да он не умеет играть», -говорили строгие провинциальные критики. Сестра милосердия при институте ведет открытую войну против институтского врача, ставя ультиматум - или она, или он.

Это то, что я застал в Бечее. Да и со мною был в первые дни моего пребывания в Бечее не лучший случай. На фортепиано поставили дюжин двенадцать тарелок и другую посуду. Я пришел в ужас и, конечно, с беспокойством заметил, что крышка рояля может не выдержать. Истопник, который это сделал, накинулся на меня с бранью и кричал, вероятно, минут двадцать, пока я

освобождал фортепиано от этой тяжести.

Ознакомившись с этим настроением бечейского общества, я не пал духом и решил твердо вести свое дело, держась ближе к учащимся и подальше от тех кругов, где можно попасть в неприятное положение. Повторяю: для меня не была неожиданностью эта атмосфера беженской жизни в Новом Бечее, и я был доволен тем, что выбрался из ненавистной мне Хорватии и попал наконец в русскую среду. Не может быть, чтобы я здесь не нашел себе друзей и знакомых, где бы я мог отдыхать душой.

С первых дней моего пребывания в Новом Бечее мне стало ясно, что здесь жизнь будет легче. Местные жители относились к русским отлично, хотя и здесь находились отдельные личности и даже группы, которые не любили русских и иронизировали, говоря, что русские оккупировали Сербию. Во всяком случае, местные жители раскланивались с нами на улице и всячески оказывали нам внимание и почтение. Чувствовалось доброжелательство и искренность.

Мне особенно нравилась эта простота в кафанах. Вы входите в кафану как равный и уверены, что никто из присутствующих не отнесется к вам враждебно. Правда, и здесь в кафанах не едят, а только пьют, но и в этом отношении здесь лучше. Все-таки сразу видно, что Сербия богаче и разнообразнее Хорватии. И вино здесь лучше, и все дешевле. На улицах продают фрукты, конфеты. Летом - мороженое, лимонады.

Одним словом, если можно так выразиться, по сравнению с чопорным Загребом здесь запахло востоком, и самый уклад жизни больше подходит к границам России. Мне это напоминало немного Болгарию, которая в этом отношении еще ближе подходит к русской жизни. После убогой Хорватии, где даже ездят на коровах, здесь впервые я увидел наших серых, с длинными рогами волов и поражался громадным количеством лошадей. Да и лошади красивые и породистые.

После римских колодцев мне было особенно приятно видеть наши малороссийские журавли (на колодцах) и коромысла, на которых носили ведра с водой (в Хорватии воду носят на голове). Но больше всего я был удовлетворен тем, что попал в степную местность и отделался от давления гор. Я был вполне удовлетворен и чувствовал большое облегчение. Я стал как будто ближе к России. И это понял П. М. Боярский, который писал мне из Загреба: «Ну теперь Вы можете спокойно жить до самого возвращения в Россию». Да, все это было так, но неприятно подействовало на меня одно обстоятельство, которое могло сразу втянуть меня в интригу. Я почувствовал, что кое-где меня приняли сухо. Оказалось, что я стал поперек дороги тем, кто

хотел занять место преподавателя музыки.

Для полноты картины беженской жизни в Н. Бечее нам остается сказать несколько слов о местной русской колонии. Председателем ее состоит полковник граф Павел Михайлович Г раббе, двоюродный брат А. Н. Г раббе, который приобрел известность тем, что, будучи начальником конвоя Его Величества, он первый снял во время революции погоны и явился в таком виде в ставку, где все еще офицеры и нижние чины конвоя были в погонах. Это обстоятельство, между прочим, заставило меня воздержаться от записи членом бечейской колонии, хотя мне уже говорили, что П. М. Граббе человек совершенно другого мира и резко осуждает своего брата.

Как я узнал, очень многие из служащих в институте не состоят членами колонии по той простой причине, что они имеют вполне определенное положение как служащие института, где и зарегистрированы официально. Особой надобности состоять членом колонии, таким образом, не было, и потому вокруг колонии группировались только те, кто получал от Державной комиссии пособие (старики, старушки и впавшие в совершенную бедность), и те, кто составлял окружение П. М. Граббе.

Отношение к колонии первой группы выражались исключительно в том, что они приходили раз в месяц получать пособие. Вторая группа, составляющая значительное меньшинство, сгруппировалась возле П. М. Граббе, составляя небольшую компанию в 6-8 человек, которая, помимо экстренных случаев, ежедневно собиралась перед обедом в помещении правления колонии, чтобы выпить рюмку водки и закусить вкусной закуской.

Инициатива исходила от П. М. Граббе. Будучи гастрономом и понимая это дело, он выписывал за свой счет все эти закуски (икра, селедка, кильки, шпроты, тарань, балыки и т.д.) и пускал их в оборот, чтобы на прибыль опять выписать эти деликатесы. Бутерброд стоит 2-3 динара. Водка тоже приготовлялась по рецепту графа и продавалась очень дешево.

Конечно, ни в одной бечейской кафане нельзя было получить что-нибудь подобное, да еще по такой дешевой цене, и это очень соблазняло тех, кто любил выпить рюмку, другую, третью. Я был раза два-три на таком завтраке, где и познакомился с графом, получив от него приглашение почаще заходить в колонию. Интересного здесь было мало. Пьют изрядно. Рассказывают анекдоты неприличного содержания с употреблением трехэтажных русских ругательных слов. Разглагольствует больше всех П. М. Граббе, а остальные все больше слушают. П. М. Граббе человек военный, и притом могущий очень много выпить, и это,

по-видимому, придает известный колорит этим ежедневным завтракам.

Мне пришлось быть по приглашению и на устраиваемых иногда в том же помещении колонии ужинах (на баранину, раки, рыбу и т.д.). Единственная цель этих собраний - это, конечно, выпить и хорошо поесть. Здесь бывают не только члены колонии, но и те, кто любит выпить. Собирается человек 12-15. Но это бывает редко. Центр тяжести лежит в ежедневных завтраках, где П. М. Граббе является полным хозяином и дает тон этим собраниям. К сожалению, надо сказать, что непьющим там нет места и они туда не ходят.

Впрочем, к институтской жизни колония не имеет отношения, если не считать того, что иной раз кто-нибудь из преподавателей забежит перед обедом в правление колонии (руски одбор) выпить рюмку водки, и потому по отношению к колонии у публики нет никаких обязательств. Лично граф П. М. Граббе, как человек, имеющий большие средства, делает очень много добра и поддерживает многих неимущих беженцев в Н. Бечее.

Отвратительное впечатление, между прочим, производит группа местных торговцев-кулаков, пользующихся случаем, чтобы скупить у русских беженцев за бесценок их ценные вещи. Надо сказать, что здесь торговцы -это самые первые люди, представляющие цвет местной интеллигенции (по своему состоянию, конечно, а не по образованию). Все это почтенные сербы, имеющие большой вес в общественных кругах. Они же поставщики института. Они сидят в первых рядах на концертах. С ними считаются и приглашают их как почетных гостей на все торжества. В их руках капиталы, и все они так или иначе причастны к финансовым делам, являясь членами правления разных штедиониц и кредитных учреждений.

Доктор П. И. Пономарев предупреждал меня, чтобы я был осторожен, иначе меня оберут до последней нитки. У него я, между прочим, познакомился с русским беженцем из Одессы Владимиром Иванов. Слат-винским, служащим бухгалтером одного из таких банков («Врашевачка српска штедионица»). При помощи г. Слатвинского наши русские устраивали свои дела и смотрели на него как на своего человека. Продать ли драгоценности или надо ли заложить в банке свои вещи, все обращались к В. И. Слатвинскому, который пользовался в сербских кругах репутацией делового человека.

Очень скоро все эти торговцы появились, разукрашенные дорогими русскими кольцами, а их жены - браслетами и брошками. Такова чета Туринских, с которыми очень считались

русские. Местный торговец - он же директор банка, Г ига Иванович, имеет отличный золотой портсигар, которым он всегда бравирует, выкладывая его из кармана на стол. И все русские знали, что этот портсигар был ему недавно заложен М. Ф. Зац за 500 динар. При первой неуплате процентов Г ига Иванович оставил себе этот портсигар, оцениваемый в тысячах динаров.

Русские находились тогда в очень тяжелом положении. Дело только налаживалось. Ассигнования запаздывали, так что даже институтские служащие получали жалованье с запозданием на 3-4 месяца. Продавалось и закладывалось все, что возможно. С первых же шагов мне очень часто приходилось слышать в обществе разговоры по этому поводу, и иногда я видел, как эти разговоры переходили на шепот, и даже что-то передавалось «на ухо». Очевидно, что здесь было не все благополучно.

Даже среди институток шли какие-то таинственные разговоры о каракуле и сундуке с вещами недавно умершей матери Жени Свинкиной. П. И. Пономарев уже знал кое-что, и мы вспоминали, как на константинопольском рейде несчастные, изголодавшиеся беженцы отдавали туркам за кило хлеба и вязанку смоквы золотые кольца, браслеты и одежду.

Это катастрофа. Русская волна беженцев наводнила европейские рынки бриллиантами, золотом, серебром, мехами и ценными вещами. Покупали эти вещи все европейские народы. И это все-таки лучше, чем скупка англичанами и американцами драгоценностей, снятых большевиками с убитых и умученных ими русских людей или содранных в церквях со святых икон и церковной утвари.

* * *

Первое, что произвело на меня сильное впечатление в институте, -это интеллигентность среды, в которую я попал. Я отвык видеть такое общество. Около 10 лет жизни сначала во время революции, потом при большевиках в России, потом среди солдат в Добровольческой армии, потом в самой гуще беженства приучили меня видеть людей не в гостиной, а в убогой обстановке страданий, грубости, хамства и крайней нищеты. Я привык видеть вокруг себя людей опустившихся, плохо одетых, потерявших манеры и лоск воспитания. Вспоминая студенческую среду в Загребе, в грязных общежитиях, еще одетых во «френчи», в поношенные и заплатанные пиджаки, в фуражках с почерневшими кокардами, в смазных сапогах или в грубых и грязных солдатских ботинках «танки», я любовался хорошо одетыми детьми в институтской форме с белыми передниками.

Все одинаково одетые, приличные, чистенькие, а это вырабатывает и манеры. Идут по парам с классной дамой. Нет

распущенности. Нет и чванства. «Здравствуйте, Дмитрий Васильевич», - приветствуют дети как меня, так и своих преподавателей. А в одиночку они делают по-старинному реверанс. Перед старшими дети встают и умеют почтительно разговаривать. За столом сидят чинно. Умеют встать и сесть. Не кладут локти на стол и не едят с ножа. Очевидно, традиции старой институтской жизни сохранились и здесь, на чужбине. И это придает воспитанию девочек особый красивый колорит и изящество. И это, говорят, бросается в глаза не только в Харьковском институте, но и в Кикинде и Донском институте.

Воспитанность русской девушки, которая отличалась всегда даже иностранцами, продолжает господствовать в сохранившихся за рубежом наших учебных заведениях. Хорошие манеры, умение держать себя, аккуратность, сдержанность и знание меры - это качества, присущие только воспитанным с детства людям, и здесь это налицо, составляя красоту нашей русской жизни, нарушенной революцией и победой хама. Воспитанная девушка, а затем она уже мать и руководительница общественной жизнью, - это есть культура; и чем воспитаннее женщина, тем культурнее должно быть государство. Вот почему меня искренно радовала эта черта жизни института, и я был счастлив, что наконец и я очутился в воспитанном обществе. Поскольку эта внешняя сторона жизни, этот лоск воспитания соответствовали внутреннему содержанию, об этом мы будем говорить впереди.

Хорошее впечатление на меня произвел и педагогический персонал института. Естественно, что обеспеченная служба в учебном заведении, умственная и идейная работа дали им смысл в беженской жизни и подтянули их в этой интеллигентной среде. Прилично одетые, спокойные, положительные, любящие свое дело, они были педагогами еще в России. Я встретил здесь знакомого по России преподавателя истории и латинского языка Г Б. Юницкого и случайно узнал, что с преподавателем русского языка А. Н. Кокоревым мы служили вместе в войсках. Он был в Алексеев-ском полку унтер-офицером, и мы с ним участвовали в десантной операции на Кубани (станица Ахтарская).

Мое знакомство с воспитанницами института, с их жизнью и направлением началось с первого дня моих занятий с ними. Сначала я принял в свой класс 22 ученицы, как полагалось по условию, но постепенно, уступая просьбам начальницы института, родителей и самих воспитанниц, я довел состав музыкального класса до 36, а потом до 47 учениц. Эти сверхкомплектные ученицы были приняты мною бесплатно, по доброй моей воле, с тем, чтобы плата за них шла в фонд на покупку для института еще одного фортепиано.

Свободного времени у меня было много. Частные уроки мне надоели. И вот я охотно отдал свои силы подрастающему поколению. Я видел, с какою радостью и воодушевлением дети, подростки и взрослые барышни бросились к роялю, желая учиться музыке. Я чувствовал, что здесь я буду не ремесленником, отбывающим свои часы, а идейным работником, что составляло мою давнишнюю мечту.

Громадное большинство были начинающие и потому, конечно, вначале мне было очень трудно, но сознание того, что я иду навстречу общему желанию, давало мне бодрость и силы. В особенности мне было приятно заниматься с маленькими. Я отлично понимал, что на них я увижу результаты своей работы. Теперь они еще не достают ногами педали, но скоро они вырастут и будут отлично играть.

Как сейчас помню 20 марта. Я начал давать уроки музыки. Фортепиано стояло на эстраде в столовой. Я видел, что после утреннего чая среди воспитанниц старших классов происходит какое-то замешательство, во время которого группа воспитанниц VIII класса подошла к начальнице и что-то с ней говорила. Улыбаясь и приветливо кивая мне головой, М. А. Неклюдова передала мне просьбу воспитанниц сыграть им что-нибудь на рояле. Завтрак кончился раньше минут на пятнадцать, которые можно сейчас использовать.

После этого концертного выступления, когда столовая опустела, я подошел к роялю и увидел, что в столовую вошла на урок музыки небольшая, стриженная под машинку девочка лет двенадцати, напомнившая мне приютскую девочку. Это была Варя Лазарева, II класса. По расписанию она первая в этот день пришла на урок. Я записал ее в журнале, пометив первый ее урок 20 марта. Очень скромная и застенчивая, Варя вполголоса отвечала на мои расспросы и заявила мне, что она очень хочет учиться музыке. Мы разговорились, и я потом пожалел, что был неосторожен: «Где ваши родители?» - спросил я ее. «Мама здесь, а папу расстреляли», - просто ответила она, и я видел, как кровь бросилась ей в лицо.

Потом, говорят, Варя очень плакала. Варя Лазарева недавно прибыла из Шанхая (Китай) с Хабаровским кадетским корпусом. Ее отец, священник, был умучен, а потом расстрелян большевиками чуть ли не на глазах детей. Варя вечно плачет и, как передавала мне начальница, беспокойно проводит ночи. То она встает с постели и сидит часами задумавшись, то молится, стоя на коленях, потом опять приляжет. В Китае, куда они бежали из Хабаровска, они страшно бедствовали. У Вари есть сестра Милитина в приготовительном классе и два брата, которые

приняты в кадетский корпус. Варе обязательно надо дать в жизни что-нибудь, чтобы скрасить ее тяжелые годы детства, сказала мне начальница. И вот я думаю, что занятия музыкой для нее будет такой компенсацией.

В тот же день вечером я давал урок уже взрослой воспитаннице VII класса М. Жолткевич, которая уже прилично играла на рояле. И здесь я попал впросак, спросив ее о ее родителях. Отец ее, киевский адвокат, расстрелян большевиками. Марина уже свыклась с этой мыслью и спокойно рассказала мне трагедию своего детства.

Я пришел вечером домой в угнетенном настроении. Впечатление мое было вполне определенное. Воскресло в памяти все, что было пережито. Я упустил из виду, что это те дети, которые катастрофически, как и мы, были вывезены из России. Они пережили не меньше нашего. У этих девочек у каждой была уже своя драма.

Дети охотно рассказывали мне свои истории, и я понял, что русская катастрофа уже забывается. Эмигрантская жизнь вошла в колею. О прошлом как-то не говорят. Я приехал в Бечей на службу, как в нормальное время, и никто не сказал мне, что здесь кроется страшная драма, пережитая русскими детьми. Я стал прислушиваться. Оказалось, что из числа моих учениц не было ни одной, которая бы не знала жизнь с самой отрицательной ее стороны.

Сначала я узнал об этом только от своих учениц, а потом постепенно я стал узнавать это вообще от учащихся. Я жалею, что не записывал своевременно то, что мне говорили дети. Я позабывал даже фамилии некоторых, которые рассказали мне просто невероятные происшествия. Конечно, дети могли преувеличить или просто перепутать в своей памяти события, но почти все их рассказы мне пришлось, как подтверждение, слышать потом от их родителей.

Так, например, она девочка (не могу припомнить ее фамилии) уже подросток (13-14 лет) говорила мне, что видела в детстве, как расстреливали целую группу людей. Ей было тогда 6-7 лет, когда она, стоя у окна номера гостиницы в Одессе, видала этот расстрел. Расстреливали по очереди стоявших в шеренгу. Только на одиннадцатом или двенадцатом убитом ее мать вбежала в номер и, схватив ее за руку, отвела от окна. «Тогда, - говорила она мне, - на меня это не произвело такого впечатления, как теперь, когда я по памяти вижу это перед глазами».

Моя ученица В. Юхкаш, II класса, будучи четырехлетним ребенком, уже стояла «у стенки». Отец ее, офицер, был убит на

немецком фронте. Мать ее, сестра милосердия, без вести пропала. Находясь на руках у бабушки, она попала вместе с бабушкой в тюрьму, и вместе их повели на расстрел. Уже красноармейцы взялись за винтовки, как бабушка не выдержала и как подкошенная упала в обморок. Верочка, держась за юбку бабушки, тоже упала и начала кричать: «Бабушка, бабушка». Расстрел был приостановлен, и бабушку с внучкой отнесли в лазарет. Бабушка после этого уже не вставала, и потому ее решили освободить из тюрьмы и отправить домой. Возле ее дома красноармейцы сбросили бабушку с грузовика на мостовую, так что она головой ударилась о камень. С тех пор бабушка после продолжительной болезни потеряла слух.

Ира Георгиевская, очень нервная и капризная девочка 12 лет, в свое оправдание говорит мне: «Если бы вы пережили то, что я видала в своей жизни, то и вы были бы такой нервный. Один голод чего стоит». Ее мать в голодные годы (1921-1922) была у большевиков заведующей детским приютом в Херсоне, где пребывала и ее дочь Ира. Дети пухли от голода и массами умирали, рассказывала мне А. С. Георгиевская. Сегодня опухнет - завтра умрет. Она все время беспокоилась за свою дочь и отдавала ей свой кусок хлеба. Не только люди, но и животные были голодные. Ирочка видела, как собака тащила за ногу по улице мертвого ребенка.

Она с ужасом рассказывает далее, как один старик, сидя во дворе на ступеньках лестницы, ел окровавленными руками зарезанную им кошку. Весь подбородок его был в крови. «Мы ели конину»,- рассказывала мне

А. С. Георгиевская. Ирочка не могла есть лошадиного мяса. Ее постоянно рвало от него. Ели они и собак, но Ирочке давали только один бульон. Иногда Ирочке удавалось съесть пирожки из мяса жеребенка. Ведь голод доходил до того, что люди умирали от голода на улице. Дело доходило до того, что матери ели своих детей. Ира видела, например, как солдаты вели обезумевшую женщину, зарезавшую своих детей, а сзади несли в мешке куски этих детей, и оттуда капала кровь. На улице нельзя было нести хлеб. Его вырывали из рук. Ира хотя и была тогда маленькая, но отлично помнит все эти ужасы. Только когда прибыла в Херсон американская АРА, тот ужасный голод прекратился.

Люди настолько привыкли ко всему, что не обращали внимания на трупы, лежавшие на улице. Ира как-то наткнулась в темноте на такого покойника и упала на него. Теперь она об этом вспоминает с ужасом, а тогда на нее это не произвело никакого впечатления. Попав в институт, Ира целый год не могла утолить свой голод. Ей все было мало. Она буквально вылизывала после

еды всю тарелку.

Н. Майкровская, недавно прибывшая из советской России, пережила тяжелую драму. Теперь она, тринадцатилетний подросток, больна ревматизмом в ногах. Очень часто за уроком я вижу, как она морщится от боли. Болят ноги. И эта старческая болезнь не пощадила ребенка. «Если бы Вы походили целую зиму босиком, то Вы поняли бы, почему у меня болят ноги», - сказала она мне. Отец ее, офицер, ушел с остатками войск из России, а мать с тремя детьми осталась в Одессе. Зимой мать заболела сыпным тифом и была отвезена в больницу. Дети остались одни, голодные и в холоде. Обуви у них не было. Нила ходила босиком целую зиму, побираясь среди людей. И это напомнило мне историю с известным профессором Чижом, который умер на паперти, где он просил милостыню. Нила с братом были подобраны милицией и помещены в большевистский приют. Это был ужас, рассказывала мне Нила.

Теперь она моя лучшая ученица, и я часто думаю о том, как после такой жизненной обстановки эта девочка могла сохранить прекрасные манеры и быть такой воспитанной. Потом, когда я познакомился с ее родителями, я понял, какое значение в жизни ребенка имеет семья.

Л. Рябинина с матерью нелегально и с опасностью для жизни перешли ночью румынскую границу, но были возвращены румынским постом обратно на верный расстрел. Румын-офицер пожалел девочку и наложил ей полный карман конфект. Тем не менее их посадили в лодку и скомандовали «гайда на русский берег». И только случайность спасла девочку и мать. Они не встретили на русском берегу патруля.

О. Ченчиковская, II класса, была записана у меня в журнале круглой сиротой. Ее родители без вести пропали. Через два-три года родители ее нашлись.

И. Мелега, II класса, отлично помнит, как по ночам у них происходили обыски и как она спасла своего отца, сказав большевикам, что ее отец умер. И это она придумала сама, будучи пятилетним ребенком.

Н. Колюбакина, II класса, молчит, но нам хорошо известно, что ее маленькой девочкой избили красноармейцы за то, что она была в церкви.

Л. Гладкая, VI класса, сидела с матерью в тюрьме (Г.П.У), и у нее даже сохранился портрет матери, нарисованный кем-то в тюрьме.

Т. Ляшко с матерью переходили польскую границу в 1923 году. Пере -ход этот был неудачным. Их прогнали с польской территории. Через год они опять совершили этот переход, и на

этот раз их обратно не отправили, так как у них была виза. Таня, ей было тогда 11 лет, отлично помнит, как было тогда страшно. Зимой, в сугробах, при сильном морозе им приходилось прятаться за деревья, чтобы их не увидали большевики. Ноги были мокрые. От холода тряслось все тело. Неприятно даже вспоминать это, говорит Таня.

Л. Супранович, VII класса, моя первая ученица, недавно прибывшая в Сербию из Китая с Хабаровским кадетским корпусом, рассказывала мне очень много интересного о своих скитаниях. И ее отец стоял уже у «стенки» и чуть не погиб.

М. Бразоль, V класса. Тоже отличная моя ученица, рассказывала мне о своих скитаниях, а начальница как-то сказала мне так: «И эти девочки (Маруся и сестра ее Злата) после роскошной жизни в своем имении в Харьковской губернии стирали в Египте англичанам белье».

И это все мои ученицы, но постепенно мне приходилось узнавать, что чуть не все воспитанницы института пережили в детстве почти то же самое.

В. Морозова, III класса. Отец расстрелян большевиками. Пятилетним ребенком она пережила новороссийскую эвакуацию, когда с матерью она села на пароход. Бедной девочке не повезло и в Сербии, куда они бежали. Ее мать умерла, так что Верочка теперь круглая сирота.

И таких в институте много. Я вспоминаю своих маленьких друзей, ныне институток Донского института Женю и Тусю Духониных, которые в возрасте 8-9 лет сидели в Польше в пограничной тюрьме целый месяц, а перед этим шли под страхом расстрела семь ночей к польской границе, скрываясь днем под листвой и кучами хвороста в сельской местности Юго-Западного края. Так дети переходили границы своей Родины, уходя от большевиков.

Я вспоминаю затем по Лобору больную девочку Нину Львову, 11 лет, на глазах которой озверевшие солдаты сожгли в товарном вагоне ее отца -полковника. Теперь я увидел в институте ее сестру Люсю, IV класса. Их мать умерла на острове Лемнос, и девочки остались круглыми сиротами.

И это еще не все. Я мог бы привести бесконечное множество таких случаев, но ведь это не требует доказательств. Всем и без этого известно, что испытали русские люди в это безумное время. Голод - ужасающий голод - испытали буквально все. Меньше других в этом отношении пережили те, кто так или иначе планомерно эвакуировались из России с институтом в 1920 году. Эти девочки тоже, конечно, видели кое-что, но они не соприкасались с большевиками и нашими милыми союзниками,

которым наши русские дети как пленные стирали белье. Я видел в Загребе студенческую молодежь. Это была та молодежь, которая с оружием в руках отстаивала свою Родину, - офицеры, студенты, кадеты, чиновники. Они сложили оружие и бросились в университеты, чтобы продолжать прерванное войной и революцией образование.

Теперь здесь, в институте я впервые вижу детей, которым не было еще 10 лет, когда жизнь трепала их и вовлекла в атмосферу настоящего ада, созданного обезумевшим русским народом. Я упустил это из виду или, вернее, просто не знал этого и только теперь впервые убедился, что они пережили не меньше нашего.

Прожив девять месяцев среди большевиствующего русского народа и видя все ужасы, творимые им, я все-таки не видел, чтобы дети были вовлечены в гражданскую войну. При мне расстреляли только одну гимназистку за то, что в доме ее тетки скрывался офицер. Теперь передо мной раскрылась другая картина. Они - дети, видели рассвирепевший русский народ. И хотя им было тогда еще очень мало лет, но они отлично понимали все происходящее вокруг них. Обыски, грабежи, аресты, расстрелы, безобразия, голод и холод были поняты ими не потому, что они были подготовлены по своему развитию, а потому, что это шло вразрез с логикой и природой человека.

Если девочка 7 лет видела расстрел двенадцати, то, конечно, она понимала, что происходит нечто противное природе, но она не отошла от окна, потому что ей было тогда 7 лет. Ира Георгиевская 8 лет не могла примириться с тем, что собака тащила за ногу мертвого ребенка. В детском представлении логическая последовательность развита не меньше, чем у взрослых людей, но нет только знаний, которые приобретаются с годами.

Теперь эти дети уже подростки и даже почти уже барышни. Жизнь в них берет свое. Воспоминания стушевываются перед требованиями жизни, и жизнь в них бьет ключом. И в этом, думается мне, состоит различие в переживаниях людей пожилых и юнцов. Мы, можно сказать, пришиблены и забиты и согнулись под тяжестью ударов судьбы. Молодость ищет все новых и новых впечатлений, считаясь с прошлым только постольку, поскольку оно отразилось на душевном ее состоянии. И вот у этих подростков, почти еще детей, выработался такой опыт, такое зрелое мышление, такое преждевременное во всех отношениях развитие, которые делают их взрослыми людьми.

Конечно, условия беженской жизни и новая эра общественных настроений после войны, с ее новой этикой и разнузданной моралью, делают свое дело. Пребывание детей дома до

поступления в институт и в каникулярное время, семейная жизнь в одной комнате не всегда в благоприятной форме отражаются для воспитания юношества. Бедность, недоедание, неподходящие разговоры при детях, интриги, политическая и партийная рознь - все это не проходит бесследно для духовного развития детей.

Дети пережили так много. Так много они видели и видят сейчас, что, конечно, они уже не дети. Искания, которые так свойственны молодой душе, находят себе отклик прежде всего в окружающей среде. Короткие юбки, стриженые волосы, откровенные костюмы, модные танцы, купание на пляже и ресторанная жизнь - вот что видит юная молодежь навстречу своим исканиям.

Как преподаватель искусства, не ставящий отметок, я, конечно, стал ближе к этим подросткам - девочкам, и они меня не боялись и не стеснялись. Вот почему я мог наблюдать за ними и, конечно, прежде всего заинтересовался их духовными запросами. С самого начала мои ученицы, а потом и другие воспитанницы стали приносить мне свои альбомы (почти каждая институтка имеет альбом) с просьбой написать что-нибудь, а потом, когда узнали, что я рисую, и нарисовать.

Через мои руки прошло не менее сотни таких альбомов, и я могу сказать, что в них я нашел много такого, что ясно указывало на существование духовных запросов у этой юной молодежи. Отличные стихотворения, во многих случаях написанные самими воспитанницами. Отличные рисунки, изречения, афоризмы, взятые из классических произведений. Много остроумия, а также нежной любви к подругам. Глубокий патриотизм и любовь к своей школе и институту. Все это указывало на определенное направление у учащейся молодежи.

Говорят, что у наших институток ясно сквозит эротическое направление. Нет альбома, где бы на первом месте не были сказания о любви. И это правда, но ведь вообще любовь составляет главный предмет всякой поэзии и литературы. «Любовь и голод управляют миром», - сказал поэт Гете. Поэтому не следует подчеркивать как отрицательную сторону излишнюю, может быть, романтичность наших барышень. Сентиментальность или, вернее, романтизм, как подобает женщине, даны ей природой. Я заменяю слово «сентиментальность» романтизмом потому, что сентиментальность теперь не в моде.

Романтизм (сентиментальность) нужен женщине - иначе мы дойдем до крайности, до которой дошли уже большевики. Лично я приветствую это настроение юной молодежи, которое, может быть, сквозит в их альбомах. Пусть воспевают любовь, если она пробуждается в них как чистый идеал. Тут скверного ничего нет.

Это всегда было и будет.

Среди воспитанниц есть много поэтесс. Я читал их произведения, и в иных случаях мне просто не верилось, что эти стихотворения написаны подростками-детьми. Интересно отметить, что темы этих стихотворений в большинстве случаев патриотические и на злободневные вопросы: Родина, война, героизм, расстрелы, самопожертвование и т.д. Пишут также и прозаические произведения - повести и романы.

И в этом отношении интереснее всего то, что девочки заимствуют друг у друга это увлечение. Прозу пишут, например, почти все третьи классы, то есть девочки 12-13 лет. И эти произведения они давали мне читать. Конечно, эти романы были наивны, но не лишены местами красоты. Вот этот отвлеченный романтизм, стремление к поэтическому творчеству и искание духовной красоты обращают на себя особое внимание в институте. В наш период жизни, пропитанный реализмом, цинизмом и духовным обнищанием, это явление представляется в высшей степени отрадным.

Среди студенческой молодежи этого уже нет. Эти люди уже столкнулись с жизнью и, можно сказать, познали ее. Искания их другого направления. Идеалы их сводятся к реальной жизни. Борьба за жизнь и кусок хлеба стоят у них на первом месте.

Науки институток тяготят. Громадная программа, приравнявшая институты к мужским средним учебным заведениям, не нравится им. В особенности у них нет склонности к изучению математики и латинского языка. Напротив - русский язык и литературу любят все. Девочки любят читать и, конечно, делают это в ущерб своим занятиям. Читают и под партами на уроках, и в часы приготовления уроков. И в этом отношении они настоящие русские дети.

Программа в институтах смешанная. С одной стороны, воспитанницы готовятся к матуре[35] по обширной программе сербских учебных заведений, с другой стороны, для них обязательны занятия предметами, которые по традиции проходятся в русских женских учебных заведениях: рукоделие, рисование, хоровое пение, танцы, музыка. И вот я сразу заметил, что к этим прикладным занятиям девочки относятся совсем иначе.

Они любят эти занятия и с увлечением отдаются каждая своей специальности. Есть такие, которые отлично вышивают и считаются исключительными рукодельницами. Есть художницы, музыкантши. Но что особенно здесь хорошо поставлено - это танцы. Танцевать любят все. В этом можно убедиться на танцевальных вечерах, которые устраиваются в институтах

довольно часто. На праздниках и летом на такие вечера приглашаются молодые люди: кадеты, гимназисты, студенты, приезжающие на каникулярное время к своим родным.

Обыкновенно вечера в течение учебного года проходят, как говорится, без кадет, но это такие же оживленные вечера, как и торжественные. Танцуют «шерочка с машерочкой». Теперь такие вечера можно видеть только в этих старых институтах. Модные танцы совсем не танцуют. Танцуют вальсы, польку, мазурку и т.д. Кто привык видеть «модерные» танцы, разные фокстроты, шими, чарльстоны - эти животные, дикие танцы, тот невольно восторгается, присутствуя на этих институтских вечерах.

Но не об этих танцах хотел говорить я. В институте отлично поставлен класс балетных танцев. Помимо гимнастики, которая введена в курс обязательных предметов по сербской программе, воспитанницы группами обучаются балетным танцам, которые очень искусно ведет преподавательница Е. М. Перлова, бывшая балерина московских театров. В наше время балетные танцы рассматривались как профессиональное занятие, не подходящее, во всяком случае, девушкам из общества. Теперь эти танцы в моде во всей Европе, и их насадило русское беженство. Это соответствует духу времени.

Во всех трех русских институтах (Харьковский, Донской и Кикинда) эти танцы в большой моде, но лучше всего это дело поставлено в Харьковском институте. Здесь постановка таких спектаклей-балетов носит грандиозный характер. Число участвующих достигает 80 человек. Балетные номера сменяются один другим и одним лучше другого. Танцуют и совсем маленькие, и средние, и старшие воспитанники, а солистки приводят в восторг публику. Постановка этих балетов, костюмы, декорации, сцена создают ту обстановку, которая мало отличает эти спектакли-балеты от настоящего профессионального балета, и по своей художественности они великолепны.

Институт не ограничивается устройством в Новом Бечее такого спектакля, а повторяет его, выезжая в соседние города Старый Бечей, Бечке-рек, Меленцы и т.д. Не подлежит сомнению, что в развитии художественного вкуса воспитанниц такие спектакли-балеты играют немалую роль. Громадное большинство воспитанниц, конечно, еще не видели спектакля вообще и воспитываются на кинематографах. Уже по этому одному такие спектакли, конечно, являются весьма желательными.

Вначале я не сразу понял, когда почти все педагоги энергично протестовали против устройства таких спектаклей. Подготовка к этим спектаклям идет весь учебный год. Репетиции, читки, спевки, рисование, декорации, примерки и вообще эта суета

отвлекают воспитанниц от занятий и отымают у них время на приготовление уроков. Создается настроение совсем неблагоприятное для сколько-нибудь серьезных занятий науками. Я лично потом убедился в этом, но все же я не мог не согласиться с М. Н. Неклюдовой, которая придавала художественному развитию девушки большее значение, чем изучение никому не нужной латыни и высшей математики, как говорит она.

Упорно проводя свой взгляд, начальница института вовсе не считается с громадной программой занятий, установленных для института. Конечно, в этом отношении она не права. Но это ее увлечение, ее «конек», и для этого она готова жертвовать всем. Впоследствии и я оказался потерявшим в этом отношении. Когда понадобилось развернуть хор, она отобрала у меня самых лучших учениц и поставила их в такое положение, что они вынуждены были бросить занятия музыкой.

Занятые репетициями, спевками, танцами, они фактически не могли заниматься музыкой. Конечно, девочкам-подросткам там было весело. Подмостки, закулисная жизнь, новые туфли, чулки, грим, завитые волосы, наряды - их интересовали больше, чем зубрение уроков. Я лично наблюдал случай, когда после спектакля три дня нарочно не снимали полностью грим, чтобы походить с подведенными глазами и с остатками румян на щеках.

Эта отрицательная сторона этих балетов, не соответствующая воспитательно-учебному заведению, где должна вырабатываться личность подростка-девочки, отмечается постоянно педагогическим персоналом, родителями и обществом. Нельзя, говорят, увлекаться в такой степени балетом там, где речь идет о подготовке учащейся молодежи к матуре, то есть к аттестации зрелости. Это не балетная школа, ворчат всегда преподаватели.

К тому же надо признать, что влияние, которое оказывают подобного рода публичные выступления воспитанниц, не может быть признано хорошим. Успех, аплодисменты, похвалы, а иногда и газетные заметки с указанием фамилии балерины, несомненно, кружат девочкам головы и приучают их к подмосткам, и мы знаем уже несколько случаев, когда бывшие воспитанницы института оказались на ресторанных подмостках (Ионова, Транс) только потому, что были подготовлены к этому.

Молодежи свойственно увлекаться, и в этом отношении очень важно руководительство и разумное направление развивающейся личности каждой воспитанницы.

Возвращаясь как-то из Белграда пароходом в Новый Бечей, я имел попутчицей институтку VI класса Лукьянович. Я был поражен, когда она, развивая мне свои планы на будущее, говорила, что она до страсти любит шить и в особенности делать

дамские шляпы. Ее мечта - по окончании института ехать в Париж и там специализироваться в этом деле, а потом открыть свое ателье и шляпную мастерскую. Это говорилось с увлечением и серьезно. От нее я узнал, что в институте есть много воспитанниц, которые отлично шьют, вышивают, и их никто не учил. Они от природы одарены этой способностью. Классы рукоделия они посещают с удовольствием, несмотря на то, что они стоят впереди того, чему их учат.

Я часто вижу воспитанниц за работой. Даже к уроку музыки некоторые воспитанницы приходят с работой в руках и в ожидании своей очереди занимаются рукоделием. В особенности приятно видеть, когда во время собеседования, публичных лекций воспитанницы сидят с работой в руках. Есть воспитанницы, увлекающиеся рисованием.

К сожалению, в институте господствует прикладное искусство - ученицы разрисовывают блюдечки, тарелки, вазы, подносы. Говорят, что это нужно, чтобы добыть средства для института, а если попадаются талантливые, способные к рисованию, желающие учиться, то они копируют и рисуют с открыток, опять-таки чтобы продать эти картинки на институтской выставке. Тем не менее и в этом отношении запросы молодежи велики.

До моего приезда в институте не было музыкального класса. Занятия музыкой носили случайный характер. Уроки музыки давала классная дама в свободное от дежурства время. Теперь учащаяся молодежь буквально набросилась на музыку. Всем хочется учиться музыке, и любопытно, что просят об этом не только воспитанницы старших классов, но и девочки 9-10 лет. Ко мне пристают, просят, умоляют зачислить в музыкальные классы.

Занятия начались серьезно. Уроки пропускались только по болезни. Напротив - борьба шла за упражнения и за дополнительные уроки, которые я даю по праздникам и воскресеньям лучшим ученицам. Дела мои шли отлично. Смущало меня лишь то обстоятельство, что до меня доходили слухи, что некоторые преподаватели ворчали и были страшно недовольны увлечением воспитанниц музыкой.

Вопрос этот несколько позже был даже внесен в педагогический совет, где по моему адресу был сделан даже выпад. Один из преподавателей доложил в совете, что музыка не только мешает занятиям науками, но до него дошли слухи, что преподаватель музыки внушает детям, что занятия науками - это глупости, а вот надо заниматься только музыкой.

Теперь, конечно, эта история только смешна, но тогда она меня очень взволновала, и в результате две сестры Свинкины - Люда и Женя были исключены из музыкального класса, и им было запрещено играть на рояле за то, что они получают проколы по наукам и целый день будто бы проводят на фортепиано. Это были мои лучшие ученицы, и потому, конечно, это было для меня большим огорчением.

Я понимал отлично педагогов. Участие девочек в спектаклях, концертах, в хоре, в балете отрывали их от занятий. А тут еще присоединилась музыка. Музыка отлично идет у них. Значит, они слишком много занимаются нею.

Широкая, всесторонняя программа в духе русского

воспитания, развивающая духовную личность воспитанниц, знакомящая их с понятиями о красоте и поэзии, охватывающая все отрасли искусства, - это наиболее интересная сторона жизни института. Насколько она правильно осуществляется - это вопрос другой.

Есть, конечно, противники этой системы, указывающие на другую задачу воспитания - это занятия науками, которые при обширной программе идут слабо именно потому, что воспитанницы отвлечены от своих прямых обязанностей - учиться. Раздаются голоса за то, чтобы вовсе прекратить танцы, спектакли, рукоделие, рисование, музыку и специально заняться науками. Один преподаватель сказал мне даже, что надо совсем прекратить прогулки и вместо них учиться.

Детей надо готовить к высшей школе, к усидчивому труду и работе, а вовсе не воспитывать их на удовольствиях. Не отрицая по существу некоторой справедливости в этих суждениях, мы все же склонны признать, что для девочек, как будущих матерей, хозяек своего дома и женщин с общественным положением, всестороннее развитие важнее научной подготовки. И в этом отношении наши женские учебные заведения в Сербии, несомненно, идут правильным путем.

Мы не отрицаем того, что в нашем институте занятиям науками отведено меньше внимания, чем это надлежало бы, но таков взгляд начальницы института М. А. Неклюдовой. Поставить отлично хор. Удивить публику грандиозным спектаклем-балетом. Разрисовать актовый зал (столовую). Вышить сокольское знамя и т.д. Это ее больше интересует, чем урегулировать занятия науками. А так как мы являемся противниками женского равноправия и уравнения женщин в работе и познаниях с мужчинами (то есть мы стоим против высшего специального образования женщин), то мы готовы поддержать М. А. Неклюдову, но нельзя впадать в крайность, которую допускает начальница института, тем более что и в другом отношении она не права.

Она слишком широко охватывает вопрос, и вместо того чтобы находить и развивать способности девочек, она убивает их тем, что страшно разбрасывается. Стоит воспитаннице обнаружить свои способности к чему-нибудь, она эксплуатируется во всех отношениях для института, а ее личные интересы игнорируются вовсе.

Если девочка отлично заиграла на рояле, то она, несомненно, будет взята в хор, в балет, на спектакль, а музыка забрасывается. То же самое и в отношении рисования. В результате воспитанница получает всего понемногу, а то, к чему она действительно способна и склонна, остается для нее

неиспользованным. Вот эти два противоположных и притом крайних взгляда вносят много раздора в институтскую жизнь.

Начальница не хочет поступиться своими взглядами, а педагогический персонал ведет свою линию, протестуя чем только можно. Отношения обостряются, и при институте образуются партии «за» и «против».

В институте нет ничего серьезного, положительного, трудового. Все схватывается поверхностно, легкомысленно и скользит по верхам. И, может быть, правы противники М. А. Неклюдовой, обвиняя ее в том, что она мало заботится о воспитанницах и их будущности. Она пользуется воспитанницами как материалом. Если ей нужна сейчас воспитанница как балерина для предстоящего спектакля, то в жертву приносится все, и главным образом интересы самой девочки.

К сожалению, то же самое приходится слышать и от самих воспитанниц. Мне говорила одна моя ученица (Наталия Моцак), кончившая VII класс института: «Меня оторвали от моего любимого дела - музыки. Из меня сделали балерину. Я порхала по подмосткам, составляя славу спектаклям Харьковского института. Мне шумно аплодировали и говорили комплименты. Мне это льстило. Я пела в хоре, с которым носятся в институте. Без меня не обходилось ни одно выступление. Мы даже гастролировали. И к чему все это было? В жизни мне это не пригодится. Я дала институту очень много. Что же дал мне институт? Ненужные мне знания латинского языка и чуть не высшей математики. Я даже не знаю иностранных языков».

Есть еще одна сторона духовной жизни воспитанниц - это религия и церковь. Я был свидетелем, когда в Великий пост весь II класс отказался однажды есть скоромную пищу за обедом и ограничился чашкой чая с хлебом. Ведь это были девочки 11-12 лет. Я видел затем, как молились в церкви эти дети, подолгу выстаивая на коленях и отбивая поклоны. Мне объяснила потом начальница, что дети находятся под страшным влиянием институтского священника, фанатика отца Сергия Ноарова, который между прочим требует от детей аскетизма и даже по секрету запрещает им танцевать на институтских вечерах.

Может быть, это и так, но мы знаем, что в беженстве наблюдается вообще подъем религиозного настроения, и дети, поступая в институт, уже знают, что такое молитва. Они привыкли молиться и видели, как их родители и близкие им люди обращались к Богу, переживая ужасы большевизма и революции. Институтская жизнь располагает к молитве.

Институт имеет своего священника. Уроки закона Божьего дети любят, несмотря на излишнюю строгость и непомерные

требования батюшки. Они даже не ропщут, когда назавтра они должны повторить и выучить чуть не 70 страниц богословия. Это так надо. Так сказал батюшка, и дальше этого их рассуждения не идут.

Каждый праздник воспитанницы посещают церковь, бывая на всенощной и у обедни. Поет хор воспитанниц с участием преподавателей и служащих института. В Новом Бечеее вблизи от столовой института имеется отличная, красивая, уютная церковь Св. Николая, которая предоставлена сербами в полное распоряжение русских беженцев и института. Но зимой в этой церкви холодно, и потому богослужение происходит в столовой, которая на это время обращается в церковь.

Я давно не был в церкви и потому с особым благоговением посещаю каждую службу. Институтки занимают по классам свои места. На эстраде стоят младшие классы, возле которых отведено место начальнице и инспектору классов. Посетители занимают место у входа в столовую. Благолепие полное. Обыкновенно к службе воспитанницы получают чистые фартухи и пелеринки, что придает особую торжественность службе. Хор воспитанниц под управлением регента - преподавателя русского языка Я. П. Кобца поет отлично, создавая глубокое религиозное настроение.

Но еще больше мне нравится служба в сербской церкви. Этот храм ничем не отличается от наших русских церквей. Церковь небольшая, едва вмещающая весь институт, но зато это настоящая, не домовая церковь, где чувствуется совершенно особое молитвенное состояние. Я нарисовал ее и акварелью, и масляными красками. И это тот рисунок, который фигурирует во многих альбомах наших харьковских институток.

Церковь в провинции. Она всегда привлекает к себе больше, чем в городской сутолоке. Сегодня всенощная. Это означает, что жизнь замирает. Все идут в церковь. У нас в Новом Бечее улицы темные. От института на перекрестке зажигается карбидовая лампа, освещая самый грязный осенью и зимой переход с одного тротуара на другой. Институтки идут ко всенощной в парах, по классам.

Мы стоим в притворе. В церкви тишина, спокойствие. Горят восковые свечи у паникадил, и зажжены лампады. Молитвенно, стройно хор начинает свое церковное пение. Воспитанницы крестятся и начинают молиться. Помнят ли они Россию и знают ли, о чем молятся? Конечно, да. Вера в Бога у них не угасла. Это уголок сохранившейся России - их Родины. Это русские люди молятся в православной братской стране, у сербского народа. И это тогда, когда в советской России идет гонение на Православную Церковь, когда разрушаются храмы, когда

расстреливают оставшихся верными Богу служителей Церкви, и когда повсюду идет проповедь безбожия.

Нет! Без веры в Бога, без религии человеческое общество не может жить. Не может существовать при таких условиях и государство. И вот, слава Богу, в институте это понимается, и подрастающее поколение здесь, в эмиграции, остается верным заветом Христа.

В институте сложилось как-то само собой, что духовная сторона жизни воспитанниц, духовные их интересы и, я бы сказал, отвлеченные умственные запросы стоят впереди всего другого, то есть они любят все то, что интересно, что красиво и что касается душевной стороны жизни. И я приведу разительный пример развития девочки (в отличие от мальчика), потому что непонятный ребенок уже разгадан и возражений против истины не будет.

В числе других с самого начала я начал заниматься с девочкой, которая считалась умственно отсталой, идиоткой, как выразилась классная дама, которая не может отличить будущего от прошедшего времени. Такова была ее репутация. Скоро, однако, я стал подмечать другое, но мои возражения встречались только улыбкой. Я уже считал эту девочку умной и весьма развитой, как она оскандалилась в науках и по неспособности оставлена на второй год.

Я усилил с ней занятия музыкой. Девочка шла отлично и проявляла необыкновенные способности. Публика в недоумении косилась на девочку и прислушивалась к ее игре на фортепиано. Не может быть, чтобы такая дурочка так скоро научилась играть. Но скоро она преуспела и в другом. Прошли слухи, что она отлично рисует. Ее учительница признала в ней исключительные дарования. Она рисует даже с натуры. Ее взяли в хор. И здесь у нее открылись способности. Теперь хор не может обойтись без нее.

Но самое главное - у нее обнаружился талант к танцам, и в этом отношении другой такой в институте не оказалось. Она отлично пишет. Я читал ее детские произведения - романы. Правда, там было много грамматических ошибок, но по форме изложения и по идее это было далеко не глупое произведение. Я помню, бывало, еще в начале она всегда писала что-то в свободные минуты до урока музыки. Она скрывала от меня, но потом открыла, что она любит стихотворения и переписывает к себе в тетрадку те стихотворения, которые ей понравились.

Мне долго не верили, когда я открыл в этой девочке ее прекрасную личность, но теперь она уже признана талантливой, умной, развитой. Без нее не обходится ни один спектакль. В хоре

поднимается тревога, когда нет ее, а в балете она первая. Во всем преуспела она. Даже в обществе она играет не последнюю роль, но вот в науках она слаба. Ей не дается математика, латинский язык. Ее любят. Она хорошая, добрая, с ней все считаются.

Вот мои первые впечатления от института в Новом Бечее, которые я тороплюсь записать в свой дневник. И мне думается, что если прочитать с самого начала мои записки, то эта глава, вероятно, будет единственным светлым пятнышком на протяжении почти 10 лет нашей беженской жизни. Много хорошего, свежего, чистого пришлось увидеть здесь среди детей, девочек-подростков и почти взрослых барышень. И я бесконечно рад тому, что здесь рассеялись мои сомнения, когда я по дороге в Бечей думал, подойду ли я по своим убеждениям и старым взглядам к новому поколению юной молодежи и удовлетворит ли меня моя работа с ней.

Детский мир оказался чище и более сохранившимся, чем те, кто поддался разрушительным влияниям современной жизни. Среди них, среди этих детей я перестал даже читать газеты. Так убога показалась мне эта жалкая печать - болтовней, лишенной всяких идеалов и духовных запросов. Я взялся опять за книжки, но читаю, конечно, не современную литературу, дошедшую в своем безобразии до порнографии, а прежних классиков, которые вели меня опять к здоровому мышлению и спокойным суждениям.

Здесь нет политики. Они хотя и дети, но отлично видят развал и разрушение, которые явились последствием войны и революции. Даже духовенство разбилось на партии, сказала мне одна девочка, и отступилась от православной веры. Они принимают факты без толкования. Царя убили. Убили мальчика-наследника и всю царскую семью. И дети чтут его память, собирая фотографии семьи и покойного императора, и развешивают их на стенках у своей кровати. Они видели сами, что творится без царя, и в этом отношении для них понятие о Родине связано с понятием о царе. Царь для них - это символ, помазанник Божий. И дальше этого они не идут.

Конечно, есть и более вдумчивое и сознательное отношение, и для того чтобы показать это настроение подрастающего поколения, мы приводим здесь статью из газеты «Новое время» от 6 июля 1923 года за N° 656 с отчетом об акте в Харьковском институте: «1 июля в Новом Бечее Харьковский девичий институт праздновал 82-й выпуск своих воспитанниц. На акт были приглашены представители сербской власти, родители учащихся, сербские и русские гости. Праздник превратился в редкую по искренности демонстрацию братского единения сербов и русских, причем наши хозяева - сербы в многочисленных,

прочувствованных речах отметили культурное значение института и большие ценности его достижения. Общий образовательный уровень воспитанниц и подготовка их к практической жизни оказались исключительно высокими, что и было поставлено в особую заслугу педагогическому персоналу инспектором Министерства народного просвещения, специально командированным на экзамены в Институте. Присутствовавший на акте правительства уполномоченный С. Н. Палеолог выразил глубокую благодарность королевству СХС за теплое гостеприимство, оказанное русским беженцам, и за внимание королевского правительства к нашему подрастающему поколению, которое имеет возможность в черные годы русского лихолетья спокойно учиться в национальной школе. Свое приветствие С. Н. Палеолог закончил провозглашением “живио” в честь Его Величества короля Александра и Ее Величества королевы Марии. Окончившие воспитанницы-матурантки по обычаю произнесли прощальные и благодарственные речи на сербском, французском и русском языках.

Знаменательна речь воспитанницы Н. Н. Волоцкой, характеризующая современное настроение русского подросткового поколения. Приводим эту речь полностью:

“Восьмой класс Харьковского института императрицы Марии Феодоровны, нашей высокой покровительницы, передает в лице моем свою горячую благодарность нашей дорогой начальнице М. А. Неклюдовой, инспектору З. А. Макшееву и всем педагогам за сердечные заботы, которые они проявили, воспитывая нас, и за ту возможность окончить полностью среднее образование, которую они, благодаря помощи братского королевства, предоставили нам в такую мрачную эпоху жизни Российского государства. Да поможет Всевышний, чтобы наши общие труды не пропали даром и чтобы мы могли честно и с пользой послужить Церкви, царю и Отечеству. Бог не оставит нашей обездоленной великой Родины. Прояснятся души людские, разойдется кровавый туман, нависший над матушкой-Русью, воссияет над ней Крест Господень, и на прародительский престол Российский в ореоле славы и величия, под звон кремлевских колоколов взойдет тот, кто не даст в обиду народа русского - наш Богом данный, православный Царь-Самодержец. Тогда Россия вспомнит и горячо поблагодарит всех за рубежом, внесших свою лепту на великое дело возрождения горячо любимой Родины.

Сильная, могучая Русь. Не верим, не верим мы, что ты погибла. Не оставит тебя Отец наш Небесный, восстанешь ты, лучезарная, гордо поднимешь свою голову, и снова грянет из мощной груди твоей воскресшего народа молитвенное и

благодарное ‘Боже, Царя храни’”.

Вслед за речью Н. Н. Волоцкой неожиданно и воодушевленно раздались торжественные звуки нашего национального гимна. Его дружно запели все находящиеся в зале многочисленные гости - русские и сербы, глубоко взволнованные словами даровитой девушки, сумевшей зажечь сердца и безыскусно выразить то, что таится в глубине души каждого честного русского человека.

Присутствующие на акте института долго сохранят радостное воспоминание о празднике и обо всем, что они видели и слышали в стенах этого достойного рассадника русского просвещения за границей».

Приводя эту статью, как исторический документ, мы должны оговориться, что это выступление Харьковского института было встречено в левых кругах эмиграции с глубоким возмущением.

Инспектор классов института З. А. Макшеев, будучи после этого в Праге на съезде педагогов, говорил нам, что ему пришлось там выслушать немало упреков по этому поводу. Харьковский институт после этого получил репутацию черносотенного учебного заведения, где неправильно ведется воспитание.

Как убого после этого звучат разговоры о политике, которые иногда поневоле приходится слышать в обществе взрослых людей, поносящих Россию и царский режим: «Николай был глуп. Он был слабохарактерный, слабовольный. Он погубил Россию» и т.д. И кто же это говорит... Ничтожный, проводящий всю свою жизнь за бутылкой вина в разных кафе и ресторанах. Скажу откровенно, что после таких выпадов хочется подальше уйти от такого общества, и идешь на урок к детям с облегченным чувством покоя.

В институте есть еще воспитанницы, которые прибыли в Сербию вместе с институтом из России, но их уже мало. Большинство окончило институт. Некоторые из них учатся в высших учебных заведениях. Другие устроились на места или вышли замуж, но многие влачат жалкое существование, служа кельнершами в ресторанах или того хуже - танцуют в этих ресторанах, поют и играют в оркестрах на балалайках. Есть, конечно, известный процент свихнувшихся в жизни и погибших.

На смену этой категории воспитанниц пришли те девочки, которые поступили в институт уже здесь, в эмиграции. Это те дети, которые эвакуировались из России с родными в возрасте 5-8 лет и помнят, конечно, русскую катастрофу. Очень многие из них осиротели или во время эвакуации, или в беженстве. Таких сирот к началу служения в институте было 36%. Особую категорию воспитанниц составляют те, которые прибыли из России несколько лет спустя. Большинство из них бежали из России

нелегально, с опасностью для жизни, переходя границы иностранных государств. Вот эти дети вышли из России уже подростками и пережили вдвойне. Они видели и испытали на себе большевизм.

Детей, родившихся в эмиграции, еще в институте нет. Это уже будет новое поколение, не знающее России. Это будут дети, не пережившие русскую катастрофу и знающие большевизм только понаслышке. И мне кажется, что ныне по своему составу институт должен быть предметом особого внимания русских людей и руководящих кругов. Ведь это покалеченные дети, современники небывалой в истории катастрофы, и пережившие глубокие моральные потрясения.

Первые дни беженства для русских людей были ужасны. Дети, находящиеся теперь в средних учебных заведениях, пережили вместе с ними этот период, и, конечно, он не остался для них без влияния. Как инвалиды с разбитой душой, а во многих случаях болезненные, с развитым туберкулезом на почве недоедания и тяжелых условий жизни, они нуждаются в заботах общества и требуют внимательного к себе отношения.

К сожалению, в беженстве нет организации, которая бы могла позаботиться об учащейся молодежи, оканчивающей средние учебные заведения. Кончила курс - и иди в жизнь, а как устроится эта жизнь, об этом мы имеем очень мало данных. Это больной вопрос, о котором постоянно приходится слышать от учащихся. Нет будущего. Нет уверенности в завтрашнем дне. Борьба за кусок хлеба - это все, что видишь впереди.

Какие при таких условиях могут вырабатываться идеалы и взгляды на жизнь? Бери от жизни все, что она дает. Пользуйся случаем, чтобы пожить и использовать молодость. И этот опасный лозунг выбрасывается самими учащимися и принимается ими как выход из положения. Этот крик отчаяния отчасти смягчается пребыванием в институте, где нет хлопот и забот и где идет развитие личности. Но, к сожалению, институт мало подготавливает к жизни. Ни шагу без классной дамы. С мужчинами даже не разрешается разговаривать. Каждый шаг под контролем и на поводу, а потом сразу - в поезд и прямо в Белград, в Париж или еще того хуже - на пляж.

И все таки скажем: фундамент заложен. Семь-восемь лет пребывания в институте в годы, когда формируется личность, когда не знающая материальных забот жизнь дает простор духовным запросам и вырабатывает убеждения, взгляды и вкусы и те устои жизни, на которых можно при благоприятных условиях выйти победителем в жизни. Конечно, не так учебное заведение, как сама жизнь вырабатывает человека. И вот в наш век крайнего

эгоизма и материализма, конечно, и дети делаются такими. И в этом отношении теперь жизнь беспощадна. В борьбе за существование можно рассчитывать только на самого себя. На других надеяться нечего.

«Спасайся кто может!» Этот лозунг был уже на опыте принят людьми на войне, в революции и потом в беженстве. И это отлично сознают дети. Жизнь без Родины, в большинстве без родных, среди чужих народов, предстоит тяжелая. Это уже говорят дети 12-13 лет, видя, как бьются в борьбе за существование люди. Реализм, и притом циничный реализм, теперь в моде. «Сентиментализм - нет, только не это», - сказала мне как-то начальница института, когда я рассказывал, что одна из моих учениц чуть не расплакалась, когда я играл элегию Рахманинова.

Я подумал: если бы реализм отграничивался от цинизма, я, может быть, и согласился с этим, но женщина циничная и реалистка противна теперь так же, как была в свое время противна женщина-нигилистка. Женщина не должна быть лишена некоторой степени сентиментальности или романтизма (не все ли равно), иначе она обращается в животное. Нельзя музыке обучаться только с той точки зрения, чтобы в будущем зарабатывать кусок хлеба. Музыка есть искусство и касается области чувств. Без романтизма и духовного творчества (поэзия) музыки нет или она обращается в животные фокстроты.

И в этом отношении надо опять отметить, что влияние людей взрослых, выбитых из колеи нормальной жизни войной и революцией, сильно отражается на выработке взглядов подрастающего поколения. Вместо того чтобы поддержать морально, успокоить и объяснить детям, они точно нарочно стараются подчеркнуть все отрицательные стороны жизни, направляя их мысль в сторону злобы, недоверия и лишения. При мне одна мать внушала своей 13-летней дочери: «Не верь никому - ни молодым, ни старым. Думай только о себе. Тебя в жизни никто не поддержит. Подходи к людям только тогда, когда они докажут тебе свою верность». Еще хуже, когда при детях говорят: «Мне все равно, что бы обо мне ни говорили. Пусть называют вором, мошенником, негодяем. Мне все равно». И это говорят воспитатели юношества, приучая молодежь с презрением относиться ко всему.

<. .> Но есть и матери, бросившие своих детей. И девочка затрудняется ответить на вопрос, кто ее мать. Таковы условия беженской жизни. И это знают дети.

Воспитанниц обвиняют в том, что они склонны к флирту и романам чуть не с двенадцатилетнего возраста. И действительно,

нужно признать, что в этом отношении современная молодежь далеко опередила все, что было раньше. И это, как устанавливает история, всегда бывает после больших войн и революции.

В институте всегда идет борьба с этим. Классные дамы следят за воспитанницами и принимают меры к тому, чтобы они не имели общения с местными гимназистами и даже с «шегертами» (приказчиками). Конечно, гимназисты, кадеты, студенты (мадьяры, сербы и русские тоже) не пропускают институток, чтобы не переглянуться с ними (а институтки тоже стреляют глазами), а при случае и сунуть в руки записочку. На прогулках, в особенности в роще, сплошь и рядом институтка скроется *с* глаз классной дамы и благополучно прогуляется тет-а-тет с гимназистом, скрываясь за кукурузой или вековыми деревьями. В большинстве случаев это носит невинный характер.

Говорят, что это было и раньше, или, вернее, всегда, но только делалось это иначе - и более скрытно, и более сдержанно. Теперь это вынесено из пределов институтской жизни. Падение нравов и распущенность, охватившие теперь чуть не весь мир, конечно, отразились и на преждевременном развитии юной молодежи. Пример, который видят дети, подростки и молодые барышни, не проходит для них безрезультатно. Они отлично слышат и видят, что творится на белом свете. На их глазах происходят семейные драмы, кончающиеся разводом, браками и просто сожительством на глазах детей. На их глазах идет флирт, ухаживания, романы, а кинематографические картины, на которые водят матери своих детей, учат их не только тому, как надо целоваться и обнимать, но идут и дальше этого.

Учащиеся, конечно, в курсе событий местной жизни и так же, как и взрослые, интересуются и обсуждают все интрижки. Я случайно узнал, что одна из воспитанниц старших классов (Л. А.), очень любопытная, садится нарочно на парту возле уголка в коридоре, где собираются классные дамы, и, делая вид, что она занимается, слушает, что говорят между собой дамы. Таким образом, все пересуды, сплетни, интриги делаются достоянием всего института. «Ну да и чистят они друг друга», - рассказывает потом дома в Белграде воспитанница, имея в виду классных дам.

А местная жизнь с ее ссорами, дрязгами, сплетнями! Она не ускользает от учащихся, а в иных случаях они не только выражают свои симпатии и антипатии тому или другому лицу, но и принимают активное участие в интриге. Пример старших в этом отношении просто губителен, и невольно становишься в тупик. Неужели они этого не понимают? Еще хуже, когда в Новый Бечей приезжают погостить бывшие воспитанницы и, по правде сказать, и некоторые матери. Они, конечно, приглашаются к общему столу

в столовую и таким образом показываются во всей своей красоте институту. Накрашенные, как куклы, стриженые, оголенные по-модному до последней степени, они представляют такой контраст в этой обстановке старого режима, что бывали случаи, когда вся столовая ахнет при виде такого экземпляра.

Так было на днях, когда в институт приехала бывшая воспитанница института С., которая, вернувшись из Парижа, открыла в Белграде кабинет маникюра и физической красоты. На нее было стыдно смотреть. Даже ресницы у нее были искусственные. Я видел, как замерло у всех дыхание, когда она вошла в столовую. На нее смотрели во все глаза, как на диво, - одни восторженно, другие с иронической улыбкой. «Вот какая теперь должна быть женщина», - говорила вся ее наружность. И это был отличный пример для девочек.

И тем не менее все-таки учащаяся молодежь живет своей жизнью, своими традициями, своим укладом жизни, который трудно сказать, кем направляется. О воспитании молодежи в беженстве, конечно, не может быть и речи, так как окружающая среда и внешкольные влияния сильнее отдельной личности воспитательницы. К тому же по нынешним временам воспитательниц нет и не может быть, так как дамы, служащие в институте, заняты своими личными делами и служат не из призвания, а ради куска хлеба, проклиная свою судьбу в беженских условиях жизни. Надзор - это все, что они могут дать.

«Не верь никому - ни старым, ни молодым». Этот лозунг, который проводится теперь и в политике, и в государственной жизни. Его повторяют и старые, и молодые, и подчиненные, и начальствующие лица, и озлобленные на судьбу воспитатели, и, конечно, учащиеся. Какое же воспитание может быть при таких условиях?

Воспитывает сам институт, и все зависит от традиций и подбора воспитанниц. Влияние какой-нибудь группы учениц или отдельной воспитанницы в институте колоссально. И я в этом убедился лично. Не так давно одна из переведенных из Донского института воспитанница переменила не только настроение своего класса, но и повлияла самым отрицательным образом на тот класс, который шел у меня лучше всех по музыке.

Вот что у меня записано по этому поводу в журнале: «Отлично играет модерные танцы, романы и фокстроты, вызывая общий восторг в институте. Она всегда у рояля, окруженная воспитанницами. “Вот это музыка! - раздаются голоса. - Это не то, что барабанит М. Бразоль, разные этюды Баха, Бетховена, Моцарта”».

Влияние М. в институте огромное. Все завидуют ей и хотят

играть так, как играет она. «Зачем преподаватель дает нам всякие скучные вещи? И без них можно научиться играть». Лучшие ученицы подпали под ее влияние и, конечно, бросили серьезно заниматься музыкой. С большим трудом мне удалось, как говорится, спасти положение, но все же некоторые мои ученицы к роялю не вернулись.

Не только в области музыки М. имела губительное влияние. Она задавала тон и в жизни института. Весь IV класс, можно сказать, обожал М. и прислушивался к ее голосу. Энергичная, резкая, с черными как смоль глазами, стриженая, она проповедовала девочкам современные направления и, как чистая реалистка, заражала своим примером девочек-подростков. М. была опасным человеком в институте, но, к сожалению, она осталась неразгаданной и даже сумела снискать себе особое расположение начальницы института и классных дам.

Вообще влияние отдельных лиц в институте проявляется очень часто и очень сильно. Есть, например, в III классе девочка лет четырнадцати, большого роста и полная. Когда класс идет по парам, то ее можно принять за классную даму. Властная, с характером, она считается своенравной и потому не в фаворе у начальства. Ее классная дама говорила мне, что это такая властная и настойчивая девочка, что с ней очень трудно бороться. «Я говорю, пойдем направо, а она говорит - нет, пойдем налево» - и все классы идут за ней. Она увидела как-то у одной одноклассницы пудру. «И это девчонка тринадцать лет уже пудрится. Недурно! Какое безобразие!» - заговорила она. Пудра была высыпана, а те, у кого была пудра, попрятали ее, боясь не классной дамы, а морального гнета Нины.

В ее классе произошел скандал. Девочки затеяли переписку с гимназистами сербской гимназии. Нина со своей компанией ополчились против этой группы девчонок, как выразилась она, и объявили им бойкот, чтобы они не портили репутацию института. Нина морально действует отлично на свой класс. Влияние ее надо признать в высшей степени благотворным, но сама она не любит подчиняться, и на этой почве у нее всегда происходят недоразумения с классными дамами.

Умная и резкая, она уже теперь наметила путь в жизни - медицинский факультет. «Я буду доктором», - твердым голосом, без запинки говорит она. Нина ничего не пропустит и строго осудит каждого. Влияя в этом направлении на подруг, она вместе с тем сама непочтительна к старшим и авторитет их не признает, то есть это современная барышня. И таких, как Нина, в институте много, но только одни влияют хорошо, другие - плохо, создавая в классе то или иное настроение. И надо сказать, что все-таки

хорошего больше, чем дурного.

Каждый класс имеет свой колорит, свой характер и свое направление. Интересно, например, что весь класс повторяет одну и ту же фразу или выражение, заражаясь примером подруг и подражая им. Иногда это явление распространяется на весь институт. Когда я приехал в Бечей, то меня поразило, что почти все воспитанницы, и старшие и младшие, вставляют в разговор выражение «в общем»: «В общем, мы ходили сегодня гулять», «В общем, я получила сегодня кол». Одно время в моде было слово «ненормально». Теперь они говорят: «дивно», «дико», «жутко», «жуть». Есть и общие для института шутки, как например: «Роман с контрабасом». Это означает какое-нибудь происшествие: «Ну и был сегодня роман с контрабасом» (чеховский рассказ).

Подражание - это, конечно, явление не новое, в особенности в общежитии и юном возрасте, но в данном случае вопрос сводится к влияниям, которым, как гипнозу, легко поддается теперь не только молодежь, но и взрослые люди. Живя в условиях затворнической жизни, институтки набрасываются на нового человека (конечно, мужчину), безразлично, молодого или пожилого, и первое время находятся под обаянием этого нового лица. Иногда это доходит даже до обожания (выражаясь по-институтски) или увлечения.

Но этот порыв скоро проходит, если это новое лицо не сумеет использовать настроение для своего дела и установить те отношения с учащимися, при которых у воспитанниц остается любовь к данному предмету и влияние преподавателя. Меня встретили именно так.

Первый мой именинный день в институте - это был для меня большой праздник. Я получил около сотни записок с поздравлением в розовых и других цветов конвертах. Мой письменный столик возле рояля был убран цветами. От некоторых классов я получил поздравительные плакаты с отличными рисунками.

Это была большая победа. Девочки 9-12 лет писали: «Дорогой Дмитрий Васильевич, поздравляю и желаю скорого возвращения на Родину». Другие прибавляли: «Обещаю хорошо учиться», «даю слово, что буду хорошо заниматься». Некоторые желали здоровья и т.д. Эти записочки в сотнях экземплярах я храню как память. Юная молодежь сравнивала меня с Чайковским потому, что я был такой же седой, как и великий композитор. «Не правда ли, он похож на Чайковского», - говорили воспитанницы своим классным дамам.

И, конечно, это настроение надо было поддержать. И его поддержала начальница института, сказав мне как-то: «Вы сумели

расположить к себе учащихся. Я первый раз вижу такую любовь к преподавателю. Они почувствовали, что вы делаете все для них». Теперь мои именины проходят обычно, но то, что я дал в начале, осталось в институте, по-видимому, навсегда. Это любовь к музыке и безусловный мой авторитет. Прошло четыре года, и те же девочки, которые теперь уже хорошо играют, по-прежнему пишут мне: «Поздравляю дорогого Дмитрия Васильевича» и «обещаю хорошо учиться». И они учатся отлично.

Что-то общее и, если можно так выразиться, коллективное (массовое) есть в этих порывах юной молодежи. Если одна, то все. Почти все - весь институт - захотел учиться музыке. Это было увлечение, захватившее весь коллектив. Это было модно, и довольно долго новый преподаватель музыки был центром общего внимания. Это было благородное, идейное увлечение, давшее весьма положительные результаты. Конечно, общий порыв, общее увлечение музыкой прошло, но осталось ядро, то есть целая группа воспитанниц, продолжающая серьезно и с любовью заниматься музыкой. Эта группа всегда пополняется, и таким образом дело сделано. Музыка в Харьковском институте процветает.

Почти одновременно институт коллективно переживал и другие влияния. Священник С. Ноаров, фанатик и аскет, как говорили о нем, пользовался большой популярностью, в особенности среди воспитанниц младших классов. По первому впечатлению его влияние было в высшей степени благотворным. Развивая религиозное чувство и уважение к религиозным обрядам, он воспитывал детей в православной вере, внушая им необходимость общения с Богом во всех случаях жизни. Молитва - это прежде всего. И он научил их молиться. Впечатление было хорошее. Дети чинно стояли в церкви, сосредоточенно молясь и глубокомысленно осеняя себя крестным знамением.

Правда, как-то странно было видеть детей, фанатически выстаивавших на коленах и бьющих поклоны до земли, но это объяснялось утрировкой и созданным настроением.

Дети были настроены в высшей степени религиозно, убежденно отстаивая идеологию, внушаемую им батюшкой. Соблюдение поста, таинство Причастия, исповедь, молитва выполнялись ими с благоговением, серьезно, и было видно, что это делается искренно. Все как будто шло хорошо и благополучно. Влияние священника было огромное. Он раздавал воспитанницам Евангелие, заставляя читать его по утрам и вечерам. Он раздавал им нательные крестики и иконки. Дети любили его.

Тем не менее отец Ноаров не пользуется расположением

начальства. Батюшка шел против начальства, сказала мне начальница, и возбуждал воспитанниц против воспитательниц. Танцевать - это грех. И он требовал на исповеди от воспитанниц, чтобы они не ходили на танцевальные вечера, устраиваемые начальством. Он не признавал также хорового пения в церкви. Пение в церкви мешает только молиться, говорил он. От детей он требовал полного аскетизма и отречения от светской жизни.

Воспитанницы, конечно, терялись и не знали, как поступить. Отказаться от танцев - это было выше их сил. Отказаться от удовольствий -тоже не хватало воли. Что же делать? И вот первая Верочка Николенко, III класс, нашла выход из положения. «Я по окончании института иду в монастырь», - сказала она мне. Весь III класс потом собирался идти в монастырь. Все это, конечно, были пустяки, но было ясно, что батюшка будировал и восстанавливал воспитанниц против начальства. Скорее, чем я думал, начальница предложила О. Ноарову оставить службу в институте. Конечно, воспитанницы не знали всего этого и долго еще находились под влиянием о. Ноарова, и влияние это все-таки было хорошее.

Все плохое отпало с его уходом и осталось одно только положительное. Еще долго девочки собирались поступать по окончании института в монастырь. Возле каждой кровати в дортуарах можно видеть следы влияния о. Ноарова. Воспитанницы любят иконки и крестики, подаренные о. Ноаровым, и берут их, как память о нем. У каждой есть Евангелие, подаренное Ноаровым. Почти в каждом альбоме есть рисунок и надпись его. Отец Ноаров писал стихи духовного содержания, и в этих альбомах можно видеть его произведения. Он и в этом отношении влиял на девочек.

Вот произведение одной девочки II класса, находившейся всецело под влияниям отца Сергия:

Зачем за ним гонялись люди?
Зачем гонялись за Христом,
Зачем старались погубить Его пречисту, светлу душу?
А вот затем!
Они ведь знали, что Иисус Имеет больше ихней власти,
Они ведь знали, что писал Моисей о Господе Иисусе.
Они видали, что за дела Творит Иисус Христос повсюду,
Но только зависть их брала,
Что человек есть гораздо выше.
Они считали, что если человек Из рода Авраама,
То значит удостоен он Войти во Царствие Христова.
Когда ж Иисус им говорил,

Что думы их не правы,
Они смеялись лишь над ним И в нуль слова те обращали.
Как Иисус Христос спокойно Мученья все эти сдержал,
И как молился, умирая,
За тех, кто жизнь его предал.
* * *
И вот пример хороший нам
Быть кротки, тихи и смиренны
И за врагов своих страдая
Молиться Богу за их грехи.

Находясь под влиянием о. Ноарова, эта девочка, как живая и впечатлительная, не могла все-таки отрешиться от светской жизни и разделяла светское настроение своего класса.

Теперь девочки слишком рано начинают понимать жизнь; это, конечно, не подлежит сомнению. Но таков уклад современной жизни, и никакое воспитание не сможет удержать их от этого. Сдержанность и приличие -это все, чего можно требовать от них. Но и здесь условия для этого в высшей степени неблагоприятные. Если их классная дама, стриженая, в юбке выше колен, приходя с девочками 12-13 лет в столовую, ежеминутно вынимает из ридикюля свое зеркальце и смотрится в него, подчас и освежая свое лицо пудрой, то и девочка права, делая то же самое.

Почти все институтки имеют в кармане маленькое зеркальце, а иные и пудру. Очень часто приходится видеть, как воспитанницы, стоя в столовой на своих местах в ожидании молитвы, а то и просто за обедом, вынимают из кармана зеркальце и, поднося его к лицу, быстро взглядывают в него и тотчас прячут обратно. И это делают не только старшие воспитанницы, но и маленькие. Очевидно, младшим это не разрешается, так как они проделывают это, скрываясь за спины подруг и повернувшись спиной к классной даме. И это они делают везде - на улицах, в дортуарах, на вечерах и

даже в классе, но в этих последних случаях бывает так, что классные дамы отбирают у воспитанниц их зеркальце и назад не возвращают. Но, конечно, у воспитанницы появляется другое зеркальце.

Одним словом, дети проделывают то, что теперь принято всюду. Ведь дамы и барышни всех возрастов, не стесняясь публики, подкрашиваются на глазах присутствующих. Очень часто и дамы, приезжающие к своим детям в институт, то есть матери, не только пудрятся, но и накрашивают губы при детях.

Вот это и служит примером для воспитанниц. Кокетство, это врожденное каждой женщины с самого раннего возраста качество, теперь несомненно обострилось. И в этом отношении юная молодежь (подростки) безусловно признается преждевременно развитой. И с этим явлением надо считаться.

Надо научить сдерживать свои чувства, а не подавлять их, ибо из этого все равно ничего не выйдет. С глубоким возмущением мне говорила как-то классная дама IV класса: «Помилуйте! Эти девчонки 13-14 лет, выходя на прогулку, уже на подъезде ищут глазами кавалеров. Им все равно, будь это гимназист, шегерт (приказчик), какой-нибудь колбасник, парикмахер и т.д.». В этом отношении современная молодежь вообще по -теряла способность ориентироваться и только разбирается в обстановке общественного строя жизни.

Впрочем, иногда приходится видеть и сознательное отношение к этому вопросу, разрешаемому с точки зрения современного демократизма. «Не все ли равно, кто он такой. Он мужчина, вот и все». Может быть, конечно, эти суждения исходят от небольшой группы воспитанниц, но такое направление есть, и я верю тому близко стоящему к хозяйственной части института служащему, который с возмущением говорил мне, что некоторые институтки старших классов вели себя крайне развязно со штукатуром, работавшим в дортуаре, и держали себя с ним, как с равным. Был и другой случай, когда барышня заинтересовалась простолюдином - болгарином, служившим по уборке столовой.

Конечно, это все отдельные случаи, но они ясно указывают, что в общественном строе жизни произошел сдвиг. Повсюду теперь происходит переоценка ценностей, говорят нам. И вот она и здесь вырабатывает новые взгляды на жизнь. И это там, где создано привилегированное положение. Русские институты, вывезенные в Сербию, как-никак сохраняют и здесь свои традиции и должны дать в будущем кадры русских женщин, воспитанных на прежних началах высококультурной и светской, если можно так выразиться, жизни.

Уже одно упущение сделано. Иностранные языки в этих институтах заброшены, хотя по традиции и существуют французские и немецкие дежурства классных дам, но фактически они говорят по-русски, и институтки уже языков не знают. Сохранился еще внешний лоск воспитания, который так присущ русской женщине. И в этом отношении надо сказать, что институтки производят отличное впечатление. В большой степени это объясняется наследственностью, которая сказывается в подрастающем поколении. Врожденная грация, изящество, а отсюда и манеры, всегда отличали русскую девушку. Говорят,

например, что русской женщине здесь трудно купить обувь по ноге, так как готовая обувь рассчитана на толстые, неуклюжие, плоские ноги. Но не только это. В самом лице и в выражении лица русской девушки есть какой-то особый отпечаток интеллигентности.

Вот что по этому поводу говорил мне мой брат Николай Васильевич (психолог), профессор Белградского университета, посетивший в прошлом году институт. Он встретил тогда по пути на пароходе в Панчево экскурсию какой-то Белградской женской гимназии. «Ты не можешь себе представить, какая громадная разница во внешнем облике нашей учащейся молодежи и той молодежи, которую я видел вчера на пароходе», - говорил он, пытливо рассматривая сидящих за столами институток. «Какие это все были простые лица и по внешнему виду неинтеллигентные люди. Разве их можно сравнить с нашими», - сказал он.

Мой брат прочитал в институте лекцию, после которой по обыкновению его окружили воспитанницы, беседуя на разные темы. «Как приятно побыть в такой интеллигентной атмосфере учащейся молодежи», - сказал мне брат, уезжая из Бечея. Для меня эта лекция о трансцендентном мире представляла исключительный интерес, потому что она была прочитана братом на тему, которую я задал ему. И вот почему.

Этой зимой я заметил, что мои ученицы IV класса чем-то взволнованы. В разговоре их между собою, а также из отдельных фраз со мною я уловил какое-то злобное отношение к преподавателям и ироническое отношение к преподаваемым им наукам. «Что за чушь! Как может астрономия высчитать, сколько верст до Марса, - сказала мне одна воспитанница. - Это все выдумывают, чтобы морочить нас. Мы не верим им. Они отрицают существование Бога. Это возмутительно, стоит ли после этого жить, когда люди придумали какой-то атом вместо Бога?»

Я долго не мог понять, откуда это появилось у них. Кто-то на них влияет. Это было для меня ясно. Сначала я предполагал, что это последствия влияния священника о. Ноарова, но как-то случайно я заметил у моих учениц книгу, которая переходила из рук в руки и с жадностью читалась ими. Я услышал разговор о том, что книгу эту невозможно получить и некоторые читают ее по ночам. Я решил тоже достать эту книгу.

И вот с трудом, только на одну ночь, мне дали эту книгу. Это было известное сочинение М. Корелли - «Могущественный атом (История детской души)», на которой рукою библиотекаря было написано «для персонала», то есть это означало, что воспитанницам эту книгу читать не полагалось.

Прочитав за одну ночь эту книгу, я понял все. «И мальчик прав, что повесился. Так жить не стоит», - возражали мне воспитанницы, когда я старался доказать им, что теперь наука вовсе не отрицает существования Бога. Мне не верили. Весь IV класс был возбужден этой книгой и переживал в голове сумбур. «Науки никакой нет. Это вы (взрослые) все выдумали. Мы ненавидим профессоров, придумавших какие-то атомы вместо Бога». Весь IV класс ополчился против науки и профессоров.

Как раз к этому времени прибыл мой брат, профессор. «Да, - сказал он мне, - бывали случаи, когда такие коллективные переживания приводили к эпидемии самоубийств, как это было не так давно в Крымском кадетском корпусе. Не следует таких книг давать для чтения в таком возрасте». Я наблюдал во время лекции за IV классом и видел, как они были поражены, когда профессор затронул эту тему. Многие догадались - это сказал ему Дмитрий Васильевич. Насколько разубедила их эта лекция, трудно сказать, но факт тот, что IV класс успокоился, и больше этот вопрос не затрагивали.

Но интереснее всего в этой истории то, что про нее ничего не знали те, кому это надлежало знать. Так далеко стоял воспитательный персонал от детской души. Как попала эта книга детям - это тоже не знал воспитательный персонал. По установленному в институте порядку руководство чтением существует, но в жизни оно проводится слабо.

Очень часто класс сидит без книг, так как получение и перемена книг в библиотеке сопряжены с большими затруднениями. Один класс получит книги, другой нет. И вот книги буквально выхватываются из рук друг друга. Старшие воспитанницы берут книги у младших, а младшие у старших. Читают что попадется, без системы. И бывает так, что девочка не читала еще Пушкина и Лермонтова, а читает уже Лапо-Данилевскую и Вербицкую.

Библиотека при институте отличная. Книг сколько угодно, но чтение неорганизованно. Очень часто, в особенности в каникулярное время и на праздниках, когда девочки могли бы почитать, они томятся без книг. Дома в каникулярное время еще хуже. Русские беженцы, в особенности живущие вдали от центра, доставать русских книг не могут. И вот наши барышни, находящиеся в отпуске, вовсе не читают или читают случайно попавшиеся в руки книги или фельетоны и газетные приложения. Я видел в руках одной своей ученицы целые фолианты газетной бумаги. Оказалось, что это вырезанный из газеты очень длинный бульварный роман, который потом был в институте нарасхват.

Потребность в чтении у молодежи громадная. «Нет ли у вас чего-нибудь почитать?» - всегда спрашивают меня мои ученицы. Воспитанницы, несомненно, требуют умственной пищи и охотно занимались бы даже науками, если бы это не было так трудно. Обширную программу тех знаний, которые должны получить воспитанницы, чтобы иметь матуру в Сербии, никто преодолеть не может. Преподаватели гонят вперед, не считаясь ни с силами учащихся, ни с временем. Воспитанницы перегружены работой. Времени на приготовление уроков нет. Бывают дни, когда на приготовление уроков остается всего 40 минут, так как кроме научных занятий воспитанницы имеют музыку, пение, танцы, рисование, рукоделие, изучают печатание на машинке, участвуют в репетициях, имеют разные дежурства и т.д. Это сказала мне сама начальница института.

И вот воспитанницы выбирают, что приготовить на завтра и чего можно не готовить. Учат уроки тому преподавателю, который более требовательный и строгий, и по тому предмету, по которому могут спросить. Получается пробел и хаос разрозненных и поверхностных знаний, схваченных на лету и не дающих прочного фундамента для дальнейшего прохождения курса. Воспитанницы приспособляются, развивая хитрость и приучаясь к обману.

Уроков боятся панически даже те, кто их приготовил, так как, даже выучивши урок, можно получить кол. Нервы напрягаются до последней степени. Спросит или не спросит - это ужасный момент. Когда учитель смотрит в журнал или обводит глазами класс, выбирая таким образом жертву, у всех замирает сердце. Пульс доходит до 120. В классе водворяется такая тишина, что «муха пролетит - слышно». Многие не выдерживают взгляда учителя и, потупив глаза, выдают себя. «Госпожа, госпожа...» - начинает учитель. Сердце перестает биться. К. Смирнская VIII класса говорила мне, что в этот ужасный момент просто судорожно впиваешься руками в соседку и так застываешь, пока не будет произнесена фамилия. Миновало! И это каждый день.

Почти каждый урок не менее страшен и самый ответ, в особенности когда учитель, добиваясь ответа, берется уже за ручку, готовясь поставить кол. «Ну, ну!..» - вытягивает он ответ, и перо уже прикасается в соответствующей графе журнала. «Жутко». Язык прилипает к гортани. Самый страшный предмет в этом отношении - это математика. Перед ней все трепещут. «Боже, какой ужас. Сегодня письменная по алгебре». И видишь неподдельное страдание на лице. Какие же нервы надо иметь, чтобы выдерживать это испытание. «Скорее бы кончить институт, чтобы уйти от этого кошмара», - говорят воспитанницы.

Картина эта не новая. Мы все это испытали сами и можем сказать, что до сих пор нам снятся кошмары из гимназической жизни. Но Боже сохрани сказать об этом громко. Надо молчать и притворяться, что ничего не видишь и не знаешь. Но нам было легче. Это все сознают. И программа была меньше, и свободного времени было больше. В России уже давно поняли неправильность этой системы учения, а последнее время при министерстве графа Игнатьева была сделана колоссальная реформа, уничтожившая все старые методы преподавания.

Здесь, в Сербии, конечно, все идет по-старому. Мы приняли их систему. Это было необходимо, но, к сожалению, мы несомненно усугубляем свое положение чрезмерным усердием. Ссылаясь на обязательную программу, мы вводим сами много лишнего. Каждый преподаватель доказывает, что его предмет самый главный, и задает непосильные уроки, не считаясь с тем, что другой задал еще больше.

Большое зло в институтской жизни - это так называемая peison. Это исковерканное латинское слово peisum, что значит урок-задание. Это дисциплинарная мера - наказание, которое находится в руках классных дам. За каждый пустяк-провинность на воспитанниц накладывается peison, то есть провинившейся воспитаннице классная дама задает какой-нибудь урок, например выучить на иностранном языке стихотворение. При слабом знании иностранного языка, конечно, такой урок очень труден, так как воспитанница учит стихотворение, не понимая того, что учит, и запоминает его по звучанию. Классная дама не считается с тем, что у такой воспитанницы много уроков на завтра. Выучи peison во что бы то ни стало.

Это «нечестно», говорят воспитанницы. Это слово в большом ходу в институте. Оно означает несправедливость, неправильность, пристрастие. Учитель нечестно поставил кол. Классная дама нечестно дала peison и т.д. Просто руки опускаются, говорят воспитанницы. Берешься за одно - другое стоит неготовое, возьмешься за другое, остальное не готово. А время идет, и все надо делать спешно, скоро. Подумать, порассуждать некогда. Схватили верхи, и рады.

И это то, что говорил мне профессор Серебряков в Белграде. Образовательный уровень нашей молодежи понижается. Когда мы приехали сюда, наши студенты были лучшими в университете, так как они имели отличную подготовку и умели работать. Теперь, благодаря расширению программы, в средних учебных заведениях развилась поверхностность в усвоении знаний. Работать вдумчиво, систематически нынешние студенты уже не умеют. И вся ответственность в данном случае падает на

руководящие круги, которые, не учитывая особенности нашей русской культуры, преследуют цели, не соответствующие нашему национальному самосознанию.

«Мы - сербы», - говорит заведующий русскими учебными заведениями в Державной комиссии, профессор Харьковского университета Кульбакин. И он готовит нашу молодежь не к возвращению на Родину, а как будущих сербских граждан. «Я не хочу сказать, - говорил мне профессор Серебряков, - что молодежь наша умственно неразвита, напротив, разумею только знания». Знания уменьшились, а не увеличились, как равно не имеет эта система значения для общего развития.

Нельзя не согласиться с тем, что молодежь теперь вообще очень развита умственно, но это дает опять-таки не учебное заведение, а сама жизнь. Житейский опыт. Может быть, это не умственное развитие. Но поражает то, что в этом отношении детей теперь нет. Девочка 12-13 лет рассуждает как взрослая. Конечно, очень часто она обнаруживает незнание и непонимание простых, казалось бы, вещей, но пустите ее в гостиную, и она будет поддерживать разговор так же, как и светские дамы, а может быть с нею, если она несколько старше, даже интереснее вести беседу, чем со взрослыми женщинами.

Учащаяся молодежь всегда в этом отношении была интереснее, а теперь она стала еще интереснее, так как только с нею можно поддержать разговор, выходящий из пределов беженских интересов. Скажу, например, что в моей области знаний, то есть в музыке, здесь в Бечее я могу говорить только с учащейся молодежью. Только они, эти девочки и барышни, любят и понимают музыку. Мне могут возразить, что они недостаточно подготовлены, если их удовлетворяет моя обыкновенная, не концертная игра на фортепьяно, но в том-то и ценность, что они прислушиваются без критики не к виртуозности игры, а заинтересовываются самим произведением композитора. У многих есть свои любимые вещи, свой любимый композитор, которого они готовы слушать когда угодно.

Меня поражает всегда, когда я вижу, что девочки 12-13 лет (я не говорю уже о более старших) отлично понимают и чувствуют такие сложные вещи, как произведения Бетховена, Шопена, Рахманинова. Правда, многие из них слышали музыку в детстве у себя дома еще в России, но ведь они были тогда маленькими детьми. И вот эта аудитория дает гораздо больше удовлетворения, чем аудитория взрослых. Я часто говорю им: «Нет, эту вещь я не могу сыграть. Я забыл ее, я отстал». «Но пожалуйста, как-нибудь», - настаивают они. И вот играешь без подготовки, с ошибками. И что же? Аудитория довольна. «Какая

прелестная вещь», - говорят они. Вот в этом и заключается музыкальное развитие и понимание музыки.

И как после этого убого звучит критика взрослых, которые слушают не произведения композиторов, а то, насколько бегло играет исполнитель. Да к тому же им и не до музыки. Они поглощены личною жизнью, и их это мало интересует. И... я должен сказать, что в этом отношении воспитанницы стоят неизмеримо выше своего воспитательного персонала, многие из которого откровенно сознаются, что не понимают и не любят музыки.

Есть, впрочем, и такие, которые не хотят сознаться в этом и говорят, что привыкли слушать только первоклассных артистов, а эта музыка их не удовлетворяет. Но все отлично знают, что вся жизнь их прошла в провинциальном городке, куда не только первоклассный музыкант не поедет, но где вообще-то музыку услышать нельзя.

В обществе взрослых людей теперь скучно. Умственный их багаж за время беженства не увеличился, а иссяк. Нового они ничего не приобрели, а живут прежним, то есть тем, что было у них там, в далекой России. Но так как это прошлое становится уже отжившим, никому не интересным, то и эти люди носят отпечаток чего-то отжившего и становятся никому не нужными. Я говорю, конечно, в общем, касаясь главным образом провинции, где люди поневоле опускаются.

У учащейся молодежи этот умственной отсталости нет и не может быть, потому что прошлого у них мало, а живут они тем, что получают, то есть все новыми и новыми познаниями, которые дает им школа. Здесь, в кругу учащейся молодежи, поневоле вспомнишь и «Плач Ярославны», и «Домострой», и комедию, и драму, и классическую литературу. Тут вспомнишь и Пифагорову теорему, и Цицерона, и даже латинские предлоги.

Мне лично приходится, например, очень часто вести с воспитанницами беседу по истории музыки, сопоставляя биографию композиторов с жизнью наших писателей. И я воображаю, какое впечатление я произвел бы в обществе, если бы вдруг я заговорил с кем-нибудь из дам о Достоевском, Тургеневе, философии Гегеля, Канта и попробовал начать разговор о психологии хотя бы детской души.

Между тем учащиеся живут этим, и превосходство их в этом отношении не подлежит сомнению. «Вы читали такую-то книгу?» - часто спрашивают меня воспитанницы, и я должен сказать свое мнение, в особенности там, где этот вопрос связан с неподдельным интересом. К счастью, редко мне приходится попадать впросак и ронять себя в глазах своих учениц. И,

конечно, с таким вопросом они не обратятся хотя бы к своей классной даме, потому что они отлично знают, что она книг не читает, а все, что учила когда-то, забыла.

Да и уровень знаний их ничтожный по сравнению с теми знаниями, которые как-никак получает теперь наша учащаяся молодежь. Ни логарифмов, ни латыни, ни аналитической геометрии дамы раньше не проходили, да и много другого они не учили. Теперь воспитанницы напичканы этими знаниями и приравниваются по своему научному развитию к мужчинам.

Все это в связи с веянием времени привело современную молодежь к беспощадной критике и, я бы сказал, неуважению к старшим. Кто привел к гибели их Родину? В этом она не отдает себе отчета, но в общем винит старших вообще. И это касается не только русских людей. Я был поражен, когда одна воспитанница, которой еще не было 14 лет, спросила меня, почему теперь так часто сменяются правительства. Неужели люди не могут перестать ссориться? В парламентах даже дерутся. Там же сидят взрослые люди. Как же можно уважать таких людей?

Имена Керенского, Милюкова известно хорошо детям. Над Керенским они смеются, а Милюкова презирают. И это не политика, а критика. И, надо сказать, критика справедливая. Пусть люди ссорятся в Новом Бе-чее - это понятно, но ведь то же происходит в крупных культурных, государственных центрах, говорят девочки. Милюков - профессор... И вот авторитет ученых людей падает. А священники - духовенство. Они не только ссорятся между собою, но даже вводят раскол, отступаясь от православной веры .

Это все примеры, и становится стыдно, когда воспитанницы говорят: «У нас в институте девочки ссорятся между собою меньше, чем грызутся между собою старшие». И в этом отношении старшие не щадят детей, вовлекая их в интригу. Иногда это превышает всякие границы. Есть в Бе-чее одна озлобленная донельзя дама лет под сорок, которая привлекается очень часто к замене отсутствующих классных дам и потому <является> очень близко стоящей к институту. Она ненавидит всех, а институтских преподавателей ругает бранными словами. Все они с.чь. Среди них нет ни одного порядочного человека, говорит она.

По ее словам, она находит утеху только в общении с учащейся молодежью, но и здесь она держит себя неровно. Малейшее что-нибудь не по ней, и она ненавидит и девочку, но, как хитрая по природе женщина, она, конечно, сдерживает себя и старается скрыть это от других. Заискивая перед воспитанницами, она приобрела некоторые симпатии. И вот она буквально поносит

весь педагогический персонал института, восстанавливая воспитанниц против их наставников. И она не понимает, что причиняет вред не преподавателям, а прежде всего воспитанницам, разочаровывая их в жизни и делая их озлобленными.

Она уже достигла цели. В этом году целая группа воспитанниц кончила институт, унося с собою привитую этой дамой злобу против своих учителей. Они уехали из Бечея, даже не простившись с ними. Мне всегда страшно за своих учениц, которых она не любит. Чувство злобы, которое теперь болезненно обострилось у всех, привело людей к страшной раздражительности, и в этом отношении они потеряли всякое чувство меры.

В обществе нет спокойного разговора. Противоречий и возражений никто не терпит, и в результате видим почти всюду обостренные отношения людей между собою. В педагогике раздражительность недопустима -это всем известно. И тем не менее на каждом шагу мы видим нарушение этого основного принципа воспитания, представляющего отвратительный пример для подрастающего поколения. Раздражительны все. Есть, конечно, более раздражительные, и менее раздражительные, и вовсе не сдерживающиеся. Очень часто эта раздражительность бывает смешна, то есть человек делается смешным.

Но очень часто со стороны бывает и больно смотреть, если эта раздражительность срывается на воспитанницах, и в особенности на маленьких девочках. Требуя от воспитанниц сдержанности, взрослые люди сами не владеют собою. Боже сохрани, если воспитанница проявит свою раздражительность. Она этого не смеет. Не так давно - это было, когда перед ужином я закончил урок музыки с одной ученицей 13 лет, - когда ее класс вошел уже в столовую и стал на свои места, «Ценка» (таково прозвище этой девочки), собрав свои ноты, пошла на свое место. И я видел, как ее классная дама буквально набросилась на нее и, размахивая руками и топая ногами, что-то кричала ей. Фигура этой дамы, изгибавшаяся перед девочкой, была смешна. Лицо ее было искривлено от злобы, а голова ходила во все стороны. Я не знаю, в чем провинилась девочка, но она спокойно стояла перед возбужденной женщиной, и только крупные капли слез текли по ее щекам.

На днях был другой случай, и тоже у меня на уроке. Одна девочка 13 лет поменялась со своей подругой временем урока музыки, забыв, что в этот час она имеет частный урок с классной дамой по французскому языку. И эта дама пришла за ней и в моем присутствии кричала на нее на всю столовую. Девочка, стоя

на своем месте и у рояля, спокойно слушала этот крик и только сильно покраснела. И эта пожилая женщина была смешна, как вообще бывает смешон человек, вышедший из себя.

Конечно, бывает и так, что воспитанница огрызается, но тогда «пожалуйте к начальнице», и нередко бывает, что девочка стоит после этого во время обеда на эстраде возле персональского стола. Это наказание считается весьма тяжким, и я слышал, как говорила начальница, что после третьего раза вопрос возникает об удалении такой девочки из института. Этого наказания воспитанницы боятся еще и потому, что стоять во время обеда на эстраде как-то стыдно, в особенности если это великовозрастная воспитанница.

У раздраженного человека вообще своя логика или, вернее, отсутствие логики. «Ты смеешь еще дерзить», - следует ответ, если девочка начинает оправдываться. «Да я говорю правду», - говорит девочка. И в результате она получает «peison». Молодежь чутка к несправедливости, и в этом отношении она отлично разбирается во всех мелочах повседневной жизни. «Это нечестно», - говорят они в ответ на несправедливость.

Переобремененные занятиями, дежурствами, уроками, письменными работами и вечно находясь под страхом быть наказанной или получить неудовлетворительный балл, воспитанницы, конечно, нервничают и тоже делаются раздражительными. Но это не та раздражительность, которая исходит из злобного состояния вообще. У них злобы нет. Конечно, воспитанница злится на учителя, если он поставил ей кол. И сегодня она даже ненавидит его, но это временное состояние, вызванное данным случаем.

На праздниках и летом, дома, это злобное чувство совершенно проходит. Нет и раздражительности, которая была в институте. Правда, бывает и так, что родители не узнают своих детей. «Почему ты сделалась такой раздражительной и нервной?» - спрашивают родители. И девочка первое время огрызается, как в институте.

Конец четверти - это самое тяжелое время институтской жизни. «У меня появились седые волосы в эту четверть», - сказала мне одна воспитанница. Конечно, в будущем эти переживания сгладятся и по свойству человеческой природы обратятся даже в хорошее воспоминание. Весьма характерно, что при такой нервности и раздражительности в институте почти не наблюдается истеричности. Есть девочки вспыльчивые, невоздержанные, капризные, но таких проявлений, которые можно было бы назвать истеричностью, нет. Мне приходилось видеть, как воспитанницы плакали навзрыд, и начальница

говорила им: «Пожалуйста, без истерики». Но это был плач, а не истерика.

Я вообще заметил, что во время революции истеричность уменьшилась. И это вполне понятно, так как она является последствием распущенности и баловства. Почему, например, мы не видали истерики ни во время эвакуации, ни во время обстрела городов большевиками, ни в трюмах пароходов, ни во время бегства от большевиков. Истеричность прежде всего требует внимания к себе. Если не обращать внимания на истерический припадок, то и припадка не будет. Истерика делается для других, а не для себя.

В институте отлично знают, что истерический припадок не привлечет к себе внимания окружающих, а, напротив, девочка будет за это наказана и, пожалуй, приобретет кличку припадочной. В разговоре со мною по этому поводу начальница вспомнила, что в бытность ее классной дамой в Смольном институте она очень часто имела дело с истеричными девочками, которые во время уроков музыки топали ногами и в раздражении бросали на пол ноты. Здесь этого нет, и начальница приписывала это моему спокойному характеру. «Нет, - ответил я, - истеричность, насколько я теперь слышу от русских ученых и докторов, была свойственна нашим русским избалованным женщинам. Теперь другие условия жизни. Можно быть неврастеником, но не проявлять своего раздражения в истерике».

Воспитанницы института, с самых малых до великовозрастных, живут скученно, по-беженски, в убогой обстановке бывшей мадьярской школы. Помещения тесны. В дортуарах, сплошь уставленных кроватями, проходит вся их жизнь. В одной комнате помещается до 30 человек. Воздух спертый, освещение тусклое. Клопов, несмотря на борьбу с ними, бесконечное множество. Утром, говорила мне ночная классная дама, в дортуарах такой воздух, что просто спирает дыхание, когда войдешь в эту спальню, а в коридоре иной раз нельзя дышать от запаха из уборной, которая не имеет вентиляции.

Уроки готовят, сидя на кроватях. Негде побегать, негде пошалить. В коридорах это не разрешается. И вот видишь, как иногда девочка просто скачет на месте, так хочется ей побегать и выявить избыток своих молодых сил. И мне сказала как-то одна из старших моих учениц, когда я провожал ее с урока в институт: «Ах, как хочется мне побегать здесь во дворе». «Счастливый! Вы пойдете сейчас гулять», - очень часто говорят мне мои ученицы по окончании вечерних уроков. Луна светит. Такая чудная погода...

Иногда такой подъем настроения захватывает весь класс. «Что-то они сегодня экзальтированны», - говорят классные дамы.

И действительно, иногда видишь, как к обеду или завтраку в столовую врывается, например, VII класс (наиболее шумный класс) и, обгоняя друг друга, толкаясь, занимает свои места. Стулья летят во все стороны. Посуда звенит. Ложки, вилки, ножи перекидываются с одного места на другое. Говорят громко, почти кричат. Раздается хохот и даже иногда взвизгивание. Классная дама теряется и стучит ножом о тарелку, а в устах ее уже звучит: «peisan, peisan».

Правда, это бывает тогда, когда в столовой нет старших, но я бывал свидетелем этих сцен, так как прихожу всегда в столовую раньше других. Настроение - избыток сил, столь естественные проявления в этих годах, конечно, подавляются в самом начале. И это необходимо, иначе бы не было сладу в этих тесных условиях жизни воспитанниц, но это приводит к весьма нежелательной группировке воспитанниц на спокойных и беспокойных (трудных, как здесь их называют).

«У нее плохой характер», - слышишь отзыв воспитательного персонала о такой девочке. В действительности это не так. Она просто живая, здоровая, крепкая девочка с характером и свойствами самостоятельного человека, то есть с теми качествами, которые теперь так нужны человеку, но она неудобная и причиняет много беспокойства и требует внимания к себе. Девочка вялая, спокойная, болезненная, которую следовало бы немножко подбодрить и вселить ей энергии, конечно, причиняет мало хлопот классным дамам и потому служит образцом для других. Она шалить не будет.

«Перфетка» - так институтки называют особую группу воспитанниц, которые ведут себя примерно и угодливо по отношению к классным дамам. Она подаст и пальто классной даме, и подсунет ей тарелочку, а при случае выдаст и подругу, но этот тип был всегда в общежитиях и ничего нового не представляет.

«Я устала», - слышишь часто от классных дам эти слова. Конечно, нелегко вести класс в 30 девиц. И вот от этой усталости появляется брюзжание: «Не делай того, да не смей делать этого. Не так села, не так встала, не так пошла...» И все эти замечания делаются раздражительным тоном, с угрозами наказать. В книжечке отмечаются крестики, чер -точки и какие-то значки.

Иногда просто поражаешься этой мелочности и не видишь смысла в таких замечаниях. Я помню летом, сидя во дворе, я наблюдал за группой воспитанниц V класса, которые ждали, пока соберутся все, чтобы идти на гимнастику. Женя срывала листья лопуха и очень удачно хлопала ими, ударяя по ним рукой. Другая девочка, тоже лет пятнадцати, задумала проделать то же самое.

«Перестань, говорю тебе», - сказала несколько раз классная дама. «Слышишь, перестань», - повторила она. И девочка, конечно, перестала, а Жене почему-то это не запрещалось.

Тут же недалеко ходили по двору две девочки, и вдруг одна из них даже негромко рассмеялась. Во дворе кроме меня никого не было, а на улице это не могло быть слышно. «Перестаньте смеяться, говорю вам», - крикнула им классная дама. Я никак не мог понять, почему нельзя во дворе смеяться и играть в хлопушки. Очевидно, это замечание делалось по привычке. Девочки томились в ожидании предстоящей гимнастики. Почему бы им не побегать в этом дворе? Но томилась и классная дама, которой предстояло еще сопровождать институток на сокольскую гимнастику. Старушка устала. За целый день она набегалась, и ее, конечно, тянуло домой отдохнуть. Она, в сущности, хорошая и вряд ли умышленно обидит девочку.

Гораздо хуже в этом отношении молодые дамы. Им хочется не отдохнуть, а пожить. Я был свидетелем, когда классная дама вела детей с прогулки на час раньше, чтобы успеть пойти с компанией в кино. Это был душный вечер, когда каждая минута пребывания детей на воздухе была бы им полезна. Но не о детях думала классная дама. Дети при мне умоляли ее остаться на «дамбе» еще хоть полчасика, но она была неумолима и отвела детей в душный дортуар.

Обвиняя учащуюся молодежь, мы совершенно упускаем из виду самих себя. Ведь классные дамы тоже удирают с дежурства. Одна к своему ребенку, другая по своим личным делам, а третья просто погулять. При мне исправляющая обязанности начальницы института делала выговор молодой классной даме. «Помилуйте! Как вы могли оставить свой класс?

Вы ушли в час и вернулись к шести. Знаете, что произошло в ваше отсутствие...», - говорила она. (Три воспитанницы удрали из института и пошли на Тиссу купаться.)

Человеку вообще присуще видеть недостатки в другом, а своих не замечать, но со стороны это виднее, и если мы требуем от других, то должны следить и за собою.

В институте, конечно, преследуются всякие романтические истории, хотя бы и самого невинного характера. И в этом отношении строже всех следит молодая классная дама, которая не так давно имела крупную романтическую историю, о которой говорят до сих пор. Учащаяся молодежь, видимо, отлично подмечает отрицательные стороны своих воспитательниц, давая подчас им меткие прозвища. «Жаба» - называют они эту классную даму. Ее не проведешь, потому что она сама недавно имела скандальный роман.

Классная дама младшего класса в раздражении ругает маленьких девочек самыми неприличными словами (даже сербского наименования). Девочки бегут к старшим и спрашивают, что это значит. Воспитанницы приходят в ужас и в свою очередь задают вопрос, кто это сказал им. Об этом знают все, иначе бы я не занес этот факт в свои записки. Говорят, что начальница приняла решительные меры к обузданию этой дамы, но она и сейчас служит в институте.

К сожалению, это не исключительный случай. Наши дамы не воздерживаются и часто употребляют бранные слова, если не такие, от которых приходится краснеть, то, во всяком случае, весьма острые. Вчера А. А. Зац с возмущением говорила мне, что он слышал, как классная дама крикнула вчера разошедшимся воспитанницам IV класса «хулиганки». А я знаю, что слово «дрянь» очень часто употребляется в институте.

По-видимому, употребление бранных слов дамами в своем женском кругу - это явление не столь редкое, как думаем мы, мужчины, но только в беженстве и этот вопрос углубился. Не знаю, верить или верить, но переведенная к нам из Донского института воспитанница Н. Моцак говорила мне, что начальница этого института, крича на нее, обругала ее дрянью. Другая воспитанница Р. подтвердила, что это бывало в Донском институте.

Очень много говорят о распущенности воспитанниц Харьковского института, указывая на то, что ни в Донском институте, ни в Кикинде этого нет. В чем же заключается эта распущенность? Ответ на этот вопрос дала мне жена контролера Державной комиссии г-на И. Н. Новикова, гостившая летом в Харьковском институте. «Как здесь симпатично и уютно. Просто семейная обстановка», - сказала она мне. - Дети жизнерадостные, живые, как много сердечности, простоты здесь».

В Кикинде и Донском институте за обеденным столом воспитанницам вовсе воспрещается разговаривать. Малейшее нарушение этого запрета вызывает наказание: «Стань к стенке». Кстати, это выражение заимствовано нами у большевиков. Раньше говорили - «стань в угол, к доске» и т.д. Меня страшно покоробило, когда я, приехав в институт, услышал это выражение. Сразу как-то вспомнилось все пережитое и запахло кровью. Но я продолжаю...

«Знаете, просто неприятно смотреть на шеренгу стоящих у стенки воспитанниц за обедом. Эта мертвая тишина неприятна и неестественна для детского общества», - говорила мне А. И. Новикова. О гнете в Кикинд-ской гимназии говорят все, а учительница танцев Е. М. Перлова, которая преподает танцы и в

Кикинде, говорила мне, что это просто мертвые дети, а лоск этот только наружный. Я был тоже в Кикинде, как представитель Харьковского института, на концерте, устроенном Кикиндской гимназией, и видел, как гуляют по парам кикиндские воспитанницы. Идут молча. И вот одна старушка, классная дама, говорила мне: «У нас строго». Они не должны смотреть по сторонам и заглядываться на прохожих.

И в тот же вечер, может быть в шутку, один господин рассказывал нам, что, если институтки, гуляя, встречают юнкера, офицера или вообще интересного молодого человека, то должны опустить глаза, а классная дама сейчас же открывает зонтик и, как щитом, закрывает им институток от этого опасного человека.

В Харьковском институте этого нет. Напротив, иногда класс идет с уроков или на прогулке довольно шумно. «Слышите! Это с уроков идет VII класс», - сказала мне классная дама, стоявшая со мною вечером у ворот столовой в ожидании ужина. И действительно это был он. Конечно, воспитанницам, идущим в парах на улице, следовало бы потише разговаривать и громко не смеяться, но.... ведь Нови Бечей, в сущности, не город, а деревня. Очень часто институт, возвращаясь с уроков, не встретит на улице ни одного человека. И это учитывается нашими барышнями. Не потому они так громко разговаривают, что они не воспитаны или не понимают, как должна себя держать барышня, а потому, что это Нови Бечей.

«Это распущенность», - говорят некоторые свои же. Да! Пожалуй. И, конечно, права классная дама, которая изобрела отличный способ борьбы с этой распущенностью. «Остановитесь и стойте, пока не замолчите», -командует она. И класс, спеша на ужин, останавливается иногда в холод и под серенький дождик и успокаивается. «Ну, теперь идем дальше.»

Гораздо хуже, когда класс не сдерживает своих порывов в присутствии посторонних людей. В Бечее изредка появляется интересная для институток публика - кадеты, офицеры, юнкера, студенты. Свои надоели, да и кто же эти свои. Какой-нибудь в лучшем случае местный гимназист или мелкий чиновник финансии - серб с черными глазами, а подчас и просто миловидный приказчик или колбасник. Ведь на улице трудно разобраться в людях.

И вот вдруг навстречу идущим в парах институткам показывается юнкер в красных рейтузах. «Красные штаны», - как ветром проносится по парам шепотом. Институтки не выдерживают. Ряды расстраиваются. Каждая пара хочет заглянуть вперед из-за спины предшествующей пары. Происходит замешательство. «Kinder, kinder.» - суетится классная дама. И,

конечно, было бы лучше, если бы они опустили глаза вниз. Юнкер ровняется с институтками. Десятки, нет - сотни глаз пронизывают героя-юнкера.

Конечно, это нехорошо. Это распущенность. Но ведь это Бечей, а не Белград, где на каждом шагу видим эти красные штаны.

А Леня Джурич! Выгнанный кадет, поступивший к генералу Павличенко. Теперь он простой казак, гастролирующий с джигитами в Югославии. В Бечее это было событие. Генерал Павличенко пригласил весь институт на джигитовку. «Мы прежде всего хорошо почистили башмаки», - начинает главу в своем дневнике одна девочка. И это было еще хуже, чем с юнкером в красных штанах. Хорошенький мальчишка, и тоже в красных штанах (ибо это были кубанские казаки), вскружил девочкам головы. Целый месяц потом только и было разговору, что о Лене.

По странной случайности я был в Кикинде в тот день, когда и там весь институт (гимназия) был приглашен на джигитовку. И здесь фигурировал Леня. Я видел собственными глазами, как он подошел к зданию института и, остановившись под окнами, беседовал с институтками. Я был для них посторонним лицом. Меня они не знали, но Леня раскланялся со мной и, конечно, продолжал игривую беседу с воспитанницами, буквально облепившими окно. Я все-таки сказал ему: «Вы подводите барышень. Им строго запрещается разговаривать с мужчинами». Но Леня только рукой махнул. И это видел не только я, но и те, кто проходил тогда по тротуару, но не видели свои, которые могли бы сказать: «Это возмутительно, это распущенность». Одним словом, до начальства это не дошло.

В Кикинде весь институт помещается в одном здании, и потому «распущенности» там не может быть. То же самое и в Донском институте. Мы живем в других условиях. У нас помещения разбросаны. Даже бельевая, где переодеваются институтки, находится через две улицы. Целыми днями наши институтки путешествуют из одного помещения в другое. И вот тут-то и образуется общение институток с улицей. Отчасти это хорошо. Дети дышат воздухом, но для надзора это тяжело, и, конечно, бывают приключения.

Но и в Донском институте был случай, что воспитанница, возвращаясь с прогулки, задержалась у подъезда с подошедшим к ней кадетом. Теперь, или вернее за это, она переведена к нам. И другой случай, почти в таком же роде, мы знаем, был в Донском институте, и эта барышня тоже теперь у нас.

В Белграде чуть не каждая девочка-подросток-гимназистка имеет уже своего рыцаря и свободно ходит по городу в его

сопровождении. И это не называется распущенностью. Значит, не в этом дело, а в том, что для закрытого учебного заведения устанавливаются особые понятия. С этого и надо начинать, говоря о распущенности. В Белграде девочки ходят в кино на самые отвратительные порнографические фильмы. И это ничего. В Белграде девочка идет на свидание к своему кавалеру, и он провожает ее домой.

Мы отлично знаем, что творится на белом свете. Распущенны все. Распущенность проникла во все мелочи повседневной жизни и охватила всех - и молодых и старых, и женщин и мужчин. И в этом отношении я открыто становлюсь в защиту учащейся молодежи школьного возраста. Здесь меньше всего распущенности. До поступления моего на службу в Харьковский институт я прожил в беженстве почти шесть лет и могу сказать, что за это время я «нераспущенности» не видел.

Все было распущено, начиная с политической и государственной жизни до семейных устоев. Чуть ни ежемесячная смена правительства -разве это не показатель политической распущенности? А драки и ругня в парламентах? А новые животные танцы, изобретенные после войны? А общие купания на пляжах, где дамы сидят нога на ногу выше колен с папироской в зубах? А количество брачных разводов? А современные моды? А литература?..

Это все распущенность в огромном масштабе. А распущенность в отношениях людей между собой? Я видел ее даже по пути из Загреба в Нови Бечей в поезде международного сообщения. И вот с этим багажом я прибыл в Нови Бечей и могу сказать, что впервые здесь я увидел «нераспущенность». Моя жизнь с тех пор среди юной учащейся молодежи потекла по новому пути, точно я вернулся к старым формам жизни и старым понятиям о благородстве.

Девочки громко говорят и смеются на улице, а иногда с шумом врываются в столовую. «Помилуйте! Это распущенность!» - говорит господин, держа в руках газету, в которой сообщается, что вчера в парламенте один депутат ударил другого по физиономии, после чего произошла общая свалка. И это ничего. Это в порядке вещей и не называется распущенностью.

В чем же, в сущности, сказывается распущенность барышень в институте? И на этот вопрос приводятся в пример такие мелочи и факты, на которых теперь и внимания не стоит останавливать. Избыток молодых сил. Хочется посмеяться беспричинно. Или «сегодня я всех ненавижу», - говорит воспитанница. Эти настроения молодежи под общий шаблон. Правда, теперь дети взрослые, но есть у них еще много детского, ребяческого.

В этом году стали лучше кормить. Очень часто к столу подаются ватрушки, рассыпчатое тесто, курица под белым соусом и даже жареная индейка. И что же? Уже придумали меняться. Сегодня вечером ватрушки, а завтра на обед индюшки. Ну-ка поменяемся: «На тебе мои ватрушки, а завтра ты дашь мне свою индюшку». Конечно, эта смена ватрушки на индюшку будет прекращена, когда об этом узнает классная дама, но сейчас эта мена в большом ходу. Одна толстенькая девочка так любит ватрушки, что каждый раз отдает свою индюшку за ватрушку и потом встает голодная с обеда.

Меняют и отдают свои порции за все. Я слышал разговор: «Ты вместо меня прочитай молитву, а я тебе отдам свои ватрушки». Пошалили однажды девочки и за молитвой. Почему не читают утром первую главу Евангелия о родословной, задают себе вопрос воспитанницы. После долгих прений по этому вопросу одна воспитанница заявила, что она ее прочтет за утренней молитвой. «Нет, не прочтешь», - возражали ей подруги. «А вот и прочту», - заявила смелая девочка. И прочитала. Соригинальничала. И чуть не вылетела из института...

Это все распущенность. Нет. Распущенность есть, но не та, о которой знает публика. Она кроется в дортуарах и невидима для публики. Это распущенность в моральном отношении. Скрытая распущенность. И вот здесь иногда влияние подруг бывает просто гибельное. Но это было всегда. Я помню, мой брат, будучи в первом классе гимназии, составил список всех неприличных слов, которые он усвоил в гимназии. Этот список попал в руки матери. Я сам впервые в гимназии научился тому, чего раньше не знал.

Конечно, теперь девочки знают больше, чем раньше знали мальчишки, и в этом отношении теперь их мораль под сомнением. В разговорах между собой, в дортуарах, девочки невоздержанны и болтают. «Черт знает что», - сказала мне одна дама. Но это ускользает обыкновенно от воспитанного персонала, и таким образом остановить моральное падение некому. Конечно, с возрастом это проходит, и не так это уже опасно.

Бывают, конечно, случаи, когда такая распущенность доходит до начальства, и вот тогда принимаются крутые меры, кончающиеся иногда исключением девочки из института.

Как это узнается? Конечно, всякий сыск неприятен, но бывает необходим. Весь вопрос в том, как его применять, какой способ выбрать и в чьи руки дать. И в этом отношении в институте не все благополучно. Перлюстрация писем находится в руках классных дам - каждой по своему классу. Просматривая письма своих воспитанниц, некоторые из них выдерживают и наиболее интересные письма задерживают, чтобы показать другим. «Мадам,

послушайте, что пишет своей дочери такой-то», - говорит так называемая Жаба. И письмо прочитывается в кругу дежурных классных дам, сидящих обычно в коридоре за круглым столиком возле квартиры начальницы. Следует обмен мнений и злые насмешки.

Мне доподлинно известен случай, когда в Новом Бечее заговорили, что генерал N разводится с женой. Отец писал дочери в институт, что у него с мамой опять происходят недоразумения, и он не знает, что ему делать. Это откровенное письмо родителя, вскрытое классной дамой, получило огласку и очень долго служило предметом сплетен в Новом Бечее.

Конечно, бывают случаи, когда таким образом вылавливаются письма любовного содержания и раскрывается недозволенная переписка. Так однажды была раскрыта тайна одной восьмиклассницы, считавшейся в институте безукоризненного поведения и служившей образцом для других. «Она даже на танцевальных вечерах не смотрит на кавалеров», - говорили про нее. Скромная, спокойная, она уже четыре года любит и любима. «Я никогда от нее не ожидала этого», - сказала мне начальница. И положение этой девушки в институте изменилось, точно она сделала что-то очень скверное. «Но ведь ей уже 19 лет», - возразил я, но дальше этого разговор не пошел, так как предполагается, что начальница не должна знать, что институтки тоже могут любить и быть любимы. Закон природы для института во внимание не принимается, хотя девушке и было 19 лет.

Письмо кадета, юнкера, студента, гимназиста после каникул - это обычное явление, и после двух-трех вскрытых писем такая переписка прекращается, если не направляется окольными путями через прислугу, например, или через близких институту лиц. И это знают в институте и, конечно, ловят. Был случай, когда за это была удалена со службы прислуга лазарета.

Но, к сожалению, письма родителей приравниваются к любовному письму кадета, который клянется в вечности любви, не подозревая, что дальше классной дамы эта клятва не пойдет. Но такие шаблонные послания гораздо меньше интересуют наших дам, чем сведения, сообщаемые родителями своим детям. Кадет влюбился летом в институтку, а она в него. Что за пустяки! А вот возможно, что родитель в своем письме коснется личности кого-нибудь из персонала или сообщит какую-нибудь новость. Это интересно.

Интересно также то, что пишут воспитанницы в своих дневниках. Это тайна, которая прячется обыкновенно под «три замка». Я до сих пор не могу уяснить себе, дозволено ли в институте писать дневник, но вижу, что девочки пишут и

находятся в вечном страхе быть пойманной. Дневник в институте, конечно, раскрывает тайны институтской жизни и называет откровенно лиц, фигурирующих в дневнике. Конечно, интересно, что пишут девочки!

И вот отлично вылавливает эти дневники опять таки эта Жаба. Она сама не так давно кончила этот институт и знает все. От нее не скроется ничего. Но зачем писать дневник, когда рано или поздно он будет пойман! И все-таки пишут, давая себе слово больше не писать. Не так давно был пойман дневник одной очень умной и развитой воспитанницы. Она смело писала его в дортуаре, полагая, что классная дама не заподозрит, что она пишет дневник.

Но... это был момент... Она схватила, как коршун свою жертву, листы исписанной бумаги и. Дневник оказался исключительно интересным и затрагивал кое-кого. Начальница института отсутствовала, и потому целый месяц этот дневник ходил по рукам и громко читался в некоторых кругах, близких к институту, но совершенно чуждых автору дневника. Я знаю этих солидных по своему положению лиц, к сожалению, даже мужчин, которые присутствовали в «гостиных» при чтении если не всего, то отрывка дневника.

Она - автор, была уже не ребенок и, конечно, пережила много скверных минут. Мне было жаль ее, тем более что она невольно выдала в своем дневнике многих воспитанниц, да и ее личная тайна сделалась достоянием публики. «Он, он...» - писала она, думая, что никто не посмеет заглянуть в ее девичье сердце. «Это моя тайна, моя душевная жизнь и неприкосновенная область моего существа», - думалось ей. И вот заговорили. Даже почтенный Иван Феодорович - истопник - покачивал головой, осуждая бедную девушку.

А Жаба торжествовала. Ее любопытство было удовлетворено. Она схватила интересный дневник. Какое ей дело до нравственных переживаний чужой ей девушки. Она громко говорит, что ненавидит их -воспитанниц, и служит только потому, что ей некуда деваться. Много времени спустя я сказал как-то в разговоре по этому поводу с начальницей института, что никогда не думал, чтобы это было возможным, что дневник уже не маленькой воспитанницы читался по кабакам. Я так и сказал, после чего мои отношения с начальницей сделались холодными и официальными.

Если бы в порядке надзора необходимо прочитывать дневники и письма, то это делается иначе, сказал я. Мне неприятно заносить эти стро -ки в свои записки, так как я решил избегать записывать в свой дневник всякие дрязги, но, слыша

постоянно осуждение поведения воспитанниц института, я хочу доказать, что и мы заслуживаем во многих отношениях порицания и вовсе уже не так чисты перед учащейся молодежью. И в этом отношении большую ошибку делают и родители, которые, конечно, больше из любопытства, чем ввиду необходимости ловят и прочитывают дневники своих детей.

У каждого есть переживания, которые скрываются даже от самых близких и дорогих людей. И к этим тайникам души надо относиться бережно и с осторожностью, раскрывая их только в самых крайних случаях, если это необходимо для пользы дела или для отвращения беды. Простое любопытство здесь неуместно и приводит только к озлоблению и отчуждению, которое и без того теперь создалось между родителями и детьми. «Не говорите маме», - просила меня одна из старших воспитанниц, тайна которой была мне известна. Я обещал, и она знала, что я не заставлю ее краснеть перед матерью.

Воспитанницы с отвращением и злобой относятся ко всякого рода проявлениям сыска. И в этом отношении они поддерживают друг друга. Даже в младших классах не выдают подруг. И это настроение их отлично обрисовано в их детском стихотворении, которое они назвали «звериадой»:

> Ночная дама, крыса, гадость Все любит слушать по ночам.
> Она всегда подсмотрит, гадость,
> И кричит: «не пустим по домам!»
> <...>

Надо уметь воспользоваться случаем. Обмануть швейцара не считается проступком. «Я сегодня дежурная - пропустите». И швейцар пропустил. «Сегодня трудные уроки. Надо избежать их». И воспитанница жалуется на головную боль. Цель достигнута. Она осталась в дортуаре и избежала явного кола. Цель оправдывает средства. Но это пустяки. Вот надо не попасться с пудрой. Это посерьезнее, чем провести швейцара. А прятать девочки умеют. Послать письмо еще страшнее. Впрочем, незаметно опустить письмо в почтовый ящик гораздо легче. Труднее написать, чтобы не настигла воспитательница.

Теперь совсем опасно писать дневник. И едва ли кто-нибудь решится поведать собственную тайну даже себе самой. Все равно поймают. А маникюр? А мало ли какая теперь мода, хотя бы даже насчет бровей. Ведь женщина придерживается моды с

малолетства. Почему же не попробовать? И вот я знаю случай, когда в 4-м классе после молитвы вечером, когда уже ложились спать, девочки, уже раздетые, устроили подобие спектакля. Напудренные, накрашенные, намалеванные, подражая взрослым дамам, они готовы были изображать. Но вдруг ночная дама - крыса. И вот 4-й класс, то есть дортуар, накрашенный предстал пред рассердившейся начальницей. И это пустяки!

Но там, где надо скрыть, там есть еще обман. Например, ужасно трудно не только детям, но и старшим купить конфет. Классным дамам некогда, и нужно ждать до воскресенья. И вот находят способы иные. Обыкновенно средством к этому является прислуга, только с условием, чтобы никто не знал об этом. Или еще проще «удрать» через швейцарскую. Одна малюсенькая девочка ужасно любит рожки и подговаривалась ко мне, чтобы я купил ей эти сласти на два динара, которые она держала в своих рученьках. Мне было жаль ее, но я не хотел потворствовать нарушениям институтских правил и посоветовал ей обратиться к классной даме. «Она не позволяет», - ответила она.

На следующий день эта маленькая девочка говорила мне шепотом и по секрету. «Мне вчера купила рожки прислуга - мадьярка Клара, - и знаете, как-то особенно приятно добыть это недозволенным путем, как-то интереснее». Да! Но съесть-то эти рожки надо тоже по секрету, чтобы не видала классная дама, а карман раздулся потому, что на два динара дают так много, что можно даже заболеть. И сейчас у этой девочки раздут карман. «А это что?» «Стакан, чтобы набрать снегу, но только так, чтобы никто не видел». «Зачем вам снег?» - спросил я девочку. «Хочу вам заморозить яблочко». «Оно не влезет», - говорю я. «А я его кусочками», - шепотом говорит почти ребенок. Но главное, чтобы этого никто не знал...

«Так, чтобы этого никто не знал». К сожалению, такая тактика проводится и в институте как учреждении. Конечно, надо дорожить репутацией института и стараться, чтобы не раздувались пустяки и чтобы не получали огласку случаи, которые кладут печать на заведение. Девочка украла. Это бывает всюду. И раньше это было. Теперь такие случаи бывают чаще не только в детском общежитии, но и в обществе, и в государственных делах. Вот и сейчас во Франции сидит в тюрьме министр. Он проворовался. У нас в Бечее недавно арестованы за кражу сербские чиновники.

Конечно, нехорошо, когда сербы, почтенные люди, плохо говорят об институте. Так, недавно сын известного торговца, серба, гимназист, влюбился сразу в трех, и каждую прогулку институток в роще выжидал их в кукурузе. Девочки наивно шли к

нему. И это продолжалось очень долго, пока отец не поднял голос: «Помилуйте, он плохо учится. Я плачу учителям, а он не занимается и каждый день сидит там, в кукурузе. Но и девочкам нехорошо. Мало ли что там может быть... И заплатить приходится за кукурузу, которую они там потоптали».

И вот - так, чтобы этого никто не знал, одна из девочек уволена из института. Но виновата ли она? Соблазн, увлечение, неопытность или просто шалость. И если это продолжалось почти все лето, то куда же смотрела воспитательница, классная дама, которая ведет их на прогулку? Она сидит под тенью высоких тополей, читает, вяжет, отдыхает; а где же девочки? И это бывает часто.

Прошлым летом местный агроном, русский граф, проезжая на велосипеде рощу, наткнулся на купающихся в Тиссе институток. Но там опасно. Здесь уже тонули. Куда же смотрит воспитательница, с которой девочки отпущены гулять? Граф сказал об этом классной даме, но от начальницы все это было скрыто.

На Тиссе за воспитанниц всегда бывает страшно. И не напрасно. Весной в особенности разлив реки угрожает даже Новому Бечею, и вода иной раз достигает дамбы. И вот однажды ко мне приходит на урок четвероклассница М. Охотина. «Боже мой, Д. В., Вы знаете, вчера я чуть не утонула. Это мне урок хороший». И с неподражаемым ужасом в лице она мне говорила: «Мы вдвоем удрали от классной дамы по крайней мере за версту. И там стояла лодка. Мы сели в лодку. Вдруг лодка стала отходить. Трейман быстро выскочила на берег и ногами оттолкнула лодку. Я растерялась. Но, к счастью, на берегу росла верба, и ветви ее спускались над водой, немного выше лодки. Я схватилась обеими руками за эту ветку, а лодка уходила из-под ног. Я так и опустилась по самую шею в воду. Верба меня спасла. По ней я выкарабкалась из воды. Я пережила ужас, так как плавать не умею. Что делать? Трейман промочила только ноги, а я была вся мокрая. Мы сообразили. Недалеко была усадьба известной в Бечее дамы, вдовы капитана австрийской службы. Мы бросились туда. “Ради Бога, помогите. Дайте высушиться”. Капитанша в ужасе смотрела на нас и, конечно, тотчас же раздела меня и начала сушить на печке и гладить мое белье. Два часа она возилась с нами и кое-как высушила меня. Мы умоляли капитаншу не говорить об этом никому, так как иначе нас выгонят из института».

Мне было страшно слушать ее рассказ, тем более что видно было, как Милочка переживала то, что было пережито ею вчера. «Я была на волоске от смерти», - закончила она, волнуясь, свой

рассказ. «Только, ради Бога, не говорите никому», - молила меня расстроенная девочка. Ровно через неделю в бельевой поднялась суматоха. «Что это за рубашку сдала Охотина? С подтеками, вся желтая?» «Я упала в лужу», - сочинила Милочка. «Да где же эта лужа, и почему не часть, а вся рубашка?». Что-то здесь не так. И кто из классных дам была тогда дежурная... И история заглохла.

Через месяц случайно наш доктор был вызван в усадьбу к этой самой капитанше, к ее больному мальчику. И вот капитанша не выдержала и рассказала доктору историю с Охотиной. «Помилуйте! У вас плохой надзор, ведь девочка чуть не утонула», - а мальчик прибавлял: «Я знаю это место. Там почти два метра глубины - крутой обрыв». П. И. Пономарев - наш доктор, пришел домой встревоженный и решил сегодня не сообщать об этом случае начальнице, ведь Милочка Охотина - институтка. И доложил.

Но что же вышло? Это сплетни. Интрига против института. Капитанша - простая баба, интригующая против русских. «Но позвольте, это подтверждают солидные люди, Ваши служащие», - (не называя мою фамилию) возражал нам доктор. «Кто это? Скажите им, что они. - резко оборвала начальница. - А вы передаете сплетни». «Спасибо, я, значит, сплетник», - огрызнулся доктор.

А Милочка. Ее послали с классной дамой к капитанше узнать, в чем дело, а после этого она пришла ко мне. «Зачем вы это рассказали доктору, ведь я просила вас». - «Это не я, а капитанша рассказала доктору об этом, -возражал я. - Я только подтвердил». «Да, но я ведь только упала в лужу, -вдруг заговорила Милочка. - И. и. я упала в лужу». Я с изумлением смотрел на девочку. И она не выдержала - покраснела. Научили.

«Но позвольте. На днях опять купались барышни с плотов в рубашках. Ведь там опасно. Не так давно там утонул мальчишка. Его втянуло под плоты. И это видел А. А. Зац. Он врать не станет». - «Неправда. Это сплетни, интриги. У них болела голова. Они разделились. Намочили в реке рубашки и прикладывали их к голове, а потом несли в руках эти мокрые рубашки. Так говорят воспитанницы и подтверждает их классная дама. А. А. Зац - известный сплетник»

Боже сохрани вмешаться в эту внутреннюю жизнь. Никто не должен знать, что делается в дортуарах. Но все-таки до публики доходят слухи и говорят.

Девочки настроены патриотически. Умер Великий князь, а через год и патронесса Императрица Мария Федоровна. Институт был в трауре, и девочки в патриотическом экстазе развешали на стенах в дортуарах царские портреты, украсивши их крепом и

георгиевскими лентами. «Что это вы поразвешивали мертвецов?» - иронически заметила им классная дама. Возмущению институток не было конца, но и в обществе об этом много говорили. «Сплетни, ложь, - оправдывались в сферах. - Детям нельзя верить. Зачем их слушать? С институтками вообще не следует разговаривать, в особенности мужчинам».

Я часто задумывался над этим. Конечно, в отдельных случаях воспитанницы могут солгать, но это касается исключительно их институтской жизни, когда надо что-нибудь скрыть, спрятать, обмануть, но в общем лжи у них нет, потому что возраст у них не тот, когда люди должны приспосабливаться к жизни и по необходимости кривить душой. Напротив, в этом возрасте всегда является особая смелость суждений и проистекающая отсюда правдивость. «Кто это взвизгнул?» - обращается начальница в столовой ко всему институту. И виновница решительно встает и смущенно, раскрасневшись, идет к начальнице.

Такая честность присуща этому возрасту. Добиться сознания от них ничего не стоит, потому что они еще не испорчены и не умеют врать. И в этом отношении молодежь стоит неизмеримо выше нас. Еще при большевиках в России, а в сущности и раньше (при Керенском), всем нам приходилось лгать, подделываться и притворяться. О чести мы тогда не думали и шли к презренным людям на поклон. А потом и в беженстве - кому из нас не приходилось подделываться и гнуть спину, чтобы не попасть впросак? Мы к этому привыкли. А молодежь свежее и чище нас. Я верю больше ей, чем тем, которые должны подчас соврать, скрыть, умолчать, чтобы не лишиться хотя бы места или упрочить положение.

Молодежь чутка, и всякую неискренность, обман и ложь она чувствует отлично. Я не забуду никогда, как прибывший из Праги господин Астров показывал картины и читал воспитанницам лекцию о Москве. «Но почему он не показал нам ни одного монарха и ни слова не сказал о царях? Ведь все это сделано русскими царями, а не городской думой, как говорил нам г. Астров». Так говорили девочки-подростки. А их воспитатели не смели говорить об этом, потому что лектор был командирован в институт начальством.

А Игорь Северянин, который на днях читал свои произведения в институте... Он был разгадан институтками. Он лгал. Его патриотические стихотворения были написаны искусственно. Он перекрасился и теперь писал не для себя, а для других, почему от них и веяло искусственностью. Мы вспоминали его. Он назывался в Петербурге литературным безобразником. Теперь он патриот: «С тех пор он русским стал, как из России

убежал», - шутили девочки в ответ на его стихотворение, в котором он с пафосом кричал, что мало родиться русским, русским надо стать. «Каким русским, - иронически подхватили девочки, - большевиком, социалистом или комиссаром?»

«Он хитрый», - говорили девочки. Не зная, какая будет в будущем Россия, он сочинял «и так и эдак», чтобы не попасть впросак. А взрослые все притворялись и говорили: «Хорошо, отлично». А почему? Да потому, что Игорь Северянин был командирован из Белграда. А он, своим заветам верный, пропагандировал под шумок и говорил воспитанницам в дортуарах: «Вы не читайте Пушкина и Лермонтова, а читайте Блока, Бальмонта». Тут взрослых не было, и почему же не посеять семена. Мы строим новую Россию.

Станьте в пары. И в этих парах проходит вся жизнь институток до тех пор, пока не наступит пора для них вступить в жизнь. Уже я вижу теперь тех девочек, которых при мне ставила в пары классная дама почти взрослыми барышнями старших классов, и они ходят парами, как ходили пять лет тому назад. Меня всегда смущает, когда какой-нибудь из старших классов, проходя в парах мимо меня, вдруг останавливается и выстраивается в шеренгу по команде классной дамы: «Mesdemoiselles Saluer», - все сразу приседают и делают реверанс. Надо снять шляпу и поклониться.

Конечно, это делается не на улице, а во дворе перед столовой, когда, например, идут обедать или ужинать. Это очень красиво, и так отлично барышни делают реверанс, но... среди них есть мои ученицы, в которых я привык уже видеть не детей, а взрослых людей. В пары становятся по росту. Впереди идут малого роста, сзади большого роста. Меня поразила вначале это громадная разница в росте. Первые пары - это буквально маленькие дети, а последние пары - взрослые барышни. И они в одном классе.

Оказалось, что и здесь сказались беженские условие жизни. Запоздалые - это те, которые задержались дома после эвакуации, или недавно прибывшие из России, или просто не попавшие своевременно в учебные заведения. Эти великовозрастные воспитанницы и по годам и по росту составляют большой контраст в классах. Так, например, во 2-м и 3-м классах были девочки 11-12 лет и шестнадцати- и семнадцатилетние барышни. Бывали случаи, и я знаю три таких случая, когда такие великовозрастные воспитанницы из 5-х и 6-х классов выходили замуж.

Но есть и такие случаи, когда в класс попадет русская девочка-подросток, которая училась сначала в сербском или

словенском учебном заведении, и потому плохо говорящая по-русски. Она тоже уже другая, не подходящая первое время к своему классу. Есть в институте и сербки и черногорки, которых я насчитал семнадцать. Это дети тех родителей, которые высоко ставят русскую культуру и хотят детям дать русское воспитание. Я знаю хорошо двух из них, которые брали у меня уроки музыки.

Ольга Тоболар - одна из них - сербианка, была лютеранка, которая готовилась у нас в институте принять православие. Она говорила мне часто: «Какая у вас красивая религия, как красива ваша культура, какое красивое у вас воспитание». Разношерстность таких классов, конечно, вызывает и соответствующую группировку в классе, что сглаживается «парами». Последние пары не имеют ничего общего с передними парами. В то время, когда первые пары еще играют в куклы, последние живут другими интересами.

Старшие и младшие в одном классе! Каждая воспитанница по установленным правилам имеет в классе свой номер и должна стать в пару с соответствующей своему номеру воспитанницей. Если, например, воспитанница под номером третьим заболела, то ее место занимает воспитанница под номером четыре, так что вся группировка в парах меняется. Но это строго соблюдается лишь в младших классах. В старших классах, по крайней мере я вижу это, в пары становятся сами, лишь бы подходили по росту. Кто с кем хочет, если нет причин к тому, чтобы «классидра» (классная дама) разъединила пару и не поставила неподходящую или дурно влияющую с другой.

Номера нужны здесь больше для бельевой, где на всех принадлежностях одеяния проставляется класс и номер воспитанницы. Очень часто я вижу в парах тех, кто дружит между собой. А не так давно я подметил в двух парах своих учениц. И я не ошибусь, если скажу, что не случайность или простая нумерация поставила их вместе. У них последнее время явилось опять стремление учиться музыке. От пары и дружбы зависит очень многое, в особенности в том возрасте, когда формируется личность. Общность интересов, постоянное общение, разговоры, воспоминания и увлечения - они для пары одинаковы и невольно передаются от одной к другой. И это сознают воспитанницы, характерно сочинившие в 4-м классе такой памфлет:

Идем обедать по две, по две.
Идем гулять опять по две.
Сидим мы в классе тоже по две.
Уроки учим тоже две.

И дружим тоже мы все по две.
Умрем мы тоже все по две.

Конечно, это писали великовозрастные воспитанницы, составляющие группу старших в классе. Они и пишут совместно, и, надо сказать, пишут отлично, метко улавливая характерные черты переживаемого мо-

мента. Нужно знать их учительницу рисования, чтобы понять, как удачно обрисована ее личность в таком стихосложении:

Мы входим со звонком все в класс,
Где Вера Юрьевна ждет нас.
Кубы, цилиндры разложила
И язычок свой распустила:
«Я требую, чтоб вы молчали,
И кубик этот рисовали,
А то я вас всех накажу
И в учительскую провожу».

Влияние подруг. Оно сильнее всех других влияний. И все зависит от того, кто из них сильнее волей. В общем, конечно, в институте наблюдается одно для всех господствующее направление, объединяющее всех, но в выработке убеждений, взглядов, идеалов и характера есть группировки, которые создают исключительные настроения. Одна группа отстаивает свои взгляды, другая отвоевывает свои положения. И в дортуарах подымается такой спор, который тянется не часами, а днями.

Все институтские события, конечно, переживаются совместно в дортуарах. Приехал новый учитель. Приехали из Белграда командированные писатель, поэт, лектор. Вчера были в кино или были на любительском спектакле. Все это переживается в дортуарах как исключительные события и служит темой, пока вопрос не будет исчерпан до конца. Есть воспитанницы, любящие музыку, другие совершенно не признают ее. И в этом отношении есть группировка, создающая в дортуаре особую атмосферу. Есть классы, где поголовно все желают учиться музыке. И там сидят и говорят о музыке. И это безусловно влияет на других. Даже книга иногда обходит дортуар и переходит с особым интересом из рук в руки.

Есть классы, которые иногда становятся на ложный путь и все

сообща становятся в оппозицию. Так, например, один из старших классов весь признал, что преподаватель музыки ведет свой класс неправильно.

Прежняя система устарела. Теперь надо готовить к жизни, а не изучать классическую музыку. Необходимо научить играть постольку, поскольку это нужно для ресторанов, кинотеатров и в оркестрах. Да и музыка эта приятнее, чем всякие этюды и сонаты. Этот перелом произошел у них под влиянием вновь назначенного регента, по профессии капельмейстера балалаечного и ресторанного оркестра, далеко стоящего от понимания классической музыки.

«Зачем он дает вам этого Баха или Бетховена? Они устарели. Вы кончите институт и пойдете играть в кафану или кино, а не будете там играть Баха», - говорит он барышням, идущим на урок музыки. И вот в институте создалось новое направление, а преподаватель музыки, который первоначально пользовался популярностью, сделался одним из нетерпимых в этом классе учителей.

В дортуарах, как в лабораториях, вырабатывается не только личность, но и приобретаются привычки, внешняя повадка, манеры и приемы держать себя. Есть, например, в институте преподаватель, у которого имеется отвратительная привычка подергивать головой из-под плеч, точно ему мешает воротничок. Уже многие воспитанницы заражены этой привычкой, и это так некрасиво для барышни.

Очень многие воспитанницы живут и летом и на праздниках в институте. Это сироты и воспитанницы, родители которых не могут взять их на лето к себе. Конечно, это очень влияет на отношения родителей и детей. Дети отвыкают от своих родителей, да и родители забывают своих детей. Люди делаются друг другу чужими. Таких воспитанниц теперь почти третья часть, а раньше было больше половины. Беженство чувствуется и здесь. Одеть прилично детей могут далеко не все родители. И вот видишь, как разъезжаются на праздники домой. Летом, конечно, это все равно. Но зимой на некоторых страшно смотреть. Ситцевое платье, кашне - и больше ничего. Однажды я подошел к одной и сказал: «Вы замерзнете дорогой». Это был роспуск на Пасху. На дворе почти стоял мороз.

Многие не едут домой только потому, что не во что одеться. И все-таки всех тянет домой. Бедность, а в иных случаях и недоедание дома не удерживают их в институте. Уже чуть не с осени почти все воспитанницы ведут свой календарь, высчитывая, сколько осталось дней до роспуска, и вычеркивают прожитые дни. В любой момент каждая из институток может сказать, сколько

недель, дней, часов и даже минут осталось до роспуска. В институте очень мало детей обеспеченных родителей. Казалось бы, живи и пользуйся благами, которые дает институт, но дорога свобода, которой нет в институте.

Я знаю воспитанниц, которые никогда или, во всяком случае, годами не имеют динара и никогда не могут купить себе ни сладенького, ни фруктов, ни ягод и довольствуются только тем, что дает им институт. А сладенькое для них - это неосуществленная мечта. Впрочем, «голь на выдумку хитра». Они опять придумали. «С кем ты собираешь сахар?» -услыхал я разговор. Оказалось, что девочки (и барышни тоже) каждый день отсыпают в фунтик из своей порции немного сахару и затем по накоплении его делают конфеты-леденцы - вдвоем, втроем. Иногда они кладут туда орехов на два динара. Тогда получаются отличные конфеты. Не так давно они усовершенствовали этот способ и стали подливать туда немного молока. Мне дали как-то попробовать их кулинарию, и я нашел, к их удовольствию, что это лучше всяких покупных конфет, но... сахар надо собирать по чайным ложечкам и лишать себя той чашки чая, которая с сахаром вкуснее. Это зимнее занятие, а вот летом.

«Мороженое - сколько в этом слове прелести и сладости!» На динар вполне достаточно, но не позволяют. Запрещено. И как нарочно, все мо-рожениики со своими повозками останавливаются возле института и звонят. звонят. звонят. ну что же? Надо обмануть. И покупают. Но ведь запрещено варить и леденцы, но это легче. Печь топится два раза в день и на ночь, когда уходят дамы. А в этом году это совсем удобно, потому что это можно сделать в лазарете, где сестра им позволяет, но только так, чтобы этого никто не знал.

Много есть смешного и комичного в этой жизни институток, но как подумаешь о том, что предстоит им впереди, то поневоле станет грустно. Сейчас они живут не будущим, не прошедшим, а только настоящим. Набрали сахара для леденцов и рады, а что будет завтра, то покажет день. Впрочем, на будущее смотрят разно.

Есть воспитанницы, строящие планы, но это больше те, кто опирается на родных, устроившихся за границей. Но большинство ужасается предстоящей нищете. А нищетой у них считается не только бедность, а нищета духовная, когда нельзя построить идеалов, а надо жить только для того, чтобы заработать кусок хлеба. Для женщины, конечно, на первом плане стоит вопрос о том, чтобы хорошо одеться. «Я буду лучше голодать, но хорошо оденусь», - говорят почти все. И мы знаем, что в Белграде в университете наши бывшие воспитанницы так и делают.

Но говорить о будущем нам не приходится. Есть вопрос страшнее будущего - это вопрос о прошлом. По-видимому, в руководящих сферах учитывают это настроение и хотят заставить подрастающее поколение не терять связи с прошлым. Родина, Россия, русская культура... - говорят им с кафедры. Но это не живое слово. Я знаю, что воспитанницы потеряли связь с прошедшим. Спросите их, откуда они, какой губернии, где жили их родные. И они вам дальше Новороссийска, Севастополя, Одессы и других пунктов эвакуации ничего не скажут. А кто были их прадедушка и дедушка и бабушка, они не знают.

Их существование запомнилось лишь с тех пор, когда все смешалось в общем хаосе. «Я родился во время эвакуации на пароходе “Владимир”, на таком-то градусе широты в Средиземном море. Так значится в моем документе», - сказал мне мальчик 10 лет, и дальше этого его третий отец, отчим, ничего не объяснил.

* * *

Рождество Христово! В этом году оно нарядное. Выпал глубокий снег. Деревья покрыты инеем. С крыш нависли глыбы снега и, падая, обсыпают прохожих. С тротуара еще не успели сгрести снег. На улицах он по колено. Ландшафт зимний, напоминающий Россию. Институтки в парах вышли к утреннему кофе из общежития, но не выдержали. Стоило начать первой, и на улице поднялся настоящий бой в снежки. «Mesde-moiselle... Mesdammes... Kinder.» - кричат классные дамы. Но не тут-то было. Целые комья снега летят через головы классных дам и рассыпаются, ударяясь о черные пальто воспитанниц, попадая иногда девочкам прямо в лицо и за шиворот. Очутившись в азарте просто на улице, по колено в снегу, девочки, забыв дисциплину, с размаху, как мальчишки, кидают снежки, не разбирая, в кого попало.

Не раз и мне приходилось попасть в эту переделку. Пощады там уже нет. Одним словом, войти в столовую трудно. Все равно закидают. И вдруг все это увидит начальница. Но классные дамы не скажут. Это русский обычай. Пусть девочки поиграют в снежки. Это ведь деревня -село, а не город. Зато какие они румяные, здоровые, интересные, когда ворвутся в столовую все в снегу. Крича, волнуясь, смеясь, они, снимая и стряхивая пальто и беретки, с шумом, радостные и веселые, занимают свои места. «Ну и попало мне», - слышатся возгласы. «А я попала за шиворот Дмитрию Васильевичу», - раздается смех из середины столовой. Их невозможно унять сегодня. Посмотрите, что делается. Весь пол будет мокрый. И потом, потом... Им выдали только вчера новые платья и переменили передник. Не дай Бог, узнает начальница.

* * *

Так, на первый взгляд мирно и спокойно, течет жизнь учащихся в институте. И мне говорил мой брат, прочитавший эти записки: «Зачем, в сущности, ты описываешь эту жизнь, ведь она мало чем отличается от прежних, нормальных условий жизни и вовсе не характеризует нашу беженскую жизнь в эмиграции?» Я с этим не согласен, и если мое описание произвело на него такое впечатление, то это произошло потому, что я описал этот уголок русской жизни на чужбине как самостоятельный этап жизни нашей учащейся молодежи, стоящей особняком от давящей гнетом беженской жизни и общественных настроений.

Если на меня лично жизнь среди детей и юной молодежи произвела такое умиротворяющее впечатление и дала возможность нравственно отдохнуть от всего пережитого, то это не значит, что все здесь обстоит благополучно. Один бывший товарищ прокурора, служащий в канцелярии института, говорил мне, что он пробовал вести дневник, но это получалось как бы сплошной пасквилью, так что он бросил свою затею. Я смотрю на это иначе, и мне думается, что, может быть, мне удастся объективно, не замалчивая отрицательных явлений, описать ту обстановку, которая сложилась в беженской средней школе и характеризует людей, близко ставших к воспитанию юной молодежи в эмиграции.

Я помню и, вероятно, всегда буду помнить проповедь институтского священника, произнесенную им однажды в церкви во время обедни. Я был тогда еще новым человеком в Бечее и никак не мог понять, почему слова батюшки обращены к учащейся молодежи. Проповедь была сильная, яркая, красочная и в высшей степени характерная для беженцев. Указывая на царящую среди русских беженцев злобу, взаимную вражду и рознь, батюшка, ссылаясь на тексты Священного Писания, призывал опомниться, умирить злобу и прекратить ссоры. Зачем эти интриги, сплетни, гадости и мерзости, которыми теперь только и живет русское беженство? «Зачем подставлять друг другу ножки?» - сказал он. «Опомнитесь!» - взывал священник с амвона.

Церковь хотя и принадлежала институту, но обслуживала и местную колонию беженцев. Здесь можно было видеть всех русских, проживающих в Бечее. В большие праздники, в особенности на Рождество и Пасху, а также в Великий пост церковь всегда переполнена беженцами. К сожалению, и возле церкви сплелась интрига, и враждующие элементы, встречаясь в храме, не кланялись друг другу.

Повторяю, впечатление от этой проповеди было сильное, но

вскоре после этого и сам батюшка поднял громкий скандал, поссорившись с регентом институтского хора (преподавателем русского языка). Батюшка во время проповеди с крестом в руках громил регента, стараясь опорочить его перед русскими людьми. Для всех, конечно, было ясно, что батюшка сводит личные счеты, а форма, в которую облек свою громовую речь проповедник, была в высшей степени неприличная, тем более что присутствующий в церкви регент не мог защищаться и возражать.

Долго еще потом эта история была злобой дня, причем сторонники того и другого старались примирить их, но они так и остались непримиримыми врагами. Меня лично удивило лишь то, почему священник отец Жолткевич, говоря проповедь, обращается не к учащейся молодежи, не к детям, а к взрослым, которых насчитывается в церкви десятками. Ведь церковь заполнена институтками, для которых служит священник. Я убедился, что в большинстве эти дети-подростки даже не понимают, что говорит священник-обличитель.

Много раз я уходил из церкви возмущенный содержанием проповеди. Зачем раскрывать детям беженские дрязги и вводить их в эту атмосферу зла, интриг и беженской неурядицы? Несомненно, это отзывается так или иначе на учебно-воспитательном деле и иногда вовлекает в интригу воспитанниц.

Но еще хуже, когда такая борьба бывает замаскированной, скрытой, подпольной. Мы были поражены, когда узнали, что Державная комиссия завалена анонимными письмами из Бечея. Все эти доносы, которые, кстати сказать, в большинстве случаев совершенно правильно изображали жизнь вокруг института, предъявлялись начальнице института, когда она бывала в Державной комиссии, и потому очень скоро они делались достоянием всего Бечея. Конечно, всех интересовало не содержание доноса, так как и без того все знали всю подноготную институтской жизни, а прежде всего вопрос о том, кто писал эти доносы.

Простор для сведения личных счетов был большой. Начинались сначала догадки, а потом более определенно назывались фамилии, кто мог бы писать эти доносы. И, конечно, в первую очередь назывались те лица, которые не пользовались расположением начальницы института или находились во враждебном отношении с более сильными в служебном положении. Набросить тень можно было на кого угодно. Фамилии назывались громко, и нарочно громко, и человек совершенно неповинный получал кличку доносчика.

Конечно, это не было общественным мнением, а лишь деланным мнением группы лиц, сплоченных в одну компанию.

Все сводилось, конечно, к окружению начальницы института, которая легко поддавалась внушению тех лиц, которые ее окружали. Надо сказать, что первые три года моего пребывания в институте было совершенно иное положение. Начальница института М. А. Неклюдова, можно сказать, не имела вовсе окружения, если не считать подчиненных ей лиц и прекрасной личности инспектора классов Макшеева, о котором она сама говорила мне вначале: «Это мой друг, с которым я советуюсь по каждому вопросу».

И действительно институт производил прекрасное впечатление. Ни интриг, ни ссор, ни даже глупых разговоров в пределах институтской жизни тогда не было. Но вот случилась беда. В институте появились две личности в составе педагогического персонала, которые совершенно изменили направление жизни в Новом Бечее. Один из семинаристов («усвояется» - как прозвали его институтки) хотел будто бы занять место инспектора классов, другой - человек почти без всякого образования, впавший в особую милость к начальнице института, отвратительно влиявший на воспитанниц старших классов.

На этой почве у инспектора классов З. А. Макшеева произошли столкновения с начальницей института, которые привели к полному расхождению этих двух руководителей учебно-воспитательным делом. Раскололся, конечно, и учебно-воспитательный персонал, причем все дамы, конечно, стали на сторону начальницы института. Наиболее усердные в своем поклонении окружили тесным кольцом М. А. Неклюдову, и отсюда пошли все неурядицы в институте.

Просто жаль было смотреть, как пошатнулась эта стройная, красивая и разумная система. Как бывает всегда в таких случаях, на поверхность выплыли самые ничтожные, несимпатичные и негодные личности. Теперь это называется «окружением». Все серьезные и достойные люди оказались под подозрением. Показаться на улице с этим уважаемым и почтенным человеком - З. А. Макшеевым означало быть в оппозиции. «Кто не с нами, тот против нас», - говорило окружение М. А. Неклюдовой, и наиболее приспосабливающиеся действительно избегали встречи на людях с З. А. Макшеевым.

Нейтралитет соблюдать было трудно. На мою долю выпала трудная задача. М. А. Неклюдова просила меня как-то летом примирить ее с генералом Макшеевым, говоря, что при таких обостренных отношениях нельзя начинать учебного года. Мне удалось это сделать, но примирились они только внешним образом. И я думаю, что если бы не окружение

М. А. Неклюдовой, то мир был заключен более прочный. Тот,

кому хотелось прислужиться, тот продолжал наушничать и этим сбивал с толку начальницу института.

И в этом отношении М. А. Неклюдова, несмотря на свое упрямство, оказалась весьма слабохарактерной. С одной стороны, она любит проявлять свою власть и даже похваляется нею, с другой - она теряется в пустяках и ищет поддержки у кого бы то ни было, попав таким образом в руки интригующей группы лиц. «Если бы даже королева приказала мне, то и тогда я не подчинилась бы ей», - сказала она как-то в обществе, а в действительности даже ее горничная Фрося имеет на нее влияние.

Но что такое Фрося! Это горничная М. А. Неклюдовой, вывезенная ею из России вместе с институтом. Как лицо, близко стоящее к начальнице института, она заняла в институте исключительное положение. С Фросей надо считаться, и потому перед ней заискивают все. «Фросенька», - называют ее классные дамы и под шумок подают ей руку. Фрося проведет все и, раздевая свою барыню, расскажет ей все, что ей хочется. Фрося вездесуща и появляется неожиданно всюду. Она наблюдательна и мешается даже в учебные дела. Ее боятся, и по Фросе угадывают многое. Она, как оракул, предрешает вопросы: «Такого-то преподавателя скоро не будет. Вместо него назначается такой-то», - как бы вскользь проронит Фрося, и публика знает, что это исходит как будто от самой начальницы, а злые языки говорят, что не начальница, а Фрося управляет институтом.

И доля правды в этом есть. Мы утверждаем, что не одна воспитанница претерпела от Фроси. Она умная, но простая женщина, от которой не скроется ничего. Воспитанницы ее ненавидят, так как знают, что она доносит на них. Эта зазнавшаяся женщина-простолюдинка, привыкшая к поклонению, бывает невыносима иногда. Я сидел как-то в кондитерской, заполненной мадьярами из местного общества. Как нарочно, в то время, когда среди пьющих кофе и шоколад воцарилось молчание, вошла Фрося. Увидев меня, она начала громко разговаривать сама с собою, но как бы обращаясь ко мне: «Что это за безобразие! Просто как дым столбом стоит. У нас бы в России в это вмешалась полиция, а еще говорят, что интеллигентные люди сидят». Я сделал вид, точно не вижу Фроси, и углубился в свою чашку шоколада. Мне стыдно было, несмотря на то что я знал, что мадьяры не понимают Фроси. Еще бы не зазнаться этой прислуге, когда классные дамы занимают у нее деньги.

Мы приводим эти сведения не для того, чтобы опорочить М. А. Неклюдову как начальницу института, и не для того, чтобы набросить тень на Харьковский институт, а для того, чтобы

показать, что между институтом как таковым и той беженской атмосферой, которая сгустилась вокруг него, должна быть проведена большая грань. Насколько жизнь воспитанниц в институте производит хорошее впечатление, настолько все, окружающее их, не соответствует задачам воспитания детей. И мы не раз утверждали, что, по нашему глубокому убеждению, вообще в учебно-воспитательном деле не так отдельные лица воспитывают, как воспитывает само учебное заведение, его традиции, его характер и вообще вся постановка учебного заведения.

И здесь это налицо. Воспитанницы живут в своем интернате своею обособленною жизнью. У них своя жизнь, которая так же мало интересует воспитательный персонал, как жизнь воспитательного персонала мало интересует воспитанниц. Конечно, воспитанницы отлично знают, кто с кем не разговаривает, кто с кем в ссоре, и рады посплетничать у себя в дортуаре, но это больше из любопытства. Конечно, в общем пример старших не остается без влияния на подрастающее поколение, но это скажется в будущем. Теперь они живут своими интересами, не обнаруживая их своим воспитательницам, или, вернее, скрывают их от своих классных дам.

Правда, иногда под влиянием интриг извне они поддаются некоторому воздействию и выражают, например, свои симпатии или антипатии тому или другому лицу, и иногда совершенно несправедливо, но здесь играет роль внушение старших, вовлекающих молодежь в интригу. Конечно, они перенимают от взрослых много внешних черт, крайне несимпатичных, которые в будущем должны отразиться на их личности, но ведь они перенимают эти черты и вне пределов институтской жизни, бывая у себя дома и в обществе.

Так, например, грубость, которая царит теперь всюду, несомненно уже передалась детям. Пример заразителен. Прежде всего груба сама начальница, но дело в том, что возмущающиеся этим классные дамы сами грубы. К сожалению, грубы и некоторые преподаватели, позволяя себе в классе совершенно непозволительные выкрики. «Вам быть кухаркой, а не воспитанницей института», - говорит она даже воспитанницам старших классов. «Вы тупоголовая, убожество, остолопка», - говорит она. <.. .>

Тон, которым начальница института говорит со служащими, совершенно недопустим в служебных отношениях, и люди терпят это только потому, что каждый панически боится лишиться места и очутиться на улице. Я не только был свидетелем такой грубости, но и сам испытал эту грубость на себе. Впрочем,

грубость царит теперь всюду, а не только в институте. Это привилось беженцам в эмиграции, и в этом отношении наша русская культура приняла за границей новые формы, вводя их в систему воспитания подрастающего поколения.

«Помилуйте! С нашим мягким характером русского человека теперь в эмиграции пропадешь», - говорят нам русские люди, борющиеся за свое существование. Я часто указывал воспитанницам на их грубость, совершенно не подходящую женщинам, и они, сознавая это, оправдывались именно так: «Я бы с таким удовольствием ударила его по морде», - сказала во время прогулки в присутствии классной дамы одна институтка, рассердившись на преподавателя за то, что он поставил ей плохую отметку.

С не меньшей силой передается детям злоба и злобный тон в разговоре. Это все свойства, воспринятые беженцами в эмиграции. И это понятно. Рабское состояние русских людей в беженстве, их необеспеченность и бесправие вырабатывают соответствующее отношение к людям. Только одна великая Россия принимала с распростертыми руками всех и каждого и широко давала иностранцам все права, коими они пользовались наравне с русскими людьми. И это чувствуют и знают дети.

Я часто задумывался над этим и всегда с восторгом гляжу на то, как русские дети при таких обстоятельствах могли все-таки сохранить в некоторой степени ту мягкость характера и воспитанность, которыми отличаются наши вывезенные из России учебные заведения. Несмотря на все отрицательные стороны, культурное значение этих учебных заведений и большая ценность их достижения не подлежат сомнению. Здесь хранится русская культура и оберегается она от совершенного распада. В лице учащейся молодежи мы имеем тот фундамент, который нужен будет для восстановления России.

Чтобы быть объективным, мы должны отметить, что в этих сложных и крайне ненормальных условиях беженской жизни долголетний опыт начальницы института М. А. Неклюдовой все-таки дал свои положительные стороны. Прослужив более 40 лет сначала классной дамой, а потом и начальницей института, она - сама институтка - настолько прониклась институтскими традициями, что, конечно, сумела сохранить их при совершенно новых условиях жизни. И этого отнять у нее нельзя. Вот почему Харьковский институт всегда производил отличное впечатление.

И я вспоминаю, как охарактеризовала этот институт И. Н. Новикова: «Как здесь симпатично, уютно. Просто семейная обстановка. Дети жизнерадостные, живые. Как много сердечности и простоты здесь». И это правда. Впечатление для нового

человека получается определенное, которое не может не вызвать полного одобрения. Вот почему в обществе и даже среди родителей институток можно встретить людей, которые совершенно не могут себе представить, как это М. А. Неклюдова может быть грубой или несправедливой. Ее очаровательная улыбка и умение принять гостей производит всегда удивительно приятное отношение.

Но я люблю больше одиночество. Очень часто я заканчиваю день тем, что иду в какую-нибудь кафану и сажусь за столик выпить кружку пива. Ведь здесь, в кафанах, не едят, а только пьют. Сижу один. Слушаю цыганский оркестр или какую-нибудь местную певицу. День у меня проходит тоже по трафарету.

Летом, конечно, интереснее. Я имею много свободного времени. Гуляю. Купаюсь. Начинаю купаться очень рано. После купанья иду в кондитерскую съесть мороженое. Впрочем, у нас мороженое продают и на улице. Его развозят в маленьких повозочках и постоянно звонят. Я часто беру мороженое у этих мороженщиков. Интересно то, что против кондитерской на улице стоит киоск местного фотографа, где, между прочим, выставлена и моя фотографическая карточка. Мне это всегда кажется странным.

Вдали от Родины, среди чужих мне мадьяр и сербов, я приобрел известность как учитель музыки. Вот как складывается судьба человека. Каждый день после уроков, идя домой, я останавливаюсь возле торговок, сидящих с корзинами вдоль тротуара, и покупаю на динар-два что-нибудь вкусное. Зимой апельсины, жареные каштаны, а весной и летом черешни, клубнику, вишни, абрикосы, персики, груши, яблочки, а потом до конца сезона арбузы, дыни и виноград. Иду домой и по дороге ем. Меня уже знает весь Бечей. Иду по улице и раскланиваюсь.

По местному обычаю, в особенности под вечер, местные дамы выносят на улицу стулья и даже диваны и на тротуарах возле ворот отдыхают до позднего вечера. У некоторых домов образуются таким образом целые группы, занимая тротуар до самой мостовой. Здесь они живут местными интересами, пережевывая разные сплетни, и делятся впечатлениями. Все эти дамы необыкновенно толсты и любят, когда им оказывают внимание. Я в этом отношении всегда любезен и потому пользуюсь на своей улице особым расположением. «Добар рус», - говорят про меня эти кумушки.

В каждом дворе имеется отличный цветничок. Это особенность не только мадьярского, но и сербского уклада жизни в Банате. Так называется наша местность, бывшая житница Австро-Венгрии и начало знаменитой Венгерской долины. Как

пережиток средневековья, дома здесь строятся не так, как у нас в России. Парадных подъездов, да и вообще выхода на улицу из домов, нет. Нужно войти в ворота, ведущие в вестибюль, в который выходят двери из домов, а далее дворик, весь утопающий в цветах. Это так называемый венецианский стиль или, вернее, остатки римской культуры.

Так и в моем домике. Одно окно моей комнаты выходит на улицу, другое во двор, который представляет собою сплошной цветничок. Но у меня еще красивее, так как окно окутано виноградной лозой, грозди которой прямо лезут в окно. Тут же, среди цветника, бунар (колодезь), обвитый плющом. Не нравится мне только одно. Это то, что окно, как и всюду, с железной решеткой, как в тюрьме.

Сейчас у меня каникулярное время, которое я использовал, чтобы провести это время с братом в Белграде. Каждый год летом, перед началом занятий, в августе, я езжу на отдых к брату, сначала в Загреб - Ка-шино, а потом, когда брат переехал в Сербию, - в Белград. Эти ежегодные поездки были действительно настоящим отдыхом для меня. Прежде всего мне доставляла большое удовольствие сама поездка. Пароходное сообщение с Белградом по реке Тиссе, а затем по Дунаю и реке Савве делали поездку легкой и приятной.

Целый месяц жизни в семье брата, большие знакомства и общение с людьми разных положений обновляли меня, и я запасался энергией на целый год вперед. В этом году я с нетерпением ждал своего отпуска. Мне надо было показаться докторам, чтобы подобрать очки и сделать малую операцию на ноге, которую я ушиб в прошлом году. Это меня не смущало, и я опять погрузился в белградскую жизнь, пытаясь извлечь из этой поездки возможно больше выгоды. И этот раз моя поездка была особенно удачна. Я повидал всех, кого хотел, и встретил людей, с которыми у меня было много общего по России.

28/15 августа, на Успение Св. Богородицы, я был у обедни в русской церкви. Опять перед моими глазами предстала русская катастрофа в ее самом безотрадном виде. Русские знамена, хранящиеся в этом храме, придают ей особый, не то беженский, не то военный характер, напоминающий, что борьба еще не кончена. Но, конечно, понесут их в Россию не те, кто стоит теперь перед ними в русской церкви. Их миссия уже закончена. И я искал глазами тех, кто идет нам на смену. В церкви их не было.

Толпа была большая. В храм было трудно втиснуться. Возле храма, на скамеечках в садике, было много народу. Это была толпа, которая 1011 лет тому назад боролась с большевиками и под сильным напором их оставила Россию, идя пешком по

шоссейным дорогам, заполняя железно -дорожные станции, пароходные пристани, а затем пережила эвакуацию в зараженных трюмах переполненных кораблей. Я видел тогда эту толпу. Она была разбита большевиками и смешалась с военными частями, под прикрытием которых ушла из России.

Я помню хорошо эту толпу. Она была хотя и растрепанная, но энергичная, живая, не сдавшая еще своих знамен. Она была уже тогда немолодая. Теперь прошло 11 лет, и люди постарели. В храме преобладали старики и люди в пожилом возрасте. Генералы и полковники в истрепанных пиджаках и с палочками в руках уже согнулись под тяжестью беженской жизни. Я видел и офицеров, которых трудно было узнать. Беженство старится и вымирает. Это резко бросилось мне в глаза именно теперь, в нашей русской церкви.

Я всматривался в лицо митрополита Антония, служившего в этот день обедню. Девять лет тому назад я видел его в Загребе, где мне посчастливилось обедать с ним у местного консула Ферхмина. На следующий день он читал нам лекцию о Достоевском. Это был энергичный, живой старик, преисполненный энергией и бодро поддерживавший тогда свою паству. Теперь это был расслабленный старец, едва передвигающий ногами. Его поддерживал протодиакон, человек невероятной силы. И я искал опять глазами тех, кто идет на смену этим людям.

В церкви была юная молодежь, но это были кадеты, гимназисты и наши институтки. А где же золотая середина - люди средних лет, которые так нужны теперь? Их нет и нигде их не видно. Здесь, по-видимому, образовалась брешь, как последствие войны и революции. Но, может быть, их нет только в церкви.

Мы разговорились по этому поводу через несколько дней после этого с профессором Серебряковым, когда мне сделали операцию и мы лежали *с* ним по соседству на койках в санатории «Славия». И он, и я - мы оба не спали ночью. Он от бессонницы, а я от боли. Где наша русская молодежь? Ее нигде не видно. Доктора, профессора, инженеры, учителя, музыканты, художники - вообще все, кого мы видим работающими теперь, - это старики, если не по возрасту, то по своей прежней деятельности еще в России. Почему на смену им не выступают новые силы? Ведь прошло более 10 лет. Заграничные университеты чуть не с 1919 года переполнены русскими беженцами. Пора бы им выявить себя.

Профессор констатировал, что вначале наши русские студенты стояли далеко впереди общей студенческой массы, потому что были отлично подготовлены в России. Теперь мы

видим другое. Расширение программ средних учебных заведений, перегрузка их ненужным балластом вырабатывают поверхностность, а знаний не дают. Профессор все-таки заснул к утру, а я продолжал думать, но не мог додуматься, где же наша русская молодежь. Ведь и военные союзы стареют. Там нет молодежи, а есть те, кто пришел из России.

Как профессор Белградского университета Николай Васильевич, конечно, живет высококультурною жизнью, и я всегда набираюсь у него энергии и умственного материала, что обновляет меня в моей провинциальной жизни. Бываю, конечно, и в музыкальных руководящих сферах, где обновляюсь и в этом отношении. Хожу на лекции, заседания. Провожу много времени в лаборатории у брата. По вечерам слушаем музыку по радио, а в большинстве случаев идем куда-нибудь.

Но все же меня тянет к природе, и с этой целью я сделал две поездки по Дунаю, в Панчево и Земун, где провел отлично время. Скоро еду обратно в Новый Бечей, где с 1 сентября начинаются занятия. Опять уроки с утра до вечера, но я люблю эти уроки. Ведь у меня есть уже ученицы, которые играют отлично. Жизнь вокруг нас идет мирно, спокойно, и это спокойствие невольно отражается на общем настроении.

Урожай - колоссальный. Повсюду гудят молотилки, что напоминает мне с утра каждый день Россию. Как-то спокойно становится на душе. Иногда становится скучно, тоскливо. Да иначе и быть не может. Хотелось бы еще увидеть своих, свои родные места и умереть на Родине.

* * *

22 мая 1932 года Харьковский институт праздновал 120-летнюю годовщину со дня своего основания (29 апреля - 12 мая 1812 года), из которых 12 лет он просуществовал в Югославии. Праздник этот был искусственный: во-первых, потому, что стодвадцатилетие никогда не считается юбилейным годом, а во-вторых, потому, что в этом году было предрешено закрыть Харьковский институт. Как тщательно ни скрывала это Державная комиссия, в обществе об этом говорили как о вопросе уже решенном.

Вот почему праздник был весьма кстати. Он заканчивал последний год существования Харьковского института. Отпраздновали этот день широко, славно, по-русски. Всеми чувствовалось, что это последний праздник в институте. Представителей Державной комиссии не было на этом празднике, и это истолковывалось как подтверждение слухов о закрытии института.

Русский вопрос постепенно ликвидируется. В позапрошлом

году (1930) закрыт Сараевский кадетский корпус. В прошлом году (1931) закрыта Кикиндская русская женская гимназия. В этом году закрывается старейший Харьковский институт, а в Державной комиссии говорят, что в следующем году закроется Донской кадетский корпус. Таким образом, из женских учебных заведений остаются лишь Донской институт на 210 воспитанниц и Белградская женская гимназия.

Почему закрыли старейший Харьковский институт, а не Донской институт, существующий 75 лет, - это никто не знает. Разговоров по этому поводу очень много, но истинного положения никто не знает. Официально говорят, что нет денег, потому что сербы сократили ассигнование на помощь беженцам. Но этому никто не верит. Деньги есть, но они широко расходуются на надобности, не связанные с интересами беженцев.

Сокольские организации, народный университет, содержание дома русской культуры с его учреждениями, командировка писателей и общественных деятелей для собеседования в русских учебных заведениях (кстати сказать, весьма убогие), разные субсидии и т.д. Кроме того в последние годы родители учащихся в средних учебных заведениях обложены разными поборами и вносят громадные суммы (до 500 динар в месяц) за правоучение своих детей. Даже писчебумажные принадлежности учащиеся должны покупать на собственный счет.

Конечно, не зная бюджета Державной комиссии, трудно вникать в это дело. Но впечатление получается таково, что не в деньгах дело. Средние учебные заведения закрываются, а подготовительные к ним начальные школы остаются. Сейчас таких детских школ в распоряжении Державной комиссии имеется семнадцать, и остается в Пановичах нечто вроде прогимназии. Для чего же готовить детей в среднюю школу, когда школы эти закрываются?

Недоумение в общественных русских кругах полное. И этому находят объяснение. Говорят, что сербы признали, что у них наблюдается перепроизводство интеллигенции. Селяки не хотят сидеть на земле и, бросая ее, идут в доктора, инженеры и чиновники. Решено противодействовать этому движению. В прошлом году в Югославии закрыто 44 учебных заведения. Поступление в гимназию затруднительно. И вот, идя по стопам сербов, мы применяем эту меру к русским беженцам, не учитывая того, что почти все беженцы - это цвет русской интеллигенции и земли у них нет. Идите в кухарки, занимайтесь ручным трудом, говорят стоящие у власти свои же русские люди, принявшие сербское гражданство.

С позапрошлого года к русской учащейся молодежи

применены драконовские меры. На второй год оставаться нельзя. За двойку исключают из гимназии. Программы расширяются. Заниматься трудно. Бедные дети устают и не в силах одолеть программу. За правоучение введена непосильная для беженцев плата. «Строже и строже, - раздаются голоса сверху, - чтобы могли учиться только избранные, а мелкота - уходите». И одна за другой вылетают из учебного заведения девочки. «Идите в сербские учебные заведения. Идите куда хотите». «Но вы нас не подготовили», - вопит молодежь. - Довели до четвертого и пятого класса и выбрасываете на улицу. Мы не знаем даже языков, которые вы запретили проходить в институте». И правильно вопит молодежь.

Общественное мнение направлено против заведующего учебными заведениями профессора Кульбакина, которому приписывают все эти мероприятия, которые он будто бы проводит в угоду сербским властям. В нем видят все зло в русском вопросе и, кажется, нет русского человека, который бы не говорил о нем с озлоблением. Мы лично не допускаем мысли, чтобы все исходило только от профессора Кульбакина. И если он вызвал к себе такое злобное отношение русских людей, то к тому имеются другие основания. «Говорите по-сербски», - оборвал он однажды в Кикинде одного служащего русской гимназии. И там же он проповедовал о том, что русские беженцы должны ассимилироваться с сербами. «Мы -сербы», - говорит постоянно г. Кульбакин, но ведь он даже не русский, а молдаванин, взявший от России все, что мог, а теперь он серб. Он известен в русских кругах тем, что написал сербскую грамматику и, восхваляя достоинства сербского языка, доказал, что Адам и Ева говорили по-сербски. Так подсмеивается над ним публика.

Державная комиссия есть учреждение сербское - правительственное, входящее в состав Министерства иностранных дел. Учреждение это коллегиальное, которое возглавляет председатель. Первоначально (1919-1920) делами русских беженцев ведали б. посол В. Н. Штрандман и правительственный уполномоченный С. Н. Палеолог, но после случая с консулом Емельяновым, который скрылся с деньгами, отпущенными на содержание русских беженцев, доверие к Штрандману было утеряно, и сербское правительство учредило в составе Министерства иностранных дел Державную комиссию, ведающую делами русских беженцев.

Первым председателем этой комиссии был крупный человек, большой русофил Люба Иванович. В Державной комиссии обсуждаются лишь общие вопросы, а весь административный аппарат сосредотачивается в канцелярии Державной комиссии,

представляющей громадное управление в составе не меньше ста служащих, во главе которого стоит управляющий делами Державной комиссией. Сначала управляющим был г-н Плетнев, вынужденный уйти с этого поста, теперь им состоит уже много лет Б. М. Орешков (инженер). К сожалению, Люба Иванович умер, и место его занял профессор Белич (серб).

Уже из этой организации видно, что профессор Кульбакин не может самостоятельно направлять в Югославии русское дело. Он в числе прочих служит в Державной комиссии, занимая ответственный пост заведующего русскими учебными заведениями, но действует в согласии с коллегиальным учреждением, которое называется учебным советом. Правда, мы знаем цену всем этим советам и комитетам, но все-таки утверждаем, что г-н Кульбакин не имеет дискреционной власти. Без доклада председателю Державной комиссии ни один русский вопрос не может пройти. Следовательно, за все ответственным лицом является не г. Кульбакин, а профессор Белич.

Мы сомневаемся, чтобы хоть один русский человек подал в учебном совете или других совещаниях голос за закрытие средних русских школ, в которых ощущается такая потребность в нашей не только беженской обстановке, но и в вопросе о будущей России. Каждый русский человек знает, что по своему составу средняя школа должна быть предметом особого внимания русских людей и руководящих кругов. Ведь это искалеченные дети, современники небывалой в истории катастрофы и пережившие глубокие моральные потрясения. Правда, тех детей, которых вывезли из России, уже нет в средних школах. В Харьковском институте, по крайней мере в 1929-1930, годах окончили курс последние две: Варваци и Касьянова, которые были свидетельницами эвакуации.

Но зато есть еще много из тех, кто прибыл потом из Советской России. Но надо помнить и то, что первые дни беженства для русских людей были ужасны. Дети, находящиеся теперь в средней школе, пережили вместе с ними этот период, и, конечно, он не остался для них без влияния. Как инвалиды с разбитой душой, болезненные, с развитым туберкулезом на почве недоедания и тяжелых условий жизни, они нуждаются в заботах общества и требуют внимательного отношения к себе. И это не может не быть известным русским людям.

Можно, конечно, держаться мнения о необходимости для русской эмиграции слиться с сербским народом, но выбрасывать сотни детей на улицу, лишая их вовсе образования, - это слишком жестоко. И результаты этой жесткой меры мы уже видим теперь. Если нет средств, то надо было сократиться в расходах иным

путем, но детям надо было помочь, так как в них только мы можем видеть будущую Россию.

Теперь много говорят о доме русской культуры в Белграде, который будто бы поглощает все отпускаемые на содержание русских беженцев средства. Но ведь, по правде сказать, беженцам это вовсе не нужно. Русская культура гораздо больше сохранилась бы в национальных русских школах, чем в этом доме-музее. Русские национальные школы закрываются. Русское беженство уже потеряло свыше 700 мест в средней школе. «Отдавайте своих детей в сербские школы», - говорит нам господин Кульбакин. Но кто такой этот господин Кульбакин, чтобы так руководить русской политикой?

При всей нашей любви и уважении к сербам мы все-таки хотим остаться русскими. Наконец, революция в России еще не кончилась. Еще времени много для нашего подрастающего поколения. Может быть, они еще вернутся в Россию и останутся русскими людьми. Мы должны помнить, что когда в 1919 году начальница Харьковского института обратилась в Новороссийске к представителю Сербского королевства Г. Ненадовичу с просьбой выхлопотать у сербского правительства разрешение на эвакуацию института на время смуты в России в Сербию, то это ходатайство было сербским правительством удовлетворено. Институты были эвакуированы в Сербию на время смуты в России. Что же вернет теперь Сербия России, когда там прекратится смута?

Как анекдот в обществе циркулирует разговор одного из родителей, не могущего платить за правоучение своей дочери в институте, с управляющим делами Державной комиссией Б. С. Орешковым. «Мы вас содержим уже 10 лет. Довольно», - сказал г. Орешков. «Кто это мы? Служащие Державной комиссии?» - спрашивают родители.

Сотни русских девочек остались за бортом школы, «Идите в кухарки», - цинично заявляет профессор Кульбакин. Но это было бы ничего, если бы они пошли в кухарки, но мы толкаем их на другой путь, хуже, чем кухарочное дело. И так достаточно русских девушек, идущих от голода служить по кафанам и ресторанам. Матура дает мало русской девушке за границей. Это начинает ясно сознаваться в беженских кругах. Получила матуру и иди служить в ресторан. Не лучше ли было оставить наши институты в том виде, какими они прибыли из России?!

Практические знания языков, рукоделие, хозяйство, музыка, пение дали бы им больше, чем дает матура. И эта ошибка уже сказывается теперь. Во Франции прямо сказали одной барышне, добивавшейся поступить в университет: «Ваш документ об окончании русского института дал бы вам больше, чем ваша

матура. Вы не знаете даже языков...» Во Франции и Германии отлично знают, чем были в России женские институты.

Теперь это заставляет сильно задуматься наших русских людей, и мы видим уже, какую ошибку сделала Державная комиссия. И это чувствовалось уже с самого начала, когда лица, стоявшие во главе институтов, указывали на необходимость ввести в программу институтов профессиональные классы. Матура не дала ничего русским беженцам, если не считать десятка-двух барышень, кончивших университет.

Державная комиссия о русских беженцах есть учреждение правительственное, сербское, которое не дает отчета и не спрашивает взглядов и мнения русских людей. Учреждая эту Комиссию, сербское правительство, очевидно, желало иметь в ней представительство русского беженства, назначив в Комиссию членами трех русских и пригласив на службу в Комиссию и ее канцелярию изрядное количество русских. От кого зависело это назначение, мы не знаем, но знаем, что выбор сделан неудачно.

Во всяком случае, можно сказать определенно, что эти служащие не могут ни в коем случае представлять интересы беженцев. Это лишь служащие Державной комиссии. При таких условиях, конечно, эмиграция не может подать своего голоса и изложить свои нужды сербскому правительству. Голос двух-трех русских, служащих в державной комиссии, которых избрал профессор Белич, не есть голос русской эмиграции.

Мы знаем, что в сербских кругах сложилось впечатление, что Державная комиссия носит характер как бы автономного русского управления, руководимого русскими людьми. На наше возражение они отвечали нам, что, может быть, юридически это не так, но им известно, что фактически председатель Державной комиссии передал всю полноту власти по учебной части г. Кульбакину. И в доказательство г. Туринский (серб из Нового Бечея) привел такой факт. Когда в этом году депутация, состоящая из сербских общественных деятелей Нового Бечея, прибыла в Белград с ходатайством об оставлении Харьковского института в Новом Бечее, то председатель Державной комиссии ее не принял, а направил ее к г. Кульбакину.

Изложив свое ходатайство, депутация рассчитывала если не получить положительный ответ, то по крайней мере получить соответствующие разъяснения. Что же сделал профессор Кульбакин? Выслушав депутатов, он очень кратко и отчеканивая каждое слово сказал: «Это вопрос уже решенный. Я так сказал, так и будет. С Богом!» - И протянул для прощания руку.

Новобечейский бележник, бывший в этой депутации, начал возражать, указывая, что министр, у которого была депутация,

ничего не имеет против оставления института в Бечее. «Если бы министр приказал оставить институт в Новом Бечее, то я немедленно подал бы в отставку и покинул бы Сербию», - ответил ему г. Кульбакин, на что беженцы сказали: «Сербия существовала без вас и будет существовать без вас». Рассказывая мне это, г. Туринский прибавил: «Это просто у вас второй Ленин или Сталин».

* * *

С 1 сентября 1932 года Харьковский институт считается закрытым. Из 220 воспитанниц 34 окончили в этом году институт, 88 переведены в Донской институт. Белградским жителям предложено поместить своих детей в Белградскую женскую гимназию. Некоторые воспитанницы поступили в сербские гимназии. Судьба остальных нам неизвестна, и сколько их - 50-70-90, - это трудно сказать.

* * *

27 августа 1932 года, в половине первого ночи, уехали в Белую Церковь остававшиеся на лето в институте воспитанницы Харьковского института. Таким образом, этот день должен считаться последним днем существования Харьковского института.

День был суетливый. Много оживления внесла прибывшая на авто в Н. Бечей М. Ф. Максимова, привезшая в институт своих дочерей. Вестибюль завален чемоданами, корзинками и плотно набитыми мешками с казенными вещами. Воспитанницы укладываются и даже не ходили утром купаться на Тиссу. Чувствовалось какое-то напряженное состояние и горечь предстоящей разлуки. Все куда-то торопятся и бесцельно ходят из одного помещения в другое. На месте не сидится.

Возле институтского подъезда целый день группами толпятся русские, остающиеся в Бечее. Настроение подавленное, скверное. Все-таки свои - родные. А каково тем, кто остается в опустевшем Бечее? И на лицах написан упрек тем, кто разрушил русскую школу и не сумел уберечь ее на чужбине. 120 лет просуществовал Харьковский институт, воспитывая русскую девушку, и эти господа не посчитались с этой русской традицией.

* * *

Перед вечером всегда нервы приподняты. Томительно шло время в ожидании последних минут. Все заняты. Не знаешь, куда деваться. У институтского подъезда опять группа русских, которые, точно шепчутся, стоят друг около друга. А там та же картина. Все сосредоточенно-грустны. Вот Варя бежит с лестницы и сквозь слезы приветливо улыбается: «Спасибо за все, за все, Дмитрий Васильевич!» - говорит она и крепко жмет мне руку. Тут

же сидит и начальница института и тоже сквозь слезы улыбается. Ей хуже и тяжелее всех...

* * *

Уже темно. Время идет быстрее. Последний раз сегодня освещены дортуары. Возле подъезда стоит наготове автомобиль М. Ф. Максимовой, которая собирается ехать обратно в Сомбор. Девочки вернулись из церкви и толпятся частью возле автомобиля, частью в вестибюле - на лестнице. У подъезда опять русские люди. Уже прощаются. «Дай Бог», «дай Бог» -слышится со всех сторон. Разговор не вяжется. Уже сколько раз в жизни приходилось прощаться и навсегда, и никак к этому не привыкнешь. Я не люблю этого слова «прощайте» и говорю «до свидания».

Простились... Низкий гудок автобуса подал сигнал к отъезду и запыхтел, трогаясь с места. Прощайте. Не спалось этой ночью. Девочки уже едут, сидя в вагоне. Их жизнь впереди. И в этот раз не мы уходили от них, а они оставляли нас. Прощайте, милые русские девочки. Не унывайте и помните наш завет: не теряйте национальности и боритесь за свое, за свою Родину и свое счастье. Оставайтесь навсегда русскими женщинами. Да хранит вас Господь Бог в жизненном вашем пути.

* * *

Утром прямо с купанья, с полотенцем через плечо, я зашел в здание бывшего института. Барон (швейцар) был уже на месте. Я хотел проверить часы. На институтских часах с длинным маятником стояло час и тридцать минут. «Что это значит?» - спросил я барона. Оказалось, что часы остановились вчера ночью, как раз в тот момент, когда девочки поехали на вокзал. Что-то странное, непостижимое и мистическое показалось мне в этом совпадении. И барон недоумевающе смотрел на меня, не веря этой случайности. Сто двадцать лет шли в институте часы, и надо же было им остановиться в последний момент. И это уже навсегда, потому что починять их теперь никто не будет. Да и нет в этом надобности. Института нет. Он прекратил свое существование.

* * *

В этом году я был тяжко болен. На Крещение, во время водосвятия в институтской церкви, у меня случился первый и неожиданный сердечный припадок. Если бы наш доктор П. И. Пономарев опоздал на полчаса, то, вероятно, мое сердце перестало бы биться уже навсегда.

Я скоро оправился, но обнаружившаяся болезнь сердца уже делает меня больным человеком. И вот мои милые ученицы были встревожены, и я решил сохранить их письмо ко мне во время

болезни.

* * *

«Дорогой Дмитрий Васильевич! С нетерпением ждем каждой весточки о Вашем здоровии. Так неожиданно это случилось, и так мы все переволновались за Вас, дорогой наш Дм. Вас. Но вот сегодня утром узнали от С. П. целительную просто новость для нас, что Вам лучше, что Вы собираетесь выйти погулять и даже вчера, когда С. П. хотел Вам растопить печку, Вы встали сами и растопили. Это нам больше всего понравилось. От имени всех учениц пишу Вам эту просьбу. Чтобы Вы, как бы себя хорошо не чувствовали, все равно не приходили на уроки, по крайней мере хоть эту неделю. Вы должны, дорогой Дм. Вас., прийти на уроки здоровый, с новыми силами, а мы со своей стороны постараемся Вас не огорчать, чтобы потом себя за это не мучить. Бывали же мы и капризны и непослушны, а Вы, наш Дм. Вас., по своей доброте все спускали. Ну, до свиданья, дорогой Дм. Вас. Желаем Вам поправиться. Да хранит Вас Господь (для многих). Ваши Нила, Вера, Марина...

Мы все, дорогой Дмитрий Васильевич, очень огорчены Вашей болезнью. Очень желаем скорее видеть Вас здоровым. Нина (Бяша)».

* * *

12 января 1933 года

Десятого января 1933 года вечером в ресторане «Крки» был большой банкет, устроенный новобечейской общиной вместе с русской колонией. Провожали М. А. Неклюдову, как начальницу института. Было 45 человек (30 русских и 15 сербов). Это был исторический момент. Община 12 лет тому назад приняла и разместила эвакуированный из России Харьковский институт, и теперь на банкете провожаем начальницу института, последнюю покидающую Новый Бечей после расформирования института. Это было прощание не только с М. А. Неклюдовой, как начальницей института, но и с Харьковским институтом, что в особенности подчеркнули в своих речах срезский начальник и сербский священник о. Пецарский.

Культурное значение пребывания Харьковского института в Н. Бечее признано безусловным. Теперь Бечей опять стал деревней. Итак, все кончено. Послезавтра М. А. Неклюдова покидает Н. Бечей, оставляя после себя одно лишь воспоминание о Харьковском институте и документальный архив в бечейской общине о пребывании в Сербии старейшего русского института. Все это отошло уже в область истории, и, может быть, когда-нибудь, лет через двести, какой-нибудь ученый историк будет

восстанавливать по архивам Нового Бечея пребывание русского женского учебного заведения в Сербии и скажет, кто же разрушил эту школу и кому это было надо.

Это было в понедельник, 10 января, а в среду, 12 января, в 4 часа дня начальница института официально передала представителям общины и сербским властям ключи от здания Харьковского института и вышла из института к своим родственникам, откуда завтра поедет в Белград. Я был в эти дни несколько раз в здании института. Отправляли последние тюки и ящики. На полу всюду валялись тетради, книги, писчебумажные принадлежности. Все это был уже хлам, никому не нужный. Одним словом, я был свидетелем не только последних минут жизни Харьковского института, но и последних минут закрытия самого здания института. Теперь уже все кончено.

В тот же день вечером мы праздновали свой студенческий праздник -Татьянин день. В этот раз все было скромнее и происходило в помещении русской колонии. Всего было 24 человека, из коих только 10 человек были студентами. Остальные были приглашены как гости. После молебна батюшка В. Востоков благословил трапезу. Старейший студент (оставшийся не у дела преподаватель русского языка) Я. П. Кобец, неизменно председательствующий в этих собраниях, провел всю деловую часть, а затем начались речи, пение и... выпивка.

Разошлись в 3 часа в морозную, покрытую глубоким снегом ночь, напоминающую Россию. Татьянин день в Новом Бечее проходил всегда весьма оживленно. И это было понятно. Педагоги и служащие в институте в большинстве были с университетским образованием. Теперь, с закрытием Харьковского института, вероятно, прекратятся эти студенческие собрания. Большинство уже уехало из Н. Бечея. Уедут, по-видимому, еще и другие. Как праздник русского просвещения и русской культуры Татьянин день в Бечее был органически связан с институтом, ибо праздник этот устраивали служащие в институте - бывшие студенты русских университетов.

Этот день, можно сказать, был праздником всего института. Нас поздравляли как именинников даже воспитанницы младших классов, а вечером отменялись некоторые уроки и занятия, и это считалось естественным. Все знали, что этот вечер пропустить нельзя: это праздник русского студенчества. У меня лично в этот день после ужина всегда пропадало три урока, но это принималось как нечто необходимое. Обидно, что в этом году пришлось упразднить нашу студенческую стипендию по Н. Бечею, на которую заканчивала свое образование в Загребском университете бывшая харьковская институтка Резвова Галина.

С закрытием Харьковского института распадается и наша новобечейская студенческая организация.

1926 г. II класс, окончивший институт в 1932 г. т. е. года его закрытия.

ЗАПИСКИ. Т. XIII 1922-1925 Г.Г. ХОРВАТИЯ

В случае моей смерти прошу эти записки передать моей дочери Ольге Дмитриевне Краинской по адресу: гор. Чернигов, Старокиевская улица, дом Семченко № 41, Марии Александровне Лукиной для передачи О. Д. Краинской.

(М. А. Лукина всегда будет знать, где находится моя дочь)

Д. Краинский

1922 год начался томительно скучно, а в политическом отношении -противно и безнадежно. Среди студенчества в Загребе началось сменовеховское движение, примиряющее с большевизмом, и заметная тяга в Прагу - центр деятельности социал-революционеров. Одним словом, среди беженцев началась политика и разложение. Раскололись на две враждующие между собою группы и монархические организации. Мы разошлись в эти дни с нашим племянником студентом К. В. Алчевским, который склонялся к сменовеховскому движению.

Единения между беженцами не было. Мне лично не повезло. Я не встретил в Загребе никого из своих и не приобрел ни одного знакомства, где я мог бы бывать. Правда, несколько позже, перед оставлением Загреба, я познакомился с семьею генерала Н. П. Стремоухова и случайно встретил М. Н. Малахова (из Чернигова), который жил с семьею своей замужней дочери Савич на окраине Загреба. Здесь я стал часто бывать и встретил кое-кого из Чернигова. Все мои знакомые, сослуживцы, земляки, и люди, которых я знал и которые знали меня, оказались в Сербии, и в этом отношении я жалел, что попал в Хорватию. Я чувствовал себя здесь одиноко и проводил все время дома.

Еще с осени моему брату была предоставлена квартира из четырех комнат в новом здании патологоанатомического института. Против нас жил мой приятель доктор Кильман - ассистент при кафедре анатомии. Очень часто к нам заходил доктор Плешаков, тоже ассистент при университете. В том же здании жил генерал Н. И. Власьев, лаборант при университете. Это были те люди, среди которых протекала наша жизнь. Впрочем, громадное удовольствие доставило мне знакомство с семьею живущего в нашем коридоре университетского техника немца Ранца. У него было четверо детей, которые очень привязались ко мне и постоянно ходили со мною на базар. Они плохо говорили по-хорватски и признавали только немецкий язык. С ними мне было хорошо. Они вечно бывали у меня: в кухне, когда я готовил обед, и я был этому рад. При прощании

они дали мне свою фотографическую карточку, которую я решил приобщить к своим запискам.

В материальном отношении наше положение значительно улучшилось. Ник. Вас. сразу получил жалование за несколько месяцев и прибавку. После жизни впроголодь мы предались еде и выдумывали вкусные блюда. Иногда мы устраивали скромные пирушки, на которых бывали те русские люди, с которыми мы сталкивались, и это было большим удовольствием не только нам, но и тем, кто приходил к нам. Мой брат оделся во все статское и купил себе виолончель. Он играл ежедневно, что очень разнообразило нашу жизнь. Впрочем, бывали периоды, когда у нас бывало много народу, и тогда жизнь становилась интереснее. Я ходил иногда на лекции профессора Перовича по анатомии и хотя мало понимал, что читал по по-хорватски профессор, но все же это было некоторым развлечением для меня.

Тяготило нас враждебное отношение хорватского общества на Шалате, и в особенности злобное отношение к русским патрона моего брата профессора Микуличича. Правда, отношения эти обострил свой же русский сменовеховец, тоже ассистент при институте и, стало быть, коллега моего брата С. Чахатин, приехавший в Загреб из Франции со специальной миссией пропагандировать сменовеховщину среди русских студентов.

Как бы там ни было, атмосфера жизни была противная, но нужно было мириться. Вот почему я обрадовался, когда уполномоченный Красного Креста в Загребе П. М. Боярский поднял вопрос о занятии моим братом места старшего врача Гербовецкого госпиталя. Госпиталь Гербовецкой общины Р.О.К.К. находился в ста километрах от Загреба, в имении Лобор возле г. Златар. Госпиталь открыт специально для русских, и весь персонал в нем русский. Брат предлагает мне ехать с ним. Может быть, и мне найдется там дело. Предполагаемое назначение меня на должность заведующего бюро труда в Загребе не состоялось, несмотря на то что за меня ходатайствовал И. И. Рябинин, занимающий ответственный пост в Державной комиссии.

Вопрос этот тянулся с осени, и потому я не торопился устраиваться иначе. Впрочем, при наличии готовой квартиры у брата с отоплением и освещением и получаемом мною пособии в 240 динар особой необходимости в приискании мне службы не было. Мы обходились без прислуги. Я готовил обед, топил печи, ходил на базар, вообще занимался хозяйством, что вполне компенсировало мое положение человека без службы. Труд был нелегкий, в особенности в зимнее время, когда приходилось таскать воду на четвертый этаж, ворочать и раскалывать громадные глыбы каменного угля, выбирать золу из печей и

колоть дрова. Такое разделение труда с моим братом давало нам, конечно, громадные преимущества. Он занимался своим делом и ни о чем не заботился. Я скоро научился готовить, и мы были сыты. Иногда мы прикармливали других, так что мне приходилось готовить временами на 5-6 человек. Мне хотелось отдохнуть, и я решил до осени службы не искать.

Н. В. принял предложение и отказался от должности ассистента, оставив за собою приват-доцентуру при Загребском университете. Оснований к тому было много. Прежде всего институт, при котором Ник. Вас. состоял ассистентом, был не закончен. Научная работа была невозможна. Но больше всего его тяготила русофобская атмосфера на медицинском факультете и неприязненное к нему отношение профессора Микуличича. Нас обоих радовала мысль очутиться среди русских людей, в обстановке русской жизни с ее традициями, обычаями и даже под русским трехцветным флагом, который развивается над зданием госпиталя.

Мы оставляли Загреб, как оставляют станцию железной дороги, на которой пришлось переночевать после катастрофы. За год с лишним жизни в Загребе ее нечем вспомнить. Конечно, условия нашей жизни были неизмеримо лучше громадного большинства русских, но мы не могли безучастно относиться к положению беженцев и, можно сказать, жили общею с ними жизнью. То, что мы видали, и то, о чем приходилось слышать, вызывало горькое чувство обиды, негодования и разочарования всем человечеством. С жадностью впиваясь в газеты, мы искали всегда чего-нибудь утешительного и каждый раз убеждались, что русская катастрофа затягивается на продолжительное время.

И там, на Родине, и здесь, за границей, над Россией и русскими людьми глумятся. Иначе нельзя назвать создавшееся положение. Нас упрекают в том, что мы пользуемся гостеприимством. Это теперь модный вопрос, и чуть ли ни в каждом номере любой газеты нас уязвляют этим гостеприимством. Иногда это доходит до абсурда. Так, например, сейчас, когда в Болгарии происходят гонения на русских и оттуда бегут, болгарское правительство продолжает кричать о своем гостеприимстве. Нет! Мы живем скорее в атмосфере смерти, страданий и морального гнета. Мы предвидели это и писали, оставляя Крым в позапрошлом году, что нескоро и немногие вернутся на Родину. Мы не знали тогда, где и на какой земле найдет приют или смерть каждый из нас, и покидали Родину с решимостью встретить судьбу без ропота. И мы тогда не ошиблись.

Покорно и в полном сознании ужаса своего положения

русские люди на чужбине незаметно, но скоро гибнут. Беспредельное русское кладбище растет и распространяется за пределы русской границы. Конечно, в России неизмеримо хуже, и там в атмосфере кровавого ужаса гибнут голодною смертью десятки миллионов людей. По сравнению с ними мы не переносим и сотой доли тех страданий и унижений, которым ежедневно подвергаются они. Мы почти сыты и чувствуем личную безопасность. Уж это одно не дает нам право роптать. И мы не ропщем и не жалуемся, но мы понимаем, что мы тоже гибнем и страдаем за них, за себя и вместе *с* ними. И эти страдания ужасны. Ежедневно мы встречаемся с беженцами и слышим от них не жалобу, а скорее вопль душевных страданий: «Лучше было бы быть там вместе с ними», - говорят нам с тоскою все, кого мы встречаем. К смерти привыкли.

Русские люди научились за эти годы умирать, но хочется умереть на Родине. И к этому всегда сводится разговор с русскими беженцами. «Хочу умереть на Родине» - это мечта каждого русского. Каждый новый случай смерти как бы напоминает об общей участи и естественно вызывает подавленное моральное состояние. И, как нарочно, еще один и еще один... И так почти каждый день.

Каждый день приносит что-нибудь новое и невольно связует недавно прошедшее, пережитое, с настоящим, как продолжением катастрофы. Болгария превращена в русское кладбище, говорят нам прибывающие оттуда. Болгарские могилы теряются в общей массе свежих русских могил. На румынской границе все еще продолжается катастрофа, и там гибнут русские люди, бегущие из России от большевиков. Это бескрестное кладбище, где в плавнях и на Днестре погибли тысячи русских беженцев, и теперь служит братской могилой для очень многих, бегущих в Румынию.

Не так давно мы были опять встревожены газетными сообщениями о событиях на румынской границе. Пока на Днестре был лед, ежедневно по ночам в Румынию пробирались через Днестр под пулями красноармейцев сотни русских людей, но лед тронулся. Между обоими берегами посередине Днестра есть маленький островок - нейтральный, ни наш, ни ваш. Неделю тому назад, когда был еще лед, на островке скопилось человек триста беженцев, дожидавшихся ночи, чтобы переправиться на румынский берег по льду. Старики, женщины, дети. Но днем лед тронулся и пошел на остров. Тщетно беженцы влезали на самые высокие деревья - ледяные пластины срезали эти деревья как пилой. Люди гибли. Румынские солдаты бросились их спасать; большевики начали обстрел и тонущих и спасающих из пулеметов. Было спасено лишь несколько человек; остальные

погибли, в том числе несколько героев-румын - солдат и офицеров (Новое время. 14 апреля 1922. № 291). Мы были взволнованы этим сообщением и, как испытавшие все тяжести отхода на Румынию в 1920 году, особенно сильно чувствовали весь ужас положения погибших русских людей. В г. Тульче (Румыния) мы сами видали и своевременно описывали русское кладбище. Оно напоминает нам кладбище для русских на острове Лемнос. По-видимому, теперь в Румынии не лучше, чем было при нас. По крайней мере те сведения, которые проскальзывают в газетах, указывают, что оттуда русские люди бегут.

Мы слышим постоянно еще и теперь о русском кладбище в Галлиполи, этом военном кладбище, где покоятся сотни русских людей, не выдержавших суровых условий эвакуации. Генерал Кутепов задумал увековечить память погибших устройством на кладбище громадного памятника. Каждый русский воин, каждый русский гражданин и русская женщина обязывались принести на кладбище по одному камню. Скоро на кладбище выросла громадная пирамида, на вершине которой поставлен мраморный крест. У входа на кладбище - окруженная скромной решеткой могила умершего в Галлиполи от сыпного тифа генерала Шифнер-Маркевича, в дивизии которого мы состояли при десанте на Кубань. Дальше длинными рядами идут могилы тех, кому Бог не судил увидеть свою Родину.

Протоиерей Михаил Гутовский, пробывший год в Галлиполи, говорил нам, что русское кладбище в Галлиполи содержится в большой исправности, так что даже местные жители, турки и греки, ходят любоваться устройством этого кладбища. Первое время умерших хоронили на греческом и бывшем загородном (турецком) кладбище, и здесь нашли себе вечный покой такие, которых никто не знал. Потом, когда уже жизнь в Галлиполи наладилась, было устроено два кладбища, одно городское, а другое в 7 верстах от Галлиполи, лагерное. На каждой могиле имеется железный крест с надписью на железной дощечке имени, отчества, фамилии и даты смерти. Всего на галлиполийских кладбищах свыше 500 могил, сказал нам отец Михаил. Памятники устроены на обоих кладбищах, а там, где первоначально хоронили умерших, поставлены по одному - громадные железные кресты.

Много раз мы были на кладбище в г. Варне, и мы не знали тогда, что теперь нам придется часто вспоминать и припоминать, где и в каком ряду чья могила. Нас спрашивают об этом люди, припоминающие

и разыскивающие своих спутников по катастрофе, своих родственников и знакомых. Мы слышим часто разговоры о

Скутарийском кладбище в Константинополе, где французы хоронили снятых с пароходов русских и где ныне хоронят беженцев, мрущих в ужасных условиях константинопольской жизни.

До нас доходят слухи о громадной смертности интернированных беженцев и воинских частей в суровом климате Египта, на островах и других местах пребывания русских беженцев. Мы не можем забыть и мрачной картины похорон в море, и сотни трупов, извлекаемых из разгружаемых при эвакуации пароходов, где живые и мертвые, как в тисках друг у друга, заполняли глубокие, темные трюмы громадных пароходов. «Даже обычно хладнокровные к чужим страданиям моряки стоявших в бухте французских судов не смогли молчать и обратились к французскому правительству с телеграфным протестом по поводу которских кошмаров», - писал своевременно в «Руле» некий Глеб Алексеев.

Теперь как будто подводятся итоги прошлому и восстанавливается картина недавно пережитой катастрофы. И это естественно. Ушедшие из России беженцы отоспались, отъелись, несколько успокоились, привели себя в порядок и, пользуясь передышкой, разыскивают своих родных, знакомых, спутников, земляков, однополчан и близких людей. Люди гибли катастрофически, в суете, в пути, оторванные от своих родных и знакомых, среди людей, которые не знали подчас ни имени, ни фамилии своих соседей.

Газеты переполнены розысками, справками, объявлениями, иногда с отчаянием и мольбой просящих всех, кто знает, сообщить сведения о разыскиваемых. Целые столбцы и страницы газет содержат сотни таких объявлений. И только теперь люди находят друг друга. Только теперь выясняются размеры катастрофы и разбросанные по всему свету люди разыскивают друг друга. Узнают всячески - и путем объявлений, и опросом друг друга, и в частных письмах, и случайно.

На днях наши черниговцы получили письмо из Австралии от инженера Маркельса, который наконец дал о себе знать. Только недавно мы узнали, что при разгрузке в бухте Бакар с парохода «Херсон» был снят больной сыпным тифом Карпеко, дворянин Черниговской губернии, который тотчас же умер. При нем была его дочь Ольга 14 лет. Она очутилась в беспомощном положении, одна, брошенная среди чужих, голодных, измученных людей. Случайно в ней принял участие уполномоченный Красного Креста П. М. Боярский, которому удалось благодаря знакомству сейчас же списаться и направить девочку в Сербию (Турский Бечей), в Харьковский институт благородных девиц.

При разгрузке того же парохода всех поразила смерть совсем юной дамы г-жи Белецкой. Стоя в очереди за кипятком, она внезапно упала и тут же умерла от разрыва сердца. Буквально за секунду перед смертью она приветливо улыбалась и перекидывалась словами со своими соседями. Там же, в Бакаре, в с. Церквеннице, умер некий Волков, молодой офицер. Его похоронил доктор Любарский, заботливо ухаживающий за его могилой в течение летних месяцев. Кто такой этот Волков и есть ли у него родные, этого никто не знает. Известно только было, что он из Москвы.

Не было дня, чтобы с выдерживающих карантин кораблей в бухте Которской не выбрасывали в море покойников. Их хоронили по морским правилам, с отпеванием и спуском в море зашитыми в мешок, к которому привязывался груз. Такие необычайные похороны производили тяжелое впечатление, и были случаи, когда убитые горем родственники умерших искали иного удовлетворения в погребении.

На пароходе «Брезгавия» умер от тифа начальник ялтинской почтово-телеграфной конторы. Семья его добилась разрешения заказать на берегу гроб, чтобы похоронить дорогого покойника подобающим образом, но это отступление произвело еще более удручающее впечатление. На следующий день гроб с покойником выплыл на поверхность моря и, покачиваясь на волнах, был унесен в море. В бухте Которской, этом красивейшем уголке Черногории, где с особой силой разыгралась драма Крымской эвакуации, лежат сотни погибших беженцев, не разысканных своими родственниками. Нам известно, что и теперь еще в бухте Которской функционируют госпитали, переполненные русскими.

Но теперь катастрофа завершилась. Так называемые беженцы и воинские части армии генерала Врангеля расселены на славянских землях

Балканского полуострова, в Константинополе, Египте и на островах. Мы видали этих русских людей. Это беженцы Крымской эвакуации, именуемой так в отличие от Сербской эвакуации, которая завершилась годом раньше при гибели армии генерала Деникина. Это воинские части (контингенты), инвалиды и те русские люди, с семьями и без них, которые последними оставили Крым.

Положение крымских беженцев считается самым тяжелым. Они ушли в том, что было на них, в изношенном одеянии, в изорванной обуви, без всяких средств или с деньгами, потерявшими свою ценность. Войска были посажены на пароходы прямо с боев, и потому среди них было много изнуренных, раненных и больных. Еще теперь сербские военные больницы

переполнены русскими воинами, и в иных пунктах королевства устроены русские лечебные заведения, обслуживающие исключительно русских больных.

Мы знаем еще и теперь многих, и в частности студентов Загребского университета, с не извлеченными пулями и осколками снарядов и незажившими ранами. Недавно офицеру-студенту Игорю Попову (из Харькова) извлекли из спины осколок снаряда. Мы знаем студента Максимова с ампутированной ногой. Всю зиму он ходил на костылях, а весной мы встретили его с палочкой, в искусственной ноге. Мы от души порадовались за него. Студентка-медичка Покровская, бывшая сестра милосердия, потерявшая на войне правый глаз, была бесконечно счастлива, когда Красный Крест оказал ей содействие к приобретению вставного стеклянного глаза. Недавно она разбила его и, бедная, горько плакала в течение многих дней.

На днях мне пришлось впервые видеть искусственный нос. Полковник Бабинцев явился при мне в Красный Крест ходатайствовать о починке своего носа, кончик которого отломался. Исполнив свой долг перед Родиной, теперь эти люди в части пристроились, служат, заканчивают образование или зарабатывают средства к существованию физическим трудом.

Громадное большинство беженцев, конечно, остается не пристроенными и влачит жалкое, полуголодное существование в разбросанных по всей Югославии русских колониях, получая на жизнь пособие в 240 динар, которых едва хватает на скромный обед. Условия жизни громадного большинства этих людей, в особенности людей семейных, суровые, гнетущие, неприветливые. Мы не говорим, конечно, о тех беженцах, которые выехали из России своевременно со своими семьями, багажом и со средствами. Они живут главным образом в Германии, во Франции, Италии и Англии и в большинстве катастрофы не испытали. О них, как о людях, не разделивших страданий русского народа и не испытавших на себе большевизма, мы говорить не будем. Они представляют собою, в сущности говоря, эмиграцию, и их неправильно называть беженцами. Мы не можем смотреть на события с точки зрения этих людей, а также и тех, кто выдержит все испытания и выйдет целым из катастрофы.

Впоследствии все забудется, и уцелевшие, конечно, будут больше думать о себе, чем о тех, кто погиб во время катастрофы или останется обездоленным на всю жизнь. Уже теперь очень многие из тех, кто вышел из затруднительного положения, устроился и получает хорошее содержание, забыли, как они голодали и что испытали, и мы нередко слышим от них резкие суждения и упреки по адресу тех беженцев, которые до сих не

сумели устроиться. Конечно, переживания тех и других различны. Сытый голодного не поймет! Но факт тот, что непристроенные голодают, и мы знаем достоверно, что целые семьи сидят месяцами на хлебе и картошке.

Это тоже непонимание друг друга, которое наблюдается между беженцами, оставившими своих близких людей в России, и теми, что бежал от большевиков со своими семьями. Жизнь и переживания тех и других несравнимы. Как люди одинокие и холостые, так и беженцы, переживающие на чужбине катастрофу со своими детьми, женами и мужьями, никогда не поймут тоски, беспокойства, бесцельности жизни и настроения тех, у кого в России осталось все, что составляло содержание жизни. Еще обиднее за тех, кто, выражаясь образно, выбывает из строя, заканчивая жизнь в санаториях для туберкулезных и разных хирургических госпиталях. Это ликвидация катастрофы и неизбежное последствие отбора.

Надорванные силы не выдержали тяжести испытаний, и более слабые механически исключаются из числа русских беженцев. Это нормальное явление, говорят нам люди логически мыслящие, и известный процент людей неминуемо должен погибнуть во время катастрофы. Логически, конечно, это так, но признать это явление нормальным и неизбежным и на этом поставить точку - это было бы равносильным примирению с явлением массовых расстрелов в большевистской России, как неизбежным спутником революции.

Мы должны быть на стороне тех, кто страдал и испытал на себе все последствия катастрофы. Мы не должны забывать тех, кто погиб на о. Лемнос, в Галлиполи, на румынской границе, в Болгарии и ныне гибнет, не выдерживая суровых условий беженской жизни. Это те же бессмысленные жертвы революции, взаимной вражды, ненависти, упадка культуры, которые охватили народы Европы после войны.

И на загребском кладбище еще не заросла травой могила несчастного мальчика, кадета Сергея Смагина 14 лет, скончавшегося в хорватской больнице. Мальчик предчувствовал свою смерть и просил больничный персонал позвать кого-нибудь из русских. «Все равно, кого-нибудь из русских», - умолял мальчик в предсмертных муках, но стальная выдержка западноевропейского режима не позволила администрации нарушить больничного устава, и мальчик умер одиноко, как умирают русские люди одиночною смертью в камышах, на поле брани и в опустевших окопах.

Недавно умерла доброволица, сестра милосердия Антонина Васильевна Морозова, которую мы знали по Крымской эвакуации. Она работала во втором трюме парохода «Ялта», когда мы стояли

на константинопольском рейде. Доктор Кильман, посещавший ее в хорватской больнице, пришел как-то ко мне и сказал, что Морозова просит купить ей Евангелие. Это были ее последние дни, и она это сознавала. Ни одного слова ропота, ни одной просьбы, и мы вспоминали, в каком безразличном состоянии мы видали ее на пароходе, когда «Владимир» с голодающими прибыл в Бакар. Теперь страдания этой молодой женщины кончены, и кто знает, что было у нее на душе в эти последние дни ее жизни.

Не так давно закончила жизнь госпожа Бибикова (ее муж служил в С.-Петербурге в дипломатическом корпусе). Мы видали эту красивую, полную сил женщину. Состояние ее мужа, душевнобольного, признавалось безнадежным. Г. Бибикова в порыве отчаяния и в состоянии аффекта задушила свою десятилетнюю дочь и через несколько дней умерла сама. Недавно мы узнали, что умерла дочь Кистяковского, Нина, 13 лет. Тихо умерла от туберкулеза студентка В. Н. Войневич. Умер мичман Г. И. Лузан. Умер адмирал Бутаков. На днях покушался на самоубийство офицер Габай.

Таковы факты, которые не успеваешь запоминать. И наряду с этим как будто идет нормальная, будничная, скучная беженская жизнь. Но это только кажущийся покой - внешняя форма. В действительности нет человека, который не переживал бы вечно тяжелого, гнетущего душевного состояния и не испытывал бы тяжких физических и материальных лишений.

Впрочем, эту последнюю сторону жизни беженцы переносят с необыкновенною стойкостью. Это то, что больше всего поражает иностранцев. Они не могут примириться с тем, что нас ограбили, отняли все и даже поснимали с рук кольца. И когда мы говорим, что над этим мы мало задумываемся и что нас тяготит другое, они только пожимают плечами.

Наша духовная жизнь им мало понятна. Когда-то изнеженные люди, одинаково мужчины и женщины, даже в преклонном возрасте, спят годами без подушек и простынь, и на это никто не жалуется. Привыкли к худшему. Слава Богу, что есть койка. Ведь спали неделями, месяцами, а иные годами, на полу, и теперь еще очень и очень многие не имеют кроватей. Мы знаем хорошо студенческую жизнь. Когда мы приехали в Загреб, в университете числилось всего 40 студентов. Теперь в Загребе их около семисот.

Последнее время положение их улучшилось, так как для них устраиваются общежития и открыты столовые, но зима прошла при суровых условиях. Конечно, в общежития попали далеко не все, и очень многие живут еще по-скотски. Мы были свидетелями, как они провели зиму. Оказывая гостеприимство русским беженцам, местные жители тем не менее не забывали и себя и

брали за клетушки такие безумные цены, которые можно назвать только бессовестною эксплуатацией беженцев.

Для большинства, конечно, было недоступно нанять комнату, и потому приходилось нанимать или койку в общей с хозяевами комнате, или место на койке, где уже спал другой квартирант. Это самый распространенный способ устроиться, и громадное большинство студентов устраивалось именно так. В. С. Подрешетников жил, кажется, дольше всех таким образом, наняв место на койке рядом с железнодорожным служащим (стрелочником), который поставил ему условием, чтобы он ложился спать вместе с ним не позже 9 часов вечера. Конечно, многие студенты нанимают комнаты сообща и живут в ней по несколько человек. Тем не менее студенты находятся в лучшем положении, чем рядовые беженцы. Они получают пособие по 400 динар в месяц, в то время когда беженцы получают всего 240 динар.

Мы приведем здесь конкретный пример, который лучше всего покажет, как живут беженцы. Мы будем говорить об окончивших в прошлом году Харьковский институт институтках, приехавших в Загреб продолжать образование в высших учебных заведениях. Мы познакомились с ними случайно. К. А. Кутепова, прошлогодняя наша соквартирантка, сестра которой служит классной дамой в Харьковском институте, сначала приютила барышень у себя, но в ее комнате не хватило места, и она обратилась к нам с просьбой приютить на несколько дней одну из них; Кутепова имела основание. Наша квартира состояла их трех комнат с кухней, и к тому же у нас в кухне стояла кровать, которую К. А. Кутепова получила в пользование от сербских дам-благотворительниц. А. Д. Младенцева (так звали институтку) поместилась у нас в кухне.

На следующий день во время обеда кто-то постучался в двери. На наш голос «войдите» в кухню вошла барышня, спрашивая профессора Краинского. Минуту спустя брат звал меня к себе в комнату и познакомил с Т. Н. Куколь-Яснопольской, родителей которой мы знали по Харькову. Оказалось, что К. А. Кутепова устроила Яснопольскую гувернанткою в хорватскую семью. Татьяна Николаевна сразу понравилась хорвату, и он с места в карьер начал за ней грязно ухаживать. На третий день между супругами разыгрался скандал, после которого Куколь решила немедленно покинуть эту семью. Вечерело, когда Яснопольская вышла на улицу.

К Кутеповой идти было далеко, и она, зная, что Младенцева устроилась у нас, решила зайти к подруге. Яснопольская просила нас приютить ее на несколько дней, пока она не найдет себе

места. Мы предложили ей поместиться на одной койке с Младенцевой, и она была счастлива. В тот же вечер выяснилось, что обе они имеют в кармане всего лишь по нескольку крон. На следующий день они уже ели приготовленный мною борщ с кашей, и ели его с аппетитом.

С болью в душе мы слушали вечером рассказы этих молодых девушек об эвакуации в 1919 году Харьковского института благородных девиц. Детей эвакуировали, чтобы в лице их сохранить русскую женщину, будущих матерей, и уберечь их от растления их большевизмом. Пять вагонов харьковских институток следовали с эшелоном беженцев, и дети пережили то, что испытали покинувшие свою Родину русские люди. Месяц жили они в нетопленных товарных вагонах, с двойными нарами, как в берлоге, голодные, вшивые, грязные, трясущиеся от холода и покрытые своими шубенками. В Новочеркасске после небольшой передышки к ним присоединилось еще два вагона донских институток. Из Новороссийска, где было оставлено 12-15 девочек, заболевших в пути сыпным тифом, институтки были посажены на пароход для следования в Болгарию. В Варне институт пробыл более месяца, и это было тяжелое время для девочек. Появились эпидемии свинки, кори, скарлатины, и полуголодные девочки, валяясь на полу здания французского пансиона, почти все переболели. К счастью, умерли только пять девочек и сын заведующего хозяйством.

Только в Сербии, в Турском Бечее, где обосновался институт, дети нашли покой и стали продолжать учиться. Куколь-Яснопольская была оставлена в Новороссийске в числе заболевших сыпным тифом и потом с тремя подругами через Константинополь направлена в свой институт. Судьба остальных сыпных институток неизвестна. Т. Н. Куколь-Яснопольская отлично играет на фортепиано, и это заставило меня принять в ней большое участие. Я просил В. Н. Стремоухову принять ее под свое покровительство и был очень рад, что Куколь понравилась Вере Николаевне. Барышни ждали пособия и жили у нас. Младенцева тотчас же поступила на медицинский факультет, а Куколь - в консерваторию и «Торговачку». У нас уже жил студент-медик Н. Н. Харин (георгиевский кавалер), товарищ Кирилла Алчевского, которому мы дали приют, пока он не устроится. Он спал на полу в моей комнате возле печки.

Мы собирались по вечерам в кухне и за чайным столом вели бесконечные разговоры. Доктор Любарский, получивший место общинного врача возле Загреба (Сесветы), очень часто приезжал к нам «погреться», так как он жил в неотапливаемой комнате при общинном управлении и страдал от холода. Впрочем, у нас было

тоже не тепло. Более 8-9 градусов мне натопить комнаты не удавалось. Любарский ночевал у меня в комнате на полу, и Н. Н. Харин уступал ему место возле печки.

Скоро у нас образовалась целая компания русских. Прибывший в Загреб из Греции профессор С. И. Бертников (из Саратова) прямо с вокзала пришел к брату и просил приютить его временно у себя. Он ночевал тоже на полу, рядом с моей койкой. Почти одновременно с ним к нам приехала дочь генерала П. В. Верховского, председателя нашей колонии в Костайнице, Кира Петровна Крестовоздвиженская, с которой мы списались, что она приедет на две недели лечить зубы и остановится у нас.

Очень часто у нас, кроме того, ночевали знакомые, приезжавшие по делам в Загреб. Так, например, в этот промежуток времени дважды останавливался у нас В. Г. Колокольцов, бывший министр земледелия при гетмане. Он спал на полу в комнате брата. Часто мы засиживались по вечерам за общим столом в кухне и вели наши беседы до глубокой ночи, в особенности в те дни, когда профессор Бертников был в настроении и своими рассказами увлекал общество.

Ужин был скромный. Выдуманный мною соус из картошки с луком был, по-видимому, очень вкусный, потому что сколько бы я ни приготовил, все поедалось без остатка. Мы жили так почти два месяца, и наши гости, видя, что они никого не стесняют, не торопились с устройством. Но вот неожиданно стряслась беда. Наше общество обратило на себя внимание окружающих. Профессор Микуличич, патрон моего брата, пригласил к себе Н. В. и заявил ему, что квартира при университете предоставлена ему, а не отведена для русских, и предложил к вечеру освободить квартиру от посторонних. «Но помилуйте, как я, русский человек, могу отказать в приюте своим - русским, и в особенности коллеге профессору Бертникову?» - говорил Н. В. «Это не приют для русских», - ответил хорват, и к вечеру у нас осталась только одна Кира Петровна, которой буквально некуда было деваться. Институток приютила сестра милосердия Крестинская, служившая в военном госпитале.

Против нас в коридоре помещался врач Я. И. Кильман (из Екатеринослава), ассистент при анатомическом институте, наш общий друг, который, конечно, тоже примкнул к нашему обществу и готовил себе обед у нас в кухне. Его тоже вызвал профессор Микуличич и предложил никого из русских у себя не принимать. Потом оказалось, что вопрос этот возник по инициативе градской управы, в ведении которой находятся университетские здания. Так разогнали хорваты русских людей, нашедших приют в русской среде! Из всех только один Бертников

устроился хорошо.

Впрочем, наши барышни скоро нашли себе квартиру, и мы видали их жизнь. Они нашли комнату возле кухни, вернее, кладовку без печи и с разбитыми стеклами, за которую они платили 250 динар в месяц. В этой конурке с трудом помещалась одна кровать, на которой они спали вдвоем, трясясь по ночам от холода, как в лихорадке. Через комнату жила хозяйка с двумя детьми, и вместе с ней на одной кровати наняла место институтка Свиридова (Ангелина Константиновна). В этой же комнате наняла себе место институтка Транц, которая спала на диванчике, на котором можно лечь только скрючившись. В этой комнате, по крайней мере, было тепло, но зато они вдвоем платили 300 динаров.

Такая жизнь идет гладко, пока что-нибудь не нарушит ее. Стоит кому-нибудь заболеть, и получается безвыходное положение. Доктор Кильман, пользующий от Красного Креста беженцев, говорил нам, что он часто теряется и не знает, что посоветовать. Так, например, он был приглашен к Нелидовым. В комнате было две кровати, а их было 5 человек. Все заболели. Полковник, сидя на стуле, держал на руках девочку, тогда как его жена и теща со второй дочерью лежали с высокой температурой. Полковник с дочкой оказались тоже с температурой. Доктор посоветовал ему лечь. «Но где же?» - спросил полковник. Оказалось, что Нелидов ночевал всегда на столе в канцелярии, где служил. Во время занятий лечь было негде, и он, заболевши, ушел к своим.

Так жили беженцы! Одни, конечно, устраивались лучше, другие еще хуже. Одни приспосабливались, другие влачили голодное, жалкое существование. В значительно лучшем положении были те, кто пристроился. Врачи, инженеры, техники, железнодорожники были в исключительном положении. Как общую черту для всех беженцев нужно отметить почти для всех одинаково безобразный внешний вид. Мужчины в поношенном, выцветшем френче, в ботинках английского образца с обмотками на ногах, в помятой фуражке, а дамы и барышни в своих прежних, вылинявших подчас, когда-то дорогих платьях или в дешевеньких юбках современной фабрикации обращают на себя внимание при первом взгляде и выделяются на общем фоне прилично одетой улицы. И тем более было странно, когда зараженная большевизмом улица провожала таких поношенных людей злобными замечаниями: «Ишь, буржуй, врангелевец».

Впрочем, повторяем, эта внешняя обстановка мало беспокоила беженцев. Были другие стороны жизни, которые не давали покоя и держали всегда беженцев в напряженном

состоянии, - это политическая ситуация и моральное состояние. Свобода передвижения для русских стеснена. В сущности, русские беженцы находятся в положении как бы военнопленных. Каждый может вас оскорбить, издеваться, глумиться, и в этом отношении русские совершенно бесправны и стоят вне закона. Защиты и справедливости искать негде.

Генерал Н. И. Власьев, пристроившийся лаборантом у профессора Микуличича, а в действительности исполняющий обязанности вроде рассыльного, сказал мне: «Вот вы пишете свои записки, а разве вы можете понять наше унижение, раз что вы не служите. Вы не можете этого понять. Вы этого не испытали. Лучше быть дворником в России, чем здесь служить в интеллигентной хорватской, хотя бы и профессорской, среде».

Тоска по Родине, по своим родным, оставшимся в России, доводила иногда до отчаяния. Просто не хочется жить, говорили нам многие. Сознание того, что, может быть, навсегда придется остаться в изгнании и чуть ли не принять чужое подданство, вызывало чувство подавленности и полного равнодушия к окружающей обстановке. Не хотелось никуда ни пойти, ни посмотреть, ни послушать музыку, ни даже пойти в театр, если к тому представлялась возможность. Даже в такие минуты, когда, казалось бы, можно было забыться и пожить полною жизнью, мысль не отрывалась от действительности и на душе было пасмурно.

В Татьянин день мне удалось попасть на пирушку группы студентов и профессоров, решивших собраться, чтобы отпраздновать традиционный день. Ели много, а пили еще больше. Мой брат, профессор Бертников и профессор Губанович (хорват) были в ударе. Говорились отличные речи, но дальше русского вопроса не пошли. Было грустно и печально. Даже опьянелая мысль не вывела нас из этого оцепенения.

Люди переживают пережитое, как бы остановившееся на мертвой точке. Советская власть в России укрепилась и признана всеми государствами Европы. Между Европой и Советской Россией установилось почтовое сношение. Сначала осторожно, а потом смелее и смелее беженцы начали переписку со своими родственниками. Большинство, конечно, не решается писать, чтобы не подвести своих близких, но тем не менее очень и очень многие уже получают письма из России. Письма осторожные, печальные, безнадежные, голодные. Постепенно выясняются ужасные условия существования оставшейся в России интеллигенции и устанавливается мартиролог умерших, без вести пропавших. расстрелянных и погибших от болезней и голода.

Окольными путями и я получил письмо из Чернигова от Мани. Моя дочь Оля жива, и Маня пишет, чтобы я не беспокоился за нее. Она приезжала в Чернигов на Пасху и останавливалась у Мани. «Всего того ужаса, который пришлось пережить, не опишешь, - пишет Маня в своем письме. -Конечно, не буду говорить о нравственном состоянии. Душа разменялась на мелочи; все высшие интересы как-то сами по себе отходят на последний план. Об умственной жизни не приходится и говорить. Все сводится к тому, как бы не умереть с голоду. Если бы не надежда на лучшее, хотя, может быть, и не скорое, будущее, то и жить то не стоило бы... Зимой мне жилось довольно сносно. потому что начальством у меня был Вас. Вас.

(Галин папа)... Теперь все это распалось. Вас. Вас. умер так, как и многие другие мои сослуживцы-инженеры, - не своею смертью».

Таково приблизительно содержание всех писем, получаемых из России. Пишут образно, с намеками, иносказательно, между строк и под чужими фамилиями. Теперь только приходится узнавать о судьбе многих знакомых, сослуживцах и людях, ушедших с нами от большевиков. Только на днях я получил подтверждение моей уверенности, что оставшийся в Канделе начальник одесской тюрьмы В. К. Скуратт погиб. Б. И. Виницкий пишет мне из Праги, что ему сообщили из дома иносказательно, что дядя его В. К. «умер в Одессе в той же больнице, где служил, - тяжко проболев».

Почти одновременно я получил письмо от полковника Л. Н. Николаенко: «Пишу Вам под впечатлением только что полученного мною наконец письма из Глухова. Конечно, сплошной ужас. Из моих близких нет никого в живых. Брат расстрелян в чека. Мать выгнали из дому, конечно, предварительно обобрали до ниточки. Несчастная старуха умоляла разрешить ей жить хотя бы в одной комнате, а их в доме двенадцать. В ответ грубо выгнали. Денег из банка не давали, и таким образом она осталась без всяких средств и выброшенной на улицу. все это в конце концов свело ее в могилу. Как мне пишут из Глухова, она умерла почти голодной смертью».

«Умер, расстрелян, без вести пропал» - таковы в большинстве случаев ответы беженцев, получающих письма из России, на вопросы о судьбе общих знакомых. Слово «кошмар», которое так привилось в речи беженцев, в особенности среди женщин, мы слышим каждый день, и нужно сказать правду, что оно как нельзя больше соответствует переживаниям русских людей. Над беженской массой нависли грозные тучи современности, которые давят гнетущим образом на душевное состояние.

Весьма показательным в этом отношении является общее для всех беженцев характерное явление тяжелого сна. Все одинаково переживают во сне пережитое, и нет, кажется, человека, который не жаловался бы на постоянные кошмары во время сна. Мы сами испытываем это состояние, и любопытно, что сны у всех почти одинаковы. Люди, бывшие в бою, продолжают во сне воевать и часто просыпаются с криком от кошмарного сна. Рядовое беженство видит другие сны, содержание которых сводится к бегству от большевиков, и кошмар наступает в тот момент, когда во сне сковываются все члены и нет сил бежать.

Это разряд ненужного балласта в мозгу, говорит мой брат-психиатр. Но балласта этого, видно, накопилось слишком много, так как сны эти тревожат спустя два года после катастрофы. Т.М. Савич говорит, что сын ее Игорь 8 лет постоянно видит один и тот же сон и, просыпаясь, начинает кричать «мама». Ему снится, что он в толпе отстает от матери и не может ее догнать. Он просыпается в ужасе, весь в поту, и долго после этого не может заснуть.

Эти кошмары, вероятно, поддерживаются все новыми и новыми впечатлениями. Мы слышим постоянно, что из России бегут, не останавливаясь ни перед чем. Бегут в море, на лодках, на шхунах, с женщинами, детьми, почти на верную смерть. Недавно мы читали в газетах: «В районе Одессы у Большого фонтана дозорный катер из трех орудий пустил ко дну моторную шхуну с беженцами, выехавшими без разрешения советских властей. Погибло 8 женщин, 15 мужчин, двое детей и владелец с машинистом шхуны» (Новое время. 1 апр. 1922. № 281). Несколько позже та же газета сообщает, что в Варну пришло 30 парусников с беженцами из Одессы и Херсона, и им отказывают в спуске на берег (Новое время. 7 июля 1922. № 333). Можно себе представить, что должны были чувствовать эти несчастные люди!

Бегут к границам, заведомо зная, что по дороге их будут грабить и свои и румыны, поляки, эстонцы, латыши, грузины и т.д. Эта охота на людей в пограничных горах и лесах, в болотах и на столбовых дорогах происходит на глазах всего мира и ведома правительствам тех стран, где происходит эта ловля спасающихся людей. Я сам вел переговоры с неким Поскивським из Черновиц, который брался за 8000 лев вывести из Киева и перевести через румынскую границу мою дочь. Простой случай, может быть, спас мою дочь от случайностей. Поскивський не застал ее в Киеве (Оля была в Чернигове). Вторично он не рискнул на это дело ввиду усилившихся в Румынии репрессий по отношению к переходящим границу русским беженцам. Я беспокоился и с волнением ждал результатов поездки Поскивського в Киев. Я знал, что в это же

самое время многие ждут побега своих родственников из России и чутко прислушиваются к тому, что делается на границах.

Одновременно со мною вел переговоры о вывозе из Киева семьи товарищ прокурора Киевск. окр. суда К. Г. Вишневский. Он был счастливее меня. Жена его с дочерью перешли границу, но только не румынскую, а польскую. Проводник, еврей, довел их до нейтральной полосы и оставил ночью в лесу, откуда до Польши оставалось 15 верст. Сначала они были не одни. С ними шел их знакомый (Бобровников, Черниг. губ.), но, разыскивая дорогу, он потерялся в лесу и уже не нашел своих спутников. Голодные, трое суток блуждая в лесу, m-me Вишневская с дочерью случайно наткнулись на польский сторожевой пункт, удачно избежав большевистского разъезда. Вишневские были ограблены польскими пограничниками и чуть было не были отправлены к большевикам, но имя польского магната, которое назвала m-me Вишневская, спасло ее с дочерью.

Теперь к этим тяжелым кошмарам присоединились еще новые испытания. И в данном случае мы не ошиблись, когда писали в прошлом году, что в настроении русских нет уверенности в завтрашнем дне. Мы не верили и не верим, что катастрофа для нас кончена. Мы накануне признания большевистской власти в России. В Генуе решается судьба России. Среди беженцев тревога. Газеты и русские журналы спешат определить будущее юридическое положение эмиграции и толкуют о ликвидации русских учреждений, организаций и представительств. Не исключается возможность принудительного возвращения беженцев в Советскую Россию. Беженцы волнуются и переживают тяжелое моральное состояние.

С первых дней Генуэзской конференции положение русских значительно ухудшилось. Рабочие, трамвайные служащие, железнодорожники и уличная толпа почувствовала свою силу. Повсюду чувствуется торжество коммунизма. Европа встречает большевиков, как не встречала царя. Еще до начала конференции в иностранных газетах началась травля русских. Особенному гонению подверглась Русская армия, и открыто писалось о предстоящем покушении на жизнь генерала Врангеля. Почти одновременно во всех пограничных с Россией государствах начались преследования русских, контрреволюционеров. Сначала в Польше, а затем в Эстонии, Латвии, Румынии, Австрии и Болгарии начались массовые аресты и выселения русских беженцев.

Первоначально газеты сообщали, что по требованию большевиков в Европе ликвидируются монархические организации, но потом оказалось, что громадное большинство

арестованных никакого отношения к монархическому движению не имеет. Впечатление получалось странное, и смысл этих репрессий по отношению к русским был непонятен. Положение несколько прояснилось, когда вместе с торжественной встречей большевиков в Генуе повсеместно начались запросы депутатов своим правительствам по поводу пребывания русских за границей.

Первая начала Болгария. Депутат Луканов, адвокат по профессии, сделал запрос своему правительству, требуя энергичных мер по борьбе с русской контрреволюцией, нашедшей приют в Болгарии. Вслед за ним какой-то сербский депутат требовал в Скупщине изгнания русских из Сербии. Затем чехословацкий депутат сделал запрос по поводу пребывания русских в Чехословакии. Даже Германия объявила регистрацию русских беженцев и проектирует снабдить каждого русского желтым билетом.

Европа шла навстречу большевикам и старалась всячески угодить генуэзским гостям, издеваясь над русским беженством. Высшего напряжения это состояние Европы достигло тогда, когда газеты оповестили о милостивом приеме советской делегации в Генуе итальянским королем и о приглашении им большевиков к завтраку. Бог знает чем бы кончилась для нас, русских, Генуэзская конференция, если бы ее не сорвали германцы, войдя в сепаратное соглашение с большевиками. Конференция провалилась, и этим Россия была спасена. Вопрос остался открытым и по отношению к беженцам. Европа, а за ней и второстепенные государства почувствовали себя сконфуженными, тем более что Америка отнеслась отрицательно к затеям Европы, и к тому же по всему свету распространилась весть, что Ленин болен прогрессивным параличом.

Мы не вникаем в эту политическую конъюнктуру, но мы никак не можем умолчать, что некоторым удовлетворением для нас служило печатное слово, ополчившееся против генуэзского скандала. Наконец-то раздались голоса современного культурного мира! Впервые прозвучал голос протеста против гнусной европейской политики! Газеты самых разных направлений сходятся в этом вопросе, и все одинаково осуждают современную Европу. Тем не менее для русских беженцев Генуэзская конференция не прошла даром.

Обострившиеся отношения к русским не могли сразу войти в норму, и в свою очередь русские не могут подавить в себе чувство ненависти и презрения к своим прежним союзникам. Конечно, люди реагировали раз -но, но нет, кажется, ни одного беженца, который не испытывал бы обиды, читая отчеты о генуэзских

событиях. Итальянский король с чувством жмет руку Чичерину, и архиепископ Генуэзский дружески с ним беседует; Ватикан заключает с большевиками соглашение; представители великих держав устраивают большевикам обеды, ужины, рауты. Большевики во фраках танцуют на балах, устраиваемых Европой...

Таковы факты. И это происходит в то время, когда из России с быстротой молнии по радио идут сообщения о глумлении над Церковью, о массовых расстрелах духовенства, об аресте Патриарха Тихона, о повсеместных восстаниях против Советов. Мы не высказываем своих взглядов, а резюмируем лишь газетные сообщения. Нельзя быть спокойным, и мы отлично понимаем состояние тех, кто не был в силах пережить эти глумления над своей Родиной и русским народом.

Газета «Новое время» пишет: «К нам поступают сведения из Константинополя, Софии и других центров сосредоточения русской эмиграции о многочисленных самоубийствах отдельных русских эмигрантов. Причины самоубийств почти во всех случаях тождественны: невозможность дальше выносить унижения, выпавшие на долю народа-победителя в великой войне, разочарование в культуре Запада и в духовной ценности мировой цивилизации. В одном из предсмертных писем говорится: после мирового генуэзского позора - стоит ли жить?»

Правда, есть категория людей, которая, не имея своего суждения и привыкши преклоняться перед Европой, говорит: «Это не нашего ума дело». Они полагают, что под этим безобразием кроется глубокий смысл. Но мы имеем факты. Вдовствующая Императрица Мария Федоровна не пожелала принять итальянского короля, когда он после Генуэзской конференции пожелал повидать ее. Императрица велела передать королю, что она не желает его видеть.

Мы тоже когда-то преклонялись перед европейской культурой, но война и последующие события в корне изменили наши суждения. Это не минутное впечатление и не плод обиженного самолюбия. Мы испытывали себя и старались мыслить объективно, учитывая свое моральное состояние, и пришли к выводу, который соответствует взгляду громадного большинства просвещенных русских людей. Технические завоевания в Европе, пожалуй, мы оспаривать не будем, но во всех прочих отношениях могущественная Россия стояла недосягаемо выше европейского уклада жизни. То, что мы видели сами, чему были свидетелями, поражает своей убогостью, узостью взглядов и отсутствием культурного духа.

Культура франка, кроны и фунта стерлингов - это то, что

стоит на Западе выше всякого внутреннего содержания. Я почувствовал однажды это свое превосходство особенно сильно, когда как-то во дворе, греясь на солнышке, я видел, как «ужарил по морде» свою дочь, 16-летнюю барышню-гимназистку, профессор Микуличич. Выйдя из подъезда, он обратился ко мне с вопросом, не видал ли я Эмицу. Я сказал, что она только что завернула за угол. В этот момент Эмица возвращалась обратно, и я видел, как профессор, подойдя к ней, развернулся и ударил ее со страшной силой «по морде» (иначе назвать этот удар нельзя). Я весь встрепенулся, и мне показалось, как будто что-то хрустнуло. Эмица схватилась обеими руками на щеку. Я слышал далее неистовый крик профессора и понял, что Эмица унесла с собою какой-то ключ.

Профессор Микуличич получил образование в Германии и считается профессором немецкой школы. В косую сажень в плечах, громадного роста, плотный, здоровый, он обладал невероятной силой, но не духовной, конечно, а физической. И я подумал: мыслимо ли было бы что-нибудь подобное в России? А между тем профессор был демократ, в современном значении этого слова, и глубоко возмущался приговором суда, приговорившего к смертной казни убийцу министра Драшковича.

Зараженная большевизмом Европа с ее демократическими правительствами из журналистов и адвокатуры нам противна и напоминает нашу «керенщину». Просвещенные люди и люди прежнего порядка отлично это видят, но они загнаны новыми демократическими лозунгами в подполье и голоса не имеют. Главенствует демократия и коммунисты. Наилучшим показателем этого невозможного положения является начавшийся в разгар Генуэзской конференции погром русского беженства в Болгарии. Из Болгарии русских гонят. Их арестовывают, бьют, грабят, издеваются, и болгарская интеллигенция молчит, не смея возвысить своего голоса.

Агитация идет из Генуи, и бог знает чем все это кончится. Общее мнение таково, что одной Болгарией это гонение не русских не ограничится. Рабочие массы, пролетариат, простонародье и отчасти демократия стоят на стороне большевиков и к беженской белогвардейской массе относятся враждебно.

Не далее как на прошлой неделе А. Д. Младенцева проходила со своим знакомым студентом улицу в то время, когда перед ними шел трамвай. Кондуктор, стоявший на площадке, без всякого повода крикнул им: «Русские мерзавцы!» В Загребе происходят беспорядки по случаю бракосочетания короля Александра. Хорваты, ненавидя сербов, кричат: «Долой короля -

это не наш король!» Между хорватами и сербами происходят уличные баталии. Есть убитые и раненые. Самостийное движение у хорватов связано с проявлением большевизма, а большевизм переплетается с демократизмом. Рабочие и пролетариат кричат: «Смерть буржуям», а демократия требует «власть народу».

Нам приходилось иногда встречаться с людьми высшего общества, так называемой аристократией. Мы были приглашены раза два-три к графине Шавгоч и ее родственникам, и в этих домах мы познакомились с невозможным положением местной буржуазии. Прекрасные дома их реквизированы, и им оставлено по две-три комнаты. Имения у них отобраны, и ничего им за них не уплачено. Оставлены лишь усадьбы и цензовые участки. В общегосударственной жизни этот класс населения никакой роли не играет и живет обособленною, замкнутою жизнью. Здесь, в этой среде, конечно, отлично понимается положение русской эмиграции, но русская среда им чужда, и потому особого интереса к русским делам здесь нет. У них свои заботы, и притом они тяготеют к немецкой культуре. Есть даже русофобские круги, которые просто отворачиваются от русских. <.. .>

* * *

Мы оставляем Загреб, как оставляют железнодорожную станцию, -без воспоминаний, без сожаления, без хорошего чувства к тем людям, с которыми мы прожили более года. Я был с прощальным визитом у профессоров Микуличича и Перовича. Оба были очень любезны, но разница в том, что профессор Перович, чистокровный серб, прощался со мною очень сердечно и со слезами на глазах говорил о страданиях русского народа. Микуличич, хорват, враждебно относящийся к русским, видимо, был доволен, что отделывается от необходимости считаться с русскими.

Конечно, взять извозчика мы были не в состоянии, так как это обошлось бы более 200 крон, и потому мы пошли на вокзал пешком, нагруженные вещами, которых опять набралось у нас бесконечное множество. К счастью, нам помог университетский служащий, согласившийся за 50 крон понести на вокзал два тюка. Мой брат ворчал, говоря, что по нынешним временам человек может иметь только столько вещей, сколько может нести на себе. Все лишнее всегда приходится бросать. Я радовался, что мы едем к русским и будем жить в их среде. Путь от Шалаты до вокзала был длинный, и я изнемогал под тяжестью двух тюков, которые я нес на веревке через плечо. К тому же мы попеременно несли виолончель брата.

День был хороший, жаркий. Это было 17 июня. В вагоне было душно, и я был рад, когда через 2 1/2 часа поезд остановился на

станции Златар-Быстрица, где нас ожидала госпитальная повозка, запряженная по местному обычаю одною лошадью в дышло. Мне всегда было противно смотреть на эту упряжку, в особенности когда такой выезд появлялся на улицах нарядного города Загреба. Кучер, казак Федот, встретил нас очень приветливо, и это придало моему настроению бодрость и уверенность, что среди русских жизнь наша будет несколько иная, чем в Загребе. К тому же мне было особенно приятно сознание, что лето я проведу в деревне, среди природы.

Отличное шоссе по живописной местности, окаймленной синеющими издали горами, вело через град Златар на север к такому же маленькому городку Лобор, не доезжая которого по правой стороне, в запущенной усадьбе, в старинном замке, в 10 километрах от железнодорожной станции, находится госпиталь Гербовецкой общины Красного Креста. Недалеко от этого замка, на шоссе, мы встретили гуляющих сестер милосердия. Было уже темно, и я не видал тех, кто здоровался, но приветливый женский голос, отчетливо говоривший: «Здравствуйте, Николай Васильевич», особенно приятно ласкал ухо своей русскою речью. Нас ожидали с ужином. Доктор Свиридов - старший ординатор, пригласил нас в столовую, где я познакомился с врачебным персоналом.

Замокъ с Лоборъ.

Первое впечатление было хорошим, в особенности после крепкого сна в чисто убранной комнате на мягкой больничной кровати. Большой интерес представлял самый замок. С фасада он похож на казарму, но со стороны парка это здание веет средневековьем. В особенности типична та сторона замка, где в стене выступает колокольня костела. С этой же стороны в нескольких шагах от замка шумит протекающая через весь парк быстрая, на каменистой почве речонка (Быстрица). Замок окружен вековым еловым парком, а дальше через речку в некотором расстоянии начинаются горы, покрытые старым дубовым лесом. Повсюду торчат камни, поросшие мхом.

На севере, непосредственно за Лобором, закрывая горизонт, высятся громадные горы, давящие на всю местность, и без того лежащую в котловине. Верхушки этих гор часто покрыты снегом, когда внизу стоят еще теплые дни. На одной из вершин отчетливо видны руины, о которых циркулируют различные легенды. Мы подымались потом на эту вершину и говорили с хозяином-крестьянином, собственником этой вершины. Оказалось, что эти руины представляют собою бывший сторожевой пост, относящийся еще ко временам татарского нашествия.

В общем, вся местность необыкновенно красива, и самое название ее Загорье как нельзя больше подходит к этому уголку. Тем не менее вся окружающая обстановка как-то давит и

вызывает мрачное настроение. Особенно неприятное впечатление производят железные решетки в окнах и тяжелые своды во внутренних помещениях замка. В общем весь замок напоминает нашу русскую тюрьму типа тюремного замка. Строение замкнуто четырехугольником с внутренним двором и массивными железными воротами под аркою, расположено совершенно так же, как это бывает в тюрьме. Во дворе колодезь, костел, колоссальной величины погреб в длину всего здания. Двор маленький, со стоками воды под землею. Говорят, что где-то есть подземельный ход.

Вдоль всего здания со стороны двора тянутся открытые, с колоннами и арками, коридоры, из которых непосредственно идут двери в расположенные вдоль коридоров комнаты. Комнаты, как и коридоры под сводами, как погреба, и это дает мрачную картину тюремной камеры. Очень долго замок этот был необитаем. Его прежний владелец граф Кеглевич (историческая для Хорватии фамилия), которому когда-то принадлежала вся местность, естественным путем и постепенно разорялся, и ныне вся эта усадьба с пахотной землей принадлежит хорвату-крестьянину, который купил это имение с торгов за бесценок.

Это тот кулак, про которого местные жители говорят, что он когда-то сидел в тюрьме за подделку денежных знаков. Ковачич постепенно разбирает и продает остатки прежнего величия, беседки, каменные ограды, колонны, кирпич и т.д. Это богатейший человек, но скуп до невозможности. Одетый как нищий, он живет в развалившемся флигеле и не держит даже прислуги, а готовит себе сам вместо обеда фасоль и ест салат. О какой бы то ни было культуре в хозяйстве и речи быть не может. Всюду грязь, беспорядок, бесхозяйственность. Он не держит даже лошадей, а имеет всего двух волов и двух коров, которых обслуживает сам. Сын его кончил гимназию в Германии и говорит, что был два года в университете, но на вид он простолюдин, а по убеждениям - тип, приближающийся к большевикам.

По соседству вблизи Лобора имеются несколько таких же имений, в одном из которых (возле ст. Бедековщины) замок по своей величине производит еще более грандиозное впечатление. Это же остатки прежнего австрийского величия, ныне разоренные имения, принадлежащие или крестьянам, или мелким, выродившимся владельцам. От прежней культуры, по-видимому, не осталось и следа. Шоссейные дороги местами, правда, обсажены фруктовыми деревьями, но ухода за ними нет никакого, и, можно сказать, это заброшенные деревья, дающие убогий урожай, расхищающийся местными жителями, и в особенности

детворой.

Крестьянские, или селяцкие, усадьбы не представляют собою сел или деревень, как в России, разбросаны отдельными усадьбами или группами на горах, в горах, в ущельях гор и в долинах. На склонах гор повсюду видны виноградники, а поля засеяны главным образом кукурузой. Домики в большинстве кирпичные, покрытые черепицей, и почти в каждом таком домике имеется погреб для вина. Население, говорят, бедное, но, на наш взгляд, скорее скупое, чем бедное. Лошадей почти не видно. Ездят и пашут на коровах. Интересно, что население и летом и зимой ходит в одинаковой одежде. Теплой одежды нет ни у кого. Нам страшно смотреть, как они ходят в мороз в одних пиджаках. Даже на свадьбе невеста идет в церковь в одном платье, не имея даже платка на плечах.

После грязной работы на кухне в Загребе я наслаждался полным бездействием и с утра до вечера проводил время на воздухе с книгой в руках, отдыхая и физически и морально. Хозяйство наше было маленькое, так как столовались мы за общим столом в госпитале, а у себя в комнате пили только кофе. К тому же комнату нашу убирал санитар, так что у меня работы не было никакой. Каждый день после обеда я предпринимал большие прогулки, заходя далеко в глубь лесов, и иногда возвращался только к вечеру. О будущем как-то не думалось. Мне хотелось использовать лето, и я достигал цели.

Очень скоро я прибавил в весе шесть фунтов. Попутно я лечился, так как все же предшествующая жизнь не могла не отразиться на состоянии моего здоровья. Особое удовольствие мне доставляло купанье в быстро текущей воде речки Быстрица сейчас же за парком. Воды, правда, в ней было по колено, но местами бывало несколько глубже, так что можно было сидеть на песке в воде по самое горло.

С первых же дней выяснилось, что преобладающий контингент больных в госпитале - это лица, служившие в разное время в Добровольческой армии и вообще причастные к активному Белому движению. Это те люди, которых мы видели на пароходах во время эвакуации, и те, кто представляет русское беженство. Большая часть, конечно, военных и их жен, испытавших все ужасы Гражданской войны. В этом отношении большой контраст представляет собою медицинский персонал госпиталя.

Кроме врача Свиридова, который пережил все, включая службу у большевиков и пленение его казаками Добровольческой армии у Царицына, все остальные с молодым доктором военного времени Караушановым во главе не испытали решительно ничего.

Это люди, которые даже не вполне ясно себе представляют, что такое большевизм и его проявления. Эвакуировавшись еще в 1918 году из Одессы с имуществом госпиталя в каюте 1-го класса с большими удобствами, они прибыли в Болгарию, где, не развертываясь, просуществовали без всякого дела, на казенном довольствии, больше года, а затем были отправлены в Югославию, где сразу попали в исключительно благоприятную обстановку.

По-видимому, это обстоятельство создавало то непонимание друг друга, которое чувствовалось между этими двумя группами людей - испытавших и ничего не испытавших. Только несколько позже, с назначением в госпиталь заслуженной сестры милосердия Леонарды Антоновны Янковской и маленькой сестры Полины Александровны Новиковой, прошедшей всю добровольческую кампанию и испытавшей все ужасы большевизма, этот колорит беспечности персонала начал несколько сглаживаться.

Мне противно было слушать за обеденным столом циничные проповеди этого недоучки ускоренного выпуска Одесского университета Г. Караушанова, мнящего себя к тому же великим хирургом, о том, что на всем прежнем нужно поставить крест и устраивать свою жизнь наново. Г. Караушанов простил все и большевикам, и грабителям, и убийцам, и нашим союзникам, и глубоко возмущался, когда кто-нибудь из нервнобольных в припадке отчаяния не мог владеть собою, вспоминая пережитое им в советской России или во время эвакуации.

Не понимали также переживаний беженцев все сестры милосердия, обходя каким-то сдержанным молчанием все разговоры о том, что пришлось испытать русским людям. Они этого не видали, и потому это их мало касается. Я помню, когда в октябре приехала сестра Новикова с галлиполийским значком на груди и стало известно, что она дошла с добровольцами в 1919 году почти до Орла и с ними же отступала до Новороссийска, где заболела сыпным тифом и в таком состоянии валялась зимой в одной рубашке в нетопленных вагонах, пока не была эвакуирована на о. Лемнос. Мой брат Н. В., зная г. Новикову еще по Киеву, выписал ее из Белграда, где она сильно нуждалась, и назначил ее сестрой милосердия в Лобор. Старые сестры встретили ее враждебно и с затаенной злобой, несмотря на то что она была туберкулезной и нуждалась в лечении.

Такое же отношение вызвала к себе переведенная в июле из Макошицы сестра Л. А. Янковская. Она тоже испытала все ужасы войны и революции. И этого было достаточно, чтобы вызвать среди не испытавших какую-то ревность и злобу. Интересно, что

здесь, в госпитале, мой брат встретился с этими двумя сестрами (Янковской и Новиковой), с которыми он был эвакуирован в 1920 году из Новороссийска на о. Лемнос. Все трое они лежали тогда в трюме парохода «Владимир» больные сыпным тифом.

Насколько несимпатичными казались сестры милосердия с доктором Караушановым во главе, настолько вызывали к себе симпатию больные. Почти все они вынесли самое тяжкое испытание. Были люди со старыми ранениями и ампутированными конечностями. Многие из них сидели в чрезвычайках и только случайно избежали расстрелов. Все, кого ни спросишь, отступали с добровольцами, ночевали в холодных вагонах и на снегу. Шли пешком сотни и тысячи верст. Голодали и болели сыпным тифом. Больные поступали в госпиталь со всех концов Югославии. Их направляли уполномоченный Красного Креста Евреинов и его представитель в Загребе Боярский.

Конечно, далеко не все беженцы, нуждающиеся в лечении, попадали в госпиталь, и в этом отношении среди беженцев был ропот. Доктор Около-Кулак (заведующий санаторией в Вурмберге) говорил нам, возвратившись из Белграда: «Если бы Вы знали, в каких ужасных условиях умирают русские беженцы. Буквально в темной клетушке где-нибудь на чердаке, в холоде и голоде, без подушки и одеяла, накрытый старой шинелью, на голых досках кончает жизнь человек, имеющий большие заслуги перед Родиной».

Мест для всех больных не хватает, и попасть русскому в лечебное заведение трудно. Державная комиссия открыла в Югославии три русских госпиталя. Главный хирургический госпиталь на 100 человек открыт в Панчеве; затем такой же госпиталь открыт еще во время эвакуации в Макошице (бухта Которская), и третьим считается Гербовецкий госпиталь на 60 человек. Кроме того, недавно в Словении в Вурмберге открыта санатория для туберкулезных. По месту своего расположения это считается самым красивым местом. И тем не менее это не могло удовлетворить беженство, насчитывающее в Югославии более 40 тысяч человек.

Пережитые события подорвали здоровье решительно всех, и каждый нуждался в лечении. Во всяком случае тот, кто попадал в госпитале, считался счастливым. Здесь он имел приют, достаточную пищу, свежий воздух, и прежде всего был среди своих - русских людей. Предельный срок пребывания в госпитале был установлен шестинедельный, если, конечно, болезнь не затягивалась, и мы видали, как за это время поправлялись русские беженцы. Больные прибывали и убывали два раза в неделю. В эти дни утром уезжали те, кто выписывался, а в 4 часа

та же лошадь привозила с вокзала новых больных.

[...] Эта постоянная смена людей давала нам возможность видеть, если так можно выразиться, все беженство Югославии и уловить их настроение. Мы встретили здесь людей, с которыми, казалось бы, судьба ни в коем случае не могла свести нас. Здесь были и военные, и статские, и дамы, барышни, дети и сестры милосердия, и врачи, инженеры, прокуроры, солдаты, музыканты, художники. Кто только не перебывал у нас!

В частности, лично я встретил в госпитале много знакомых по России и по Добровольческой армии. Между прочим, оказались здесь и те, кто отходил вместе со мною в 1920 году на Румынию, и участники Кубанского десанта. Здесь оказалась и та дама (Анна Григорьевна Полиевктова - жена офицера), которая родила на пароходе «Владимир» при эвакуации во время бури сына. Этот мальчик с метрикой, определяющей точку земного шара, где он родился, и названный именем парохода Владимиром, теперь был уже двухлетним ребенком, и я с любопытством смотрел на него, вспоминая этот ужасный день в Средиземном море.

Больные чувствовали себя в госпитале, в русской среде, как у себя дома и неохотно покидали госпиталь. Были тяжелобольные, хирургические и туберкулезные, но большая часть была ходячих, а с назначением моего брата начальником госпиталя преобладали нервнобольные и даже психически ненормальные. Много было и таких, которым была предоставлена возможность поправиться и подлечиться. Это не были госпитальные больные. По своей структуре госпиталь напоминал скорее санаторий, нежели больницу. С левой стороны парка лежали туберкулезные, а с правой, на таких же длинных, плетеных из лозы креслах повсюду сидели и лежали те, кто хотел пользоваться воздухом. После утреннего врачебного обхода все, кто только мог, выходили на воздух, и весь парк заполнялся гуляющими. Конечно, не обходилось и без флирта и романов, в особенности когда больным было разрешено летними вечерами оставаться на воздухе до 10 $^{1/2}$ часов.

Меня с самого начала интересовал вопрос, кто же это такие - эти больные, и откуда они. Я проходил всегда после утреннего кофе с книжкой в руках мимо лежащей на кресле и обложенной подушками молодой женщины и, конечно, желал ей доброго утра. Мне сказали, что она умирающая, но вышло иначе. Она стала быстро поправляться, и я познакомился с ней. Она рассказала мне потом свою историю. Это была Зоя Ивановна Федорова (урожденная Заседателева), 24 лет, вышедшая замуж тотчас по окончании гимназии в Москве. Муж был на фронте, когда в

Москве установился большевизм. Она жила с родными, замужней сестрой и братом - молодым врачом. Большевики выгнали их из квартиры и обобрали до нитки, не оставили даже рубашки для смены. Пришлось служить, но голод заставил искать выхода из положения. Решили ехать в г. Орел, но и здесь оказалось не легче.

И вот молодежь (врач Заседателев и две сестры его, Федорова и Гер -цен) решили пробираться на юг к добровольцам - к Корнилову, где уже были их мужья. Они шли пешком до Харькова с подложными документами и под видом покупки хлеба. Благополучно пройдя красный фронт, они пришли в Харьков в тот момент, когда там была паника, а через несколько дней Харьков заняли добровольцы. Заседателев сейчас же получил место врача в госпитале и устроил сестрами милосердия (или, вернее, сиделками) обеих сестер. Обе сестры встретили здесь случайно своих мужей-офицеров, но ненадолго. Пришлось отступать на юг. Врач Заседателев остался в Харькове, а Зоя Ивановна с сестрой были эвакуированы с частью больных в Мариуполь. Но и отсюда пришлось уходить от наступающего Махно. На пароходе «Альберт» эта часть госпиталя была отправлена в Керчь. На пароходе Зоя Ивановна заболела сыпным тифом и была помещена в свой же госпиталь, где по выздоровлении и оставалась работать в сыпнотифозном бараке до Крымской эвакуации. Впрочем, незадолго до катастрофы она перенесла еще возвратный тиф и, еще не вполне оправившись, выдержала крымскую эвакуацию.

По прибытии в Югославию (колония Дарувар) Зоя Ивановна первые четыре месяца жестоко голодала и в лучшем случае ела картошку и хлеб. Это было особенно тяжело после того невероятного голода, который люди испытывали на пароходе, везшем беженцев в Югославию. Зоя Ивановна зарабатывала себе гроши тем, что пела голодная и танцевала в различных кафанах. В один из таких вечеров она заболела воспалением легких, а затем схватила плеврит. Выписавшись из хорватской больницы, она получила место гувернантки в доме директора местного банка, но было уже поздно. Температура с 38,6 не спускалась, и в таком безнадежном состоянии она была на носилках привезена в госпиталь. «Мы жили в Москве хорошо и даже богато, и наша семья была высокоинтеллигентная, и вот что пришлось потом испытать», - закончила свой рассказ Зоя Ивановна. Она, бедная, всплакнула, и я страшно беспокоился, чтобы этот рассказ не отразился на ее здоровье.

Меня выручила из беды другая больная, Валентина Филипповна Ишевич, тоже жена офицера и тоже туберкулезная. Она успокоила меня и начала рассказывать свою историю. Это

была та же история, но с другой фабулой и еще сложнее. Она участвовала в боях, была арестована большевиками и сделала 1000 верст верхом на лошади зимой с тряпками на ногах вместо башмаков и в конце концов перешла границу Грузии, где грузины беспощадно грабили русских беженцев. Ее перебивала А. Г. Полиевктова, дополняя ее рассказы своими впечатлениями о переходе грузинской границы. Она ненавидела грузин и без отвращения не могла вспомнить этих хищников - восточных людишек.

Впечатления были слишком сильны, и каждый раз, когда кто-нибудь начинал рассказывать о своих скитаниях, возле него образовывался кружок больных, и все с интересом слушали и дополняли знакомую и аналогичную в общих чертах картину русской катастрофы. Все пережили приблизительно одно и то же - с той только разницей, что одни отходили на Румынию, другие на Польшу, на Грузию, в Эстонию, в Финляндию или эвакуировались на пароходах. Мне было тяжело слушать эти рассказы. Но, в сущности, это было то же самое, что пережил я. Трудно сказать, кто испытал больше, военные, их жены и семьи или гражданские лица. Отступали все вместе. Военные были в боях. Но обстрелу подвергались и те, кто шел с ними. Впрочем, в боях принимали участие все. Жены военных, где нужно, обращались в сестер милосердия, а статских становили под ружье, и они вместе с другими отбивали атаки.

Но едва ли не самое гнусное во всех этих переживаниях это был грабеж. Русских грабили все. Грабили при переходе границы, при посадке на иностранные суда, при выгрузке, на этапах, в пути, в лагерях, больницах и в общежитиях. Грабежи и взятки - это то явление, с которым прежде всего столкнулись русские беженцы, спасаясь за границу от большевиков. Чтобы спастись и не быть выброшенными обратно к большевикам, беженцы не только платили пограничникам безумные деньги, но отдавали все, что было при них. И в данном отношении алчность иностранцев была непомерная, и ждать пощады от них было нельзя. Им отдавали все, и беженцы являлись на пограничный пункт чуть не в одном нижнем белье.

В большинстве случаев лица, переходящие границы смежных государств, подвергались двойному грабежу. На русской территории их грабил русский мужик, а там, где люди искали спасения, их грабили иностранцы. Русский мужик был в этом отношении снисходительным. Мы испытали это сами. Когда при переходе румынской границы возле д. Глинное нас грабили русские мужики, мы просили их оставить нам некоторую сумму денег на хлеб, объясняя, что иначе мы пропадем с голоду. И они

дали каждому из нас полторы-две тысячи рублей. Мне лично бородатый мужик дал 2000 украинскими деньгами. Все-таки у этих русских грабителей была какая-то совесть. Вручая мне из моего бумажника эти деньги, мужик оправдывался: «У меня, - говорил он, - добровольцы реквизировали лошадь, стоящую 80 тысяч рублей». Он отдал мне бумажник с документами и кошелек. Это было не нужно мужику, и я вспоминаю в параллель к этому, с какой корыстностью присвоил себе румынский офицер отобранный у меня под видом холодного оружия мой перочинный ножик. Я отлично понимаю, что офицера прельстил завьяловский клинок моего ножа, и я с глубоким презрением смотрел на этого ничтожного в культурном отношении человека.

Грабеж русских не прекращался и после границы. Ослабленные, голодные, иззябшие беженцы не выдерживали этого испытания и массами заболевали. Тот, кто попадал в больницы, выходил оттуда совершенно ограбленным. При нас в Румынии из больницы выпускали русских чуть не в одном нижнем белье. Особой приманкой была обувь и, конечно, золотые и серебряные вещи. В Аккермане ограбление больных было настолько обычным явлением, что русские даже не пытались протестовать. В г. Варне (Болгария) мы часто посещали Державную больницу, где лежал наш земляк доброволец Сеноженский. И здесь мы выслушивали жалобы наших русских больных на то, что у них не только пропали в цейхгаузе все вещи, но бывали случаи, когда санитары-болгары насильно снимали с больных золотые и серебряные вещи. Но здесь все-таки люди были у цели. Они были вне пределов досягаемости большевиков и готовы были мириться с этим бесправным положением беженца.

Ужасом веют рассказы участников перехода различных иностранных границ и с воинскими частями, и группами, и в одиночку. И поражает, что двух мнений нет. Это то же самое, что испытали мы. Редко кого не ограбили, а если и попадались такие счастливцы, которые избежали этой участи, то они были свидетелями, как грабили других. Я помню отлично, как в одной из больших крымских газет летом 1920 года была помещена статья участника отхода воинских частей на Грузию, и там подробно было описано, как грабили грузины русских людей. Я вырезал из газеты эту статью, но бросил ее потом при эвакуации Крыма.

Остатки воинских частей, переходящие границы своего государства, обычно обезоруживались тем государством, на территорию которого они вступали. И вот тут-то под видом отобрания оружия шел повальный грабеж и военных, и их семейств, и тех, кто шел с ними. И это грабили не отдельные

бандиты и шайки, а власть - пограничная стража и организованные воинские части. Еще меньше считались с отдельными невооруженными группами беженцев и отдельными лицами, переходящими границы. С ними не церемонились вовсе и отбирали все, разрешая следовать дальше в положении нищего. Пощады не было никакой ни для взрослых, ни для детей.

И это считалось счастьем, так как могло быть и хуже. Задерживаемых сплошь и рядом отправляли обратно к большевикам. Чудовищными теперь кажутся нам рассказы этих несчастных людей, пробиравшихся по ночам в незнакомой местности, в лесу или болотах, по колено в промерзшей грязи и ожидающих ежеминутно опасности быть обнаруженными. Как звери, крадучись и прячась от людей, люди, ставшие сами похожими на зверей, грязные, обмерзшие, укрываются днем в лесной чаще или под валежником и с воспаленными от бессонных ночей и страданий глазами ждут ночи, чтобы не наткнуться на охотников за человеческой личностью. И с той и с другой стороны их караулят как на звериной облаве. Назад возврата не может быть, а впереди люди - звери.

Мы не решились бы писать так, если бы сами не испытали это положение затравленного зверя. Нас ловили большевики, но поймали румынские жандармы и гнали назад, на русский берег Днестра, чтобы передать на растерзание большевикам. Это состояние приговоренных к смерти людей не сравнимо ни с чем. Спасения ждать было неоткуда, и сопротивление было бесполезным. И это происходило на глазах всего мира и ведомо тем демократическим парламентам, которые так любят делать запросы своим правительствам.

Из голодающей России идут сведения о торговле человеческим мясом, а здесь, в пограничных с Россией государствах, идет охота в лесах на людей. И кажется нам, что в культурном отношении одно стоит другого. Особой жестокостью и жадностью отличались румыны, грузины и поляки. Впрочем, своей корыстностью и греки не отставали от них. Как пиявки, впивались эти торгаши на своих лодочках в стоявшие на константинопольском рейде русские суда и высасывали из голодающих русских людей оставшееся еще при них имущество. За небольшой кусочек хлеба или банку консервов грек требовал безумные деньги и получал часы, кольцо, браслет, цепочки или пальто, пиджак и т.д.

Эта вакханалия грабежа при крымской эвакуации производила отталкивающее впечатление, и я до сих пор не могу без отвращения вспомнить этих людишек. Россия была богата, богаче всех. У каждого русского, наверное, были часы, цепочка,

кольцо, и это знали они. Нужно было не терять момента, чтобы воспользоваться этим добром, и они его не теряли. Тот из русских, кто подъезжал во время эвакуации на судах к греческим берегам, тот ненавидит греков. Помимо корысти эта нация проявила в высшей степени враждебное отношение к русским. Греки не принимали к себе русских беженцев (Салоники), как не принимали к себе русские суда с беженцами румынские власти, но эти последние хоть не позволяли себе насилий, тогда как греки били русских прикладами.

Мы не знаем, как относились к беженцам из России в северных и северо-западных новообразовавшихся государствах (Латвия, Эстония, Финляндия), но слышали, что и там дело обстояло не вполне благополучно. Спасающихся гнали обратно к большевикам на верную смерть. И это было тем более обидно, что эти новообразовавшиеся государства были не так давно частью России и получили все от этой великой державы.

Впрочем, и здесь, в этом грабеже, были градации. Дело в том, что первое время громадное большинство лиц, покидающих свою Родину, эвакуировались пароходами при содействии бывших наших союзников англичан и французов. Тогда еще можно было везти с собой имущество. Вот эти-то кожаные чемоданы и были бельмом на глазу у более культур -ных народностей - англичан и французов. Л. Н. Ингистова (это человек, которому я не могу не верить) говорила нам, что возненавидела англичан после того, как видела на пароходах эту жадность их к желтым чемоданам. Они нагло отбирали эти вещи, ссылаясь на то, что корабли перегружены и вещи будут выброшены в море. В действительности они брали эти желтые чемоданы себе.

Русские тряпки, на которых были так падки менее культурные поляки, румыны и грузины, им не были нужны. Они искали валюту. Серая беженская масса их не интересовала. Их взгляды были обращены на дорогие кожаные чемоданы и сундуки бегущей за границу русской аристократии. И вот на этих гостеприимных кораблях в руки команд переходило спасенное от большевиков имущество русских людей. И это знали все, но об этом не принято громко говорить. Даже между собой русские говорят об этом как-то таинственно и полушепотом. Боже сохрани сказать об этом в газетах!

И я часто вдумывался в это положение и старался понять, в чем же тут дело. И это понятно. Русские пользуются гостеприимством и разбросаны по всем странам. Они рады, что нашли приют и спаслись, и нужно молчать. Это вопрос не русский. Он ведом правительствам тех государств, где нашло приют русское беженство. Румынские власти отлично это

учитывали и боялись огласки. Жандармерия зорко следила за интернированными и тщательно отбирала у русских дневники и записки, в которых, несомненно, люди описывали это постыдное для них явление. Полковник Ярощенко, в роте которого я был при отходе на Румынию, узнавши, что я держу в сумке свои записки, предупредил меня об этой опасности, сказавши, что у него румыны отобрали его записи. Несомненно, знали об этом постыдном явлении и румынский король с королевой. Среди беженцев нашлись люди, лично известные своими заслугами королю (полковник Востросаблин), которые успели довести до сведения короля о насилии румын над спасающимися от большевиков русскими людьми.

На польской границе на русских беженцев была охота, как на зверей. Польская государственная стража ловила и раздевала донага не только взрослых, но и детей. Это знало не только польское правительство и их парламент, но спросите любого поляка на улице, и он знает, что русских грабили поляки. И господин Церетели отлично осведомлен, что его народ, который он представлял в русской Государственной думе, грабил русских и снимал с них кольца, часы и нательные золотые кресты. Англичане - те хоть сознавали свою вину и говорили, что в экспедицию к Черному морю посылались отбросы английского общества и потому нет ничего удивительного, что там имели место такие печальные случаи.

И русские должны молчать. Но молва делает свое дело и вытравливает клеймо там, где это нужно. В России осталось много людей -живых свидетелей и очевидцев того, что происходило на границах Русского государства, и несомненно наступит время, когда вновь возродившееся общественное мнение даст надлежащую оценку каждому народу по его заслугам.

И в самом деле. Почему молва не пристегнула к этому позору американцев? Почему мы ни разу не слышали плохого отзыва о турках и восточных народах? Почему, наконец, когда прибыли на кораблях десятки тысяч русских беженцев в Югославию, здесь не было не только грабежей, но, напротив, даже беднейшие слои населения оказывали щедрую помощь русским беженцам. И мы теперь понимаем, почему в начале нам задавали представители сербской и хорватской интеллигенции вопрос о том, правда ли, что местное население держало себя очень прилично и не приставало к русским с предложением скупать у них вещи. И мы отвечали, что это первая страна, где нас приняли по-братски. И мы отлично понимали, что сербам, и хорватам, и словенцам было известно, что русских грабили везде. И мы видели, что им было приятно за свой народ. Впрочем, об этом нам открыто сказал

хорват Жарко Дрогойлович (г. Костайница).

Поляки и сейчас еще грабят русских, которым удается в одиночку и группами вырваться из советской России, и сажают в тюрьмы даже детей. Недавно (октябрь месяц) Женя и Туся Духонины с матерью сидели в польской тюрьме, несмотря на то что имели визу на проезд в Сербию. И это знает польское правительство и польский народ.

И вот приходится молчать. Мы знаем отлично, что об этом нельзя писать не только в газетах и журналах, но даже и в мемуарах, и записках нужно быть осторожным. Об этом знают все, но говорить об этом нельзя. Это не принято и к тому же не модно. И мы пишем это не для огласки, а для себя. Я помню, когда, будучи еще в Загребе, я прочитал в немецкой газете, что из России в Загреб прибыла партия военнопленных мадьяр, служивших в Красной армии и в отрядах Чека. Эта партия в 400 человек была взята под надзор до отбытия ее в Венгрию. Я видел этих мадьяр и узнал в них тех грабителей, которые ходили по квартирам с обыском и срывали с обывателей часы, цепочки, кольца и нательные крестики. Под свежим впечатлением я написал тогда статью в газету «Новое время», но ее не признали возможным поместить. Об этом писать было нельзя.

Но ведь все знали, что вначале большевики опирались главным образом на латышей, китайцев и военнопленных мадьяр и что самые свирепые чрезвычайки были те, в которых сидели латыши и мадьяры. Я отлично помню, что в Остерской уездной чрезвычайке (мой родной город) председателем был военнопленный мадьяр, и к этому времени относятся все массовые расстрелы и грабежи по Остру.

Впрочем, газета сообщила неправильно. В этой партии были не только одни мадьяры. Я узнал об этом случайно. Живущая возле университета на Шалате, на горе в отдельном домике возле виноградника (кажется, арендаторша), пожилая женщина-хорватка, с которой я был знаком, говорила мне как-то, что она в отчаянии. К ней в качестве квартиранта поместился большевик-хорват, прибывший из России с военнопленными мадьярами, и вот у него в углу стоит большой мешок, туго набитый русскими деньгами. Там, вероятно, сотни миллионов рублей, говорила она. Для меня было ясно, что это грабитель из военнопленных «австрийцев», служивший в русской Чека. Я успокоил бедную женщину, сказав, что эти деньги уже не имеют ценности и годны только на подтопку печи, и этот человек хотя он и большевик, но богатым не будет.

Так свежо это все вспомнилось здесь, в русской среде, среди людей, которые как один пережили весь этот ужас и с полуслова

понимали друг друга. Теперь они расплачиваются за все пережитое своим здоровьем. Здесь, в парке, можно говорить свободно обо всем. Никто не подслушает, никто не донесет, и на душе становится легче, когда все расскажешь, сказал нам Павел Матвеевич Горбунов, у которого недавно вырезали четвертое ребро после ранения под Харьковом. И его, раненного тогда в грудь, тоже грабили. Особенно был жалок своим мрачным настроением Шиманский, семинарист из Житомира. Он был в последнем градусе чахотки и тосковал по своим родным. Он был в Германии, и с поляками, и у англичан, которые вывезли его из России, чтобы обучить танковому делу, и все они, эти иностранцы, говорил он, ломаного гроша не стоят.

И его поддерживала больная Осанна Халатова - молодая, но заслуженная сестра милосердия, всю войну бывшая на Французском фронте, а затем прошедшая на Юге России всю добровольческую кампанию. Она наполовину (по матери) француженка, но «я русская», с пафосом говорила она. Как истеричке, ей, может быть, и нельзя особенно верить, но она уверяет, что бежала от большевиков из курской тюрьмы, убивши двух тюремных надзирателей и двух красноармейцев.

Не унывали военные, поступающие в госпиталь из своих частей, расположенных в Югославии на разных работах и служащих в пограничной страже. Это были еще не распавшиеся воинские части, прибывшие из Болгарии и Галипполи. Несмотря на явный абсурд, они глубоко верили, что скоро начнется какое-то наступление. Каждый из них таинственно показывал какие-то письма, читал выдержки из них и клялся, что через месяц-два мы пойдем в Россию. Полковник П. А. Логвинов, на костылях, имел всегда в изобилии такой материал и иногда оказывал на настроение публики магическое действие. Я сам был некоторое время под впечатлением письма Краснова к казакам, которое так усиленно распространял Логвинов. Атаман Краснов категорически утверждал в этом письме, что все уже готово и осенью начнется общее наступление. Не верилось, но все-таки думалось, что не может же, в самом деле, такой человек, как Краснов, говорить вздор и наивно верить в какую-то несбыточную фантазию. Но, к сожалению, это оказалось так. Краснов верил немцам, которые были будто бы накануне провозглашения монархии, но вместо монархии случился в Германии социалистический переворот, который увлек немцев в пропасть. Надежда на германских монархистов оказалась мыльным пузырем.

Впрочем, летом все эти события переживаются легче. Постоянное солнце, тепло, бодрящий воздух, природа

удивительно благоприятно действуют на настроение. И каждый боялся упустить момент, чтобы использовать это летнее время. При госпитале оказалась очень приличная русская библиотека, и это в особенности ценилось больными, которые прибывали из тех колоний, где русские книги было трудно доставать. Доктор Свиридов любил играть в шахматы. Всегда перед обедом и вечерами он играл с больными в парке, и возле них образовывался кружек любопытствующих. Карточная игра была менее распространена в госпитале, но все-таки играли и в карты, и картежники сосредотачивались возле доктора Караушанова.

Зато бойко шла игра в городки, а когда поставили гиганты, то это сделалось одним из самых больших развлечений, когда можно было и посмотреть, и побегать. Мой брат Н. В., как начальник госпиталя, стоял на совершенно правильной точке зрения, рассматривая больных не только как больных, но и как беженцев, как русских людей, переживающих катастрофу. И в этом отношении он шел навстречу всем начинаниям, которые удовлетворяли запросам прежде всего русских беженцев. Очень скоро он объявил серию популярных лекций и начал устраивать литературные вечера. Мы были очевидцами и свидетелями тому, с какой радостью и удовольствием принимали больные каждое проявление заботы о духовных их нуждах, и видели, как еще живы запросы этих потерявших, казалось бы, всякое представление о культурной жизни людей.

Вообще мы принадлежим к числу горячих защитников нашей беженской массы и не разделяем взглядов пессимистов, рисующих картину развала русского беженства. Сплошь и рядом нам приходится слышать огульное обвинение всей беженской массы в распущенности и чуть ни моральном падении. Постоянные ссоры, дрязги, жадность и алчность, а подчас нечестность и воровство сопутствуют нашей беженской жизни. Нам часто приходится слышать громкие фамилии беженцев, своими поступками роняющих достоинство русских людей. Генерал такой-то, председатель колонии, неправильно распределил и уличен в присвоении. Полковник такой-то ходит по хорватским домам, выпрашивает пособие, а затем пьянствует в лучших ресторанах.

Мы все это знаем, но знаем и то, что достаточно несколько улучшить положение беженца, вывести его из дикого состояния беженства, в котором постоянно находятся эти люди, и тот же человек совершенно преображается. Кто видел жизнь беженца в общежитиях, являющуюся, в сущности говоря, продолжением полуголодного существования в темных трюмах пароходов во время эвакуаций, тот никогда не решится бросить обвинение

этим людям за то, что они опустились. Это естественный путь, и требовать от человека, чтобы он сохранял свою интеллигентность при всяких условиях жизни, было бы слишком большим требованием. Мы часто беседовали с братом на эту тему и поражались, как не похожа эта беженская среда в госпитале на то, что мы видели.

А люди ведь это те же самые, но обстановка другая, дисциплинирующая, бодрящая, напоминающая о былом прошлом, - и этого достаточно, чтобы вся жизнь приняла иную окраску. Лобор - это был русский уголок, с русской душой, и это объединяло русских людей, прибывших сюда, чтобы поправиться, набраться сил для дальнейших страданий, которым конца не видно.

* * *

С осени 1922 года жизнь в госпитале сильно оживилась. Еще будучи в Загребе, мой брат Н. В. возбудил ходатайство перед управлением Красного Креста о приобретении напрокат пианино для устройства в госпитале музыкальных вечеров. К сожалению, инструмента в Загребе достать не удалось, и мы уже свыклись с той мыслью, что наша мечта неосуществима. Но вдруг случайно генерал Мустафин, привезший в госпиталь свою больную жену, достал нам в Люблянах отличный инструмент. Играющих оказалось мало. Немного играла старшая сестра О. Л. Васильева, и отлично играла танцы сестра Соболевская. И только. Впрочем, с первого же дня Н. В. стал играть на виолончели с аккомпанементом m-me Шольц (жены больного).

Свои силы я еще не взвесил и не знал, смогу ли я после восьмилетнего перерыва проаккомпанировать брату те вещи, которые играла с ним В. Л. Шольц. Но обстоятельства мне благоприятствовали. М-те Шольц уехала, и я поневоле должен был усидчиво заниматься, чтобы заменить ее - единственную аккомпаниаторшу на музыкальных вечерах. Заниматься было удобно. Пианино стояло в персональской столовой - угловой комнате 2-го этажа замка, окнами выходящей в парк. Эта старинная комната, с красивыми сводами, с решетками в окнах, с паркетным полом, была лучшая комната в замке и стояла вдали от всего госпиталя. Она всегда пустовала и оживлялась только во время завтрака, обеда и ужина. Вечерами там было, говорят, страшно, и туда боялись заходить, потому что неоднократно там видели привидения и слышали какие-то шаги в ночных туфлях.

Мне было назначено для игры время, когда весь персонал госпиталя был занят, то есть утро до обеда и затем от 5 до 7 часов вечера. Кроме того, я имел право играть всегда вечером, хоть до 12 часов, так как столовая всегда пустовала. Для меня это была

радость, и я понял, что могу заняться серьезно, и не думая о будущем, всецело посвятить себя музыке. Я так и сделал. Я играл по 6-8 часов в день. Беда только, что у меня были отморожены руки и иногда при перемене погоды давали себя сильно чувствовать. Эти дни я играл хуже, но желание было сильнее боли, и я все-таки играл. Очень скоро мы с братом отлично сыгрались, и репертуар наш достиг громадных размеров.

Музыкальные вечера наши сделались любимыми вечерами в госпитале. Они чередовались у нас так: два раза в неделю Н. В. читал лекции и два раза были в неделю литературные вечера. Остальные дни были заняты музыкальными вечерами. Эти музыкальные вечера были любимыми еще по своей обстановке. Лекции и чтения происходили в столовой для больных, тогда как для музыкальных вечеров открывался доступ больным в персональскую столовую. Здесь было как-то чище, уютнее и параднее.

Это была к тому же комната-церковь. В углу стоял громадный киот с иконой Богородицы с Младенцем на руках, и перед ней всегда горела лампада. Здесь происходила церковная служба, когда приезжал священник, и комната эта обращалась в симпатичную, уютную церковь.Я любил эту комнату. В ней мне было хорошо, и я даже не испытывал в ней, как другие, страха, когда засиживался в ней до поздней ночи. Иногда действительно мне казалось, что кто-то будто присутствует в этой комнате, а иногда я слышал вроде шлепанья туфлями, но я относился к этому спокойно.

Я был нужным человеком в госпитале. Без меня не мог состояться музыкальный вечер, и это создавало мне привилегированное положение присяжного музыканта. И я сознавал, как я был счастлив, имея в своем беженском положении возможность заниматься музыкой, как у себя дома. Несколько позже, когда я подогнал себя и стал свободно играть сонаты Бетховена, шопеновские вещи, Чайковского и т.д., я имел уже своих постоянных слушателей, которые приходили во время моих занятий и, забиваясь куда-нибудь в уголок столовой, сидели там до позднего вечера, пока дежурная сестра не открывала их присутствие и не «загоняла» в палату. Я ушел весь в музыку и жил только этим.

Перед Рождеством я начал заниматься с сестрой П. А. Новиковой, которая просила меня давать ей уроки музыки, и это внесло еще больше полноты в мои занятия музыкой. Так незаметно подошел 1923 год, который весь прошел у меня в систематических и серьезных занятиях музыкой. Другого не было ничего. Газеты остановились на мертвой точке.

О России сведения были самые безотрадные. Надежда исчезла даже у тех, кто всегда готов был воспринять самый нелепый слух. Германия быстро шла по наклонной плоскости. По тому же пути вел Англию Ллойд-Джордж, вступивший в переговоры с советским правительством. Чехословакия, Австрия, Польша уже признали большевиков. До очевидности становилось ясным, что обстановка складывалась для нас крайне неблагоприятно и думать о скором возвращении на Родину было бессмысленно. Газет не хотелось читать. Они наводили такое уныние, что лучше совсем их не читать.

Каждая группа сменяющихся больных привозила с собой самые безотрадные сведения о настроении русских людей, и полная безнадежность была общим настроением. Жизнь русских в колониях становилась все тяжелее. Заработка нет. Отношение местных жителей - хорватов, сербов, словенцев приняло отпечаток некоторого утомления. Они тоже устали возиться с русским беженством, и тем ярче выступали неприязненные отношения той части населения, которая явно становилась на сторону большевиков.

Единственным утешением для каждого русского было определившееся за последнее время стремление объединиться вокруг Великого князя Николая Николаевича и образование Фонда спасения Родины. Великий князь принял в свое заведование этот фонд и объявил, что готов стать во главе освободительного движения, когда к этому наступит соответствующий момент. Это единственное, во что верилось, но только когда еще это будет!

С таким настроением русские встретили в Лоборе праздник Рождества Христова и новый 1923 год. Праздник был хороший. Местный хорватский комитет во главе с m-me Ковачич (из Загреба) не пожалел средств, и по богатству продуктов и яств это был исключительно удачный праздник.

Старшая сестра О. Л. Васильева умела устраивать торжества, и, нужно отдать ей справедливость, в декоративном отношении сервировка стола была задумана широко и красиво. Цветов не было, но столы были украшены целыми ветками ярко-красной и желтой листвы сохраняющегося здесь в лесу кустарника. Стены, портреты и киот были убраны ельником, можжевельником, и у иконы горели свечи и лампада.

Было уютно, и чувствовалось русское настроение. Говорились прочувственные речи. Высказывалась надежда. Многие прослезились после тех добрых слов, которые так хорошо говорила председательница комитета хорватка m-me Ковачич, а потом много ели и еще больше пили. Всего было вдоволь. У

больных в столовой было тоже хорошо, и к тому же у них в углу стояла великолепно убранная елка, которой не было в персональской столовой.

На третий день Рождества чуть не весь госпиталь с больными был приглашен на елку в помещение к сестрам. Елка была громадная - до самого потолка. Народу было столько, что буквально не было возможности протиснуться к столу, но было уютно, симпатично. Были сласти, фрукты, чай, торты. Одним словом, Рождество было отпраздновано широко, приятно, и так мы начали 1923 год - третий год нашей беженской жизни в Югославии.

* * *

1923 год был мрачным годом не только в госпитале, но и для всех беженцев. На политическом горизонте не было ни одного проблеска. Большевики прочно засели в Кремле и постепенно просачиваются в Европу, пропитывая большевизмом народные массы и завоевывая международное положение законного русского правительства. Весь год прошел в Европе в совещаниях и признании de jure большевиков и переговорах европейских правительств с большевиками.

При таком положении, конечно, у русской эмиграции, как стали официально называть беженцев, надежда на какие-нибудь перемены исчезла окончательно. Жили без будущего - сегодняшним днем. Я лично провел этот год за пианино и играл утром, под вечер и вечерами. Я работал, как ученик, по шесть часов в день, систематически выполняя намеченную мною программу, и, кажется, не пропустил ни одного дня. Среди больных очень часто попадались хорошие музыканты, и тогда наши музыкальные вечера были особенно интересны.

Одним из первых внес разнообразие в наши вечера судебный деятель (с Волыни), прокурор, как его называли в госпитале, Вадим Владимирович Данилов, хорошо игравший на рояле. Он страдал эпилепсией, но припадки были редки, так что это не мешало ему выступать на вечерах. Вадим Владимирович положил начало целому музыкальному сезону. Еще при нем приехала из Загреба посоветоваться с братом оперная певица О. А. Головко (Полтавской губернии). Она охотно пела на наших вечерах и доставила нам большое удовольствие.

Вскоре после нее в Лобор прибыла для лечения отличная певица, Елена Пиевна Шацкая (жена известного в России агронома), игравшая также отлично на фортепиано. Е. П. Шацкая пробыла в Лоборе очень долго и не только выступала на вечерах, но и имела свои часы, в которые она занималась музыкой. При ней приехал в госпиталь лечиться Алексей Алексеевич Хвостов,

сын бывшего черниговского губернатора, с которым я был знаком по Чернигову. Он был тогда гимназистом. Я не думал, что из него выйдет такой отличный пианист. Хвостов лично мне доставил громадное удовольствие. Его классическая игра удовлетворяла меня в особенности, и мы с ним проводили много времени за пианино. С Е. П. Шацкой мы разучили несколько симфоний Бетховена в четыре руки, и это были исключительно интересные номера на наших вечерах. К этому времени в госпитале появился студент-скрипач, сын профессора Погодина. Он не выдержал и съездил в Загреб за скрипкой, и мы играли трио.

Но больше всего произвела впечатление известная оперная певица А. П. Чалеева (сестра профессора Чубинского, нашего соседа по имению в Черниговской губернии), которая привезла в госпиталь свою дочь Верочку специально для лечения у Николая Васильевича. Верочка пробыла почти все лето в госпитале и объединяла учащуюся молодежь.

Во второй половине года в госпиталь был назначен врачем А. Н. Поздняков (киевлянин), оказавшийся хорошим скрипачом. Первое время скрипки у него не было, но скоро мы достали ему скрипку у знакомого хорвата в Златаре. Поздняков скоро освоился с этой новой скрипкой, и мне пришлось аккомпанировать не только брату, но и Позднякову и играть с ними трио.

Не менее интересны были литературные вечера в госпитале. Вечера эти держались главным образом на выступлениях моего брата и делопроизводителя госпиталя Вл. Александровича Шарепа-Лапицкого (полковника). Вечера эти были тем хороши, что они, как и наши музыкальные вечера, носили строго классический характер. Много раз студенческая молодежь, зараженная современными тенденциями, пыталась внести в эти вечера более легкое направление, настаивая на чтении современной революционной белиберды, но им это не удавалось. Мы стояли за нашу национальную русскую литературу и читали преимущественно классиков.

Очень часто на этих вечерах читались стихотворения и произведения, принадлежащие творчеству больных. Попадались иногда прекрасные произведения, которые слушались с большим интересом. Интересно, что и здесь обнаруживалось наше беженское положение. Одна дама показывала нам свои записки и массу собственных стихотворений, аккуратно сложенные в синюю бумагу. И все это было написано на простой, грубой оберточной бумаге. На мой вопрос она ответила, что не имеет средств, чтобы купить настоящей писчей бумаги.

Наши литературные вечера, так же как и музыкальные,

приобретали периодически особый интерес. Все зависело от сменяющегося состава больных. Бывали, впрочем, и такие периоды, когда аудитория почти пустовала, но тогда выступали свои постоянные силы. Одним из лучших чтецов оказался госпитальный повар г. Ситников, бывший содержатель вокзального буфета в Харькове. В своем прошлом он выступал когда-то в оперетке и на открытых сценах. Он читал отлично. Его чтение трилогии А. Толсто -го было действительно выдающимся.

Особым успехом пользовался пробывший в госпитале весьма продолжительное время учитель из Белграда Г. Сорокин, не только отличный чтец, но и поэт, стихотворения которого производили сильное впечатление. С особым настроением всегда выступали Верочка Чалеева и хромая институтка, фамилию которой я не знал. Очень часто на этих вечерах выступал генерал Михаил Григорьевич Хрипунов, который поражал своей памятью. Он мог часами читать наизусть длиннейшие произведения и в прозе, и в стихах.

С таким же успехом проходили в госпитале лекции, сообщения и доклады. И в этом отношении наблюдались периоды в зависимости от состава больных. В то время, когда в госпитале преобладало более интеллигентное общество, интерес публики к лекциям усиливался, и напротив, были такие месяцы, когда Николай Васильевич даже прекращал чтение своих лекций, так как не для кого было читать. Не только один брат читал свои лекции. Иногда в госпитале делали сообщения и читали доклады и другие лица, как из числа больных, так и привозные.

Весьма интересное сообщение в своих шести лекциях о Добровольческом движении сделал находившийся на излечении в госпитале генерал Эйслер (б. начальник снабжения Добровольческой армии). Генерал Мустафин (б. одесский градоначальник) прочитал нам лекцию об Украине. Священник Михаил Слуцкий (из Харькова) и еще один священник читали лекции. С захватывающим интересом, при полной аудитории сделала свое сообщение о положении в советской России прибывшая непосредственно из Житомира с двумя детьми жена заведующего хозяйством полковника Духонина Евгения Павловна.

С назначением моего брата начальником Гербовецкого госпиталя характер госпиталя совершенно изменился. Он назывался раньше хирургическим госпиталем. Теперь к моему брату стали направлять нервнобольных, число которых быстро увеличивалось и скоро превысило все другие категории больных. Увеличилось за счет хирургических и число туберкулезных, которых направляли в Гербовецкий госпиталь, потому что их

некуда было девать.

Эти перемены, естественно, не понравились молодому хирургу, который скоро ушел из госпиталя. На его место тотчас был назначен доктор Павел Иванович Пономарев, донской казак, оставивший в России свою семью. Доктор Пономарев провел всю германскую войну в качестве врача и начальника госпиталя и затем был на своем посту до прихода большевиков и даже некоторое время при них. Он глубоко страдал морально и потому с первых же дней возбудил к себе симпатии как больных, так и служащего персонала. Павел Иванович очень любил музыку и всегда присутствовал на наших музыкальных вечерах. В ведении П. И. Пономарева были туберкулезные больные и дамский персонал. Туберкулезные быстро вымирали, и эта смерть была ликвидацией той голодной, полной лишения жизни, которую пришлось испытать этим людям.

Умирали солдаты и офицеры, их жены и гражданские беженцы. Я знал почти всех умерших и с некоторыми из них был хорошо знаком. Особенно сильное впечатление оставила по себе смерть Лидии Васильевны Савицкой, которая быстро угасла на моих глазах. Ей было всего 24 года. Муж ее, лицеист, жил при госпитале, поступив поваром, когда из госпиталя ушел Ситников. Савицкая отлично играла на рояле и так же хорошо пела. Впрочем, голоса ее я не слышал, так как она говорила уже ослабевшим горлом, сипло и с хрипотой. На рояле она тоже не могла играть, но пробовала. Исполнив свое обещание, она как-то сыграла мне свой любимый ноктюрн Грига, но к концу пьесы так ослабела, что бессильно опустилась на руки мужа. Это была ее последняя попытка играть на рояле. Интересно, что за день до ее смерти ее муж, Николай Ксенофонтович, принес мне тетрадку ее любимых нот и просил сыграть любимый ноктюрн жены. Мне очень понравился этот ноктюрн, и я решил его выучить на память.

На следующий день утром, когда я учил этот ноктюрн, в столовую вошла сестра Жибер и сказала мне, что только что умерла Лидия Васильевна. Она скончалась под звуки своего любимого ноктюрна. Л. В. Савицкая все время лежала в палате № 2, где отлично была слышна из столовой игра на рояле, и Лидия Васильевна говорила мне, что она очень рада, что слушает постоянно музыку. Незадолго до ее смерти она была переведена в палату № 5, и я жалел, что она не слышала в последние минуты жизни своего ноктюрна. Савицкая писала дневник до последнего дня, и я помню ее последнюю фразу, написанную за несколько дней до смерти: «Я не хочу умирать».

Ту же фразу я слышал постоянно от офицера князя Кудашева, который почти ежедневно приходил в столовую, когда я играл на

пианино, и часами просиживал возле меня. Мы много с ним беседовали, и, когда я закуривал папиросу, он страшно хотел курить, но сдерживался, говоря: «Я не хочу умирать». Князь Кудашев умер не в Лоборе, а по дороге из санатория Вурмберг.

Почти одновременно умерла жена полковника Резникова, с которой мы часто прошлым летом ходили в лес собирать грибы. Она испытала очень многое и бежала в Югославию с мужем из Болгарии во время гонения на русских. М-те Резникова отлично делала искусственные цветы и этим содержала себя и своего мужа, заслуженного старого полковника, который, будучи еще мальчиком 14 лет, отличился в кампании 18771878 годов, получив тогда Георгиевский крест. Теперь он бежал из той Болгарии, за освобождение которой воевал с турками.

Умер от туберкулеза Капустин, секретарь Киевского окружного суда, не выдержавший тяжелой беженской жизни в Белграде. Умер Малюга Петр Николаевич, доброволец 2-го Кавказского полка, мой земляк из г. Нежина, 21 года, который очень просил сообщить о его смерти матери в г. Нежин, где она служит классной дамой. Я, конечно, исполнил его просьбу.

Мне грустно вспомнить этих живых когда-то людей, с которыми судьба столкнула меня в последние дни их жизни. Для меня было ясно, что это все жертвы переживаемого нами тяжелого времени - жертвы революции и большевизма. За полтора года в госпитале умерло более 30 туберкулезных, и все они похоронены на католическом кладбище в Лоборе, в четырех с половиною километрах от госпиталя. На каждой могиле стоит деревянный высокий крест с жестяной дощечкой, на которой моей рукой масляными красками написаны: дата смерти, имя, отчество, фамилия каждого умершего, а также воинская часть, в которой он служил.

По просьбе заведующего хозяйством полковника Духонина я делал эти надписи взамен тех, которые были сделаны первоначально химическим карандашом. Мне часто приходилось бывать на этом кладбище, и я могу сказать, что это та же картина бесконечного русского горя, о котором мы несколько раз говорили в своих записках.

На высокой горе, в стороне от могил местных жителей, в левой от входа части кладбища возле г. Лобор отведен небольшой участок для русских. Здесь в тесноте друг возле друга лежат русские люди, в большинстве еще молодые, которым не посчастливилось увидеть свою Родину. Это былое добровольческое кладбище, где нашли вечный покой далеко от своей Родины борцы за свою Родину и те, кто ушел вместе с ними, не желая оставаться в советской России. Всего на кладбище

около 50 могил.

Но центр лоборской жизни был не в туберкулезных больных. В госпитале сосредотачивались нервнобольные. Это было единственное в Югославии учреждение, в котором русские, заболевшие нервными болезнями, получали медицинскую помощь и где они находили приют. Во всех остальных случаях таких больных помещали в сумасшедшие дома, откуда было уже трудно выбраться. Вот почему действительно Гербовецкий госпиталь получил совершенно другой колорит.

Состав больных был крайне разнообразный. Здесь были больные, страдающие тяжелыми формами нервных заболеваний, и наряду с ними в госпиталь направлялись те, которым просто необходимо было привести в порядок нервы и подлечиться. На вид это были здоровые люди, которых нельзя было положить в постель или держать в палатах. Напротив, неврастеникам нужен был воздух, прогулки, покой и хороший уход. И в этом отношении Красный Крест сделал великое дело, устроив в Лоборе такой госпиталь-санаторий. Граница нервных заболеваний с простой нервностью стала теперь так ничтожна, что полечиться следовало каждому. И эта поддержка, которую получали исстрадавшиеся и изнервничавшиеся беженцы в Лоборе, конечно, для очень многих была большим благодеянием.

Все эти больные в громадном большинстве принадлежали к числу нашей русской интеллигенции, и потому временами, в особенности летом, в госпитале бывало очень интеллигентное и интересное общество. Заслуженные генералы, полковники, военные и статские, дамы и барышни из прежнего русского общества, учащаяся молодежь и даже дети, и вместе с ними простые солдаты, казаки - это были те, кто лечился в госпитале. Мы встретили здесь много знакомых и познакомились с теми, о которых мы слышали раньше.

В этом отношении особенно приятно было лето 1923 года, чему способствовал обновленный состав сестер милосердия и новые врачи. Лежачих больных, кроме туберкулезных, было мало, но и они выносились на воздух и лежали целыми днями на «лоншезах» в парке. После врачебного обхода с утра почти все больные выходили в парк и после прогулки устраивались группами и в одиночку или просто на траве в тени громаднейших елей или располагались на плетеных креслах - кто с книжкой, кто с работой, кто с газетой, а иные просто лежали в безделье, отдыхая от жизни на лоне природы.

Очень часто, когда я или Хвостова играли в это время в столовой на рояле, из парка в открытые окна доносились голоса «ноктюрн Чайковского» или «соната № 17 Бетховена» и т.д. Кира

Петровна Верховская с Киренком (ее дочь четырех лет) и с компанией всегда располагалась в парке против окон столовой, и здесь они проводили почти целый день, собирая вокруг себя детей, которые были на излечении в госпитале или находились при больных матерях. Эта группа, которую объединяла Кира Петровна и к которой я стоял ближе всего, состояла из тех лиц, которые больше других любили музыку и не пропускали ни одного музыкального вечера. Здесь были всегда дочь сенатора Трегубова Ольга Сергеевна с мужем, М. Д. Дедова - классная дама Харьковского института с сестрой А. Д. Кочетовой, сестры милосердия Мария Васильевна Тарасова, похоронившая недавно в госпитале своего мужа, Татьяна Алексеевна Савченко-Бельская, Мария Владимировна Шамина и К. Л. Шебеко, гвардейский офицер А. Л. Кисловский, ротмистр Гулак-Артемовский с черной повязкой на голове, предводитель дворянства Андриевский, бывший московский вице-губернатор Михаил Михайлович Рахманов, князь Голицын, полковник Шамин, Дурнов с изуродованными на войне руками, генерал Хрипунов, конечно, А. А. Хвостов и другие.

По соседству с ними на такой же полянке на скамеечке под громадным, развесистым буком каждый день проводила утро другая группа, тоже с детьми. Тут были Н. П. Лагус (из Одессы), Н. Н. Ноздрева (казачка), балерина Вера Николаевна (из Одессы) и другие. Далее по другую сторону госпиталя объединяли свой кружок дамы из палаты № 5 Е. Н. Александрович и З. Н. Крюкова (казачка). Возле них всегда был вице-губернатор Стерлигов (родственник б. черниговского губернатора) со своей компанией.

Особую группу составляли кукольные больные - эти несчастные калеки со скованной мимикой на лице и медлительными движениями всего тела. M-me Тумим уже не могла быть в обществе. Она хотя и была при полном сознании, но была изуродована, и изо рта ее постоянно текла слюна. Мы знали ее еще молодой девушкой, и потому нам тяжело было видеть ее в таком состоянии. Кукольных больных боялись все, и в особенности дети. Впрочем, полная жизни и даже любившая посплетничать Клавдия Семеновна Куновская заняла в госпитале особое положение. Как привидение, с приподнятыми и застывшими на весу руками и расширенными донельзя глазами, она появлялась повсюду, и к ней привыкли, и даже любили за ее доброту. Несмотря на свою энергию, будучи еще молодой женщиной, она быстро угасала. Я видел ее в последний раз в ужасном состоянии. Шатаясь, с трясущимися руками, вся сгорбленная, она вошла в столовую в то время, когда я играл на пианино. Я тотчас подал ей стул. Заикаясь и пуская слюну изо рта

(симптом болезни), Клавдия Семеновна говорила мне, что сегодня день ее рождения, и она пришла с тем, чтобы я сыграл ей «Баркаролу» Чайковского. Вскоре после этого она умерла.

Не менее тяжелое впечатление производили страдающие тяжелыми формами нервных заболеваний с бредовыми идеями. Они также пользовались относительной свободой и проводили время в парке, но они любили одиночество и не любили вступать в разговоры. Генеральша Троилина всегда мрачно ходила быстрым шагом по дорожкам парка и никого не замечала, погруженная в свои думы. Издали за ней присматривал всегда старший санитар Р. И. Бальба, так как Ольга Николаевна уже несколько раз уходила из госпиталя и бог знает что было у нее на уме. Она и генеральша Мустафина - эти две высокоинтеллигентные, умные и воспитанные женщины, несмотря на то, что говорили глупости, пользовались симпатиями и участием решительно всех. Троилина не ела мяса, уверяя, что это человеческое мясо. То же повторяла Мустафина.

Но интереснее всего, когда эти две генеральши спорили о черте. Мустафина говорила, что у черта закругленный хвост, а Троилина возражала, говоря: «Ну помилуйте, я сама видела, у него продолговатый хвост». Но Мустафина тоже сама видела его и потому не соглашалась с Троилиной. Я был свидетелем этого разговора. Мой брат Николай Васильевич сидел в своем белом халате и сосредоточенно печатал на пишущей машинке, а возле него стояли эти две женщины и серьезно вели разговор о черте.

В особенности оживляла жизнь в госпитале юная молодежь, студенты, кадеты, институтки и дети-подростки. Но зато с некоторыми из них было много хлопот и возни. Верочка Чалеева, конечно, была с ними и, хотя находилась под покровительством и наблюдением супруги профессора Плотникова Марии Ивановны, но, кажется, влюбилась в студента с трясущимися руками и ногами. Он ходил всегда, опираясь на толстую палку, из-за которой однажды он чуть не подрался с кадетом Жоржем. Верочка удивительно умела объединять молодежь. Она даже выпросила у Николая Васильевича разрешение потанцевать, и очень часто в свободные вечера в столовой они устраивали танцы. Она также организовала хор и заставила меня руководить им на репетициях.

Благодаря Верочке мы имели удовольствие видеть танцы настоящей балерины, приехавшей из Белграда лечиться. Верочка уговорила ее выступить, и это был исключительно интересный вечер. Я не знал фамилии многих из молодежи, но знал хорошо Ирочку, Олечку, Ирину, Нину, Валю, Володю, Жоржа и других, имена которых уже начинают забываться. Это были почти еще

дети, и, во всяком случае, вывезены они были из России детьми. Среди них были заслуженные кадеты и студенты, бывшие в боях с большевиками. Были среди них и такие, которые видели такое горе, которому равного нет.

Нина Львова, институтка 13 лет, славная, добрая девочка. Отец ее -офицер, расстрелян большевиками, а мать умерла в беженстве на о. Лемнос от сыпного тифа. Тогда с Ниной случился первый припадок, и с тех пор она страдает падучей болезнью. Ее хотят исключить из института, так как ее припадки удручающе действуют на девочек. Ее поддерживает брат-кадет, но поддержка эта, конечно, только моральная. В России у нее есть бабушка, к которой стремится Нина, но здесь у нее никого близких нет. Нина очень любила приходить ко мне в комнату и, показывая фотографии своих родных, подробно рассказывала мне свое горе. Мне очень жаль было эту девочку. Она безнадежно больная и, конечно, кончит жизнь в сумасшедшем доме.

Под моим покровительством некоторое время был кадет Володя (сын военного инженера), но с ним было тяжело. Истеричный, капризный и попросту хулиган, он вел себя в госпитале отвратительно. Дня не проходило без скандала, и в результате он был выписан из госпиталя как больше хулиган, чем больной. Володя, конечно, погиб. Это нравственный калека. Почти год при большевиках он просидел в Одессе в тюрьме, а затем бежал из России в Польшу, но попал в Югославию. Володя и институтка Валя -это были самые беспокойные люди в госпитале.

Валя Резвова - подросток 14 лет, дочь военного, была вывезена из России с Харьковским институтом. Классная дама, привезшая ее в Лобор, рассказывала нам, что первое время Валя тосковала и так рвалась к своей матери, что думали, что она сойдет с ума. Два года она пробыла в институте, молчаливая, замкнутая, грустная, а в последнее время стала говорливая, неуживчивая, возбужденная и явно проявляла умственное расстройство. Валя скандалила в госпитале очень часто и говорила в это время такие несуразности, что, конечно, не могло быть сомнения, что она психически ненормальная.

Не меньше беспокойства доставляли администрации госпиталя Ирочка с кадетом Жоржем, но это была другая история. У них завязался роман, и Жорж был в этом отношении очень несдержан. Ирочка вела себя тоже нехорошо. Моего брата будили ночью очень часто и вызывали то к одному, то к другому больному. Часто по ночам слышали крики-истерики или припадки. Бывали и буйные приступы, которые будили весь госпиталь, и тогда ночь проходила очень неспокойно. В госпиталь

часто направляли рожениц, и потому также часто по ночам бывали крики при родах.

Вообще это милое общество, которое казалось в парке курортной публикой, чинно сидевшее на музыкальных и литературных вечерах, в действительности состояло из больных людей. Кира Петровна, этот милейший человек, группировавший большое общество, страдала периодически тяжкими головными болями, а у ее девочки были какие-то припадки, похожие на эпилепсию. А. Л. Кисловский - этот здоровенный человек, обладавший невероятной силой, удивил всех, когда ночью с ним случился такой нервный припадок, который поднял на ноги весь госпиталь. Кисловский орал на весь коридор и заставил уйти из палаты всех больных.

Обычным явлением у дам была истерика, и в этом отношении рекорд побила Елена Сергеевна, покрывавшая своим звучным голосом все здание госпиталя. Капризничали и кокаинистки, лечившиеся у моего брата гипнозом.

Но самое тяжелое и неприятное впечатление производили припадки истерики у некоторых господ офицеров. Это больше подходило дамам, а им это не шло. Мне сделался противен Леницкий, молодой офицер, здоровый, крепкий, закативший на весь госпиталь такую истерику. Он играл довольно прилично на рояле, и мы поэтому вели с ним знакомство, но после того когда брат сказал мне, что он симулянт, я отошел от него.

Особую категорию больных представляли собой неврастеники. По-видимому, это неприятное состояние. По крайней мере, генерал Гусаковский, тот самый, который при взятии добровольцами Чернигова был начальником государственной стражи, жаловался мне, что с такими нервами жить нельзя. Генерал страшно изменился с тех пор, как я его видел. Он осунулся, постарел, неестественно моргал глазами и точно заикался. Он был в статском одеянии, и только Георгиевский крест обнаруживал в нем военного. Мы вспоминали с ним наше отсутствие из Чернигова и часто беседовали, гуляя в парке. В. Н. Гусаковский говорил мне, что с 1914 года он не отдыхал ни одного дня, но все же на войне он был бодрым, здоровым и не испытывал того ужаса, который вызвали в нем большевики. Генерал получил на войне Георгиевский крест, был ранен и вспоминает это время с удовольствием. Теперь его удручает его бедственное положение, и он как бы шепотом говорил мне: «Мы с женой голодаем». Я советовал ему обратиться к сербским военным властям, которые не должны, по моему мнению, оставить без помощи генерала, который воевал с немцами в защиту Сербии, но В. Н. Гусаковский безнадежно

отмахивался рукой и отвечал мне, что он много раз просил места, но результатов нет никаких. Генерал выписался из госпиталя несколько поправившимся, загорелым, но на лице его так и остался ужас, который навсегда запечатлелся на нем. Это было в июле, а в августе мы получили сведения, что генерал Гусаковский застрелился.

Еще сильнее произвело на нас впечатление самоубийство в госпитале Александра Александровича Кистяковского, предводителя дворянства Переяславского уезда Полтавской губернии. Он давно поговаривал о самоубийстве и признавался нервнобольным. Это заставило его родных уговорить его поехать лечиться в Лобор. А. А. Кистяковский, которого незадолго перед этим консультировал мой брат, согласился пройти курс лечения и прибыл в мае в Лобор. Мне Кистяковские приходились в некоторой степени свойственниками, и я был рад этой встрече. А. А. высказывал тоже свое удовольствие быть в моем обществе. Кистяковский ночевал у меня в комнате, и меня встревожило то, что он страшно возбужден. Я сказал об этом брату, который и посвятил меня в его болезнь. Но это было только начало.

На третью ночь Кистяковский почти не спал. Был настроен на пессимистический лад и несколько раз говорил мне о самоубийстве. Уже поздно ночью А. А. заявил мне, что он здесь не останется и лечиться не хочет. Я опять сказал об этом брату. Н. В. дал Кистяковскому какие-то капли и долго беседовал с ним, убеждая его пройти курс лечения. Утром А. А. начал укладываться. Брат сказал мне, чтобы я попробовал уговорить его не делать этой глупости, но Кистяковский стоял на своем и уехал. На меня лично произвело впечатление, что ему просто не понравилось тут, причем на него ужасное впечатление произвели кукольные больные. «Как вы можете жить с такими?» - говорил он мне. В два часа после обеда нам сообщили с вокзала, что под поезд бросился какой-то русский, по-видимому, из госпиталя. Это был А. А. Кистяковский. Его похоронили в Лоборе, когда несколько дней спустя приехали его жена Инна Павловна с дочерью Ксенией Александровной Ингистовой. Через месяц брат Кистяковского Игорь (бывший министр внутренних дел при гетмане) распорядился перевести тело покойного в Загреб, где недавно была похоронена дочь А. А. - Нина.

Таковы впечатления о нашей госпитальной жизни в Лоборе, но они были бы неполны, если бы я не упомянул, что и здесь мы встретились с большевиками. Курсистка Морозова, туберкулезная, по-видимому официальная агитаторша, успела совратить нескольких солдат из туберкулезного отделения и внести в эту камеру определенное настроение, но это было

своевременно замечено, и агитация эта дала результат в отношении только одного больного солдата Беляева, так как остальные поумирали. Беляев же вышел из госпиталя и уехал в Россию. Санитарка Катица (хорватка) получила от него несколько писем из Мелитопольского уезда. Беляев расхваливал большевистские порядки, описывая, что он как больной получает денежное содержание и живет отлично. Впрочем, он пишет, что, возвратившись домой, он никого из своих не застал дома и вошел в пустую хату, окна которой были заколочены. Куда девались его родные - никто не знает.

* * *

Эта больничная атмосфера напряженной жизни с ее ночными истериками, припадками, постоянными смертными случаями, скандалами и неприятностями была несколько неприятна, но по сравнению с тем, что пришлось испытать до этого, жизнь при госпитале казалась мне спокойной. У меня была своя личная жизнь. Я был сыт. И это особенно ценилось теперь. Мы с братом часто вспоминали, как мы голодали и как невероятно тогда казалось, что мы опять будем сидеть за столом, покрытым скатертью, есть ножами и вилками и пить чай из чашек. Несбыточными тогда казались мечты даже о манной каше с сахаром, а тем более о стакане кофе. Мы голодали одинаково еще в России, а потом я в Болгарии и Румынии, а он - на о. Лемнос. Мы голодали вместе еще не так давно в Загребе и отлично понимали состояние тех больных, которые набрасывались на больничную пищу, говоря, что здесь земной рай по сравнению с теми условиями, в которых они живут в своих колониях.

На душе было мрачно, но среда русских людей, в которой протекала наша жизнь, всегда напоминала нам, что мы попали в исключительно благоприятные условия и в этом отношении мы счастливее других. Полная обеспеченность, вполне сносная пища, отсутствие забот о завтрашнем дне давали нам тот душевный покой, которого лишено было громадное большинство беженцев. Мой брат получал на всем готовом 150 динар в месяц, а я вносил получаемое мною пособие в общую кассу за стол. И так мы жили, не имея никаких забот.

Мой день был распределен и удивительно походил один на другой. Я вставал утром, пил кофе, убирал посуду и шел в столовую заниматься музыкой. До 12,5 часа я играл на пианино. После обеда я шел гулять, какая бы погода ни была, и бродил по горам и лесам до 4,5 час дня. Возвращаясь к этому времени домой, я заваривал кофе, который мы с братом пили всегда около пяти часов, а ровно в 5 часов у меня был урок музыки, после которого я опять играл на рояле до ужина, подготавливаясь к

аккомпанементу или разучивая трио. После ужина обыкновенно бывали лекции, чтения, муз. вечера, но я очень часто пропускал эти вечера, предпочитая поиграть на рояле. И это были мои любимые вечера.

Так шли дни за днями, монотонно, с вечной тяжестью на душе, но я сознавал, что жаловаться на судьбу мне не приходится. Благодаря брату моя беженская жизнь протекала безболезненно в материально обеспеченной обстановке. Угнетало меня не это, а то, как долго будет продолжаться такое состояние. Для меня эта жизнь не существовала. Я смотрел на нее как на этап в жизни, как на временное положение, и ничего другого, кроме возвращения в Россию, для меня не существовало.

Надежда у меня не угасла. Я не допускаю мысли, чтобы мы обречены на вечное скитание или сделались эмигрантами. А если бы это и случилось, то я мог бы смотреть на эту жизнь только как на процесс медленной смерти. Отсюда исходили мои взгляды на мою беженскую жизнь, и меня ничто не могло бы удовлетворить, тем более что я отлично понимаю, что устроиться так, чтобы жить хотя бы безбедною жизнью, я никогда не смогу.

В России я был редким специалистом, а здесь мои знания и опыт никому не нужны. Я был занят весь день и вел правильный образ жизни, стараясь сохранить свое здоровье на случай, если нам суждено вернуться на Родину. Я гулял регулярно. Гулять иногда не хотелось, особенно в жаркие дни, и я тогда сидел на берегу речки Быстрицы, в лознике, с книжкою в руках. Мне вспомнилось как-то, что в детстве я научился у садовника плести из лозы корзинки. Лоза была под рукой. Первая работа вышла удачной. С тех пор у меня в лознике открылась целая мастерская. У меня появились ученики из числа больных, и я только один за это время сделан 164 корзинки.

Корзинки эти были нарасхват. Не было, вероятно, ни одной дамы, которая не просила бы меня сделать корзинку. В особенности спрос на них был к осени, когда начинался грибной сезон. Впрочем, дамы утилизировали мои корзиночки еще для своих рукодельных работ. Мне совестно было продавать их, и я, конечно, с удовольствием делал эти корзинки каждому, кто просил. Этот своего рода физический труд после обеда, и притом почти ежедневный, по-видимому, отлично влиял на мое здоровье, так как я чувствовал себя бодро и заметно поправился.

Это лето было для меня особенно значительным. Я получил в июле первое после нашей разлуки в 1919 году письмо от дочери. Для меня это была большая радость, и я долго жил под этим впечатлением. На душе стало как-то спокойнее. Моя Оля избрала единственный правильный путь, отдавшись всецело искусству.

Эта область, которая меньше всего затрагивалась в политическом отношении большевиками и как-никак обеспечивает существование в Советской России. В ее письме проглядывала также надежда увидеться, и это как нельзя было кстати, так как я чувствовал, что начинаю поддаваться общему настроению и делаюсь пессимистом. Письмо это принесло мне и новое горе. В прошлом году почти одновременно умерли в Харькове моя сестра Екатерина Васильевна с мужем В. Н. Алчевским и брат Владимир. Установлено также, что погиб во время боев мой племянник, молодой доброволец Саша Краинский.

Почти одновременно я получил из Чернигова письмо от Мани. Письмо грустное, печальное, и в этот раз деловое, вызвавшее во мне беспредельное чувство обиды. Я уже не раз упоминал, что веду свои записки с 1903 года, то есть более 20 лет. Записки эти до 1919 года носили совершенно другой характер. Я вовсе не касался в них своей личной жизни, как теперь. Это был сырой материал с ценными и притом весьма редкими документами и статистическими данными, относящимися к исследованиям вопросов криминологии. Этот материал служил мне всегда основанием к разработке вопросов тюремоведения и исследования детской преступности, которые появлялись в печати как мои статьи, брошюры и специальные издания. Перед приходом большевиков, опасаясь уничтожения этих записок, я сдал их на хранение в украинский музей Тарновско-го в Чернигове, запрятав их собственноручно под спуд в самой дальней комнате, в отделе старых книг и документов.

Теперь большевики изъяли мои записки из музея и, конечно, они разойдутся по рукам господ комиссаров и своевременно будут ими брошены. Большевики хотят издать мои записки, и через Маню я получил запрос, согласен ли я на это.

Привожу выдержку из письма Мани по этому поводу: «Мама часто вспоминает Вас и хочет еще свидеться. Да не только мама, а даже и посторонние люди почти каждый день ведут разговоры о Вас. Вот, например, у меня в учреждении часто заводили речь о Ваших трудах, а в частности о трудах по колонии, так как Семен Иванович (Гаевский - член суда) работает в комиссии по делам несовершеннолетних. Я ему подарила Ваш отчет, с которым ему, кажется, приходится очень часто сталкиваться как с пособием. Теперь, Дмитрий Васильевич, я должна обратиться к Вам за серьезной справкой. Дело в том, что все Ваши записки (в 7-ми тетрадях), отданные Вами И. Г Рашевскому, сохранились в музее Тарновского. Вот эти-то записки и послужили отчасти поводом почти к ежедневному восхвалению Вас. За этот дневник ухватились как за материал (особенно о Савицком), необходимый

для опубликования в местной газете. Часть я собственноручно перепечатала на машинке (все о том же Савицком), и это было отдано в печать, но еще не опубликовано. Делается это все у нас в учреждении - в губернском архиве, который развернул свою деятельность в очень широком масштабе. И вот тут-то возник вопрос об издании всех Ваших записок, но, прежде чем это сделать, хотелось бы знать, согласны ли Вы, чтобы посторонние люди воспользовались Вашими трудами, или же пускай это останется для Вас? Хотя они считают, что записки эти не могут являться Вашей собственностью, так как отданы в музей, о чем имеется собственноручная Ваша запись. Семен Иванович оспаривал Ваше право на издание их (даже в смысле заработка). И вот я решила у Вас об этом спросить. Ответьте обязательно - да или нет? Может быть, действительно они Вам в будущем пригодятся».

Мы с братом долго обсуждали этот вопрос, и я ответил, что согласен на издание моих записок с условием, чтобы мне заплатили 15 тысяч золотыми рублями и прислали сюда по 10 экземпляров каждого тома. Другого выхода нет, ибо все равно записок своих я уже больше не увижу. Мне обидно, что погибла работа, над которой я сидел 20 лет. Только часть ее опубликована мною в моей книжке, изданной в 1913 году, - «Материалы к исследованию истории русских тюрем», и моем отчете, который я назвал «Малолетние преступники». Я готовил к печати обширный труд под наименованием «Бытовая сторона жизни в русских тюрьмах в связи с психологией уголовных преступников». Мне помешали опубликовать этот труд война и затем революция. Теперь этот труд мой в руках комиссаров, и я не верю, чтобы они могли его использовать. При первом народном волнении или попытке к перевороту они убегут и оставят на своих квартирах мои разрозненные записки, которых потом не найдешь. Итак, я работал более 20 лет для того, чтобы работа моя сошла на нет и не оставила даже по себе следов. Мне это страшно обидно.

* * *

В госпитале не было постоянного священника. Священник приезжал периодически по вызову. Иногда приезд его совпадал со смертью кого-нибудь из больных, и тогда у нас бывали торжественные похороны. В большинстве случаев хоронили без священника, и это производило удручающее впечатление. Деревянный гроб ставился на госпитальную повозку, запряженную в этих случаях парою лошадей. В подворотне, где всегда собиралась публика, чтобы проводить покойника, иногда образовывался импровизированный хор из больных и служащих и покойника провожали пением «Вечная память». Публика

провожала покойника обыкновенно до мостика, а дальше шли по назначению сестра милосердия и заведующий хозяйством. В Лоборе процессию встречал местный жупник (ксендз) и читал возле гроба молитву. Так хоронили без отпевания громадное большинство умерших.

Только после, когда приезжал священник, он служил панихиду и ездил на кладбище служить по тем, кто погребен без отпевания. Приезд священника был всегда большим событием в Лоборе и вызывал большую радость. Столовая принимала вид храма, украшенного зеленью цветами, ельником и можжевельником. У иконы зажигалась лампада. Горели восковые свечи. Столы выносились из комнаты, так что комната становилась громадная. Хор составлялся обыкновенно из больных и служащих, и всегда находились люди, которые знали церковную службу и прислуживали священнику.

Этот храм едва вмещал в себе всех молящихся. К службе некоторых больных выносили на руках. Выходили из палаты и такие больные, которых никогда не было видно. Всенощная служилась обыкновенно после ужина, и по своей обстановке она вызывала более глубокое молитвенное настроение, чем литургия. Молились исступленно, сосредоточенно, простаивая на коленях полслужбы. Здесь люди отдавались своему горю всем своим существом и глубоко переживали те испытания, которые выпали на их долю. Каждое слово священника, каждый напев проникали в душу, заставляя глубоко чувствовать ту утрату, которую нельзя ничем заменить.

Вспоминалась Родина, родные, убитые, замученные, умершие, и томительно выражалась беспокойство за тех, кто остался в России. В сознании ужаса своего положения и полной неизвестности неприглядного будущего молились и за себя. Эта скорбь и выражение застывшего на лице горя, а иногда и отчаяния были на лице почти у каждого, но в молитве на тех же лицах была видна покорность, смирение и решимость претерпеть испытания до конца. И в бессилии люди сосредоточенно крестились широким крестным знамением и клали глубокие земные поклоны. Выходили из церкви с опухшими глазами, сморкаясь и вытирая не высохшие слезы.

На литургии утром после сна настроение бывало спокойнее, и служба казалась торжественнее. Особенно радостно бывало, когда через решетчатые окна в столовую проникали лучи солнца, освещая сверху и сзади толпу молящихся. Литургия носила кроме того, если можно так выразиться, более деловой характер. Нужно было не забыть поставить свечку. Нужно было подать священнику поминальную записку и достать просфору. После литургии нужно

было причастить некоторых больных и пойти по палатам с крестом, а потом ехать на кладбище служить по тем, кто похоронен без отпевания. Люди были заняты этими заботами.

В течение всей службы к столу возле алтаря подходили и клали поминальные записки и о здравии. Издали было видно, как эти бумажки постепенно возрастали в числе и ко времени поминания обращались в целую кучу бумажек. Быстро потом священник брал поочередно эти бумажки и так же быстро читал с припевом за упокой бесконечного множества умерших, умученных, убиенных и на брани свой живот положивших. Страшно было слушать этот мартиролог погибших людей. И молились за них не только те, кто подал записку, но и посторонние им лица. Долго читал священник имена этих жертв, и много молящихся выслушивали это, выстаивая подолгу на коленях. Я спрашивал потом священника отца Михаила Слуцкого, и он сказал мне, что каждую службу ему приходится поминать от 100 до 150 имен.

Священник обыкновенно говорил проповедь и, конечно, почти всегда на одну и ту же тему - об испытаниях, ниспосланным русским людям. Тяжело было слушать эту проповедь. Она не облегчала наших душевных страданий и, напротив, заставляла еще сильнее чувствовать то горе, которое в прочувствованной проповеди подчеркивал проповедник. Но это состояние, вызывавшее на глазах слезы, продолжалась недолго. Спокойно и хорошо, как после сознания исполненного долга, становилось на душе после обедни, и хотелось опять и еще быть в церкви и без конца слушать молитву. И всем было жаль, когда на следующий день уезжал священник.

С необыкновенным настроением прошла Страстная неделя и заутреня в ночь на Светлое Христово Воскресение. Погода была весенняя, теплая, солнечная. Говели почти все. Служба бывала ежедневно утром и вечером по расписанию. Вся жизнь госпиталя сосредоточилась в церкви. Было грустно, но чувствовалось что-то свое, родное. Далеко от госпиталя не уходили. Даже в парке было мало народу. Все толпились на скамеечках у ворот, греясь на солнце. Дамы и детвора собирали тут же на полянке фиалки и постоянно носили их в церковь, освежая ими завядшие цветы.

К службе обыкновенно звонили в госпитальный колокол, и это придавало особую торжественность службе. В коридорах стоял еще дымок после службы, и пахло ладаном. Этому настроению, которое бывает всегда на Страстной неделе, много способствовало еще то обстоятельство, что в госпитале пахло постной пищей. Сестра-хозяйка Наталия Ивановна Давид отлично готовила постный борщ и делала вкусные пироги с кислой

капустой.

Кухня - это было единственным местом в госпитале, где чувствовалась жизнь. Там готовили пасхи и красили яйца. Даже поздним вечером там был слышен властный голос сестры. Там кипела работа и пеклись куличи. В госпитале была другая жизнь - спокойная, тихая, ровная. И я знал, что многие пишут письма своим родным в Россию. Оживление проявилось лишь в субботу, перед заутреней, когда начали готовиться к Светлому празднику и накрывать пасхальные столы. Поражало необыкновенное количество фиалок, которыми были убраны столы и украшен храм-столовая. Даже в коридоре на окнах стояли в баночках букеты фиалок.

К 10 часам вечера все были уже одеты. Военные надели свою форму с погонами. Дамы надели свои платья. У некоторых оказались белые платья. Особенно чисто были одеты сестры милосердия в своих новых платьях и необыкновенной белизны фартуках и косынках. Мужчины были тоже парадно одеты, в чистых воротничках и в новых, у кого были, пиджаках. Одним словом, все приняли парадный вид, и только меньшинство осталось в больничных халатах. К 12 часам начался крестный ход вокруг замка.

Это было море огней. Каждый нес в руках зажженную свечку, а путь освещался факелами. Шли по темным дорожкам парка в чаще высоких елей и выходили затем к воротам, у которых беспрерывно звонил госпитальный колокол. Трижды крестный ход обошел здание госпиталя с отличным пением хора, который образовался еще на Страстной неделе. Затем священник крестным ходом обошел здание всего госпиталя по его длинным коридорам, и потом началась служба.

Заутреня была торжественная, величественная, совсем так, как в России. Мы были как дома. Это был уголок России и настоящий русский праздник. В церкви было тесно и жарко, так что многие стояли в буфетной и даже в коридоре. Множество огней от горящих в руках у каждого свечей придавало особый праздничный вид службе. И тем не менее и здесь у многих стояли слезы в глазах, и каждый раз, когда хор пел «Христос воскресе», они опускались на колени и подолгу стояли с опущенной головой...

Разговение было богатое, как и на Рождество. Хорватский благотворительный комитет не пожалел средств. Пасхальный стол был роскошный. Три дамы-благотворительницы во главе с m-me Ковачич опять прибыли в Лобор и участвовали с нами в разговении. Опять говорились речи, высказывались надежда и пожелание, но. в этот раз не верилось. И не смогли эти речи

поднять нашего настроения!

* * *

Праздник Святой Пасхи был невеселый, несмотря на то что он был обставлен великолепно. Чувствовалось какое-то уныние, гнет, тоска. Не веселила и наступившая весна, тем более что настоящего тепла еще не было. Вообще в этой местности хороша только очень ранняя весна, а затем до середины лета бывает скучный период дождей. В такие дни я проводил обыкновенно вечера в столовой за пианино. Освещение было скудное, так как, за сокращением расхода, электрического света в госпитале уже давно не было, а лампа тушилась после ужина ровно в 9 часов.

Я приходил в столовую со своей небольшой лампой, которая едва освещала мне ноты. Обыкновенно кто-нибудь из больных приходил послушать музыку или просто посидеть в одиночестве и усаживался где-нибудь в темном углу. Бывало и так, что приходила парочка и шепталась под звуки ноктюрна Шопена до тех пор, пока дежурная сестра не сгоняла их с этого уютного места. Я привык к этому и не обращал на них внимания.

Особенно часто приходил вечерами в столовую больной, полковник Шамин, жена которого, Мария Владимировна, служила сестрой милосердия в госпитале. Я знал, что он считается ненормальным, с наклонностями даже к буйным припадкам, но и к нему я привык. Я только не любил, когда он начинал громко подпевать мне. Неприятен он был еще тем, что не сидел он на месте, а ходил взад и вперед.

Однажды в такой вечер (это было уже в то время, когда начал колоситься овес), после дождливого дня я спустился в столовую и, открыв окна, сел за пианино. Я был рад, что никто не мешает мне, и играл с особой охотой. Но скоро дверь отворилась, и вошел Шамин. Я продолжал играть, но от меня не ускользнуло, что полковник был возбужден и нервно ходил по столовой. Впрочем, он был в мягких туфлях и потому не мешал мне играть.

Когда я кончил сонату, Шамин подошел ко мне и как-то странно сказал: «А профессора арестовали хорваты». Я ничего не ответил, полагая, что полковник заговаривается, и подумал, что нужно об этом сказать его жене. Я сыграл еще одну вещь. Полковник опять подошел ко мне и сказал: «И знаете за что - он протестовал против убийства Каро». Это было имя нашей госпитальной собаки, общего любимца Каро. Мне подумалось, что как будто в этих словах Шамина было что-то логическое, и я испытующе посмотрел на него, но полковник молчал. Я перевернул страницу и начал играть дальше. Я еще долго играл и был доволен, что полковник перестал ходить и сел.

Часов около одиннадцати в столовую быстро вошла дежурная

сестра В. И. Жибер и, обратившись ко мне, сказала: «А вы еще ничего не знаете. Профессора арестовали и повели в Златар». Я посмотрел на Ша-мина. Полковник сказал мне: «Я же видел, что вы не придаете значения моим словам, полагая, что я ненормальный». Мне было очень неловко, но оправданием мне служило то обстоятельство, что я нахожусь в больнице для нервнобольных.

Я поторопился наверх, так как в моей комнате был А. А. Кистяковский. Это было в тот вечер, когда я очень долго уговаривал Кистяковского не уезжать из госпиталя и пройти курс лечения. А. А. уже знал об аресте Ник. Вас., но относился к этому спокойно, говоря, что это глупое недоразумение. Я тотчас спустился вниз, чтобы узнать у заведующего хозяйством, в чем дело, но полковник Духонин был тоже арестован.

Оказалось, что с наступлением сумерек два жандарма с гицелями[29], проезжая по мостику за парком, где в это время сидел полковник Духанин с сестрой милосердия Новиковой, и с ними был Каро, заметив собаку, остановились и на глазах Духонина и сестры выстрелили в Каро, убив его наповал. П. А. Новикова, которая больше всех любила собаку, побежала домой и подняла на ноги весь госпиталь. Ник. Вас., которого она встретила у ворот замка, быстро направился к месту происшествия, где уже были некоторые служащие.

Ник. Вас. потребовал объяснение от жандармов. Жандармы отвечали грубо и начали возвышать голос. Ник. Вас. сказал им в резкой форме, что они не смеют кричать и грубиянить. «А коли так», - сказал жандарм и, взяв наперевес винтовку, начал наступать на Ник. Вас. Стоявший возле брата Кирич (техник при госпитале) быстрым движением схватился за дуло винтовки и отвел удар, говоря: «Что вы делаете?» Тогда жандарм резко сказал: «Вы арестованы», и вынул из кармана ручные кандалы.

Полковник Духонин в свою очередь обратился к жандарму и сказал: «Одумайтесь, что вы делаете, это шеф нашего госпиталя». Жандарм положил обратно в карман кандалы и, взяв винтовку на плечо, резко скомандовал «гайд», кивнув головой на шоссе. Полковник Ив. Матв. Комаревский тоже увещевал жандармов, но разговоры были излишни. Под конвоем двух жандармов мой брат, а за ним полковник Духонин, Кирич и полковник Комаревский (эконом) пошли в Златар.

Весть об аресте начальника госпиталя в один миг облетела весь госпиталь, причем сразу не разобрали, в чем дело, ибо П. А. Новикова в истерике кричала: «Убили, профессора арестовали, убили». «Кого убили? Какие жандармы?» - спрашивали в суете друг друга. «Профессора», - отвечали некоторые, не разобравшись

в этой истории. И в госпитале поднялась суета.

Толпа больных, санитаров и с ними сестры милосердия бросились к выходу. Сестра Янковская первая схватила во дворе толстую палку и бросилась к воротам с криком «бей их». За ней начали растаскивать и вооружаться поленьями дров, дрюками и чем попало и другие, и все бежали к воротам.

Первый нашелся Р. И. Бальба, остановивший бегущих. Преграждая им путь, он разъяснял, что не профессора убили, а собаку. Бальба не растерялся. Он бросился к воротам и быстро запер их на замок, так что только часть больных с сестрой Янковской успели проскочить в парк. Конечно, с нею был кадет Жорж, вооруженный дубиной. Янковская, повар Н. К. Савицкий, кадет Жорж, санитар-студент и еще несколько человек добежали до шоссе и, сдержанные шедшим сзади полковником Комаревским, присоединились к арестованным.

Тем временен Бальба успел доложить обо всем уполномоченному Красного Креста П. М. Боярскому, который был в это время в госпитале со своим сыном Петей и так же, как и я, сидел у себя в комнате и ничего не знал о случившемся. Боярский приказал сейчас же запрячь лошадь и решил ехать к пристойнику.

Часа через три все арестованные вернулись обратно. Пристойник извинялся перед Ник. Вас. и Боярским и кричал на жандармов, но и жандармы тоже кричали на пристойника, а впоследствии, когда по жалобе Боярского из министерства прибыл для расследования чиновник и жандарм был уволен, пристойник откровенно сказал брату: «Мы их теперь больше боимся, чем они нас».

История эта не случайная. Тотчас после Пасхи в Лоборе появились гицели с жандармами, которые убивали по здешним порядкам собак, не имевших билетов. И при госпитале были кроме Каро две приблудившиеся собаки, которые подлежали уничтожению. Гицели расстреливали этих собак не только на глазах гуляющих и лежащих в креслах больных, но стреляли и тогда, когда собаки прятались под ноги больных. Жандармам за это досталось от их начальства, и вот они решили мстить.

Сущность этой истории не в том, что произошел скандал, а в том, какое отношение этих хорват сказалось в этом деле и сколько злобы и ненависти проявилось в этих людях к русским. Еще в первый раз, когда они убивали бродячих собак, они злобно относились к нам и умышленно стреляли в упор между гуляющими. Совершенно правильно тогда некоторые из больных говорили: «С каким бы удовольствием они расстреляли бы всех нас». Жандармы издевались дорогою, ведя арестованных, и ругали между собою русских. «Я еще никогда не видал русского

аристократа, буржуя, арестованным», - говорил один жандарм другому.

Эту сдерживаемую злобу у хорватского простонародья нам приходилось наблюдать много раз. Сначала мы думали, что эти люди -большевики, как это мы видали в иных случаях в Загребе, но здесь, в деревне, это было нечто другое. Так, например, однажды зимой я гулял с палочкой по шоссе в своей серой военной шинели. Меня обгоняла бричка, запряженная одной лошадью в дышло, на которой кроме возницы сидело двое хорват, один худой, другой толстый. Поравнявшись со мною (они ехали рысцою), сидевший по мою сторону толстый, прилично одетый хорват, перегнувшись всем телом ко мне, крикнул на ломаном русском языке: «Чего ты тут, поезжай к себе в Россию». Он был выпивши. Я видел, как худой хорват схватил его за руку выше локтя, видимо, желая удержать его от этого выпада, и укоризненно ему что-то говорил. Но та злоба, которую я увидел на лице у хорвата, в данном случае буржуя, не ускользнула от моего наблюдения. Это, конечно, не были большевики.

К тому же приблизительно времени относится случай с сестрой Новиковой, которая возмущенно рассказывала за обедом об отношении к ней нескольких женщин. Гуляя по шоссе, она встретила двух женщин, с которыми шла уже большая девочка-подросток. Поравнявшись с сестрой, девочка громко по-хорватски бранила русских и, обратившись к сестре, нагло сказала: «Зачем вы сюда приехали, убирайтесь к себе в Россию». Санитарка Таня рассказывала нам, что, покупая как-то вино у селяка, она слышала такой же упрек от находившихся в хате молодых хорват: «Зачем вы сюда приехали? Вы буржуи, привыкли ничего не делать. Гуляете здесь, а мы увек радим (вечно работаем). Подождите, вам будет здесь то же, что в России», - говорили ей хорваты. Таня возражала и говорила: «А Вам какое дело, что мы сюда приехали?» Хозяин-старик вступился за Таню, и Таня поторопилась уйти.

Конечно, все это отдельные случаи, но их слишком много, чтобы не придавать им значение. Мы знаем, что редко кто из русских не слыхал этого упрека в различных местностях Югославии, и нам очень часто приходилось слышать рассказы об этом. Эта национальная злоба, прорывающаяся в таких случаях, несомненно характеризует общее положение. Мы отлично чувствуем, кто относится к нам хорошо и кто таит в себе национальную нетерпимость. Ковачич-сын и отец ненавидят нас, но сдерживаются. Их мельник, несмотря на то, что его дети столуются от госпиталя, получая остатки из котла, тоже ненавидит русских.

Это скрытое состояние злобы, сдерживаемое по необходимости, по нашему глубокому убеждению, проявилось бы с невероятною силою при первой вспышке народных волнений. Тем не менее в общем отношение местных жителей, селяк, к нам нужно признать вполне сдержанным, корректным и во многих случаях даже отличным. Наши ходят к селякам, делают покупки. Иногда их угощают вином, принимают любезно, а в иных случаях даже выражают сочувствие и говорят: «Вы такие же славяне, как и мы». И мы слышали отзывы, что в этой местности сельское население добрее и лучше, чем в других местах. И мы готовы это признать, но отлично знаем по опыту, что малая группа вожаков в 5-6 человек в один день изменит общее настроение.

Глубокое разочарование вносили в наше настроение своими рассказами прибывающие к нам из Сербии. Моя невестка М. К. Воздвиженская, приехавшая к нам летом из Нового-Сада (Novisad) погостить, в мрачных красках описала нам жизнь русских среди сербов. Служа в какой-то иностранной конторе, М. К. зарабатывала до 3000 динар в месяц и жила отлично с подругой, получив еще в начале приезда комнату по реквизиции на льготных условиях как служащая. И вот теперь хозяйка-сербка выживает ее из квартиры. Нет пакости, которую бы она не делала.

Конечно, это вполне понятно при таких условиях, когда у нее реквизировали комнату. Но дело не в том. Она ненавидит русских и ругает их отборными ругательствами. «Вы - русские хамы», - говорит она. Вообще, сказала нам Воздвиженская, сербское простонародье, демократия и низшее городское население относится к русским плохо, со злобой и так же, как и здесь, называют русских буржуями, изводя упреком: «Зачем вы снова приехали». И когда находятся некоторые смельчаки, которые отвечают: «А зачем Россия содержала и приютила в Одессе две сербские дивизии и кормила их?» - то оказывается, что об этом никто из сербов даже не слыхал.

Все рассказы о братском приеме русских в Сербии - это политика. В действительности им нет никакого дела, что Россия вступилась когда-то за Сербию и спасла ее. Этим никто не интересуется, и даже мало кто знает об этом. Относятся хорошо к русским в правящих сферах, в правительстве, в высших военных кругах, наиболее просвещенная сербская интеллигенция. Есть, правда, отдельные личности и даже группы лиц, в особенности из сербских солдат военного времени, которые, сознавая и видевши и роль императорской России во время войны, относятся с каким-то особым чувством преклонения к горю русского народа и переносят свои симпатии на русское беженство.

И большинство, с кем мы разговаривали по этому поводу,

соглашаются с нами, что не в большевизме тут дело. Большевики сами по себе, а национальная нетерпимость сама по себе. Мы вспоминаем отношение к нам в Загребе профессора Микуличича и градской управы. Они нас ненавидели, но и мы их тоже ненавидели. Микуличич не умел скрывать своей злобности и был так нетактичен, что позволял себе в серьезном и деловом разговоре говорить, что немцы презирают русских и русскую науку. Говорилось это, конечно, с целью уколоть самолюбие и унизить русского человека.

Эта национальная нетерпимость славянских народностей, одинаково сербов и хорват, к русским, одинаково в интеллигентных слоях общества и в народных массах, не подлежит сомнению. Это впечатление общее, несмотря на то, что газеты продолжают муссировать общеславянский вопрос. Об этом говорилось еще в прошлом году, но тогда объяснялось это иначе. Сербам и хорватам надоело возиться с русскими, и мы стали им в тягость.

Так объясняли себе беженцы недоброжелательное отношение к русским, а некоторые просто разрешали себе этот вопрос: «Это большевизм начинает просачиваться в народные массы, и мы для них, конечно, контрреволюционеры». Нет! Мы видим другое. По крайней мере, мы сами слышали от профессоров, бывших в Белграде, что русским людям в Сербском университете ходу не дают, и там среди профессоров явно обнаруживается недоброжелательное отношение к русским ученым.

Наилучшим показателем этого безотрадного положения русских людей в Югославии является запрос правительству, внесенный 27 ноября 1923 года земледельческой фракцией народной Скупщины с требованием возвращения русских беженцев в Советскую Россию (Новое время. 29 ноября 1923. № 780). Это не большевики, а часть сербского народа, славяне, демократы, игнорирующие традиции и нравственные обязательства перед русским народом. И после этого еще говорят о существовании какой-то славянской идеи, о роли славянства в будущем!

Это уже второй такой запрос в Скупщине. Во время Генуэзской конференции какой-то адвокат, серб, интеллигентный человек, требовал изгнания русских из Сербии. Тяжелое, гнетущее и скорбное впечатление произвел на русских этот запрос части сербского народа. И мы невольно вспоминали, как девять лет тому назад в той же Скупщине лихорадочно ждали помощи от русского Царя и русского народа, без которого, конечно, выхода из положения для Сербии не было. Сербы приняли тогда эту помощь, восторженно крича в Скупщине

«живю» русскому Царю и русскому народу. Теперь в этой же Скупщине возбуждается вопрос об изгнании из Сербии тех, кто сражался в рядах Русской армии во имя спасения сербского народа.

Конечно, найдутся люди и, может быть, целые группы русских людей, которые будут возражать нам и скажут, что мы видим все в мрачном цвете. Но мы наперед знаем, кто нам будет возражать, и мы не ставим им этого в вину. Напротив, мы будем рады, если они в будущем поведают русским людям другое и сгладят те тяжелые впечатления, которые мы вынесли из этой мрачной жизни в Югославии. Может быть, они сумеют объяснить иначе те трения, которые мы принимали за национальную вражду, и примирят нас с теми людьми, которые унижали и оскорбляли нас и желали нашей гибели, настаивая на возвращении нашем к большевикам, зная отлично, что половина из нас будет перебита. Они скажут нам, что это делает не весь сербский народ. И мы это отлично знаем, как знаем, что не весь русский народ стоит за большевиков.

Итак, это те русские беженцы, которые отлично устроились, живут хорошо и попали в милый, культурный кружок интеллигентных югославян. Они вращаются в обществе, чутко относящемся к испытаниям, ни-отосланным русским людям. Они близки к правительственным сферам и военным кругам, где еще не забыта роль России в войне. Они живут в больших центрах, бывают в театрах, на концертах, на балах и не видят улицы и закоулки, где нищенствует и бьется в борьбе за существование русский беженец.

Мы сами попали первоначально в среду необыкновенно милых, культурных и порядочных людей. Это было в Костайнице, на границе России, где мы отдыхали среди этих симпатичных сербов и хорватов. Мы чувствовали себя именно как у родственного нам славянского народа и навсегда сохраним о них светлое воспоминание. Нам были тогда непонятны доходившие до нас слухи о неприятностях, которые переживали тогда русские беженцы в Загребе, и мы объясняли себе это больше -вистскими выпадами. К нам так хорошо относились в Костайнице, что мы даже не обратили внимания и не внесли в свои записки, что и там мы встретили большевиков, которые однажды в ресторане громко отпускали по нашему адресу глупые замечания и угрожали нам. Только потом мы отдали себе ясный отчет, что то было начало испытаний в нашей беженской жизни.

* * *

23 октября 1923 года исполнилось ровно четыре года с тех пор, как я ушел с добровольцами из Чернигова. Наступил пятый

год моим испытаниям. Время идет быстро. Идут года. Мне перевалило уже за 50 лет. Усы и борода мои стали совсем седые. Поседел и мой брат Ник. Вас. Хотелось бы дожить до лучших времен и вернуться домой, увидеть своих и закончить жизнь на Родине. Я не чувствую еще своих лет и мог бы еще поработать и послужить Родине. Конечно, при первом призыве русских людей к делу я буду там, где буду нужен. Физически я чувствую себя бодро и всегда готов взять винтовку в руки.

Убивает лишь тяжелая моральная сторона жизни - повсюду мрачно, безнадежно и нет признаков возрождения. Бывают дни, недели и целые месяцы, когда мрак этот сгущается, и даже со стороны больно смотреть на эту тяжелую обстановку жизни русских людей. Ноябрь и декабрь - это были чуть не самые мрачные дни в госпитале. Каждый день приносил что-нибудь новое, неприятное, гнетущее, тревожное и безысходное. Как нарочно, все это группировалось в эти пасмурные дни глубокой осени и с болью отзывалось на душевном состоянии.

Прежде всего в эти пасмурные дни мы получили целый ряд печальных писем. Кира Петровна извещала нас о внезапной смерти инженера А. В. Силича, за которого она собиралась выйти замуж. Доктор Кильман спешно писал мне, что мой земляк доктор Любарский спился и находится в таком состоянии, что вряд ли протянет еще месяц. Со своей стороны Любарский вызывал меня к себе, говоря, что он совсем плох. Мы решили Любарского привезти в госпиталь, чтобы он умер возле нас.

В эти же дни из Загреба приехал лечиться студент Добасевич и сказал мне, что умер земляк мой М. Н. Малахов. Он скоропостижно скончался на каком-то вокзале, и родственники его, в частности дочь, m-me Савич, живущая в Загребе, узнали об этом только через месяц. О. Карпеко, институтка, отец которой умер от тифа при эвакуации, сообщила мне, что, по полученным ею из России сведениям умерла ее мать, так что она остается теперь круглой сиротой. Большим для меня горем была полученная через m-me Антонович-Горинскую весть из России о смерти моих ближайших черниговских друзей И. Г. Рашевского и Н. Н. Ясновской.

И все эти неприятности начались с первых же чисел ноября месяца. 1 ноября у хорват большой праздник «поминовения», когда с утра на кладбище приходит масса народу с цветами, венками, букетами и, зажигая свечи на могилах, поминает своих близких покойников. Это делается значительно торжественнее, чем в России, а в больших городах, говорят, это грандиозное зрелище. В это день сестра Л. А. Янковская с доктором Пономаревым и делопроизводителем Шарепо-Лапицком пошли

на кладбище посмотреть этот праздник и навестить наши русские могилы.

Сестра Янковская была душеприказчицей одного из покойников, который между прочим завещал ей поставить на его могиле небольшой памятник и вставить в него его фотографическую карточку. Сестра выполнила его волю. «Каково же было мое состояние, - рассказывала нам сестра Янковская, - когда я увидела на месте фотографии пустое место, а фотографию - лежащую разорванной на соседней русской могиле». Сестра страшно взволновалась и начала громко возмущаться, обращаясь с резкими выкриками к находящейся на кладбище толпе. Как вспыльчивый и несдержанный человек, Янковская вышла из себя и, горячась, подняла крик. Однако горячность сестры вызвала только насмешки мальчишек и улыбки взрослых. Но затем, когда сестра стала выкрикивать, что она опубликует это в газетах и называла окружающих дикарями, к ней подошел старик и сказал: «Не волнуйтесь. Это сделали мальчишки, которых мы накажем».

Конечно, об этом сейчас же узнал весь госпиталь, и возмущению не было конца. Никто не сомневался в том, что, как только мы уедем отсюда, русское кладбище будет снесено. И это особенно чувствовали те, кто сводил последние счеты с жизнью и отлично понимал, что их могила будет здесь, на чужбине. Тем более остро чувствовалось это, что в последние дни упорно циркулировали слухи о том, что Гербовецкий госпиталь будет скоро закрыт. Я сам думал об этом, и так страшно мне казалось отстать от своих русских даже покойником, и я не хотел бы оставлять свои кости на чужой земле, среди чуждого мне народа.

17 ноября мой брат был вызван в Белград, и никто не сомневался, что он вызван именно по этому поводу. Сербы отказываются дальше содержать русские учреждения и сокращают кредит. Макошинский госпиталь уже закрыт. Теперь на очереди Гербовецкий госпиталь. Панчевский госпиталь содержится больше на частные пожертвования.

Мы не ошиблись. Ник. Вас. привез печальные вести. Гербовецкий госпиталь расформировывается с 1 января. Больные будут постепенно переводиться в хорватские больницы, а служащие остаются за штатом. На ликвидацию дано 3 месяца. Итак, многие больные попадут в сумасшедшие дома. Туберкулезные, вероятно, умрут к тому времени. А кукольные больные - их и раньше никто не хотел принимать, ибо им нет места. Как громом поразила всех эта весть. Началась подготовка к ликвидации. Дни шли один тяжелее другого. И как нарочно, в глаза бросалось то, что, может быть, при другом настроении

прошло более незаметно.

Володя как-то подрался с маленькой аптечной сестрой П. А. Новиковой. Сестра играла в свое урочное время на пианино. Володя вошел в столовую и начал говорить глупости. Полина Александровна (Аля, как ее звали) выгнала его, но он вернулся и стал дерзить. Сестра крикнула на него, а Володя схватил табуретку и замахнулся на сестру. Полина Александровна подняла крик и со своей стороны швырнула табуреткой в Володю. Сбежались сестры и разняли дерущихся, но все же Володя успел разорвать у сестры ее рукав до плеча. Володя был посажен в ванную комнату, где продолжал буйствовать, а сестра лежала с головной болью у себя в сестринской и капризничала.

Теперь это кажется пустяком, а тогда как-то жаль было и Володю и сестру. Ведь сестра Новикова тоже калека. С 14 лет она, круглая сирота, пошла на войну и с тех пор не знает покоя. Не захотела она служить у большевиков и пошла в Добровольческую армию, с которой не расставалась до последнего дня. Я преклонялся перед этой геройской маленькой женщиной. Она производит впечатление 16-летней девочки, тогда как ей уже 26 лет. Урожденная Пахомова, Новикова только шесть месяцев была замужем, а с мужем жила только две недели. Ее муж - офицер, был убит на германском фронте.

Так шли дни за днями. Грустно, печально. Всех пугало неизвестное будущее и страшил вопрос: как устроиться, куда деваться и куда ехать. Все нервничали и капризничали. Впрочем, капризы - это было обычным явлением в госпитале. Некоторые из служащих, главным образом санитары, были в этом отношении невыносимы. Чем интеллигентнее был санитар, тем больше он капризничал. Для меня это было вполне понятно. Кучером при госпитале состоял мировой судья Н. И. Знаменский, человек, кончивший Харьковский университет. Поваром служил лицеист Московского лицея - муж покойной Л. В. Савицкой, экономом на положении санитара был заслуженный полковник И. М. Комаревский, два-три санитара были из офицеров, один санитар - студент-медик.

Естественно, что это положение низших служащих и черная работа раздражала их. Хуже всех в этом отношении держали себя Знаменский и Савицкий. Не было дня без скандала, и бедному Духонину приходилось разбираться в этих мелочах будничной жизни. Капризничали и сестры, и больше всех уважаемая Л. А. Янковская и П. А. Новикова, самые лучшие и исполнительные сестры. Обе эти симпатичные и хорошие женщины были иногда невыносимы, но с ними считались все и прощали все. П. А. Новикова всегда говорила мне, что она устала. Устала не только

служить, но и жить.

После революции и тех оскорблений, которые пришлось перенести от русского солдата, идейная сторона дела сошла на нет. Осталась только служба, как тяжелая работа за кусок хлеба. Поневоле иногда приходишь не только в раздражение, но и в ярость. Впрочем, жизнь брала свое. Все сестры были романтичны, и, кажется, не было ни одной сестры, у которой не было романов в течение их пребывания в госпитале. Одна, конечно, старушка А. Ф. Отрыганьева, которую так любили туберкулезные, была вне подозрений.

Выпадали иногда особо тяжелые дни. Их нельзя забыть. Это были декабрьские дни. Незадолго до Рождества Христова, после буйства ночью, институтка Валя отправлена в Стеньевауч (сумасшедший дом). Теперь буйствует другая молодая девушка, Попандопуло. И она теперь по случаю ликвидации госпиталя подлежит отправке туда же. Мне Валя была симпатична. Она так хорошо и доверчиво относилась ко мне, что я невольно покровительствовал ей. Не могу сказать, чтобы она любила музыку. Она вообще была малообразованна, но все же она часто приходила в столовую, когда я играл на рояле, и часами сидела возле меня. Она и Нина всегда были особенно хороши ко мне, и мне их было очень жаль.

Я наконец дождался Любарского. Он приехал в госпиталь вместе с известным адмиралом Пономаревым, который спас в 1911 году во время землетрясении в Мессине полторы тысячи итальянцев. Я был рад этой встрече. Любарский был действительно неузнаваем. Как глубокий старик (впрочем, ему около 70 лет), едва передвигая ногами, с красным носом, он пришел ко мне в столовую вместе с адмиралом, с которым он хотел во что бы то ни стало меня познакомить. Они подружились в дороге, сказал мне кучер (мировой судья Н. И. Знаменский). Они не пропустили ни одного кабачка и в каждом выпивали. Теперь они в дружбе и неразлучны. Адмирал тоже старик, но бодрый, с военной выправкою.

Оба они, эти два генерала, принадлежат к числу опустившихся донельзя русских людей. Это, можно сказать, уже бывшие люди. Они ежедневно приходили ко мне. Адмирал рассказывал очень много интересного, и его можно было слушать без конца. Он герой Цусимского боя, командир транспорта «Анадырь». Адмирал страшно бедствовал в Константинополе, но ему помогли итальянцы, которые собрали ему по подписке большие деньги (кажется, 250 тысяч динар). Адмирал, кажется, пропустил их и вновь находится в бедственном положении. Я хорошо помню этот день приезда Любарского.

Это был день приезда семьи полковника Духонина из Житомира (7 дек. по ст. ст.). С утра день начался особенно тяжело. Ни на минуту я не мог отвлечься от мысли, что в покойницкой восьмой день лежит в гробу Л. В. Савицкая. Ждут священника. Из каждого окна во двор госпиталя видно освещенное изнутри окно покойницкой, где у гроба горят свечи. Идя утром в столовую, я проходил мимо лежащей на полу в коридоре молодой 15-летней девушки, которая страдала падучей. Две санитарки несли мне навстречу носилки, чтобы отнести больную в палату. Сестра Отрыганьева, нагнувшись над больной, что-то делала. Я знал, что в операционной в это время Ник. Вас. делал серьезную операцию, вынимая по частям мертвого ребенка из чрева матери. Мне нужно было еще навестить сестру Янковскую, которая уже несколько дней лежит больная, и врачи боятся, чтобы у нее не было воспаления легких.

За обедом в столовой почему-то почти никого не было. Все были заняты. Полковник Духонин, с которым я всегда сидел за столом рядом, уехал встречать свою семью. Я уже знал имена его детей - Женя и Туся. Одной 12, другой 10 лет. Они вырвались из России и какими-то путями пробрались в Польшу, а оттуда едут сюда. После обеда я, по обыкновению, вышел во двор. Погода была отвратительная. Моросило. В покойницкую дверь была открыта, и там была видна фигура Николая Ксенофонтовича. Я подошел к нему, чтобы узнать, нет ли сведений, когда приедет священник. Сведений не было, и Савицкий уже терялся, спрашивая моего мнения, как поступить. Я считал необходимым исполнить волю Лидии Васильевны, которая определенно написала в своей предсмертной записке, чтобы ее ни в коем случае не хоронили без священника. Николай Ксенофонтович решил ждать, тем более что покойница лежала в гробу как живая, без признаков разложения...

Священник приехал лишь 11 декабря, так что покойница пролежала у нас 12 дней. Я проводил покойницу дальше всех, до Лобора, и возвращался домой один. Накрапывал маленький дождик, и было грязно. Как деревенский житель, я даже любил такую погоду, но в этот раз настроение у меня было подавленное, гадкое.

Вчера вечером m-me Духонина делала доклад о жизни в России. С захватывающим интересом мы слушали докладчицу, которая во всех подробностях ознакомила аудиторию с жизнью обывателя при советском режиме и исчерпывающе отвечала на все поставленные ей слушателями вопросы. Евгения Павловна подтвердила сложившееся у меня еще в России убеждение, что большевизм не может дать какую-нибудь постоянную форму

государственной жизни и есть явление временное, один из периодов революции. Я предложил Е. П. Духониной вопрос, произошел ли в русской жизни какой-нибудь сдвиг по сравнению с 1919 годом, который мы пережили в России при большевиках.

Ответ был вполне определенный. Свобода торговли смягчила в значительной степени голод, но во всех прочих отношениях люди переживают то же самое, что испытали те, кто был в России в 1919 году. Правда, прекратились почти самочинные солдатские обыски и грабежи по квартирам, но реквизиции остались по-прежнему. Выяснилось также господство евреев, что не так бросалось в глаза в 1919 году. Жить так, как сейчас живет Россия, нельзя. Несомненно, должен быть какой-нибудь конец этому кровавому режиму. На меня это сообщение г. Духониной произвело сильное впечатление и даже изменило несколько мое настроение.

Под влиянием окружающего меня пессимизма и европейской политики я готов был признать Россию погибшею окончательно. Теперь я опять верю в возрождение России и не исключаю возможности возвращения на Родину. Но убивает этот мрак беженской жизни. Не личная жизнь удручает меня. Я готов терпеливо ждать развязки. Я шел на это, да и время сделало свое дело. Я чувствую уже не так остро утрату всего, что составляло смысл моей жизни, но мне больно смотреть на то, что творится на свете. Мое сердце сжимается каждый раз, когда я берусь за газету и я вижу, что катастрофа для нас еще не закончена. Она продолжается и находится в стадии вымирания и гибели русских людей, получивших приют, как это называется теперь, на территории дружественных нам государств на Балканах.

Я вижу вокруг себя только горе, отчаяние, муки и полную безнадежность. Я вспоминаю то милое общество, которое летом казалось так хорошо настроенным и беспечно проводившим время в парке. Теперь отовсюду получаются сведения: тот умер, тот голодает, тот кончил жизнь самоубийством, тот никак не может устроиться и т.д. Теперь и нам с братом предстоит перемена жизни, и бог знает как придется устроиться... Я долго еще сидел на мостике, прежде чем вернуться домой. Спешить было некуда. Ко мне подошел проходивший хорват и попросил милостыню. Я дал ему динар и подумал: а нам они скоро откажут в помощи, а может быть, и выгонят нас отсюда.

Вечером в госпитале был очередной музыкальный вечер-концерт, как эти вечера называли в госпитале. Ник. Вас. играл отвратительно, и у меня не было никакого настроения, и это был, кажется, первый вечер, что мы не могли дотянуть до конца. Впрочем, Ник. Вас. нездоровилось.

На следующий день он слег. Доктора констатировали у него воспаление легких. Начались томительные дни ожидания кризиса.

Как раз в это время в госпитале проживал уполномоченный Красного Креста Евреинов с супругою, приехавший лечиться у моего брата. Тревога была большая. Евреинов передал управление госпиталем доктору Позднякову и делал распоряжения на случай смерти Ник. Вас. Лечил брата П. И. Пономарев. Незадолго перед этим мне стало ясно, что в жизни брата произошла перемена. Еще с весны Ник. Вас. гулял постоянно со своей пациенткой Н. П. Лагус, и когда она, закончив лечение, наняла себе комнату на хуторах, Н. В. постоянно бывал у нее. И Надежда Петровна часто заходила к нам. Брат решил жениться, несмотря на то что у Н. П. был мальчик Валя, которому не было еще двух лет. Н. П. имела мужа, но разошлась с ним еще до этого. Теперь Н. П. ухаживала за больным братом, и я как бы остался в стороне.

К моему благополучию, как раз в это время приехала лечиться у Ник. Вас. А. А. Окулич. Александра Андреевна пришла в ужас от тех нервнобольных, в палату которых ее поместили, и Н. В. предложил ей проводить время у нас. M-me Окулич оказалась очень симпатичной, и я был рад, что первые дни болезни брата я был не один. Александра Андреевна проводила все дни у нас. Мы вместе обедали, ужинали, пили кофе и коротали время в смежной комнате. Я очень сожалел, когда за Ал. Андр. приехал муж и увез ее, не дождавшись кризиса болезни брата.

К Рождеству брат начал поправляться. Опасность миновала, но еще долго Ник. Вас. был нездоров. Тяжкая болезнь его в связи с предстоящей в скором времени ликвидацией госпиталя послужили резким переломом в жизни госпиталя. Евреинов уехал, предложив А. Н. Позднякову место врача в Панчевском госпитале. После праздников Поздняковы должны были уехать. Доктор Пономарев тоже уже получил предложение принять место врача при Харьковском институте.

С первого января штат служащих, как равно и число больных, уменьшается на одну треть. Приток больных прекратился. Прекратились и наши литературные и музыкальные вечера. В коридорах появились громадные деревянные ящики. Началась упаковка имущества. В госпитале стало мрачно. Изменилось настроение и у нас в квартире. Брат был еще слаб и ходил в шубе. Выходивши брата, Н. П. Лагус с мальчиком осталась жить у нас.

<.. .>

* * *

Я видел одинаково стойкость и героизм русских людей как там, в России, при большевиках, так и здесь, в беженстве и предшествующем ему периоду борьбы с большевиками. И я даже думаю, что разложение в беженской массе пошло дальше, чем в России, где люди страдают морально значительнее, чем мы. Я видел, с каким любопытством публика шла посмотреть на m-me Духонину, пробывшую при большевиках в Советской России более 4 лет. На нее смотрели как на прибывшую из другого мира, с другой психологией, с другими представлениями и понятиями, а на детей смотрели как на зверьков.

Я не верил этому и недоверчиво отнесся к словам жены доктора Позднякова, Зинаиды Николаевны, которая после визита Е. П. Духониной говорила мне: «Вы знаете, у нее на лице запечатлелся весь ужас пережитого. Она совсем другая, не такая, как мы, а дети. сейчас видно, что они из большевистской России». Я подошел иначе к Е. П. Духониной, и скоро мы стали большими друзьями. Необыкновенною симпатиею к Евгении Павловне прониклась и уважаемая З. Н. Позднякова, эта умная женщина, которая не раз потом упрекала себя в том, что могла внушить себе такой вздор.

Мы оба признали, что Евгения Павловна, несмотря на ее тяжкие переживания в советской России, сохранилась во всех отношениях лучше нас. Воспитанная, сохранившая душевную чистоту, непоколебленная в своих взглядах, отстаивающая культурные традиции интеллигентного человека, Евгения Павловна радовала нас тем, что по ней мы видели, что русская интеллигенция в советской России не уничтожена и, когда наступит время, она проявит себя, сбросив тяжелые цепи гнетущего большевизма.

А дети! После праздников они будут отправлены в институт (Белая Церковь), где их тетка Нат. Влад. Духонина состоит начальницей. Я предложил Е. П. подготовить их несколько к музыке и начал давать им уроки. Женя и Туся сделались моими любимицами. Я давно не видал таких прелестных детей. Это были мне знакомые дети, к которым я привык в России, и с ними я переносился на Родину.

Это были настоящие русские девочки, не носящие на себе и признаков большевистского разложения. Правда, они запоздали в своем развитии и не знали самых обыкновенных вещей, понятных детям их возраста, но дай Бог, чтобы все дети были такими. Вполне сознательно относясь к ужасам большевизма, девочки часто рассказывали мне о расстрелах, об арестах, об обысках, об уличных беспорядках, о вооруженных солдатах, которых боятся решительно все, и видно, что эти сильные впечатления нескоро

оставят девочек. Они видят только отрицательные стороны большевизма и ненавидят большевиков. Другого влияния большевизма они не восприняли.

С таким же ужасом говорили они о переходе польской границы - с ночевками в лесу, в болотах и в куче сухого листа. В Польше (Ровно) они сидели с мамой в тюрьме как арестанты, но это было уже не так страшно. Только было неприятно спать на грязном полу. Теперь дети ненавидят и поляков...

Центр тяжести моей жизни перешел с третьего этажа госпиталя в первый, ближе к воротам, где была комната заведующего хозяйством полковника Духонина. Здесь, у Духониных, я проводил все свободное время, отдыхая душою и получая глубокое удовлетворение в общении с этой семьею. Я был бесконечно рад, что новый 1924 год я встретил, сидя за общим столом рядом с Женей и Тусей Духониными.

* * *

1924 год начался как-то необыкновенно быстро. Все торопились отпраздновать Рождество и Новый год, чтобы начать укладываться. Многие уезжали в первых числах января. Уехали в институт и мои новые друзья

Женя и Туся Духонины. Николай Вас. торопил с упаковкой. Часть служащих с 1 января были уволены. Выписывались и больные. Чувствовалась какая-то спешность. Проводы устраивались чуть не ежедневно. В первую очередь уехали Поздняковы. Мне было очень жаль, что я раньше не познакомился ближе с З. Н. Поздняковой, оказавшейся очень милым и интересным человеком. Она, между прочим, попала с мужем при эвакуации Крыма в Алжир и рассказывала в последние дни очень много интересного о жизни русских беженцев в Африке. Зинаида Николаевна, уезжая, подружилась с Е. П. Духониной и взяла с меня слово, что я не буду чуждаться ее общества, но это было излишним, так как я и без того очень ценил эту прибывшую из России русскую женщину.

Я проводил каждый вечер у Духониных и приходил к ним с какой-нибудь работой. Евгения Павловна тоже рукодельничала или читала нам вслух. И мы назвали наши вечера - рабочими вечерами. Ежедневно у них бывала также сестра П. А. Новикова и очень часто - сестра Янковская. Евгения Павловна читала постоянно нам газету, и мы делились своими впечатлениями. M-me Духонина была компетентнее нас. Она недавно приехала из России и должна иметь суждения о статьях «Нового времени» более правильные, чем мы. И мы всегда интересовались ее мнением. Евгении Павловне нравилось «Новое время», и она утверждала, что эта газета дает вполне правильное освещение

жизни в советской России.

Наш жизненный опыт подсказал нам, что смерть Ленина не окажет влияния на ход событий, ибо мы знали, что он уже давно живой труп, и мы не ошиблись. Это было общее мнение. Мы сходились и в том, что всей душой ненавидели наших бывших союзников, и Ев. Павловна утверждала, что такая же ненависть царит среди интеллигенции в Советской России.

Госпиталь уже мало интересовал нас. Имея впереди еще три месяца, я по-прежнему играл на пианино и радовался, что Н.В. опять взялся за виолончель. Мы часто играли с ним, но это были уже не те вечера, как раньше. Больных было мало. Уютности не было. Иногда на полу в коридоре лежала солома, оставшаяся от дневной упаковки. Очень скоро в столовой сняли икону с киотом и зеркало, которые были отправлены в Панчевский госпиталь. Сняли также со стены и портреты учредительниц Гербовецкой общины. Одним словом, госпиталь начал принимать вид разоренного гнезда, и в нем становилось пасмурно. В особенности стало пусто, когда уехал доктор Пономарев.

Январь прошел незаметно. В феврале ликвидировалась вторая треть госпиталя, и госпиталь опустел до неузнаваемости. Верхний коридор был окончательно закрыт, и мы перебрались вниз - в операционную и перевязочную. Пустовало много палат и в нашем коридоре. Замок становился мрачным и нелюдимым. Санитары неохотно дежурили в пустынных коридорах и уверяли, что по ночам в пустых палатах слышатся какие-то неопределенные звуки. Более половины замка перестали отапливать и освещать. Я все же продолжал по вечерам играть на рояле, но и мне иногда становилось жутко.

Решетчатые окна, тяжелые своды, как в тюрьме, производили теперь мрачное впечатление. В особенности становилось жутко, когда начинали кричать совы. Это чувство одиночества вечером в пустынной части замка, окнами выходящей в темную часть векового парка, вызывало тоскливое настроение и постоянное ожидание чего-то неопределенного. Но больше всего меня пугали собственные шаги. Каждый шаг на каменных плитах в коридорах отдавался во всех закоулках сводчатого коридора, и это эхо казалось мне шагами многих людей. Всегда, когда я возвращался из столовой с горящей лампой в руках, мне казалось, что всюду, во всех пустых палатах, стоит шум, говор и какая-то толкотня.

Конечно, в такой обстановке вспоминались легенды, и стало играть воображение. Здесь, в этом замке, еще не так давно переживалась большая историческая драма. Дочь покойного австрийского императора Мария Луиза, бежавшая с лейтенантом Мишичем, скрывалась в этом замке, когда он принадлежал еще

Кегливичам, и местные жители утверждают, что она жила инкогнито в этой угловой комнате, которая ныне занята столовой. И это не легенда, так как говорила нам об этом придворная дама австрийского двора графиня Шавгоч, лечившаяся у моего брата и приезжавшая в госпиталь на консультацию к брату.

Есть на хуторах глубокий старик, который знает всю историю этого замка и помнит отлично, как кто-то из суровых владельцев этого замка запарывал насмерть непокорных крестьян. Он указывал даже подвал, где томились заключенные, и кольцо, к которому подвешивали наказуемого. Это вспоминалось теперь, и этого погреба боялись, как равно обходили и нашу покойницкую. Санитарка Феня уверяла, что она видит по ночам какие-то тени, а однажды увидела в коридоре покойницу Клавдию Семеновну с приподнятыми руками. Кто-то пустил слух, что каждый день в 12 часов ночи вокруг замка слышатся шаги и побрякивание связкою ключей, как будто кто-то обходит в это время замок и гремит ключами.

И действительно, Евгения Павловна очень часто слышит у себя под окном этот звук и боится по вечерам выйти в коридор. Даже днем некоторым было страшно, и это настроение вызывала больше всего сова, которая целыми днями как застывшая сидела на крыше в прозоре трубы в том месте, где была надпись: 1772 год. Труба эта возвышалась на крыше как раз против ворот замка, и сова эта точно сторожила вход во двор. В этой сове, говорят, воплотилось все непонятное в этом замке. Она живет здесь уже 300 лет, видала и знает все, что происходило в этом замке. Это она сторожит ночью замок, превращаясь в тень прошлого.

После всего пережитого мы с братом стали бесстрашными и, кажется, не боялись ничего, кроме человека. Но в конце концов и я перестал ходить вечером в столовую. Это было после грозы. Окна в столовой были открыты. Молнии чередовались с сильными раскатами грома. Дождь лил как из ведра. Порывами ветра колебало пламя в моей лампе. Несколько раз ветром переворачивались страницы моих нот. Я перестал играть и хотел затворить окна. Но в этот момент порывом ветра потушило мою лампу. Я не мог зажечь лампы, так как стекло было слишком горячее, чтобы снять его руками. И я поторопился уйти из столовой. В коридоре было темно, и мне стало жутко. Я шел в этой темноте быстрыми шагами, и мне казалось, что в госпитале стоит шум от массы народу, которого в действительности нет. Яркие молнии освещали беспрерывно весь двор, и я отчетливо видел через окна коридора покойницкую, где недавно лежала Лидия Васильевна Савицкая. Это было около 11 часов вечера. С

тех пор я по вечерам уже на рояле не играл.

Евгения Павловна Духонина была по сравнению с нами свежим человеком, с энергией, с инициативой, умевшей создать вокруг себя уют и дать окружающим духовную пищу. Она читала отлично и не менее интересно поддерживала разговор. Но больше всего мне нравилось в ней, что она всегда придумает что-нибудь такое, что действительно заинтересует всех. Я был ее исполнителем. Прежде всего Евгения Павловна подала мысль сделать колоду карт. Опыт удался отлично. Мы сделали шесть игр карт. И мы потом играли в карты и раскладывали пасианс. Мы клеили по вечерам разные коробочки, а я дошел до такого совершенства, что делал отлично папки, бювары и портфели. Мы работали, а Евгения Павловна читала нам.

Но самое интересное было то, что под руководством Евгении Павловны мы сделали игру - лото «Тише едешь - дальше будешь». Это было как нельзя кстати при нашей замирающей в госпитале жизни. Дела было мало. Началось томление без работы. И вот мой брат с Надеждой Петровной до такой степени увлеклись этой игрою, что готовы были играть с утра до вечера. Впрочем, и Евгению Павловну нельзя было оторвать от этой игры. Тем не менее наши рабочие вечера у Ев. Павловны продолжались.

На Пасху ждали детей. И вот мы готовили для них разные сюрпризы. Мы клеили каждый день и приготовили им модель церкви. Последним транспортом 1 апреля было отправлено из госпиталя пианино, и я последний раз утром играл на нем. Мне было грустно расставаться с этим моим ближайшим другом, с которым я провел более чем полтора года. На тех же днях уехал последний больной, и с ним сестры милосердия Янковская и Новикова. В госпитале остались только две семьи - Краинские и Духонины и полковник Шарепо-Лапицкий, который уехал тотчас после праздников. При госпитале остались только один санитар Гу райский и санитарша Таня с девочкой, которую Ник. Вас. решил взять с собою в качестве прислуги на новое место служения.

Мой брат уже получил назначение общинного врача в с. Кашино, находящееся в 40 километрах от Лобора, и в конце мая должен был выехать к месту нового служения. Полковник Духонин оставался до конца ликвидации, и потому Ев. Павл. мечтала провести лето в Лоборе и взять к себе из института детей. Теперь их ждали на Пасху. Замок опустел окончательно, и мы жили в нем как дачники.

В эти дни я был последний раз с Духониными на кладбище. Сергей Николаевич ликвидировал оставшиеся на его руках суммы на приведение в надлежащий порядок могил и предложил нам

ехать с ним. Госпитальные лошади после поездки Ник. Вас. в Кашино будут проданы, и мы решили воспользоваться предложением Серг. Ник., так как вряд ли мы потом собрались бы пойти пешком на кладбище.

Г рустно было оставлять это кладбище русских людей. У каждого, вероятно, остались в России родные, которые еще не знают о судьбе их и с надеждой ждут их возвращения. Далеко от Родины нашли себе вечный покой эти люди. И мы вспоминаем свои думы на пароходе «Ялта», когда эвакуировались из Крыма в 1920 году: «Нескоро и немногие, может быть, вернутся домой». Теперь мы видим своими глазами, как оправдалась наша мысль. Ведь в каждой колонии есть свое кладбище, а сколько их...

Я решил приобщить к своим запискам список погребенных на этом кладбище, - может быть, он пригодится, если мы вернемся на Родину.

Список похороненных на католическом кладбище в г. Лоборе (Хорватия)

Антон Алексеевич Барановский, врач, умер 15 ноября 1921 г.; Даниил Федорович Коликов - 2 декабря 1921 г.; Дмитрий Николаевич Иове-тич, кадет - 14 декабря 1921 г.; Юлия Сергеевна Тимофеева - 24 февраля

1922 г.; Евгений Яковлевич Шмотков - 31 июня 1922 г.; Иван Федорович Носенко - 5 декабря 1922 г.; Владимир Михайлович Фирсов - 19 января

1923 г.; Евгения Степановна Уманец - 14 ноября 1922 г.; Василий Иванович Коссов - 18 июля 1922 г.; Михаил Константинович Левицкий - 28 июля 1922 г.; Татьяна Федоровна Стрекозова - 17 сентября 1922 г.; Павел Александрович Пашков-Облесимов - 29 сентября 1922 г.; Алексей Никитич Игнатьев - 25 марта 1923 г.; Иосиф Яковлевич Скрипницкий-Скрипченко, поручик - 24 мая 1922 г.; Георгий Александрович Рюмин - 11 июля 1922 г.; Иван Иванович Биязи - 29 мая 1923 г.; Георгий Жибер - 9 декабря 1922 г.;

Михаил Васильевич Максимович-Васильковский - 24 апреля 1923 г.; В. А. Тарасов - 4 мая 1923 г., Тимофей Степанович Боровой - 11 апреля 1923 г.; Александр Маркович Горьковой - 31 марта 1923 г.; Петр Николаевич Малюга - 14 июня 1923 г.; Анатолий Мечиславович Ходасевич - 10 июля 1923 г.; Николай Тихонович Клопов - 10 сентября 1922 г.; Валерия Сергеевна Стерлигова - 7 апреля 1923 г.; Андрей Михайлович Юркин - 7 апреля 1923 г.; Яков Тимофеевич Москаленко - 26 мая 1923 г.; Михаил Никитич Колесников - 3 июля 1923 г.; Яков Иванович Потапов - 12 августа 1923 г.; Прокофий Ефемович Четвериков - 28 августа 1923 г.; Леонтий Николаевич Капустин - 3 ноября 1923 г.;

Александр Павлович Лимберг - 21 июля 1923 г.; Евгений Александрович Шмидт - 16 июля 1923 г.; Георгий Евти-хиевич Лобков - 7 июня 1923 г.; Николай Дмитриевич Дикий - 22 июля 1923 г.; Николай Нарцисович Чепурковский - 23 сентября 1923 г.; Виктор Павлович Плужников - 8 октября 1923 г.; Ефим Евстафиевич Охримен-ко - 10 октября 1923 г.; Лидия Васильевна Савицкая -30 ноября 1923 г.; Константин Захарьевич Петров-Джелалиев - 20 декабря 1923 г.; Владимир Валерианович Ролич -20 декабря 1923 г.; Константин Михайлович Любимов - 26 декабря 1923 г.; Василий Ефимович Осташков - 9 ноября 1923 г.; Елена Андреевна Резникова - 9 ноября 1923 г.; Николай Николаевич Степанов - 22 ноября 1923 г.; Вера Куликова - 23 ноября 1923 г.; Петр Семенович Адамовский - 22 января 1924 г.; Зинаида Петровна Голицин-ская - 10 января 1924 г.

* * *

Приезд детей оживил нашу жизнь. Женя и Туся, а с нашей стороны Валя вносили в общий колорит жизни ту атмосферу, которая называется семейною жизнью. Весь вопрос был в том, как встретить праздник Христова Воскресения. И вот Евгения Павловна решила устроить розговен у себя. Было грустно. Ничего не напоминало праздник. Мы были отрезаны от всего мира и знали только по газетам о текущих событиях. Мне всегда было как-то особенно жутко отставать от русских, и я с ужасом думал о предстоящей жизни в селе среди чужого народа, где нет ни одного русского.

В ужасе перед предстоящей неизвестностью была и Духонина. Евгения Павловна часто говорила мне, что не знает, где лучше - там, в советской России, где жилось под гнетом кровавой власти в атмосфере полной разрухи, или здесь, в состоянии полной беспомощности. Несмотря на очень тяжелые условия жизни в России, говорила Евгения Павловна, такой беспомощности она никогда не испытывала. Как бы тяжело там ни приходилось, но всегда там можно найти выход из положения. Там не оставят свои. Там всегда выручат из беды, дадут место, работу или просто поддержат. Здесь можно очутиться в безвыходном положении, и люди останутся безучастными. Там все свои. Здесь же все чужое и, самое главное, чужой язык. Правда, здесь чувствуется душевный покой. И знаешь, что к тебе в комнату никто не ворвется, не арестует, не расстреляют и не поведут в Чека, но во всех прочих отношениях здесь гораздо хуже. Евгения Павловна временами раскаивалась, что приехала.

Как бы там ни было, Пасху мы провели вместе. Евгения Павловна отлично устроила пасхальный стол. Целый день мы с детьми собирали фиалки и светло-желтые примулы, которыми

был убран стол и вся комната Духониных. На кухне пеклись куличи, пасха, а накануне мы все за общим столом красили яйца. Дети, конечно, суетились и вымазали в краске не только свои платья, но у Туси оказался даже лиловый нос. Евгения Павловна и Надежда Петровна, как равно и дети, были в белых платьях, нарядные, интересные. Мы также приоделись, и в этом чувствовалась некоторая торжественность. Мы хотели пригласить к столу санитарку Таню и Рыбалку-Гурайского, но они решили кое-кого пригласить и устроиться самостоятельно.

Настроение у всех все-таки было скверное. Гурайский не мог примириться с тем, что мы не услышим заутрени, и потому решил ровно в 12 часов ночи идти на колокольню костела и под трезвон в колокол пропеть «Христос воскресе». Мы не верили, что он окажется таким храбрым, так как в эту часть замка боялись ходить даже днем. Но он оказался храбрее, чем мы думали, и ровно в 12 часов, когда мы уже сидели за столом у Духониных, начал звонить колокол и раздалось громкое пение Гурайского. Мы тотчас вышли во двор. Было темно и моросил дождик. На колокольне стоял Гурайский, освещенный светом лампы, которую держала в руках Таня, и пел своим звучным голосом «Христос воскресе». В руках у него была веревка, которой он трезвонил в костельный колокол.

Картина была необычайная, но мы невольно начали креститься и стояли чинно, как в церкви. Три раза Гурайский пропел «Христос воскресе» и затем крикнул нам сверху: «Христос воскресе», и мы ответили: «Воистину воскресе». Мы были точно у заутрени, и я видел, как Евгения Павловна вошла в комнату, вытирая платком слезы. Не скрою, что и я был взволнован, и вспомнилась мне заутреня дома и как, бывало, мы все вместе стояли в это время в церкви.

Ужин начался более оживленно, и как будто все повеселели. На душе стало еще лучше, когда за второй рюмкой ракии мы услышали издали приближающееся пение «Христос воскресе». То Гурайский с Таней, Ки-ричем и бывшей санитаркой - хорваткой Катицей надумали пройти по госпиталю с пением «Христос воскресе» и шли похристосоваться с нами. Мы вышли им навстречу. Таня, Гурайский и Катица держали в руках лампы, а Кирич был со своей. Это уже было совсем по-праздничному, и мы радовались инициативе Гурайского.

Хорошо и уютно, как всегда, было у Евгении Павловны. Стол утопал в цветах. Было много вкусного. У детей был свой стол с пасхой и крашеными яйцами на поддоннике с овсом. На столе их стояла сделанная нами церковь, внутри которой горела коптилка, освещая прорезанные в картоне окна и врата этого храма. Женя и

Туся, конечно, захотели спать, когда мы начали серьезные разговоры, и Ев. Павл. уложила их одетыми на кровать. Мы сидели почти до рассвета. Много пили и ели. Вспоминали Россию, наших близких, родных. Проклинали Ленина и наших союзников... и так незаметно провели пасхальную ночь.

Этот праздник для меня был удачным еще и в том отношении, что я получил из России письма от дочери и от Мани, которые поздравляли меня с праздниками. Правда, письмо Мани опять огорчило меня, но не за себя, а за нее. Маня сообщала (и Оля писала о том же), что по чьему-то доносу большевики реквизировали всю мою кабинетную мебель, стоявшую четыре года в квартире Мани, и вообще все мои вещи, которые так удачно удалось сохранить в течение четырех лет. Мне все это, конечно, теперь уже не нужно, но обидно, что Мане пришлось пережить очень много неприятностей, давая объяснения в Чека и других большевистских учреждениях. Я радовался этим письмам от близких людей, которые не забыли меня.

Мы много гуляли, но большую часть дня проводили за игрой в лото, а вечерами, когда дети ложились спать, мы играли с Евгенией Павловной в кабалу или раскладывали пасианс. Тяжело мне было расставаться с детьми, которых я искренне полюбил, и мне казалось, что я больше их никогда не увижу. Ведь наша беженская жизнь похожа на ссылку, где нет свободы передвижения. И, вероятно, так оно и будет. Уехали дети, пришла наша очередь укладываться и упаковывать вещи. Ник. Вас. купил из распродаваемого имущества госпиталя столы, скамьи, кровати и другой хозяйственный хлам, так как мы должны были ехать в Каши-но лошадьми и, следовательно, перевозка этих вещей не представляла затруднений.

Последние дни были теплые, хорошие, уютные, в течение которых мы не расставались с Духониными. Это был отдых и для Николая Васильевича и для меня, и я глубоко сожалел, что мне приходится расставаться с этим очаровательным человеком - Евгенией Павловной Духониной.

* * *

23 мая 1924 года в час ночи я выехал на подводе, запряженной парой лошадей и нагруженной вещами, в с. Кашино. Брат с семьей и прислугой Таней должны были выехать рано утром, чтобы нагнать меня и одновременно приехать в Кашино. Дорога до Златара была мне знакома. Далее шоссе шло на Марию-Бистрицу, старинное село, в центре которого на возвышенности стоит костел, окруженный старинной крепостной стеной с остроконечными башнями. Сюда стекается в июле месяце на богомолье народ, и я вспоминаю, что слышал часто

летом пение идущих через Лобор богомольцев, в котором упоминалась Мария-Бистрица. Целый месяц продолжается это паломничество в Марию-Бистрицу.

Мы подъезжали к Марии-Бистрице с рассветом, и меня поразила эта картина средневековья. Здесь я увидел опять чуть не в каждом дворе те типичные каменные восьмигранные колодцы времен Римской империи, которые мы видели возле Бакара, когда приехали в Югославию. Кстати, в Марии-Бистрице служил врачом русский беженец, доктор Егоров из Москвы. Доктор был у нас раза два в Лоборе, и там мы с ним познакомились.

Дорога от Марии-Бистрицы шла в горы, к перевалу, подъем на который тянется более чем на девять километров. Шоссе это построено австрийскими инженерами и представляет собой, говорят, верх искусства. Среди гор и скал, вьющаяся среди них как змея, дорога эта необычайно красива. Во многих местах шоссе прорезывается горными ручьями, через которые переброшены каменные мостики, а местами шоссе проложено в ущельях и крутых склонах гор, откуда открывается вид на лежащую в долинах местность. Подымаясь все выше в горы, покрытые лесом, шоссе тем не менее не представляет собой крутой подъем, а подымается извилистой дорогой по спирали. По пути встречаются красиво расположенные в долинах поселки и одиноко стоящие усадьбы.

От Марии-Бистрицы до с. Кашино считается 14 километров. На полпути мы достигли перевала, откуда с птичьего полета открывается вид на всю окрестность с окружающими ее горами, холмами и долинами, лежащими в котловинах этой гористой местности. Солнце стояло уже высоко, когда мы достигли перевала, и ярко освещало всю эту панораму. Но это было еще не самое высокое место. По соседству возвышалась громадная гора, вершина которой господствовала над всей местностью. Далее шоссе идет такой же извилистой дорогой, постепенно спускаясь в долину, которая, все расширяясь, тянется уже до самого Загреба. <. . .>

В самом центре села, возле почты, под горой, на которой стоит костел, расположен особняком домик, в котором Николай Васильевич нанял квартиру, когда приезжал первый раз в Кашино. Мы подъехали к этому дому почти одновременно. Квартира состояла из двух комнат с маленькой кухней. Для меня места не было, и мы тотчас наняли за 100 динар в месяц комнату на почте.

В тот же день я перебрался в эту комнату. Мне понравилось. Комната была чистенькая, уютная, в глубине запущенного двора. Под одним окном росла яблоня, а другое окно выходило в

чистый, поросший травой двор, граничащий с огородом. Из этого окна через огород были видны окна квартиры моего брата, и стоял перед глазами на склоне горы костел. Здесь, как в монастыре, в своей келии мне суждено коротать свою жизнь. Каждый час и даже четверти равномерно и монотонно отбиваются в колокол на костельных часах, и это вызывает во мне воспоминание о прочитанных в детстве немецких книжках с описанием средневековой жизни. И действительно это было так.

Вся жизнь села Кашино < ..> произвела на нас впечатление средневековой жизни. Видимо, и 300 лет тому назад жизнь здесь была такой же. Женщины носят широкие юбки, напоминающие кринолины, с перетянутой талией. Головные уборы у них несколько похожи на капюшоны. На ногах или повязки, туго стягивающие босые ноги, или гетры, причем ступня остается босой. Селяки ходят в пиджаках европейского образца и реже - в национальных костюмах. Село Кашино расположено в долине между отрогами гор. Все склоны гор покрыты бесконечными виноградниками, а в долинах поля сплошь засеяны кукурузой.

В каждом домике, покрытом черепицей, обязательно имеется погреб со сводчатым входом, и это придает необыкновенно мрачный характер селению. Костел, здание почты, школа, общинское управление и два-три дома под торговыми лавками - это лучшие здания с. Кашино. Вино в Кашино льется рекой. Это какой-то культ вина. Пьют с детства. Мы видели, как в один раз люди выпивали два литра вина. Хозяин моего брата, крестьянин Голенич, с женой выпивают каждый день после обеда 4 литра, а мой хозяин, кроме того, пьет утром не менее 10 рюмок ракии.

Наша несложная жизнь сразу вошла в колею. К брату в тот же день пришли больные, а я в первый же вечер писал уже письма. Мой хозяин, Антон Мушич, содержатель почты, он же учитель в отставке, живет в своем собственном доме. Когда-то он играл на органе и был немного музыкант. В его спальне (она же гостиная, столовая и кабинет) стояло старинное желтое фортепиано. Мне повезло. Мушич разрешил мне ежедневно играть на его фортепиано и сказал, что, когда на лето приедут из школы его две девочки-подростки, то он будет просить меня давать им уроки музыки. Они уже играют, но ему хочется, чтобы я их подогнал.

Я воспрял духом, тем более что после первого знакомства с учительницей местной школы она тоже высказала желание брать у меня уроки. У нее в школе стояло собственное фортепиано, тоже такое же старинное, как у Мушича. Я начал опять играть на рояле, и мое время было от 4 до 7 часов вечера. Скоро приехали девочки Злата и Надица, и через несколько дней я начал с ними заниматься, получая по 15 динар за урок.

Мы познакомились с местной интеллигенцией. После небольшой операции, которую брат сделал жупнику, он стал часто заходить к нам вместе с бележником (начальник полиции), и они увлеклись нашей игрой в лото («Тише едешь - дальше будешь»). Игра эта быстро распространилась в Кашино, и я вынужден был по очереди удовлетворять просьбы о том, чтобы я сделал им эту игру. Она называлась «русская игра». В первую очередь я сделал эту игру своим хозяевам Мушичам, которые стали нашими ближайшими знакомыми. Почти ежедневно вечером или они приходили с детьми к нам или мы к ним, и прежде всего там процветала игра.

Это было то, что объединило нас с местным обществом. Несколько позже мы познакомились с лавочником Ошвальдом и его семьей, с благайником (казначей), учительницами и даже с женой портного. Я начал зарабатывать. Мне удалось нарисовать акварелью из своего окна вид на костел. Рисунок понравился. Мне пришло в голову сделать несколько рисунков для продажи, и я заработал сразу более 200 динар.

День был у меня занят, и все, казалось, устраивалось отлично. Но однажды наша прислуга Таня, возвратившись из лавки, рассказывала нам, что на нее напали в этой лавке какие-то люди с упреком, говоря: «Зачем вы сюда приехали. Вы буржуи. Привыкли ничего не делать. Вот подождите, скоро мы вас, всех русских, перебьем». На следующий день Надежда Петровна, проходя улицу, принуждена была выслушать такой же упрек: «Вы нас били на войне, а теперь хотите, чтобы мы вас укрывали. Нет, подождите. Мы вам покажем», - говорил ей какой-то человек.

Мы не придали особого значения этому, но все-таки это действовало неприятно, тем более что подобные выступления повторялись все чаще и чаще. Впрочем, мы были не одни. В соседних участках были тоже русские врачи: в Сесветах - доктор Любарский, а в Марии-Бистрице -Егоров. Как раз в это время я заболел. Температура быстро повысилась до 40 градусов, и я слег. Я перенес один из видов тифа (паратиф, как называл его мой брат), и, странно, я заразился от больничного матраца, который мы приобрели в госпитале. Он был слишком широк, и я перешивал его, уколов себе несколько раз пальцы.

Я пролежал почти месяц. Несмотря на высокую температуру, я не терял сознания. Мысль моя работала ясно, и я даже чувствовал себя бодро. Я сам умывался и вставал, когда мне было нужно. Но ослабел я тогда, когда начала падать температура. Я не думал поправиться и был глубоко убежден, что я умру. Я был готов к этому, но удручала меня только одна мысль. На кладбище в с. Кашино нет ни одной русской могилы, и я решил просить

председателя загребской колонии, моего товарища детства полковника Н. Н. Стреха, чтобы меня похоронили за счет колонии или в Лоборе с русскими, или в Загребе. Но в этот день к вечеру температура несколько упала, и я видел по Николаю Васильевичу, что кризис миновал. Я поправлялся медленно, но опять начал свои уроки музыки и понемногу возобновил игру на рояле.

Мой брат уверяет меня, что ему здесь нравится и что в этом тихом уединении он будет иметь возможность продолжать свои научные работы. Мы с Надеждой Петровной рассуждали иначе. Она первое время говорила, что готова повеситься на первом суку, но потом обвыкла. А я... Я все думаю и думаю.

И кажется мне, что так мрачно еще не было никогда. Я ложусь спать поздно и работаю. Теперь я прочитываю свои записки, обрабатываю их и дополняю некоторые места, потому что хочу отправить их на сохране -ние в Польшу к Зине Александровне Чеповской. Мне самому не верится, что все это было и что я действительно пережил тот кошмар, который описан в моих записках. Я был там, где гибли не тысячами, а десятки тысяч людей, и я остался в числе немногих, кто спасся в этом аду. И мне думается, что все-таки тогда было лучше.

Там, среди лишений, была жизнь, а здесь чувствую себя заживо погребенным и не знаю, какие лишения тяжелее теперь - или те, что были тогда - голод, холод, жизнь в постоянной опасности, в грязи, на полу, на земле, на снегу, в камышах, в арестантских, наконец, в темных трюмах, перегруженных и зараженных кораблей. Там было тяжело. Усталость иногда бывала столь велика, что, казалось, нет больше сил терпеть эти лишения. Но жила душа, свободная, независимая, и чувствовалась жизнь. Была надежда, вера и упование на будущее. Мы были ближе к России и среди своих...

Теперь я живу без лишений, в чистой, уютной комнате. На столе стоят цветы. В окно чуть не падают яблоки. Тихо, спокойно. За ужином я выпил рюмку водки. Мы ели грибы в сметане и курицу под белым соусом, а потом мне захотелось выпить вина, и я выпил его. Перед ужином я ходил гулять и долго сидел в раздумье на мостике. И я знаю, что лягу спать на чистые простыни и надену чистую рубашку. Казалось бы, чего больше! Ведь было время, когда рубашка не менялась тридцать дней и больше.

Мне говорят, что нужно жить настоящим, стараясь отгонять тяжелые мысли о будущем. И я думаю: счастливы те, кто имеют это настоящее. У меня его нет. Тем не менее я живу и целый день занят. Утром до 12 часов я имею уроки музыки. После обеда до 3 1/2 часов я свободен и обыкновенно читаю, лежа на кровати. В

половине четвертого у меня опять урок, после которого я играю на рояле до 7 часов вечера. Я учу 14-ю сонату Бетховена, и в этом весь интерес моей жизни. Перед ужином я гуляю. Иду или по шоссе, или подымаюсь в горы. Оттуда я вижу Сесветы, где живет доктор Любарский, и виден вокзал железной дороги, идущей на Вену. Отсюда я часто вижу вдали, почти на горизонте, стелящийся от паровоза дым вечернего поезда, идущего на Вену. И мне думается: есть же люди, которые живут нормальной жизнью, куда-то идут, что-то делают, имеют свой угол, не разорены, не выгнаны из своего дома.

Мы получаем почту через день, и это вызывает во мне жуткое чувство оторванности от всего мира. Конечно, мы ждем с нетерпением газету «Новое время», которую я читаю по вечерам, весь уходя в нашу русскую жизнь. Ведь это единственное, что связывает нас не только с Россией, но и с русскими беженцами. Единственный русский, которого мы видим иногда, - это военнопленный Клюевский (Максим Александрович), служащий кучером у помещицы в 3 километрах от нас. Еще в 1915 году, будучи солдатом 79-го Куринского полка, он попал подо Львовом в плен и с тех пор безвыездно живет в этих местах.

Наше первое знакомство было оригинальное. Он пришел к нам, узнав, что сюда назначен русский врач. Оказалось, что Клюевский по-русски не говорит. Он забыл русский язык совершенно. Клюевский происходит из мещан станицы Славянской на Кубани и хлопочет теперь о выезде на Родину. Девять лет он тоскует по своим и говорит, что никак не может примириться с жизнью среди чужого народа. Все здесь для него чужое, противное, и он с тоской говорит, что эти 9 лет для него были тяжелой пыткой. Он жил только надеждой, что вот-вот что-нибудь переменится и он возвратится на Родину. Теперь он решил ехать даже в том случае, если бы ему угрожал расстрел. Мне трудно говорить с Клю-евским, так как я не вполне понимаю его. Но я вижу, что человек этот пережил тяжелое горе...

Опять надвигаются грозные события. В России голод, а здесь новые испытания для нас. Мы уже знаем по опыту, что европейская политика сейчас же отражается на положении русских за границей. Генуэзская конференция сопровождалась до сих пор невыясненным явлением массовых арестов и высылки русских беженцев решительно во всей Европе и вызвала погром русских в Болгарии. Теперь, после признания Англией большевиков и переворота во Франции, русское беженство готово встретить новые испытания в Югославии. Мы всегда этого ждали и говорили, что катастрофа для нас еще не закончена. Как во время Генуэзской конференции какой-то сербский адвокат

требовал в Скупщине изгнания русских из Сербии, так теперь вновь в Скупщине депутат Московлевич -серб, поднял вопрос о репатриации русских беженцев.

Уже ко дню десятилетия Европейской войны (20 июля) чувствовалась эта сгущенная атмосфера. Кредиты на содержание русских учреждений сокращались. Беженцы лишались пособия, которое получали раньше. И мы не сомневались, что скоро наступят события. И мы не ошиблись. С падением правительства Пашича (29 июля) и возвращением в Хорватию главы коммунистов Радича настроение повсюду резко изменилось. И мы чувствуем это на себе. Очевидно, невольно местная хорватская интеллигенция начала часто вспоминать 1920 год, когда в с. Кашино три дня господствовали большевики и шел повальный грабеж буржуазной части населения.

Это было в тоже время, когда и в Лоборе начался большевизм, но там это восстание было подавлено в тот же день. Нам рассказывали с трепетом об этих ужасных днях. Все представители власти были перебиты. Только одному раненому в голову удалось бежать в Загреб и сообщить о событиях, происходящих в с. Кашино. Пришли войска и прекратили восстание. И селяки теперь вспоминают эти дни и вновь говорят о необходимости уничтожить буржуев. Достается и по нашему адресу. Толпа рабочих, починяющих шоссе, проводила нашу Таню бранью, называя ее буржуйкой и угрожая в скором времени расправиться с нами. На следующий день в лавке опять к ней пристали полупьяные хорваты и говорили ей, что скоро всех русских будут убивать: «Из России убежали, а отсюда не уйдете».

Критический момент был для нас 21 августа. Возвращающиеся из Загреба с базара селяки были крайне возбуждены какими-то событиями, происходящими в Загребе. Потом мы узнали, что в Загребе были уличные бои хорватских соколов с югославянскими. До поздней ночи в селе шло пьянство и раздавались крики «живю республика».

На следующее утро по всему селу шел говор о том, что скоро будет республика. Козлом отпущения опять была Таня. Возвратившись с базара, Таня чуть не плача говорила нам, что опять ей угрожают и говорят, что скоро «мы всех вас перережем. От нас вы не уйдете». Струсил и буржуазный элемент с. Кашино. На почте господична Адель говорила мне: «Куда же нам бежать, если что-нибудь произойдет?» Мы с братом попали в ловушку. Мы живем в центре села, на виду у всех. Никого из русских здесь нет. Конечно, в первую очередь погибнем мы. Мы уже раз это испытали, но тогда был выход из положения. Мы были у себя дома. Теперь его нет. И мы должны встретить смерть как

неизбежное. Мой брат говорит, что все равно когда-нибудь нужно умирать. К спасению путей у нас нет. Пусть будет, что Бог даст...

Запахло кровью. Газеты разжигают страсти и призывают к гражданской войне. У нас кроме того идет вопрос об отделении Хорватии и установлении в ней республики. Но народ говорит о другом - об избиении буржуев и отобрании у богатых имущества и передачи его бедным. В этом он видит осуществление идеи республики. Нам чудится знакомая картина разъяренных лиц черни и убийства толпой ни в чем не повинных людей. Страшен этот зверь-человек, когда над ним нет власти, и жутко становится, когда подумаешь, к чему привела нас современная культура и западноевропейская цивилизация.

* * *

23 октября 1924 года исполнилось ровно пять лет с тех пор, как я ушел из Чернигова с добровольцами. Наступил шестой год нашей беженской жизни. Я привык отмечать этот день в своих записках, но в этом году не было охоты писать. Так пусто было на душе и таким безнадежным казалось все окружающее. Как никогда я сознаю теперь всю безнадежность нашего положения и почти теряю надежду. Я называл свою комнату келией, теперь я называю ее моим склепом, в особенности тогда, когда из нее пахнет холодом, пока я не затоплю печь.

Жутко мне, когда я думаю, что это конец нашей жизни, и так нужно сидеть и ждать своей очереди в процессе вымирания русской интеллигенции. Я не могу жаловаться ни на что и, вероятно, счастливей очень многих беженцев, если счастье заключается во внешних условиях жизни. Теперь запросы высшего порядка и духовная жизнь не в моде, а понятия о счастье условны.

Я занят последнее время мыслью о том, как бы сохранить свои записки, чтобы в случае моей смерти они попали в руки моей дочери. Пять лет скитальческой жизни - это срок немалый, и нужно думать о будущем уже не так, как это думалось раньше. Недавно у Надежды Петровны в России умерла мать. Она поплакала немного. Зажгла лампадку перед иконой, а на следующий день сказала мне: «А знаете, я чувствую, что отвыкла за эти пять лет от матери. Разве раньше я так пережила бы ее смерть?»

И вот я смотрю на то, что происходит вокруг нас, и прихожу в уныние. Жизнь не ждет, предъявляя свои требования. Поженились те, кто оставил дома в России своих жен и семейства. Успокоились те, кто бесконечно страдал первое время. Все чаще и чаще высказывается пессимистический взгляд на то, что жизнь наша уже закончена, что мы отсталые и совсем устарелые люди, а там, в России, они новые люди с новыми взглядами и, может

быть, мы друг друга не поняли бы, если бы вернулись на Родину.

Многие отлично устроились, открыли свои предприятия, получили хорошие места и живут лучше, чем жили в России. Некоторые разбогатели, купили себе дома, усадьбы и целые имения. В больших городах наряду с крайней нищетой, говорят, можно видеть русских людей, отлично и богато одетых, которые выкидывают на ужины и шампанское в ресторанах сотни и тысячи динар. Не без злорадства в позапрошлом году этих людей называли «беженским нэпом». За последние годы среди беженства выкристаллизовалась и беженская аристократия, отмежевавшаяся от рядового беженства. И в этом отношении особенной нелюбовью пользуются лица, стоящие во главе Державной комиссии, в руках которых находится власть и денежные средства, отпускаемые югославянским правительством на содержание и помощь беженцам, то есть судьба и даже жизнь многих беженцев.

Державную комиссию ненавидят и стараются по возможности обойтись без нее. К тому же это партийное учреждение, от которого зависит назначение служащих в русские учреждения и в ведении которого находятся открытые в Югославии русские учебные заведения. Туда бесполезно обращаться рядовому беженцу, а тем более людям с другой политической окраской и принадлежавших ранее к бюрократическому миру царской России. Э. А. Хвостова, жена бывшего черниговского губернатора, говорила нам, что она не могла получить место классной дамы в институте только потому, что она Хвостова. То же самое утверждала дочь известного в России сенатора Трегубова О. С. Громова, говорившая нам, что отцу ее Державная комиссия не оказала поддержки, и четыре года он бедствовал, пока сербы не устроили его на службу.

И это не единичные случаи. Бедствуют очень многие заслуженные, уважаемые и достойные люди, имеющие в прошлом большие заслуги перед Родиной, но они занимали в царской России высокое служебное положение и потому теперь игнорируются теми, кто выплыл на поверхность переродившейся русской жизни. Благоденствуют, конечно, те, кто больше всех виноват перед русским народом и позорно бежали, сдав без борьбы свои позиции большевикам. Мы разумеем членов Временного правительства и их сподвижников. Они обеспечены, отлично живут за границей, занимаясь по-прежнему интригами, и продолжают упорствовать, несмотря на явную очевидность их провала. О них не хотелось бы даже и слышать, но они упорно впиваются в душу беженской массы, давая о себе знать постоянными своими выступлениями.

В Белграде Державную комиссию, по словам В. А. Шольц, называют чрезвычайкой. Как образовалась Державная комиссия и как попали туда руководители ее, никто из рядового беженства не знает. В Державной комиссии сидят люди обеспеченные. Родину они не защищали, в армии не служили, с большевиками не дрались. Беженской жизни они не испытали. Эвакуации не пережили. Это не генерал Врангель, ушедший последним из Крыма. А держат они себя надменно, говорят свысока, руки рядовому беженцу не подают. Интересы беженства им чужды. Они получают хорошие оклады содержания и живут отлично. Так говорят решительно все. И в данном случае от себя лично мы не могли бы сказать ничего. Я не сталкивался с Державной комиссией и никого там не знаю.

Правда, еще до этих разговоров я инстинктивно чувствовал, что не для таких, как я, существует Державная комиссия, и мне было бы бесполезно обращаться в учреждение, во главе которого стоит человек, свергавший царя. Мне не хотелось записывать эти впечатления, но пришлось к слову, и к тому же об этом так часто приходится слышать, что, несомненно, это является мнением громадного большинства рядового беженства.

Помимо сего меня просто интересует, в какую форму впоследствии выльется это отношение к Державной комиссии, и как будет потом оценена деятельность тех лиц, против которых так настроены за рубежом русские люди. Меня интересует к тому же вопрос, кто такие эти люди, ставшие во главе беженства, и кто дал им власть над ними. Господина Челнокова, конечно, мы знали как революционера, но кто такие Плетнев, Орешков и другие, фамилии которых мы слышали, но не можем припомнить? В России мы их не знали и ответа не получили.

Помню, в первый же год нашего пребывания в Югославии много говорилось о том, что в Державной комиссии враждебно относятся не только к армии генерала Врангеля, но и вообще к военным, и как на абсурд указывалось, что эти люди должны заботиться о тех, кого не любят. Я тогда мало интересовался не только Державной комиссией, но и вообще зарубежными делами, но вопрос этот так упорно муссировался, что невольно приковывал к себе внимание.

Единственный человек, имя которого в другой окраске приходилось постоянно слышать при упоминании Державной комиссии, это С. Н. Палеолог - правительственный уполномоченный по делам беженцев, о котором также нет двух мнений. Это человек доброжелательный, честный, хороший, служащий русскому беженству и готовый прийти на помощь каждому. Но в Державной комиссии он не имеет веса, как человек

другого лагеря.

Конечно, речь идет только о лицах, стоящих во главе Державной ко -миссии и руководящих сферах, а не о тех, кто стоит там в канцеляриях и делопроизводствах. Мы лично видим только одно: Державная комиссия не только не сумела представить беженство в международном отношении, но даже оказалась неспособной отстаивать интересы беженцев в Югославии. Конечно, ничего объединяющего, а тем более представляющего беженство, Державная комиссия не имеет.

И в этом отношении совершенно правы беженцы, которые говорят, что представительства у русских беженцев нет. И в этом отношении гораздо счастливее военные, имеющие в лице генерала Врангеля и его штаба все - и представительство, и объединение, и защиту, и поддержку. Обиднее всего то, что, несомненно, среди людей, ушедших из России, есть люди вполне достойные, уважаемые, с громадными знаниями и опытом, которые могли бы стать во главе беженства, но случилось так, что выплыли на поверхность случайные и партийные люди. И вот в результате мы видим полную разобщенность людей в беженстве и бесконечную группировку людей, отмежевывающихся друг от друга.

Живут хорошо только те, кто выехал из России со своими организациями - земский союз, городской союз, Красный Крест... Одним словом, те, кто вывез из России капитал и имущество. Каждая группа действует самостоятельно, в своем кругу, не допуская вмешательство в свои дела беженства. Красный Крест открывает свои учреждения, земский союз -свои, Державная комиссия - свои, а бывает и так, как случилось с Гербо-вецким госпиталем. Красный Крест ликвидирует госпиталь, продавая за бесценок имущество госпиталя, а в это же время какое-то другое русское учреждение открывает такое же лечебное заведение, затрачивая громадные средства на обзаведение. Казалось бы, что проще - создать одну общую кассу, беженский фонд, и объединить все в одно целое - русское -беженское, уничтожив привилегии отдельных групп.

Но. всюду политика и борьба отдельных лиц и групп за власть. А между тем рядовое беженство, то есть те, кто претерпел больше всех, нищенствуют, бьются одиноко в непосильной борьбе за существование и остаются за бортом, издали наблюдая, как хорошо устроились те, кто своевременно бежал из России с капиталами, принадлежащими не им, а русскому народу. И это явление наблюдается не только в Югославии.

Мне пишут из Варшавы: «Здесь тоже колония разбилась на два лагеря - богатых и бедных. Я, конечно, в числе последних, и

хотя ко мне отношение многих чрезвычайно сердечное, но я сижу в своей скорлупе и бываю только у своих». И вот эта наша беженская аристократия представляет собой обособленный класс русских людей, по которому вовсе нельзя судить о жизни русского беженства.

Впрочем, сейчас этот вопрос вступил в новую фазу развития. Русское беженство не только Югославии, но и всей Европы, а может быть, даже и всех стран начинает объединяться вокруг Великого князя Николая Николаевича. В лице любимого русским народом человека русское беженство теперь имеет свое представительство и, естественно, для него все одинаковые, и это же чувствуется во всех проявлениях жизни. Державная комиссия постепенно ограничивает свою деятельность, сузив ее до степени небольшого круга «своих людей».

К сожалению, до нас доходят слухи о расколе в царской семье и несогласии Великого князя Кирилла Владимировича, объявившего себя русским царем, на возглавление Николаем Николаевичем освободительного русского движения. Но это не наше дело, и мы идем за нашим Верховным главнокомандующим безоговорочно, как говорят ныне, вручая свою судьбу этому популярному в России и среди беженства человеку. И мы начинаем чувствовать некоторую устойчивость в нашем положении и видим, как беженская бюрократическая аристократия теряет то значение, которое имело столь продолжительное время.

Эта новая фаза беженской жизни все больше и больше охватывает беженские массы и отодвигает партийность на второй план. Мы не зависим теперь от политических группировок и партийных групп, оспаривающих друг у друга первенство на господство и руководство зарубежной беженской жизнью в зависимости от симпатий и антипатий главарей разных политических и общественных партий. Это выравнивание беженских масс по одному общему руслу необыкновенно простой мысли освобождения России от большевизма, несомненно, является новым и притом мощным направлением в нашей беженской жизни и производит отличное впечатление.

Конечно, это не улучшило материального положения беженцев, громадное большинство которых продолжает бедствовать и влачить жалкое существование. И в этом отношении жизнь не щадит людей. Голодают *и* остаются без дела те, которые, казалось бы, могли по своим техническим познаниям и опыту отлично устроиться и приносить действительную пользу. Влачат жалкое существование люди заслуженные, умудренные опытом и безупречные в прежней своей жизни. Остаются за

бортом и те, кто имел большие заслуги перед Родиной. Мы уже не говорим о тех высокоинтеллигентных людях, которые, переживая острую нужду, идут служить на фабрики, в прислуги, кухарками и поступают в чернорабочие, чтобы не погибнуть с голоду. Мы знаем также многих из родовитой аристократии, предки которых играли видную роль в историческом строительстве великой России. Они не привлекают теперь внимания общества и наравне с чернорабочими работают черным трудом.

Нам часто приходится слышать и читать в газетах о жестокой несправедливости судьбы по отношению к людям, заслужившим иной оценки своего народа. На днях мы читали в газете, что заслуженный генерал Хабаров 67 лет скончался в лесу, где он рубил дрова. Почти в тот же день в газетах промелькнуло известие, что в невероятной нищете умерла в беженстве русская писательница Крыжановская, произведениями которой я, между прочим, увлекался, будучи гимназистом, и часто, бывало, мне доставалось за то, что я читал на уроках под партой. А сколько таких случаев проходит незамеченными, без огласки, без регистрации, без оповещений. Конечно, в общем потоке горя это небольшие эпизоды беженской жизни. Что значит теперь смерть?.. К ней привыкли русские люди. Время идет быстро и не дает возможности останавливаться на мелочах повседневной жизни.

Да и люди уже изменились. Те, кто еще не так давно были бодрыми и сильными и участвовали в борьбе с большевиками, теперь опустились физически и морально и просто постарели до такой степени, что уже вышли, как говорится, из строя. Вот, например, доктор Любарский, с которым я совершил 3-й Кубанский поход, уже живой труп, как выразился мой брат, встретивший его недавно в Сесветах. «Смотрю, - говорит он, - идет посреди улицы не то баба, не то странник, сгорбленный, придавленный, передвигаясь мелкими, старческими шагами, и при встрече со мной сказал: я совсем умираю». А ведь это заслуженный человек, бывший дивизионным врачем на германской войне и проведший добровольческую компанию. Мой брат предложил ему, чтобы он приезжал умирать к нам. Я жду Любарского и приготовил ему место в своей комнате, но беда в том, что он пьет и разучился говорить по-русски.

Время быстро идет, не щадя современников. Мой брат старше меня и настроен еще более пессимистически. И я беспокоюсь за него. Он уже давно кашляет, и я боюсь, чтобы не повторилась прошлогодняя история с воспалением легких, тем более что с наступлением морозов мы живем в холоде, не умея приспособиться к отоплению железных печек в комнатах. Я вижу, что и брата моего беспокоит его недомогание, и он торопится

оформить свой незаконный брак с Надеждой Петровной, чтобы не оставить ее в случае своей смерти в неопределенном положении.

Мы, правда, оба уверены, что большевизм в России на исходе. Для нас это ясно, несмотря на то, что Франция вслед за Англией признала большевиков и отвратительно братается с ними. Скоро большевиков признает и Малая Антанта, то есть второстепенные европейские государства. Но и этому мы не придаем значения. Эта отвратительная картина повального психоза и гниения западноевропейской цивилизации может вызывать лишь чувство презрения и гадливости к моральным ценностям народов, населяющих Западную Европу. Мы знаем и говорим всегда, что и этому будет конец и что рано или поздно этот процесс гниения европейской культуры закончится. И это уже чувствуется. Англия уже опомнилась. Макдональд уже сброшен с пьедестала, и его заменило правительство из людей прежней культуры. В Америке президентом вновь избран Кулидж, что несомненно убережет ее от заразы большевизмом. Конечно, отрезвление скоро наступит и во Франции. Но все это задерживает падение большевиков. И Бог знает, как долго будет продолжаться это безобразие.

Для нас и то хорошо, что совершенно неожиданно в Белграде недавно произошел правительственный кризис, который привел опять к власти прежнее правительство Пашича. Радич бежал из Югославии, и местные большевики остались без главаря. С переменой власти заметна и перемена настроения. Говорят то же самое, но шепотом. Радича обвиняют в том, что он не использовал настроение масс и, вместо того чтобы действовать, объявил борьбу парламентскую, чем парализовал революционный экстаз. С нами даже любезны, но мы все-таки не верим и готовы к новым испытаниям.

Наступили холодные осенние дни последних чисел ноября месяца. Для русских беженцев вообще и повсюду это тяжелое время. Нужно приспосабливаться к зимнему сезону и пережить зиму. У большинства, конечно, нет теплой одежды. Нет соответствующей обуви и, самое главное, нет средств, чтобы отопить свою «особу». Мы не приспособлены в этом отношении к местным условиям. Правда, климат здесь мягче, чем у нас, но, в сущности, зима та же. И нас удивляет, что здесь нет настоящих печей, а повсюду в комнатах, даже и в городах, стоят железные печурки или маленькие кафельные печи, в которых тепло держится, пока они топятся. К тому же квартиры и комнаты не имеют сеней и передних, а двери, в большинстве одностворчатые, выходят прямо во двор, как в сараях.

Эти резкие перемены температуры от жары к невозможному холоду в комнатах лишают возможности жить нормальной

комнатной жизнью. И вот это главная причина, вследствие которой мой брат никак не может отделаться от кашля. Все русские зимой кашляют. Это бич нашей беженской жизни. С наступлением осени первой у нас закашляла Верочка (дочь прислуги Тани) и скоро умерла от воспаления легких. Это первая русская могила на кашинском кладбище.

Бракосочетание моего брата с Надеждой Петровной было назначено на 24 ноября. Но, вернувшись 21-го числа из Загреба, Николай Васильевич слег и на следующий день сказал мне, что, по-видимому, у него начинается воспаление легких. Тем не менее он решил венчание не откладывать и ехать к назначенному дню в Загреб. Уговоры и возражения не принимались. Но случилось иначе. Температура быстро поднялась до 39 с лишним, и накануне ночью Николаю Васильевичу сделалось так плохо, что он послал за мной. «Идите скорее, - будила меня Таня, - ну же, скорее!» Я не решился спросить Таню, в чем дело, так я был уверен, что меня зовут к умирающему. После припадка удушья Николай Васильевич ослабел до такой степени, что уже не мог подняться с постели.

Наступал последний день перед Рождественским постом. Н. В. был очень удручен, не желая умереть с укором совести на душе. После небольшого совещания было решено, что живущая у нас пациентка брата О. М. Матковская поедет сейчас же в Загреб и отвезет П. М. Боярскому письмо, в котором Н. В., уведомляя Петра Михайловича о своем безнадежном положении, просит помочь ему устроить свои личные дела, в которые Боярский был уже посвящен ранее.

После тяжелой ночи утром О. М. Матковская вернулась из Загреба со священником, и у кровати умирающего, как выразился священник, состоялось венчание Николая Васильевича с Надеждой Петровной. Нас было немного возле постели брата. Вся русская колония в Кашине. Надежда Петровна со своим мальчиком, прислуга Таня, О. М. Матковская, священник и я. Николай Васильевич был так слаб, что не мог сидеть и лежал высоко на подушках, держа на животе дрожащими руками горящую свечку. Мертвенно бледное лицо его, отражавшее пламя свечи, казалось восковым, а глаза горели лихорадочным блеском высокой температуры организма. Возле него, на коврике у постели, в углу под иконой с ярко светящимся красным огоньком лампадкой, стояла заплаканная, одетая в черное платье Надежда Петровна.

Глубокий старик священник отец Кирилл Котляревский, оказавшийся нашим земляком, - беженец из Черниговской губернии (Кролевецкого уезда), громко служил своим зычным

голосом службу и отчетливо читал молитвы, но я не слушал этих молитв. Мне вспоминалось пророчество брата во время эвакуации Крыма: нескоро и немногие вернутся на Родину. Мы еще тогда решили не расставаться до конца катастрофы. И вот катастрофа для него наступила. Один из нас уже домой не вернется.

Страшно мне оставаться одному на чужбине среди народа, враждебно настроенного против русских беженцев. Нужно идти к своим русским туда, где я мог бы найти поддержку. Нужно также поддержать жену брата. Но как это сделать на чужбине, где так трудно бороться за существование... Впрочем, на первое время нам хватит прожить, ликвидируя имущество брата, а дальше будет видно, что делать. Плакала и Таня навзрыд, когда кончилось венчание, и я начал составлять под диктовку брата духовное завещание на имущество моего брата, находящееся в России.

Спокойно и с большим чувством самообладания брат отказался от врачебной помощи, говоря, что он будет лечить себя сам. Надежды у нас не было никакой. Однако простая случайность изменила всю обстановку и воскресила в нас надежду. Брата ждала в эти дни в Загребе его пациентка-хорватка графиня Шафгоч (бывшая придворная дама австрийского двора), которой Н. В. послал телеграмму о том, что он болен и потому приехать не может. Случайно в телеграмму вкралась ошибка, что вызвало обмен телеграммами, в которых мы ясно ответили, что Николай Васильевич при смерти.

Графиня забила тревогу и по своему почину прислала к нам одного из лучших хорватских врачей. Неожиданное появление автомобиля с врачом страшно смутило брата, но, по-видимому, он был этому рад, тем более что Н. В. был знаком с этим врачом. Консилиум двух врачей - здорового и больного - отверг первоначальное предположение и устанавливал скорее испанку или брюшной тиф. Доктор Борчич, так была фамилия врача, сказал мне, что хотя болезнь серьезная, но непосредственной опасности для жизни сейчас он не видит. Доктор просил давать ему каждый день сведения о состоянии болезни по телефону.

Таким образом, брат оказался под наблюдением врача. Но к ночи мы были опять встревожены. У Николая Васильевича на теле появилась сыпь, похожая на сыпнотифозную, о чем утром было дано знать по телефону доктору Борчичу. Уже к полудню у нас был доктор Борчич, прибывший на автомобиле Красного Креста с другим врачом, кстати отлично говорящим по-русски, и немедленно увез с собой брата для помещения в заразную больницу в Загребе, сказав мне, что завтра нам всем будут прививать тиф и сделают дезинфекцию. Нужно отдать

справедливость, что внимание со стороны доктора Борчича к Николаю Васильевичу было исключительным. С не меньшим вниманием и предупредительностью отнеслось к брату и местное население. Нет семьи (кроме жупника), которая бы не присылала ежедневно справляться о здоровье Н. В., и каждый приносил с собой что-нибудь съестное: творог, яйца, молоко, варенье, шоколад и т.д. Селяки, говорят, были тоже очень встревожены тяжкой болезнью брата и высказывали свои симпатии заболевшему доктору.

Я не думал, чтобы Николай Васильевич выскочил в этот раз благополучно из тяжелого положения, и потому бросился в Загреб искать тех путей, которые дали бы мне возможность в случае смерти брата найти заработок. Я приехал в Загреб в тот день, когда у брата благополучно миновал кризис, и мне сообщили, что это один из тех случаев, когда воспаление легких (а не тиф, как это ошибочно констатировали врачи) не вызвало паралича сердца, но он был уже помещен в заразную больницу, куда меня не пускали, а говорили со мной во дворе у дверей корпуса, где лежал брат. Во всяком случае, жизнь его была вне опасности, и это дало мне тот покой, который я использовал, чтобы повидать людей и пожить эти дни для себя.

Если бы я приехал днем раньше, я был теперь уже возле Белграда в роли пианиста в какой-то капелле. Меня ждали, но подвернулся какой-то ученик консерватории, серб, который не заставил себя ждать. По всем другим пунктам я провалился и вижу, что вряд ли мне удастся устроиться в Загребе. Но зато я возвратился в Кашино обновленным. Меня пригласил остановиться в общежитии студентов В. С. Подрешетников[30]. И вот я прожил у студентов пять дней. То, что я увидел и прочувствовал, было так хорошо, светло и радостно, что мое мрачное настроение исчезло окончательно.

Я старался отдать себе отчет в том, за что и почему меня встретили и приняли так приветливо, радушно, сердечно как родного, как своего, как близкого человека. За что я пользовался таким необыкновенным вниманием, любезностью и заботами? Я не говорю уже о тех, чьим гостеприимством я пользовался (студенты В. С. Подрешетников, А. В. Звягинцев[31], В. Я. Дульков, В. П. Москалев, В. А. Ковалев, князь Андроников и др.), но буквально все, с кем я встречался, проявили ко мне исключительное радушие. Не думаю, чтобы в этом отношении играло бы роль имя моего брата-професора. Нет! Я глубоко верю, что меня приняли только как русского человека, к тому же убеленного сединами. Ведь что я собою представляю - ни положения, ни средств, ни службы у меня нет. А между тем не

успел я подойти к кассе на танцевальный вечер в студенческом клубе, как распорядители подхватили меня под руки и, не позволив взять билета, посадили за стол и начали угощать, заявляя, что я их почетный гость.

Правда, меня уже немного знали. Накануне вечером, проводя время со своими знакомыми студентами в студенческом клубе, я по просьбе студентов играл им целый вечер на рояле. Редко, говорили они мне, им приходится слышать классическую музыку. Каждый день в клубе кто-нибудь играет вальсы, польки, разные фокстроты... И потому они просили сыграть Бетховена, Шопена, Чайковского.

Целый вечер я играл им то, что знал и что мог сыграть. В высокой степени удовлетворила меня аудитория не потому, что я хорошо играл или доставил удовольствие своей игрой, а потому что я почувствовал, что люди действительно не утратили потребности послушать что-нибудь серьезное, классическое. Ведь у большинства присутствующих дома в России кто-нибудь в семье играл на рояле, и редко кто из них не был знаком с серьезной музыкой. Многие подходили ко мне и просили сыграть ту или иную вещь, которую они не слышали еще с России.

Для меня это стало тем более ясно, что до открытия клуба, когда мы сидели за ужином в соседней комнате - столовой, переполненной студентами, в помещении клуба шла репетиция любительского оркестра, подготавливающего бесконечное множество фокстротов для игры в ресторанах. Эту музыку никто не слушал и, напротив, часто слышались отзывы об отвратительности этого рода животной музыки. Публика была та же самая, которая потом совершенно иначе слушала сонаты Бетховена.

На следующий день в этом же клубе был танцевальный вечер почти с той же публикой. Для меня это был первый вечер не только за время моего беженства, но со времени начала русской революции, если не с начала германской войны. Я встретил здесь много знакомых и с удовольствием провел время до часу ночи. Десять лет я не был в такой атмосфере и не видел того искреннего веселья, которое сказалось на этом вечере. И мне думалось: ведь это та самая молодежь, которую я видел при эвакуациях, при румынском отходе, при десанте на Кубань и на Гражданской войне в Добровольческой армии. Прошло десять лет беспрерывной войны, а колорит вечера ничем не отличался от обыкновенного студенческого вечера былого времени. Единственное, что было для меня ново, - это новый отвратительный танец «шими», который, впрочем, не пользуется успехом у русских и воспринят русскими критически, совершенно

так же, как и новая разнузданная ресторанная музыка фокстротов.

Один студент дал мне на память сделанный им рисунок этого танца, указывающий, с какой критикой воспринимается эта новизна нашей русской культурой. Мне хотелось проверить мои впечатления, и для этого на следующий вечер мы пошли в другое студенческое общежитие (бывшая военная тюрьма), которое, по словам студентов, носит еще более семейный и русский характер. Там живут только одни русские студенты, тогда как в первом <...>, где я остановился, только четыре комнаты отведены для русских. Остальное помещение занято хорватскими студентами.

Приветливо и уютно показалось мне в этом общежитии. Обстановка оказалась здесь действительно лучше. Столы накрыты скатертями. Чай подают в стаканах. В углу столовой стоит пианино, на котором наигрывал в тот момент, когда мы вошли, ноктюрн Шопена какой-то студент. В соседней столовой комнате, где уютно горела задекорированная тонкой материей электрическая лампа, стояли разбросанные по всей комнате столики, на которых лежали газеты и журналы, а на одном из них стояли шахматы, за которыми, углубившись в игру, сидели два студента. Стены той и другой комнаты украшены отлично нарисованными панно, совсем так, как это сделано в студенческом клубе первого общежития. Тут же в комнате из коридора открыт зубоврачебный кабинет, пожертвованный Союзом христианской молодежи. При общежитии имеется сапожная мастерская.

В столовой, когда мы вошли, народу было много. Помимо общего стола, накрытого большой скатертью, по стенкам стояли отдельные столики, на которых пили чай и ужинали группами студенты. За общим столом сидела компания пожилых людей с дамами во главе с господином с седой бородой. Я со своими компаньонами-студентами сидел за общим столом, и мы пили чай с отличными пирогами величиной во всю тарелку, стоящие по два динара. Такой пирог с мясом вполне может заменить ужин. Вообще нужно сказать, что как в том, так и в другом общежитии кормят отлично, сытно и вкусно, а главное - дешево, причем стол приспособлен к русскому вкусу. Ежедневно бывает борщ с гречневой кашей, стоящий с куском хлеба 5 динаров, в то время когда в ресторанах и столовых полуголодный обед стоит не менее 10 динар. Студенческая столовая содержится земским союзом.

И тут я был принят с таким же радушием, причем встретил много знакомых по Лобору и прежней жизни в Загребе. Подходили ко мне даже люди, которых я знал только в лицо. И вот я прихожу к заключению, что здесь играет роль чисто

национальная черта русских людей (общительность, присущая русскому человеку, как это указывает преосвященный Антоний). Два с лишним года я не был а Загребе, и для меня как свежего человека это настроение русских в Загребе до очевидности ясно. Я был эти дни точно в России и был принят как русский человек. Меня поразило, что русские люди в этой чужеземной атмосфере не утратили своего и сохранили свою русскую самобытность. Во всех проявлениях жизни был виден русский дух и даже неизменный спутник русской жизни - самовар и русское гостеприимство.

Мне понравились и отношения русских между собой. Это не то, что было, когда я оставлял Загреб в 1922 году, в период сменовеховщины и политических колебаний. Теперь политикой не занимаются, говорили мне студенты. Каждый погружен в свои занятия. Студенты получают пособие, и хотя очень скромно, но обеспечены. Видно, что жизнь наладилась, все устроились, работают и живут нормальной жизнью. Почти все ведут переписку со своими родственниками, оставшимися в России, и живут, можно сказать, больше мечтой о России, чем современной жизнью.

Хорватские студенты не сблизились с русскими студентами и во многих случаях выражают нашим явную антипатию. Почти все, с кем мне пришлось говорить, тоскуют по своим и по России и только об одном мечтают - как бы скорее вернуться в Россию. Я ночевал в общежитии на койке студента В. С. Подрешетникова. Кровать широкая, деревянная, с мягким (набитым кукурузными листьями) матрацем. Над кроватью у стены полка для вещей. Койки, правда, стоят тесно, но ввиду огромной их величины теснота в комнате не ощущается. В комнате 22 таких койки, а посредине стоят длинные столы, вполне удобные для занятий. До 10 часов вечера здание освещается электрическим светом. В комнате тепло. Студенческая столовая и клуб помещаются в полуподвальном этаже.

Под светлым впечатлением уехал я из Загреба от своих русских, и даже к поезду проводил меня мой земляк В. С. Подрешетников. Бодро я шел обратно к себе в Кашино по колено в грязи, под мелко сыпавшим дождиком в непроглядной темноте осеннего вечера. Я шел почти пять часов эти 9,5 километра, потому что ноги расползались в размокшей глине и трудно было идти, но шел я веселый, точно я побывал в России, среди своих, и увидел то, по чем так истосковалось сердце среди чужого, неприветливого народа. Пусть погибло все для меня лично, но не погибло все русское, что так ярко представлялось мне в Загребе. Миновала и катастрофа, казавшаяся такой неизбежной, и я вновь

увижу брата, который еще вчера выписан из больницы и доставлен автомобилем в Кашино.

Так думалось мне, когда я садился отдохнуть по дороге на кучки щебня, разбросанные по шоссе, и никак не мог скрутить в темноте папироску мокрыми и обмершими руками. Темно, неприветливо, холодно и сыро было кругом, а на душе было хорошо. Усталый пришел я домой, но долго еще вечером мы сидели с братом за ужином и делились своими впечатлениями. «И я как-то изменился после близости смерти, - сказал он мне. - Не так я жил, как вы жили, и не так устроил свою жизнь, как следует». Может быть, я его не понял, но казалось мне, что он восторженно слушал меня и с тоской думал об иной жизни. Я передал ему приглашение студентов приехать в Загреб с виолончелью и поиграть со мной в клубе, как мы играли с ним в Лоборе. Он ничего не ответил, но утром он привел в порядок свою виолончель и начал играть, что уже давно не было с ним. И я понял, что зовет нас жизнь из этой духовной тюрьмы к свету, к той жизни, на которой мы воспитаны.

* * *

1 января 1925 года.

Несмотря на явную, казалось бы, нелепость думать о скором возвращении на Родину теперь, когда вся обстановка в Европе сложилась для нас особенно неблагоприятно, когда Франция только что признала большевиков и сама летит в пропасть, когда на востоке Япония и Китай идут с большевиками, когда появилась новая опасность признания большевиков Америкой, к Новому году из каких-то серьезных источников стали упорно говорить о каком-то повороте в политике, который должен очень скоро изменить всю обстановку и привести к падению большевистской власти в России.

Говорят об этом, конечно, каждый год, но ныне это исходит из кругов, которым, казалось бы, можно верить. Мы получаем в таком же духе письма от людей солидных и серьезных, и это убеждает нас, что, несомненно, что-то происходит. И в новогоднем номере газеты «Новое время», в официальной ее части, мы находим подтверждение этих слухов. С. Н. Палеолог - правительственный уполномоченный по делам русских беженцев - определенно осведомляет беженцев в своем отчете об этих возможностях. И в приказе генерала Врангеля чувствуется какая-то надежда. И даже в новогоднем обращении Великого князя Николая Николаевича хочется видеть что-то новое, дающее надежду, которая кажется столь несбыточной. Мы только боимся, что в этом вопросе все смотрят на опомнившуюся Англию, которой, по нашему мнению, особенно верить нельзя.

Как бы там ни было, для нас 1925 год начался скучно, серо и отчасти тревожно. Состояние О. М. Матковской, пациентки брата, живущей у нас с октября месяца после болезни брата, стало значительно ухудшаться. Мы знали Ольгу Михайловну с детства. Урожденная Севастьянович, Ольга Михайловна была нашей сверстницей, и мы часто вспоминали с ней, как мы танцевали на детских вечерах. О. Мих. стала проявлять душевную болезнь после смерти своей дочери, вышедшей замуж в беженстве за генерала А. П. Половцева и умершей в прошлом году в санатории Вурберг. Мой брат согласился принять к себе на излечение О. М., но предупредил ее мужа генерала Матковского, что такого рода больные часто кончают жизнь самоубийством и предусмотреть это не представляется возможным. Предупредил он об этом и меня, прося по возможности присматривать за ней.

Для Матковской была нанята комната по соседству с моей, так что невольно мне пришлось жить в ближайшем общении с О. М. Конечно, я охотно проявлял заботу о больной и даже был рад, когда первое время по вечерам О. М. сидела у меня в комнате. Мы ходили всегда вместе гулять, но мне стало тяжело выслушивать ее бред о самоубийстве, который все больше и больше стал преследовать ее. Я стал бояться ее и каждый вечер, ложась спать, думал, что наутро в соседней комнате ее найдут повешенной или отравившейся.

По возвращении из Загреба я застал О. М. в крайне возбужденном состоянии. В ее взгляде появилось что-то чужое и непонятное. Мы жили одни, вдали от людей, в пустующей мрачной квартире в глубине запущенного двора. Мне стало жутко с ней, и я радовался, когда еще одну из пустующих комнат нанял жандарм. Но это не улучшило моего положения, особенно по вечерам, когда она приходила ко мне и настойчиво повторяла свой бред о самоубийстве. Я тотчас прекращал разговор и шел с ней к брату. Но не всегда мне это удавалось.

И вот однажды после ужина, когда она была очень возбуждена и брат просил меня присматривать за ней, она ходила молча по моей комнате и вдруг села на пол. Несмотря на все мое самообладание, я пришел в ужас. Я поднял ее, зажег фонарь и повел ее к брату. Я стал бояться ее, в особенности когда она ходит молча по комнате и вдруг остановится за моей спиной и застывает в этом положении. Страшно мне станет, а оглянуться боюсь, чтобы не встретить ее безумный взгляд. И вот я не выдержал и стал ходить ночевать в амбулаторию к брату, а вечера старался проводить у своих, чтобы избежать посещений больной.

Мы были уверены, что она покончит с собою, и Ник. Вас. вызвал ее родных. Но что можно было сделать? И вот 23 января, в

темный, пасмурный вечер, идя ужинать к своим, я встретил идущую с фонарем Таню, которая шла звать к ужину Ольгу Михайловну, только что ушедшую от них. Таня сказала мне: «Слышите, как кричит сова. Это к несчастью -Боже мой». Матковской не оказалось дома и, Н. В. всполошился. Стали ее разыскивать. Позажигали все фонари и начали искать ее. Таня догадалась посмотреть в замочную скважину ее комнаты и в ужасе отшатнулась - ключ был в дверях изнутри комнаты. Позвали жандарма и столяра. Взломали двери. Из комнаты, как из погреба, пахнуло холодом, и был полумрак. Лампа стояла на ночном столике прикрученной и едва светилась. В комнате О. М. не было. Но сомнений быть не могло. Она должна быть здесь. Заглянули в соседнюю пустующую комнату, загроможденную мебелью, сундуками и разными вещами. На двух шкапах была положена доска, и посредине на веревке, полустоя на коленах на скамейке, уже застывшим трупом висела Ольга Михайловна.

Может быть, раньше я был крепче, а может быть, просто я стал эгоистом, но так все это отражается на мне, что хотелось бы уйти от всего этого подальше. Я знаю, что не вернусь уже больше в свою комнату, и мне жаль ее. Уютно, чистенько и хорошо было мне там. Много к тому же там было пережито и передумано. Теперь я живу опять бивуачною жизнью в амбулатории у брата. Мне жаль было О. М. Матковскую, и я был рад, когда, лежа в гробу, она уже не вызывала того жуткого чувства неведомого страха, который я испытывал перед нею. Спокойные и строгие черты ее безжизненного лица не напоминали мне уже больше ее безумного взгляда и примирили меня с нею. Она беженка, закончившая жизнь на чужбине, и это одно делало ее близким для нас человеком. Для села Кашино это было, конечно, большим событием, и целая толпа местных жителей собралась у почты, когда прибывшая из Загреба мрачная похоронная карета увозила замурованные в цинковом гробу останки Ольги Михайловны, которую везли в Загреб ее муж и сын, чтобы похоронить ее на загребском кладбище.

Не успели мы опомниться от этой тяжелой и страшной картины насильственной смерти, как нам сообщили о безнадежном состоянии в Сесветах русского доктора Любарского. Для нас это не было неожиданностью. Мы ждали этих известий. Недавно я был у него и видел его совсем расслабленным, опустившимся. Теперь мы застали его умирающим, но еще в сознании: «Ништо мене не треба, я чу овде умерети», - говорил нам Николай Васильевич по-хорватски. Он лежал в грязи в своей убогой и маленькой комнате, делая уже под себя и тяжело дыша, как умирающий. При нем был мальчик Стефан, который ночевал

у него в комнате на диванчике и прислуживал ему уже второй год.

Мой брат пошел в общинное управление уговориться относительно ухода за умирающим и предстоящих похоронах. Я воспользовался случаем, чтобы привести в порядок несчастного одинокого старика. Он лежал уже несколько дней в штанах и кальсонах. Я задыхался от вони, когда раздевал его. Ник. Вас. уже слабо говорил и повторял, что хочет скорее умереть. Мы были потом у начальника станции Сесветы хорвата Иосифа Фрелиха, с которым Н. В. Любарский был в хороших отношениях и сделал своим душеприказчиком. У него уже хранились все сбережения доктора Любарского (6000 динар), которые Фрелих обязался после смерти Н. В. отправить в Россию его дочери. Г. Фрелих и слышать не хотел о том, чтобы похоронить Любарского скромно, как беженца. Он взял на себя все хлопоты и сказал, что стыдно было бы хорватам не отдать последнего долга такому уважаемому русскому человеку.

31 января рано утром Любарский умер. По просьбе начальника станции я пересмотрел все его бумаги, документы и письма. В числе текстов я нашел посмертные письма на имя его жены и дочери и его родственнику подполковнику Л. К. Игнатьеву, живущему в Сараево. Отобрав все существенное для отправки по принадлежности, я сжег все остальное. Грустно было мне возле закончившего так печально свою жизнь уважаемого человека, но бодрило меня сознание, что не одинок сейчас покойник. Земляк, соратник и товарищ по несчастью я для него. Вместе мы ушли из Чернигова и вместе были добровольцами. Я знал, что старик боялся потерять меня из виду. И вот я возле него, разбираясь и сжигая все остатки личной жизни его. На следующий день после похорон я писал в газету «Новое время» прилагаемую здесь заметку.

На другой день, в половине второго, после урока музыки, я сидел за роялью в свое урочное время в уютной квартире местной учительницы народной (пучкой) школы господичны Аполонии Сабодошь и, забывши все на свете, играл свои любимые сонаты Бетховена (5, 14 и 17-ю). Никогда в жизни я не умел так углубляться и не любил так музыку, как теперь, и мне думается, что если бы лишить меня этого занятия, то жизнь стала бы для меня такою же бессодержательною, какою она была для доктора Любарского.

Господична Аполония Сабодошь - хорватка, сама увлекается музыкой, решивши использовать меня как учителя музыки, но я отлично понимаю, что не это заставляет ее хорошо относится к нам, русским. Мы никогда не говорим с ней о нашем положении

и обходим молчанием вопрос о России. Она не затрагивает больного для нас вопроса, но мы чувствуем ее глубокое понимание положения просвещенных русских людей. Как интеллигентный и умный человек, она отлично понимает нашу духовную потребность, и в этом отношении она скрасила мне жизнь в Кашино.

Давно не был я в такой уютной квартире и интеллигентной обстановке, даже с ковром посредине комнаты. Она снабжала меня немецкими книжками и постоянно говорила мне: «Говорите все по-русски, я пойму вас». Семья господичны Аполонии жила когда-то в Галиции, и мы почему-то думаем, что она галичанка. Зная немного галицийский и русинский языки, она отлично разбиралась в моей русской речи. Го-сподична предложила мне давать уроки моим ученицам у нее в доме, а так как я за урок музыки у господичны выговорил себе право самому упражняться в те часы, когда она занята в школе, то вышло так, что я ежедневно бывал в доме господичны, и моими любимыми часами были часы моих занятий у Аполонии.

«Кашинская музыкальная школа» - так называли здесь квартиру господичны Аполонии. Хотя у меня было всего 8 уроков в неделю, но я охотно разучивал со своими ученицами сверхурочно отдельные вещи и руководил их игрой в четыре руки, так что фактически я был занят почти каждый день. Здесь, у господичны Аполонии, мы встречались с ее родными и гостями, приезжавшими к ней из Загреба. Это были все люди, отлично относившиеся к русским и понимавшие тяжелые и несправедливые переживания русской интеллигенции.

Однажды к господичне из Загреба приехала компания знакомых хорват (капитан в отставке D. Wakuc, униатский священник doktor Tomo Severovic, директор какого-то учреждения Haramincic и чиновник Svetosar Matic (серб) - жених Славицы Филиппович, учительницы той же школы). Мы были тоже приглашены. Это было типичное времяпрепровождение в хорватском обществе. Когда мы пришли, то застали все общество сидящим за столом, громко поющим и пьющим вино.

Прежде всего меня заставили играть на рояле, а потом после комплиментов я присоединился к общему столу и тоже пил вино. Мужчины говорили мало и все больше пели - сначала как будто хором, а потом кто как попало, причем пение это носило такой беспорядочный характер, что если бы не знать этой особенности, то можно было бы подумать, что люди чрезмерно подвыпили. Пели с нами и женщины. Только одни мы, русские, молчали. Капитан к тому же снял пиджак и оставался в фуфайке.

Вообще простота у них необычайная. Молодой человек -

жених Славицы - заявил, например, Надежде Петровне, которая зашла на минуту в спальню, чтобы поправить туалет, что ему необходимо пройти в zahod (клозет), когда она крикнула «сюда нельзя». Мы говорили как-то по этому поводу с господичной Аполонией, которая, кстати сказать, вполне культурный человек, и она сказала нам, что ей самой не нравятся эти грубость и невоспитанность, которые, несомненно, свойственны их обществу, а в особенности у сербов. «Вы, русские, стоите в этом отношении значительно выше наших мужчин», - заявила нам Аполония.

Тем не менее отношение к нам в этот вечер было исключительным. Первым сказал тост униатский священник. Это был хвалебный гимн русскому народу, представителей которого он видит перед собою. Речь была в высшей степени сердечная, искренняя и трогательная. Потом в таком же духе говорил капитан и г. Хараминчич. Господична была очень довольна и сама была готова сказать еще больше, как выразилась она, но беда в том, что она не обладает даром слова. Мне напомнил этот вечер оказанный нам прием в Костайнице. Никто не заставлял этих людей излагать свои чувства по отношению к русским людям, и это убедило нас, что в данном случае мы находимся среди людей, действительно хорошо относящихся ко всему русскому.

Вообще очень трудно бывает быть объективным и согласовать те противоречия, которые наблюдаются на каждом шагу в этом отношении. Еще труднее разбираться в личных переживаниях и впечатлениях, под влиянием которых вырабатываются настроения и соответствующий взгляд на окружающую обстановку. Мы привыкли считаться только с фактами и воздерживаемся руководствоваться в своих суждениях личными симпатиями и антипатиями. И в этом отношении особенно трудно уловить истину там, где сталкиваются противоположные мнения тех, кто излагает свои впечатления.

Казалось бы, что проще - ответить на вопрос, как живется русским беженцам в Югославии. А тем не менее вы встретите в этом отношении совершенно противоположные мнения. Есть много русских, отлично устроившихся и, можно сказать, ассимилировавшихся и растворившихся в чужеземной среде, и они кроме хорошего не видят ничего. Я встречал беженцев, которые так далеки были от русского вопроса, что даже не знали в свое время, что в Болгарии избивают, убивают и арестовывают русских беженцев. Не знали они и о том, что в Сербии, в Скупщине возбуждался вопрос об изгнании русских беженцев из Сербии.

Мы много думали по этому поводу и не могли бы отказаться ни от одного из положений, приведенных нами выше в своих

записках. Но вместе с тем мы считали бы крайне несправедливым умолчать о тех фактах, которые могли бы привести к суждению об исключительно хорошем отношении к русским беженцам и русским людям вообще.

Наше первое впечатление по прибытии в Югославию было отличное и, конечно, оставило глубокий след в нашей душе. Это был первый этап нашей беженской жизни, и нам думалось, что русские люди в Югославии будут поняты и найдут достойный приют. Тем более это казалось так, что со всех сторон приходилось тогда слышать, что русские приняты хорошо и приветливо. Но разочарование наступило очень скоро. И здесь многие расходятся во мнении.

Одни говорят, что виноваты сами беженцы, не сумевшие себя поставить и своими поступками нарушившие создавшееся первоначально настроение. Другие видят причину недружелюбного отношения к представителям царской России в большевизме в низах и национальной нетерпимости в интеллигентных слоях населения. Мы смотрим несколько иначе на это явление, не отрицая, конечно, справедливости приведенных мнений.

На наших глазах и чуть ни с первых дней нашего пребывания в Югославии произошла большевизация и демократизация всей Европы. Если в Югославии власть еще не выпала из рук людей государственных, как это случилось в Англии и Франции, то общественная жизнь этот сдвиг уже получила. Не только аристократический, но и средний элемент уравновешенных, культурных людей стушевался. Народ проникся демократическими тенденциями опрощения и уравнения, а низы сплошь заражены большевизмом. Конечно, при таких условиях русские беженцы, представляющие собою царскую Россию, не пользуются симпатиями.

Ярким выразителем этого настроения явилась в 1922 году Болгария, где демократия и большевиствующий элемент учинили погром русского беженства только за то, что он является представителем прежних устоев сильного и великого государства. Конечно, среди болгар были отдельные личности и группы лиц, не сочувствующие этому движению, но голос их уже не имел значения.

Любопытно, что, несмотря на крайне убогий вид русского беженства и жизнь впроголодь, ему завидуют. «Вы буржуи», - говорит нам простонародье, а в демократических слоях интеллигентного общества тоже понятие выражается злобным восклицанием: «Вы аристократы». Когда мой брат был болен, живущий по соседству с нами столяр, казалось бы, почтенный

человек, говорил Тане, что он будет очень доволен, если доктор умрет: «Пусть бы тогда его жена и брат работали так, как мы работаем, а то сидят и ничего не делают».

Это положение людей - когда-то богатых и стоявших в социальном отношении выше их - не может проститься. И это чувствуется во всем. Профессор Микуличич возненавидел моего брата не за то, что он «врангелец» или контрреволюционер, а за то, что в России требуется стаж и научные работы для того, чтобы быть профессором, и мой брат это имеет, тогда как здесь это не требуется, и Микуличич - профессор без научных работ. Конечно, он демократ, ибо в демократической стране можно не иметь научных работ и быть профессором. И нам кажется, что во взаимоотношениях русских беженцев и наших братьев славян это явление играет большую роль, чем политика.

Моему брату, человеку с именем, бывшему директору двух правительственных психиатрических больниц в России, министерство предложило, по их же словам, самый худший врачебный участок в Хорватии, где не хотел служить ни один хорватский врач. И когда впоследствии на вопрос мой брат ответил, что он доволен своим положением, в министерстве пожимали плечами и с изумлением передавали друг другу: «Он доволен».

Русские в Югославии, и в частности в Сербии, бесправны и даже стеснены в свободе передвижения. И мы вспоминаем, как хорошо жилось сербам, чехам и тем же хорватам в России. Вспоминаем мы часто и отношение в России к нашим братьям-сербам, бежавшим во время войны в Россию. Н. И. Волкова, много работавшая в Херсонской губернии в комитете по делам сербских беженцев, говорила нам, что она состояла попечительницею школ, устроенных для сербских детей беженцев. «Они у нас не голодали», - говорила она. Теперь Н. И. Волкова сама нуждающаяся беженка и невольно, говорит она, сравнивается положение сербских беженцев в России и русских беженцев в Югославии.

Обидно и грустно становится, когда вдумаешься в это положение. С прошлого года началась тяга русских из Югославии во Францию. В конце 1924 года эта тяга обратилась в массовое переселение, а после падения правительства Пашича, когда в Сербии ожидался погром русских, это переселение обратилось в бегство русских из Сербии. Нам писала М. В. Тарасова из Белграда: «Нас скоро будут бить, и мы с мужем едем поэтому во Францию». Правда, это бегство было неудачным, так как русские прибыли во Францию накануне развала ее и попали чуть не в худшее положение, встретившись там с большевиками, но такова

уж судьба русских беженцев.

Все это факты, несмотря на то, что многие русские отлично устроились и пользуются радушием со стороны многих югославян. Общее положение русских в беженстве безотрадное. Голод, нищета, беспомощность, вымирание и моральный гнет - таково фактическое положение русского беженства. Конечно, кое-что делается, и это раздувается как акт великой помощи русскому народу. Чехословакия, например, ограбившая Россию и шипящая против царской России, дала приют русским студентам и кричит об этом на весь мир.

И в Югославии университеты переполнены русскими профессорами и студентами, как в былое время в русских университетах было много чехов, сербов, болгар и поляков. Выдавались даже небольшие пособия бедствующим русским людям за счет бывших долгов России, но если спросить, что же, в сущности, сделали эти славянские народы для русских, то ответ будет один: ничего выходящего из самых элементарных требований международного положения. Поддержали ли они нас хотя бы нравственно? И ответ тот же самый: нет! Напротив, с большевистской властью бывшей России считаются повсюду больше, чем с нами.

В позорной и враждебной к бывшей России Генуэзской конференции, где Россия была заменена собирательным названием Союза советских республик, участвовали все славянские народы, и не нашлось ни одного порядочного человека, который отказался бы участвовать в этой международной оргии. Поляки ненавидят Россию и все русское. Болгары учинили жестокий погром русского беженства. Чехословакия злобствует на бывшую Россию и направляет против нее русское беженство. Она воспретила даже у себя продажу национальной русской газеты «Новое время». В Сербии в Скупщине (парламент) дважды возбуждался вопрос об изгнании русских из Сербии - небывалый в истории пример международных отношений. В Хорватии и Словении русских только терпят. И это то, что называется славянством.

Нам могут возразить и сказать, что мы не правы и не знаем истинного положения, но кажется нам это невероятным. Если мы видим вокруг себя страдания и горе русских людей, то неужели же мы не знали бы и другую сторону жизни русского беженства? Допустим, что мы ошибаемся, но ведь мы находим подтверждение наших взглядов в русской газете «Новое время» и слышим это от русских людей.

На днях я получил письмо от Е. П. Духониной, близко стоящей к «сферам» и несомненно отлично осведомленной об

общем положении в центре. Вот что она пишет: «Когда мы жили в Хорватии, так часто приходилось слышать о хорошем отношении сербов, и теперь я, только убедившись лично в этом, скажу “нет и нет”. Такое хамское, грубое отношение, когда вам даже люди (по-ихнему!) интеллигентные говорят, что “если бы не вы - русы, так мы бы гораздо большего достигли в эту войну, и вы нам мешали”. Чем я больше здесь живу, тем я их больше ненавижу. Все то, что делается для нас, русских, делается так грубо, унизительно и больше для самолюбия. Часто сравниваю свою жизнь в России (при большевиках), и она мне становится все менее и менее кошмарной... Ведь Вы, вероятно, знаете о том, что сербы запретили освящать церковь как храм и наша церковь освящена только как молитвенный дом с переносным антиминсом. Это для того, чтобы они имели право снести церковь, а если она освящена как храм, то уничтожить ее нельзя. И это в стране православной!».

И в этом отношении хорваты оказались более культурными. Им навязали русских, с которыми они воевали во время войны. Этот народ вправе проявить враждебность к русскому человеку. Он воспитан на немецкой культуре и чужд русскому человеку. И тем не менее Хорватия не препятствует развивать свою деятельность русскому беженству и не чинит в этом отношении препон. Впрочем, мой брат, бывший на днях в Загребе, говорил мне, что виделся с профессором Лапинским, который сказал ему, что положение его в университете стало отвратительным. Хорваты травят его и профессора Салтыкова, как и других русских профессоров.

И все-таки мы должны сказать, что в этой неприглядной жизни русского беженства приходится видеть и много хорошего. Я лично отдыхаю душой в доме хорватки учительницы кашинской школы Аполо-нии Сабадошь[32]. Эта чуткая, умная женщина отлично учитывает переживаемое время и относится к нам исключительно хорошо. Ее коллега учительница Славица Филиппович такого же направления. Ее сестра замужем за русским, и это одно сближает нас с нею. Относится к нам хорошо в Кашино и госпожа Мушич (почтарша), несмотря на то, что муж ее демократ и русофоб. Мы также в хороших отношениях с семьею купца Ошвальда.

Даже среди селяк, которые все поголовно пропитаны большевизмом, встречаются люди, в особенности из тех, кто был военнопленным в России, которые подходят к нам и сочувственно говорят о России, высказывая и нам свое расположение. Но этому верить не приходится, так как при первом удобном случае они бросятся грабить нас. Удивительно, что и богатые люди бредят большевизмом, не понимая всей сущности этой пропаганды.

Исключительно сердечное отношение к русским проявил начальник станции Сесвет хорват Иосиф Фрелих. Я был у него несколько раз с покойным доктором Любарским. Мне лично г. Фрелих говорил, что он не может примириться с ужасами русской революции и глубоко сочувствует, особенно просвещенным русским людям. К Любарскому он относился с необыкновенным почтением и заботливостью, а когда Ник. Вас. умер, он принял на себя все хлопоты и, можно сказать, оказал покойному все почести, какие только можно было оказать в Сесветах.

Мы вспоминаем также часто Костайницу, где нас впервые в Югославии приняли хорваты и сербы. Этого нельзя забыть. Так могли отнестись к русским беженцам только высококультурные и просвещенные люди, стоявшие во главе костайницкого общества. Загреб нам уже не приходится вспоминать. Там мы не видели ничего хорошего.

Впрочем, у нас до сих пор сохранились хорошие отношения с хорваткой графиней Ириной Шафгоч (бывшей придворной дамой австрийского двора). Она была у нас в Лоборе и теперь иногда приезжает к нам в Кашино на автомобиле. Но это аристократка, ничего общего не имеющая с современными течениями. Она говорила нам, что аристократия в Хорватии как-то совершенно исчезла. Ее нет. Все заражено демократическими тенденциями, и на этом зиждется весь строй общественной жизни, разрушающий все основы культурной жизни и экономическое благосостояние страны.

Этими данными, кажется, исчерпываются наши личные впечатления, но все-таки нам приходится слышать от беженцев, что всюду есть хорошие люди, и почти каждый имеет там, где живет, если не друзей, то, во всяком случае, людей, сочувственно относящихся к русским, где они отдыхают душой, как мы среди кашинских жителей. И мы наперед знаем, кто эти люди - сербы, хорваты, словенцы, болгары, македонцы, черногорцы, турки и т.д. Мы заметили, что прежде всего это люди, далеко стоящие от политики и не зараженные пропагандою. Это наиболее стойкие в своих взглядах и самостоятельные люди, открыто возмущающиеся современными тенденциями опрощения культуры. Они не боятся, что скажут другие, и протестуют против создавшего положения. Они не сто -ронятся русских, отлично понимая, что при углублении социальной революции в Европе и им придется не лучше, чем испытали русские люди. И тем более это ценно в них, что чувства их бескорыстны. При общей и притом непоколебимой уверенности, что Россия никогда не возродится.

Таких людей среди иностранцев, которые верили бы в то, что опять будет великая Россия, нет. Россия уже распалась на ее

составные части, представляя собою союз более 36 советских республик, и объединить ее опять в одно целое - это есть длительный исторический процесс, к тому же обусловленный появлением такой гениальной личности, как Петр Великий. Европа содействует этому распаду, и к этому свелись результаты европейской войны. В оправдание себе союзники говорят, что русский народ уничтожил себя сам и такого народа не жаль. Так, по крайней мере, говорят нам иностранцы.

Русские беженцы тоже уже больше не верят ни во что. По крайней мере, громадное большинство считает, что мы обречены если не на вечное, то, во всяком случае, очень долгое скитание на чужбине, и люди пожилого возраста на Родину не вернутся. В применении к беженской жизни очень распространен термин «изгнание-ссылка», но, конечно, и то и другое понятие юридически не соответствуют действительности, как и неправильно называют беженство эмиграцией. Тем не менее терминология эта очень удачно характеризует бытовую сторону жизни беженцев и их социальное положение.

Как понятие «эмиграция» может быть применено к тем обеспеченным русским людям, которые своевременно бежали из России, чтобы переждать за границей тяжелое время, так и ссылка-изгнание весьма характерно изображает положение русского беженства. Эмигрант подчинен законам эмиграции и в этом отношении не является отбросом человеческого общества. Для беженцев, катастрофически вступивших на территорию иностранных государств, законы не писаны, так как при нормальной государственной жизни понятия беженства не существует. Вытесненные механически из своей Родины одолевшей революционной властью, не подчинившиеся этой власти и боровшиеся с нею русские люди как бы ушли в изгнание в чужие страны и как насильственно, под действием террора, выброшенные из гущи своего народа, пребывают в беженстве точно в ссылке. Назад вернуться нельзя даже при желании, так как революционная власть не пускает в Россию беженцев. И вот это пребывание за границею носит принудительный характер, приравнивая беженство к ссылке.

Эта аналогия усугубляется бытовою стороною жизни беженца, стоящего вне закона и международного права, фактически делая его жизнь настоящею ссылкою. Мы знаем отлично условия нашей ссылки в Сибирь и другие отдаленные места на окраинах России и утверждаем, что они несравнимы с тяжелыми условиями беженской жизни. Уже одно то, что ссыльный оставался среди своего русского народа и знал, каким законоположениям он подчинен, давало ему громадное преимущество. Ссыльный не был

лишен своей Родины и мог обратиться к своему начальству на своем родном языке. Ссыльный был прикреплен к месту, не имея права передвижения, но зато он не был лишен свободы переписки и свидания с родными. Он мог получать письма, газеты, журналы, денежные переводы и сам мог писать хоть ежедневно, зная, что письма его будут доставлены по принадлежности. Ссыльный не был изолирован от людей, его окружающих, и мог устраивать свою жизнь в пределах указанного ему местожительства как ему угодно. Ему не была чужда речь и быт окружающих его людей и не была чужда психология тех людей, с которыми приходилось ему жить.

Мы никогда не думали, что в психологии людей разных наций есть такая большая разница, что люди положительно не понимают друг друга. Не в языке, оказывается, только дело, а люди просто мыслят иначе. Ведь жили же у нас в России чехи, поляки, сербы, хорваты, и нам казалось, что это такие же люди, как мы. Теперь оказалось, что мы говорим не только на разных языках, но и на разных понятиях. Мы можем говорить с ними о погоде, о хозяйстве, даже о политике, но из границ фактического материала и реальных представлений разговор выйти не может.

Там, где вопрос касается области чувствований, переживаний, вкусов, духовных потребностей, мы становимся друг другу совершенно непонятными. Мы уже не говорим об общности интересов, что обыкновенно связывает духовно людей между собою, - их нет, как нет единства в понимании вопросов чести, благородства и общественного мнения.

Я никогда не забуду случая этим летом, когда я подошел к колодцу и набрал из ведра в кружку воды, чтобы напиться. Подошедшая после меня к колодцу простая женщина рассвирепела и с остервенением и ругательствами вылила воду из ведра, громко ругая «руса», после которого она не захотела взять воду. Рус для них чужой, опоганивший ведро, из которого напился воды.

Не забуду я и жалобу несчастного военнопленного Клюевского на то, что на него смотрят как на поганого. И ему, заброшенному на чужбину, хочется иногда повеселиться - потанцевать. И вот, бывая на свадьбах в своем селе, он несколько раз пытался приглашать местных девочек потанцевать с ним, но с ним никто не идет танцевать, потому что он «рус». И вот это духовное одиночество среди чужого народа, усиливая тоску по Родине, делает существование беженца невероятно тяжелым. Это суровая тюрьма для души с психологией одиночного заключения.

* * *

Мне хочется закончить 1925 год, и думается мне, что это

последние страницы моих записок. Писать решительно не о чем. Кстати, заканчиваются и последние листы тетрадей, и вряд ли я соберусь купить себе новую, еще одну тетрадь, которая стоит громадных денег (200 динар). Прошло шесть лет. Наступил седьмой год моей скитальческой жизни. Я не видал и не чувствовал этого времени. Мне кажется, что все было еще так недавно. Не верится мне, что мы расстались навсегда и что все близится к развязке. Не верится мне и сейчас, что я живу где-то далеко-далеко, возле границ Италии, и что все то, что пережито, - действительность. Шесть лет, можно сказать, не жил, а думал и не замечал окружающего.

Теперь как-то невольно оглядываешься назад и точно во сне видишь действительность. Люди переменились, отошли далеко вперед, и я чувствую, что остался позади. Не гнался я вперед за ними, а жаль... И вот дождался, пока увидел то, чего не замечал раньше. Полгода я не читал газет. Мой брат еще с весны прекратил выписку газеты «Новое время». Сначала мне было скучно без нее, а потом привык, тем более что общее политическое положение неизменно стоит на мертвой точке и в этом отношении не представляет интереса.

Всюду развал, керенщина, парламентская борьба с драками включительно, беспрерывная смена правительств, конференции, пустая болтовня современных политических деятелей и журналистов. Наша катастрофа затягивается и делает наше положение безнадежным. О возвращении на Родину уже не говорят или, вернее, боятся говорить. Иногда к нам приезжают свои, русские, но утешительного от них мы ничего не слышим. Общее мнение таково, что все погибло.

Я стал редко получать письма и с удивлением спрашиваю себя, что это значит. И вот, ответ простой. Люди ушли вперед, устроились, приспособились, живут своею жизнью, своими новыми интересами, и я отстал от них. Все реже и реже откликаются люди и не хотят оглядываться назад. Зачем вспоминать то, что так тяжело вспоминать. Зачем смотреть на чужое горе, когда и своего было достаточно.

Каждый, кто пережил пережитое, старается поставить на нем крест и зажить наново. Мне пишет из Варшавы мой старый друг О. И. Ковалевская: «Я живу с людьми, с которыми пережила страшную катастрофу. Они были еще в худшем положении, чем я. Они крепко держались за меня. Теперь Бог помог им сносно устроиться, а мне не удалось приспособиться - работаю до сих пор поденно, имея не больше куска хлеба. Они выживают меня из моего угла (за шкапом, где я живу с ребенком). Они стали грубо со мною обращаться и каждый день напоминают, что я должна

уйти, но куда... и я крепко вцепилась в них, чтобы не погибнуть на улице». И это пишет когда-то богатейший человек, с которым считались во всех слоях общества.

Это общая черта нашей беженской жизни. Сначала один держится другого, но, как только кто-нибудь из таких почувствует почву под ногами, он сейчас же старается отделаться от тех, кто ему становится в тягость. И это не новое явление. Мы видели это еще во время борьбы с большевиками. Даже добровольцы шли неохотно, в особенности ночью, в сторожевое охранение: «Не скажут, когда будут отступать», - говорили они. И мы не один раз были свидетелями, когда отступали, не предупредив тех, кто охранял. А сколько раз люди бежали, оставляя на произвол судьбы даже тех, кому были обязаны жизнью. Бежали хитро, путем обмана, чтобы спасти только себя. Бежали за более сильными и более проворными, оставляя более слабых.

Не смог и я порвать связь с прошлым, и в этом мое несчастье. Не смог я примириться с новою жизнью, и вот идут года, а я остался тем, чем был раньше. Часто я прочитываю прежние письма и вижу, как посте -пенно замирает у всех прежний тон и как все кратче и кратче становятся письма тех, кто сначала много и порывисто писал. И тем сильнее я чувствую свое одиночество.

Шесть лет - это очень много. Жизнь не ждет. Кто пропустил свое, тот его не наверстает. За шесть лет забывают и дорогого покойника, а не только живых людей. Жизнь стала другой. Иначе и быть не может.

Как бы там ни было, а летом все же живется легче. С весны я опять перебрался в отдельную комнату во дворе рядом с кухнею и был рад, что опять живу уютно и имею возможность сосредоточиться и проводить время как хочу. На лето уроки музыки прекратились. И вот я вспомнил свое рисование. Я начал рисовать и иногда удачно продавал свои картины. Был месяц, когда я заработал 600 динар. Рисовал с натуры и масляными красками, и акварелью. Изрисовал все виды Кашино и его окрестностей. Нашлась у меня и поклонница моего таланта господична Аполония Сабодошь, которой я нарисовал много картин.

Целое лето я рисовал, уходя иногда с утра в горы и возвращаясь только к вечеру. Я прослыл здесь за художника (umjetnik), и меня хорошо знали местные люди. Под осень я рисовал виды Кашина на большой дороге, и селяки иногда окружали меня целыми группами, смотря, как я рисую знакомую им местность. «И как то вы можете», - говорили они мне и поощряли тем, что давали мне гроздья винограда. Иногда я получал очень много винограда, так что стал брать с собою

корзину, в которой приносил виноград домой.

Никогда в жизни я не ел столько винограда, как в этом году. Поили меня и вином, когда я рисовал где-нибудь недалеко от усадьбы. Моя комната превратилась в художественную мастерскую, и я полюбил ее, несмотря на то что каждый раз, когда льет дождь, с потолка течет прямо на кровать. Я привык к этому и даже не сердился, когда иногда ночью приходилось отодвигать кровать на середину комнаты. Лето прошло незаметно и, можно сказать, хорошо, спокойно, если не считать тоски, которая иногда доводила до отчаяния. Я провел это лето среди природы - одиноко. Я нашел на потоке (ручей) место, где можно было купаться выше, чем по пояс. Я не пропустил, кажется, ни одного дня и купался даже тогда, когда было холодно.

Большим счастьем для меня было то, что господична Аполония хотя и уехала на два месяца, но разрешила мне играть у них на квартире на рояле. Так прошло лето, которое не заняло в моем дневнике и двух страниц. Наступила осень. Но это была осень не только в природе, но и на душе. Скоро нужно перебираться в амбулаторию к брату. Здесь, в этой комнате, жить зимою нельзя. С потолка течет, и через щели ночью видна луна. Дверь и окно одинарные. Опять шесть месяцев жизни на сундуках, без своего угла, без удобств, бивуачно, как в вагоне железной дороги. Но не это меня удручает. При других обстоятельствах и жизнь походная была бы не тяжела.

Тяжело на душе. Мой брат уже давно поставил крест на все прошлое и убежденно говорит, что мы никогда не вернемся к прежнему. Он устроил свою жизнь наново и в этом положении решил доживать жизнь. Я не примирился и ждал, сам не зная чего.

Теперь я вижу, что дело идет к концу. Еще год, два... но ведь зиму переживать трудно. Жизнь около печки, как у костра, в течение 6 месяцев, а ночь в холоде тяжела. И мы, непривычные люди, только случайно выдерживаем эти условия жизни. В этом году зима наступила суровая, снежная. Мы корчимся от холода и, можно сказать, не живем, а ждем, когда пройдет это время. К счастью, я научился читать по-хорватски и зачитываюсь хорватскими романами.

По-прежнему единственное светлое пятнышко - это Аполония, где я обогреваюсь и нахожу душевное удовлетворение. Впрочем, в этому году у нас столуется господична Славица Филиппович, и потому наша жизнь разнообразится ее присутствием за обедом и ужином, причем на моей обязанности лежит провожать ее по вечерам домой.

Улыбнулось было и мне счастье, но из этого ничего не

вышло. В поисках места я попал в кандидаты на место аккомпаниатора в Донской институт, но пока зачислен только кандидатом. Если мы остаемся навсегда в изгнании, то, конечно, и мне нужно пристраиваться. Но я чувствую, что это безнадежно. Русскому человеку теперь трудно найти место. Это то, что меня мучает. Все как будто приходит к концу.

Надежды уже нет. А что же есть? И ответ простой: как будто ничего! Раньше все-таки мне хотелось иногда записать что-нибудь в своих записках. Теперь не о чем писать. Я чувствую, что эти записки мои не попадут по принадлежности и, по всей вероятности, подтопят какую-нибудь хорватскую печь. Это общее мнение. Кому нужно это писание в такое бессмысленное время?

Мы начали опять выписывать «Новое время». Шесть месяцев мы не читали газеты и с нетерпением ждали первого номера. И что же? Все *та* же болтовня, все те же говоруны вроде Бенеша, те же парламенты и общая разруха. Мой брат пожалел, что выписал газету. Неинтересна эта убогость мысли современного человечества. Лучше не читать. Ну а что же делать?

И вот останавливаешься на мысли о смерти. Я разбирал бумаги покойного доктора Любарского. Старик предусмотрительно заготовил при жизни посмертные письма. И я лично был очень удовлетворен, когда через две недели после его смерти я получил от полковника Л. К. Игнатьева посмертное письмо Николая Васильевича, который искренно и душевно прощался со мною - своим земляком и соратником. И я теперь по вечерам сижу в амбулатории и пишу на случай смерти письма близким людям и кладу их запечатанными в пакет, на котором написано: «На случай моей смерти».

Вот как мы встречаем новый 1926 год - седьмой год нашей скитальческой жизни.

ЗАПИСКИ. Т. XIV
1926-1932 ГОДЫ. СЕРБИЯ. ХАРЬКОВСКИЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ

ЗАПИСКИ. Т. XV 1933-1934 ГОДЫ. ЮГОСЛАВИЯ

1933 год

Моя семилетняя служба в Харьковском институте (1926-1932) вывела меня из колеи беженской жизни. Это не была беженская жизнь уже по одному тому, что я получал определенный и притом вполне достаточный оклад содержания и служил хотя и в эмигрантском, но все же правительственном учреждении. Полная обеспеченность и прочное служебное положение изменили и мою беженскую психологию. Забота о хлебе насущном, мысль о завтрашнем дне и сознание бесправного положения на чужбине отошли на задний план. За моей спиной стоял институт с его канцелярией, куда мы, служащие, обязаны были обращаться по всем делам вместо того, чтобы идти в казенные учреждения ходатайствовать как просители.

Заболеешь ли или уедешь в отпуск, жалованье идет. Документы выправляются без особых хлопот. Да еще пользуешься всякими льготами по поездке. К нашим услугам русский врач при институте, сестры милосердия и чуть не все медицинские средства. Можно пользоваться отличной институтской библиотекой и ежедневно читать в учительской газеты и журналы. Лето свободное. На Рождество, на Пасху и даже на Масленой неделе можно съездить в Белград, куда-нибудь в другое место. Речь русская. Не надо себя насиловать подысканием слов местных наречий. Русская среда и своя русская церковь делали жизнь в чужой стране легкой и даже, сказал бы, беспечной. Только в магазинах иногда приходится говорить на чужом языке, да и то больше по-немецки, что нам доступнее с детства.

Так устраиваются немногие, и в этом отношении я попал в число громадного меньшинства. Вот отсюда, со стороны, вне атмосферы лишений, страданий, недоеданий и убогой беженской обстановки, была виднее настоящая беженская жизнь. Здесь можно было объективнее и глубже вникать в жизнь русских людей на чужбине. Я знаю очень многих, уже пятнадцатый год мечтающих купить большую плитку шоколада за 10 динар, именно большую, и сразу съесть ее. Мы сами испытывали это когда-то и глубоко сочувствуем этим людям, с завистью смотрящим на покрытые скатертью столики в кондитерской, где люди пьют кофе и шоколад.

Я часто посещаю кондитерские и в провинции и в Белграде. Я

люблю выпить чашку шоколада с битыми сливками. Зная это, мне говорили мои ученицы в институте: «Счастливый вы». Громадное большинство этих русских девочек не знает этого баловства. Мне писала как-то летом одна моя ученица, девочка 13 лет из Панчево, что она не может равнодушно смотреть, проходя мимо кондитерской, как местная интеллигенция пьет кофе и шоколад и ест вкусные пирожные.

Мне и до сих пор, то есть на четырнадцатом году беженской жизни, сплошь и рядом приходится встречать людей полуголодных. По моему мнению, это одно из самых острых и безотрадных явлений нашей беженской жизни. Хроническое недоедание в течение очень многих лет, а для некоторых с первых дней эвакуации, которая уже начинает забываться, - это явление столь обычное, что о нем даже не говорят, но оно видно.

Стоит попасть куда-нибудь на именины или иной русский праздник, где угощают, и тут видны эти полуголодные люди. Несмотря на всю воспитанность человека, здесь видна его жадность, которая вызвана голодовкой. Вкусные блюда, закуски - это такой соблазн, перед которым не устоит и сытый человек. И вот ешь сколько угодно, но организм отвык и не в состоянии переварить всего съеденного. И на следующий день человек болен. Я слышал часто распоряжение начальницы института о том, чтобы приезжающие родители не перекармливали своих детей. Они не привыкли к этому.

Но бывает и наоборот. Приезжающие из дома воспитанницы набрасываются в институте на пищу, потому что дома они были полуголодные. Испытавши сам не только полуголодное, но и голодное состояние, я не могу примирить свою мысль с существованием голода в культурной среде человечества. Это равносильно простонародной болезни вроде сыпного тифа, который распространяется только в некультурной среде.

Жизнь беженца в этом отношении противоречива. С одной стороны, он живет высококультурной жизнью, работая в области науки, искусства и техники, с другой - это настоящий пролетарий. Я помню, как мой брат читал в начале лекции в Загребском университете, будучи одет в потрепанный френч, и был далеко не сыт. У нас не было вовсе белья, и мы ходили в башмаках на босу ногу. И сейчас в Белграде сплошь и рядом можно видеть бедствующих русских людей, похожих по своему внешнему виду скорее на нищих, чем на русских офицеров.

И тем не менее эти люди работают, принимая участие в культурной жизни европейских народов. Офицер Русской армии теперь играет по ка-фанам в оркестре балалаечников. Это зрелище производит удручающее впечатление. И вот однажды я

разговорился с таким офицером, пригласив его выпить со мной чашку пива. Это был еще молодой человек, лет тридцати. Меня поражала его логика. Он рубил свои мысли как топором и в результате сказал: «Для того ли мы сидели в окопах и воевали, чтобы теперь услаждать по кафанам слух того сербского народа, из-за которого погибла Россия». Он был в полотняной сорочке, подпоясанной ремешком, то есть в маскарадном костюме. Вокруг нас сидела за столиками многочисленная публика. Он опустил голову и долго смотрел вниз. Затем, точно спохватившись, встал и, прощаясь, сказал: «Ну, пора идти». Они отлично играли, но мне не хотелось их слушать, и я ушел домой.

Эта мысль высказывается редко, потому что в ней есть зависть побежденного к победителю, но что она живет в русском беженстве, это не подлежит сомнению. Каждый раз, идя в праздничный день на сеанс кинематографа, я невольно всматриваюсь в толпу, заполняющую тротуары. Хорошо одетая, даже нарядная, толпа движется спокойная, довольная, веселая, сытая. Молодежь болтает, смеется. Тут же зимой молодые люди катают в санях своих дам и красуются своими выездами. У подъезда кино стоит полицейский, но ему тут нечего делать. Мир, спокойствие, ровная уютная жизнь, свобода, а завтра планомерная работа, без всякого принуждения и надзора комиссаров-большевиков. Это ли не то, что дано этому народу в результате войны!

Мы - русские спасли их и принесли им в жертву себя и все, что было у нас. И я вспоминаю, как в начале войны, начавшейся в защиту этого народа, в русском журнале «Солнце России» было помещено изображение сербской девушки, почти во весь рост. Этот номер ходил по рукам. Его вырывали друг у друга из рук. Молодежь перерисовывала этот портрет и вставляла его в золотые рамки. Сколько идеи, сколько нежности и обожания проявлялось в эти дни по отношению к сербскому народу. Энтузиазм был всеобщий.

Сербский народ изображался в поэтических образах, живущим в горах и в общении с природой. За этот идеализированный народ шли на войну русские люди, как рыцари, и им воображалось спасение маленького угнетаемого православного народа. Это настроение переживалось буквально всеми. Этот идеал рисовали себе и политические и государственные люди. Сам Государь Император Николай Александрович был настоящим славянином и решил не дать в обиду сербский народ. И это знали сербы, а Никола Пашич, будучи в Москве, мог лично убедиться, как высоко ставил русский народ интересы своего младшего «братушки» серба.

И вот я часто смотрю на эту нарядную, хотя и простонародную, толпу и думаю: где же тот идеал, которому поклонялся русский народ? Где тот народ, за который мы - русские отдали свою жизнь. Да! Он здесь и виден на улице, где стоит полицейский. И полицейский этот не немецкий или мадьярский, а свой серб. Великая Россия добилась своей цели. Она освободила сербский народ и устроила ему благополучие. И вот в этой толпе идем мы - русские, потерявшие все, и чувствуем полное одиночество. Мы чужие в этой толпе, и им нет никакого дела до нас. Мы живем среди них как изгнанники, без прав, лишенные самых элементарных требований жизни.

Но еще прискорбнее видеть враждебные выпады, исходящие от этого народа. В 1924 году член скупщины в Белграде Московлевич с компанией сделал запрос министру иностранных дел по русскому вопросу, требуя упразднения военных русских организаций в королевстве

С. Х. С. и насильственной репатриации русских (газета «Новое время» от 13-15 августа 1924 года). Мы, к сожалению, не сохранили газет, в которых часто печатались враждебные и заведомо клеветнические статьи, направленные против русских беженцев, но все же кое-что сохранилось у нас.

Совсем недавно газета «Югословенска политика» от 4 июня 1932 года, возглавляемая Душаном Павичевичем и Драгомиром Терзич, напечатала гнусную статью о русских, живущих в Югославии.

Мы сделали эту вырезку из газеты и помещаем, кроме того, эту статью в переводе на русский язык.

«Русские блаженствуют - наши голодают

Видели ли Вы когда-нибудь русского, который протянул бы руку за милостынею?

Нет! Этого русские не делают, это они предоставили нашим беднякам.

А заглядывали ли Вы когда-нибудь в городской бар или кабаре, приметили ли Вы там после полуночи элегантных дам и мужчин? Если Вы их заметили и подумали, что это наши люди, то Вы очень ошибаетесь. Нет! Это наши братья русские. В то время, когда это нас так обижает, русским живется здесь лучше, чем жилось дома.

Какой бы кризис здесь ни был, русский должен быть хорошо одет, сыт и иметь деньги, чтобы каждый вечер показаться в элегантных местах и играть роль господина довоенного времени.

Видели ли Вы нашу женщину, так сказать, голую и босую? И если видели, то вовсе это не редкость.

А видели ли вы русскую “матушку” без мехового пальто и драгоценностей? Конечно, нет. А это ужасно и печально.

В то время как наша женщина с утра до вечера с маленьким ребенком на руках работает, мучится, в это время «матушка» со своей любимой собачкой вплоть до обеда гуляет по улицам, после обеда отдыхает, чтобы к вечеру быть свежей для удовольствий. Мы знаем очень хорошо, что русские страдают, тоскуют по своей Родине, но также знаем и то, что они не должны эту свою тоску заглушать в разврате и роскоши.

Братья-русы должны быть немного осмотрительнее в отношениях к своим братьям-югославянам и отделили бы хотя одну третью часть от той суммы, которую они тратят на шампанское и танцовщиц, и предложили бы свою помощь югославянским безработным-рабочим или какой-нибудь другой гуманной организации.

Скорее мы можем ожидать, что наш бедняк отделит кусок от рта своего и поможет еще более бедному, нежели братья русские дадут часть денег, предназначенных на веселье, потому что бы тогда делали меховщики, цветочные магазины, ювелиры, варьете и т.д.

Если бы мы только ждали, что русские помогут нашим близким, они бы могли скорее пять раз умереть, чем дождаться помощи.

Д. Павичевич».

Но было еще хуже.

В 1932 году в какой-то сербской газете была помещена грубейшая и наглая статья, сравнивающая русских беженцев с бешеными собаками и призывающая просто убивать русских на улицах, как собак. Эта статья наделала много шума. Газета вырывалась из рук, почему я при всем старании не мог получить экземпляр. По поводу этой статьи отвечал в «Царском вестнике» С. Н. Палеолог, указывая русским людям на необходимость сохранить этот номер газеты для будущей России.

Теперь опять какой-то депутат Дмитрий Евич внес в скупщину запрос правительству об отношениях между Югославией и СССР (Возрождение. № 2976 от 26 июля 1933 г.), требуя признания власти большевиков. Обиднее всего это то, что этот депутат - серб, как сообщает газета, - добавил, что этот вопрос его особенно волнует вследствие племенных симпатий, существующих между Югославией и Россией.

Здесь, в Югославии, как и в Болгарии, простой народ, и в особенности старые сербы, совершенно иначе относятся к русским людям, чем их интеллигенция. Когда мы были в Болгарии, мы видели это осторожное отношение к нам интеллигенции. Они просто сторонились нас. Общение с контрреволюционерами считалось недемократичным.

Поклонение демократизму стало второй религией в Европе, и в этом отношении русский чиновник, боровшийся с большевиками, не вызывал симпатий европейского интеллигента. Простой народ, поскольку он не заражен коммунизмом и революционными идеями, отлично разбирается в истории. Он помнит помощь русского народа, не раз оказанную братушкам-сербам.

Сколько раз мне говорили старики-сербы, местные жители, что их подрастающая молодежь мыслит иначе. Для них совершенно безразлично, спасала ли Россия Сербию и оказала ли она ей услуги. Белое движение им не нравится. Царскую Россию они не любят. Им нет никакого дела до России. Культуру свою они берут более от Западной Европы, а славянская идея им совершенно чужда. До сих пор среди сербской интеллигенции царит убеждение, что революция в России произошла потому, что русская интеллигенция плохо обращалась с народом.

И я всегда с особым удовольствием задаю им вопрос: а почему у них была революция по окончании войны в 1918 году? Мне много рассказывали здесь и в Хорватии, как толпа разносила имущество местных граждан и как топорами разбивались отличные фортепиано, остатки которых выбрасывались на улицу. С особой обидой мне говорил Г Шлезингер, что у него в доме не пощадили даже портрет его умершей дочери. Какой-то солдат

проколол его штыком. С чувством удовлетворения он рассказывал, что в Новом Бечее вошедшие сербские войска расстреляли у подножья памятника 60 революционеров-большевиков, а цыган Илья, руководивший грабежами, и до сих пор живет в Новом Бечее. Его тогда только выпороли в полиции.

А что делалось в Хорватии, где возле Загреба в с. Кашино убили бележника, а жупника волокли, привязанного веревкой к повозке, 7 километров? А как из Венгрии по Дунаю плыли трупы убитых знаменитым большевиком Бела Куном? А спартаковское движение в Германии, а революция в Испании, а бегство из Англии богатых помещиков после избрания Макдональда?..

Они не любят этих напоминаний и, как бы огрызаясь, говорят: «Да! Но это было всего три месяца», - точно в этом кроется вся сущность вопроса.

Одним словом, молодое поколение сербов, в особенности в Белграде, совершенно чуждо старой России и вообще славянской идее. Сейчас

Сербия находится под покровительством и водительством католической Франции и прониклась демократическими идеями. Славянство несомненно отжило свой век. Мы говорим то, что видим.

Хорваты - это не славяне. У них не сохранилось ничего славянского. Это типичные австрийцы, с которыми они совершенно ассимилировались. Своих братьев-славян, русских и сербов, они ненавидят.

Католическая Польша смотрит на Запад и несомненно должна отойти от славянства, тем более что своих же братьев-славян она ненавидит. И русские их ненавидят и, надо прибавить, всегда ненавидели. Один их грабеж на границе русских беженцев никогда не будет им прощен.

Сербия уже соединилась с католическими народностями, представляющими собой Югославию, и, конечно, под влиянием Франции отойдет от славянства.

Остается одна Болгария, которая так недавно состояла в войне с великим славянским народом русским, а свои симпатии к русским людям она показала во время избиения русских в Болгарии в 1922 году. Сейчас в связи с признанием большевиков в Болгарии опять назревают враждебные настроения против русских.

И это славянство! Нет! Славянства уже нет. В чистом виде оно сохранилось в подполье в советской России и в трех миллионах русской эмиграции, то есть славянин - это только русский.

Вообще славянская идея, по-видимому, была мало распространена на Западе. Тут об этом не говорят вовсе, а если

мы, русские, заводим иногда разговор на эту тему, то встречаем односложные ответы и скучающие лица. Одни только русские продолжают искренно думать, что славянство должно когда-нибудь объединиться под скипетром возрожденной России, а их братья-славяне только улыбаются и с такой же искренностью говорят, что Россия кончила свое существование и никогда не возродится. Да и не хотят они ее возрождения.

Сейчас над всеми славянскими странами господствует католическая Франция. И вот мы приведем здесь поразительный случай, характеризующий славянские настроения.

При открытии в Новом Бечее памятника королю Петру на площади была вся русская колония, причем возле самого памятника стоял, выстроившись в полном составе, Харьковский институт с начальницей института М. А. Неклюдовой во главе. Когда на трибуну взошел бележник (нотариус) серб г. Пивнички, крупный правительственный чиновник, весьма благосклонно относившийся к русским беженцам, то все думали услышать от него упоминание о погибшем русском царе и русском народе.

И что же услышали здесь русские? «Благородная Франция спасла несчастную Сербию, и этого мы, сербы, забывать не должны», - сказал г. Пивнички. Ни слова о России, ни одного слова о русском императоре не упомянул оратор, точно Россия не участвовала в Европейской войне. Вот какая теперь ориентация! И так воспитывается народ. Мне лично сказал после этого один серб: «Мы русских не видели, а вот французы шли с нами и очистили Сербию от неприятеля».

Конечно, эта ориентация противоестественна. Французов здесь никто не знает и никогда не видел. Между тем русского знает каждый, и не потому, что их здесь много, а потому, что громадное число местных жителей были в русском плену. Очень многие говорят по-русски, а если не говорят, то понимают русский язык. Можно смело сказать, что владелец каждого пятого домика в Новом Бечее побывал в русском плену. Они говорят, что вынесли отличное впечатление о России и с удовольствием вспоминают этот плен. Некоторые говорят, что как только можно будет ехать в Россию, они сейчас же бросают свое имущество и едут в Россию.

При оккупации в 1918 году немцами Украины многие из местных жителей, состоя в австро-венгерских войсках, побывали и на Украине. Так, хозяин моего дома, серб Жива Томит, был в Екатеринославе жандармом. Выпивши как-то изрядно, он ввалился ко мне в комнату и очень долго рассказывал об этой оккупации, причем его мать-старушка наивно добавила к его рассказу, что он ушел на войну бедным человеком, а вернулся с

деньгами и тотчас купил за 25 тысяч динар этот дом. «Я не любил расстреливать, - рассказывал мне Жива Томит, - но что же делать, приходилось мне это делать как жандарму». Ему больше нравились обыски, и в особенности на улице. Попадется богатый человек, чего только не возьмешь у него. Иногда попадались даже золотые портсигары. Вещи расстреливаемых тоже доставались тем, кто расстреливал их.

Есть в Новом Бечее и такие, которые побывали на службе у большевиков. Это в большинстве тот элемент, который держит сторону большевиков. Они не скрывают, что большевики при отъезде отобрали у них все капиталы, которые они составили себе грабежом в России. Правда, они больше молчат, но под пьяную руку проговариваются, что у них в России были миллионы, которые им не удалось вывезти. А бывает и так, что соседи шепотом говорят: «А вы знаете, он привез с собой из России громадные деньги».

Вообще очень многое я понял из общения с моим хозяином. Весьма навязчивый, он был болтлив и заходил часто ко мне по вечерам, так что мне приходилось запираться от него. Он любил рассказывать о пребывании своем в Екатеринославе в 1918 году. Зная это, я попросил его как-то рассказать, как оккупировавшие Екатеринослав солдаты Австро-Венгерской армии срывали погоны с немецких лейтенантов и убивали их. Эта тема не нравилась Живе Томит, и он почему-то, не смотря мне в глаза, уклонялся от этого разговора, говоря, что это было уже под конец, недели за две до оставления немецкими войсками Украины.

«А помните, как по городу возили фургоны, доверху переполненные расстрелянными, а сзади шел австрийский солдат? Не приходилось ли вам, как полевому жандарму, сопровождать эти фургоны?» - спросил я его. Почувствовав, что я знаю кое-что об оккупации Екатеринослава, Жива Томит прекратил разговор и никогда больше не возобновлял его. Жива Томит -это типичный коммунист по здешним понятиям. Как бывший на войне солдат, он получил из отобранной у помещиков земли 4,5 ютра.

У него во дворе ходят гуси, утки и масса цыплят. В свинушнике содержится две свиньи. Во дворе две скирды соломы и кукурузы. Чердак завален пшеницей и кукурузой. Человек этот вполне обеспечен и ничего не делает. Что же он говорит?

Я постараюсь точно воспроизвести эти рассуждения, потому что так рассуждает громадное большинство местных жителей, и этими тенденциями пропитаны окрестные села, называемые здесь коммунистическими (Меленцы, Куманово и т.д.):

«Краль нам не нужен. Власть должна быть от народа, как у

вас в России. Министры воруют. Их надо повыгонять вон. Господари ничего не делают, а мы платим за них налоги. Вот, например, Гига Иванович[36]идет по улице, выпятив вперед живот. На жилете болтается золотая цепочка. На руках кольца. Воротничок накрахмален, белая рубашка, новая шляпа. От него все это надо отобрать. Они завладели землей, содержат фабрики, купили дома и имеют в банке деньги. Все это от них надо отобрать. Государством должны править выборные от народа, свои люди-селяки, а не наемные министры».

Мои возражения им не воспринимались. Напротив, когда я привел ему примером мою работу, как учителя музыки, он рассмеялся и сказал: «Разве это работа?» И я невольно вспомнил, как несколько лет тому назад в газетах облетела весь мир весть об инциденте с великим художником Репиным в Финляндии. Когда он рисовал возле какого-то поселка, его окружили крестьяне и стали ему выговаривать, как ему, старику, не стыдно заниматься глупостями. «Какие же это глупости, я работаю над картиной», - возразил им великий художник. «Какая же это работа, ты пошел бы дрова колоть - вот это работа», - упорно настаивали на своем мужики высококультурной Финляндии.

И вот в защиту этих людей, за их свободу и самостоятельность, были брошены на войну миллионы русских людей и гибли десятками и сотнями тысяч, воображая, что они делают великое и святое дело. И те из высокообразованных иностранцев, которые поняли это, говорят нам: «Вы слишком сентиментальны и идеализировали то, чего нет».

И действительно. Почему теперь, живя среди сербского народа, русская эмиграция не идеализирует то, что еще не так давно, при других обстоятельствах, казалось таким красивым и идейным? Почему теперь, когда, казалось бы, цель достигнута, идея осуществлена, сербский народ освобожден, - почему теперь русские люди, носившиеся с этой святой славянской идеей, не чувствуют удовлетворения и так далеки от сербского народа?

Где же та мечта, которая, казалось бы, осуществилась в виде победы, одержанной сербским народом при помощи «великой майки России»?

Мы пользуемся, как говорится, гостеприимством, и за это нас всегда упрекают, напоминая, что мы должны быть благодарны за то, что нас приняли сюда. Ведь многих не приняли соседи, например греки, румыны, поляки, и они погибли в камышах.

Да! Мы благодарны нашему королю Александру, его правительству, но что сделали для русских народные представители в Скупщине и сербский народ в его массе? Ровно ничего! И вот за право жить и умереть на сербской земле мы

должны вечно благодарить и благодарить.

Теперь, в связи с признанием СССР, в умах сербской интеллигенции нарождается новая мысль: истинная Россия не здесь, в эмиграции, а там, у большевиков в советской России, и потому Сталину и К° надо помочь...

Мне хотелось бы здесь вспомнить весьма интересную встречу с человеком, который поразил меня своими самостоятельными взглядами, выработавшимися у него, несмотря на пропаганду демократизма, которая ведется теперь во всем мире. Это Шестич, Бранко Филиппович. Молодой человек, хорват, окончивший Загребский университет. Сын срезского начальника. Он окончил Загребскую консерваторию и вместе с тем рисует как настоящий художник. Мы провели с ним неделю и ездили в Марию-Быстрицу, где он мне много играл в пустующем костеле на органе. В конце концов мы отправились в горы, где г. Шестич начал рисовать общий вид Марии-Быстрицы.

К нам подошли селяки, работавшие тут же в поле. Резко оборвав вступивших с ним в разговор, Шестич сказал мне: «Уйдем отсюда». Мы пошли. По дороге он сказал мне: «Не терплю простонародье. Они все пропитаны большевизмом и только думают, как бы убить и ограбить интеллигентного человека. Они мешают развитию культуры. А власть наша подделывается к ним. Я ненавижу ничтожную, простонародную Хорватию с ее убогой культурой, несмотря на то что это моя родина. Я еду во Францию и вернусь обратно только тогда, когда будет уничтожено господство простонародья».

Мы, современники и очевидцы всего этого, отлично знаем, что в первый период большевизма по всей России господствовала безответственная сила тех миллионов военнопленных, которые в то время были в России. Все конные отряды при ЧК, все ударные батальоны внутренней стражи были заполнены военнопленными германцами, мадьярами и так называемыми австрийцами. Под австрийцами разумелась вся смесь народов, входивших в состав Австро-Венгрии: австрийцы, хорваты, словенцы, сербы, мадьяры, русины, швабы, чехи, галичане, поляки, бывшие в подданстве Австро-Венгрии. Вместе с китайцами и латышами они наводили ужас на обезоруженное население.

Многие из них, в особенности мадьяры, хорваты и латыши, занимали ответственные посты, как, например, председателей ЧК, комиссаров и заведующих отдельными частями. Все обыски и облавы не обходились без них. Бывало так, что при ночных обысках ни один из этих иностранцев не умел говорить по-русски, и потому они грабили молча, не отвечая на вопросы обывателей. Это так называемые самочинные обыски. Но параллельно с ними

шли обыски от большевистской власти, при которых обыкновенно присутствовал комиссар, тогда эти иностранцы держали себя скромнее.

Они же, эти иностранцы, расстреливали вместе с членами ЧК приговоренных к расстрелу. Так было и при убийстве Государя Императора и его семьи. Я никогда не забуду, как на третий или четвертый день установления большевистской власти в Чернигове я с трепетом проходил мимо здания Чрезвычайки. На посту возле ворот с винтовками на плечах стояли два австрийца-военнопленных - не то чехи, не то русины, которых я знал лично, потому что они работали у меня в слесарной. С одним из них я разговаривал всегда по-немецки. Оба они приветливо раскланялись со мной.

Это все видел русский народ. Но что он мог сделать, когда все это исходило от большевистской власти? Она воспользовалась пребыванием на территории русского государства этих военнопленных, чтобы при их помощи разгромить прежний строй.

Россия, можно сказать, в первый момент большевизма была во власти военнопленных. Я был этому свидетель, но об этом как-то мало говорили. Но что скажет по этому поводу историк!

И вот почему-то все мы, современники и очевидцы, глубоко убеждены, что история умолчит об этом. Есть и в истории свои приемы. По некоторым вопросам не принято говорить, и лучше замолчать, в особенности если это не соответствует партийным взглядам историка. Один французский историк, не так давно описывая Европейскую войну, ни словом не обмолвился о России, точно она не принимала участия в Великой войне. Это говорил мне З. А. Макшеев, читавший эту книгу. Вот вам и история, по которой воспитываются целые поколения!

Помню, когда я был в Загребе в 1922 году, в газете была помещена заметка о том, что через Загреб проходит эшелон военнопленных мадьяр, прибывших из Советской России. Эшелон этот, состоявший из четырехсот с лишним человек, не будет выпущен на свободу, а будет прямо направлен в Венгрию, так как это те пленные, которые служили у большевиков в ЧК и отрядах Красной армии. Я видел, как вели этот эшелон, и подумал: вот где мне пришлось увидеть еще раз этих людей!

Это была мне знакомая картина. Те же красные шапочки с кисточками (мадьяры), в которых они ходили по Чернигову. Те же звериные физиономии, от которых приходило в ужас мирное население при ночных обысках. Но там они были еще страшнее, что они были чужие люди, и иной вор и русский человек был для них равно ничем. Они были хуже большевиков, потому что они не руководствовались никакой идеей, а просто были «шакалами»,

рыскающими по России и грабившими русских людей.

Я написал тогда об этом корреспонденцию в газету «Новое время», но газета эта из политических видов не напечатала эту статью. А ведь тут, может быть, были и те «австрийцы», которые расстреливали Царскую семью.

* * *

С закрытием Харьковского института Новый Бечей совершенно опустел. Русских осталось здесь с детьми 40 человек, которые объединились вокруг русской колонии. Правление колонии наняло приличное помещение и назначило по средам собрания, которые начинаются чаепитием, а затем переходят на игру в лото. Правление открыто ежедневно от 10 до 2 часов, и в это время можно приходить почитать газеты. Колония имеет также приличную библиотеку. К 12 часам очень часто собирается публика, которая устраивает здесь рюмку водки с русскими закусками. По воскресеньям на этой рюмке водки бывают и сербы, имеющие служебное отношение к нашим русским служащим в правительственных учреждениях.

Из оставшихся в Новом Бечее русских 5-6 человек служит в местных правительственных учреждениях. Это принявшие сербское подданство: Криун - помощник срезского начальника, Мартыненко - подбележ-ник, Булацель, Россосо, Медведев и граф Толстой (агроном). Столько же человек живет на частные заработки, а большинство живет на пособие, которое получают по старости лет или по болезни от Державной комиссии, причем служащие Харьковского института, оставшиеся за бортом, получают весьма приличную пенсию в сумме до 500 динар в месяц. Я не попал в число этих пенсионеров, потому что преподаватель музыки при институте не входит в число штатных преподавателей.

Колония, можно сказать, живет дружно. Весь беспокойный элемент, создававший атмосферу интриг, сплетен и гадостей, покинул Новый Бе-чей, получив назначение в другие русские учебные заведения. Председателем колонии и церковной общины был избран М. М. Родзянко, оказавшийся отличным регентом. Буквально из ничего он создал церковный хор, который придал торжественность и благолепие церковной службе. Он же исходатайствовал в полное наше владение малую монастырскую церковь на дамбе возле р. Тиссы, и тут собирается каждый праздник и под праздник все русское общество.

Первое время по закрытии института я как будто немного растерялся, хотя и имел достаточное количество частных уроков музыки. Мне казалось, что это не обеспечит меня и что мне надо искать чего-нибудь нового. У меня были сбережения, но они

пропали в «гитедионице», где я хранил свои деньги. Банк лопнул, и денег оттуда их владельцам не выдали.

Это была главная причина, по которой я начал искать службы. В дни этих сомнений я получил из Белграда предложение от родителей одной своей ученицы приехать к ним и за стол и квартиру с небольшим жалованьем принять два урока музыки и присматривать за детьми. Я бросил все и поехал в Белград. Я пробыл у Филимоновых ровно месяц. Произошло недоразумение. Никакой музыки здесь в доме нет и быть не может. Я оказался в роли репетитора и гувернера, да еще с обязательством, чтобы дети не получали двоек. К счастью, меня с охотой звали вернуться в Новый Бечей, где за мной остались уроки музыки.

15 ноября 1932 года я вернулся в Новый Бечей и решил обосноваться здесь. Понемногу выяснилось, что конкурентов у меня в Новом Бечее нет и здесь можно иметь достаточное количество уроков. Я скоро перебрался на свою старую квартиру при прежней своей обстановке, но это была уже не прежняя жизнь служащего и обеспеченного человека, а опять беженская жизнь.

Прежде всего пришлось идти в канцелярию срезского начальника и выбирать документ - нансеновский паспорт, то есть выплачивать ежегодный налог, установленный Лигой наций для русских беженцев. Правда, этот документ мы должны были иметь и раньше, но у нас было еще удостоверение от Института, которое расценивалось больше нансе-новской марки.

Морально, конечно, это было ужасно. Нансеновский паспорт - это прежде всего удостоверение того, что налог на постройку дворца Лиги наций уплочен. Во-вторых, это удостоверение бесправия, то есть того, что в России считалось «волчьим паспортом» или «желтым билетом». С ним -никуда! Сиди в Новом Бечее под надзором полиции - вот и все.

В Новом Бечее, конечно, все друг друга знают, и потому особой сложности эта операция не представляет, но в Белграде это было что-то ужасное. Получить русскому человеку документ, то есть «дозвол» на жительство в Белграде, - это требует невероятных усилий, не только умственных и моральных, но и просто физических. В течение 17 дней я бегал из учреждения в учреждение, чтобы получить этот документ. Я получил его, но стал как после тяжелой болезни. Меня пропустили через фильтр и дозволили жить в Белграде, но ведь это только на 6 месяцев. Потом мне предстояла такая же процедура. Меня, как юриста, знающего и практически и теоретически административную систему регистрации, поражала эта установленная для русских процедура. 17 дней на выборку документа! Но когда же работать и сколько стоит такой документ?!

Как бы то ни было, я получил достаточное количество уроков, чтобы жить. Из них три урока даже интересных, и моя беженская жизнь в Новом Бечее вошла в колею. Вот что я писал не так давно одной моей хорошей ученице, которая очень просила меня описать мою жизнь в Новом Бечее.

«Утром до обеда я свободен. Это мое любимое время. У меня выработалась, как у всех одиноких людей, особая страсть к порядку. Не могу видеть, когда что-нибудь не на месте. И вот, вспоминая Женю, я ставлю ночные туфли носками вместе, чтобы они представляли собой пару, а не валялись разрозненными на полу возле кровати.

Если Вы спросите, что я делаю по утрам, то на этот вопрос я сам вряд ли сумею ответить. Сидя за письменным столом (кстати, у меня свой собственный стол), читаю, рисую, занимаюсь лепкой, пишу свои записки, иногда, как сегодня, пишу письма, читаю, привожу в порядок (или, вернее, любуюсь на) ноты; иногда пришиваю пуговицы и починяю белье.

Мой письменный стол стоит возле открытого окна, так что мне виден весь двор и мой садик. Зелень теперь свежая, яркая, сочная, а цветы - это один восторг. Не могу оторваться от них и иногда часами сижу без всякого дела и смотрю в это приветливо раскрытое окно. Воздух чудесный - еще весенний, свежий, бодрящий. В цвету каштаны, акации, жасмин. Запах от них одуряющий. У открытого окна еще слышно, как на реке квакают лягушки.

Сижу и наслаждаюсь этими яркими, весенними днями. Как легко дышится и как чувствуется это очарование природы! Вокруг тишина и покой, нарушаемый лишь звуками той же природы. Везде - и близко, и далеко, слышится петушиный крик. Где-то недалеко беспокойно квокчет квочка и кудахчет курица. По соседству, на большом дереве, симпатично воркуют горлицы. Иногда в окно врывается отдаленное мычание коровы или хрюканье пасущейся на улице свиньи. И только изредка, как диссонанс, послышатся через другое окно шаги прохожего и пробежит от него по комнате неясная тень. Но больше всего оживляют природу - это гудки буксирных пароходов, проходящих Н. Бечей...

На столе у меня всегда стоят в вазочках цветы по сезону. Сейчас стоят еще последние тюльпаны (по здешнему, лола). Это так украшает комнату и так гармонирует с теми, кто в рамках под стеклом неумело сопутствует моей жизни! Посмотрю на Вас, Женю, Нину, Нонну, Варю, Таню, и так грустно вспоминается наша работа в родном для Вас институте. Но вдруг в открытое окно влетает с пронзительным жужжанием громадная зеленая

муха и, как аэроплан, стремительно начинает кружиться по комнате и затем так же стремительно исчезает в окне. Наступает опять тишина.

Но вот в комнате непрошеная гостья. Цветы привлекли внимание какой-то небольшой пчелки. Покружившись немного над столом, она спустилась на цветок и впилась в его лепесток. Но вот слышится рассекающий воздух звук приближающегося аэроплана - этого чудовища, созданного человеком для истребления друг друга. Не люблю я этот аппарат и радуюсь, когда после него, плавно рассекая своими громадными крыльями воздух, летит прямо перед моим окном аист. Я знаю его. Он со своей парой устроился на высокой скирде соломы во дворе, недалеко от А. Н. Кокорева. Говорят, что эта птица приносит счастье тому дому, возле которого она поселилась. Вот почему у нас в Малороссии на верхушках высоких деревьев прикрепляют старые колеса, привлекая этим аиста свить на нем гнездо.

Вот за что я люблю Н. Бечей. Это не деревня, не город, но все-таки здесь чувствуешь себя среди природы. Имею свой лук, укроп, редиску и салат, а в будущем огурцы и томаты. Я посеял это уже давно и теперь пользуюсь продуктами своего посева. Иногда с увлечением провожу все утро за работой в своем огороде. Все у меня в очереди.

Сейчас я занят лепкой и сам в восторге от своей работы. Семиклассница и зеленая институтка вышли отлично. Теперь работаю над восьмиклассницей по фотографии Ляли Рябиной. Это труднее, но, по-видимому, справлюсь с этой задачей. Скоро начну рисовать. Едем с графом Толстым (он тоже рисует) на старую крепость, где будем рисовать Старый Бечей.

К пяти часам я должен быть дома. Это часы моих уроков и упражнений. Играю по очереди у Никитиных, Толмачевых и Шлезингер. Играю с удовольствием. Очень часто играю оставшиеся у меня школьные произведения, которые были в ходу в институте и отлично игрались Олей Вейнштейн (Бах, Геллер, Мошковский, Jensen). Вечерами на сон грядущий читаю газеты, то есть занимаюсь политикой, или читаю романы.

Вот так сложилась моя жизнь. Я чувствую, что отдохнул и поправился. Это то, что мне было нужно. После пережитого в России и эвакуации - это мой первый отдых. Долго ли он будет продолжаться? Помню, в Загребе я смотрел на свое положение как на временное и всегда готовился к какому-то будущему, зная наверное, что это не последний этап моей жизни. Теперь же я часто задумываюсь над тем, а что же дальше... И вот этот вопрос мучает меня. Тоскливо хочется домой, к своим, в Россию, на

русскую землю. На этом всегда прерывается моя мысль».

* * *

23 октября 1933 года исполнится ровно 14 лет моей скитальческой жизни. Ведь это почти четвертая часть жизни человека. Так ярко рисуются в памяти эти картины прошлого, и не хочется верить, что все это уже давно прошедшее, изжитое, уже забываемое и сглаживаемое последующими событиями. Как будто не так давно случилась эта катастрофа эвакуации части русского народа, оставшегося в меньшинстве в борьбе с большевиками. Сто двадцать тысяч русских людей были посажены генералом Врангелем на корабли и увезены из Крыма от преследования большевиков. Тогда это казалось явлением мирового масштаба и незабываемым событием. Мне удалось зарисовать эту картину эвакуации, и рисунок этот уже появился в печати <. .>

В средние учебные заведения уже поступили дети, родившиеся за границей. Те, кто был вывезен из России, окончили средние учебные заведения. Их сменило следующее поколение, не знающее России.

Европа в этом отношении счастливее нас. Там после войны все-таки уцелел тыл. Мы видим теперь этих героев тыла, неизвестно где бывших во время войны. Они сменили после войны стариков. Правда, они повергли Европу в полнейший хаос и просто уничтожают вековую культуру. Но все-таки они есть. Макдональд, Эберт, Эри, Бенеш и т.п. - это то же самое, что у нас в России были так называемые земгусары - те же герои тыла, разрушавшие государственные устои и фронт.

Мы далеки от политики и если касаемся иногда общих политических вопросов, то, во-первых, мы делаем это мимоходом, а во-вторых, потому, что переживаемые нами настроения не были бы понятны вне связи с мировыми событиями. Так, например, сейчас в Англии происходит мировая экономическая конференция, представляющая 66 государств. Людям прежнего масштаба, видевшим дела великих государств довоенного времени, кажутся убогими и наивными эти потуги современных государственных и общественных деятелей разрешить все трудности послевоенного времени.

Газеты приносят нам пустую болтовню, указывающую на отсутствие сколько-нибудь крупных и сильных людей на политическом горизонте. Единственная крупная фигура, которая выделяется на конференции, - это представитель Советской России еврей Литвинов, заставивший считаться с собой и умудрившийся даже добиться признания Советской России балканскими странами. Оправдываясь, некоторые государства заявляют, что это не признание, а лишь подписание какого-то

пакта, которое еще не означает признания.

Чтобы не входить по существу в рассуждения по этому поводу, мы приводим здесь выписку из газеты «Возрождение» от 5 июля 1933 г. № 2955:

«Белград 4 июля. Подписание пакта Югославией означает фактическое признание Югославией СССР. В политических кругах, однако, указывают, что от такого фактического признания было бы еще далеко от признания de jure и установления нормальных отношений между обоими государствами».

Для нас, конечно, эти тонкости дипломатической игры безразличны, но мы не дети, чтобы дать себя провести. Раз два государства подписывают какой-то пакт, хотя бы и самый незначительный, то, естественно, они признают друг друга. А будет ли de jure или de facto - не все ли равно. Мы знаем только одно. Пятнадцать лет назад о таком признании и речи быть не могло, и если бы встречались отдельные лица, которые уверяли бы, что рано или поздно Сербия признает большевиков, то этому так же не верили, как не верилось бы в предсказание конца света.

Нас не интересует этот вопрос с политической точки зрения, а мы недоумеваем, как быть с православием. Православная Сербия вступает в переговоры и хочет установить дружеские отношения со страной, где официальной религией признается безбожие, где разрушаются и оскверняются церкви и где физически уничтожают духовенство. Нам это совершенно непонятно, и мы готовы утверждать, что эта помесь православия с безбожием неосуществима. Кто-нибудь должен уступить - или православие, или безбожие.

Какие последствия будет иметь это признание Югославией большевиков, трудно сказать, но в русской эмиграции, как пишут со всех сторон, царит угнетенное состояние. Не ожидали! И потому это особенно тяжело. Союз-пакт с правительством, уничтожающим русский народ!

России нет! Это название уничтожено 15 лет тому назад, и в том же королевстве С. Х. С. тогда было отдано распоряжение о том, чтобы письма, адресованные в Россию, не принимались на почте. Тем не менее Европа упорно называет этот Союз Советских Социалистических Республик Россией, отождествляя ее с бывшей Россией. Мы также упорно указываем им, что России нет, а они все-таки повторяют заученное с детства название, несмотря на то что ни в одном учебнике географии и ни в одном географическом атласе слово «Россия» не встречается.

Мы отлично знаем отношения югославянского короля Александра I к русским людям и к прежней Великой России. Среди общего европейского хаоса, вызванного демократическими

тенденциями правителей даже самых крупных государств, личность короля Александра привлекает к себе прежде всего тем, что этот человек, если можно выразиться, довоенной структуры. И по своему образованию, по своему воспитанию и по складу своей личности это воспитанник того периода жизни народов, которого достигла цивилизация как кульминационного своего пункта.

Личность Александра I оказалась слишком определенной, чтобы идти по общему пути послевоенного развала. Этот человек остался тем, чем был человек до войны. Мы, русские, любим этого человека и глубоко ценим его отношение и к России и к нам - русским беженцам. Нам не нужны факты и доказательства, мы чувствуем эту искреннюю любовь к нам Короля Александра, и это чувство наше выше всяких доказательств. И мы отлично видим, что этот человек одинок среди окружающих его народов.

Монархизм теперь не в моде. Мы молим только об одном - чтобы Бог сохранил нам нашего любимого короля Югославии. Ему трудно. Он одинок. Говорят, что он страшно постарел и поседел. Да иначе и быть не может. Порядочному человеку нелегко видеть картину погрома современной цивилизации и сознавать свое бессилие в этом вопросе.

Пятнадцатилетнее пребывание русской эмиграции в Югославии требует, конечно, того, чтобы подытожить этот срок и сделать общие выводы. Ведь свидетели этой ужасной катастрофы уходят со сцены, и то, что они видели своими глазами, очень скоро сделается предметом истории и повествований по разным письменным материалам, которые достанутся потомству. Одни будут говорить так, другие иначе - в зависимости от материала, который будет в руках у историка. Если сейчас находятся люди, восхваляющие большевистский режим, то, очевидно, и историки разделятся на две группы. Одни будут восхвалять достижения большевиков, оправдывая все их зверства идейной стороной дела. Другие будут изображать действительность такой, как она есть, и публика не будет знать, кому верить.

Впрочем, еще вернее, что все скоро забудется. Я вспоминаю первую русскую революцию после Японской войны (1905-1906). Как современник и очевидец, записавший в свои записки все, что я видел во время этой революции, я утверждаю, что уже начиная с 1909 года эту революцию начали забывать, а с 1912 года ее даже никто не хотел вспоминать. А сколько людей тогда было убито!

А Кронштадт, Свеаборг, Севастополь, саперный бунт в Киеве, а Потемкин! И все это забыто. Я встречал потом в жизни уже взрослыми детей тех, кто был убит в 1905 году. Правда, они не забыли того, что было, но они были одиноки в своих

воспоминаниях.

Теперь ситуация несколько иная. Тогда все происходило внутри России, и эвакуации не было. Теперь вопрос расчленяется. То, что происходит на территории бывшей России, - это несмываемый позор для всего цивилизованного мира, и позор прежде всего для интеллигенции всей Европы. Но мы об этом не будем говорить.

Наша эмиграция рассеяна по всему миру. О ней мы читаем в газетах и отдельных книгах и брошюрах, но мы лично знаем только нашу эмиграцию, осевшую в Югославии. Мы здесь живем почти с самого начала, и на наших глазах постепенно шла эволюция нашего беженства. В каком же порядке шла эта эволюция?

На этот вопрос можно ответить очень кратко. Русское беженство работало и работает так, как, вероятно, не работал ни один народ. И в этом отношении русские люди на чужбине отлично приспособились к исключительным условиям их жизни. Очень многие не выдержали этой борьбы за жизнь и ушли преждевременно в могилу. Многие просто умерли от голода и холода. Вот, в сущности, и вся эволюция русского беженства. Не о ней надо говорить, а об эволюции, которая произошла за эти 15-16 лет во внешних условиях жизни.

Большевики одержали за это время мировую победу. Почти весь мир, то есть все государства, признали их и поддерживают так называемый Союз Советских Социалистических Республик, вступив с правительством этого союза в дружеские отношения. Случилось это не сразу, но как именно это случилось, мы говорить об этом тоже не будем. Достаточно указать, что 16 лет потребовалось, чтобы общественное настроение эволюционировало до признания большевизма.

Этот вопрос не может не волновать русское беженство, и без упоминания о нем не были бы понятны русские настроения. Вот почему мы коснулись этого политического вопроса и с брезгливостью говорим о нем. По нашему мнению, вся вина за эти позорные страшные истории всецело ложится на ответственность европейской интеллигенции, убогость мысли и недомыслие которой стало очевидным для русского человека. Европу ненавидят и там, в Советской России, и здесь, в эмиграции.

Теперь только поняли русские люди, насколько высоко по сравнению с Европой стояла наша духовная русская культура. И это отлично понимается обеими сторонами, почему и во взаимных отношениях сербского народа и русской эмиграции произошли большие перемены. Появился вопрос, о котором и та и

другая стороны умалчивают. Этого требует такт. «Не правда ли, сегодня очень хорошая погода?» - начинают разговор встретившиеся стороны, отлично понимая, что в этой фразе появилась фальшивая нотка.

В России страшный голод. Люди умирают миллионами. Большевики расправляются с голодным народом, усиливая террор. И в это время идет вопрос о признании советского правительства. Конечно, об этом лучше не говорить. И вот и та и другая стороны дали обет молчания. Вопрос о погоде стал доминирующим. С этого начинается разговор, и этим он заканчивается. Но так как эта неестественность слишком очевидна, то и та и другая стороны просто предпочитают избегать друг друга.

Мы сами испытываем это. Вот идет серб, с которым когда-то давно так легко говорилось о «майке России». Он был в России в качестве военнопленного. Теперь он молчит. Надо перейти улицу, на другой тротуар, чтобы избежать неловкой встречи. Люди, не сочувствующие этому сближению Сербии с безбожной советской властью, подчеркивают иногда свои симпатии к русским и начинают иногда разговор о России, но в этих случаях русские заговаривают о погоде, чтобы избежать щепетильной темы. Надо быть осторожным, тем более что многие и действительно переоценили свои взгляды и резко изменились в отношениях к русской эмиграции.

И вот русская эмиграция, или, вернее, русское беженство, замкнулось в себе и только издали следит за развитием назревающих событий. К сожалению, эти настроения передались и русскому беженству во взаимных отношениях. «Я очень рад, что у нас как-то установилось само собой, что нет разговоров о политике», - сказал мне председатель нашей колонии. «Но ведь, позвольте, в России голод - может, и наши близкие и родные там умирают. Ведь даже в Европе раздаются голоса возмущения», - отвечаю я. «Нет, это политика, пожалуйста, об этом не говорите» - так отвечают мне в нашей колонии.

Чего же теперь ждать нам? В 1922 году, когда правительство Болгарии вступило в связь с большевиками, болгарский народ пошел за ним и устроил в Болгарии побоище русских людей, находившихся на территории Болгарии, и только угрожающая телеграмма генерала Врангеля от 16 мая 1922 года председателю болгарского Совета министров прекратила это избиение русских людей. Но было уже поздно. Много избитых, убитых, умерших от ран и оскорблений поставили клеймо на эту страницу болгарской истории. Невольно по аналогии напрашивается вопрос, каково же будет теперь положение русской эмиграции в Югославии.

«Ну что же! Будет то же самое, что было в Болгарии», - отвечают с искривленной улыбкой русские люди. Вот в этом ответе мы видим ту эволюцию, которая произошла в беженской среде за 15 лет. Разве можно было получить такой ответ 15 лет тому назад в Сербии? И как убого после этого звучат потуги некоторых газет напомнить людям о существовании какой-то славянской идеи! Теперь Югославия не может считаться славянской страной. Она пошла рука об руку с католической Францией, а взгляд Франции на славянство всем известен. Он был громогласно высказан прокурором Франции на процессе Гургулова. И мы часто вспоминаем вместе с доктором Крамаржем Николу Пашича. При нем этого не могло быть. Мы приводим здесь выписку из статьи д. Крамаржа, которая лучше всего характеризует положение.

«За рубежом

“В одной из балканских стран, до сих пор не признавшей большевиков, цензура вычеркнула слова “зверски убиенных и большевиками умученных” из объявления в местной русской газете о панихиде по царской семье».

Возрождение. 19 августа 1933. № 3000

* * *

«Никола М. Богданович, видный общественный деятель г. Белграда, друг русских. Богданович на “X встрече” выступил с речью, в которой выступил выразителем и истолкователем патриотических чувств лучшей части сербского общества.

Как четник и бывший доброволец, в ярких образах г. Богданович говорил о страданиях России, о Голгофе русского народа. Ссылаясь на страдания и воскресение Сербии, талантливый оратор высказал непоколебимую уверенность в воскресении России. С негодованием он осудил недостойные выпады против русских некоторых своих соотечественников. “Они забыли прошлое, - сказал он, - а я хорошо его помню. Тогда, имея в руках русскую винтовку, а в патронташе русские патроны и в русской шинели, я защищал свою Родину, а теперь вижу вас, русских, в таком положении и содрогаюсь при воспоминании о прошлом. Не обращайте на них внимания, потому что все эти люди не нюхали пороху и не знают, что Россия за нас вступила в войну и за нас пострадала, и вы очутились в изгнании”.

Оратор говорил о гибели миллионов сынов русского народа при молчании Европы и выразил твердую уверенность в грядущем воскресении России на страх всех ее врагов, как на страх врагов Божиих воскрес Иисус Христос. Богданович закончил свою замечательную речь пламенными возгласами по адресу Императора Николая II и будущей царской России».

Царский вестник. 3 сентября 1933. № 360

* * *

9 августа Новый Бечей был в страшном возбуждении. На улицах увидели целую комиссию с начальницей Донского института Н. В. Духониной во главе, которая осматривала помещения для размещения Донского института. Еще в прошлом году, когда остатки Харьковского института переводились в Донской институт, много было разговоров о том, что военное ведомство несомненно потребует очищения помещений, которые заняты в Белой Церкви Донским институтом и кадетским корпусом. Это, между прочим, ставилось в основание, когда местные жители ходатайствовали в прошлом году об оставлении

в Н. Бечее института.

Как известно, Державная комиссия настояла на своем, причем начальник русских учебных заведений профессор Кульбакин даже сказал новобечейской депутации, что если министр прикажет оставить институт в Н. Бечее, то он сейчас же подаст прошение об отставке и покинет Сербию. Так остро стоял этот вопрос в Державной комиссии в прошлом году. Теперь положение изменилось. Военное ведомство поставило вопрос ребром, и Донскому институту, как равно и кадетскому корпусу, приходится уезжать из Белой Церкви.

Донской кадетский корпус в Гарадже (возле Сараево) к сентябрю этого года закрывается, или, как говорят, сливается с Крымским кадетским корпусом в Белой Церкви, поэтому директору корпуса генералу Адамовичу предложено ликвидировать дела в Белой Церкви и ехать в Гараджу, где в его распоряжении остается все имущество Донского кадетского корпуса. Донскому институту нет другого выхода, как ехать в Н. Бечей. И вот Державная комиссия хлопочет перед новобечейской общественностью о принятии Донского института и отводе ему тех помещений, которые были заняты Харьковским институтом.

Но ситуация теперь несколько изменилась. В прошлом году местное население, заинтересованное в пребывании такого большого учреждения, как среднее учебное заведение, в Н. Бечее, дружно стояло за оставление здесь Харьковского института. В этом году образовалась партия, которая не хочет, чтобы в Н. Бечее был институт. Учителя гражданской и основной школы заняли под квартиры бывшее здание общежития Харьковского института и не хотят отдавать эти помещения. Идет напряженная борьба. Мы лихорадочно следим за этой борьбой.

Пребывание в Н. Бечее русского учебного заведения имеет для нас громадное значение. Материально мы, конечно, ничего не выгадываем. Напротив, жизнь станет немного дороже, но мы приобретаем духовные ценности. Никто из нас, конечно, не попадет на службу в институт, но жизнь наша в этом захолустном городке станет иной. Говорят, что m-me Духонина ни за что не хочет ехать в Н. Бечей. Здесь, говорит она, помещения для института разбросаны по всему городу, и потому надзор за воспитанницами страшно осложнен, а та свобода режима, которая была в Харьковском институте, ей не нравится.

Вопрос этот очень волнует нас. Помимо того, что мы опять, может быть, попадем в культурную среду среди русских, нам хочется, чтобы институт был здесь ввиду новой политической ситуации. Признание Югославией большевиков, конечно, будет иметь свои последствия и, несомненно, отразится на отношениях

местного населения к русским беженцам. Нас здесь слишком мало, чтобы с нами считались. Институт, если он будет в Н. Бечее, заставит местное население именно посчитаться с русскими уже по одному тому, что он будет находиться в ведении правительства.

Уже на этих днях один из местных адвокатов (серб) сказал нашему бывшему преподавателю Я. П. Кобцу: «Зачем Вы тут сидите и не едете в Россию? Там уже установился отличный порядок, и жизнь идет вполне нормально. Никакого террора там нет. Нет и того голода, о котором пишут некоторые газеты. Вам надо помочь своим же русским, а вы тут живете беззаботно и развлекаетесь».

Это было сказано после неудачного выступления нашей колонии, устроившей нечто вроде спектакля, показавшегося публике убогим после тех великолепных спектаклей, которые устраивались институтом. Как служащие в институте, мы пользовались в Н. Бечее известным общественным положением. Теперь в качестве частных лиц, вошедших в соприкосновение с обывателем, мы заняли подчиненную роль в обществе. Мы спустились вниз и уже, конечно, не ходим в кондитерскую и рестораны, как бывало раньше, а в кино занимаем места вместе с простонародьем.

Не чувствовали мы прежде и скрытых противников русской эмиграции, которые совершенно неожиданно проявили себя после того, как был ликвидирован институт. Мы знали, например, что вся семья надзорника основной школы г. Чиплича не была расположена к русским и, где только было можно, шла против них. Теперь язык их развязался. Оба студента Чипличи громко высказываются против русской эмиграции, называя всех русских мужчин дегенератами.

Когда это услышала кончившая в прошлом году институт М. Криун, бывшая в том обществе, где была произнесена эта фраза, то она встрепенулась и сказала: «Ну-ну, продолжайте», - и студент Чиплич повторил: «Да, все ваши мужчины дегенераты». Конечно, это не собственное мнение студента Чиплича, а результат пропаганды, которая в последнее время идет усиленным темпом.

Мы ждали с нетерпением известий и жадно ловили каждый слух. Из Белой Церкви уже получены здесь письма от служащих с просьбой подыскать квартиры. Вопрос, казалось бы, решен окончательно. Державная комиссия уже делает распоряжения, и представители ее сидят в Белой Церкви, обсуждая в заседаниях способы переезда кадетского корпуса в Гараджу. Но вот директору кадетского корпуса генералу Абрамовичу посчастливилось добиться приема у короля Александра, после

которого Его Величество выразил пожелание, чтобы Крымский кадетский корпус оставался в своем помещении в Белой Церкви.

Это вышло против желания Державной комиссии, но это была воля короля. Военный министр не так давно был с визитом в Белой Церкви у генерала Абрамовича и лично объявил ему волю короля. Какие разговоры шли о Донском институте, мы не знаем, но скоро стало известно, что и институт решено оставить в Белой Церкви. С большим огорчением мы приняли эту весть. Не только мы, но и местное население в большинстве выражало по этому поводу сожаление. Торговцы учитывали свои выгоды, ремесленники и мастеровые теряли свои прибыли, а часть местной мадьярской и сербской интеллигенции отлично понимала, что в культурном отношении это большой минус для Н. Бечея.

* * *

< ..> Этот танец называется «шими» и превосходит своим безобразием все, что я видел до сих пор. Помимо того, что сам по себе танец был неприличен, все дамы и барышни были оголены до цинизма. Юбки выше колен, декольте чуть не до пояса, руки, плечи и спина обнажены до последней степени. Платья почти прозрачные, просвечивающие все тело.

Мне было стыдно, и я чувствовал большую неловкость. Мне объяснили, что теперь эти танцы общепризнанны и что старых танцев уже не танцуют. Во всех ресторанах, кафанах и клубах, где только играет оркестр, эти новые танцы танцуются между столиками.

Но не только это, но и самый вечер произвел на меня какое-то странное впечатление. Молодые люди, не только русские, а почти все, были одеты очень бедно, все в пиджачках с мягкими воротничками. В этих воротничках, похожих на воротники ночных рубах, теперь можно видеть решительно всех. К нам в Харьковский институт впоследствии даже приезжал товарищ министра народного просвещения в таком помятом, мягком и грязном воротничке и в дешевеньком пиджачке.

Это, как оказалось, теперь в моде. Это признак демократизма, которым пропитаны после войны все слои общества во всей Европе. Даже к своим королям современные министры-демократы ездят с докладом в пиджачках. Этот внешний демократизм, заменивший собой прежний строй общественно-буржуазной жизни, наблюдается теперь повсюду.

Людские отношения опростились. Оголилось не только тело, но и душа. Достаточно посмотреть, что делается на пляжах, где бесстыдство доведено до последних пределов. А нудисты во Франции! Конечно, это следствие войны и революции, но люди

уже привыкли к этому, вводя в жизнь эти новые понятия о морали.

Сокольские упражнения делались и раньше, до войны, но голых на этих упражнениях мы не видели. Теперь летом повсюду видишь голые тела. Куда ни пойдешь, всюду голые люди. Пойдешь на реку или на взморье - открытые пляжи. Пойдешь в рощу или загородный парк - голые футболисты. Возле каждой школы - голые сокольские упражнения. Даже рабочие теперь грузят и разгружают на станциях и пристанях в голом виде. И это считается теперь нормальным явлением.

Я вспоминаю, как в 1928 году в Н. Бечей прибыли кадеты Крымского корпуса и делали сокольскую гимнастику. Начальница института М. А. Неклюдова повела на эту гимнастику весь институт. Кадеты делали гимнастику голыми, в одних трусиках. Я сидел в ряду семиклассниц, и мне было очень стыдно. Даже во дворе институтской столовой, где во время обеда и ужина постоянно толкутся институтки, получающие кипяток, идут все лето сокольские упражнения полуголых сербских соколов.

Но бывало еще хуже. Когда в Бечкереке был очередной сокольский слет, наши институтки шли на вокзал строем за сербскими соколами, но в Бечкереке они были размещены вместе в здании школы. Перед выступлением сокола и наши соколицы-институтки переодевались в одном помещении. Я не был в этом помещении, но мне рассказывали, что голые сокола в одних трусиках подходили группами к нашим институткам и разговаривали с ними.

Кто же были эти сокола? Это наша бечейская молодежь - шегерты (приказчики), парикмахеры, колбасники, мясники и т.д. И тут же ходила в толпе начальница института, не находя способов изолировать своих воспитанниц. Ужасно воняло потом от этих голых соколов, говорил мне потом И. Г. Румянцев (эконом нашего института), ездивший с институтом на этот слет.

Культ голого тела - это болезнь современности после войны. Все лето молодежь проводит на пляжах или увлекается футболом и сокольской гимнастикой. Очень модным считается загореть на солнце до степени чернокожего. Возвращаются к осени с дачных мест и курортов совсем бронзовыми и щеголяют друг перед другом этой натуральной красотой.

Лето теперь проводится спортивно. Это не развлечение, как было раньше, а скорее профессиональное занятие. Впрочем, не только летом молодежь занята гимнастикой, занятия идут и зимой в закрытых помещениях, во всех школах. Невольно напрашивается вопрос, когда же эта молодежь занимается. Ведь это не десятки и сотни, а буквально все.

Я имею среди этой учащейся молодежи учеников и учениц. И что же? На лето они прекращают брать уроки музыки, потому что целый день проводят или на пляже, или играют в футбол. Я сам купаюсь два раза в день и отлично вижу, что делается и в купальне и на пляже. Но когда же эта молодежь читает книги, задавал я себе этот вопрос. А может быть, кто-нибудь из них рисует или изучает иностранные языки? И вот на этот вопрос молодежь отмалчивается.

Я заметил еще в Загребе, где я стоял благодаря положению брата очень близко к студенческой молодежи, что она кроме газет буквально ничего не читает. Мне приходилось говорить по этому поводу с родителями этой учащейся молодежи. Они сознают, что их детям следовало бы чтением книг развивать свой ум и вообще заниматься дома чем-нибудь более целесообразным, чем футбол и сокольская гимнастика, но мешает школа, которая занимается более физическим развитием, чем умственным.

К сожалению, и наша русская молодежь идет по стопам сербов. Зимой им некогда читать, и мешает спорт. Бронзовые, с развитыми до крайности мускулами, эта молодежь мало расположена к умственному труду и потому, конечно, в жизни она стушуется, как мало пригодный к серьезному делу элемент.

Как преподавателю, имеющему много частных уроков, мне приходилось наблюдать эту учащуюся молодежь. Она ничего не знает и ничем не интересуется. Я спросил однажды отца одного из моих учеников, который просил меня перенести уроки на утро, чтобы его сын был свободен целый день, что делает его сын Алекс целый день. Футбол, сокольские упражнения и купание отнимает у него все время. Вот его нормальный образ жизни летом. Раньше он хорошо говорил по-немецки, а теперь забыл все. Зимой идет с двумя репетиторами.

Вот почему нужно глубоко сожалеть, что Державная сербская комиссия по делам русских беженцев так энергично ликвидирует вывезенные из России средние русские учебные заведения. Из шести таких заведений сейчас осталось только два - Донской женский институт и кадетский корпус в Белой Церкви, то есть вместо 1300-1400 мест русское беженство располагает теперь всего около 400 вакансиями в русской средней школе. На эти вакансии попадают, конечно, избранные и те, кто может платить громадные деньги за правоучение своих детей (до 500 динар в месяц).

Жена профессора Н. В. Краинского платит в кадетский корпус за своего сына 500 динар в месяц. Инженер С. В. Максимов платит за свою падчерицу Г. Шлегель в Донской институт 500 динар в месяц. М. М. Кошевая платит за дочь 600 динар (Донской

институт). Остальные вынуждены отдавать своих детей в сербские гимназии, где они совершенно утрачивают русскую культуру и денационализируются.

Мы не принимаем во внимание мужскую и женскую гимназии, открытые Державной комиссией в Белграде и состоящие ныне при Доме русской культуры. Это уже не вполне русские учебные заведения. Они созданы уже здесь, в беженстве, людьми, преследовавшими свои политические цели. Всем известна история Плетневской гимназии в Белграде, в стенах которой считалось недопустимым иметь портрет русского императора и в общежитии которой считалось позором молиться Богу. И вот религиозно настроенные гимназисты молились, ложась спать, под одеялом, чтобы не подвергаться насмешкам своих товарищей.

Много писалось своевременно об этой гимназии в издававшейся в Белграде эмигрантской газете «Новое время». Это была гимназия, в которой не велось преподавания Закона Божия. Правда, в конце концов г. Плетнев был удален и кое-что было вытравлено из этой гимназии, но все-таки ее и теперь с усмешкой называют Плетневской гимназией. Традиций русской школы там нет. Нет и традиций русской жизни. Вся она пропитана нынешними тенденциями господствующего теперь в Европе демократизма и отчасти нашей керенщиной. Программа в ней принята сербская - не русская, и методы в ней не те, что были в русской школе.

Одно только осталось в ней - это то, что преподавание ведется на русском языке, но и это теперь стоит под сомнением, так как учащиеся в этой гимназии - это дети, родившиеся уже здесь и знающие сербский язык лучше русского. Это дети, не видевшие и не знающие России и воспитанные вне влияния русской жизни. Мне много приходилось говорить с ними. Эта молодежь с восторгом слушает рассказы о России, но не понимает ее, как не понимает и русскую классическую литературу. Им более доступна местная сербская жизнь и вообще все то, что они видят и воспринимают непосредственно. И в этом отношении психология их уже не русская.

Такова и женская гимназия. По сравнению с вывезенными из России женскими институтами и кадетскими корпусами, которые не только вывезли из России традиции своих учебных заведений, но и сохранили на чужбине характерные черты их, белградские русские гимназии, конечно, нам чужды. Это создание русской эмиграции, да еще с известным оттенком того, что в России называлось левизной. И мы уже видим эту колоссальную разницу в воспитании за границей институток и кадет по сравнению с

белградскими гимназистами.

Кадет, по существу, - это монархист, готовый по первому зову стать под знамена своей Родины. Он не рассуждает. Он любит свою Россию такой, какой она была, когда его вывезли оттуда. Кадет воспитан и при встрече выпрямится и скажет: «Здравия желаем». А теперь я расскажу, как здороваются гимназисты. В институтской столовой холодно. Вечером репетиция рождественского спектакля, в котором принимают участие гимназисты Белградской русской гимназии, сыновья служащих в институте. У столовой стоит начальница института с учительницей рукоделия и классной дамой. Гимназисты стоят несколько в стороне.

Мы входим в столовую - барон С. П. Корф и я. Представительная наружность барона с длинной седой бородой, да и я тоже весь седой, с небольшой бородкой, - естественно, возбуждаем всюду почтение. Мы подходим к дамам и, приподняв шляпы, целуем им руки. Затем барон с приподнятой в руке шляпой подходит к молодым людям и протягивает им руку. За ним и я подхожу к ним и готов приподнять шляпу. Все три гимназиста, приняв руку барона, не только не приподняли свои шляпы, но, почти не смотря на барона, продолжали между собой разговаривать. Я, конечно, оставил свою шляпу в покое и вовсе не поздоровался с ними. И они даже не поняли того, что они сделали.

Другой случай таков: прихожу в «русский отбор». За общим столом сидит гимназист 8-го класса и, посвистывая, просматривает газеты. Здороваясь с ним, я протянул ему руку. Он даже не приподнялся и продолжал насвистывать. Я сел к столу и углубился в чтение. Молодой человек продолжал насвистывать. Мне стало противно, и я демонстративно ушел. Конечно, он не понял моего протеста. Вот это и называется демократическим воспитанием.

У кадет этого нет. Он воспитан на прежний лад. Кадет мечтает спасти Родину и готов идти на войну. Гимназист в пиджачке и мягком воротничке продолжает бредить о том, что у помещиков надо отнять землю и отдать ее крестьянам. А что касается войны, то он заявляет, что в авантюру он пускаться не желает. «Виноват во всем Николай», - авторитетно заявляет гимназист Плетневской гимназии. Кадет читает газеты «Новое время», «Царский вестник», «Возрождение». Гимназист читает «Дни» Милюкова. Я лично не раз уговаривал своих учениц-институток, чтобы они не принимали от гимназиста Г. этой милюковской газеты, которую он навязывает им, пытаясь заняться в институте пропагандой.

Одним словом, белградские русские эмигрантские гимназии подготавливают и вырабатывают демократов европейского типа вроде гг. Эрио, Бенеша и т.д., чуждых русской жизни. Эти гимназисты уже теперь участвуют в разных организациях и кружках, председательствуют на собраниях, делегируются на разные съезды, выступают с программными речами и учатся говорить. Апломб самоуверенности и наглости при весьма слабых знаниях даже курса средней школы вырабатывается у этих будущих дельцов с детства.

Случай привел меня присмотреться ближе и к женской гимназии при Державной сербской комиссии. В течение целого месяца я репетировал в Белграде одну третьеклассницу, посещая поэтому часто эту гимназию. Какая громадная разница! Я прослужил в институте 7 лет, и то, что пришлось мне видеть в гимназии, поразило меня. Это современная гимназия, то есть соответствующая духу времени.

Прежде всего мать этой девочки, Г. Филимонова, сказала мне, что однажды она, как родительница, была приглашена в гимназию на традиционный вечер, устроенный гимназистками. Это было «кабаре» самого похабного качества, вроде тех, которые показывают в кинематографах, сказала мне г-жа Филимонова. Она была удивлена, как в женской гимназии допускаются подобного рода вечера. Но, если это допускается в стенах учебного заведения, то можно себе вообразить, что делается вне гимназии!

Вот эта современная свобода - распущенность - и является характерной чертой этого женского учебного заведения. Но не в этом дело. Гимназистки говорят лучше по-сербски, чем по-русски. Культура их нерусская, и проходят они программу нерусскую. Это настоящие сербские барышни. Даже в манерах и во внешнем облике у них нет ничего русского. Они уже ассимилировались, и только там, где есть разумные родители в семье, там еще сказываются родовые черты русского воспитания. И в этом молодежь не виновата. Это сделала сама жизнь.

Вообще надо сказать, что наши русские традиции на чужбине разваливаются. И это понятно. Срок пребывания русской эмиграции на чужбине слишком продолжительный, чтобы русским людям можно было сохранить свои бытовые черты. Все попытки муссировать за границей русскую культуру слишком искусственны.

Русская культура, русское искусство, литература и техника, конечно, получили мировое признание. Эмиграция разнесла эту культуру по всему миру и поставила на ней точку. Это то, что было. Это культура великого народа, создавшего великую

культуру. Теперь этот народ рассеян по всему миру и постепенно теряет свою самобытность.

Русский обычай отходит в область предания и рассказывается детям как сказка, например:

«В углу икона с лампадой стоит, а на столе бурлит и клокочет самовар. А русский церковный звон колоколов, который невольно тянет снять шапку и перекреститься! А постные бублики на паперти у церкви во время говения! А русская зима и лихачи с цветными сетками на лошадях и кучера в валенках и синих армяках с такой же шапкой с зеленым или синим верхом! А заутреня под Светлый праздник, а плащаница, а Рождество Христово, а масленица с блинами, а пасхальный стол...»

Я был свидетелем и очевидцем, как горько плакали в эти дни русские люди, не имея возможности купить себе и детям на Пасху калача и по яичку.

Мы с братом тоже пережили эти чувства, когда первый год в Загребе мы не имели к пасхальному столу буквально ничего, кроме пшенной каши и чашки чаю. И я вспоминаю, как профессор Микуличич (патрон брата) прислал нам тогда от своего стола два ломтика торта.

Русское беженство живет в рассеянии, каждый в своем углу. Чтобы участвовать в общественной жизни, где соблюдаются еще русские обычаи, нужны деньги, которых нет. Встреча Нового года, праздника Рождества Христова, национальные концерты, русская опера, балет и т.д. доступны очень немногим. Объединяется русская эмиграция только в церкви. В церковь идет каждый. И идет как равный. Денег там не надо. Нет и принуждения. Нет и указаний свыше. Толпа теснится в церкви, на паперти и возле церкви. Церковь в эмиграции повсюду является центром, вокруг которого теснятся русские.

В храм Божий идут все - и люди разных взглядов, и политические противники и разных положений. Тут все равны. Я помню, как в Румынии к заутрени пришли все русские, и вдруг среди толпы узнали атамана Ангела, который был всем памятен по деяниям его при наступлении Петлюры на Киев в 1918 году. Он расстреливал офицеров, среди которых стоял теперь у заутрени. Уже утром офицеры искали случая встретить Ангела, но в церкви его никто не тронул.

Вот здесь, в Церкви, хранится русская культура с ее традициями, обычаями и нравами, а не в тех вечерах русской культуры, которые устраиваются официально во всех городах рассеяния русских людей. Мы бывали на этих вечерах, а мне лично приходилось и участвовать в организации их. И я бы назвал эти вечера не вечерами русской культуры, а вечерами

бывшей русской культуры. Какой-нибудь доклад. Потом два-три стихотворения Пушкина или Лермонтова. Потом Чайковский в исполнении подрастающей молодежи; хор, танцы.

Одним словом, исполняется то, что творила когда-то Великая Россия. Это сохраняется само собою. Для этого не надо принимать особых мер. Русская литература не может исчезнуть, как не погибнет и русское искусство. А вот сохранить прежнюю русскую культуру для передачи ее подрастающим поколениям, то есть сохранить ее в жизни рядового беженства, сохранить бытовые ее черты и не дать беженству ассимилироваться и потерять хотя бы главные черты своей культуры, - вот эта задача чрезвычайно важна для будущей России, если ей суждено восстановиться.

Державная комиссия ликвидирует вывезенные из России средние русские учебные заведения, а между тем здесь, в этих закрытых учебных заведениях, не только хранится, но и воспринимается русская культура и русское просвещение. Институты и кадетские корпуса - это очаги русского просвещения. Хотя программа у них и принята сербская, но в большей мере, в институтах в особенности, проводилась неофициально и программа русская (музыка, пение, рисование, рукоделие, танцы, иностранные языки, программа чтения классической литературы и т.д.). Весь уклад жизни в этих заведениях русский. Все обычаи, традиции, нравы и даже привычки до мелочей сохранились здесь, передаваясь преемственно от старших воспитанников и воспитанниц к младшим.

Я был поражен, когда после шестилетнего пребывания в самой гуще беженства я попал на службу в Харьковский институт. Впечатление было таково, что я очутился в уголке самой России, до того это было характерное русское учебное заведение. Отличная библиотека при институте. Отлично оборудованный класс рисования и прикладного искусства. Три фортепиано и одно пианино обслуживали музыкальный класс. Художественные работы и художественные балетные танцы были доведены до совершенства. Вся внешняя обстановка соответствовала внутреннему содержанию этой школы. На стенах в дортуарах, коридорах и комнат занятий развешаны портреты русских императоров, императриц и знаменитых русских писателей, композиторов и ученых. На всех партах, а в дортуарах и на столах и кроватях, разбросаны книги, тетради, пеналы.

Во всем чувствовалась духовная культура, умственная работа и внешний лоск. Повсюду придают уют горящие лампадки перед иконами. Традиционные русские торжества, как то встреча Нового года, елка, Розговень после заутрени, годовой акт, юбилеи, танцевальные вечера и балы, устраивались в этих

заведениях с чисто русской пышностью, и здесь учащаяся молодежь училась, как надо себя держать, и привыкала к светским отношениям в обществе.

Жизнь в этих закрытых учебных заведениях шла независимо от перестраивающегося в Европе общественного порядка. Институты и кадетские корпуса хранили русскую культуру, не воспринимая внешнюю сторону новых общественных отношений. Современные танцы в этих закрытых заведениях не танцевались. Накрашенных и напудренных в институте не было. Форменные русские платья, а в кадетских корпусах русская военная форма, накладывали как бы печать на питомцев этих школ и охраняли их от иноземного влияния. Жизнь этой юной молодежи формировалась в школе и дортуарах среди сверстников, вдали от улицы.

Очень многие воспитанницы институтов и кадеты прожили все время своего пребывания в школе безвыездно, так как им некуда было ехать на каникулах. Каким же влияниям, кроме своей школы, могли подпасть такие воспитанники и воспитанницы? Естественно, что они выходили из своих учебных заведений с чисто русской душой, плохо даже ориентируясь в новой обстановке незнакомой им жизни. Это ставилось даже, и совершенно справедливо, в вину этим заведениям.

Культурная ценность наших вывезенных из России средних учебных заведений не подлежит сомнению. Этот мотив был даже выставлен сербскими и мадьярскими общественными деятелями, когда они возбуждали ходатайство перед министерством об оставлении Харьковского института в Новом Бечее. И мы в этом неоднократно убеждались сами. Существование в Новом Бечее русского среднего учебного заведения имело громадное влияние на весь край. Как культурный центр, возле которого сосредотачивались разные русские специалисты и вообще люди с высшим образованием, Новый Бечей привлекал к себе внимание общества и несомненно являлся центром местного просвещения. Мы теперь видим, во что обратился после закрытия института опустелый Бечей.

Как же можно было при таких условиях закрывать такие учебные заведения и этим способствовать разрушению русской культуры в эмиграции? Мы утверждаем, что с закрытием последнего института и кадетского корпуса русская жизнь в Югославии примет иные формы, ведущие к уничтожению всего русского. Одна Церковь не сможет сохранить традиций, обычаев и нравов русской жизни, а Дом культуры, построенный в Белграде, будет лишь музеем, куда будет сдано все прошлое России.

И мы вновь утверждаем, что наше русское просвещение здесь

поддерживалось только Церковью и вывезенными из России русскими учебными заведениями - женскими институтами и кадетскими и корпусами. И вот злые языки говорят, что потому-то и закрыли институты и кадетские корпуса, что они хранили в себе заветы царской России.

* * *

1 января. 1934 год

Русская катастрофа еще продолжается. Там - в советской России - в полном разгаре социалистический опыт над русским народом при поддержке всех европейских держав, а в последнее время и Америки. Удивительнее всего то, что большинство иностранцев, побывавших в С.С.С.Р., в восторге от достижений советской власти и все как один отрицают наличие голода в советской России. Вся иностранная печать и даже сербские газеты восхваляют большевистский режим в советской России и настаивают на установлении дружеских отношений с большевиками. В балканских странах во главе этого движения стоит чехословацкий министр Бенеш, известный своими симпатиями к большевикам.

Русская эмиграция осталась в одиночестве и готова встретить еще один удар в спину. Уже не раз поднимался вопрос о репатриации русских беженцев, но здесь, в Югославии, при благороднейшем короле Александре этот вопрос, кажется, не так легко провести в жизнь. Но все-таки приходится встречать очень много людей, которые верят в это и не доверяют иностранному гостеприимству. Вот почему в последнее время взоры русских людей обращаются на Дальний Восток.

Там идет совершенно другой процесс. Большевизм неприемлем для желтых рас. Против большевизма там идет борьба. Туда стремится подневольный русский народ, не приявший большевизм, и, прорывая большевистский фронт на границе нового антибольшевистского государства Манчжу-Го, бежит под защиту благородных японцев. Недавно оттуда, из Манчжу-Го, приехал в Европу (он был и у нас в Н. Бечее) епископ Нестор с особой миссией - ознакомить русскую эмиграцию в Европе с положением на Дальнем Востоке. Ничего определенного как будто и не сказал он, но все поняли, куда нам надо смотреть и куда повернуться спиной.

Страна восходящего солнца с ее свежей и бодрой культурой, конечно, нам ближе и понятнее навеянной нам меркантильной культуры Западной Европы, признавшей большевизм. Отсюда надо уходить навстречу свежим веяниям. Путь нам указан. Но идти придется с боем. Эта наша точка зрения проводилась с самого начала. Мы писали всегда, иносказательно конечно, что

держим наши чемоданы наготове. Временный отдых в виде, например, моей службы в институте или положения моего брата как профессора Белградского университета никогда не считался нами пристанищем в нашей эмигрантской жизни.

До последнего момента мы были на учете, готовые при всяких условиях идти освобождать Родину. Мы знали, что впереди нам предстоят еще большие испытания. Конечно, для очень многих, в особенности людей в возрасте, эмиграция была и еще будет последним этапом их жизни. И это мы предвидели и писали в своем дневнике, что немногие и нескоро вернутся в Россию. Смерть на чужбине - это тоже смерть, что застигла очень многих на поле брани и в окопах. Вдали от Родины, на чужой земле, в убогой обстановке беженской жизни, среди чужих людей, без медицинской помощи, одиноко умирают русские люди на чужой земле.

Такая смерть тяжелее смерти в бою или в окопах, где все-таки человек не один, а среди своих. Так умер в прошлом году в Субботице полковник В. А. Шарепо-Лапитский. В своей убогой беженской комнатке он почувствовал себя плохо, а на следующий день его нашли мертвым. Что пережил этот человек перед своей смертью, никто не знает. Молчаливо, одиноко, без медицинской помощи умер он, как сдыхает пес на дворе.

«Смотрите, селитесь поближе к русским. Мало ли что может случиться. Вы немолодой человек», - говорила мне жена брата, провожая меня на пароход в Новый Бечей. Конечно, нам, людям уже в возрасте, трудно рассчитывать на что-либо другое. Время идет быстро, а исторические события разворачиваются медленно.

Я люблю свою комнатку. Светло, уютно, тепло и чистенько в ней, но все-таки для меня она ассоциируется не то с кельей, где как бы в изгнании приходится доживать свой век, не то с окопом, из которого не так легко выбраться и увидеть свет Божий. Катастрофа для русских людей все еще продолжается, и никто не знает, что ждет его впереди и какие испытания ему предстоят. Несомненно, что многое еще перевернется в политике и, может быть, русским беженцам опять придется искать себе приют на иной территории. На отдых имеют право только мертвые. Так выразился один из молодых ораторов, требуя от всех русских энергичного единения в вопросе о борьбе за свою Родину.

Другой вопрос, волнующий беженцев, по крайней мере в Югославии, - это катастрофа финансовая, ударившая сильно по карману беженцев. Наученные горьким опытом, русские люди всегда ждут худшего и потому стали бережливее, зная, что катастрофа еще не кончена. И вот, кто только мог, сберегая лишнюю копеечку, нес эти сбережения в разные штедионицы

(сберегательные кассы) и местные банки. Доктора, инженеры, педагоги, служащие, рабочие - одним словом, все, кто зарабатывал достаточно, чтобы отложить трудовую копеечку на черный денек, имели в этих банках скромные сбережения. Мне лично известны эти суммы по Н. Бечею, где, кажется, не было человека, который не отложил за 10-12 лет службы в институте приличную сумму в 10, 20, 30 и даже 40 тысяч динар. Больше всех скопила горничная начальницы Фрося, занимавшая еще какую-то казенную должность в институте.

В одной из таких касс («Врашевачка српска штедионица») в Н. Бечее служит бухгалтером наш русский В. И. Слатвинский. И вот поэтому, имея там своего человека, наши русские несли туда свои сбережения. Открыли там счета и канцелярия института, и касса взаимопомощи служащих в институте. Начальница института открыла там, как опекунша, именные текущие счета воспитанниц института, в большинстве, конечно, сирот и полусирот.

И вдруг в один прекрасный день банк заявил, что вклады обратно из штедионицы не выдают. Возмущение было ужасное. Арестовали было сначала одного из директоров штедионицы и бухгалтера, но тотчас их освободили, а нам сказали, что это временное затруднение. Но не прошло и двух-трех месяцев, как почти все штедионицы и банки объявили себя банкротами. Создалась паника, которая немного рассеялась распоряжением министерства о том, чтобы клиентам банка выдавали хотя бы проценты на капитал, но наш банк не мог исполнить даже этого.

Мы, русские, потерявшие уже однажды все свои капиталы, отлично понимали, что все эти успокоения и обещания, которые так щедро расточаются банковскими деятелями, - это просто обман. Вот уже третий год, как случился этот крах, и, конечно, никакой надежды на получение вкладчиками их сбережений нет. Любопытно, что когда потерпевшие приходят в эту штедионицу, то с ним обращаются грубо и заведомо обманывают. Мне лично говорили: «Получите через два месяца, получите в августе», потом в феврале, потом в июле и т.д. А Фросе в последний раз сказали, что выдавать вклады будут через 12 лет.

Интересно, что все эти банки функционируют. Служащие и директора получают жалованье и приходят каждый день на службу. Читают газеты. Пьют чай и ничего не делают. Директора и акционеры ведут по-прежнему широкий образ жизни. Один из них обзавелся на днях отличным выездом. Держит автомобиль. Все они - богатые люди, имеющие дома, землю, капиталы, и живут, как будто ничего не случилось.

А взглянем теперь на клиентов этих банков - русских беженцев. П. И. Пономарев, доктор Харьковского института,

переведенный в Пановичи, тяжко заболел в прошлом году. Его разбил паралич правой стороны тела. Он умолял всех нас, оставшихся в Н. Бечее, выхлопотать выдачу ему хоть небольшой суммы из его вклада в банке. Ему отказали. В это время заболела его жена, Мария Михайловна, болезнью, требующей сложной и дорогой операции. Денег из банка не дали.

Но еще хуже поступили с нашими детьми. Мы, бывшие студенты, установили на Татьянинском вечере стипендию, на которую училась в университете в Загребе бывшая воспитанница Харьковского института Галина Резвова. Собираемые с нас деньги хранились в штедионице. Теперь Резвова лишена этой стипендии и вынуждена прекратить занятия в университете. Другая воспитанница Харьковского института, Евгения Свинкина, обладающая талантом и отличным голосом, мечтала поступить в консерваторию. На ее имя начальница института положила своевременно в эту штедионицу 15 тысяч динар, оставшиеся после смерти ее матери. Теперь Е. Свинкина вынуждена отказаться от своей карьеры.

Мы не будем приводить все подобные случаи. Их слишком много. Банковский крах охватил чуть не всю Югославию. Доктор Акацатов, покойник, с глубоким возмущением рассказывал мне, что один адвокат посоветовал ему положить свои сбережения в сумме 40 тысяч динар в какой-то банк в Новом Саде. Он это сделал, а на следующий день ему объявили, что банк лопнул. Доктор Акацатов умер, и его не на что было похоронить.

У моего брата погибли сбережения чуть ли не в самом богатом и старом хорватском банке в Загребе. Инженер Куманинов, оставшись без места, рассказывал нам, что у него были сбережения, но они погибли в банке. Любопытно рассказывал мне служащий в институте казак Григорий Воронюк. Услышав, что французы открыли в Панчево пролетарский банк, привлекающий пролетариев высоким процентом, он нарочито съездил в Панчево и сдал на хранение свои сбережения (16 тысяч динар). Скоро этот банк объявил себя банкротом, а французы уехали во Францию.

Мы не вникали в существо этих банковских крахов, а приводим только факты. Говорят, что причиною тому «кризис». Но мы этому не верим. Напротив, мы видим повсюду нарастающую роскошь. Достаточно побывать в Белграде, чтобы видеть эту вакханалию роскоши. Миллионные дома растут как грибы. Рестораны полны с утра. Автомобилей развелось столько, что иногда нет возможности перейти улицу. В каждом доме радио. Последнее время развилось аэропланное сообщение. Письма отправляются воздушной почтой. Город нарядный.

Публика отлично одета. Каждый день балы, кабаре, театры, кинематографы, танцульки. И это называется кризисом. Публика настолько избалована, что если кто-нибудь не может завести себе радио, то он жалуется на кризис.

Не уступает этой столичной жизни и провинция. Я спрашивал как-то хозяина большого гастрономического магазина в Н. Бечее, у которого я даю уроки музыки, кто же пьет это шампанское, ликеры и коньяки. «Ого, -ответил мне г. Крстич, - селяки все это выпивают». Мне часто приходится видеть на базаре, как селяки вынимают из-за пазухи свои толстые бумажники. Оттуда торчат не сотни, а тысячединарки.

Однажды я видел директора того банка, в котором пропали у меня деньги. Я подошел к стойке, где пьют, чтобы купить отличные здесь соленые огурцы. В это время директор банка, простой селяк, расплачивался за выпитое, и я видел его толстый бумажник, из которого при мне чуть не рассыпались тысячединарные кредитки.

Хорошо, богато здесь живут люди, и все-таки каждый из разбогатевших во время войны и революции считает необходимым жаловаться на кризис. Разбогатели люди именно за время войны и революции. Любопытно, например, что в Н. Бечее на какой домик, хотя бы на нашей улице, ни посмотришь, всюду написано, что он выстроен в период времени после войны (1924-1929).

В то время, когда я пишу эти строки, я получил письмо, которое меня очень взволновало. Дело в том, что до сих пор в Белграде функционирует Общество попечения о нуждах воспитанниц, окончивших Харьковский институт, которое возглавляет бывшая начальница института М. А. Неклюдова. Как и прежде, за счет этого Общества некоторые девицы посылаются на год за границу (во Францию или Бельгию) в так называемые couvant для завершения образования. Там они изучают языки, стенографию, литературу, музыку, пение и т.д.

Практически до сих пор не установлено, есть ли в этом смысл и дает ли couvant что-нибудь реальное. Мы, по крайней мере, знаем немало барышень, которые, вернувшись из couvant, вышли замуж или служат на сербской службе и пишут на пишущих машинках исключительно на сербском языке.

Впрочем, мы должны сказать, что знаем несколько очень удачных случаев. Одна из самых лучших и талантливых моих учениц Л. В. Ря-бинина не имела материальной возможности продолжать по окончании института музыкальное образование и с болью в сердце решила принять предложение начальницы института поехать на год в Бельгию в couvant (Arlon. Pensionnat

Notre Dame). Но какова же была наша радость, когда из первых же писем оттуда мы узнали, что в этом пансионе имеется учительница музыки и 17 фортепиано. Игра Рябининой очень понравилась как учительнице музыки, так и сестре настоятельнице, и потому она была принята бесплатной ученицей по музыке.

Рябинина была в восторге и с первых же дней взялась за музыку, упражняясь по 5-6 часов в день. В результате Рябинина летом держала экстерном экзамен за 4 курса в Брюссельской консерватории, куда специально ездила со своей учительницей. Экзамен она выдержала отлично. «M^lle, jury вам дает grande distinction», - сказала председатель jury. Это было как нельзя кстати, так как кончался год и Рябинина должна была возвратиться в Белград. Зная это, начальница пансионата предложила Рябининой остаться в couvant на службе в качестве помощницы учительницы музыки. Имея 15 учениц и получая жалованье на всем готовом 175 франков в месяц, Рябинина имеет возможность готовиться к экзамену в консерватории и в этом году, и вообще закончить программу Брюссельской консерватории.

Другая моя тоже хорошая ученица Женя Свинкина, о которой я уже упоминал, имела больше склонности учиться пению, чем играть на рояле, так как у нее с детства установился хороший голос. Банковский крах лишил ее возможности поступить в консерваторию, и потому ее бывшая начальница М. А. Неклюдова решила послать ее на год в couvant в Брюссель (Pensionnat des S de S^te Marie) для изучения языков и стенографии. В день именин настоятельницы этого пансиона Женя Свинкина решила в виде сюрприза своей настоятельнице спеть с аккомпанементом фортепиано несколько романсов. Настоятельница пришла в восторг и в результате устроила Женю Свинкину за счет couvant в Брюссельской консерватории приходящей ученицей по классу пения. Но ведь это всего на один год, а для того чтобы пройти курс пения, надо четыре года.

И вот сейчас идут хлопоты о том, чтобы Жене Свинкиной из ново-бечейской штедионицы были выданы положенные на ее имя материнские деньги в сумме 15 тысяч дин. Банк наотрез отказывается выдать эти деньги. Господам директорам и акционерам этого банка (кстати, очень богатым людям) неинтересна судьба Свинкиной. Итак, улыбнувшееся было Жене Свинкиной счастье вновь оставило ее. Талантливая девушка с исключительно хорошим голосом вынуждена идти по иному, не интересному ей пути трудовой жизни. Ее материнские деньги достались не ей. Говорят, не в деньгах счастье, - а вот вышло так,

что для Жени весь вопрос заключался в ее материнских деньгах. И это не единственный случай.

К сожалению, Державная комиссия по делам русских беженцев не поддерживает молодежь, специализирующуюся в различных областях искусств. Пособие выдается только студенческой молодежи, а те, которые поступают по окончании средних учебных заведений в консерватории, муз. училища и художественные школы, поддержкой Державной комиссии не пользуются. Вообще помощь учащейся молодежи организована у русского беженства неудовлетворительно.

Вот что пишет по этому поводу своей родственнице в Новый Бечей представительница Общества попечения о нуждах воспитанниц, окончивших Харьковский институт:

«Ты не можешь себе представить, в какой нужде живет наша молодежь. Все время приходится спасать от голода и холода, так как одинокие не могут найти средств, чтобы жить как-нибудь, и поэтому им необходима наша помощь. Добыть же средства теперь страшно трудно. И потому я чувствую себя не вправе давать туда, где люди еще могут существовать. Ты читала, что образовалось Общество помощи молодежи, в правление которого вошли представители всех существующих обществ. Собираемся мы еженедельно, и ужас берет, когда слушаешь, как живет наша молодежь. Лотерея дала чистого около 7000, но это ничто в сравнении с тем, что мне нужно. Всем помочь невозможно, поэтому мы избрали себе разные специальности. Некоторые кормят студентов, другие заведуют общежитиями и заботятся об одежде. Я продолжаю заботиться о бывших воспитанницах Харьковского института, помогаю им находить места, стараюсь поставить всех на ноги и не жалею средств для этого. Всех вновь поступающих в высшие школы надо поддержать материально. Некоторые совсем раздеты. Нет пальто и белья. Конечно, деньги моментально уходят, и я должна изобретать что-нибудь другое».

К сожалению, очень трудно проследить, как устраивается молодежь по окончании учебных заведений и какова их судьба на чужбине. Те, кто пользуется помощью разных обществ и организаций и находятся, так сказать, на глазах, уходят с поля зрения, как только прекращается опека над ними. Поставить на ноги хоть как-нибудь и помочь зацепиться за соломинку - это самое главное, но, к сожалению, Державная комиссия по делам русских беженцев очень мало об этом заботится. Она ограничивается распределением ссуды студентам, и только. Во всех прочих отношениях она уступает свою инициативу частным организациям.

И вот мы видим, как бьется русская беженская молодежь,

чтобы завоевать себе место в жизни. Я слежу за своими бывшими ученицами. Их было у меня очень много. Конечно, музыка проходилась в институте между прочим, но все-таки известный процент барышень по окончании института продолжает заниматься музыкой. Просто для памяти я назову этих воспитанниц, составляющих мою гордость и высокое моральное удовлетворение. Ведь я пробыл учителем музыки в институте всего 7 лет, а дал целую группу русских девиц, полюбивших и занимающихся музыкой.

Л. Супранович окончила Белградскую державную муз. школу. М. Бразоль по окончании института прошла с кн. Н. Трубецким программу муз. школы и продолжает совершенствоваться у него же. Имеет уроки музыки. В. Поздеева продолжает учиться в Белградской держ. муз. школе. Н. Майкровская имеет уроки музыки и учится в Белградской частной муз. школе Станковича. В. Юхкам дает уроки музыки и продолжает учиться музыке в школе Станковича. О. Вейнштейн поступила в консерваторию. Мои бывшие ученицы Т. Мелиоранская и К. Флегин-ская учатся музыке в Белградской держ. муз. школе. Е. Свинкина берет уроки пения и музыки в Брюссельской консерватории. Л. Рябинина ежегодно сдает экзамены в Брюссельской консерватории. Еще мои лучшие ученицы Л. Свинкина, Н. Кошевая и В. Манернова продолжают учиться музыке в Донском институте и, конечно, никогда не бросят музыку. Еще были у меня отличные ученицы в институте В. Лазарева и Т. Ляшко, уже хорошо играющие, но о них я сведений не имею.

Как ни говорить, этот маленький отчет дает мне право гордиться своими ученицами и утверждать, что я дал русской эмиграции немало пианисток, которые уже теперь понемногу зарабатывают кусок хлеба уроками музыки. И они это ценят. Вот что пишет мне Л. Рябинина после экзамена в Брюссельской консерватории: «Не помню, писала ли я Вам, что все меня спрашивали, кто был мой первый учитель, и Вам были произнесены похвалы. Действительно, дорогой Дмитрий Васильевич, я должна сказать, что Вам я обязана всем в моей музыке».

* * *

9 октября 1934 года, в 8 часов вечера, ко мне в окошко с улицы постучал М. П. Лагофет, и одновременно вошла в комнату моя хозяйка с детьми, прося меня взять к себе детей и присмотреть за ними, пока она не придет. Я почувствовал, что что-то случилось очень серьезное. Хозяйка исчезла - ушла к мужу в общину. Ее вызвал в общину муж.

Вошедший ко мне в комнату М. П. Лагофет не здороваясь

шептал мне на ухо, что он пришел по важному делу, и едва слышно прошептал, что он узнал сейчас от Я. П. Кобуа, что в Марселе убит наш краль Александр. Я хотел задержать Михаила Павловича, но он торопился идти послушать радио. Минут десять спустя пришла моя хозяйка и по секрету от детей сказала, что убит в Марселе краль Александр.

Почти одновременно ко мне в комнату вошел сосед чиновника Контрольной палаты и, совершенно растерянный, принял участие в нашем разговоре. Впечатление тяжелое.

Когда я остался один...

ПОСЛЕСЛОВИЕ (Н. В. Краинского)

На этом месте обрывается нить жизни прекрасного, честного человека. 30 октября я, брат Дмитрия, живущий в Белграде, получил от Родзянко телеграмму, что брат болеет и четвертый день лежит с высокой температурой. Я с женой в тот же день выехал в Н. Бечей и застал брата уже тяжело больным <.>

Мы наладили уход и лечение и поехали обратно, условившись, что нас известят о ходе дел. <.>

20 ноября вечером его отвезли в Белград, где я перевел его в очень тяжелом состоянии в санаторий. <.>

Очень медленно, но больной начал поправляться и к 20 декабря настолько оправился, что переехал ко мне, где начал отлично есть. но кашель не проходил, а температура иногда сильно повышалась.

Эти две недели передышки мы дружески провели с братом. Много вспоминали длинную, в прошлом интересную, прекрасную и счастливую жизнь и с горечью и отвращением говорили о беженской жизни. Оба мы совершенно безнадежно смотрели в будущее и много говорили о смерти и о том, что зажились на этом свете. <.>

Я очень любил брата. Он умер на моих руках. <.>

Я думаю, что рак сделал свое дело. Это наша родовая болезнь, наследованная от рода М. И. Глинки. Наша бабушка - двоюродная сестра Глинки (композитора). И все женщины в нашей семье, а также второй мой брат умерли от рака. <.>

Брат был мягок, добр, любвеобилен. Он был глубокий семьянин, несмотря на то что овдовел в молодости и остался вдовцом. Он любил свою дочь, родных... Политически мы были <нрзб.> старой России, монархисты и презирали революцию, большевиков и керенщину. <...>

Мы с братом никогда не говорили о религии. Я никогда его не спрашивал о его религиозном мировоззрении. И вот, когда приближалась смерть, он ее прекрасно сознавал. Однажды он был тревожен. Я спросил: «Что тебя беспокоит?» Он вопросительно посмотрел и ответил: «Как что! Смерть».

Ожидая смерти брата, и я попросил знакомого переговорить со священником И. Сокалем, так как я желал, чтобы брата похоронил этот достойный пастырь. Мне передали, что священник сказал, что не мешало бы причастить больного.

<...> Он знал, что умирает, и много об этом говорил, идя мужественно к концу жизни.

Я решился и спросил брата, не желает ли он поговорить с моим знакомым священником.

- Отчего же? Я очень рад! - ответил брат, и в этом его слове обнаружилось искреннее облегчение. Прорвалось то, о чем мы оба боялись говорить <нрзб.> в тайники душ друг друга.

В 5 часов 10 марта пришел священник. Брат был слаб, с трудом мог говорить, но вполне осмысленно и с чувством глубокой веры следил за молитвами, . во время причастия, повторяя слова.

Во время исповеди я с женою вышли. <.> Когда мы вошли, я застал брата в состоянии радостного экстаза, и он, сидя и опираясь руками на постель, прерывающимся голосом. «Я. хотел. бы. мне очень хочется стать на колени... но не могу.»

А потом сказал:

- Как я счастлив, - и поцеловал священнику руку.

У меня сжималось горло... И теперь, сидя один в своем кабинете и записывая эту сцену, я чуть ли не в первый раз в своей жизни горько плачу. <.>

В воспоминаниях проходят беседы с братом. С нами кончается наш род. Из шести братьев и двух сестер остался я и, быть может, еще брат Сергей в России.

В последнее время мы говорили с братом о том, чтобы написать историю этой замечательной семьи.

Записки брата остались у меня.

После моей смерти - их некому передать.

Все, что может и могло бы ими заинтересоваться, отвергнет их, ибо их дух веет старым веком и не поклоняется революции...

Что станется с этими записками, а также и с моими рукописями, как с научными, так и воспоминаниями о проклятом нами пережитом времени?

Спи же мирно, мой дорогой любимый брат! Ты честно провел свою жизнь, сеял добро на пути своей жизни. Когда-то я толкнул тебя на путь служения. и эту миссию ты выполнил доблестно и честно!

< ..>

Др. Николай Краинский 23 марта 1935, через 10 дней после смерти брата

ПРИМЕЧАНИЯ

Свои дневники Д. В. Краинский вел непрерывно с 1903 года. Первые восемь томов, доведенные до 1 января 1918 года, он сдал на хранение в черниговский музей В. В. Тарновского. Два тома, включающие периоды гетманщины и петлюровщины на Украине, а также первые дни большевизма в начале 1919 года, хранились в Чернигове у Марии Александровны Лукиной[37].

Продолжение этих записок Дмитрий Васильевич вел по свежей памяти в дороге, уйдя из Чернигова вместе с частями Добровольческой армии. Новый том этих дневников заключал в себе описание жизни в Черниговской губернии во время большевизма в 1919 году, в том числе положение в тюрьмах. Эту тетрадь он в значительной степени уничтожил во время Кубанского десанта 1920 года (при опасности попадания в плен к красным) и восстанавливал впоследствии по памяти, обозначив том номером IX. Остальные тома основаны на дневниковых записях уже в относительно свободных условиях беженства.

Дневники из-за болезни автора прервались 9 (22) октября (ст. ст.) 1934 года. Все эти записки в переплетенном виде остались у старшего брата, Николая Васильевича. Впереди их ждала непростая судьба. Но дочери, Ольге Дмитриевне, которой они и завещались, их увидеть не довелось.

Спустя свыше 60 лет самым чудесным образом записки Дмитрия Васильевича (т. IX-XV) и часть архива Николая Васильевича Краинских вернулись к их наследнице, проживающей в Бразилии внучке Дмитрия Васильевича - Ирине Константиновне Корсаковой. В 1996 году она, путешествуя по Европе со своим супругом, потомком первых участников Белой эмиграции и выпускником Кадетского корпуса Великого князя Константина Константиновича в Белой Церкви Олегом Владимировичем Григорьевым, оказалась в Сербии, в Белграде, где в силу Божьего Провидения при невероятном стечении обстоятельств, практически посреди города, в многолюдной толпе, и был обретен этот замечательный памятник русской души, русской мысли и русской истории.

В данном издании записки Дмитрия Васильевича Краинского публикуются по оригиналу (т. IX-XV), с небольшими сокращениями, связанными с утерей некоторых фрагментов.

Свои записи Дмитрий Васильевич вел в соответствии с досоветской орфографией и по юлианскому календарю. В нашем издании орфография приближена к современной и выделено

гораздо большее (чем в рукописях) число абзацев.

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Бабиев Николай Гаврилович (1887-1920) - генерал-лейтенант. Июль 1920 - командир Кубанского казачьего конного корпуса. Август 1920 - командир 1-й Кубанской казачьей конной дивизии в десанте на Кубань генерала С. Г. Улагая. Сентябрь 1920 - командир конной группы 1-го Конного корпуса. 30 сентября 1920 - во время боя со 2-й красной Конной погиб при артобстреле в районе города Никополя.

Бакуринский Алексей Александрович (1869-1919) - окончил курс Петровско-Разумовской академии. Предводитель дворянства, председатель Черниговской губернской земской управы (1914-1917), помощник губернского старосты при гетмане Скоропадском. Убит вместе с сыном-студентом.

Бредов Николай Эмильевич (1873 - после 1945) - генерал-лейтенант (12 октября 1917 года). Участник Первой мировой войны. Участвовал в создании добровольческих отрядов в Киеве (ноябрь 1918 - январь 1919). Командир 7-й пехотной дивизии (13 июня - октябрь 1919), участвовавшей во взятии Чернигова (28 сентября 1919). Совершил известный т.н. Бредовский поход (январь - февраль 1920). Отступив к Тирасполю, вследствие отказа Румынии пропустить его войска через границу был вынужден совершить переход в Польшу через Западную Украину, ведя бои с многократно численно превосходившими его частями Красной армии. Польскими властями был интернирован со всем отрядом. С частью солдат сумел вернуться в Русскую армию генерала Врангеля в Крым (около 7000 бойцов). 11 августа 1920 через Румынию войска Бредова прибыли в Феодосию. Из этих войск были сформированы новые 6-я и 7-я пехотные дивизии.

Васильев (Васильев-Чечель) Петр Гаврилович (1870-1920) - генерал-майор. Окончил Николаевскую академию Ген. штаба. Участник русско-японской, Первой мировой войн. Командир Овидиопольского отряда войск Новороссийской обл. (08.02.-17.02.1920), который отступал к румынской границе, однако попытки перейти границу встречали вооруженный отпор румынских войск. Покончил с собой у села Раскойцы (ныне Приднестровская Молдавская республика).

Вильконский Стефан Владиславович - выпускник Нежинской гимназии, Варшавской и Петербургской консерваторий, виолончелист, директор музыкальных классов

Черниговского отделения Императорского Русского музыкального общества.

Врангель Петр Николаевич (1878-1928) - генерал-лейтенант; барон, один из вождей Белого движения; герой русско-японской и Первой мировой войн; с апреля 1920 - главнокомандующий Вооруженными силами Юга России в Крыму; с ноября 1920 - в эмиграции; основатель Русского Общевоинского союза (РОВС) (1924); скоропостижно скончался в Брюсселе; в октябре 1928 года его прах был перезахоронен в церкви Св. Троицы в Белграде.

Деникин Антон Иванович (1872-1947) - генерал-лейтенант (1916). Участник русско-японской и Первой мировой войн. С января 1919 - Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России и заместитель Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака. Указом адмирала Колчака 4 января 1920 генерал А. И. Деникин был объявлен Верховным правителем. После отступления до Новороссийска и эвакуации понесшей тяжелые потери армии в Крым, где она послужила основой Русской армии генерала П. Н. Врангеля, он 4 апреля 1920 объявил своим преемником на посту Главнокомандующего барона Врангеля. Эмигрировал 5 апреля (23 марта) 1920.

Иннокентий (сокаль) (1883-1965) - епископ. В миру Сокаль Иван Иванович, родился в Холмской губернии. Окончил Варшавское духовное училище, Холмскую духовную семинарию (1906), Киевскую духовную академию (1910). Рукоположен в сан иерея в Курской епархии. Назначен в Рыльске инспектором в духовном училище и четырех классах семинарии (1912). Принимал непосредственное участие в открытии мощей святителя Иоасафа Белгородского.

В 1919 командирован священноначалием в Палестину для приема от англичан имущества Русской духовной миссии в Иерусалиме. С 1921 по 1931 состоял инспектором духовных семинарий в Югославии. С 1931 по 1940 - первый священник в составе причта Свято-Троицкой церкви Белграда. В 1940 - настоятель этого храма. В 1944 назначен благочинным всех русских церквей и приходов в Югославии.

Овдовев, принял монашеский постриг. С 1959 - епископ Смоленский и Дорогобужский.

Кедров Михаил Александрович (1878-1945) - вице-адмирал (1920). С 12 октября 1920 - командующий Черноморским флотом, был приглашен на этот пост командующим Русской армией генералом П. Н. Врангелем. Был произведен в вице-адмиралы. Руководил переходом Черноморского флота из Севастополя и других крымских портов в Константинополь в октябре 1920. Во

время этого перехода в организованном порядке были эвакуированы части армии Врангеля и гражданские беженцы.

Неклюдова Мария Алексеевна (1866-1848) - начальница Харьковского девичьего института (благородных девиц) им. Императрицы Марии Федоровны. Родилась в старинной дворянской семье. Получила образование и воспитание в Смольном девичьем институте в С.-Петербурге, по окончании которого зачислена при нем воспитательницей.

Впоследствии назначается на должность инспектрисы классов, а затем и на должность начальницы Харьковского девичьего института (благородных девиц). Во время Гражданской войны принимает мужественное решение на свой страх и риск эвакуировать институт в Новочеркасск, а затем в Болгарию и, с разрешения короля Александра, в Сербию, где институт находит пристанище в городе Нови Бечее. Из-за сокращения средств в 1932 Харьковский институт был закрыт. Марии Алексеевне вверяется заведование девичьим студенческим общежитием на 50 человек. Во время Второй мировой войны она заведует детским сиротским домом в Белграде.

В числе репатриированных попадает с транспортом детей в 1945 в глухое село Кузькино Новодевичьего района Куйбышевской области. Умерла от истощения и отсутствия медицинской помощи на 82-м году жизни и похоронена на кладбище села Кузькино.

Ноаров Сергей Иванович (1881 - после 1950) - протоиерей. Родился в селе Знаменское Костромской губернии. Был вынужден эмигрировать из большевистской России в Болгарию и Сербию (сверхштатный священник в Свято-Троицкой церкви в Белграде, затем священник русской домовой церкви в приюте русских стариков на Вождовце, Белград), потом уехал в Италию, был настоятелем Свято-Николаевской церкви в Бари (1926-1931), затем переселился обратно в Сербию. Одно время был законоучителем Харьковского института благородных девиц в Нови Бечее. Умер в Белграде (Югославия).

Слезкин Юрий Львович (1885-1947) - писатель. Родился в семье генерал-лейтенанта Л. М. Слезкина. Повесть о первой смуте 1905 года «В волнах прибоя» (1906) была запрещена цензурой, а автор осужден на год заключения, но освобожден после вмешательства высокопоставленных родственников. В 1910 окончил юридический факультет С.-Петербургского университета. Роман «Ольга Орг» (1914) пользовался скандальной известностью, выдержал несколько изданий, был переведен на европейские языки.

Слуцкий Михаил Иосифович (1873 - после 1923) -

протоиерей. Окончил духовную семинарию. В 1897 рукоположен в священника. С 1902 служил в Харьковской Александро-Невской церкви при богоугодных заведениях, сначала в старой церкви - священником, затем настоятелем в новой (с 1907), принимая самое активное участие в ее строительстве. Законоучитель фельдшерской школы. Эмигрировал во время Гражданской войны в Константинополь, затем в Королевство сербов, хорватов и словенцев. В 1921 был рекомендован для участия в Русском зарубежном церковном соборе в Сремских Карловцах. Автор различных сочинений духовного содержания.

Стессель Александр Анатольевич (1876-1933) - полковник. Декабрь 1919 - начальник внутренней обороны и комендант Одессы. Январь 1920 -фактический командир Овидиопольского отряда при походе из Одессы на румынскую границу. Эвакуирован в Зеленик (Королевство сербов, хорватов и словенцев). 8 сентября 1920 - прибыл в Русскую армию в Крыму. В 1921 - эмигрировал во Францию.

Товастшерна Георгий Александрович - полковник. В 1919-1920 был штаб-офицером для поручений при начальнике обороны г. Одессы.

Улагай Сергей Георгиевич (по другим данным, Григорьевич; 1875 (по другим данным, 1877) - 1944 (?)) - кубанский казак черкесского происхождения, из шапсугского княжеского рода, участник русско-японской, Первой мировой войн. Генерал-лейтенант (1919). Командир группы особого назначения Русской Добровольческой армии генерала Врангеля, высадивший десант из Крыма на Кубань в августе 1920.

Шиллинг Николай Николаевич (1870-1946) - генерал-лейтенант. Главноначальствующий Новороссийской области. 4 декабря 1919, оставаясь командующим войсками Новороссии, принял под свое командование войска, отступившие из-под Киева, «имея задачей прикрытие Новороссии и, главным образом, Крыма». Январь 1920 - из-за нехватки угля для пароходов не смог организовать вывоз морем из Одессы 2-го армейского корпуса генерала М. Н. Промтова и Киевской группы генерала Бредова. Поскольку румыны отказались пропустить эти соединения в Бессарабию, объединенные под командованием Бредова части вынуждены были подняться вверх по Днестру (т.н. Бредовский поход). Ноябрь 1920 - эмигрировал в Чехословакию.

Шрамченко Михаил Николаевич (1857-1919) - действительный статский советник, губернатор Нижегородской губернии (1907-1910) и Вологодской губернии (1910-1913).

СОДЕРЖАНИЕ

Хотелось бы вернуться домой, увидеть своих и послужить Родине.

Предисловие..... 5

ЧАСТЬ 1. БОЛЬШЕВИЗМ. 1919-1920..... 19

Записки. Т. IX. Большевизм. 1919 год. Чернигов..... 19

Записки. Т. X. 1919 год. Чернигов - Одесса..... 137

Записки. Т. XI. 1920 год. Румыния..... 231

Записки. Т. XII. 1920 год. Болгария - Севастополь - Кубанский поход 345

ЧАСТЬ 2. БЕЖЕНЦЫ. НА ЧУЖБИНЕ. 1920-1934..... 515

Записки. Т. XII. 1920-1921 годы. Хорватия. Загреб..... 515

Записки. Т. XIII. 1922-1925 гг. Хорватия..... 571

Записки. Т. XIV. 1926-1932 годы. Сербия. Харьковский институт

благородных девиц..... 710

Записки. Т. XV. 1933-1934 годы. Югославия..... 829

Послесловие (Н. В. Краинского)..... 878

Примечания..... 881

Краткий биографический справочник..... 883

Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).

Целью Института является творческое объединение ученых и

специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XX! века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 14 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 160 томов).

Редактор Д. В. Орлов Корректор Г А. Островская Компьютерная верстка Е. Е. Поляков Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 26.11.2015 г. Формат 70 х 90 $^{1}/_{16}$. Гарнитура «Times». Объем 45,5 изд. л.

Печать офсетная. Заказ №

Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

ИНСТИТУТ русской цивилизации выпускает БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация *(вышел)* Русское Православие в трех томах *(вышли)*

Русское государство *(вышел)* Русский патриотизм *(вышел)* Русское мировоззрение *(вышел)* Русский образ жизни *(вышел)* Русская география Русское хозяйство *(вышел)* Международные отношения Национальные отношения Русская литература *(вышел)*

Русская икона и религиозная

живопись в двух томах *(вышли)*

Русская архитектура и скульптура

Русская живопись

Русский театр

Русская музыка

Русская наука

Русская школа

Русское воинство

Памятники Отечества

Русские за рубежом

Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@ rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

вышли В СВЕТ книги, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ русской ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.

Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.

Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.

Аксаков И. С. Наше знамя - русская народность, 640 с.

Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.

Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.

Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.

Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.

Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.

Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.

Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.

Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.

Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.

Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.

Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.

Флоровский Г В. Пути русского богословия, 848 с.

Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.

Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.

Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.

Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.

Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.

Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.

Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.

Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.

Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.

Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.

Фадеев Р А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.

Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.

Иван Грозный. Государь, 400 с.

Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.

Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.

Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.

Щербатов А. Г. Православный приход - твердыня русской народности, 496 с.

Шафаревич И. Р Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.

Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.

Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.

Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.

Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.

Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.

Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.

Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.

Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 - 704 с.; т. 2 - 624 с.

Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.

Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.

Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.

Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.

Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.

Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.

Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.

Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.

Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.

Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.

Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление

мощной России, 648 с.

Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.

Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 - 688 с.; т. 2 - 720 с.

Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.

Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.

Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.

Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.

Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.

Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.

Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.

Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.

Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.

Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.

Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с. Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.

Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.

Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.

Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.

Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.

Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.

Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.

Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.

Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.

Повесть Временных Лет, 544 с.

Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.

Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.

Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.

Домострой, 448 с.

Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.

Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.

Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.

Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная идея, 768 с. Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.

Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.

Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духовного чина, 896 с. Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.

Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX - начала XXI века, 1200 с.

Русская доктрина, 1056 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.

Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.

Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.

Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.

Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.

Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.

Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.

Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.

Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.

Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.

Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.

Величко В. Л. Русские речи, 400 с.

Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.

Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.

Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.

Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.

Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.

Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.

Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.

Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.

Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.

Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.

Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.

Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.

Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.

Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.

Сенин А. А. Служить правде, 416 с.

Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.

Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.

Замысловский Г. Г В борьбе с ненавистниками России, 720 с.

Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.

Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.

Ганичев В. Н. О русском, 832 с.

Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.

Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с.

Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.

Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 816 с.

Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.

Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.

Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.

Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.

Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.

Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.

Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.

Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.

Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 - 800 с.; т. 2 - 928 с.

Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.

Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.

Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с. Пассек В. В. Очерки России, 448 с.

Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.

Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.

Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.

Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.

Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 - 944 с.; т. 2 - 864 с.

Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.

Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.

Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.

Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.

Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.

Русские люди XVIII века, 784 с.

Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.

Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.

Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.

Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.

Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.

Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.

Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих потомков. В 3-х томах, т. 1. - 1120 с.; т. 2. - 1120 с.; т. 3. - 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.

Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.

Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.

Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.

Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 608 с.

Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.

Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.

Личутин В. В. По морю жизни - на русском челне, 976 с.

Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.

Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.

Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.

Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.

Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.

Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.

Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.

Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.

Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.

Морозова Г А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.

Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.

Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.

Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.

Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.

Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.

Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.

Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.

Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII - начало XXI века), 688 с.

Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.

Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства.

Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.

Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.

Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.

Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.

Очерки истории русской иконы, 592 с.

Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с. Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.

Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.

Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.

Русский государственный календарь, 728 с.

Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.

Русская артель, 672 с.

Русская община, 1376 с.

Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.

Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.

Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.

Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.

Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.

Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.

Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.

Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек, 688 с.

В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Божий, 640 с.

Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.

Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.

Катасонов В. Ю. Россия и Запад в XX веке: История экономического противостояния и сосуществования, 736 с.

Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.

Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы.

Гипотезы. Открытия, 912 с.

В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г Малинецкий. Помни войну. Аналитический доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 - 804 с.; т. 2 - 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.

Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 - 720 с.; т. 2 - 736 с. Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.

Платонов О. История цареубийства, 768 с.

Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.

Башилов Б. История русского масонства, 640 с.

Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.

Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.

Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с. Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.

Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.

Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

ПЛАТОНОВ О. А. СОБРАНИЕ ТРУДОВ В 6 ТОМАХ

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.

Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.

Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)

notes

1

Краинский Д. В. Материалы к изследованию истории русских тюрем в связи с историей учреждения Общества Попечительного о тюрьмах. Чернигов: Тип. губернского земства. 1912. 133 с.

2

Все даты до 1918 года приводятся по юлианскому календарю.

3

Список студентов императорского Харьковского университета на 1896-1897 академ. год. Харьков: Университетская тип, 1896. С. 87.

4

Братья Краинские оставили заметный след в науке и общественной деятельности: Николай Васильевич (1869-1951) - выдающийся ученый с мировым именем, врач, писатель, публицист, общественный деятель; Дмитрий Васильевич (1871-1935); Владимир Васильевич (1874-1922) - специалист в области кооперации и кредита; Сергей Васильевич (1876-1936) - выдающийся ученый агроном, садовод, с 1923 года ректор Крымского института специальных культур; Андрей Васильевич (1877-1914) - микробиолог, открыл антибиотик стрептомицин (1914); Антоний Васильевич - приват-доцент агрономии университета Св. Владимира.

5

См.: Государственный архив Харьковской области (ГАХО). Ф. 639. Харьковская вторая мужская гимназия (1848-1908 гг.); 50-летие 2-й Харьковской мужской гимназии // Харьковские губернские ведомости. 1891, 17 декабря.

6

Список студентов императорского Харьковского университета на 1897-1898 академич. год. Харьков: Универ. тип., 1897. С. 115.

7

Опыт истории Юридического факультета Императорского Харьковского университета / Л. Н. Загурский. Харьков: Тип. А. Дарре, 1906; Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805-1905). Харьков: Тип. «Печ. дело», 1908. 341 с. VIII, 310, III с.

8

Тюремный вестник. 1910. № 1. С. 5.

Краинский Д. В. Материалы к исследованию истории русских тюрем в связи с историей учреждения Общества Попечительного о тюрьмах. Чернигов: Тип. губерн. земства, 1912. 133 с.

10

Отчет Черниговской губернской тюремной инспекции о состоянии Черниговской земледельческо-ремесленной колонии для несовершеннолетних в 1912 г. в связи с историей учреждения колонии. Чернигов: Тип. губерн. земства, 1913. 81 с.; Отчет Черниговской губернской тюремной инспекции о состоянии Черниговской земледельческо-ремесленной колонии для несовершеннолетних в 1914 году в связи с вопросом о методах воспитания и исправления порочных детей и подростков. Чернигов: Тип. губерн. земства, 1915. VII, 150 с.

11

См.: Тюремный вестник. 1914, № 3, март. С. 770-773; № 4. Апрель. С. 953-956.

12

Тюремный вестник. 1915. № 8-9. Август-сентябрь. С. 1485.

Там же. № 10. Октябрь. С.1713.

14

Адрес-календарь Черниговской губернии // Черниговский календарь на 1916 год. Чернигов: Тип. губерн. правления, 1916. С. 5.

15

Был расформирован в 1943 году.

16

Тертый сырой картофель, немного поджаренный на сале. - *Здесь и далее примечания автора.*

17

Это рассказывал нам присутствующий при выводе на расстрел заключенных И. Б. Красильщиков, сидевший в тюрьме в камере с Бакуринским.

18

Дом Тризны по Гончей улице был занят под детский приют. Дом Бакуринского - под статистику. В домах Комаровской и Яроцкого по Гончей улице стояли воинские части с китайцами и латышами. В здании Духовного училища (епархиальное училище) были расположены воинские части. Дом Афанасьева по Гончей улице занял комиссар почты, за которым осталась вся дорогая обстановка дома и все вещи Д. Д. Афанасьева, не исключая и белья и платья. В здании Реального училища помещался отдел народного образования. В доме Посудевского по Воскресенской улице - отделение Чрезвычайной комиссии. В доме Зароховичей по Александровской улице - отдел ЧК. В доме б. Маркельса (б. Государственный банк) по Александровской - главная Чрезвычайка. В доме Гортынского по Магистратской - отдел здравоохранения. Усадьба Глебова на Бобровице была полуразрушена. В усадьбе Савича на Бобровице была устроена советская ферма. В доме Е. И. Малявка по Царской улице жил комиссар финансов Стерлин и помещалась амбулатория. В доме Котляревского - отдел снабжения. В городском училище имени Гоголя по Пятницкой улице - промышленный отдел. В городском училище на Сенной площади - воинская часть. В клубе Благородного собрания - отдел труда. В здании окружного суда - исполком, отдел юстиции, карательный подотдел и другие губернские учреждения. В губернаторском доме - губвоенком и квартиры комиссаров. В доме Маркельса по Богоявленской над аптекой - губернское комендантское управление. В народном доме - кооператив и чайная. В Елецком монастыре - червонное казачество. В магазине Соколова - рабочий кооператив. В епархиальном доме по Шоссейной - разные большевистские учреждения (квартирная комиссия и пр.). В доме Попова по Московской улице - отдел социального обеспечения. В Дворянском пансионе -воинские учреждения и т.д.

19

Мы приводим здесь фамилии тех лиц из расстрелянных в этот период времени, которые мы припомнили и которых знали лично, но это не составляет, вероятно, и одной десятой части всех погибших: жена и дочь генерала Чайковского, Коробка Павел Степанович, Дунин-Борковский - студент, Барановский - студент, Ляшенко Иван Васильевич (из Городни), Цилюрик Борис - офицер, Барсуков Александр Иванович (губернский ветеринарный инспектор), Шварц - частный поверенный, Ревутский - генерал, Зыков - офицер, Любарский Михаил Николаевич - офицер, Пикус Николай Григорьевич (полковник), Величковский (сын священника), вольноопределяющийся, Шрамченко Михаил Николаевич - бывший Вологодский губернатор, Бакуринский Алексей Александрович - предводитель дворянства, Бакуринский Алексей Алексеевич - студент, Шрамченко Екатерина Михайловна - дочь губернатора, Бондаренко - старший жандармский унтер-офицер, Вишневский Дмитрий Дмитриевич - остерский уездный староста, Миткевич Алексей Адрианович - начальник стародубской тюрьмы, Гоголь - преподаватель музыкального училища, Тетеркин Михаил -студент, Тетеркин Григорий - студент, Панченко - мать и два сына - офицеры, Милитина Мякшилова (гимназистка) с теткой, Савченко-Бельский - делопроизводитель губернского правления, Кузнецов - преподаватель Черниговского реального училища, Рудзевич - начальник милиции (беженец из Польши), Короткий - его секретарь, Лозовский Николай Николаевич - полицейский, Прядко - милиционер, Коростовец - мать и сын (помещики), Старосветский - товарищ прокурора, Квитковский Николай Иванович - товарищ прокурора, Калиновский - товарищ прокурора, Блюм - домовладелец, три брата Зарохович - крупные торговцы, Кузьменко Иосиф - старший тюремный надзиратель, Демидович Анна Николаевна - жена врача, Дорошенко Петр Яковлевич - директор дворянского пансиона и женской гимназии, Чижевский (Кролевец) доктор, Буленок - купец, Олейников - начальник остер-ской тюрьмы, преподаватель гимнастики Ова Сокол - чех, черниговский уездный воинский начальник Истомин Леонид Владимирович, прокурор черниговского окружного суда Маслаковец Петр Алексеевич, генерал Янушкевич, прокурор нежинского суда Воронов, корпусный командир Дорошкевич, Григоренко - жандарм, унтер-офицер.

20

Надзирателя Корниенко я встречал на улице. Потом он служил в Красной армии.

21

В отношении генерала Мартынова потом прошли слухи, что он находится в Румынии, но где именно - не называли.

Председатель Шапошников (из Одессы). Члены: А. А. Массаковский (член Киевск. гор. управы), генерал С. И. Гаврилов (бывш. командир Переволоченского полка в Чернигове) и болгарские врачи: Стефанский и Шишков.

23

Начальником штаба генерала Бендерева состоял полковник Генеральн. штаба Носков. Комендантом этапа - полковник Попович (серб, крайне грубый человек), его помощник -полковник Караулов. Делами контрразведки заведывал ш.-кап. Засухин.

24

Человек человеку - волк! *(лат.)*

Обед - 2000 -3000 руб.
1 ф. булки - 350 руб.
Ст. молока - 350 руб.
1 ф. сахару - 9000 руб.
1 ф. сала - 6000 руб.
10 яиц - 2000 руб.
1 свечка - 2000 руб.
1 ф. винограда - 1500-2000 руб.
1 арбуз - 2000-4000 руб.
1 ф. груш - 750 руб.
1 ф. табаку - 6000 руб.
баклажан - 300 руб.

Обед - 2000 -3000 руб.
1 ф. булки - 350 руб.
Ст. молока - 350 руб.
1 ф. сахару - 9000 руб.
1 ф. сала - 6000 руб.
10 яиц - 2000 руб.
1 свечка - 2000 руб.
1 ф. винограда - 1500-2000 руб.
1 арбуз - 2000-4000 руб.
1 ф. груш - 750 руб.
1 ф. табаку - 6000 руб.
баклажан - 300 руб.

27

Сентябрьские цены: 1 ф. сала - 18 000 рублей, 1 ф. масла - 30 000 рублей, 1 ф. сахару - 16 000 рублей, десяток яиц - 10 000 рублей, стакан молока - 1500 рублей, фунт кофе - 15 000 рублей, лист бумаги - 750 рублей, карандаш - 1000 рублей, 1 ф. хлеба -700 рублей, обед - 6000 рублей, малый флакон чернил - 1000 рублей, свеча парафиновая - 2500 рублей.

28

Le rations des refugies russes. «Русским беженцам, как находящимся на судах на рейде, так и находящимся в лагерях на суше, будут ежедневно выдаваться следующие съестные припасы по мере того, как лагеря будут снабжены приборами для приготовления пищи: бисквитный хлеб 200 грамм, хлеб военного времени 200 грамм, сухие овощи или заменяющие их продукты в соответствующем количестве 60 грамм, сахар 20 грамм, кофе 8 грамм, чай 3 грамма, соль 20 грамм, жир или сало 20 грамм, мороженое мясо 150 грамм, мясо в консервах 100 грамм, каменный уголь 400 грамм или дрова в соответствующем количестве растопки 25 грамм. Больным и раненым в госпиталях и амбулаториях будет выдаваться вышеупомянутый рацион со следующей прибавкой: бисквитный хлеб 400 грамм вместо 200 и мороженое мясо 300 грамм вместо 150. Им не будет отпускаться хлеб воен. врем и консерв. мясо. Справка: 1 кило = 1000 грамм = 2,4 фунта. 1 золот. =4,8 гр.».

29

Гицель (польск. hycel; нем. hitzel) - лицо, занимающееся в городах отловом бездомных животных: кошек, собак. - *Сост.*

В. С. Подрешетников умер в 1928 г.

31

А. В. Звягинцев застрелился.

32

В это время, когда я пишу эти строки, выяснилось, что господична Аполония не хорватка, а русинка. Отец и мать ее русины и жили когда-то во Львове, где Аполония была в частной гимназии (Василенко).

33

Институт покинул Харьков 22 ноября 1919 года в составе 157 воспитанниц, 38 человек персонала и 46 прикомандированных и членов семейства служащих. Испытав все невзгоды эвакуации в теплушках, институт прибыл в Новочеркасск и поместился в Донском институте. Через три недели под напором наступающих на Юг большевиков оба института спешно эвакуировались в Екатеринодар, а затем в Новороссийск, где начальница института М. А. Неклюдова выхлопотала у представителя Сербского королевства г-на Ненадича разрешение сербского правительства на эвакуацию институтов, как учебных заведений, в Сербию на смутное время. Имея визы в Сербию транзитом через Болгарию, Харьковский и Донской институты чуть было не остались в Новороссийске у большевиков и только благодаря некоторым энергичным воспитанницам (Куколь-Яснопольская, Золотарева, Эссен), которые добились от военных властей посадки институтов на пароход, выехали из Новороссийска. Около месяца институты пребывали в Новороссийске и, можно сказать, в последнюю минуту погрузились на пароход «Афон» для отплытия в Варну марта 1920 года оба института прибыли поездом из Варны в Белград, где их встретил русский посланник В. Н. Штрандман. Здесь последовало разъединение обоих институтов. Донской институт был направлен в Белую Церковь. Под Харьковский институт была отведена большая мадьярская школа в Новом Бечее (Турски Бечей). 8 марта 1920 года Харьковский институт прибыл на пароходе «Любляна» по реке Тиссе в Новый Бечей в сопровождении сербского чиновника г. Шевича.

Экзамен на получение аттестата зрелости. - *Сост.*

35

Местный общественный деятель, имеющий писчебумажный магазин, типографию и стоящий во главе большого банка.

36

В Центральном государственном архиве общественных объединений Украины (Киев) сохранился машинописный вариант записок под названием «Дневник инспектора Черниговских тюрем Дмитрия Васильевича Краинского “Февральская и Октябрьская революция на Черниговщине 1917-1918 гг.”» (112 л.), где описываются события с февраля 1917 по апрель 1918 года. Следовательно, 2 тома записок у М. А. Лукиной новой властью были найдены, но оставлена для хранения лишь часть их, и то в виде машинописи, что не позволяет говорить о масштабах и характере вмешательства в текст.